

Ушинскій

ЧЕЛОВѢКЪ

КАКЪ

Предметъ Воспитанія



ЧЕЛОВѢКЪ

КАКЪ

ПРЕДМЕТЪ ВОСПИТАНІЯ.



H. J. Purvis

ЧЕЛОВѢКЪ

КАКЪ

ПРЕДМЕТЪ ВОСПИТАНІЯ.

ОПЫТЪ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Константина Ушинскаго.

ИЗДАНИЕ ДВѢНАДЦАТОЕ,

сокращенное подъ редакціей К. К. Сентъ-Илера и Л. Н. Модзалевскаго.

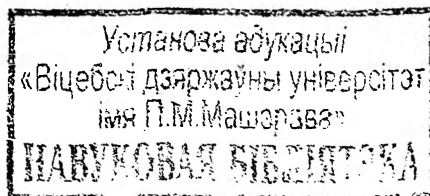
Съ портретомъ автора.

Цѣна 2 р. 50 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. Меркушева, Невскій просп., 8.

1907.



552.161



О Г Л А В Л Е Н І Е .

	Стр.
Отъ редакторовъ сокращеннаго изданія	I
Предисловіе автора къ I-му тому	VI
Предисловіе его же ко II-му тому	XLIII
Часть I-я.	
ГЛАВА I. Обь организмахъ вообще	1
Что такое воспитаніе? — Опредѣленіе организма.—Сила развитія.—Организмы единичные и общественные.	
ГЛАВА II. Существенныя свойства растительнаго организма	2
Ростъ, планъ, органы, сила развитія. — Матеріаль развитія. — Значеніе питательнаго процесса и его условія.—Вліяніе питательнаго процесса на перерожденіе организмовъ.	
ГЛАВА III. Растительный организмъ въ животномъ	3
Процессъ питанія. Отличительный признакъ животнаго организма—жизнь и нервная система.—Цѣль питательнаго процесса въ животномъ.—Краткое изложеніе питательнаго процесса.	
ГЛАВА IV. Необходимость и особенныя условія возобновленія тканей животнаго организма	—
Причины утомленія и возобновленія силъ. — Условія правильнаго возобновленія организма.—Основы физическаго воспитанія.	
X ГЛАВА V. Потребность отдыха и сна	5
Необходимость перемѣны дѣятельности.—Потребность сна.	
X ГЛАВА VI—XI. Нервная система (по учебнику Наумова)	—
X ГЛАВА XII. Отражательныя или рефлексивныя движенія	—
Понятіе рефлекса есть понятіе психологическое. — Рефлексы полные и неполные. — Превращеніе произвольныхъ дѣйствій въ рефлексивныя. — Сложные рефлексы. — Рефлексивныя основанія привычекъ.	
ГЛАВА XIII. Привычки и навыки, какъ усвоенные рефлексы	16
Опредѣленіе привычки и навыка.—Возникновеніе наклонностей изъ привычекъ. — Укорененіе привычекъ. — Обширное значеніе привычекъ въ человѣческой дѣятельности.	
ГЛАВА XIV. Наслѣдственность привычекъ и развитіе инстинктовъ.	24
Отношеніе привычекъ и инстинктовъ.—Наслѣдственность привычекъ въ наслѣдственности характеровъ.	

ГЛАВА XV. Нравственное и педагогическое значеніе привычекъ. 30

Различные взгляды на силу и значеніе привычки. — Нашъ взглядъ. — Значеніе навыка въ ученіи.

ГЛАВА XVI. Участіе нервной системы въ актъ памяти 35

Память есть способность животной жизни. — Два элемента памяти. — Связь нервнаго организма съ явленіями памяти. — Привычка есть память и память есть отчасти привычка. — Память механическая и средства прочнаго усвоенія механическою памятью. — Различіе въ механической памяти различныхъ людей. — Что такое нервный слѣдъ? — Ощущеніе воспоминанія.

ГЛАВА XVII. Вліяніе нервной системы на воображеніе, чувство и волю 51

Вліяніе на воображеніе. — Вліяніе на душевное чувство и волю.

ГЛАВА XVIII. Переходъ отъ физиологіи къ психологіи 56

Взглядъ на пройденное. — Отношеніе души къ нервному организму. — Наблюденіе есть средство физиологіи, а самонаблюденіе есть средство психологіи. — Возможность опытной психологіи. — Психологическій тактъ. — Система изложенія психическихъ явленій: процессы сознанія, душевнаго чувства и воли.

А. Сознаніе.

ГЛАВА XIX. Процессъ вниманія 64

Переходъ впечатлѣній въ ощущенія. — Гипотезы Бенеке и Фехнера. Веберовскій порогъ сознанія. — Вниманіе, какъ условіе превращенія впечатлѣній въ ощущенія. — Необходимость другого порога, кромѣ веберовскаго. — Впечатлѣніе не всегда и не немедленно переходитъ въ ощущеніе. — Переходъ вниманія съ предмета на предметъ и недостаточность объясненія Фехнера. — Недостаточность теоріи Бенеке. — Взглядъ англійскихъ психологовъ на вниманіе и отношеніе этого взгляда къ теоріи Гербарта и Бенеке.

ГЛАВА XX. Вниманіе: выводы 68

Необходимость вниманія для появленія ощущенія. — Оно принадлежитъ душѣ. — Вниманіе произвольное и непроизвольное. — Значеніе власти воли надъ вниманіемъ. — Развитіе пассивнаго и активнаго вниманія. — Опредѣленіе вниманія. — Внѣшнія и внутреннія причины, сосредоточивающія дѣятельность души. — Слѣдствія сосредоточенности вниманія.

ГЛАВА XXI. Что такое значить сознать? Появленіе ощущенія. 77

Можемъ ли мы сознать нѣсколько одновременныхъ впечатлѣній разомъ? Ошибка Вундта и Спенсера. Мнѣніе Аристотеля. — Сознать — значить сличать, различать и сравнивать. — Невозможность объясненія сознанія нервными движеніями. — Невозможность раздвоенія сознанія.

ГЛАВА XXII. Припоминаніе 79

Припоминаніе механическое и душевное. — Описаніе душевнаго припоминанія. Необходимость признанія двухъ агентовъ въ этомъ

виситъ спеціальній характеръ душевныхъ чувствованій?—Отчего происходитъ разнообразное настроеніе души?—Отношеніе разсудочнаго процесса къ душевнымъ чувствованиямъ.—Общее и частное измѣненіе душевнаго строя индивидуальныхъ людей и цѣлыхъ обществъ.

ГЛАВА XI. Практическое значеніе сердечныхъ чувствованій 270

Изъ чувствованій порождаются желанія. — Противорѣчивые взгляды на значеніе чувствованій.—Борьба между чувствованиями.— Мы вольны и не вольны въ нашихъ чувствованияхъ.

ГЛАВА XII. Взаимныя отношенія чувствованій органическихъ и душевныхъ 274

Самое отношеніе.—Вліяніе органическихъ чувствованій на сознательную дѣятельность.—Прекращеніе нашей власти надъ органическими чувствованиями во снѣ.—Вліяніе душевныхъ чувствованій на возбужденіе органическихъ.

ГЛАВА XIII. Воплощеніе чувствованій 278

Общеизвѣстность этого явленія и неизвѣстность его причинъ.—Разнообразіе формъ воплощенія. — Власть человѣка надъ воплощеніемъ и органическимъ распространеніемъ чувствованія. — Крикъ есть также воплощеніе чувствованія.

ГЛАВА XIV. Воплощеніе чувствованій, какъ органическая основа нервнаго сочувствія 281

Перечисленіе явленій, основанныхъ на воплощеніи.—Н е р в н о е с о ч у в с т в і е. — Заразительность чувствованій. --- Объясненіе этой заразительности, данное Спинозою.—Необходимость отличать нервное сочувствіе отъ душевнаго.—Н е р в н а я п о д р а ж а т е л ь н о с т ь и с о р е в н о в а н і е.—Необходимость отличать нервныя явленія отъ душевныхъ явленій того же рода.

ГЛАВА XV. Воплощеніе чувствованій и нервное сочувствіе, какъ органическія основы рѣчи 282

Языкъ животныхъ и языкъ чувства, въ отличіе его отъ языка мысли. — На чемъ основывается языкъ чувствованій? — Власть наша надъ физиологическимъ выраженіемъ чувствованій.—Происхожденіе языка мыслей, или дара слова, изъ языка чувствованій.

ГЛАВА XVI. Отдѣленіе чувствованій отъ желаній и душевныхъ чувствованій 283

Запутанность раздѣленія чувствованій въ общественной психологій и у психологовъ.—Причина этой запутанности.—Отдѣленіе чувствованій отъ желаній.—Отдѣленіе простыхъ чувствованій отъ чувственныхъ состояній души. — Чувствования душевныя и духовныя.

ГЛАВА XVII. Переходъ чувствованій въ чувственныя состоянія души 287

Сохраненіе слѣдовъ чувствованій.—Отношеніе слѣдовъ чувствованій къ слѣдамъ представленій.—Комбинація чувственныхъ слѣдовъ представленій.—Отъ чего зависитъ напряженность чувства-

нія и его обширность?—Отчего слѣды чувствованій, соединяемыхъ съ идеею, сохраняются въ насъ дольше?—Какъ дѣйствуетъ повтореніе на чувство?—Практическое значеніе этого вопроса.

ГЛАВА XVIII. Выдѣленіе душевныхъ чувствованій и ихъ раздѣленіе 293

Выдѣленіе душевныхъ чувствованій.—Раздѣленіе ихъ.

ГЛАВА XIX. Виды душевно-сердечныхъ чувствованій: 1) удовольствіе и неудовольствіе 296

Темнота вопроса.—Отъ чего она зависитъ?—Самостоятельность этихъ чувствованій.—Отношеніе чувствованія неудовольствія къ ощущенію боли и вообще ко внутреннимъ ощущеніямъ. — Чувствованія удовольствія не должно смѣшивать съ другими чувствами.—Они условливаются стремленіемъ. —Чувствованіе это различается не по качеству, а только по количеству.—Слѣды, оставляемые этими чувствованіями, и возобновленіе этихъ слѣдовъ.—Практическое ихъ значеніе.

ГЛАВА XX. Виды душевно-сердечныхъ чувствованій: 2) чувство влеченія и отвращенія 304

Исторія этого вопроса.—Мнѣніе Аристотеля, Декарта, Спинозы, Локка, Гербарта и Бенеке, Бэна. — Гегелисты. — Чувство влеченія къ предмету не есть слѣдствіе опыта.—Его безразличіе.—Отъ чего зависитъ степень этого чувства?—Чувство отвращенія.

ГЛАВА XXI. Виды душевно-сердечныхъ чувствованій: 3) гнѣвъ и доброта 309

Исторія вопроса.—Мнѣніе Аристотеля, Декарта, Спинозы, Локка и Бэна.—Нашъ выводъ.—Безразличность чувства гнѣва въ нравственномъ отношеніи.—Чувство доброты и нѣжности.

ГЛАВА XXII. Виды душевно-сердечныхъ чувствованій: 4) страхъ и смѣлость 316

Исторія вопроса.—Причина его запутанности.—Различныя степени страха. — Какъ возникаетъ въ насъ чувство страха?—Дѣйствіе страха и его воплощеніе.—Педагогическое дѣйствіе страха—Есть ли спеціальныя виды страха?—Дѣйствіе образованія на чувство страха. — Чувство смѣлости и какъ оно вырабатывается.—Отношеніе чувства смѣлости къ чувству страха.

ГЛАВА XXIII. Виды душевно-сердечныхъ чувствованій: 5) чувство стыда и чувство самодовольства 330

Исторія этого вопроса. — Различіе чувства стыда, раскаянія и угрызений совѣсти. — Врожденность чувства стыда и перемежность связываемыхъ съ нимъ представленій. — Чувство стыда есть спеціальное чувство стремленія къ общественности. — Чувство самодовольства.

ГЛАВА XXIV. Виды душевныхъ чувствованій; умственно-сердечное чувство отсутствія дѣятельности 336

Происхожденіе этого чувства. — Скука, тоска, апатія или сплинь. — Скука возникаетъ отъ однообразія и разнообразія

зія. — Тоска, какъ необходимый спутникъ гори.—Отчаяніе и сплинъ.—Антиномія въ стремленіи къ дѣятельности.—Разрѣшеніе этой антиноміи на практикѣ. — Антагонистъ скуки есть дѣятельность.—Другія умственные чувства.

ГЛАВА XXV. Душевно-умственные чувстваванія. Виды ихъ: 1)

Чувство сходства и различія 346

Почему мы изложили дѣятельность этого чувства отдѣльно въ первомъ томѣ?—Самостоятельное существованіе его въ отношеніи сознанія.—Чувствованіе различія и сходства есть умственное чувство.—Отношеніе этого чувства къ другимъ.—Быстрота и настойчивость умственного процесса.

ГЛАВА XXVI. Виды душевно-умственныхъ чувстваваній 2) чувство умственного напряженія, 3) чувство ожиданія . . . 347

Чувство умственного напряженія. Его происхожденіе. —Его степень и значеніе.—Воплощеніе.—Чувство ожиданія.—Его происхожденіе.—Отличіе отъ чувства скуки и комбинація съ другими чувствами.—Надежда и увѣренность.—Отличіе ожиданія отъ любопытства.—Характеры терпѣливые; различное происхожденіе терпѣнія и нетерпѣнія.—Какъ развивается терпѣніе?

ГЛАВА XXVII. Виды душевно-умственныхъ чувстваваній: 4) чувство неожиданности: а) чувство обмана и б) чувство удивленія 348

Соотношеніе этихъ чувствъ.—Чувство неожиданности.—Его происхожденіе.—Пріятно оно или нѣтъ?—Его необходимость для мышленія, и различныя, возникающія изъ него черты въ характерѣ.—Чувство обмана.—Его происхожденіе.—Пріятно оно или нѣтъ?—Чувство удивленія. Происхожденіе этого чувства.—Объясненіе Декарта, Спинозы и др.—Пріятно или нѣтъ это чувство?—Отчего зависитъ степень напряженности этого чувства.—Мнѣніе Бэна и Карлейля. — Соединеніе удивленія съ другими чувствами и его воплощеніе.

ГЛАВА XXVIII. Виды душевно-умственныхъ чувстваваній 5) чувство сомнѣнія и чувство увѣренности; 6) чувство неприимимаго контраста; 7) чувство успѣха 350

Чувство сомнѣнія.—Происхожденіе этого чувства: ошибка Фортлаге.—Отношеніе сомнѣнія къ наукѣ.—Отношеніе сомнѣнія къ практической жизни: взглядъ Декарта, Спинозы и Канта.—Отношеніе сомнѣнія къ воспитанію.—Чувство увѣренности.—Его отношеніе къ чувству сомнѣнія и отношеніе обоихъ къ смѣлости и страху.—Значеніе увѣренности въ жизни.—Чувство контраста.—Его происхожденіе и прекращеніе.—Основаніе смѣшного и вообще юмора.—Чувство логическихъ антиномій: основаніе гегелевскаго діалектическаго приѣма.—Воплощеніе этого чувства.—Чувство успѣха.—Его происхожденіе.—Оно есть чувство относительной истины.—Его практическое значеніе.

ГЛАВА XXIX. Общій обзоръ чувствованій, система ихъ и ихъ отношеніе къ сознанию	352
---	------------

Обзоръ и система чувствованій.—Отношеніе чувствованій къ сознанию.—Слово «чувство» есть общій терминъ.—Почему явленія сознания излагаются отдѣльно?—Отношеніе сознания къ чувствованіямъ.—Чувствованія составляютъ срединное явленіе.

В. Воля.

ГЛАВА XXX. Вступленіе. Различныя теоріи воли	359
---	------------

Почему мы признаемъ особенность этой сферы явленій?—Опроверженіе крайностей Гербарта.—Безотвѣтность вопроса: что такое воля?

ГЛАВА XXXI. Физическая теорія тѣлесныхъ движеній	361
---	------------

Новая физическая теорія движеній по Фехнеру.—Преувеличенія Фехнера и его ошибки; критическій разборъ его теоріи.

ГЛАВА XXXII. Физиологическое объясненіе произвола движеній.	362
--	------------

Различіе произвольныхъ движеній отъ непроизвольныхъ.—Ошибочное объясненіе чувства усилія.—Есть ли отношеніе между сознаниемъ и чувствомъ усилія?—Нашъ выводъ.

ГЛАВА XXXIII. Механическая теорія воли	363
---	------------

Изложенія этой теоріи по Гербарту. — Критика этой теоріи.—Теорія Бенеке и критика этой теоріи.—Общее заключеніе.

ГЛАВА XXXIV. Философскія теоріи воли, какъ явленія объективнаго	364
--	------------

Теорія Спинозы и Гегеля.—Теорія Шопенгауэра.—Мотивы шопенгауэровской теоріи.—Мысль Ламарка и какъ ею воспользовался Шопенгауэръ.

ГЛАВА XXXV. Объективная воля по фактамъ естественныхъ наукъ: ученіе Дарвина	365
--	------------

Изложеніе основной мысли Дарвина.—Критическій разборъ его ученія.

ГЛАВА XXXVI. Психологическіе выводы по теоріи Дарвина	367
--	------------

Субъективное и объективное понятіе воли.—Особенности приспособленія человѣка къ условіямъ жизни на земномъ шарѣ.—Окончательный выводъ.

ГЛАВА XXXVII. Результаты критическаго обзора теорій воли	368
---	------------

Воля есть явленіе психологическое, узнаваемое только изъ самонаблюденія.—Воля не творитъ физическихъ силъ.—Связь съ сознаниемъ. — Необходимость гипотезы стремленій.—Стремленіе не есть воля.—Стремленія органическія и душевныя.—Воля есть явленіе только субъективное.—Три различныя понятія воли.

ГЛАВА XXXVIII. Воля, какъ власть души надъ тѣломъ	373
--	------------

Таинственность этого факта власти.—Степень власти.—Пріятно ли намъ чувство усилія?—Область воли въ первомъ организмѣ.—Какъ формируется воля?

- ГЛАВА XXXIX. Воля, какъ желаніе: элементы желанія реальныя и формальныя** 379
- Отличіе желанія отъ стремленій. — Воспоминаніе есть необходимый элементъ желаній. — Видоизмѣненіе самыхъ стремленій опытами удовлетворенія. — Нервные слѣды чувствованій. — Воспоминаніе и воспроизведеніе чувствованій. — Система чувствованій. — Темнота вопроса о слѣдахъ чувствованій. — Есть ли желаніе у животныхъ? — Мы желаемъ повторенія чувствованій. — Желанія реальныя и желанія формальныя.
- ГЛАВА XL. Воля, какъ желаніе: выработка желаній въ убѣжденія и рѣшенія** 386
- Переходъ желанія въ рѣшимость. — «Я желаю» и «я хочу». — Примѣры перехода желаній въ рѣшимость. — Обдуманность. — Процессъ обдумыванія. — Отъ чего зависитъ совершенство этого процесса.
- ГЛАВА XLI. Воля, какъ желаніе: переходъ желаній въ наклонности и страсти** 395
- Существуютъ ли врожденныя наклонности? — Переходъ наклонностей въ страсти. — Практическое значеніе наклонностей и страстей. — Различныя формы чувственныхъ системъ. — Страсть и чувственное состояніе души.
- ГЛАВА XLII. Образование характера: состояніе вопроса; четыре темперамента** 402
- Что называютъ характеромъ? — Два дѣятеля въ образованіи характера. — Значеніе характерологии по Миллю. — Почему эта наука еще невозможна. — Ученіе о темпераментахъ. — Недостаточность этого ученія. — Попытка Бенекке извлечь изъ этого ученія вѣрныя черты.
- ГЛАВА XLIII. Факторы въ образованіи характера: а) вліяніе врожденнаго темперамента** 421
- Вообще о факторахъ въ образованіи характера. — Вліяніе врожденныхъ особенностей организма на образованіе характера. — Общее вліяніе состояній организма. — Различіе въ быстротѣ питательнаго процесса. — Различіе въ объемѣ и устройствѣ мозга. — Различіе въ устройствѣ тканей нервной системы. — Различная степень впечатлительности, крѣпости, раздражительности, удобоподвижности частицъ. — Патологическія явленія.
- ГЛАВА XLIV. Второй факторъ въ образованіи характера: б) вліяніе впечатлѣній жизни** 424
- Очевидность этого явленія. — Сила характера и сила воли не одно и то же. — Аналогія между силою ума и силою характера. — Сила характера и единство характера. — Причина слабости характера. — Отдѣленіе понятія характера отъ понятія нравственности. — Умъ и характеръ не всегда сходятся. — Вліяніе физическихъ свойствъ нервной системы на образованіе характера. — Есть ли третій факторъ въ образованіи характера?

ГЛАВА XLV. Воля, какъ противоположность неволѣ: стремленіе къ свободѣ	431
<p>Установленіе терминовъ: воля, свобода и свобода души.—Стремленіе къ свободѣ есть стремленіе душевное.—Оно рождается какъ отрицаніе стѣсненія. — Понятіе насилія.—Извращенія стремленія въ свободѣ.—Связь свободы съ дѣятельностью. — Обязанности воспитанія въ этомъ отношеніи.</p>	
ГЛАВА XLVI. Стремленіе къ наслажденію и стремленіе къ счастью: классическая теорія эвдемонизма	433
<p>Значеніе теоріи счастья.—Теорія счастья по Сократу, по Аристотелю, стоиковъ и эпикурейцевъ. Эпикурейскій взглядъ Руссо.— Общественное начало въ этомъ взглядѣ.</p>	
ГЛАВА XLVII. Ученіе эвдемонизма въ новое время	435
<p>Шаткость теоріи счастья въ новое время.—Критическій разборъ взгляда Д. С. Милля на счастье.</p>	
ГЛАВА XLVIII. Стремленіе къ счастью: значеніе цѣли въ жизни.	439
<p>Стремленіе къ наслажденію есть стремленіе производное.— Врожденность стремленія къ счастью.—Стремленіе къ дѣятельности не есть стремленіе къ наслажденію.—Значеніе цѣли въ жизни человѣка.—Взаимныя отношенія между различными стремленіями человѣка.</p>	
ГЛАВА XLIX. Уклоненія человѣческой воли вообще	447
<p>Выводъ этихъ уклоненій изъ прежняго.— Два рода уклоненій.— Слабости воли.— Заблужденія воли.</p>	
ГЛАВА L. Слабость воли и склонности, изъ нея происходящія.	454
<p>Происхожденіе ихъ и различное выраженіе. — Склонность къ лѣни.—Прирожденна ли лѣнь?—Что такое лѣнь?—Происхожденіе этого психо-физическаго явленія.—Физическія причины лѣни. — Психо-физическія причины лѣни.—Психическія причины лѣни. — Склонность къ привычкѣ. Происхожденіе этой склонности. — Обязанность воспитанія въ этомъ отношеніи. — Склонность къ подражанію.—Происхожденіе ея.—Значеніе ея въ жизни и воспитаніи.—Склонность къ развлеченіямъ.—Происхожденіе этой склонности. Любознательность и любопытство. — Значеніе этой склонности. — Кажущееся стремленіе къ лѣни. — Происхожденіе этого явленія. — Стремленіе къ отдыху.—Потребность сна и значеніе этого явленія.</p>	
ГЛАВА LI. Заключение	471
<p>Бѣглый обзоръ пройденнаго.—Взглядъ на свободный трудъ, какъ на счастье, есть взглядъ христіанской Европы.</p>	
ПРИЛОЖЕНІЕ. Трудъ въ его психическомъ и воспитательномъ значеніи.	481

ОТЪ РЕДАКТОРОВЪ

СОКРАЩЕННАГО ИЗДАНІЯ.

Чтеніе педагогическихъ сочиненій дѣло вовсе не легкое. Трудность подобнаго чтенія зависитъ главнымъ образомъ отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, отъ читаемыхъ сочиненій, а во-вторыхъ, отъ насъ самихъ. Педагогическихъ сочиненій на русскомъ языкѣ теперь довольно много, но совершенно самостоятельныхъ очень мало: въ большинствѣ случаевъ это переводы или компиляціи изъ иностранныхъ сочиненій. Хорошій переводъ и компиляція могутъ быть очень полезны, но читать ихъ всетаки труднѣе, потому что подлинники написаны для иностранцевъ, отличающихся отъ насъ и подготовкою, и воззрѣніями на многія существенныя стороны школьнаго дѣла. Кромѣ того, педагогическія книги и статьи, если исключить учебники, рѣдко пишутся такъ, чтобы содержаніе ихъ было легко, понятно и интересно всѣмъ читателямъ, даже не специалистамъ; въ большинствѣ случаевъ имѣется въ виду довольно ограниченный кругъ читателей. Вторая причина трудности чтенія зависитъ, какъ сказано выше, отъ насъ самихъ и состоитъ прежде всего въ томъ, что мы не отдаемъ себѣ яснаго отчета, для чего мы читаемъ? Чтеніе можетъ имѣть двѣ главныя цѣли: или мы желаемъ увеличить свои познанія и усвоить себѣ содержаніе книги, или чтеніе служитъ намъ только побужденіемъ къ собственной умственной работѣ; тогда читаемое обсуждается, критикуется и усваивается нами настолько, насколько оно соотвѣтствуетъ нашимъ воззрѣніямъ. Очевидно, что послѣднюю цѣль чтенія слѣдуетъ считать главною, окончательною, а первую цѣль можно разсматривать, какъ подготовительную ступень къ вполне полезному чтенію. Не менѣе очевидно и то, что чѣмъ дольше педагогъ остано-

вится на первомъ способѣ чтенія, т. е. на возможно прямомъ усвое-
ніи читаемаго, тѣмъ болѣе онъ получить возможности и, такъ ска-
зать, права съ пользою приступить ко второму, самостоятельному
способу чтенія. Намъ часто случалось слышать, что чтеніе педагоги-
ческихъ сочиненій увеличиваетъ самомнѣніе начальныхъ учителей и
направляетъ ихъ къ рѣзкой критикѣ во всѣхъ вопросахъ, касаю-
щихся школьнаго дѣла. Если это явленіе замѣчается, то изъ него
можно вывести одно заключеніе: лица эти не умѣли читать, какъ
слѣдуетъ. Тотъ, кто прочиталъ внимательно нѣсколько педагогиче-
скихъ сочиненій, долженъ непременно прійти къ убѣжденію, что въ
этой области еще много спорныхъ вопросовъ, которые научно рѣ-
шены быть не могутъ, а слѣдовательно никакъ нельзя относиться
высокомѣрно къ тому или другому мнѣнію. Поэтому главными слѣд-
ствіями педагогической начитанности должны быть не какіе-нибудь
новые и рѣзкіе взгляды, не строгая критика какого-либо напра-
вленія въ школьномъ дѣлѣ, а скорѣе снисходительное отношеніе ко
всѣмъ мнѣніямъ, если только они добросовѣстны, т. е. имѣютъ
цѣлью исключительно пользу воспитываемыхъ и обучаемыхъ.

Сочиненіе К. Д. Ушинскаго „*Человѣкъ, какъ предметъ воспи-
танія*“ надо признать основной и самой замѣчательной русской пе-
дагогической книгой. Къ сожалѣнію, она очень объемиста, мѣстами
трудна для пониманія не-специалистовъ и не содержитъ всего того,
что обыкновенно помѣщается въ курсахъ педагогики. Всѣ особен-
ности сочиненія К. Д. Ушинскаго могутъ быть объяснены краткою
исторіею происхожденія этой книги. Когда, въ 1862 г., К. Д. Ушин-
скій изъ-за разстроеннаго здоровья долженъ былъ оставить мѣсто
инспектора женскихъ институтовъ при Смольномъ монастырѣ, то
вѣдомство учрежденій Императрицы Маріи, по желанію самой Го-
сударыни Императрицы Маріи Александровны, дало К. Д. Ушинскому
заграничную командировку и поручило ему составить учебникъ
педагогики для старшихъ классовъ женскихъ институтовъ. Живя
въ Швейцаріи, К. Д. Ушинскій добросовѣстно принялся за эту
работу: онъ ясно сознавалъ, что простая передѣлка какого-нибудь
нѣмецкаго учебника по педагогикѣ не достигнетъ цѣли, такъ какъ
почти всѣ эти учебники имѣютъ въ виду лишь сообщеніе совѣтовъ
по части воспитанія и обученія, безъ должной подготовки читате-
лей къ рѣшенію существенныхъ вопросовъ педагогики. Къ числу
этихъ существенныхъ вопросовъ безспорно принадлежитъ возможно
полное знакомство съ объектомъ (предметомъ) воспитанія, т. е. че-
ловѣкомъ, по преимуществу, конечно, съ душевными явленіями его.

Убѣдившись въ томъ, что въ краткихъ учебникахъ педагогики психологическія свѣдѣнія большею частью изложены поверхностно и часто непослѣдовательно, Ушинскій принялся за изученіе основныхъ психологическихъ сочиненій на всѣхъ европейскихъ языкахъ, съ которыми онъ былъ знакомъ. Но чтеніе этихъ сочиненій не удовлетворило его, какъ педагога: всѣ психологи стараются изложить свои изслѣдованія о душѣ какъ можно послѣдовательнѣе, научнѣе; до примѣненія научныхъ данныхъ къ дѣлу воспитанія имъ нѣтъ дѣла. Они изслѣдуютъ иногда только извѣстную группу душевныхъ явленій, пренебрегая остальными, или ставятъ въ основаніе своей системы положенія, которымъ потомъ искусственно подчиняютъ все остальное. Не найдя такой психологической системы, которая бы вполне могла быть принята имъ, какъ педагогомъ, К. Д. Ушинскій сталъ писать изслѣдованіе всѣхъ необходимыхъ для педагога психологическихъ вопросовъ, критикуя взгляды извѣстныхъ психологовъ и выбирая изъ нихъ то, что наиболѣе подходило къ его главной цѣли: составленію свода такихъ свѣдѣній о душѣ человѣка, который могъ бы служить основаніемъ для возможно научной постановки педагогики. Вотъ почему книга его и получила свое названіе: „Человѣкъ, какъ предметъ воспитанія“. Ушинскій полагалъ, что за курсъ педагогики онъ можетъ приняться только по окончаніи этого основного сочиненія. Къ сожалѣнію, и это сочиненіе осталось недоконченнымъ—въ немъ недостаетъ 3-го тома, который для насъ, педагоговъ, долженъ былъ имѣть особенную важность. Чтобы понять значеніе этого недостающаго тома, нужно разъяснить себѣ основную, чисто христіанскій взглядъ Ушинскаго на душу человѣка. Ушинскій долженъ былъ согласиться съ большинствомъ новѣйшихъ психологовъ, что душевныя явленія, напр., сознаніе, память, чувство, воля и т. д., встрѣчается въ извѣстной степени и у животныхъ. Основываясь на этомъ несомнѣнномъ фактѣ, многіе психологи теперь учатъ, что душевныя явленія у животныхъ такія же, какъ у человѣка, и что мы отличаемся отъ животныхъ только большею силою и ясностью своихъ душевныхъ явленій. Вотъ съ этимъ Ушинскій согласиться никакъ не могъ, и утверждалъ, что душевныя явленія человѣка отличаются не только *количественно*, но и *качественно* отъ душевныхъ явленій животныхъ, т. е. какъ бы ни усиливались душевныя явленія животныхъ—они никогда не сдѣлаются человѣческими, подобно тому, какъ сколько бы мы ни представили себѣ увеличенными размѣры рыбы, никогда она не превратится въ кита, потому что китъ отличается отъ рыбы не только

величиною, но и другими существенными признаками. Слѣдовательно, если соединить съ понятіемъ о душѣ то, что свойственно душѣ человѣка, то, по мнѣнію Ушинскаго, нельзя говорить, что у животныхъ есть душа, а слѣдуетъ лишь согласиться, что у нихъ замѣчаются нѣкоторыя душевныя явленія. Чтобы отличить эти два понятія, Ушинскій принималъ два термина: *душою* онъ называлъ тѣ явленія, зачатки которыхъ замѣчаются и у животныхъ, а тѣ душевныя явленія, которыя свойственны исключительно человѣку, онъ называлъ *духомъ*.

Въ концѣ второй части своего сочиненія Ушинскій хотѣлъ изложить *духовныя особенности человѣка*, но отложилъ это до третьей части, которая и не появилась. Конечно, уже въ первыхъ двухъ частяхъ можно найти много отдѣльныхъ указаній на взгляды Ушинскаго относительно этихъ духовныхъ особенностей человѣка, но многіе вопросы онъ очевидно отлагалъ до этой недописанной части, и вотъ почему мы не находимъ у него, напримѣръ, отдѣльныхъ главъ о религіозномъ чувствѣ, эстетическомъ и т. п., хотя все сочиненіе его проникнуто глубокою религіозностью.

Въ предисловіи къ своей педагогической антропологии Ушинскій прямо высказываетъ, что „сочиненіе его назначается *не* для психологовъ-спеціалистовъ, но для *педагоговъ*, сознавшихъ необходимость изученія психологии для ихъ педагогическаго дѣла“ (стр. ХLI предисловія). Между тѣмъ, изучая иностранныхъ психологовъ съ критической точки зрѣнія, „пользуясь всѣми, но не увлекаясь ни однимъ“, онъ внесъ въ свою книгу и эту подготовительную, чисто критическую работу не только въ примѣчанія, но и въ самый текстъ, что довольно обременительно и даже излишне для педагоговъ. Вотъ почему мы находимъ полезнымъ, съ согласія наслѣдниковъ Ушинскаго, сократить обѣ части въ одну и чрезъ это сдѣлать его столь почтенный трудъ *гораздо доступнѣе* именно для тѣхъ, для кого онъ и предназначался—для занимающихся дѣломъ воспитанія и обученія. Въ такомъ сокращенномъ видѣ, при исключеніи всего, что относится къ органической жизни вообще и къ физиологии человѣка въ частности (таковы нынѣ уже нѣсколько устарѣвшія свѣдѣнія о нервной системѣ, объ органахъ внѣшнихъ чувствъ и др.), а равно и къ сравнительно-критическому сопоставленію разныхъ философскихъ системъ и воззрѣній, трудъ Ушинскаго, выигрывая въ цѣльности, становится доступнѣе и по *содержанію*, и по *объему* (около тысячи страницъ), и по *цѣнѣ* (вмѣсто 4 руб. 50 коп.— 2 руб. 50 коп.).

Но такъ какъ въ настоящее время у насъ уже не мало лицъ, интересующихся и чисто-философскими вопросами, доказательствомъ чего служатъ наши спеціальные журналы и существующія при университетахъ кафедры по философіи, то мы полагали не бесполезнымъ сохранить въ краткомъ изложеніи (*résumé*) выпущенныя нами части *полнаго* сочиненія Ушинскаго *), къ которому и могутъ обращаться специалисты по философскимъ наукамъ. Наконецъ, того же требовало и чувство уваженія къ памяти и авторскимъ правамъ нашего незабвеннаго педагога.

Теперь добавимъ нѣсколько словъ о способѣ чтенія столь серьезной книги, какъ издаваемое сочиненіе Ушинскаго. Приступая къ чтенію его, нѣкоторые болѣе важные выводы очень полезно молодому читателю записать своими словами, не смотря въ книгу. Если гдѣ-нибудь сойдутся двое такихъ читателей, то въ высшей степени интересно прочитать другъ другу эти записки, сравнить ихъ и побесѣдовать о различіяхъ въ пониманіи текста Ушинскаго, если подобное различіе окажется. Но мы не совѣтуемъ составлять полный конспектъ читаемаго, а лучше поставить вопросы, которые исчерпываютъ собою существенныя стороны извѣстной статьи, а затѣмъ, по возможности кратко, изложить мнѣніе автора по этимъ вопросамъ.

К. Сентъ-Илеръ и Л. Модзалевскій.

*) Самъ К. Д. вполне сознавалъ излишнюю растянутость своей антропологии и еще во время ея составленія уже помышлялъ о ея сокращеніи. Такъ, въ письмѣ ко мнѣ отъ 9 дек. 1866 г. изъ Vevey, онъ между прочимъ говоритъ: «Какъ я радъ, что вы вашей книгой даете мнѣ возможность выпустить въ моей Антропологии весь отдѣлъ исторіи педагогики. Я прямо на васъ и сошлюсь, а то моя книга и безъ того выходитъ отератительно-громадная». А въ письмѣ отъ 4 сент. 1868 г. изъ Павловска добавляетъ: «Если Богъ дастъ силъ, то, по окончаніи третьяго тома, я немедленно приступлю къ пересмотру ихъ, сокращенію и переводу на англійскій языкъ». Смерть, какъ извѣстно, помѣшала К-ну Д-чу обработать этотъ III томъ. (См. *Русскую Школу* за май 1893 г. «Къ біографіи К. Д. Ушинскаго»).

Л. М.

ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА.

КЪ ПЕРВОМУ ТОМУ.

Искусство воспитанія имѣеть ту особенность, что почти всѣмъ оно кажется дѣломъ знакомымъ и понятнымъ, а инымъ даже дѣломъ легкимъ,—и тѣмъ понятнѣе и легче кажется оно, чѣмъ менѣе человѣкъ съ нимъ знакомъ, теоретически или практически. Почти всѣ признають, что воспитаніе требуетъ *терпѣнія*; нѣкоторые думаютъ, что для него нужны *врожденная способность* и *умѣнье*, т. е. *навыкъ*; но весьма немногіе пришли къ убѣжденію, что, кромѣ терпѣнія, врожденной способности и навыка, необходимы еще спеціальныя *знанія*, хотя многочисленныя педагогическія заблужденія наши и могли бы всѣхъ убѣдить въ этомъ.

Но развѣ есть *спеціальная наука воспитанія*? Отвѣчать на этотъ вопросъ положительно или отрицательно можно только, опредѣливъ прежде, что мы разумѣемъ вообще подъ словомъ *наука*. Если мы возьмемъ это слово въ его общенародномъ употребленіи, тогда и процессъ изученія всякаго мастерства будетъ наукою; если же подъ именемъ науки мы будемъ разумѣть объективное, болѣе или менѣе полное и организованное изложеніе законовъ тѣхъ или другихъ явленій, относящихся къ одному предмету или къ предметамъ одного рода, то ясно, что въ такомъ смыслѣ предметами науки могутъ быть только или явленія природы, или явленія души человеческой, или, наконецъ, математическія отношенія и формы, существующія также внѣ человеческого произвола. Но ни политика, ни медицина, ни педагогика не могутъ быть названы науками въ этомъ строгомъ смыслѣ, а только искусствами, имѣющими своею цѣлью

не изученіе того, что существуетъ независимо отъ воли человѣка, но практическую дѣятельность, — будущее, а не настоящее и не прошедшее, которое также не зависитъ болѣе отъ воли человѣка. Наука только изучаетъ существующее или существовавшее, а искусство стремится творить то, чего еще нѣтъ, и передъ нимъ въ будущемъ несется цѣль и идеаль его творчества. Всякое искусство, конечно, можетъ имѣть свою *теорію*; но теорія искусства — не наука: теорія не излагаетъ законовъ существующихъ уже явленій и отношеній, но предписываетъ *правила* для практической дѣятельности, почерпая основанія для этихъ правилъ въ наукѣ.

„Положенія науки, говоритъ англійскій мыслитель Джонъ Стюартъ Милль, утверждаютъ только существующіе факты: существованіе, сосуществованіе, послѣдовательность, сходство (явленій). Положенія искусства не утверждаютъ, что что-нибудь есть, но указываютъ на то, что должно быть“. Ясно, что въ такомъ смыслѣ ни политику, ни медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо онѣ не изучаютъ того, что есть, но только указываютъ на то, что было бы желательно видѣть существующимъ, и на средства къ достиженію желаемого. Вотъ почему мы будемъ называть педагогику *искусствомъ*, а не *наукою воспитанія*.

Мы не придаемъ педагогикѣ эпитета *высшаго* искусства, потому что самое слово — искусство уже отличаетъ ее отъ ремесла. Всякая практическая дѣятельность, стремящаяся удовлетворить высшимъ нравственнымъ и вообще духовнымъ потребностямъ человѣка, т. е. тѣмъ потребностямъ, которыя принадлежатъ исключительно человѣку и составляютъ отличительныя черты его природы, есть уже искусство. Въ этомъ смыслѣ педагогика будетъ, конечно, первымъ, высшимъ изъ искусствъ, потому что она стремится удовлетворить величайшей изъ потребностей человѣка и человѣчества — ихъ стремленію къ усовершенствованіямъ въ самой человѣческой природѣ: не къ выраженію совершенства на полотнѣ или въ мраморѣ, но къ усовершенствованію самой природы человѣка — его души и тѣла; а вѣчно предшествующій идеаль этого искусства есть совершенный человѣкъ.

Изъ сказаннаго вытекаетъ уже само собою, что педагогика не есть собраніе положеній науки, но только *собраніе правилъ воспитательной дѣятельности*. Такимъ собраніемъ правилъ или педагогическихъ рецептовъ, соотвѣтствующихъ въ медицинѣ терапіи, являются дѣйствительно почти всѣ нѣмецкія педагогики, всегда выражающіяся „въ повелительномъ наклоненіи“, что, какъ основательно замѣчаетъ Милль, служитъ внѣшнимъ отличительнымъ признакомъ

теоріи искусства *). Но какъ было бы совершенно нелѣпо ограничиться для медиковъ изученіемъ одной терапіи, такъ было бы нелѣпо для тѣхъ, кто хочетъ посвятить себя воспитательной дѣятельности, ограничиться изученіемъ одной педагогикѣ въ смыслѣ собранія правилъ воспитанія. Что сказали бы вы о человѣкѣ, который, не зная ни анатоміи, ни фізіологіи, ни патологіи, не говоря уже о физикѣ, химіи и естественныхъ наукахъ, изучилъ бы одну терапію и лечилъ бы по ея рецептамъ, то же почти можете вы сказать и о человѣкѣ, который изучилъ бы только одни правила воспитанія, обыкновенно излагаемыя въ педагогикахъ, и соображался бы въ своей воспитательной дѣятельности съ одними этими правилами. И какъ мы не называемъ медикомъ того, кто знаетъ только „лечебники“ и даже лечитъ по „Другу Здравія“ и тому подобнымъ собраніямъ рецептовъ и медицинскихъ совѣтовъ; точно такъ же не можемъ мы назвать педагогомъ того, кто изучилъ только нѣсколько учебниковъ педагогикѣ и руководствуется въ своей воспитательной дѣятельности правилами и наставленіями, помѣщенными въ этихъ „педагогикахъ“, не изучивъ тѣхъ явленій природы и души человѣческой, на которыхъ, быть можетъ, основаны эти правила и наставленія. Но такъ какъ педагогика не имѣетъ у себя термина, соотвѣтствующаго медицинской терапіи, то намъ придется прибѣгнуть къ приему, обыкновенному въ тождественныхъ случаяхъ, а именно—различать *педагогикѣ въ обширномъ смыслѣ*, какъ собраніе знаній, необходимыхъ или полезныхъ для педагога, отъ *педагогикѣ въ тѣсномъ смыслѣ*, какъ собранія воспитательныхъ правилъ.

Мы особенно настаиваемъ на этомъ различіи, потому что оно очень важно, а у насъ, какъ кажется, многіе не сознаютъ его съ полною ясностію. По крайней мѣрѣ, это возможно заключить изъ тѣхъ наивныхъ требованій и сѣтованій, которыя намъ часто удавалось слышать. „Скоро ли появится у насъ порядочная педагогика?“ говорятъ одни, подразумѣвая, конечно, подъ педагогикой книгу въ родѣ „Домашняго лечебника“. „Неужели нѣтъ въ Германіи какой-либо хорошей педагогикѣ, которую можно было бы перевести?“ Какъ бы, кажется, не быть въ Германіи такой педагогикѣ: мало ли у нея этого добра! Находятся и охотники переводить; но русскій здравый смыслъ повертитъ, повертитъ такую книгу, да и броситъ. Положеніе выходитъ еще комичнѣе, когда открывается гдѣ-нибудь каедрѣ пе-

*) «Гдѣ говорятъ въ правилахъ и наставленіяхъ, а не въ утвержденіяхъ относительно фактовъ, тамъ искусство». Mill's Logic. B. IV. Ch. XII. § I.

дагогике. Слушатели ожидаютъ новаго слова, и читающій лекціи начинаетъ бойко, но скоро бойкость эта проходитъ: безчисленныя правила и наставленія, ни на чемъ не основанныя, надоѣдаютъ слушателямъ, и все преподаваніе педагогике мало-по-малу сводится, какъ говорятъ ремесленники, — *на нѣтъ*. Во всемъ этомъ выражаются самыя младенческія отношенія къ предмету и полное несознание различія между *педагогикою въ обширномъ смыслѣ*, какъ собраніемъ наукъ, направленныхъ къ одной цѣли, и *педагогикою въ тѣсномъ смыслѣ*, какъ теоріею искусства, выведенною изъ этихъ наукъ.

Но въ какомъ-же отношеніи находятся обѣ эти педагогике? „Въ мастерствахъ несложныхъ, говоритъ Милль, можно изучить одни правила; но въ сложныхъ наукахъ жизни (слово наука здѣсь употреблено некстати) приходится постоянно возвращаться къ законамъ науки, на которыхъ эти правила основаны“. Къ этимъ сложнымъ искусствамъ, безъ сомнѣнія, должно быть причислено и искусство воспитанія, едва ли не самое сложное изъ искусствъ.

„Отношеніе, въ которомъ правила искусства стоятъ къ положеніямъ науки, продолжаетъ тотъ же писатель, можетъ быть такъ очерчено. Искусство предлагаетъ самому себѣ какую-нибудь цѣль, которая должна быть достигнута, опредѣляетъ эту цѣль и передаетъ ее наукѣ. Получивъ эту задачу, наука разсматриваетъ и изучаетъ ее, какъ явленіе или какъ слѣдствіе, и, изучивъ причины и условія этого явленія, передаетъ обратно искусству, съ теоремою комбинаціи обстоятельствъ (условій), которыми это слѣдствіе можетъ быть произведено. Искусство тогда изслѣдуетъ эти комбинаціи обстоятельствъ и, соображаясь съ тѣмъ, находятся они или нѣтъ въ человѣческой власти, признаетъ цѣль достижимою или нѣтъ. Единственная изъ посылокъ, доставляемыхъ наукѣ, есть оригинальная главная посылка, утверждающая, что достиженіе данной цѣли желательно. Наука же сообщаетъ искусству положеніе, что при исполненіи данныхъ дѣйствій цѣль будетъ достигнута, а искусство превращаетъ теоремы науки, если цѣль оказывается достижимою, въ правила и наставленія“.

Но откуда же искусство беретъ *цѣль* для своей дѣятельности, и на какомъ основаніи признаетъ достиженіе ея желательнымъ и опредѣляетъ относительную важность различныхъ цѣлей, признанныхъ достижимыми? Здѣсь Милль, чувствуя, быть можетъ, что почва, на которой стоитъ вся его „Логика“, начинаетъ колебаться, проектируетъ особую *науку цѣлей*, или *телеологию*, какъ онъ ее называетъ, и вообще *науку жизни*, которая, по его словамъ, заканчивающимъ его „Логикю“, вся еще должна быть создана, и называется

эту *будущую* науку важнѣйшею изъ всѣхъ наукъ. Въ этомъ случаѣ Милль очевидно впадаетъ въ одно изъ тѣхъ великихъ противорѣчій самому себѣ, которыми отличаются геніальнѣйшіе мыслители практичной Британіи. Онъ ясно противорѣчитъ тому опредѣленію науки, которое самъ же сдѣлалъ, назвавъ ее изученіемъ „существованія, сосуществованія и послѣдовательности явленій“, уже существующихъ, а не тѣхъ, которыя еще не существуютъ, а только желательны. Онъ хочетъ вездѣ поставить науку на первое мѣсто; но сила вещей невольно выдвигаетъ впередъ жизнь, показывая, что не наука должна указывать окончательныя цѣли жизни, а жизнь указываетъ практическія цѣли и самой наукѣ. Это вѣрное практическое чувство британца заставляетъ не одного Милля, но также Бокля, Бэна и другихъ ученыхъ той же партіи часто впадать къ противорѣчія съ собственными своими теоріями, чтобы обезопасить жизнь отъ вредныхъ вліяній односторонности, свойственной всякой теоріи и необходимой для хода науки. И вотъ какой, дѣйствительно, великой черты въ характерѣ англійскихъ писателей не понимаютъ наши критики, воспитанные большею частью на германскихъ теоріяхъ, всегда почти послѣдовательныхъ, послѣдовательныхъ часто до очевидной нелѣпости и положительнаго вреда. Вотъ это-то практическое чувство британца заставило Милля въ томъ же сочиненіи признать окончательною цѣлью жизни человѣка *не счастье*, какъ слѣдовало бы ожидать по его научной теоріи, а *образованіе идеальнаго благородства воли и поведенія*, а Бокля, отвергающаго свободу воли въ человѣкѣ, признать въ то же время вѣрованіе *въ загробную жизнь однимъ изъ самыхъ дорогихъ и самыхъ несомнѣнныхъ вѣрованій человечества*. Эта же причина заставляетъ англійскаго психолога Бэна, объясняя всю душу нервными токами, признать за человѣкомъ власть распоряжаться этими токами. Германскій ученый не сдѣлалъ бы такого промаха: онъ остался бы вѣренъ своей теоріи—и утонулъ бы вмѣстѣ съ нею. Причина такихъ противорѣчій та же, которая, за 200 лѣтъ до Бокля, Милля и Бэна, побудила Декарта, приготавлиаясь къ своему труду, обезопасить отъ своего все-опрокидывающаго скептицизма одинъ уголокъ жизни, гдѣ самъ мыслитель могъ бы жить, *пока* наука переломаетъ и перестроитъ вновь все зданіе жизни *); но это декартовское *пока* продолжается и теперь, какъ мы это видимъ на самыхъ передовыхъ представителяхъ современнаго европейскаго мышленія.

*) Oeuvres de Descartes. Edit. Charp. 1865. Discours de la méthode. P. III, p. 16.

Мы, однако, не будемъ вдаваться здѣсь въ подробный разборъ, откуда и какъ должна заимствовать педагогика цѣль своей дѣятельности, что можетъ быть сдѣлано, конечно, не въ предисловіи, а тогда только, когда мы короче ознакомимся съ тою областью, въ которой педагогика хочетъ дѣйствовать. Однакоже мы не можемъ не указать уже здѣсь на необходимость яснаго опредѣленія цѣли воспитательной дѣятельности; ибо, имѣя постоянно въ виду необходимость опредѣлить цѣль воспитанія, мы должны были дѣлать такія отступленія въ область философіи, которыя могутъ показаться лишними читателю, особенно если онъ незнакомъ съ той путаницей понятій, которая господствуетъ у насъ въ этомъ отношеніи. Внести, на сколько можемъ, хотя какой-нибудь свѣтъ въ эту путаницу,—было однимъ изъ главныхъ стремленій нашего труда, потому что она, переходя въ такую практическую область, каково воспитаніе, перестаетъ уже быть невиннымъ бредомъ и отчасти необходимымъ періодомъ въ процессѣ мышленія, но становится положительно вредною и загораживаетъ путь нашему педагогическому образованію. Удалять же все, что мѣшаетъ ему, — прямая обязанность каждаго педагогическаго сочиненія.

Что сказали бы вы объ архитекторѣ, который, закладывая новое зданіе, не сумѣлъ бы отвѣтить вамъ на вопросъ, что онъ хочетъ строить,—храмъ ли, посвященный Богу истины, любви и правды, простой ли домъ, въ которомъ жилось бы уютно, красивая ли, но бесполезная торжественная ворота, на которыя заглядывались бы проѣзжающіе, раззолоченную ли гостиницу для обиранія неразсчетливыхъ путешественниковъ, кухню ли для перемалыванія сѣстныхъ припасовъ, музеумъ ли для храненія рѣдкостей или, наконецъ, сарай для складки туда всякаго, никому уже въ жизни ненужнаго хлама? То же самое должны высказать и о воспитателѣ, который не сумѣетъ ясно и точно опредѣлить вамъ цѣли своей воспитательной дѣятельности.

Конечно, мы не можемъ сравнить мертвыхъ матеріаловъ, надъ которыми работаетъ архитекторъ, съ тѣмъ живымъ и организованнымъ уже матеріаломъ, надъ которымъ работаетъ воспитатель. Придавая большое значеніе воспитанію въ жизни человѣка, мы тѣмъ не менѣе ясно сознаемъ, что предѣлы воспитательной дѣятельности уже даны въ условіяхъ душевной и тѣлесной природы человѣка и въ условіяхъ міра, среди котораго человѣку суждено жить. Кромѣ того, мы ясно сознаемъ, что воспитаніе, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, какъ *преднамѣренная* воспитательная дѣятельность — школа,

воспитатель и наставники *ex officio*—вовсе не единственные воспитатели чело́вѣка, и что столь же сильными, а можетъ быть и гораздо сильнѣйшими, воспитателями его являются воспитатели *не преднамѣренныя*: природа, семья, общество, народъ, его религія и его языкъ,—словомъ, природа и исторія въ обширнѣйшемъ смыслѣ этихъ обширныхъ понятій. Однакоже и въ самыхъ этихъ явленіяхъ, неотразимыхъ для дитяти и чело́вѣка совершенно неразвитаго, многое измѣняется самимъ же чело́вѣкомъ въ его послѣдовательномъ развитіи, и эти измѣненія выходятъ изъ предварительныхъ измѣненій въ его собственной душѣ, на вызовъ, развитіе или задержку которыхъ *преднамѣренное воспитаніе*, словомъ, школа со своимъ ученъемъ и своими порядками, можетъ оказывать прямое и сильное дѣйствіе.

„Каковы бы ни были внѣшнія обстоятельства, говоритъ Гизо, все же чело́вѣкъ самъ составляетъ міръ. Ибо міръ управляется и идетъ сообразно идеямъ, чувствамъ, нравственнымъ и умственнымъ стремленіямъ чело́вѣка, и отъ внутренняго его состоянія зависитъ видимое состояніе общества“; а нѣтъ сомнѣнія, что ученіе и воспитаніе въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, могутъ имѣть большое вліяніе на „идеи, чувства, нравственныя и умственныя стремленія чело́вѣка“. Если же кто-нибудь усомнился бы и въ этомъ, то мы укажемъ ему на послѣдствія, такъ называемаго, іезуитскаго образованія, на которыя уже указывали Бэконъ и Декартъ, какъ на доказательства громаднѣйшей силы воспитанія. Стремленія іезуитскаго воспитанія большею частью были дурны; но сила очевидна: не только чело́вѣкъ до глубокой старости сохранялъ на себѣ слѣды того, что былъ когда-то, хотя только въ самой ранней молодости, подъ фѣрулою отцовъ-іезуитовъ, но цѣлыя сословія народа, цѣлыя поколѣнія людей до мозга костей своихъ проникались началами іезуитскаго воспитанія. Не достаточно ли этого, всѣмъ знакомаго примѣра, чтобы убѣдиться, что сила воспитанія можетъ достигать ужасающихъ размѣровъ, и какіе глубокіе корни можетъ пускать оно въ душу чело́вѣка? Если же іезуитское воспитаніе, противное чело́вѣческой природѣ, могло такъ глубоко внѣдряться въ душу, а черезъ нее и въ жизнь чело́вѣка, то не можетъ ли еще большею силою обладать то воспитаніе, которое будетъ соотвѣтствовать природѣ чело́вѣка и его истиннымъ потребностямъ?

Вотъ почему, ввѣряя воспитанію чистыя и впечатлительныя души дѣтей, ввѣряя для того, чтобы оно провело въ нихъ первыя и потому самыя глубокія черты, мы имѣемъ полное право спросить воспитателя, какую цѣль онъ будетъ преслѣдовать въ своей дѣятельно-

сти, и потребовать на этотъ вопросъ яснаго и категорическаго отвѣта. Мы не можемъ въ этомъ случаѣ удовольствоваться общими фразами, въ родѣ тѣхъ, какими начинаются большею частію нѣмецкія педагогики. Если намъ говорятъ, что цѣлью воспитанія будетъ—сдѣлать человѣка *счастливымъ*, то мы въ правѣ спросить, что такое разумѣетъ воспитатель подѣ именемъ *счастья*; потому что, какъ извѣстно, нѣтъ предмета въ мірѣ, на который люди смотрѣли бы такъ различно, какъ на счастье: что одному кажется счастьемъ, то другому можетъ казаться не только безразличнымъ обстоятельствомъ, но даже просто несчастьемъ. И если мы всмотримся глубже, не увлекаясь кажущимся сходствомъ, то увидимъ, что рѣшительно у каждаго человѣка свое особое понятіе о счастіи и что понятіе это есть прямой результатъ характера людей, который, въ свою очередь, есть результатъ многочисленныхъ условій, разнообразящихся безконечно для каждаго отдѣльнаго лица. Та же самая неопредѣленность будетъ и тогда, если на вопросъ о цѣли воспитанія отвѣчаютъ, что оно хочетъ сдѣлать человѣка *лучше, совершеннѣе*. Не у каждаго ли человѣка свой собственный взглядъ на человѣческое совершенство, и что одному кажется совершенствомъ, то не можетъ ли казаться другому безуміемъ, тупостью или даже порокомъ? Изъ этой неопредѣленности не выходитъ воспитаніе и тогда, когда говорятъ, что хочетъ воспитать человѣка *сообразно его природѣ*. Гдѣ же мы найдемъ эту нормальную человѣческую природу, сообразно которой хотимъ воспитывать дитя? Руссо, опредѣлившій воспитаніе именно такимъ образомъ, видѣлъ эту природу въ дикаряхъ, и притомъ въ дикаряхъ, созданныхъ его фантазіею, потому что если бы онъ поселился между настоящими дикарями, съ ихъ грязными и свирѣпыми страстями, съ ихъ темными и часто кровавыми суевѣріями, съ ихъ глупостью и недовѣрчивостью, то первый бѣжалъ бы отъ этихъ „дѣтей природы“, и нашелъ бы тогда, вѣроятно, что въ Женевѣ, встрѣтившей философа камнями, все же люди ближе къ природѣ, чѣмъ на островахъ Фиджи.

Опредѣленіе цѣли воспитанія мы считаемъ лучшимъ пробнымъ камнемъ всякихъ философскихъ, психологическихъ и педагогическихъ теорій. Мы увидимъ въ послѣдствіи, какъ запутался, напр., Бенекке, когда ему пришлось, переходя отъ психологической теоріи къ педагогическому ея приложенію, опредѣлить цѣль воспитательной дѣятельности. Мы увидимъ также, какъ путается въ подобномъ же случаѣ и новѣйшая, позитивная философія.

Ясное опредѣленіе цѣли воспитанія мы считаемъ далеко не без

полезнымъ и въ практическомъ отношеніи. Какъ бы далеко ни за-
пряталъ воспитатель или наставникъ свои глубочайшія нравствен-
ныя убѣжденія, но если только они въ немъ есть, то они выска-
жутся, можетъ быть, невидимо для него самого, не только уже для
начальства, въ томъ вліяніи, которое окажутъ на души дѣтей, и
будутъ дѣйствовать тѣмъ сильнѣе, чѣмъ скрытнѣе. Определеніе цѣли
воспитанія въ уставахъ учебныхъ заведеній, предписаніяхъ, програм-
махъ и бдительный надзоръ начальства, убѣжденія котораго также
могутъ не всегда сходиться съ уставами, совершенно безсильны въ
этомъ отношеніи. Выводя открытое зло, они будутъ оставлять скры-
тое, гораздо сильнѣйшее, и самымъ гоненіемъ какого-нибудь направле-
нія будутъ усиливать его дѣйствіе. Неужели исторія не доказала
еще множествомъ примѣровъ, что самую слабую и въ сущности пу-
стую идею можно усилить гоненіемъ? Особенно то вѣрно тамъ, гдѣ
идея обращается къ дѣтямъ и юношамъ, незнающимъ еще жизнен-
ныхъ расчетовъ. Кромѣ того, всякіе уставы, предписанія, програм-
мы—самые дурные проводники идей. Уже самъ собою плохъ тотъ за-
щитникъ идеи, который принимается проводить ее только потому,
что она высказана въ уставѣ, и который точно такъ же примется
проводить другую, когда уставъ переменится. Съ такими защитниками
и проводниками идея далеко не уйдетъ. Не показываетъ ли это
ясно, что если въ мірѣ финансовомъ или административномъ можно
дѣйствовать предписаніями и распоряженіями, не справляясь о томъ,
нравятся ли идеи ихъ тѣмъ, кто будетъ ихъ исполнять,—то въ
мірѣ общественнаго воспитанія нѣтъ другого средства проводить
идею, кромѣ откровенно высказываемаго и откровенно принимаемаго
убѣжденія? Вотъ почему, пока не будетъ у насъ такой среды, въ
которой бы свободно, глубоко и широко, на основаніи науки, фор-
мировались педагогическія убѣжденія, находящіяся въ тѣснѣйшей
связи вообще съ философскими убѣжденіями, общественное образова-
ніе наше будетъ лишено основанія, которое дается только прочными
убѣжденіями воспитателей. Воспитатель не чиновникъ; а если онъ чи-
новникъ, то онъ не воспитатель; и если можно приводить въ испол-
неніе идеи другихъ, то проводить чужія убѣжденія невозможно. Среда
же, въ которой могутъ формироваться педагогическія убѣжденія, есть
философская и педагогическая литература и тѣ кафедры, съ кото-
рыхъ излагаются науки, служащія источникомъ и педагогическихъ
убѣжденій: кафедры философіи, психологіи и исторіи. Мы не скажемъ,
однако, что науки сами по себѣ даютъ убѣжденіе; но онѣ предо-
храняютъ отъ множества заблужденій при его формации.

Однакоже примемъ покуда, что *цѣль* воспитанія нами уже опредѣлена; тогда останется намъ опредѣлить его *средства*. Въ этомъ отношеніи наука можетъ оказать существенную помощь воспитанію. Только изучая природу, замѣчаетъ Бэконъ, можемъ мы надѣяться управлять ею и заставить ее дѣйствовать сообразно нашимъ цѣлямъ. Такими науками для педагогики, изъ которыхъ она почерпаетъ знаніе средствъ, необходимыхъ ей для достиженія ея цѣлей, являются всѣ тѣ науки, въ которыхъ изучается тѣлесная или душевная природа человѣка, и изучается притомъ не въ мечтательныхъ, но въ дѣйствительныхъ явленіяхъ.

Къ обширному кругу *антропологическихъ наукъ* принадлежатъ: анатомія, фізіологія и патологія человѣка, психологія, логика, філологія, географія, изучающая землю, какъ жилище человѣка, и человѣка, какъ жителя земного шара, статистика, политическая экономія и исторія въ обширномъ смыслѣ, куда мы относимъ исторію религіи, цивилизаціи, философскихъ системъ, литературъ, искусствъ и собственно воспитанія въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Во всѣхъ этихъ наукахъ излагаются, сличаются и группируются факты и тѣ соотношенія фактовъ, въ которыхъ обнаруживаются свойства *предмета воспитанія*, т. е. человѣка.

Но неужели мы хотимъ, спросятъ насъ, чтобы педагогъ изучалъ такое множество такихъ обширныхъ наукъ, прежде чѣмъ приступить къ изученію педагогики въ тѣсномъ смыслѣ, какъ собранія правилъ педагогической дѣятельности? Мы отвѣтимъ на этотъ вопросъ положительнымъ утвержденіемъ. *Если педагогика хочетъ воспитывать человѣка во всѣхъ отношеніяхъ*, то она должна *прежде узнать его* тоже во всѣхъ отношеніяхъ. Въ такомъ случаѣ, замѣтятъ намъ, педагоговъ еще нѣтъ, и не скоро они будутъ. Это очень можетъ быть; но тѣмъ не менѣе положеніе наше справедливо. Педагогика находится еще не только у насъ, но и вездѣ, въ полномъ младенчествѣ, и такое младенчество ея очень понятно, такъ какъ многія изъ наукъ, изъ законовъ которыхъ она должна черпать свои правила, сами еще только недавно сдѣлались дѣйствительными науками и далеко еще не достигли своего совершенства. Но развѣ несовершенство микроскопической анатоміи, органической химіи, фізіологіи и патологіи помѣшало сдѣлать ихъ основными науками для медицинскаго искусства?

Но, замѣтятъ намъ, въ такомъ случаѣ потребуется особый и обширный факультетъ* для педагоговъ? А почему же и не быть *педагогическому факультету*? Если въ университетахъ суще-

ствують факультеты медицинскіе, и даже камеральные, и нѣтъ педагогическихъ, то это показываетъ только, что человѣкъ до сихъ поръ болѣе дорожить здоровьемъ своего тѣла и своего кармана, чѣмъ своимъ нравственнымъ здоровьемъ, и болѣе заботится о богатствѣ будущихъ поколѣній, чѣмъ о хорошемъ ихъ воспитаніи. Общественное воспитаніе совсѣмъ не такое малое дѣло, чтобы не заслуживало особаго факультета. Если же мы до сихъ поръ, готовя технологовъ, агрономовъ, инженеровъ, архитекторовъ, медиковъ, камералистовъ, филологовъ, математиковъ, не готовили воспитателей, то не должны удивляться, что дѣло воспитанія идетъ плохо, и что нравственное состояніе современнаго общества далеко не соотвѣтствуетъ его великолѣпнымъ биржамъ, дорогамъ, фабрикамъ, его наукѣ, торговлѣ и промышленности.

Цѣль педагогическаго факультета могла бы быть опредѣленнѣе даже цѣли другихъ факультетовъ. Этою цѣлью было бы изученіе человѣка во всѣхъ проявленіяхъ его природы съ спеціальнымъ приложеніемъ къ искусству воспитанія. Практическое значеніе такого педагогическаго или, вообще, антропологическаго факультета было бы велико. Педагоговъ численно нужно не менѣе, а даже еще болѣе, чѣмъ медиковъ, и если медикамъ мы ввѣряемъ наше здоровье, то воспитателямъ ввѣряемъ нравственность и умъ дѣтей нашихъ, ввѣряемъ ихъ душу, а вмѣстѣ съ тѣмъ и будущность нашего отечества. Нѣтъ сомнѣнія, что такой факультетъ охотно посѣщали бы и тѣ молодые люди, которые не имѣютъ нужды смотрѣть на образованіе съ политико-экономической точки зрѣнія, какъ на умственный капиталъ, долженствующій приносить денежные проценты.

Правда, заграничные университеты не представляютъ намъ образцовъ педагогическихъ факультетовъ; но вѣдь не все же, что за границей, то хорошо. Притомъ же тамъ есть нѣкоторая замѣна этихъ факультетовъ въ учительскихъ семинаріяхъ и въ сильномъ историческомъ направленіи воспитанія, а у насъ оно такъ же не пустило корней, какъ растеніе, которое дитя посадило и постоянно выдергиваетъ, чтобы пересадить на другое мѣсто, не рѣшаясь, какое выбрать.

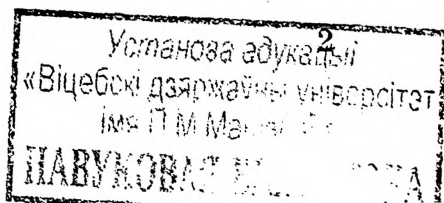
Однакоже, еще замѣтитъ намъ читатель, такое младенчество педагогики и несовершенство тѣхъ наукъ, изъ которыхъ она должна черпать свои правила, не помѣшали же воспитанію дѣлать свое дѣло и давать очень часто, если не всегда, хорошіе, а нерѣдко и блестящіе результаты? Вотъ въ этомъ-то послѣднемъ мы очень сомнѣваемся. Мы не такіе пессимисты, чтобы называть абсолютно дурнымъ

всякіе порядки современной жизни, но и не такіе оптимисты, чтобы не видѣть, что насъ до сихъ поръ заѣдаетъ безчисленное множество нравственныхъ и физическихъ страданій, пороковъ, извращенныхъ наклонностей, вредныхъ заблужденій и тому подобныхъ золъ, отъ которыхъ, очевидно, могло бы насъ избавить одно хорошее воспитаніе. Кромѣ того, мы увѣрены, что воспитаніе, совершенствуясь, можетъ далеко раздвинуть предѣлы человѣческихъ силъ: физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ. По крайней мѣрѣ на эту возможность ясно указываютъ и фізіологія, и психологія.

Здѣсь, можетъ быть, опять нападаетъ на читателя сомнѣніе въ томъ, чтобы отъ воспитанія можно было ожидать существенныхъ пере-мѣнъ въ общественной нравственности. Развѣ мы не видимъ примѣровъ, что отличное воспитаніе сопровождалось часто самыми печальными результатами? Развѣ мы не видимъ, что изъ-подъ фѣрулы у отличныхъ воспитателей выходили иногда самые дурные люди? Развѣ Сенека не воспиталъ Нерона? Но кто же намъ сказалъ, что это воспитаніе было дѣйствительно хорошо, и что эти воспитатели были дѣйствительно хорошіе воспитатели? Что же касается до Сенеки, то если онъ не удержалъ своей болтливости и не читалъ Нерону тѣ же моральныя сентенціи, которыми подарилъ потомство, то мы можемъ прямо сказать, что самъ же Сенека былъ одною изъ главныхъ причинъ ужасной нравственной порчи своего страшнаго воспитанника. Такими сентенціями можно убить въ ребенкѣ, особенно если у него натура живая, всякую возможность развитія нравственнаго чувства, и такую ошибку очень можетъ сдѣлать воспитатель, незнакомый съ физическими и психическими свойствами человѣческой природы. Никто не искоренитъ въ насъ твердой вѣры въ то, что придетъ время, хотя можетъ быть и не скоро, когда потомки наши будутъ съ удивленіемъ вспоминать, какъ мы долго пренебрегали дѣломъ воспитанія и какъ много страдали отъ этой небрежности.

Мы указали выше на одну несчастную сторону обычныхъ понятій о воспитательномъ искусствѣ, а именно на то, что оно для многихъ кажется съ перваго взгляда дѣломъ понятнымъ и легкимъ; теперь же намъ приходится указать на столь же несчастную и еще болѣе вредную наклонность. Весьма часто мы замѣчаемъ, что люди, подающіе намъ воспитательныя совѣты и начертывающіе воспитательныя идеалы или для своихъ воспитанниковъ, или для своей родины, или вообще для всего человѣчества, втайнѣ срисовываютъ эти идеалы съ самихъ себя; такъ что всю воспитательную проповѣдь подобнаго проповѣдника можно выразить въ нѣсколькихъ словахъ: „воспитывайте дѣ-

552161



тей такъ, чтобы они походили на меня, и вы дадите имъ *отличное* воспитаніе; я же достигъ подобнаго совершенства такими-то и такими-то средствами, а потому вотъ вамъ и готовая программа воспитанія!“ Дѣло, какъ видите, очень легкое; но только такой проповѣдникъ забываетъ познакомить насъ со своею собственною личностью и своею біографіею. Если же мы сами возьмемъ на себя этотъ трудъ и разъясимъ личную основу его педагогической теоріи, то найдемъ, быть можетъ, что намъ никакъ нельзя вести чистое дитя по тому нечистому пути, по которому прошелъ самъ проповѣдникъ. Источникъ такихъ убѣжденій—отсутствие истиннаго христіанскаго смиренія, не того лживаго, фари́сейскаго смиренія, которое потупляетъ глаза *долу* именно за тѣмъ, чтобы имѣть право *горѣ* вознести свою гордыню, но того, при которомъ человѣкъ, съ глубокою болью въ сердцѣ, сознаетъ всю свою испорченность и всѣ свои скрытые пороки и преступленія своей жизни, сознаетъ даже и тогда, когда толпа, видящая только внѣшнее, а не внутреннее, называетъ эти преступленія безразличными поступками, а иногда и подвигами. Такого полного самосознанія достигаютъ не всѣ и не скоро. Но, приступая къ *святому* дѣлу воспитанія дѣтей, мы должны глубоко сознавать, что наше собственное воспитаніе было далеко не удовлетворительно, что результаты его большею частью печальны и жалки, и что, во всякомъ случаѣ, намъ надо изыскивать средства сдѣлать дѣтей нашихъ лучше насъ.

Какъ бы ни казались обширны требованія, которыя мы дѣлаемъ воспитателю, но эти требованія вполнѣ соотвѣтствуютъ обширности и важности самаго дѣла. Конечно, если видѣть въ воспитаніи только обученіе чтенію и письму, древнимъ и новымъ языкамъ, хронологіи историческихъ событій, географіи и т. п., не думая о томъ, какой цѣли достигаемъ мы при этомъ изученіи и какъ ее достигаемъ, тогда нѣтъ надобности въ спеціальному приготовленіи воспитателей къ своему дѣлу; зато и самое дѣло будетъ идти, какъ оно теперь идетъ, какъ бы мы ни передѣлывали и не перестраивали нашихъ программъ: школа попрежнему будетъ чистилищемъ, черезъ всѣ степени котораго надо пройти человѣку, чтобы добиться того или другаго положенія въ свѣтѣ, а дѣйствительнымъ воспитателемъ будетъ попрежнему жизнь со всѣми своими безобразными случайностями. Практическое значеніе науки въ томъ и состоитъ, чтобы овладѣвать случайностями жизни и покорять ихъ разуму и волѣ человѣка. Наука доставила намъ средство плыть не только по вѣтру, но и противъ вѣтра; не ждать въ ужасѣ громоваго удара, а отводить его; не подчиняться условіямъ разстоянія, но сокращать его паромъ и электричествомъ.

Но, конечно, важнѣе и полезнѣе всѣхъ этихъ открытій и изобрѣтеній, часто не дѣлающихъ человѣка ни на волосъ счастливѣе прежняго, потому что онъ внутри самого себя носитъ многочисленныя причины несчастья, было бы открытiе средствъ къ образованію въ человѣкѣ такого характера, который противостоялъ бы напору всѣхъ случайностей жизни, спасалъ бы человѣка отъ ихъ вреднаго растлѣвающего вліянія и давалъ бы ему возможность извлекать отовсюду только добрые результаты.

Но такъ какъ, безъ сомнѣнія, педагогическіе или антропологическіе факультеты въ университетахъ появятся не скоро, то для выработки дѣйствительной теоріи воспитанія, основанной на началахъ науки, остается одна дорога—дорога литературы, и конечно не одной педагогической литературы въ узкомъ смыслѣ этого слова. Все, что споспѣшествуетъ приобрѣтенію педагогами точныхъ свѣдѣній по всѣмъ тѣмъ *антропологическимъ* наукамъ, на которыхъ основываются правила педагогической теоріи, содѣйствуетъ и выработкѣ ея. Мы полагаемъ, что эта цѣль уже и теперь достигается шагъ за шагомъ, хотя очень медленно и страшно окольными путями. По крайней мѣрѣ, это можно сказать о томъ распространеніи свѣдѣній по естественнымъ наукамъ и въ особенности по физиологіи, котораго нельзя было не замѣтить въ послѣднее время. Еще недавно можно было встрѣтить воспитателей, которые не имѣли даже самыхъ общихъ понятій о главнѣйшихъ физиологическихъ процессахъ, даже такихъ воспитателей и воспитательницъ *ex officio*, которые сомнѣвались въ необходимости чистаго воздуха для организма. Теперь же общія физиологическія свѣдѣнія, болѣе или менѣе ясныя, и полныя встрѣчаются уже вездѣ, и нерѣдко можно найти воспитателей, которые, не будучи ни медиками, ни естествоиспытателями, имѣютъ порядочныя свѣдѣнія изъ анатоміи и физиологіи человѣческаго тѣла, благодаря довольно обширной переводной литературѣ по этому отдѣлу.

Къ сожалѣнію, никакъ нельзя сказать того же о свѣдѣніяхъ психологическихъ, что зависитъ главнымъ образомъ отъ двухъ причинъ: *во-первыхъ*, отъ того, что сама психологія, несмотря на неоднократное заявленіе о вступленіи ея на путь опытныхъ наукъ, еще до сихъ поръ продолжаетъ болѣе строить теоріи, чѣмъ изучать факты и сличать ихъ; *во-вторыхъ*, отъ того, что въ нашемъ общественномъ образованіи давно уже философія и психологія находятся въ забросѣ, что не осталось безъ вредныхъ вліяній на наше воспитаніе и было причиною печальной односторонности во взглядахъ мно-

гихъ воспитателей. Человѣкъ весьма естественно придаетъ большее значеніе тому, что знаетъ, передъ тѣмъ, чего не знаетъ. Въ Германіи и Англіи психологическія свѣдѣнія распространены между воспитателями гораздо болѣе, чѣмъ у насъ. Въ Германіи почти каждый воспитатель знакомъ по крайней мѣрѣ съ психологической теоріей Бенеке; въ Англіи—читалъ Локка и Рида. Кромѣ того, замѣчательно, что въ Англіи гораздо даже болѣе, чѣмъ въ Германіи, издано было разныхъ психологическихъ учебниковъ и популярныхъ психологій; даже преподаваніе психологіи, судя по назначенію различныхъ изданій въ этомъ родѣ, введено въ нѣкоторыя школы. И въ этомъ виденъ какъ вѣрный практической смыслъ англичанъ, такъ и вліяніе великихъ англійскихъ писателей по психологіи. Отчизна Локка не могла отнестись съ пренебреженіемъ къ этой наукѣ. У насъ же воспитатель, сколько-нибудь знакомый съ психологіей, составляетъ весьма рѣдкое исключеніе; а психологическая литература, даже переводная, почти равняется нулю. Конечно, недостатокъ этотъ нѣсколько восполняется тѣмъ, что каждый человѣкъ, сколько-нибудь наблюдавшій надъ собою, уже болѣе или менѣе знакомъ съ душевными процессами; но мы увидимъ далѣе, что эти темныя, безотчетныя, неорганизованныя психологическія знанія далеко не достаточны для того, чтобы ими одними можно было руководиться въ дѣлѣ воспитанія.

Но мало еще имѣть въ своей памяти тѣ факты различныхъ наукъ, изъ которыхъ могутъ возникнуть педагогическія правила: надобно еще сопоставить эти факты лицомъ къ лицу, съ цѣлью допытаться отъ нихъ прямого указанія послѣдствій тѣхъ или другихъ педагогическихъ мѣръ и приемовъ. Каждая наука сама по себѣ только сообщаетъ свои факты, мало заботясь о сравненіи ихъ съ фактами другихъ наукъ и о томъ приложеніи ихъ, которое можетъ быть сдѣлано въ искусствахъ и вообще въ практической дѣятельности. На обязанности же самихъ воспитателей лежитъ извлечь изъ массы фактовъ каждой науки тѣ, которые могутъ имѣть приложеніе въ дѣлѣ воспитанія, отдѣливъ ихъ отъ великаго множества тѣхъ, которые такого приложенія имѣть не могутъ, свести эти избранные факты лицомъ къ лицу и, освѣтивъ одинъ фактъ другимъ, составить изъ всѣхъ удобообозрѣваемую систему, которую безъ большихъ трудовъ могъ бы усвоить каждый педагогъ-практикъ и тѣмъ избѣгать односторонностей, нигдѣ не столь вредныхъ, какъ въ практическомъ дѣлѣ воспитанія.

Но возможно ли уже въ настоящее время, сведя всѣ факты наукъ, приложимые къ воспитанію, построить полную и совершенную теорію

воспитанія? Мы никакъ этого не полагаемъ, потому что науки, на которыхъ должно основываться воспитаніе, далеки еще отъ совершенства. Но неужели людямъ слѣдовало отказаться отъ пользованія желѣзною дорогою на томъ основаніи, что они еще не выучились летать по воздуху? Человѣкъ идетъ въ усовершенствованіяхъ своей жизни не скачками, но постепенно, шагъ за шагомъ, и, не сдѣлавъ предыдущаго шага, не можетъ сдѣлать послѣдующаго. Вмѣстѣ съ усовершенствованіями наукъ будетъ совершенствоваться и воспитательная теорія, если только она, переставъ строить правила, ни на чемъ не основанныя, будетъ постоянно справляться съ наукою въ ея постоянно развивающемся состояніи и каждое свое правило выводить изъ того или другаго факта или сопоставленія многихъ фактовъ, добытыхъ наукою.

Мы не только не думаемъ, чтобы полная и законченная теорія воспитанія, дающая ясные и положительные отвѣты на всѣ вопросы воспитательной практики, была уже возможна, но не думаемъ даже, чтобы одинъ человѣкъ могъ составить такую теорію воспитанія, которая уже дѣйствительно возможна при настоящемъ состояніи человѣческихъ знаній. Можно ли надѣяться, чтобы одинъ и тотъ же человѣкъ былъ столь же глубокимъ фізіологомъ и врачомъ, сколько и глубокимъ психологомъ, историкомъ, філологомъ и т. д.? Пояснимъ это примѣромъ. Въ каждой педагогикѣ существуетъ и теперь отдѣлъ фізическаго воспитанія, правила котораго, чтобы быть сколько-нибудь положительными, точными и вѣрными, должны быть выведены изъ обширнаго и глубокаго знанія анатоміи, фізіологіи и патологіи: иначе они будутъ походить на тѣ безцвѣтные, пустые и бесполезные по своей общности и неопредѣленности, часто противорѣчащіе, а иногда и вредные совѣты, которыми обыкновенно наполняется этотъ отдѣлъ въ общихъ курсахъ педагогики, написанныхъ не врачами. Но не можетъ ли педагогъ заимствовать уже готовые совѣты изъ медицинскихъ сочиненій по гигиенѣ? Это, конечно, возможно; но при томъ условіи, чтобы педагогъ обладалъ самъ такими свѣдѣніями, которыя дали бы ему возможность отнестись критически къ этимъ медицинскимъ совѣтамъ, часто противорѣчащимъ одинъ другому, да кромѣ того необходимо, чтобы и слушатели или слушательницы его обладали такими предварительными свѣдѣніями по физикѣ, химіи, анатоміи и фізіологіи, чтобы могли понять объясненіе правилъ фізическаго воспитанія, основанныхъ на этихъ наукахъ. Положимъ, напримеръ, что педагогу приходится дать совѣтъ, чѣмъ слѣдуетъ кормить младенца, если почему-нибудь онъ не можетъ пользоваться своею

естественною пищею, или какую пищу слѣдуетъ назначить для того, чтобы облегчить ему переходъ отъ груди къ обыкновенной пищѣ. Въ каждой гигиенѣ педагогъ встрѣтитъ различныя мнѣнія: одна совѣтуетъ кашку изъ сухарей, другая ароруть, третья молоко сырое, четвертая кипяченое; одна находитъ необходимымъ подмѣшивать къ молоку воду, другая это находитъ вреднымъ и т. д. На чемъ же остановиться добросовѣстному педагогу, если онъ самъ не медикъ и не знаетъ настолько химіи и фізіологіи, чтобы отдать преимущество одному совѣту передъ другимъ? То же самое и въ дальнѣйшей пищѣ: одна гигиена держится преимущественно мясной, и даетъ мясной бульонъ еще до прорѣза зубовъ; другая находитъ это вреднымъ; третья предпочитаетъ пищу растительную и не отворачивается даже отъ картофеля, на который четвертая смотритъ съ ужасомъ. Тѣ же противорѣчія относительно температуры ваннъ и комнатъ. Въ германскихъ закрытыхъ заведеніяхъ дѣти спятъ при 5° тепла и ниже, ѣдятъ картофель, и здоровы. Казалось бы, что у насъ слѣдуетъ еще болѣе, чѣмъ въ Германіи, приучать дѣтей къ холоду и, держа низкую температуру въ комнатахъ и особенно въ спальняхъ, смягчать ту страшную рѣзкость переходовъ, которую выдерживаютъ наши легкія, переходя изъ 15° тепла въ 20° мороза; но мы положительно думаемъ, что если бы вздумали въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ держать дѣтей въ такой же холодной спальнѣ, какъ, на примѣръ, у Стоя въ Іенѣ, то подвергли бы ихъ серьезной опасности, особенно, если бы имъ при этомъ давали и ту же пищу. Но можемъ ли мы чѣмъ-нибудь мотивировать наше мнѣніе? Неужели ограничиться намъ словомъ „кажется“ или „мы убѣждены“? Кто же обязывается раздѣлять наши убѣжденія, которыхъ мы не можемъ основать на точныхъ физическихъ и фізіологическихъ законахъ или, по крайней мѣрѣ, на опытности, опирающейся на долгую медицинскую практику?

Вотъ почему мы, не обладая спеціальными свѣдѣніями въ медицинѣ, вовсе удержались въ нашей книгѣ отъ подачи совѣтовъ по физическому воспитанію, кромѣ тѣхъ общихъ, для которыхъ мы имѣли достаточныя основанія. Въ этомъ отношеніи педагогика должна ожидать еще важныхъ услугъ отъ педагоговъ-спеціалистовъ въ медицинѣ. Но не одни педагоги-спеціалисты въ анатоміи, фізіологіи и патологіи могутъ, изъ области своихъ спеціальныхъ наукъ, оказать важную услугу всемірному и вѣчно-совершающемуся дѣлу воспитанія. Подобной же услуги слѣдуетъ ожидать, на примѣръ, отъ историковъ и филологовъ. Только педагогъ-историкъ можетъ уяснить намъ вліяніе общества, въ его историческомъ развитіи, на воспитаніе и

вліяніе воспитанія на общество, не гадательно только, какъ дѣлается это теперь почти во всѣхъ всеобъемлющихъ германскихъ педагогикахъ, но основывая всякое положеніе на точномъ и подробномъ изученіи фактовъ. Точно такъ же отъ педагоговъ-спеціалистовъ по филологіи слѣдуетъ ожидать, что они фактически обработаютъ важный отдѣлъ въ педагогикѣ, показавъ намъ, какъ совершалось и совершается развитіе человѣка въ области слова: насколько психическая природа человѣка отразилась въ словѣ и насколько слово, въ свою очередь, имѣло и имѣетъ вліяніе на развитіе души.

Но и наоборотъ: медикъ, историкъ, филологъ могутъ принести непосредственную пользу дѣлу воспитанія только въ томъ случаѣ, если они не только спеціалисты, но и педагоги: если педагогическіе вопросы предшествуютъ въ ихъ умѣ всѣмъ ихъ изысканіямъ, если они, кромѣ того, хорошо знакомы съ фізіологіей, психологіей и логикой—этими тремя главными основами педагогики.

Изъ всего, что нами сказано, мы можемъ сдѣлать слѣдующій выводъ:

Педагогика—не наука, а искусство: самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое изъ всѣхъ искусствъ. Искусство воспитанія опирается на науку. Какъ искусство сложное и обширное, оно опирается на множество обширныхъ и сложныхъ наукъ; какъ искусство, оно, кромѣ знаній, требуетъ способности и склонности, и, какъ искусство же, оно стремится къ идеалу, вѣчно достигаемому и никогда вполне не достижимому: къ идеалу совершеннаго человѣка. Споспѣшествовать развитію искусства воспитанія можно только вообще распространеніемъ между воспитателями тѣхъ разнообразнѣйшихъ *антропологическихъ* знаній, на которыхъ оно основывается. Достигать этого было бы правильнѣе устройствомъ особыхъ факультетовъ, конечно, не для приготовленія всѣхъ учителей, въ которыхъ нуждается та или другая страна, но для развитія самого искусства и приготовленія тѣхъ лицъ, которыя или своими сочиненіями, или прямымъ руководствомъ могли бы распространять въ массѣ учителей необходимыя для воспитателей познанія и оказывать вліяніе на формировку правильныхъ педагогическихъ убѣжденій какъ между воспитателями и наставниками, такъ и въ обществѣ. Но такъ какъ педагогическихъ факультетовъ мы долго не дождемся, то остается одинъ путь для развитія правильныхъ идей воспитательнаго искусства—путь литературный, гдѣ каждый изъ области своей науки содѣйствовалъ бы великому дѣлу воспитанія.

Но если нельзя требовать отъ воспитателя, чтобы онъ былъ

специалистомъ во всѣхъ тѣхъ наукахъ, изъ которыхъ могутъ быть почерпаемы основанія педагогическихъ правилъ, то можно и должно требовать, чтобы ни одна изъ этихъ наукъ не была ему совершенно чуждою, чтобы по каждой изъ нихъ онъ могъ понимать, по крайней мѣрѣ, популярныя сочиненія, и стремился, насколько можетъ, приобрѣсть *всестороннія* свѣдѣнія о человѣческой природѣ, за воспитаніе которой берется.

Ни въ чемъ, можетъ быть, *одностороннее* направленіе знаній и мышленія такъ не вредно, какъ въ педагогической практикѣ. Воспитатель, который глядитъ на человѣка сквозь призму фізіологіи, патологіи, психіатріи, такъ же дурно понимаетъ, что такое человѣкъ и каковы потребности его воспитанія, какъ и тотъ, кто изучилъ бы человѣка только въ великихъ произведеніяхъ искусствъ и великихъ историческихъ дѣяніяхъ, и смотрѣлъ бы на него вообще сквозь призму великихъ, совершенныхъ имъ дѣлъ. Политико-экономическая точка зрѣнія, безъ сомнѣнія, тоже очень важна для воспитанія; но какъ бы ошибся тотъ, кто смотрѣлъ бы на человѣка только какъ на экономическую единицу—на производителя и потребителя цѣнностей! Историкъ, изучающій только великія или по крайней мѣрѣ крупныя дѣянія народовъ и замѣчательныхъ людей, не видитъ частныхъ, но тѣмъ не менѣе глубокихъ страданій человѣка, которыми куплены всѣ эти громкія и нерѣдко бесполезныя дѣла. Односторонній філологъ еще менѣе способенъ быть хорошимъ воспитателемъ, чѣмъ односторонній фізіологъ, экономистъ, историкъ. Не односторонность ли філологическаго образованія, преобладавшая до новѣйшаго времени во всѣхъ школахъ Западной Европы, пустила въ ходъ безчисленное множество чужихъ, плохо переваренныхъ фразъ, которыя, обращаясь теперь между людьми, вмѣсто дѣйствительныхъ, глубоко сознанныхъ идей, затрудняютъ оборотъ человѣческаго мышленія, какъ фальшивая монета затрудняетъ обороты торговли? Сколько глубокихъ идей древности пропадаетъ теперь даромъ именно потому, что человѣкъ заучиваетъ ихъ прежде, чѣмъ бываетъ въ состояніи ихъ понять, и такъ пріучается употреблять ихъ ложно и бессмысленно, что потомъ рѣдко добирается до ихъ истиннаго смысла. Такія великія, но чужія мысли несравненно бесполезнѣе хотя маленькихъ, да своихъ. Не отъ того ли и самый языкъ современной литературы уступаетъ въ точности и выразительности языку древнихъ, что мы учимся говорить почти единственно изъ книгъ и пробавляемся чужими фразами, тогда какъ слово древняго писателя выросло изъ его собственной мысли, а мысль—изъ непосредственнаго наблюденія надъ природой, другими

людьми и самимъ собою? Мы не оспариваемъ великой пользы филологическаго образованія, но показываемъ только вредъ его односторонности. Слово хорошо тогда, когда оно вѣрно выражаетъ мысль; а вѣрно выражаетъ оно мысль тогда, когда вырастаетъ изъ нея, какъ кожа изъ организма, а не надѣвается, какъ перчатка, сшитая изъ чужой кожи. Мысль же современнаго писателя часто бьется во множествѣ вычитанныхъ имъ фразъ, которыя для нея или слишкомъ узки, или слишкомъ широки. Языкъ, конечно, есть одинъ изъ могущественнѣйшихъ воспитателей человѣка; но онъ не можетъ замѣнить собою знаній, извлекаемыхъ прямо изъ наблюденій и опытовъ. Правда, языкъ ускоряетъ и облегчаетъ пріобрѣтеніе такихъ знаній; но онъ же можетъ и помѣшать ему, если вниманіе человѣка слишкомъ рано и преимущественно было обращено не на содержаніе, а на форму мысли, да при томъ еще мысли чужой, до пониманія которой, можетъ быть, еще и не доросъ учащійся. Не умѣть хорошо выражать своихъ мыслей—недостатокъ; но не имѣть самостоятельныхъ мыслей—еще гораздо большій; самостоятельныя же мысли вытекаютъ только изъ самостоятельно же пріобрѣтаемыхъ знаній. Кто не предпочтетъ человѣка, обогащеннаго фактическими свѣдѣніями и мыслящаго самостоятельно и вѣрно, хотя выражающагося съ трудомъ, человѣку, у котораго способность говорить обо всемъ чужими фразами, хотя бы взятыми даже изъ лучшихъ классическихъ писателей, далеко переросла и количество знаній, и глубину мышленія? Если же безконечный споръ о преимуществахъ реальнаго и классическаго образованій длится еще до сихъ поръ, то только потому, что самый вопросъ этотъ поставленъ невѣрно и факты для его рѣшенія отыскиваются не тамъ, гдѣ ихъ должно искать. Не о преимуществахъ этихъ двухъ направленій въ образованіи, а о гармоническомъ ихъ соединеніи слѣдовало бы говорить, и искать средствъ этого соединенія въ душевной природѣ человѣка.

Воспитатель долженъ стремиться узнать человѣка, *каковъ онъ есть въ дѣйствительности*, со всѣми его слабостями и во всемъ его величій, со всѣми его буднишними, мелкими нуждами и со всѣми его великими духовными требованіями. Воспитатель долженъ знать человѣка въ семействѣ, въ обществѣ, среди народа, среди челоѣчества и наединѣ со своею совѣстью; во всѣхъ возрастахъ, во всѣхъ классахъ, во всѣхъ положеніяхъ, въ радости и горѣ, въ величій и униженіи, въ избыткѣ силъ и въ болѣзни, среди неограниченныхъ надеждъ и на одрѣ смерти, когда слово *человѣческаго* утѣшенія уже бессильно. Онъ долженъ знать побудительныя

причины самых грязныхъ и самыхъ высокихъ дѣяній, исторію зарожденія преступныхъ и великихъ мыслей, исторію развитія всякой страсти и всякаго характера. Тогда только будетъ онъ въ состояніи почерпнуть въ самой природѣ человѣка средства воспитательнаго вліянія,—а средства эти громадны!

Мы сохраняемъ твердое убѣжденіе, что великое искусство воспитанія едва только начинается, что мы стоимъ еще въ преддверіи этого искусства и не вошли въ самый храмъ его, и что до сихъ поръ люди не обратили на воспитаніе того вниманія, какого оно заслуживаетъ. Много ли насчитываемъ мы великихъ мыслителей и ученыхъ, посвятившихъ свой геній дѣлу воспитанія? Кажется люди думали обо всемъ, кромѣ воспитанія, искали средствъ величія и счастья вездѣ, кромѣ той области, гдѣ скорѣе всего ихъ можно найти. Но уже теперь видно, что наука созрѣваетъ до той степени, когда взоръ человѣка невольно будетъ обращенъ на воспитательное искусство.

Читая физиологію, на каждой страницѣ мы убѣждаемся въ обширной возможности дѣйствовать на физическое развитіе индивида, а еще болѣе—на послѣдовательное развитіе человѣческой расы. Изъ этого источника, только что открывающагося, воспитаніе почти еще и не черпало. Пересматривая психическіе факты, добытые въ разныхъ теоріяхъ, мы поражаемся едва ли еще не болѣе обширною возможностью имѣть громадное вліяніе на развитіе ума, чувства и воли въ человѣкѣ, и точно такъ же поражаемся ничтожностью той доли изъ этой возможности, которою уже воспользовалось воспитаніе.

Посмотрите на одну силу привычки: чего нельзя сдѣлать изъ человѣка съ одною этою силою? Посмотрите хотя на то, на примѣръ, что дѣлали ея спартанцы изъ своихъ молодыхъ поколѣній, и узнайте, что современное воспитаніе пользуется едва малѣйшею частицею этой силы. Конечно, спартанское воспитаніе было бы теперь нелѣпостью, не имѣющей цѣли; но развѣ не нелѣпость то изнѣженное воспитаніе, которое сдѣлало насъ и дѣлаетъ нашихъ дѣтей доступными для тысячи неестественныхъ, но тѣмъ не менѣе мучительныхъ страданій и заставляетъ тратить благородную жизнь человѣка на приобрѣтеніе мелкихъ удобствъ жизни? Конечно, страненъ спартанецъ, жившій и умиравшій только для славы Спарты; но что вы скажете о жизни, которая вся была бы убита на приобрѣтеніе роскошной мебели, покойныхъ экипажей, бархатовъ, кисей, тонкихъ суконъ, благовонныхъ сигаръ, модныхъ шляпокъ? Не ясно ли, что воспитаніе, стремящееся только къ обогащенію человѣка и вмѣстѣ

съ тѣмъ плодящее его нужды и прихоти, беретъ на себя трудъ Данаидъ?

Изучая процессъ памяти, мы увидимъ, какъ безсовѣстно еще обращается съ нею наше воспитаніе, какъ валить оно туда всякій хламъ и радуется, если изъ ста брошенныхъ туда свѣдѣній одно какъ-нибудь уцѣлѣетъ; тогда какъ воспитатель собственно не долженъ бы давать воспитаннику ни одного свѣдѣнія, на сохраненіе котораго онъ не можетъ рассчитывать. Какъ мало еще сдѣлала педагогика для облегченія работы памяти— мало и въ своихъ программахъ, и въ своихъ методахъ, и въ своихъ учебникахъ! Всякое учебное заведеніе жалуется теперь на множество предметовъ ученія, — и дѣйствительно ихъ слишкомъ много, если принять въ расчетъ ихъ педагогическую обработку и методу преподаванія; но ихъ слишкомъ мало, если смотрѣть на безпрестанно разрастающуюся массу свѣдѣній человѣчества. Гербартъ, Спенсеръ, Контъ и Милль весьма основательно доказываютъ, что нашъ учебный матеріалъ долженъ подвергнуться сильному пересмотру, а программы наши должны быть до основанія передѣланы. Но и въ отдѣльности ни одинъ учебный предметъ далеко не получилъ еще той педагогической обработки, къ которой онъ способенъ, что болѣе всего зависитъ отъ ничтожности и шаткости нашихъ свѣдѣній о душевныхъ процессахъ. Изучая эти процессы, нельзя не видѣть возможности дать человѣку съ обыкновенными способностями, и дать прочно, въ десять разъ болѣе свѣдѣній, чѣмъ получаетъ теперь самый талантливый, тратя драгоценную силу памяти на приобрѣтеніе тысячи знаній, которыя потомъ позабудетъ безъ слѣда. Не умѣя обращаться съ памятью человѣка, мы утѣшаемъ себя мыслию, что дѣло воспитанія—только *развить умъ*, а не наполнить его свѣдѣніями; но психологія обличаетъ ложь отъ этого утѣшенія, показывая, что самый умъ есть не что иное, какъ хорошо организованная система знаній.

Но если неумѣнье наше учить дѣтей велико, то еще гораздо больше наше неумѣнье дѣйствовать на образованіе въ нихъ душевныхъ чувствъ и характера. Тутъ мы положительно бродимъ впотьмахъ, тогда какъ наука предвидитъ уже полную возможность внести свѣтъ сознанія и разумную волю воспитателя и въ эту доселѣ почти недоступную область.

Еще менѣе, чѣмъ душевными чувствами, если возможно, умѣемъ мы пользоваться *волею* человѣка— этимъ могущественнѣйшимъ рычагомъ, который можетъ измѣнять не только душу, но и тѣло съ его вліяніями на душу. Гимнастика, какъ система произвольныхъ

движеній, направленныхъ къ цѣлесообразному измѣненію физическаго организма, только еще начинается, и трудно видѣть предѣлы возможности ея вліянія не только на укрѣпленіе тѣла и развитіе тѣхъ или другихъ его органовъ, но и на предупрежденіе болѣзней и даже излѣченіе ихъ. Мы думаемъ, что недалеко то время, когда гимнастика окажется могущественнѣйшимъ медицинскимъ средствомъ даже въ глубокихъ внутреннихъ болѣзняхъ. А что же такое гимнастическое лѣченье и воспитаніе физическаго организма, *какъ не воспитаніе и лѣченье его волею человека?* Направляя физическія силы организма къ тому или другому органу тѣла, воля передѣлываетъ тѣло или излѣчиваетъ его болѣзни. Если же мы примемъ во вниманіе тѣ чудеса настойчивости воли и силы привычки, которыя такъ бесполезно расточаются, на примѣръ, индѣйскими фокусниками и факирами, то увидимъ, какъ еще мало пользуемся мы властью нашей воли надъ тѣлеснымъ организмомъ.

Словомъ, во всѣхъ областяхъ воспитанія мы стоимъ только при началѣ великаго искусства, тогда какъ *факты* науки указываютъ на возможность для него самой блестящей будущности, и можно надѣяться, что человѣчество, наконецъ, устанетъ гнаться за внѣшними удобствами жизни и пойдетъ создавать гораздо прочнѣйшія удобства въ самомъ человѣкѣ, убѣдившись, не на словахъ только, а на дѣлѣ, что главные источники нашего счастья и величія не въ вещахъ и порядкахъ, насъ окружающихъ, а въ насъ самихъ.

Выставивъ взглядъ нашъ на искусство воспитанія, на теорію этого искусства, на его блѣдное настоящее, на его необъятное будущее и на то, какими средствами могла бы мало-по-малу вырабатываться и совершенствоваться воспитательная теорія, мы тѣмъ самымъ показали уже, какъ мы далеки отъ мысли дать въ нашей книгѣ не только такую теорію воспитанія, которую мы считали бы совершенною, но даже и такую, которую считаемъ уже возможною въ настоящее время, если бы составитель ея былъ основательно знакомъ со всѣми разнообразными науками, на которыхъ она должна строить свои правила. Наша задача не такъ обширна, и мы выяснимъ всю ея ограниченность, если расскажемъ, какъ и для чего задумали нашъ трудъ.

Лѣтъ восемь тому назадъ педагогическія идеи оживились у насъ съ такою силою, какой нельзя было и ожидать, принявъ въ расчетъ почти совершенное отсутствіе педагогической литературы до того времени. Мысль о народной школѣ, которая удовлетворяла бы потребностямъ народа, вступавшаго въ новый періодъ своего существованія, пробудилась повсемѣстно. Нѣсколько педагогическихъ журналовъ, по-

явившихся почти одновременно, находили себѣ читателей; въ журналахъ обще-литературныхъ педагогическія статьи появлялись безпрестанно и занимали видное мѣсто; повсюду писались и обсуждались проекты различныхъ реформъ по общественному образованію, даже въ семействахъ гораздо чаще стали слышаться педагогическія бесѣды и споры. Читая педагогическіе проекты разнаго рода и статьи, присутствуя при обсужденіи педагогическихъ вопросовъ въ различныхъ собраніяхъ, прислушиваясь къ частнымъ спорамъ, мы пришли къ убѣжденію, что всѣ эти толки, споры, проекты, журнальныя статьи выиграли бы много въ основательности, если бы придавали одно и то же значеніе психологическимъ и отчасти фізіологическимъ и философскимъ терминамъ, которые въ нихъ безпрестанно повторялись. Намъ казалось, что иное педагогическое недоразумѣніе или горячій педагогическій споръ могли бы легко быть рѣшены, если бы, употребляя слова: *разсудокъ, воображеніе, память, вниманіе, сознаніе, чувство, привычка, навыкъ, развитіе, воля* и т. д., согласились сначала въ томъ, что разумѣть подъ этими словами. Иногда было совершенно очевидно, что изъ спорящихъ сторонъ одна понимаетъ подъ словомъ *память*, на примѣръ, то же самое, что другая подъ словомъ *разсудокъ* или *воображеніе*, и обѣ употребляютъ эти слова какъ совершенно извѣстныя, заключающія въ себѣ точно опредѣленное понятіе. Словомъ, пробудившаяся тогда педагогическая мысль обнаружила существенное упущеніе въ нашемъ общественномъ образованіи, а также и въ нашей литературѣ, которая могла бы дополнить образованіе. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что литература наша въ то время не имѣла ни одного сколько-нибудь основательнаго психологическаго сочиненія, ни оригинальнаго, ни переводнаго, а въ журналахъ психологическая статья была рѣдкостью, и при томъ рѣдкостью незанимательною для читателей, ничѣмъ не подготовленныхъ къ такому чтенію. Тогда пришло намъ на мысль: нельзя ли внести въ наше только что пробуждающееся педагогическое мышленіе сколько возможно точное и ясное пониманіе тѣхъ психическихъ и психо-фізическихъ явленій, въ области которыхъ это мышленіе необходимо должно вращаться? Предварительныя занятія философіею и отчасти психологіею, а потомъ педагогикою давали намъ поводъ думать, что мы можемъ *до нѣкоторой степени* способствовать удовлетворенію этой потребности и хотя *начать* разъясненіе тѣхъ основныхъ идей, около которыхъ необходимо вращаются всякія воспитательныя соображенія.

Но какъ это сдѣлать? Перенести къ намъ цѣликомъ одну изъ

психологическихъ теорій Запада мы не могли, ибо сознавали односторонность каждой изъ нихъ и что во всѣхъ ихъ есть своя доля правды и ошибки, своя доля вѣрныхъ выводовъ изъ фактовъ и ни на чемъ не основанныхъ фантазій. Мы пришли къ убѣжденію, что всѣ эти теоріи страдаютъ теоретическою самонадѣянностью, объясняя то, чего еще нѣтъ возможности объяснить, ставя вредный призракъ знанія тамъ, гдѣ слѣдуетъ сказать еще простое *не знаю*, строя головомные и утлые мосты черезъ неизвѣданные еще пропасти, на которыя слѣдовало просто только указать, и, словомъ, даютъ читателю за нѣсколько вѣрныхъ и потому полезныхъ знаній столько же, если не болѣе, ложныхъ и потому вредныхъ фантазій. Намъ казалось, что всѣ эти теоретическія увлеченія, *совершенно необходимыя* въ процессѣ образованія науки, должны быть оставлены, когда приходится пользоваться результатами, добытыми наукою, для приложенія ихъ къ практической дѣятельности. Теорія можетъ быть односторонняя, и эта односторонность ея даже бываетъ очень полезна, освѣщая особенно ту сторону предмета, которую другія оставляли въ тѣни; но практика должна быть по возможности всесторонняя. „Идеи мирно уживаются въ головѣ; но вещи тяжело сталкиваются въ жизни“, говоритъ Шиллеръ, и если намъ приходится не разрабатывать науку, а имѣть дѣло съ дѣйствительными предметами дѣйствительнаго міра, то часто мы бываемъ вынуждены поступаться своими теоріями требованіямъ дѣйствительности, въ уровень которой не выросла еще ни одна психологическая система. Въ педагогикахъ, написанныхъ психологами, каковы педагогики Гербарта и Бенеке, мы часто съ поразительной ясностью можемъ наблюдать это столкновение психологической теоріи съ педагогическою дѣйствительностью.

Сознавая все это, мы задумали изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ психологическихъ теорій взять только то, что казалось намъ несомнѣннымъ и фактически вѣрнымъ, снова провѣрить взятые факты внимательнымъ и общедоступнымъ самонаблюденіемъ и анализомъ, дополнить новыми наблюденіями, если это гдѣ-нибудь окажется по нашимъ силамъ, оставить откровенные пробѣлы вездѣ, гдѣ факты молчатъ, а если гдѣ для группировки фактовъ и уясненія ихъ понадобится гипотеза, то, избравъ наиболѣе распространенную и вѣроятную, отмѣтить ее вездѣ не какъ достовѣрный фактъ, а какъ гипотезу. При всемъ этомъ мы полагали опираться на *собственное сознание* нашихъ читателей—*ultimum argumentum* въ психологіи, передъ которымъ безсильны всякіе авторитеты, хотя бы они были сзаглавлены громкими именами Аристотеля, Декарта, Бэкона, Локка.

Изъ психическихъ явленій мы полагали останавливаться преимущественно на тѣхъ, которыя имѣютъ большее значеніе для педагога, прибавить тѣ изъ фізіологическихъ фактовъ, которые необходимы для уясненія психическихъ; словомъ, мы тогда еще задумали и начали готовить „Педагогическую Антропологию“. Мы думали кончить этотъ трудъ года въ два, но, отрываемые отъ нашихъ занятій различными обстоятельствами, только теперь выпускаемъ въ свѣтъ первый томъ, и то далеко не въ томъ видѣ, который бы удовлетворялъ насъ. Но что же дѣлать? Можетъ быть, если бы мы снова принялись его исправлять и перерабатывать, то никогда бы и не издали. Всякій даетъ, что можетъ дать по своимъ силамъ и по своимъ обстоятельствамъ. Впрочемъ, мы рассчитываемъ на снисходительность читателя, если онъ вспомнитъ, что это первый трудъ въ такомъ родѣ—первая попытка не только въ нашей, но и въ общей литературѣ, по крайней мѣрѣ, насколько она намъ извѣстна: а первый блинъ всегда бываетъ комомъ; но безъ перваго не будетъ второго.

Правда, Гербартъ, а потомъ Бенеке пытались уже вывести педагогическую теорію прямо изъ психологическихъ основаній; но этимъ основаніемъ были ихъ собственныя теоріи, а не психологическіе несомнѣнные факты, добытые всѣми теоріями. Педагогики Гербарта и Бенеке—скорѣе добавленія къ ихъ психологіи и метафизикѣ, и мы увидимъ, къ какимъ натяжкамъ часто велъ такой образъ дѣйствія. Мы же задали себѣ задачу безъ всякой предвзятой теоріи, насколько возможно точнѣе изучить тѣ психическія явленія, которыя имѣютъ наибольшее значеніе для педагогической дѣятельности. Другой недостатокъ въ педагогическихъ приложеніяхъ Гербарта и Бенеке тотъ, что они совершенно почти выпустили изъ виду явленія фізіологическія, которыхъ, по ихъ тѣсной, неразрывной связи съ явленіями психическими, выпустить невозможно. Мы же безразлично пользовались какъ психологическимъ самонаблюденіемъ, такъ и фізіологическими наблюденіями, имѣя въ виду одно — объяснить, сколь возможно, тѣ психическія и психо-фізическія явленія, съ которыми имѣетъ дѣло воспитатель.

Правда также, что педагогика Карла Шмидта опирается и на фізіологию, и на психологию, и еще болѣе на первую, чѣмъ на послѣднюю; но въ этомъ замѣчательномъ сочиненіи данъ такой разгулъ германской ученой мечтательности, что въ немъ менѣе фактовъ, чѣмъ поэтическихъ увлеченій разнообразнѣйшими надеждами, вызванными наукою, но далеко еще не осуществившимися. Читая эту книгу, часто кажется, что слышишь бредъ германской

науки, гдѣ могучее слово многосторонняго знанія едва прорывается сквозь тучу фантазій—гегелизма, шеллингизма, матерьялизма, френологическихъ призраковъ.

Можетъ быть названіе нашего труда, „*Педагогическая Антропология*“, не вполне соответствуетъ его содержанию, и во всякомъ случаѣ далеко обширнѣе того, что мы можемъ дать; но точность названія, равно какъ и научная стройность системы, насъ мало занимали. Мы всему предпочитали ясность изложенія, и если намъ удалось объяснить сколько-нибудь тѣ психическія и психо-физическія явленія, за объясненіе которыхъ мы взялись, то и этого уже съ насъ довольно. Нѣтъ ничего легче, какъ разгородить стройную систему, озаглавивъ каждую изъ ея клѣтокъ то римскими и арабскими цифрами, то буквами всѣхъ возможныхъ азбукъ; но подобныя системы изложенія всегда казались намъ не только бесполезными, но вредными путями, которыя писатель добровольно и совершенно напрасно надѣваетъ самъ на себя, обязываясь впередъ наполнить всѣ эти клѣтки, хотя въ иную, за неимѣніемъ дѣйствительнаго матерьяла, не оставалось бы помѣстить ничего, кромѣ пустыхъ фразъ. Такія стройныя системы часто платятъ за свою стройность истиною и пользою. Кромѣ того, если и возможно такое догматическое изложеніе, то только въ томъ случаѣ, когда авторъ задался уже предвзятою, вполне законченною теоріею, *знаетъ все*, что относится къ его предмету, ни въ чемъ не сомнѣвается самъ и, постигнувъ альфу и омегу своей науки, начинаетъ поучать ей своихъ читателей, которые должны только стараться уразумѣть то, что говоритъ авторъ. Мы же думали—и вѣроятно читатель согласится съ нами,—что такой способъ изложенія невозможенъ еще ни для психологій, ни для физиологій, и что надобно быть большимъ мечтателемъ, чтобы считать эти науки законченными и думать, что можно уже безъ натяжки вывести всѣ ихъ положенія изъ одного основнаго принципа.

Подробности методы, которой мы придерживаемся при изученіи психическихъ явленій, изложены нами въ той главѣ, гдѣ мы переходимъ отъ физиологій къ психологій (Т. I, гл. XVIII). Здѣсь же намъ слѣдуетъ сказать еще нѣсколько словъ о томъ, какъ мы пользовались различными психологическими теоріями.

Мы старались не быть пристрастными ни къ одной изъ нихъ и брали хорошо описанный психическій фактъ или объясненіе его, казавшееся намъ наиболѣе удачнымъ, не разбирая, гдѣ мы его находили. Мы не стѣснялись брать его у Гегеля или гегелианцевъ, не обращая вниманія на ту дурную славу, которою гегелизмъ расплачи-

вается теперь за прежній, отчасти мишурный блескъ. Мы не стѣснялись также заимствовать и у материалистовъ, несмотря на то, что считаемъ ихъ систему столь же одностороннею, какъ и идеализмъ. Вѣрная мысль на страницахъ сочиненій Спенсера нравилась намъ болѣе, чѣмъ великолѣпная фантазія, встрѣчающаяся у Платона. Аристотелю мы обязаны за очень многія мѣткія описанія психическихъ явленій; но и это великое имя не связывало насъ нигдѣ и должно было вездѣ уступать дорогу нашему собственному сознанію и сознанію нашихъ читателей—этому свидѣтельству „паче всего міра“. Декартъ и Бэконъ, эти двѣ личности, отдѣлившія новое мышленіе отъ средневѣковаго, имѣли большое вліяніе на ходъ нашихъ идей: индуктивная метода послѣдняго привела насъ неудержимо къ дуализму перваго. Мы знаемъ очень хорошо, какъ ославленъ теперь картезіанскій дуализмъ; но если онъ единственно могъ объяснить намъ то или другое психическое явленіе, то мы не видѣли причины, почему бы не должны были пользоваться могучею помощью этого взгляда, когда наука не дала намъ еще ничего, чѣмъ мы могли бы его замѣнить. Мы вовсе не сочувствуемъ восточному міросозерцанію Спинозы, но нашли, что никто лучше его не очертилъ человѣческихъ страстей. Мы очень многимъ обязаны Локку, но не затруднялись стоять на сторонѣ Канта тамъ, гдѣ онъ до очевидности ясно показываетъ невозможность такого опытнаго происхожденія нѣкоторыхъ идей, на которое указываетъ Локкъ. Кантъ былъ для насъ великимъ мыслителемъ, но не психологомъ, хотя въ его „Антропологии“ мы нашли много мѣткихъ психическихъ наблюденій. Въ Гербартѣ мы видѣли великаго психолога, но увлеченнаго германскою мечтательностью и метафизическою системою Лейбница, которая нуждается въ слишкомъ многихъ гипотезахъ, чтобы держаться. Въ Бенеке мы нашли удачнаго популяризатора гербартовскихъ идей, но ограниченнаго систематика. Джону Стюарту Миллю мы обязаны многими свѣтлыми взглядами, но не могли не замѣтить ложной метафизической подкладки въ его „Логикѣ“. Бэнъ также уяснилъ намъ много психическихъ явленій; но его теорія душевныхъ токовъ показалась намъ вполне несостоятельною. Такимъ образомъ мы отовсюду брали, что намъ казалось вѣрнымъ и яснымъ, никогда не стѣняясь тѣмъ, какое имя носить источникъ, и хорошо ли онъ звучитъ въ ушахъ той или другой изъ современныхъ метафизическихъ партій¹⁾. Но ка-

¹⁾ Сначала мы полагали представить въ предисловіи къ нашей книгѣ разборъ замѣчательнѣйшихъ психологическихъ теорій, но, написавъ нѣкоторые изъ нихъ, увидѣли, что намъ пришлось бы вдвое увеличить книгу и безъ того

кова же наша собственная теорія? спросятъ насъ. Никакой, отвѣтимъ мы, если ясное стремленіе предпочитать вездѣ фактъ не можетъ дать нашей теоріи названія фактической. Мы шли вездѣ за фактами и насколько вели насъ факты: гдѣ факты переставали говорить, тамъ ставили гипотезу—и *останавливались*, никогда не употребляя гипотезу, какъ признанный фактъ. Можетъ быть нѣкоторые подумаютъ, „какъ можно смѣть свое сужденіе имѣть“ въ такомъ знаменитомъ обществѣ? Но нельзя же имѣть разомъ десять различныхъ мнѣній, а мы были бы вынуждены къ этому, если бы не рѣшились оспаривать Локка или Канта, Декарта или Спинозу, Гербарта или Милля.

Нужно ли говорить о значеніи психологіи для педагога? Должно быть нужно, если у насъ столь немногіе изъ педагоговъ обращаются къ изученію психологіи. Конечно, никто не сомнѣвается въ томъ, что главная дѣятельность воспитанія совершается въ области психическихъ и психофизическихъ явленій; но обыкновенно разсчитываютъ въ этомъ случаѣ на тотъ *психологическій тактъ*, которымъ въ большей или меньшей степени обладаетъ каждый, и думаютъ, что уже этого одного такта достаточно, чтобы оцѣнить истину тѣхъ или другихъ педагогическихъ мѣръ, правилъ и наставленій.

Такъ называемый *педагогическій тактъ*, безъ котораго воспитатель, какъ бы онъ ни изучилъ теорію педагогики, никогда не будетъ хорошимъ воспитателемъ-практикомъ, есть въ сущности не болѣе, какъ *тактъ психологическій*, который столько же нуженъ литератору, поэту, оратору, актеру, политику, проповѣднику и, словомъ, всѣмъ тѣмъ лицамъ, которыя такъ или иначе думаютъ дѣйствовать на душу другихъ людей, сколько и педагогу. Педагогическій тактъ есть только особое приложеніе такта психологическаго, его спеціальное развитіе въ области педагогическихъ понятій. Но что же такое самъ этотъ психологическій тактъ? Не что иное, какъ болѣе или менѣе темное и полусознательное собраніе воспоминаній разнообразныхъ психическихъ актовъ, пережитыхъ нами самими. На основаніи этихъ-то воспоминаній душою своею собственной исторіи, человѣкъ полагаетъ возможнымъ дѣйствовать на душу другого че-

объемистую. Нѣсколько подобныхъ разборовъ мы помѣстили въ «Отечественныхъ Запискахъ»; всѣ же надѣемся издать отдѣльною книгою. Для читателей, вовсе незнакомыхъ съ психологическими теоріями Запада, мы можемъ указать на книгу г. Владиславева «Современныя направленія въ наукѣ о душѣ» (С.-Петербург., 1866), которая хотя сколько-нибудь можетъ замѣнить недостатокъ историческаго введенія.

ловѣка и избираетъ для этого именно тѣ средства, дѣйствительность которыхъ испробоваль на самомъ себѣ. Мы не думаемъ уменьшать важности этого психологическаго такта, какъ это сдѣлалъ Бенеке, который полагалъ тѣмъ самымъ рѣзче выставить необходимость изученія своей психологической теоріи. Напротивъ, мы скажемъ, что никакая психологія не можетъ замѣнить человѣку психологическаго такта, который незамѣнимъ въ практикѣ уже потому, что дѣйствуетъ быстро, мгновенно, тогда какъ положенія науки припоминаются, обдумываются и оцѣниваются медленно. Возможно ли представить себѣ оратора, который вспоминалъ бы тотъ или другой параграфъ психологіи, желая вызвать въ душѣ слушателя состраданіе, ужасъ или негодованіе? Точно такъ же и въ педагогической дѣятельности нѣтъ никакой возможности дѣйствовать по параграфамъ психологіи, какъ бы ни твердо они были изучены. Но, безъ сомнѣнія, психологическій тактъ не есть что-нибудь врожденное, а формируется въ человѣкѣ постепенно: у однихъ быстрѣе, обширнѣе и стройнѣе, у другихъ медленнѣе, скуднѣе и отрывочнѣе, что уже зависитъ отъ другихъ свойствъ души, — формируется по мѣрѣ того, какъ человѣкъ живетъ и наблюдаетъ, преднамѣренно или безъ намѣренія, надъ тѣмъ, что совершается въ его собственной душѣ. Душа человѣка узнаетъ сама себя только въ собственной своей дѣятельности, и познанія души о самой себѣ, такъ же какъ и познанія ея о явленіяхъ внѣшней природы, слагаются изъ наблюдений. Чѣмъ болѣе будетъ этихъ наблюдений души надъ собственной своею дѣятельностью, чѣмъ будутъ они настойчивѣе и точнѣе, тѣмъ болѣе и лучшій психологическій тактъ разовьется въ человѣкѣ, тѣмъ этотъ тактъ будетъ полнѣе, вѣрнѣе, стройнѣе. Изъ этого вытекаетъ уже само собою, что занятіе психологіею и чтеніе психологическихъ сочиненій, направляя мысль человѣка на процессъ его собственной души, можетъ сильно содѣйствовать развитію въ немъ психологическаго такта.

Но не всегда же педагогъ быстро дѣйствуетъ и рѣшаетъ: часто приходится ему обсуждать или уже принятую мѣру, или ту, которую онъ думаетъ еще предпринять; тогда онъ можетъ и долженъ, не полагаясь на одно темное психологическое чувство, уяснить себѣ вполнѣ тѣ психическія или фізіологическія основанія, на которыхъ строится обсуждаемая мѣра. Кромѣ того, всякое чувство есть дѣло субъективное, непередаваемое, тогда какъ знаніе, изложенное ясно, доступно для всякаго. Особенно же недостатокъ опредѣленныхъ психологическихъ знаній, какъ мы уже замѣтили выше, выказывается, когда кака-нибудь педагогическая мѣра обсуждается не однимъ, а

нѣсколькими лицами. По невозможности передачи психологическаго чувства, и самая передача педагогическихъ познаній, на основаніи одного чувства, становится невозможною. Тутъ остается одно изъ двухъ: положиться на авторитетъ говорящаго, или узнать тотъ психическій законъ, на которомъ основывается то или другое педагогическое правило. Вотъ почему, какъ излагающій педагогику, такъ и слушающій ее должны непременно прежде сойтись въ пониманіи психическихъ и психо-физическихъ явленій, для которыхъ педагогика служить только приложеніемъ ихъ къ достиженію воспитательной цѣли.

Но не только для того, чтобы основательно обсудить предпринимаемую или уже предпринятую педагогическую мѣру и понимать основаніе правилъ педагогики, нужно научное знакомство съ психическими явленіями: столько же нужна психологія и для того, чтобы оцѣнить результаты, даваемые тою или другою педагогическою мѣрою, т. е., другими словами, оцѣнить *педагогическій опытъ*.

Педагогическій опытъ имѣетъ, конечно, такое же важное значеніе, какъ и педагогическій тактъ; но не слѣдуетъ слишкомъ преувеличивать этого значенія. Результаты большей части воспитательныхъ опытовъ, какъ справедливо замѣтилъ Бенеке, отстаютъ слишкомъ далеко по времени отъ тѣхъ мѣръ, результатами которыхъ мы ихъ считаемъ, чтобы мы могли назвать данныя мѣры *причиною*, а данные результаты—слѣдствіемъ этихъ мѣръ; тѣмъ болѣе, что эти результаты приходятъ уже тогда, когда воспитатель не можетъ наблюдать надъ воспитанникомъ. Поясняя свою мысль примѣромъ, Бенеке говоритъ: „Мальчикъ, который на всѣхъ экзаменахъ отличается первымъ, можетъ оказаться впоследствии ограниченнѣйшимъ педагогомъ, тупымъ, невосприимчивымъ для всего, что лежитъ внѣ тѣснаго круга его науки, и никуда негоднымъ въ жизни“. Мало этого: мы сами знаемъ изъ практики, что очень часто послѣдніе ученики нашихъ гимназій дѣлаются уже въ университетѣ лучшими студентами, и наоборотъ—оправдывая на себѣ евангельское изреченіе о „послѣднихъ“ и „первыхъ“.

Но педагогическій опытъ не только по отдаленности своихъ послѣдствій отъ причинъ не можетъ быть надежнымъ руководителемъ педагогической дѣятельности. Большею частью педагогическіе опыты очень сложны, и каждый имѣетъ не одну, а множество причинъ, такъ, что нѣтъ ничего легче, какъ ошибиться въ этомъ отношеніи и назвать причиною даннаго результата то, что вовсе не было его причиною, а можетъ быть даже задерживающимъ обстоятельствомъ. Такъ, напримѣръ, если бы мы заключили о развивающей силѣ математики

или классическихъ языковъ только потому, что всѣ знаменитые ученые и великіе люди западной Европы учились въ молодости своей математикѣ или классическимъ языкамъ, то это было бы очень опрометчивое заключеніе. Какъ же имъ было не учиться по-латыни или избѣжать математики, если не было школы, въ которой не учили бы этимъ предметамъ? Считаая ученыхъ и умныхъ людей, вышедшихъ изъ школъ, гдѣ преподавались математика и латынь, отчего мы не считаемъ тѣхъ, которые, учившись и латыни и математикѣ, остались людьми ограниченными? Такой *огульный* опытъ даже не исключаетъ возможности предположенія, что первые безъ математики или безъ латыни, можетъ быть, были бы еще умнѣе, а вторые не такъ ограничены, если бы ихъ молодая память была употреблена на пріобрѣтеніе другихъ свѣдѣній. Кромѣ того, не слѣдуетъ забывать, что на развитіе человѣка имѣетъ вліяніе не одна школа. Такъ, напримѣръ, мы любимъ часто указывать на практическіе успѣхи англійскаго воспитанія, и для многихъ преимущество этого воспитанія сдѣлалось недопускающимъ возраженія доказательствомъ. Но при этомъ забываютъ, что во всякомъ случаѣ между англійскимъ воспитаніемъ и, напримѣръ, нашимъ болѣе сходства, чѣмъ между нашею и англійскою исторіею. Чему же слѣдуетъ приписать эту разницу въ результатахъ воспитанія? Школамъ ли, національному ли характеру народа, его ли исторіи и его общественнымъ учрежденіямъ, какъ результатамъ характера и исторіи? Можемъ ли мы ручаться, что та же англійская школа, только переведенная на русскій языкъ и перенесенная къ намъ, не дастъ худшихъ результатовъ, чѣмъ тѣ, которые даются нашими теперешними школами?

Указывая на какой-нибудь удачный педагогическій опытъ того или другого народа, мы, если дѣйствительно хотимъ узнать истину, не должны опускать тѣхъ же опытовъ, сдѣланныхъ въ другой странѣ и давшихъ результаты противоположные. Такъ, у насъ обыкновенно указываютъ на тѣ же англійскія школы для высшаго сословія, какъ на доказательство, что изученіе латыни даетъ хорошіе практическіе результаты и въ особенности дѣйствуетъ на развитіе здраваго смысла и любви къ труду, которыми отличается высшее сословіе Англии, получившее воспитаніе въ этихъ школахъ. Но почему же не указываютъ при этомъ на примѣръ, гораздо болѣе намъ близкій—на Польшу, гдѣ такое же, если еще не болѣе прилежное, изученіе латинскаго языка высшимъ классомъ дало въ этомъ классѣ совершенно противоположные результаты и именно не развило въ немъ того здраваго пракческаго смысла, на развитіе котораго, по мнѣ-

нію тѣхъ же людей, изученіе классическихъ языковъ оказываетъ такое сильное вліяніе и который въ высшей степени развитъ у простого русскаго народа, никогда не учившагося по-латыни? Если мы скажемъ, что различныя дурныя вліянія парализовали въ образованіи польскаго шляхетства хорошее вліяніе изученія латыни, то чѣмъ же мы докажемъ, что различныя хорошія вліянія въ Англіи, чуждыя школъ, не были прямою причиною тѣхъ хорошихъ практическихъ результатовъ, которые мы приписываемъ изученію классическихъ языковъ? Слѣдовательно, одно указаніе на историческій опытъ ничего намъ не докажетъ, и мы должны искать другихъ доказательствъ, чтобы показать, что изученіе классическихъ языковъ въ русскихъ школахъ дастъ результаты, болѣе близкіе къ англійскимъ, чѣмъ къ тѣмъ, которые обнаружило польское шляхетство.

Читатель пойметъ, конечно, что мы вооружаемся здѣсь не противъ устройства англійскихъ школъ и не противъ цѣлесообразности преподаванія математики или латинскаго языка. Мы только хотимъ доказать, что въ дѣлѣ воспитанія опытъ имѣетъ значеніе лишь въ томъ случаѣ, если мы можемъ показать психическую связь между данною мѣрою и тѣми результатами, которые мы ей приписываемъ.

„Вульгарное понятіе, говоритъ Милль, что истинно-здравая метода въ политическихъ предметахъ есть бэконовская индукція, что истинный руководитель въ этомъ отношеніи есть не общее размышленіе, а специальный опытъ, будетъ когда-нибудь приводимо какъ одно изъ несомнѣннѣйшихъ доказательствъ низкаго состоянія мыслительныхъ способностей въ томъ вѣкѣ, въ которомъ это мнѣніе пользовалось довѣренностью. Ничто не можетъ быть смѣшнѣе тѣхъ пародій на размышленіе, основанное на опытѣ, съ которыми часто встрѣчаешься не только въ популярныхъ рѣчахъ, но и въ важныхъ трактатахъ, темою которыхъ являются дѣла націи. „Какъ“, спрашиваютъ обыкновенно „можетъ быть дурно учрежденіе, когда страна процвѣтала при немъ?“ „Какъ можетъ быть приписано той или другой причинѣ благосостояніе какой-нибудь страны, когда другая процвѣтала безъ этой причины?“ Кто пользуется доказательствами такого рода, *безъ намѣренія обманывать, тотъ долженъ быть отосланъ назадъ въ школу для изученія элементовъ какой-нибудь самой легкой физической науки*“ ¹⁾.

Крайнюю нерациональность такихъ разсужденій Милль совершенно справедливо выводитъ изъ необыкновенной сложности явленій

¹⁾ Mill's Logic. B. III. Ch. XI, § 8. p. 497.

физиологическихъ и еще большей сложности политическихъ и историческихъ, къ которымъ, безспорно, слѣдуетъ причислить и народное образованіе, а равно и образованіе народнаго и индивидуальнаго характера; ибо это не только явленіе историческое, но и самое сложное изъ всѣхъ историческихъ явленій, такъ какъ оно есть результатъ всѣхъ прочихъ, съ примѣсью еще племенныхъ особенностей народа и физическихъ вліяній его страны.

Такимъ образомъ мы видимъ, что ни *педагогическій тактъ*, ни *педагогическій опытъ* сами по себѣ не достаточны для того, чтобы изъ нихъ можно было выводить сколько-нибудь твердыя педагогическія правила, и что изученіе психическихъ явленій научнымъ путемъ—тѣмъ же самымъ путемъ, которымъ мы изучаемъ всѣ другія явленія—есть необходимѣйшее условіе для того, чтобы воспитаніе, *сколь возможно*, перестало быть или рутиною, или игрушкою случайныхъ обстоятельствъ, и сдѣлалось, *сколь возможно же*, дѣломъ рациональнымъ и сознательнымъ.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о самомъ расположеніи тѣхъ предметовъ, которые мы хотимъ изучать въ нашемъ трудѣ. Хотя мы избѣгаемъ всякой стѣснительной системы, всякихъ рубрикъ, которыя заставили бы насъ говорить о томъ, что намъ вовсе неизвѣстно; но тѣмъ не менѣе, мы должны же излагать изучаемыя нами явленія въ нѣкоторомъ порядкѣ. Сначала мы естественно займемся тѣмъ, что нагляднѣе, и изложимъ тѣ физиологическія явленія, которыя считаемъ необходимыми для яснаго пониманія психическихъ. Затѣмъ приступимъ къ тѣмъ психо-физическимъ явленіямъ, которыя, сколько можно судить по аналогіи, общи въ начаткахъ своихъ какъ человѣку, такъ и животнымъ, и только подъ конецъ займемся чисто психическими, или, лучше сказать, *духовными* явленіями, свойственными одному человѣку. Въ заключеніе же всего мы представимъ рядъ педагогическихъ правилъ, вытекающихъ изъ нашихъ психическихъ анализовъ. Сначала мы помѣстили было эти правила вслѣдъ за каждымъ анализомъ того или другого психическаго явленія, но потомъ замѣтили проистекающее отсюда неудобство. Почти всякое педагогическое правило является результатомъ не одного психическаго закона, но многихъ, такъ что, перемѣшивая этими педагогическими правилами наши психическіе анализы, мы вынуждены были и многое повторять, и въ то же время многого не досказывать. Вотъ на какомъ основаніи мы рѣшились помѣстить ихъ въ концѣ всего со-

чиненія, въ видѣ приложенія, понимая вполне справедливость выраженія Бенке, что „педагогика есть прикладная психологія“, и только находя, что въ педагогикѣ прилагаются выводы не одной психологической науки; а и многихъ другихъ, которыя мы перечислили выше. Но, конечно, психологія, въ отношеніи своей приложимости къ педагогикѣ и своей необходимости для педагога, занимаетъ первое мѣсто между всѣми науками.

Въ *первомъ томѣ* „Педагогической Антропологіи“, который мы выпускаемъ теперь въ свѣтъ, изложены нами немногочисленные физиологическія данныя, которыя мы считали необходимымъ изложить, и весь *процессъ сознанія*, начиная отъ простыхъ первичныхъ ощущеній и доходя до сложнаго разсудочнаго процесса.

Во *второмъ томѣ* излагаются процессы *душевныхъ чувствъ*, которые, въ отличіе отъ пяти внѣшнихъ чувствъ, называемъ просто *чувствованіями*, а иногда *чувствами душевными*, или чувствами *сердечными* и *умственными* (каковы: удивленіе, любопытство, горе, радость и т. п.). Въ этомъ же томѣ, за изложеніемъ процесса желаній и воли, изложимъ мы и духовныя особенности человѣка, оканчивая тѣмъ нашу *индивидуальную антропологію*.

Изученіе человѣческаго общества съ педагогическою же цѣлью потребовало бы новаго, еще большаго труда, для котораго у насъ не достаетъ ни силъ, ни знаній.

Въ *третьемъ томѣ* мы изложимъ въ системѣ, удобной для обзорѣнія, тѣ педагогическія мѣры, правила и наставленія, которыя сами собою вытекаютъ изъ разсмотрѣнныхъ нами явленій человѣческаго организма и человѣческой души. Въ этомъ томѣ мы будемъ кратки, потому что не видимъ никакой трудности для всякаго мыслящаго педагога, изучивъ психическій или физиологическій законъ, вывести изъ него практическія приложенія. Во многихъ мѣстахъ мы будемъ только намекать на эти приложенія, тѣмъ болѣе, что изъ каждаго закона можно вывести ихъ такое же множество, какое множество разнообразныхъ случаевъ представляется въ педагогической практикѣ. Въ этомъ и состоитъ преимущество изученія самыхъ законовъ наукъ, прилагаемыхъ къ педагогикѣ, передъ изученіемъ голословныхъ педагогическихъ наставленій, которыми наполнена большая часть германскихъ педагогикъ. Мы не говоримъ педагогамъ: поступайте такъ или иначе; но говоримъ имъ: изучайте законы тѣхъ психическихъ явленій, которыми вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь съ этими законами и тѣми обстоятельствами, въ которыхъ вы хотите ихъ приложить. Не только обстоятельства эти без-

конечно разнообразны, но и самыя природы воспитанниковъ не походятъ одна на другую. Можно ли же при такомъ разнообразіи обстоятельствъ воспитанія и воспитываемыхъ личностей предписывать какіе-нибудь общіе воспитательные рецепты? Едва ли найдется хотя одна педагогическая мѣра, въ которой нельзя было бы найти вредныхъ и полезныхъ сторонъ и которая не могла бы дать въ одномъ случаѣ *полезныхъ* результатовъ, въ другомъ *вредныхъ*, а въ третьемъ *никакихъ*. Вотъ почему мы совѣтуемъ педагогамъ изучать сколь возможно тщательнѣе физическую и душевную природу человѣка вообще, изучать своихъ воспитанниковъ и окружающія ихъ обстоятельства, изучать исторію различныхъ педагогическихъ мѣръ, которыя не всегда могутъ прійти на мысль, выработать себѣ ясную положительную цѣль воспитанія и идти неуклонно къ достиженію этой цѣли, руководствуясь приобрѣтеннымъ знаніемъ и своимъ собственнымъ благоразуміемъ.

Первая часть нашего труда, которую мы теперь выпускаемъ въ свѣтъ, можетъ быть прямо приложена къ дидактикѣ, тогда какъ вторая имѣетъ преимущественное значеніе для воспитанія въ тѣсномъ смыслѣ. Вотъ почему мы рѣшились выпустить первую часть отдѣльно.

Мы едва ли заблуждаемся насчетъ полноты и достоинства нашего труда. Мы ясно видимъ его недостатки: его неполноту и въ то же время растянутость, необработку его формы и беспорядочность содержанія. Мы знаемъ также и то, что онъ выходитъ въ самое несчастное для себя время и не удовлетворитъ многихъ и многихъ.

Трудъ нашъ не удовлетворитъ того, кто смотритъ на педагогику свысока и, не будучи знакомъ ни съ практикой воспитанія, ни съ его теоріею, видитъ въ общественномъ воспитаніи лишь одну изъ отраслей администраціи. Такіе судьи назовутъ нашъ трудъ лишнимъ, потому что для нихъ рѣшается все очень легко и даже все давно уже рѣшено въ ихъ умѣ, такъ что они не поймутъ, о чемъ тутъ собственно толковать и писать такія толстыя книги.

Трудъ нашъ не удовлетворитъ тѣхъ педагоговъ-практиковъ, которые, не вдумавшись еще въ собственное свое дѣло, хотѣли бы имѣть подъ рукою „краткое педагогическое руководство“, гдѣ наставникъ и воспитатель могли бы найти для себя прямое указаніе, что они должны дѣлать въ томъ или другомъ случаѣ, не утруждая себя психическими анализами и философскими умозрѣніями. Но если бы мы дали этимъ педагогамъ требуемую ими книгу,

что весьма не трудно, такъ какъ такихъ книгъ въ Германіи довольно, то она не удовлетворила бы ихъ точно такъ же, какъ не удовлетворяются они педагогикой Шварца и Куртмана, переведенной на русскій языкъ, хотя это едва ли не самое полное и не самое дѣльное собраніе педагогическихъ рецептовъ всякаго рода.

Мы не удовлетворимъ тѣхъ преподавателей педагогики, которые желали бы дать своимъ ученикамъ или ученицамъ хорошее руководство для изученія основныхъ правилъ воспитанія. Но мы полагаемъ, что лица, берущіяся за преподаваніе педагогики, должны очень хорошо понимать, что выучиваніе педагогическихъ правилъ не приноситъ никому никакой пользы и что самыя правила эти не имѣютъ никакихъ границъ: всѣ ихъ можно умѣстить на одномъ печатномъ листѣ, и изъ нихъ можно составить нѣсколько томовъ. Это одно уже показываетъ, что главное дѣло вовсе не въ изученіи правилъ, а въ изученіи тѣхъ научныхъ основъ, изъ которыхъ эти правила вытекаютъ.

Трудъ нашъ не удовлетворитъ тѣхъ, кто, принимая такъ называемую *позитивную* философію за послѣднее слово европейскаго мышленія, полагаетъ, быть можетъ не испробовавъ на дѣлѣ, что эта философія довольно зрѣла для того, чтобы ее можно уже было приложить къ практикѣ.

Трудъ нашъ не удовлетворитъ тѣхъ идеалистовъ и систематиковъ, которые думаютъ, что всякая наука должна быть системою истинъ, развивающихся изъ одной идеи, а не собраніемъ фактовъ, группированныхъ настолько, насколько позволяютъ сами эти факты.

Трудъ нашъ не удовлетворитъ, наконецъ, тѣхъ психологовъ-спеціалистовъ, которые подумаютъ, и *весьма справедливо*, что для писателя, берущагося за изложеніе психологіи, и при томъ же не одной какой-нибудь психологической теоріи, а желающаго выбрать изъ всѣхъ то, что можно считать фактически вѣрнымъ, слѣдовало бы имѣть побольше познаній и поглубже вдумываться въ изучаемый предметъ. Вполнѣ соглашаясь съ такими критиками, мы первые съ радостью встрѣтимъ ихъ собственный трудъ, болѣе полный, болѣе ученый и болѣе основательный; а насъ пусть извиняютъ за эту первую попытку, именно потому, что она *первая*.

Но мы надѣемся принести положительную пользу тѣмъ людямъ, которые, избравъ для себя педагогическую карьеру и прочитавъ нѣсколько теорій педагогики, почувствовали уже необходимость основывать ея правила на психическихъ началахъ. Мы знаемъ,

конечно, что, прочтя психологическія сочиненія или Рида, или Локка, или Бенеке, или Гербарта, можно уже глубже войти въ психологическую область, чѣмъ прочтя нашу книгу. Но мы думаемъ также, что, по прочтеніи нашей книги, теоріи великихъ психологическихъ писателей будутъ понятнѣе для того, кто приступаетъ къ изученію этихъ теорій; а можетъ быть, кромѣ того, книга наша удержитъ отъ увлеченій тою или другою теоріею и покажетъ, что должно пользоваться ими всѣми, но не увлекаться ни одною въ такомъ практическомъ дѣлѣ, каково воспитаніе, гдѣ всякая односторонность обнаруживается практическою ошибкою. Книга наша назначается не для психологовъ-спеціалистовъ, но для педагоговъ, сознавшихъ необходимость изученія психологіи для ихъ педагогическаго дѣла. Если же мы облегчимъ кому-нибудь изученіе психологіи съ педагогическою цѣлью и поможемъ ему подарить русское воспитаніе книгою, которая далеко оставитъ за собою нашу первую попытку, то трудъ нашъ не пропадетъ даромъ.

7-го декабря 1867 года.

К. Ушинскій.

ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА

КО ВТОРОМУ ТОМУ.

Въ предисловіи къ *первому* тому „Антропологіи“ я выразилъ надежду помѣстить во *второмъ* не только анализъ процессовъ *чувствованія* и *воли*, но анализъ и тѣхъ духовныхъ особенностей, которыя составляютъ отличительную черту психической жизни человека. Однакоже эта надежда, какъ видитъ читатель, не вполне осуществилась, и во *второмъ* томѣ исполнена только первая половина задачи. Это произошло отчасти отъ нездоровья, а отчасти отъ того, что изложеніе явленій *чувствованія* и *воли* заняло болѣе мѣста, чѣмъ я ожидалъ. Я конечно могъ бы и не издавать въ свѣтъ этого тома, пока не окончилъ бы всего труда; но, зная, что нѣкоторые изъ педагоговъ уже начали пользоваться моею книгою при преподаваніи педагогики, я желалъ выдать поскорѣе хоть то, что готово.

Читатели, познакомившіеся уже съ первымъ томомъ „Антропологии“, найдутъ, можетъ быть, что изложеніе второго не вполне соотвѣтствуетъ первому, что въ немъ менѣе точности и опредѣленности; но это уже зависитъ отъ самаго свойства предметовъ и ихъ предварительной обработки. Явленія чувствованія и воли, какъ извѣстно всякому, кто знакомъ съ психологической литературой, разработаны гораздо менѣе, чѣмъ явленія сознанія. Неопредѣленность, неясность, шаткость наблюденій, противорѣчіе въ мнѣніяхъ—составляютъ отличительную черту этихъ главъ во всѣхъ психологическихъ курсахъ. Можетъ быть, читатель, знакомый съ литературой этого отдѣла психологіи, найдетъ даже, что въ нашемъ трудѣ онъ сдѣлалъ нѣкоторые успѣхи.

Самый способъ изслѣдованія явленій и во второмъ томѣ остался прежній, ибо я признаю его единственно рациональнымъ. Но изъ критическихъ разборовъ, вызванныхъ первымъ томомъ, можно было убѣдиться, что способъ этотъ не вполне понятъ, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Въ психологіи такъ все привыкли строить теоріи, а не изучать факты, и, отправляясь отъ какого-нибудь прежде установившагося міросозерцанія, подвигать впередъ тѣ психическія явленія, которыя подходятъ подъ такое міросозерцаніе, упрямо отворачиваясь отъ другихъ, которыя могли бы его смутить, что я нисколько не удивился, узнавъ, что одни причисляютъ мои воззрѣнія къ идеалистическимъ, другіе—къ матеріалистическимъ, а третьи упрекаютъ въ противорѣчій самому себѣ. Это я предвидѣлъ и въ предисловіи къ первому тому. Никто не хотѣлъ критиковать мой трудъ только на основаніи выставленныхъ въ немъ фактовъ, т. е. на единственномъ основаніи, на которомъ онъ можетъ быть критикованъ. Видя въ духѣ точно такую же необходимую гипотезу, сосредоточивающую міръ психическихъ явленій, какъ и въ матеріи другую гипотезу, сосредоточивающую міръ явленій физическихъ, я не придаю никакого значенія тому, назовутъ ли меня матеріалистомъ или идеалистомъ. Я просто беру психическія явленія, знакомыя, какъ результаты самонаблюденій и внутренняго опыта человѣка, анализирую ихъ, группирую, и если гдѣ ставлю гипотезу, то нигдѣ не прикрываю ея.

Психологія такъ долго находилась въ зависимости отъ философіи, что нельзя ожидать, чтобы взглядъ на нее, какъ на науку, не имѣющую ничего общаго съ философскими умозрѣніями, какъ на науку наблюденія и опыта, установился скоро—установился не только въ заглавіи психологическихъ теорій, гдѣ онъ давно уже заявляетъ

себя, но и на самомъ дѣлѣ. Я можетъ быть поступилъ дурно, не выяснивъ прежде отношенія моей психологіи къ философіи, которая въ настоящее время, послѣ погрома гегелевской системы, представляетъ однѣ развалины. Но этимъ выясненіемъ отношенія психологіи къ философіи мнѣ будетъ всего удобнѣе заняться въ предисловіи къ третьему тому, такъ какъ въ третьемъ томѣ отношеніе это уже само собою установится.

Теперь же скажу только мимоходомъ, для удаленія дальнѣйшихъ недоразумѣній, что, по моему убѣжденію, въ настоящее время и сама философія можетъ явиться только посредницею между психологіею и науками природы. Въ настоящее время возможна только такая философія, которая основывала бы постройку научнаго міросозерцанія, съ одной стороны, на фактахъ, добытыхъ психическимъ самонаблюденіемъ, а съ другой—на фактахъ, добытыхъ наблюденіемъ надъ внѣшнею для человѣка природою. Другой философіи въ настоящее время—я не понимаю. Если основать философію на однихъ психическихъ фактахъ, то выйдетъ самый туманный и неопредѣленный идеализмъ; если основать ее на однихъ, извѣстныхъ намъ, фактахъ внѣшней природы,—какъ это дѣлаетъ такъ называемая *позитивная* философія,—то выйдетъ какъ разъ столько же туманный и столько же неопредѣленный матеріализмъ; но въ обоихъ случаяхъ откроется обширное поле человеческой фантазіи, оцѣнка которой возможна уже на основаніи правилъ поэзіи или реторики, а не на основаніяхъ науки. Отправляясь отъ *идеальнаго* воззрѣнія Гегеля и отъ *позитивной* философіи Конта, какъ бы забывшей самое существованіе психическихъ явленій, мыслитель одинаково удаляется отъ дѣйствительнаго знанія и попадаетъ уже въ міръ фантастическихъ построекъ, гдѣ величественнѣйшіе дворцы выстраиваются очень легко и скоро именно потому, что эти дворцы карточные.

Сохраняя за собою право въ *третьемъ* томѣ выяснить отношеніе моей книги къ различнымъ физическимъ и психическимъ теоріямъ, я предоставляю этотъ *второй* томъ здравому смыслу читателя и прошу его, не навязывая мнѣ никакихъ предвзятыхъ міросозерцаній, критиковать меня единственно съ фактической стороны: вѣрны ли тѣ факты, изъ которыхъ я дѣлаю выводъ, и соответствуетъ ли выводъ факту. Если при анализѣ фактовъ я наталкиваюсь на противорѣчія, которыхъ нельзя объяснить, то стараюсь самъ указать на нихъ читателю. Я считаю это лучшимъ, чѣмъ прикрывать ихъ какою-нибудь туманною гипотезою и выда-

вать эту гипотезу за глубокомысленный выводъ. Неужели игра въ гипотезы (эта игра въ философскія жмурки) не надоѣла наконецъ человѣку? Не гораздо ли лучше сказать себѣ простое „не знаю“, чѣмъ обманывать и себя, и другихъ?

Объ одномъ только я прошу читателя: я прошу его помнить, что психическій фактъ, который онъ сознаетъ совершающимся въ самомъ себѣ, точно такой же несомнѣнный фактъ, какъ и фактъ какой бы то ни было точной науки. Замѣчая въ себѣ такой фактъ, всякій изъ насъ можетъ быть увѣренъ, что онъ одинаково повторяется въ милліонахъ подобныхъ намъ существъ, и что потому онъ и можетъ быть изучаемъ и достоинъ самаго внимательнаго изученія. Неразумное забвеніе самаго существованія огромной сферы психологическихъ фактовъ влечетъ теперь въ крайность, противоположную той, въ которую еще недавно увлекалось мышленіе, остановившееся на однихъ психическихъ явленіяхъ и смотрѣвшее сквозь призму ихъ на весь внѣшній міръ.

Въ *третьемъ* томѣ я надѣюсь помѣстить окончаніе „Антропологии“ и педагогическія приложенія, изъ нея выведенныя. Эти педагогическія приложенія должны, по моему плану, составить сжатый учебникъ педагогики, но такой учебникъ, котораго никакъ нельзя было бы заучивать. Этого въ особенности я хочу потому, что считаю заучиванье всякихъ педагогическихъ учебниковъ не только бесполезною, но даже вредною тратою времени. Если воспитатель хорошо познакомится съ законами човѣческой природы, насколько они намъ извѣстны, то для него достаточно здраваго разсудка, чтобы оцѣнить ту или другую педагогическую мѣру, тотъ или другой педагогическій приѣмъ; а этихъ мѣръ и приѣмовъ безчисленное множество, ибо каждый данный дѣйствительный случай непременно видоизмѣняетъ всякій приѣмъ и всякую мѣру.

К. Ушинскій.

20-го марта 1869 года.

ЧЕЛОВѢКЪ КАКЪ ПРЕДМЕТЪ ВОСПИТАНІЯ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГІЯ.

ЧАСТЬ I.

ГЛАВА I.

Объ организмахъ вообще. (Стр. 1—6 полн. соч.).

Слово *воспитаніе* прилагается не къ одному человѣку, но также къ животнымъ и растеніямъ, а равно и къ историческимъ обществамъ, племенамъ и народамъ, т. е. къ *организмамъ* всякаго рода, и воспитывать, въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова, значитъ способствовать развитію какаго-нибудь организма посредствомъ свойственной ему пищи, матеріальной или духовной.

Понятія *организма* и *развитія* являются, слѣдовательно, основными понятіями воспитанія, и мы должны предварительно ознакомиться съ точнѣйшимъ смысломъ этихъ понятій; а потому и поставимъ себѣ прежде всего вопросы: что такое организмъ и органическое развитіе?

Къ организмамъ мы относимъ всѣ существа, какъ самыя простыя, такъ и самыя сложныя, въ которыхъ замѣчаемъ основной органической планъ, органы и силу самостоятельнаго развитія по этому плану. Вещества неорганическія при дѣленіи на части сохраняютъ въ нихъ всѣ свойства цѣлаго (камень, вода); въ организмахъ—наоборотъ, и чѣмъ совершеннѣе организмъ (человѣкъ, народъ), тѣмъ менѣе имѣютъ самостоятельности его органы. Каждому организму прирождена особая *сила развитія*, съ утратою которой онъ умираетъ; существа одушевленные одарены, сверхъ того, *душою*, которая у человѣка *безсмертна*. Организмы подраздѣляются еще на единичныя и общественныя; происхожденіе ихъ сокрыто въ тайнахъ творенія.

Органы тѣлеснаго организма имѣютъ свою цѣль въ цѣломъ; цѣлое общественнаго организма имѣетъ свою цѣль въ органахъ: такъ семья, племя, народъ, государство, человечество имѣютъ свою цѣль въ личности отдѣльныхъ людей.

Г Л А В А II.

Существенныя свойства растительнаго организма. (6—13).

Въ растеніи всѣ органы приспособлены исключительно къ *росту*, т. е. къ увеличенію и размноженію; въ животномъ, кромѣ того, имѣются еще процессы жизненные—процессы *чувства и движенія*, къ выполненію которыхъ приспособлены особые органы: *органы чувства, нервы и мускулы*. Растеніе уже заключается въ животномъ и оба они заключаются въ человѣкѣ, одаренномъ еще новыми, болѣе сложными и высшими свойствами.

Чтобы осуществился планъ, прирожденный каждому растительному и животному организму, необходимы еще *матеріалъ* и *благопріятныя условія* для его переработки по этому плану въ силу развитія. Сюда относятся разныя химическія вещества, извѣстная температура, свѣтъ, обуславливающіе процессъ питанія организма.

Наибольшую способность приспособленія къ различнымъ условіямъ, особенно климатическимъ, отличается наивысшій изъ организмовъ—человѣческой. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ немъ можетъ происходить и постепенное перерожденіе отдѣльныхъ частныхъ признаковъ, которое остановится замѣтнѣе съ каждымъ поколѣніемъ. Въ зависимости отъ образа жизни измѣняется не только цвѣтъ кожи, глазъ и волосъ, ростъ, относительная величина членовъ, сила мускуловъ, темпераментъ, но даже самая форма черепа, а слѣдовательно и мозга. Въ преднамѣренномъ, по извѣстному плану рассчитанномъ измѣненіи растительнаго организма человѣка и заключается его *физическое воспитаніе*, которое можетъ или совершенствовать его, или исказить. Совокупность относящихся сюда правилъ составляетъ *теорію искусства воспитанія*.

Г Л А В А III.

Растительный организмъ въ животномъ. Процессъ питанія. (13—17).

Хотя въ животномъ, какъ и въ растеніи, есть много движеній чисто химическихъ или механическихъ, не вызываемыхъ и не сопровождаемыхъ ощущеніемъ (ростъ, сердцебіеніе, кровообращеніе, пищевареніе, отчасти дыханіе), но у него уже намѣчаются и *произвольныя* движенія въ связи съ ощущеніями. Первая причина этого

явленія наукѣ неизвѣстна; мы знаемъ только, что явленіе это связано съ *нервнымъ организмомъ*. Онъ является не причиною, а только орудіемъ жизни. Вся растительная жизнь въ животномъ служитъ лишь для проявленія нервной его дѣятельности сообразно съ ея назначеніемъ. Матеріаломъ для питанія служатъ уже подготовленные въ этому организмы растений и другихъ животныхъ, подвергающіеся новой переработкѣ, которая поддерживаетъ ростъ животнаго, пополненіе разрушенныхъ частей его организма, размноженіе и движеніе. Благодаря послѣдней способности, матеріалъ для его питанія добывается легче и цѣлесообразнѣе, чѣмъ у растенія. Послѣ различныхъ механическихъ, физическихъ и химическихъ измѣненій въ желудкѣ и въ кишкахъ, пища обращается въ *кровь*, т. е. въ такую жидкость, которая, послѣ соединенія съ кислородомъ воздуха, удобна для всасыванія кровеносными сосудами. Составныя части тѣла: кости, мускулы, железы, нервы, кожа. Для ихъ питанія служитъ *артеріальная* кровь, въ отличіе отъ *венозной*, еще не окисленной воздухомъ нашихъ легкихъ. Артеріи развѣтвляются на мельчайшіе *волосные* сосуды, разносящіе кровь по всему организму. Въ вены собирается отжившая кровь, къ которой присоединяется и новый кровяной матеріалъ, еще требующій окисленія. Отжившія части крови извергаются черезъ кожу. Всѣмъ этимъ круговоротомъ управляетъ одинъ главный мускулъ — *сердце*, дающее крови постоянные толчки и регулирующее всю кровеносную систему.

Г Л А В А IV.

Необходимость и особенныя условія возобновленія тканей животнаго организма. (17—21).

Послѣ продолжительной дѣятельности какого-нибудь органа мы чувствуемъ въ немъ усталость: это указываетъ на необходимость обновленія тканей, затраченныхъ на эту дѣятельность. Послѣ *отдыха* усталость проходитъ и силы возобновляются. Вообще жизненная дѣятельность производитъ во всемъ животномъ организмѣ измѣненія, вызывающія потребность питанія: иначе вся жизнедѣятельность была бы невозможна. Необходимо, чтобы оба эти процесса *уравновѣшивали* другъ друга, а въ молодомъ, развивающемся организмѣ процессъ питанія имѣлъ перевѣсъ надъ процессомъ затраты органическихъ тканей: въ противномъ случаѣ послѣдуетъ истощеніе, болѣзнь и даже смерть (чахотка, нервныя болѣзни). При откармливаніи животныхъ, лишенныхъ движенія, преобладаетъ процессъ питанія или растительный, который, въ примѣненіи къ человѣку, дѣлаетъ его организмъ дряблымъ и также болѣзненнымъ. Если обменъ между поглощающею и возобновляющею дѣятельностью организма, даже при ихъ равновѣсіи (послѣ періода роста), совершается медленно, то онъ слабѣетъ. Только постоянный и *быстрый* оборотъ питанія тѣла и

поглощеніе этого питанія жизнью, находясь въ постоянной гармоніи, успѣшно развиваетъ всѣ силы, къ проявленію которыхъ способенъ тотъ или другой животный организмъ. Это примѣнимо не только къ мускуламъ, нервамъ, органамъ чувствъ, но и къ мозгу, что доказывается измѣреніемъ черепа одного и того же народа за разные періоды его существованія, на примѣръ, первобытный и культурный. Въ направленіи жизнедѣятельности человѣческаго организма по этимъ законамъ открывається обширное поле для *воспитанія*, которое можетъ вліять не на одни мускулы, но и на нервы и самый мозгъ, служащій главнымъ органомъ духовной дѣятельности человѣка.

ГЛАВА V.

Потребность отдыха и сна. (21—26).

Потребность отдыха можетъ относиться или ко всему животному организму, или къ той его части, которая утомлена и потому нуждается въ бездѣйствіи и обновленіи. Быстрота возобновленія можетъ быть увеличена привычкою: оттого новый, непривычный трудъ скоро и надолго утомляетъ насъ. Возобновленіе силъ одного органа можетъ совершаться во время дѣятельности другого органа, что мы часто дѣлаемъ даже инстинктивно, на примѣръ, мѣняя руки при несеніи тяжести или переходя отъ духовной дѣятельности къ физической. Слѣдовательно, перемѣна работы уже даетъ отдыхъ, что особенно замѣтно на дѣтяхъ. Школы и фабрики, требующія отъ дѣтей хотя легкой, но продолжительной, однообразной работы, быстро истощаютъ ихъ и разрушаютъ правильность всего ихъ развитія. Самая привычка къ тому или другому виду труда прививается постепенно. Полный и всесторонній отдыхъ всему организму доставляетъ *сонъ*—исключительная принадлежность животной жизни. Сонъ тѣсно связанъ съ процессомъ возобновленія органическихъ тканей и роста, что ясно доказывается на младенцахъ и на дѣтяхъ вообще. Кромѣ того, во время сна, вѣроятно, съ особенной энергіей происходитъ возобновленіе тканей всей нервной системы, и особенно центральныхъ ея органовъ, служащихъ нашему сознанію и волѣ. Измученные бессонницей люди какъ бы теряютъ власть надъ своими впечатлѣніями и представленіями. Страданіе большого головного мозга обыкновенно вызываетъ безчувствіе и сонъ. Преувеличенный сонъ производитъ усиленіе чисто растительной жизни, и человѣкъ становится не только физически, но и умственно тяжелымъ, тупѣетъ; нормальный сонъ (7—8 час. въ сутки для взрослога и здороваго человѣка) дѣлаетъ его бодрымъ и умственно, и физически, особенно укрѣпляя его нервную систему. Собственно физиологическія причины потребности сна во многомъ еще не выяснены наукой.

ГЛАВА VI—XI (стр. 26—101).

Содержаніе слѣдующихъ *шести* главъ, относящееся къ устройству и дѣятельности нервной системы, настолько не соотвѣтствуетъ современнымъ научнымъ положеніямъ въ этой области, что для занимающихся антропологіей и педагогикой гораздо полезнѣе ознакомиться съ нервной системой по какому-либо изъ новѣйшихъ учебниковъ физиологіи, какъ напр. *Краткій учебникъ анатоміи и физиологіи человека*. Курсъ среднихъ учебныхъ заведеній. Сост. Я. Наумовъ. Ред.

ГЛАВА XII.

Отражательныя или рефлексивныя движенія.

Прежде всего замѣтимъ, что о существованіи сознанія и произвола мы можемъ знать только *субъективно*, т. е. ощущая ихъ въ самихъ себѣ; а слѣдовательно, только въ самомъ себѣ человекъ могъ отличить движенія, сопровождаемыя произволомъ и сознаніемъ, отъ движеній безсознательныхъ и произвольныхъ. Если же мы говоримъ о сознаніи у животныхъ, то говоримъ только по аналогіи съ человекомъ; заключая уже по характеру ихъ дѣйствій, сходныхъ съ нашими, что эти дѣйствія *должны быть* произведены произвольно и сознательно, такъ какъ въ насъ самихъ подобныя дѣйствія сопровождаются желаніемъ и сознаніемъ. Отсюда логически вытекаетъ, что, говоря о рефлексахъ, физиологія заимствуетъ это понятіе изъ *психологіи*, изъ *самонаблюденія*, тогда какъ собственно физиологическій методъ есть *наблюденіе*. Но, къ сожалѣнію, многіе физиологи забываютъ это психологическое происхожденіе понятія рефлексовъ и, смѣшивая психологическій методъ съ физиологическимъ, впадаютъ въ важную ошибку, которая имѣетъ и важныя послѣдствія. Сущность этой странной ошибки состоитъ въ томъ, что, придя къ понятію рефлекса, *по самонаблюденію*, какъ дѣйствію, не сопровождаемому ни сознаніемъ, ни произволомъ, прилагаютъ это понятіе къ *наблюденію* надъ животными и, наблюдая рефлексъ въ оперируемыхъ животныхъ, предполагаютъ, что всякій рефлексъ сопровождается сознаніемъ. Чтобы разоблачить вполне эту важную и богатую послѣдствіями ошибку, рассмотримъ нѣсколько подробнѣе различные виды рефлексовъ.

Наблюдая надъ движеніями, совершающимися въ нашемъ собственномъ тѣлѣ, мы замѣчаемъ, что одни изъ нихъ совершаются нами сознательно и по волѣ, а другія, напротивъ, совершаются безъ всякаго участія сознанія и воли, такъ что мы наблюдаемъ ихъ въ себѣ, какъ бы въ чужомъ тѣлѣ или

машинѣ. Мы *хотимъ* поднять руку и *сознаемъ*, какъ ее поднимаемъ; но если бы наука не сказала намъ, что при вліяніи яркаго свѣта на нашъ глазъ раекъ расширяется, а въ темнотѣ, наоборотъ, сжимается, то мы ничего и не знали бы объ этихъ движеніяхъ, хотя они, при однихъ и тѣхъ же условіяхъ, всегда и постоянно въ насъ совершаются. Точно такъ же мы чувствуемъ, какъ проглатываемъ пищу; но когда пища перейдетъ за глотку, то мы уже вовсе не ощущаемъ тѣхъ рефлексивныхъ движеній, которыя она вызываетъ въ нашемъ желудкѣ и о которыхъ увѣдомляетъ насъ опять-же только наука.

Такія не только *непроизвольныя*, но и *неощущаемыя* движенія въ нашемъ тѣлѣ мы назовемъ *рефлексами полными*. Полные рефлексы, слѣдовательно, совершаются не только внѣ нашей воли, но и внѣ нашего сознанія, и вызываются въ нашемъ тѣлѣ вліяніями, которыхъ мы тоже не ощущаемъ.

Кромѣ полныхъ рефлексовъ, мы замѣчаемъ въ себѣ еще *полурефлексивныя* движенія, которыя иногда ощущаются въ нашемъ сознаніи, а иногда не ощущаются, и на которыя воля наша *можетъ* имѣть нѣкоторое вліяніе, но которыя однако совершаются и *помимо* нашей воли. Таковы дыханіе, кашель, чиханіе, отдѣленіе слезъ, смѣхъ, плачь и т. п.

Обративъ вниманіе на процессъ дыханія, мы ясно замѣчаемъ его совершеніе и можемъ отчасти ускорить, замедлить и даже пріостановить его на нѣсколько мгновеній. Точно такъ же мы можемъ въ нѣкоторой степени задержать кашель или чиханіе, удержать слезы, которыя *готовы были навернуться* на глазахъ, и т. п. Но тутъ же мы замѣтимъ, что дыханіе, кашель, чиханіе и наворачиваніе слезъ и т. п. движенія совершаются и безъ нашего произвола; а если вниманіе наше не обращено на эти движенія, то они совершаются и безъ нашего сознанія, т. е. мы не ощущаемъ ихъ, хотя и ощущаемъ ясно то, что вызвало *невольную* улыбку на нашихъ устахъ или *невольныя* слезы на нашихъ глазахъ. Мы дышимъ и даже кашляемъ въ глубокомъ снѣ точно такъ же, какъ и на-яву, часто совершенно этого не ощущая.

Изъ этого *логически* слѣдуетъ, что *ощущеніе* и *рефлексивное движеніе*—два явленія совершенно различныя, которыя могутъ сопровождать другъ друга, но могутъ совершаться и отдѣльно. А потому было бы логическою ошибкою предполагать непременно ощущеніе вездѣ, гдѣ мы замѣчаемъ рефлексивныя движенія, какъ дѣлаютъ это Льюисъ, Вундтъ и другіе писатели того же направленія. Человѣкъ составилъ понятіе о рефлексивномъ движеніи именно потому, что не ощущалъ его; а потомъ эти писатели предполагаютъ ощущеніе тамъ, гдѣ замѣчаютъ рефлексивное движеніе, т. е. забываютъ ту точку, отъ которой отправи-

лись, и въ концѣ своихъ выводовъ противорѣчатъ тѣмъ положеніямъ, изъ которыхъ сами же вышли.

Самое простое наблюденіе и сужденіе заставляетъ насъ признать, что ощущенія и рефлективные движенія суть два явленія совершенно различныя, которыя въ однихъ случаяхъ никогда не сопровождаются одно другимъ, какъ, напримѣръ, въ полныхъ рефлексахъ; а въ другихъ могутъ сопровождать одно другое и могутъ не сопровождать, какъ во всѣхъ *полурефлексахъ*.

Здѣсь рождается вопросъ: всегда ли можемъ мы имѣть произвольное вліяніе на наши полурефлексы? Другими словами: существуютъ ли такіе рефлексы, которые, при обращеніи на нихъ вниманія, могутъ быть сознаваемы нами, но на которые, въ то же самое время, мы не можемъ имѣть никакого произвольнаго вліянія? Этотъ вопросъ мы не беремся рѣшить, но, во всякомъ случаѣ, думаемъ, что вліяніе нашего произвола на рефлексы идетъ гораздо далѣе, чѣмъ обыкновенно предполагаютъ, и что упражненіе можетъ далеко расширить область этого вліянія; такъ, говорятъ, что индѣйскіе фокусники могутъ оказывать произвольное вліяніе даже на движеніе желудка и сердца¹⁾. Однакожъ вліяніе наше на полурефлексы всегда болѣе или менѣе ограничено: мы можемъ долго удерживать дыханіе; но, наконецъ, это дѣлается невозможнымъ, и человѣкъ можетъ еще уморить себя голодомъ, но никакъ не задержаніемъ дыханія; то же относится къ кашлю, судорогамъ и т. п. Вообще, мы можемъ предполагать, что гдѣ возможно сознаніе, тамъ возможно и вліяніе произвола, хотя бы въ самой слабой степени: иначе соединеніе сознанія съ рефлексомъ было бы ошибкою природы. Гдѣ рефлексъ нисколько отъ насъ не зависитъ, тамъ и сознаніе будетъ ненужною, пустою роскошью, а природа не любитъ такой роскоши.

Какъ полные рефлексы, такъ и полурефлексы установлены въ насъ самымъ устройствомъ нашего организма, такъ сказать, механизмомъ его: возможность дыханія, кашля, смѣха, плача, сжиманія зрачка, движенія желудка, т. е. возможность всѣхъ *полныхъ* рефлексовъ и многихъ *полурефлексовъ* дана намъ самымъ устройствомъ нашего тѣла. Въ противоположность этимъ *природнымъ* рефлексамъ, мы замѣчаемъ еще въ себѣ существованіе такихъ, въ установленіи которыхъ принималъ дѣятельное участіе самъ человѣкъ: таковы, напримѣръ, многія мимическія движенія, многіе рефлексы голосового органа, рефлексы пальцевъ при игрѣ на фортепіано, при скорописи и т. п. Мы, напримѣръ, сначала произвольно приучили себя къ какой-нибудь гримасѣ, а потомъ она появляется на нашемъ лицѣ не только безъ участія нашей воли, но даже часто къ великой нашей досадѣ, и появляется прежде,

¹⁾ Psychologische Antropol. v. Fries. B. I. S. 48.

чѣмъ мы замѣтимъ, что она появилась,—слѣдовательно, появляется безъ участія нашего сознанія. Одинъ профессоръ, о которомъ говоритъ Вундтъ, изучая личную мимику, такъ приучилъ свои личные нервы къ гримасамъ, что потомъ гримасы эти появлялись у него совершенно произвольно и даже безсознательно, въ родѣ судорогъ. Точно такъ же мы сознательно приучаемся произносить какое-нибудь докучное присловіе; но потомъ оно вырывается изъ нашего голосового органа противъ нашей воли и безъ участія нашего сознанія. Въ скорописи мы такъ приучаемся къ опредѣленнымъ движеніямъ руки, что потомъ, при всемъ усилии нашей воли, не можемъ писать такъ, чтобы письмо наше не имѣло ничего сходнаго съ нашимъ обыкновеннымъ почеркомъ, на чемъ и основаны судебные приговоры по сходству или различію почерковъ. И наоборотъ: упражненіемъ мы можемъ разстраивать нѣкоторые врожденные рефлексы, такъ, на примѣръ, врожденное стремленіе къ симметрическимъ движеніямъ рукъ или стремленіе къ соответствующимъ движеніямъ въ пальцахъ, съ которыми борются обыкновенно учителя музыки.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что нѣкоторыя рефлексивныя движенія въ нашемъ нервномъ организмѣ устанавливаются уже не природою, но нами самими, и что движенія, вначалѣ сознаваемые и произвольныя, дѣлаются отъ частаго повторенія несознательными и произвольными, наравнѣ съ рефлексами, установленными самою природою въ организаціи нашего тѣла.

Какъ и какими средствами произвольныя движенія превращаются въ рефлексивныя, т. е. какими фізіологическими процессами и анатомическими измѣненіями въ нашемъ тѣлѣ устанавливаются у насъ привычки,—это осталось совершенно неизвѣстнымъ, несмотря на объясненія, предлагаемыя нѣкоторыми фізіологами и психологами.

Нисколько не уяснимъ мы себѣ этого вопроса, если скажемъ вмѣстѣ съ Льюисомъ, что частое повтореніе однихъ и тѣхъ же дѣйствій (напр. при игрѣ на фортепіано) *«прокладываетъ дорогу, удаляетъ затрудненія, такъ что дѣйствія, прежде насъ затруднявшія, становятся до такой степени машинальными, что можно ихъ совершать и въ то время, когда голова будетъ занята совсѣмъ другимъ, и можетъ случиться, что, разъ начатыя, они будутъ продолжаться сами собою»* ¹⁾.

Что, чему и гдѣ прокладываетъ дорогу? Какія затрудненія исчезаютъ?—Все это вопросы, на которые фізіологія не отвѣчаетъ.

«Въ природѣ (органической?), говоритъ Вундтъ, очень обыкновенно явленіе, что движеніе, принимающее при повтореніи все одно и то же направленіе, мало-по-малу, все легче и легче принимаетъ то, а не какое-нибудь другое направленіе. Каждое движеніе преодолеваетъ какія-нибудь затрудненія;

¹⁾ Физіологія обыденной жизни, стр. 401.

одни изъ этихъ затрудненій являются постоянно неизмѣнными, но другія уменьшаются и тѣмъ облегчаютъ движенія. Все, что называется навикомъ, основывается на этомъ явленіи. Выполненіе привычныхъ движеній облегчается потому, что электрическій процессъ въ нервахъ и мускулахъ, при частомъ повтореніи, проводится легче, причѣмъ онъ находитъ источникъ (силы?) въ большой прибавкѣ существенныхъ составныхъ частей этой ткани. Вотъ почему въ часто упражняемомъ мускулѣ замѣчается значительное прибавленіе сокращающейся субстанціи» ¹⁾. «Кромѣ того, замѣчаетъ Вундтъ далѣе, нервный процессъ, проходя по извѣстнымъ нервнымъ нитямъ, все болѣе и болѣе сосредоточивается въ нихъ и менѣе задѣваетъ сосѣдніе нервы, которые вначалѣ также раздражались. Такимъ образомъ, упражненіе дѣлаетъ возможнымъ такое изолированное дѣйствіе мускула, которое вначалѣ никакъ не удавалось; такъ, при игрѣ на скрипкѣ или на фортепіано, мы привыкаемъ къ изолированному движенію пальцевъ, которые вначалѣ непременно двигались вмѣстѣ; такъ можно привыкнуть давать изолированное движеніе самымъ мелкимъ личнымъ мускуламъ» ²⁾.

Такъ же мало объясняетъ намъ это явленіе англійскій психологъ Бэнъ своими «нервными токами» ³⁾. Приобрѣтеніе какихъ-нибудь привычекъ нервными токами такъ же непонятно, какъ и приобрѣтеніе ихъ нервными волокнами.

Итакъ, намъ остается только признать существованіе факта и отказаться покуда отъ всякихъ его объясненій. Такое превращеніе сознательныхъ и произвольныхъ движеній въ полусознательныя и даже въ произвольныя и безсознательныя рефлексы, безъ сомнѣнія, предполагаетъ какія-нибудь матеріальныя измѣненія въ нервной системѣ; но что это за измѣненія—физиологія не знаетъ. Безчисленность нервныхъ нитей и клѣточекъ, неопредѣленность ихъ соединеній и развѣтвленій, особенная мягкость мозговой массы, свойство перерѣзанныхъ нервовъ легко между собою сростаться, если одинъ изъ отрывковъ не отдѣленъ отъ нервного центра,—все это указываетъ намъ только на *возможность* безчисленныхъ и разнообразныхъ матеріальныхъ измѣненій въ нервной системѣ подъ вліяніемъ произвольныхъ или случайныхъ жизненныхъ дѣйствій.

Слѣдовательно, въ конечномъ выводѣ, подъ именемъ рефлекса, основываясь на однихъ фактахъ науки и не допуская произвольныхъ мечтаній, слѣдуетъ разумѣть чисто механическое движеніе въ нервахъ движенія, вызываемое въ нихъ такимъ же совершенно механическимъ и безсознательнымъ движеніемъ въ нервахъ чувства, которые вызваны къ дѣятельности

¹⁾ Vorlesungen über die Menschen-und Thierseele. T. I. S. 229 и 230.

²⁾ Тамъ же, стр. 221.

³⁾ The Senses and the Intellect, p. 388.

какимъ-нибудь внѣшнимъ прикосновеніемъ, но могутъ и не сопровождаться чувствомъ. Посредникомъ между нервами чувства (въ анатомическомъ смыслѣ слова) и нервами движенія является нервная клѣточка, изъ которой они оба выходятъ (точнѣе—одинъ входитъ, а другой выходитъ) или съ которою они оба соприкасаются, если клѣточка эта принадлежитъ къ числу лежащихъ отдѣльно между нервными нитями. Говорить о какомъ-нибудь сознаниіи или ощущеніи въ самыхъ нервахъ или соединяющихъ ихъ клѣточкахъ, при этой чисто механической передачѣ движеній, такъ же рационально, какъ говорить о сознаниіи въ проволоцѣ электрическаго телеграфа.

Въ отношеніи физической возможности *полурефлексовъ* психологія, какъ намъ кажется, можетъ уже воспользоваться открытіемъ физиологіи, указывающей на существованіе особенныхъ, *задерживающихъ рефлексы, нервовъ*.

Насколько анатомія и физиологія доказали убѣдительно существованіе такихъ *нервовъ, задерживающихъ рефлексы*, мы разбирать не будемъ. Но такое устройство нервной системы, если бы оно было вполне доказано, превосходно объяснило бы намъ явленіе, психологически совершенно достоверное, а именно, что одно и то же мускульное движеніе можетъ быть: 1) совершенно неощущаемымъ и произвольнымъ—совершенно механическимъ, 2) произвольнымъ, но ощущаемымъ, 3) ощущаемымъ и болѣе или менѣе произвольнымъ, по крайней мѣрѣ настолько, что мы можемъ задержать его на нѣкоторое время, или уменьшить, или оставить ему проявиться въ полной его механической силѣ. Такихъ движеній у насъ множество: мы можемъ кашлянуть совершенно безсознательно, можемъ кашлять, сознавая, что кашляемъ, но не удерживая кашля; мы можемъ задержать кашель на время и, наконецъ, мы можемъ кашлянуть нарочно, когда намъ не хочется кашлять. То же самое замѣчаемъ мы при миганіи вѣками, при невольныхъ движеніяхъ, выражающихъ испугъ и т. п., словомъ (за исключеніемъ полныхъ рефлексовъ), при всѣхъ природныхъ или усвоенныхъ привычкою полурефлективныхъ нашихъ движеніяхъ.

Такимъ устройствомъ нервной системы, такимъ разнообразіемъ ея нитей и существованіемъ такихъ задерживающихъ рефлексы нервныхъ волоконъ мы легко себѣ объяснимъ и другія явленія, замѣченныя физиологами, какъ наприм. то, что число рефлексовъ увеличивается и самые рефлексы выполняются энергичнѣе, разнообразнѣе, сложнѣе при отравленіи животнаго стрихниномъ и другими ядами, дѣйствующими прямо на головной мозгъ ¹⁾, а равно при вынүтіи большого мозга или при совершенномъ обезглавленіи животныхъ. Тогда было бы совершенно понятво, почему при пере-

¹⁾ Wundt. Vorlesungen über die Menschen-und Thierseele. I. T. S. 205 и 206.

рѣзъ всѣхъ задерживающихъ рефлексы нервовъ (то-есть идущихъ къ полушаріямъ большого мозга) число рефлексовъ и ихъ энергія возрастаютъ.

Но изъ этого вытекаетъ для насъ уясненіе еще гораздо болѣе важныхъ явленій, замѣчаемыхъ въ человѣкѣ и имѣющихъ значеніе для воспитанія. Взгляните на ребенка, который пересидѣлъ то время, когда онъ обыкновенно ложится спать,—и вы замѣтите въ его движеніяхъ, голосѣ, мимикѣ что-то *нервное*, какъ говорятъ обыкновенно, т. е. что-то судорожное, непроизвольное, или точнѣе, *рефлективное*: ребенокъ разсмѣется—и не можетъ перестать; расплачется—и не можетъ остановиться; капризамъ его нѣтъ конца. Такое явленіе, знакомое каждому, легко объясняется усталостью главнаго центра нервной дѣятельности, и именно полушарій большого мозга, которыя, какъ мы уже замѣтили выше, играютъ такую важную роль въ наступленіи сна. Число рефлексовъ, сложность ихъ и энергія въ дѣйствіяхъ ребенка увеличиваются именно потому, что мозговья полушарія, требующія сна, дѣйствуютъ слабо въ задержаніи рефлексовъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, увеличивается и сложность рефлексовъ, о которой мы должны сказать нѣсколько словъ.

Выше мы описали самый простой рефлексъ, такъ сказать, *схему рефлекса*. Въ такомъ простомъ видѣ мы даже и не можемъ наблюдать рефлекса, потому что не можемъ наблюдать надъ связью *только* двухъ, необыкновенно тонкихъ нервныхъ нитей. Обыкновенно же дѣйствіе на входящій или принимающій впечатлѣніе нервъ отражается (рефлектируется) не на одномъ нервѣ движенія, но на нѣсколькихъ сосѣднихъ, какъ выходящихъ, такъ и входящихъ нервахъ, и производитъ часто весьма сложныя и разнообразныя движенія мускуловъ. Анатомически это объясняется близкимъ сосѣдствомъ нервныхъ нитей: не только въ одномъ нервѣ, но даже въ одномъ нервномъ пучкѣ проходятъ многія тысячи разнообразныхъ нервныхъ нитей, и двигательныхъ, и получающихъ впечатлѣнія, такъ что раздраженіе съ одного нерва, если оно слишкомъ сильно, можетъ легко передаваться и на другіе. Кромѣ того, какъ мы уже видѣли, не всѣ нервныя клѣточки служатъ началомъ или окончаніемъ нервныхъ нитей, но нѣкоторыя изъ нихъ лежатъ отдѣльно между нервными нитями, не принимая и не выпускающая изъ себя нервныхъ волоконъ, но соприкасаясь со множествомъ ихъ. Вѣроятно, эти отдѣльно лежащія клѣточки имѣютъ своимъ назначеніемъ усложненіе рефлексовъ, такъ сказать, переходъ нервнаго раздраженія съ одной нервной нити на другую, не находящуюся съ нею въ непосредственной связи. Вообще, здѣсь есть только мѣсто догадкѣ; но фактъ тотъ, что нервное раздраженіе не проходитъ уединенно по одному нерву или по одной соединенной системѣ нервовъ, но распространяется болѣе или менѣе обширно по сосѣднимъ нервамъ. Область этого распространенія зависитъ отъ

части также отъ большого или меньшаго дѣйствія сознанія и задерживающихъ нервовъ, черезъ которые оно дѣйствуетъ на рефлексъ. При отравленіи животныхъ стрихниномъ, при обезглавленіи ихъ, равно какъ и при нѣкоторыхъ болѣзняхъ спинного мозга, рефлексъ не только умножаются и становятся энергичнѣе, но и усложняются. Легкій уколъ въ одну точку тѣла животного, которое отравлено стрихниномъ, производитъ чрезвычайно обширныя движенія, а повтореніе укола можетъ все тѣло привести въ разнообразнѣйшія и продолжительныя судороги. Кромѣ того, замѣчается, что обширность распространенія рефлексовъ съ однихъ нервовъ на другіе зависитъ также отъ силы раздраженія: чѣмъ сильнѣе раздраженіе, тѣмъ и рефлексъ можетъ быть сложнѣе и область затронутыхъ нервовъ обширнѣе.

Въ устройствѣ нервного организма, данному ему отъ природы, должно уже признать существованіе цѣлыхъ сложныхъ системъ рефлексовъ. Въ актѣ сосанія груди младенцемъ мы видимъ уже такую систему рефлексовъ, начало которой, безъ сомнѣнія, положено въ самой организаціи младенца ¹⁾, точно такъ же, какъ въ организаціи животныхъ лежитъ уже связь рефлексовъ, выражающаяся въ очень сложныхъ инстинктивныхъ дѣйствіяхъ. Достаточно одного впечатлѣнія, чтобы привести въ дѣйствіе разомъ всю такую сложную систему. Но въ болѣзненномъ состояніи, какъ, напр., у очень нервныхъ женщинъ и при болѣзняхъ спинного мозга, мы замѣчаемъ такія связи рефлексовъ, которыхъ никакъ не ожидали; эти связи капризны, измѣнчивы и выражаются въ самыхъ неожиданныхъ сочувствіяхъ одного мускула другому. Судороги личныхъ мускуловъ, мускуловъ глазъ, рукъ и ногъ, судорожное сжиманіе сердца и т. п. отвѣчаютъ самымъ неожиданнымъ образомъ на какое-нибудь слабое, повидимому, потрясеніе нервовъ.

Связь рефлексовъ точно такъ же, какъ и самый рефлексъ, можетъ быть *установлена* привычкою. Такъ, въ гимнастическихъ упражненіяхъ, при чтеніи и письмѣ и т. п. сложныхъ механическихъ дѣйствіяхъ, мы устанавливаемъ такую связь рефлексовъ, какой отъ природы дано не было. Сначала мы выполняемъ эту связь сознательно, и она стоить намъ иногда большого напряженія воли; но потомъ она дѣлается чистымъ механизмомъ, совершающимся безсознательно, иногда даже противъ нашей воли. Точно такъ же и наоборотъ: мы можемъ разстроить привычкою систему рефлексовъ, установленныхъ уже самою природою или прежнею привычкою. Сначала это разстройство установившихся рефлексовъ стоить намъ большого труда, но потомъ выполняется все легче и легче. Такъ, при обученіи на фортепіано намъ стоить сначала большого труда подымать и опускать отдѣльно тѣ пальцы, которые привыкли двигаться вмѣстѣ. Точно такъ же,

¹⁾ Man. de Phys. T. II, 94.

напр., намъ необыкновенно трудно вертѣть руками такъ, чтобы каждая вертѣлась въ обратную сторону, но, посредствомъ привычки, и этого навыка можно достигнуть. Плясуны на канатѣ и вообще гимнасты поражаютъ насъ именно этимъ разстройствомъ обыкновенныхъ системъ рефлексивныхъ движеній и устройствомъ новыхъ, которыя кажутся намъ невозможными.

Миллеръ, признавая врожденныя ассоціаціи движеній, отвергаетъ ассоціаціи, установленныя привычкою, видя въ нихъ только комбинацію *произвольныхъ* движеній... ¹⁾). Но этому прямо противорѣчитъ общеизвѣстный фактъ такихъ сложныхъ привычекъ, которыя, безъ сомнѣнія, установились у насъ дѣйствіями сознательными и произвольными, но потомъ совершаются *не только помимо нашей воли*, но даже *противъ нашей воли*. Безъ сомнѣнія, такъ называемыя *присловія* не врождены намъ; но они высказываютъ потомъ сами собою, даже къ великой досадѣ того, кто ихъ произноситъ, всякій разъ, какъ только сознаніе и воля говорящаго будутъ чѣмъ-нибудь отвлечены, слѣдовательно, никакъ нельзя сказать, что въ такихъ дѣйствіяхъ участвуетъ воля.

Привычная ассоціація идей и движеній, о которой говоритъ Миллеръ, конечно, тоже существуетъ; но ею объясняется другое психо-физическое явленіе, а именно: актъ невольнаго подражанія и, если можно такъ выразиться, заразительность рефлексовъ. «Связь идей и движеній, говоритъ Миллеръ, можетъ сдѣлаться такою же привычною, какъ и связь идей между собою, и если идея и движеніе часто ассоціируются, то потомъ движеніе уже невольно сопровождаетъ идею». Такъ мы невольно и бессознательно мигаемъ, когда быстрое приближеніе посторонняго предмета угрожаетъ глазу, и т. п. Но связь идей между собою можетъ происходить только *въ сознаніи*, слѣдовательно, можетъ быть только *сознательною*; а гдѣ есть сознаніе, тамъ нѣтъ уже привычки, ибо это два понятія, прямо исключаютъ другъ друга. Сознаніе можетъ соединяться съ привычкою, и дѣйствительно соединяется въ безчисленномъ множествѣ психо-физическихъ актовъ, почти во всемъ, что мы дѣлаемъ, говоримъ и даже думаемъ; но сознаніе здѣсь слѣдуетъ за привычнымъ дѣйствіемъ, а не вызываетъ его; связавъ два дѣйствія или два слова по привычкѣ, мы только уже потомъ сознаемъ, что связали ихъ, и часто сами удивляемся, какъ мы это сдѣлали, и если эта привычная связь кажется намъ ложною, то мы уже сознательно и насильно разрываемъ ее. Здѣсь мы уже видимъ борьбу сознанія съ привычкою, что было бы невозможно, если бы сознаніе само усваивало эти привычки. Но, дѣйствительно,

¹⁾ Многоточіемъ обозначены тѣ мѣста текста, которыя заключали въ себѣ разныя *историческія* и *критическія* замѣчанія автора, и потому, ради облегченія читателя, опущены, безъ ущерба для пониманія главной мысли. *Ред.*

идея, возбужденная въ душѣ, стремится воплотиться въ движеніе мускуловъ. Причина этого стремленія скрыта отъ насъ въ таинственной связи души и тѣла; но фактъ тотъ, что идеи горя, радости, гнѣва непроизвольно отражаются въ движеніяхъ личныхъ мускуловъ, въ мускулахъ голосового органа и т. д. Слѣдовательно, первый толчокъ здѣсь во всякомъ случаѣ даетъ таинственное воплощеніе нашихъ идей; но потомъ идетъ уже непроизвольная, рефлективная ассоціація движеній, все равно, будетъ ли эта ассоціація установлена природою, или привычкою. Положимъ теперь, что человѣкъ видитъ какое-нибудь сильное мимическое движеніе въ лицѣ другого человѣка; естественно, что идея этого движенія ярко обрисовывается въ душѣ его, а вслѣдствіе этой силы и яркости стремится воплотиться въ его собственныхъ мимическихъ движеніяхъ: онъ можетъ *задержать* этотъ рефлексъ, удержаться отъ воплощенія, но можетъ и *не задержать*—а чѣмъ чаще будетъ выполняться это *подражательное воплощеніе*, тѣмъ легче, независимо отъ сознанія и воли, будетъ оно совершаться. На этомъ основано множество общеизвѣстныхъ явленій, носящихъ общій характеръ *невольнаго подражанія*. Людямъ слаонервнымъ, т. е. такимъ, которые слабо удерживаютъ свои рефлексы, и слабо управляютъ ими, опасно смотрѣть на личные судороги человѣка, одержимаго падучей болѣзью. Слаонервныя женщины невольно принимаютъ мимику людей энергичныхъ и сильно воплощающихъ свои идеи. Почерки мужа и жены дѣлаются сходными черезъ нѣсколько лѣтъ сожителства, хотя вначалѣ были совершенно различны; между супругами образуется даже нѣкоторое личное сходство, то-есть сходство въ мимикѣ. Въ обществѣ зайкъ дитя очень часто дѣлается зайкою. Кликушество распространяется иногда по деревнямъ повальною болѣзью и т. п. Актъ невольнаго и бессознательнаго подражанія, играющій такую важную роль въ жизни и воспитаніи дѣтей, объясняется именно этимъ невольнымъ и иногда неудержимымъ стремленіемъ живо представляемой идеи воплотиться въ движенія тѣла и установленіемъ ассоціаціи этихъ движеній въ привычку.

Соединеніе въ одномъ и томъ же психо-физическомъ актѣ дѣйствій *сознательно-произвольныхъ* и дѣйствій *привычно-рефлективныхъ*, т. е. бессознательныхъ и непроизвольныхъ, заслуживаетъ величайшаго вниманія со стороны психолога и педагога. «Когда мы учимся языку, говорить Ридъ, то вслушиваемся въ каждый звукъ, а когда выучимся, то внимаемъ только смыслу»¹⁾. Точно такъ же, когда мы начинаемъ учиться говорить на иностранномъ языкѣ, то, сознательно и употребляя замѣтно усиліе воли, выговариваемъ не только каждое слово, но и каждый звукъ, а потомъ, когда выучимся, заботимся только о смыслѣ того, что говоримъ: звуки, слова и цѣ-

¹⁾ Read. T. I, p. 120.

лыя предложенія, съ соблюденіемъ всѣхъ грамматическихъ правилъ, идутъ сами собою, такъ что мы не даемъ себѣ никакого отчета въ соблюденіи правилъ языка, пріобрѣсть которыя намъ стоило столько сознательнаго труда. Здѣсь рефлексивныя дѣйствія, установленныя привычкою,—дѣйствія безсознательныя и произвольныя, слѣдовательно—*нервныя*—соединяются и переплетаются съ дѣйствіями, которыми руководитъ наше сознаніе и наша воля,—съ дѣйствіями *душевными*. Но кто же возьмется провести между ними точную границу? Какъ это явленіе, такъ и многія другія, подобныя ему, побудили нѣкоторыхъ психологовъ ¹⁾ принять два теченія мыслей: «низшее», управляемое законами привычки, и «высшее», теченіе разсудочное, овладѣвающее привычкою. Но если мы не отыщемъ у привычки сознанія и воли, то самое слово *привычка* не будетъ имѣть никакого смысла; а если привычное дѣйствіе есть дѣйствіе, непременно исключающее сознаніе и волю, то на какомъ же основаніи мы причислимъ его къ разряду дѣйствій душевныхъ? Вотъ почему вездѣ, гдѣ мы замѣчаемъ хотя малѣйшее участіе привычки, мы прямо указываемъ на участіе тѣла, на участіе нервнаго организма, съ его удивительною способностью къ разнообразнѣйшимъ рефлексамъ и къ усвоенію новыхъ и новыхъ рефлексовъ въ видѣ привычекъ. Душа наша руководитъ этою изумительною рефлектирующею машиною; но, тѣмъ не менѣе, машина эта существуетъ и дѣйствуетъ по своимъ собственнымъ механическимъ законамъ.

Неясное пониманіе природы привычекъ вводитъ философовъ, психологовъ и педагоговъ въ многочисленныя ошибки и противорѣчія. Кантъ, замѣчая въ привычкѣ отсутствіе сознанія, относится къ ней съ презрѣніемъ и какъ бы желаетъ вовсе исключить ее изъ человѣческихъ дѣйствій ²⁾. Локкъ, принимая прямо, что душа можетъ усвоить привычки, объясняетъ ими почти всѣ психическія явленія и строитъ на привычкѣ почти всю свою систему воспитанія ³⁾. Оба эти мнѣнія, а равно и выводы, которые изъ нихъ дѣлаются, мы считаемъ *односторонними*. Душа, какъ существо сознающее и желающее, не можетъ имѣть привычекъ, въ которыхъ нѣтъ ни сознанія, ни желанія; но, съ другой стороны, нервный организмъ, со своею необыкновенною способностью усваивать привычки, открываетъ имъ сильнѣйшее вліяніе на дѣятельность души, которая въ своемъ стремленіи жить, т. е. дѣйствовать, выбираетъ пути самые легкіе, а путь, проложенный привычкою въ нервномъ организмѣ, всегда легче пути, который нужно еще прокладывать въ немъ. Подробнѣе мы скажемъ объ этомъ далѣе, здѣсь же выразимъ только въ короткихъ словахъ нашъ окончательный выводъ изъ

¹⁾ Послѣдователь Канта—Фрисъ. См. *Antropol.* Т. I. S. 87.

²⁾ *Antropologie*, XXV.

³⁾ *Locke's Works*. Vol. I. *Cond. of the underst.* p. 35, 37 etc.

разсмотрѣнія рефлексовъ: *всякое привычное дѣйствіе есть дѣйствіе рефлексивное, какъ разъ настолько, насколько оно привычно, и если въ какомъ-нибудь психо-физическомъ актѣ мы замечаемъ привычку, то значитъ, что въ этомъ актѣ принимаетъ большее или меньшее участіе нервная система со своею способностью усваивать новые рефлексы.*

Изъ всего предыдущаго видно, что хотя мы и признаемъ нервный организмъ въ его отдѣльности отъ души только машиною, не имѣющею никакихъ условій чувства и возможности движеній, вслѣдствіе сознанія и чувства; но, тѣмъ не менѣе, мы предполагаемъ за этой органической машиной такую обширную, изумительную и разнообразную дѣятельность, возможность которой едва можетъ быть объяснена необыкновенною сложностью нервного организма, изученіе котораго до сихъ поръ далеко не можетъ считаться оконченнымъ ни въ анатоміи, ни въ физиологіи. Три четверти всего того, что мы дѣлаемъ, говоримъ и думаемъ, Лейбницъ приписывалъ привычкѣ, а нѣтъ сомнѣнія, что гдѣ привычка—тамъ работаетъ нервная система. Но, отдавая тѣлу все, что ему принадлежитъ, мы тѣмъ свободнѣе можемъ отдать душѣ, что не можетъ быть выведено ни изъ какихъ законовъ матеріи, а именно—сознаніе, чувство и волю.

Г Л А В А XIII.

Привычки и навыки, какъ усвоенные рефлексы.

Въ прошедшей главѣ мы видѣли, что способность нервного организма не только имѣть природные рефлексы, но и усваивать новые, подъ вліяніемъ дѣятельности, весьма достовѣрно объясняетъ намъ возможность пріобрѣтенія привычекъ. Какое-нибудь дѣйствіе, стоявшее намъ вначалѣ замѣтнаго сосредоточенія вниманія и усилія воли, повторяясь часто, выполняется нами все легче и легче, все при меньшемъ вниманіи и меньшемъ усиліи воли, и, наконецъ, можетъ до того укорениться въ нашу природу, что выполняется даже противъ нашей воли, и именно тогда, когда вниманіе наше отвлечено чѣмъ-нибудь другимъ: таковы, на примѣръ, всѣ дурныя привычки, съ которыми человѣку бываетъ иногда такъ же трудно бороться, какъ и съ врожденными наклонностями.

Однакоже далеко не всѣ такъ называемыя привычки и навыки могутъ быть объяснены рефлексами; но это потому, что названіе «привычка» употребляется въ разговорномъ языкѣ неопредѣленно и прилагается одинаково къ самымъ разнообразнымъ психическимъ и психо-физическимъ явленіямъ.

Привычкою часто называютъ приобретаемую человѣкомъ способность выносить какія-нибудь ощущенія, или цѣлыя ряды ощущеній, которыхъ прежде онъ не могъ выносить; таковы: привычка къ перенесенію холода, жара, шума, тряски, качки, боли и т. п. Привычки этого рода можно назвать *пассивными*. Какъ объяснить это явленіе—мы не знаемъ; но очевидно, что часто повторяющееся впечатлѣніе должно въ самомъ организмѣ нашемъ производить какія-то измѣненія, мало-по-малу приспособляющія организмъ къ перенесенію того, что прежде онъ не могъ перенести, что могло даже подѣйствовать на него разрушительно. Такъ, мало-по-малу, привыкаютъ люди къ быстрымъ перемѣнамъ температуры, которыя прежде могли бы произвести въ нихъ болѣзнь; такъ, были примѣры, что люди привыкали къ приему ядовъ въ такихъ дозахъ, которыя были бы смертельны для человѣка непривычнаго ¹⁾). Эти *пассивныя* привычки не объясняются рефлексами, и не о нихъ хотимъ говорить мы въ этой главѣ.

Привычкою, на обыкновенномъ разговорномъ языкѣ, называютъ также усиленіе той или другой способности, происходящее отъ упражненія: такъ, обыкновенно говорятъ, что человѣкъ привыкъ подымать большія тяжести, ходить много безъ усталости, считать быстро и вѣрно, сосредоточивать вниманіе на извѣстномъ предметѣ, заниматься тою или другою умственной работою и т. п. Но мы уже видѣли выше, что усиленіе мускула не есть собственно привычка, а прямое увеличеніе его массы, зависящее отъ упражненія, простая прибавка мускульнаго матеріала, отчего въ мускулѣ можетъ развиваться большее противъ прежняго количество силъ ²⁾). Точно такъ же, если умъ нашъ, обогащаясь познаніями въ какой-нибудь области, выказываетъ въ ней болѣе способности, чѣмъ прежде, то это уже не привычка, а прямо расширеніе способности, развитіе ея увеличеніемъ и обработкою ея содержанія. Явленіе это объясняется вполне въ главахъ о разсудкѣ; но здѣсь мы говоримъ не о развитіи способностей тѣлесныхъ или душевныхъ, но только о привычкахъ.

Подъ именемъ нервной привычки, въ точномъ смыслѣ слова, мы разумѣемъ то замѣчательное явленіе нашей природы, что многія дѣйствія, совершаемыя нами вполне сознательно и произвольно, отъ частаго ихъ повторенія совершаются потомъ безъ участія нашего сознанія и произвола и, слѣдовательно, изъ ряда дѣйствій произвольныхъ и сознательныхъ переходятъ въ разрядъ дѣйствій рефлексивныхъ или рефлексовъ, совершаемыхъ нами помимо нашей воли и нашего сознанія. Въ этомъ уже сама собою открывается вся обширность возможности черезъ посредство привычки внести въ нервный организмъ человѣка существенныя измѣненія, дающія ему

¹⁾ Elem. de Pathologie par Chomel. 4 éd. 1861, p. 96.

²⁾ См. Учебникъ физиологій.

тѣ способности, которыхъ онъ не имѣлъ отъ природы. На этой способности нервовъ къ усвоенію новыхъ ассоціацій рефлексовъ и разстройству старыхъ основываются не только всѣ тѣ привычки и навыки, которые преднамѣренно сообщаются дитяти воспитаніемъ, но также и тѣ, которые сообщаются ему безъ всякаго намѣренія, самою жизнью, и съ которыми нерѣдко приходится бороться воспитателю, а потомъ и самому человѣку или обществу.

Но этимъ не ограничивается значеніе привычки. Въ привычекъ нервовъ есть другая, можетъ быть еще болѣе важная, сторона, которой не слѣдуетъ упускать изъ виду. Нервъ, получившій привычку къ той или другой дѣятельности, не только легче выполняетъ эту дѣятельность, но иногда, получая къ ней физическую склонность, даетъ чувствовать эту склонность душѣ, которая, какъ мы уже видѣли, ощущаетъ нервный организмъ съ его особенностями, а слѣдовательно, и съ тѣми физическими склонностями, которыя въ немъ установились отъ частаго повторенія той или другой дѣятельности. Такимъ образомъ, сначала намъ нужно употреблять значительное напряженіе сознанія и воли, чтобы дать то или другое направленіе той или другой дѣятельности нашихъ нервовъ, а потомъ мы принуждены бываемъ употреблять такое же усиліе сознанія и воли, чтобы противодѣйствовать склонности нервовъ, которую мы сами же въ нихъ укоренили: сначала мы ведемъ наши нервы, куда хотимъ, а потомъ они ведутъ насъ, куда, быть можетъ, мы совсѣмъ не хотимъ идти. Привычку, не переходящую въ *склонность*, правильнѣе было бы называть *навыкомъ*, каковы всѣ привычки въ искусствахъ и ремеслахъ, и сохранить названіе *привычки* для привычекъ-склонностей ¹⁾.

Образованіе склонности изъ привычки объясняется свойствомъ нашей души, о которомъ мы подробнѣе скажемъ дальше, но на которое можемъ уже указать и здѣсь. Душа наша требуетъ постоянной дѣятельности и въ то же время избѣгаетъ препятствій, а слѣдовательно требуетъ дѣятельности легкой: вотъ почему самая легкость для насъ той дѣятельности, къ которой привыкли нервы, устанавливаетъ склонность къ этой дѣятельности. Правда, сознаніе и воля всегда остаются при насъ, и какъ бы сильно ни было влеченіе нашего нервнаго организма въ какомъ-нибудь направленіи, мы всегда можемъ противодѣйствовать ему; но дѣло въ томъ, что, тогда какъ сознаніе наше и воля дѣйствуютъ почти моментально, урывками, нервный организмъ, со своими склонностями и привычками, вліяетъ на насъ постоянно; и тогда какъ идти вслѣдъ за склонностями нервовъ для насъ легко и пріятно, противодѣйствовать имъ тѣмъ труднѣе и непріятнѣе, чѣмъ болѣе вкоренилось въ нихъ противоположное направленіе. Какъ только воля наша ослабѣетъ

¹⁾ The Works of Read. Vol. II, p. 550.

на мгновение или сознание займется другимъ предметомъ, такъ нервы и начинаютъ подталкивать насъ на тотъ образъ дѣйствія, къ которому они привыкли, и «мы, по выраженію Рида, увлекаемся привычкою, какъ потокомъ, когда плывемъ, не сопротивляясь теченію». Человѣку, привыкшему къ куренью, вовсе не трудно не курить: это и не потребность, и не такое большое удовольствіе, отъ котораго было бы тяжело отказаться; но тяжело и неприятно цѣлые годы, каждый часъ и почти каждую минуту держать на сторожѣ нашу волю противъ привычки, которая ежеминутно подталкиваетъ насъ къ сигарѣ.

Чѣмъ моложе организмъ, тѣмъ быстрѣе укореняются въ немъ привычки. Дитя усваиваетъ привычку гораздо быстрѣе и вѣрнѣе, чѣмъ старикъ. Младенецъ, жизнь котораго считается днями, привыкаетъ къ какому-нибудь дѣйствию послѣ двухъ-трехъ разъ его повторенія, такъ что матери, напримѣръ, которыя откладываютъ пріучать ребенка къ правильному кормленію грудью, пока онъ окрѣпнетъ, черезъ нѣсколько же дней бываютъ принуждены бороться съ укоренившеюся уже привычкою. Пеленка свернутая, подушка положенная такъ или иначе два-три раза сряду уже усанавливаютъ въ младенцѣ привычку, противодѣйствіе которой сопровождается крикомъ. Вотъ почему у беспорядочныхъ матерей и дѣти беспокойны, тогда какъ у матери съ опредѣленнымъ образомъ дѣйствій дѣти не кричатъ понапрасну. Нервы человѣка, такъ сказать, жаждутъ навыка и привычки, и первые привычки и навыки усваиваются, быть можетъ, съ перваго же разу; но чѣмъ болѣе накапливается привычекъ и навыков у человѣка, тѣмъ труднѣе вкореняются новые, встрѣчая сопротивленіе въ прежнихъ: дитя пріучается въ нѣсколько мѣсяцевъ такъ говорить на иностранномъ языкѣ, какъ не можетъ пріучиться взрослый человѣкъ и въ нѣсколько лѣтъ. Если же у старика привычки выступаютъ яснѣе, чѣмъ у молодого человѣка, то это потому, что часто старикъ такъ же устаетъ держать на сторожѣ свое сознание и волю какъ и поддерживать свое тѣло въ прямомъ положеніи: такой старикъ опускается въ привычку, какъ опускается въ кокойное кресло. Но мы не совсѣмъ согласны съ тѣми, которые, какъ напримѣръ Бэконъ ¹⁾, думаютъ, что привычки дѣтства труднѣе искореняются. Это справедливо только въ томъ отношеніи, что, чѣмъ старѣе привычка, тѣмъ она крѣпче, такъ какъ она укореняется именно повтореніемъ. Но если дитя, напримѣръ, скоро выучивается иностранному языку, то оно точно такъ же скоро и забываетъ его, если перестаетъ въ немъ упражняться. Словомъ, чѣмъ моложе человѣкъ, тѣмъ скорѣе въ немъ укореняется привычка и тѣмъ скорѣе искореняется; и чѣмъ старѣе сами привычки, тѣмъ труднѣе ихъ искоренить.

¹⁾ Oeuvres de Bacon. 1845. Т. II, р. 342.

Область привычки и навыка гораздо обширнѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Немедленно же по рожденіи начинаетъ дитя дѣлать различные опыты и приравливанія, которые потомъ обращаются для него въ бессознательные навыки и привычки. Мы уже видѣли выше, что многія изъ способностей зрѣнія вовсе не простыя прирожденные способности, а весьма сложные выводы, сдѣланные человекомъ въ безпамятномъ младенствѣ изъ множества наблюдений, сравненій, опытовъ, приспособленій, аналогій и умозаключеній, обратившихся потомъ въ бессознательно-выполняемый навыкъ, которымъ мы пользуемся впоследствии, какъ прирожденнымъ даромъ. Такъ, ребенокъ уже на третьемъ или на четвертомъ мѣсяцѣ послѣ рожденія навываетъ вѣрно схватывать рученкою подаваемый ему предметъ. Но если мы анализируемъ это дѣйствіе и сравнимъ его съ тѣми условіями, которыя врождены органамъ зрѣнія и осязанія, то увидимъ, что только посредствомъ множества наблюдений, аналогій и умозаключеній могъ достигнуть ребенокъ до этого, повидимому, столь простаго дѣйствія. Чтобы протянуть свою рученку къ предмету, младенецъ долженъ: 1) *навыкнуть* знать свою руку *своею*, потому что всѣ впечатлѣнія осязанія отражаются у насъ ощущеніемъ не тамъ, гдѣ предметъ прикасается къ кожѣ, но въ мозгу, такъ что если мы, прикасаясь пальцами къ предмету, получаемъ ощущеніе осязанія въ пальцахъ, то это не болѣе какъ бессознательный навыкъ, укореняющійся въ младенствѣ такъ сильно, что потомъ взрослый человекъ, у котораго отрѣзали руку, долго еще продолжаетъ чувствовать, какъ чешутся или болятъ у него пальцы отрѣзанной руки. 2) Ребенокъ долженъ былъ *навыкнуть* отличать свое тѣло и, слѣдовательно, свою руку отъ всѣхъ постороннихъ предметовъ, точно такъ же отражающихся въ его мозгу посредствомъ акта зрѣнія. 3) Ребенокъ долженъ былъ *навыкнуть* по своему желанію направлять руку, распускать и сжимать пальцы,—тоже актъ весьма сложный, выходящій изъ комбинаціи дѣятельности трехъ чувствъ: зрѣнія, осязанія и мускульнаго чувства. 4) Кромѣ того, множествомъ наблюдений, аналогій и умозаключеній ребенокъ долженъ былъ усвоить понятіе о перспективѣ, и такъ усвоить, чтобы *дѣйствительно видѣть* предметы въ перспективѣ, а это—одинъ изъ самыхъ сложныхъ человѣческихъ навыковъ. Всѣ предметы отражаются на нашей сѣтчатой оболочкѣ глаза въ одной плоскости, безъ всякой перспективы, а только свѣтъ и тѣнь, знаніе относительной величины предметовъ и мгновенное сравненіе предметовъ разной величины даютъ намъ возможность видѣть ихъ въ перспективѣ. Если же ребенокъ вѣрно схватываетъ подаваемый ему предметъ, то значитъ, что онъ уже видитъ его въ перспективѣ. И все это громадное и сложное изученіе пройдено ребенкомъ въ какіе-нибудь три-четыре первые мѣсяца его жизни! Такъ дѣятельно ра-

ботаешь психическая жизнь въ ребенкѣ въ то время, когда на глаза взрослыхъ онъ почти не человѣкъ.

Къ такимъ же навыкамъ, укореняющимся въ младенчествѣ, которыми мы потомъ пользуемся, не помня совершенно ихъ трудной исторіи, принадлежатъ въ насъ: навыкъ видѣть двумя глазами одинъ предметъ, т. е. превращать два отраженія въ одно ощущеніе; навыкъ видѣть одноцвѣтные предметы одноцвѣтными, тогда какъ, по устройству глазной сѣтки, это должно бы быть иначе; навыкъ при движеніи головы и глазъ не считать неподвижные предметы движущимися; навыкъ брать себя за большое мѣсто и чесать то, которое чешется. (Младенецъ, не приобрѣвшій этого навыка, и у котораго чешется, положимъ, рука, будетъ метаться и кричать, не зная, чѣмъ помочь себѣ, потому что это ощущеніе отражается у него только общимъ ощущеніемъ въ мозгу). Къ такимъ же бессознательнымъ навыкамъ относятся: комбинація слуха и зрѣнія, когда мы направляемъ глаза въ ту сторону, откуда исходитъ звукъ; комбинація ощущеній мускульныхъ, осязательныхъ съ движеніями при ходьбѣ; комбинація ощущеній слуховыхъ, мускульныхъ и движеній при произношеніи словъ и мн. др.

Новѣйшая фізіологія глубоко разъяснила эти бессознательныя, не врожденныя, но выработанныя нами дѣятельности нашихъ чувствъ, и психологіи остается воспользоваться этими результатами. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи сочиненіе Вундта, какъ психолога и фізіолога, имѣетъ весьма важное значеніе... Всѣ эти сложныя и неvroжденные намъ дѣятельности нашихъ чувствъ, открытыя фізіологіею, суть не что иное, какъ навыки, сдѣланные нами въ самомъ раннемъ дѣтствѣ, сдѣланные сознательно, точно такъ же, какъ множество навыковъ, которые мы дѣлаемъ впослѣдствіи, но самый актъ выработки которыхъ позабытъ нами, какъ и все, что относится къ *безсловесному* періоду нашей жизни.

Къ такому объясненію приводятъ насъ многія убѣдительныя причины. *Во-первыхъ* ¹⁾, мы не можемъ, какъ сказали уже выше, не противорѣчая логикѣ, принять бессознательныя ощущенія, опыты и умозаключенія, потому что всѣ эти акты суть акты сознанія и безъ него немислимы. *Во-вторыхъ*, прямыя наблюденія надъ младенцемъ показываютъ намъ, что одинъ напр. изъ сложнѣйшихъ бессознательныхъ навыковъ, надъ объясненіемъ котораго много потрудились и фізіологія, и психологія, а именно навыкъ, приобрѣтаемый младенцемъ на пятомъ или шестомъ мѣсяцѣ жизни, — схватывать вѣрно подаваемый ему предметъ, приобрѣтается видимыми для насъ попытками ребенка, сначала весьма неудачными, а потомъ болѣе и болѣе вѣрными. *Въ-третьихъ*, и въ зрѣломъ возрастѣ мы нерѣдко,

¹⁾ Vorles. über die Menschen-und Thierseele v. Wundt. Erst. B., S. 133 и др.

приобрѣвши какой-нибудь навыкъ, должны потомъ употребить иногда значительное усиліе памяти, чтобы вспомнить, какъ и когда приобрѣли его; что же удивительнаго, если мы забываемъ совершенно процессъ приобретенія навыковъ и привычекъ, усвоенныхъ нами въ младенческомъ возрастѣ, такъ что считаемъ ихъ за врожденную способность и склонность души, какъ думали прежде, или за бессознательный душевный актъ, какъ хочетъ думать Вундтъ? ¹⁾).

Чтобы понять вполнѣ данное нами объясненіе этихъ сложныхъ бессознательныхъ актовъ души, въ которыхъ мы видимъ не что иное, какъ навыки и привычки, сдѣланные въ младенствѣ, должно нѣсколько уяснить себѣ состояніе дѣтской памяти. Память младенца очень свѣжа и восприимчива; но въ ней недостаетъ именно того, что связываетъ отрывочныя впечатлѣнія въ одинъ стройный рядъ и даетъ намъ потомъ возможность вызывать изъ души нашей впечатлѣніе за впечатлѣніемъ,—*недостаетъ дара слова*. Даръ слова совершенно необходимъ для того, чтобы мы могли сохранить воспоминаніе исторіи нашей душевной дѣятельности, и имѣть громадное значеніе для способности памяти ²⁾. Если привычка сдѣлана нами хотя и сознательно, но въ тотъ періодъ нашей жизни, когда мы не обладали еще даромъ слова, то, безъ сомнѣнія, мы не можемъ припомнить, *какъ* мы сдѣлали ее, хотя она въ насъ остается. Въ томъ же, что у безсловеснаго младенца дѣйствуетъ уже память, не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія: множество наблюденийъ показываетъ это очень ясно. Младенецъ помнитъ лица, образы, впечатлѣнія, хотя и не обладаетъ еще тѣмъ могучимъ средствомъ, которое одно можетъ связать наши душевные акты въ стройную систему,— не обладаетъ словомъ.

Но, замѣтятъ намъ, не слишкомъ ли много приписываемъ мы безсловесному младенцу, говоря, что онъ наблюдаетъ, дѣлаетъ опыты, сравниваетъ, умозаключаетъ? Однакоже, если наука открыла, что человѣкъ уже при выходѣ изъ младенчества обладаетъ множествомъ *приобрѣтенныхъ* способностей, приобретеніе которыхъ обуславливается наблюденіемъ, опытомъ и умозаключеніемъ, то намъ остается одно изъ двухъ: или приписать возможность дѣлать опыты, наблюденія и умозаключенія бессознательной

¹⁾ Джонъ Стюартъ Милль думаетъ, что подобнымъ способомъ, на который мы здѣсь указали, приобретены нами даже наши увѣренности въ геометрическія аксіомы. Эти увѣренности мы приобретаемъ изъ опытовъ, говоритъ Милль, но изъ опытовъ, дѣлаемыхъ въ такое раннее время жизни, «что мы не можемъ припомнить исторіи интеллектуальныхъ операций этого періода». *Mill's Logic*, 1862 г. Vol. I, p. 263.

²⁾ Значеніе слова для памяти очень хорошо развито Вайтцемъ. *Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft*, von Theodor Waitz. 1849. S. 115, 116.

природѣ, какъ дѣлаетъ это Вундтъ, т. е. придать сознаніе тому, что въ то же время признается нами бессознательнымъ, или приписать эту возможность такому, все же сознательному существу, какимъ является намъ ребенокъ,—и мы выбираемъ послѣднее.

Открывая и разясняя эти сложные процессы душевной жизни младенца, наука удовлетворяетъ не одной любознательности, но приноситъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, значительную практическую пользу; ибо для родителей и воспитателей чрезвычайно важно сознавать ясно, что ребенокъ и въ первый годъ своей жизни живетъ не одною физическою жизнію, но что въ душѣ его и въ его нервной системѣ подготавливаются основные элементы всей будущей психической дѣятельности: вырабатываются тѣ силы и тѣ основные приемы, съ которыми онъ впослѣдствіи будетъ относиться и къ природѣ, и къ людямъ. Усвоивъ такой взглядъ на младенца, родители и воспитатели подумаютъ не объ одномъ его физическомъ здоровьѣ, но и объ его духовномъ развитіи. Конечно, этотъ періодъ слишкомъ закрытъ отъ насъ, чтобы мы могли внести въ него наше положительное вмѣшательство; но мы можемъ дѣйствовать на него благотѣльно, удаляя отъ ребенка въ этомъ возрастѣ все, что могло бы помѣшать его правильному развитію—физическому и духовному. Такъ, мы можемъ внести порядокъ въ его жизнь, позаботиться о спокойствіи его нервной системы, объ удаленіи отъ него всего раздражающаго, грязнаго и уродливаго не въ одномъ только физическомъ смыслѣ. Существуетъ, на примѣръ, убѣжденіе, кажущееся для многихъ предразсудкомъ, что злая кормилица вскормитъ и злого ребенка; но это не совсѣмъ предразсудокъ. Конечно, злость не можетъ быть передана черезъ молоко, хотя молоко раздраженной женщины портитъ желудокъ ребенка; но злая женщина обращается *зло* съ младенцемъ, и своимъ обращеніемъ, а не молокомъ, сѣетъ въ немъ сѣмена злости или трусости. Не должно забывать, что первое понятіе о человѣкѣ, которое впослѣдствіи закрѣпится словомъ, образуется въ ребенкѣ въ безсловесный періодъ его жизни, и что на образованіе этого понятія имѣютъ рѣшительное вліяніе тѣ первыя человѣческія личности, которыя отразятся въ душѣ ребенка и лягутъ въ основу его будущихъ отношеній къ людямъ. И счастливо дитя, если первое человѣческое лицо, отразившееся въ немъ, есть полное любви и ласки лицо матери! Въ отношеніи разныхъ людей къ другимъ людямъ мы замѣчаемъ величайшее разнообразіе и много бессознательнаго, какъ бы прирожденнаго, но, конечно, многое здѣсь не врождено, а идетъ изъ періода безсловеснаго младенчества.

Изъ всего обширнаго процесса психической жизни младенца мы видимъ ясно только отрывки, указывающіе на цѣлый періодъ развитія: вотъ ребенокъ сталъ слѣдить глазами за движущимися предметами, вотъ протягиваетъ къ нимъ ручки, вотъ сталъ улыбаться, узнавать мать, отца,

няню; а все это такіе сложные душевные выводы, надъ которыми много поработалъ младенецъ, и когда онъ произнесетъ первое слово, то душа его представляетъ такой сложный и богатый организмъ, такое собраніе наблюдений и опытовъ, такую высоту, до которой не могъ достигнуть весь міръ животныхъ во всемъ своемъ послѣдовательномъ развитіи. вмѣстѣ со словомъ, закрѣпляющимъ образы и понятія, быстро начинаетъ развиваться память, которая современемъ свяжетъ всю жизнь человѣка въ одно цѣлое; тогда отъ безсловеснаго періода останутся одни результаты въ формѣ бессознательныхъ привычекъ и наклонностей, не только приводящихъ въ изумленіе и фізіолога, и психолога, но и оказывающихъ огромное вліяніе на способности, характеръ и всю жизнь человѣка.

Г Л А В А XIV.

Наслѣдственность привычекъ и развитіе инстинктовъ.

Особенное значеніе придается привычкѣ возможностью ея наслѣдственной передачи. «Привычка или особенность, говоритъ Льюисъ ¹⁾, приобретенная и удержанная такъ долго, что она, такъ сказать, организовалась въ особи, и что организмъ этой послѣдней приладился къ ней, будетъ имѣть такіе же шансы передаться, какъ массивность мышцъ и костей». Тотъ же фізіологъ нѣсколько далѣе говоритъ: «какъ бы это ни было трудно объяснить, но нѣтъ факта болѣе несомнѣннаго, чѣмъ тотъ, что привычки, твердо установившіяся, могутъ быть переданы въ той же мѣрѣ, какъ и всякая нормальная наклонность». Всѣхъ, кто могъ бы еще сомнѣваться въ наслѣдственной передачѣ привычекъ, мы отсылаемъ къ сочиненію Льюиса, у котораго приведено столько фактовъ этой наслѣдственности и въ людяхъ, и въ животныхъ, что сомнѣніе становится невозможнымъ...

Непроизвольныя и чисто бессознательныя дѣйствія наши, подъ вліяніемъ глубоко вкоренившейся въ насъ привычки, имѣютъ такъ много сходнаго съ дѣйствіями животныхъ подъ вліяніемъ инстинкта, что Ридъ въ правѣ былъ сказать: «привычка отличается отъ инстинкта не по своей сущности, а только по своему происхожденію: первая приобретается, вторая дается отъ природы» ²⁾. Но если мы примемъ во вниманіе, что и привычка можетъ передаваться наслѣдственно, тогда уничтожается и эта послѣдняя возможность отличать привычку отъ инстинкта. Здѣсь сама собою рождается мысль, нельзя ли всѣхъ *инстинктовъ*—этого камня преткновенія для фізіологіи и психологіи — объяснить наслѣдственностью привычекъ? По

¹⁾ Физіологія обыд. жизни, стр. 666.

²⁾ Works of Read. Vol. I, p. 550.

крайней мѣрѣ, при нынѣшнемъ состояніи наукъ, намъ кажется это совершенно невозможнымъ. Что привычка, укоренившись въ наследственную особенность, сливается съ природнымъ инстинктомъ, видоизмѣняетъ его и служить къ его дальнѣйшему развитію,—это можно считать доказаннымъ фактомъ... Признавая существованіе привычекъ у животныхъ, признавая возможность наследственности этихъ привычекъ и видоизмѣненія инстинктовъ подъ ихъ вліяніемъ, мы, тѣмъ не менѣе, не видимъ въ настоящее время никакой возможности обойтись безъ прежней гипотезы о врожденности *первоначальныхъ* инстинктовъ...

Мы уже говорили выше о невозможности признать инстинктивныя дѣйствія животныхъ за проявленія сознательнаго умственнаго процесса, что совершенно противорѣчило бы положенію, доказанному тѣми же естественными науками, что умственное развитіе находится въ тѣсной связи съ развитіемъ нервнаго организма. Инстинктъ же имѣетъ ту особенность, что онъ наиболѣе проявляется тамъ, гдѣ онъ наиболѣе нуженъ, гдѣ нервная организація бѣднѣе, а вслѣдствіе того и умственное развитіе слабѣе. У человѣка мы замѣчаемъ такъ мало инстинктовъ, что, можетъ быть, одно только сосаніе груди младенцемъ и глотаніе слѣдуетъ признать вполне инстинктивными и сложными дѣйствіями. У млекопитающихъ животныхъ, и особенно у высшихъ породъ, замѣчательныхъ инстинктовъ также немного; тогда какъ у насѣкомыхъ, при всей бѣдности ихъ нервной организаціи, замѣчаются именно самыя изумительныя проявленія инстинкта ¹⁾.

Вглядѣвшись въ жизнь муравьевъ и пчелъ, нельзя не быть пораженнымъ необыкновенно умными и цѣлесообразными, глубоко-математически рассчитанными дѣйствіями этихъ крошечныхъ существъ. Поразительное геометрическое устройство сотовъ, математически достигающее возможно меньшей траты воску, при возможно большей вмѣстимости для меду ²⁾; дивная ткань паутины; необыкновенно цѣлесообразное устройство коконовъ; непостижимый расчетъ бабочки для сохраненія своихъ яичекъ, расчетъ, простирающійся на всю долгую жизнь будущей гусеницы, которой мать, живущая нѣсколько часовъ, никогда не увидитъ,—все это такія дѣйствія, для которыхъ, если бы они были произведеніемъ ума, потребовались бы необыкновенно развитыя умственныя способности, а слѣдовательно и необыкновенно развитая нервная организація. Общественная жизнь муравьевъ, ихъ войны съ цѣлью награть чужихъ яичекъ и вывести изъ нихъ рабовъ для своего

¹⁾ «У животныхъ число инстинктивныхъ дѣйствій возрастаетъ, по мѣрѣ неспособности ихъ выполнять цѣль вида душевными актами». *Man. de Phys. par Müller*. T. II, p. 97.

²⁾ Пчелы въ устройствѣ сотовъ рѣшаютъ проблему изъ высшей математики, которую называютъ проблемою *maxima* и *minima*. *Read*. Vol. II, p. 546.

племени, или содержаніе муравьями тли, въ видѣ домашняго скота, при чемъ маленькіе мудрецы, пользуясь умѣренно сокомъ податливыхъ насѣкомыхъ, отпускаютъ ихъ до новаго удоя,—всѣ эти дѣйствія такъ похожи на дѣйствія человѣка, что если бы мы признали ихъ за проявленія ума, то должны были бы удивляться, почему, напримѣръ, медвѣдь, съ гораздо обширнѣйшею нервной организаціею, въ продолженіе вѣковъ лакомящійся сотами, не сдѣлался пчеловодомъ, или расчетливая хозяйка-лиса не займется разведеніемъ цыплятъ. Гораздо раціональнѣе будетъ признать эти удивительныя *умѣнья* прирожденными инстинктами, которые развились и усложнились накопленіемъ привычекъ. Гораздо легче представить себѣ, что насѣкомое, при всей бѣдности своей нервной организаціи, обладаетъ способностью передавать свою крошечную опытность, въ видѣ наследственной привычки, потомкамъ, и потому успѣло, въ теченіе своей многовѣковой родовой жизни, накопить такое множество этихъ крошечныхъ привычекъ, что онѣ всѣ вмѣстѣ составляютъ тотъ сложный и умный инстинктъ, который въ настоящее время поражаетъ насъ изумленіемъ. Такъ, если позволительно такое сравненіе, крошечный коралловый полипъ, работая громаднымъ обществомъ и многіе вѣка, и передавая начатую работу потомкамъ, ее продолжающимъ, выдвигаетъ на поверхность моря обширный островъ.

Только наследственностью нервныхъ привычекъ мы и можемъ сколько-нибудь уяснить себѣ *наследственность человеческихъ характеровъ*—фактъ, который кажется намъ совершенно несомнѣннымъ, хотя, къ сожалѣнію, и мало изслѣдованнымъ. Но если наследственность наклонностей у животныхъ уже окончательно принята наукою, то наследственность въ человѣческихъ характерахъ, имѣющая то же основаніе, слишкомъ очевидна, чтобы ее нужно было доказывать: она ожидаетъ только ближайшаго изученія и разъясненія. Если подъ именемъ *характера* разумѣть индивидуальную особенность (*habitus*) въ мысляхъ, наклонностяхъ, желаніяхъ и поступкахъ человѣка, то, конечно, одни явленія въ характерѣ человѣка будутъ продуктами его собственной жизни и жизни той среды, въ которой онъ вращался, а другія—продуктами наследственныхъ наклонностей и особенностей. Взявъ же только эти послѣднія явленія, мы необходимо должны будемъ признать, что наследственная передача этихъ особенностей и наклонностей могла совершиться не иначе, какъ черезъ унаслѣдованіе дѣтьми нервной системы родителей со многими ея, какъ наследственными, такъ и приобрѣтенными посредствомъ привычки, наклонностями. Нервные болѣзни чаще передаются отъ родителей къ дѣтямъ, чѣмъ болѣзни другихъ системъ организма. Печальный фактъ наследственнаго помѣшательства едва ли можетъ быть подверженъ сомнѣнію; а само сумасшествіе есть, конечно, не болѣе, какъ особое состояніе нервного организма, такое же особое состоя-

ніе, какое дается, безъ сомнѣнія, и укоренившеюся привычкою ¹⁾). Но что же передается въ такой наслѣдственной привычкѣ?—Этотъ вопросъ заслуживаетъ изслѣдованія.

Для того, чтобы по возможности подсмотрѣть, въ чемъ состоитъ наслѣдственная передача привычки, мы обратимъ вниманіе читателя на явленіе, безъ сомнѣнія, ему знакомое: на наслѣдственную передачу тѣхъ мелкихъ, но тѣмъ не менѣе характеристическихъ движеній личныѣхъ мускуловъ, которыя составляютъ нашу личную мимику. Если сынъ или дочь вообще очень похожи на отца или мать, то сходство мелкихъ мимическихъ движеній теряется въ общемъ сходствѣ. Но часто случается такъ, что, напримѣръ, сынъ, вообще похожій на мать, наслѣдуетъ отъ отца только одну какую-нибудь мимическую черту, какъ, напримѣръ, улыбку, движеніе бровей и т. п.; тогда эта наслѣдственная черта выставляется необыкновенно ярко на чуждомъ ей фонѣ лица, напоминающаго мать во всемъ остальномъ. Случается и такъ, что какая-нибудь черта отца или матери, не замѣчаемая въ сынѣ въ дѣтскомъ возрастѣ, начинаетъ проявляться въ юношескомъ, а иногда даже подъ старость. Бываетъ и такъ, что этихъ вновь пробивающихся чертъ въ теченіе времени набирается такъ много, что дитя, походившее въ дѣтствѣ, положимъ, на мать, становится потомъ болѣе похожимъ на отца. Наконецъ, бываетъ и такъ, что мимическія черты лица дѣда или бабушки, какъ бы миновавъ сына или дочь, отражаются во внукѣ или внучкѣ. Этотъ же самый фактъ проявляется и въ томъ видѣ, что дитя, мало похожее на мать, бываетъ рѣзко похоже на дядю, брата матери, какъ будто въ сестрѣ таинственно хранились наслѣдственныя черты, выразившіяся въ братѣ. Это любопытныя факты и заслуживаютъ подробнаго изслѣдованія.

Но что такое мимическая черта въ своемъ основаніи? Это не что иное, какъ привычка мускуловъ выражать какое-нибудь, часто повторяемое, душевное движеніе, и выражать при томъ съ тою особенностью, съ которою это душевное движеніе совершается въ томъ или другомъ человѣкѣ. Безчисленное множество личныѣхъ мускуловъ даетъ человѣку возможность безконечнаго множества оттѣнковъ самыхъ тонкихъ особенностей чувства. Эти оттѣнки до того тонки и неуловимы, что для выраженія какого-нибудь изъ нихъ словами потребовался бы цѣлый романъ, цѣлая исторія души человеческой. Наши выраженія—горькая или презрительная улыбка, гордое или униженное, заискивающее выраженіе глазъ и т. п., далеко не выражаютъ всего разнообразія мимическихъ движеній, обозначая, такъ сказать, только цѣлыя семейства ихъ и никакъ не доходя до безконечнаго разнообразія

¹⁾ Наслѣдственность болѣзней признается патологіею за фактъ столько же несомнѣнный, сколько и неизвѣстный, особенно наслѣдственность отъ отца. *Eléments de Pathologie, par Chomel. 4 édit. Paris, 1861, p. 102.*

индивидуальныхъ выраженій. Та или другая мимическая черта, вызываемая сначала сознательнымъ чувствомъ, нерѣдко обращается потомъ въ бессознательную привычку, вслѣдствіе частаго повторенія тѣхъ ощущеній, которыя ею выражаются, и, такимъ образомъ, дѣлается тѣлесною особенностью человека. Нѣтъ сомнѣнія, что эта тѣлесная особенность, пріобрѣтенная человекомъ въ теченіе жизни, выражается не только въ мускулахъ, но и въ нервахъ, управляющихъ сокращеніями этихъ мускуловъ, и даже болѣе въ нервахъ, чѣмъ въ мускулахъ, движеніе которыхъ и самое развитіе зависятъ отъ нервовъ. Какъ отпечатлѣвается эта особенность въ нервахъ, фізіологія не знаетъ; но необыкновенная тонкость и сложность нервнаго организма, равно какъ и измѣнчивость его подъ вліяніемъ жизни, указываютъ намъ на возможность такихъ отпечатковъ подъ вліяніемъ привычки; и эти отпечатки, будучи недоступны непосредственнымъ наблюденіямъ, тѣмъ не менѣе, выражаются въ дѣятельности мускуловъ и мимикѣ.

Теперь мы подошли нѣсколько ближе къ рѣшенію вопроса: въ какой формѣ передаются наследственныя наклонности? Но чтобы рѣшить его окончательно, мы должны признать здѣсь доказаннымъ еще другой, уже не фізіологическій, а чисто психическій законъ, который мы надѣемся вывести и доказать вполне только въ психологическомъ отдѣлѣ нашей книги. Впрочемъ, этотъ законъ такъ простъ и такъ чувствуется каждымъ изъ насъ, что мы легко можемъ принять его покуда на вѣру. Кто не испытывалъ на себѣ, что душа наша требуетъ безпрестанной дѣятельности и томится, тоскуетъ безъ нея, и въ то же время отвращается отъ всякихъ чрезмѣрныхъ усилій? Этотъ основной законъ развитъ отчасти гербартовской школой ¹⁾. Приложивъ его къ данному случаю, мы поймемъ, почему душа человека, если ею не руководитъ сильно возбужденное сознаніе и ясное стремленіе къ чему-нибудь опредѣленному (минуты, сравнительно рѣдкія въ исторіи души), выбираетъ изъ двухъ дѣйствій то, которое, давая ей дѣятельность, не требуетъ въ то же время отъ нея слишкомъ большого напряженія и оставляетъ ее въ томъ естественномъ положеніи, которое мы называемъ спокойствіемъ души, т. е. спокойною ея дѣятельностью, потому что если душа приходитъ въ безпокойство отъ чрезмѣрной дѣятельности, то она точно такъ же страдаетъ и отъ недостатка дѣятельности. Это *срединное, спокойно-дѣятельное состояніе души* ²⁾, это ея равновѣсіе, къ которому она всегда стремится возвратиться, въ какую бы сторону ни была изъ него выведена, составляетъ ея нормальное, здоровое состояніе, и въ этомъ нормальномъ состояніи мы находимся почти всю нашу жизнь,

¹⁾ Empirische Psychologie von Drobisch. Leipzig. 1842. § 80 и 81.

²⁾ Mittlerer Zustand der Erfüllung des Bewusstseins—по выраженію гербартианцевъ. Ibidem, § 208.

если исключить изъ нея немногія, рѣзко замѣчаемыя нами минуты, когда душа наша приходитъ въ безпокойство или отъ недостатка содержанія, или отъ излишка его, котораго она не можетъ переработать.

Теперь становится ясно само собою, почему душа наша можетъ выбирать съ особенною охотою тѣ дѣятельности, мысли, стремленія, чувства, наклонности, тѣлесныя движенія, мимическія черты, для которыхъ находитъ уже подготовку въ нервной системѣ. Душа безпрестанно ищетъ дѣятельности и изъ двухъ представляющихся ей дѣятельностей избираетъ ту, которая легче для организма, къ которой организмъ болѣе подготовленъ наследственно. Такимъ образомъ, наследственно переданная въ нервной системѣ подготовка къ какой-нибудь душевной или тѣлесной дѣятельности можетъ весьма легко послужить основаніемъ къ образованію въ человѣкѣ какой-нибудь привычки или наклонности. Эта же привычка или наклонность, въ свою очередь, разовьетъ и укоренитъ еще болѣе зависящую отъ нея особенность въ нервахъ и передастъ ее еще вѣрнѣе дальнѣйшему потомству. Другими словами, частое повтореніе въ насъ какого-нибудь одного психическаго явленія отражается особенностью въ нашемъ организмѣ, а особенность эта, передаваясь потомственно, наводитъ человѣка на тѣ же душевныя явленія, потому что человѣкъ живетъ, мыслитъ, чувствуетъ и дѣйствуетъ подъ безпрестаннымъ вліяніемъ своей нервной системы, со всѣми ея особенностями, и только моментально, при сильномъ возбужденіи своего сознанія, можетъ властвовать надъ этимъ вліяніемъ нервного организма.

Изъ сказаннаго уже видно, что наследственно передается не самая привычка, а *нервные задатки привычки*, и эти нервные задатки, смотря по обстоятельствамъ жизни, могутъ развиться въ привычку или остаться неразвитыми и заглохнуть съ теченіемъ времени. Такъ, если человѣкъ, получившій въ своемъ организмѣ печальное наследство склонности къ запою или къ азартной игрѣ, не имѣлъ бы во всю свою жизнь случая испытать удовольствій опьяненія или волненій азартной игры, то нѣтъ сомнѣнія, что ни та, ни другая привычка не развились бы въ немъ, хотя нельзя ручаться, чтобъ онѣ не проглянули снова въ его сынѣ, т. е. во внукѣ отца привычки. Образъ жизни человѣка, его воспитаніе, случайное направленіе его обычныхъ занятій имѣютъ рѣшительное вліяніе на выясненіе въ немъ тѣхъ или другихъ наследственныхъ задатковъ. Жизнь женщины, на примѣръ, такъ отличается отъ жизни мужчины, что нѣтъ ничего мудренаго, если мимическія черты, унаследованныя дочерью отъ отца, не выразятся въ ней ясно, подавленныя ея женственнымъ характеромъ и женственною жизнью; но тѣмъ не менѣе, онѣ останутся въ ней скрытыми и выразятся ясно въ ея сынѣ, подъ вліяніемъ мужского характера и мужской жизни, и тогда этотъ сынъ поразитъ насъ своимъ сходствомъ не съ отцомъ или матерью, а съ

дядей или дѣдомъ. Точно такъ же женственныя черты бабки, не находя возможности выразиться въ сынѣ и подавленные въ немъ другими вліяніями, могутъ ясно обозначиться во внучкѣ и т. п. и развиты въ ней наклонности, чувства и привычки, которыя произвели въ бабкѣ эту мимическую черту.

Такая установившаяся и унаслѣдованная нервная особенность, выражающаяся въ сознаниіи невольною наклонностью, дѣйствуетъ на душу подобно тому, какъ дѣйствуютъ *темныя представленія* или *идеи* Лейбница ¹⁾; а именно, что они становятся доступными сознанию только въ своихъ дѣйствіяхъ, оставаясь сами внѣ области сознанія. Говоря строго, весь нашъ нервный организмъ, со всеми своими особенностями, потребностями, со всею періодичностью своей жизни, со всеми унаслѣдованными и прибрѣтенными болѣзнями и привычками, составляетъ собраніе такихъ *темныхъ идей* въ отношеніи души или, выражаясь опредѣленнѣе, организацію причинъ, дѣйствію которыхъ душа хотя и подвергается, но о существованіи которыхъ она не знаетъ, какъ не знаетъ, безъ помощи объективной науки, и о существованіи самаго нервного организма. Не все ли потребности нервной жизни высказываются въ душѣ подобнымъ же образомъ? Развѣ, безъ помощи науки, человѣкъ знаетъ, почему онъ хочетъ ѣсть, пить, спать, отдыхать, двигаться и т. п., почему въ одно время высказывается настойчиво одна потребность, въ другое — другая? Все это — условія организма, о существованіи которыхъ мы не знаемъ, но вліяніе которыхъ ощущаемъ по той необъяснимой связи, въ которую угодно было Творцу поставить душу и тѣло человѣка. Въ такомъ же отношеніи къ душѣ находятся и тѣ особенности нервного организма, которыя мы называемъ унаслѣдованными и прибрѣтенными наклонностями и привычками. Однакоже, при этомъ случаѣ мы считаемъ необходимымъ замѣтить, что не все тѣ психо-физическія явленія, которыя объясняются только вліяніемъ темныхъ или, лучше, *скрытыхъ идей*, скрытыхъ внѣ области сознанія, выходятъ изъ нервного организма и его особенностей. Мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ, что, судя по характеру дѣйствій о характерѣ причинъ, мы должны будемъ, оставивъ одні изъ этихъ скрытыхъ идей въ области тѣлеснаго организма, помѣстить другія въ область духа. Но говорить о скрытыхъ идеяхъ, дѣйствующихъ на наше сознание изъ области духа, еще преждевременно.

Г Л А В А XV.

Нравственное и педагогическое значеніе привычекъ.

Уяснивъ природу привычки, обратимся теперь къ нравственному и педагогическому ея значенію. Аристотель называетъ привычками: мудрость,

¹⁾ Works of Read. Т. II, p. 551.

благоразуміе, здравый смысл, науки и искусства, добродѣтель и порокъ, и если, какъ замѣчаетъ Ридъ ¹⁾, онъ хотѣлъ этимъ высказать, что всѣ эти явленія усиливаются и укрѣпляются повтореніемъ, то мысль его совершенно вѣрна. «Кто можетъ, спрашиваетъ Бэконъ, сомнѣваться въ силѣ привычки, видя, какъ люди, послѣ безчисленныхъ обѣщаній, увѣреній, формальныхъ обязательствъ и громкихъ словъ, дѣлаютъ и передѣлываютъ какъ разъ то же, что они дѣлали прежде, какъ будто бы всѣ они были автоматами и машинами, заведенными привычкою?» ²⁾. По мнѣнію Макиавелли, въ дѣлѣ исполненія нельзя довѣряться ни природѣ человѣка, ни самымъ торжественнымъ обѣщаніямъ его, если то и другое не закрѣплено и, какъ бы сказать, не освящено привычкою. Лейбницъ, какъ мы уже говорили, три четверти всего, что человѣкъ думаетъ, говоритъ и дѣлаетъ, приписывалъ привычкѣ...

Но если всѣ болѣе или менѣе согласны въ громадномъ значеніи привычки въ жизни человѣка, то въ отношеніи ея нравственного и педагогическаго значенія существуетъ большое разногласіе... Гораздо благоразумнѣе для педагога глядѣть на значеніе привычки не глазами метафизиковъ и систематиковъ, но такъ, какъ смотрѣлъ на него величайшій изъ знатоковъ всѣхъ стимуловъ человѣческой жизни, глубокомысленный Шекспиръ, который называетъ привычку то чудовищемъ, пожирающимъ чувства человѣка, то его ангеломъ хранителемъ ³⁾.

Дѣйствительно, наблюдая людскіе характеры въ ихъ разнообразіи, мы видимъ, что добрая привычка есть *нравственный капиталъ*, положенный человѣкомъ въ свою нервную систему; капиталъ этотъ растетъ безпрестанно, и процентами съ него пользуется человѣкъ всю свою жизнь. Капиталъ привычки отъ употребленія возрастаетъ и даетъ человѣку возможность, какъ капиталъ вещественный въ экономическомъ мірѣ, все плодovitѣе и плодovitѣе употреблять свою драгоценнѣйшую силу—*силу сознательной воли*, и возводитъ нравственное зданіе своей жизни все выше и выше, не начиная каждый разъ своей постройки съ основанія и не тратя своего *сознанія* и своей *воли* на борьбу съ трудностями, которыя были уже разъ побѣждены. Возьмемъ для примѣра одну изъ самыхъ простыхъ привычекъ: привычку къ порядку въ распредѣленіи своихъ вещей и своего времени. Сколько такая привычка, обратившаяся въ *безсознательно выполняемую потребность*, сохранить и силъ, и времени человѣку, который не будетъ принужденъ ежеминутно призывать свое *сознаніе необходимости* порядка и свою *волю* для установленія его я, оставаясь въ свободномъ распоряженіи этими

¹⁾ Works of Reid. T. II, p. 550.

²⁾ Oeuvres de Bacon. T. II, p. 342.

³⁾ Hamlet. Act. III, scene IV.

двумя силами души, употребить ихъ на что-нибудь новое и болѣе важное! ¹⁾).

Но если хорошая привычка есть нравственный капиталъ, то дурная, въ той же мѣрѣ, есть *нравственный невыплаченный заемъ*, который въ состояніи заморить человѣка процентами, безпрестанно нарастающими, парализовать его лучшія начинанія и довести до нравственного банкротства. Сколько превосходныхъ начинаній и даже сколько отличныхъ людей пало подъ бременемъ дурныхъ привычекъ! Если бы для искорененія вредной привычки достаточно было одновременнаго, хотя самаго энергическаго, усилія надъ собой, тогда не трудно было бы отъ нея избавиться. Развѣ не бываетъ случаевъ, что человѣкъ готовъ дать отрѣзать себѣ руку или ногу, если бы вмѣстѣ съ тѣмъ отрѣзали и вредную привычку, отравляющую его жизнь? Но въ томъ-то и бѣда, что привычка, установляясь понемногу и въ теченіе времени, искореняется точно такъ же понемногу и послѣ продолжительной борьбы съ нею. Сознаніе наше и наша воля должны постоянно стоять на сторожѣ противъ дурной привычки, которая, залегши въ нашей нервной системѣ, подкарауливаетъ всякую минуту слабости или забвенія, чтобы ею воспользоваться: такое же постоянство въ напряженіи сознанія и воли—самый трудный, если и возможный, душевный актъ.

Впрочемъ, въ неисчерпаемо богатой природѣ человѣка бываютъ и такія явленія, когда сильное душевное потрясеніе, необычайный порывъ духа, высокое одушевленіе—однимъ ударомъ истребляютъ самыя вредныя наклонности и уничтожаютъ закоренѣлыя привычки, какъ бы стирая, сжигая своимъ пламенемъ всю прежнюю исторію человѣка, чтобы начать новую, подъ новымъ знаменемъ. Евангеліе представляетъ намъ примѣръ такого быстрого измѣненія души человѣческой въ одномъ изъ разбойниковъ, распятыхъ со Спасителемъ. Если мы вникнемъ, какая сильная и глубокая душевная драма могла вызвать изъ устъ разбойника, страдающаго на крестѣ, его замѣчательныя слова, то поймемъ также и значеніе обращенныхъ къ нему словъ Спасителя. Сильная душа нужна была для того, чтобы посреди мученій креста подумать не о себѣ, а о другомъ, кто страдалъ невинно, сознать законность своего наказанія, всю глубину своего паденія и все величіе другого. Такая минута есть дѣйствительный переворотъ души и можетъ сдѣлать душу разбойника чистою душою младенца, для которой открыты райскія двери. Но огонь, выжигающій вредное зелье съ корнемъ, можетъ зародиться только въ сильной душѣ, да и въ ней не можетъ пламенѣть долго, не ослабѣвая самъ, или не разрушая ея временной оболочки. Существуетъ повѣрье, что внезапное оставленіе человѣкомъ своихъ привычекъ есть предвѣстіе близкой смерти;

¹⁾ Совершенно то же, что даетъ человѣку экономическій капиталъ въ экономическомъ отношеніи.

но это справедливо только въ томъ отношеніи, что дѣйствительно нуженъ сильный организмъ и благопріятныя обстоятельства, чтобы человѣкъ могъ вынести иную крутую душевную переменѣну, и что въ старые годы такая крутая переменѣна можетъ подѣйствовать разрушительно на организмъ, можетъ быть, приготавливая человѣка къ лучшей жизни.

Вглядываясь въ характеры людей, мы легко отличимъ характеръ *природный* отъ характера *выработаннаго* самимъ человѣкомъ ¹⁾. Есть люди отъ природы съ отличными наклонностями, для которыхъ все хорошее является природнымъ влеченіемъ; но есть и такіе, которые сознательно борются всю жизнь со своими дурными врожденными стремленіями и, одолевая ихъ мало-по-малу, создаютъ въ себѣ добрый, хотя и искусственный характеръ. Характеры перваго рода кажутся намъ привлекательнѣе: для нихъ такъ естественно дѣлать добро, что они привлекаютъ насъ именно этою природною легкостью, граціей добра, если можно такъ выразиться. Но если мы захотимъ быть справедливыми, то должны будемъ отдать пальму первенства характерамъ втораго рода, которые тяжелой борьбой побѣдили врожденныя дурныя наклонности и выработали въ себѣ добрыя правила, руководствуясь сознаніемъ необходимости добра. Такіе *сократовскіе* характеры вырываютъ съ корнемъ зло не только изъ себя, но, можетъ быть, изъ своихъ дѣтей и внуковъ, и вносятъ въ жизнь человѣчества новые живые источники добра ²⁾. Пока живъ человѣкъ, онъ можетъ измѣниться и изъ глубочайшей бездны нравственнаго паденія стать на высшую степенъ нравственнаго совершенства. Этотъ глубокой психологическій принципъ, проглядывающій наконецъ и въ европейскихъ законодательствахъ (которыя вообще сохранили много языческаго, римскаго наслѣдства), внесенъ христіанствомъ въ убѣжденія человѣчества ³⁾.

Наслѣдственныя наклонности, распространяясь и наслѣдственно, и примѣромъ, составляютъ матеріальную основу того психическаго явленія, которое мы называемъ *народнымъ характеромъ*.

¹⁾ Характеръ есть уже сумма наслѣдственныхъ и выработанныхъ наклонностей организма: въ однихъ характерахъ преобладаютъ наслѣдственныя наклонности, въ другихъ—выработанныя.

²⁾ Христіанство, снимая съ человѣка наслѣдственный грѣхъ, внесло въ человѣчество, и въ этомъ отношеніи, великій и животворный принципъ личной свободы. Надъ человѣкомъ уже не тяготѣетъ неотразимая судьба древняго міра...

³⁾ Новѣйшія теоріи уголовного права все болѣе и болѣе переходятъ къ *исправительнымъ* наказаніямъ... Замѣчательно, что, въ нашей древней исторіи, Владиміръ Мономахъ—эта глубоко-славянская и вмѣстѣ христіанская личность—завѣщаетъ дѣтямъ своимъ не губить ни одной христіанской души, не казнить смертью даже того, кто повиненъ смерти; хотя греческое духовенство даже еще Владиміра Святого уговаривало казнить разбойниковъ смертью. Такъ сродна истинно-христіанская идея истинно-славянской душѣ.

«Если привычка, говоритъ Бэконъ, имѣетъ такую власть надъ отдѣльнымъ человѣкомъ, то власть эта еще гораздо больше надъ людьми, соединенными въ общество, какъ, напр., въ арміи, училищѣ, монастырѣ и т. п. Въ этомъ случаѣ примѣръ научаетъ и направляетъ, общество поддерживаетъ и укрѣпляетъ, соперничество побуждаетъ и подстрекаетъ; наконецъ, почести возвышаютъ душу, такъ что въ подобныхъ общинахъ сила привычки достигаетъ своей высшей ступени» ¹⁾). Ясно, что здѣсь сила примѣра и сила привычки смѣшаны, и дѣйствительно, если эти двѣ силы дѣйствуютъ заодно, то почти ничто съ ними не можетъ бороться. Вотъ почему, напримѣръ, тѣ воспитательныя заведенія, которыя, будучи проникнуты однимъ, давно укоренившимся духомъ, будучи постоянны въ своихъ дѣйствіяхъ, опредѣлительны и настойчивы въ своихъ требованіяхъ, кромѣ того еще соотвѣтствуютъ народному характеру своихъ воспитанниковъ,—обладаютъ тою воспитательною силою, которой мы удивляемся въ англійскихъ и американскихъ училищахъ и институтахъ. Тѣлесныя основы народного характера передаются такъ же наслѣдственно, какъ и тѣлесныя основы характера индивидуальнаго человѣка; онѣ такъ же измѣняются и развиваются въ теченіе исторіи, подъ вліяніемъ историческихъ событій, какъ и характеръ индивида, подъ вліяніемъ его индивидуальной жизни; но, конечно, эти измѣненія народного характера происходятъ гораздо медленнѣе. Великіе люди народа и великія событія его исторіи могутъ быть по справедливости названы въ этомъ отношеніи воспитателями народа; но и всякій, сколько-нибудь самостоятельный характеръ, всякая сколько-нибудь сознательная, самостоятельная жизнь, какъ посредствомъ наслѣдственной передачи, такъ и посредствомъ примѣра, принимаетъ участіе въ воспитаніи народа, въ развитіи и видоизмѣненіи его характера.

Значеніе *навыка* въ ученіи слишкомъ ясно, чтобъ о немъ нужно было распространяться. Во всякомъ *умѣньѣ*—въ умѣньѣ ходить, говорить, читать, писать, считать, рисовать и т. д.—навыкъ играетъ главную роль. Въ самой сознательной изъ наукъ, математикѣ, навыкъ занимаетъ не послѣднее мѣсто, и если бы намъ всякій разъ должно было *подумать*, что $2 \times 7 = 14$; то это сильно задерживало бы насъ въ математическихъ вычисленіяхъ, но за словами *дважды семь* языкъ нашъ механически произноситъ, а рука пишетъ—*четырнадцать*. Въ каждомъ словѣ, которое мы произносимъ, въ каждомъ движеніи руки при письмѣ, во всякомъ мастерствѣ есть непремѣнно своя доля навыка, доля рефлекса, болѣе или менѣе укоренившася. Если бъ человѣкъ не имѣлъ способности къ павыку, то не могъ бы

¹⁾ Oeuvres de Bacon. Ib., p. 312.

подвинуться ни на одну степень въ своемъ развитіи, задерживаемый безпрестанно безчисленными трудностями, которыя можно преодолѣть только навыкомъ, освободивъ умъ и волю для новыхъ работъ и для новыхъ побѣдъ. Вотъ почему то воспитаніе, которое упустило бы изъ виду сообщеніе воспитанникамъ полезныхъ *навыковъ* и заботилось единственно объ ихъ умственномъ развитіи, лишило бы это самое развитіе его сильнѣйшей опоры; а именно эта ошибка, замѣтная отчасти и въ германскомъ воспитаніи, много вредила намъ и вредить до сихъ поръ. Но объ этомъ, впрочемъ, мы скажемъ подробнѣе въ нашей педагогикѣ. Здѣсь же замѣтимъ только, что навыкъ во многомъ дѣлаетъ человѣка свободнымъ и прокладываетъ ему путь къ дальнѣйшему прогрессу. Если бъ человѣкъ при ходьбѣ каждую минуту долженъ былъ съ такимъ же усиленіемъ преодолевать трудности этого сложнаго дѣйствія, съ какимъ преодолевалъ ихъ въ младенчествѣ, то какъ бы *связанъ* былъ онъ, какъ бы не далеко ушелъ! Только благодаря тому, что ходьба превратилась у человѣка въ навыкъ, т. е. въ его рефлексъ, ходитъ онъ потомъ и самъ того не замѣчая, не замѣчая всѣхъ трудностей этого акта; а онъ такъ труденъ, что его едва ли бы могли одолѣть животныя, если бы, въ протовоположность человѣку, не обладали этою способностью отъ рожденія ¹⁾).

Г Л А В А XVI.

Участіе нервной системы въ актъ памяти.

Всѣ животныя, болѣе или менѣе, обладаютъ способностью памяти: птица находитъ дорогу въ свое гнѣздо, пчела—въ свой улей; собака, нѣсколько лѣтъ не выдавшая своего хозяина, узнаетъ его; мышь, попавшая разъ въ мышеловку, не попадетъ въ нее въ другой. Слѣдовательно, говоря о памяти, мы будемъ говорить о явленіяхъ, общихъ природѣ человѣка и природѣ животнаго—о явленіяхъ животной жизни. Эта простая истина часто забывалась тѣми, которые, задавшись заранѣе составленною теоріею, хотѣли видѣть въ памяти чисто духовную способность и тѣмъ самымъ закрывали себѣ дорогу къ объясненію ея явленій. Дѣйствительно, память человѣка представляетъ много явленій, которыхъ мы не замѣчаемъ у животныхъ; но, разбирая подобнаго рода явленія, мы должны отличать содержаніе ихъ отъ формы. Содержаніе памяти можетъ быть чисто человѣческое, чуждое животному міру; но форма, носительница этого содержанія, обща и человѣку, и животнымъ. И люди помнятъ не одно и то же, и у людей содержаніе памяти бываетъ чрезвычайно разнообразно; но, тѣмъ не менѣе, должно

¹⁾ Man. de Phys. par Müller, T. II, p. 99.

прежде всего изучать общіе законы явленій, не принимая въ разсмотрѣніе различія ихъ содержаній.

Животная или душевная способность памяти (въ отличіе отъ памяти *духовной*) представляетъ два элемента. Наблюдая какой бы то ни было актъ памяти, мы непременно замѣтимъ въ немъ элементъ *сознательный*: мы сознаемъ то, что вспоминаемъ, и элементъ *безсознательный*: мы не сознаемъ того, что сохраняется въ нашей памяти. Замѣтивъ эту двойственность въ каждомъ актѣ памяти, мы естественно приписываемъ безсознательный элементъ этого акта безсознательному существу—тѣлу, или, опредѣленнѣе, нервному организму... Само собою разумѣется, что въ этой главѣ можетъ быть развита только одна сторона этого вопроса: участіе нервной системы въ актѣ памяти, *память нервная*, если можно такъ выразиться. Память душевная и память духовная, принадлежащая только человѣку, *память развитія*, будутъ анализированы нами въ психологической части нашего труда.

На тѣсную связь нервного организма съ явленіями памяти указываетъ намъ множество физиологическихъ явленій.

Періодъ лучшей памяти совпадаетъ съ отроческимъ возрастомъ и проходитъ довольно быстро ¹⁾. Впечатлѣнія молодости сохраняются гораздо глубже, чѣмъ впечатлѣнія, полученныя въ старости: такъ что старикъ, забывая то, что дѣлалъ сегодня, вспоминаетъ очень живо то, что дѣлалъ въ дѣтствѣ. Это невольно наводитъ на мысль, что впечатлѣнія, лежащія въ нервный организмъ въ періодъ его молодости, естественно ложатся въ немъ гораздо глубже, чѣмъ тѣ, которыя входятъ въ него впоследствии, когда развитіе его останавливается или замедляется и когда онъ уже загромажденъ множествомъ прежнихъ впечатлѣній. Въ первые семь или восемь лѣтъ нашей жизни память наша усваиваетъ столько, сколько не усваиваетъ во всю нашу остальную жизнь. Въ это время мы приобретаемъ именно большую часть той громадной массы свѣдѣній, которая обща всѣмъ людямъ и которая, по замѣчанію Руссо, гораздо болѣе массы свѣдѣній, принадлежащихъ только ученымъ ²⁾.

Множество болѣзней чисто физическихъ, при которыхъ потрясается и измѣняется какимъ-нибудь образомъ нервный организмъ, оказываютъ изумительное дѣйствіе на память ³⁾. Простой народъ уже замѣтилъ, что ударъ по головѣ отшибаетъ память, а иногда подобный ударъ производитъ странное явленіе, изглаживая изъ памяти не всѣ впечатлѣнія, а какую-нибудь

¹⁾ Benecke's Erz. und Unter. Lehr. T. I, § 22.

²⁾ Emile, p. 85.

³⁾ Физиологія обыденной жизни. Стр. 438.

группу впечатлѣній; такъ, напр., одинъ англійскій матросъ, о которомъ говоритъ Льюисъ, упавъ съ мачты, весьма надолго потерялъ сознание; но, придя въ себя, вспомнилъ очень хорошо все, что было съ нимъ до тѣхъ поръ, пока онъ поступилъ на корабль, и позабылъ рѣшительно все, что было съ нимъ въ продолженіе послѣдняго времени, т. е. съ тѣхъ поръ, какъ онъ поступилъ на корабль, до паденія съ мачты. «Въ болѣзняхъ мозга, говоритъ Вундтъ, особенно при приливахъ крови къ головѣ, можно наблюдать связь фізіологическихъ функцій мозга съ силой памяти. Прежде всего исчезаютъ самыя новѣйшія воспоминанія, потомъ, при дальнѣйшемъ развитіи болѣзни, у больного замѣтно уменьшается запасъ словъ, и онъ называетъ разные предметы одними и тѣми же именами» ¹⁾).

Нервные болѣзни и потрясенія оказываютъ сильное вліяніе на память не только въ явленіяхъ забвенія, но и въ явленіяхъ воспоминанія: такъ докторъ Риль, въ своемъ трактатѣ о горячкѣ, рассказываетъ о крестьянинѣ, который въ горячечномъ бреду декламировалъ греческіе стихи. По выздоровленіи его оказалось, что въ молодости онъ вмѣстѣ съ сыномъ пастора учился по-гречески; но въ здоровомъ состояніи не помнилъ ни одной буквы этого языка. Аберкромби говоритъ объ одномъ человѣкѣ, который родился во Франціи, но, будучи въ раннемъ дѣтствѣ перевезенъ въ Англію, совершенно забылъ французскій языкъ. Однакоже, получивъ сильный ударъ въ голову, отъ чего у него развилась горячка, снова заговорилъ по-французски ²⁾).

При болѣзненномъ, раздраженномъ состояніи нервовъ, когда они, такъ сказать, выбиваются изъ-подъ воли больного, и память становится такою же капризною, какъ нервы: она то вспоминаетъ мелочи какого-нибудь пустого событія, то забываетъ очень важное. Въ хроническихъ болѣзняхъ, оказывающихъ разрушительное вліяніе на нервный организмъ, прежде всего поражается память и т. п. ³⁾).

Всякій можетъ замѣтить надъ собою, какъ одно и то же воспоминаніе, вызываемое нами изъ памяти, достигнувъ возможной для него степени ясности, начинаетъ тускнѣть и меркнуть, такъ что мы никакими усиліями воли не можемъ возстановить его въ прежней ясности. Но, занявшись нѣсколько времени другими представленіями, мы получаемъ возможность опять ясно представить себѣ прежнее. Такое, независящее отъ воли нашей, возобновленіе силы въ слѣдахъ представленій особенно замѣтно утромъ послѣ спокойнаго сна...

¹⁾ Vorlesungen über die Menschen-und Thierseele. B. II, S. 383.

²⁾ Выписываемъ эти два примѣра изъ психологій Бенеке.

³⁾ Миллеръ признаетъ существованіе этихъ фактовъ, но страннымъ образомъ обходитъ ихъ. Man. de Physiol. T. II, p. 498.

Читатели наши, вѣроятно, помнятъ, какъ мы объяснили путемъ физиологій это частное утомленіе нашихъ представленій, и могутъ видѣть, что здѣсь выражается не недостатокъ душевныхъ силъ, что заставило бы насъ приписать усталость душѣ, а недостатокъ электричества или какой-нибудь другой чисто физической силы въ нервахъ, истощенной ихъ дѣятельностью. Слѣдовательно, и въ этомъ явленіи выражается непосредственное участіе нервной системы и ея питанія въ безсознательномъ элементѣ акта памяти.

Еще большую связь между нервнымъ организмомъ и памятью найдемъ мы во множествѣ всѣмъ намъ знакомыхъ явленій, въ которыхъ привычное, рефлективное движеніе, принадлежность котораго нервному организму мы показали выше ¹⁾, и явленія памяти сходятся такъ близко, что нельзя собственно сказать, гдѣ оканчивается явленіе привычки и гдѣ начинается явленіе памяти, такъ что невольно мы видимъ въ иной привычкѣ память, а въ иномъ воспоминаніи—чистую привычку. Если нервный организмъ нашъ усваиваетъ какую-нибудь сложную привычку, гдѣ есть не одно, а нѣсколько послѣдовательныхъ движеній, цѣлая ассоціація движеній, слѣдующихъ одно за другимъ, то, значитъ, организмъ нашъ помнитъ, безъ участія сознанія, въ какомъ порядкѣ одно дѣйствіе должно слѣдовать за другимъ. Съ другой стороны, есть много явленій, гдѣ мы справляемся у нервного организма о томъ, что мы позабыли. Такъ, напр., если танцмейстеръ, желая рассказать своему ученику, въ какомъ порядкѣ должны слѣдовать одно за другимъ движенія ногъ, сбивается въ своемъ рассказѣ и забываетъ порядокъ движенія, то онъ начинаетъ танцевать, и ноги его сами припоминаютъ ему порядокъ движеній. Точно такъ же, ремесленникъ, желая объяснить послѣдовательность своихъ дѣйствій, часто прибѣгаетъ за напоминаніемъ къ своимъ рукамъ, и оказывается, что руки его помнятъ то, что голова позабыла или даже никогда не сознала ясно ²⁾.

Точно такъ же, какъ наши руки и ноги, дѣйствуетъ и нашъ голосовой органъ, который тоже состоитъ изъ хрящей и перепонокъ, управляемыхъ мускулами, и мускуловъ, управляемыхъ нервами. Взглянувъ же на голосовой органъ, какъ на аппаратъ, состоящій изъ двигательныхъ мускуловъ и нервовъ, мы поймемъ уже легко, что и этотъ органъ, какъ и всякій другой двигательный органъ человѣческаго тѣла, можетъ пріобрѣтать привычки,—можетъ, точно такъ же, какъ руки или ноги, привыкать къ извѣстнымъ дѣйствіямъ и къ извѣстному порядку дѣйствій. «Голосовой органъ, говоритъ Бэнъ, есть органъ движенія, представляющій все тѣ же

¹⁾ См. гл. XII и XIII.

²⁾ The Senses and the Intellect, by A. Bain, p. 325.

явленія, которыя вообще относятся къ каждому двигательному органу. Упражненіе этого органа порождаетъ массу мускульныхъ ощущеній, пріятныхъ въ опредѣленныхъ границахъ (мы любимъ говорить, пѣть, кричать), а за этими границами сопровождающихся утомленіемъ и вызывающихъ потребность отдыха»¹⁾. «Едва ли, говорить Бэнъ далѣе, какая-нибудь другая часть тѣла, не исключая даже руки, можетъ достигнуть такой лѣвкости въ совершеніи бессознательныхъ движеній, какъ голосовой органъ»²⁾.

Что голосовой аппаратъ нашъ усваиваетъ многія привычки, которыя изъ сознательныхъ становятся бессознательными, дѣлаются его *второю природою*, въ этомъ можетъ убѣдить насъ множество явленій, знакомыхъ каждому, но не всегда обращающихъ на себя то вниманіе, какое они заслуживаютъ. Мы рассмотримъ здѣсь эти явленія подробнѣе, такъ какъ они, кромѣ своего антропологическаго значенія, имѣютъ весьма важное педагогическое примѣненіе.

Такъ называемыя *дожучныя присловья* (того, разумѣется, собственно, говорить, теперече, батинька мой, и т. п.) становятся нерѣдко непреодолимыми привычками у многихъ людей. Замѣчая за собою подобную привычку, укоренившуюся невѣдомо какъ, человекъ нерѣдко пробуетъ бороться съ нею, и борется не всегда удачно. Пока вниманіе его сосредоточено на томъ, чтобы не произнести дожучнаго словца — онъ и не произноситъ его, но зато чувствуетъ, какъ ему трудно говорить: вниманіе его раздвоено, и онъ, заботясь о томъ, чтобы не произнести затверженнаго присловья, не можетъ сосредоточиться на содержаніи того, что говорить. Но если онъ увлекается содержаніемъ того, что говорить, то обычное присловье начинаетъ выскакивать само собою. Слѣдовательно, присловье появляется тогда, когда сознаніе отвлечено отъ голосовыхъ органовъ — появляется бессознательно, рефлексивно, по привычкѣ голосовыхъ органовъ, которые, будучи приведены въ движеніе рѣчью, въ каждое свободное мгновеніе, когда сознаніе отъ нихъ удаляется, вбрасываютъ въ рѣчь свое затверженное словцо. То же самое случается и тогда, если человекъ заучитъ какое-нибудь слово съ неправильнымъ удареніемъ, и это показываетъ намъ, что не только звуки, составляющіе слово, и ихъ порядокъ, но и взаимныя отношенія звуковъ суть только привычки голосового аппарата.

Еще страннѣе то явленіе, когда мы бессознательно переставляемъ слоги, какъ будто дѣлаемъ опечатки въ устной рѣчи: слогъ одного слова мы приставляемъ къ другому, но потомъ пропущенный слогъ ставимъ къ третьему слову, совершенно не кстати. Это обыкновенно случается при

¹⁾ The Sens. and the Intel., p. 322.

²⁾ Ibid. p. 338.

сходствѣ словъ; такъ, напримѣръ, желая сказать: «у моей кумы мало ума», мы ошибаемся и говоримъ: «у моей умы мало кума». Мы пропустили букву *к*; но голосовой органъ носился съ нею и впечаталъ ее при другомъ словѣ, то есть, сдѣлалъ ту же самую ошибку и ошибочную поправку, которую такъ же бессознательно дѣлаетъ часто рука наборщика.

Почти то же самое замѣчается и въ цѣломъ ряду словъ; такъ, напримѣръ, если мы заучили, что называется на зубокъ, какіе-нибудь стихи или молитвы, то, вмѣстѣ съ тѣмъ, получаемъ возможность произносить ихъ и въ то же время думать о другомъ; а это было бы невозможно, если бы произнесеніе заученнаго было *только* дѣломъ сознанія и въ него не вмѣшивалась рефлексивная способность голосовыхъ органовъ, которые, будучи движуты въ извѣстномъ направленіи, продолжаютъ работать почти сами, какъ работаютъ ноги, когда мы ходимъ, погруженные въ глубокую думу. Мы даемъ только общее направленіе этому сложному и продолжительному движению, частности же его выполняются тысячами мелкихъ привычекъ, ставшихъ *полусознательными рефлексами* ¹⁾. Замѣчательно, что если, при такомъ механическомъ произнесеніи стиховъ, случится намъ вдуматься въ содержаніе того, что мы произносимъ, то вдругъ языкъ нашъ замедляется, путается, останавливается, и часто мы забываемъ то, что, казалось, невозможно было позабыть. Отчего это? Оттого, что сознаніе наше вмѣшалось въ дѣло голосовыхъ органовъ и помѣшало имъ работать. И припомнимъ, что мы дѣлаемъ, чтобы вспомнить позабытыя слова, перескочить неожиданно отрывшійся перерывъ: мы начинаемъ стихи сначала, потомъ пускаемъ наши голосовые органы въ полный ходъ, удаляя, по возможности, сознаніе, и они, разогнавшись по привычной дорожкѣ, благополучно перескакиваютъ тотъ ровъ, который былъ вырытъ вмѣшательствомъ сознанія.

Еще замѣчательнѣе то явленіе, что мы отъ продолжительной привычки къ извѣстнымъ стихамъ или фразамъ получаемъ возможность не только произносить ихъ вслухъ, думая о чемъ-нибудь другомъ, но даже произносить ихъ умственно, какъ говорится, про себя, и въ то же время думать о другомъ. Эта двойная, одновременная работа сознанія была бы явленіемъ совершенно необъяснимымъ, если бы въ такомъ механическомъ произношеніи *про себя* дѣйствительно принимало участіе сознаніе, для котораго такая двойная и разнохарактерная работа совершенно невозможна. Но въ томъ-то и дѣло, что сознаніе наше занято совсѣмъ другимъ, можетъ быть, крайне противоположнымъ содержанію затверженныхъ стиховъ, и молчаливое произношеніе ихъ объясняется только рефлексомъ голосового органа, который, будучи пущенъ въ ходъ, потомъ дѣйствуетъ самъ собою, какъ бы

¹⁾ См. выше, гл. XII.

разыгрывая заученную арію на органѣ, отъ котораго отдѣлены раздувальныя мѣха. Такое молчаливое произношеніе словъ, рѣчей, молитвъ, стиховъ и т. п. играетъ очень важную роль вообще въ нашей психической дѣятельности, и есть полное основаніе предполагать, что всегда, когда мы думаемъ словами, голосовые органы наши слегка шевелятся, не издавая звука. Не только говоря, но даже думая трудное для произношенія нашего слово, мы какъ бы запинаемся въ мысляхъ, т. е. ощущаемъ нѣкоторую неловкость въ голосовыхъ органахъ, и преодолеваемъ эту трудность иногда съ такимъ успѣхомъ, что, произнося потомъ это слово вслухъ, произносимъ его уже правильно: то есть, мы упражняемъ мускулы голоса безъ звука, какъ можно упражнять руку на фортепіано безъ струнъ. Если же мы очень увлечемся этимъ внутреннимъ, беззвучнымъ произношеніемъ, то начинаемъ шептать или даже говорить вслухъ, сами того не замѣчая. Привычка эта особенно часто является у стариковъ, потому что они болѣе увлечены внутреннимъ теченіемъ своихъ мыслей, чѣмъ виѣшними впечатлѣніями, мало дѣйствующими на ихъ мозгъ, уже переполненнымъ слѣдами.

Заучивая урокъ, ученикъ иногда также беззвучно произноситъ его болѣе или менѣе ясно, и отъ степени этой ясности зависитъ умѣнье его отвѣчать потомъ вслухъ. Если ученикъ замѣтитъ только мысль, но не пріучитъ своихъ голосовыхъ органовъ къ теченію звуковъ, выражающихъ эту мысль, то будетъ при отвѣтѣ заикаться и путаться. Вотъ почему дитя, еще не привыкшее къ беззвучному произношенію читаемаго, инстинктивно учитъ урокъ вслухъ, *выкрикиваетъ* его, то-есть, другими словами, пріучаетъ свои голосовые органы къ движеніямъ въ данномъ порядкѣ. И такъ какъ выработка голосовыхъ органовъ есть дѣло очень важное, то такое ученье вслухъ необходимо; но, конечно, ученье вообще далеко не должно этимъ ограничиваться. Особенно важно такое упражненіе голосовыхъ мускуловъ при изученіи иностранныхъ языковъ. На основаніи этого психо-физическаго явленія, должно пріучать ребенка учить вслухъ, потомъ учить глазами, произнося въ то же время слова безъ звука, и наконецъ, только тогда уже замѣчать однѣ мысли, когда дитя или, лучше сказать, юноша можетъ вполне положиться на выработку своихъ голосовыхъ органовъ. Но этимъ я никакъ не хочу сказать, чтобы дитя не должно было пріучать къ самостоятельной передачѣ своихъ мыслей въ самостоятельно вырабатываемой фразѣ. Это необходимо, и притомъ съ самаго начала ученья; но учитель долженъ сознавать трудность этого уже творческаго процесса, всю бѣдность дѣтскаго запаса въ словахъ и выраженіяхъ и, слѣдовательно, упражнять въ этомъ дитя постепенно, обогащая его въ то же время затверженными, но хорошо сознанными словами и выраженіями. Одно такъ же необходимо, какъ и другое. Если бы мы захотѣли, чтобы дитя, какъ этого и доби-

вались нѣкоторые педагоги, само создало изъ созерцанія предметовъ (Anschauungs Unterricht) весь свой языкъ, то не ушли бы далеко и напрасно связали бы душу ученика необыкновенною бѣдностью словъ и выраженій. Вотъ почему и то заучиванье чужихъ фразъ и словъ, которымъ богаты французскія школы, и то самостоятельное самообученіе, выводимое изъ созерцанія предметовъ, которое проводила крайняя песталоцціевская школа, имѣютъ обѣ свои дурныя и хорошія стороны; а умѣнье педагога въ томъ и состоитъ, чтобы воспользоваться хорошими и избѣжать дурныхъ, поправляя и исправляя одну методу другою.

Еще одна замѣтка о странныхъ привычкахъ голосовыхъ органовъ. Не знаемъ, насколько можно доказать, что заиканье, такъ часто встрѣчающееся у дѣтей, есть иногда физическій недостатокъ голосового органа¹⁾; но мы убѣждены въ томъ, что въ большей части случаевъ это есть только дурная привычка голосового органа, который привыкаетъ останавливаться на какихъ-нибудь звукахъ. Вотъ почему въ послѣднее время научились отучать отъ этой привычки, заставляя ребенка произносить трудныя для него слова и звуки медленно, сначала потихоньку, потомъ громче и громче. Заиканье происходитъ часто у дѣтей съ робкимъ характеромъ отъ испуговъ, которые заставляютъ ребенка останавливаться на полусловѣ отъ неувѣренности, что это слово именно то, которое требуется, или отъ боязни учительскаго крика и колотушки въ случаѣ ошибки. Голосовой органъ пріучается хромать, останавливаться на тѣхъ или другихъ звукахъ, зацѣпляться за нихъ, идти, какъ сломанное колесо, и эта привычка голосовыхъ органовъ можетъ такъ укорениться, что останется на всю жизнь, если человѣкъ не употребитъ какихъ-нибудь чрезвычайныхъ усилій, чтобъ отъ нея отдѣлаться. Иногда случается, что заиканье начинается разомъ, отъ сильнаго испуга: нервы ребенка такъ поражаются, что привычка заиканья разомъ врѣзывается въ его голосовые органы.

Если при исправленіи заиканья прибѣгаютъ къ механическимъ пособіямъ, открытіе которыхъ принадлежитъ, можетъ быть, Демосфену, какъ, на примѣръ, къ употребленію подъ языкъ дощечки, то это не потому, чтобы языкъ былъ неправильно устроенъ; но потому, что этотъ чрезвычайно подвижной мускулъ пріобрѣлъ дурную привычку упираться въ низъ или въ верхъ полости рта, отъ чего онъ предохраняется дощечкой.

Точно такъ же происходитъ чаще всего отъ привычки гортани невозможность выговора той или другой буквы, или замѣна одной буквы другою. Если иностранецъ не можетъ произвести нашей буквы *л*, то это не

¹⁾ Физиологи приписываютъ заиканье судорожному состоянію язычнаго (12-я пара) нерва; но отъ чего начинаются эти судороги нерва?

потому, чтобы у него аппарат голоса былъ устроенъ иначе, чѣмъ у насъ, но именно потому, что онъ не приобрѣлъ привычки, которая въ дѣтствѣ приобретается легко, а въ старости съ большимъ трудомъ. Если англичанинъ всѣ языки коверкаетъ на свой ладъ, то это отъ привычнаго типическаго сложенія его голосовыхъ органовъ, придающаго даже лицу его то птичье выраженіе, о которомъ говоритъ Гоголь. Англійское произношеніе чрезвычайно типично: можно даже сказать, что весь англійскій языкъ состоитъ только въ переработкѣ словъ нѣмецкихъ и французскихъ на этотъ англійскій ладъ. Вотъ почему англичанинъ такъ рѣдко говоритъ хорошо на нѣмецкомъ или французскомъ языкѣ: слова обоихъ языковъ напоминаютъ ему его родной, и это напоминаніе, данное его голосовымъ органамъ, вызываетъ въ нихъ родную привычку.

Всѣ эти явленія и множество другихъ ясно указываютъ на громадное участіе чисто нервной, механической способности къ рефлексу, которою обладаютъ наши голосовые органы, въ изученіи и употребленіи языка, въ изученіи не только отдѣльныхъ словъ и фразъ, но и цѣлыхъ тирадъ.

Этою же рефлективною способностью голосовыхъ органовъ объясняется, почему мы легче заучиваемъ стихи, чѣмъ прозу, а стихи съ римами легче, чѣмъ стихи безъ римъ. Голосовые органы наши, приучаясь къ кадансу стиха, механически уже вкладываютъ слова въ этотъ кадансъ. Это тотъ же самый законъ, по которому ногамъ нашимъ легче танцевать подъ музыку, чѣмъ безъ музыки. Рима же или сходство окончаній, требуя при этихъ окончаніяхъ одинаковаго движенія голосовыхъ органовъ, еще болѣе облегчаетъ приобретеніе привычки. Мы замѣчаемъ твердо только кадансъ и риму, а они уже ведутъ за собою слова и цѣлые стихи. Равномѣрность, кадансъ въ движеніи нервовъ, столько же облегчаетъ приобретение привычекъ голосовымъ органамъ, сколько ногамъ при танцахъ и рукамъ при игрѣ на фортепіано.

Та же самая способность привычки, которую мы замѣчаемъ въ голосовыхъ органахъ, замѣчается и въ слуховыхъ. Если наши голосовые органы произносятъ затверженный ими стихъ не только безъ нашего желанія, но даже и къ великой нашей досадѣ, то не точно ли такъ же иной мотивъ затверживается нашимъ слуховымъ органомъ и назойливо надоѣдаетъ человѣку, который радъ бы, да не можетъ отъ него отдѣлаться? ¹⁾ Этотъ примѣръ достаточно показываетъ, что слуховой органъ нашъ такъ же способенъ къ механическимъ рефлексамъ, какъ и голосовой, и что *механическая* память слуха есть точно такой же нервной рефлексъ, какъ и *механическая* память голоса. Два-три тона, слѣдующіе въ заученномъ по-

¹⁾ Fechner's, Psycho-Phys. T. II. S. 500.

рядкѣ, вызываютъ другіе, безъ всякаго участія сознанія и воли. Точно такъ же музыкантъ, припоминая какую-нибудь арію, дѣйствительно слушаетъ ее, какъ и мы, припоминая какіе-нибудь стихи, дѣйствительно говоримъ ихъ. Слуховые органы при этомъ случаѣ, получая толчокъ отъ первыхъ двухъ - трехъ звуковъ, продолжаютъ работать привычнымъ образомъ, безъ участія воли и сознанія. Разница въ такой механической работѣ между слуховыми и голосовыми органами несущественна. Въ голосовыхъ органахъ работаютъ, главнымъ образомъ, мускулы, въ слуховыхъ—воспринимающіе впечатлѣнія нервы; но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мы ощущаемъ только движеніе нервовъ, а это движеніе и въ слухѣ, и въ голосѣ можетъ совершаться привычнымъ, рефлексивнымъ образомъ.

Мы уже видѣли, что ощущенія, даваемые намъ зрѣніемъ, суть частію оптическія, происходящія отъ вліянія свѣта на глазную сѣтку, а частію мускульныя, происходящія отъ движенія шести глазныхъ мускуловъ. Что мускульныя ощущенія движеній глаза такъ же способны укладываться въ форму привычки, какъ мускульныя движенія рукъ, ногъ, голосовыхъ органовъ — въ этомъ нельзя сомнѣваться; но и самыя оптическія ощущенія не сводятся ли къ движеніямъ, вибраціямъ глазныхъ нервовъ, по господствующей нынѣ теоріи свѣта? А гдѣ есть движеніе нервовъ, тамъ можетъ быть и привычка къ движеніямъ въ затверженномъ порядкѣ. Дѣйствительно, опытъ показываетъ, что если въ голосовыхъ органахъ, противъ нашей воли, можетъ произноситься какой-нибудь стихъ, а въ слуховыхъ органахъ слышатся какой-нибудь мотивъ, то въ нашихъ зрительныхъ органахъ можетъ рисоваться какой-нибудь образъ, иногда до того назойливый, что мы употребляемъ всѣ усилія, чтобъ отъ него избавиться, и не можемъ. Мы говоримъ тогда: «эта картина, это лицо, этотъ чловѣкъ стоитъ передо мною; едва я закрываю глаза, какъ вижу его передъ собою» и т. п. При разстройствѣ нервнаго организма такая привычка органа зрѣнія можетъ довести до видѣній.

При сильномъ возбужденіи органа зрѣнія, закрывая глаза, мы совершенно произвольно видимъ образы, смѣняющіе другъ друга. Взглянувъ мелькомъ на предметъ, мы съ трудомъ возстановляемъ его въ нашемъ органѣ зрѣнія; но чѣмъ чаще видимъ мы предметъ, тѣмъ легче намъ это удается; а если мы долго и внимательно разсматриваемъ его, то онъ можетъ потомъ рисоваться въ нашемъ органѣ зрѣнія безъ нашей воли ¹⁾. Словомъ, и въ актѣ зрѣнія, какъ и въ актѣ слуха или голосовыхъ органовъ, мы замѣчаемъ возможность механической привычки, т. е. возможность механической памяти.

¹⁾ Миллеръ обратилъ вниманіе на это явленіе (Man. de Phys. Т. II, р. 505—509); Фехнеръ подробно изучилъ его (Psycho-Physik. Т. II, XLIV).

Такимъ образомъ, вмѣсто одной памяти, мы получаемъ нѣсколько: память зрѣнія, слуха, голосового органа и вообще мускульныхъ движеній. Строго отдѣливъ *механическую* память отъ *душевной*, мы можемъ сказать, что основа первой лежитъ въ способности нервовъ усваивать привычки, и что нервная система, не освѣщенная сознаниемъ, но сохраняющая въ себѣ привычки разъ или нѣсколько разъ испытанныхъ ею движеній, есть именно та «темная пещера памяти», гдѣ, по выраженію Платона, сохраняются слѣды протекшихъ впечатлѣній, дающіе потомъ матерьялъ нашимъ *представленіямъ* и облекающіе нашу мысль въ формы, краски, звуки и движенія. Привычки нервовъ къ движеніямъ, производящимъ тѣ или другія ощущенія звуковъ, красокъ, формъ и т. д., составляютъ именно тѣ строительные, тѣлесные матерьялы, изъ которыхъ душа наша создаетъ всѣ припоминаемые ею *образы* ¹⁾.

Но гдѣ собственно въ нервной системѣ сохраняются эти навыки? Въ окончаніяхъ ли нервныхъ волоконъ въ органахъ чувствъ, гдѣ Иессенъ помѣщаетъ даже зарожденіе идей ²⁾, или въ томъ общемъ центрѣ, головномъ мозгѣ, къ которому сходятся всѣ нервныя волокна? ³⁾ Отвѣтъ на этотъ вопросъ даютъ намъ всѣ тѣ фізіологическіе опыты, которые показываютъ, что при уединеніи нервовъ отъ головного мозга ощущенія въ нихъ прекращаются, и что ощущенія, слѣдовательно, рождаются въ головномъ мозгу. Человѣкъ, у котораго отрѣзана рука, еще долго чувствуетъ, какъ болитъ или чешется у него отрѣзанная рука; при полной слѣпотѣ, но пока глазной нервъ еще дѣйствуетъ, человѣкъ продолжаетъ думать въ образахъ ⁴⁾. Послѣ этого понятно само собою, что и движенія, устанавливающія навыки въ нервахъ, а слѣдовательно и самые эти навыки—принадлежатъ центральнымъ органамъ нервной системы: головному и спинному мозгу въ ихъ связи. Слѣдовательно, было бы противно фактамъ фізіологіи говорить о механической памяти рукъ, ногъ, глазъ, ушей; но можно говорить о нервной, механической памяти зрѣнія, слуха, движенія, о механической памяти нервной системы вообще въ различныхъ ея органахъ.

Кромѣ того, не слѣдуетъ забывать, что нервная система не представляетъ безсвязнаго аггломерата различныхъ нервныхъ системъ: зрѣнія, слуха и т. д. Это только органы одного цѣльнаго и стройнаго нервного

¹⁾ Просимъ читателя не забыть, что мы говоримъ здѣсь только о механическомъ, безсознательномъ элементѣ памяти; о сознательномъ же будемъ говорить далѣе.

²⁾ Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der Psychologie von Yesen. Berlin. 1855. S. 395—396.

³⁾ Fechner's Psycho-Phys. T. II, S. 517.

⁴⁾ Grundriss der Psychologie von Volkmann. 1856. § 42.

организма, оживленнаго и связаннаго однимъ потокомъ жизни; такъ что дѣйствіе одного органа не остается безъ вліянія на другіе, но немедленно же въ нихъ отражается. Уже слишкомъ далеко простираетъ свою догадку Бэнь¹⁾, когда говоритъ: «токъ сознательной нервной энергіи, какимъ бы то ни было образомъ возбужденный, производитъ мускульное ощущеніе, а другой токъ дѣйствуетъ на другой мускуль. Если оба эти тока текутъ вмѣстѣ черезъ мозгъ, то и этого достаточно, чтобы образовать частное сліяніе обоихъ токовъ, которое черезъ нѣсколько времени дѣлается полнымъ сліяніемъ, такъ что одинъ токъ не можетъ начать своего движенія безъ того, чтобы не началось движеніе другого. Токъ, направляющій нашу руку ко рту, есть часть сложнаго тока, открывающаго ротъ, глотку и т. д.». Не простирая догадки такъ далеко²⁾, мы прямо укажемъ на обыкновенныя, всѣмъ извѣстныя явленія, доказывающія ясно такую связь между навыками различныхъ органовъ нервной системы.

Такъ, напримѣръ, дрожаніе слуховыхъ нервовъ, въ которыхъ безъ воли нашей происходитъ какой-либо затверженный мотивъ, пробуждаетъ въ нервахъ, а за ними въ мускулахъ голосовыхъ органовъ, звуки и тоны, соотвѣтствующіе этому мотиву. И мы не только слышимъ этотъ мотивъ, но начинаемъ напѣвать его, иногда совершенно для насъ безсознательно и безъ участія нашей воли.

Точно такъ же слова, которыя мы слышимъ, пробуждаютъ въ нашемъ зрѣніи образъ, который почему бы то ни было связанъ съ этими словами, и наоборотъ: образъ, который мы припомнимъ, вызываетъ слова и звуки, къ нему относящіеся. Точно такъ же затверженный мотивъ танца, возбуждающійся въ слуховомъ органѣ, возбуждаетъ, безъ участія нашей воли, не только соотвѣтствующее движеніе голосовыхъ органовъ, но и соотвѣтствующее движеніе ногъ.

Такимъ образомъ, нервная система наша не только получаетъ привычки движеній того или другого органа, но получаетъ привычки къ комбинаціямъ движеній различныхъ органовъ. Эта способность нервной системы служить

¹⁾ Bain. The Senses and the Intellect, p. 338.

²⁾ Кантъ какъ будто провидѣлъ въ своей «Антропологіи» возможность такой преждевременной догадки, когда, сказавъ, что «эмпирическія идеи (т. е. полученныя путемъ опыта), слѣдую одна за другою, могутъ образовать привычку въ душѣ, такъ что, когда является одна изъ нихъ, то и другая слѣдуетъ за нею», сомнѣвается въ возможности объяснить это явленіе физиологическимъ путемъ, «такъ какъ мы не знаемъ въ мозгу мѣста, гдѣ бы слѣды впечатлѣній, безъ участія сознанія, могли симпатически связываться между собою, дотрогиваясь взаимно». Словомъ, здѣсь намъ остается изучать явленія, насколько это возможно, и отказаться отъ изслѣдованія глубокой причины которое покуда невозможно.

основаніемъ множеству замѣчательныхъ явленій памяти, объясненіе которыхъ важно не только для психолога, но и для педагога.

Чѣмъ болѣе органовъ нашихъ чувствъ принимаетъ участіе въ воспріятіи какого-нибудь впечатлѣнія или группы впечатлѣній, тѣмъ прочнѣе ложатся эти впечатлѣнія въ нашу механическую, нервную память, вѣрнѣе сохраняются ею и легче потомъ вспоминаются. Мы скорѣе и прочнѣе заучимъ иностранныя слова, если пустимъ при этомъ въ ходъ не одинъ какой-нибудь, а три или четыре органа нашей нервной системы: если мы будемъ читать эти слова глазами, произносить вслухъ голосовымъ органомъ, слушать, какъ произносимъ сами или какъ произносятся другіе, и въ то же время писать ихъ на доскѣ или на тетради; и если, потомъ, одинъ изъ нашихъ органовъ ошибется, наприимѣръ голосовой, то слухъ скажетъ намъ, что мы ошиблись и что это не то чуждое слово, которое онъ привыкъ связывать съ тѣмъ или другимъ русскимъ словомъ; если ошибутся слухъ и голосъ, то поправитъ зрѣніе; даже привычка руки можетъ оказать свое замѣтное содѣйствіе: такъ, очень часто случается, что человекъ, забывши, пишется ли слово съ буквы ѣ или е, прибѣгаетъ къ помощи своей руки, которая, привыкши писать слово съ тою или другою буквою, пишетъ его вѣрно. Вотъ почему безошибочная орфографія пріобрѣтается также и упражненіемъ руки.

Изъ этого мы можемъ вывести прямо, что педагогъ, желающій что-нибудь прочно запечатлѣть въ дѣтской памяти, долженъ позаботиться о томъ, чтобы какъ можно болѣе органовъ чувствъ — глазъ, уха, голосъ, чувство мускульныхъ движеній и даже, если возможно, обоняніе и вкусъ, — приняли участіе въ актѣ запоминанія. Паукъ потому бѣгаетъ такъ изумительно вѣрно по тончайшимъ нитямъ, что держится не однимъ когтемъ, а множествомъ ихъ: оборвется одинъ, удержится другой.

Если вы хотите, чтобы дитя усвоило что-нибудь прочно, то заставьте участвовать въ этомъ усвоеніи возможно большее число нервовъ; заставьте участвовать:

1) Зрѣніе, показывая карту или картину; но и въ актѣ зрѣнія заставьте участвовать не только мускулы глаза безцвѣтными очертаніями изображеній, но и глазную сѣтку дѣйствіемъ красокъ раскрашенной картины, или пишите слово четкими бѣлыми буквами на черной доскѣ и т. п.

2) Призовите къ участію голосовой органъ, заставляя дитя произносить громко и отчетливо то, что оно учитъ, рассказывать заученное по картинкѣ или по картѣ и т. п.

3) Призовите къ участію слухъ, заставляя дитя внимательно слушать то, что говоритъ ясно и громко учитель, или повторяютъ другія дѣти, и замѣчать сдѣланныя ошибки.

4) Призовите къ участию мускульное чувство рукъ, заставляя рисовать картину, чертить карту, писать слово.

5) Призовите къ участию осязаніе, обоняніе и вкусъ, если изучаемые предметы, какъ, на примѣръ, нѣкоторые предметы изъ естественныхъ наукъ, это допускаютъ.

При такомъ дружномъ содѣйствіи всѣхъ органовъ въ актѣ усвоенія, вы побѣдите самую лѣнивую память. Конечно, такое сложное усвоеніе будетъ происходить медленно; но не должно забывать, что первая побѣда памяти облегчаетъ вторую, вторая—третью и т. д. Прочное и всестороннее усвоеніе памятью первыхъ образовъ чрезвычайно важно; потому что, какъ мы увидимъ далѣе, чѣмъ прочнѣе залягутъ въ памяти дитяти эти первые образы, даваемые ученьемъ, тѣмъ легче и прочнѣе будутъ ложиться послѣдующіе, конечно, если между этими и послѣдующими образами есть связь.

У различныхъ людей различныя части нервнаго организма бываютъ развиты неодинаково: у иныхъ сильнѣе развитъ органъ слуха, у другихъ органъ зрѣнія. Сила органа, какъ мы уже видѣли, заключается въ его разборчивости, впечатлительности, въ его большей или меньшей способности различать мельчайшіе оттѣнки впечатлѣній. Вслѣдствіе того, у иныхъ бываетъ болѣе памяти слуха, у другихъ болѣе памяти зрѣнія.

Безъ по особенной легкости того или другого рода памяти совѣтуетъ даже угадывать наклонности дѣтей. «Врожденная способность органовъ, говорить онъ, уже даетъ особенность памяти и, вслѣдствіе того, направляетъ всю внутреннюю жизнь человѣка. Такъ, на примѣръ, ощущеніе свѣта, тѣни, цвѣтовъ у различныхъ людей бываетъ различно. Тонкое же чувство оттѣнковъ свѣта и цвѣта есть уже достаточное доказательство высшихъ мѣстныхъ способностей, которыя проявятся потомъ въ соотвѣтствующей силѣ памяти. Эта же особенная чувствительность оказываетъ большое и ясное вліяніе на индивидуальный характеръ человѣка. Она не только опредѣляетъ легкость воспоминаній оттѣнковъ различныхъ цвѣтовъ, но и возбуждаетъ интересъ именно къ конкретному, живописному и поэтическому взгляду на міръ и отвращеніе ко всему безцвѣтному и отвлеченному» ¹⁾. Другими словами, дитя, обладающее такою спеціальною способностью органа зрѣнія, не только выразитъ эту способность въ памяти, но и въ своихъ стремленіяхъ, и имѣетъ болѣе задатковъ, чтобы сдѣлаться поэтомъ и живописцемъ, чѣмъ математикомъ и философомъ.

Намъ кажется, что мы теперь достаточно доказали участіе нервной системы въ актѣ памяти и уяснили, насколько это допускаютъ извѣстные намъ факты, въ чемъ именно состоитъ это участіе. Вліяніе внѣшняго міра

¹⁾ The Senses and the Intellect, by Bain, p. 366.

на нервный организм сообщает ему множество впечатлѣній, оставляющихъ въ организмѣ безчисленное множество слѣдовъ или «отпечатковъ», о существованіи которыхъ говорится, начиная съ Аристотеля, во всѣхъ психологіяхъ и фізіологіяхъ... Нельзя насильно удалять отъ себя тѣ безчисленные чисто-фізіологическія явленія въ актѣ памяти, изъ которыхъ мы привели только весьма немногія, и, не выдѣливъ изъ психологіи того, что принадлежитъ фізіологіи, тѣмъ самымъ подавая поводъ послѣдней вторгаться въ психическую область. Разобравъ внимательнѣе разнообразныя явленія памяти, мы увидимъ, что въ этихъ явленіяхъ принадлежитъ душѣ и что принадлежитъ тѣлу, которыя Творецъ такъ связалъ между собою, что они во все теченіе нашей земной жизни работаютъ вмѣстѣ и тысячеобразно переплетаютъ свои вліянія въ тѣхъ психофізическихъ явленіяхъ, которыя фізіологи изучаютъ съ одной стороны, а психологи—съ другой; *духовная* память, о которой говоритъ Фихте, конечно, есть; но есть также и *нервная* память, о которой говоритъ фізіологія.

Желая дать какое-нибудь названіе этимъ навыкамъ въ нервахъ, мы придадимъ имъ также названіе *нервныхъ* слѣдовъ; но нашъ слѣдъ отличается отъ *слѣдовъ* Бенеке тѣмъ, что, во-первыхъ, наши слѣды имѣютъ опредѣленное мѣстопребываніе, именно въ органахъ нервной системы, въ нервахъ зрѣнія, слуха и т. д.; а во-вторыхъ, самое значеніе слѣдовъ опредѣлено строже: это не что иное, какъ привычки нервовъ къ тѣмъ движеніямъ, которыя они разъ испытали подъ вліяніемъ какого-нибудь впечатлѣнія.

Само собою разумѣется, что *нервные слѣды* составляютъ только одинъ безсознательный элементъ въ актѣ памяти, нисколько не исчерпывая всего этого акта. Самый слѣдъ въ нервахъ можетъ установиться только тогда, когда движеніе нервовъ, сохранившееся въ этомъ слѣдѣ, было нами сознано. Впечатлѣніе внѣшняго міра на нервную систему, прошедшее мимо сознанія, хотя и можетъ оказать сильнѣйшее вліяніе на весь нашъ организмъ, напримѣръ, сквозной вѣтеръ на наше здоровье, но не оставитъ въ нервахъ того, что мы называемъ слѣдомъ памяти. Въ организмѣ нашемъ останется слѣдъ, и можетъ быть очень глубокій, вреднаго вліянія сквозного вѣтра, но въ *памяти* нашей—никакого. *Для того также, чтобы нервный слѣдъ опять возникъ къ сознанію, необходимо участіе другого агента жизни, сознанія, о которомъ мы здѣсь еще не говоримъ.*

Въ какой формѣ эти *нервные слѣды*, эти «отпечатки» Аристотеля, сохраняются въ нервной системѣ? На это мы можемъ отвѣтить только одно: въ формѣ нервныхъ навыковъ и привычекъ. Правда, природа привычекъ для насъ непонятна; но лучше имѣть дѣло съ однимъ неизвѣстнымъ, чѣмъ съ двумя...

Не относительная ли легкость дѣйствія нервной системы, привыкшей къ извѣстнымъ движеніямъ, и порождаетъ въ насъ то *ощущеніе воспоминанія*, на которое указалъ еще Локкъ ¹⁾ и которое, по справедливому замѣчанію Германа Фихте, слѣдуетъ непременно отличать отъ самаго акта воспоминанія ²⁾? Возьмемъ для примѣра самый простой актъ воспоминанія. Взглянувъ на человѣка, мы ощущаемъ, что гдѣ-то и когда-то уже видѣли это самое лицо; но *гдѣ, когда, при какихъ обстоятельствахъ*, рѣшительно ничего не помнимъ. Въ такомъ воспоминаніи нѣтъ ничего, кромѣ самаго *ощущенія воспоминанія*, или, по принятому нами объясненію, ощущенія той относительной легкости, съ которою нервная система повторяетъ впечатлѣнія, уже разъ воспроизведенныя ею: она дрожитъ, такъ сказать, по старымъ складкамъ. Вотъ почему удачное воспоминаніе, независимо отъ своего содержанія, есть дѣйствіе пріятное, какъ легкое, привычное дѣйствіе. Можетъ быть, вдумавшись въ содержаніе воспоминанія, мы будемъ огорчены имъ; но первое сердечное движеніе, прежде чѣмъ мы сознаемъ содержаніе воспоминанія, есть движеніе удовольствія. Это можетъ замѣтить всякій въ самомъ себѣ и даже на лицѣ того, кто вспоминаетъ.

Если *ощущеніемъ* можно назвать чтеніе душою по какой-то таинственной азбукѣ состояній нервного организма, вибрирующаго подъ вліяніемъ внѣшняго міра, то *воспоминаніемъ* можно назвать чтеніе душою по той же таинственной азбукѣ слѣдовъ прежнихъ вибрацій въ той же нервной системѣ. Но какъ отыскиваетъ душа въ нервной системѣ тѣ *слѣды*, которые ей нужны? Если она ихъ ищетъ, то не должна ли она сама ихъ помнить, независимо отъ нервной системы? Положимъ, что нервная система есть именно тотъ гардеробный шкафъ, куда складываются платья нашихъ идей; но все же хозяйка должна помнить, что она туда положила, уже не для того только, чтобы найти то, что ей нужно, что можетъ случиться и часто случается наудачу, но даже и для того, чтобы начать свои поиски. Слѣдовательно, независимо отъ *нервной* памяти, душа, по крайней мѣрѣ человѣческая душа, должна имѣть свою особую память—память идей, для которыхъ она отыскиваетъ въ своей нервной памяти бывшія ихъ одежды: формы, краски, звуки, мускульныя движенія. Какъ бы ни объясняла фізіологія явленій нервной памяти, она никогда не объяснитъ явленій памяти духовной, памяти идей, для которыхъ мы иногда долго ищемъ ихъ тѣлесныхъ одеждъ. Стоитъ только внимательно и безпристрастно анализировать совершающіеся въ насъ ежеминутно акты воспоминаній, чтобы убѣдиться совершенно, что здѣсь дѣйствуютъ не одинъ, а *два* агента: нервная система, со своею способ-

¹⁾ Vol. 1, p. 263.

²⁾ Psychologie, T. 1. S. 427.

ностью привычекъ, и душа, со своею способностью развитія, т. е. сохраненія слѣдовъ идей. Этого намека уже достаточно, чтобы понять, почему въ этой главѣ мы могли говорить только объ одной сторонѣ памяти,—о памяти *нервной* или *механической*, которая, впрочемъ, имѣетъ большое значеніе для психолога и педагога. При такомъ взглядѣ на актъ памяти насъ не будутъ уже удивлять тѣ явленія, когда цѣлые ряды словъ, фразъ, названій исчезаютъ изъ памяти человѣка подѣ вліяніемъ какихъ-нибудь физическихъ пораженій: когда человѣкъ хочетъ говорить и не отыскиваетъ звуковъ, слѣды которыхъ вдругъ исчезли изъ его нервной системы, и т. п.

Эти нервныя привычки, составляющія гѣлесную оболочку того, что мы помнимъ, не ложатся въ насъ отдѣльно, но *парами, рядами, вереницами, группами, сътями*, такъ что одно привычное дѣйствіе нервной системы вызоветъ, *невольно* для насъ, связанное съ нимъ другое, а это другое вызываетъ третье и т. д.; но объ этихъ *ассоціаціяхъ* слѣдовъ памяти, такъ какъ онѣ состоятъ изъ сознаниемъ и могутъ быть наблюдаемы только посредствомъ самосознанія, намъ удобнѣе будетъ говорить въ психологическомъ отдѣлѣ нашей антропологии.

ГЛАВА XVII.

Вліяніе нервной системы на воображеніе, чувство и волю.

Вліяніе нервной системы на воображеніе выражается уже въ томъ, что этотъ психическій процессъ весьма часто совершается въ насъ не только *безъ* нашей воли, но даже *противъ* нашей воли, такъ что мы замѣтно боремся съ нашими фантазіями, какъ съ чѣмъ-то *внѣ насъ* лежащихъ. Послѣ того, что мы сказали о способности нервной системы — сохранять слѣды впечатлѣній въ формѣ привычекъ — нельзя сомнѣваться, что это *внѣ насъ* есть не что иное, какъ наша нервная система, непрошенная дѣятельность которой нерѣдко насъ смущаетъ и тревожитъ. Одинъ нѣмецкій ученый посреди своихъ кабинетныхъ занятій увидалъ предъ собою призракъ, впрочемъ, весьма мирнаго свойства ¹⁾. Не смутившись этимъ явленіемъ, онъ вынулъ ланцетъ, бросилъ себѣ кровь, и, по мѣрѣ того, какъ кровь текла, призракъ блѣднѣлъ и наконецъ совсѣмъ исчезъ. Подобныя явленія, извѣстныя вообще подѣ именемъ галлюцинацій, не доказываютъ ли неоспоримо сильнѣйшаго вліянія состояній организма на наше воображеніе? Вліяніе же это, безъ сомнѣнія, выражается окончательно въ измѣненномъ состояніи нервной

¹⁾ Fechner's Psycho-Physik. Т. II.

системы, безъ посредства которой мы не можемъ ощущать никакихъ состояній организма.

Но не въ однихъ случаяхъ галлюцинаціи, случаяхъ нерѣдкихъ, но все же патологическихъ, замѣчается такая произвольность въ актѣ воображенія. Гёте, по собственному его сознанію, стоило только закрыть глаза и представить себѣ какой-нибудь цвѣтокъ, чтобы потомъ, совершенно независимо отъ воли, этотъ цвѣтокъ началъ измѣняться, принимать самыя разнообразныя цвѣта и формы, разрастаться въ цѣлый, симметрически расположенный букетъ, такъ что Гёте съ любопытствомъ слѣдилъ за этими измѣненіями, совершенно для него неожиданными¹⁾. То же самое замѣтилъ надъ самимъ собою Миллеръ; на то же явленіе указываютъ Спиноза, Локкъ²⁾ и мн. др. Но нужно ли приводить такія громкія имена, чтобы убѣдиться въ дѣйствительности подобнаго явленія? Всякій, кто слѣдилъ внимательно за ходомъ своихъ мыслей и фантазій, безъ сомнѣнія, замѣчалъ въ немъ этотъ отгѣнокъ *непроизвольности*, независимости отъ нашихъ желаній. Наконецъ, что же такое наши сновидѣнія, какъ не такая же независящая отъ насъ игра фантазій?

Еще Локкъ, какъ мы указали выше, обратилъ вниманіе на ту особенность нашего воображенія, что мы не можемъ надолго остановить ходъ нашихъ представленій и, несмотря ни на какія усилія воли, не можемъ удерживать въ нашемъ сознаніи одно и то же представленіе неизмѣннымъ и въ одинаковой степени ясности. Причину этого всѣмъ знакомаго явленія мы указали въ усталости нервовъ, для которыхъ такъ же необходимо безпрестанно почерпать новыя силы для своей дѣятельности изъ процесса питанія, какъ необходимо безпрестанное вдыханіе кислорода для цѣлаго организма... Не душа, а нервы устаютъ представлять одно и то же, выполнять какъ разъ одни и тѣ же движенія и въ одной и той же комбинаціи; не для души, а для нервовъ нужны безпрестанныя остановки въ этой работѣ, остановки, въ продолженіе которыхъ нервы возобновляютъ свои силы изъ процесса питанія. Въ этомъ еще больше убѣждаетъ насъ одно явленіе, на которое ни одинъ психологъ не обратилъ должнаго вниманія, а именно, что, тогда какъ *представленія* неудержимо и быстро въ насъ смѣняются, *идеи* могутъ оставаться въ насъ неопредѣленно долго, и цѣлые часы, дни, мѣсяцы, годы руководить подборомъ нашихъ представленій... Какъ только мы станемъ *идею нашей души* выражать въ словахъ, звукахъ, очеркахъ, образахъ, краскахъ, такъ и начнемъ приводить въ дѣятельность нашу нервную систему, въ привычкахъ и навыкахъ которой хранятся всѣ эти *одежды*

¹⁾ Man. de Phys. par Müller. T. II, p. 536—539.

²⁾ Locke's Works. Vol. I. Of hum. Und. Ch. XIV, § 13, 14, 15.

нашихъ идей; а однѣ и тѣ же нервныя нити не могутъ работать безъ устали и, давъ намъ то или другое представленіе, требуютъ отдыха, т. е. возобновленія силъ изъ процесса питанія. Вотъ чѣмъ объясняемъ мы *неудержимый ходъ* нашихъ представленій и необходимость ихъ безпрестанной смѣны. Если же одно и то же представленіе, въ одинаковой степени яркости, остается долгое время въ ясномъ полѣ нашего сознанія, то это уже не нормальное, а болѣзненное состояніе нашей нервной системы, объясняемое тѣмъ, что при раздраженіи наши нервы, или какой-нибудь отдѣлъ ихъ, могутъ поглощать силы организма, назначенныя для другихъ отправленій.

Какъ быстро происходитъ эта смѣна однихъ представленій другими?.. У каждаго человѣка есть свой обычный *темпъ* хода представленій, и у однихъ людей вереницы представленій идутъ быстрѣе, у другихъ медленнѣе. Это совершенно справедливо; но причины этой относительной быстроты или медленности въ ходѣ представленій у разныхъ людей слѣдовало искать не тамъ, гдѣ искали ее нѣкоторые мыслители: не въ особенностяхъ души, а въ особенностяхъ нервной системы, или вообще въ тѣхъ особенностяхъ тѣлесныхъ организацій, которыя выражаются въ такъ называемыхъ *темпераментахъ*. Быстрое обращеніе крови, быстрое возобновленіе всѣхъ тканей, а слѣдовательно и тканей нервной системы, есть, какъ намъ кажется, необходимое условіе быстроты въ ходѣ представленій. Зависимость скорости хода представленій отъ тѣлесныхъ условій доказывается еще и тѣмъ, что скорость эта у одного и того же человѣка въ различное время бываетъ различна, не только въ различные періоды жизни, — у юноши, напримѣръ, гораздо быстрѣе, чѣмъ у старика, — но и въ одинъ и тотъ же періодъ при различныхъ состояніяхъ здоровья. Въ горячечныхъ припадкахъ, при сумасшествіи и т. п. ходъ представленій ускоряется иногда поразительно.

Большое вліяніе на скорость хода представленій оказываютъ внутреннія, *сердечныя* чувства. Въ спокойномъ состояніи мы не пропустимъ черезъ ясное поле нашего сознанія и сотой доли того количества представленій, какое пройдетъ въ немъ, когда наша душа чѣмъ-нибудь взволнована. Въ одну минуту грозящей опасности мы передумаемъ столько, что если бы захотѣли записать потомъ всѣ наши мысли со всѣми ихъ оттѣнками и измѣненіями, то не умѣстили бы содержанія этой минуты на нѣсколькихъ листахъ. Конечно, въ этомъ явленіи выражается не вліяніе нервовъ на ходъ воображенія, но вліяніе чувствъ души на ходъ ея представленій; но мы имѣемъ основаніе думать, какъ покажемъ ниже, что самое это вліяніе чувства совершается не непосредственно, а посредствомъ нервной системы, которая возбуждается чувствами къ усиленной дѣятельности.

Вліяніе состояній нервной системы на вызовъ въ душѣ тѣхъ или другихъ сердечныхъ чувствъ: гнѣва, страха, ненависти, любви, доказывается

ясно многими патологическими явлениями. Безъ сомнѣнія, ядъ бѣшеной собаки дѣйствуетъ не на душу, а на организмъ и окончательно на нервную систему; но, тѣмъ не менѣе, болѣзненное состояніе этой системы высказывается чисто *душевными* симптомами: безпричиннымъ гнѣвомъ, безпричиннымъ страхомъ, необъяснимымъ отвращеніемъ ко всякой жидкости и т. п. ¹⁾. Почти всѣ болѣзни оказываютъ замѣтное вліяніе на измѣненіе сердечныхъ чувствъ, или экзальтируютъ, или притупляютъ ихъ ²⁾. Иное сумасшествіе располагаетъ къ любви, иное къ ненависти, иное къ страху, иное къ бѣшенству, а причины всѣхъ этихъ психическихъ явленій лежатъ, конечно, въ измѣненномъ состояніи нервовъ ³⁾. Вліяніе опьяняющихъ напитковъ на воображеніе высказывается уже достаточно въ общеупотребительныхъ выраженіяхъ: «разгоряченное воображеніе», «пьяное воображеніе». Наблюдая же пристально это явленіе, мы замѣтимъ, что опьяняющее средство дѣйствовало прежде всего черезъ нервную систему на возбужденіе чувства, и уже черезъ посредство чувства—на воображеніе. Таково же и вліяніе возрастовъ и различныхъ періодовъ развитія, которое замѣчается всѣми воспитателями. Что же производитъ эти явленія, какъ не сердечныя *чувства*, вызываемыя въ душѣ тѣми или другими ненормальными или періодическими состояніями организма и, окончательно, нервной системы? Мы не можемъ отдать себѣ отчета въ этихъ чувствахъ, которыя потому кажутся намъ *безпричинными*; но медицинское наблюденіе открываетъ причину ихъ въ тѣхъ или другихъ состояніяхъ организма. Еще Аристотель обратилъ вниманіе на такія *безпричинныя, органическія* чувства ⁴⁾; но новѣйшая психологія совершенно выпустила ихъ изъ виду, хотя ими, какъ мы увидимъ далѣе, проливается яркій свѣтъ на многіе психо-физическіе акты.

Еще очевиднѣе вліяніе состояній организма на наши желанія, изъ которыхъ многія рождаются прямо изъ органической потребности, ощущаемой душою не иначе, какъ въ измѣненномъ состояніи нервной системы. Организмъ можетъ испытывать потребность пищи, но не можетъ чувствовать страданій голода. Страданія эти вызываются въ душѣ тѣмъ ненормальнымъ состояніемъ организма, въ которое онъ впадаетъ при недостаткѣ пищи. Чувство голода, жажды, усталости, бодрости, потребности движеній, половыя стремленія, потребность сна ощущаются душою только какъ не-

¹⁾ Traité de Pathologie interne, par Grisolle. Paris. 1852. T. II, p. 138—141.

²⁾ Eléments de Pathologie générale, par Chomel, 4 édit. Paris. 1861, p. 166.

³⁾ Эскироль замѣчаетъ, что у безумныхъ чаще всего происходитъ измѣненіе въ нравственныхъ привязанностяхъ. Часто они становятся равнодушными къ своимъ роднымъ и друзьямъ, или даже выказываютъ ненависть. (Traité de Path. p. Grisolle, p. 665).

⁴⁾ Arist. De anima, L. I, Cap. I. Uebers. von Weisse. S. 6.

нормальныя состоянія или слишкомъ истощеннаго, или слишкомъ переполненнаго нервнаго организма.

Мы не знаемъ, каково состояніе нервнаго организма, вызывающее въ душѣ, на примѣръ, страданіе голода и жажды; но знаемъ ли мы, каково состояніе нерва, вызывающее въ душѣ ощущенія зрѣнія, слуха или осязанія? Въ обонхъ случаяхъ мы можемъ только предполагать, что *какія-то* состоянія нервнаго организма дѣйствительно существуютъ и предшествуютъ нашимъ ощущеніямъ и многимъ чувствамъ и желаніямъ, и что душа отзывается на нихъ, сообразно ихъ различнымъ характерамъ, то слуховыми и свѣтовыми ощущеніями, то страданіями, то горемъ, то веселостью, то потребностью отдыха, пищи или сна и т. д. Вотъ все, что мы знаемъ положительнаго: далѣе могутъ идти однѣ догадки.

Нѣтъ сомнѣнія, что такъ называемые *инстинкты* и инстинктивныя стремленія людей и животныхъ—также не что иное, какъ произвольныя отзвы души на состоянія нервнаго организма со всѣми его особенностями, его спеціальными потребностями, его наслѣдственными и пріобрѣтенными навыками и привычками, его болѣзненными и нормальными періодами. Безъ сомнѣнія, организмъ пчелы побуждаетъ ее искать тотъ или другой цвѣтокъ точно такъ же, какъ организмъ человѣка побуждаетъ его искать пищи, питья, отдыха и т. п. Человѣкъ ищетъ пищи не потому, что знаетъ потребность ея для организма (долго не зналъ онъ этой потребности); но потому, что ненормальное состояніе истощеннаго организма заставляетъ человѣка страдать и искать средства для прекращенія этихъ страданій. Но этого мало: организмъ не только заявляетъ душѣ о своей потребности, но наводитъ ее на средства, которыми можно удовлетворить эту потребность. Маленькая черепаха, только что вылупившаяся изъ яйца на морскомъ берегу, бѣжитъ уже не къ горамъ, но по направленію къ морю; пчелка, только что вышедшая изъ червя, летитъ уже за медомъ не на камень, а на цвѣтокъ. Какъ это дѣлается, какими гіероглифами начертаны въ организмѣ потребность и средства ея удовлетворенія, какъ и когда душа разбираетъ эти гіероглифы,—этого мы не знаемъ, но не можемъ сомнѣваться въ томъ, что душѣ *врождена способность* при одномъ состояніи нервной системы испытывать страданія голода, а при другомъ—страданія жажды, точно такъ же, какъ при колебаніи зрительнаго нерва испытывать зрительныя ощущенія, а при колебаніи слухового—слуховыя.

Если состоянія нервнаго организма оказываютъ вліяніе на наше воображеніе, наши сердечныя чувства и наши желанія, то, безъ сомнѣнія, вліяніе это выражается въ нашихъ мысляхъ, рѣшеніяхъ, словахъ и поступкахъ, которые выходятъ изъ души, но души, часто находящейся подъ тѣмъ или другимъ вліяніемъ состояній нервной системы. Мы не будемъ входить

здѣсь по этому поводу въ излишнія подробности; но, излагая отдѣльно различные психо-физическіе акты, мы, насколько это возможно, будемъ отличать то, что принадлежитъ душѣ, отъ того, что принадлежитъ тѣлу, зная, что если тѣло имѣетъ вліяніе на душу, то и душа, въ свою очередь, имѣетъ такое же вліяніе на тѣло и, безъ сомнѣнія, оказываетъ его не иначе, какъ черезъ посредство того же нервнаго организма. Внезапное горе, а еще чаще внезапная радость убиваетъ иногда мгновенно. Продолжительная и сильная печаль часто порождаетъ чахотку, а также часто бываетъ причиною *рака* ¹⁾. Медицина, на примѣръ, раздѣляла прежде *ипохондрію* на *hipochondria cum materia* и *hipochondria sine materia*; но теперь не подлежитъ уже сомнѣнію, что почти всегда совершенно психическое явленіе, какое-нибудь ложное направленіе души, данное ей или воспитаніемъ, или жизнью, или какимъ-нибудь случаемъ, можетъ породить, и дѣйствительно порождаетъ, сначала ипохондрію, а потомъ дѣйствительно разстройство тѣхъ или другихъ органовъ ²⁾.

Г Л А В А XVIII.

Переходъ отъ физиологіи къ психологіи.

Методы психологическаго и физиологическаго изслѣдованія такъ различаются между собою, что намъ необходимо теперь остановиться и, припомнивъ путь, уже пройденный, бросить взглядъ на тотъ, по которому предстоитъ намъ идти.

Мы видѣли, что человѣкъ есть организмъ, развивающійся, какъ и всякій другой организмъ, по своей внутренней идеѣ. Разсматривая явленія человѣческаго организма, мы прежде всего выдѣлили изъ нихъ тѣ, которыя общи всѣмъ организмамъ, какъ растительнымъ, такъ и животнымъ. Къ растительнымъ явленіямъ въ человѣческомъ организмѣ мы отнесли два обширные и сложные процесса: процессъ *питанія* и процессъ *размноженія*. Оба эти процесса составляютъ одинъ обширный процессъ: *процессъ развитія* индивидуальнаго и видоваго.

Процессъ *питанія* въ человѣкѣ, какъ и во всякомъ другомъ организмѣ, состоитъ въ заимствованіи организмомъ элементовъ внѣшней природы и переработкѣ ихъ въ свое тѣло. Вслѣдствіе такой переработки ор-

¹⁾ Eléments de Pathologie par Chomel, p. 82.

²⁾ «Причины ипохондріи, говоритъ Гассе, отчасти духовныя, отчасти тѣлесныя; но первыя играютъ гораздо важнѣйшую роль». (Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. Redig. von Virchow. 1855. B. IV. Abth. I von Hasse. S. 119).

ганизмъ получаетъ возможность выразить въ тѣлесныхъ формахъ своихъ органовъ присущую ему идею.

Питательный процессъ въ животномъ организмѣ, кромѣ доставки матеріала для выработки органовъ, получаетъ еще новое назначеніе—постоянно подновлять органическія ткани и возобновлять силы, постоянно потребляемыя жизненною дѣятельностью, составляющею отличительный признакъ животныхъ организмовъ.

Жизнью мы назвали неизвѣстную намъ причину или собраніе причинъ, дающихъ животному организму возможность *чувствовать* и проявлять свои чувства въ *произвольныхъ движеніяхъ*. Не будучи въ состояніи узнать *самую жизнь*, мы обратились къ изученію ея проявленій и нашли, что непосредственнымъ орудіемъ жизни является нервная система во всей своей полнотѣ, т. е. ея мозговые центры, нервы, органы чувствъ и органы движеній, мускулы. Это уже чисто животная система, не имѣющая ничего ей соотвѣтствующаго въ растительномъ царствѣ. Она безпрестанно потребляется жизненною дѣятельностью и постоянно возобновляетъ свои силы и свои ткани изъ питательнаго процесса, такъ что выраженіе Гербарта, называвшаго душу, по ея отношенію къ тѣлу, «чужеяднымъ растеніемъ» ¹⁾, еще болѣе приложимо къ нервной системѣ, по ея отношенію къ растительному процессу.

Обозрѣвъ нервную систему, мы нашли въ ней три главныхъ свойства: а) необыкновенную *впечатлительность*, такъ сказать, чуткость, съ которою она отвѣчаетъ разнообразными вибраціями на разнообразныя вліянія внѣшняго міра; б) *способность рефлексировать* эти вибраціи въ сокращеніяхъ мускуловъ и в) способность *усваивать привычки* тѣхъ или другихъ вибрацій, а также получать и передавать ихъ наследственно.

Но какъ ни сложна нервная система, какъ ни поразительны ея свойства, фізіологія, основанная на фактахъ, не могла отыскать въ ней ничего, кромѣ *машинъ*—машинъ необыкновенно сложной, необыкновенно чувствительной, въ физическомъ смыслѣ этого слова, имѣющей органическую способность сохранять слѣды своей дѣятельности, но все же—машины. Фізіологія не могла отыскать въ нервной системѣ никакихъ условій, которыя могли бы объяснить намъ возможность такихъ явленій, каковы: *сознаніе*, *чувство* и *воля*. Достигая вездѣ до этихъ явленій, мы испытывали ясно, что съ фізіологическими средствами изслѣдованія нельзя сдѣлать ни шагу далѣе, что здѣсь мы встрѣчаемся съ какимъ-то *новымъ агентомъ*, который не поддается фізіологическому наблюденію.

Отношеніе, въ которое душа поставлена къ нервному организму, со-

¹⁾ Lehrbuch der Psycholog. § 164.

ставляетъ одну изъ величайшихъ тайнъ творенія, которая, возбуждая сильнѣйшее любопытство въ человѣкѣ, остается для него непостижимою, хотя человѣкѣ, такъ сказать, живетъ посреди этой тайны и каждымъ своимъ дѣйствіемъ, каждою своею мыслию рѣшаетъ на практикѣ задачу, неразрѣшимую для него въ теоріи ¹⁾). Теперь, по крайней мѣрѣ, ясно для насъ уже одно, что нервный организмъ стоитъ неизбѣжнымъ звеномъ и единственнымъ посредникомъ между внѣшнимъ міромъ и душою. Душа не ощущаетъ ничего, кромѣ разнообразныхъ состояній нервного организма, и насколько внѣшній міръ своими вліяніями отражается въ этихъ состояніяхъ, настолько онъ и доступенъ душѣ. Если предположить, что во внѣшнемъ мірѣ существуютъ явленія, производящія никакого вліянія, ни непосредственного, ни посредственного, на измѣненіе состояній нервного организма, то такія явленія останутся для души навсегда неизвѣстными. Если, наоборотъ, предположить, что въ душѣ есть явленія, которыя не производятъ никакого впечатлѣнія на нервный организмъ, то такія явленія ничѣмъ не заявятъ своего существованія во внѣшнемъ мірѣ ²⁾). Таково отношеніе души къ нервной системѣ и ко внѣшнему міру. Какъ разбираетъ душа гіероглифы, начертываемые вліяніемъ внѣшней природы въ состояніяхъ нервной системы—этого мы не знаемъ; а соотвѣтствуютъ ли эти гіероглифы дѣйствительнымъ явленіямъ внѣшняго міра—это составляетъ основной вопросъ метафизики, въ который мы не будемъ здѣсь углубляться.

Но, оставляя фізіологическія наблюденія, чѣмъ же мы замѣнимъ ихъ? Наблюденіемъ души надъ собственною своею жизнію, или *самонаблюденіемъ*. Наблюденіе есть методъ естественныхъ наукъ: самонаблюденіе—методъ психологіи. Уже сама фізіологія, какъ только дѣло идетъ въ ней о дѣятельности органовъ чувствъ и движеній, не довольствуется наблюденіями, а прибѣгаетъ къ самонаблюденіямъ: мѣняетъ фізіологическій методъ на психологическій; да иначе и быть не можетъ. Если бы, напримѣръ, человѣкъ не обладалъ самъ органомъ слуха, то, открывъ его у другихъ животныхъ, онъ не имѣлъ бы никакой возможности узнать, для чего служитъ такой органъ. «Пусть кто-нибудь попробуетъ, говоритъ Локкъ, вообразить вкусъ, котораго никогда не испытывалъ, или запахъ, котораго никогда не обонялъ ³⁾). Точно такъ же фізіологъ, предполагая чувство или желаніе причинами тѣхъ или другихъ движеній оперируемаго имъ животнаго, отправляется отъ психологическихъ наблюденій чувствъ и желаній въ самомъ себѣ и знаетъ о нихъ только то, что испытывалъ въ самомъ себѣ. Въ этомъ отношеніи фізіологія находится

¹⁾ Euler, P. II, L. XIV, p. 276.

²⁾ Man. de Phys. par J. Müller. T. II, p. 251.

³⁾ Locke's Works T. I. Conduct of the Understanding. p. 225.

въ полной зависимости отъ психологіи, хотя не всегда сознаетъ эту зависимость. Если бы человѣкъ никогда не видалъ ни существъ себѣ подобныхъ, не зналъ даже, что у него есть глаза и уши, то и тогда могъ бы различать въ самомъ себѣ слуховыя ощущенія отъ зрительныхъ, отвращеніе отъ желанія, горе отъ радости, словомъ, могъ бы уже заниматься психологіею. Но если психологъ можетъ обойтись безъ фізіологическихъ наблюденій, то это еще не значитъ, чтобы они не приносили ему значительной пользы. Мы хотимъ только показать, что основной методъ для фізіологіи есть наблюденіе, а основной методъ для психологіи—самонаблюденіе, и что если одна наука можетъ пользоваться результатами другой, то только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы обѣ онѣ не смѣшивали своихъ методовъ.

Что *самонаблюденіе*, основывающееся на врожденной человѣку способности сознать и помнить свои душевныя состоянія¹⁾, есть основной способъ психологическихъ изслѣдованій — въ этомъ не трудно убѣдиться. Всякое психологическое *наблюденіе*, которое мы дѣлаемъ надъ другими людьми или извлекаемъ изъ сочиненій, рисующихъ душевную природу человѣка, возможно только подъ условіемъ предварительнаго *самонаблюденія*. Какъ бы ярко ни выражалась какая-нибудь страсть въ лицѣ, въ движеніяхъ или въ голосѣ человѣка, мы не поймемъ этой страсти, если не испытывали въ самихъ себѣ чего-нибудь подобнаго. Поэтъ, мѣтко и ярко выразившій какое-нибудь человѣческое чувство, останется непонятнымъ для того, кто не испыталъ этого чувства, хотя бы въ слабѣйшей степени. Дитя, читающее лирическія или драматическія произведенія, въ которыхъ выражены чувства, доступныя только взрослому, или изучающее басни, проповѣди и вообще такія произведенія, въ которыхъ рисуется нравственная природа взрослога человѣка, читаетъ и изучаетъ только слова, и ничего болѣе, кромѣ словъ. Напрасно мы старались бы растолковать слѣпому, что такое цвѣта, и глухому, что такое звуки.

Чтобы обозначить еще яснѣе отношеніе психологіи къ наблюденію и самонаблюденію; позволимъ себѣ построить небольшую гипотезу. Предположимъ, что явно выразившееся стремленіе современной фізіологіи увѣнчалось успѣхомъ и что этой наукѣ удалось доказать, что всѣ явленія въ жизни животныхъ и людей, которыя приписывались прежде сознанію и волѣ, суть не что иное, какъ неизбѣжныя «роковыя» рефлексы, по мѣткому выраженію профессора Сѣченова; положимъ, что я, принявъ этотъ выводъ науки

¹⁾ Способность эту Локкъ довольно темно называлъ *рефлексіею* (Reflection) въ отличіе отъ *ощущеній*. *Ощущеніе и рефлексія* составляютъ, по мнѣнію Локка, два единственные источника всѣхъ нашихъ идей (Of hum. Unberst. В. II, Ch. I, § 2).

съ полною вѣрою, введу его въ свое міросозерцаніе: чѣмъ же долженъ показаться мнѣ тогда весь живой, внѣшній для меня міръ, вся дѣятельность животныхъ и людей? Одною рефлектирующею машиною, вовсе не имѣющею нужды въ сознаниі, чувствѣ и волѣ, чтобы дѣлать то, что она дѣлаетъ. Спрашивается, разувѣрюсь ли я тогда въ существованіи сознанія, чувства и воли? Конечно, нѣтъ: я буду ощущать ихъ въ самомъ себѣ, и только потому, что они во мнѣ совершаются, буду убѣжденъ, что они дѣйствительно существуютъ. Въ такомъ скептическомъ отношеніи ко внѣшнему міру, конечно, не стоитъ ни одинъ человѣкъ; но именно въ такомъ отношеніи ко всеѣмъ наблюденіямъ должна стоять психологическая наука. Она должна начинать съ самонаблюденій и къ нимъ же возвращаться. Если же она говоритъ о психическихъ явленіяхъ у другихъ людей, то не иначе, какъ *по аналогіи*, заключаая по сходству въ проявленіяхъ о сходствѣ причинъ: путь всегда невѣрный, если нѣтъ для повѣрки его другого, болѣе прочнаго критеріума. Такимъ же критеріумомъ для психическихъ аналогій является опять *самонаблюденіе*, опять — *самосознаніе* человѣка. Если есть что-нибудь, въ чемъ я не могу сомнѣваться, то это только въ томъ, *что я ощущаю то, что я ощущаю*. Я могу сомнѣваться въ томъ, чувствуютъ ли другіе люди подобно мнѣ; соотвѣтствуютъ ли мои ощущенія дѣйствительному міру, ихъ вызывающему; могу даже сомнѣваться въ существованіи самаго внѣшняго міра, какъ сомнѣвался, напримѣръ, Беркли; могу все принимать за сонъ моей души, какъ принималъ Декартъ, приготовляясь къ своимъ философскимъ изслѣдованіямъ¹⁾; но, замѣчая сходство или различіе въ моихъ собственныхъ ощущеніяхъ, я не могу сомнѣваться въ томъ, что это различіе или сходство дѣйствительно существуютъ, ибо эти ощущенія совершаются во мнѣ самомъ, мною самимъ и для меня самого. Въ этомъ отношеніи психологія самая несомнѣнная изъ наукъ.

Существуетъ ли однакоже какое-нибудь ручательство, что психическія явленія, наблюдаемыя психологомъ въ самомъ себѣ, совершаются точно такъ же и въ душѣ другихъ людей, и что, описывая эти явленія и анализируя ихъ, психологъ создаетъ науку, общую для всего человѣчества, а не описываетъ свои собственные грезы, индивидуальныя и потому ни для кого ненужныя? Единственное ручательство заключается въ самосознаніи того, кто читаетъ эти описанія и анализы. Если читающій психологію находитъ, что описанія вѣрны въ отношеніи тѣхъ психическихъ явленій, которыя въ немъ самомъ совершаются, то эти описанія имѣютъ для него полный авторитетъ. Въ такомъ отношеніи къ читателямъ стоитъ, впрочемъ, не одна психологія, но все тѣ науки, въ глубокой

¹⁾ Oeuvres de Descartes. 1865. Méditations. Méd. Première, p. 66.

основѣ которыхъ лежатъ результаты самосознанія чловѣка или чловѣчества. Чѣмъ, напримѣръ, читающій исторію повѣряетъ справедливость отношенія между причинами и слѣдствіями, если не своимъ собственнымъ сознаниемъ? Историкъ говоритъ намъ, что изъ такихъ-то причинъ произошли такія-то слѣдствія, и мы вѣримъ его разсказу именно потому, что чувствуемъ, что и въ насъ самихъ, изъ тѣхъ же причинъ и при тѣхъ же условіяхъ, произошли бы непременно тѣ же, а не другія слѣдствія.

Однако мы встрѣчаемъ въ психологіяхъ не одни описанія явленій, а находимъ, кромѣ того, выводы, объясненія, гипотезы, законы; описаніе явленія можетъ быть вѣрно, но объясненіе его, выводъ, гипотеза могутъ оказаться ложными. Все это можетъ быть—и дѣйствительно бываетъ, иначе мы не встрѣчали бы въ психологіи столько теорій, противорѣчащихъ одна другой. Но въ этомъ отношеніи психологія раздѣляетъ участь всѣхъ наукъ, основанныхъ на опытѣ и наблюденіи. Всѣ опытные науки, какъ это уже уяснилось въ современной логикѣ, стремятся къ тому, чтобы дать такое описаніе явленій, которое дѣлало бы ненужными теоріи и гипотезы; но развѣ хотя одна наука, кромѣ математики, достигла такого положенія? Въ этомъ отношеніи математика стоитъ уединенно посреди наукъ, основанныхъ на наблюденіи надъ внѣшнею природою, и наукъ, основанныхъ на психическихъ самонаблюденіяхъ. Одна математика основывается *не на наблюденіи* надъ фактами внѣшней природы или души, которое всегда можетъ быть ошибочно, но на *самомъ фактѣ*: она *совершаетъ* то, что доказываетъ, и *возможность совершенія* есть ея доказательство. Попытки поставить въ такое положеніе философію и психологію до сихъ поръ оказывались неудачными, и психологіи остается раздѣлять общую участь со всѣми науками, основанными на опытѣ и наблюденіи: добиваться все болѣе и болѣе точнаго описанія явленій и прибѣгать къ теоріямъ и гипотезамъ, гдѣ одного описанія явленій оказывается недостаточнымъ для объясненія ихъ связи.

Гораздо основательнѣе тотъ упрекъ, дѣлаемый обыкновенно психологіи, что предметъ ея чрезвычайно подвиженъ: не лежитъ спокойно передъ сознаниемъ изучающаго, какъ цвѣтокъ подъ микроскопомъ ботаника, но безпрестанно мѣняется, какъ хамелеонъ, смотря по тому, кто къ нему подходитъ и съ какой стороны, и что, наконецъ, изучающій не можетъ оторвать предмета своего изученія отъ самого себя. Этотъ упрекъ вѣренъ; но онъ показываетъ только трудность науки, а не невозможность ея. Къ счастью, люди вообще обладаютъ весьма прочною памятью въ отношеніи совершающихся въ нихъ психическихъ явленій¹⁾). Изъ воспоминаній психическихъ

¹⁾ Но, можетъ быть, память насъ обманываетъ и намъ только *кажется*, что чувство горя, которое мы испытываемъ сегодня, похоже на чувство горя,

явленій, въ насъ совершавшихся, слагается тотъ *психологическій тактъ*, которымъ обладаетъ, хотя не въ равной степени, всякій чело-вѣкъ, начиная отъ величайшаго генія и оканчивая идіотомъ.

Психологическій тактъ имѣетъ самое широкое приложеніе во всей нашей жизни, и безъ него невозможно было бы никакое общеніе между людьми и самый даръ слова не могъ бы существовать. Художникъ, актеръ, поэтъ, проповѣдникъ, ораторъ, адвокатъ, политикъ, педагогъ, льстецъ, обманщикъ руководствуются въ своихъ дѣйствіяхъ не чѣмъ инымъ, какъ психологическимъ тактомъ. Если льстецъ увѣренъ въ успѣхѣхъ своей лести, то лишь потому, что знаетъ, по собственному опыту, какъ сладко лесть дѣйствуетъ на душу. Если адвокатъ, рисуя картину горя или нищеты, надѣется возбудить чувство состраданія въ присяжныхъ, то единственно потому, что вспоминаетъ, какъ подобныя картины дѣйствовали на его собственную душу, и знаетъ, по собственному же опыту, каковы бываютъ душевныя послѣдствія возбужденнаго состраданія. Читая вѣрное описаніе картинъ природы, мы съ наслажденіемъ говоримъ: «какъ вѣрно и какъ мѣтко!» Но въ этихъ восклицаніяхъ мы выражаемъ только, что писатель возобновилъ въ насъ тѣ самыя ощущенія, которыя мы сами испытывали при взглядѣ на природу. Руссо, поставивъ своего воспитанника передъ великолѣпною картиною солнечнаго восхода, ошибся въ своемъ разсчетѣ. Дитя осталось хладнокровнымъ къ той картинѣ, которая приводила въ восторгъ Руссо. Картина была слишкомъ велика и слишкомъ сложна для души ребенка. Ему надобно было переиспытать много мелкихъ ощущеній, чтобы изъ нихъ могло сложиться то обширное, какого ожидалъ Руссо. Чему удивляемся мы въ драмахъ Шекспира, какъ не его псобъятному психологическому такту?—Знаніе, какой поступокъ или какія рѣчи вытекутъ изъ того или другого душевнаго движенія и какое душевное движеніе возбуждаютъ они въ другомъ лицѣ, съ другимъ характеромъ, и какъ, наконецъ, эти рѣчи и поступки подѣйствуютъ на душу зрителя или читателя — вотъ вся тайна шекспировскаго генія. Конечно, между ребенкомъ, говорящимъ взрослому ласковое слово съ цѣлью выманить себѣ то или другое удовольствіе, и Шекспиромъ, въ продолженіе трехъ столѣтій потрясающимъ сердца безчисленныхъ зрителей, разница громадная; но, тѣмъ не менѣе, и ребенокъ, и Шекспиръ дѣйствуютъ на основаніи одного и того же психологическаго такта, основаннаго на воспоми-

которое мы испытывали вчера? Можетъ быть, намъ только *кажется*, что ощущеніе зеленаго цвѣта, испытываемое нами нынѣшнею весною при взглядѣ на траву, похоже на то, которое мы испытывали въ прошломъ году? Изъ самой постановки этихъ вопросовъ видно уже, что, допустивъ скептицизмъ такъ далеко, мы подрываемъ не одну психологію, а всѣ науки, основанныя на опытѣ и наблюденіи.

наніи психологическихъ явленій, въ нихъ совершавшихся. Въ ребенкѣ этихъ воспоминаній десятки, а въ Шекспирѣ—неисчислимыя тысячи; въ ребенкѣ они смутны, отрывочны, узки, въ Шекспирѣ—необозримы, ярки, стройны. Нужна была громадная натура Шекспира, чтобы пережить въ своей душѣ то, что онъ пережилъ, и помнить то, что онъ помнилъ изъ этой необъятной внутренней жизни. Такихъ организацій немного; но всякій человѣкъ, говорящій другому оскорбительное или ласковое слово, говоритъ ихъ на основаніи своихъ психическихъ воспоминаній, потому что самъ испыталъ, какъ дѣйствуетъ на душу грубость и ласка, и рассчитываетъ вызвать и въ другомъ тѣ же самыя психическія явленія.

Мы уже высказали въ предисловіи, какую обширную роль играетъ психологическій тактъ въ воспитаніи. Воспитатель учитъ дитя, хвалитъ его или наказываетъ, избираетъ тѣ или другія педагогическія средства, ожидаетъ отъ нихъ тѣхъ или другихъ послѣдствій не иначе, какъ на основаніи своего психологическаго такта, на основаніи болѣе или менѣе обширныхъ, вѣрныхъ и ясныхъ воспоминаній своей собственной душевной жизни. Вотъ почему коренныя педагогическія усовершенствованія совершаются чрезвычайно медленно: человѣкъ, по большей части, учитъ и воспитываетъ дѣтей, какъ его самого учили и воспитывали, и только трудно и медленно вносить новыя идеи и приемы въ дѣло воспитанія.

Степень психологическаго такта, которою обладаетъ воспитатель, и обозначаетъ ту *педагогическую врожденную способность*, которую практика и теорія воспитанія только разрабатываютъ, но не создаютъ. Въ предисловіи также мы показали, почему воспитатель не можетъ ограничиться однимъ психологическимъ тактомъ и почему изученіе психологии, какъ науки, является краеугольнымъ камнемъ педагогики. Теперь же, показавъ основной методъ психологическаго изслѣдованія, намъ слѣдуетъ показать систему, которую мы примемъ при описаніи и анализѣ психическихъ явленій.

Система изложенія психическихъ явленій (§§ 16—24).

Порядокъ изложенія психическихъ явленій можетъ быть двоякій: или догматическій, какъ въ германской психологической наукѣ, или *аналитическій*, преобладающій у англійскихъ психологовъ. Каждый имѣетъ свои достоинства и недостатки. Лучше всего выбрать *средній путь*, предпосылая анализъ теоріи, гдѣ это возможно, и гипотезу—анализу, гдѣ это окажется неизбѣжнымъ, какъ это дѣлаютъ химики (гипотеза атомовъ и эквивалентовъ) и физики (гипотеза свѣтового эфира). Такъ, вначалѣ, для облегченія пониманія, приходится признать *отдѣльными* такія способности души (напримѣръ, память), которыя впослѣдствіи, послѣ ихъ анализа, не ока-

жуются таковыми. Такую методу изложенія, разсчитанную на возбужденіе самосознанія читателя, на его убѣжденіе, лучше всего назвать *дидактическою*. Признавая психологію наукой по преимуществу *опытной*, нельзя совершенно избѣгать и метафизическихъ воззрѣній, безъ которыхъ не могли обойтись ни англійскіе психологи (Локкъ, Милль, Бэнъ, Спенсеръ), ни германскіе (Тетенсъ, Гербартъ, Бенеке и др.), хотя они и желали освободиться отъ метафизики при изслѣдованіи душевныхъ явленій,—такъ какъ *существо души не можетъ быть постигнуто*. Къ этому окончательному выводу пришелъ и Кантъ въ своей «Критикѣ чистаго разума».

Раздѣленіе психическихъ явленій на явленія *сознанія, чувства и воли* есть дѣленіе не научное, но общечеловѣческое и самое удобное: оно понятно и убѣдительно для каждаго по собственному опыту. Такъ, *видѣть цвѣтокъ* еще не значитъ *любоваться* имъ, а *любоваться* имъ еще не значитъ *желать* сорвать его. Необходимо еще изъ психическихъ явленій выдѣлить тѣ, которыя, судя по аналогіи нашихъ дѣйствій съ таковыми же животныхъ, свойственны только одному человѣку, и потому могутъ быть названы *духовными*, въ отличіе отъ *душевныхъ*, свойственныхъ и человѣку, и животному. Совокупность всѣхъ психическихъ явленій, свойственныхъ одному человѣку, будемъ выражать словомъ «духъ», такъ какъ душа свойственна всѣмъ одушевленнымъ предметамъ или животнымъ организмамъ.

Такимъ образомъ, антропологія будетъ имѣть три главныхъ отдѣла: первый, посвященный явленіямъ *тѣлеснаго организма* и уже оконченный, второй — *душевнымъ* явленіямъ, къ которому приступаемъ, и *третій*—*духовнымъ*, которымъ и должна закончиться собственно психологія. При изслѣдованіи психическихъ явленій полезно одновременно дѣлать и выводы изъ нихъ, гдѣ они будутъ естественно вытекать изъ фактовъ, а затѣмъ исправлять или пополнять ихъ, по мѣрѣ дальнѣйшаго изслѣдованія нашей психической жизни, въ которой самымъ простымъ и для каждаго несомнѣннымъ фактомъ является *сознаніе*. Оно проявляется прежде всего въ *актѣ вниманія*, безъ котораго ни одно впечатлѣніе не можетъ перейти въ ощущеніе, т. е. сдѣлаться достояніемъ души.

Г Л А В А XIX.

Процессъ вниманія.

Въ главахъ, посвященныхъ органамъ чувства и ихъ дѣятельности ¹⁾, мы изложили только физическіе элементы *процесса ощущенія*, или образованіе тѣхъ нервныхъ движеній, которыя превращаются душою въ ощущенія. Теперь намъ слѣдуетъ говорить о психической сторонѣ того же процесса, о переходѣ нервного движенія или состоянія нервовъ въ ощущеніе: о томъ,

¹⁾ См. Учебникъ физиологіи.

какимъ образомъ разнообразныя нервныя движенія, въ разнообразныхъ нервныхъ аппаратахъ, становятся въ душѣ столь же разнообразными ощущеніями. Что же мы знаемъ объ этомъ переходѣ, который совершается въ насъ въ каждое мгновеніе нашей сознательной жизни? Говоря откровенно, *почти ничего*, и мы считаемъ полезнѣйшимъ выставить въ яркомъ свѣтѣ этотъ пробѣлъ въ нашихъ знаніяхъ, чѣмъ прикрывать его такими туманными фразами, какими прикрытъ онъ, напримѣръ, у Бенеке и Фехнера...

Самое слово *вниманіе* показываетъ уже, что подъ нимъ разумѣется актъ *вниманія* сознаниемъ тѣхъ или другихъ впечатлѣній внѣшняго міра, и не трудно убѣдиться, что этотъ актъ сознанія является необходимымъ условіемъ превращенія нервнаго впечатлѣнія въ душевное ощущеніе. Изъ огромнаго числа впечатлѣній внѣшняго міра, ежеминутно потрясающихъ нашъ нервный организмъ, мы ощущаемъ сравнительно весьма немногія; остальные же, дѣлаясь физическими впечатлѣніями, не дѣлаются психическими ощущеніями. Ухо наше открыто всегда; волны потрясеннаго звуками воздуха къ нему прикасаются; составныя части слухового аппарата дрожатъ; волны жидкости лабиринта струятся; погруженные въ нихъ концевыя аппараты слухового нерва принимаютъ эти движенія; слуховой нервъ несетъ ихъ къ мозговымъ центрамъ; все это совершается по неизбѣжнымъ физическимъ законамъ; а между тѣмъ, если вниманіе наше чѣмъ-нибудь отвлечено, то мы не слышимъ звуковъ такой силы, что и малой доли ея было бы достаточно, чтобы разслушать эти звуки при малѣйшемъ вниманіи. То же самое замѣчаемъ мы при актѣ зрѣнія. «Безъ перемѣны оси зрѣнія, говоритъ Миллеръ, вниманіе можетъ обращаться на ту часть видимаго предмета, которая лежитъ въ сторонѣ. Смотря на сложную геометрическую фигуру и не передвигая оси зрѣнія, мы можемъ *последовательно* видѣть различныя элементы этой фигуры, не обращая вниманія на другіе» ¹⁾. То-есть, мы будемъ видѣть, *что намъ хочется*, хотя глазъ нашъ, по законамъ оптики, будетъ отражать одновременно всѣ элементы фигуры, всю фигуру. Не въ правѣ ли мы вывести изъ этого, что *глазъ нашъ* и *мы* — два существа различныя, и что глазъ нашъ не можетъ видѣть безъ *нашего* участія, безъ участія нашего вниманія?

Сила впечатлѣнія не только можетъ перешагнуть за физическій порогъ возможности сознанія, но даже достигнуть чрезвычайно высокой степени — и все же не пробудитъ сознанія. Мать выноситъ своего ребенка изъ пламени: платье и волосы на ней обгорѣли, на тѣлѣ страшные обжоги, а она ничего не замѣчаетъ; даже душевныя страданія въ ней слабы — вся

¹⁾ Man. de Phys. p. Müller. T. II, p. 278.

она одинъ актъ воли. Но вотъ, наконецъ, дитя внѣ опасности, и она начинаетъ кричать, стонать, плакать, и то еще не отъ физической боли, а отъ душевныхъ страданій, причиняемыхъ ей одною мыслью, какая опасность угрожала ребенку. И только уже потомъ, когда нравственныя страданія ея поутихнутъ, начинаетъ она чувствовать боль отъ обжоговъ, такихъ обжоговъ, что и одной сотой части ихъ было бы достаточно, чтобъ заставить эту женщину сильно страдать при обыкновенномъ состояніи души. Говорятъ, что въ пылу битвы люди долго не чувствуютъ сильныхъ, даже смертельныхъ ранъ, и быстро слабѣютъ или даже падаютъ замертво, когда обратятъ вниманіе на текущую изъ нихъ кровь. Конечно, впечатлѣнія такого рода далеко перешли веберовскій порогъ сознанія, и если бъ душа наша, какъ утверждаютъ матеріалисты, была тождественна съ нервнымъ организмомъ, то не было бы никакой причины не сдѣлаться этимъ впечатлѣніямъ ощущеніями.

Однакоже, нельзя ли объяснить этого явленія какими-нибудь физическими причинами? Эту попытку и дѣлаетъ Фехнеръ: «если бы, говоритъ онъ, струна, не прикрѣпленная къ скрипкѣ, могла быть приведена въ тѣ же колебанія, какиѣ подвергается она, будучи прикрѣпленною, то она дала бы и тотъ же звукъ. Но она только на скрипкѣ можетъ такъ колебаться (давать опредѣленное число колебаній въ секунду) и, слѣдовательно, только на скрипкѣ можетъ издавать звуки» ¹⁾. Однакоже мы видимъ, что нервъ остается въ организмѣ, подвергается впечатлѣніямъ и не даетъ ощущенія. Но, можетъ быть, онъ не натянутъ какъ слѣдуетъ для того, чтобы подвергнуться такому числу колебаній, какое нужно для того, чтобы эти колебанія могли сдѣлаться сознательными? Положимъ, что такъ (хотя и это предположеніе несправедливо); но и въ такомъ случаѣ слѣдуетъ признать силу, отдѣльную отъ нервного организма, которая способна напрягать нервы.

Кому не знакомо то явленіе, на которое указываетъ самъ же Фехнеръ, что мы можемъ не слышать фразы въ мгновеніе, какъ она произнесена, и потомъ уже, иногда черезъ довольно замѣтный промежутокъ времени, услышать ее, какъ бы въ самихъ себѣ. Въ разсѣянности мы часто просимъ повторить сказанный намъ вопросъ; но прежде чѣмъ намъ повторять его, мы уже слышимъ его какъ бы въ самихъ себѣ, и притомъ съ тою же самою интонаціею, съ которой онъ былъ произнесенъ. Скорезби утверждаютъ (намъ самимъ знакомо это явленіе), что онъ часто разсматривалъ предметъ послѣ того, какъ уже отворотился отъ него, и тогда различалъ въ немъ такія подробности, какиѣ вовсе не замѣчалъ, когда смотрѣлъ на предметъ²⁾.

¹⁾ Fechner's Psycho-Physik. T. II. S. 437.

²⁾ Ib. S. 422.

Многіе медики показываютъ, что часто при кровопусканіи они видятъ *сперва* брызнувшую кровь, а *потомъ* уже движеніе ланцета и производимый имъ разрѣзъ ¹⁾. Подобное же ощущеніе послѣдующихъ событій предыдущими и предыдущихъ послѣдующими испытывается при астрономическихъ наблюденіяхъ и вообще въ тѣхъ случаяхъ, когда два событія быстро слѣдуютъ одно за другимъ и одно изъ нихъ почему-нибудь особенно возбуждаетъ любопытство, т. е. вниманіе, наблюдателя.

Всѣ эти явленія указываютъ намъ на два факта: *во-первыхъ*, на то, что производимое на нервы впечатлѣніе можетъ быть совершенно полно и все же оставаться внѣ сознанія; а *во-вторыхъ*, что это впечатлѣніе можетъ нѣсколько мгновеній оставаться въ нервахъ во всей полнотѣ своей, не переходя въ ощущеніе. Изъ этого уже выходитъ само собою, что *впечатлѣніе* и *вниманіе* два совершенно разные акта двухъ различныхъ дѣятелей, и что эти акты могутъ сойтись и произвести *ощущеніе*, но могутъ и не сойтись, и тогда впечатлѣніе останется впечатлѣніемъ, недошедшимъ до сознанія, или вниманіе, несмотря на всю свою напряженность, останется только вниманіемъ, какъ бываетъ съ нами тогда, когда мы напряженно прислушиваемся и приглядываемся, ничего не видя и не слыша. Что впечатлѣнія совершаются въ насъ и исчезаютъ не мгновенно, что они нѣкоторое время продолжаются въ нашихъ нервахъ, несмотря на то, ощущаемъ ли мы ихъ или нѣтъ,—къ этой мысли приводятъ насъ еще и другія однородныя явленія. Еще Спиноза замѣтилъ, что образы сновидѣній, по пробужденіи нашемъ, стоятъ нѣсколько мгновеній передъ нашими глазами. Миллеръ сдѣлалъ то же наблюденіе и вывелъ изъ него логически, что въ сновидѣніяхъ нашихъ нервы зрѣнія и слуха дѣйствуютъ точно такъ же, какъ и подъ впечатлѣніемъ внѣшнихъ предметовъ. Фехнеръ, изъ своихъ собственныхъ наблюденій и изъ наблюденій своихъ друзей, приводитъ прекрасные примѣры того, какъ, насмотрѣвшись внимательно на какой-нибудь предметъ, мы долго не можемъ отдѣлаться отъ слѣдовъ его образа, врывающихся совершенно для насъ непроизвольно и неожиданно въ промежутки нашихъ мыслей, принявшихъ совсѣмъ другое теченіе ²⁾. Къ этому слѣдуетъ еще прибавить наблюденіе, приводимое Бурдахомъ, но знакомое, конечно, многимъ, что, задремавъ при громкомъ разговорѣ или чтеніи, мы, просыпаясь, знаемъ послѣднее слово или послѣднюю фразу безъ всякой связи съ предыдущими, которыхъ мы не знаемъ. Еще необыкновеннѣе то явленіе, что мы знаемъ, что насъ разбудило, хотя причина, разбудившая насъ, уже перестала дѣйствовать, когда мы проснулись ³⁾.

¹⁾ Psycho-Physik. Т. II. S. 443.

²⁾ Ib. Т. II. S. 500.

³⁾ Ib. Т. II. S. 445.

Всѣ эти явленія указываютъ намъ на два факта: *во-первыхъ*, на то, что и во снѣ мы получаемъ впечатлѣнія, хотя они не дѣлаются ощущеніями (иначе ничто не могло бы насъ разбудить, какъ замѣчаетъ Бурдахъ ¹⁾), и *во-вторыхъ*, что впечатлѣніе можетъ нѣсколько времени оставаться впечатлѣніемъ, прежде чѣмъ сдѣлается ощущеніемъ, или, пробывъ нѣсколько времени, совсѣмъ исчезнуть, не достигнувъ до нашего сознанія. Если бы мы не проснулись, то и послѣдняя часть рѣчи оставалась бы только впечатлѣніемъ и исчезла бы; но такъ какъ мы проснулись, то и сознаемъ послѣднее впечатлѣніе, полученное прежде, чѣмъ мы проснулись, но еще неуспѣвшее исчезнуть.

Изъ всѣхъ этихъ наблюденій, мы считаемъ себя въ правѣ вывести, что впечатлѣніе можетъ быть совершенно полно, выполнить всѣ физическія условія, необходимыя для того, чтобы сдѣлаться ощущеніемъ, но не сдѣлается имъ, пока не подѣйствуетъ на него какой-то другой агентъ, а именно—*сознаніе* въ своемъ актѣ вниманія...

Актъ вниманія необъяснимъ по теоріи Фехнера, не отдѣляющей сознанія отъ дѣятельности нервовъ; теорія *слѣдовъ* Бенеке рушится при примѣненіи ея къ воспитанію. Англійскіе психологи Локкъ, Бэнъ и Ридъ придаютъ слишкомъ большое значеніе волѣ, какъ регулятору нашего вниманія. Всѣ теоріи, по которымъ душевныя явленія вообще считаются извѣстною дѣятельностью мозга, при ближайшемъ анализѣ оказываются несостоятельными.

Г Л А В А XX.

В н и м а н і е: в ы в о д ы.

Изъ критическаго разбора различныхъ анализовъ вниманія мы можемъ сдѣлать слѣдующіе выводы:

Вниманіе совершенно необходимо для того, чтобы *впечатлѣніе* могло превратиться въ *ощущеніе*; это единственная дверь, чрезъ которую впечатлѣнія внѣшняго міра, или ближе—состоянія нервнаго организма, вызываютъ въ душѣ ощущенія. Впечатлѣнія же, не сосредоточивающія на себѣ

¹⁾ «Человѣкъ, засыпающій въ церкви, говоритъ Дюгальдъ Стюартъ, не знаетъ, что говоритъ проповѣдникъ; но если проповѣдникъ остановится, то спящій быстро проснется: въ этомъ случаѣ ясно, что человѣкъ можетъ сознавать впечатлѣнія, не будучи впоследствии способенъ припомнить ихъ». (Elements of the Philosophy of the human Mind, by Dugald Stewart. Lond. 1867. P. I. Ch. II. p. 56). Но что сознавалъ спящій, смыслъ словъ или только журчаніе рѣчи? Ни того, ни другого: нервы, настроенные этимъ журчаніемъ, *другіе* измѣняютъ свое состояніе, когда журчаніе прекращается, и это-то быстрое и сильное измѣненіе состоянія нервовъ будитъ спящаго.

нашего вниманія, хотя и могутъ производить вліяніе на нашъ организмъ, но эти вліянія не будутъ сознаны нами.

Вниманіе не можетъ принадлежать самой нервной системѣ, такъ какъ ясныя наблюденія показываютъ, что оно часто находится въ борьбѣ съ вліяніемъ нервовъ и въ этой борьбѣ иногда одолѣваетъ то вниманіе, то нервная система. Кромѣ того, мы видѣли, что нервная система, выполнивъ необходимо всѣ *физическія* условія впечатлѣнія, отразивъ предметъ на сѣтчаткѣ глаза по законамъ оптики, или передавъ дрожаніе воздуха водѣ ушного лабиринта по законамъ акустики, тѣмъ не менѣе, не даетъ намъ ощущенія, если вниманіе наше, по какому-нибудь обстоятельству, отвлечено отъ дѣятельности нервовъ. Наконецъ, мы видѣли, что вниманіе можетъ переходить съ одного предмета на другой и съ одной части предмета на другую безъ всякаго замѣтнаго измѣненія въ нервной системѣ. Всѣ эти наблюденія заставляютъ насъ признать, что вниманіе принадлежитъ какому-то особенному агенту, тѣсно связанному съ нервной системой, но не тождественному съ нею.

По дѣятельности своей, вниманіе можетъ быть раздѣлено на *произвольное*, или *активное*, и *непроизвольное*, или *пассивное*. *Произвольное* вниманіе отличается отъ пассивнаго по тому вѣрному признаку, что выбираетъ себѣ предметъ съ замѣтнымъ усиленіемъ съ нашей стороны; тогда какъ *пассивное* вниманіе, наоборотъ, увлекается предметами или, вѣрнѣе сказать, состояніями нервной системы, которыя вызываются въ ней тѣми или другими вліяніями внѣшняго міра. Этотъ психическій фактъ такъ знакомъ каждому, что отъ него не могли отвернуться даже тѣ мыслители и психологи, для которыхъ существованіе *произвольнаго* вниманія было загадкою, противорѣчащею ихъ теоріи. Такъ, Гербартъ признаетъ вниманіе «непроизвольное» и «произвольное», объясняя послѣднее самообладаніемъ души ¹⁾; но, какъ мы увидимъ ниже, самообладаніе души не имѣетъ никакого опредѣленнаго смысла, если признать самую душу собраніемъ представленій или слѣдовъ представленій: представленія, обладающія сами собою, совершенно непонятны, и такая душа, подчиняющаяся *своей* самой низкой страсти, точно такъ же *обладаетъ собою*, какъ и та, которая подчиняется своей разумной мысли. Душа гербартовской теоріи, подчиняющаяся законамъ механики, знаетъ только *силу*, не разбирая, чья эта сила—разума или страсти. Знаменитый логикъ Джонъ Стюартъ Милль также, въ противорѣчіе со своею теоріею, говоря о вниманіи, постоянно прибавляетъ, что оно «произвольно въ извѣстныхъ предѣлахъ» ²⁾, хотя самъ же не можетъ признать существованія произвола. Бенекке, въ своей

¹⁾ Lehrbuch der Psychologie. § 213, а также и въ своей педагогикѣ.

²⁾ Mill's Logic. B. V. Ch. I. § 3. S. 294, 295.

психологіи, уклоняется отъ рѣшенія вопроса, что такое произвольное вниманіе, и объясняетъ вниманіе такъ, что произволъ въ немъ становится невозможнымъ. Но въ своей педагогикѣ онъ не можетъ уже уклониться отъ вопроса о произвольномъ вниманіи и долженъ, противъ своего ожиданія, признать его существованіе или отказаться отъ возможности педагогической дѣятельности. Такимъ образомъ, не объясняя покуда, изъ чего можетъ происходить произволъ вниманія, мы просто должны признать существованіе произвольнаго вниманія за несомнѣнный фактъ, открываемый психологическими наблюденіями; должны признать, что «воля, какъ выражается Миллеръ, въ направленіи вниманія дѣйствуетъ съ небольшою силою, какъ и въ управленіи нервами движенія» ¹⁾).

Въ обыкновенномъ ходѣ нашего мышленія вниманіе *произвольное* и *пассивное* безпрестанно перемѣшиваются между собою, какъ это очень удачными примѣрами, хотя съ другою цѣлью, объяснилъ Рау, излагая психологію Бенеке ²⁾). Но иногда мы ясно замѣчаемъ, что пассивное вниманіе беретъ верхъ надъ нами, что мы въ этомъ состояніи непроизвольно выбираемъ предметы для нашего мышленія, увлекаемые тѣми впечатлѣніями, которыя, по какой-нибудь причинѣ, настойчивѣе навязываются намъ нашею нервною системою. Часто, несмотря ни на какія усилія нашей воли, мы не можемъ оторваться отъ какого-нибудь предмета созерцанія, или отъ какого-нибудь воспоминанія.

Власть наша надъ вниманіемъ играетъ большую роль и въ нашемъ умственномъ развитіи, и въ нашей практической жизни. Для человѣка необыкновенно важно быть въ состояніи произвольно выбирать предметы для своего мышленія и отрываться отъ тѣхъ, которые насильственно въ него вторгаются. «Умѣнье быть невнимательнымъ», отрываться отъ предметовъ, завладѣвающихъ нашимъ вниманіемъ, Кантъ ставитъ даже выше умѣнья быть внимательнымъ ³⁾). Локкъ ищетъ средства этого умѣнья и не находитъ другого, кромѣ привычки быть внимательнымъ, пріобрѣтаемой упражненіемъ ⁴⁾). Въ самомъ дѣлѣ, какъ справедливо замѣчаетъ Ридъ, наше спокойствіе, а часто и наша добродѣтель зависятъ отъ большей или меньшей степени нашей власти надъ направленіемъ нашего вниманія; но эта власть не безгранична. Можетъ быть, стоило бы только не думать о самой сильной боли, отвлечь отъ нея свое вниманіе, чтобы ея не чув-

¹⁾ Man. de Physiol. T. II, p. 88.

²⁾ Benecke. Seelenlehre von Raue, p. 88.

³⁾ Kant's Antropologie, § 3. Фрисъ также думаетъ, что «многіе люди несчастливы именно отъ того, что не умѣютъ отвлечь своего вниманія». Handbuch der Antropolog. S. 86.

⁴⁾ Works. Vol. I, p. 83.

ствовать, и нѣтъ сомнѣнія, что самая мучительная мысль перестаетъ насъ мучить, когда мы замѣняемъ ее другою; но у многихъ ли людей, и въ отношеніи всѣхъ ли мыслей и чувствъ, найдется достаточно силы, чтобы по произволу удалять ихъ?

Формація и развитіе *пассивнаго* вниманія такъ хорошо разъяснены у Бенеке, что намъ осталось только дополнить его теорію теоріей Гербарта и показать, какъ мы это сдѣлали выше, что предметъ, для того, чтобы быть для насъ интереснымъ, долженъ быть непременно отчасти *знакомъ* намъ, а отчасти *новъ*: долженъ или вносить новыя звенья въ вереницы нашихъ слѣдовъ, или разрывать эти вереницы. Не такъ легко объяснить усиленіе произвольнаго вниманія, хотя это фактъ, не подлежащій сомнѣнію. Почти всѣ психологи, начиная съ Локка, согласно утверждаютъ, что произвольное вниманіе наше или, выражаясь точнѣе, власть нашей души надъ переменными предметомъ сознанія усиливается отъ *упражненія*. Но какая переменна происходитъ въ насъ отъ такихъ упражненій—этого нигдѣ не выяснено. Видно только одно, что власть наша надъ вниманіемъ тѣсно связана, съ одной стороны, вообще съ силою нашей воли, а съ другой—со здоровымъ состояніемъ нервнаго организма: разстроенный или сильно раздраженный нервный организмъ—такой врагъ произвольнаго вниманія, съ которымъ не можетъ всегда справиться и сильная воля. Но вообще люди, замѣчательные по силѣ своей воли, замѣчательны также и по власти своей надъ вниманіемъ. Такъ, говорятъ, что Наполеонъ I могъ засыпать по желанію и спать спокойно наканунѣ самыхъ рѣшительныхъ битвъ, тогда какъ люди съ раздраженными нервами и слабевольные лишаются сна отъ самой пустой безпокоящей ихъ мысли. Такъ, говорятъ, что Карлъ XII, отличавшійся желѣзною волею, а вовсе не блестящими умственными способностями, могъ, точно такъ же, какъ и Цезарь, диктовать разомъ нѣсколькимъ секретарямъ, что показываетъ огромную степень власти въ распоряженіи своими мыслями. Слѣдовательно, все, что укрѣпляетъ волю, укрѣпляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и произвольное вниманіе. Воля же, какъ мы это увидимъ дальше, укрѣпляется именно своими побѣдами. Каждая побѣда воли надъ чѣмъ бы то ни было придаетъ человѣку *увѣренности* въ собственной своей нравственной силѣ, въ возможности побѣдить тѣ или другія препятствія, и этой увѣренности приписываемъ мы именно укрѣпленіе воли, а вмѣстѣ съ тѣмъ и укрѣпленіе произвольнаго вниманія. Кромѣ того, если человѣкъ съ дѣтства и юности своей не давалъ нервамъ властвовать надъ собою, то они не привыкнутъ раздражаться и будутъ ему послушны.

Вниманіе *активное*, или произвольное, естественно *переходитъ* во вниманіе *пассивное*. Почти всякое новое для насъ занятіе требуетъ сначала отъ насъ *активнаго* вниманія, болѣе или менѣе замѣтныхъ усилій воли съ

нашей стороны; но чѣмъ болѣе мы занимаемся этимъ предметомъ, чѣмъ удачнѣе идутъ наши занятія, чѣмъ обширнѣе совершается работа сознанія въ слѣдахъ, оставляемыхъ въ насъ этими занятіями,—тѣмъ болѣе предметъ возбуждаетъ въ насъ интереса, тѣмъ *пассивнѣе* въ отношеніи къ нему становится наше вниманіе. Локкъ, а вслѣдъ за нимъ и Бэнь, хотя не такъ абсолютно, какъ Локкъ, этимъ самымъ процессомъ объясняютъ образованіе въ человѣкѣ тѣхъ или другихъ способностей и умственныхъ склонностей. «Умъ, мало воспримчивый къ какому-нибудь предмету, говоритъ Бэнь, можетъ выработать въ себѣ это расположеніе настойчивымъ занятіемъ, подъ вліяніемъ произвольныхъ рѣшеній, направленныхъ на одинъ предметъ»¹⁾.

Такъ выработанное вниманіе дѣлается потомъ какъ бы природною способностью; а если оно, по какимъ-нибудь обстоятельствамъ, выработалось въ раннемъ дѣтствѣ, то и дѣйствительно принимается часто за природную способность. Это явленіе тѣмъ понятнѣе, что и природныя способности наши разрабатываются въ склонности и таланты тѣмъ же самымъ процессомъ. Мы уже видѣли выше, что особенно удачно устроенный, тонкій, впечатлительный органъ зрѣнія или слуха привлекаетъ къ себѣ сознаніе преимущественно передъ другими органами, — привлекаетъ именно тѣмъ, что даетъ сознанію болѣе работы, и работы относительно легкой, если сравнить ея трудность съ результатами, которые ею достигаются, т. е. болѣе обширной и удачной работы²⁾. Мы увидимъ далѣе, что коренное свойство души нашей состоитъ въ требованіи дѣятельности, и потому она преимущественно обращаетъ свое сознаніе къ той области ощущенія и слѣдовъ ощущенія, въ которой можетъ получить болѣе обширную, разнообразную и сравнительно легкую дѣятельность. Дѣятельность же сознанія, въ свою очередь, накапливаетъ еще болѣе слѣдовъ въ той области, въ которой она преимущественно работаетъ; а слѣды этихъ работъ сознанія, расширяясь, усложняясь, укореняясь отъ повторенія, все сильнѣе и сильнѣе привлекаютъ сознаніе къ новымъ работамъ въ той же области. Такъ развиваются въ насъ пріобрѣтенныя способности и склонности; точно такъ же развиваются и тѣ природныя задатки, которые были намъ даны уже въ особенностяхъ нашей нервной системы.

На такую формацию и на такое развитіе нашихъ способностей и склонностей могутъ имѣть вліяніе совершенно случайныя обстоятельства. «Мы, говоритъ Локкъ, часто называемъ даромъ природы то, что есть только слѣдствіе упражненія и практики. Если человѣкъ, по счастливому случаю, успѣлъ въ чемъ-нибудь, то эта удача заставляетъ его вновь пробовать себя

¹⁾ The Emotion and the Will, by Bain, p. 411.

²⁾ См. о дѣятельности органа слуха Учебникъ Наумова.

на томъ же поприщѣ, пока онъ нечувствительно, самъ того не замѣчая, выработаетъ въ себѣ способность къ тому или другому дѣлу». Однакожь, эта мысль Локка, несмотря на всю свою справедливость, проведена слишкомъ далеко. Самая первая удача должна же была отъ чего-нибудь зависѣть; если же она была чистымъ дѣломъ случая и не имѣла основанія въ нашихъ природныхъ способностяхъ, то за нею неминуемо послѣдуютъ неудачи, которыя парализуютъ вліяніе удачъ и отобьютъ у человѣка охоту идти по дорогѣ, для которой у него не было природнаго дара. Правда, есть характеры, для которыхъ чѣмъ сильнѣе была борьба, тѣмъ крѣпче они привязываются къ приобретенному; но часто бываетъ и наоборотъ: непосильная трудность, встрѣчаемая въ началѣ дѣла, дѣлаетъ намъ самое дѣло противнымъ. Слѣдовательно, и въ этомъ случаѣ, какъ и всегда въ душѣ человѣческой, многое зависитъ отъ счастливой гармоніи и равновѣсія силъ. Сознаніе наше не любитъ ни слишкомъ легкой, ни слишкомъ трудной работы; оно любитъ середину, т. е. *посильный* трудъ, но положеніе этой середины у различныхъ людей различно. Оно опредѣляется, съ одной стороны, нашими способностями, а съ другой — силою нашей воли. Кромѣ того, на него имѣютъ вліяніе обстоятельства и даже просто случай. Но самъ по себѣ чистый случай способности не создастъ, хотя многіе однородные случаи, слѣдуя одинъ за другимъ, могутъ выработать наклонность, которая будетъ тогда не соответствовать способностямъ. Такъ, на примѣръ, извѣстна страсть Рихелье къ стихоплетству, хотя у великаго политика не было ни малѣйшаго дара поэзіи. Мы не знаемъ, какъ выработалась въ немъ эта наклонность, но понимаемъ, что льстецы могли ее укоренить въ немъ. Очень часто слишкомъ снисходительныя похвалы къ рисункамъ дитяти развиваютъ въ немъ страсть къ рисованію, хотя у него нѣтъ ни малѣйшаго дара живописи ¹⁾.

При такомъ взглядѣ на активное вниманіе, а равно и на возможность перехода активнаго вниманія въ пассивное, понятна уже сама собою обязанность воспитателя въ отношеніи вниманія воспитанниковъ. Воспитатель долженъ пользоваться способностью души—произвольно направлять свое вниманіе, долженъ укрѣплять власть души надъ вниманіемъ; но, въ то же время, долженъ заботиться о томъ, чтобы пассивное вниманіе развивалось въ воспитанникѣ, чтобы его интересовало то, что должно интересовать развитого и благороднаго человѣка, а это достигается не иначе, какъ множественномъ и стройномъ слѣдовъ того или другого рода. Принуждать себя вѣчно никто не въ состояніи, и если въ человѣкѣ не разовьется интересъ къ добру, то онъ не долго пройдетъ по хорошей дорогѣ. Изъ частныхъ по-

¹⁾ О противорѣчій между наклонностями и способностями см. у Бэна. *The Senses and the Intellect*, p. 45.

бѣдъ надъ собою мало-по-малу вырастаетъ сила, которая сначала облегчаетъ намъ тотъ или другой путь, а потомъ ведетъ насъ по этому пути.

Аристотель, Спиноза, Локкъ, Ридъ, Руссо, Бэнъ, все единогласно находятъ во вниманіи лучшее средство управлять страстями. Поэтому, воспитывая власть человѣка надъ вниманіемъ, мы не только открываемъ ему широкую дорогу къ умственному развитію, но и даемъ могущественнѣйшее средство бороться со страстями и, несмотря на ихъ вліяніе, идти дорогою здраваго разсудка и добродѣтели. «Мы не можемъ *върнуть* въ какую-нибудь мысль только изъ желанія или изъ страха», говоритъ Джонъ Стюартъ Милль: «самое страстное желаніе не дастъ возможности даже слабѣйшему изъ людей повѣрить чему-нибудь безъ признака умственнаго основанія, безъ какой-нибудь, хотя кажущейся, очевидности. Но чувства наши дѣйствуютъ на то, что въ нѣкоторой степени произвольно, а именно—на вниманіе человѣка, направляя его на заключеніе ему пріятное¹⁾, и въ этомъ Милль видитъ одну изъ главныхъ причинъ нашихъ ошибокъ. Борются же съ такимъ *вліяніемъ чувства* на вниманіе можетъ только тотъ, у кого не только окрѣпло *произвольное* вниманіе, но и *пассивное* вниманіе развилось, какъ слѣдуетъ: у кого интересы истины и добродѣтели сдѣлались главными руководящими интересами жизни именно потому, что онъ часто вращался и часто одерживалъ побѣды надъ собою въ этой области мысли и дѣйствій.

Что же такое вниманіе? какъ мы опредѣлимъ его? Одни психологи придаютъ ему слишкомъ большую самостоятельность: такъ, напримѣръ, Ридъ дѣлаетъ его особенною способностью души и ставитъ рядомъ съ сознаніемъ²⁾. Другіе, какъ, напримѣръ, Бенеке, вовсе вычеркиваютъ вниманіе изъ числа способностей и видятъ въ немъ только большее или меньшее накопленіе слѣдовъ, привлекающихъ другіе однородные слѣды. Намъ кажется, что справедливѣе всехъ думаютъ тѣ, которые опредѣляютъ вниманіе, какъ *способность сознанія сосредоточиваться*³⁾. Мы думаемъ, однако, что это опредѣленіе слѣдуетъ расширить и опредѣлить вниманіе способностью *не одного сознанія только, а всей души сосредоточиваться въ той или другой сферѣ своей дѣятельности, т. е. или въ сферѣ сознанія, или въ сферѣ воли, или въ сферѣ внутренняго чувства.*

Мы ясно можемъ замѣтить надъ собою, что при сильныхъ тѣлесныхъ страданіяхъ, а также въ гнѣвѣ, въ горѣ, въ радости и другихъ сердечныхъ или внутреннихъ чувствахъ, сознаніе наше тускнѣетъ и впечатлѣнія внѣшняго міра ощущаются нами слабо и неясно. Точно такъ же при сильномъ

¹⁾ Mill's Logik. B. V. Ch. 1, § 3, p. 294.

²⁾ Read's Works. Vol. I, p. 230 и 240.

³⁾ Fichte. Psychologie. T. I. S. 89.

напряженія нашей воли въ какомъ-нибудь актѣ, не только сознаніе, но и внутреннее чувство наше дѣйствуетъ слабо, какъ мы видѣли это на примѣрѣ матери, спасающей свое дитя изъ пламени. Вотъ почему мы думаемъ, что слѣдуетъ отличать *вниманіе въ обширномъ смыслѣ*, т. е. способность души сосредоточиваться въ одной изъ трехъ сферъ своей дѣятельности, *отъ вниманія въ тѣсномъ смыслѣ*, т. е. отъ способности души сосредоточиваться въ области сознанія на томъ или другомъ предметѣ сознанія.

Причины, сосредоточивающія дѣятельность души, очень разнообразны. Однѣ изъ нихъ принадлежатъ самой душѣ и изъ нея вытекаютъ—таковы источники произвольнаго вниманія; другія причины скрываются во вліяніяхъ на душу внѣшняго міра, чрезъ посредство нервнаго организма: это причины пассивнаго вниманія. Причины пассивнаго вниманія можно снова раздѣлить на внутреннія и внѣшнія.

а) *Внѣшнія причины*, сосредоточивающія наше пассивное вниманіе, заключаются въ силѣ самаго впечатлѣнія: не замѣчая легкаго прикосновенія, мы замѣчаемъ сильный толчокъ. Кромѣ абсолютной силы впечатлѣнія, важна и его относительная сила: въ тишинѣ ночи мы слышимъ такіе звуки, которыхъ не могли бы слышать днемъ; бѣлое виднѣе для насъ на черномъ фонѣ, чѣмъ на сѣромъ, и т. п. Къ этому же роду причинъ, сосредоточивающихъ наше вниманіе, слѣдуетъ причислить болѣзненные или періодическія состоянія нашего организма, которыя невольно привлекаютъ наше вниманіе, отвлекая его отъ другихъ предметовъ. «Каждое тѣлесное чувство, говоритъ Гербартъ, можетъ ввести въ сознаніе связанные съ нимъ ряды представленій» ¹⁾.

б) *Ко внутреннимъ* причинамъ пассивнаго вниманія слѣдуетъ отнести самую связь слѣдовъ нашихъ ощущеній и ассоціаціи этихъ слѣдовъ. Одно представленіе вызываетъ за собою другое, съ нимъ связанное, по законамъ ассоціаціи слѣдовъ, о которыхъ мы скажемъ ниже. Сюда же слѣдуетъ отнести вліяніе сердечныхъ чувствъ, заправляющихъ нашимъ вниманіемъ, безъ посредства нашей воли и даже противъ воли. Такъ, мы противъ воли внимательны ко всему тому, что затрогиваетъ сильно возбужденное въ насъ чувство: гнѣвъ, страхъ, любовь, самолюбіе и т. п.

Мы невнимательны ко всему тому, что намъ совершенно знакомо, если только при этомъ не задѣто какое-нибудь внутреннее, сильно возбужденное чувство; но мы такъ же невнимательны и ко всему тому, что намъ совершенно незнакомо, а потому не можетъ составить сильныхъ ассоціацій съ тѣми слѣдами, которые уже укоренились въ насъ. Другими словами:

¹⁾ Herbart's Schriften zur Psychologie. Herausgegeben von Hartenstein. Erst. T. § 214.

чтобы возбудить наше вниманіе, предметъ долженъ представлять для насъ новость, но новость интересную, т. е. такую новость, которая или дополняла бы, или подтверждала, или опровергала, или разбивала то, что уже есть въ нашей душѣ, т. е., однимъ словомъ, такую новость, которая что-нибудь измѣняла бы въ слѣдахъ, уже въ насъ укоренившихся. Появленіе новой планеты, могущее взволновать всѣ обсерваторіи, не было бы даже и замѣчено толпою: нужно уже было быть волхвомъ, звѣздочетомъ, чтобы замѣтить новую звѣзду на небѣ.

Перечисливъ причины, сосредоточивающія нашу душу, перечислимъ теперь, хотя коротко, и послѣдствія такого сосредоточенія. Общія послѣдствія тѣ же, какія бываютъ всегда отъ сосредоточенія силъ. Чѣмъ сосредоточеннѣе душа въ какомъ-нибудь своемъ актѣ, тѣмъ болѣе силы обнаруживаетъ она въ немъ. Безумные обнаруживаютъ неожиданно большую силу во всѣхъ своихъ движеніяхъ. Лунатики, какъ замѣтилъ еще Миллеръ ¹⁾, потому съ необычайной ловкостью ходятъ по крышамъ и заборамъ, что вся душа ихъ такъ сосредоточена на одномъ актѣ, какъ не можетъ быть она сосредоточена у бодрствующаго человѣка, чувства котораго открыты тысячамъ внѣшнихъ впечатлѣній. Животныя, можетъ быть, именно потому такъ ловки въ своихъ дѣйствіяхъ, что мало думаютъ и разсѣиваются.

Сосредоточеніе сознанія на предметъ дѣлаетъ всѣ ощущенія, получаемыя нами отъ этого предмета, рѣзче и яснѣе, такъ что мы замѣчаемъ такія черты въ картинѣ, или такіе оттѣнки въ звукахъ, которыхъ и не подозрѣвали, когда сознаніе наше было развлечено. Отсутствіе развлеченія уже само по себѣ открываетъ возможность сосредоточенія сознанія. Вотъ почему, вслушиваясь въ арію пѣвца, мы инстинктивно закрываемъ глаза, удерживаемъ дыханіе, даже приподымаемся съ мѣста, желая по возможности уменьшить поле нашихъ впечатлѣній и тѣмъ самымъ усилить ощущеніе, вызываемое въ насъ наблюдаемымъ предметомъ. Вотъ почему у слѣпыхъ, для которыхъ закрыта громадная область дѣятельности зрѣнія, бываютъ обыкновенно тонки слухъ и осязаніе.

Чѣмъ сильнѣе вниманіе, тѣмъ ощущеніе отчетливѣе, яснѣе, а потому и слѣдъ его тѣмъ прочнѣе ложится въ нашу память ²⁾. Всякій испыталъ надъ собою, что мы тѣмъ тверже запоминаемъ какой-нибудь предметъ или какое-нибудь обстоятельство, чѣмъ болѣе они сосредоточили на себѣ наше вниманіе ³⁾. Незамѣчательные, обыденные предметы тысячами проходятъ

¹⁾ Man. de Physiologie. T. II, p. 99.

²⁾ Elements of the Philosophy by Dugald Stewart. Ed. 1867, p. 216.

³⁾ Для доказательства такого отношенія вниманія къ памяти, Дюгальдъ Стюартъ приводитъ примѣръ, что человѣкъ, не занимающійся особенно лошадьми, можетъ долго смотрѣть на лошадь; и потомъ не узнать ее; тогда

ежедневно передъ нашими глазами, не сосредоточивая на себѣ нашего вниманія и потому не оставляя по себѣ никакого слѣда въ нашей памяти; предметъ же, сильно сосредоточившій на себѣ наше вниманіе, запоминается надолго. Можетъ быть, если бы человѣкъ способенъ былъ къ долговременному и *абсолютному* вниманію, то для него достаточно было бы прочесть разъ большую книгу, чтобы помнить ее отъ слова до слова. Такимъ абсолютнымъ вниманіемъ отличаются иногда идіоты, не развлекаемые въ своемъ созерцаніи словъ даже смысломъ того, что читаютъ. Такъ, идіотъ, приводимый въ примѣръ Дробисемъ, прочтя разъ объемистую медицинскую диссертацию на латинскомъ языкѣ, передалъ ее отъ слова до слова, не зная ни медицины, ни даже латинскаго языка ¹⁾).

Не только ощущеніе, непосредственно получаемое нами отъ внѣшнихъ предметовъ, но также и *слѣды ощущеній*, изъ которыхъ слагаются наши представленія, становятся для насъ ярче, образнѣе, когда мы сосредоточиваемъ на нихъ свое вниманіе, или когда уменьшается въ насъ возможность развлечения. Во тьмѣ и тишинѣ ночи наши представленія приобрѣтаютъ яркость дѣйствительности; а когда сонъ лишаетъ насъ возможности сравнивать яркость нашихъ внутреннихъ представленій, съ яркостью дѣйствительныхъ ощущеній, то наши мечты превращаются въ сновидѣнія до того образныя, что мы вѣримъ въ ихъ дѣйствительность.

Сосредоточенность души въ области сердечныхъ чувствъ производитъ иногда гибельное дѣйствіе. Сосредоточенное, ничѣмъ не развлекаемое горе, а еще болѣе радость, иногда убиваютъ человѣка, или производятъ такой глубокій переворотъ въ его нервномъ организмѣ, что этотъ разстроенный, извращенный организмъ отражается въ душѣ помѣшательствомъ. Сосредоточенность же души въ актѣ воли часто придаетъ этому акту, какъ мы уже показали выше, изумительную силу и ловкость.

Г Л А В А XXI.

Что такое значитъ—сознавать? Появленіе ощущенія.

Ясность сознанія находится въ обратно пропорціональномъ отношеніи съ числомъ впечатлѣній, входящихъ одновременно въ созна-

какъ лошадиный торговецъ, разъ и бѣгло взглянувъ на лошадь, узнаетъ ее потомъ между тысячами другихъ. (Elements of Philosophy, p. 217). Но это примѣръ не подходящий: здѣсь не столько дѣйствуетъ *интересъ*, сколько множество прежнихъ слѣдовъ, и вслѣдствіе этого множества слѣдовъ одного рода, лошадиный торговецъ умѣетъ отыскать сразу отличительный признакъ каждой новой лошади.

¹⁾ Empyrische Psychologie, von Drobisch. § 37. S. 95.

ніе, т. е. чѣмъ больше одновременныхъ впечатлѣній, тѣмъ меньше ихъ ясность. Одновременность различныхъ ощущеній, отвергаемая Вундтомъ и Спенсеромъ, возможна при участіи различныхъ органовъ чувствъ, напримѣръ, зрѣнія и слуха, какъ признавалъ еще Аристотель. Такъ, мы можемъ одновременно различать ощущеніе бѣлаго и сладкаго, свѣта и тьмы, добраго и злого: иначе сравненіе не было бы возможно. Если бы всѣ тѣла имѣли одинаковую температуру и мы перестали бы различать въ нашемъ ощущеніи тепло и холодъ, мы не ощущали бы и не различали бы ни тепла, ни холода. Вообще сравненіе, различеніе, ощущеніе и сознаніе суть только различныя названія одного и того же психическаго акта. Если бы въ мірѣ все стало *желтаго* цвѣта, въ насъ не существовало бы ощущенія другихъ цвѣтовъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, *не существовало бы ощущенія и желтаго цвѣта*, хотя бы онъ и существовалъ въ природѣ. Не имѣя съ чѣмъ *сравнивать* этотъ цвѣтъ, мы перестали бы различать его, не могли бы ни *ощущать*, ни *сознавать* его. То же приложимо и ко всѣмъ другимъ внѣшнимъ чувствамъ и ощущеніямъ. Слѣдовательно, ощущеніе или сознаніе есть не болѣе, какъ различеніе при сравненіи. Такъ же точно и въ нашемъ внутреннемъ чувствѣ: мы ощущаемъ радость или горе, пока сознаемъ ихъ; если же, при наивысшей степени, мы теряемъ ихъ сознаніе, является уже обморокъ, т. е. безсознательное состояніе.

Убѣдившись въ томъ, что сознать или ощущать значитъ различать (а различеніе возможно только при сравненіи), мы легко уже убѣждаемся въ томъ, что если бы сознаніе наше не могло *одновременно* сравнивать двухъ или болѣе впечатлѣній, то оно не могло бы ихъ различать, слѣдовательно, не могло бы ихъ сознать—не было бы и самаго сознанія. Каждое *единичное* ощущеніе потому и ощущеніе, что мы сравниваемъ его съ другимъ современнымъ или прежде бывшимъ ощущеніемъ, которое изъ слѣда становится опять современнымъ новому ощущенію. Объясненіе психическихъ явленій какими бы то ни было матеріальными движеніями (напримѣръ, нервныхъ волоконъ, нервнаго принципа, психическаго эфира и т. п. гипотезами) совершенно невозможно. Ясно одно: что нервныя движенія, каковы бы они ни были, могутъ въ отношеніи другъ друга совершаться двоякимъ образомъ: или *одновременно*, но *разномѣстно*, или въ одномъ и томъ же мѣстѣ, но *разновременно*. Различеніе этихъ ощущеній было бы невозможно, если бы сами движущіеся нервы и были *тѣмъ*, что различаетъ ихъ движеніе. Сознаніе этихъ движеній и ихъ различія по качеству или количеству принадлежать не самимъ нервамъ, а душѣ.

Попытки психологовъ-натуралистовъ объяснить явленія ощущенія разными физическими и механическими теоріями—неудачны. Въ явленіяхъ притяженія, электричества, химическаго сродства и т. п. мы видимъ одни явленія, но причинъ угадать не можемъ: то же самое и въ психическихъ явленіяхъ. Душа сознаетъ только *отношенія* между нервными движеніями, а не самыя нервныя движенія, которыя по существу своему непостижимы (Аристотель). Актъ созна-

нія не есть движеніе, а *нѣчто особенное, свойственное одной душѣ и невозможное для матеріальнаго міра*. Мы сознаемъ въ данный моментъ только *одно отношеніе* (это и есть Аристотелевское *единство сознанія*), которое Вундтъ и Спенсеръ смѣшали съ единствомъ самого ощущенія, признавъ за нимъ несуществующій законъ одновременности.

Г Л А В А XXII.

П р и п о м и н а н і е.

Актъ *припоминанія* такъ часто и такъ ясно совершается въ насъ, что каждый имѣетъ полную возможность наблюдать его. Наблюдая же этотъ актъ, мы легко замѣтимъ, что онъ бываетъ *двоякаго рода*. Одно припоминаніе бываетъ невольное, которое потому мы назовемъ *механическимъ*; въ другомъ мы замѣчаемъ ясное участіе нашего желанія: мы стараемся припомнить, что намъ нужно, и наше желаніе исполняется иногда очень не скоро, а иногда остается даже и вовсе безъ исполненія, несмотря на долгія старанія наши. Такое припоминаніе, такъ какъ инициатива его выходитъ изъ души, мы назовемъ *душевымъ*. Припоминаніе душевное и припоминаніе механическое часто перемѣшиваются между собою въ одинъ продолжительный процессъ. Вспомнивъ произвольно какое-нибудь событіе нашей жизни, мы начинаемъ развертывать длинную цѣпь воспоминаній — одно звено за другимъ, и при этомъ замѣтимъ, что одни изъ звеньевъ этой вереницы воспоминаній сами собою входятъ въ наше сознаніе, иногда пробуждая въ насъ замѣтное чувство изумленія, вызываемаго неожиданностью; тогда какъ другое звено, наоборотъ, долго, а иногда и вовсе не поддается нашимъ душевнымъ усиліямъ.

Причины и средства *механическаго припоминанія* уже объяснены нами въ главахъ «о рефлексѣхъ», «привычкѣ» и «нервной памяти». Ясно само собою, что въ этомъ припоминаніи привычки нервовъ, почему-либо связанныя между собою, взаимно вызываютъ одна другую, какъ вообще одинъ рефлексъ вызываетъ другой, съ нимъ связанный¹⁾.

Гораздо труднѣе объяснить явленіе *душевнаго припоминанія*, хотя это одно изъ самыхъ частыхъ и самыхъ яркихъ душевныхъ явленій. Кто изъ насъ не испытывалъ того довольно мучительнаго состоянія, когда мы припоминаемъ что-нибудь, чего, казалось, не могли забыть, и что однакоже позабыли. То *то*, то *другое* подвергается ищущему сознанію; но оно отвергаетъ и *то*, и *другое*, ясно сознавая, что это *не то*, чего оно ищетъ.

¹⁾ См. выше, гл. XII, XIII, XVI.

Слѣдовательно, нельзя сказать, чтобы наше сознание совершенно не знало, чего оно ищетъ: уже для того, чтобы искать, оно должно знать, чего ищетъ. Но, съ другой стороны, если бы сознание наше знало, чего ищетъ, то ему не нужно было бы искать. Если библиотечарь ищетъ данной книги въ своей библиотекѣ и не находитъ, то это потому, что библиотечарь и библиотека два разные существа, и на полкѣ библиотеки можетъ не оказаться тѣхъ книгъ, образъ и заглавіе которыхъ, а можетъ быть и содержаніе, сохраняются въ головѣ библиотечаря. И, наоборотъ, можетъ случиться и такъ, что на полкахъ библиотеки стоитъ книга, о которой ничего не знаетъ библиотечарь. Но если душа наша была бы разомъ и библиотечарь, и библиотека, то этого не могло бы съ нею случиться. Библиотека, одаренная сознаниемъ, не могла бы позабыть, что въ ней хранится; а если бы та или другая книга исчезла изъ нея, то библиотека не могла бы ее вспомнить. Если бы память библиотечаря была въ то же время и библиотекою, то ей нечего было бы искать: все, что въ ней есть, было бы ею самою.

Такимъ образомъ, если бы припоминаніе было дѣломъ одной души, какъ это утверждаютъ психологи-идеалисты¹⁾, то тяжелое ощущеніе долгаго и нерѣдко безплоднаго припоминанія было бы невозможно. Душа или воспроизводила бы свой прежній актъ, или не могла бы его воспроизвести, не зная ничего о своемъ безсиліи: середины не могло бы быть. А между тѣмъ, душа наша очень часто ищетъ *чего-то* опредѣленнаго въ области памяти: перебираетъ при этомъ тѣ или другія подвертывающіяся ей воспоминанія и отвергаетъ ихъ, какъ негодныя, какъ не тѣ, которыхъ она ищетъ; *слѣдовательно, душа наша знаетъ, чего она ищетъ въ области памяти.* То же самое слѣдуетъ сказать и о нервной системѣ. Если бы весь актъ воспоминанія совершался одною нервной системою, то явленіе припоминанія, столь знакомое каждому изъ насъ, было бы невозможно. Нервная система или прямо воспроизводила бы прежде установившееся въ ней привычное движеніе, или не могла бы его воспроизводить, и не сознавала бы въ то же время своего безсилія; она не могла бы въ одно и то же время и знать то, чего она въ себѣ не находитъ, и не находить того, что она въ самой себѣ знаетъ. Словомъ, актъ неудачнаго припоминанія, продолжающійся въ насъ иногда слишкомъ долго, чтобы мы могли его не замѣтить, былъ бы невозможенъ, если бы въ этомъ актѣ не участвовали два агента: *сознаніе* и *нервная система*. Можетъ быть, ни въ чемъ не выражается такъ ощутительно двойственность нашей природы, какъ въ актѣ припоминанія.

Чтобы уяснить себѣ сколько возможно способъ участія cadaго изъ

¹⁾ Напр. Эрдманъ, Розенкранцъ, Фихте-сынъ и др.

этихъ двухъ агентовъ (нервной системы и сознанія) въ актѣ припоминанія, мы должны припомнить, какую роль играли тѣ же агенты въ произведеніи ощущенія: *нервная система* давала два или болѣе одновременныя движенія, а *сознаніе* ощущало отношеніе этихъ движеній и, такимъ образомъ, рождалось опредѣленное ощущеніе. Но если таковъ способъ происхожденія ощущеній, то, вѣроятно, таковъ же и способъ сохраненія ихъ слѣдовъ въ нашей памяти. Душа помнитъ то, что есть ея собственное дѣло, т. е. помнитъ *отношенія*, а нервная система сохраняетъ слѣды того, что произведено ею же,—а именно: слѣды нервныхъ движеній въ видѣ приобретенной *привычки* къ тому или другому движенію.

Въ какой формѣ сохраняются душою *слѣды* разъ прочувствованныхъ ею *отношеній* между двумя нервными движеніями—этого мы не знаемъ; но точно такъ же не знаемъ мы и того, въ какой формѣ нервная система сохраняетъ слѣды *движеній*, испытанныхъ ею разъ или нѣсколько разъ. Последнюю форму мы назвали *привычкою*, показавъ въ то же время всю неудачу попытокъ объяснить, въ чемъ состоитъ сущность привычки ¹⁾; первую же форму—форму, въ которой душа сохраняетъ слѣды прочувствованныхъ ею *отношеній*,—мы назовемъ *идею*.

Мысль о томъ, что душа сохраняетъ въ себѣ только отношенія движеній, вызываемыхъ въ тѣлѣ вліяніями внѣшняго міра, видна уже у Аристотеля, и изъ этой мысли, съ помощью Декарта, вышла впоследствии крайняя идеалистическая школа, превратившая всю душу въ *одни отношенія*, и математическая школа въ психологіи, поставившая всю задачу этой науки въ томъ, чтобы уловить математическіе законы этихъ *отношеній*...

Для насъ идея есть не болѣе какъ *слѣдъ*, оставшійся въ сознаніи отъ совершившагося въ немъ акта опредѣленнаго ощущенія, соотвѣтствующій слѣду движеній въ нервной системѣ, который мы назвали привычкою. Идея, слѣдовательно, есть слѣдъ *отношенія* двухъ или болѣе нервныхъ движеній, оставшійся въ душѣ, тогда какъ слѣдъ этихъ самыхъ движеній, въ видѣ привычки къ нимъ, остался въ нервной системѣ.

Мы знаемъ уже изъ предыдущаго ²⁾, что *всѣ ощущенія*: ощущенія свѣта, цвѣта, звука, вкуса и т. д., суть душевные акты, которымъ во внѣшнемъ мірѣ соотвѣтствуютъ только *движенія* матеріи, отражающіяся движеніями же въ нервной системѣ. Этими душевными актами отвѣчаетъ душа на всѣ вибраціи нервной системы, а совершивъ ихъ разъ, душа сохраняетъ *слѣды* своихъ актовъ, или *идеи* разъ вызванныхъ въ ней *отношеній*, и стремится вновь воплотить ихъ въ нервныя движенія, т. е. вновь объектировать ихъ въ формѣ тѣлесныхъ движеній, или, другими словами,

¹⁾ См. выше, гл. XII.

²⁾ См. о дѣятельности нервовъ Учебникъ Наумова.

стремится *представить* ихъ самой себѣ. При такомъ взглядѣ на *идею* и *представленіе* мы будемъ твердо различать ихъ: *идея* будетъ для насъ только слѣдъ отношенія, схваченнаго душою, отношенія между двумя или болѣе нервными вибраціями, схваченнаго и превращеннаго въ ощущение; *представленіе* же будетъ для насъ *воплощенною* идеею, и *воплощенною* въ тѣхъ же самыхъ движеніяхъ, которыя вызвали въ душѣ то ощущение или, вѣрнѣе, то отношеніе, *слѣдомъ* котораго является идея.

Миллеръ весьма мѣтко замѣтилъ, что идею какого-нибудь цвѣта слѣдуетъ отличать отъ ощущенія этого цвѣта, замѣчая, что ощущение гораздо ярче идеи ¹⁾. Но почему оно ярче? Именно потому, что здѣсь *сопадаетъ* дѣятельность двухъ агентовъ сознанія: нервной системы и души. То же самое слѣдуетъ сказать и объ отношеніи идеи къ представленію: представленіе гораздо ярче идеи именно потому, что въ немъ идея души заставляетъ дѣйствовать и нервы, вызывая въ нихъ ту же дѣятельность, которая вызывалась въ нихъ внѣшними вліяніями. Но, къ сожалѣнію, отличивъ такъ мѣтко идею отъ ощущенія, Миллеръ смѣшалъ идею съ представленіемъ, тогда какъ идея такъ же относится къ ощущенію, какъ и къ представленію.

Отношеніе идеи къ ея воплощенію, ощущенію или представленію Миллеръ сравниваетъ съ отношеніемъ знака къ вещи и слова къ тому предмету, котораго представителемъ оно служитъ ²⁾. Но въ этомъ сравненіи есть нѣкоторая неточность. Слово само по себѣ есть уже собраніе нервныхъ движеній, т. е. уже воплощеніе идеи. Но, думая о красномъ цвѣтѣ въ *формѣ* слова, мы ощущаемъ только это слово, а не красный цвѣтъ, и нужно употребить замѣтное усиліе, чтобы ощущеніе краснаго цвѣта дѣйствительно появилось. Слово есть уже представленіе особеннаго рода, общее для всѣхъ ощущеній,—условный, но *чувственный* знакъ ощущеній, тогда какъ идея есть необходимое душевное послѣдствіе ощущенія.

Изъ предыдущаго уже ясно, что мы напрасно старались бы *представить* себѣ идею о какой-либо *формѣ*: представить ее нельзя, ибо тогда она перестанетъ быть идеею и станетъ представленіемъ. Все, что мы можемъ сказать о ней, такъ это только то, что идея есть предполагаемый слѣдъ

¹⁾ Man. de Phys. T. II, p. 508. «Кажется, говоритъ Миллеръ, есть абсолютное различіе между идеею и ощущеніемъ: ощущение требуетъ энергіи органовъ чувства, которой не требуется, чтобы составить себѣ идею». Въ доказательство же того, что идея не есть слабое ощущение, Миллеръ приводитъ, что можно имѣть идею цвѣта вообще, идею ощущеній вообще: т. е., по нашему объясненію, можно сознать не только отношеніе между нервными движеніями, но и отношенія отношеній.

²⁾ Ibid., p. 509.

акта души, остающійся въ душѣ; точно такъ же, какъ привычка есть предполагаемый слѣдъ акта нервной системы, остающійся въ ней и послѣ того, какъ дѣятельность нервовъ прекратилась. Миллеръ хочетъ себѣ представить отношеніе идеи къ ощущенію въ видѣ отношенія геометрической фигуры къ алгебраическому ея выраженію; но, конечно, это не болѣе, какъ сравненіе: всякая попытка представить себѣ идею въ какой-нибудь формѣ противна самой сущности идеи, которая не есть представленіе. Представленіе уже выражаетъ идею въ нервныхъ движеніяхъ, но въ такомъ случаѣ это не идея.

Установивъ опредѣленный взглядъ на *привычку* нервовъ, *ощущеніе*, *представленіе* и *идею*, мы уже легко можемъ объяснить себѣ актъ припоминанія. Въ этомъ актѣ *идея* ощущенія, или цѣлой ассоціаціи ощущеній, *совпадаетъ* съ нервными привычками къ тѣмъ движеніямъ, изъ отношенія между которыми уже прежде возбудилась въ душѣ та же идея, которая теперь, въ актѣ припоминанія, снова въ нихъ воплощается. Это уже *повторительный актъ*, совершаемый совокупнымъ дѣйствіемъ нервной системы и души; но *иниціатива* въ этомъ повторительномъ актѣ можетъ принадлежать или нервной системѣ, или душѣ.

«Какъ только какой-нибудь предметъ дѣйствуетъ снова на наши чувства, говоритъ Миллеръ, то мы узнаемъ его посредствомъ идеи, которая въ насъ осталась объ этомъ предметѣ; изъ этого не слѣдуетъ выводить, что между идеею и ощущеніемъ предмета есть сходство, но только то, что всякое ощущеніе вызываетъ непременно опредѣленную идею и что одно и то же ощущеніе вызываетъ всегда одну и ту же идею» ¹⁾. Но великій фізіологъ описалъ здѣсь только одинъ путь припоминанія, тогда какъ можетъ быть и другой, обратный: идея, возбужденная въ душѣ собственною внутреннею жизнью души, собственнымъ теченіемъ идей, можетъ возбудить тѣ самыя движенія въ нервахъ, которыя прежде вызывали ее, или вызывали нѣсколько разъ, и можетъ произвести ощущеніе, возбудивъ тѣ самыя движенія въ нервной системѣ, для которыхъ эта идея есть ихъ взаимное отношеніе. Въ припоминаніи перваго рода *напоминаніемъ* служитъ впечатлѣніе, идущее изъ внѣшняго міра; въ припоминаніи втораго рода *напоминаніемъ* служитъ сама идея, до которой душа достигла какимъ-нибудь образомъ въ процессѣ своихъ психическихъ работъ. Оба эти противоположные акта припоминанія каждый можетъ замѣтить въ самомъ себѣ. Иногда мы смотримъ на представившійся намъ предметъ, какъ бы не понимая или не узнавая его: предметъ подѣйствовалъ на наши нервы и возбудилъ въ нихъ привычныя движенія; движенія эти вызвали въ душѣ соответствующія

¹⁾ Man. de Phys. T. II, p. 502.

имъ отношенія, т. е. ощущенія; но отношеніе между этими ощущеніями, отношеніе между отношеніями, т. е. *идея* предмета еще не возбуждена, можетъ быть, потому, что вниманіе нашей души развлечено ея внутренними работами. Противоположное этому чувство испытываемъ мы, когда душа наша въ своихъ мысленныхъ работахъ достигаетъ до какой-нибудь идеи и захочетъ воплотить ее или въ общую одежду всѣхъ идей—слово, или въ ощущенія, для чего самые нервы, дающіе то или другое ощущеніе должны прійти въ движеніе. Въ первомъ случаѣ *напоминаніе* идетъ изъ внѣшняго міра въ видѣ матеріальныхъ движеній, сообщающихся нервамъ; во второмъ изъ души—въ видѣ идеи.

Но, кромѣ того, *напоминаніемъ* можетъ служить намъ или *другая* нервная привычка, или *другая* идея. Одно привычное движеніе нервовъ можетъ вызывать другое, связанное съ нимъ въ одну *ассоціацію*, и, такимъ образомъ, одно внѣшнее впечатлѣніе можетъ вызвать не одно привычное движеніе нервовъ, но цѣлую *группу* или *вереницу ихъ*. Такъ, первыя два-три слова заученныхъ стиховъ вызываютъ за собою остальные, одно за другимъ, въ заученномъ порядкѣ. При такомъ развертываніи вереницъ нервныхъ привычекъ душа наша можетъ оставаться почти безучастною зрительницею, испытывая ощущенія знакомыхъ звуковъ, но не улавливая отношенія между звуками. Точно такъ же одна идея можетъ вызвать въ душѣ нашей цѣлую группу или вереницу другихъ, связанныхъ съ нею или общимъ смысломъ, или общимъ чувствомъ, и эти вереницы идей могутъ развертываться въ душѣ нашей съ такою быстротою, что мы рѣшительно не успѣваемъ облекать ихъ ни въ слова, ни въ образы, ни въ какія другія нервныя движенія, и если захотимъ потомъ высказать или записать то, что совершилось въ душѣ нашей въ одно мгновеніе, то употребляемъ для этого цѣлые часы, дни, мѣсяцы, а можетъ быть и годы.

Связь нервныхъ слѣдовъ въ пары, группы, вереницы и сѣти, и связь идей между собою существенно различны. Первые связываются своею внѣшнею стороною, вторыя—своимъ внутреннимъ содержаніемъ. Но тѣ и другія безразлично разсматриваются въ психологіяхъ подъ именемъ *ассоціацій представленій*, къ которымъ мы и перейдемъ въ слѣдующей главѣ.

Г Л А В А XXIII.

Ассоціація представленій.

Словомъ *представленіе* мы обозначили въ прошедшей главѣ соединеніе идеи съ нервными движеніями, ей соотвѣтствующими, откуда бы ни простекала инициатива этого соединенія: изъ впечатлѣній ли внѣшняго для

души міра, или изъ идей внутренняго міра самой души. Вотъ почему мы будемъ говорить прямо объ ассоціаціяхъ представленій безразлично, будутъ ли эти ассоціаціи связаны единствомъ идеи и родствомъ одной идеи съ другою, или механическою связью самихъ нервныхъ слѣдовъ, въ которыхъ воплощается идея. При самомъ разсмотрѣніи ассоціацій мы ясно увидимъ, къ какому роду слѣдуетъ отнести ту или другую...

Единичные слѣды ощущеній могутъ связываться въ представленія ¹⁾, а единичныя представленія въ цѣлыя группы и вереницы представленій различно: во-первыхъ, *противоположностью*: припоминая бѣлый цвѣтъ, мы вспоминаемъ черный; во-вторыхъ, *большимъ или меньшимъ сходствомъ*: такъ, на примѣръ, взглядъ на человѣка, похожаго платьемъ на другого человѣка, заставляетъ насъ припомнить и лицо этого другого; въ-третьихъ, *единствомъ времени*: такъ, происшествія, слѣдовавшія одно за другимъ, связываются въ насъ въ одинъ рядъ представленій; въ-четвертыхъ, *единствомъ мѣста*: такъ, два предмета, которые мы видѣли вмѣстѣ, производятъ въ насъ одинъ рядъ слѣдовъ, и воспоминаніе одного слѣда ведетъ за собою воспоминаніе другого; въ-пятыхъ, *связь разсудочная*, когда мы разсудкомъ сковываемъ представленія въ одинъ рядъ, какъ причину и слѣдствіе, какъ цѣлое и часть, необходимо его дополняющую, и т. п.; въ-шестыхъ, *связь по сердечному чувству*, когда два представленія связываются именно тѣмъ, что оба они порождаютъ въ насъ одинаковое *сердечное* чувство; въ-седьмыхъ, *связь развитія, или разумная*.

Теперь разберемъ поочередно всѣ эти роды связей, или, какъ выражается гербартовская теорія, *спаякъ* представленій.

Ассоціаціи по противоположности.

Мы уже видѣли выше, что представленіе о жарѣ связывается у насъ съ представленіемъ о холодѣ, представленіе свѣта съ представленіемъ мрака и т. п. Эта связь служитъ къ тому, чтобы выяснить особенность каждаго представленія, которое, какъ мы уже сказали, безъ такихъ сравненій вовсе невозможно. Вотъ почему ничто такъ не уясняетъ намъ особенности какого-нибудь представленія, какъ противоположность его съ другимъ представленіемъ: бѣлое пятно ярко вырѣзывается на черномъ фонѣ, черное — на бѣломъ.

Поэтому, если мы хотимъ запечатлѣть въ душѣ дитяти особенность какой-нибудь картины, то лучше всего прибѣгнуть къ сравненію съ другою картиной, въ которой по возможности было бы болѣе сгруппировано

¹⁾ Всякое сколько-нибудь сложное представленіе соединяетъ въ себѣ множество слѣдовъ ощущеній.

противоположныхъ признаковъ. Такъ, на примѣръ: если мы хотимъ, чтобы дитя вполне постигло и твердо усвоило себѣ преимущество какой-нибудь благословенной мѣстности, орошаемой рѣками, покрытой прохладными рощами и тучными пажитями, наполненной деревьями и городами и т. д., то мы достигнемъ этого всего лучше, если рядомъ представимъ противоположную картину песчаной пустыни, гдѣ недостатокъ влаги ведетъ за собою отсутствіе растительности, животныхъ и людей, гдѣ солнце, катясь по безоблачному небу, раскаляетъ и воздухъ, и почву. Если мы хотимъ выставить, на примѣръ, ученику преимущества цивилизаціи какого-нибудь народа, то поставимъ рядомъ съ этимъ картину жизни дикарей и т. п. Такимъ сопоставленіемъ противоположностей мы достигаемъ нѣсколькихъ цѣлей: не только мы даемъ ученику вмѣсто одной картины двѣ, но каждая изъ этихъ картинъ становится яснѣе въ его душѣ и укореняется глубже, чѣмъ укоренилась бы одна, по тому общему закону, что два слѣда, вызывающіе въ душѣ одинъ другой, укореняются лучше, чѣмъ одинъ; каждый слѣдъ придаетъ силы другому и получаетъ силы другого, не теряя своей собственной. Словомъ, противоположности, связываясь, какъ первые слѣды или какъ идеи, взаимно дополняютъ и укореняютъ другъ друга.

Ассоціаціи по сходству.

Если возбужденное въ насъ представленіе есть вполне повтореніе прежняго, то оно только углубляетъ слѣдъ прежняго и тѣмъ укореняетъ его въ памяти. То же самое происходитъ, если новое представленіе, хотя собственно и могло бы быть отличено отъ прежняго, но это отличіе такъ слабо, что сознаніе не могло его уловить. Такъ, на примѣръ, новое имя, сильно сходное съ тѣмъ, которое мы уже помнимъ, не запоминается нами, если мы не обратимъ особеннаго вниманія на различіе, между ними существующее. Но если въ новомъ представленіи есть нѣсколько членовъ, которые были и въ прежнемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ есть нѣсколько и новыхъ, которыхъ въ прежнемъ не было, тогда происходитъ совершенно другое явленіе: сходные слѣды, одинаковые члены ассоціацій *совпадаютъ*, усиливая другъ друга и, вмѣстѣ съ тѣмъ, крѣпко связывая и то, что есть различнаго въ новыхъ представленіяхъ. Это объясняется свойствами нервной системы, съ которыми мы познакомились уже въ главѣ о привычкѣ. Усвоивъ какую-нибудь привычку, можетъ быть, съ большимъ трудомъ, нервы наши легко уже дѣлаютъ прибавленіе къ этой привычкѣ; такъ, человѣкъ, привыкшій къ игрѣ на фортепьяно, легко усваиваетъ новую музыкальную пьесу и т. п. Новая ассоціація представленій, такъ сказать, срастающаяся одною своею частью со старою, уже глубоко укоренившеюся, опирается новою своею частью на это прочное основаніе. На этомъ свойствѣ памяти основаны, на примѣръ, всѣ ме-

тоды изученія иностранныхъ языковъ, берущія свое начало отъ методы Жакото (методы Робертсона, Зейденштюкера и др.). Здѣсь трудны собственно только первые уроки: дальнѣйшіе же все постепенно становятся легче и легче, если первые были выучены съ величайшею точностію. Новыя слова и обороты, безпрестанно перемѣшиваясь со старыми, укрѣпляются крѣпостію именно этихъ старыхъ, твердо выученныхъ; а старыя, хотя и сообщаютъ свою крѣпость новымъ, но не теряютъ своей силы, потому что безпрестанно повторяются. Въ этомъ и заключается психологическій секретъ методы Жакото, такъ удивившій въ свое время педагоговъ Европы. Казалось бы, что при такомъ безпрестанномъ повтореніи ученіе должно идти медленно, а выходитъ наоборотъ: оно идетъ медленно тогда, когда мы приобретаемъ все новое и новое, не повторяя стараго и не сплавляя новаго со старымъ.

Весьма естественно, что новое представленіе, сросшееся своими тождественными членами со старымъ, глубоко укоренившимся, ложится съ нимъ *рядомъ*, отъ чего образуется новая ассоціація двухъ, трехъ, четырехъ представленій и т. д., спаянныхъ между собою общими для нихъ звеньями. Понятно также, что эти ряды связанныхъ между собою ассоціацій возникаютъ въ нашемъ сознаниі такою же цѣпью, какою легли въ нашу память: одно звено этой цѣпи слѣдовъ вытягиваетъ за собою другое, за другимъ выходитъ третье и т. д. То-есть, простая привычка нервовъ, мало-по-малу, разрастается въ сложную привычку и простая идея въ сложную идею, и каждое звено изъ *этого ряда* или *нервныхъ привычекъ*, или душевныхъ *идей* влечетъ за собою дѣятельность другого звена, другое—третьяго и т. д.

Теперь намъ легко объяснить себѣ, почему человекъ, занимающійся преимущественно, на примѣръ, исторією, все легче и легче усваиваетъ историческія событія, а человекъ, занимающійся ботаникою, все легче и легче усваиваетъ ботаническія свѣдѣнія; почему у различныхъ людей формируются различныя памяти—ботаническая, историческая, математическая и т. д. Новые историческіе факты, входя въ память, улегаются въ ней тѣмъ легче и прочнѣе, чѣмъ болѣе находятъ возможности образовать ассоціаціи съ прежними, уже твердо залегшими въ памяти фактами. Ботаникъ, на примѣръ, легко замѣчаетъ десятки и сотни растеній, тогда какъ не-ботаникъ быстро забываетъ и тѣ немногія, на которыя случайно обратилъ свое вниманіе. Это происходитъ не только отъ того, что ботаникъ знаетъ, на что слѣдуетъ обратить вниманіе въ растеніи, въ чемъ собственно состоитъ его особенность, тогда какъ не-ботаникъ, смотря безразлично на всѣ части растенія, не различая случайнаго отъ существеннаго, не замѣчаетъ прочно ничего,—но также и отъ того, что въ памяти ботаника есть уже твердо

укоренившіяся представленія множества растеній, такъ что представленіе всякаго вораго растенія сейчасъ же составляетъ въ умѣ его множество ассоціацій со слѣдами прочихъ и укореняется прочно силою уже укоренившихся прежде представленій. Тотъ же самый ботаникъ, занявшись изученіемъ другого предмета, напримѣръ, языковъ или исторіи, оказывается часто безпамятнымъ. Такъ, знаменитый Линней, обладая необъятною ботаническою памятью, былъ замѣчательно безпамятенъ въ отношеніи изученія языковъ. Проживъ три года въ Голландіи, онъ не могъ выучиться говорить по-голландски; даже латынь онъ зналъ плохо, хотя создалъ ботаническую номенклатуру на латинскомъ языкѣ ¹⁾. «Люди, занимавшіеся изученіемъ какой-либо номенклатуры, говоритъ г-жа де-Соссюръ, могли замѣтить, что первыя пять-шесть словъ заучиваются съ большимъ трудомъ и что потомъ удерживаются безъ труда несравненно болѣе. То же самое замѣчается при изученіи иностранныхъ языковъ, стихотвореній и вообще при всякомъ упражненіи памяти. Кажется, какъ будто при входѣ въ каждую область знанія стоитъ препона, которая, будучи снята разъ, уже не представляется болѣе» ²⁾. Однакоже, принимая вмѣстѣ съ послѣдователями Гербарта, что память есть нечто пріобрѣтаемое человекомъ, есть ассоціація слѣдовъ,—мы не согласны видѣть въ этомъ всю способность памяти и всю причину различія этой способности у разныхъ людей. Мы уже видѣли, какъ, съ одной стороны, память находится вообще въ зависимости отъ нервной системы, какъ она ослабѣваетъ съ годами и подвергается вліянію болѣзненнаго состоянія нервовъ; а съ другой—какъ направленіе памяти можетъ зависѣть отъ прирожденныхъ способностей организма: отъ различной силы впечатлительности и разборчивости того или другого органа нервной системы у различныхъ лицъ.

Ассоціація представленій посредствомъ частнаго сходства ихъ имѣетъ чрезвычайно важное значеніе для педагога. Привязывать къ старому, уже твердо укоренившемуся, все изучаемое вновь—это такое педагогическое правило, отъ котораго, главнымъ образомъ, зависитъ успѣхъ всякаго ученія. Хорошая школа кажется только и дѣлаетъ, что повторяетъ, а между тѣмъ знанія учениковъ быстро растутъ; дурная школа только и дѣлаетъ, что все учитъ вновь или повторяетъ забытое, а между тѣмъ знанія мало прибавляются. Хорошій педагогъ, прежде чѣмъ сообщить какое-нибудь свѣдѣніе ученикамъ, обдумаетъ: какія ассоціаціи, по противоположности или по сходству, можетъ оно составить со свѣдѣніями, уже укоренившимися въ головахъ учениковъ, и обративъ вниманіе учащихъ на сходство или раз-

¹⁾ Erziehungs und Unterrichts-Lehre von Benecke. I. B. S. 92.

²⁾ L'éducation progressive, par m-me Necker-de-Saussure, 4 édit. T. II, p. 134.

личіе свѣдѣнія со старымъ, прочно вплететь новое звено въ цѣпь старыхъ, а потомъ нарочно подыметъ старыя звенья вмѣстѣ съ новыми и тѣмъ самымъ укрѣпить прочно новыя ассоціаціи. Безпрестанное передвиженіе въ головѣ старыхъ звеньевъ необходимо уже для того, чтобы придать имъ силу, укрѣпляющую новыя звенья, и потому хорошій педагогъ повторяетъ старое не для того, чтобы повторять забытое, но для того чтобы этимъ старымъ прочнѣе укрѣпить новое. Понятно, что сила такой пріобрѣтенной памяти увеличивается новыми пріобрѣтеніями.

Ассоціаціи по порядку времени.

Два представленія, слѣдовавшія непосредственно одно за другимъ, связываются уже тѣмъ, что они одно за другимъ слѣдуютъ. Такимъ образомъ связываются въ памяти ученика слова какого-нибудь отрывка на незнакомомъ для него языкѣ. Не понимая значенія словъ, онъ ставитъ одно слово за другимъ единственно потому, что они въ этомъ порядкѣ улеглись въ его памяти, и если отрывокъ заученъ твердо и голосовые мускулы привыкли къ данному порядку звуковъ, то довольно сказать первое слово, чтобы всѣ остальные побѣжали за нимъ, какъ кольца развертывающейся якорной цѣпи, безъ участія воли и даже сознанія дитяти. Но замѣчательно, что если ученикъ заучилъ такой отрывокъ не разомъ, а въ различное время, то каждый разъ будетъ останавливаться на этихъ перерывахъ и долженъ прочесть отрывокъ въ цѣлости нѣсколько разъ, чтобы связать эти куски, раздѣленные единственно только временемъ изученія. Конечно, такое изученіе требующее меньше всего работы сознанія, а только упражненія, главнымъ образомъ, голосовыхъ мускуловъ и отчасти слуховыхъ и глазныхъ нервовъ, есть изученіе самое механическое. Вотъ почему, такимъ именно ученьемъ отличаются всѣ тѣ натуры, для которыхъ по непривычкѣ ихъ къ умственной работѣ, она является самою тяжелою и нелюбимою. Для дѣтей вообще мышленіе тяжело, и иной ученикъ, не привыкшій къ мышленію, охотнѣе *выкрикиваетъ* заданный урокъ нѣсколько десятковъ разъ, чѣмъ прочтетъ его разъ съ сознаніемъ: онъ полагается на силу привычки голосовыхъ мускуловъ, и она дѣйствительно его вывозила въ старинныхъ школахъ. Остановится такое дитя: учитель подскажетъ ему слово, и опять мельница замолоча. Но сознавая вполнѣ всю нелѣпость ученя, основаннаго *только* на удивительной силѣ привычки въ голосовыхъ мускулахъ, мы, тѣмъ не менѣе, находимъ, что и такое ученіе въ хорошей школѣ, хотя въ самыхъ тѣсныхъ предѣлахъ, имѣетъ свое мѣсто, именно, укрѣпляя въ сознаніи учащагося слѣды представленій и понятій памятью голосового органа.

Ассоціаціи по единству мѣста.

Предметы, размѣщенные въ пространствѣ одинъ возлѣ другого, въ такомъ же порядкѣ оставляютъ и слѣды въ нашей памяти. Припоминая предметъ, мы припоминаемъ и сосѣдній съ нимъ. Эти ассоціаціи, конечно, схватываются болѣе всего органомъ зрѣнія и отчасти только органомъ осязанія. Такія ассоціаціи, основанныя на единствѣ мѣста, весьма сильны у людей, у которыхъ природою и упражненіемъ тонко развитъ органъ зрѣнія, особенно сильны у живописцевъ. Но вообще у дѣтей почти всегда преимущественно развита память зрѣнія, и часто цѣлые уроки укореняются въ памяти дитяти такими ассоціаціями *мѣста*. Отвѣчая урокъ, дитя видитъ передъ собою развернутую книгу или развернутую тетрадь и переходитъ со строчки на строчку, со страницы на страницу. Вотъ почему полезно печатать въ дѣтскихъ книгахъ крупными буквами собственные имена и подчеркивать въ тетрадяхъ тѣ слова или названія, которыя должны быть твердо замѣчены.

Ассоціаціи по мѣсту всего болѣе способствуютъ установленію въ насъ уже не *рядовъ*, а цѣлыхъ *группъ* представленій, въ которыхъ съ однимъ срединнымъ звеномъ связано множество другихъ, идущихъ въ разныя стороны. Конечно, описывая въ словахъ такую группу и даже наблюдая ее внимательно въ своемъ воображеніи, *мы не можемъ разомъ идти въ разныя стороны*; но, тѣмъ не менѣе, это не мѣшаетъ намъ, идя въ одну сторону, помнить, что есть другія, и, разсмотрѣвши или описавши все, что стоитъ налѣво, приняться потомъ за такое же разсмотрѣніе или описаніе того, что стоитъ направо. Вотъ почему ученикъ, замѣтившій хорошо, напримѣръ, карту страны, группу красокъ и очертаній, на ней изображенныхъ, можетъ потомъ свободно описывать эту карту, начиная съ какого угодно конца; и, конечно, такое изученіе географіи несравненно полезнѣе и тверже изученія ея по книгѣ. Можно только тогда назвать географическое изученіе основательнымъ и прочнымъ, когда ученикъ, у котораго вы потребуете, напримѣръ, описанія Волги, немедленно можетъ представить въ своей зрительной памяти всю эту рѣку, какъ она изображается на картѣ, съ ея извилинами, притоками и городами, и достаточно оторвалъ свои познанія отъ книги и привязалъ къ картѣ, чтобы начать описывать Волгу отъ истока къ устью или отъ устья къ истоку. Словомъ, надобно заботиться, чтобы географическія познанія ученика, черезъ разсматриваніе и черченіе карты, изъ *ассоціаціи по времени* изученія въ книгѣ перешли въ *ассоціаціи по мѣсту*, связанныя не нитью разсказа, но картой, оставившею глубокой слѣдъ въ памяти и безъ труда вызываемой воображеніемъ ученика въ его зрительномъ органѣ.

Зрительный органъ нашъ имѣтъ такое преимущественное участіе въ актѣ памяти, и мы такъ привыкаемъ все облекать въ краски и формы, что, даже изучая самые отвлеченные философскіе предметы, мы все же придаемъ имъ какую-то форму, что не мало помогаетъ намъ удерживать нить разсказа и группировать его. Такъ, даже знаменитый профессоръ философіи, съ которымъ въ ясности изложенія самыхъ трудныхъ и отвлеченныхъ философскихъ категорій едва ли кто можетъ сравняться, знаменитый іенскій профессоръ Куно-Фишеръ, читая свою лекцію, прибѣгаетъ къ помощи доски и на ней чертитъ, и именно *чертитъ*, а не *пишетъ* схему своей лекціи, столько же для слушателей, сколько и для самого себя: чертами онъ показываетъ, какъ два или три понятія выходятъ изъ одного, какъ они сливаются или раздѣляются и въ какомъ отношеніи находятся другъ къ другу.

Всѣ предметы въ мірѣ расположены группами, а не рядами, и у каждаго предмета не только два сосѣда—передній и задній, но множество: и справа, и слѣва, и сверху, и снизу. То же самое можно сказать и о представленіяхъ души, а также и о мысляхъ. Умѣнье *видѣть* умственными глазами нашими предметъ *въ центрѣ всѣхъ его отношеній* составляетъ отличительный признакъ великихъ умовъ. «Этою способностью, говоритъ Неккеръ де-Соссюръ, отличаются именно великіе полководцы и администраторы. Они ведутъ разомъ (*de front*) тысячи различныхъ нитей, слѣдятъ за ихъ соединеніемъ, раздѣленіемъ, перекрещиваньемъ, потому что эти люди, такъ сказать, *видятъ все предметы своей мысли разомъ*. Можетъ быть, и мы видимъ, болѣе или менѣе темно, предметы нашихъ мыслей; можетъ быть, наши соображенія, даже самыя отвлеченныя, сопровождаются какими-нибудь образами въ нашемъ умѣ. Если это такъ, то очень важно сообщить дѣтямъ такой способъ представленія, который позволилъ бы имъ обнимать разомъ множество предметовъ вмѣстѣ и созерцать ихъ внутренно, не раздѣляя. Но это такая способность, которой нельзя образовать посредствомъ языка, потому что языкъ, какъ письменный, такъ и изустный, подчиненъ порядку послѣдовательности, выпускаетъ идеи одну за другой, и тогда какъ мы разсматриваемъ одну, другая можетъ отъ насъ ускользнуть. Вотъ почему люди, получившіе только одно литературное образованіе, имѣя способность очень далеко преслѣдовать послѣдствія одной и той же идеи, теряются въ лабиринтѣ, какъ только предметъ усложняется¹⁾. Вотъ почему, для удаленія неудобства, соединеннаго съ исключительнымъ употребленіемъ языка, полезно сколько возможно прибѣгать къ ученю, обращающемуся къ чувству зрѣнія. Память мѣстная или представляющая (въ картинѣ) имѣтъ уже сама по себѣ преимущество представлять образы въ одно и то же

¹⁾ «Отсюда частая односторонность въ мысляхъ кабинетныхъ людей».

время и можетъ приучить дѣтей и для идей составлять картины или планы того же рода» ¹⁾).

Для этой цѣли Неккеръ-де-Соссюръ рекомендуетъ не только изученіе географіи по картамъ и черченіе таблицъ синоптическихъ и синхронистическихъ, но и рисовку плановъ комнаты, зданія, улицы. Мы же находимъ, кромѣ того, очень полезнымъ вообще черченіе *схемъ* всякаго рода, какъ только приходится дать замѣтить дѣтямъ соотношеніе частей какого-нибудь предмета, нѣсколькихъ предметовъ, составляющихъ одну группу, и т. д. Такъ, напримѣръ, весьма полезно при изученіи съ дѣтьми человѣческаго тѣла, семействъ, родовъ и видовъ животныхъ и т. п. чертить на доскѣ соотвѣтствующія таблички, по которымъ дитя вело бы свой рассказъ.

На основаніи того же самаго психическаго закона полезно изучать историческія происшествія, имѣя передъ собою карту мѣстности, въ которой эти происшествія совершались, чертить походы, о которыхъ рассказывается, чертить постепенное расширеніе какого-нибудь государства, родословныя таблицы, словомъ все, что можетъ быть начерчено. Посредствомъ такихъ чертежей учитель пріобрѣтаетъ въ зрительной памяти дитяти самаго могущественнаго союзника ²⁾).

Такъ какъ память зрѣнія въ особенности сильна у дѣтей, то потому и ассоціаціи, основанныя на связи *по мѣсту*, всего удобнѣе воспринимаются дѣтьми и крѣпче залегаютъ въ ихъ душѣ. Вотъ почему изученіе гео-

¹⁾ L'Education progressive, par m-me Necker-de-Saussure. 4 édition. T. II, p. 137 et 138. Здѣсь же глубокомысленная писательница дѣлаетъ важное примѣчаніе, что «самые успѣхи науки обязаны много этой возможности одновременнаго представленія многихъ предметовъ вмѣстѣ, такъ какъ и въ природѣ предметы образуютъ группы». Читая эти строки и припоминая, что психологіи Гербарта и Бенеке были неизвѣстны этой писательницѣ (впрочемъ, Соссюръ была знакома не только съ Локкомъ, Кантомъ, но и съ англійскимъ психологомъ Ридомъ), нельзя поистинѣ не удивляться ея психологическому и педагогическому такту, равныхъ которому мы не видимъ ни въ одномъ нѣмецкомъ педагогѣ. Я думаю, что нѣмецкіе педагоги (а французскіе и подавно) даже не воспользовались еще всѣмъ тѣмъ, что представляетъ сочиненіе этой, поистинѣ, великой педагогической писательницы. Какія пошлости въ педагогической литературѣ представила Франція послѣ сочиненія Соссюръ! Какъ будто и не читала его. Нѣмецкіе педагоги цитируютъ ее также очень рѣдко.

²⁾ Англійскій математикъ Валлисъ (Wallis) не только могъ удерживать въ памяти число изъ 53 цифръ, но извлекалъ въ умѣ квадратный корень изъ числа, состоящаго изъ 27-ми цифръ. Приводя этотъ примѣръ, Дробишъ не совсѣмъ справедливо замѣчаетъ, что здѣсь надо болѣе удивляться воображенію, чѣмъ памяти. Самое воображеніе такого рода основано на памяти, и справедливѣе было бы сказать, что здѣсь слѣдуетъ удивляться *памяти зрѣнія*, рисующей такую громадную таблицу цифръ.

графіи, ассоціаціи которой преимущественно основаны на связи по мѣсту, самое приличное занятіе для ученя дѣтей, какъ это замѣтилъ уже Кантъ ¹⁾).

Разсудочныя ассоціаціи.

Въ разсудочныя ассоціаціи слѣды связываются нами по внутренней логической необходимости: какъ причина и слѣдствіе, какъ средство и цѣль, какъ цѣлое и *необходимая* его часть, какъ положеніе и выводъ, и т. д. Мы называемъ эти ассоціаціи *разсудочными* не потому, чтобы въ другихъ ассоціаціяхъ (по мѣсту, времени и т. д.) вовсе не участвовалъ разсудокъ (мы видѣли, что участіе разсудка, т. е. способности сравнивать и различать, необходимо даже для всякаго опредѣленнаго ощущенія), но потому, что въ разсудочныхъ ассоціаціяхъ участіе разсудка преобладаетъ надъ механизмомъ, составляетъ основаніе, главную причину и цѣль ассоціаціи. Всякая механическая ассоціація можетъ быть превращена въ разсудочную, какъ только я созналъ логическую необходимость связи. Такъ, напримѣръ, два послѣдовательныя явленія, появленіе весенней теплоты и появленіе травы, могутъ связаться сначала въ чисто-механическую ассоціацію, по единству времени обоихъ этихъ явленій; а потомъ эту же самую механическую ассоціацію я могу превратить въ разсудочную, признавъ въ одномъ явленіи причину, а въ другомъ слѣдствіе этой причины.

Замѣтимъ при этомъ, что лучшимъ началомъ для ученя будетъ превращеніе (вопросами) механическихъ ассоціацій, готовыхъ уже въ душѣ дитяти, въ ассоціаціи разсудочныя. Для этого стоитъ только обратить вниманіе дитяти на тѣ ассоціаціи, которыя механически уже въ немъ установились, и показать логическую связь между тѣми явленіями, которыя уже связаны въ душѣ его единствомъ времени, мѣста, по частному сходству и т. д. Вайтцъ ²⁾ совершенно справедливо замѣчаетъ, что уже «сама природа даетъ намъ много разсудочныхъ ассоціацій, связывая явленія, какъ причину и слѣдствіе» ³⁾. Но та же природа, сопоставляя явленія, вовсе не относящіяся одно къ другому, какъ причина и слѣдствіе, нерѣдко вводитъ насъ и

¹⁾ Kant's Rechtslehre etc. 1838. S. 408 и 411. На основаніи уже прибрѣтенныхъ дѣтьми географическихъ свѣдѣній, Кантъ совершенно логически совѣтуетъ переходить къ исторіи. Но даже и эта простая и естественная мысль встрѣтила у насъ тупыхъ соперниковъ.

²⁾ Waitz. Lehrbuch der Psychologie, § 109.

³⁾ На это мы указывали уже въ предисловіи къ первымъ изданіямъ «Дѣтскаго Міра»,—и вотъ чего не хотѣли понять люди, обвинявшіе насъ именно за то, что мы начинаемъ книгу для класнаго чтенія предметами, дѣтямъ уже знакомыми или полужнакомыми, каковы, напримѣръ, времена года и домашнія животныя.

въ ошпбки. Такъ, напримъръ, находя послѣ грозы фюльгуриты въ пескѣ и видя, какъ при ударахъ молніи чертится на небѣ блестящая стрѣла и расщепляются деревья, люди составили разсудочное, но ошибочное умозаключеніе о громовыхъ стрѣлахъ. Часто такъ же, наблюдая природу, человекъ принимаетъ причину за слѣдствіе, и наоборотъ; такъ, напримъръ, замѣчая, что при вѣтрѣ облака бѣгутъ по небу, дѣти приписываютъ бѣгу облаковъ причину вѣтра и т. п. Изъ этого уже видно, что разсудочная логическая ассоціація вовсе не означаетъ ассоціаціи вѣрной, безошибочной. Она, будучи вѣрною логически, можетъ быть въ то же время ложна, потому что основана на ложныхъ данныхъ, на неточныхъ или неполныхъ наблюденіяхъ; такъ, если бы крестьянинъ зналъ образованіе фюльгуритовъ, то не приписалъ бы имъ раздробленія деревьевъ.

На этомъ основывается различіе логической *разсудочной* истины отъ истины *разумной*. Гдѣ собственно логическая истина переходитъ въ разумную, опредѣлить невозможно. Мы можемъ имѣть только большую или меньшую степень достовѣрности въ разумности логической истины, но никогда полной увѣренности; такъ, мы не можемъ сказать ни объ одномъ явленіи, что совершенно знаемъ его причину: можетъ быть, завтра же наука покажетъ намъ, что то, что мы считаемъ за причину, вовсе не причина, а только сопровождающее явленіе. Логическая же истина сама по себѣ самая дешевая истина и вовсе не показываетъ особаго развитія головы, а только особенность въ направленіи человекъ. Мы часто встрѣчаемъ глупѣйшихъ резонеровъ, у которыхъ что ни слово—то разсудочная истина; а вмѣстѣ съ тѣмъ, что ни слово—то ложь и доказательство невѣжества и тупости. Вотъ почему хотя и необходимо, съ самаго же начала ученья, развивать въ дѣтяхъ разсудочныя ассоціаціи, но должно остерегаться, чтобы не впасть при этомъ въ односторонность и не сообщить дѣтямъ страсти къ резонерству, которая могла бы увлечь ихъ далѣе того, чѣмъ идутъ ихъ знанія и точныя наблюденія. Разсудочныя ассоціаціи должны развиваться и усложняться вмѣстѣ съ развитіемъ способности къ точнымъ наблюденіямъ и увеличеніемъ запаса знаній. Даже надо сообщить дѣтямъ опасеніе преждевременныхъ разсудочныхъ ассоціацій, показывая имъ, какъ часто эти ассоціаціи бываютъ ошибочны.

Изъ сказаннаго уже видно, что разсудочныя ассоціаціи не составляютъ сами по себѣ чего-нибудь твердаго, постояннаго, и что онѣ измѣняются вмѣстѣ съ развитіемъ человекъ, увеличеніемъ его знаній и перемѣною взглядовъ. *Post hoc—propter hoc* (послѣ этого—вслѣдствіе этого) есть тоже разсудочная ассоціація, хотя на ней-то и основана большая часть человѣческихъ предразсудковъ. При просыпкѣ соли на столъ случилась въ домѣ ссора: эти два явленія связываются въ душѣ человекъ, конечно,

сначала по времени, механически; но потомъ, замѣчая нѣсколько разъ повтореніе послѣдовательности этихъ явленій и не обращая вниманія на то, что самая просыпка соли была иногда уже слѣдствіемъ дурного расположенія духа, что ссоры были и безъ просыпки соли, или что послѣ просыпки соли иногда и не слѣдовало ссоры, человѣкъ превращаетъ механическую ассоціацію по времени въ разсудочную ассоціацію и видитъ въ просыпкѣ соли—причину ссоры ¹⁾. Слѣдовательно, и эта глупѣйшая ассоціація есть уже разсудочная ассоціація, а не ассоціація по единству времени, какъ говоритъ Дробишь: она была ассоціаціей по времени только до тѣхъ поръ, пока я не увидѣлъ въ одномъ явленіи причину другого. Правда такихъ ассоціацій относительна: почему мы знаемъ, что иная ученая правда (какъ, на примѣръ, прежнее *hoggor vasci* природы) не обратится современемъ въ предразсудокъ, надъ которымъ посмѣется наука?

Въ этой передѣлкѣ механическихъ ассоціацій по времени и мѣсту въ разсудочныя, однѣхъ разсудочныхъ въ другія и связи отдѣльныхъ разсудочныхъ ассоціацій въ болѣе общія, на основаніи опыта, точнѣйшихъ и обширнѣйшихъ наблюденій и открытій науки,—состоитъ, главнымъ образомъ, умственная жизнь отдѣльнаго человѣка и цѣлаго человѣчества.

Ассоціаціи по сердечному чувству.

Строго говоря, эти ассоціаціи входятъ въ разрядъ ассоціацій по противоположности и сходству. Такъ, если поэтъ подмѣчаетъ въ шумѣ моря сходство со стопами человѣка, въ блескѣ глазъ видитъ блескъ молніи, въ шумѣ лѣса слышитъ жалобы, въ прекрасномъ оживленномъ ландшафтѣ видитъ улыбку и т. п., то въ сущности это не болѣе, какъ ассоціаціи по сходству, но только это сходство открывается не разсудкомъ, а поэтическимъ чувствомъ человѣка. Такими ассоціаціями исполненъ языкъ народа; изъ нихъ образовалось множество метафорическихъ выраженій въ языкѣ, какъ на примѣръ: «завываніе вѣтра», «стонъ моря» и т. п.; на нихъ построены большею частію мифологіи народовъ, а народная поэзія обильно черпаетъ изъ этого источника. Бѣлая лебедушка, отставшая отъ своего стада, связывается съ представленіемъ дѣвушки, выданной замужъ на чужую сторону, и т. п. Эти ассоціаціи усыпаютъ метафорами, какъ цвѣтами, языкъ народа и придаютъ языку жизнь и красоту. Мы съ самаго дѣтства, сами того не замѣчая, питаемся этою поэзіею языка, выработанною милліонами

¹⁾ Законъ совершенно справедливо видитъ причину подобныхъ предразсудковъ въ томъ, что человѣкъ, замѣчая каждый случай, когда оправдывается предразсудокъ, забываетъ сотни случаевъ, когда онъ не оправдывается; а Локкъ обращаетъ особенное вниманіе педагоговъ на предупрежденіе такихъ ложныхъ ассоціацій.

поэтовъ, изъ которыхъ одни самостоятельно подмѣтили какія-нибудь поэтическія сходства и противоположности, а другіе оцѣнили и сохранили ихъ, ввели въ общее употребленіе и передали намъ.

Конечно, не всѣ связи по внутреннему чувству такого поэтическаго характера. Часто любовь и ненависть, симпатіи и антипатіи связываютъ представленія въ нашей памяти: такъ, представленіе о дорогомъ для меня человѣкѣ можетъ сковаться во мнѣ съ представленіемъ какого-нибудь цвѣта, который онъ особенно любилъ, вещи, которую онъ особенно употреблялъ, и т. п. Точно такъ же какое-нибудь событіе, возбудивъ во мнѣ чувство отвращенія или ненависти, можетъ такъ связаться съ представленіемъ какой-нибудь самой обыкновенной вещи, что одинъ взглядъ на нее пробудитъ во мнѣ воспоминаніе событія или лица, и притомъ такъ пробудитъ, что я только долгимъ и внимательнымъ анализомъ открываю, какое напоминаніе заставило меня вспомнить это лицо или событіе.

Связь развитія или разумная.

Наше перечисленіе всѣхъ родовъ ассоціацій было бы неполно, если бы мы не прибавили къ нимъ *ассоціацій развитія*, хотя эти ассоціаціи относятся собственно къ явленіямъ духовной жизни. Вотъ почему мы ограничимся здѣсь однимъ намекомъ на нихъ, однимъ указаніемъ, хотя бы въ видѣ общеизвѣстнаго факта. Это намъ тѣмъ болѣе необходимо, что эта чисто *человѣческая, духовная* память (если ее можно назвать памятью) опредѣляетъ относительное положеніе въ человѣкѣ всѣхъ перечисленныхъ уже ассоціацій и придаетъ этимъ явленіямъ, общимъ и человѣку, и животному, особый, *чисто человѣческій* характеръ.

Положимъ, что дитя заучило какіе-нибудь стихи на иностранномъ, непонятномъ для него языкѣ; заучило, слѣдовательно, только звуки въ ихъ послѣдовательности одинъ за другимъ. Сознаніе, конечно, принимало участіе въ этомъ заучиваньи: безъ участія вниманія дитя не слышало бы звуковъ, безъ участія разсудка не сознавало бы различія и сходства между этими звуками, а слѣдовательно и не усвоило бы ихъ въ ихъ послѣдовательности. Однакоже роль сознанія была самая пассивная. Но вотъ, наконецъ, первы усвоили механическую привычку произносить заученные стихи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, участіе сознанія въ этомъ произнесеніи все болѣе и болѣе ослабѣваетъ, такъ что дитя, произнося эти стихи, можетъ уже думать въ то же время о чемъ-нибудь другомъ. Положимъ, что дитя черезъ нѣсколько времени выучится языку, на которомъ написаны заученныя стихи, и переведетъ ихъ, буквально, отъ слова до слова, не понимая, впрочемъ, смысла, выражающагося въ связи этихъ словъ: тогда на помощь прежней механической ассоціаціи звуковъ придетъ уже менѣе механическая ассоціація понятныхъ

словъ. Но и эти ряды словъ отъ упражненія стануть снова однимъ механизмомъ. Положимъ далѣе, что дитя, подростая, пойметъ наконецъ и самую связь словъ, мысль, въ нихъ выражающуюся; но эта мысль будетъ до того чужда душѣ дитяти, что останется въ ней въ своей отдѣльности. Эта мысль, повторяясь часто, будетъ снова все больше и больше механической ассоціаціей словъ, не требующей особеннаго усиленнаго сосредоточенія вниманія. Случайное напоминаніе можетъ вызвать въ ребенкѣ заученныя созвучія и кадансированныя строчки; строчки и рифмы вызовутъ понятныя слова; ряды понятныхъ словъ вызовутъ заключающуюся въ нихъ мысль: но мысль такъ и замретъ безъ послѣдствій въ душѣ дитяти. Но положимъ, наконецъ, что дитя сдѣлалось юношею, что въ душѣ юноши созрѣлъ *вопросъ*, на который мысль, заключающаяся въ стихахъ, будетъ отвѣтомъ, или созрѣло *чувство*, для котораго заученные стихи будутъ болѣе полнымъ, поэтическимъ выраженіемъ,—тогда зерно, заключающееся въ стихахъ, освобожденное отъ всѣхъ своихъ оболочекъ, перейдетъ въ *духовную* память юноши, и перейдетъ не въ видѣ стиховъ, не въ видѣ словъ, даже не въ видѣ мысли, выраженной въ словахъ, а въ видѣ новой *духовной силы*, такъ что юноша, вовсе не думая объ этихъ стихахъ, не вспоминая даже мысли, въ нихъ заключенной, будетъ, послѣ усвоенія ихъ, глядѣть на все нѣсколько измѣнившимся взоромъ, будетъ чувствовать нѣсколько другимъ образомъ, будетъ хотѣть уже не совсѣмъ того, чего хотѣлъ прежде,—то-есть, другими словами, какъ говорится, человѣкъ разовьется ступенью выше. Такое усвоеніе духовной памяти есть не только *духовный актъ*, какъ говоритъ довольно неясно Германъ Фихте ¹⁾, но актъ, обратившійся въ новую *силу духа*. И эта новая сила духа, какъ и всѣ прежде имъ пріобрѣтенныя, будетъ всегда ему соприсуца и будетъ участвовать, какъ новая функція, въ каждомъ новомъ духовномъ актѣ.

Существованіе въ человѣкѣ этой духовной памяти, или памяти развитія, придаетъ памяти, какъ разсудочной, такъ и механической, совершенно новый, чисто человѣческій характеръ, ставя ихъ, такъ сказать, въ служебное къ себѣ отношеніе. Изъ духовной памяти появляются въ человѣкѣ идеи; разсудочная память облекаетъ ихъ въ форму логической мысли, а механическая облекаетъ эти мысли въ слова, краски, звуки, движенія. И наоборотъ: изъ слѣдовъ, сохраненныхъ механическою памятью, выплываетъ разсудокъ съ ассоціаціей, а изъ сближенія этихъ ассоціацій рождается идея, усваиваемая духовной памятью. Такой оборотъ вѣчно совершается въ человѣкѣ; но не все, усвоенное механическою памятью, и даже не все, переработанное разсудочною, приноситъ идею въ память духовную, и наоборотъ,—

¹⁾ Psychologie. T. I. S. 61.

не всякая идея духа находитъ себѣ воплощеніе въ силлогизмахъ разсудка и слѣдахъ, сохраненныхъ нервами. Много слѣдовъ сохраняется нашею механическою памятью и даже много есть у насъ разсудочныхъ знаній, которыя не приносятъ никакой пользы нашему духовному развитію, ни на волосъ не подвигаютъ его впередъ, и, наоборотъ, много мы носимъ въ себѣ глубокихъ духовныхъ убѣжденій, которымъ, можетъ быть, никогда не суждено высказаться не только въ формѣ дѣла, но даже въ формѣ слова. Однакоже эти два *потока* нашей душевной жизни, идущіе, такъ сказать, отъ периферіи человѣческаго существа къ его центру и отъ центра къ периферіи, составляютъ самое существенное явленіе нашего психическаго міра.

Этого поверхностнаго анализа явленій памяти достаточно съ насъ покуда, и мы перейдемъ къ такому же анализу явленій забвенія, чтобы потомъ, собравъ всѣ эти явленія вмѣстѣ, намъ удобнѣе было сдѣлать характеристику памяти.

ГЛАВА XXIV.

Забвеніе: разрывъ ассоціацій памяти.

Слово *забвеніе*, по замѣчанію Эрдмана, имѣетъ два смысла: *во-первыхъ*, подъ именемъ забвенія разумѣется вообще переходъ представленій изъ области нашего сознанія въ бессознательную область памяти, изъ которой они опять могутъ быть вызваны; и *во-вторыхъ*, подъ именемъ забвенія мы разумѣемъ совершенное исчезновеніе изъ памяти самыхъ слѣдовъ какого-нибудь представленія ¹⁾. Разговорный языкъ не различаетъ этихъ двухъ формъ забвенія и, можетъ быть, руководствуется при этомъ вѣрнымъ чутьемъ, что въ дѣйствительности невозможно различить ихъ, такъ какъ ни объ одномъ представленіи, вышедшемъ изъ нашего сознанія, нельзя сказать съ полною достовѣрностью, сохраняется ли оно еще въ нашей памяти, или навсегда и безъ слѣда исчезло изъ нея. Мы привыкли думать, что много забываемъ совершенно, а между тѣмъ, вопросъ о томъ, можемъ ли мы что-нибудь совершенно забыть,—вопросъ нерѣшенный.

Послѣднею степенью забвенія можно, конечно, считать, если мы видимъ вещь, которую видѣли, и не сознаемъ, что видѣли ее; а между тѣмъ, и это еще не можетъ служить доказательствомъ совершеннаго забвенія. Такъ, на примѣръ, переложивъ какую-нибудь вещь съ мѣста на мѣсто, мы можемъ совершенно позабыть, какъ и когда это сдѣлали, хотя переложенная вещь очевидно будетъ свидѣтельствовать, что это дѣло рукъ нашихъ. Однакоже очень часто случается, что, перебирая потомъ, нарочно или слу-

¹⁾ Psychologische Briefe. Leipzig. 1863. 14-er Brief. S. 286.

чайно, въ нашей памяти событія протекшаго дня или часа, мы часто вспоминаемъ, что вещь дѣйствительно была переложена нами, и какъ, когда и для чего мы это сдѣлали. Все дѣло состоитъ въ томъ, чтобы попасть на ту цѣпь слѣдовъ, въ которой состоитъ звеномъ и слѣдъ нашего дѣйствія, забытаго нами, что бываетъ не легко, а иногда и совершенно невозможно. Но никакъ нельзя ручаться, чтобы мы совершенно нечаянно не набрали на забытый нами слѣдъ. Такъ иногда мы искренно споримъ о томъ, что не видали какого-нибудь человѣка, или не сказали какихъ-нибудь словъ, а потомъ совершенно случайно вспоминаемъ, что мы были не правы, что мы видѣли этого человѣка, или сказали эти слова.

Еще большому сомнѣнію подвергается возможность абсолютнаго забвенія многочисленными примѣрами поразительныхъ воспоминаній въ болѣзненномъ состояніи человѣка, и особенно въ горячкахъ. Нѣкоторые изъ этихъ примѣровъ мы привели выше ¹⁾, а здѣсь приведемъ еще нѣсколько:

Одна простая женщина произносила въ горячечномъ бреду цѣлыя тирады по-сирійски и по-еврейски,—оказалось, что она прежде была служанкою одного ученаго пастера, часто читавшаго вслухъ тирады на этихъ языкахъ. Безъ сомнѣнія, эта женщина и сама не знала, что эти звуки, долетавшіе къ ней въ кухню, такъ врѣзались въ ея память и такъ долго сохранялись въ ней ²⁾. Шубертъ упоминаетъ о маркизѣ Солари, которая говорила въ раннемъ дѣтствѣ по-французски, а потомъ совершенно забыла этотъ языкъ и стала говорить по-итальянски. Заболѣвъ горячкою, она забыла по-итальянски и стала говорить по-французски; по выздоровленіи, она опять забыла французскій языкъ и стала говорить по-итальянски; въ глубокой старости она снова заговорила на языкѣ своего дѣтства ³⁾. Знаменитый математикъ Паскаль, какъ говорятъ, заболѣвши, вспомнилъ все, что онъ читалъ, дѣлалъ, говорилъ, думалъ во всю свою жизнь. Локкъ считаетъ такія явленія рѣдкими, но возможными, хотя вполнѣ совершенную память предполагаетъ только у ангеловъ ⁴⁾.

Оставивъ, однако, въ сторонѣ нерѣшенный психологіею вопросъ о существованіи абсолютнаго забвенія, мы примемъ, что оно существуетъ въ той релятивной формѣ, которая знакома каждому. Что многое и очень многое ускользаетъ изъ нашей памяти, въ этомъ мы можемъ убѣдиться, рассказывая даже вчерашнее происшествіе и повѣривъ нашъ рассказъ разсказами другихъ очевидцевъ. При этомъ мы увидимъ, какъ обманываетъ

¹⁾ См. выше, глава XV.

²⁾ Benecke's Neue Seelenlehre von Raue. 1865. S. 11.

³⁾ См. также подобные примѣры: System der Psychologie von Fortlage. 1885. S. 126.

⁴⁾ Of hum. Underst. Ch. X. § 9.

насъ наше воображеніе, вставляя свои кольца въ разорванныя цѣпи памяти, такъ что, желая связать какую-нибудь цѣпь слѣдовъ, разорвавшуюся въ нашей памяти, мы связываемъ ее кольцомъ, которое только что вновь сковано нашимъ разсудкомъ, или нашимъ воображеніемъ, или выхвачено нами изъ совсѣмъ другого рода звеньевъ. Надобно особенное усиліе воли, чтобы съ полной точностью разсказать происшествіе, видѣнное нами, не вковавши въ этотъ разсказъ ни малѣйшаго кольца своего собственнаго производства. При потворствѣ же себѣ, это обращается въ привычку очень неблаговидную, такъ что мы лжемъ, сами того не сознавая. У дѣтей, у которыхъ особенно сильно развито воображеніе, а усиліе воли востановлять объективную истину еще слабо, такая невольная ложь встрѣчается очень часто. Бываетъ даже, что дѣти смѣшиваютъ съ дѣйствительностью то, что видѣли во снѣ, припутывая еще къ этому какія-нибудь ассоціаціи своего собственнаго воображенія, которыя, по особенной впечатлительности дѣтской нервной системы, отразились въ ней съ такою силою, глубиною и яркостью, что дитя, встрѣчаясь потомъ въ своей памяти со слѣдами этихъ ассоціацій воображенія, принимаетъ ихъ за слѣды дѣйствительныхъ событій и впечатлѣній внѣшняго міра ¹⁾. Взрослыхъ спасаетъ отъ этихъ невольныхъ ошибокъ или разсудокъ, показывающій невозможность событія, или сильное напряженіе вниманія, причемъ слѣды внѣшнихъ впечатлѣній отличаются своею особою яркостью отъ слѣдовъ внутри создаваемыхъ ассоціацій: у дѣтей же воля и разсудокъ еще слабы, психическій анализъ почти не существуетъ, поэтому неудивительно, что такая невольная ложь встрѣчается безпрестанно, и ее надобно старательно отличать отъ лжи преднамѣренной, которую ребенокъ сознаетъ, какъ ложь ²⁾.

¹⁾ Lettres d'Euler. T. I. Let. XXX, p. 329.

²⁾ Эти явленія указываютъ педагогу на необходимость приучать дѣтей къ вѣрной передачѣ событій или созерцаній и предупреждать тѣмъ возможность образованія, особенно у дѣтей съ развитымъ воображеніемъ, привычки полуневольной лжи, которая можетъ потомъ остаться и въ зрѣломъ возрастѣ. Для этого слѣдуетъ заставлятъ дѣтей описывать предметъ, который они видѣли, разсказывать событіе, въ которомъ они принимали участіе или котораго были свидѣтелями. Такъ, напримѣръ, весьма полезно, если ученики въ концѣ уроковъ разскажутъ весь ходъ уроковъ или въ концѣ недѣли разскажутъ занятія всей недѣли. При этихъ разсказахъ сейчасъ выскажутся дѣти съ особенно сильнымъ воображеніемъ и у которыхъ ходъ внутреннихъ концепцій такъ силенъ и оставляетъ такіе яркіе слѣды въ памяти, что вѣрный разсказъ событія становится для нихъ чрезвычайно затруднительнымъ. Наставникъ будетъ внимателенъ къ такимъ дѣтямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ снисходителенъ, если самъ на себѣ испыталь, какъ трудно съ объективною вѣрностью передать самое простое событіе, и замѣчалъ, какъ разнообразно передается одно и то же событіе разными людьми безъ всякаго желанія лгать. Это внимательство нашихъ внутреннихъ

Разсказывая то, что мы наблюдали, мы сознаемъ только то, что воспоминаемъ, и потому, естественно, разсказъ нашъ кажется намъ совершенно вѣрнымъ и полнымъ; но стоитъ намъ взглянуть опять на тотъ же предметъ или услышать отъ другихъ разсказъ того же событія, чтобы мы сознали, какъ многое мы забываемъ и какъ неточно наблюдаемъ. Тутъ мы убѣдимся на дѣлѣ, что множество слѣдовъ ощущеній не возобновляется нами при воспоминаніи и, невозобновляемые никогда, естественно исчезаютъ изъ памяти. Это несовершенство памяти есть отчасти благодѣяніе, потому что иначе она была бы загромождена такимъ количествомъ слѣдовъ, что наконецъ воспріятіе новыхъ было бы крайне затруднительно или даже совершенно невозможно. Слѣды, совершенно бесполезные и ни къ чему не годные, напрасно загромождали бы нашу память, которая какъ ни обширна, но все же имѣетъ свои предѣлы. Вотъ почему Куртманъ ¹⁾ весьма основательно совѣтуетъ укоренять въ дѣтской памяти только то, что стоитъ укорененія, и предавать забвенію то, что помнить не стоитъ.

Весьма часто мы забываемъ какой-нибудь слѣдъ ощущенія потому, что онъ, по сходству своему съ другими слѣдами, не имѣя рѣзкаго отъ нихъ отличія, сливается съ ними. Такъ, напримѣръ, многіе дни, проведенные нами однообразно, въ регулярныхъ занятіяхъ, сливаются въ нашихъ воспоминаніяхъ въ одинъ день, и жизнь для насъ никогда не протекаетъ такъ быстро, какъ тогда, когда одинъ день похожъ на другой, проходитъ регулярно, ничѣмъ отъ другихъ не отличаясь. Мѣсяцы и даже годы, проведенные такимъ образомъ, кажутся намъ въ воспоминаніи однимъ днемъ, и только слѣды жизни, оставшіеся въ насъ или въ дѣлахъ нашихъ, говорятъ, что мы жили долго. Точно такъ же сливаются въ насъ въ одинъ слѣдъ всякія сходныя ассоціаціи, если только сознание наше не отмѣтило рѣзко ихъ различія. Такъ сливаются часто у насъ сходныя имена, потому что мы не обратили вниманія на ихъ различіе, сходные образы лицъ, воспоминанія сходныхъ происшествій. Вотъ почему, давая, напримѣръ, ученику какое-нибудь новое имя, сходное съ тѣмъ, которое онъ замѣтилъ прежде, мы должны указать именно на различіе этихъ именъ, или желая, чтобы ребенокъ замѣтилъ годъ, подходящій къ другому году, имъ уже замѣченному, мы должны указать на соотношеніе этихъ годовъ и т. п.

Одну изъ причинъ забвенія Дробишъ ²⁾ указываетъ совершенно спра-

концепцій въ ходъ нашихъ непосредственныхъ наблюденій бываетъ причиною множества невольныхъ ошибокъ и ложныхъ взглядовъ, а потому приученіе дѣтей къ точному наблюденію и точной передачѣ наблюдаемаго есть одна изъ важнѣйшихъ задачъ воспитанія.

¹⁾ Lehrbuch der Erziehung und Unterrichts. 1865. Т. II. S. 211.

²⁾ Empirische Psychologie. 1842. S. 88.

ведливо въ отрывочности слѣда: такъ, имена, чуждыя нашему слуху, трудно укореняются въ памяти и легко исчезаютъ изъ нея; такovy, на-примѣръ, имена, взятая нами изъ чуждыхъ намъ языковъ семитической расы, которыя однако спеціалистъ помнитъ очень хорошо, именно потому, что они ложатся въ памяти его не отдѣльными звуками, а входятъ въ обширныя ассоціаціи слѣдовъ его ученыхъ изслѣдованій. Для европейскаго ученика также нѣтъ почти возможности запомнить десятокъ именъ китайскихъ императоровъ, тогда какъ китаецъ помнитъ ихъ сотни.

На томъ же основаніи видитъ Дробишъ, вслѣдъ за Гербартомъ, причину забвенія въ томъ, что мы сами разрываемъ цѣпи слѣдовъ, вынимая изъ нихъ тѣ звенья, которыя намъ почему-нибудь понадобились, и вставляя ихъ въ новую цѣпь. Такой разрывъ прежнихъ вереницъ представленій мы дѣлаемъ безпрестанно при нашей умственной работѣ, сплетая новыя вереницы и для того разрывая старыя. Вотъ почему, на-примѣръ, философское мышленіе у многихъ ослабляетъ память, такъ какъ, пріучаясь къ постройкѣ рядовъ, связанныхъ философскою необходимостью, мы безпрестанно разрываемъ для этого ряды другихъ нашихъ представленій и помнимъ только то, что имѣетъ для насъ философское значеніе ¹⁾. Цѣпи же слѣдовъ, разорванныя на отдѣльные куски и отдѣльныя представленія, быстро изглаживаются изъ памяти именно по причинѣ своей отдѣльности и разорванности.

На этой же причинѣ забывчивости основано отчасти то явленіе, что дѣти съ сильно возбужденнымъ воображеніемъ оказываются очень забывчивыми. Они забываютъ не потому, что у нихъ память слаба, но потому, что при безпрестанной постройкѣ воображеніемъ новыхъ и новыхъ ассоціацій, они берутъ матеріалъ изъ прежнихъ, безпрестанно ихъ разрывая. Кромѣ того, внутренняя работа воображенія отвлекаетъ вниманіе дитяти отъ уроковъ и вообще незанимающихъ его предметовъ. Вотъ на какомъ основаніи раннее развитіе воображенія можетъ считаться опаснымъ соперникомъ памяти, хотя въ сущности это вовсе не противоположныя способности, и вотъ почему педагогъ долженъ избѣгать всего, что слишкомъ сильно возбуждаетъ ни къ чему не ведущія, бесполезныя ассоціаціи въ душѣ дитяти, какъ, на-примѣръ, чтенія романовъ, противъ котораго вооружался еще Кантъ ²⁾. Но чтеніе не однихъ романовъ, а вообще всякое чтеніе, не имѣющее отношенія

¹⁾ Философскія занятія, впрочемъ, не помѣшали Канту сохранить до глубокой старости сильную механическую память.

²⁾ Kant's Rechtslehre etc. 1838. S. 407. «Чтеніе романовъ ослабляетъ память, потому что было бы смѣшно запоминать романы и потомъ рассказывать ихъ другимъ. Читая романъ, дѣти вплетаютъ въ него свой собственный романъ и сидятъ, мечтая и безъ мысли въ головѣ».

къ ученію ребенка и потому остающееся безъ повторенія, дѣйствуетъ ослабляющимъ образомъ на память, разрывая прежнія ассоціаціи и составляя новыя, которыя, не будучи потомъ повторяемы, ослабляются сами, ослабивъ, въ свою очередь, другія. Конечно, изъ этого не выходитъ, что ребенку не надобно давать читать ничего, не относящагося къ урокамъ; но воспитатель долженъ знать дѣйствіе чтенія на душу дѣтей и ослаблять его дурныя вліянія, оставляя хорошія. Не только чтеніе, но и бесполезное ученье ослабляетъ память: такъ, если мы выучимъ дитя чему-нибудь, что оно потомъ забудетъ, то это дѣйствуетъ ослабляющимъ образомъ на его память. Если мы слишкомъ рано, на примѣръ, начали учить ребенка географіи или исторіи, а потомъ бросили, то можемъ знать, что подѣйствовали дурно на его память вообще.

Забычивость, во многихъ отношеніяхъ, можетъ быть названа также дурною привычкою. Эта привычка часто происходитъ отъ лѣни. Каждый можетъ замѣтить надъ самимъ собою, что при упорномъ воспоминаніи требуется сосредоточеніе вниманія, которое, въ свою очередь, требуетъ усилія воли, большаго или меньшаго, смотря по трудности воспоминанія. Вспоминанія что-нибудь упорно и долго, мы ясно ощущаемъ, что это трудъ не легкій. Вотъ почему общая лѣность, отвращеніе отъ труда вообще и въ особенности отъ труда умственнаго, который гораздо тяжелѣе физическаго для дѣтей и людей неразвитыхъ, можетъ имѣть сильное вліяніе на ослабленіе памяти. Оставляя по лѣности многіе слѣды не возбужденными къ сознанию, мы позволяемъ имъ затериваться болѣе и болѣе въ темной области памяти, загромождаясь новыми ассоціаціями, и вмѣстѣ съ тѣмъ приобретаемъ вообще дурную привычку забывать.

Англійскій психологъ Спенсеръ ¹⁾ причисляетъ къ забычивости и то явленіе, когда какое-нибудь воспоминаніе повторяется до такой степени часто, что обращается, наконецъ, въ привычку, за которою уже не признаютъ характера воспоминанія: таково, на примѣръ, употребленіе словъ родного языка, не требующее, повидимому, ни малѣйшаго усилія памяти; таково множество навыковъ: ходить, читать и т. п.; таковы, наконецъ, всѣ тѣ привычки, которыя, какъ мы видѣли выше, составляютъ нами въ безпамятномъ младенчествѣ: видѣть двумя глазами одинъ предметъ, видѣть предметы неподвижными при движеніяхъ головы и глазъ, видѣть предметы въ перспективѣ и т. п.; словомъ, всѣ тѣ навыки человѣчества, которые оно приобретаетъ въ безпамятномъ дѣтствѣ и считаетъ потомъ до того принадлежностями своей природы, что только новѣйшая фізіологія разрушаетъ это заблужденіе. Принимать такіе твердо укоренившіеся слѣды памяти за заб-

¹⁾ The principles of Psychology by Herb. Spenser. Lond. 1855. S. 561.

веніе мы считаемъ игрою словъ. Собственно здѣсь нѣтъ забвенія, а есть только уничтоженіе чувства воспоминанія отъ чрезвычайной твердости слѣдовъ и, вслѣдствіе того, отъ уничтоженія всякой трудности возстановленія ихъ изъ нервной системы къ сознанію.

Однакоже печальные опыты убѣждаютъ насъ, что и эти, какъ казалось, неизгладимые слѣды привычекъ нервной системы могутъ изглаживаться изъ нея подѣ вліяніемъ хроническихъ болѣзней или временныхъ потрясеній нервной системы. Такъ, при параличномъ состояніи мозга, больные забываютъ названіе многихъ предметовъ; такъ, часто въ глубокой старости человѣкъ путается въ словахъ и разучается говорить. То же самое явленіе замѣчаемъ мы при совершенномъ опьяненіи человѣка, которое дѣйствуетъ сильно на нервную систему. При сильномъ опьяненіи, человѣкъ разучается въ тѣхъ привычкахъ, которыя, казалось, были неотъемлемою принадлежностью его природы: разучается на время въ привычкахъ безпамятнаго дѣтства; такъ, напримѣръ, у него двоится въ глазахъ, т. е. онъ видитъ два предмета двумя глазами; у него кружатся предметы при движеніяхъ головы, то-есть представляются ему, какъ представляются они младенцу; онъ протягиваетъ руку, чтобы схватить далекій предметъ, натывается на печку, которую считаетъ далекою; онъ разучается ходить, то-есть комбинировать движенія своихъ мускуловъ, и подымаетъ ногу, когда надо ее опустить,— вотъ почему пьянымъ такъ неудобно ходить по лѣстницамъ. Недостаткомъ силы этого объяснить нельзя, потому что пьяные часто бываютъ очень сильны. Во всѣхъ дѣйствіяхъ и словахъ пьяный рѣзко напоминаетъ собою младенца: вмѣсто рѣчи онъ издаетъ лепетъ, подобный младенческому; кричитъ безъ цѣли, какъ ребенокъ, изъ одного удовольствія крикнуть, двигаетъ руками и ногами безъ всякаго соображенія и соотвѣтствія движеній, только изъ одного удовольствія двигаться. И чѣмъ сильнѣе степень пьянства, тѣмъ ближе человѣкъ къ младенчеству, такъ что онъ и засыпаетъ наконецъ безмятежнымъ сномъ младенца. Пьяный—это младенецъ, но только въ отвратительномъ видѣ, производящемъ на насъ тяжелое впечатлѣніе именно этимъ уродливымъ сближеніемъ чертъ младенчества и возмужалости.

ГЛАВА XXV.

Исторія памяти.

Въ продолженіе жизни человѣка память его, работающая постоянно, обнаруживаетъ то возрастаніе своихъ силъ, то упадокъ ихъ, то особенное направленіе въ своихъ работахъ. Эти періодическія измѣненія въ дѣятель-

ности памяти, конечно, имѣютъ важное значеніе и для педагога, который пользуется памятью воспитанника едва ли не болѣе, чѣмъ какою-либо другою его способностью. Казалось бы, что въ младенческомъ возрастѣ память должна быть чрезвычайно воспріимчива и усваивать быстро и прочно; но мы замѣчаемъ, напротивъ, что память младенца усваиваетъ съ большимъ трудомъ и забываетъ легко; въ отрочествѣ память усваиваетъ легко и забываетъ легко; въ возрастѣ мужества одно помнить хорошо, а другое забываетъ. Всѣ эти явленія можно объяснить не иначе, какъ прослѣдивъ начало, развитіе и установленіе памяти въ человѣкѣ.

Дитя родится безо всякихъ *слѣдовъ* въ своей памяти, и въ *этомъ отношеніи* дѣйствительно представляетъ «чистую таблицу» (*tabula rasa*) Аристотеля, на которой еще ничего не написано. Однакоже отъ самаго свойства таблицы зависитъ уже, легко или трудно на ней писать, а также болѣшая или мѣньшая степень прочности въ сохраненіи ею того, что на ней *будетъ* написано. Младенецъ, не имѣя еще никакихъ *слѣдовъ* воспоминаній, имѣетъ уже возможность быстрѣе или медленнѣе принимать ихъ, ярче или тусклѣе отражать, сохранять болѣе или менѣе прочно, комбинировать и воспроизводить живѣе или медленнѣе. Эти прирожденные способности зависятъ, по нашему мнѣнію, отъ особенностей нервной системы и составляютъ дѣйствительную основу такъ называемыхъ врожденныхъ способностей человѣка, которымъ одни психологи приписываютъ всерѣшающее значеніе, а другіе, какъ, напр., психологи гербартовской школы, не даютъ почти никакого ¹⁾. Кромѣ этихъ врожденныхъ способностей, зависящихъ отъ *общихъ* природныхъ свойствъ всей нервной системы и отъ разнообразія въ устройствѣ отдѣльныхъ ея органовъ у различныхъ индивидовъ (системы зрительныхъ нервовъ, слуховыхъ и такъ далѣе), нервная система можетъ заключать въ себѣ, какъ мы уже видѣли выше, наследственные *задатки* (возможности установленія) какихъ-нибудь привычекъ и наклонностей; но ни одного опредѣленнаго образа, ни одного опредѣленнаго слѣда какого-нибудь ощущенія не заключаетъ въ себѣ память младенца; въ этомъ отношеніи все пред-

¹⁾ Признавая душу за ассоціацію представленій и оставаясь вѣрнымъ этой мысли, трудно объяснить не подлежащее сомнѣнію явленіе врожденности способностей. По этой-то причинѣ Бенеке нашелся уже вынужденнымъ, отвергая всякія врожденные способности души и не оцѣнивъ; какъ слѣдуетъ, вліянія организма на душу, признать *особенныя* свойства *первичныхъ* душевныхъ силъ у различныхъ людей. Особенности эти: *Reizempfänglichkeit, Beharrlichkeit und Lebhaftigkeit*, по терминологіи Бенеке; но Бенеке приписываетъ ихъ не нервной системѣ и даже не существу души, а первичнымъ силамъ (*Urvermögen*). Такъ, фактъ, отъ котораго нельзя было отвернуться, былъ признанъ и *на живую нитку*, кое-какъ, пришитъ къ теоріи. См. объ этомъ во II-мъ томѣ Антропологін.

стоитъ еще сдѣлать собственному труду младенца: труду, къ которому онъ *получаетъ стремленіе* вмѣстѣ съ рожденіемъ.

Первое проявленіе жизни выражается въ тѣхъ, повидимому, безпричинныхъ и безцѣльныхъ движеніяхъ, которыя начинаются у живого существа еще въ зародышномъ состояніи и высказываются съ энергіею при рожденіи на свѣтъ. «Новорожденный младенецъ, говоритъ Бэнъ, движется, не имѣя еще никакой цѣли этихъ движеній, не зная ихъ послѣдствій, *даже не ощущая ихъ*,—это только выраженіе стремленія жизни къ проявленію себя въ чемъ бы то ни было, врожденная потребность движенія» ¹⁾. Что младенецъ «не ощущаетъ» своихъ первыхъ движеній—это не имѣетъ никакого вѣроятія: нѣтъ причины, почему онъ не могъ бы ощущать ихъ; но ощущеніе міра внѣшняго, внѣшняго по отношенію къ организму ребенка, должно наступить только по развитіи органовъ чувствъ, и прежде всего, безъ сомнѣнія, органа осязанія. Съ перваго *столкнове- нія* съ тѣлами внѣшняго міра начинается непрерывный рядъ ощущеній, а вмѣстѣ съ тѣмъ, опытовъ и приноровленій. Всѣ же эти первые акты душевной жизни оставляютъ свои *слѣды* въ памяти ребенка, слѣды болѣе или менѣе глубокіе и болѣе или менѣе связанные между собою.

Но мы очень ошиблись бы, представивъ себѣ, что младенецъ въ первые дни своей жизни ощущаетъ такъ же, какъ ощущаемъ и мы. Всѣ наши ощущенія болѣе или менѣе опредѣленны, сложны и немедленно становятся въ извѣстное отношеніе къ *слѣдамъ* ощущеній, пережитыхъ нами прежде. Для взрослого человѣка, въ строгомъ смыслѣ слова, не можетъ быть никакихъ *совершенно новыхъ* ощущеній. Если бы вамъ случилось, напри- мѣръ, увидать животное, котораго вы до сихъ поръ не видали ни въ натурѣ, ни на картинѣ, о которомъ даже ничего не слышали, то и тогда это не будетъ совершенно новое ощущеніе. Видъ никогда не виданнаго животнаго пробудитъ въ вашей памяти множество слѣдовъ прежнихъ ощущеній: цвѣтъ животнаго уже знакомъ вамъ, безъ сомнѣнія, потому что вы видѣли этотъ цвѣтъ или на растеніяхъ, или на другихъ животныхъ; величина новаго животнаго напомнитъ намъ величину другихъ, уже знакомыхъ. Вы будете искать въ немъ уже знакомыхъ вамъ членовъ животнаго, имѣя понятіе о томъ, что такое голова, глаза, ротъ, ноги и т. д., и если не найдете одного изъ этихъ членовъ, то это васъ удивитъ и, слѣдовательно, будетъ вами замѣчено. Если какой-нибудь изъ членовъ будетъ развитъ особенно, то и на это вы обратите вниманіе, понимая эту особенность. Вы приурочите немедленно новую ассоціацію слѣдовъ, полученную вами отъ созерцанія новаго животнаго, къ тысячамъ другихъ ассоціацій, которыя получили отъ прежнихъ

¹⁾ The Senses and the Intellect, p. 301 и 302.

созерцаній, или которыя построились въ васъ мыслительною способностью изъ тысячи другихъ слѣдовъ ощущеній и опытовъ, какъ, напримѣръ, къ понятіямъ о формѣ, величинѣ, жизни, сознаниі, движеніи и т. п. Если, напримѣръ, у новаго животнаго голова будетъ какая-нибудь вытянутая, то вы замѣтите это потому именно, что давно уже соединили съ понятіемъ головы понятіе о шарообразной формѣ и т. д. Созерцаніе новаго животнаго дастъ вамъ очень мало новыхъ слѣдовъ, сравнительно съ тѣмъ количествомъ старыхъ, которые оно пробудитъ въ вашей памяти. Вы привяжете къ старымъ слѣдамъ, можетъ быть, одинъ, можетъ быть, два новые признака—не болѣе, до и тѣ связете по противоположности или по сходству съ прежними слѣдами; такъ что въ васъ произойдетъ собственно лишь нѣсколько другое перемѣщеніе признаковъ, уже прежде вами усвоенныхъ. Словомъ, взрослый человѣкъ не можетъ относиться совершенно *пассивно* ни къ какому новому ощущенію, и ощущаетъ его не только органами чувствъ, но и многочислѣннѣйшими слѣдами своихъ прежнихъ ощущеній, представленій и ассоціацій.

Совсѣмъ не таково должно быть ощущеніе новорожденнаго младенца, если бы то же животное, и по законамъ той же оптики, отразилось на сѣтчаткѣ его глазъ. *Величина* животнаго... но величина ощущается только сравнительно съ другими величинами, и притомъ сравнительно съ разстояніемъ предмета отъ глазъ, и притомъ по движенію глазныхъ мускуловъ, какъ это убѣдительно доказала фізіологія ¹⁾; слѣдовательно, величина предмета не возбудитъ *никакого ощущенія* въ младенцѣ. *Цвѣтъ* животнаго... но ощущеніе цвѣта есть только выводъ изъ сравненія цвѣтовъ ²⁾; а если это *первый* цвѣтъ, который задѣваетъ концевые аппараты глазной сѣтки младенца, то онъ произведетъ *физическое* впечатлѣніе, но оно не перейдетъ въ *психическое* ощущеніе и, слѣдовательно, не оставитъ никакого слѣда въ памяти. *Форма* животнаго... но понятіе о формѣ есть слѣдствіе тысячи опытовъ и наблюденій, да кромѣ того, чтобы судить о формѣ, нужно видѣть животное, а ребенокъ его *не видитъ*, ибо не получаетъ ощущенія ни цвѣта, ни величины, хотя животное точно такъ же отражается на сѣтчаткѣ младенца, какъ и на сѣтчаткѣ взрослога, потому что законы оптики одинаковы, какъ для младенца, такъ и для взрослога. Вотъ почему младенецъ, въ первые дни своей жизни, оказывается совершенно индифферентнымъ ко всему тому, что совершается передъ его глазами и что должно бы поражать его слухъ: онъ, собственно говоря, и не видитъ, и не слышитъ, и не обоняетъ, остается равнодушнымъ ко вкусу пищи, и даже самое ося-

¹⁾ См. учебникъ фізіологіи Наумова.

²⁾ См. выше, глава XXI.

заніе его, начавшее свои опыты въ эмбріоническомъ состояніи младенца, еще крайне не развито. Явленіе это не можетъ быть объяснено неполнотою физическаго развитія органовъ младенца, ибо въ нихъ не произойдетъ существенной перемѣны черезъ 3 или 4 мѣсяца, когда ребенокъ замѣтно начнетъ слышать, видѣть, различать вкусъ пищи. Слѣдовательно, эта перемѣна можетъ быть объяснена только психически, и мы должны отдать справедливость теоріи Гербарта, что она, сравнительно съ прежними теоріями, даетъ самое удовлетворительное объясненіе этого явленія.

Младенецъ, какъ мы уже показали выше, ощущаетъ только *отношеніе одного состоянія нервовъ*, вызываемаго однимъ внѣшнимъ впечатлѣніемъ, къ другому состоянію, вызываемому другимъ впечатлѣніемъ, да и то сначала ощущаетъ очень неясно. Только нѣсколько разъ повторившійся переходъ оставляетъ опредѣленный слѣдъ въ его памяти. Чѣмъ чаще совершается этотъ переходъ въ душѣ ребенка, тѣмъ яснѣе вырѣзываются противоположныя особенности состояній, тѣмъ прочнѣе начертывается слѣдъ каждаго изъ ощущеній. Такъ, напримѣръ, переходъ отъ свѣта къ темнотѣ и отъ темноты къ свѣту сначала не производитъ никакого замѣтнаго вліянія на младенца; но чѣмъ чаще онъ совершается, тѣмъ болѣе глубокіе слѣды оставляетъ въ памяти, и тѣмъ яснѣе начинаетъ сознавать младенецъ противоположность свѣта и темноты.

Оставимъ, однако, въ сторонѣ таинственное рожденіе перваго ощущенія, о которомъ замѣтимъ только тотъ фактъ, что повтореніе ощущеній, усиливая слѣдъ, оставляемый этими ощущеніями въ памяти, даетъ все болѣшую и болѣшую яркость самимъ ощущеніямъ. Отъ повторенія перехода свѣта въ тьму и обратно, тишины въ шумъ, тепла въ холодъ, младенецъ сознаетъ все опредѣленнѣе и яснѣе отношенія этихъ ощущеній между собою и, вмѣстѣ съ тѣмъ, особенность каждаго изъ нихъ, ибо эта особенность выдается только сравненіями. Слухъ и зрѣніе ребенка, а съ ними и его вниманіе къ впечатлѣніямъ, развиваются вмѣстѣ съ углубленіемъ слѣдовъ ощущеній отъ повторенія ихъ и усиливаются съ увеличеніемъ числа этихъ слѣдовъ. Каждый слѣдъ, уже пріобрѣтенный, облегчаетъ пріобрѣтеніе новаго, потому что новый слѣдъ не только углубляется самъ собою отъ повтореній, но и привязывается къ прежнему слѣду, и каждый слѣдъ въ этомъ отношеніи есть не только *остатокъ* отъ прежняго ощущенія, но и *задатокъ* (Anlage) воспріятія новаго ¹⁾. Такимъ образомъ, чѣмъ больше пріобрѣтается слѣдовъ, тѣмъ пріобрѣтеніе новыхъ идетъ легче и быстрѣе; вмѣстѣ

¹⁾ «Остающіеся въ душѣ слѣды, говоритъ Бенекке, дѣйствуютъ потомъ какъ новыя силы для воспріятія новыхъ ощущеній, и чѣмъ болѣе набирается этихъ слѣдовъ, тѣмъ совершеннѣе дѣлается этотъ психическій внутренній дѣятель» *Erziehung und Unterrichts-Lehre von Benecke. I. B. S. 76.*

съ тѣмъ усиливается душевная работа младенца и, по мѣрѣ этого усиленія, замедляется его ростъ, то-есть другими словами: дѣятельность нервнаго организма, вызываемаго психическою жизнью, все болѣе и болѣе требуетъ пищи, которая сначала шла почти вся на ростъ и развитіе тѣла.

Изъ того, что уже сказано, ясно само собою, что предметъ, отражаясь одинаково на сѣтчаткѣ глазъ взрослога человѣка и младенца, совершенно различно отражается въ ихъ сознаніи. Взрослый видитъ, сознаетъ и запоминаетъ весь предметъ, со всѣми его особенностями; младенецъ усваиваетъ только то изъ созерцанія предмета, на что у него хватаетъ уже прежде пріобрѣтенныхъ имъ слѣдовъ. Такъ, напримѣръ, мы видимъ не только огонь на свѣчѣ, но и свѣчу, и подсвѣчникъ, и руку человѣка, который держитъ подсвѣчникъ; ребенокъ же ощущаетъ только свѣтъ, и то не въ первые дни своей жизни, а начинаетъ поворачивать головку за свѣчею уже гораздо позже, потому что для этого требуется довольно сложная привычка комбинаціи движеній съ ощущеніями. Первые ощущенія младенцемъ внѣшняго міра должны быть самыя общія: свѣта въ противоположность темнотѣ, звука въ противоположность тишинѣ, холода въ противоположность теплотѣ, движенія въ противоположность неподвижности. Вмѣстѣ съ укрѣпленіемъ слѣдовъ этихъ общихъ ощущеній, которое высказывается въ томъ, что ребенокъ, напримѣръ, беспокоится отъ свѣта или плачетъ въ темнотѣ,—усиливается въ ребенкѣ *вниманіе* къ этимъ ощущеніямъ, и *вслѣдствіе этого усиленія вниманія* общія ощущенія начинаютъ яснытъ и *разлагаться на частныя*: общее ощущеніе свѣта на ощущеніе различныхъ цвѣтовъ, общее ощущеніе звука на ощущеніе различныхъ звуковъ и т. д. Мы можемъ замѣтить сами по себѣ, какъ отъ усиленія вниманія при созерцаніи какого-нибудь предмета, показавшагося намъ вначалѣ совершенно однообразнымъ, онъ начинаетъ разнообразиться и вмѣсто одного ощущенія даетъ намъ цѣлую ассоціацію ощущеній. Всматривайтесь внимательнѣе въ самое простое чернильное пятно, и вы будете находить въ немъ все болѣе и болѣе разнообразія. Всѣ эти *внѣшнія* ощущенія, изъ которыхъ многія вызываются произвольными движеніями младенца (поворачивая голову, младенецъ видитъ то, чего не видѣлъ, протягивая руку, испытываетъ холодъ тѣла, къ которому прикасается, и т. п.), комбинируются съ ощущеніями внутренними, съ ощущеніями и измѣреніями собственныхъ произвольныхъ движеній, а вмѣстѣ съ тѣмъ начинаютъ, мало-по-малу, ориентироваться, пріурочиваться къ опредѣленному мѣсту и времени, помѣщаться въ точку, опредѣленную координатами пространства и времени. Для посторонняго наблюдателя вся эта психическая, сознательная работа младенца, вся эта безпрестанно растущая и усложняющаяся сѣтъ внутреннихъ и внѣшнихъ ощущеній и ихъ комбинацій, сознательныхъ наблюденій и тысячеобразно повторяющихся опытовъ,

весь этот сознательный рост души выражается видимым усилением способностей зрѣнія, слуха, вкуса, осязанія, регуляризаціею движеній, вначалѣ безпорядочныхъ и неудачныхъ, усиленіемъ внимательности младенца къ тому, что вокругъ него совершается, и, наконецъ, видимымъ пониманіемъ ребенка, что предметы, лежащіе внѣ его, размѣщены въ перспективѣ, видимою удачею движеній, чтобы схватить эти предметы. *Младенческий* глазъ становится *дѣтскимъ*; онъ не только *смотритъ*, какъ открытое окно, но и *видитъ*; видитъ же онъ не потому, чтобъ онъ измѣнился, но потому, что къ нему прилило вниманіе, или, по выраженію великаго славянскаго поэта, «душа уже прилетѣла къ глазамъ».

Уже большіе успѣхи сдѣлаетъ младенецъ въ то время, когда начнетъ брать рученками подаваемую ему вещь. Если же мы видимъ, что ребенокъ начинаетъ узнавать мать, отличать ее отъ другихъ людей и тянуться къ ней, то мы можемъ сказать, что уже много слѣдовъ ощущеній накопилось въ его душѣ. «Въ первомъ дѣтствѣ, говоритъ Гербартъ ¹⁾, составляетъ несравненно большій запасъ простыхъ (элементарныхъ) чувственныхъ представленій, чѣмъ во всю послѣдующую жизнь, дѣло которой состоитъ уже въ разнообразнѣйшихъ комбинаціяхъ этого запаса». Всѣмъ, что мы сказали выше, объясняется извѣстное явленіе, что младенецъ такъ медленно запоминаетъ предметъ, который взрослымъ запоминается съ перваго разу. Нѣсколько недѣль нужно младенцу, чтобы узнавать мать или кормилицу, хотя онъ безпрестанно ихъ видитъ. Это совершенно противорѣчитъ той свѣжести и незагроможденности памяти, которую должно предполагать въ младенцѣ, но объясняется хорошо, сначала — совершеннымъ отсутствіемъ, а потомъ — немногочисленностію слѣдовъ въ памяти, которыхъ нужно уже очень много, чтобы усвоить такое сложное представленіе, какъ лицо человѣческое ²⁾. Потомъ эти усвоенія идутъ все быстрѣе и быстрѣе; но однакоже безпамятность младенчества, зависящая именно отъ многочисленности *слѣдовъ*, накопляемыхъ только постепенно, замѣчается еще очень долго. Трехлѣтній ребенокъ скоро забываетъ человѣка, котораго не видалъ нѣсколько времени, перемѣшиваетъ лица, имена, съ трудомъ заучиваетъ два, три стиха, которые черезъ годъ, черезъ два замѣтитъ съ перваго же разу. Какъ ни быстро развивается память въ ребенкѣ, какъ ни быстро накопляются въ немъ слѣды ощущеній, но все же внимательный наблюдатель долго еще будетъ замѣчать постепенно исчезающій оттѣнокъ этой *младенческой* без-

¹⁾ Herbart's Lehrbuch der Psychologie. 3 Auflage. S. 35.

²⁾ Да и вообще всякое человѣческое представленіе, которое, какъ говоритъ Гербартъ, «состоитъ изъ безчисленнаго множества безконечно малыхъ и притомъ неодинаковыхъ воспріятій (слѣдовъ по Бенекке), которыя образовались въ различные моменты времени». Herbart's Lehrbuch der Psychologie. S. 35.

памятности, которая впоследствии выражается в томъ, что ребенокъ, съ необычайною быстротою усваивающій слѣды ощущеній, которые легко могутъ составить ассоціаціи съ ощущеніями, приобретенными имъ прежде, съ большимъ трудомъ усваиваетъ слѣды ощущеній совершенно новаго рода. Такъ, напримѣръ, дитя съ большимъ трудомъ усваиваетъ первые звуки чуждаго языка; но потомъ, усвоивъ эти первые звуки, идетъ въ усвоеніи дальнѣйшихъ съ быстротою, недоступною для взрослога человѣка, такъ какъ память взрослога уже загромождена слѣдами и сознаніе его работаетъ надъ комбинаціями этихъ слѣдовъ, поглощающихъ вниманіе человѣка образовавшимися уже въ немъ интересами.

Здѣсь мы еще разъ напомнимъ читателю то, что говорили выше о безпамятности младенчества ¹⁾, такъ какъ думаемъ, что теперь объяснили достаточно причину этой безпамятности. Мы не помнимъ того, что испытывали въ младенствѣ, не потому, чтобы не сознавали этого въ то время, когда испытывали, а потому, что не имѣли въ младенствѣ такихъ опредѣленныхъ ассоціацій слѣдовъ, которыя можно было бы запомнить. Всѣ наши воспоминанія совершаются въ опредѣленныхъ образахъ, звукахъ или словахъ; а въ первомъ младенствѣ у насъ ничего этого не было. Вспоминать же переходъ отъ покоя къ движенію, отъ свѣта къ темнотѣ, отъ тепла къ холоду, конечно, невозможно, потому что эти переходы, повторяясь безпрестанно, сливаются потомъ въ одинъ общій слѣдъ ²⁾: ихъ невозможно вспоминать уже потому, что невозможно позабывать ³⁾. Говоря о происхожденіи слова въ человѣкѣ, мы покажемъ все его отношеніе къ процессу памяти; но и теперь уже будетъ понятно, что младенецъ не говоритъ до тѣхъ поръ, пока не въ состояніи будетъ удерживать въ памяти своей не только сложныя представленія, но и вырабатывать умомъ своимъ отвлеченныя понятія, потому что слово выражаетъ собою всегда отвлеченное понятіе. Надобно видѣть множество деревьевъ и соединить ихъ признаки въ одно общее понятіе, чтобы намъ сознательно понадобилось слово *дерево*. Вотъ почему дитя начинаетъ говорить *собственными* именами. Для него слова *мама*, *папа* не нарицательныя, а собственные; для него слово *кися* означаетъ только ту кошку, которую онъ знаетъ, и слово *столъ* — только тотъ столъ, который онъ привыкъ видѣть въ своей комнатѣ ⁴⁾. Уже потомъ,

¹⁾ См. главу XIII.

²⁾ Эрдманъ справедливо, кажется, полагаетъ, что наши воспоминанія не могутъ идти дальше второго года, и то, конечно, въ самой темной, неопредѣленной формѣ. *Psychologische Briefe*. Br. 14. S. 206.

³⁾ См. выше, гл. XXIV.

⁴⁾ Если ребенокъ не видалъ никакого другого животнаго, кромѣ кошки, то онъ называетъ кошкою и собаку; то же дѣлаютъ часто и идіоты. Это по-

замѣчая сходство другихъ предметовъ того же рода съ предметами, которые онъ знаетъ, дитя даетъ имъ общее имя и нерѣдко ошибается; такъ, называетъ панюю каждаго мужчину, и если первый цвѣтокъ, съ которымъ оно познакомилось, была роза, то розой—всякій другой цвѣтокъ ¹⁾).

Періодъ отрочества ребенка, начиная отъ 6-ти или 7-ми лѣтъ до 14-ти и 15-ти, можно назвать періодомъ самой сильной работы механической памяти. Память къ этому времени пріобрѣтаетъ уже очень много слѣдовъ и, пользуясь могущественною поддержкою слова, можетъ работать быстро и прочно въ усвоеніи новыхъ слѣдовъ и ассоціацій; а внутренняя работа души, перестановка и передѣлка ассоціацій, которая могла бы помѣшать этому усвоенію, еще слаба. Вотъ почему періодъ отрочества можетъ быть названъ именно *учебнымъ періодомъ*, и этимъ короткимъ періодомъ жизни долженъ воспользоваться педагогъ, чтобы обогатить внутренній міръ дитяти тѣми представленіями и ассоціаціями представленій, которыя понадобятся мыслящей способности для ея работъ. Тратить это время исключительно на *такъ называемое* развитіе разсудка—было бы великой ошибкой и виною передъ дѣтствомъ; а эта ошибка не чужда новѣйшей педагогикѣ.

Періодъ сильной механической памяти продолжается не у всѣхъ одинаково. «Замѣтный упадокъ памяти, говоритъ Бенеке, начинается у большей части дѣтей довольно рано (иногда уже на двѣнадцатомъ году). Этотъ упадокъ долженъ показаться съ перваго раза чрезвычайно загадочнымъ, такъ какъ память, будучи только удержаніемъ образовавшихся въ насъ представленій, должна бы съ каждымъ годомъ возрастать болѣе и болѣе, до безконечности». «Это такъ и бываетъ, говоритъ далѣе Бенеке: но только для тѣхъ представленій, въ которыя то, что усвоено прежде, входитъ какъ составная часть. Занимаясь, напр., постоянно изученіемъ стиховъ, проповѣдей, ролей, мы пріучаемся изучать ихъ все быстрѣе. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, замѣчается убыль силы воспріятія совершенно новыхъ представленій и новыхъ рядовъ представленій; ибо тѣ, которыя уже образовались, и образовались съ извѣстною силою, разрываютъ новыя. Элементы, уславливающие сознаніе и связь представителей (т. е. *Ungewöhnliches*, вырабатываемая душою), привлекаются туда, гдѣ находятъ для себя готовое русло» ²⁾... *Постепеннаго и общаго* упадка силы памяти съ возрастомъ нельзя объяс-

казываетъ, съ одной стороны, неполноту дѣтской памяти, а съ другой — уже дѣятельность разсудка въ ребенкѣ: онъ находитъ уже сходство между двумя животными, только вмѣсто слова «животное» употребляетъ естественное ему извѣстное названіе животнаго.

¹⁾ L'Education progressive, par M-me Necker-de-Saussure. 4 édit. T. I. p. 141 etc.

²⁾ Erziehungs und Unterrichtslehre von Benecke. S. 96.

нить себѣ иначе, какъ признавъ дѣятельное участіе нервной системы въ актѣ усвоенія.

Однакоже самая эта быстрота усвоенія новыхъ и новыхъ ассоціацій въ дѣтскомъ и отроческомъ возрастѣ ведетъ за собою тотъ недостатокъ дѣтской памяти, на который мы указали выше. Младенецъ усваиваетъ трудно и медленно, но усвоенное разъ не забываетъ, потому что его *элементарныя усвоенія* повторяются безпрестанно. Дитя усваиваетъ легко и быстро, но такъ же легко и быстро забываетъ, если не повторяетъ усвоеннаго. Это происходитъ именно отъ того, что, дѣлая все новыя и новыя ассоціаціи, дитя разрываетъ прежнія и забываетъ ихъ, если не повторяетъ. Вотъ почему, напримѣръ, семилѣтняя дѣвочка, удивляющая всѣхъ поразительнымъ знаніемъ географіи, т. е. именъ и цифръ, можетъ утратить *всякій слѣдъ* своего знанія въ продолженіе года, какъ только ее перестаютъ спрашивать, наскучивъ ея всегда безошибочными отвѣтами ¹⁾.

Въ юности, когда въ человѣкѣ пробуждаются съ особенною силою и идеальныя стремленія, и тѣлесныя страсти, работа механической памяти естественно становится на второй планъ; но мы ошиблись бы, сказавъ, что память вообще въ юношескомъ возрастѣ ослабѣваетъ. Она такъ же сильна, но только въ отношеніи тѣхъ ассоціацій, которыя находятся въ связи съ стремленіями юности.

Память зрѣлаго возраста, въ противоположность отроческой, мы можемъ назвать *спеціальною* памятью: здѣсь человѣкъ усваиваетъ легко только то, что относится къ его спеціальнымъ занятіямъ, обращая мало вниманія на все остальное. Въ старости и эта спеціальная память слабѣетъ. Однакоже у многихъ замѣчательныхъ людей даже механическая память сохраняется до глубокой старости—такъ сильна и живуча ихъ нервная система.

Уже само собою видно, что такая постепенность въ развитіи памяти имѣетъ обширное приложеніе въ воспитательной и особенно въ учебной дѣятельности, и что съ этою постепенностью должны соображаться и школа, и педагогъ, и учебникъ.

Содержимое нашею памятью не есть что-нибудь постоянное, не мѣняющееся, къ которому только изъ внѣшняго міра прибавляется новый матеріалъ. Сознаніе не только извлекаетъ изъ впечатлѣній новыя идеи для души и для нервной системы новыя привычки, но еще болѣе, особенно начиная съ юношескаго возраста, работаетъ надъ ассоціаціями, уже прежде усвоенными: не оставляетъ ряды и группы слѣдовъ въ томъ видѣ, какъ они залегли въ памяти, но—то разрываетъ, то связываетъ ихъ или по законамъ разсудка, или подъ вліяніемъ какого-нибудь сердечнаго чувства, или

¹⁾ L'Education progressive, par M-me Necker-de-Saussure. T. II, p. 139.

по требованію разумной воли. Совершивъ такія перемѣны въ рядахъ и группахъ представленій, сознаніе опять превращаетъ ихъ съ одной стороны въ душевныя идеи, а съ другой—въ нервныя привычки, укореняющіяся тѣмъ болѣе, чѣмъ чаще онѣ повторяются. Эта безпрестанная работа сознанія безпрестанно измѣняетъ сѣть того, что мы помнимъ.

Понятно само собою, что на этой работѣ сознанія надъ содержаніемъ памяти должны отразиться не только большая или меньшая дѣятельность работника, но и тѣ явленія, подъ которыми совершалась его работа. Чѣмъ менѣе жилъ человѣкъ внутреннею жизнью, тѣмъ менѣе цѣлости будетъ въ сѣти его воспоминаній. У человѣка мало развитого воспоминанія представляются въ отдѣльныхъ, ничѣмъ не связанныхъ рядахъ и группахъ; у человека много думавшаго, часто перебиравшаго и пересматривавшаго матеріалы своей памяти, выплетется изъ нихъ болѣе или менѣе одна общая сѣть, — общее міросозерцаніе. Конечно, нѣтъ такой головы, въ которой бы душевная жизнь не выплетала ровно ничего, и, за исключеніемъ случаевъ идиотизма, въ которой въ числѣ рядовъ и группъ представленій не было бы хотя какого-нибудь отдѣла, наиболѣе обширнаго и стройнаго: такая голова давала бы намъ каждое мгновеніе только противорѣчія и бессмыслицы. Конечно, нѣтъ и такой головы, въ которой бы всѣ матеріалы памяти были передуманы, перечувствованы и сплетены этою думою и этимъ чувствомъ въ одну общую, стройную сѣть, такъ чтобы въ душѣ не оставалось никакихъ оторванныхъ рядовъ или группъ представленій: въ самой философской головѣ очень часто встрѣчаемъ мы не только оторванные группы представленій, но даже иногда грубѣйшія противорѣчія и предразсудки, не находящіеся ни въ какой связи съ общею сѣтью. Однакоже по большому или меньшему единству сѣти матеріаловъ памяти мы судимъ о большемъ или меньшемъ душевномъ развитіи человѣка.

Но не въ одной только стройности, цѣльности и обширности этой сѣти слѣдовъ ассоціацій отразится работникъ: въ самомъ характерѣ плетенья выразится ясно природный характеръ, условія жизни и вытекающія изъ нихъ стремленія того, кто сплеталъ эту сѣть. Натура поэтическая изъ тѣхъ же звеньевъ сплететъ совсѣмъ не ту сѣть, какую сплететъ натура философская, и сѣть, выплетенная кабинетнымъ философомъ, будетъ отличаться отъ сѣти, выплетенной философомъ-практикомъ, философомъ опыта. Если сѣть эту сплеталъ человѣкъ отъ природы робкій, мнительный, безпрестанно подверженный разнымъ страхамъ, то она будетъ вовсе не похожа на ту, которую выплететъ человѣкъ бодрый, легко и весело переходящій отъ одного впечатлѣнія къ другому. Жизнь бѣдная, трудовая, или жизнь обезпеченная, жизнь исполненная радости или горя... все это оставитъ свой отпечатокъ не на элементахъ слѣдовъ, которые болѣе или менѣе у всѣхъ одинаковы, но

на сѣти, выплетенной изъ этихъ элементовъ. Характеръ этого плетенья и есть именно то, что мы называемъ *образомъ мыслей*. Если мы возьмемъ два самые противоположные образа мыслей, то увидимъ, что звенья, изъ которыхъ они сложены, и здѣсь и тамъ, почти одни и тѣ же, но что плели эти сѣти разные работники—различные люди и различныя жизни.

ГЛАВА XXVI.

Что же такое память? Значеніе памяти.

Слово «память» употребляется очень неопредѣленно; но, принявъ во вниманіе всѣ явленія, которыя относятся къ области памяти, можно вывести *три* значенія этого слова, значенія родственныя и дополняющія другъ друга. Подъ именемъ памяти мы разумѣемъ: 1) или способность сохранять слѣды протекшихъ ощущеній и представленій и потомъ снова сознавать ихъ; 2) или психо-физическій процессъ, посредствомъ котораго мы возобновляемъ пережитыя нами прежде ощущенія; 3) или мы представляемъ память какъ результатъ этой способности и этого психо-физическаго процесса, т. е. какъ сумму всего того, что мы помнимъ. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ психологи, принимающіе всю душу за ассоціацію слѣдовъ, дѣлаютъ память и душу понятіями тождественными. Всѣ эти три значенія памяти справедливы, но односторонни, и мы будемъ имѣть вѣрный взглядъ на память только тогда, когда будемъ видѣть въ ней разомъ и способность, и процессъ, руководимый этою способностью, и результатъ этого процесса. Выразимъ всѣ эти три значенія возможно короче и яснѣе.

Память, какъ способность, принадлежитъ всякому сколько-нибудь развитому животному организму. Мы видимъ признаки памяти даже у насѣкомыхъ. Но въ человѣческой памяти мы различили собственно не одну, а двѣ способности: одну, принадлежащую тѣлу, или, точнѣе, нервной системѣ, и другую, принадлежащую душѣ, или, точнѣе, исключительно духу человѣческому.

Основаніе способности нервной памяти мы нашли въ способности нервной системы усваивать привычки. Привычка можетъ установиться въ организмъ только вслѣдствіе его способности сохранять въ себѣ слѣды своей дѣятельности и проявлять существованіе этихъ слѣдовъ при всякой новой дѣятельности. Въ этомъ смыслѣ способность усваивать привычки и способность памяти совершенно тождественны. Такою памятью обладаютъ не только животные, но даже растительные организмы, и если бы мы представили себѣ растеніе, вдругъ одаренное сознаниемъ, то оно сознавало бы свои привычки,

какъ слѣды бывшихъ движеній: оно не только бы наклоняло свои вѣтви въ ту сторону, въ которую, подъ какимъ-нибудь постороннимъ вліяніемъ, онѣ привыкли наклоняться, но и чувствовало бы, что ему легче наклоняться въ эту сторону, чѣмъ въ другую, — чувствовало бы наклонность именно къ такому наклоненію. Явленіе памяти, которое мы замѣчали у животныхъ, объясняется вполне этою органическою способностью усваивать привычки; но одною этою способностью нельзя объяснить явленій человѣческой памяти.

Мы не знаемъ, какъ совершается процессъ воспоминанія у животныхъ; но, судя по аналогіи, можемъ легко себѣ представить, что онѣ весь состоятъ въ одномъ нервномъ процессѣ, который только отражается въ душѣ животнаго, какъ вообще отражаются въ ней всѣ состоянія нервной системы. Видъ какого-нибудь знакомаго предмета возбуждаетъ въ нервной системѣ животнаго слѣды или привычки, оставшіяся въ ней отъ прежнихъ впечатлѣній того же предмета. Эти слѣды, въ силу рефлексивной способности нервнаго организма и по закону ассоціаціи слѣдовъ, возбуждаютъ къ дѣятельности другіе слѣды, связанные съ ними въ одну ассоціацію, — связанные или по сходству и по противоположности, или по мѣсту и по времени, или, наконецъ, по единству сердечнаго чувства: гнѣва, страха, радости и т. п. Ассоціація слѣдовъ, вошедшая въ сознаніе, или, другими словами, ассоціація представленій пробуждаетъ другіе слѣды или другія представленія; второе представленіе возбуждаетъ третье, третьимъ вызывается четвертое и т. д. Этотъ пассивный процессъ воспоминанія необходимо долженъ совершаться и въ животныхъ, точно такъ же, какъ совершается и въ насъ; иначе мы не могли бы объяснить себѣ явленій памяти въ животномъ царствѣ.

Кромѣ этого *пассивнаго* процесса памяти, мы замѣчаемъ въ самихъ себѣ процессъ *активный*, стимулъ котораго выходитъ уже не изъ нервной системы, а изъ души, когда мы ищемъ въ нервной памяти нашей того, что намъ нужно, употребляемъ для этого замѣтныя душевныя усилія и часто долго боремся съ недостатками нашей нервной памяти. Этого активнаго процесса воспоминанія мы не можемъ предположить въ животныхъ именно потому, что онѣ не нужны намъ для объясненія какого бы то ни было явленія памяти въ животномъ царствѣ: въ себѣ же самихъ мы очень ясно замѣчаемъ этотъ процессъ. Для объясненія этихъ, челоѣку только свойственныхъ, явленій памяти, мы признали, что ощущеніе, прочувствованное нами, не только оставляетъ свой слѣдъ въ нервной системѣ, въ таинственной формѣ *привычки*, но и въ душѣ, въ столь же таинственной формѣ *идеи*. Эту, свойственную только челоѣку, память мы назвали еще *памятью развитія*, потому что этою духовною памятью обуславливается тотъ духовный и свойственный одному челоѣку процессъ, который, по аналогіи съ процессами растительной природы, принято называть развитіемъ.

Если бы животныя не имѣли *пассивной* памяти, то мы не видѣли бы множества явленій памятности въ животныхъ; если бы животныя обладали *активной* памятью, то породы животныхъ могли бы развиваться умственно, какъ развивается человѣчество. Вотъ почему мы должны были признать въ животныхъ память пассивную и не признать въ нихъ памяти активной. *Животному вспоминается, но животное не вспоминаетъ.* Въ человѣкѣ же мы различаемъ ясно оба эти явленія памяти. На памяти душевной, *памяти развитія*, мы не могли остановиться, потому что она, какъ особенность человѣческой души, какъ одинъ изъ признаковъ человѣческаго духа, подлежитъ разсмотрѣнiю въ третьей части нашей антропологии. Здѣсь же намъ достаточно было указать на существованіе этого явленія.

Слѣдъ *нервный* и слѣдъ *душевный* относятся между собою, какъ *идея* и ея *воплощеніе*, или какъ *отношеніе* къ тѣмъ *различіямъ*, между которыми оно является отношеніемъ. Если различныя движенія, возбужденныя въ нервахъ внѣшними напоминающими впечатлѣніями, вызываютъ въ душѣ ощущеніе отношенія, то такое воспоминаніе будетъ для души *пассивнымъ*; если *идея* или *отношеніе*, возбужденное въ душѣ ея внутреннимъ процессомъ, вызываетъ въ нервной системѣ именно тѣ различныя движенія, изъ которыхъ отношеніе возникло, то такое воспоминаніе для души будетъ *активнымъ*. Такимъ образомъ, мы нашли два процесса воспоминанія, какъ и два процесса вниманія: процессъ *активный*, идущій изъ души въ нервный организмъ, и процессъ *пассивный*, идущій обратнымъ путемъ—изъ нервной системы въ душу.

*Память, какъ психо-физическій процессъ, какъ процессъ запоминанія, забвенія и воспоминанія, совершается въ насъ непрерывно во все время дѣятельности нашего сознанія и совершается подъ вліяніемъ не одного стимула, какъ у животныхъ, но подъ вліяніемъ двухъ стимуловъ—нервной системы и души: то внѣшнее впечатлѣніе пробуждаетъ въ нервной системѣ нашей прежде усвоенныя ею слѣды, расположенныя въ ней парами, группами, вереницами и сѣтями, и эти слѣды отражаются въ нашемъ сознаніи представленіями и вереницами представленій; то, наоборотъ, душа наша въ своей внутренней работѣ, переходя отъ идеи къ идеѣ, стремится къ воплощенію этихъ идей и воплощаетъ ихъ въ формѣ тѣхъ же слѣдовъ привычекъ нервной системы, изъ которыхъ или съ помощью которыхъ эти идеи возникли. Тогда идея снова облекается въ форму *представленія* и сознается душою съ удвоенною ясностью, которая происходитъ отъ дѣятельности органовъ чувствъ, такъ что душа сознаетъ свою воплощенную идею, какъ нѣчто объективное, ощущаетъ ее въ *представленіи* энергіею внѣшняго чувства.*

Такимъ образомъ *представленіе*, въ нашей теоріи памяти, стоитъ

посредствѣ между нервными слѣдами и идеею души, служа какъ бы перекресткомъ, какъ при воплощеніи идей въ ассоціаціи нервныхъ слѣдовъ, такъ и при вызовѣ идей въ нашей душѣ *отношеніями* этихъ слѣдовъ и ихъ ассоціацій. Представленіе есть тоже ассоціація; но уже не нервныхъ слѣдовъ, еще не доступныхъ сознанію, и не идей, еще не доступныхъ внѣшнему чувству, но ассоціація ощущеній, доступныхъ уже сознанію въ формѣ внѣшняго чувства. Вотъ почему мы излагали потомъ не ассоціаціи нервныхъ слѣдовъ и не ассоціаціи идей, а ассоціаціи сознаваемыхъ представленій, которыя только и даютъ намъ возможность предполагать съ одной стороны ассоціацію нервныхъ слѣдовъ, а съ другой—ассоціацію идей. Только въ формѣ представленій можемъ мы ясно изучать нашу психическую дѣятельность и только изъ этой ясной сферы можемъ заглядывать, болѣе догадкою и силлогизмомъ, чѣмъ опытомъ, въ область нервной системы, съ одной стороны, и въ область нашего духа—съ другой.

Въ психо-физическомъ процессѣ памяти развивается самая способность памяти, и притомъ такъ развивается, что самое содержаніе памяти является матеріаломъ ея развитія, или, лучше сказать, память развивается въ томъ, что она содержитъ. Такой взглядъ на память, установленный психологіею со времени Гербарта, имѣетъ очень важное педагогическое приложеніе. Когда считали память какою-то самостоятельную способностью, индифферентною въ отношеніи содержаемаго ею, то полагали, что память вообще можно развивать безразлично всякаго рода упражненіями,—что, изучая, напримѣръ, латинскіе или нѣмецкіе вокабулы, мы изоощряемъ память для воспріятія историческихъ фактовъ или хронологіи событій. Теперь же ясно, что память не можетъ изоощряться, какъ стальное лезвіе, на какомъ бы оселкѣ мы его ни точили; но что память крѣпнетъ именно тѣми фактами, которые мы въ нее влагаемъ, и изоощряется къ принятію подобнаго же рода фактовъ, насколько эти новые факты могутъ составить прочныя ассоціаціи съ фактами, пріобрѣтенными прежде. Теперь, наоборотъ, мы видимъ ясно, что, передавая памяти факты безполезные, не ведущіе къ усвоенію другихъ полезныхъ фактовъ, мы наносимъ ей вредъ, потому что, во всякомъ случаѣ, сила памяти, зависящая такъ много отъ нервной системы, ограничена. Свѣдѣніе же, которое останется въ памяти одинокимъ и не послужитъ къ усвоенію другихъ, однородныхъ свѣдѣній, только обременяетъ, а не развиваетъ память. Показавъ это, психологія оказала весьма важную услугу педагогикѣ.

Однакоже, признавъ вполне важность этого вывода новой опытной психологіи, мы не можемъ принять его безъ всякаго ограниченія. Признавая вполне, что память развиваютъ только тѣ представленія и ассоціаціи представленій, которыя могутъ послужить *залогамъ* для воспріятія новыхъ

представленій, мы должны однакоже сказать, что вообще всякое упражненіе произвольнаго воспоминанія (не запоминанія) упражняетъ власть нашей воли надъ нашей нервной системою. Заставляя себя упорно вспоминать то или другое, мы привыкаемъ не забывать, — получаемъ увѣренность въ возможности вспомнить, а эта увѣренность имѣетъ сильнѣйшее вліяніе на актъ воспоминанія. Въ этомъ можетъ убѣдиться всякій внимательный наставникъ. Дитя, неувѣренное въ своей памяти, привыкшее знать, что оно забываетъ, легко отказывается отъ усилій воспоминанія и тѣмъ самымъ заставляетъ изглаживаться въ памяти пріобрѣтенные ею факты. Часто учитель самъ виноватъ въ такой неувѣренности ученика и можетъ легко замѣтить, какъ дурно дѣйствуетъ на память подобная неувѣренность. Уже только потому слѣдуетъ изучать твердо и часто повторять изученное, чтобы дѣти не привыкли забывать и, не будучи часто въ состояніи преодолѣть слишкомъ большія трудности насильственныхъ воспоминаній, не потеряли увѣренности въ силу своей памяти: безпрестаннымъ повтореніемъ слѣдуетъ предупреждать забвеніе, а не возобновлять забытое.

Безпрестанное повтореніе въ началѣ ученія необходимо уже и потому, что представленія, усваиваемыя памятью, суть въ то же время *залог* для усвоенія новыхъ представленій; чѣмъ прочнѣе будутъ эти залог, тѣмъ легче и прочнѣе будутъ усваиваться новыя представленія. Въ силу этого же самаго психическаго закона, слѣдуетъ полагать въ память учащагося прежде всего такіе залог, которые могли бы повести къ усвоенію многихъ однородныхъ.

Въ процессъ развитія памяти входитъ не только усвоеніе новыхъ представленій, но и новыя ассоціаціи представленій уже усвоенныхъ. Собственно говоря, память наша вовсе не усваиваетъ единичныхъ, отъ всего оторванныхъ представленій, да и всякое представленіе есть уже ассоціація слѣдовъ элементарныхъ ощущеній. Сознаніе наше безпрестанно работаетъ надъ этой перестановкою представленій и перестановкою ассоціацій. Но, тѣмъ не менѣе, ассоціаціи, составленныя въ раннемъ дѣтствѣ или подъ вліяніемъ сильнаго сердечнаго чувства, разрываются потомъ съ величайшею трудностью. Если эти ассоціаціи ложны, односторонни или почему-нибудь вредны, то онѣ безпрестанно путаются въ нашъ умственный процессъ и мѣшаютъ его правильному и свободному совершенію. Это явленіе обратило на себя особенное вниманіе Локка, и онъ совѣтуетъ воспитателямъ и наставникамъ ревностно заботиться о томъ, чтобы въ головѣ дитяти не установлялись и не укоренялись такія ложныя и вредныя ассоціаціи ¹⁾. Не должно думать, что стѣдуетъ только выказать человѣку ложь подобной

¹⁾ Cond. of the Underst, p. 100.

ассоціаціи—этого основанія всѣхъ человѣческихъ предразсудковъ — чтобы ее разрушить. Она разрушится только въ томъ случаѣ, когда новая правильная ассоціація, которую вы хотите дать вмѣсто прежней ложной, будетъ повторяться столько же разъ, сколько и прежняя старая, а главное—будетъ прилагаться безпрестанно и войдетъ въ обширныя связи съ другими ассоціаціями: это же дѣлается не сразу.

Перестройка ассоціацій составляетъ главную работу души, и хотя рѣдкая душа (да и едва ли какая-нибудь) достигаетъ того, чтобы всѣ хранящіяся въ ней представленія составили одну стройную систему, но тѣмъ не менѣе, степень этой стройности можетъ служить лучшимъ мѣриломъ развитія и сосредоточенности души, а сосредоточенность души есть ея сила. Мы, конечно, не можемъ требовать отъ дѣтской души, чтобы всѣ представленія, въ ней хранящіяся, составляли одну систему; но мы должны готовить возможность такой системы въ умѣ ученика и приучать его къ внутренней работѣ надъ приведеніемъ въ ясную и отчетливую стройность всего богатства его представленій.

Память, какъ результатъ процесса нашей сознательной жизни. Мы — то, что мы помнимъ, — вотъ выводъ новой психологій. Съ этимъ выводомъ нельзя вполне согласиться, даже если мы введемъ въ область нашей памяти наши сердечныя чувства и желанія, какъ результаты борьбы усвоенныхъ нами представленій. Въ области нашей памяти все же будутъ лежать способности, врожденныя нашей душѣ и нашему нервному организму, ихъ врожденныя потребности и стремленія. Возьмемъ, на примѣръ, одну потребность пищи: развѣ она имѣетъ мало вліянія на наши умственные процессы? А, между тѣмъ, потребность эта не есть слѣдствіе представленій, усвоенныхъ душою. Странно даже, какъ гербартовская и бенековская психологія упустила изъ виду такое крупное явленіе. Однакоже, не отождествляя душу и память, душу и то, что она помнитъ, какъ это дѣлаетъ даже Фихте-младшій, мы, тѣмъ не менѣе, придаемъ памяти, какъ суммѣ всѣхъ сохраняемыхъ нами представленій или какъ суммѣ душевныхъ актовъ, огромное, хотя не всеобъемлющее, значеніе. Мотивы нашей душевной дѣятельности выходятъ изъ врожденныхъ потребностей нашего тѣла и врожденныхъ потребностей нашей души, какъ это мы увидимъ дальше еще яснѣе. Но матеріаль, надъ которымъ душа работаетъ, дается тѣмъ, что она помнитъ, а этотъ матеріаль опредѣляетъ и самую форму ея работъ. Не признавая тождества между душою и тѣмъ, что она помнитъ, мы, тѣмъ не менѣе, признаемъ, что память есть исторія души и, притомъ, исторія не протекшая, но всегда настоящая. Все, что сохраняется памятью, имѣетъ всегда вліяніе на душу и принимаетъ такое или иное участіе въ ея дѣятельности. У души, въ строгомъ смыслѣ слова

нѣтъ прошедшаго; все ея прошедшее живо въ ея настоящемъ, и отдаленнѣйшее событіе нашего дѣтства не есть дѣло, сданное въ архивъ,—хотя мы позабыли бы самое производство этого дѣла и когда оно производилось,—но всегда живой членъ нашей настоящей дѣятельности. Мы можемъ измѣнять функцію той или другой ассоціаціи представленій, но не можемъ сдѣлать небывшимъ того, что разъ уже было въ душѣ.

Въ *психическомъ* отношеніи все значеніе памяти выяснится для насъ, если мы представимъ себѣ существо, вовсе лишенное памяти. Какимъ является только что родившійся младенецъ въ первыя минуты своей жизни, такимъ, безъ пособія памяти, и остался бы онъ на всю жизнь, то-есть, болѣе неразвитымъ въ душевномъ отношеніи, чѣмъ являются намъ самыя низшія породы животныхъ. Такое существо не только не могло бы помнить своихъ ощущеній и усложнять ихъ, привязывая слѣды однихъ ощущеній къ другимъ, но даже не могло бы имѣть, какъ мы доказали выше, никакихъ опредѣленныхъ ощущеній: безцѣльныя, ничего невыражающія движенія—вотъ все, чѣмъ обнаруживалось бы присутствіе жизни въ такомъ безпамятномъ существѣ. Все развитіе животнаго и человѣка совершается не иначе, какъ въ области памяти и чрезъ ея посредство, такъ что все психическое развитіе живого существа есть собственно развитіе памяти.

*Способность сохранять слѣды ощущеній въ формѣ нервныхъ слѣдовъ и въ формѣ идей, вызывать эти слѣды снова къ сознанію, ассоціировать эти повторенныя ощущенія, вновь сохранять слѣды этихъ ассоціацій, вызывать эти слѣды ассоціацій къ сознанію въ формѣ представленій, вновь комбинировать эти представленія въ ряды и группы, сохранять слѣды этихъ рядовъ и группъ въ ассоціаціяхъ привычекъ нервной системы и въ ассоціаціяхъ идей, вновь вызывать къ сознанію эти ряды и группы, выплестать изъ нихъ цѣлыя болѣе или менѣе обширныя стѣти, сохранять слѣды этихъ цѣльныхъ стѣтей привычекъ и идей—вотъ въ чемъ состоитъ дѣятельность памяти, а потому уже само собою видно все психическое значеніе этой способности. На ней основана вся *внутренняя жизнь* человѣка, для которой внѣшняя служитъ только обнаруженіемъ. Способность памяти, сохраняя въ насъ слѣды вліаній на насъ внѣшняго міра, даетъ самостоятельность нашей внутренней жизни. Мы работаемъ уже не надъ этими впечатлѣніями, измѣнчивыми какъ міръ и наши отношенія къ нему, но надъ ихъ слѣдами, которые усвоили: безъ этого мы находились бы въ такой же зависимости отъ внѣшняго міра, въ какой находится растеніе.*

Нравственное значеніе того, что мы помнимъ, раскроется для насъ вполне тогда только, когда мы, излагая зарожденіе чувствъ, желаній и стремленій, увидимъ, что и ихъ развитіе совершается такъ же въ области

памяти и ея силами, какъ и развитіе умственныхъ способностей,—когда мы убѣдимся, что отъ нашихъ чувствъ, желаній и стремленій точно такъ же остаются слѣды въ душѣ, какъ и отъ нашихъ представленій, и что эти слѣды, превращаясь въ силы, точно такъ же развиваютъ наши сердечныя чувства, желанія и волю, какъ и слѣды представленій развиваютъ нашу память и нашъ умъ. Теперь же намъ можетъ показаться, что содержаніе того, что мы помнимъ, не имѣетъ значительнаго вліянія на наши нравственныя стремленія. Такъ, напримѣръ, не только читая, но даже создавая какой-нибудь разбойничій романъ или описывая плутовство, человѣкъ не получаетъ еще склонности къ воровству и разбою, или описывая геройскіе подвиги, можетъ оставаться трусомъ и т. п. Однакоже, съ другой стороны, чтеніе *дурныхъ* романовъ развратило не одного юношу. Отчего же происходитъ такое различіе? Оттого, что читая, напримѣръ, описаніе разбойничьей или развратной жизни, я могу не сочувствовать или сочувствовать ей: въ первомъ случаѣ, *ассоціаціи представленій не сходятъ въ комбинаціи съ чувствами, а во второмъ входятъ*. Не только представленія могутъ составлять между собою ассоціаціи, но ассоціаціи представленій могутъ комбинироваться съ чувствами, желаніями и стремленіями. Въ Спартѣ показывали дѣтямъ пьянаго плота, чтобы укоренить въ нихъ навсегда отвращеніе къ пьянству, то-есть, *представленіе пьянаго илота комбинировали съ чувствомъ отвращенія, и эта комбинація представленія съ чувствомъ оставляла глубокой слѣдъ въ души дѣтей*. Если то, что заучивается дѣтьми, не пробуждаетъ въ нихъ никакого чувства, желанія и стремленія, то тогда заученное не можетъ имѣть никакого *непосредственнаго* вліянія на ихъ нравственность; но если чтеніе или ученье, какъ говорится, *затрагиваютъ сердце*, то и въ памяти останутся слѣды комбинацій представленій съ чувствами, желаніями и стремленіями, пробужденными чтеніемъ или ученьемъ, и такой сложный образъ, *слѣдъ*, возбуждаясь къ сознанію, пробудитъ въ немъ не только представленіе, но и желаніе, стремленіе, чувство ¹⁾.

Изъ комбинаціи слѣдовъ этихъ моментальныхъ и, какъ казалось, забытыхъ чувствъ, желаній и стремленій образуются страсти и упорныя нравственныя или безнравственныя склонности. Вотъ почему далеко не безразлично въ нравственномъ отношеніи, что учить, что слышать и что читаетъ дитя. Конечно, еще важнѣе то, что дитя переживаетъ, перечувствуетъ; но нѣтъ и такой книги, и такой науки, которая не задѣвала бы хоть сколько-нибудь сердца ребенка, а отъ этихъ маленькихъ задѣваній образуются

¹⁾ Комбинація представленій съ чувствами и стремленіями особенно хорошо развита у Фортлаге. System der Psychol. Erst. B. S. 133—135, 160 и 174.

черточки, а изъ этихъ черточекъ образуются ассоціаціи, а изъ этихъ ассоціацій иногда слагаются потомъ такіе источники наклонностей и страстей, съ которыми уже не въ состояніи совладать и взрослый человѣкъ. Теперь уже для насъ понятны будутъ слѣдующія знаменательныя слова Бенеке, которыя не теряютъ своей силы отъ того, что въ нихъ нѣсколько выражается односторонность теоріи этого психолога:

«Мысль, что отъ всего, что только развивается въ душѣ, *остается слѣдъ въ ея внутреннемъ существѣ*, должна служить, съ одной стороны, великимъ *ободреніемъ* для воспитателя. Онъ можетъ быть увѣренъ, что не даромъ работаетъ, и если онъ только умѣетъ придать настоящую крѣпость своимъ вліяніямъ и ихъ продуктамъ и умѣетъ поставить ихъ въ настоящее положеніе другъ къ другу, то они, тѣмъ или другимъ образомъ, будутъ приносить плоды во всю жизнь человѣка. Но, съ другой стороны, мысль эта должна внушить воспитателю и *серьезную осторожность*, какъ въ отношеніи его собственныхъ дѣйствій, такъ и еще больше въ отношеніи постороннихъ вліяній, которымъ подвергается воспитанникъ. Многіе воспитатели, и въ особенности большая часть родителей, имѣютъ несчастную способность страуса, который, спрятавъ голову, такъ что онъ самъ ничего не видитъ, полагаетъ, что и его никто не видитъ. Не зная, какъ предохранить дитя отъ вредныхъ вліяній со стороны прислуги, товарищей, гостей и т. п., они не находятъ ничего лучшаго, какъ предоставить этимъ вліяніямъ идти, какъ они идутъ, полагая, что дурныя послѣдствія не будутъ слишкомъ значительны и что имъ удастся безъ труда уничтожить ихъ, какъ только они возьмутся за дѣло. Но ничто не можетъ быть невѣрнѣе этой надежды» ¹⁾).

Дѣйствительно, смотря на способности душевныя, какъ смотрѣлъ на нихъ Бенеке, мы должны придать *безграничную* силу воспитанію. Если всѣ душевныя способности слагаются изъ слѣдовъ ощущеній, то самое созданіе всего внутренняго человѣка въ рукахъ воспитанія, если только оно сумѣетъ завладѣть тѣми путями, какими эти слѣды проходятъ въ душу человѣка. Но мы, придавая также огромное значеніе воспитанію, какъ преднамѣренному, такъ и случайному, видимъ, однако, что вліянію его есть предѣлъ въ прирожденныхъ силахъ души и въ тѣхъ прирожденныхъ задаткахъ наклонностей, о которыхъ мы говорили въ главахъ о привычкѣ. Воспитаніе можетъ сдѣлать много, очень много — но не все: природа человѣка, какъ мы видѣли уже во многихъ мѣстахъ нашего труда, имѣетъ также значительную долю въ развитіи внутренняго человѣка.

Послѣ всего сказаннаго не нужно уже и говорить о *педагогическомъ значеніи* памяти. Можно сказать безъ большой натяжки, что воспитатель

¹⁾ Benecke's Erziehungs-und Unterrichtslehre. Erst. B., стр. 32.

имѣеть дѣло только съ одною памятью воспитанника и что на способности памяти основывается вся возможность воспитательнаго вліянія. «Только то, что мы удерживаемъ внутри насъ, говоритъ Бенеке, можемъ мы перерабатывать далѣе: развивать въ высшія духовныя формы и прилагать къ жизни. Разсудокъ, способность сужденій и умозаключеній, короче, всѣ духовныя силы, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, зависятъ отъ совершенства памяти» ¹⁾. «Вся культура и всякій успѣхъ культуры, говоритъ тотъ же психологъ въ другомъ мѣстѣ, основывается на томъ, что каждому уже въ самомъ раннемъ дѣтствѣ сообщаются безчисленныя комбинаціи (ассоціаціи слѣдовъ), не только тѣ, которыя комбинированы людьми, поставленными съ воспитанниками въ непосредственное соотношеніе, но и тѣ, которыя накопились безчисленными поколѣніями человѣчества, въ продолженіе тысячелѣтій, и всѣми народами земли. Усваивая эти комбинаціи, человѣкъ пріобрѣтаетъ умственное, эстетическое и моральное наследство милліоновъ и пользуется для своего образованія плодами трудовъ (плодами жизни) возвышеннѣйшихъ геніевъ, какихъ только производила человѣческая природа».

ГЛАВА XXVII.

Процессъ воображенія.

Отдѣлить процессъ воображенія, съ одной стороны, отъ процесса ощущеній и воспоминаній, а съ другой, отъ процесса мышленія — не такъ легко, какъ можетъ показаться съ перваго раза. Рѣшенію этой задачи Аристотель посвящаетъ почти всю третью книгу свою «О душѣ», и, несмотря на туманность этой книги, происходящую, вѣроятно, отъ испорченности, мы воспользуемся изъ нея многимъ. Гербартовская психологія соединяетъ воспоминаніе, мышленіе и воображеніе въ одинъ актъ *воспроизведенія* (*herproduction*). Но такимъ смѣшеніемъ она, какъ намъ кажется, не уясняетъ, а затемняетъ явленія. Вотъ почему, можетъ быть, нѣкоторые изъ гербартіанцевъ, какъ на примѣръ Дробишъ, считаютъ уже необходимымъ признать, что воспоминаніе и воображеніе суть двѣ вѣтви одного и того же процесса ассоціацій и воспроизведенія ²⁾. Но, въ такомъ случаѣ, слѣдовало показать, гдѣ раздѣляются и чѣмъ различаются между собою эти двѣ вѣтви и гдѣ отдѣляется отъ нихъ третья, мышленіе, или, по крайней мѣрѣ, показать, откуда происходитъ у насъ то ясное чувство различія этихъ трехъ процессовъ,

¹⁾ Benecke's Erziehungs und Unterrichtslehre. Erst. B. S. 93.

²⁾ Empir. Psych. § 118.

которое говоритъ намъ, что *вспоминать*, *воображать* и *мыслить*— не одно и то же. Постараемся же, съ помощью Аристотеля, а еще болѣе съ помощью самонаблюдения, разграничить эти три главные душевные процесса: тогда будетъ для насъ понятнѣе и связь между ними.

Взглянувъ на какой-нибудь предметъ, даже очень сложный, мы можемъ потомъ воспроизвести его въ своемъ сознаниі съ болшею или меньшею вѣрностью и болшею или меньшею ясностью. Степень этой ясности бываетъ очень различна, и отъ слабаго очерка, какъ бы закрытаго туманомъ, достигаетъ иногда до яркости дѣйствительнаго созерцанія, такъ что наяву насъ часто поражаетъ эта необыкновенная живость представляемаго нами лица, зданія, происшествія и т. п.; а во снѣ мы получаемъ полное убѣжденіе въ дѣйствительности того, что представляемъ. Спрашивается, что же это такое, — *воспоминаніе* или *воображеніе*? Если предположить, что мы ничего не *прифантазировали* къ тому, что было сохранено нашею памятью и что теперь воспроизводится нашимъ сознаниемъ, то, безъ сомнѣнія, это будетъ воспоминаніе—очень живое, но все же воспоминаніе. Слѣдовательно, степенью живости и образности воспоминаемыхъ представленія не могутъ быть отличаемы отъ воображаемыхъ.

Нельзя ли вывести изъ этого, что произведенія воображенія отличаются отъ произведеній воспоминанія тѣмъ, что въ воображенія мы измѣняемъ воспоминаемое или создаемъ нѣчто такое, чего не было въ нашихъ воспоминаніяхъ? Можетъ быть, въ процессѣ воображенія мы *создаемъ* нѣчто *новое*, чего не было положено въ нашу память? Однако не трудно убѣдиться, что воображеніе наше рѣшительно не можетъ создать что-нибудь совершенно новое; мы не можемъ *представить* себѣ чего-нибудь такого, чего совершенно не было бы въ нашихъ воспоминаніяхъ. «Власть человѣка въ маленькомъ мірѣ его пониманія, говоритъ Локкъ, такова же, какова и въ большемъ мірѣ видимыхъ вещей, гдѣ человѣкъ можетъ творить только изъ даннаго уже ему природою матеріала, но не можетъ ни разрушать, ни создавать ни одного атома». Воображеніе египтянъ сфантазировало и выразило въ гранитѣ несуществующаго въ природѣ сфинкса, но каждая черта въ этомъ фантастическомъ животномъ взята изъ природы. Только соединеніе этихъ чертъ принадлежитъ воображенію человѣка. Тогда рождается вопросъ, не можемъ ли мы отличить представленій воображаемыхъ тѣмъ, что первыя вѣрны дѣйствительности, а вторыя—нѣтъ? Но, во-первыхъ, не всѣ наши воспоминанія вѣрны дѣйствительности и даже едва ли есть совершенно вѣрныя; а во-вторыхъ, если я представляю себѣ сфинкса, образъ котораго сформировалъ прежде, то ясно, что въ этомъ случаѣ я вспоминаю, а не воображаю. Но что же я вспоминаю? То, что прежде было сформировано моимъ воображеніемъ изъ элементовъ, сохраненныхъ памятью. Изъ этого мы мо-

жемъ вывести, что воображеніе отличается отъ воспоминанія *новостью* производимыхъ имъ ассоціацій изъ тѣхъ представленій, которыя сохранялись въ памяти. Память сохраняетъ намъ слѣды и идеи представленій; процессъ воспоминанія, откуда бы ни шла его инициатива ¹⁾, выдаетъ ихъ снова сознанию въ ощущаемой формѣ представленій, а воображенію принадлежитъ только *новая комбинація* этихъ элементовъ, сохраненныхъ памятью ²⁾.

Отдѣливъ процессъ воображенія отъ процесса воспоминанія, мы должны отличить его и отъ процесса *мышленія*, хотя не можемъ сдѣлать этого съ тою же точностью, такъ какъ процессъ мышленія еще не анализированъ нами. Но сдѣлаемъ хотя предварительное отдѣленіе, предоставивъ себѣ право исправить его, если это окажется необходимымъ, когда мы ближе ознакомимся съ процессомъ мышленія.

Въ процессѣ мышленія мы такъ же не дѣлаемъ ничего иного, какъ только комбинируемъ представленія, выдаваемые сознанию памятью. Однакоже, какъ справедливо замѣчаетъ Аристотель, мы можемъ преднамѣренно сфантазировать какую-нибудь комбинацію представленій безъ всякой вѣры въ дѣйствительность этой комбинаціи, зная, что это только дѣло нашего воображенія. Мало этого, мы можемъ даже совершенно невольно представлять себѣ что-нибудь и въ то же время сознавать, что это не болѣе какъ фантазія. Мы, какъ говоритъ Аристотель, представляемъ себѣ солнце небольшимъ кругомъ, а между тѣмъ *думаемъ*, что оно гораздо больше всей обитаемой нами земли ³⁾. Не только наяву, но *даже и во снѣ* мы нерѣдко сознаемъ, что представляемое нами явленіе есть только фантазія. Слѣдовательно, въ этомъ случаѣ въ насъ ясно совершаются два одновременные процесса: *мы мыслимъ о томъ, что воображаемъ*, — оцѣниваемъ его странности, вѣроятность или невѣроятность, красоту или безобразіе, передѣлываемъ его, исправляемъ или прогоняемъ. Вотъ почему Аристотель былъ *отчасти* въ правѣ сказать, что мы отличаемъ воображеніе отъ мышленія *увѣренностью*, которою сопровождается наше мышленіе: если мы увѣрены въ дѣйствительности того, что воображаемъ, то, значитъ, мы мыслимъ. Слѣдовательно, между воображеніемъ и мышленіемъ есть лишь одно *субъективное*, для насъ только существующее различіе, и безумецъ, вообра-

¹⁾ См. выше, гл. XXII.

²⁾ «Душа наша, говоритъ Локкъ, часто обнаруживаетъ активную дѣятельность въ образованіи многихъ комбинацій: будучи снабжена простыми идеями, она можетъ соединять ихъ въ комбинаціи и, такимъ образомъ, образовывать множество разнообразныхъ сложныхъ идей (представленій), не справляясь, существуютъ ли онѣ вмѣстѣ въ природѣ». Of hum. Underst. Ch. XXII, § 2.

³⁾ Arist. De anima, L. III, c. 3. Uebers. von Weisse. S. 74.

жающій, напримѣръ, что у него стеклянныя ноги, и вполне увѣренный въ этомъ, уже не фантазируетъ, а мыслить.

Принявъ такое отличіе воображенія отъ памяти, съ одной стороны, и отъ мышленія, съ другой, мы можемъ задать себѣ вопросъ: чѣмъ же воображеніе отличается отъ непосредственнаго ощущенія? Отвѣтъ на это мы находимъ опять же у Аристотеля. «Воображеніе, говоритъ онъ, есть какъ бы чувствованіе, но только безъ матеріала» ¹⁾. Это замѣчаніе поразитъ насъ своею вѣрностью, если мы ясно припомнимъ тѣ минуты, когда намъ приходилось долго и упорно бороться съ созданіями нашего собственнаго воображенія. Мы боремся тогда съ ними, какъ съ непосредственными впечатлѣніями, возбуждаемыми въ насъ внѣшнимъ міромъ, съ тою только разницею, что отъ предметовъ внѣшняго міра мы можемъ отвернуться или уйти, но созданія нашего воображенія мы носимъ съ собою всегда и вездѣ, и можемъ отдѣлаться отъ нихъ только прямымъ усиліемъ нашей воли, выбирающей другой матеріалъ для нашей психической дѣятельности. Это усиліе не всегда легко и не всегда увѣнчивается успѣхомъ съ перваго же раза: какъ только усиліе ослабѣетъ, такъ созданіе нашего воображенія опять возникаетъ въ нашемъ сознаніи, и иногда нужно какое-нибудь сильное нервное потрясеніе, чтобы отдѣлаться отъ такого фантома, нами самими созданнаго. Это явленіе объяснится намъ безъ труда, когда мы припомнимъ, что въ нашихъ психофизическихъ актахъ дѣйствуетъ не одна душа, но и нервная система со своею способностью сохранять слѣды впечатлѣній и, будучи возбуждена къ сильной дѣятельности, вводитъ эти слѣды въ наше сознаніе уже въ формѣ ощущеній и ассоціацій ощущеній или представленій. По теоріи же души, какъ ассоціаціи слѣдовъ или представленій, и вообще по теоріи, не раздѣляющей души и тѣла, это явленіе, каждому изъ насъ знакомое, вовсе не можетъ быть объяснено. Здѣсь мы видимъ борьбу *чего-то* съ нервной системой, а не дѣятельность одного и того же агента. Замогильные призраки, приводимые мистиками или плутами для доказательства отдѣльнаго существованія души, вовсе доказываютъ противное. Хороша душа, одѣтая въ саванъ или мундиръ и которую можно видѣть и слышать! Но человѣкъ, спокойно разсматривающій такое явленіе съ сознаніемъ, что это дуритъ его большая фантазія, доказываетъ, что душа и нервы не одно и то же. Не трудно же видѣть, что это вовсе не какое-нибудь исключительное душевное явленіе и что если оно не часто встрѣчается въ рѣзкой формѣ фантомовъ и видѣній, то, тѣмъ не менѣе, ясное присутствіе его мы можемъ замѣтить почти при всякомъ процессѣ мышленія. Наблюдая внимательно за процессомъ нашей мысли, мы убѣдимся, что мы безпрестанно боремся съ тѣми

¹⁾ De anima, L. III, c. 8.

представленіями, которыя подсовываетъ намъ наша фантазія: то признаемъ ихъ вѣрность дѣйствительности, то отвергаемъ, какъ представленія ложныя, то передѣлываемъ и исправляемъ.

Не всегда, однако, воображеніе наше дѣйствуетъ какъ бы наперекоръ нашему мышленію; но столь же часто является оно болѣе или менѣе покорнымъ слугою нашей мысли и нашей воли. Сильное, стремительное и яркое воображеніе, съ которымъ душа человѣка не можетъ бороться, создаетъ безумцевъ. То же самое воображеніе, покорное воли человѣка, создаетъ не только великихъ поэтовъ, но также великихъ мыслителей и ученыхъ. «Для самостоятельнаго мышленія въ наукѣ, говоритъ Гербартъ, нужно не менѣе фантазіи, какъ и для поэтическаго творчества, и трудно рѣшить, у кого было болѣе фантазіи, у Шекспира или у Ньютона» ¹⁾. Воображеніе слабое, вялое, блѣдное не доведетъ человѣка до безумія, но и не создастъ генія. Слѣдовательно, мы видимъ, что если воображеніе наше есть дѣятельность нервовъ, отражающаяся въ сознаніи, то управленіе этою дѣятельностью можетъ вытекать или изъ души, или изъ источниковъ, внѣшнихъ для души. Выражаясь другими словами, такъ какъ мы признали за воображеніе только новую комбинацію представленій, сохраняемыхъ памятью, то эти комбинаціи могутъ происходить или независимо отъ нашей души, по какимъ-то внѣшнимъ для нея причинамъ, или производиться ею самою. Такимъ образомъ, и самый процессъ воображенія мы можемъ раздѣлить на процессъ *пассивный* и процессъ *активный*, подобно тому, какъ раздѣлили уже и процессъ воспоминанія, и процессъ вниманія или ощущенія. Это дѣленіе, встрѣчающееся уже у Малабранша ²⁾ (но онъ не вывелъ изъ него тѣхъ послѣдствій, какія изъ него сами собою вытекаютъ), кажется намъ болѣе соответствующимъ тѣмъ явленіямъ, которыя каждый изъ насъ, не задаваясь предварительно никакою теоріею, наблюдаетъ въ самомъ себѣ. Разсмотримъ особо каждый изъ этихъ процессовъ.

ГЛАВА XXVIII.

Воображеніе пассивное.

Признавъ за нервнымъ организмомъ способность удерживать слѣды бывшихъ ощущеній, и притомъ въ тѣхъ комбинаціяхъ, въ которыхъ эти ощущенія сознавались душою, признавъ, съ другой стороны, что душа наша можетъ ощущать всѣ перемѣны въ состояніяхъ нервнаго организма, когда

¹⁾ Herbart's Schriften. Erst. T. § 92.

²⁾ Oeuvres de Malebranche. 1854. T. II, p. 120.

эти перемѣны достигнуть опредѣленной степени интенсивности и переступить тотъ порогъ сознанія, на который указалъ еще Гербартъ ¹⁾ и который старались опредѣлить Веберъ и Фехнеръ,—мы легко себя представимъ, что если нервная система наша будетъ чѣмъ-нибудь возбуждена, взволнована, то эти волненія, достигнувъ опредѣленной степени высоты, будутъ сказываться въ нашемъ сознаніи ощущеніями и ассоціаціями ощущеній—представленіями. Понятно, что нервная система, взволнованная чѣмъ-нибудь, будетъ вводить въ сознаніе, *по законамъ своего волненія*, тѣ или другіе слѣды, привычки прежнихъ движеній, и сознаніе будетъ превращать ихъ въ представленія и въ вереницы и группы представленій. Но при такомъ взглядѣ слѣдуетъ ожидать, что душа наша будетъ сознать эти слѣды бывшихъ ощущеній именно въ томъ видѣ, въ какомъ они залегли въ нервную систему, въ томъ видѣ и въ тѣхъ комбинаціяхъ; слѣдовательно, въ насъ будетъ происходить актъ воспоминанія, но не воображенія, тогда какъ мы замѣчаемъ, что *невольная мечта* наша заводитъ насъ своими вереницами представленій совсѣмъ не туда, куда могло бы завести одно воспоминаніе.

Чтобы объяснить себя явленіе *невольной мечты*, мы должны сознать прежде всего, что всякое представленіе наше непременно сложено изъ множества слѣдовъ, ставшихъ элементами одного представленія. Если бы мы захотѣли перечислить на бумагѣ всѣ «простые» элементы, какъ ихъ называетъ Локкъ, изъ которыхъ сложено, на примѣръ, наше представленіе известнаго дерева, то едва ли умѣстили бы этотъ каталогъ на нѣсколькихъ листахъ. Всѣ эти элементы не сбиты въ одно представленіе безформенною кучею, но размѣщены въ немъ группами; каждая такая группа (кора, листь и проч.) представляетъ собою отдѣльное представленіе, въ которомъ простые элементы опять расположены своеобразными группами ²⁾. Такое обширное и сложное представленіе, каждымъ изъ своихъ безчисленныхъ элементовъ, каждымъ изъ слѣдовъ, его составляющихъ, связано со множествомъ другихъ, самыхъ разнообразныхъ представленій. Эти связывающіе, *общіе слѣды* и являются тѣми звеньями, по которымъ отъ одного какого-нибудь представленія, на примѣръ, дерева или цвѣтка, *мечта* наша можетъ уйти на самыя разнообразныя дороги. Въ этомъ

¹⁾ См. выше, гл. XIX, а также у Гербарта: Herbart's Schriften. B. I. § 14. S. 18 и 20.

²⁾ «Всѣ наши сложныя идеи», говоритъ Локкъ, у котораго слово *идея* значитъ то же, что у насъ *представленіе*, «всѣ наши сложныя идеи разрѣшаются окончательно въ простыя идеи, изъ которыхъ онѣ первоначально составлены, хотя, можетъ быть, ихъ непосредственные ингредиенты, если можно такъ выразиться, были также сложными идеями». Of hum. Underst. Ch. XXII. § 9.

отношеніи каждое представленіе, занимающее собою въ данную минуту ясное поле нашего сознаніе, является какъ бы перекресткомъ тысячи путей, и на такомъ-то перекресткѣ мысленныхъ путей стоитъ наше сознаніе каждую минуту. Положимъ, нацримѣръ, что въ моемъ сознаніи почему бы то ни было возникаетъ представленіе *розы*. Это одно представленіе можетъ увлечь мою мечту по самымъ различнымъ путямъ. Если я обращаю вниманіе на цвѣтъ розы, то, можетъ быть, по сходству вспомню о цвѣтѣ какого-нибудь платья, отъ платья перейду къ лицу, которое его носило, отъ этого лица къ годамъ моей юности и т. д. Если я обращаю вниманіе на форму розы, и потому именно не цвѣтъ, а форма этого цвѣтка сильнѣе отразится въ моемъ сознаніи, то я могу перейти къ представленію шара, отсюда къ представленію земли, и увлечусь на путь геометрическихъ и астрономическихъ представленій. Если я обращаю особенное вниманіе на шипы розы и, вслѣдствіе того, именно эти шипы, а не какой-нибудь другой признакъ цвѣтка съ особенною ясностью отразятся въ моемъ сознаніи и потому сильнѣе затронутъ въ нервной системѣ моей тѣ слѣды, которые составляютъ или могутъ составить ассоціацію именно съ шипами розы, то, можетъ быть, я вспомню змѣйное жало или угрызеніе совѣсти и т. д. Если же въ это время вниманіе мое обращено не столько на предметъ, сколько на слово, обозначающее предметъ, то очень можетъ случиться, что нервная система моя подскажетъ мнѣ извѣстную поговорку: «нѣтъ розы безъ шиповъ», а затѣмъ, можетъ быть, станутъ выдаваться извѣстные стихи Державина, воспоминаніе же о Державинѣ приведетъ къ воспоминанію Екатерининскаго вѣка и т. д. Обративъ вниманіе на время, когда цвѣтутъ розы, я могу вспомнить Неаполь; а если я обращаю вниманіе на имя розы больше, чѣмъ на самый предметъ, то вспомню, можетъ быть, какого-нибудь господина Розанова.

Словомъ, отъ одного и того же представленія я могу уйти на самые разные пути въ моей мечтѣ. Кольца цѣпи все будутъ тѣ же; но вереницы, выплетаемыя изъ этихъ колець, могутъ быть бесконечно разнообразны, совершенно новы и до того для насъ самихъ неожиданны, что, занесенные мечтою не вѣсть куда, мы съ удивленіемъ спрашиваемъ себя, какъ попали въ такую глушь, и не всегда даже можемъ добраться до выхода изъ этого лабиринта по той самой дорогѣ, по которой пришли; чаще же, вмѣсто того, чтобы медленно и осторожно добраться до этого выхода по ариадниной нити нашихъ воспоминаній, мы однимъ усиліемъ разрываемъ паутинную сѣть, сотканную нашею мечтою. Но если эта дорога покажется намъ почему-либо замѣчательною—оживить и сосредоточить на себѣ наше сознаніе—то мы *запомнимъ ее*, т. е. скуемъ новую и прочную ассоціацію изъ тѣхъ колець, по которымъ, совершенно отъ насъ независимо, руководимая, можетъ быть, какою-нибудь органическою причиною, пробѣжала наша мечта. Такимъ

образомъ, изъ этого *непроизвольнаго* блужданія сознанія по безконечной сѣти слѣдовъ, сгруппированныхъ въ безчисленные представленія, возникаютъ, иногда совершенно для насъ неожиданно, новыя ассоціаціи, новыя представленія и новыя группы представленій, которыя мы называемъ созданіями нашего воображенія. Но если ничто не возбудитъ нашего особеннаго вниманія, то сознаніе наше, покачавшись на этихъ волнахъ нервной системы, вдругъ перейдетъ къ своимъ очереднымъ работамъ и въ насъ не сохранится никакого воспоминанія нашей мечты. Такихъ *легкихъ* мечтаній проходитъ ежедневно безчисленное множество въ нашей головѣ, не оставляя по себѣ никакого слѣда: и это большое счастье для человѣка, ибо эти бесполезные слѣды пустыхъ мечтаній и сновидѣній быстро загроздили бы нашу память. Во снѣ, когда наше вниманіе не развлекается внѣшними впечатлѣніями, это безцѣльное и безслѣдное блужданіе сознанія «по вершинамъ волнъ движеній нервной системы» пріобрѣтаетъ яркій характеръ сновидѣній, изъ которыхъ только весьма немногія запоминаются нами, т. е. превращаются въ новыя ассоціаціи—созданія нашего воображенія.

(3—11). Откуда же возникаетъ это движеніе представленій? Намъ извѣстно, что нога или рука не можетъ долго выполнять однихъ и тѣхъ же движеній, не ощущая усталости и потребности отдыха, т. е. возобновленія силъ процессомъ питанія, послѣ чего она опять получаетъ способность къ дѣятельности. Дѣятельность мускула зависитъ отъ питанія и вызывается или внѣшнимъ раздраженіемъ (кислотами, щипцами и т. п.), или нервнымъ движеніемъ; вызовъ же нервного слѣда или представленія къ дѣятельности, къ движенію, зависитъ не отъ одного процесса его питанія, но и отъ степени раздраженія, которому подвергается этотъ слѣдъ. Раздраженіе это въ данномъ случаѣ происходитъ отъ того представленія, которое занимаетъ собою сознаніе и которое раздражаетъ всѣ нервные слѣды, находящіеся съ нимъ въ связи, но раздражаетъ не въ одинаковой степени. Если ассоціація слѣдовъ, изъ которыхъ состоитъ извѣстное представленіе, отразилась въ нашемъ сознаніи такимъ образомъ, что одинъ изъ этихъ слѣдовъ сознается нами сильнѣе, ярче, вслѣдствіе болѣе сильнаго нервного движенія, то онъ вызоветъ въ нашемъ воображеніи тѣ слѣды, которые тѣснѣе съ нимъ связаны, и оттѣснитъ другіе, слабѣйшіе: это и будетъ обуславливать направленіе, которому пассивно подчинится наше воображеніе. Но какъ бы ни была велика жизненность одного, центрального слѣда, вызывающаго другіе, наиболѣе связанные съ нимъ периферическіе, мы можемъ и *произвольно* сосредоточить наше вниманіе на томъ или другомъ признакѣ извѣстнаго представленія, т. е. выйти изъ пассивнаго состоянія, съ которымъ приходится постоянно бороться сознанію, за исключеніемъ времени сна. На эту гипотезу борьбы болѣе сильныхъ нервныхъ движеній съ слабѣйшими наталкивались всѣ, и древніе, и новѣйшіе, психологи, что и придаетъ ей

видимость научнаго закона. Особенно разработана эта теорія у Гербарта. *Физическія* причины, вліяющія на ходъ нашихъ представленій, зависятъ отъ процесса питанія и силы жизнедѣятельности нашихъ нервовъ, а равно и отъ внѣшнихъ раздраженій: *психо-физическими* причинами можно признать аффекты или вообще страсти; чисто *психическія* причины объясняются прямо нашимъ сознаниемъ и волевыми процессами, придающими нашему воображенію *активный* характеръ.

Г Л А В А XXIX.

Воображеніе активное (стр. 293—299).

Кто старался заниматься наукой, когда его обуревали взволнованныя чувства; кто хотѣлъ, во имя правды, думать безъ гнѣва о ненавистномъ человѣкѣ, или, не обманываясь любовью, безпристрастно разсмотрѣть любимый предметъ,—тотъ хорошо знаетъ, что такое борьба *активнаго* воображенія съ *пассивнымъ*. Въ иныхъ случаяхъ нашему сознанию удается осилить втѣсняющіеся въ насъ образы, а въ иныхъ—мы уступаемъ и отдаемся увлекающему насъ потоку. Все зависитъ отъ того, преодолѣетъ ли средство ассоціацій (по времени, пространству и т. п.), или органическія силы слѣдовъ, т. е. останемся ли мы вѣрны основному плану нашей умственной работы, или увлечемся мечтой. Иногда мы какъ бы даемъ *отпустить* ворвавшимся въ наше воображеніе представленіямъ и, пользуясь моментомъ ихъ слабости, возвращаемся къ прежнему, для насъ болѣе важному. Здѣсь необходимо *усиліе воли*. Вотъ почему, напримѣръ, вспыльчивому человѣку надо дать время перекипѣть и остыть. *Нормальная* смѣна представленій по степени ихъ связи, силы и живучести, но помимо нашей воли, совершается только въ сновидѣніяхъ.

Но и въ пассивномъ воображеніи нельзя видѣть одинъ враждебный нашему мышленію процессъ: въ немъ нерѣдко почерпаетъ себѣ матеріалъ и ученый, и художникъ, и поэтъ; имъ объясняется и *изобрѣтательность* (Ньютонъ) и *остроуміе*, которое состоитъ именно въ такихъ сближеніяхъ, какихъ не ожидали. Но возможно и *активное* остроуміе, которое, кромѣ живого, нервнаго темперамента, требуетъ еще сильной воли, могущей обзрѣть все поле представленій и, не увлекаясь въ сторону, отыскать въ нихъ сходство или различіе. Въ этой работѣ, кромѣ воображенія, которое есть прежде всего *движеніе*, игра живыхъ образовъ, принимаетъ участіе уже разсудокъ. Геніальный изобрѣтатель улавливаетъ, по видимому, неуловимое сходство или различіе представленій; при неудачѣ дѣлаетъ новые опыты, перебираетъ все содержаніе своей души, разрываетъ, строитъ и опять перестраиваетъ ея ассоціаціи, и все это дѣло идетъ у него быстро и широко, потому что нервная организація такого человѣка сложна, впечатлительна, памятлива, жива

и сильна (Колумбъ). Но та же страсть, которая одушевляетъ ученаго и художника, нерѣдко можетъ сдѣлать его воображеніе одностороннимъ, препятствуя всестороннему разсмотрѣнію его представленій. Такъ страстный математикъ всюду видитъ одни математическія отношенія. Бываютъ цѣлыя эпохи, подчиненныя такому одностороннему воображенію. Воспитаніе и серьезное образованіе охраняютъ отъ такихъ крайностей.

Г Л А В А XXX.

Исторія воображенія.

Воображеніе человѣка, какъ и память, и притомъ въ зависимости отъ нея, переживаетъ различные періоды, сообразные возрасту человѣка. Оно работаетъ только надъ матеріалами, которые доставляются ему памятью, но и, въ свою очередь, ввѣряетъ памяти плоды своихъ произведеній. Воображеніе въ этомъ отношеніи можетъ быть названо *движущеюся памятью*, которая, кромѣ того, и запоминаетъ нѣкоторыя изъ своихъ движеній.

Воображеніе начинаетъ развиваться въ дѣтяхъ, вѣроятно, очень рано, хотя мы въ первое время и не можемъ замѣтить его скрытой работы. Образы, надъ которыми работаетъ младенческое воображеніе, немногочисленны, но зато необыкновенно ярки, такъ что дитя увлекается ими, какъ бы дѣйствительностью. Физической причины этого слѣдуетъ искать въ необыкновенной впечатлительности дѣтскаго мозга, а психическая причина — неумѣнье отличать дѣйствительность отъ созданій воображенія, такъ какъ умѣнье это дается только опытомъ. Дѣти очень часто, по замѣчанію Бенеке, считаютъ свои сновидѣнія за дѣйствительность, требуютъ игрушки, которыя они видѣли во снѣ, и т. п. Незнаніе самыхъ обыкновенныхъ законовъ природы, съ которыми потомъ само собою познакомится дитя, заставляетъ его вѣрить самой нелѣпой сказкѣ; но зато вы напрасно пожелали бы удивить младенца какимъ-нибудь фокусомъ: для того, чтобы понять, напимѣрь, что въ исчезновеніи шарика есть фокусъ, надобно убѣжденіе въ невозможности исчезновенія вещи. Ребенокъ, можетъ быть, смѣется, смотря на фокусъ, но онъ доволенъ шарикомъ, движеніемъ рукъ, и вовсе не понимаетъ, что тутъ есть фокусъ. Вотъ почему, слушая какую-нибудь сказку, гдѣ совершаются самыя невѣроятныя чудеса, ребенокъ вовсе не удивляется этимъ чудесамъ: онъ прямо сочувствуетъ говорящимъ козламъ, принцу, превращающемуся въ муху, и вовсе не спрашиваетъ о томъ, какъ козлы могутъ говорить, или принцы превращаться въ мухъ: для ребенка не существуетъ невозможнаго, потому что онъ не знаетъ, что возможно и что нѣтъ.

Слушаніе сказокъ уже на третьемъ году начинаеть доставлять большое удовольствіе ребенку. «Удольствіе, говоритъ г-жа Неккеръ-де-Сосюръ ¹⁾, доставляемое дѣтямъ самыми простыми разказами, зависитъ отъ живости представленій въ ихъ душѣ. Картины, вызываемыя разказомъ въ дѣтской душѣ, можетъ быть гораздо блестящѣе и радужнѣе дѣйствительныхъ предметовъ, и сказка показываетъ ребенку волшебный фонарь. Не нужно большихъ усилій воображенія, чтобы занять дитя. Дайте въ вашемъ разказѣ главную роль ребенку, присоедините сюда кошку, лошадку, нѣсколько подробностей, чтобы выходила картинка, разказывайте съ одушевленіемъ,—и вашъ слушатель будетъ слушать васъ съ жадностью, доходящею до страсти. Встрѣчая васъ, ребенокъ всякій разъ заставитъ повторить вашъ разказъ; но берегитесь что-нибудь измѣнить въ немъ». Дитя хочетъ видѣть тѣ же сцены, и малѣйшее обстоятельство, вами опущенное или прибавленное, разсѣиваетъ въ немъ то заблужденіе, которое именно ребенку нравилось. Последнее происходитъ отъ того, что ребенокъ въ сказкѣ видитъ правду и хочетъ только правды; если же онъ замѣтитъ, какъ вы создаете или передѣлываете сказку, то она перестанетъ его интересовать: художественная правда еще недоступна ребенку. Вотъ почему дѣти любятъ больше сказки простыхъ людей, въ которыхъ обыкновенно не измѣняется ни одно слово.

«Многіе удивляются, говоритъ далѣе та же писательница, что самыя грубыя подражанія природѣ совершенно удовлетворяютъ дѣтей, и выводятъ изъ этого, что у дѣтей нѣтъ понятія объ искусствѣ, тогда какъ слѣдовало бы удивляться могуществу дѣтскаго воображенія, которое дѣлаетъ для нихъ иллюзію возможною. Вылѣпите, какую угодно, фигуру изъ воску, лишь былъ бы какой-нибудь признакъ рукъ и ногъ, и шарикъ или кружокъ сидѣли на мѣстѣ головы, и ваша работа будетъ совершеннымъ челоукомъ въ глазахъ ребенка. Потеря одного или двухъ членовъ ничего не измѣнитъ въ любимцѣ, и онъ будетъ прекрасно исполнять всѣ роли, какія дастъ ему ребенокъ. Ребенокъ видитъ не дурную копію, но образъ, который сохраняется у него въ головѣ. Восковая фигура для ребенка только символъ, на которомъ онъ не останавливается» ²⁾.

Въ играхъ ребенка можно замѣтить еще и другую особенность: дѣти не любятъ игрушки неподвижныхъ, оконченныхъ, хорошо отдѣланныхъ, которыхъ они не могутъ измѣнить по своей фантазіи; ребенку нравится именно живое движеніе представленій въ его головѣ, и онъ хочетъ, чтобы игрушки его хоть сколько-нибудь соответствовали ассоціаціямъ его воображенія. «Опрокинутый стулъ представляетъ для ребенка лодку или коляску;

¹⁾ Education progressive. T. I, p. 186.

²⁾ Idid., p. 187.

поставленный на ноги, онъ является лошадыю или столомъ. Кусочекъ картона для него то домъ, то шкафъ, то экипажъ—все, что дитя хочетъ»¹⁾. Вотъ почему лучшая игрушка для дитяти та, которую онъ можетъ заставить измѣняться самымъ разнообразнымъ образомъ, и вотъ почему Жанъ-Поль-Рихтеръ говоритъ, что для маленькихъ дѣтей самая лучшая игрушка—куча песку.

Игра для ребенка—не игра, а дѣйствительность. «Двухлѣтнее дитя моихъ знакомыхъ, говоритъ г-жа Неккеръ, проводитъ часть своего дня, разыгрывая роль кучера; лошадыми для дитяти служатъ два стула, запряженные ниточками; самъ онъ, сидя позади на третьемъ, съ возжами въ одной рукѣ и кнутикомъ въ другой, управляетъ своими мирными бѣгунами. Легкое покачиванье его тѣла показываетъ, что онъ видитъ, какъ бѣгутъ лошады; но если кто-нибудь остановится передъ стульями, то неподвижность предмета разочаровываетъ мальчика и онъ приходитъ въ отчаяніе, что помѣшали бѣжать его лошадыкамъ»²⁾. Дитя искренно привязывается къ своимъ игрушкамъ, любитъ ихъ нѣжно и горячо, и любитъ въ нихъ не красоту ихъ, а тѣ картины воображенія, которыя само же къ нимъ привязало. Новая кукла, какъ бы она ни была хороша, никогда не сдѣлается сразу любимицей дѣвочки, и она будетъ продолжать любить старую, хотя у той давно нѣтъ носа и лицо все вытерлось. Попробуйте поправить разбитую куклу, и дѣвочка ее разлюбитъ, а часто даже броситъ съ негодованіемъ. «Въ одномъ госпиталѣ принуждены были отрѣзать ногу маленькой дѣвочки; она вынесла операцію съ удивительнымъ мужествомъ и только прижимала къ себѣ свою куклу. Окончивъ операцію, хирургъ сказалъ, смѣясь: «вотъ я отрѣжу теперь ногу твоей куклѣ», и дитя, перенесшее жестокую операцію безъ малѣйшаго крика, залилось слезами»³⁾.

Такая живость дѣтскаго воображенія и такая вѣра дитяти въ дѣйствительность его собственныхъ представленій показываетъ уже, какъ опасно играть дѣтскимъ воображеніемъ и дѣтскою безграничною довѣрчивостью. При раздражительности нервовъ, дѣйствіемъ страха можно сдѣлать дѣтей безумными, тупыми или подверженными ужасамъ, которые составятъ несчастіе ихъ жизни. «Вліяніе ужаса на нравственность—безгранично: оно дѣлаетъ трусливымъ, притворщикомъ, иногда лживымъ, и дитя можетъ потеряться при малѣйшей опасности»⁴⁾. Многіе писатели уже возставали противъ пуганья дѣтей домовыми, стукащими въ стѣну, волками, влѣзающими въ окошко, и т. п. Но и теперь, къ сожалѣнію, эти пуганья продол-

¹⁾ Education progressive, T. I. p. 188.

²⁾ Ibid., p. 189.

³⁾ Ibid., p. 191.

⁴⁾ Ibid., p. 192.

жаются, особенно со стороны нянюшекъ, которыя не находятъ лучшаго средства, чтобы заставить уняться дитя, раскричавшееся ночью, или заставить его послушаться, когда оно упрямится. Стуча въ стѣну и говоря при этомъ, что «вотъ идетъ волкъ» съѣсть ребенка, няня, конечно, не понимаетъ, что дитя видитъ и этого волка, и какъ онъ къ нему приближается. Что бы сдѣлалось съ самой няней, если бы она сама дѣйствительно увидѣла волка, а она должна знать, что ребенокъ вѣрить ей вполне. Разуверить ребенка въ томъ, во что онъ уже повѣрилъ, невозможно, потому что тутъ дѣйствуетъ не вѣра, а живость представленія. При словѣ «волкъ», «старикъ съ мѣшкомъ», «домовой»—эти чудовища рисуются ребенку, подобно тому, какъ рисуются намъ во снѣ, и тутъ одно средство—развлечь дитя другими представленіями и избѣгать всякаго напоминанія о томъ, что напугало дитя. Если ребенокъ знаетъ даже, что его пугаютъ нарочно, то и это не мѣшаетъ ему испугаться: онъ знаетъ очень хорошо, что старшій братъ спрятался въ уголъ темной комнаты и хочетъ испугать его, но кричитъ и проситъ, чтобъ его не пугали. Такъ невольно и такъ сильно потрясаются нервы дитяти.

Г-жа де-Соссюръ, описавшая такъ хорошо первыя проявленія воображенія въ дѣтскомъ возрастѣ, ошибается, однако, называя дѣтей маленькими поэтами, а воображеніе ихъ—сильнымъ, богатымъ, могучимъ. Такой взглядъ имѣютъ многіе на дѣтское воображеніе и думаютъ, что съ возрастомъ оно слабѣетъ, тускнѣетъ, теряетъ живость, богатство и разнообразіе. Но это большая ошибка, противорѣчащая всему ходу развитія человѣческой души. Воображеніе ребенка и бѣднѣе, и слабѣе, и однообразнѣе, чѣмъ у взрослого человѣка, и не заключаетъ въ себѣ ничего поэтическаго, такъ какъ эстетическое чувство развивается позднѣе другихъ; но дѣло въ томъ, что и слабенькое дѣтское воображеніе имѣетъ такую власть надъ слабой и еще неорганизованной душой дитяти, какого не можетъ имѣть развитое воображеніе взрослого человѣка надъ его развитой душой. Не воображеніе у дѣтей сильно, но душа слаба и власть ея надъ воображеніемъ ничтожна.

Въ исторіи памяти мы уже показали, какъ мало-по-малу изъ отдѣльныхъ небольшихъ вереницъ представленій выплываютъ все болѣе и болѣе обширныя сѣти, и какъ душа человѣка мало-по-малу приходитъ къ единству своего содержанія, никогда, впрочемъ, не достигая его вполне¹⁾. Въ дѣтской же душѣ разорванность вереницъ представленій или, вѣрнѣе, совершенная отдѣльность ихъ, такъ какъ онѣ и не были никогда сплетены выѣстъ, составляетъ самую характеристическую черту дѣтства. Вотъ почему въ ребенкѣ болѣе всего поражаетъ насъ быстрота перехода отъ одного порядка мыслей къ другому и отъ однихъ чувствъ къ другимъ: отъ смѣ-

¹⁾ Herbart's Schriften zur Psychologie. 1850. Erst. Th. § 249 S. 172.

ха къ слезамъ и отъ слезъ къ смѣху, отъ гнѣва къ ласкѣ, отъ скуки къ веселью и отъ веселья къ скукѣ. Эта необыкновенная подвижность дѣтской души зависитъ именно отъ того, что въ ней, такъ сказать, еще мало собственнаго вѣсу; эта безпрестанная смѣна ея характеровъ объясняется именно тѣмъ, что въ ней не выработался еще *свой* характеръ.

Вереницы представлений у дитяти коротки, а потому и проходятъ ихъ въ сознаниі совершается быстро: каждая изъ нихъ скоро отживаетъ свой вѣкъ. За этой короткой вереницей слѣдуетъ другая—такая же короткая и ничѣмъ съ прежнею не связанная. Ее втолкнетъ въ сознание какое-нибудь внѣшнее впечатлѣніе: неожиданный стукъ, пролетѣвшая птица, собственное тѣлодвиженіе ребенка. Новая, также короткая вереница отживаетъ въ сознаниі свой вѣкъ такъ же скоро, какъ и прежняя, и такъ же неожиданно смѣняется новою, можетъ быть совершенно противоположною. Отсюда то происходитъ та необыкновенная внимательность и та необыкновенная разсѣянность, которой мы часто удивляемся у дѣтей. Ребенокъ заигрался, замечтался и ничего не видитъ и не слышитъ; но вереница отжила свой недолгій вѣкъ, и дитя внимательно ловитъ каждую мелочь, чтобы вновь увлечься ею. Движеніе дѣтскаго воображенія напоминаетъ прихотливое порханье бабочки, а уже никакъ не могучій полетъ орла: малѣйшее движеніе вѣтра, малѣйшій шелестъ листка, кажется, даже каждый солнечный лучъ можетъ измѣнить направленіе движеній бабочки, и потому-то онѣ идутъ такою ломаною линіею и кажутся такими случайными и прихотливыми.

Но если вереницы представлений, наполняющія дѣтскую память и движущіяся въ дѣтскомъ воображеніи, коротки, зато каждая изъ нихъ, въ недолгій періодъ своей жизни въ сознаниі, царствуетъ тамъ полновластно именно потому, что она отдѣльна: она не ведетъ за собою множества другихъ вереницъ, которыя могли бы напомнить ребенку дѣйствительность; она не вызываетъ у него идей возможности и невозможности и дѣйствуетъ на душу дитяти почти такъ, какъ дѣйствуютъ сновидѣнія на душу взрослого. Представленія же наши въ сновидѣніяхъ ярки именно потому, что на нихъ сосредоточивается все наше вниманіе, неразвлекаемое внѣшними впечатлѣніями, и потому также, что мы не можемъ сравнивать степени ихъ яркости съ степеню яркости дѣйствительныхъ созерцаній, передъ которыми они показались бы блѣдными, едва мелькающими очерками. Недостатокъ же внутренняго, уже образовавшагося интереса не даетъ ребенку возможности управлять своимъ воображеніемъ: ребенку все равно, куда бы его ни несла его прихотливая мечта, волнуемая разнообразіемъ внѣшнихъ впечатлѣній, только бы эти мечты занимали его душу, уже по природѣ своей требующую безпрестанной дѣятельности. Только тогда, когда созреютъ въ душѣ внутренніе для нея интересы и когда выплутутся въ па-

мяти обширныя сѣти изъ отдѣльныхъ вереницъ, душа, выражаясь метафорически, получаетъ собственный вѣсь, становится тяжелѣе и не позволяетъ прихотливой мечтѣ уносить себя куда пошло.

Эту разорванность вереницъ представленій душа уничтожаетъ мало-помалу въ своихъ безпрестанныхъ внутреннихъ работахъ: связываетъ одну, разрываетъ другую, слетаетъ нѣсколько въ одну ассоціацію, изъ нѣсколькихъ сложныхъ ассоціацій дѣлаетъ еще болѣе обширную. Въ это же самое время, и отчасти тѣми же средствами, вырабатываются душевные интересы, постоянныя склонности и страсти, и душа, усиленная всею ихъ стремительностью, овладѣваетъ фантастической игрой пассивнаго воображенія. Эта *сковка* и *перековка* вереницъ представленій можетъ происходить подъ различными влiянiями: или подъ влiянiями дѣйствительности и дѣйствительныхъ событiй жизни, или, при недостаткѣ ихъ, внутреннею, самостоятельною работою воображенія, образуя такъ называемый мечтательный характеръ,—или подъ влiанiемъ науки, или подъ влiанiемъ физическихъ потребностей, или подъ влiанiемъ быстро развивающихся страстей юности. Память человѣка сохраняетъ эти новыя образованiя, будутъ ли они слѣдствiемъ влiанiй дѣйствительнаго мiра и науки, или будутъ они произведенiемъ души, волнуемой страстью.

Чѣмъ болѣе сковываются между собою вереницы представленiя, тѣмъ непрерывнѣе движется наша мечта, тѣмъ долѣе проходятъ ряды ея и сѣти въ нашемъ сознании, и тѣмъ богаче наше воображенiе. Удивляясь богатству воображенiя поэтовъ, мы готовы видѣть въ немъ природный даръ; но природнаго здѣсь только богатая, впечатлительная нервная организацiя, вѣрно сохраняющая слѣды впечатлѣнiй, и сильно требовательная душа, жаждущая безпрестанной дѣятельности,—всѣ же сокровища воображенiя, поражающiя насъ своею роскошью, созданы уже этими двумя агентами въ ихъ безпрестанномъ и дѣятельномъ воздѣйствiи другъ на друга. Поэтъ или живописецъ щедро сыплетъ намъ роскошнѣйшiя гирлянды цвѣтовъ, людей, ангеловъ, ландшафтовъ и пр. Рафаэль буквально засыпалъ ими стѣны и потолки Ватикана, а Байронъ—страницы своихъ поэмъ; но каждый цвѣтокъ въ этихъ гирляндахъ уже вытканъ прежде, самые куски гирляндъ тоже были готовы, и художникъ, руководимый своею идеею, только комбинируетъ эти уже давно заготовленные сокровища. Если чему должно удивляться въ этихъ натурахъ, то это именно силѣ и быстротѣ ихъ внутренней дѣятельности и силѣ памяти, сохранившей безчисленныя произведенiя этой дѣятельности. О силѣ эстетическаго чувства мы здѣсь не говоримъ, хотя оно-то, конечно, и управляетъ работами какъ въ образованiи подробностей, такъ и въ комбинацiи этихъ подробностей въ великое цѣлое: вотъ почему оно и проникнуто тѣмъ, что мы называемъ поэзiею.

Изъ сказаннаго мы уже видимъ, какое важное значеніе и для нравственной стороны человѣка имѣютъ тѣ вліянія, подъ которыми работаетъ наше воображеніе, создавая новыя вереницы представленій и связывая прежнія. «Человѣческое воображеніе, говоритъ Ридъ, есть обширная сцена, на которой разыгрывается все въ человѣческой жизни: хорошее и дурное, великое и ничтожное, высокое и низкое. Въ дѣтяхъ воображеніе—игрушечная лавка ¹⁾, а въ тѣхъ, кто пользуется больше памятью, чѣмъ сужденіемъ—это лавка ветошника. У нѣкоторыхъ сцена воображенія занята темными предразсудками, съ ихъ свитою горгонь, гидръ и химерь; у другихъ играютъ на этой сценѣ демоны убійства и грабежа; здѣсь начинается все, что есть въ жизни дурного; но какъ счастливъ тотъ, въ чьей душѣ свѣтъ истиннаго знанія разгоняетъ фантомы воображенія, а ясность души охраняетъ воображеніе отъ всего грязнаго» ²⁾.

Въ этихъ словахъ Рида мы видимъ, что онъ не вполне уяснилъ себѣ значеніе воображенія и приписываетъ ему то, что принадлежитъ уже исторіи сердечныхъ чувствъ. Мы видимъ, что душа поэта или романиста можетъ быть постоянно занята сценами убійствъ, грабежа и разврата, не дѣлая поэта ни злодѣемъ, ни развратникомъ. Но если въ душѣ не выработались высшіе интересы, которые позволяютъ ей безопасно обращаться съ такимъ грязнымъ матеріаломъ, то нѣтъ сомнѣнія, что характеръ этихъ вереницъ воображенія отразится и въ характерѣ того, въ чьей головѣ онѣ бродятъ. Наполните голову дитяти предразсудками, и душа выплететъ изъ этого матеріала темный и трусливый характеръ; набейте его голову романами, и очень вѣроятно, что выйдеть романическій характеръ. Но это отношеніе воображенія къ нравственности можетъ быть уяснено только тогда, когда мы будемъ говорить о формации *сердечныхъ* чувствъ и желаній, которая имѣетъ свои особенности, хотя во многомъ и зависитъ отъ формации воображенія.

Если вы хотите узнать, какое направленіе принимаютъ работы дѣтскаго воображенія, то наблюдайте внимательно за играми ребенка. Мы хорошо познакомились бы съ душою взрослого человѣка, если бы могли заглянуть въ нее свободно; но въ дѣятельности и словахъ взрослого намъ приходится только угадывать его душу, и мы часто ошибаемся; тогда какъ дитя въ своихъ играхъ обнаруживаетъ безъ притворства всю свою душевную жизнь. Вотъ почему не совершенно лишено основанія то мнѣніе, что игры ребенка, хотя отчасти и очень отчасти, предсказываютъ его будущее. Но

¹⁾ Но не каждый ли возрастъ, говоря словами поэта, «имѣетъ свои игрушки?» Чѣмъ же старикъ, распоряжающійся, какъ должны нести его звѣзды за его гробомъ, благоразумнѣе дитяти, которое привязываетъ къ ножкѣ стола свою деревянную лошадку, чтобы она не убѣжала?

²⁾ Read. Vol. I, p. 388.

это угадываніе будущаго въ дѣтскихъ играхъ имѣеть еще бѣльшее основаніе, если принять вмѣстѣ съ Бенеке, что «дѣтскія игры могутъ сами быть причиною будущаго направленія, или имѣть съ нимъ одинаковыя причины ¹⁾». Для дитяти игра—дѣйствительность, и дѣйствительность, гораздо болѣе интересная, чѣмъ та, которая его окружаетъ. Интереснѣе она для ребенка именно потому, что понятнѣе; а понятнѣе она ему потому, что отчасти есть его собственное созданіе. Въ игрѣ дитя живетъ, и слѣды этой жизни глубже остаются въ немъ, чѣмъ слѣды дѣйствительной жизни, въ которую онъ не могъ еще войти по сложности ея явленій и интересовъ. Въ дѣйствительной жизни дитя не болѣе, какъ дитя, существо, не имѣющее еще никакой самостоятельности, слѣпо и беззаботно увлекаемое теченіемъ жизни; въ игрѣ же дитя—уже зрѣющій человѣкъ, пробуетъ свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданіями. Вотъ почему Бенеке совершенно справедливо замѣчаетъ, что «въ первомъ возрастѣ игра имѣеть гораздо бѣльшее значеніе въ развитіи дитяти, чѣмъ ученье» ²⁾:

Но если дитя больше и дѣятельнѣе живетъ въ игрѣ, чѣмъ въ дѣйствительности, то, тѣмъ не менѣе, окружающая его дѣйствительность имѣеть сильнѣйшее вліяніе на его игру: она даетъ для нея матеріаль, гораздо разнообразнѣе и дѣйствительнѣе того, который предлагается игрушечною лавкою. Присмотритесь и прислушайтесь, какъ обращаются дѣвочки со своими куклами, мальчики со своими солдатиками и лошадками, и вы увидите въ фантазіяхъ ребенка отраженіе дѣйствительной, окружающей его жизни,—отраженіе, часто отрывочное, странное, подобное тому, какъ отражается комната въ граненомъ хрусталикѣ, но тѣмъ не менѣе поражающее вѣрностью своихъ подробностей. У одной дѣвочки кукла стряпаеть, шьетъ, моетъ и гладитъ; у другой величается на диванѣ, принимаетъ гостей, спѣшитъ въ театръ или на раутъ; у третьей бьетъ людей, заводитъ копилку, считаетъ деньги. Намъ случалось видѣть мальчиковъ, у которыхъ прятничные человѣчки уже получали чины и брали взятки. Не думайте же, что все это пройдетъ безслѣдно съ періодомъ игры, исчезнетъ вмѣстѣ съ разбитыми куклами и сломанными барабанщиками: весьма вѣроятно, что изъ этого завяжутся ассоціаціи представленій и вереницы этихъ ассоціацій, которыя современемъ, если какое-нибудь сильное, страстное направленіе чувства и мысли не передѣлаетъ ихъ на новый ладъ, свяжутся въ одну обширную сѣть, которая опредѣлитъ характеръ и направленіе человѣка.

Въ играхъ общественныхъ, въ которыхъ принимаютъ участіе многія дѣти, завязываются первыя ассоціаціи общественныхъ отношеній. Дитя,

¹⁾ Erzieh. u. Unter. B. I. S. 103.

²⁾ Ibid., S. 101.

привыкшее командовать или подчиняться въ игрѣ, не легко отучается отъ этого направленія и въ дѣйствительной жизни. Насъ, русскихъ, упрекаютъ часто въ лѣности, въ страсти распорядиться и ничего не дѣлать самимъ; но нѣтъ сомнѣнїя, что на образованіе такой черты въ нашемъ характерѣ, рѣзко кидаящейся въ глаза, особенно посреди иноземцевъ, имѣли большое вліяніе игры помѣщичьихъ дѣтей съ крѣпостными мальчиками и дѣвочками, которые, исполняя всѣ прихоти своего маленькаго барина, избавляли его отъ труда что-нибудь дѣлать самому.

Игра потому и игра, что она самостоятельна для ребенка; а потому всякое вмѣшательство взрослога въ игру лишаетъ ее дѣйствительной, образующей силы. Взрослые могутъ имѣть только одно вліяніе на игру, не разрушая въ ней характера игры, а именно—доставленіемъ матеріала для построекъ, которыми уже самостоятельно займется самъ ребенокъ. Но не должно думать, что этотъ матеріалъ весь можно купить въ игрушечной лавкѣ. Вы купите для ребенка свѣтлый и красивый домъ, а онъ сдѣлаетъ изъ него тюрьму; вы накупите для него куколки крестьянъ и крестьянокъ, а онъ выстроитъ ихъ въ ряды солдатъ; вы купите для него хорошенькаго мальчика, а онъ станетъ его сѣчь: онъ будетъ передѣлывать и перестраивать купленные вами игрушки не по ихъ значенію, а по тѣмъ элементамъ, которые будутъ вливаться въ него изъ окружающей жизни,— и вотъ объ этомъ-то матеріалѣ должны болѣе всего заботиться родители и воспитатели. Что касается до ученья, то оно только очень не скоро можетъ вложить и свои матеріалы въ работы дѣтскаго воображенія. Всѣ начатки ученья такъ сухи и бѣдны, что ребенокъ не въ состояніи съ ними ничего сдѣлать: только въ будущемъ они могутъ принести свои плоды и войти дѣйствительнымъ матеріаломъ въ самостоятельную жизнь человѣка. Впрочемъ, всѣ попытки воспитанія внести игрою, а еще лучше дѣтскими работами, серьезный матеріалъ въ фантазію ребенка (самыя удачныя изъ этихъ попытокъ, конечно, принадлежатъ фребелевской системѣ) имѣютъ свою полную цѣну, какъ это мы увидимъ впоследствии.

Въ исторіи воображенія ни одинъ періодъ не имѣетъ такой важности, какъ періодъ юности. Въ юности отдѣльныя, болѣе или менѣе обширныя вереницы представленій сплетаются въ одну сѣть. Въ это время именно идетъ самая сильная передѣлка этихъ вереницъ, которыхъ уже накопилось столько, что душа, такъ сказать, занята ими. Мы считаемъ періодъ въ жизни человѣческой отъ 16 до 22—3 лѣтъ самымъ рѣшительнымъ. Здѣсь именно довершается періодъ образованія отдѣльныхъ вереницъ представленій, и если не всѣ онѣ, то значительная часть ихъ группируется въ одну сѣть, достаточно обширную, чтобы дать рѣшительный перевѣсъ тому или другому направленію въ образѣ мыслей человѣка и его характерѣ. Если ка-

какая-нибудь возвышенная идея или какая-нибудь благородная страсть руководили въ это время окончательною формировкою матеріала въ воображеніи, то многое еще можетъ быть исправлено: многія ложныя или грязныя ассоціаціи дѣтства и отрочества будутъ отброшены; изъ многихъ, безразличныхъ въ нравственномъ отношеніи, выплется что-нибудь высокое, и, въ концѣ концовъ, умное и благородное стремленіе возьметъ верхъ. Впослѣдствіи уже такая перестройка всего содержанія души гораздо затруднительнѣе, если и возможна. *Въ огонь, оживляющемъ юность, отливается характеръ человека.* Вотъ почему не слѣдуетъ ни тушить этого огня, ни бояться его, ни смотрѣть на него, какъ на нѣчто опасное для общества, ни стѣснять его свободнаго горѣнія, а только заботиться о томъ, чтобы матеріалъ, который въ это время вливается въ душу юноши, былъ хорошаго качества.

Говорятъ, что въ старости воображеніе слабѣетъ,—и это справедливо въ томъ отношеніи, что къ этому періоду жизни душа уже настроитъ столько ассоціацій, что работаетъ въ нихъ и надъ ними, не нуждаясь въ новыхъ.

Г Л А В А XXXI.

Разсудочный процессъ.

Въ прежнихъ психологіяхъ подъ именемъ разсудка принимали особенную способность «образовывать понятія и соединять ихъ сообразно свойствамъ и отношеніямъ предметовъ, подвергнутыхъ нашему мышленію¹⁾».

Этой особенной способности приписывали обыкновенно также дѣятельность сравнивающую, различающую и дѣлающую выводы изъ этихъ сравненій и различій. Новая же опытная психологія, сначала въ ученіи Гербарта, а потомъ, еще рѣзче, въ ученіи Бенеке, возстала не только противъ такого опредѣленія разсудка, но и вообще противъ признанія его за отдѣльную способность души. «Прежде перваго процесса абстракціи, говоритъ Бенеке, прежде перваго процесса отвлеченія, посредствомъ котораго образуются понятія, въ человѣческой душѣ не существуетъ никакой разсудочной формы, или, другими словами, человѣкъ не имѣетъ еще разсудка»²⁾. Мы уже видѣли выше, какъ, по теоріи Бенеке, образуются въ душѣ слѣды представленій. Оставаясь вѣренъ своей теоріи, Бенеке признаетъ, что самыя эти слѣды, накопляясь въ душѣ болѣе и болѣе, являются въ ней

¹⁾ Empyrische Psychologie, von Drobisch. S. 249. Мы беремъ изъ старыхъ опредѣленій разсудка наиболее ясное и простое, наиболее подходящее къ общему человѣческому самосознанію.

²⁾ Erziehungs und Unterrichtslehre von Benecke. T. I. S. 124.

силами или *задатками*, изъ которыхъ сами собою образуются понятія; *понятія*, въ свою очередь, являются также задатками (*Anlage*), изъ которыхъ, также сами собою, образуются *сужденія*; изъ сужденій, по накопленіи сужденій однородныхъ, самостоятельно и сами собою образуются *умозаключенія*. «Разсудокъ, говоритъ Бенеке, начинается у ребенка рано—какъ только наберется въ душѣ его достаточно представленій, чтобы они своими сходными признаками могли составить *понятія*. Накопившіяся *понятія* сами составляютъ уже *сужденія*, а изъ комбинаціи сужденій возникаютъ *умозаключенія*. Изъ понятій же, сужденій и умозаключеній выплываютъ ученныя системы» ¹⁾).

Чтобы оцѣнить противоположность этого взгляда прежнему, мы приведемъ мнѣніе Руссо о томъ, какъ формируется разсудокъ въ ребенкѣ. «Изъ всѣхъ человѣческихъ способностей», говоритъ онъ, вооружаясь противъ требованій Локка, чтобы съ дѣтьми разсуждали: «разсудокъ, который, такъ сказать, состоитъ изъ всѣхъ прочихъ способностей, развивается всѣхъ труднѣе и всѣхъ позднѣе, и его-то именно хотятъ употреблять, чтобы развивать первыя. Это значитъ начинать съ конца» ²⁾. «Самый опасный періодъ человѣческой жизни, говоритъ Руссо нѣсколько далѣе, это періодъ отъ рожденія до 12 лѣтъ: тутъ-то зарождаются ошибки и пороки, тогда какъ нѣтъ еще орудія, которымъ можно было бы ихъ разрушать, а когда придетъ это орудіе (т. е. разсудокъ), корни зла уже слишкомъ глубоки и прошло время вырывать ихъ». Вотъ на какомъ основаніи Руссо говоритъ дальше: «первое воспитаніе должно быть чисто отрицательное: оно состоитъ не въ томъ, чтобы учить добродѣтели и истинѣ, но въ томъ, чтобы сохранить сердце отъ порока и умъ отъ ошибки. Если бы вы могли ничего не дѣлать съ вашимъ воспитанникомъ и ничего не позволять съ нимъ дѣлать, если бы вы могли довести его до 12 лѣтъ, здороваго и крѣпкаго, такъ; чтобы онъ не умѣлъ отличить своей правой руки отъ лѣвой, то съ первыхъ же вашихъ уроковъ глаза его пониманія открылись бы разуму. Безъ предразсудковъ, безъ привычекъ, дитя не имѣло бы въ себѣ ничего, что могло бы противодѣйствовать вашимъ заботамъ. Въ вашихъ рукахъ вашъ воспитанникъ сдѣлался бы скоро мудрѣйшимъ изъ людей, и вы, начавъ тѣмъ, что ничего бы съ нимъ не дѣлали, сдѣлали бы изъ него чудо

¹⁾ Lehrbuch der Psychologie. § 125. Зародышъ этого воззрѣнія мы видимъ уже у Локка, который, на примѣръ, въ одномъ мѣстѣ говоритъ: «Слѣдите за ребенкомъ съ его рожденія и наблюдайте переменны, производимыя въ немъ временемъ. и вы замѣтите, что душа его пробуждается по мѣрѣ того, какъ она черезъ посредство чувствъ обогащается идеями: чѣмъ болѣе она получаетъ матеріаловъ для мысли, тѣмъ болѣе думаетъ» (Of hum. Underst. Ch. I. § 23).

²⁾ Emile, p. 70.

воспитанія» ¹⁾. Это-то и заставило Руссо такъ затрудняться, куда бы помѣстить своего Эмиля; онъ хотѣлъ бы кажется спрятать его на луну; но за невозможностью—прячетъ въ глухую деревню, жителей которой *подкупаетъ* обманывать ребенка заодно съ воспитателемъ.

Воспитатель же, придерживающійся новой психологіи, могъ бы сказать Руссо, что изъ такого воспитанія не только не можетъ выйти какого-нибудь *чуда*, но не выйдетъ ничего, кромѣ звѣря, едва ли уже и способнаго къ воспитанію. Руссо забываетъ, что до 12-лѣтняго возраста онъ долженъ былъ бы по крайней мѣрѣ выучить Эмиля говорить, а вмѣстѣ съ языкомъ сколько привычекъ, навыковъ, понятій, чувствъ вошло бы въ душу дитяти? Къ такимъ противоположнымъ воззрѣніямъ приводятъ два различные взгляда на разумъ и его образованіе въ человѣкѣ! Если разумъ есть особенная прирожденная человѣку способность, то она можетъ одинаково работать, къ чему бы ни была приложена, и развитіе разсудка возможно одинаково на всякомъ предметѣ, который только упражняетъ его силу. Разсудокъ, развитый, напримѣръ, на математикѣ, окажется развитымъ и въ приложеніи къ вопросамъ общественной или частной жизни, не имѣющимъ ничего общаго съ математикою; а разумъ, развитый, напримѣръ, фізіологіею, окажется развитымъ при изученіи математики, исторіи или географіи. Если же принять мнѣніе Бенеке, что разумъ есть только сумма образовавшихся въ душѣ понятій, сужденій и умозаключеній, то выводы будутъ совершенно противоположные, и разумъ, обогащенный математическими понятіями, можетъ оказаться совершенно бѣднымъ, т. е. слабымъ въ жизненныхъ вопросахъ, не имѣющихъ ничего общаго съ математикою; точно такъ же, какъ разумъ, развитой на філологіи, т. е. наполненный філологическими понятіями, сужденіями и умозаключеніями, можетъ оказаться совершенно слабымъ и дѣтскимъ, даже тупымъ, въ области математики, исторіи и т. п.

Изъ этого уже видно, какъ важно для воспитателя и наставника рѣшить, по возможности вѣрнѣе, психологическій вопросъ о томъ, что такое разсудочная дѣятельность, какими силами и какъ она совершается?

Въ обоихъ выставленныхъ нами воззрѣніяхъ на разумъ, несмотря на ихъ крайнюю противоположность, есть однако нѣчто общее, въ чемъ оба эти воззрѣнія согласны. Они согласны въ томъ, что предметами разсудочной дѣятельности являются:

- 1) образованіе понятій,
- 2) составленіе сужденій,
- 3) выводъ умозаключеній.

¹⁾ Emile, p. 76.

Если мы прибавимъ къ этому еще три сродныя же дѣятельности, обыкновенно приписываемыя разсудку:

4) постиженіе предметовъ и явленій,

5) постиженіе причинъ и законовъ явленій, и

6) постройку системъ науки и практическихъ правилъ для жизни, — то, кажется, мы перечислимъ всѣ тѣ дѣятельности, которыя обыкновенно приписываются разсудку и разсудочному мышленію. Разберемъ же поочередно всѣ эти роды разсудочной дѣятельности и въ нихъ постараемся узнать характеръ дѣятеля.

Г Л А В А XXXII.

Образованіе понятій.

Слово понятіе принимается обыкновенно въ двухъ смыслахъ—*обширномъ* и *тѣсномъ*.

Въ обширномъ смыслѣ понятіемъ называютъ то, что Локкъ называетъ *идеяй*, а именно все, о чемъ мы можемъ думать, что является предметомъ нашего мышленія: не непосредственнаго ощущенія, не созерцанія, а мышленія. Если я мыслю о моемъ братѣ, о какомъ-нибудь предметѣ мнѣ знакомомъ, мною видѣнномъ, или о какомъ-нибудь извѣстномъ мнѣ фактѣ, то все это въ области мышленія является мнѣ уже въ формѣ понятій.

Въ смыслѣ болѣе тѣсномъ, подъ именемъ понятія разумѣются тѣ несуществующіе въ дѣйствительномъ мірѣ, но существующіе только въ моемъ мышленіи предметы, которые грамматически обозначаются *общими* или *нарицательными* именами. Эти общія имена принадлежатъ цѣлому роду существъ, качествъ и дѣйствій, въ отличіе отъ именъ собственныхъ, которыя мы усиливаемся привязать къ предметамъ, существующимъ *одиночно*. Легко замѣтить, что въ мірѣ внѣшнемъ нѣтъ ничего, что сколько-нибудь соответствовало бы нашимъ общимъ, нарицательнымъ именамъ: въ мірѣ все единично, и потому только и существуетъ, что оно единично: *omne quod est, eo quod est, singulare est*, замѣтилъ еще Боэцій, тогда какъ въ языкѣ человеческомъ, а слѣдовательно, и въ человѣческомъ мышленіи, все обще, и даже единичныя представленія о единичныхъ предметахъ, которыя мы усиливаемся удержатъ въ ихъ единичности собственными именами, принимаютъ общій характеръ. Такъ, на примѣръ, мы придаемъ человѣку собственное имя; но подъ этимъ именемъ есть множество людей; или, желая ввести единичность въ языкѣ, мы говоримъ: *вотъ это* дерево, *вотъ эта именно* картина; но слова: *это, эта именно*, какъ замѣтилъ Гегель въ своей «Феноменоло-

гш духа», оказываются самыми общими, которыя одинаково относятся ко всѣмъ возможнымъ предметамъ. Чтобы уединить предметъ совершенно, намъ остается только взять его въ руку или указать на него пальцемъ, такъ какъ языкъ нашъ не имѣетъ словъ для обозначенія единичныхъ предметовъ въ той единичности, въ какой они существуютъ въ мірѣ. Вотъ почему мы думаемъ, что Ридъ сказалъ еще мало, говоря, что «большинство словъ въ языкѣ составляютъ имена общія, и въ большинствѣ книгъ нѣтъ ни одного слова, которое бы не было общимъ» ¹⁾. Мы же думаемъ, что во всемъ человѣческомъ языкѣ нѣтъ и не можетъ быть другихъ *словъ*, кромѣ общихъ, представляющихъ собою понятія.

Эта-то противоположность между всѣмъ существующимъ во внѣшней природѣ и понятіемъ и дѣлаетъ понятіе труднымъ для пониманія явленіемъ. Въ мірѣ нѣтъ вообще треугольника, какъ и нѣтъ вообще животнога, нѣтъ дерева, нѣтъ дома и т. д., а между тѣмъ понятія эти въ насъ существуютъ и замѣняютъ собою для нашего мышленія дѣйствительный міръ, весь состоящій изъ единичностей. На этомъ противорѣчій понятій со всѣмъ существующимъ основанъ давній и безконечный споръ между реалистами, номиналистами и концепціоналистами. Не вдаваясь въ этотъ споръ, мы, по своему обыкновенію, постараемся подсмотрѣть въ самихъ себѣ душевный процессъ, посредствомъ котораго образуются въ насъ понятія.

Въ главахъ о памяти мы видѣли уже, что всякое внѣшнее *впечатленіе*, перешедшее въ опредѣленное *ощущеніе*, оставляетъ свой слѣдъ въ нашей нервной системѣ и въ нашей душѣ, а самое существованіе такихъ слѣдовъ объяснили мы возможностью нервныхъ привычекъ и душевныхъ идей. Тамъ же мы видѣли, какъ изъ этихъ слѣдовъ образуются небольшія отдѣльныя *ассоціаціи*, а потомъ изъ этихъ ассоціацій выплываются цѣлые *ряды* и *стѣти* ассоціацій. Ассоціація слѣдовъ ощущеній, возникающія снова въ сознаніи нашей души, назвали мы представленіями. Представленія наши одиночны и въ этомъ отношеніи соотвѣтствуютъ дѣйствительнымъ предметамъ, впечатлѣніемъ которыхъ они произведены; закрывши глаза, я вижу дѣйствительно розу, *которую* я только что разсмотрѣлъ, розу индивидуальную, —какова она и въ дѣйствительности. Однакожъ, не слѣдуетъ забывать, что всякое представленіе внѣшняго для насъ реальнаго предмета есть не болѣе, какъ ассоціація его атрибутовъ или признаковъ ²⁾. Чѣмъ же являются наши понятія относительно нашихъ представленій? Понятіе является соединеніемъ въ одну ассоціацію *одинаковыхъ* атрибутовъ, взятыхъ изъ многихъ единичныхъ представленій. Мы видимъ, на примѣръ, различныхъ лошадей: вороныхъ, гнѣдыхъ, рыжихъ, большихъ, малыхъ, старыхъ, моло-

¹⁾ Kead. Vol. I, p. 389.

²⁾ То же у Гербарта. Erst. T. S. 126.

дыхъ, хромыхъ и здоровыхъ,—составляемъ о каждой изъ нихъ единичное представлѣніе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ этихъ многихъ единичныхъ представлѣній образуется у насъ мало-по-малу *общее понятіе* лошади. Въ этой лошади *понятія* нѣтъ уже никакого особеннаго цвѣта, она ни стара, ни молода, ни велика, ни мала и т. д. Все наше понятіе о лошади составлено изъ *признаковъ, общихъ* всѣмъ лошадямъ, которыхъ мы видѣли и о которыхъ составились у насъ представлѣнія, причемъ мы отбросили всѣ *особенные признаки* той или другой лошади. Какимъ же психо-физическимъ процессомъ произошло въ насъ это превращеніе многихъ *единичныхъ* представлѣній въ одно *общее* понятіе? Могъ ли произойти этотъ процессъ съ помощью тѣхъ психо-физическихъ силъ, какія мы уже видѣли, или для этого понадобилась новая сила—сила абстракцій, сила разсудка?

Мы видѣли также въ главахъ, посвященныхъ нами памяти, что, по свойству этой способности, слѣды въ ней, послѣ каждаго повторенія тѣхъ же ощущеній или послѣ каждаго новаго вызова слѣдовъ этихъ ощущеній въ область сознанія,—*углубляются*, т. е. залегаютъ въ памяти прочнѣе и вызываются изъ нея легче и вѣрнѣе. Отъ этого само собою происходитъ, что при многочисленныхъ нашихъ однородныхъ *представленіяхъ*, напри- мѣръ, различныхъ лошадей, *признаки общіе* всѣмъ этимъ лошадямъ (общіе атрибуты этихъ различныхъ представлѣній), повторяясь въ насъ всякій разъ, при всякомъ новомъ представленіи лошади, укореняются въ памяти тверже, чѣмъ признаки *особенные*, принадлежащіе только нѣкоторымъ, но не всѣмъ лошадямъ, и повторяемые гораздо рѣже или неповторяемые вовсе. Понятно, что такимъ образомъ, по самому свойству нашей памяти, изъ *однихъ общихъ* признаковъ однородныхъ представлѣній должна возникнуть особая, сильная ассоціація признаковъ, въ сравненіи съ которою ассоціаціи частныхъ представлѣній будутъ гораздо слабѣе и, такъ сказать, стусевываются.

Но исчезаютъ ли совсѣмъ эти частные признаки единичныхъ представлѣній? Выходитъ ли понятіе изъ этого процесса совершенно чистымъ, свободнымъ отъ частныхъ, несущественныхъ признаковъ тѣхъ единичныхъ представлѣній, изъ которыхъ оно отложилось такимъ естественнымъ путемъ? Напротивъ, на всякомъ понятіи мы видимъ долго, до превращенія его въ слово и часто даже послѣ, слѣды его образованія: обрывки тѣхъ пеленокъ, изъ которыхъ вышло это новое, многообъщающее дитя нашей психо-физической жизни. Легко замѣтить, что какъ только захотимъ мы *представить* себѣ сколько-нибудь живѣе, напри- мѣръ, понятіе о лошади, такъ оно и начинаетъ облекаться въ особенные индивидуальныя признаки той или другой лошади изъ тѣхъ, которыхъ мы видѣли,—начинаетъ принимать опредѣленный цвѣтъ, опредѣленный ростъ и т. д. Мы не можемъ *представить* себѣ лошади вообще, хотя можемъ *мыслить* о ней. *Процессъ воображенія,*

слѣдовательно, совершается въ формѣ единичныхъ представлений, а процессъ мышленія—въ формѣ понятій.

Но такъ ли въ дѣйствительности, въ нашей дѣйствительной психической жизни, различаются процессы воображенія и мышленія, которые мы такъ рѣзко различаемъ въ нашихъ логическихъ выводахъ? Въ дѣйствительности вовсе нѣтъ такого рѣзкаго различія между этими двумя процессами ¹⁾. Въ сущности это одинъ и тотъ же безпрестанно совершающійся въ насъ психо-физическій процессъ, на одномъ концѣ котораго мы видимъ *представленія* въ опредѣленныхъ формахъ и краскахъ, или, лучше сказать, видимъ множество мелькающихъ представлений, а на другомъ—*понятіе* безъ опредѣленныхъ формъ и опредѣленныхъ красокъ. Эти мелькающія въ душѣ нашей представленія сбиваютъ другъ друга во всемъ, что въ нихъ есть различнаго, и оставляютъ въ душѣ нашей прочный слѣдъ только сходными своими признаками. Процессъ этотъ можетъ идти и назадъ, и впередъ: иногда берутъ верхъ представленія, а иногда понятія, выдѣлившіяся изъ этихъ представлений: въ первомъ случаѣ мы *воображаемъ* и *мечтаемъ*, а во второмъ *думаемъ*; но, можетъ быть, никогда въ чистотѣ своей ни тотъ, ни другой процессъ не совершаются отдѣльно въ душѣ человѣка...

(8—15). Юмъ вовсе отвергаетъ существованіе понятій и объясняетъ мыслительный процессъ смѣною однихъ частныхъ представлений, привязанныхъ къ общимъ терминамъ—*словамъ*. Но откуда же взялись бы эти слова и самый языкъ, если бы они не служили выраженіемъ именно понятій, абстрактованныхъ отъ представлений? Слова остаются, а выражаемая ими понятія постоянно пополняются и исправляются нами въ теченіе всей нашей жизни. Милль признаетъ абстракцію въ образованіи понятій, выражаемыхъ, на примѣръ, въ названіи того или другого класса животныхъ, которое вызываетъ въ насъ идею о цѣломъ классѣ, а не только объ индивидуальномъ членѣ его. Дѣло въ томъ, что надо раздѣлять процессъ воображенія отъ процесса мышленія: въ воображеніи мы имѣемъ дѣло съ единичными представленіями, а въ мышленіи—съ понятіями или идеями. Мы *дѣйствительно представляемъ* себѣ всегда единичную лошадь, сознавая, что представленіе это не совпадаетъ съ понятіемъ о лошади вообще, думая о которой сокращаемъ иные несущественные ея признаки.

Мышленіе можно назвать *остановившимся воображеніемъ*, отъ котораго оно именно въ этомъ и отличается. Въ процессѣ воображенія одно представленіе смѣняется другимъ; въ процессѣ мышленія нѣсколько представлений *одновременно* остаются въ нашемъ сознаніи, такъ что мы можемъ дѣлать сравненія, составлять понятія, сужденія, дѣлать выводы и т. д. Безъ процесса воображенія

¹⁾ На отличіе *психологическаго* понятія отъ *логическаго* указалъ также Гербартъ. Herbart's Schriften. Erst. T. § 79.

невозможенъ и процессъ мышленія, и наоборотъ, хотя послѣднее и труднѣе подмѣтить. Такъ происходитъ подборъ новыхъ ассоціацій признаковъ разныхъ представленій и понятій, къ которымъ мы ихъ подбираемъ. Понятія постоянно нужны намъ при мышленіи, и только при полной галлюцинаціи въ воображеніи проходятъ одни яркіе образы какъ бы живыхъ предметовъ.

Оба процесса—воображенія и мышленія, безпрестанно перемѣшиваются въ насъ и переходятъ одинъ въ другой, и мы не могли бы выдѣлить процессъ мышленія и закрѣпить его, если бы не обладали *даромъ слова*. Каждое слово для насъ то же, что номеръ книги въ библіотекѣ, подъ которымъ скрывается цѣлое твореніе, стоившее много труда и времени. Самое содержаніе этихъ твореній, хранящихся въ нашей памяти, называется идеей, и мы всегда можемъ воскресить это содержаніе. Слова—это только какъ бы каталогъ этой библіотеки. Мы постоянно пополняемъ и исправляемъ его, перерабатывая понятія, которыя никогда не достигаютъ полной законченности, какъ мы ни стараемся *уловить* всѣ существенные признаки предметовъ. Слово *понятіе* сродно со словомъ *поймать*, какъ *Begriff*—съ *greifen*—хватать. У дѣтей эти мелькающіе обрывки представленій при выработкѣ изъ нихъ понятій и словъ бывають ярче и многочисленнѣе, чѣмъ у взрослыхъ, болѣе привыкшихъ обращаться съ ними. Да и у взрослыхъ, привыкшихъ работать разсудкомъ, понятія не является въ чистомъ своемъ видѣ: только *даръ слова* и *идеи* нашего духа помогаютъ человѣку стать выше животнаго, не способнаго закрѣплять въ словахъ и идеяхъ эту дѣятельность воображенія.

Мы видимъ, что въ разсудочномъ процессѣ, какъ мы его изложили, нѣтъ никакихъ новыхъ агентовъ, а все тѣ же, съ которыми мы уже ознакомились выше: сознаніе, какъ способность различать, а слѣдовательно и сравнивать ощущенія; способность механической памяти усваивать слѣды опредѣленныхъ ощущеній; способность этихъ слѣдовъ и ихъ ассоціацій возникать вновь въ сознаніи, въ формѣ представленій; передвиженіе этихъ представленій въ области сознанія и временное замедленіе или временная остановка этого передвиженія,—вотъ всѣ тѣ агенты и процессы, изъ которыхъ состоитъ такъ называемый разсудочный процессъ. Изъ этого уже видно, что этотъ процессъ очень сложенъ, и мы никакъ не согласны признать его, вмѣстѣ съ Дробишемъ, за самый простой ¹⁾: напротивъ, это самый сложный психо-физическій процессъ, составляющійся изъ одновременнаго дѣйствія нѣсколькихъ психо-физическихъ агентовъ, и въ которомъ соединяются нѣсколько психо-физическихъ агентовъ. Въ разсудочномъ процессѣ мы—

1) сознаемъ разомъ нѣсколько различныхъ ощущеній, понятій, представленій, сужденій, и т. д.;

²⁾ Empyrische Psychologie. S. 160.

- 2) сознаемъ ихъ сходство;
- 3) сознаемъ ихъ различіе;
- 4) сознаемъ ихъ отношенія въ этихъ сходствахъ и различіяхъ, и
- 5) соединяемъ въ одинъ выводъ, не уничтожая различія.

Кромѣ того, въ этомъ процессѣ, какъ мы увидимъ ниже, принимаютъ дѣятельное участіе состоянія нашей нервной системы и наши сердечныя чувства. Болѣе сложнаго психо-физическаго акта мы не знаемъ: это вѣнецъ, до котораго достигаетъ животная природа, послѣдняя ступень развитія этой природы и первая, на которую опирается духовная природа человѣка.

Однако, какъ ни сложенъ этотъ процессъ, но главный характеристическій дѣятель въ немъ одинъ, и этотъ дѣятель не есть что-нибудь новое, для чего нужно было бы особенное названіе *разсудка*, но знакомое уже намъ *сознаніе*.

Читатель нашъ уже знакомъ съ тою мыслью, потому что она начала высказываться нами уже давно; но мы считаемъ необходимымъ высказать ее здѣсь вполнѣ, чтобы потомъ уже не возвращаться къ ней и пользоваться ею, какъ доказанною. Всякая новая мысль не можетъ быть высказана сразу вся, особенно, если она вытекаетъ изъ сложныхъ и разнообразныхъ наблюденій, принадлежащихъ къ различнымъ областямъ знанія. Мысль эта уже высказана отчасти Бэномъ, но только онъ не придаетъ ей всего того значенія, которое она должна имѣть, и не выводитъ изъ нея всѣхъ тѣхъ важныхъ послѣдствій, которыя изъ нихъ вытекаютъ сами собой.

Новая фізіологія, особенно со времени наблюденій Вебера надъ осязаніемъ, приходитъ къ заключенію, по крайней мѣрѣ для тѣхъ чувствъ, дѣятельность которыхъ наиболѣе уяснена, что ощущеніе есть сознаніе колебанія въ нашей нервной системѣ, сознаніе разницы въ двухъ ея различныхъ состояніяхъ. Слѣдовательно, всякое опредѣленное ощущеніе есть уже результатъ *сравненія*, а сравненіе, какъ извѣстно, есть основная отличительная дѣятельность разсудка. На этомъ основаніи мы признали уже выше, что уже при образованіи первыхъ ощущеній работаетъ разсудокъ. Точно такъ же работаетъ онъ при образованіи *слѣда* ¹⁾. Слѣдъ не можетъ быть образованъ безъ участія разсудка, такъ какъ слѣдъ есть результатъ сравненія, иначе мы не могли бы узнать въ немъ слѣда опредѣленнаго ощущенія. Я припоминаю красный цвѣтъ только потому, что могу его *отличить*

¹⁾ Здѣсь видна ошибка Бенке, когда онъ говоритъ: «Дитя въ первое время своей жизни ничего не понимаетъ» (Erz. und Unter. § 6. S. 27). Дитя чувствуетъ, т. е. сравниваетъ и различаетъ, слѣдовательно, понимаетъ. Предѣла, когда начинаютъ образовываться *понятія*, положить нельзя: образованіе ихъ начинается съ первой дѣятельности сознанія, а не оканчивается вполнѣ и во всю жизнь.

отъ всѣхъ другихъ цвѣтовъ, *узнать* его между другими цвѣтами. Безъ участія разсудка не можетъ быть сдѣлана ни одна *ассоціація* слѣдовъ, такъ какъ всякая ассоціація дѣлается только по сходству или различію слѣдовъ,—слѣдовательно есть плодъ *сравненія* и *различенія*, а способность сравнивать и различать приписывается разсудку. Изъ этого уже видно, что *представленіе*—эта ассоціація ассоціацій слѣдовъ,—есть плодъ дѣятельности разсудка. Ничего новаго не находимъ мы и въ образованіи *понятій*: здѣсь продолжается та же работа разсудка, начатая имъ съ простаго первоначальнаго ощущенія и съ простаго основнаго *слѣда*; понятіе есть тоже не болѣе, какъ плодъ сравненія многихъ представленийъ.

При этомъ объясненіи, какъ мы показали выше ¹⁾, остается только трудность объяснить появленіе *перваго* ощущенія; но какъ только произошло первое ощущеніе, какъ только оно оставило *слѣдъ* свой въ памяти, такъ и появляется возможность безконечной *цѣпи сравненій*, такъ и начинается процессъ, порождающій безпрестанно новыя ощущенія, болѣе и болѣе опредѣляющіяся, новыя *слѣды* ощущенія, новыя ассоціаціи слѣдовъ, новыя *представленія* и, наконецъ, новыя *понятія*, словомъ, начинается *жизнь сознанія*.

Что же такое разсудокъ въ этомъ процессѣ, въ этой жизни сознанія? Явленіе ли, сопровождающее сознаніе, одна ли изъ способностей сознанія? Не трудно видѣть, что другой способности сознанія и нѣтъ, и что если вся способность разсудка состоитъ только въ различеніи и сравненіи различныхъ состояній въ нервной системѣ, отражающихся различными состояніями въ душѣ, то—*разсудокъ и сознаніе одно и то же*.

Что сознаніе есть только процессъ различенія и сравненія—это мы уже доказали; но что *разсудокъ есть тоже только процессъ различенія и сравненія*,—этого мы еще не доказали вполнѣ. Мы доказали это только для ощущеній и ихъ слѣдовъ, для ассоціацій слѣдовъ и представленийъ, доказали, наконецъ, для *понятій*; но намъ остается еще доказать это для тѣхъ дѣятельностей, приписываемыхъ обыкновенно разсудку, которыя называютъ *сужденіями*, *умозаключеніями*, постиженіемъ предметовъ и ихъ отношеній, постиженіемъ законовъ явленій, учеными системами или наукою и, наконецъ, правилами житейской дѣятельности.

Эти-то доказательства и составятъ предметъ слѣдующихъ главъ, а теперь мы позволимъ себѣ маленькое отступленіе въ пользу царства животныхъ. Это отступленіе уяснитъ намъ еще болѣе мысль, которую мы хотѣли здѣсь провести.

Если мы только признаемъ, что у животныхъ есть сознаніе, т. е. спо-

¹⁾ См. гл. XXI.

способность получать опредѣленные (т. е. различаемыя, а слѣдовательно и сравниваемыя) ощущенія, есть память, т. е. способность сохранять и возстановлять, а слѣдовательно и различать (а слѣдовательно и сравнивать) слѣды этихъ ощущеній; если мы признаемъ (а этого невозможно отрицать), что у животныхъ есть воображеніе, т. е. что слѣды представленій, возникая, въ ихъ сознаниі, передвигаются тамъ съ болѣею или меньшею быстротою, то замедляясь, то на время останавливаясь,—то не можемъ не признать, что въ сознаниі животныхъ могутъ образовываться и понятія, только не могутъ они превращаться въ идеи и облекаться въ слова. Опытъ подтверждаетъ этотъ психологическій выводъ. Не трудно убѣдиться, что животные руководятся въ своей дѣятельности не единичными представленіями, но понятіями, болѣе или менѣе ясными, вообще о той или другой породѣ животныхъ, вообще о пищѣ и т. п. И по прежнему понятію о разсудкѣ, какъ отдѣльной способности сравнивать, различать и дѣлать выводы изъ этихъ сравненій и различій, мы не можемъ отказать животному въ разсудкѣ. Собака, преслѣдуя лисицу, изъ многихъ дорогъ выбираетъ кратчайшую или удобнѣйшую: слѣдовательно, она различаетъ, сравниваетъ и дѣлаетъ правильное умозаключеніе. Но дѣйствія животныхъ по *разсудку* слѣдуетъ строго отличать отъ дѣйствій по *инстинкту*. Для этого различенія весьма пригоденъ приемъ, употребленный Фортлаге для доказательства присутствія сознаниа, а именно—нерѣшительность, колебаніе, раздумье, ошибки, опытъ и поправки. Дѣйствуя по инстинкту, животное не колеблется, не раздумываетъ и не ошибается, какъ не колеблется и не ошибается сама безчувственная природа въ своей дѣятельности. Дѣйствуя по разсудку, животное ошибается, недоумѣваетъ, дѣлаетъ опыты и поправляется. Чѣмъ ближе животное къ человѣку по своей нервной организаціи, тѣмъ болѣе у него проявляется разсудочной дѣятельности и тѣмъ менѣе инстинктивной, и наоборотъ, чѣмъ менѣе развита нервная система животного, тѣмъ болѣе замѣчаемъ въ его дѣятельностяхъ инстинкта и тѣмъ менѣе разсудка. Вотъ почему самыя удивительныя произведенія животныхъ принадлежатъ именно животнымъ низшихъ породъ, у которыхъ едва замѣчаются только кое-какіе признаки нервной системы. (Кто не удивлялся устройству сотовъ, наутины, коралловымъ островамъ, постройкамъ муравьевъ и т. п.?). Но и этимъ маленькимъ животнымъ нельзя отказать въ нѣкоторой долѣ разсудка, такъ какъ наблюденія показываютъ, что и они могутъ, какъ то прекрасно доказалъ Дарвинъ, дѣлать опыты и принаровляться къ обстоятельствамъ; только эти опыты дѣлаются чрезвычайно медленно, можетъ быть въ тысячахъ поколѣній, микроскопическими дозами, пока, наконецъ, изъ нихъ наследственно образуется новая привычка и войдетъ въ составъ наследственнаго инстинкта животныхъ, измѣнивъ его сообразно новымъ обстоятельствамъ, новому кли-

мату, новой почвѣ, новому матеріалу для работъ, и т. п. Наука ожидаетъ отъ Дарвина подробнаго развитія этого процесса измѣненій инстинкта животныхъ ¹⁾.

Въ породахъ же вышихъ животныхъ разсудочныя дѣйствія преобладаютъ надъ инстинктивными: въ дѣйствіяхъ слона, напр., не менѣе, если не болѣе разсудочности, чѣмъ въ дѣйствіяхъ новозеландскаго дикаря ²⁾. Только слово и идея—эти *дары духа*—развили разсудокъ человѣка до такой степени, на которой онъ кажется, съ перваго взгляда, немѣющимъ ничего общаго съ разсудкомъ животнаго.

Г Л А В А XXXIII.

Образованіе сужденій и умозаключеній.

Въ простомъ сужденіи Бенеке совершенно справедливо видитъ только соединеніе понятія съ единичнымъ представленіемъ. Такъ, напримѣръ, говоря: *это* (то, что я вижу, или то, что я видѣлъ, а теперь себѣ представляю) *есть дерево, это коршунъ* и т. п., я только соединяю представленіе съ понятіемъ, въ которое оно входитъ; но понятіе, въ свою очередь, содержится въ представленіи, такъ какъ въ каждомъ *единичномъ деревѣ* находятся всѣ признаки *дерева вообще*, да, кромѣ того, есть еще особенные признаки, принадлежащіе только этой *породѣ* деревьевъ, этому *виду*, этой *семьѣ* и, наконецъ, этой *особи* ³⁾. Эту связь яснѣе можно, кажется, выразить такъ: въ сужденіи представленіе *связывается* съ понятіемъ своими *общими* признаками, исчерпывающими все содержаніе понятія, и въ то же время *отдѣляется* отъ него своими *особенными*, ему

¹⁾ «Въ душѣ животныхъ не образуется разсудокъ», говоритъ Бенеке (Erg. und Unter. § 30, S. 126), и основываетъ это на несовершенствѣ *первичныхъ силъ* животнаго. Но это противорѣчитъ факту: у животныхъ внѣшнія чувства часто сильнѣе, чѣмъ у человѣка; память часто тоже замѣчательная. На это указалъ и Миллеръ (Man. de Phys. T. II, p. 495). «Причинъ способности отвлеченія, говоритъ онъ, вовсе не должно искать въ ясности или темнотѣ впечатлѣній, ибо въ этомъ нѣтъ различія между человѣкомъ и животнымъ». Въ способности же «отвлекать общія идеи изъ частныхъ явленій» Миллеръ видитъ главное отличіе человѣка отъ животнаго. Но это тоже не *совсѣмъ* справедливо, какъ мы видимъ: у животнаго формируются *полютія*, но они не превращаются въ *идеи*; процессъ абстракціи начинается, но не оканчивается. (Man. de Phys. T. II, p. 509).

²⁾ Брэмъ. Жизнь животныхъ. Спб. 1866. Т. I. Общій обзоръ жизни животнаго царства, стр. II.

³⁾ Lehrbuch der Psychologie. § 124.

только принадлежащими признаками. Липа, напимѣръ, имѣя всѣ общіе признаки дерева, имѣетъ, кромѣ того, свои особенные признаки. Сознаніе *разомъ* отражаетъ въ одномъ *сужденіи* это соединеніе и различіе, а языкъ выражаетъ ихъ въ формѣ, которую мы называемъ *предложеніемъ*. Такимъ образомъ, и въ этой формѣ разсудочной дѣятельности мы не находимъ ничего, что бы превышало средства сознанія. И въ сужденіи сознаніе только сравниваетъ и различаетъ: соединяетъ, не сливая, и различаетъ, не разрывая. Для этой дѣятельности не нужно никакой особенной способности—*для нея довольно сознанія*.

Но если сужденіе есть сознательное соединеніе (но не слияніе) понятія съ особеннымъ представленіемъ, или одного понятія съ другимъ понятіемъ, входящимъ въ первое въ роли единичнаго представленія (такъ, напр., *это* ¹⁾ липа, липа—дерево, дерево—растеніе, растеніе—организмъ); то, съ другой стороны, всякое понятіе, какъ справедливо замѣтилъ Дробишъ, есть «дѣтя сужденія», составлено нами посредствомъ соединенія нѣсколькихъ сужденій, а иногда такого множества ихъ, что и перечислить трудно; такъ, напимѣръ, въ понятіи *человѣкъ* соединилось такъ много сужденій, что для изложенія ихъ, для того, чтобы исчерпать содержаніе этого понятія, потребовались бы цѣлые томы. Спрашивается, однако, если въ сужденіи предполагается уже понятіе, а каждому понятію необходимо предшествуетъ сужденіе, то что же произошло прежде: понятіе или сужденіе? Такимъ вопросомъ задается англійскій психологъ Ридъ и говоритъ, что его рѣшить такъ же невозможно, какъ и тотъ знаменитый вопросъ: вышло ли первое яйцо изъ курицы, или первая курица изъ яйца, и прибавляетъ, что начало каждаго сужденія такъ же скрыто отъ насъ, какъ источники Нила ²⁾.

Но мы видѣли, что сознаніе и при воспріятіи перваго опредѣленнаго ощущенія уже сравниваетъ и различаетъ, и вопросъ Рида принимаетъ для насъ другую форму: какъ родилось у насъ первое опредѣленное ощущеніе, когда для того, чтобы оно родилось, нужно уже сравненіе, а для того, чтобы возможно было сравненіе, нужно уже ощущеніе? Мы уже выше указали на этотъ вопросъ, какъ и на то, что въ психологіи нѣтъ на него отвѣта ³⁾.

«Въ сужденіи, замѣчаетъ Бенекке, особенное представленіе становится яснѣе черезъ соединеніе съ понятіемъ, а понятіе, въ свою очередь, освѣ-

¹⁾ Въ сужденіяхъ, выраженныхъ словами, мы обыкновенно соединяемъ подчиненное понятіе съ главнымъ; для особей у насъ нѣтъ словъ, а есть только указательныя мѣстоименія, которыя, въ свою очередь, представляютъ самое общее въ человѣческомъ языкѣ: сказать «вотъ это дерево», почти то же, что указать на дерево пальцемъ; но указать пальцемъ можно одинаково на все.

²⁾ Read, p. 322.

³⁾ См. выше, гл. XXI.

жается через присоединение къ нему особеннаго представленія» ¹⁾. Замѣтка эта очень вѣрна; но къ ней слѣдуетъ прибавить, что представленіе наше становится яснѣе въ томъ только случаѣ, когда мы поняли особенности даннаго представленія, выдвигающія его изъ понятія и мѣшающія ему слиться съ понятіемъ, отъ чего собственно и происходитъ сужденіе. Если же этого нѣтъ, то сужденіе есть не болѣе, какъ *словесный актъ*, ничего не прибавляющій къ содержанію разсудка, и можетъ потому имѣть значеніе только грамматическаго примѣра. Это уже не сужденіе, а *пустая форма сужденія*

Въ простомъ сужденіи особенное представленіе является подлежащимъ, а понятіе сказуемымъ (Иванъ—человѣкъ, лошадь—млекопитающее животное и т. п.). Такое сужденіе называется *простымъ* или *аналитическимъ*; но легко видѣть, что къ тому же роду относятся и тѣ сужденія, въ которыхъ мы приписываемъ какой-нибудь признакъ предмету, только тутъ особенный признакъ играетъ роль особеннаго представленія: напримѣръ, у коровы раздвоенныя копыта. Здѣсь особый признакъ или вводится въ понятіе, *еще не готовое*, или выводится изъ него, если понятіе *уже готово*. Простыя сужденія выражаются и простыми *предложеніями*...

Заслуга Милля состоитъ именно въ томъ, что онъ вновь и энергически выразилъ здравую идею *реальности мышленія* и внесъ ее въ логику, откуда, какъ можно надѣяться, она уже не выйдетъ болѣе и сдѣлаетъ опять эту науку достойною изученія. Но Милль только угадалъ теченіе мысли своего вѣка, уже шевелившейся повсюду, въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ науки и жизни, но шевелившейся еще подъ покрываломъ. Милль только сбросилъ это покрывало. Въ области воспитанія, которую мы исключительно имѣемъ здѣсь въ виду, идея эта уже давно начинала высказываться въ формѣ громкихъ требованій. «Les choses! les choses!» говоритъ уже Руссо: «Je ne répéterai jamais assez que nous donnons trop de pouvoir aux mots: avec notre éducation babillarde nous ne faisons que des babillards» ²⁾. Песталоцци старался приложить эту идею къ практикѣ обученія; за нее же стояли и сражались лучшіе германскіе педагоги; къ ней пробиваются и педагоги Англіи; а наша педагогика, едва взглянувши на нее, поспѣшила отворотиться. Но нѣтъ сомнѣнія, что исторія скоро опять поворотитъ насъ лицомъ къ этой своей очередной идеѣ.

Милль признаетъ *пять* видовъ предложеній (т. е. сужденій, выраженныхъ въ формѣ слова), а именно: *одни* выражаютъ *существованіе*,

¹⁾ Lehrbuch der Psychologie, § 44.

²⁾ Emile, p. 189. «Вещей! вещей! Я никогда не перестану повторять, что мы придаемъ слишкомъ много значенія словамъ: съ нашимъ болтливымъ воспитаніемъ мы и дѣлаемъ только болтуновъ».

напримѣръ, *есть душа, есть добродѣтель* и т. п.; другія выражаютъ *существованіе*, напримѣръ—*человѣкъ смертенъ*; третьи выражаютъ *последовательность* между явленіями: *за зимою слѣдуетъ весна*; четвертыя выражаютъ *причинность*: *вѣтеръ волнуетъ поверхность воды*; пятая, наконецъ, выражаютъ *сходство*: *снѣгъ блеститъ подобно серебру* ¹⁾. Разберемъ всѣ эти виды предложеній пли сужденій, и мы найдемъ, что во всѣхъ сознаніе наше дѣлаетъ все одно и то же: находитъ сходство и различіе или, однимъ словомъ, сравниваетъ.

Что мы утверждаемъ собственно въ сужденіяхъ, *только заявляющихъ существованіе предмета*? На это даетъ намъ отвѣтъ Декартъ со своимъ знаменитымъ: *cogito ergo sum* (я мыслю, слѣдовательно существую), и первая категорія гегелевской логики, выводящая идею «бытія и небытія» ²⁾; но только мы, смотря на тотъ же предметъ съ точки зрѣнія опытной психологій, присоединимъ къ этимъ двумъ великимъ идеямъ простое *чувство своего бытія*, которое каждый изъ насъ носитъ въ самомъ себѣ. Что утверждаютъ собственно такія сужденія, каковы: *есть Богъ, есть душа, есть тѣло, есть матерія, есть сила* и т. п.? Самое поставленіе глагола *быть* въ началѣ этихъ предложеній показываетъ уже, что вся сила здѣсь въ этомъ глаголѣ, и что здѣсь онъ уже не связка, а сказуемое, и притомъ сказуемое, на которое говорящій хочетъ обратить вниманіе слушающаго... Говоря: *есть тѣло*, я, кромѣ того, что говорю, что оно есть, утверждаю также, что это *не моя фантазія* и что тѣло существуетъ отдѣльно отъ моего бытія, независимо отъ него. Я не скажу—*есть призракъ*, хотя онъ и существуетъ въ моей фантазіи, и не скажу этого именно потому, что признаю его лишь за созданіе моей фантазіи. Говоря: *есть Богъ*, я не только утверждаю бытіе Божіе, но въ то же время отрицаю, чтобы оно было созданіемъ моего воображенія. Мы убѣждены, что всякій, кто всмотрится внимательно въ *эти предложенія существованія*, какъ ихъ называетъ Милль, увидитъ въ нихъ то же самое, что видимъ мы, т. е. отысканіе сходства и процессъ сравненія между бытіемъ, которое я *чувствую* въ самомъ себѣ, и признакомъ, который я хочу придать тому или другому предмету.

Сужденія сосуществованія выражаютъ также сходство и различіе между двумя предметами моего мышленія. Такъ, въ предложеніи—*человѣкъ смертенъ* выражается только *логическое уравненіе* между двумя ассоціаціями признаковъ: ассоціаціею, обозначенною словомъ «смертенъ», и ассоціаціею, обозначенною словомъ «человѣкъ»: явленія смертности, поразившія наше сознаніе, приравниваются къ понятію человѣка и въ это поя-

¹⁾ Mill's Logic. B. I. Ch. V. §§ 5 и 6.

²⁾ Hegel's Wissenschaft der Logik. 1841. Erst. B. Die Lehre v. Sein. S. 72 и 73.

тіе вводится новый атрибутъ. Но вслѣдствіе чего составилось у насъ понятіе *смертенъ*? Конечно, вслѣдствіе сравненія впечатлѣній, полученныхъ нами въ различное время, впечатлѣній, очень разнообразныхъ, составляющихъ различныя группы, но такія, въ которыхъ въ каждой есть одна общая черта—прекращеніе жизни. Точно такимъ же путемъ образовалось у насъ понятіе *человѣка*, хотя оно гораздо сложнѣе. Сравнивая эти два понятія, я ихъ соединяю и говорю: *человѣкъ смертенъ*. Положимъ, что мы не знали бы, что *человѣкъ умираетъ*, какъ и не знали мы этого въ дѣтствѣ, но видѣли бы умирающихъ животныхъ и составили бы себѣ понятіе о *смертномъ существѣ*, о цѣломъ классѣ смертныхъ существъ, въ который мы не ввели бы *человѣка*. Потомъ, увидавъ, что и *человѣкъ умеръ*, мы сказали бы сами себѣ: «а, и *человѣкъ смертенъ!*». Если же мы не говоримъ теперь этого знаменательнаго «а», то только потому, что, говоря: «*человѣкъ смертенъ*», мы собственно не дѣлаемъ новаго для насъ сужденія, но только анализируемъ, такъ сказать, распарываемъ по швамъ сужденіе, давно уже въ насъ составившееся, и которое, въ числѣ множества другихъ сужденій, давно уже введено нами въ понятіе *человѣкъ*. Въ предложеніи же: «а, и *человѣкъ смертенъ!*» нѣтъ ничего другого, кромѣ открытія сходства. Можетъ, конечно, случиться и такъ, что самое понятіе смертности составитъ нами изъ наблюденія не надъ животными, а надъ людьми, тогда мы скажемъ просто: «*человѣкъ умираетъ*», и это будетъ ни что болѣе, какъ выводъ изъ сравненія тѣхъ впечатлѣній, которыя мы получаемъ, глядя на живого *человѣка*, съ тѣми, которыя получаемъ мы, глядя на трупъ: изъ сходства и различія этихъ двухъ сложныхъ группъ впечатлѣній выйдетъ у насъ сужденіе—*человѣкъ умираетъ*; а изъ многихъ сравненій подобнаго рода выйдетъ сужденіе—*человѣкъ смертенъ*, выражающее только *увѣренность*, что перемѣна признаковъ, много разъ замѣченная нами, случится со всякимъ *человѣкомъ*. Каинъ, убившій брата, безъ сомнѣнія, изумился явленію смерти; вотъ почему и первая мысль его была, что и его могутъ убить, и эту-то боязнь выражаетъ онъ въ словахъ своихъ.

Возьмемъ другой примѣръ сужденій, выражающихъ сосуществованіе, примѣръ, также приводимый Миллемъ: «*вершина Чимборазо—бѣла*», и тутъ мы увидимъ тотъ же процессъ сравненія. Множество разновременныхъ ощущеній, по чувству ихъ одинаковости, я назвалъ однимъ словомъ—*бѣлый*. Взглянувъ на вершину Чимборазо, я испытываю то же чувство, и изъ этого, по выраженію Милля, специфическаго чувства сходства рождается сужденіе—*вершина Чимборазо бѣла*. Но если бы признать, вмѣстѣ съ Миллемъ, что чувство сходства есть какое-то особенное, специфическое ¹⁾,

¹⁾ Ibid. p. 112.

тогда слѣдовало бы признать еще и другое специфическое чувство—*чувство различія*. Но мы уже видѣли, что какъ чувство сходства, такъ и чувство различія только двѣ стороны одного и того же процесса—процесса сравненія, или, проще, процесса сознанія. Я не могъ бы найти сходства между двумя предметами, если бы въ то же время не различалъ ихъ; тогда это были бы уже не сходные предметы, а тождественные: не два предмета, а одинъ и тотъ же предметъ. Точно такъ же я не могъ бы различить двухъ предметовъ, если бы не сознавалъ сходства между ними, хотя бы это сходство все заключалось въ томъ, что оба эти предмета существуютъ или на самомъ дѣлѣ, или въ моей фантазіи...

Въ *сужденіяхъ сосуществованія* мы всегда вводимъ обсуждаемый нами предметъ въ ассоціацію другихъ предметовъ, уже связанную нами. Говоря: «человѣкъ смертенъ», я или ввожу человѣка въ ассоціацію смертныхъ существъ или признакъ смертности ввожу въ ассоціацію признаковъ, которые соединились у меня въ понятіи человѣка. Точно такъ же, говоря: «золото есть металлъ», я или ввожу золото въ ассоціацію предметовъ, которая обозначилась у меня однимъ словомъ—металлъ, или дѣлаю изъ этой ассоціаціи признакъ и ввожу его въ ассоціацію признаковъ, составляющихъ въ моемъ умѣ понятіе золота. То или другое направленіе моей мысли въ этомъ случаѣ зависитъ отъ того, на что я направилъ мое вниманіе, или что я хотѣлъ особенно выразить: то ли, что золото принадлежитъ къ числу металловъ, или то, что у золота есть признаки металла; нужно ли мнѣ было описать золото, или нужно ли мнѣ было помѣстить его въ извѣстный классъ. Въ самомъ сужденіи здѣсь разницы нѣтъ, а есть только разница въ томъ употребленіи, какое я хочу изъ него слѣдовать; слѣдовательно, разница внѣшняя для самаго сужденія...

Въ сужденіяхъ, утверждающихъ *последовательность явленій*, тоже утверждается только различіе и сходство. Между молніей и громомъ то сходство, что они являются въ одинъ періодъ времени, непосредственно одно за другимъ; различіе же то, что молнія, повидимому, бываетъ прежде грома, и что одно блеститъ, а другое гремитъ. Здѣсь двѣ различныя ассоціаціи ощущеній связаны также сходствомъ и различіемъ.

Въ *сужденіяхъ причины* то же самое, что и въ сужденіяхъ последовательности, потому что мы называемъ причиною также *предшествующее* явленіе, послѣ котораго, по нашему убѣжденію, непосредственно слѣдуетъ другое, и это другое мы называемъ слѣдствиемъ. Что же касается *сужденій по сходству*, то они прямо уже вытекаютъ изъ сравненія и показываютъ только, что умъ нашъ, остановившись на сходствѣ, не пошелъ далѣе и не окончилъ сужденія, не вывелъ никакого результата изъ этого сходства. Таково сужденіе: «*снѣгъ блеститъ какъ серебро*». Такъ какъ одного этого

сходства было недостаточно, чтобы свести снѣгъ и серебро въ одно понятіе, то образованіе понятія и остановилось на отрывочномъ сужденіи. Но изъ многихъ сужденій сходства образуется понятіе, какъ мы показали выше.

Въ какому же окончательному выводу придемъ мы, разсмотрѣвъ происхожденіе сужденій?

Сужденіе есть не болѣе, какъ то же понятіе, но еще въ процессѣ своего образованія. Окончательное сужденіе превращается въ понятіе. Изъ понятія и особеннаго представленія или изъ двухъ и болѣе понятій можетъ опять выйти сужденіе; но, оконченное, оно опять превратится въ понятіе и выразится однимъ словомъ: напримѣръ, у *этого* животнаго раздвоенныя копыта, на лбу у него рога, оно отрыгаетъ жвачку, и т. д. Всѣ эти сужденія, слившись вмѣстѣ, образуютъ одно понятіе животнаго двукопытнаго и жвачнаго. Мы можемъ разложить каждое понятіе на составляющія его сужденія, каждое сужденіе опять на понятія, понятія опять на сужденіе и т. д. Слѣдовательно, сужденіе есть то же понятіе на пути своей формировки, и слѣдовательно для сужденій нуженъ только тотъ же агентъ, который образуетъ понятія—нужно *сознаніе*.

Умозаключеніе вовсе не есть какая-нибудь самостоятельная форма разсудочнаго процесса, а только повѣрка и анализъ того, что уже образовалось въ формѣ *сужденій* и отлилось въ *понятіе*. «Кай человекъ; всѣ люди смертны: слѣдовательно, Кай смертенъ». Весь этотъ силлогизмъ, какъ справедливо замѣчаетъ Джонъ Стюартъ Милль, заключается уже въ первомъ сужденіи: Кай человекъ ¹⁾, и во всемъ этомъ силлогизмѣ рѣшается одинъ только вопросъ: человекъ ли Кай? Если Кай человекъ, то въ понятіе человека, какъ составная часть его, вошло сужденіе, взатое изъ опыта, что всѣ люди умираютъ и что, слѣдовательно, и безсмертій Кай, воскресающій въ каждой логикѣ, наконецъ умретъ. Прежде чѣмъ человекъ высказалъ такой силлогизмъ, онъ уже сдѣлалъ его въ первой посылкѣ; слѣдовательно, силлогизмъ этотъ ни на шагъ не подвигаетъ далѣе разсудочнаго процесса и есть не болѣе, какъ разложеніе уже готоваго понятія на сужденія, изъ которыхъ оно составилось. Милль сравниваетъ силлогизмъ съ повѣркою переписки. «Заботливый переписчикъ, говоритъ онъ, повѣряетъ переписанное имъ по оригиналу, и если нѣтъ ошибки, то признаетъ, что переписано вѣрно. Но не будемъ же называть повѣрку копій частью акта переписки» ²⁾. Намъ кажется, что еще удачнѣе будетъ сравнить силлогизмъ съ распарываніемъ уже сшитаго платья по швамъ, что дѣлается иногда съ тою цѣлью, чтобы узнать, какъ было платье сшито. Въ силло-

¹⁾ Mill's Logik. В. II. Ch. II, p. 188.

²⁾ Ibid. Ch. III, § 8, p. 233.

гизмъ мы разлагаемъ понятіе на сужденія, и если попадаемъ на шовъ, то нашему анализу легко двигаться, и мы говоримъ: *истина*. Это дешевая истина показываетъ только, что мы попали на путь, которымъ составилось анализируемое нами понятіе; но это нисколько не мѣшаетъ самому понятію быть ложно составленнымъ, если оно выведено или изъ ошибочныхъ наблюденій, или изъ недостаточнаго числа ихъ.

Г Л А В А XXXIV.

Постиженіе предметовъ и явленій, причинъ и законовъ (338—351).

Основная способность сознанія—чувствовать сходство и различіе между представленіями—даетъ начало нашимъ *понятіямъ*, *сужденіямъ* и *умозаключеніямъ*; выраженіе этихъ отношеній есть сужденіе; выраженіе отношеній между сужденіями есть понятіе; обратное же разложеніе понятія на составляющія его сужденія есть умозаключеніе. Тотъ же процессъ сознанія различій и сходствъ лежитъ въ основѣ и *постиженія предметовъ и явленій природы, ихъ причинъ и законовъ*. Предметы по степени ихъ постиженія нашимъ сознаніемъ дѣлятся на 3 категоріи: предметы *умственные*, нами созданные и потому намъ понятны; *искусственные*, отчасти созданные нами, а отчасти взятые готовыми изъ природы и потому понятны намъ лишь на половину, и, наконецъ, предметы природы или *естественные*, которыхъ мы вовсе не понимаемъ въ томъ смыслѣ, какъ понимаемъ наши собственныя созданія. Понять слово, созданное человѣкомъ, и понять обозначаемый имъ предметъ природы—двѣ вещи разныя (напримѣръ, матерія и душа). Отсюда двѣ истины: *номинальная* и *реальная*. Въ наукѣ и въ жизни постоянно совершается повѣрка номинальной истины новыми реальными фактами и наблюденіями, которыя, въ свою очередь, требуютъ подведенія подъ общія правила и законы. Отсюда понятно, почему *логика* должна составлять преддверіе всѣхъ прочихъ наукъ.

Если пониманіе *явленій* природы не легко для человѣка, то постиженіе *субстанции* естественныхъ предметовъ уже совершенно для насъ невозможно. *Узнать предметъ* для насъ значитъ узнать всѣ его признаки, существенные или случайные; *узнать явленіе* значитъ подмѣтить переменну въ этихъ признакахъ; а такъ какъ неизмѣнныхъ признаковъ въ предметахъ природы вовсе не бываетъ, то каждый *предметъ* можно назвать *явленіемъ*. Между ними нѣтъ объективной разницы, а только субъективная или психическая, смотря по тому, изучаемъ ли мы предметъ по времени или пространству: въ первомъ случаѣ это будетъ явленіе, а во второмъ—предметъ. Явленіе бываетъ двухъ родовъ: или *переменная*, или *пере-*

ходъ, которые суть не иное что, какъ *движеніе*. Постоянные признаки при явленіяхъ суть *условія*; понять предметъ значитъ соединить всѣ его постоянные признаки въ одно понятіе; понятіе явленіе значитъ то же самое, т. е. составить понятіе о постоянныхъ признакахъ или условіяхъ явленія. При постиженіи предмета всѣ его признаки представляются *одновременно*, а при постиженіи явленія—*разновременно*.

Мы вполнѣ постигаемъ *причину* только тѣхъ явленій, которыя вызваны нами самими; во всѣхъ же прочихъ явленіяхъ мы можемъ замѣтить только ихъ послѣдовательность (напримѣръ, нагрѣваніе и расширеніе тѣла), и эту послѣдовательность, если она постоянна, называемъ или *причиною*, или *слѣдствіемъ*. Далѣе наше постиженіе явленій идти не можетъ. Кромѣ того, мы отличаемъ въ явленіяхъ случайныя или *побочныя* обстоятельства, ихъ сопровождающія, отъ постоянныхъ или неизмѣнныхъ, безъ которыхъ невозможно и самое явленіе. Понять, почему именно извѣстная причина вызываетъ всегда одни и тѣ же послѣдствія, т. е. постигнуть субстанцію или сущность явленія мы не можемъ, и относимся къ нему всегда субъективно, примѣняясь къ актамъ нашей собственной воли. Если мы замѣчаемъ математическую точность отношеній между явленіями—предшествующимъ и послѣдующимъ, т. е. причиною и слѣдствіемъ, то называемъ формулу этихъ отношеній *закономъ*. Но абсолютная точность этихъ законовъ существуетъ только въ математикѣ; въ прочихъ же наукахъ всѣ законы лишь приблизительны и бываютъ смѣшаны съ предубѣжденіями и предразсудками не только относительно субстанціи и причины явленій, но также времени, пространства, матеріи и силы.

Г Л А В А XXXV.

Образованіе понятій времени, пространства и числа (351—368).

Всѣ представляемые нами предметы и явленія представляются нами непремѣнно въ пространствѣ и времени; но откуда же взялись сами эти представленія *пространства* и *времени*, не подлежащія никакимъ нервнымъ ощущеніямъ? Одни изъ психологовъ, напримѣръ Лотце, считаютъ ихъ, вмѣстѣ съ Кантомъ, *прирожденными*; другіе какъ Локкъ, Бэнъ, Вундтъ — прибрѣтенными изъ опыта, или *эмпирическими*. Послѣднее ученіе настолько несостоятельно, что остается признать, что происхожденіе въ человѣкѣ понятій пространства и времени, точно такъ же, какъ и понятій числа, движенія, покоя, матеріи, силы и причины, не можетъ быть вполнѣ объяснено изъ дѣйствія внѣшнихъ чувствъ. Отсутствие зрѣнія, слуха и дара слова не препятствуютъ слѣдующимъ и

глухонѣмымъ составлять себѣ вѣрныя понятія о пространствѣ и времени. Чувства *мышечное* и *осязательное* имѣютъ тѣсную связь съ нашими опытами въ пространствѣ и времени, но сами по себѣ вовсе не уясняютъ происхожденія этихъ понятій, которыя предшествуютъ каждому сознательному движенію. Движеніе предшествуетъ ощущеніямъ, которыми оно сопровождается, и ощущеніе движеній, напримѣръ, у зародыша, предшествуетъ всякому другому ощущенію. Движеніе есть нашъ первый по времени психическій актъ. Понятія пространства и времени, въ связи съ нашими движеніями, возникаютъ несомнѣнно изъ опыта, но не пассивнаго, а *активнаго*, причѣмъ всѣ ощущенія даются намъ разомъ въ пространствѣ и времени. Мы чувствуемъ и сознаемъ то *усиліе*, которое дѣлается при каждомъ движеніи, т. е. мы чувствуемъ количество затрачиваемой при движеніи органической силы. Только въ рефлекскахъ, напримѣръ въ судорогахъ, мы не ощущаемъ затрачиваемой силы на самое движеніе, а напротивъ, сознаемъ силу сопротивленія этимъ иногда непреодолимымъ движеніямъ. Чувство и сознание каждаго усилія при произвольныхъ движеніяхъ принадлежатъ уже не самому организму, какъ это мы видѣли въ судорогахъ, а самой душѣ, нашему я. Способность души измѣрять свои собственные усилія есть первая возможность *всякой мѣры, всякаго числа*, и *первая возможность сознанія душою времени и пространства*. Долгое и обширное движеніе стоитъ намъ большихъ усилій, чѣмъ движеніе короткое; быстрое движеніе требуетъ большей затраты силы, чѣмъ медленное, совершаемое въ тотъ же срокъ. Такъ мы получаемъ возможность измѣрять время истощеніемъ силы или усталостью; тѣмъ же путемъ мы доходимъ и до понятій пространства и числа, и корни этихъ понятій лежатъ такъ глубоко, что многіе мыслители считали ихъ прирожденными. Сознаніе усилія даетъ первое понятіе о времени, а затѣмъ даже и о пространствѣ, и о числѣ. Идею *безпредѣльности* и *вѣчности* человѣкъ не могъ извлечь изъ внѣшнихъ опытовъ, которымъ доступно одно временное и конечное: онъ извлекъ ихъ изъ внутреннихъ опытовъ, доступныхъ одной душѣ. *Число* есть уже общее и для пространства, и для времени, а равно и для тяжести, а потому число еще Пифагоръ опредѣлялъ какъ самую простую и самую общую (универсальную) изъ идей. Первое понятіе о числѣ образовалось у человѣка изъ созерцанія одинаковыхъ предметовъ, между которыми онъ не находилъ различія; числовыя понятія, какъ у каждаго отдѣльнаго человѣка, такъ и у народовъ, являются значительно позже другихъ понятій, такъ какъ составляютъ высшее обобщеніе опытовъ. Знаніе *счета* еще не составляетъ сознательнаго пониманія *чиселъ*, надъ развитіемъ котораго въ дѣтяхъ приходится долго работать на опытномъ пути. Тѣмъ же путемъ пріобрѣтается и понятіе о *мѣрахъ*, также происшедшее отъ сознанія усилія: локоть, шагъ (футь), часъ перехода, день пути и т. д.

Г Л А В А XXXVI.

Значеніе произвольныхъ движеній въ разсудочномъ процессѣ (368—375).

Движеніе есть общее, коренное понятіе для пространства и времени. Время мы измѣряемъ пространствомъ, пространство—временемъ, а то и другое—движеніемъ, движеніе же—затратой силъ органическихъ и душевныхъ. Ту же идею усилія и измѣренія мы вносимъ и въ движенія внѣшней природы, не стоящія никакихъ усилій для насъ самихъ. И дѣйствительно: все, что совершается во внѣшнемъ мірѣ, есть *движеніе*, которое мы и наблюдаемъ, не зная, что такое сама матерія. Движеніе можетъ быть или *массивное*, прямо доступное нашему зрѣнію, или *скрытое*, молекулярное, атомическое, которое отражается въ нашей душѣ ощущеніемъ свѣта, цвѣта, звука, тепла и т. д. Превращеніе этихъ внѣшнихъ явленій въ душевныя ощущенія непонятно для насъ; а потому, для измѣренія и какъ бы объясненія ихъ, мы переводимъ эти явленія въ форму движенія, какъ единственно доступную нашему наблюденію. Такъ произошли всѣ науки о природѣ: акустика, оптика, химія, физика и др., построенныя на точной *математической основѣ*. Математика есть единственный ключъ къ познанію внѣшней природы, явленія которой мы постигаемъ только въ формѣ движенія и измѣряемъ тою же мѣрою, которою душа измѣряетъ свои усилія для произведенія произвольныхъ движеній въ связанномъ съ нею тѣлесномъ организмѣ.

Отсюда объясняется та особенная ясность *математическихъ аксіомъ*, на основаніи которой ихъ признавали даже врожденными. Всѣ представленія наши совершаются въ формѣ нервныхъ движеній; но всѣ движенія и внутри, и внѣ насъ совершаются по однимъ и тѣмъ же законамъ—законамъ движенія въ пространствѣ и времени. Вотъ почему мы не можемъ *представить* себѣ ничего, что противно этимъ законамъ: ни мускульныя движенія глазъ, ни движенія другихъ мускуловъ и нервовъ не могутъ представить намъ, на примѣръ, части больше своего цѣлаго, 2-хъ линій, пересѣкающихся въ 2-хъ точкахъ, и т. п. Мы заключаемъ объ истинности *математическихъ аксіомъ* не иначе, какъ по невозможности *противоположнаго представленія*, ибо наши нервы сами не могутъ иначе двигаться, какъ по общимъ законамъ движенія, и человекъ начинаетъ учиться математикѣ, какъ только начинаетъ двигаться. *Врожденность* идей болѣе соответствуетъ ученію материалистовъ, чѣмъ идеалистовъ, которые ее защищаютъ.

По своимъ источникамъ, всѣ наши знанія дѣлятся на три разряда: 1) *впечатлѣнія внѣшняго міра* на наши органы чувствъ; 2) *опыты произвольныхъ движеній* и связанныя съ ними мускульныя чувства и 3) *самонаблюденіе* (рефлексія) или самознаніе. И *внѣшнее*, и *внутреннее* чувство одинаково намъ необходимо для объясненія происхожденія нашихъ знаній; къ нимъ при-

соединяется еще наша собственная произвольная дѣятельность. И въ каждой наукѣ, и въ каждомъ отдѣльномъ человѣческомъ знаніи соединяются элементы изъ всѣхъ трехъ источниковъ знанія. но въ одной наукѣ преобладаетъ одинъ источникъ, на примѣръ, *самонаблюденіе*, въ другой—*наблюденіе* или *опыты движенія* и т. д. Къ 1-й группѣ относятся науки философскія или историческія, къ 2-й — описательныя науки о природѣ, къ 3-ей — математическія. Изъ перваго источника (самосознанія) вытекаютъ идеи субстанціи и признаковъ, матеріи и силы, причины и слѣдствія.

ГЛАВА XXXVII.

Идея субстанціи и признаковъ (375—379).

Понятіе о времени вытекаетъ изъ ощущаемой нами переменны въ предметахъ, доступныхъ нашему наблюденію, а періодичность этихъ измѣненій (дня и ночи, фазъ луны, время года и т. д.) даетъ возможность *измѣрять* время. Измѣняющійся предметъ не можетъ самъ сознать этихъ измѣненій, не можетъ имѣть понятія о времени, такъ какъ для этого надо имѣть возможность жить разомъ въ настоящемъ, прошедшемъ и будущемъ, а это возможно только для нашей души, сохраняющей въ памяти свои ощущенія. Если бы ощущеніе было однимъ *нервнымъ* движеніемъ, а не духовнымъ актомъ, то такое соединеніе бывшихъ, настоящихъ и ожидаемыхъ ощущеній, т. е. понятіе о *времени* и его измѣреніи, было бы невозможно для насъ. То же можно сказать и о понятіи *пространства*, вытекающемъ изъ ощущенія движенія. Ничто движущееся въ пространствѣ не можетъ сознать этого движенія, ибо для этого надо представлять себѣ не только настоящее положеніе предмета, но и прежнее, а иногда и будущее,—*матерія* же, будетъ ли то нервъ, или камень или иное что, не можетъ въ одинъ и тотъ же періодъ времени занимать различныхъ мѣстъ. Одновременное сознаніе двухъ мѣстъ есть уже *представленіе*, а слѣдовательно—духовный процессъ. И такъ, *движущееся не можетъ само сознать своего движенія, и то, что занимаетъ мѣсто въ пространствѣ, не можетъ сознать пространства*. Мы сознаемъ движеніе въ пространствѣ и во времени именно потому, что сознаемъ *ничто*, само неизмѣнное, постоянное и недѣлимое, т. е. *субстанцію*. Мы чувствуемъ эту субстанцію въ самихъ себѣ и вносимъ ее во всѣ наши воззрѣнія на внѣшній міръ со всѣми его предметами и *признаками*, непременно предполагая и носителя этихъ признаковъ или субстанцію. Сама субстанція, содѣйствуя измѣренію времени и пространства, не подвержена условіямъ времени и пространства. На этомъ основана наша математическая способность *считать* или опредѣлять взаимныя отношенія между однородными предметами; она принадлежитъ отдѣльному существу, не могущему дѣлиться на части, т. е. существу не матеріальному, а слѣдовательно—духовному.

Г Л А В А XXXVIII.

Образованіе понятій матеріи и силы (379—398).

Матерія, по опредѣленію физики, есть все то, что занимает мѣсто въ пространствѣ и что подлежитъ нашимъ внѣшнимъ чувствамъ, или еще ближе: что оказываетъ сопротивленіе нашему мускульному чувству при усилии нашей души производить движеніе. Матерія есть, такимъ образомъ, *антитеза* нашему сознанию, ибо если душа есть существо чувствующее, то она должна находиться *внѣ* той области, которую она чувствуетъ. Съ психологической точки зрѣнія, матерія есть неизвѣстная намъ (по своему существу) причина нашихъ впечатлѣній; всѣ прочія опредѣленія матеріи, на примѣръ атомистическое, будутъ лишь *гипотезами*, имѣющими одно *дидактическое* значеніе. Взаимное тяготѣніе атомовъ, равно какъ и небесныхъ свѣтилъ, есть *необъяснимое* свойство матеріи, ибо оно совершается безъ участія матеріальныхъ посредниковъ, на разстояніи милліоновъ верстъ. Чтобы представить себѣ возможность подобныхъ явленій, объясняемыхъ тяготѣніемъ, мы прибѣгаемъ къ новымъ гипотезамъ, какъ, на примѣръ, о невидимомъ и невѣсомомъ эфирѣ, будто бы разлитомъ во вселенной (Ньютонъ). Но, по атомистической теоріи, самъ эфиръ также состоитъ изъ атомовъ, взаимодействіе которыхъ снова требуетъ какого-либо матеріальнаго посредника, котораго мы не знаемъ, ибо пустоты въ природѣ быть не можетъ. Здѣсь открывается новое поле для разныхъ гипотезъ. Вообще мы не можемъ постигнуть *матерію* въ ея конечныхъ причинахъ точно такъ же, какъ и нашъ *духъ*: мы можемъ изучать въ нихъ одни *явленія* въ ихъ взаимной связи и послѣдовательности, для объясненія которыхъ создано понятіе о *силѣ*, какъ о чемъ-то невѣсомомъ, нематеріальномъ, но составляющемъ *свойство* матеріи. Такимъ образомъ, само естествознаніе не могло ограничиться однимъ понятіемъ *матеріи* и должно было прибѣгнуть къ понятію о чемъ-то *не* матеріальномъ, съ признанія котораго и начинается наша наука о душѣ—психологія. Приписывая матеріи *стремленіе*, на примѣръ, при объясненіи *инерціи* тѣлъ, натуралисты сами пользуются психологическими понятіями, такъ какъ стремленіе есть уже чисто психическій волевой процессъ, невозможный для мертвой матеріи. Психологическое объясненіе понятія матеріи состоитъ въ томъ, что она является чѣмъ-то препятствующимъ нашимъ произвольнымъ движеніямъ, но сама бываетъ способна къ движенію, для объясненія котораго человѣку свойственно *одушевляютъ* матерію, т. е. приписывать ей человѣческія свойства. Отъ этого несвободны одинаково и наивный дикарь, и глубокомысленный ученый. Это одухотвореніе матеріи отразилось и во всѣхъ языкахъ, и во всѣхъ первобытныхъ религіяхъ. Болѣе научное опредѣленіе матеріи будетъ таково: «матерія есть все то, что подлежитъ нашему ощущенію»; хотя и это опредѣленіе совершенно субъективно. Дру-

гого наука не выработала. Миръ матеріальный только кажется намъ понятнѣе міра душевнаго, и то единственно потому, что мы можемъ *представить* его себѣ, какъ подлежащій нашимъ внѣшнимъ чувствамъ, тогда какъ миръ душевный доступенъ одному внутреннему чувству и сознанию. Итакъ, матерія есть то, что ощущается душою, а душа есть то, что ощущаетъ матерію. Такое *антагонистическое понятіе матеріи и души* присуще каждому человѣку. Попытки философіи обратить всю матерію въ духъ, или весь духъ въ матерію такъ и остались попытками, ибо въ каждомъ ощущеніи есть *ощущаемое* и *ощущающее*, соединить которыя для *человѣка* невозможно.

Понятіе *силы* есть также чисто субъективное, такъ какъ здѣсь мы переносимъ идею нашего собственнаго усилія при движеніи на явленія внѣшняго міра, когда замѣчаемъ въ немъ движеніе. Сила эта, какъ свойство матеріи, проявляется только при взаимодействіи тѣлъ, всѣ явленія въ которыхъ приводятся къ одному общему понятію *движенія*.

ГЛАВА XXXIX.

Идея причины, цѣли, назначенія и случая (398—415).

Человѣку свойственна непреодолимая вѣра въ причинность всѣхъ явленій, и потому наука стремится къ постиженію этой причинности. Идея причины вытекаетъ изъ неизмѣнной послѣдовательности явленій, причемъ предшествующее мы называемъ *причиною*, а послѣдующее—*послѣдствіемъ* (искра и взрывъ пороха). Если предшествующихъ фактовъ бываетъ нѣсколько, то, выдѣливъ главный изъ нихъ, какъ причину, остальные факты мы называемъ *условіями*. Но здѣсь надо различать тѣ случаи, при которыхъ послѣдовательность бываетъ лишена внутренней, причиной связи, какъ напримѣръ послѣдовательность дня и ночи, времени года и т. п., хотя человѣку свойственно принимать простую, даже случайную послѣдовательность за причинность. Отсюда множество суевѣрій и примѣтъ: крикъ ворона или вой собаки—и смерть близкаго человѣка или другое несчастіе. *Абсолютной* причины всѣхъ явленій мы постигнуть не можемъ, но вѣримъ въ ея существованіе по аналогіи доступныхъ нашему наблюденію явленій. Психическое или субъективное происхожденіе идеи причины объясняется сознаваемымъ нами отношеніемъ между нашею волею и движеніемъ нашихъ членовъ, и мы переносимъ ту же идею причинности и на внѣшнюю природу. Однако, не всѣ причины мы постигаемъ одинаково, и знаніе наше относится къ нимъ различно, такъ какъ большинство причинъ сложно. Простою, единичною причиною можно признать только *волю*. Для постиженія причинъ мы можемъ производить или *опыты*, на основаніи которыхъ можемъ предсказывать послѣдствія, или *пробы*, удача которыхъ зависитъ отъ случая.

Въ отношеніи нашего постиженія явленій всѣ извѣстныя намъ явленія можно раздѣлить на *три* рода: *психическія*, *математическія* и *матеріальныя*. Въ психическихъ фактахъ *мы сами* этотъ фактъ; въ математическихъ мы постигаемъ *отношенія* матеріи къ пространству и времени, а въ матеріальныхъ—*свойства* матеріи внѣ этихъ отношеній. Постигеніе матеріальныхъ фактовъ есть труднѣйшее, вслѣдствіе измѣнчивости самой матеріи и производимыхъ ею впечатлѣній, тогда какъ въ психическихъ фактахъ для насъ нѣтъ ничего непостижимаго (напримѣръ: я хочу, или не хочу, ощущаю зеленый цвѣтъ, испытываю боль и т. п.), ибо здѣсь все извѣстно, неизвѣстно только отношеніе психическихъ явленій къ *матеріальнымъ* фактамъ, совершающимся въ нашемъ организмѣ и потому не входящимъ въ психологическую область. Если мы хотимъ *представить* себѣ психическія явленія, т. е. превратить ихъ въ математическія или матеріальныя явленія, то подобное желаніе всегда окажется невозможнымъ, ибо мы испытываемъ ощущенія, чувства и желанія, а не самыя движенія. Математическіе факты основаны не на одномъ *впечатлѣніи*, какъ факты матеріальныя, но на *выполненіи* движеній, свойственныхъ и нашей собственной природѣ. Отсюда точность и непреложность математическихъ фактовъ. Мы предсказываемъ, напримѣръ, появленіе кометъ, затменій солнца и т. п. единственно потому, что наша первая система движется по тѣмъ же законамъ, по которымъ движутся небесныя тѣла во вселенной. Творецъ, соединивши нашу душу съ движеніями нервной системы, соединилъ насъ и съ движеніями всей Своей вселенной, и нашъ *внутренній* опытъ предшествуетъ всякому математическому знанію. При изученіи матеріальныхъ фактовъ въ физикѣ или химіи предшествуетъ *внѣшній* опытъ, ибо хотя въ насъ и совершаются, напримѣръ, химическія соединенія и разложенія, но *не мы* ихъ совершаемъ, какъ въ математикѣ или въ психической жизни, и для постиженія ихъ необходимъ внѣшній опытъ, какъ единственный источникъ нашего знанія. Вообще говоря, психическіе факты мы *знаемъ*, математическіе мы *выполняемъ*, а матеріальныя только *ощущаемъ* и *замѣчаемъ*, сами оставаясь въ пассивномъ состояніи. Вся активность наша въ послѣднемъ отношеніи ограничивается взаимнымъ сближеніемъ или удаленіемъ тѣлъ; происходящія же при этомъ явленія совершаетъ сама природа, а *не мы*, активно дѣйствующіе только въ явленіяхъ психическихъ и математическихъ.

Въ неодушевленной природѣ не можетъ быть никакихъ *цѣлей*, которыя мы знаемъ только въ самихъ себѣ, а потому *идея цѣли* и *назначенія* вполнѣ субъективнаго происхожденія, и мы только переносимъ ее на природу. Обыкновенно предшествующее явленіе или причину мы принимаемъ за цѣль для послѣдующаго явленія или слѣдствія; но въ области человѣческихъ дѣйствій два понятія могутъ быть взаимною причиною другъ друга, напримѣръ: трудъ и богатство. *Случай* есть явленіе безъ видимой причины, которая остается неизвѣстна человѣку, и которая во внѣшней природѣ не можетъ отсутствовать. Случай имѣетъ полный смыслъ только въ

сферѣ нашихъ произвольныхъ дѣйствій, при которыхъ что-либо не предусмотрено. Вѣра въ случай до того противна природѣ человѣка, что онъ приписываетъ даже свою неудачу какой-либо воображаемой причинѣ, напримѣръ сглазу, встрѣчѣ и т. п. Понятіе о *счастьи* тождественно съ понятіемъ о благопріятномъ случаѣ и не можетъ быть признано разсудкомъ.

ГЛАВА XL.

Вообще о первыхъ основахъ разсудочныхъ работъ.

(415—419).

Разсмотрѣнныя въ предшествующихъ главахъ идеи лежатъ вообще въ основѣ всѣхъ работъ разсудка и вносятся ими уже готовыми въ постиженіе явленій какъ внѣшняго, такъ и внутренняго или психическаго міра. Происхожденіе этихъ идей далеко не одинаково. Идея *матеріи*, въ противоположность идеѣ *души* или идеѣ *воли*, какъ антитезѣ произвольныхъ движеній, или идеѣ *сознанія*, какъ антитезѣ тому, что сознается, является коренною идеею для другихъ идей, также сознаваемыхъ попарно и взаимно другъ друга исключаящихъ. Таковы антагонистическія идеи *субстанции* и *признаковъ*, *силы* и *инерціи*, *недѣлимой единицы* (атома) и *дѣлимаго числа*, происшедшія изъ коренной идеи души и матеріи. Кромѣ нихъ, изъ антагонизма души и матеріи выводятся хотя и не прямо, какъ предыдущія, идеи *времени* и *пространства*, изъ которыхъ каждая является различною формою одной и той же идеи матеріальнаго предмета и явленія въ ихъ взаимномъ отношеніи и свободна отъ антагонизма или противоположности. Идея *причины* и *слѣдствія* есть уже усложненіе предшествующихъ антагонистическихъ идей съ идеей времени; она вытекаетъ изъ нашей *вѣры* во всеобщую причинность всѣхъ явленій. Источникъ этой увѣренности коренится въ человѣческомъ *духѣ*, поскольку онъ отличаетъ жизнь человѣка отъ жизни животныхъ. Эти *первичныя идеи* и эта *вѣра въ причинность* всѣхъ явленій составляютъ основу разсудочнаго процесса и даютъ силу его движенію. Идеи эти, признаваемые даже врожденными, обнаруживаются только тогда, когда душа приступаетъ къ своей разсудочной работѣ, и составляютъ какъ бы первые узлы, къ которымъ прикрѣпляются и по которымъ регулируются всѣ остальные умственные нити. Въ видѣ *прирожденныхъ свойствъ* души, идеи эти начинаютъ дѣйствовать въ нашей разсудочной работѣ гораздо раньше, чѣмъ дѣлаются доступны нашему сознанію въ формѣ ясно выраженной мысли, точно такъ же, какъ у пчелы или паука вносятся въ работу ихъ природныя инстинкты, хотя бы они и не достигали до ихъ сознанія.

Г Л А В А XII.

Индуктивный методъ. (419—433).

Индуктивнымъ методомъ, разъясненнымъ наилучшимъ образомъ Бэкономъ (Novum Organon), человѣчество пользовалось съ первыхъ дней своего появленія на свѣтъ, и именно индукціи оно обязано всею громадною массою своихъ полезныхъ открытій. *Цѣль* индукціи, по Бэкону, состоитъ въ томъ, чтобы узнать законы явленій природы и пользоваться этими законами для примѣненія къ жизни; *средствомъ* для этого служатъ наблюденіе и опытъ. Такъ, собравъ въ одну ассоціацію (по сходству) всѣ *постоянные*, существенные признаки явленій, при которыхъ обнаруживается теплота, выводится точное понятіе о теплѣ, причемъ предшествующіе признаки будутъ условіями или *причиной*, а послѣдующіе—*слѣдствіемъ*. Этимъ индуктивнымъ путемъ образуются всѣ понятія наши о предметахъ и явленіяхъ (см. гл. XXXII). Для выработки болѣе точнаго понятія, собираются въ одну группу и исключаются и всѣ *отрицательные* признаки явленія. Всѣ вообще правила индукціи, какъ по сличенію признаковъ, такъ и по ихъ исключенію, Милль приводитъ къ слѣдующимъ *пяти* видамъ: 1) Если два или нѣсколько примѣровъ испытуемаго явленія имѣютъ только одинъ общій для нихъ признакъ, то признакъ этотъ, какъ повторяющійся во всѣхъ примѣрахъ, есть или *причина*, или *слѣдствіе* даннаго явленія. 2) Если примѣръ, въ которомъ испытуемое явленіе совершается, и примѣръ, въ которомъ оно не совершается, имѣютъ всѣ общіе признаки, кромѣ одного, присущаго въ первомъ примѣрѣ, то этотъ единственный признакъ, въ которомъ оба примѣра различаются, есть слѣдствіе или причина, или необходимая часть причины явленія. 3) Если два или нѣсколько примѣровъ, въ которыхъ явленіе совершается, имѣютъ только одинъ общій признакъ, тогда какъ два или нѣсколько примѣровъ, въ которыхъ изучаемое явленіе не совершается, не имѣютъ между собою ничего общаго, кромѣ отсутствія этого признака, то этотъ признакъ, въ которомъ оба ряда примѣровъ различаются, есть или слѣдствіе, или причина, или необходимая часть причины испытуемаго явленія. 4) Если отнять отъ явленія такую часть, которая по предшествующей индукціи была признана слѣдствіемъ даннаго предшествующаго, то остатокъ явленія есть слѣдствіе остающагося предшествующаго (методъ остатка). 5) Если явленіе разнообразится даннымъ образомъ и при этомъ другое явленіе тоже разнообразится особеннымъ образомъ, то первое есть или причина, или слѣдствіе второго, или связано съ нимъ какими-нибудь фактами причинности. При практическомъ примѣненіи индукціи къ рѣшенію научныхъ вопросовъ (напримѣръ, о причинахъ морскихъ приливовъ и отливовъ) необходимо постановить такіе гипотетическіе вопросы, на которые сами *факты* могли бы

дать отвѣтъ, причемъ не подтверждаемые фактами вопросы должны быть исключаемы. Этимъ обуславливается если не отысканіе самой истины, то хотя приближеніе къ ней, т. е. главный вопросъ дѣлается тѣснѣе и опредѣленнѣе.

Примѣненіе индуктивнаго метода надо признать *единственно плодотворнымъ* не только при изученіи явленій, представляемыхъ внѣшнею природою, но и явленій, представляемыхъ душою человека. Методъ этотъ враждебенъ не только схоластикѣ среднихъ вѣковъ, но и новѣйшимъ философскимъ системамъ, стремящимся представить рѣшенными такіе вопросы, до рѣшенія которыхъ еще далеко не дошелъ человѣческій разумъ: такъ и въ *идеализмъ* Гегеля, и въ *позитивизмъ* Конта проглядываетъ схоластическій приемъ, отдаляющій нашъ разумъ отъ дальнѣйшаго изслѣдованія явленій какъ внѣшняго, такъ и внутренняго міра. Такъ мы еще не можемъ признать, что нервная система есть *необходимое условие* жизненныхъ свойствъ, обнаруживаемыхъ животными, ибо еще не все животныя изслѣдованы въ этомъ отношеніи, и признакъ этотъ надо признать только *провизуарнымъ* или гипотетическимъ, продолжая изслѣдованіе отдѣльныхъ представителей животнаго міра.

Итакъ, *индуктивный процессъ* есть не болѣе какъ процессъ образованія понятій, основанный на сличеніи фактовъ. Вся суть индуктивнаго процесса состоитъ: *во-первыхъ*, въ собираніи фактовъ, связываемыхъ въ одну ассоціацію какимъ-нибудь общимъ признакомъ, *въ сличеніи* этихъ фактовъ и этихъ сочетаній между собою и въ *судѣ* надъ ними, вслѣдствіе котораго обнаруживаются между ними сходства и различія; *во-вторыхъ* — въ исключеніи признаковъ, случайность которыхъ доказана тѣмъ, что они иногда сопровождаютъ изучаемое явленіе, а иногда нѣтъ, въ отысканіи посредствомъ этихъ исключеній того признака, который постоянно сопровождаетъ изучаемое явленіе во всѣхъ знакомыхъ намъ фактахъ этого явленія, и, *въ-третьихъ*, наконецъ: если мы изучаемъ *предметъ*, то въ точномъ помѣщеніи его въ классъ, видъ и семейство предметовъ и въ среду его постоянныхъ отношеній, а если мы изучаемъ *явленіе*, то въ наименованіи отысканнаго нами постояннаго признака или *причиною*, или *слѣдствіемъ*, смотря по тому, предшествуетъ ли явленіе этого признака изучаемому нами явленію, или слѣдуетъ за нимъ. Все же остальное въ индуктивномъ процессѣ, какъ-то: постановка вопросовъ, постройка гипотезъ, принятіе провизуарныхъ мнѣній и т. д. есть только особаго рода приемы, облегчающіе намъ запоминаніе совершающагося въ насъ процесса и обзоръ многочисленныхъ фактовъ изучаемаго явленія, — приемы, которые могутъ быть и не быть, смотря по надобности.

Г Л А В А XII.

Судить, понимать и рассуждать.

Латинскій терминъ *индукція* и переводъ его *наведеніе* нельзя назвать удачными. Они темны, не точвы и не только не выражаютъ ясно той идеи, для обозначенія которой призваны, но даже плохо напоминаютъ ее. Этому слѣдуетъ отчасти приписать и ихъ малое, нерѣдко совершенно превратное пониманіе, которое замѣчается не только въ разговорахъ, но и въ ученыхъ сочиненіяхъ. Милль, напримѣръ, вездѣ, въ ходѣ всѣхъ наукъ, видитъ индуктивный процессъ; Клодъ-Бернаръ, чловѣкъ опыта по преимуществу, видитъ только одинъ путь во всѣхъ наукахъ—*дедукцію* ¹⁾. Ясно, что оба писателя, оба поклонника опыта и наблюденія, подъ одними и тѣми же терминами имѣютъ различныя понятія. Обыкновенно, выбирая латинскія и греческія названія для психическихъ или логическихъ понятій, думаютъ дать этимъ понятіямъ твердость, постоянство, избавить ихъ отъ той измѣчивости и того разнообразія въ пониманіяхъ, которымъ подвержены слова живого языка. Но мы считаемъ это большою ошибкою и остаткомъ схоластики, еще доживающимъ свой вѣкъ. Развѣ греческое слово *идея* (которое, къ сожалѣнію, мы и сами такъ часто должны употреблять, не имѣя права на нововведенія) не скрывало и не скрываетъ подъ собою самыхъ различныхъ понятій? Развѣ самое слово *психологія* не портитъ до сихъ поръ нашихъ возрѣній на предметъ этой науки? Мы убѣждены, что если бѣ *психологія* переименовалась въ *науку о душевныхъ явленіяхъ*, то это одно много бы способствовало къ установленію правильнаго взгляда на нее. Кромѣ того, избѣгая чуждыхъ, не всѣмъ понятныхъ терминовъ, наука во многомъ избѣжала бы той аристократической замкнутости, которая вредитъ ей самой столько же, сколько и ее поступленію въ массу общечеловѣческихъ свѣдѣній, что должно составлять окончательную цѣль всякой дѣльной науки. Въ замкнутомъ домѣ легко разводятся сырость и плѣсень. Особенно это замѣчаніе примѣнимо къ *психологіи*: уединяя себя чуждыми словами отъ общаго пониманія, она сама себя лишаетъ возможности черпать изъ того великаго источника наблюденій надъ душевными явленіями, который скрывается въ языкѣ народа.

Для выраженія понятій *индукціи* и *дедукціи* мы имѣемъ въ нашемъ родномъ языкѣ не два, а три, чрезвычайно удачныя, мѣткія слова; а именно: *судить*, *понимать* и *рассуждать*. И хорошо именно то, что этихъ словъ не два, а три, потому что въ разсудочномъ процессѣ именно

¹⁾ Введ. въ Опыт. Медиц., стр. 63.

не два, а три главные перехода: разберемъ каждое изъ этихъ словъ въ его отношеніи къ разсудочной работѣ.

Приготовительное занятіе каждой индукціи, какъ мы видѣли, состоитъ въ *собираніи* и *сличеніи* фактовъ изучаемаго явленія, т. е. въ сопоставленіи ихъ *лицомъ къ лицу*, такъ, чтобы между ними не было никакого посредника, въ видѣ, напримѣръ, предвзятой идеи, и представленіи этихъ фактовъ *на судъ* сознанія. Специальное дѣло сознанія, какъ мы уже видѣли, состоитъ въ томъ, что, *сличая* отражающіеся въ немъ одновременно факты, оно изрекаетъ свой рѣшительный судъ о сходствѣ или различіи между ними и, вслѣдствіе этихъ сходствъ или различій, образуетъ изъ судимыхъ фактовъ ассоціаціи или сочетанія. Эти *сочетанія* фактовъ по сходству и различію (куда уже входятъ сочетанія по времени, по мѣсту, по степени, по числу и т. д.) сознаніе выражаетъ въ *сужденіяхъ*. Сужденіе, слѣдовательно, есть *судъ* сознанія, въ силу котораго какія-нибудь ощущенія сочетаются въ представленіе, сочетаются, т. е. составляютъ *целу*. Въ *сочетаніи* два представленія *сочетаются*, но не соединяются, не сливаются въ одно, каждое удерживаетъ свою собственность, можетъ быть *считаемо* за отдѣльное. Точно такъ же поступаетъ сознаніе въ отношеніи *представленій*, т. е. уже сочетанія ощущеній, и въ отношеніи *понятій*, т. е. сочетанія различныхъ представленій, сочетая подчиненныя понятія въ одно общее, ихъ обнимающее. Такимъ образомъ, первое дѣло сознанія сдѣлано, когда оно постановитъ свой *судъ*, опредѣливъ въ сужденіи различіе и сходство представляющихся ему на судъ фактовъ: ощущеній, представленій или понятій.

Второе, дальнѣйшее дѣло сознанія состоитъ въ томъ, что, въ силу найденныхъ имъ наиболѣе постоянныхъ признаковъ изучаемаго предмета или явленія, оно старается *сочетать* эти признаки въ одно *понятіе* предмета или явленія. Слово «понятіе» прекрасно выражаетъ эту часть индуктивнаго процесса. *Понять предметъ или явленіе и значитъ не что иное, какъ составить объ нихъ понятіе*; а составить понятіе о предметѣ или явленіи значитъ соединить, не сливая, т. е. *сочетать* тѣ признаки предмета или явленія, которые мы считаемъ ему присущими. Этимъ и оканчивается индуктивный процессъ, весь результатъ котораго—дать намъ *понятіе о предметѣ* или явленіи въ средѣ его постоянныхъ признаковъ, т. е. въ средѣ его постоянныхъ отношеній къ другимъ предметамъ или явленіямъ; или, еще точнѣе, *дать намъ сочетаніе какихъ-нибудь постоянныхъ отношеній, ощущаемыхъ нами или во внѣшней для насъ природѣ, или въ нашей собственной душѣ*.

Слово *разсуждать* обозначаетъ собою уже обратное дѣйствіе сознанія, когда оно *разлагаетъ* имъ же составленное понятіе на суж-

денія, изъ которыхъ оно составлено. *Понять* значитъ составить о предметѣ понятіе изъ сужденій объ этомъ предметѣ; *разсуждать* значитъ, наоборотъ и сообразно съ этимологіей слова, разлагать понятіе на сужденія, изъ которыхъ оно составилось. Само собою видно, что этотъ процессъ разсужденія, или разложенія понятія на сужденія, можетъ быть иногда очень затруднителенъ, такъ какъ почти ни одно понятіе не можетъ быть разложено прямо на *первичныя сужденія* или *сочетанія* непосредственныхъ ощущеній, но разлагается само на другія понятія, которыя вошли въ разлагаемое понятіе, какъ готовыя произведенія прежнихъ индукцій или пониманій. Въ эти понятія могутъ входить опять готовыя понятія, которыя, въ свою очередь, слѣдуетъ разлагать на сужденія и т. д., пока, наконецъ, въ результатѣ не получатся простыя сужденія, уже болѣе не разлагаемыя, каковы въ математикѣ *аксіомы*, въ психологіи — *простыя*, каждому знакомыя, *акты души*; въ наукахъ природы — *первичныя ощущенія*, взятая прямо изъ непосредственныхъ наблюденій. Понятно само собою, что этотъ *разсудочный процессъ въ точномъ смыслѣ слова*, т. е. разложеніе понятій на первичныя сужденія, имѣетъ очень важное значеніе и въ наукѣ, и въ жизни, несмотря на то, что онъ, повидимому, не даетъ намъ никакихъ новыхъ знаній.

Дедукція или *разсужденіе* имѣетъ важное значеніе или: 1) какъ *повторка* правильности образованія того понятія, которое разлагается на первичныя сужденія или *разсуждается*; 2) или какъ *уясненіе понятія*, какое въ насъ образовалось подъ руководствомъ вѣрнаго чувства, но процессъ образованія котораго нами не признанъ; 3) или какъ *дидактическій приѣмъ* для передачи другимъ понятія, извѣстнаго передающему. Разсмотримъ каждое изъ этихъ значеній разсужденія или дедукціи.

Мы уже видѣли выше, какъ важно, чтобы человѣкъ ясно сознавалъ значеніе тѣхъ понятій, которыя онъ употребляетъ, считая ихъ вполне извѣстными, тогда какъ часто въ нихъ бываетъ много неяснаго. Каждая наука имѣетъ свои основныя понятія; но необходимо, чтобы она сознавала ихъ ясно и оцѣнивала вѣрно то, что въ нихъ есть вполне доказаннаго и очевиднаго, и что гипотетическаго. Но, кромѣ спеціальныхъ понятій, принадлежащихъ каждой наукѣ въ особенности, есть понятія общія многимъ, а иныя — и всѣмъ наукамъ. Разложеніе этихъ понятій на *первичныя сужденія*, а первичныхъ сужденій на внѣшніе и внутренніе опыты и наблюденія есть дѣло логики, и пока логика не займется, совершенно равнодушно къ характеру выводовъ, этимъ своимъ спеціальнымъ дѣломъ и не станетъ на принадлежащее ей мѣсто, въ преддверіи всѣхъ прочихъ наукъ, до тѣхъ поръ будетъ происходить та печальная путаница понятій, которая обнару-

жилась вполнѣ въ настоящее время, когда кажуціяся философскія построѣнія міра улетучились, какъ дымъ.

Разсужденіе или дедукція, какъ разъясненіе вѣрнаго, но неяснаго понятія, даетъ намъ въ своемъ результатѣ *ничто новое*, а именно—сознаніе процесса образованія понятія. Это значеніе разсужденія особенно важно въ *наукахъ математическихъ*. Мы уже видѣли источникъ математическихъ *аксіомъ*; но человекъ даже въ самомъ раннемъ дѣтствѣ не останавливается на однѣхъ аксіомахъ. Изъ безпрестанныхъ пробъ собственныхъ движеній и изъ пробъ приводитъ въ движеніе тѣла природы, складывать ихъ, передвигать или измѣнять ихъ форму, человекъ тѣмъ же путемъ индукціи, только неясно сознаваемымъ, составляетъ понятіе какъ ариѳметическихъ и алгебраическихъ дѣйствій, такъ и геометрическихъ фигуръ и ихъ свойствъ. Мы прежде слагаемъ, вычитаемъ, умножаемъ, дѣлимъ и строимъ уравненія, чѣмъ знаемъ правила этихъ дѣйствій; мы прежде сознаемъ, что такое линія и различныя отношенія линій, что такое треугольники и взаимное отношеніе сторонъ и угловъ треугольника, что такое кругъ, квадратъ и т. д., чѣмъ слышимъ что-нибудь изъ геометріи. Крестьянинъ, строящій избу или *высчитывающій по счетамъ* площадь своего участка ¹⁾, безъ сомнѣнія, имѣетъ очень вѣрное понятіе о многихъ ариѳметическихъ и алгебраическихъ истинахъ и о свойствахъ различныхъ геометрическихъ фигуръ; но, тѣмъ не менѣе, онъ дѣйствительно не знаетъ ни алгебры, ни геометріи, т. е. не сознаетъ процесса образованія тѣхъ математическихъ понятій, которыми на практикѣ очень вѣрно распоряжается. Дѣло же *дедуктивной, разсуждающей* математики въ томъ и состоитъ, чтобы разложить эти сложныя, уже образовавшіяся понятія на первичныя ощущенія движеній—на *аксіомы* или *очевидности*, вытекающія прямо изъ невозможности нервной системы выполнять анти-математическія движенія. Конечно, кромѣ того, математическая наука идетъ и путемъ *синтетическимъ*, т. е. *преднамѣренно* осложняя *первичныя сужденія*. Вотъ почему мы согласны съ тѣми, кто считаетъ, что въ математикѣ разомъ прилагаются какъ индуктивный, такъ и дедуктивный способъ мышленія: сколько составленіе математическихъ понятій, столько же и разложеніе ихъ на первичныя сужденія. Сама природа, своими формами и движеніями, даетъ задачи математикѣ, и математика рѣшаетъ эти задачи, приводя ихъ къ тѣмъ очевидностямъ, которыя основываются на чувствѣ невозможности противоположныхъ движеній: ибо и форма представляется въ математикѣ только какъ слѣдствіе движенія.

¹⁾ Способъ, которымъ крестьяне сѣверныхъ губерній довольно вѣрно измѣряютъ свои участки.

Значеніе разсужденія или дедукціи, какъ дидактическаго приема, преувеличиваемое прежде, теперь почти совершенно не признается. И дѣйствительно: такъ какъ каждая наука есть не болѣе, какъ одно чрезвычайно обширное и сложное понятіе, то начинать преподаваніе науки съ изложенія этого понятія неразумно. Для человѣка, изучившаго науку вполнѣ, вся она является однимъ понятіемъ, исторію образованія котораго онъ можетъ довести съ конца до начала, т. е. до первичныхъ сужденій, до основныхъ сочтаній изъ ощущеній. Но совсѣмъ въ другомъ отношеніи къ наукѣ стоитъ ученикъ. Ученый стоитъ наверху пирамиды, начинающій учиться—у ея основанія; и какъ нельзя начать строить пирамиду съ верхушки, а должно начинать съ основанія, точно такъ же и изученіе науки должно начинать съ основанія, т. е. съ первичныхъ наблюденій и образованія первичныхъ сужденій, съ изученія тѣхъ фактовъ, на которыхъ зиждется пирамидальная система науки. Однакоже учебное значеніе *разсужденія* не должно быть слишкомъ унижено. Должно, напротивъ, употреблять его какъ можно чаще, разлагая понятія, уже составившіяся въ умѣ ученика, потому что ничто такъ легко не ведетъ человѣка къ ошибкамъ, какъ *забвеніе* процесса, которымъ онъ составилъ употребляемыя имъ понятія.

Мы не будемъ здѣсь входить въ подробности приложенія разсудочнаго процесса къ различнымъ областямъ знаній, что найдетъ себѣ мѣсто въ «общей дидактикѣ». Но такъ какъ мы уже, хотя отчасти, указали на это приложеніе къ наукамъ естественнымъ и математическимъ, то не считаемъ лишнимъ сказать хотя нѣсколько словъ и о приложеніи того же процесса къ наукамъ *психическимъ*. Въ математикѣ процессъ разсужденія доводитъ разложеніе понятія до аксіомъ; въ естественныхъ наукахъ, въ ихъ отдѣльности отъ наукъ математическихъ,—до первичныхъ наблюденій; въ *психологій же*—до *простыхъ актовъ души*, далѣе которыхъ анализъ идти не можетъ. Науки историческія, по главному ихъ характеру, мы причисляемъ къ психическимъ, а потому и въ нихъ тотъ же ходъ и тѣ же окончательныя доказательства.

Сначала исторія есть только хронологическая записка, лѣтопись фактовъ жизни человѣческой или отдѣльнаго народа, т. е. ассоціація событій по *порядку времени*. Потомъ уже слѣдуетъ *другая точка сравненія*: не время, а значеніе этихъ фактовъ въ отношеніи жизни народовъ, причемъ все несущественное изъ фактовъ отбрасывается и остается только то, что кажется намъ существеннымъ. И чѣмъ болѣе очищаемъ мы историческіе факты отъ несущественныхъ признаковъ, тѣмъ осмысленнѣе, научнѣе становится наша исторія. Замѣчая, что послѣ подобныхъ явленій происходятъ другія, тоже между собою подобныя; замѣчая, что и въ нашей частной дѣятельности за подобными явленіями появляются другія, тоже

между собою подобныя, которыя, кромѣ того, имѣютъ сходство и съ историческими явленіями, мы сводимъ всё предшествующія явленія, какъ историческія, такъ и частныя, психическія, въ одно понятіе, послѣдующія—также въ одно: и первое понятіе называемъ причиною, а второе слѣдствіемъ, и начинаемъ объяснять историческіе факты. Чѣмъ болѣе вносится въ исторію психологическихъ разъясненій, тѣмъ понятнѣе становятся для насъ историческія событія. То-есть, другими словами, историческія событія, записанныя лѣтописью, и явленія психическія, ощущаемыя каждымъ изъ насъ, сводятся къ своимъ существеннымъ признакамъ, и тогда мы замѣчаемъ между ними такое сходство, что начинаемъ понимать историческія событія, какъ будто бы они были нашимъ собственнымъ дѣломъ, вышли изъ нашей собственной души,—начинаемъ понимать *ихъ психическую необходимость*. Въ этомъ и состоитъ истинный прогрессъ историческихъ наукъ; это тоже отвлеченіе, сближеніе и соединеніе понятій.

Въ заключеніе мы считаемъ не лишнимъ указать на то значеніе *дедукціи*, которое выражаетъ Милль и которое не совсѣмъ сходится съ нашимъ. Милль считаетъ *дедукцію* приложеніемъ закона, добытаго индукціею, къ частному случаю ¹⁾; но это одинъ изъ случаевъ дедукціи, а не вся она. Намъ кажется гораздо болѣе правильнымъ разумѣть подъ *дедукціей*—*выведеніе всего содержанія понятій*. Приложеніе же выработаннаго понятія къ какой-нибудь внѣшней для него цѣли уже особое дѣло, которое требуетъ опять особенной индукціи. Приложеніе понятій, выработанныхъ въ разсудочномъ процессѣ, можетъ быть дѣлаемо съ *двоякою цѣлью*, внѣшнею для самаго понятія: или для того, чтобы, принявъ выработанное понятіе за доказанное, за столь же очевидное, какъ первичный фактъ, ввести его въ другія индукціи, употребить для добыванія новыхъ истинъ, или для приложенія выработаннаго понятія къ практическимъ цѣлямъ.—Значеніе такого приложенія выработанныхъ уже понятій къ выработкѣ новыхъ, на что именно особенно указываетъ Бэконъ ²⁾, и къ практическимъ цѣлямъ уяснится намъ вполнѣ въ слѣдующей главѣ, въ которой мы будемъ говорить о развитіи въ человѣкѣ разсудка не какъ способности, но какъ результата безчисленныхъ разсудочныхъ процессовъ сознанія.

Г Л А В А XLIII.

Исторія разсудка.

Въ разсудочномъ процессѣ мы видимъ, съ одной стороны, дѣятеля—*сознаніе*, съ его способностью одновременно сознать, сравнивать и раз-

¹⁾ Mill's Logic. В. III. Ch. XL.

²⁾ Nouv. Org. L. II.

личать нѣсколько ощущеній, представленій и понятій, а съ другой—*матеріалы*, представляемые памятью для этихъ работъ въ процессѣ воображенія. Посмотримъ же, насколько та и другая сторона, сознание и матеріаль сознанія, способны къ послѣдовательному развитію, такъ какъ развитіе разсудка въ человѣчествѣ и въ отдѣльныхъ людяхъ есть фактъ, не подлежащій сомнѣнію.

Сознаніе. Способно ли сознание развиваться само по себѣ? Способно ли оно постепенно усиливаться? Мы уже видѣли (въ главѣ о вниманіи) способность сознанія сосредоточиваться и разсѣиваться, и видѣли также, что это зависитъ не отъ самаго сознанія, а отъ постороннихъ для сознанія, но, конечно, не для души, вліяній: отъ вліянія воли и внутренняго чувства, напряженность которыхъ въ данномъ направленіи отражается въ сознаніи сосредоточенностью или разсѣянностью. Само же по себѣ сознание едва ли имѣетъ возможность развиваться. По крайней мѣрѣ, мы не имѣемъ никакихъ фактовъ, которые могли бы показать намъ, что сознание можетъ усиливать свою дѣятельность само по себѣ, независимо отъ тѣхъ матеріаловъ, надъ которыми оно работаетъ. *Сила сознанія всегда ограничена*; оно можетъ разомъ сознать *нѣсколько* ощущеній, представленій и понятій, но чѣмъ болѣе этихъ матеріаловъ и чѣмъ они разнообразнѣе, тѣмъ сознание каждаго изъ нихъ становится тусклѣе. Въ сознаніи, какъ мы уже видѣли выше, есть постоянное стремленіе привести все сознаваемое къ единству, и чѣмъ труднѣе удовлетворяется это стремленіе, тѣмъ самое сознание тусклѣе. При множествѣ неожиданныхъ и разнородныхъ ощущеній, быстро смѣняющихся другъ друга, или толпящихся вмѣстѣ въ свѣтлую область сознанія, самая эта область темнѣетъ, и сознание находится въ какомъ-то трепещущемъ состояніи. Чѣмъ менѣе различныхъ матеріаловъ (но ни въ какомъ случаѣ не менѣе двухъ, потому что иначе сознанію, какъ и каменщику съ однимъ кирпичемъ, не надъ чѣмъ работать), тѣмъ сознание яснѣе. Въ этомъ отношеніи сознание всѣхъ людей одинаково. Разница, слѣдовательно, въ развитіи разсудка, которое такъ различно у людей, должна заключаться *въ матеріаль*, надъ которымъ сознание работаетъ, въ предметахъ сознанія, которыхъ можетъ быть болѣе или менѣе, и которые, кромѣ того, могутъ быть разнаго качества. Работникъ (сознание) одинъ и тотъ же и силы его всегда одинаковы, но количество матеріала и его предварительная обработка различны, и изъ этого выходитъ такое безконечное разнообразіе въ произведеніяхъ, т. е. въ разсудкѣ различныхъ людей и въ разсудкѣ одного и того же человѣка въ различные періоды его жизни. Разсмотримъ же разнообразіе этого матеріала сначала *по количеству*, а потомъ *по качеству*.

Матеріаль сознанія. Если негръ, не видѣвшій никогда никого, кромѣ негровъ, составляетъ сужденіе, что всѣ люди черны, то ошибка въ вы-

водѣ зависить не отъ сознанія, которое составило свое сужденіе совершенно правильно, но отъ недостатка матеріала. Увидавъ бѣлыхъ, негръ измѣнить выводъ, хотя новое сужденіе его относительно качества работы сознанія не будетъ нисколько вѣрнѣе предыдущаго: оба они абсолютно вѣрны, хотя выводы изъ нихъ различные. Отъ такого же недостатка матеріаловъ происходило, на примѣръ, ложное сужденіе древнихъ о формѣ земли. Тотъ же недостатокъ матеріаловъ допустилъ непогрѣшительнѣйшаго изъ логиковъ, Аристотеля, признать кита рыбою. Въ этомъ отношеніи истина всѣхъ человѣческихъ выводовъ всегда относительна, и мы всегда можемъ думать, что грядущіе вѣка хранятъ въ себѣ открытіе такого множества неизвѣстныхъ намъ фактовъ, что эти факты измѣнятъ всѣ наши теперешніе выводы, хотя логика, или, лучше сказать, дѣятельность сознанія не измѣнится и будетъ все та же.

Но развѣ мы не видимъ, что сознанія двухъ различныхъ лицъ относятся различно къ однимъ и тѣмъ же матеріаламъ и дѣлаютъ изъ нихъ различные выводы? Да, такъ кажется съ перваго взгляда; но, всмотрѣвшись внимательнѣе, мы увидимъ, что этого никогда не бываетъ. Сумасшедшій, который кричитъ при видѣ порога, боясь разбить о него свои стеклянныя ноги, рассуждаетъ такъ же правильно, какъ и Аристотель; онъ ошибается только въ фактѣ, и будь у него дѣйствительно стеклянныя ноги, то онъ поступилъ бы благоразумно, избѣгая пороговъ¹⁾. Тутъ ошибка въ фактѣ, а не въ выводѣ изъ факта, — выводъ вѣренъ. Но откуда же произошла ошибка въ фактѣ, если сознаніе наше никогда не ошибается? На это отчасти отвѣчаетъ намъ медикъ, обливающий водою голову больного. Но не нужно еще сойти съ ума, чтобы ошибиться въ фактѣ: для этого достаточно, напр., имѣть слабое зрѣніе или страдать глухотою; для этого достаточно даже быть разсѣяннымъ, легкомысленнымъ, влюбиться, разсердиться, подчиниться какой-нибудь страсти, которая надѣнетъ намъ на носъ очки своего собственнаго цвѣта. Вы разсердились на вашего слугу; гнѣвъ, овладѣвшій вами, на-

¹⁾ См. Mill's Logic. B. IV. Ch. I. § 2. Здѣсь мы, повидимому, совершенно расходимся съ Миллемъ, который думаетъ, что въ такъ называемыхъ обманнахъ чувствъ, на примѣръ, при взглядѣ въ калейдоскопъ, или въ извѣстномъ обманѣ осязанія, когда мы, переложивъ пальцы одинъ на другой, ощущаемъ не одинъ, а два шарика, обманывается не чувство, а сужденіе. «Привыкнувъ», говоритъ Милль, имѣть такія же или подобныя ощущенія только при извѣстномъ расположеніи внѣшнихъ предметовъ, я имѣю привычку мгновенно, какъ только испытываю тѣ же ощущенія, предполагать существованіе того же состоянія внѣшнихъ предметовъ». Но отчего образовалась такая обманчивая привычка? Отъ недостатка достаточнаго разнообразія въ опытахъ: отъ того, что я не испытывалъ, что тѣ же ощущенія могутъ быть и при другомъ расположеніи внѣшнихъ предметовъ.

правляетъ ваше вниманіе только на дурныя стороны въ его характерѣ и поступкахъ, и вотъ вы дѣлаете совершенно правильный выводъ изъ фактовъ, подсунутыхъ вамъ вашимъ гнѣвомъ—и отсылаете слугу. Но вашъ гнѣвъ остылъ; новый слуга представляетъ вамъ новые факты—и вы видите, что сдѣлали большую глупость ¹⁾). Поврежденные органы чувствъ, нервная система подѣ влияніемъ различныхъ болѣзненныхъ разстройствъ, воображеніе, страсти всякаго рода безпрестанно то подсовываютъ негодные матеріалы честному и безошибочному труженику—разсудку, или—по нашему—сознанію, то крадутъ у него тѣ, которые онъ заготовилъ прежде—и вотъ отчего происходятъ ошибки въ его постройкахъ, хотя работа его все такъ же безошибочно вѣрна.

Недостатокъ матеріаловъ, слѣдовательно, является *одною* (есть еще другая) изъ причинъ ошибокъ въ выводахъ разсудка. Разсудокъ строитъ только изъ того, что у него есть, а если этихъ матеріаловъ не хватаетъ на цѣлѣ зданіе, то и постройка выходитъ *односторонняя*, которую онъ, можетъ быть, долженъ будетъ совершенно передѣлать при новыхъ фактахъ. Въ этомъ отношеніи все человѣчество не застраховано отъ возможности безпрестанной передѣлки построекъ своего сознанія. Но за сознаніемъ водится недостатокъ, который уже принадлежитъ ему собственно: зрѣніе его ограничено, оно даже очень близоруко. Чѣмъ болѣе у него накапливается матеріаловъ, которые оно должно обозрѣть, тѣмъ тусклѣе оно ихъ видитъ, тѣмъ легче выпускаетъ изъ виду то тотъ, то другой, и наконецъ, если матеріаловъ этихъ наберется очень много—до того растеряется, что совсѣмъ прекратитъ свои постройки, перебрасываетъ безъ толку кирпичъ за кирпичемъ и не строитъ ничего. Такою и въ самомъ дѣлѣ является намъ иная многученая голова, которая сама запуталась въ накопленныхъ ею матеріалахъ; такою же представляется намъ рѣчь досудей кумушки, которая до того хваталась новостей, что, наконецъ, запуталась въ разсказѣ, позабыла, чѣмъ начала, не знаетъ, чѣмъ кончить, и до того растерялась въ обиліи матеріаловъ, что должна умолкнуть, къ великому своему неудовольствію.

Дѣло въ томъ, что сознаніе наше, какъ мы видѣли уже выше, выказываетъ постоянное стремленіе приводить къ единству все, что находится въ его кругозорѣ,—въ освѣщенномъ имъ кругѣ. Но кругъ этотъ, яркій въ центрѣ, все тусклѣе и тусклѣе къ окраинамъ, малу-по-малу сливается съ тьмою, да при томъ же и не очень великъ. Трудно измѣрить, сколько представленийъ могутъ одновременно находиться въ ясномъ полѣ сознанія, но вѣрно только то, что чѣмъ ихъ болѣе, тѣмъ сознаніе болѣе разсѣивается, менѣе ихъ видитъ, больше пропускаетъ ²⁾).

¹⁾ Kant's Anthropologie.

²⁾ См. выше, гл. XIX, гл. XX, гл. XXI.

Изъ такого положенія возникаетъ для сознанія повидимому неразрѣши-мая дилемма: *чѣмъ меньше матеріаловъ, тѣмъ одностороннѣе и ошибочнѣе будутъ выводы, а если матеріаловъ много, то сознаніе теряется въ нихъ, не можетъ ихъ обозрѣть разомъ съ одинаковою ясностью, а потому позабываетъ ихъ, пропускаетъ и опять приходитъ къ такому же результату—односторонности и ошибкамъ въ своихъ выводахъ.* Ошибки разсудочныхъ выводовъ выходятъ отъ недостатка фактовъ, подвергаемыхъ одновременно сознанію, и отъ многочисленности ихъ: *чѣмъ болѣе фактовъ, обозрѣваемыхъ сознаніемъ разомъ, тѣмъ вѣрнѣе выводъ; чѣмъ меньше фактовъ, обозрѣваемыхъ сознаніемъ, тѣмъ вѣрнѣе выводъ.* Какъ же выйти изъ этого противорѣчія? какъ рѣшить эту задачу? Рѣшить ее есть одна возможность—привести факты, необходимые сознанію для того или другого рѣшенія, въ такую форму, *чтобы возможно большее число ихъ улеглось въ кругозоръ сознанія, предѣлы котораго мы расширить не можемъ.* Нельзя ли привести факты въ такую форму, чтобы они, не теряя своего различія, представляли для сознанія одинъ фактъ, и чтобы, такимъ образомъ, вмѣсто сорока, пятидесяти и болѣе фактовъ, необходимыхъ для возможно вѣрнаго вывода и которыхъ сознаніе не можетъ обнять разомъ, составилось ихъ два, три, съ которыми ему легко совладать? *Эту-то задачу и рѣшаетъ постепенная обработка фактовъ.*

Обработка матеріаловъ сознанія (качество матеріаловъ) состоитъ именно въ томъ, что сознаніе изъ двухъ, трехъ и наконецъ множества отдѣльных матеріаловъ, фактовъ, дѣлаетъ одинъ, и потомъ изъ двухъ, трехъ и наконецъ множества другого рода фактовъ дѣлаетъ снова одинъ, и чрезъ это получаетъ возможность, вмѣсто того, чтобы разсѣиваться на множество фактовъ, сосредоточить свою силу только на двухъ. Пояснимъ это примѣрами.

Мы уже видѣли, какъ получаетъ сознаніе первыя опредѣленные ощущенія, положимъ, о красномъ цвѣтѣ; положимъ, что, вслѣдъ за тѣмъ, оно получаетъ такіе же опредѣленные слѣды другихъ цвѣтовъ. Сравнивая потомъ ощущенія какого-нибудь цвѣта съ ощущеніемъ какого-нибудь звука (или слѣды этихъ ощущеній), сознаніе замѣчаетъ между ними разницу, и вотъ въ немъ появляются понятія о цвѣтѣ *вообще* и о звукѣ *вообще*, и сознаніе имѣетъ уже дѣло не со множествомъ представленій цвѣтныхъ и звуковыхъ, которыя могли бы разсѣять его силу, но съ двумя понятіями, на которыхъ сила сознанія можетъ вполне сосредоточиться.

Другой примѣръ. Наука раздѣляетъ, на примѣръ, животныхъ на роды, виды, семейства и т. д., и всякій понимаетъ, какою могущественною помощію для науки являются эти раздѣленія и подраздѣленія. Но прежде, чѣмъ существовала какая-нибудь наука, и даже прежде, безъ сомнѣнія, чѣмъ су-

ществовала грамота, въ человѣческомъ языкѣ появились слова: лошадь, волкъ, собака, звѣрь, птица, рыба, животное. Слѣдовательно, не наука начала подраздѣленія животныхъ на виды, классы, отдѣлы; она только пополнила и исправила точнѣйшими наблюденіями эти подраздѣленія животнаго царства, которыя начались, безъ сомнѣнія, съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ въ первый разъ встрѣтился съ животными, и ту же самую могущественную помощь, которую оказываетъ теперь наукѣ это систематическое дѣленіе и подраздѣленіе, оказывало оно и при первомъ пробужденіи человѣческой мысли. Наука природы началась не съ тѣхъ поръ, какъ появились первые учебники, первая зоологія, химія, ботаника и т. д., но уже тогда, когда первый человѣкъ появился на свѣтъ и сталъ, волею или неволею, наблюдать окружающую его природу. Въ эти-то именно времена, предшествующія не только появленію спеціальныхъ ученыхъ, но даже появленію грамоты, подготовились обильнѣйшіе матеріалы для науки, которыми она теперь пользуется, забывая, что выработка этихъ понятій, происшедшая задолго до начала систематической науки, стоила человѣку большого труда, множества наблюденій, опытовъ, сравненій и логическихъ выводовъ. Теперь, обладая плодами трудовъ безчисленнаго множества поколѣній, усвоенныхъ нами легко и быстро съ усвоеніемъ родного языка, который, въ свою очередь, есть также богатый наслѣдникъ другихъ языковъ, идущихъ, безъ сомнѣнія, еще дальше въ глубь древности, чѣмъ санскритскій,—обладая свободно всѣми этими богатствами многовѣковой работы человѣческаго сознанія, мы даже не можемъ себѣ представить, какое впечатлѣніе могло оставить въ душѣ первыхъ людей появленіе, на примѣръ, какого-нибудь невиданнаго звѣря? Человѣкъ не могъ тогда причислить его ни къ звѣрямъ, потому что это понятіе тогда не существовало, ни даже вообще къ животнымъ, потому что и этого понятія также не было; онъ не могъ отличить его даже отъ подобныхъ себѣ людей, потому что и понятіе человѣка еще не выработалось¹⁾. При такомъ, трудно теперь вообразимомъ для насъ, состояніи души, которое мы, тѣмъ не менѣе, не премѣнно должны предполагать какъ у первобытнаго дикаря, когда языкъ его только что начиналъ складываться, такъ и у каждаго младенца, еще не овладѣвшаго словомъ,—каждое новое впечатлѣніе, особенно сколько-нибудь сложное и поражающее человѣка, должно было оставлять въ душѣ смутную *смѣсь* слѣдовъ, которая, вѣроятно, быстро исчезала, оставляя по себѣ одно можетъ быть неопредѣленное ощущеніе страха, удивленія и т. п. Десятки, сотни разъ должны были повторяться

¹⁾ Мы говоримъ здѣсь о выработкѣ понятій, а не слова. Слова имѣютъ совершенно обратную исторію, какъ мы увидимъ это, когда будемъ излагать исторію образованія языка.

одинаковыя ощущенія при разныхъ обстоятельствахъ, чтобы могло выработаться какое-нибудь опредѣленное понятіе, какихъ мы уже находимъ тысячи въ самомъ неразвитомъ языкѣ.

Языкъ народа въ этомъ отношеніи, если въ него внимательно всматриваться, напоминаетъ ту мѣловую гору, которая при пособіи микроскопа оказывается состоящею вся изъ крошечныхъ раковинъ, или тѣ коралловые острова, въ которыхъ каждая точка стоила цѣлой жизни микроскопическому животному. Точно такъ же каждое слово языка, каждый оттѣнокъ его обходился человѣчеству не даромъ, и надъ каждой изъ этихъ маленькихъ формъ, которыми мы обладаемъ теперь такъ свободно, трудно работало когда-то человеческое сознаніе. Но всѣ эти безчисленныя работы состояли въ одномъ и томъ же: въ сличеніи впечатлѣній и выводѣ изъ нихъ опредѣленныхъ ощущеній и ассоціаціи изъ нихъ опредѣленнаго представленія; въ сравненіи и различеніи опредѣленныхъ представленій и выводѣ изъ нихъ понятія; въ сравненіи понятій съ другими понятіями, представленіями, ощущеніями и выводѣ изъ нихъ новаго высшаго понятія, или родственнаго же понятія съ новымъ оттѣнкомъ и т. п. Работа сознанія, окончательнымъ результатомъ которой является языкъ и наука, представляетъ безконечное разнообразіе; но, присматриваясь къ этому разнообразію, мы замѣчаемъ, что главный работникъ и характеръ работы одинъ и тотъ же, а разнообразіе зависитъ отъ разнообразія матеріала, т. е. впечатлѣній, даваемыхъ природою, и различныхъ вмѣшательствъ въ эту работу: внутренняго чувства, страсти и т. п. Кромѣ того, мы замѣчаемъ всюду одну и ту же уловку работника: онъ повсюду *концентрируетъ* матеріалы, факты, не уничтожая ихъ различія, и тѣмъ самымъ концентрируетъ свои органическія силы. Въ началѣ сознаніе преодолеваетъ какія-нибудь два, три ощущенія, потомъ пользуется цѣлою ассоціаціею многочисленныхъ ощущеній, слитыхъ въ одно представленіе, какъ однимъ матеріаломъ, потомъ пользуется понятіемъ, въ которомъ концентрировано уже безчисленное множество предварительныхъ работъ, какъ однимъ простымъ ощущеніемъ, и т. д. Въ этомъ отношеніи наше сравненіе языка съ коралловымъ островомъ, или съ мѣловою горою, образованною изъ безчисленнаго множества микроскопическихъ раковинъ, изъ которыхъ въ каждой шевелилось когда-то живое существо—не годится. Тамъ всѣ раковины и всѣ ячейки похожи одна на другую и каждая не представляетъ прогресса въ отношеніи къ другой; тамъ есть только *количественное* нарастаніе, тогда какъ въ языкѣ, а слѣдовательно и въ разсудкѣ, происходитъ качественное измѣненіе, переработка сырого матеріала. Каждая новая работа заключаетъ въ себѣ всѣ прежнія или, по крайней мѣрѣ, многія изъ прежнихъ, такъ что работникъ, не употребляя при новой работѣ успій болѣе прежняго, производитъ больше, потому что пользуется нако-

пленными результатами прежнихъ работъ. Такихъ работъ мы не видимъ въ мертвой природѣ, и потому не можемъ отыскать въ ней сравненія для этой вѣковой неустанной работы человѣчества. Такимъ работникомъ является только сознание и такую работу — только разсудокъ, и воплощеніе его — языкъ. Мы могли бы сравнить это безпрестанное усиліе работы съ постояннымъ прогрессомъ въ устройствѣ машинъ, позволяющихъ теперь силѣ одного человѣка, которая сама по себѣ осталась такою же, какою была и за тысячу лѣтъ (если не уменьшилась), производить больше, чѣмъ производилось прежде силами тысячи людей; но и это сравненіе будетъ не точно. Тамъ увеличеніе силы зависитъ отъ прогресса въ устройствѣ машинъ, а въ развитіи разсудка оно зависитъ отъ самой переработки матеріала, надъ которымъ работаетъ сознание. Сходство же состоитъ только въ томъ, что и тамъ, и здѣсь силы работника остаются однѣ и тѣ же, а количество производимой работы прогрессивно увеличивается и качество (т. е. вѣрность выводовъ дѣйствительности) улучшается.

Возьмемъ еще *третій* примѣръ изъ практической дѣятельности. Представимъ себѣ человѣка, который не имѣетъ ни малѣйшихъ понятій о военномъ дѣлѣ, не только не видалъ сраженій, но даже ничего не слышалъ и не читалъ о нихъ, и для котораго слова: батареи, полки, пушки, ружья — будутъ новыми словами. Если бы такой человѣкъ увидалъ сраженіе, то вся эта разнообразная, шумная картина оставила бы въ немъ только одно смутное, неясное ощущеніе, въ которомъ, можетъ быть, преобладало бы одно чувство, чувство страха и изумленія. Въ человѣкѣ, не специалистѣ военного дѣла, но знающемъ, слышавшемъ или читавшемъ что-нибудь о сраженіяхъ, понимающемъ, что такое пушка, батареи и т. п., видъ сраженія оставитъ другое впечатлѣніе, но тоже смутное: въ памяти его останутся отдѣльные эпизоды битвы, но никакъ не вся битва, которой онъ не пойметъ въ ея цѣлости. Совсѣмъ другое впечатлѣніе оставитъ та же битва въ душѣ опытнаго полководца, который ею распоряжался: это будетъ планъ стратегическихъ дѣйствій, въ которомъ за движеніями различныхъ массъ войска исчезнутъ всѣ отдѣльные эпизоды. Для опытнаго полководца не существуютъ уже всѣ подробности, развлекающія вниманіе новичка, и потому, хотя усиліе сознанія обнять представляющіяся ощущенія будетъ во всѣхъ трехъ случаяхъ одно и то же, но результаты этого стремленія будутъ совершенно различные. Точно то же, что испыталъ бы посредншумной битвы человѣкъ, не имѣющій ни малѣйшаго понятія о сраженіи и всѣхъ его атрибутахъ, испыталъ бы дикарь, если бы *его можно было* перенести на то духовное поле, на которомъ совершается мышленіе развитого европейца: это было бы смутное впечатлѣніе чего-то безконечно-разнообразнаго и чувство безсилія сознанія совладать съ этимъ разнообразіемъ.

Если опытный полководец поражает насъ быстротою и вѣрностью своихъ соображеній, то это именно потому, что онъ не развлекается подробностями, развлекающими насъ, но сосредоточиваетъ дѣятельность своего сознанія на томъ только, что можетъ рѣшить судьбу битвы. Этою же возможностью обязанъ онъ именно предварительной обработкѣ матеріала. Съ дѣтства уже онъ имѣлъ склонность читать и слушать о сраженіяхъ; съ дѣтства уже это было любимымъ матеріаломъ, надъ которымъ безъ усталы работала его голова; потомъ тотъ же матеріалъ, уже значительно подготовленный, сдѣлался для него наукою въ юности; наконецъ, въ годы мужества, уже на практикѣ, въ битвахъ и въ мирное время, онъ продолжалъ ту же работу и такъ *концентрировалъ* весь этотъ сложный матеріалъ, что быстрота его соображеній поражаетъ насъ, развлекаемыхъ подготовительными работами, съ которыми онъ давнымъ-давно покончилъ. Быстрота соображенія у него та же, что у насъ, да соображать-то ему приходится не столько, сколько намъ. Насъ подавляетъ безконечное разнообразіе фактовъ, а онъ переработалъ эти факты такъ, что ему легко обозрѣть ихъ, и потому владѣть ими свободно. То же самое поражаетъ насъ и въ дѣйствіяхъ опытнаго торговца, сельскаго хозяйна, фабриканта и т. п. Предварительная работа мысли облегчаетъ для нихъ обозрѣніе того матеріала, который подавляетъ насъ своимъ разнообразіемъ.

Если бы мы захотѣли объяснить обширную битву человѣку, никогда не слышавшему ничего о сраженіяхъ, то должны были бы начать съ объясненія всѣхъ мелочей, такъ, чтобы понятія, напримѣръ, орудія, батареи, полка, конницы, пѣхоты и т. д. сдѣлались въ его головѣ готовыми понятіями, и тогда только приступить къ объясненію стратегическихъ движеній. Точно такъ же поступаемъ мы и тогда, когда хотимъ ввести дитя въ область обширной дѣятельности развитого разсудка. Мы перерабатываемъ матеріалъ, концентрируемъ его, и хотя силы сознанія остаются однѣ и тѣ же, но результаты его работъ выходятъ совсѣмъ другіе.

Такимъ-то образомъ рѣшается, повидимому, неразрѣшимая задача достигнуть того, чтобы фактовъ одновременно было въ сознаніи *какъ можно больше* и чтобы сознаніе, могущее обнимать разомъ только немногіе факты, не растеривалось въ нихъ и не растеривало ихъ. Задача эта рѣшается тою концентрировкою матеріала, фактовъ, которую мы называемъ развитіемъ разсудка и образованіемъ ума.—рѣшается для всего человѣчества вообще и для каждаго человѣка въ частности. Вотъ въ какомъ отношеніи правъ былъ Декартъ, утверждавшій, что ни одна человѣческая способность не распространена такъ равномѣрно между людьми, какъ способность сужденія, и что различіе въ нашихъ мнѣніяхъ происходитъ не отъ того, что одно лицо одарено большею способностью сужденія, чѣмъ другое, но только отъ того, что

мы ведемъ нашу мысль по разнымъ дорогамъ и касаемся не однихъ и тѣхъ же предметовъ. Мы же видимъ, что это различіе зависитъ не отъ различія дорогъ, а отъ различія въ количествѣ, качествѣ и обработкѣ матеріаловъ, надъ которыми трудится сознание. При такомъ взглядѣ, мысль Декарта могла бы получить такое выраженіе: «ничто такъ равномерно не распространено между людьми, какъ сознание со своею способностью различать, сравнивать и дѣлать правильный выводъ. Разнообразіе же въ выводахъ зависитъ отъ количества матеріаловъ (фактовъ) и предварительной ихъ обработки. Чѣмъ скуднѣе матеріаль *по количеству* и чѣмъ необработанныѣ онъ *по качеству*, тѣмъ работа сознанія будетъ несовершеннѣе, такъ какъ силы его все однѣ и тѣ же. Чѣмъ обильнѣе матеріаль сознанія и чѣмъ лучше онъ предварительно обработанъ, т. е. сгруппированъ, сосредоточенъ, тѣмъ работа сознанія выйдетъ совершеннѣе, тѣмъ его выводы будутъ вѣрнѣе дѣйствительности, плодovitѣе, богаче послѣдствіями».

Мнѣніе Декарта, что «*все ясно нами понимаемое — вѣрно*», показалось многимъ слишкомъ смѣлымъ. Кларкъ, Абернеси, Юмъ и другіе смягчили это мнѣніе, говоря только, что все, что мы можемъ себѣ вообразить, — *возможно*; но Ридъ отвергаетъ и это смягченное мнѣніе: «мы, говоритъ онъ, ясно понимаемъ, напримѣръ, что сумма двухъ сторонъ въ треугольникѣ равна третьей, хотя понимаемъ и невозможность этого предложенія»¹⁾. Здѣсь, какъ и по большей части случается, споръ объ однихъ словахъ: если я имѣю вѣрное представленіе о сторонахъ треугольника, то я не могу иначе, какъ съ намѣреніемъ сказать бессмыслицу, утверждать, что сумма двухъ сторонъ равна третьей. Если же я говорю это предложеніе и не сознаю его неправильности, то значить я сознаю *грамматическое предложеніе*, а не логическую мысль: мое сознание работаетъ надъ словами, но не надъ понятіями, сознаетъ ясно и, слѣдовательно, вѣрно отношеніе словъ, но не отношеніе понятій, означенныхъ этими словами...

Итакъ, мы можемъ прийти къ слѣдующимъ результатамъ:

Сила разсудка и сила сознанія одно и то же, и потому нѣтъ надобности признавать разсудка за особенную способность, отдѣльную отъ сознанія.

Подъ именемъ разсудка мы должны разумѣть сознаніе, взятое въ данный моментъ съ опредѣленнымъ числомъ фактовъ, которыми оно обладаетъ, и съ опредѣленной переработкой ихъ.

Сознаніе распредѣлено между людьми равномерно (да и у животныхъ оно, какъ можно полагать, то же самое); разница же, замѣчаемая нами столь ясно въ силѣ и развитіи разсудка, заключается не въ самомъ разсудкѣ

¹⁾ Read, p. 377.

или сознаниі, но въ количествѣ, въ качествѣ и въ переработкѣ фактовъ, надъ которыми сознание работаетъ.

Изошрять разумокъ *вообще*, слѣдовательно, есть дѣло невозможное, такъ какъ разумокъ, или, лучше сказать, сознание, обогащается только: а) приумноженіемъ фактовъ и б) переработкою ихъ. Чѣмъ болѣе фактическихъ знаній прибрѣлъ разумокъ и чѣмъ лучше онъ переработалъ этотъ сырой матеріалъ, тѣмъ онъ развитѣе и сильнѣе. Наблюденія и переработка этихъ наблюдений, образованіе представленій, сужденій и понятій, связь потомъ этихъ понятій въ новыя сужденія, новыя высшія понятія и т. д.—вотъ изъ чего выплетается не сила разсудка, но самъ разумокъ. Работу же эту выполняетъ сознание, безпрестанно, въ продолженіе всей нашей жизни, у однихъ быстрѣе, у другихъ медленнѣе; у однихъ сосредоточеннѣе въ одномъ направленіи и потому одностороннѣе, у другихъ разбросаннѣе и потому безсвязнѣе; у немногихъ сознание работаетъ многосторонне и въ то же время связно. Въ этомъ отношеніи, что ни голова, то и разумокъ, и два совершенно одинаковые разсудка—невозможны. Однако же не противорѣчитъ ли этотъ психологическій анализъ ежедневнымъ наблюденіямъ? Примѣряемъ его къ тѣмъ фактамъ различія разсудка у разныхъ людей, которые мы безпрестанно замѣчаемъ.

Мы видимъ, напримѣръ, что люди, часто очень умные въ одномъ родѣ дѣлъ, теряются, переходя къ другому роду. Это само собою разъясняется подготовленіемъ матеріаловъ, составляющихъ содержаніе разсудка, и ихъ обработкою въ одномъ какомъ-нибудь направленіи. Хорошій математикъ оказывается очень тупымъ филологомъ, хорошій филологъ очень тупымъ математикомъ, глубокій химикъ и механикъ очень плохимъ сельскимъ хозяиномъ, а отличный сельскій хозяинъ поражаетъ насъ своею тупостью въ пониманіи самой легкой книги о сколько-нибудь отвлеченномъ предметѣ. Всѣ эти факты, которыхъ всякій изъ насъ знаетъ безчисленное множество, служатъ лучшимъ подтвержденіемъ нашего анализа разсудочнаго процесса.

Но не противорѣчатъ ли этому анализу другого рода факты, также не рѣдко нами замѣчаемые? Одинъ человекъ, за что ни возьмется, выработаетъ себѣ скоро ясный и вѣрный взглядъ; другой занимается долго однимъ и тѣмъ же дѣломъ и все же путается въ немъ. Не показываетъ ли это, что у одного человека болѣе разсудка, у другого менѣе, независимо отъ матеріаловъ и ихъ обработки? Нисколько. Это показываетъ только, что у одного человека или память тверже, или воображеніе быстрѣе, или постоянства въ мышленіи (т. е. воли) больше, чѣмъ въ другомъ. Работа мысли можетъ замедляться или ускоряться въ самыхъ широкихъ предѣлахъ: что одинъ обдумываетъ въ нѣсколько минутъ, съ тѣмъ другой можетъ провозиться цѣлыя мѣсяцы; но это уже зависитъ не отъ сознаниія и не отъ разсудка, а отъ раз-

личія въ другихъ способностяхъ. Такъ, на примѣръ, если память у человѣка слаба, или усваиваетъ не скоро, или утрачиваетъ быстро усвоенное, то естественно, что эти недостатки памяти будутъ имѣть рѣшительное вліяніе въ разсудочныхъ работахъ сознанія. У однихъ воображеніе,—этотъ помощникъ сознанія, подающій ему матеріалы, сохраняемые памятью,—работаетъ необыкновенно быстро, у другихъ—медленно. Понятно, что отъ этого произойдетъ медленность или быстрота въ разсудочныхъ работахъ сознанія. Одинъ привыкъ къ постоянной умственной работѣ, привыкъ постоянно направлять свою мысль въ ту или другую сторону, тогда какъ другой любитъ больше лѣниво качаться на волнахъ воображенія, нестись туда, куда оно несетъ его; понятно, что первый быстрѣе придетъ къ цѣли, чѣмъ второй.

Однакоже не замѣчаемъ ли мы, что иногда человѣкъ вообще, какъ говорятъ, очень развитой выказываетъ менѣе разсудка, чѣмъ простой, но практическій человѣкъ? Очень часто. Но, всмотрѣвшись въ различіе сужденій этихъ двухъ людей, вы замѣтите, что у нихъ можетъ быть и равносильный разсудокъ, но матеріалы и обработка ихъ различны. У перваго можетъ быть матеріалы разнообразнѣе, но по каждому отдѣлу въ нихъ оказывается недочетъ, да и переработаны они кое-какъ; вотъ почему, хотя мысли его обширны и разнообразны, но каждая изъ нихъ не полна, лишена основательности, тогда какъ у втораго отдѣлы матеріаловъ не такъ разнообразны и вообще ихъ меньше, но по каждому отдѣлу ихъ несравненно болѣе, каждый отдѣлъ несравненно полнѣе матеріалами и эти матеріалы тщательнѣе обработаны. Вотъ почему возможно явленіе тѣхъ, повидимому, узкихъ, головъ, которыя, поражая насъ своею тупостью почти во всемъ, оказываются тѣмъ не менѣе необыкновенно проницательными въ томъ маленькомъ кругѣ дѣйствія, который онѣ себѣ избрали. Если бы разсудокъ былъ отдѣльною способностью, которая могла бы быть вообще больше или меньше, тогда подобныя явленія были бы невозможны.

Но не оказываетъ ли общее образованіе весьма замѣтнаго вліянія на подготовленіе разсудка и къ спеціальнымъ занятіямъ? Безъ сомнѣнія. Но это потому, что нѣтъ занятій до такой степени спеціальныхъ, чтобы они не имѣли ничего общаго съ тѣми общими занятіями, которыя даетъ намъ порядочное общее образованіе. Нѣтъ, на примѣръ, такого спеціальнаго занятія, въ которомъ понятія причины и слѣдствія, существеннаго и побочнаго, цѣли и средствъ и т. п. не играли бы какой-нибудь роли, а эти понятія, равно какъ и безконечное множество другихъ, имѣющихъ всеобщее приложеніе, устанавливаются въ насъ каждымъ, сколько-нибудь порядочнымъ общимъ образованіемъ: слѣдовательно, болѣе или менѣе готовятъ насъ ко всякому спеціальному занятію какимъ бы то ни было дѣломъ. Вотъ по-

чему, при одинаковыхъ условіяхъ, человѣкъ, получившій прочное общее образованіе, всегда будетъ имѣть поревѣсь надъ необразованнымъ.

Г Л А В А XLIV.

Вліяніе другихъ душевныхъ процессовъ на разсудочный.

Мы изложили главныя черты разсудочнаго процесса въ такой отвлеченной логической формѣ, въ которой онъ никогда не совершается, такъ какъ въ него безпрестанно вмѣшиваются посторонніе для него, но не для души, процессы и оказываютъ большее или меньшее вліяніе на правильность его совершенія. Эти явленія мы можемъ раздѣлить на *душевные* и *духовныя*: о первыхъ скажемъ въ этой главѣ, о вторыхъ въ слѣдующихъ. Къ душевнымъ вліяніямъ на разсудочный процессъ мы причисляемъ вліяніе бѣльшаго или меньшаго совершенства: 1) *внѣшнихъ чувствъ*, 2) *вниманія*, 3) *памяти*, 4) *воображенія*, 5) *внутреннихъ чувствованій* и 6) *воли*.

Вліяніе бѣльшаго или меньшаго совершенства внѣшнихъ чувствъ на разсудочный процессъ очевидно, такъ какъ эти чувства доставляютъ матеріаль сознанію для всѣхъ его разсудочныхъ работъ. Чѣмъ *сильнѣе*, т. е. *разборчивѣе*, наши внѣшнія чувства, т. е. чѣмъ болѣе способно зрѣніе различать тонкіе оттѣнки цвѣтовъ, а слухъ—тонкіе переливы звуковъ, тѣмъ обильнѣйшій матеріаль дадутъ они сознанію. Прирожденная особенность того или другаго тѣлеснаго органа можетъ, такимъ образомъ, оказать очень сильное вліяніе на разсудочныя работы сознанія, но и, въ свою очередь, сознаніе, работающее сильно въ сферѣ ощущеній какого-нибудь одного органа чувствъ, можетъ усилить его. природенную разборчивость ¹⁾.

Вліяніе вниманія, какъ бѣльшей или меньшей сосредоточенности сознанія, на разсудочный процессъ высказывается не только въ томъ, что, чѣмъ сознаніе сосредоточеннѣе, тѣмъ яснѣе оно сознаетъ ²⁾, но и въ томъ, что невозможность, которую мы замѣтили въ сознаніи, идти произвольно въ разныя стороны, къ сознанію двухъ или болѣе разныхъ предметовъ, ничѣмъ между собою не связанныхъ ³⁾, высказывается въ разсудочномъ процессѣ *стремленіемъ или удалять изъ него противорѣчія, или примирять ихъ*. Разсудокъ, какъ говорятъ обыкновенно, не терпитъ противорѣчій; но это психическое явленіе именно зависитъ отъ того, что сознаніе наше мо-

¹⁾ См. выше, гл. VII, а также гл. XVI.

²⁾ См. выше, гл. XIX, а также гл. XX.

³⁾ См. выше, гл. XXI.

жетъ работать только *соединяя*, а гдѣ это дѣлается невозможнымъ, тамъ работа его останавливается. Эта же остановка въ работѣ и неудача усилій продолжать ее высказываются тѣмъ тяжелымъ чувствомъ *недовольства* и *надорванности*, которымъ сопровождается сознание всякаго противорѣчія въ выводахъ разсудка. Мы увидимъ ниже, что именно эта невозможность ужиться съ противорѣчїями является сильнѣйшимъ двигателемъ сознанія въ его разсудочныхъ работахъ. Мы положительно *не выносимъ* противорѣчїй, что служитъ лучшимъ доказательствомъ единства сознанія. Если же противорѣчїя, тѣмъ не менѣе, очень часто встрѣчаются въ нашемъ разсудкѣ (какъ результатъ процесса сознанія), то это потому, что противорѣчащїя понятїя еще не сошлись на судъ сознанія лицомъ къ лицу, что мы никогда ихъ *не слыхали*. Они живутъ *покуда* отдѣльно въ ассоціаціяхъ нашей памяти; но какъ только встрѣтятся на судъ сознанія, такъ и станутъ мучить душу своимъ противорѣчіемъ, ибо не даютъ ей возможности работать, т. е. жить: *непрестанное стремленіе души къ дѣятельности упирается въ противорѣчїя*.

Но если противорѣчіе въ сознаніи не уживается, то очень уживается *ложное примиреніе* противорѣчїй. Въ этомъ отношеніи человѣкъ очень податливъ, и чтобы отдѣлаться отъ противорѣчїя, которое его мучитъ, заступая дальнѣйшїй путь его сознанію, кидается съ нѣкоторою радостью, очень замѣтною, на всякое кажущееся примиреніе и съ поспѣшностью, тоже очень замѣтною, переходитъ къ другимъ работамъ. Причины этихъ *сердечныхъ движеній* мы объяснимъ въ своемъ мѣстѣ; но здѣсь для насъ важенъ фактъ ихъ существованія. Такія ложныя примиренія не чужды душѣ каждаго человѣка, но они чрезвычайно вредно дѣйствуютъ на разсудочную работу и порождаютъ множество самыхъ грубыхъ суевѣрій, предрассудковъ и предубѣжденій, за которыми человѣкъ прячется тѣмъ упорнѣе, чѣмъ яснѣе чувствуетъ, что, выйдя изъ-за этихъ ширмъ, онъ станетъ лицомъ къ лицу съ непримиримыми мучительными противорѣчїями. Наука разрушаетъ эти *кажущїяся* примиренія и даетъ *истинныя*; но очень часто, руководимая самолюбіемъ своихъ жрецовъ, ставитъ новыя и такія же обманчивыя ширмы, вмѣсто тѣхъ, которыя опрокинула. Гораздо полезнѣе для успѣховъ ума, гораздо прямѣе и честнѣе было бы, натолкнувшись на противорѣчіе, котораго мы покуда не въ состояніи примирить, перейти прямымъ и простымъ усиліемъ воли къ другимъ работамъ, отмѣтивъ въ памяти существующее противорѣчіе до тѣхъ поръ, пока не явится возможность дѣйствительно уничтожить его.

Память сохраняетъ и прикопляетъ матеріалы, надъ которыми работаетъ сознание въ разсудочномъ процесѣ, и берегаетъ самые результаты этихъ работъ. Изъ этого уже само собою видно, какое обширное вліяніе

должны имѣть особенности памяти на разсудочный процессъ, и что разсудочный процессъ будетъ совершаться тѣмъ обширнѣе и вѣрнѣе, чѣмъ совершеннѣе память. Нерѣдко противоположаютъ память разсудку, указывая на тѣ явленія, что обширная память иногда сопровождается слабымъ разсудкомъ и, наоборотъ, сильный разсудокъ слабою памятью. Но это противорѣчіе только кажущееся. Конечно, мы часто встрѣчаемъ людей, обладающихъ обширную памятью и въ то же время поражающихъ насъ своимъ тупоуміемъ; но всмотритесь внимательно, что собственно сохраняется въ памяти этихъ людей? Сырой, вовсе переработанный матеріалъ, непереваренные, безсвязные факты, которые сознание можетъ разсматривать только по одиночкѣ, перебирать одинъ за другимъ, и никакъ не можетъ осмотрѣть *разомъ* сколько-нибудь значительное ихъ количество. Что же удивительнаго, если работа сознания надъ такимъ матеріаломъ поражаетъ насъ своимъ несовершенствомъ? Это бываетъ отъ многихъ причинъ, изъ которыхъ инныя совершенно неизвѣстны: можетъ быть, сама нервная система, усваивая прочно, возобновляется медленно и оттого воображеніе работаетъ слишкомъ вяло; можетъ быть, духовныя потребности были мало возбуждены, а можетъ быть и то, что въ дѣтскія лѣта завалили память человѣка матеріаломъ, не заботясь о своевременной переработкѣ его разсудкомъ.

Но какъ же объяснить совершенно противоположное явленіе: сильный свѣтлый, быстрый разсудокъ, сопровождаемый очень слабою памятью? Это явленіе—тоже легко объясняется. Кто ничего не помнитъ, тому не о чемъ разсуждать, и сильная обширная дѣятельность разсудка непременно предполагаетъ обильный матеріалъ, въ которомъ и надъ которымъ сознание только и можетъ выразить свою разсудочную работу: безъ матеріаловъ наилучшій каменщикъ ничего не построитъ, а слѣдовательно и не обнаружитъ своего превосходства. Если же часто удается слышать: «это очень умный человѣкъ, но у него слабая память», то это только потому, что въ разговорномъ языкѣ придаютъ памяти очень тѣсное значеніе и разумѣютъ подъ этимъ словомъ почти что одну память собственныхъ именъ и цифръ. Но такое пониманіе памяти слишкомъ узко. Если человѣкъ помнитъ, наприимѣръ, все, что относится къ извѣстному лицу, прекрасно описываетъ его характеръ и даже его наружность, но позабылъ имя, то это еще не показываетъ вообще плохой памяти. Это показываетъ только, что такой человѣкъ, увлеченный, можетъ быть, логическими, художественными или какими-нибудь другими признаками и ассоціаціями предметовъ, не обращалъ должнаго вниманія на ихъ случайный признакъ, па имя. Это, конечно, большой недостатокъ, но не слабость памяти вообще, а только ея односторонность. Впрочемъ, мы разъяснили это достаточно въ главѣ о памяти, гдѣ, для большей определенности, отвели особый отдѣлъ памяти *разсудочной*, въ противополож-

ность *механической*, хотя, въ строгомъ смыслѣ, всякая память есть разсудочная память, такъ какъ ни одинъ слѣдъ въ нашей памяти не можетъ остаться безъ участія разсудка, безъ отысканія различія и сходства, иначе мы не могли бы ничего припомнить, т. е. различить одинъ слѣдъ отъ другого.

Воображеніе представляетъ сознанію матеріалы, сохраняемые памятью, и потому, чѣмъ живѣе и отчетливѣе идетъ эта переборка матеріаловъ, тѣмъ быстрѣе идетъ и разсудочная работа сознанія, если сознаніе не довольствуется только тѣмъ, что созерцаетъ пассивно движущійся матеріалъ памяти, не *останавливаетъ* это движеніе и, созерцая разомъ болѣе или менѣе обширное собраніе матеріаловъ, выстраиваетъ изъ нихъ новую разсудочную ассоціацію, которую ввѣряетъ снова памяти же.

Часто противопоставляютъ сильное воображеніе сильному разсудку и говорятъ, что насколько у человѣка сильно воображеніе, настолько слабъ разсудокъ; но это совершенно несправедливо. Воображеніе есть не что иное, какъ передвиженіе представленій и понятій въ сознаніи, и чѣмъ дѣятельнѣе это передвиженіе, тѣмъ обширнѣе можетъ совершаться разсудочный процессъ. Сильное, дѣятельное воображеніе есть необходимая принадлежность великаго ума; но, конечно, только такое воображеніе, матеріалы котораго сильно переработаны здравымъ разсудкомъ, поэтическимъ чувствомъ, нравственными стремленіями и т. д., и которыми, кромѣ того, управляетъ самъ человѣкъ, словомъ, употребляя сравненіе Рюда, «если конь хорошо выѣзженъ и сѣдокъ умѣетъ управлять конемъ». Если воображеніе наполнено рядами глухихъ ассоціацій, пустыхъ, бесполезныхъ или безнравственныхъ, то его яркость и сила, особенно при слабости воли, могутъ совершенно извратить разсудочный процессъ. Однакоже кляча, какъ бы она ни была выѣзжена, все останется клячей, и вялое, медленное и не живо воспроизводящее воображеніе (что уже зависитъ во многомъ отъ прирожденныхъ качествъ души и тѣлеснаго организма) никогда не можетъ быть спутникомъ великаго ума.

Этому нисколько не противорѣчитъ то явленіе, что многіе замѣчательные ученые, въ особенности философы и математики, обнаруживаютъ, повидимому, вялое, недѣятельное воображеніе. Воображеніе, какъ мы уже видѣли, не есть что-нибудь готовое при самомъ рожденіи человѣка, но составляется все изъ рядовъ и группъ представленій, скованныхъ самимъ же человѣкомъ въ разсудочномъ процессѣ. Если въ воображеніи преобладаютъ ряды мыслей математическихъ и философскихъ, если представленія скованы въ ряды и группы своими математическими и философскими сторонами, то становится понятно само собою, почему голова съ сильнымъ философскимъ или математическимъ воображеніемъ можетъ оказаться слабою и вялою; когда ей приходится вызывать такіе ряды мыслей, кото-

рыхъ много въ иной самой обыкновенной головѣ, но не увлеченной ни математикой, ни философией. Известная молочница, сфантазировавшая цѣлый романъ, пока шла отъ дома до рынка, съ горшкомъ молока на головѣ, сочинила этотъ романъ, конечно, не въ такое короткое время. Давно уже, руководимая желаніемъ сдѣлаться барыней, готовила она въ свободное время отдѣльные эпизоды этого романа и надѣлала ихъ очень много въ продолженіе своей жизни. Теперь же, идучи на рынокъ, она только склеивала эти эпизоды, и такъ какъ всѣ они были созданы однимъ и тѣмъ же желаніемъ, то до того шли одинъ къ другому, что дѣвушка увлеклась этой пріятной работой, разбила кувшинъ и тѣмъ порвала нитку, на которую нанизывала всѣ эти давно подготовленные эпизоды ея любимаго романа. Подобнаго романа, конечно, не сочинить въ такое короткое время никакому великому ученому; но это потому, что у него не готовы самые эпизоды для романа, а нисколько не потому, чтобы его воображеніе было слабѣе.

Вліяніе *внутреннихъ чувствъ* на разсудочный процессъ мы очертимъ словами Бэкона. «Глазъ человѣческаго пониманія, говоритъ Бэконъ, не сухъ, но, напротивъ, увлаженъ страстью и волею (не вѣрнѣе ли сказать—желаніемъ?). Вотъ что порождаетъ ни на чемъ не основанныя знанія и всѣ фантазіи; ибо чѣмъ болѣе желаетъ человѣкъ, чтобы какое-нибудь мнѣніе было справедливо, тѣмъ легче онъ въ него вѣритъ. Онъ тѣмъ легче покидаетъ трудныя вещи, потому что скоро устаютъ изучать ихъ; отбрасываетъ умѣренныя мнѣнія, потому что они суживаютъ кругъ его надеждъ; отворачивается отъ глубины природы, потому что суевѣріе запрящаетъ ему изысканія этого рода; пренебрегаетъ свѣтомъ опытовъ изъ презрѣнія, изъ гордости, изъ страха, чтобы не подумали, что онъ занимаетъ свой умъ вещами низкими»¹⁾.

Въ этихъ словахъ Бэкона много правды; но едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что и въ нихъ отчасти проглядываетъ та влага страсти, покрывающая глаза, о которой говоритъ здѣсь великій мыслитель. Поставленный въ необходимость бороться съ суевѣрными увлеченіями своихъ современниковъ, Бэконъ и самъ увлекается страстью этой борьбы, иначе бы онъ оцѣнилъ, что *страсть*, столь вредная для изысканія истины, является также и могущественнымъ двигателемъ этого процесса. Если бы самъ Бэконъ не имѣлъ способности къ сильнымъ страстямъ въ своемъ характерѣ, въ чемъ обличаетъ его и его біографія, то міръ лишился бы его великихъ твореній, въ каждой страницѣ которыхъ проглядываетъ сильно страстная натура. Къ Бэкону такъ же, какъ и ко всему остальному человѣчеству, могли бы быть обращены тѣ глубокія евангельскія слова, которыя, кажется, мелькнули

¹⁾ Nouv. Org. L. I. Aph. XLIX.

въ умѣ Бэкона, когда онъ писалъ вышеприведенныя строки: «*Свѣтиль-никъ тѣлу есть око: аще убо око твое будетъ просто, все тѣло твое свѣтло будетъ; аще ли око твое лукаво будетъ, все тѣло твое темно будетъ. Аще убо свѣтъ, иже въ тебѣ, тѣма есть, то тѣма кольми?*» (Евангеліе отъ Матѳея. Глава 6, ст. 22 и 23).

Дѣйствительно, нѣтъ тѣмы, болѣе неодолимой, какъ тѣма, исходящая на предметы отъ насъ самихъ, когда зрѣніе самаго сознанія нашего потемняется страстью. И не нужно полагать, что зрѣніе только одной какой-либо партіи или нѣсколькихъ потемняется страстью, а другихъ партій свободно отъ всякой страсти, и не мѣшаетъ каждой партіи и каждому человѣку всегда помнить другое извѣстное евангельское изреченіе о *видимомъ сучкѣ* въ глазѣ брата и о *невидимомъ бревнѣ* въ своемъ собственномъ. Конечно, партія, противъ которой борется Бэконъ, насоздавала много вредныхъ суевѣрій и предрасудковъ, легшихъ камнями и бревнами на пути истиннаго прогресса человѣчества, но не мало также накидали этихъ камней и бревенъ и тѣ, кто считаетъ себя вѣрными послѣдователями опытной методы Бэкона. И напрасно бы кто-нибудь подумалъ, что разумъ современной науки свободенъ отъ потемнѣнія страсти: напротивъ, едва ли было время, когда наука была бы такъ обуреваема страстью, какъ нынѣ. Мы считаемъ, впрочемъ, этотъ періодъ науки переходнымъ: она не привыкла еще къ тому высокому положенію, которое заняла въ жизни общества, не привыкла еще оставаться невозмутимую въ томъ шумѣ и той толкотнѣ, посреди которыхъ очутилась, выйдя изъ своего прежняго затворничества, гдѣ она часто покрывалась плѣсенью предрасудковъ, но зато легче сохраняла хладнокровіе и независимость мнѣній, на которыя нельзя смотрѣть безъ невольнаго уваженія въ самомъ Бэконѣ, Декартѣ, Спинозѣ, Ньютонѣ, Лейбницѣ. Сравнивъ, на примѣръ, Бэкона и Милля, мы ясно увидимъ, насколько логика перваго свободнѣе логики втораго отъ потемняющаго вліянія страсти.

Но если подкрѣпленіе страсти необходимо для сильнаго движенія разсудочнаго процесса, а въ то же время страсть затемняетъ разсудокъ, то какъ же выйти изъ такого противорѣчія? Мы указали выше на *единственно* возможный изъ него выходъ, и разсмотримъ его подробнѣе въ главахъ «*о страсти*», но не считаемъ лишнимъ и здѣсь повторить еще разъ, что есть только *одна* страсть, не ослѣпляющая разсудка, и это — *страстная любовь къ истинѣ*. Страсть, какъ замѣтилъ еще Спиноза въ своей «*Этикѣ*», можно побѣдить только страстью же, и о развитіи этой страсти въ самомъ себѣ долженъ заботиться ученый столько же, сколько и о пріобрѣтеніи знаній. Воспитать эту страсть можно твердою волею, всегда находящеюся на стражѣ противъ всякихъ увлеченій, кромѣ увлеченій истинной. Страсть крѣпнетъ, какъ и тѣло, пищею, но пищею духовною, и стре-

мленіе къ истинѣ, врожденное каждому, можно развить въ самомъ себѣ до истинной и все побѣждающей страсти, была бы только *воля* на то.

Воля находится въ тѣснѣйшей связи съ разсудочнымъ процессомъ сознанія. Хотя процессъ разсудка, начатый разъ, уже не зависитъ отъ воли, но самое начало его есть по большей части, если не всегда, актъ воли, побуждаемой врожденными стремленіями души знать правду, какова бы она ни была. Для того, чтобы разсудочный процессъ начался, должно остановить волею актъ воображенія, и, не увлекаясь движеніемъ одного представленія за другимъ, оглянуть разомъ столько представленій, сколько можетъ захватить сознаніе одновременно, и можно быть увѣреннымъ, что *судъ сознанія* будетъ вѣренъ, насколько вѣрны сами наши представленія и связанныя изъ нихъ прежде сочетанія. Сознаніе—это «око» души нашей—никогда не ошибается, если только «не заволокла» его какая-нибудь другая страсть, кромѣ страсти къ истинѣ. Но такъ какъ самая страсть къ истинѣ можетъ быть развита только волею же, то вотъ почему воспитаніе сильной воли еще необходимѣе для ученаго, чѣмъ для пракческаго дѣятеля. Воля наша должна постоянно стоять на стражѣ нашихъ разсудочныхъ работъ, ограждая ихъ отъ всѣхъ постороннихъ вліяній, и тогда только «*око наше свѣтло будетъ*».

Г Л А В А XLV.

Вліяніе духовныхъ особенностей человѣка на разсудочный процессъ.

Мы уже видѣли выше ¹⁾, что способность имѣть *идеи* и *даръ слова* даютъ человѣческому сознанію тѣ средства, съ которыми человѣческій разсудокъ становится на ступень, недостижимую для животныхъ, хотя начинается съ того же, съ чего и сознаніе животныхъ. Мы не говоримъ еще о духовной природѣ человѣка и потому не можемъ вполне уяснить здѣсь вліяніе этой природы на разсудочный процессъ, но считаемъ необходимымъ, хотя вскользь, упомянуть объ этомъ вліяніи, иначе наше изложеніе разсудочнаго процесса было бы очень неполно.

Значеніе идеи въ разсудочномъ процессѣ.

Изложивъ ходъ образованія *понятія*, мы уже можемъ точнѣе опредѣлить тотъ смыслъ слова *идея*, который мы придали ему въ главѣ о памяти ²⁾. *Понятіе* есть та же *идея*, но только еще въ процессѣ своего обра-

¹⁾ См. выше, гл. XXXII.

²⁾ См. выше, гл. XXVI.

зованія, въ связи съ тѣми представленіями, изъ которыхъ оно отлагается, и въ связи съ тѣмъ словомъ, въ которое оно облекается. Уже Гербартъ замѣтилъ необходимость отдѣлить понятіе, *какъ логическую форму*, отъ понятія, *какъ психическаго явленія*; но еще необходимѣе отличить понятіе, какъ слѣдъ душевнаго акта, сохраняемый душою, отъ понятія, какъ болѣе или менѣе окончательнаго результата психо-физической дѣятельности, и вотъ почему мы удерживали два слова—*понятіе* и *идея*.

Хотя *идеи* извлекаются нами изъ сознательныхъ процессовъ, изъ опытовъ и наблюденій, но существуютъ внѣ сознанія, такъ что мы узнаемъ о нихъ только по ихъ дѣйствіямъ въ сознательныхъ процессахъ. Онѣ, по удачному выраженію Лейбница, «обнаруживаются въ дѣйствіяхъ сознанія, но сами остаются внѣ его». Мы такъ привыкли съ необычайной быстротою выражать душу нашу въ словахъ, что не легко примиряемся съ мыслью существованія въ насъ идей внѣ формы слова и образныхъ представленій. Однакоже, стоитъ только подумать о томъ, что руководитъ въ насъ *самимъ подборомъ словъ и образовъ*, и мы почувствуемъ полную необходимость признать существованіе въ насъ идей внѣ формы слова и чувственныхъ образовъ. То, что подбираетъ слова и образы для своего выраженія, не можетъ быть само словомъ и образомъ. Нельзя думать словами о словахъ, какъ совершенно справедливо замѣчаетъ Милль; а еще менѣе можно думать чувственными образами о чувственныхъ образахъ.

Но если идеи существуютъ внѣ области сознанія и только обнаруживаются въ своемъ вліяніи на процессъ сознанія, то, конечно, мы не можемъ узнать, въ какой формѣ онѣ существуютъ внѣ этихъ вліяній, точно такъ же, какъ не можемъ знать, что такое тѣло внѣшняго міра внѣ отношеній его къ другимъ тѣламъ. Здѣсь мы встрѣчаемся съ самымъ темнымъ вопросомъ въ психологіи, которому, вѣроятно, надолго еще, если не навсегда, придется оставаться вопросомъ. Признавъ безсознательное существованіе идей въ душѣ, мы должны признать возможность безсознательнаго существованія самой души. Декартъ, сообразно своей метафизической системѣ, признавалъ душу *всегда мыслящею* (*ens cogitans*); но ясно, что это такая гипотеза, которой нельзя доказать и которую потому напрасно строить. Мыслимъ ли мы въ состояніи обморока или глубокаго сна безъ сновидѣній, и потомъ только не можемъ вспомнить, что мы мыслили, или во время этого состоянія процессъ сознанія въ насъ прерывается—этого мы не можемъ повѣрить опытами, потому что опыты возможны только въ сферѣ сознанія; но скорѣе мы должны думать, что не мыслимъ. Гербартианцы признаютъ жизнь и борьбу представленій внѣ области сознанія; Вундтъ допускаетъ даже возможность безсознательныхъ опытовъ, сужденій и умозаклю-

ченій ¹⁾); но мы полагаемъ, что такое допущеніе безсознательной психической или психо-физической *жизни* открываетъ широко двери въ совершенно темную область догадокъ, изъ которой мы можемъ выводить всевозможныя объясненія всѣхъ психологическихъ явленій, объясненія, ни на чемъ не основанныя, кромѣ произвола писателя, хотя мы должны допустить *существованіе* и внѣ сознанія того, что сознаетъ.

Для избѣжанія такого произвола и опираясь только на фактахъ, мы должны въ одно и то же время признать возможность существованія души внѣ сознанія и возможность узнать ея свойства лишь настолько, насколько они проявляются въ сознаніи. Сознаніе есть свойство души, которое не можетъ принадлежать ничему матеріальному, но которое начинаетъ проявляться только при воздѣйствіи на душу внѣшняго для нея міра. Сознаніе есть только различеніе ощущенія, а гдѣ нечего различать, тамъ нѣтъ и сознанія. Сознаніе есть актъ *психо-физическій*, не принадлежащій отдѣльно ни матеріи, ни душѣ, но вызываемый въ душѣ впечатлѣніями внѣшняго міра на нервный организмъ. Въ этомъ психо-физическомъ актѣ выражаются свойства обоихъ агентовъ: *матеріи* и *души*, и насколько они въ немъ выражаются, настолько они намъ и доступны. Только сквозь призму психо-физическаго акта сознанія мы можемъ въ этомъ мірѣ заглядывать и въ матерію, и въ душу. Что такое матерія и душа сами въ себѣ—мы не знаемъ; но всегда возможно, во всякомъ актѣ сознанія, раздѣлить вліяніе двухъ агентовъ, изъ которыхъ одинъ мы называемъ матерією, а другой—душою, и при этомъ только условія возможно для насъ ясное пониманіе нашихъ психо-физическихъ актовъ.

Мы не знаемъ, какъ существуютъ *идеи* въ душѣ, но можемъ прослѣдить, какъ онѣ, формируясь изъ наблюденій и опытовъ, воспринимаются душою и какъ потомъ дѣйствуютъ изъ недоступной сознанію области души на образованіе въ насъ другихъ идей, а равно на наши стремленія и поступки. Однако уже для того, чтобы подбирать понятія, слова и представленія для выраженія той или другой идеи, душа должна сознавать эту идею; а сознавать что-нибудь можно только въ формѣ понятій, словъ и представленій. Сдѣлать такой вопросъ—значитъ опять же допрашиваться, въ какой формѣ существуетъ безформенная идея. Но сколько мы ни стучимъ въ эту дверь, она не отпирается нашему сознанію, хотя изъ-за нея выходятъ распоряженія его дѣятельностью. Кто же и когда отпереть эту таинственную дверь? Можно только подсмотрѣть одно, что тѣ опредѣленныя требованія души, по которымъ происходитъ подборъ нашихъ понятій, словъ и представленій, обнаруживаются въ сознаніи прежде всего въ формѣ *внутренняго чувства*,

¹⁾ См. объ этомъ также у Лотце. *Microkosmos*, Erst. B. S. 219 и 220.

въ формѣ *недовольства*, если подбираемое представленіе, слово или понятіе не соотвѣтствуютъ идеѣ, для выраженія которой они подбираются. Можетъ быть и всегда, и во всемъ первое обнаруженіе души совершается въ этой формѣ, которую мы называемъ *душевымъ чувствомъ*, которую мы ясно отличаемъ въ себѣ отъ дѣятельности пяти внѣшнихъ чувствъ и которой мы надѣемся посвятить особый отдѣлъ въ слѣдующемъ томѣ.

Безъ средства удерживать въ душѣ идеи, выработанныя въ разсудочномъ процессѣ, мы никогда не могли бы распорядиться этимъ актомъ, и онъ совершался бы въ насъ совершенно пассивно, какъ совершается въ животныхъ, сколько можно судить по проявленіямъ его въ ихъ дѣятельности. Если бы душа наша *не усваивала идей*, можетъ быть, видоизмѣняя и развивая ими свои природенныя требованія, то весь ея разсудочный процессъ уславливался бы единственно явленіями внѣшняго для нея міра, причемъ послѣдовательное развитіе души было бы невозможно.

Значеніе слова.

Значеніе *слова* для разсудочнаго процесса также громадно. Слово выражаетъ собою *понятіе*, но *не идею*: ибо какъ слово, такъ и понятіе, облеченное въ слово, служатъ только для выраженія идеи, которая лежитъ всегда *между* словами, выражается въ подборѣ словъ, но не въ словахъ. Идея можетъ выразиться не только въ подборѣ словъ, но и въ подборѣ чувственныхъ образовъ; но какъ медленно и трудно совершался бы нашъ разсудочный процессъ, если бы человѣкъ, не обладая даромъ слова, источникъ котораго мы отыщемъ впоследствии, былъ вынужденъ думать образами и психо-физическими понятіями, а не словами!

Мы уже видѣли, что понятіе долго не можетъ оторваться отъ тѣхъ представленийъ, изъ которыхъ оно составилось; оно даже вовсе не могло бы отъ нихъ оторваться и навсегда осталось бы въ нашей душѣ чѣмъ-то смутнымъ и мелькающимъ въ толпѣ представленийъ, если бы человѣкъ не обладалъ духовною, ему исключительно принадлежащею способностью—облекать понятія въ слово, налагать на понятіе новый, произвольный значекъ, называемый словомъ, и тѣмъ самымъ оканчивать и завершать процессъ образованія понятія, начинающійся, но никогда не оканчивающійся и не завершающійся въ животномъ. Между представленіями, составившими понятіе, и между словомъ, выражающимъ это понятіе, нѣтъ, по большей части, ничего общаго. Слова звукоподражательныя составляютъ въ языкѣ исключеніе, и чѣмъ болѣе развитъ языкъ, тѣмъ меньшую роль играютъ они въ немъ. Несравненно большая часть словъ является для насъ чисто произвольными значками, которые духъ нашъ наложилъ на понятія, чтобы имѣть дѣло съ этими коротенькими значками понятій, а не съ цѣлыми роями пред-

ставленій, изъ которыхъ понятія возникли. Если во многихъ словахъ и есть что-нибудь совершенно произвольное, то это, по большей части, оттѣнокъ того внутренняго чувства, которое возбуждалось въ насъ предметами и явленіями, послужившими къ образованію понятій. Во многихъ словахъ подмѣчаются эти оттѣнки чувства, участвовавшаго при ихъ созданіи; но это уже не есть что-нибудь внѣшнее для души, но ея собственное, и потому не смущаетъ нашего сознанія, какъ чуждое, но встрѣчается имъ, какъ нѣчто знакомое, родное.

Не нужно много наблюдательности, чтобы видѣть, какъ слова облегчаютъ и сокращаютъ разсудочный процессъ. Процессъ мышленія, какъ мы уже замѣтили выше, весь совершается въ словахъ, тогда какъ процессъ воображенія весь совершается въ представленіяхъ. Разложите самое короткое сужденіе, на примѣръ: «этотъ человѣкъ богатъ», на всѣ представленія, изъ которыхъ составились эти три слова и ихъ связь, и вы оцѣните всю необычайную концентрирующую силу языка. Въ одномъ словѣ «дерево», «животное», «камень» — множество наблюденій, опытовъ, сравненій, понятій, разсудочныхъ процессовъ; но невозможно измѣрить то короткое мгновеніе, которое нужно сознанію, чтобы оно могло сознать значеніе любого изъ этихъ словъ. Изъ этого уже выходитъ, какъ содѣйствуетъ слово производительности сознанія при тѣхъ же ограниченныхъ его средствахъ.

Намъ такъ же трудно представить себѣ мышленіе безъ словъ, какъ трудно зрячему представить работу воображенія у слѣпыхъ, не обладающихъ способностью представленія красокъ, свѣта и тѣни, и воспроизводящихъ формы тѣлъ безцвѣтными продуктами мускульнаго чувства и осязанія. Это-то ощущеніе тѣсной связи мысли и слова и заставило Руссо сказать: «общія идеи не могутъ войти въ разумъ иначе, какъ съ помощью словъ, и пониманіе овладѣваетъ ими только въ предложеніяхъ. Вотъ одна изъ причинъ, почему животныя не могутъ образовывать общихъ идей (понятій) и достичь того совершенства, которое отъ этихъ идей зависитъ». Мы уже видѣли, что это мнѣніе не совершенно справедливо, и что понятія, или, по крайней мѣрѣ, нѣчто въ родѣ ихъ, образуются и у животныхъ; но процессъ этого образованія оканчивается только въ словахъ, такъ что мышленіе, въ полномъ *человѣческомъ* смыслѣ слова, совершается только въ словахъ, и слово является главнымъ средствомъ человѣческаго развитія, котораго животное безсловесное, при чувствахъ, иногда гораздо болѣе тонкихъ, и при сознаніи столь же ясномъ, достигнуть не можетъ.

Вотъ причина, почему слѣпые, несмотря на то, что весь *видимый* міръ закрытъ для нихъ, развиваются часто до высокой степени нравственнаго и умственнаго совершенства, тогда какъ глухонѣмые, видящіе весь міръ, показываютъ всѣ печальные признаки преобладанія животныхъ

наклонностей. Вайтцъ, полемизируя противъ «чистыхъ понятій» Канта и доказывая, что все создается въ человѣкѣ изъ внѣшнихъ ощущеній, приводитъ въ примѣръ слѣпорожденныхъ и глухонѣмыхъ и ставитъ ихъ совершенно неправильно въ одинаковое отношеніе къ развитію ¹⁾); но опытъ показываетъ совершенно противное и доказываетъ, напротивъ, что духовное, внутреннее орудіе—*слово* имѣетъ для человѣка гораздо больше значенія, чѣмъ внѣшнее орудіе—зрѣніе.

Изъ этого уже можно заключить, какую важную роль играетъ слово въ нашемъ умственномъ и нравственномъ развитіи, и какой великій подарокъ дѣлаютъ глухонѣмымъ, приучая ихъ налагать произвольные значки на понятія и тѣмъ самымъ заканчивать образованіе понятій, безъ чего разсудокъ этихъ несчастливцевъ остался бы навсегда на степени разсудка животныхъ. Понятно, почему одинъ глухонѣмой, выучившійся говорить ²⁾, читать и писать, будучи подъ вліяніемъ новаго для него чувства, назвалъ мышленіе «внутреннимъ разговоромъ» ³⁾. Мы забываемъ то время, когда еще не обладали этимъ «внутреннимъ разговоромъ» и когда все мышленіе наше совершалось въ представленіяхъ; но у глухонѣмого это положеніе мышленія было еще въ памяти, и онъ созналъ живо всю благодѣтельную перемѣну, какую обладаніе словомъ вноситъ въ процессъ мышленія. Слово въ высшей степени концентрируетъ матеріалы сознанія и тѣмъ самымъ допускаетъ ихъ одновременное обозрѣніе сознаніемъ; оно же сберегаетъ въ памяти плоды разсудочнаго процесса въ самой сжатой, концентрированной формѣ. Въ иномъ словѣ сокращена исторія неисчислимаго множества душевныхъ процессовъ.

Въ заключеніе этой главы обратимъ еще вниманіе на то, что идея и слово, эти могущественныя средства, вносимыя духомъ въ разсудочный процессъ, служатъ не только средствами этого процесса, но и вѣрно сохраняютъ въ себѣ его результаты. Достигнувъ до идеи, плодъ разсудочнаго процесса дѣлается не только актомъ духа, но вносится въ него, какъ новая его способность: идеями питается духъ и въ нихъ происходитъ его развитіе, предѣлъ котораго, какъ мы вѣримъ, не ограничивается предѣлами земной жизни, иначе самое развитіе духа—высшій процессъ въ природѣ—являлось бы чѣмъ-то безцѣльнымъ и ненужнымъ.

Другой плодъ разсудочнаго процесса, который вызрѣваетъ въ немъ подъ вліяніемъ духа человѣческаго, есть *слово*. Этотъ плодъ также не

¹⁾ Lehrbuch der Psych. § 46.

²⁾ Конечно такъ, какъ говорятъ глухонѣмые, т. е. не слыша своихъ собственныхъ словъ, а руководствуясь при этомъ только мускульными ощущеніями движеній органовъ языка.

³⁾ Empyr. Psych. von Drobisch. § 159.

умираетъ: онъ переходитъ въ языкъ народа, дѣлается живымъ атомомъ этого могучаго, вѣчно развивающагося организма, и, такимъ образомъ, слово, добытое въ разсудочномъ процессѣ нашими отдаленнѣйшими предками, передѣланное въ процессѣ сознанія нашихъ дѣдовъ и отцовъ, со всѣми слѣдами своего сознанія и своей многовѣковой передѣлки въ тысячахъ поколѣннѣй, достигнетъ къ нашимъ потомкамъ и пробудитъ въ нихъ понятія, идеи и чувства, которыя создавали и развивали это слово. Такимъ образомъ приконпляется вѣками и работою безчисленныхъ поколѣннѣй духовное богатство человѣка, и въ личностяхъ Несторовой лѣтописи мы узнаемъ прародителей нашихъ не только по плоти, но и по слову, по слову и по духу: они начали выработку тѣхъ самыхъ идей, которыя мы продолжаемъ развивать и которыя, судя по аналогіи съ нами, будутъ развивать наши дѣти и внуки.

Г Л А В А XLVI.

Противорѣчія, вносимыя духомъ въ мышленіе.

Разсудочный процессъ въ человѣкѣ отличается не только средствами своего развитія, но и *вопросами*, которые онъ рѣшаетъ. Весь разсудочный процессъ у животныхъ, насколько мы можемъ судить о немъ по его проявленію въ дѣйствіяхъ, направленъ единственно къ разрѣшенію вопросовъ, возникающихъ изъ потребностей тѣла. Какъ только потребности эти удовлетворены, такъ и разсудочный процессъ у животныхъ прекращается до тѣхъ поръ, пока потребности, съ общимъ ходомъ органическаго растительнаго процесса, не возобновятся. Не то мы видимъ въ человѣкѣ. Вмѣстѣ съ потребностями матеріальными, а еще болѣе по удовлетвореніи ихъ, пробуждаются въ немъ потребности духовныя, и разсудокъ не успокаивается на рѣшеніи вопросовъ, возникающихъ изъ жизни тѣла, но начиаетъ рѣшать вопросы, необъяснимые изъ тѣлесныхъ потребностей. Животное также наблюдаетъ явленія и дѣлаетъ опыты, составляетъ изъ нихъ понятія, сужденія и умозаключенія, но все это настолько, насколько вынуждается къ тому вопросами тѣла, выражающимися въ формѣ тѣлесныхъ потребностей: голода, жажды, холода, инстинкта самосохраненія, размноженія и потребности движенія:— вотъ въ какой формѣ выражаются эти вопросы животной жизни, для разрѣшенія которыхъ работаетъ и слѣпой инстинктъ, и сознаніе животнаго. Но въ разсудочномъ процессѣ человѣка мы встрѣчаемъ и другіе вопросы, выходящіе не изъ потребностей физической жизни, но надъ рѣшеніемъ которыхъ тѣмъ не менѣе трудится разсудокъ человѣка, не успокаиваю-

щійся и по удовлетвореніи тѣлесныхъ потребностей. Рѣшеніе этихъ-то, не изъ тѣла идущихъ вопросовъ, заставляетъ дикаря украшать свое тѣло перьями, татуировкой, раковинами, прежде чѣмъ онъ выучится прикрывать его отъ вредныхъ вліяній температуры ¹⁾. Оно же побуждаетъ его слагать пѣсню, выдавливать дудку, выдѣлывать идола, съ большимъ трудомъ, изъ камня или изъ дерева, заботиться объ умершихъ родныхъ больше, чѣмъ онъ заботился о нихъ, когда они были живы, приносить жертвы, часто кровавыя и отвратительныя, и т. п., словомъ—рѣшать своимъ разсудкомъ такіе вопросы, которые вовсе не объясняются потребностями физической жизни. На этой ступени своего развитія человѣкъ *кажется* даже глупѣе животнаго, заботясь о пустякахъ, когда не удовлетворены существенныя его потребности, украшая цвѣтными раковинами тѣло, дрожащее отъ холода или изнывающее отъ зноя, добываясь съ большимъ трудомъ такихъ предметовъ, которые не приносятъ ему ни малѣйшей пользы, создавая себѣ небывалые страхи или налагая на себя тяжелыя, совершенно бесполезныя обязанности. Но не ясно ли показываетъ все это уже въ дикарѣ, что разсудокъ человѣка, при самомъ началѣ своего развитія, побуждается къ дѣятельности не одними вопросами, выходящими изъ потребностей тѣла, но какими-то другими, выходящими изъ чего-то такого, чего нѣтъ у животныхъ. Уже дикаря мучитъ это *что-то такое*, чего нѣтъ у животныхъ, спокойно засыпающихъ по удовлетвореніи своихъ матеріальныхъ потребностей и требованій инстинкта. Вотъ эти-то *вопросы* или *задачи*, выходящіе *откуда-то* изнутри человѣка и проявляющіеся такъ дико на первыхъ ступеняхъ разсудочнаго развитія, не даютъ остановиться этому развитію (какъ останавливается оно у животныхъ) и ведутъ его все впередъ и впередъ.

Мы, конечно, не будемъ входить здѣсь въ объясненіе происхожденія *религіозныхъ, нравственныхъ и эстетическихъ* стремленій въ человѣкѣ, хотя эти стремленія и придаютъ особый характеръ его разсудочному процессу: это составитъ содержаніе *третьей* части нашей «Антропологии». Но мы не можемъ не сказать и здѣсь нѣсколькихъ словъ о тѣхъ духовныхъ вліяніяхъ, которыя придаютъ разсудочному процессу его вѣчное, неустанное движеніе въ розысканіи истины. Не упомянувъ, хотя коротко, объ этихъ вліяніяхъ, мы оставили бы ложную тѣнь на всемъ разсудочномъ процессѣ, что могло бы повести ко многимъ недоразумѣніямъ. Стремленія религіозныя, нравственныя и эстетическія направляютъ разсудочный процессъ, со-

¹⁾ Ссылаемся въ этомъ случаѣ на психолога съ нескрываемымъ матеріалистическимъ направленіемъ. «Факты дикой жизни, говоритъ Гербартъ Спенсеръ, показываютъ, что украшенія, по порядку времени, предшествуютъ платью, и что вначалѣ одежда развилась изъ украшеній». Education intellectual, moral and physical, by Herb. Spenser. London. 1851, § 1, 2.

вершающійся въ человѣкѣ и человѣчествѣ, къ различнымъ цѣлямъ, не выходящимъ изъ потребностей матеріальной жизни, но сами не входятъ въ него, принадлежа болѣе къ области *внутренняго чувства*, чѣмъ *сознанія*. Но есть *умственные духовныя стремленія*, которыя прямо дѣйствуютъ на разсудочный процессъ и срываютъ его со всякой ступени, достигнувъ которой онъ могъ бы остановиться. Эти духовныя умственные стремленія мы знаемъ только въ формѣ странныхъ *непримиримыхъ противорѣчій*, появляющихся *откуда-то, только не изъ опыта и наблюденія*, въ разсудочномъ процессѣ человѣка. Естественно, что мы указываемъ источникъ этихъ стремленій *въ духъ*, потому что этимъ именемъ мы приняты называть совокупность особенностей, отличающихъ психическую дѣятельность человѣка отъ такой же дѣятельности у животныхъ. Но прежде чѣмъ мы разсмотримъ эти противорѣчія, намъ слѣдуетъ указать, какимъ образомъ противорѣчія могутъ двигать разсудочный процессъ все впередъ и впередъ.

Сознаніе наше, какъ мы уже видѣли, не терпитъ противорѣчій: это его существенное свойство. «Главное стремленіе разсудка, говоритъ Бэнъ, состоитъ въ изгнаніи всѣхъ противорѣчій изъ души, и только вліяніе чувства мѣшаетъ этой работѣ разсудка» ¹⁾. Это весьма вѣрная замѣтка Бэна, но только высказана она не вполне, и не объяснена причина этого явленія. Сознаніе, дѣйствительно, по самому существу своему, все приводитъ къ высочайшему единству, какъ мы уже показали это ²⁾, а потому не терпитъ противорѣчій въ своемъ содержаніи и стремится удалить ихъ, такъ что слабость разсудочнаго процесса въ иныхъ людяхъ обнаруживается именно тѣмъ, что въ ихъ выводахъ существуютъ противорѣчія, которыхъ они не замѣчаютъ. Но если бы Бэнъ внимательно всмотрѣлся, откуда входятъ въ разсудокъ эти противорѣчія, то онъ увидѣлъ бы, что они выходятъ не изъ однихъ опытовъ надъ внѣшнимъ міромъ, которыми онъ хочетъ объяснить все, но также *откуда-то изнутри*, и что, тогда какъ противорѣчія, вносимыя въ разсудочный процессъ внѣшнимъ міромъ, легко примиряются, съ чѣмъ вмѣстѣ и разсудочный процессъ приостанавливается, — противорѣчія, входящія въ разсудочный процессъ *изнутри* человѣка, никогда не примиряются и безпрестанно поддерживаютъ дѣятельность этого процесса. Вотъ отчего, а не отъ одного только обладанія даромъ слова, разсудочный процессъ у человѣка не останавливается на первыхъ ступеняхъ своего развитія, какъ останавливается онъ у животныхъ.

Встрѣчая въ себѣ *противорѣчія*, сознаніе стремится или удалить ихъ, или разрѣшить, т. е. примирить. *Удалить* противорѣчія, не заниматься

¹⁾ The Senses and the Intellect, p. 583, 584.

²⁾ См. выше, гл. XXI.

ими, — не всегда во власти человека, а *примирения* часто бывают только кажущимися и временными и остаются лишь до тѣхъ поръ, пока человекъ не откроетъ противорѣчій въ собственныхъ своихъ примиреніяхъ, сравнивая ихъ съ другими понятіями или другими такими же примиреніями, сдѣланными имъ въ другой области мышленія. Тогда опять открывается противорѣчіе и опять является стремленіе примирить его, или прочно, т. е. изученіемъ фактовъ, или хотя временно — созданіями фантазіи. На этой особенноти разсудочнаго процесса въ человѣческомъ сознаніи основывается извѣстный діалектическій приѣмъ Гегеля, состоящій въ томъ, что мыслитель, подвергая анализу какой-нибудь предметъ, открываетъ въ понятіи его противорѣчіе, примиряетъ это противорѣчіе въ высшемъ понятіи, которое при анализѣ снова распадается на противорѣчія, и т. д. Этотъ приѣмъ не новъ: онъ употреблялся уже Сократомъ и Аристотелемъ. Гегель только поставилъ его на первое мѣсто въ философскомъ мышленіи. Мы можемъ отвергать выводы, которые Гегель добывалъ этимъ методомъ; мы можемъ находить, что Гегель злоупотреблялъ имъ, что противорѣчія, имъ находимыя, натянуты и лишены основанія, что примиреніе многихъ противорѣчій—только кажущееся; но самаго метода мы отвергнуть не можемъ, потому что онъ основанъ на коренной психической особенноти нашей. Теперь взглянемъ на самыя эти *противорѣчія*, вводимыя духомъ человека въ разсудочный процессъ.

Г Л А В А XLVII.

Противорѣчіе идеи причины и идеи свободы.

(469—474).

Животное также замѣчаетъ связь между явленіями и различаетъ въ нихъ причины и послѣдствія. Этимъ объясняются разсудочныя дѣйствія животныхъ, которыя, наученныя опытомъ, или отвращаютъ причины, или вызываютъ тѣ, послѣдствіями которыхъ желаютъ воспользоваться. Когда жизненная потребность животного чрезъ это удовлетворена, дальнѣйшее изслѣдованіе причинъ прекращается. Человекъ, напротивъ того, отыскиваетъ причину за причиною, *не встря въ безпричинности явленій*. Эта увѣренность въ причинности всѣхъ явленій, часто *противорѣчащая опыту*, является, конечно, уже не изъ опыта; она входитъ въ разсудочный процессъ откуда-то извнутри человѣческаго существа, т. е. изъ человѣческаго духа. Это противорѣчіе идеи причины нашему опыту благотѣльно дѣйствуетъ на развитіе разсудка и создаетъ науку, и уже затѣмъ, побочнымъ образомъ, улучшаетъ съ ея помощью матеріальный бытъ человека.

Но, не признавая безпричинности явленій, человекъ впадаетъ, повидимому, и въ другое противорѣчіе: онъ признаетъ въ себѣ са-

момъ свободу воли, т. е. явленія безъ причины. Никакія попытки нѣкоторыхъ ученыхъ (напримѣръ Гегеля и Бенеке, Милля и Вундта) доказать, что воля человѣка не свободна, не могутъ искоренить въ немъ это убѣжденіе въ собственной духовной свободѣ. Стремленіе натуралистовъ и статистиковъ объяснить всѣ психическіе акты и разума, и воли законами матеріи также приводитъ къ восточному *фатализму*. Если всякое дѣйствіе человѣка есть только правильное слѣдствіе прежде существовавшей причины, которая, въ свою очередь, есть только слѣдствіе предыдущихъ, дальнѣйшихъ, то мы неизбѣжно дойдемъ до положенія, что вся жизнь человѣка, всякая мысль его и всякій поступокъ уже опредѣлены до мельчайшей подробности даже *прежде его рожденія на свѣтъ*. Но при такомъ взглядѣ всякая отвѣтственность человѣка предъ своею совѣстью, передъ обществомъ и передъ закономъ будетъ однимъ лживымъ вымысломъ. Однако, сознаніе убѣждаетъ насъ въ противномъ. «Тотъ несомнѣнный фактъ, говоритъ Вундтъ, — что мы обладаемъ сознаніемъ свободы, дѣлаетъ невозможнымъ какой бы то ни было фатализмъ, принимая даже, что самое это сознаніе свободы будетъ признано включеннымъ въ общую связь причинности» (Thier und Menschen-Seele, S. 409), хотя тутъ же этотъ натуралистъ-психологъ впадаетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою, обнаруживая шаткость собственныхъ убѣжденій.

Какъ бы ни убѣждали насъ опыты и наблюденія въ безусловной причинности всѣхъ явленій внѣшняго міра, для человѣческихъ рѣшеній мы не можемъ въ каждомъ данномъ случаѣ указать ихъ безусловную причину: ни въ жизни, ни въ образованіи, ни въ обстоятельствахъ, ни, наконецъ, въ тѣлесномъ организмѣ. Оставаясь на психологической почвѣ, мы должны только признать, что въ душѣ человѣка обнаруживаются два великія убѣжденія, прямо противорѣчащія одно другому: *убѣжденіе въ общей причинности явленій и убѣжденіе въ свободѣ личной воли человѣка*. Одно изъ этихъ убѣжденій служитъ основаніемъ *наукъ*, другое — *практической дѣятельности* человѣка и человѣчества. Даже матеріалистическое ученіе нашего времени, отвергающее въ *теоріи* свободу воли въ человѣкѣ, требуетъ въ то же время неограниченной свободы для каждой личности въ жизни.

Г Л А В А XLVIII.

Противорѣчіе дуализма и монизма. (474—480).

Начиная мыслить, человѣкъ иногда отвергаетъ свидѣтельство собственного чувства о существованіи двухъ отдѣльныхъ міровъ — *духовнаго* и *матеріальнаго*, и, переступая границы опыта, стремится вывести или *матеріальный міръ изъ душевнаго* (идеализмъ), или *душевной изъ матеріальнаго* (матеріализмъ). Но это входитъ уже въ область *трансцендентальной философіи*, т. е. переступающей грань между матеріей и душой; психологія же, осно-

ванная на фактахъ и опытахъ, далека отъ подобныхъ крайностей. «Факты опыта, говоритъ Лотце, не даютъ намъ никакого права выводить различное (матерію и духъ) изъ одного и того же источника». «Можетъ быть эта противоположность между тѣлеснымъ и душевнымъ бытіемъ не есть что-нибудь окончательное и непримиримое; но наша жизнь совершается въ мірѣ, въ которомъ эта противоположность еще не разрѣшена, и, не разрѣшенная, лежитъ въ основѣ всѣхъ нашихъ мыслей и поступковъ. И насколько неизбежна она въ жизни, настолько же неизбежна и въ наукѣ» (Microkosmos. 1856. I. В., S. 161 и 182).

Хотя стремленіе науки преодолѣть дуализмъ тѣла и души, вывести оба эти міра изъ одного начала, было не бесполезно для движенія самой науки, однако въ практической дѣятельности, къ области которой принадлежитъ и *воспитаніе*, невозможно выходить изъ принциповъ только *искомыхъ*, но не *отысканныхъ*, и признавать стремленіе за самое исполненіе. Жизнь, съ которою имѣетъ дѣло воспитаніе, не укладывается ни въ какую одностороннюю теорію, и упрямый теоретикъ въ жизни есть самый непрактическій человѣкъ. Воспитатель долженъ смотрѣть на жизнь скорѣе съ той высоты, съ которой смотрѣли на нее величайшіе ея знатоки: Гомеръ, Тацитъ, Дантъ, Сервантесъ, Шекспиръ, Гёте, чѣмъ сквозь какую-нибудь теорію, самолюбиво мечтающую, будто ей удалось вывести изъ одного принципа всѣ явленія жизни, несмотря на ихъ противорѣчіе. Всѣ какъ бы законченныя теоріи прежняго времени (герелизмъ, вольтеріанизмъ, шеллингизмъ и т. под.) когда-то считались *окончательными*, были, такъ сказать, въ модѣ, и пали, смѣненные новыми, столь же несостоятельными. Знаніе ихъ полезно для насъ только потому, что показываетъ эту несостоятельность и спасаетъ насъ отъ односторонности и крайняго увлеченія. Знаменитый французскій фізіологъ Клодъ Бернаръ говоритъ, что эти преждевременныя и quasi-законченныя философскія системы необходимы намъ только какъ ступени, на которыхъ мы отдыхаемъ, чтобы идти далѣе въ изслѣдованіи. Въ основѣ воспитанія долженъ быть положенъ *опытъ*, и именно *историческій* опытъ, такъ какъ онъ можетъ удержатъ воспитателя отъ тѣхъ односторонностей, отъ которыхъ столько разъ избавляли воспитаніе не теоріи *разсудка*, но *практическій разумъ* человечества.

Дуализмъ нельзя причислить къ разряду теорій: это не теорія, а непосредственное чувство человѣка, подтверждаемое опытомъ, одна изъ тѣхъ скалъ, о которыя бьется человѣческое сознаніе, безуспѣшно стремящееся привести все къ философскому единству. Самое это стремленіе для психолога есть только интересный *психологическій фактъ*, и болѣе ничего. Въ дѣлѣ воспитанія надо отпираться отъ фактовъ и опыта, опираясь на то, что есть, а не на то, что было бы лишь желательнымъ видѣть. Вотъ почему дуалистическое возрѣніе на человѣка надо признать единственно возможнымъ и полезнымъ для педагога, потому что оно идетъ изъ всеобъемлющей жизни, а не изъ одностороннихъ теорій науки. Дуализмъ оставляетъ нерѣшен-

нымъ вопросъ о *средствахъ* воздѣйствія души на тѣло и тѣла на душу; но вопросъ этотъ не рѣшенъ и монизмомъ—будетъ ли духъ или матерія признаны за единое начало въ природѣ. «Странно, замѣтилъ еще Руссо, что въ неистижимости соединенія двухъ субстанцій видятъ причину *смѣшать* обѣ субстанціи, какъ будто столь разнообразныя процессы природы изъясняются лучше въ одной субстанціи, чѣмъ въ двухъ» (Emile, p. 305). Итакъ, «монизмъ, какъ и вѣра въ причинность—основа науки; дуализмъ, какъ и вѣра въ личную свободу человека, — основа всякой практической дѣятельности, а слѣдовательно и воспитанія.

Г Л А В А XLIX.

Разсудокъ и разумъ.

Великія противорѣчія, на которыя мы указали въ прошедшихъ главахъ, вносимыя духомъ въ разсудочный процессъ сознанія, сообщали и до сихъ поръ сообщаютъ ему неустанную энергію въ его движеніи впередъ и впередъ. Къ чему стремится это вѣчное примиреніе непримиряющихся противорѣчій и вѣчное нахожденіе новыхъ противорѣчій въ томъ, что казалось примиреннымъ,—этого мы не знаемъ. Цѣль эта лежитъ внѣ человѣческой жизни и внѣ человѣческаго сознанія. Мы можемъ только констатировать фактъ такого психическаго явленія, описать его, показать результаты; но угадываніе его цѣли переходитъ уже въ область вѣры. Несомнѣнно только то, что, достигая этой невѣдомой цѣли, лежащей внѣ нашего временнаго существованія, мы достигаемъ множества побочныхъ цѣлей: наука наша идетъ впередъ, матеріальный бытъ улучшается, общественный совершенствуется, человѣкъ развивается и умственно, и нравственно. Вотъ психологическая основа глубокаго евангельскаго изреченія: «ищите прежде всего царствія Божія, а все остальное приложится вамъ». Изреченіе это можетъ быть отнесено не только къ апостоламъ, которымъ оно было сказано, не только къ каждому отдѣльному человѣку въ его отдѣльной жизни, но и ко всему человѣчеству въ его историческомъ развитіи. Стремясь къ невѣдомой цѣли, и именно потому, что оно стремится къ этой невѣдомой цѣли, и настолько, насколько стремится къ ней, достигаетъ человѣчество по пути множества временныхъ цѣлей, обогащающихъ его разсудокъ, улучшающихъ его бытъ, совершенствующихъ его умственно и нравственно.

Однакоже, противу этого вѣчнаго движенія впередъ и впередъ къ невѣдомой цѣли часто возмущается животная природа человека. Тогда разсудокъ отказывается слѣдовать за таинственными указаніями духа, который, не щадя ни нашего самолюбія, ни нашей нетерпѣливости, говоритъ намъ

только, что мы на пути, не говоря даже, близка или далека цѣль. Это вѣчное, обидное для самолюбія, сознаніе, что мы еще не тамъ, гдѣ должны бы быть, нерѣдко заставляетъ человѣка отказываться отъ дальнѣйшаго движенія, останавливаться на станціи и располагаться на ней, какъ дома. Животная природа человѣка возмущается, *разсудокъ* вступаетъ въ права *разума*, хочетъ привести весь матеріаль разсудочнаго процесса въ полную ясность, *выбросить* изъ него всѣ противорѣчія, которыхъ не можетъ разрѣшить, или спѣшить фантазіями, а не фактами объяснить необъяснимое, свести все въ простыя положенія разсудка, разстаться, наконецъ, съ этими мучительными, вѣчными противорѣчіями и сомнѣніями, и сдѣлать свою теорію неизмѣннымъ принципомъ практической жизни. Но что же выходить изъ такой рѣшимости? Временныя всеобъясняющія теоріи, которыя въ данный моментъ, кажется, удовлетворяютъ всѣхъ, но въ слѣдующій же рушатся, оставляя пустоту въ душѣ, которую человѣкъ спѣшитъ наполнить новой теоріей, а жизнь идетъ все впередъ, колеблемая, но не сбиваемая съ пути временными увлеченіями разсудка. Наука руководится *разсудкомъ*; но жизнь руководится *разумомъ*, для котораго наука только средство, а не цѣль жизни.

Сущность сознанія и, слѣдовательно, разсудочнаго процесса состоитъ въ уничтоженіи безпрестанно вкрадывающихся въ него противорѣчій; но не такова сущность разума который сознаетъ эти противорѣчія и вмѣстѣ съ тѣмъ видитъ неизбежность ихъ. Разсудокъ есть процессъ сознанія, а разумъ—сознаніе самаго этого процесса или, вѣрнѣе, самосознаніе разсудка. Разсудокъ есть совокупность фактовъ, пріобрѣтенныхъ сознаніемъ изъ опытовъ и наблюденій надъ внѣшнимъ міромъ. Въ разумъ къ этому содержанію разсудка присоединяются еще наблюденія и опыты, которые сдѣлало сознаніе надъ собственнымъ своимъ процессомъ въ различныхъ областяхъ разсудочной дѣятельности—въ исторіи философскихъ и политическихъ системъ, въ исторіи цивилизаціи, въ исторіи религіи, въ исторіи самой науки, сводя всякую исторію и исторію вообще къ спокойному психическому анализу. Но изъ этого, конечно, не слѣдуетъ заключать, что разумомъ обладаютъ только психологи, историки и философы *ex officio*. Всякій мыслящій человѣкъ непремѣнно историкъ, философъ и психологъ; всякій дѣлаетъ наблюденія надъ собственнымъ развитіемъ, надъ своими психическими процессами; всякій дѣлаетъ опыты въ психической сферѣ и выводы изъ этихъ опытовъ.

Разсудокъ есть плодъ *сознанія*; разумъ—плодъ *самосознанія*; сознаніемъ обладаютъ и животныя, но самосознаніемъ обладаетъ только человѣкъ. Вотъ почему анализъ разума намъ предстоитъ еще сдѣлать тогда, когда мы будемъ заниматься духовными особенностями человѣка; теперь же мы еще въ сферѣ его животной жизни, изъ которой насъ безпрестанно увле-

каютъ впередъ тѣ измѣненія, которыя сдѣланы въ этой жизни духовными особенностями человѣка. Измѣненія же эти такъ велики, что только внимательный анализъ открываетъ въ животныхъ процессахъ, совершающихся въ человѣкѣ, сходство съ тѣми же процессами, совершающимися въ животныхъ: духъ передѣлываетъ на свой ладъ даже животный организмъ человѣка.

Въ теоріи можно еще жить однимъ *разсудкомъ*; но высшая практическая дѣятельность требуетъ всего человѣка, и слѣдовательно требуетъ руководства *разума*. Это замѣчаніе, приложимое ко всей общественной, исторической дѣятельности человѣка, съ особенной силой относится къ дѣятельности *воспитательной*.

Воспитатель—не ученый, не специалистъ въ наукѣ, не человѣкъ умозрѣній, а *практикъ*, и потому-то его намѣреніями и его дѣйствіями должны руководить не одностороннія увлеченія *разсудка*, стремящагося удалить противорѣчія и бросающаго временный мостъ изъ гипотезы тамъ, гдѣ еще нѣтъ перехода,—а всестороннее пониманіе *разума*, который видитъ современные *предѣлы знанія*. Этимъ-то спокойнымъ разумомъ прежде всего долженъ обладать тотъ *зрѣлый* человѣкъ, который беретъ на себя воспитаніе *незрѣлыхъ* поколѣній. Если специалистъ-естествоиспытатель стремится объяснить всѣ психическіе процессы изъ физическихъ и химическихъ явленій, то это увлеченіе можетъ принести полезные плоды; если метафизикъ стремится объяснить все изъ субъективной идеи, то онъ, можетъ быть, подарить міръ нѣсколькими великими мыслями; если специалистъ-историкъ или статистикъ подводитъ все подъ какой-нибудь одинъ законъ, положимъ, хоть подъ законъ вліянія природы на человѣка, то въ своей односторонности онъ можетъ подвинуть науку впередъ, расширить область человѣческихъ знаній. Но если *воспитатель* увлечется какими-нибудь изъ этихъ одностороннихъ стремленій, то кромѣ вреда онъ ничего не принесетъ своимъ воспитанникамъ, которыхъ онъ готовитъ не для спеціальной науки, а для всеобнимающей жизни. Въ практической жизни русская пословица—«умъ безъ разума бѣда» имѣетъ большое значеніе, а особенно въ дѣлѣ воспитанія. Изъ этого уже видно, какъ противорѣчатъ сами себѣ тѣ, которые въ одно и то же время вооружаются противъ различныхъ увлеченій въ школахъ и противъ спеціальнаго приготовленія воспитателей къ своему дѣлу, полагая, что каждому учителю достаточно быть хорошимъ специалистомъ въ своемъ предметѣ ¹⁾. Пояснимъ это отношеніе воспитателя къ наукѣ примѣромъ, взятымъ изъ самыхъ современныхъ вопросовъ.

¹⁾ Милль и Контъ совершенно справедливо видятъ большое зло въ «разрозненной спеціальности» современныхъ ученыхъ (Дж. Ст. Милль. О. Контъ. Ст. 86); но нигдѣ это зло не приноситъ такого вреда, какъ въ воспитаніи.

Самое характеристическое явленіе науки двухъ послѣднихъ десятилѣтій есть необычайное усиленіе и распространеніе естествознанія; а вмѣстѣ съ тѣмъ и промышленная дѣятельность народовъ расширилась и приобрѣла такое значеніе, какого не имѣла никогда. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на этотъ фактъ, но не признать его никто не можетъ, и во всякомъ случаѣ жизнь человѣчества сдѣлаетъ безспорный прогрессъ, если ею будетъ руководить болѣе промышленный и торговый расчетъ, чѣмъ властолюбіе, слѣпой фанатизмъ, національная гордость и ненависть. Однако разумный воспитатель не увлечется этимъ движеніемъ времени. Зная человѣческую природу, понимая хорошо, что удовлетвореніе матеріальныхъ потребностей не есть еще удовлетвореніе *всѣхъ* потребностей человѣка; что человѣкъ живетъ не для того, чтобы ѣсть и одѣваться, но для того одѣвается и ѣсть, чтобы жить,—воспитатель не оставитъ неразвитыми высшихъ душевныхъ и духовныхъ потребностей человѣка и сдѣлаетъ девизомъ своей воспитательной дѣятельности слова Спасителя: *не о хлѣбѣ единомъ живѣ будещи*. Но если воспитатель останется глухъ и нѣмъ къ законнымъ требованіямъ времени, то самъ лишитъ свою школу жизненной силы, самъ добровольно откажется отъ того законнаго вліянія на жизнь, которое принадлежитъ ему, и не выполнитъ своего долга: не приготовитъ новаго поколѣнія для жизни, а оставитъ ей, во всей ея пестротѣ, неурядицѣ и часто безобразіи, *довоспитывать* воспитанниковъ его несвоевременной школы. Школѣ не опрокинуть жизни, но жизнь легко опрокидываетъ дѣятельность школы, которая становится поперекъ ея пути. Школа, противящаяся жизни, сама виновата, если не внесетъ въ нее тѣхъ благодѣтельныхъ умѣряющихъ вліяній, которыя можетъ и обязана внести, тѣхъ *разумныхъ* элементовъ, подъ сѣнію которыхъ должны обезпечиваться отъ ѣдкой остроты жизни и ея безпрестанныхъ временныхъ увлеченій—какъ нѣжное, беззащитное дѣтство, такъ и неокрѣпшая еще пылкая юность.

Успѣхи естественныхъ наукъ, характеризующіе наше столѣтіе, идутъ не только въ ширь, но и въ глубь. Число знаній человѣка о природѣ не только увеличилось въ громаднхъ размѣрахъ, но и сами эти знанія все болѣе и болѣе приобретаютъ *научную* форму, способную развить человѣка умственно не менѣе, а можетъ быть и болѣе, чѣмъ прежніе пріемы и методы такъ называемаго формальнаго развитія. Неужели же школа останется какъ бы не знающею о такой реформѣ въ наукѣ и жизни и будетъ идти своимъ прежнимъ устарѣлымъ ходомъ, забывая, что то, что было современнымъ и полезнымъ, можетъ сдѣлаться несвоевременнымъ, неполезнымъ, а потому и вреднымъ? Если бы европейская школа шестнадцатаго столѣтія осталась и глуха и нѣма къ реформамъ, совершавшимся тогда въ жизни, и къ возобновленію науки изъ классическихъ источни-

ковъ, то хорошо ли бы она сдѣлала? Почему же будетъ хорошо, если современная школа ничѣмъ не отзовется на глубокую реформу, совершающуюся теперь въ той же жизни и въ той же европейской наукѣ?

Реформа эта, какъ всякая глубокая умственная и моральная реформа, не могла совершиться безъ борьбы, а борьба не могла не сопровождаться увлеченіями всякаго рода и наполнила этими увлеченіями и головы, и книги, перемѣшивая полезное съ вреднымъ и истинное съ ложнымъ. Неужели же воспитатель выполнить свое дѣло, только отвернувшись отъ той самой жизни, для которой долженъ приготовить своихъ воспитанниковъ? Но точно такъ же не выполнить онъ своей обязанности и тогда, если будетъ безъ разбора вносить въ свою школу все, что покажется ему поновѣе и позанимательнѣе. Въ первомъ случаѣ, онъ сдѣлаетъ школу учрежденіемъ безсильнымъ и бесполезнымъ, а во второмъ—совершенно разрушить ее. Мы же думаемъ, что истинный воспитатель долженъ быть посредникомъ между школою, съ одной стороны, и жизнью и наукой съ другой; онъ долженъ вносить въ школу только дѣйствительныя и полезныя знанія, добытыя наукою, оставляя внѣ школы всѣ увлеченія, неизбежныя при процессѣ добыванія знаній. Онъ долженъ выводить изъ школы въ жизнь новыя поколѣнія, неиспорченныя, неизмятыя мѣняющимися увлеченіями жизни, но вполне готовые къ борьбѣ, которая ихъ ожидаетъ. Напрасно бы надѣялся воспитатель на силу одного *формальнаго* развитія. Психическій анализъ показываетъ ясно, что *формальное развитіе разсудка*, въ томъ видѣ, какъ его прежде понимали, есть *несуществующій призракъ*, что разсудокъ развивается только въ дѣйствительныхъ реальныхъ знаніяхъ, что его нельзя *наломать*, какъ какую-нибудь стальную пружину, и что самый умъ есть не что иное, какъ хорошо организованное знаніе. Но если, съ другой стороны, внести въ школу естествознаніе со всѣми увлеченіями, которыми сопровождалось его порывы впередъ, со всѣми безобразными фантазіями и преувеличенными надеждами, словомъ—внести въ школу не зрѣлую мысль, а самую борьбу мысли во всемъ ея случайномъ безобразіи, то это значитъ разрушить школу и оставить беззащитныхъ дѣтей среди поля, гдѣ кипитъ битва взрослыхъ людей со всѣми ея отвратительными случайностями. И не можетъ ли случиться (да и не случалось ли уже иногда?), что какое-нибудь увлеченіе, которое наставникъ поспѣшилъ внести въ школу, отживетъ свой вѣкъ даже въ умѣ самого наставника прежде, чѣмъ дѣти, которымъ онъ передалъ его, окончатъ курсъ ученія? Не должна ли тогда совѣсть глубоко упрекнуть наставника за такой необдуманый образъ дѣйствія? Если тотъ, кто вноситъ свои мысли въ печать, обязывается обдумывать ихъ, то во сколько разъ усиливается эта обязанность для того, кто вносить свои идеи и стремленія въ открытыя и впечатлительныя души дѣтей!

Многіе боятся *естествознанія*, какъ проводника матеріалистическихъ убѣжденій; но это только слабодушное недовѣріе къ истинѣ и ея источнику—Творцу природы и души человѣческой. *Истина не можетъ быть вредна: это одно изъ самыхъ святыхъ убѣжденій человека*, и воспитатель, въ которомъ поколебалось это убѣжденіе, долженъ оставить дѣло воспитанія— онъ его недостойнъ. Языческій бытъ обманываетъ, хитритъ, притворяется, потому что онъ самъ—созданіе человѣческаго воображенія; христіанскій Богъ—сама Истина. Пусть воспитатель заботится только о томъ, чтобы *не давать дѣтямъ ничего, кромѣ истины*, конечно, выбирая между истинами тѣ, которыя соотвѣтствуютъ данному возрасту воспитанника, и пусть будетъ спокоенъ насчетъ ея нравственныхъ и практическихъ результатовъ; пусть воспитатель, *соблюдая только законъ своевременности*, смѣло вводитъ воспитанника въ дѣйствительные факты жизни, души и природы, вездѣ указывая предѣлъ человѣческаго знанія, никогда не прикрывая незнанія ложными мостами, и можетъ быть увѣренъ, что ни знаніе души, ни знаніе природы, какими они являются намъ въ фактахъ, а не въ созданіяхъ самолюбія теоретиковъ, не извратятъ нравственности воспитанника, не сдѣлаютъ его ни матеріалистомъ, ни идеалистомъ, не раздуютъ безъ мѣры его самолюбія, не поколеблютъ въ немъ благоговѣнія къ Творцу вселенной. Напротивъ, мы думаемъ, что воспитаніе не выполнитъ своей нравственной обязанности, если не очиститъ сокровищъ, добытыхъ естествознаніемъ, отъ всей ложной шелухи, остатковъ процесса ихъ добыванія, и не внесетъ этихъ сокровищъ въ массу общихъ знаній каждаго человека, имѣющаго счастье употребить свою молодость на пріобрѣтеніе знаній. Наука дѣлаетъ свое дѣло: она добыла много сокровищъ знанія и продолжаетъ ихъ добывать, не заботясь о томъ, какъ и въ какомъ видѣ входятъ они въ массу общихъ свѣдѣній человѣчества. Эта обязанность лежитъ на воспитаніи, въ обширномъ смыслѣ этого слова, а не на различныхъ спекуляторахъ, рассчитывающихъ именно на тѣ временныя увлеченія въ наукѣ, которыя должны быть выброшены.

Пока сокровища естествознанія будутъ принадлежностью однихъ специалистовъ, до тѣхъ поръ въ нихъ будетъ существовать тотъ скрытый ядъ, котораго нынѣ боятся; ядъ этотъ есть не болѣе, какъ плѣсень, которая завелась въ душномъ воздухѣ запертыхъ лабораторій науки, и исчезнетъ, когда эти знанія перейдутъ въ общее обладаніе. Не свѣтъ открытаго дня, а мракъ таинственности вреденъ. Молодой человекъ, голова котораго съ дѣтства не привыкла работать надъ явленіями и предметами природы, естественно смотритъ на нихъ, какъ на что-то новое, таинственное, и ждетъ отъ нихъ гораздо болѣе того, чѣмъ они могутъ дать; пріучите его съ дѣтства обращаться съ идеями естествознанія, и онъ, потерявъ для него всю

свою таинственность, теряют и все вредное дѣйствіе. Но, конечно, для этого необходимо, чтобы науки психическія шли рядомъ съ науками природы, чтобы человѣкъ еще въ дѣтствѣ привыкъ соединять всегда эти два порядка идей и знать, что одинъ такъ же необходимъ, какъ и другой. Школа должна внести въ жизнь основныя знанія, добытыя естественными науками, сдѣлать ихъ столь же обыкновенными, какъ знанія грамматики, ариметики или исторіи, и тогда основные законы явленій природы улягутся въ умъ человѣка вмѣстѣ со всѣми прочими законами, тогда какъ теперь они именно по новості своей вызываютъ несбыточныя ожиданія и сулятъ удовлетвореніе тѣмъ духовнымъ требованіямъ, которымъ удовлетворить не могутъ. Это психическій законъ, открытый Гербартомъ, что всякая новая мысль возмущаетъ всѣ прежніе ряды мыслей, пока не примѣряется къ каждой изъ нихъ и не составитъ съ ними прочныхъ и спокойныхъ сочетаній, вереницъ, группъ и сѣтей.

Если же школа запретъ отъ естествознанія, то она будетъ сама содѣйствовать распространенію матеріализма, потому что знанія естественныхъ наукъ носятъ пынь въ воздухѣ; но въ какомъ видѣ! Не согрѣшитъ ли школа передъ юнымъ поколѣніемъ, не оградивъ его истиннымъ знаніемъ отъ этихъ уродливыхъ смѣшеній лжи и истины? Кто же будетъ виноватъ, если молодые люди, употребившіе свою молодость единственно на изученіе того, что дѣлалось и думалось за двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, будутъ потомъ съ благоговѣніемъ слушать шарлатана или фанатика, рассказывающаго имъ, какъ онъ подсмотрѣлъ тайны душевныхъ явленій въ волокнахъ мозга? Не стѣсненіями и запрещеніями, а только истинными знаніями можно оградить человѣка отъ знаній ложныхъ, отъ безобразныхъ восточныхъ и языческихъ фантазій въ одеждѣ европейскаго знанія.

Но если такова обязанность воспитанія, если оно должно, съ одной стороны, зорко слѣдить за тѣмъ, что совершается въ жизни и наукѣ, а съ другой—не увлекаться тѣми увлеченіями, которыя свойственны и жизни и наукѣ, и вносить изъ нихъ въ школу лишь то, что составляетъ дѣйствительное приобрѣтеніе человѣчества; оставляя за порогомъ ея всѣ временныя увлеченія, то уже изъ этого видно, какой зрѣлости требуетъ отъ человѣка дѣло воспитанія. Для этого дѣла уже недостаточно одного *теоретическаго разсудка*, увлекающагося собственнымъ своимъ процессомъ, а необходимъ спокойный *практическій разумъ*, сознающій самыя разсудочныя процессы въ ихъ неизбѣжной односторонности. Такая же зрѣлость разума можетъ быть почерпнута только изъ изученія человѣческой природы въ ея вѣчныхъ основахъ, въ ея современномъ состояніи и въ ея историческомъ развитіи, что и составляетъ главную основу педагогики, или искусства воспитанія въ обширномъ смыслѣ этого слова.

Г Л А В А I.

Что же такое сознание?

(Выводы и терминологія).

Мы видѣли сознание въ различныхъ актахъ его дѣятельности: во вниманіи, въ воспоминаніи, въ процессѣ воображенія и, наконецъ, въ разсудочномъ процессѣ. Можемъ ли мы теперь сколько-нибудь опредѣлительно сказать, что же такое сознание? Кантъ по этому вопросу говоритъ слѣдующее: «Подъ этимъ я, или онъ, или то (вещь), что думаетъ, не представляется ничего болѣе, какъ трансцендентальный субъектъ мыслей, равный *иксу*, который узнается только мыслями, составляющими его же сказуемая, и о которомъ отдѣльно мы не можемъ имѣть ни малѣйшаго понятія; около котораго потому мы постоянно кружимся, такъ какъ мы должны уже пользоваться представленіемъ его всякій разъ, когда хотимъ что-нибудь о немъ сказать» ¹⁾. Другими словами, будучи сами сознаниемъ и зная о сознаниі только въ самихъ себѣ, мы не можемъ выйти изъ сознаниа, чтобы взглянуть на него, какъ на объектъ, точно такъ же, какъ глядящій глазъ не можетъ видѣть самъ себя иначе, какъ въ зеркалѣ или въ другомъ отражающемъ предметѣ. Но нѣтъ ли такого зеркала и для нашего сознаниа? Не можемъ ли мы узнать сознание, если не прямо, то хотя въ его отраженіи? Такимъ отраженіемъ для сознаниа является его дѣятельность, и въ ней-то мы старались познакомиться съ сознаниемъ. Но кто же поручится, что это зеркало отражаетъ вѣрно? Собственное сознание каждаго; вотъ почему мы всѣ и признавали безапелляціоннымъ судьей собственное сознание читателя.

Не будучи въ состояніи сказать, что такое сознание само по себѣ, какъ объектъ, мы однакоже можемъ сказать, *чѣмъ оно не можетъ быть*, потому что всякое понятіе наше есть наше собственное созданіе, и если мы даемъ себѣ ясный отчетъ въ нашихъ понятіяхъ, то о всякомъ изъ нихъ можемъ сказать, можетъ ли оно или нѣтъ означать то, чѣмъ является сознание въ своей дѣятельности.

Наше понятіе о *самостоятельномъ существѣ* таково, что мы не можемъ назвать сознаниа *самостоятельнымъ существомъ*, а только *свойствомъ* другого самостоятельнаго существа. Всякое самостоятельное существо, субстанція, насколько мы ее понимаемъ, не можетъ начинаться и прекращаться; а сознание наше начинается и прекращается, и опять начинается. Предполагать, какъ Декартъ, что человекъ всегда думаетъ или сознаетъ, мы не имѣемъ никакого права, ибо не можемъ ничѣмъ убѣ-

¹⁾ Kritik der reinen Vernunft, ed. Hartenst. J. 1853. S. 298.

даться, что думаемъ во время глубокаго сна или обмороковъ, и скорѣе должны предположить, что сознание можетъ прекращаться и начинаться, а слѣдовательно есть свойство самостоятельнаго существа, и свойство это можетъ обнаруживаться и переставать обнаруживаться, смотря по тому, вызывается ли оно чѣмъ-нибудь или нѣтъ.

Видя въ сознаниі *свойство*, мы не можемъ приписать этого свойства ничему *матеріальному*:

во-первыхъ, потому, что самое понятіе о матеріи есть не что иное, какъ понятіе о существѣ, составляющемъ предметъ сознанія, но чуждомъ для него;

во-вторыхъ, мы не можемъ приписать сознанія ничему матеріальному потому, что самый существенный актъ сознанія—сличеніе, различеніе и сравненіе, актъ, лежащій въ основѣ всѣхъ сознательныхъ психическихъ процессовъ,—не можетъ быть выполняемъ ничѣмъ матеріальнымъ, поскольку мы знаемъ матерію;

въ-третьихъ, во всѣхъ процессахъ сознанія, которые мы только подвергали анализу, мы видѣли совершенную необходимость признать участіе въ нихъ не одного, а двухъ агентовъ. Однимъ изъ этихъ агентовъ является нервная система; другимъ должно являться нѣчто другое, чему принадлежитъ способность сознанія, и это нѣчто другое мы называемъ *душою*.

Сознание, слѣдовательно, есть одна изъ душевныхъ способностей. Можетъ ли эта душевная способность появляться внѣ нервного организма—этого мы не знаемъ; но во всѣхъ душевныхъ процессахъ, которые были нами анализированы, мы видѣли, что сознание пробуждается въ душѣ только при воздѣйствіи на нее нервного организма, или при воздѣйствіи души на нервный организмъ.

Воздѣйствіе нервного организма на душу, которымъ вызывается въ ней сознание, мы не можемъ представить себѣ иначе, какъ въ формѣ движенія частицъ, составляющихъ мозгъ и нервы; но душа не сознаетъ этихъ движеній, а прямо отзывается на нихъ разнообразнѣйшими актами сознанія, которые мы называемъ разнообразными *ощущеніями*. Мы не можемъ сознавать ничего, идущаго изъ внѣшней для насъ природы, помимо нашей нервной системы. Только то, что способно возбудить въ ней своеобразныя движенія, можетъ быть сознаваемо нами.

Однакоже не всякое *впечатлѣніе* внѣшняго міра на нашу нервную систему превращается душою въ *ощущеніе*. Множество впечатлѣній, испытываемыхъ нервнымъ организмомъ, проходятъ незамѣченными душою, хотя могутъ оказать сильнѣйшее вліяніе на состояніе нашего тѣла.

Впечатлѣніе, выполнившее всѣ физическія условія, чтобы сдѣлаться *ощущеніемъ*, дѣлается имъ тогда только, когда на него будетъ обращено *вниманіе*.

Разбирая *процессъ вниманія*, мы замѣтили, что оно есть не что иное, какъ большая или меньшая сосредоточенность души въ процессѣ или душевнаго чувства, или воли, или сознанія. Причинъ сосредоточенности души въ сознаніи мы нашли два рода, и по различію этихъ причинъ самое вниманіе раздѣлили на *пассивное* и *активное*.

Вникая далѣе въ *процессъ сознанія*, мы замѣтили существенное, необходимое условіе, безъ котораго этотъ процессъ не можетъ быть начатъ. Это условіе состоитъ въ томъ, что для того, чтобы сознать, душа наша должна получить возможность *сличать* и *различать*, т. е. *сравнивать*, такъ что сознаніе само есть не что иное, какъ душевный актъ сличенія, различенія, или, просто, актъ сравненія двухъ или нѣсколькихъ впечатлѣній. Гдѣ душа не имѣетъ возможности сличать, различать и сравнивать, тамъ она не начинаетъ или перестаетъ сознать.

Не будучи въ состояніи объяснить этого основного акта души, мы можемъ только поставить гипотезу, что, вѣроятно, душа наша выводится изъ своего нормальнаго состоянія и единичными впечатлѣніями, идущими изъ нервной системы, но начинаетъ сознать эти впечатлѣнія тогда только, когда ихъ два и болѣе, и когда по тому самому душа можетъ уловить *отношеніе* между ними. Душа наша сознаетъ не самыя впечатлѣнія, не самыя движенія нервовъ, которыя она испытываетъ, но о которыхъ ничего не знаетъ: она сознаетъ только отношеніе между нервными движеніями.

Впечатлѣнія, связанныя душою въ одну *ассоціацію*, въ одно *сочетаніе*, оставляютъ въ нервахъ свой слѣдъ въ гипотетической формѣ *привычки*. Что такое привычка нервовъ сама по себѣ,—мы этого не знаемъ; но множество явленій убѣждаютъ насъ въ существованіи безчисленнаго множества нервныхъ привычекъ. Въ соотвѣтствіи съ привычкою нервовъ, въ душѣ нашей тоже остается слѣдъ пережитаго ею впечатлѣнія, и этотъ слѣдъ мы назвали *идею*. Какъ привычки, такъ и идеи, или вообще *слѣды сочетаній*, могутъ оставаться въ насъ отдѣльно или связываться между собою *вереницами*, *группами*, *стыями сочетаній*.

Въ какой формѣ существуютъ идеи въ душѣ,—мы этого не знаемъ, точно такъ же, какъ не знаемъ, въ какой формѣ существуютъ привычки въ нервной системѣ; но къ признанію существованія какъ тѣхъ, такъ и другихъ мы были вынуждены нашими психическими и психо-физическими анализами, которые привели насъ къ признанію *привычекъ* и *идей*, какъ двухъ *гипотетическихъ причинъ* множества несомнѣнныхъ явленій.

Сочетаніе движеній, перешедшее въ *привычку*, пробудившись въ нервномъ организмѣ по какой-нибудь независящей отъ души причинѣ, вызываетъ въ душѣ *идею* этого сочетанія, т. е. повтореніе сознаніемъ того от-

ношенія, по которому завязалось данное сочетаніе. Это мы назвали актомъ *невольнаго воспоминанія*.

Кромѣ этого невольнаго воспоминанія, мы не могли не замѣтить *воспоминанія произвольнаго*, и объяснили этотъ актъ тѣмъ, что душа наша, пришедшая какимъ-нибудь процессомъ къ повторенію въ себѣ того отношенія, которое уже разъ или нѣсколько разъ въ ней было и сохранялось въ ней въ видѣ душевнаго слѣда или идеи, стремится воплотить эту идею въ тѣ самыя нервныя сочетанія, которыми она была вызвана въ душѣ. Это намъ не всегда удается и сопровождается иногда такимъ замѣтнымъ усиленіемъ, что каждый изъ насъ легко можетъ изучить на себѣ этотъ актъ произвольнаго воспоминанія.

Мы не объясняли тѣхъ процессовъ, которыми душа сама можетъ дойти до возстановленія въ себѣ идей, не объясняли именно потому, что считаемъ эту способность принадлежностью одной только души человѣческой, а для изученія этихъ, чисто человѣческихъ, духовныхъ способностей назначена нами третья часть нашей антропологии. Здѣсь же мы можемъ наметить только, что по отношенію къ душѣ душевные слѣды или идеи пережитыхъ ею ощущеній могутъ быть двоякаго рода: однѣ вносятся, такъ сказать, въ самую *суть* души, составляютъ ступень въ исторіи ея развитія, удовлетворяя или противорѣча ея врожденнымъ требованіямъ; другія же сохраняются въ ней, какъ нѣчто постороннее и отрывочное. Къ возстановленію идей перваго рода душа можетъ прійти сама съ пробужденіемъ въ ней тѣхъ требованій, которымъ эти идеи удовлетворяютъ, или которымъ они противорѣчатъ. Къ идеямъ втораго рода душа сама прійти не можетъ, и онѣ всегда вызываются въ ней или непосредственно внѣшними впечатлѣніями, или тѣми же внѣшними впечатлѣніями, но черезъ посредство ассоціацій цѣлаго ряда нервныхъ привычекъ.

Мы замѣтили за сознаниемъ стремленіе все соединять, во всемъ находить отношеніе, и замѣтили также полную невозможность для души добровольно идти въ процессъ сознанія въ разныя стороны. Мы замѣтили, что душа всегда имѣетъ только одно стремленіе—соединять; но что этому стремленію противодѣйствуютъ впечатлѣнія внѣшняго міра, которыя, происходя во множествѣ одновременно, стремятся увлечь сознаніе въ разныя стороны—*развлекъ его, разстѣять вниманіе*. *Насколько душа преодолеваетъ это развлекающее противодѣйствіе нервной системы, настолько она и сознаетъ*. Преодоленіе же это зависитъ отъ двухъ причинъ: или отъ произвола души, или отъ того, что одно впечатлѣніе преодолеваетъ другія, ему современныя, собственною своею относительною силою.

Изучая дѣятельность сознанія въ процессѣ воображенія, мы замѣтили также и здѣсь борьбу двухъ агентовъ, и потому самый этотъ процессъ

раздѣлили на *воображеніе пассивное* и *воображеніе активное*, показавъ, какъ они безпрестанно перемѣшиваются между собою.

Процессъ *пассивнаго воображенія*, или передвиженіе сочетаній нервныхъ привычекъ въ сознаніи души, мы объяснили органическою жизнью нервной системы, наблюдая тѣ явленія, въ которыхъ ясно выражается вліяніе состояній этой системы на наше воображеніе. При этомъ случаѣ мы замѣтили, что попытки подвести эти волненія нервной системы подъ математическіе законы волненій, если не окончились полною удачею, то обѣщаютъ много въ будущемъ.

Въ процессѣ *активнаго воображенія* мы изучили, какъ душа оказываетъ правильное вліяніе на передвиженіе представленій, и нашли, что средство, употребляемое для этого душою, состоитъ въ сосредоточеніи вниманія на томъ или другомъ изъ составныхъ членовъ представленія, а самая эта сосредоточенность вниманія, или, лучше сказать, сосредоточенность души въ процессѣ сознанія, зависитъ опять же отъ произвола души. Мы изучили также борьбу этого произвола души съ вліяніемъ нервной системы, и нашли, что многое въ умѣ и даже нравственности человѣка зависитъ отъ того, побѣждаетъ ли душа или нервная система въ этой борьбѣ.

Перейдя затѣмъ къ *разсудочному процессу*, мы замѣтили, что и въ немъ дѣйствуетъ та же сознающая душа и по тѣмъ же самымъ законамъ сознанія, что душа и въ разсудочномъ процессѣ только сличаетъ, различаетъ, сравниваетъ и выражаетъ результатъ своихъ сравненій въ новыхъ сочетаніяхъ—впечатлѣній въ представленія, представленій въ понятія, понятій тѣсныхъ въ понятія болѣе обширныя и понятій обширныхъ въ цѣлыя системы понятій, выражающихся въ формѣ наукъ.

Наблюдая разсудочный процессъ, ясно видно, что онъ, подобно предшествующимъ, можетъ совершаться *или по нашей волѣ, или независимо отъ нея*. Въ первомъ случаѣ мы съ усиліемъ, весьма замѣтнымъ, ищемъ сходствъ и различій, ищемъ возможности образовать тѣ или другія сочетанія представленій или понятій. Во второмъ случаѣ разсудочныя ассоціаціи возникаютъ сами собою, при случайномъ (случайномъ для нашей воли) столкновеніи ощущеній, представленій или понятій въ нашемъ сознаніи. Иногда мы рѣзко замѣчаемъ, что разсудочныя ассоціаціи возникаютъ въ насъ не только не по нашей волѣ, но даже противъ нашей воли, и нерѣдко очень непріятно насъ поражаютъ: мы часто не хотѣли бы видѣть выводовъ нашего разсудка, но не можемъ ихъ не видѣть.

Результатъ разсудочнаго процесса, какъ произвольнаго, такъ и непроизвольнаго, *всегда непроизволенъ*, но самый процессъ можетъ быть произвольнымъ и непроизвольнымъ. Результатъ разсудочнаго процесса условливается сходствомъ или несходствомъ, словомъ, отношеніемъ между пред-

метами сознанія, а этихъ отношеній мы измѣнить не можемъ. Но мы можемъ преднамѣренно или подъ вліяніемъ страсти ввести въ сознаніе другіе предметы, и тогда выводы будутъ другіе. Разсудокъ всегда строитъ вѣрно изъ матеріаловъ, ему предложенныхъ, и если мы замѣчаемъ ошибку въ нашемъ мышленіи, то причину надобно искать въ матеріалахъ сознанія: они или были недостаточны, или не тѣ, какіе нужны, или въ нихъ скрывалась порча и ошибки, или они были предварительно дурно обработаны.

Непроизвольный разсудочный процессъ есть не что иное, какъ непроизвольный актъ сознанія. Образованіе простѣйшихъ сочетаній, изъ которыхъ возникаютъ только единичныя опредѣленныя ощущенія — свѣта, тьмы, краски, звука и т. д., совершается уже этимъ разсудочнымъ актомъ сознанія. Всѣ сочетанія (ассоціаціи) по сходству, по различію, по мѣсту, по времени суть разсудочныя акты, результаты различій и сравненій. Въ этомъ отношеніи между сознаніемъ и разсудкомъ нѣтъ различія, и работа разсудка начинается въ человѣкѣ вмѣстѣ съ сознаніемъ. Всѣ дальнѣйшія разсудочныя работы отличаются отъ первыхъ только по своей сложности, по сложности матеріаловъ, надъ которыми работаетъ сознаніе; а эта сложность есть, въ свою очередь, результатъ прежнихъ работъ того же сознанія.

Непроизвольный разсудочный процессъ долженъ совершаться одинаково вездѣ, гдѣ есть сознаніе, слѣдовательно и у животныхъ. При особой остротѣ внѣшнихъ чувствъ, которою одарены многія животныя, непроизвольный разсудочный процессъ могъ бы идти у нихъ далеко въ своихъ работахъ, если бы животныя обладали самосознаніемъ и даромъ самосознанія—словомъ. Въ высшихъ породахъ животныхъ разсудочный процессъ, даже и безъ этихъ средствъ, достигаетъ въ своихъ работахъ замѣчательно высокой ступени, какъ, напримѣръ, у слоновъ, у лисицъ, у собакъ, медвѣдей и проч. Но, кромѣ дара слова, разсудочному процессу у животныхъ недостаетъ еще той побудительной силы, которую придаютъ этому процессу въ человѣкѣ требованія духовныя.

Произвольный разсудочный процессъ свойственъ только человѣку: только человѣкъ, часто съ замѣтнымъ насиліемъ для своего нервнаго организма, ищетъ различій, сходствъ, связи и причинъ тамъ, гдѣ ихъ и не видно: перебираетъ съ этою цѣлью свои произвольно или непроизвольно составленныя представленія и понятія, связываетъ тѣ, которыя связываются, разрываетъ тѣ, которыя должны быть разорваны, ищетъ новыхъ. Источникъ этой свободы въ разсудочномъ процессѣ человѣка находится въ свободѣ его души, а источникъ свободы его души—въ ея самосознаніи; ибо *свободную волю*, какъ мы это увидимъ впоследствии, *можетъ имѣть только то существо, которое имѣетъ способность не только хотѣть, но и сознавать свой душевный актъ хотѣнія*: только при этомъ условіи

мы можем противиться нашему хотѣнію. Эта связь разсудочнаго процесса въ человѣкѣ съ духовными особенностями человѣческой души помѣшала намъ изучить вполнѣ этотъ процессъ въ человѣкѣ, что мы можем сдѣлать лишь тогда, когда будемъ изучать его духовныя особенности. Во всякомъ душевномъ актѣ человѣка высказывается вся его единая и нераздѣльная душа, и потому мы можемъ изучать эти акты только понемногу: сначала одну сторону явленія, а потомъ другую.

Но и здѣсь мы должны уже, хотя отчасти, намекнуть на то, что можетъ быть развито вполнѣ только впоследствии. Сопоставляя добытыя нами понятія различныхъ произвольныхъ актовъ сознанія: *произвольнаго* вниманія, *произвольнаго* воспоминанія, *произвольнаго* воображенія и *произвольнаго* разсудочнаго процесса, мы невольно поражаемся необычайнымъ сходствомъ всѣхъ этихъ актовъ, и это можетъ намъ служить наибольшею очевидностью единства нашей души или, по крайней мѣрѣ, покуда—единства нашего сознанія. Собственно всѣ эти произвольные акты нашей души составляютъ одинъ актъ *произвольнаго сознанія* и различаются только по положенію тѣхъ матеріаловъ, надъ которыми сознаніе работаетъ, и по цѣли этихъ работъ, и, кромѣ того, въ каждомъ актѣ соединяются всѣ остальные. Въ актѣ *вниманія* сознаніе различаетъ ощущенія, представленія и понятія, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно должно вызывать ихъ изъ области памяти, передвигать въ области воображенія и наконецъ сравнивать, безъ чего самое различеніе невозможно. Въ актѣ припоминанія нужно вниманіе, чтобы различить, и нужно воображеніе, чтобы представлять и передвигать представленія; воспоминанію нуженъ разсудокъ, чтобы сравнивать и различать. Въ процессѣ воображенія и процессѣ разсудка мы видимъ то же самое соединеніе всѣхъ прочихъ процессовъ. Такимъ образомъ, во всѣхъ этихъ процессахъ мы видимъ одинъ обширный *процессъ сознанія*.

Въ актѣ произвольнаго *вниманія* душа стремится получить сколько возможно болѣе опредѣленныя ощущенія. Въ актѣ произвольнаго *воспоминанія* душа хочетъ только повторить прежнія ощущенія, повторить въ нервной системѣ прежнія движенія. Въ актѣ произвольнаго *воображенія* или *фантазіи* (такъ слѣдовало бы назвать этотъ актъ въ отличіе, съ одной стороны, отъ воспоминанія, а съ другой, отъ воображенія непроизвольнаго, или *мечты*) душа наша сковываетъ и перековываетъ, сообразно тѣмъ или другимъ своимъ цѣлямъ, сочетанія, сохраняемыя памятью и вызываемыя изъ нея вниманіемъ. Въ актѣ разсудка процессъ тотъ же самый, но цѣль его уже другая: душа наша также сличаетъ, различаетъ, сравниваетъ, производитъ сочетанія, но при этомъ стремится уже къ тому, чтобы эти сочетанія были вѣрны дѣйствительности, чтобы они были тѣ самыя, т. е. *истыя*

сочетанія ¹⁾), которыя лежатъ въ природѣ самыхъ предметовъ сознанія; другими словами, въ разсудочномъ процессѣ душа наша ищетъ *истинныхъ* сочетаній, или просто—*истины*. Слѣдовательно, мы видимъ, что Аристотель былъ совершенно правъ, отличая разсудочный процессъ отъ процесса воображенія *по формѣ* тѣмъ, что въ первомъ ходѣ представленій останавливается, а во второмъ движется (но этимъ онъ не отличаетъ воображенія отъ фантазіи), а *по содержанію* тѣмъ, что въ разсудочномъ процессѣ человѣкъ вѣритъ въ истину производимыхъ имъ сочетаній ²⁾; тогда какъ въ процессѣ произвольнаго воображенія, или *фантазіи*, человѣкъ также произвольно образуетъ сочетанія представленій, но не вѣритъ въ ихъ истину, видя, что они суть его собственные созданія.

Мы отличаемъ *мышленіе* отъ *воображенія* еще тѣмъ, что первое совершается въ формѣ *представленій*, а второе въ формѣ *понятій*, облеченныхъ въ *слово*. Представлять что-нибудь значитъ *ощущать* болѣе или менѣе сложное сочетаніе нервныхъ движеній. Такимъ образомъ, представленіе мы отличаемъ отъ простаго ощущенія только сложностью. Всякое *новое ощущеніе* есть слѣдствіе сравненія *впечатлѣній*, идущихъ изъ внѣшняго міра; но *повтореніе ощущенія* можетъ быть вызываемо какъ внѣшними впечатлѣніями, такъ и самою душою, и въ обоихъ случаяхъ оно сопровождается движеніями нервовъ. Слѣдовательно, *представить* себѣ можно только то, что такъ или иначе, по объективной инициативѣ внѣшнихъ впечатлѣній или субъективной инициативѣ души, движетъ наши нервы. Что неспособно двинуть наши нервы, то не можетъ быть представлено.

Представленіе не отличается отъ непосредственнаго ощущенія яркостью, какъ это утверждаютъ нѣкоторые. Наши сонныя грезы, а иногда и видѣнія наяву, бываютъ часто ярче непосредственныхъ ощущеній, которыя при развлеченіи вниманія едва мелькаютъ. Въ существованіи же внѣ насъ *объектовъ*, вызывающихъ въ насъ ощущеніе черезъ посредство впечатлѣній, мы убѣждаемся только независимостью этихъ объектовъ отъ нашихъ желаній. Мы поворачиваемъ голову, и предметъ, отражавшійся въ нашихъ глазахъ, исчезаетъ.

Представленіе является источникомъ *понятія*, которое въ разсудочномъ процессѣ *отлагается* изъ многихъ представленій. Но это отложеніе не можетъ быть закончено безъ помощи *слова*. Происхожденія слова мы еще не объяснили, такъ какъ оно выходитъ не изъ *сознанія*, общаго и человѣку и животнымъ, а изъ *самосознанія*, составляющаго ду-

¹⁾ О происхожденіи слова *истина* и о различіи его отъ слова *истый* см. у Буслаева: «О преподав. отечеств. языка», стр. 324.

²⁾ См. выше, глава XXVII.

ховную особенность человѣка; но и здѣсь уже могло быть объяснено, что слово есть представленіе понятій, т. е. такое сочетаніе нервныхъ движеній слухового и голосового органа, которое мы произвольно признаемъ представителемъ понятія ¹⁾). Слѣдовательно, мы и мыслимъ представленіями, но представленіями особаго рода, которыя мы сами создали, какъ значки понятій. Эти представленія словъ слѣдуетъ отдѣлять отъ представленій образныхъ.

Мышленіемъ распоряжается идея: она-то подбираетъ слова для завершения процесса образованія понятій и связываетъ слова въ сужденія и мысли. Но идея несоизмѣрима съ понятіемъ и представленіемъ: она выражается въ ихъ сочетаніяхъ, но не въ нихъ самихъ. Строго говоря, мы мыслимъ не словами, не понятіями и не представленіями, а идеями, связывающими слова, понятія и представленія.

Анализируя разсудочный процессъ, мы наткнулись на такіе его результаты, которыхъ нельзя вывести изъ однихъ внѣшнихъ для человѣка впечатлѣній и которые тѣмъ не менѣе очень важны, такъ какъ они вносятся душою въ разсудочный процессъ, какъ уже готовые, и потому необыкновенно сильно уславливаютъ самый ходъ этого процесса.

Обратившись къ анализу этихъ *основныхъ узловъ разсудочнаго процесса*, мы нашли, что они объясняются участіемъ результатовъ мускульнаго чувства, которые вилетаются душою въ самыя первыя ея разсудочныя работы. Эти же мускульныя чувства мы признали результатами произвольныхъ мускульныхъ движеній, а самый произволъ этихъ движеній возвелъ насъ опять къ источнику произвола—къ душѣ. Мы не пу-скались въ разъясненія этого загадочнаго вопроса; но нашли подтвержденіе своей мысли въ томъ физиологическомъ фактѣ, что первое обнаруженіе жизни, прежде даже, чѣмъ сформировуются органы ощущеній, выражается въ произвольныхъ движеніяхъ.

Мускульное чувство или, что все равно, *ощущеніе нами нашихъ произвольныхъ движеній* играетъ такую важную роль во всей нашей душевной жизни, во всемъ разсудочномъ процессѣ, завязывая первые его узлы, и принимаетъ такое рѣшительное участіе въ процессѣ выраженія понятій словами, гдѣ приводятся въ движеніе голосовые мускулы, что мы полагаемъ бы лучшимъ *встѣ* наши *ощущенія* раздѣлить на *пассивныя* и *активныя*, или на *внѣшнія* и *внутреннія*, причисляя къ первымъ

¹⁾ На тѣсную связь дѣятельности слухового и голосового органа въ процессѣ рѣчи указываютъ ясно физиологическія открытія Гельмгольца. Замѣчательно, что филологи открываютъ въ словахъ *слово* и *слухъ* одинъ и тотъ же корень. (О препод. отечеств. языка, О. Буслаева, изд. 1867 г., стр. 322).

ощущенія зрѣнія, слуха, осязанія, обонянія и вкуса, а ко вторымъ—одни ощущенія произвольныхъ движеній. Изъ комбинаціи пассивныхъ и активныхъ ощущеній слагаются матеріалы всѣхъ нашихъ разсудочныхъ работъ. На *ощущенія активныя* мы обратимъ еще особенное вниманіе въ главахъ «о волѣ», какъ причинѣ произвольныхъ мускульныхъ движеній.

Но, кромѣ *первичныхъ узловъ* всякаго разсудочнаго процесса (понятій о *пространствѣ, о времени и числѣ*), мы замѣтили еще вліяніе какихъ-то уже готовыхъ *убѣжденій* или *вѣрованій* души, которыя не только не выводятся изъ опыта, но даже не подтверждаются имъ, и прямо ему противорѣчатъ. Таково *убѣжденіе во всеобщей причинности* явленій, *убѣжденіе въ свободу личной человеческой воли* и *убѣжденіе, что гдѣ-то существуетъ единство*, въ которомъ сходятся и изъ котораго исходятъ явленія міра психическаго и явленія міра физическаго.

Эти *врожденныя убѣжденія*, вносимыя нами во всѣ *опытныя убѣжденія*, извлекаемыя изъ опытовъ внѣшняго міра, мы могли бы назвать *неизбѣжными предубѣжденіями*, точно такъ, какъ первичные узлы разсудочной работы—*неизбѣжными предразсудками*. Но такъ какъ оба эти слова, *предубѣжденіе* и *предразсудокъ*, имѣютъ въ рѣчи особое назначеніе, то мы полагаемъ лучшимъ назвать послѣднія *первичными понятіями*, а первыя врожденными увѣренностями, или *врожденными вѣрованіями*.

Психологическій анализъ разсудочнаго процесса привелъ насъ къ признанію того *психическаго факта*, что *истина*, добытая разсудкомъ изъ наблюденій и опытовъ, признается нами *совершенною истинною* только въ томъ случаѣ, если она сходится съ нашими *врожденными вѣрованіями*, если эти врожденныя вѣрованія не возстаютъ въ нашей душѣ отрицаніями истинъ, добытыхъ разсудкомъ. Собственно говоря, мы признаемъ полную истину только нашихъ врожденныхъ вѣрованій; въ томъ же, что имъ противорѣчитъ, видимъ только истину временную, относительную, опытную, ограниченную, *разсудочную, а не разумную*. Вотъ почему, можетъ быть, самое слово *вѣра*, по замѣчанію филологовъ, одного корня со словомъ *истина*. Въ нашемъ языкѣ это отношеніе словъ *вѣра* и *истина* сохранилось еще въ словахъ: *вѣрно, вѣрный*; отъ того же корня, вѣроятно, происходитъ нѣмецкое слово wahr, Wahrheit и латинское—veritas. Истинна ли эта высшая человѣческая истина—мы *не знаемъ*; но въ нашемъ психическомъ мірѣ нѣтъ для насъ болѣе высокой истины и она одна для насъ *абсолютна*: не въ смыслѣ гегелевскаго, невозможнаго для человѣка *абсолюта*, но въ смыслѣ *опытной* психологіи, открывающей въ этихъ вѣрованіяхъ непреодолимыя условія психической жизни человѣка. Будутъ ли когда-нибудь постигнуты *самыя эти вѣрованія*, управляющія самымъ процессомъ постиженія, но не входящія въ него; превратятся ли когда-нибудь они сами въ истины

опытныя, въ истины науки; сойдутся ли когда-нибудь *вѣра* и *истина* въ разсудочномъ процессѣ—этого мы не знаемъ. Раскрыть процессъ сознанія въ его *настоящемъ* состояніи—вотъ все дѣло *фактической психологии*.

Несмотря, однако, на убѣжденіе въ единствѣ міра, мы признали *дуализмъ* единственно возможнымъ основаніемъ для *положительной* психологии, которая основывается на фактахъ, а не на стремленіяхъ, неоправдываемыхъ фактами. Стремленіе можетъ руководить движеніемъ науки и практической жызью, и дѣйствительно часто руководить ими; но основой науки, точкою ея отправления, должны быть факты и ничего болѣе, кромѣ фактовъ.

Въ *индуктивномъ* процессѣ мышленія мы нашли тотъ же *разсудочный процессъ образованія понятія изъ сужденій*; а въ обратномъ *дедуктивномъ* процессѣ мы увидали *разложеніе понятій на сужденія, изъ которыхъ они составились*. Источникъ *индукціи* есть сознаніе, а источникъ *дедукціи*—самосознаніе, первое—обще человѣку и животному, второе есть исключительная принадлежность человѣка.

Мы назвали индуктивный процессъ просто *процессомъ пониманія*, т. е. процессомъ образованія понятій, и признали этотъ процессъ единственнымъ способомъ добыванія дѣйствительныхъ знаній, какъ въ мірѣ физическихъ, такъ и въ мірѣ психическихъ явленій. Знаніе, не основывающееся на наблюденіи и опытѣ, не есть знаніе, а вѣра, которая сама можетъ быть психическимъ фактомъ и предметомъ наблюденія и изученія путемъ *индукціи* или *пониманія*. Оба эти процесса, индуктивный и дедуктивный, мы предполагали бы назвать процессомъ *постиженія*.

Подъ конецъ мы отличили *разсудокъ* отъ *разума*, назвавъ первый плодомъ сознанія, а второй—плодомъ самосознанія. Разумъ есть результатъ сознанія душою своихъ собственныхъ разсудочныхъ процессовъ въ ихъ неограниченныхъ стремленіяхъ и въ ихъ ограниченныхъ результатахъ. *Разсудокъ, въ его стремленіи къ уничтоженію противорѣчій*, мы назвали *движущимъ принципомъ науки*; *разумъ, съ его спокойнымъ сознаніемъ самыхъ этихъ противорѣчій*, мы назвали *основой практической дѣятельности* человѣка, и слѣдовательно, *основой воспитательнаго искусства*, какъ одной, и притомъ величайшей, отрасли практической дѣятельности. При этомъ приложеніи терминовъ мы руководствовались народнымъ употребленіемъ этихъ обоихъ словъ, которое выражается въ пословицѣ «умъ безъ разума бѣда».

Вотъ главные результаты, которые мы добыли въ нашихъ анализахъ процессовъ сознанія. Теперь мы пойдёмъ искать подобныхъ же результатовъ въ процессахъ *чувствованія* или *душевныхъ чувствъ*, какъ *умственныхъ*, такъ и *сердечныхъ*, и въ процессахъ *желанія* и *воли*. Мы надѣемся, что тѣ результаты, которые насъ ожидаютъ впереди, помогутъ намъ, *хотя отчасти, понять* многое, оставшееся для насъ еще неяснымъ въ процессѣ *постиженія*.



ЧАСТЬ II.

ГЛАВА I.

О чувствованіяхъ вообще: вступленіе.

Въ первомъ томѣ нашей «Антропологии» мы окончили описаніе явленій сознательнаго процесса и, начавъ съ простѣйшихъ явленій ощущенія, дошли послѣдовательно до образованія понятій. Но всякій изъ насъ испытываетъ, что душа наша не остается равнодушною ко всѣмъ этимъ, ея же собственнымъ актамъ, что на одни ощущенія и сочетанія ощущеній она отвѣчаетъ очень часто (если не всегда) удовольствіемъ, радостью, любовью, желаніемъ, а на другія—неудовольствіемъ, печалью, гнѣвомъ или отвращеніемъ. Такимъ образомъ, въ душевномъ мірѣ открываются намъ новыя, доселѣ нами еще нетронутыя явленія.

Что эти *внутреннія волненія души* (назовемъ ихъ покуда хоть такъ) не одно и то же съ тѣми ощущеніями, которыми они вызываются, въ томъ не трудно убѣдиться самымъ простымъ наблюденіемъ. Если какое-нибудь пріятное ощущеніе прекратилось противъ нашей воли, то мы испытываемъ неудовольствіе, а иногда и желаніе, чтобы ощущеніе это опять продолжалось. Ощущать намъ болѣе нечего, ибо ощущеніе прекратилось, и мы именно испытываемъ неудовольствіе, потому что ощущенія этого нѣтъ. Слѣдовательно, между ощущеніемъ и тѣмъ чувствомъ, которое вызвано въ насъ его прекращеніемъ, есть существенная разница. Точно такъ же, по прекращеніи какого-нибудь непріятнаго или болѣзненнаго ощущенія, мы чувствуемъ пріятное облегченіе, тогда какъ ощущенія уже собственно нѣтъ. «Мы можемъ легко, какъ говоритъ Фрисъ, вообразить себѣ существо, представленія котораго о вещахъ даже вообще не сопровождаются никакимъ чувствомъ удовольствія или неудовольствія, въ которомъ нѣтъ никакой оцѣнки достоинства или недостатка вещей» ¹⁾.

¹⁾ Fries, T. I. S. 40. Это справедливо; но добавленіе Фриса, что, наоборотъ,

Несоизмѣримость ощущенія съ сопровождающими его душевными волненіями подмѣчается очень ясно при сліяніи различныхъ волненій этого рода съ однимъ и тѣмъ же ощущеніемъ. Такъ, напримѣръ, ощущеніе одного и того же вкуса можетъ быть для меня сегодня пріятнымъ, а завтра непріятнымъ, хотя при этомъ я ясно сознаю, что мною испытывается одинъ и тотъ же вкусъ. Одно и то же представленіе можетъ утромъ меня размѣшить, вечеромъ разсердить, сегодня возбудить во мнѣ пріятныя надежды, а завтра страхъ или гнѣвъ. Слѣдовательно, въ обоихъ этихъ случаяхъ ощущенія и сочетаніе ощущеній, т. е. представленія, остаются неизмѣнными, и эту ихъ тождественность я ясно сознаю; но душа моя отзывается въ разное время различно на эти тождественныя ощущенія и представленія. Изъ этого мы логически можемъ вывести, что подобныя разнообразныя отзвы души на ея же собственныя ощущенія и представленія должны составить для насъ особый классъ явленій, извѣстнымъ подъ общимъ именемъ *чувствъ и желаній*.

Къ сожалѣнію, слово *чувство* употребляется въ нашемъ языкѣ (да и не въ одномъ нашемъ) безразлично, какъ для чувства слуха, зрѣнія, обонянія и т. д., такъ и для тѣхъ внутреннихъ чувствъ души, которыми она отзывается на эти внѣшнія ощущенія и сочетанія, изъ нихъ составляемыя¹⁾. Эта общность названія для психическихъ явленій совершенно различнаго рода имѣетъ только то основаніе, что какъ тѣ, такъ и другія могутъ быть названы актами души; но, тѣмъ не менѣе, каждый изъ насъ слишкомъ ясно сознаетъ различіе между этими актами, для того, чтобы смѣшать ихъ подъ однимъ общимъ названіемъ. Одни изъ этихъ актовъ суть прямыя отзвы души на внѣшнія впечатлѣнія, и эти отзвы души мы назвали ощущеніями; а вторые суть уже отзвы души на самыя ощущенія, и мы предлагаемъ, въ отличіе отъ чувствъ, назвать ихъ *чувствованіями*. Слово это старинное, книжное, но для нашей цѣли оно уже тѣмъ хорошо, что неудобно сказать— *чувствованіе слуха, чувствованіе зрѣнія* и т. д.²⁾ Такимъ образомъ, слово *чувство* будетъ для насъ общимъ генерическимъ названіемъ, какъ для

чувствованіе безъ представленія невозможно, совершенно несправедливо, какъ мы увидимъ ниже.

¹⁾ «Слово чувство (sentiment, Gefühl), говоритъ Миллеръ, имѣетъ столько различныхъ значеній въ разговорномъ языкѣ и даже въ психологіи, что нельзя опредѣлить, которое изъ нихъ настоящее» (Man. de Phys. p. 511). О различномъ и неправильномъ употребленіи слова чувство (The feeling) въ англійскомъ языкѣ см. у Милля: Mill's Logic. V. I. Ch. III, p. 54.

²⁾ На путаницу психическихъ терминовъ въ подобномъ случаѣ жалуются почти всѣ психологи. Такъ, напр., Вайтцъ (Lehrbuch der Psychologie, S. 287) сваливаетъ на эту путаницу даже темноту психологическихъ теорій. Это обвиненіе кажется намъ несправедливымъ, ибо теорія должна вносить научную систему въ языкъ, какъ это дѣлаютъ, напр., естественныя науки.

ощущений, которыми душа наша отзывается на внѣшнія впечатлѣнія, такъ и для чувствований, которыми она отзывается на собственные же ощущенія. Если же чувствованія мы не будемъ иногда называть чувствами внутренними или душевными, то не потому, чтобы мы признавали ощущеніе чѣмъ-то внѣшнимъ для души. Мы видѣли, что и ощущенія суть собственные акты души ¹⁾. Но чувствованія, если можно такъ выразиться, будутъ еще родственнѣе для души, чѣмъ ощущенія ²⁾. Въ чувствованіяхъ выражается субъективное отношеніе души къ ощущеніямъ, причиною которыхъ является внѣшній міръ, дѣйствующій на насъ чрезъ посредство органовъ внѣшнихъ чувствъ. Это отзвы души на ея же собственные ощущенія, по выраженію Милля. Чувствованія неотдѣлимѣе отъ души, чѣмъ ощущенія, и ихъ-то именно человекъ не можетъ сообщить другому человеку. Еще Кантъ замѣтилъ, что человекъ можетъ сойтись съ другимъ человекомъ въ томъ, что сахаръ сладокъ, а щавель кисель; но не сойдется въ томъ, что кислое можетъ одному нравиться, а другому быть противно, и латинская поговорка *de gustibus non disputandum* (т. е. о вкусахъ не слѣдуетъ спорить) относится именно къ чувствованіямъ, а не къ ощущеніямъ. ³⁾.

Такая особенная *задушевность* или субъективность чувствованій не допускаетъ ихъ полного и яснаго выраженія въ представленіяхъ, такъ что между нашими представленіями и нашими чувствованіями существуетъ, по замѣчанію Гербарта, нѣкоторая неизмѣримость, и мы «въ нашихъ представленіяхъ не можемъ выразить всего, что въ насъ происходитъ» ⁴⁾. Это отношеніе чувствованій къ нашимъ представленіямъ было, безъ сомнѣнія, одною изъ причинъ того, что мы и до сихъ поръ не имѣемъ даже сколько-нибудь полного систематическаго перечисленія этихъ важныхъ и характеристическихъ душевныхъ явленій, имѣющихъ такое громадное значеніе

¹⁾ См. Учебн. Физиологій, объ ощущеніи.

²⁾ «Говоря философски, говоритъ Дж. Ст. Милль, всѣ ощущенія суть состоянія души, а не состоянія тѣла (и потому нельзя раздѣлять чувствъ на тѣлесныя и душевныя). Если же ощущенія (*sensations*) называются тѣлесными чувствованіями, то только какъ такой разрядъ чувствъ, который производится непосредственно состояніями тѣла, тогда какъ другого рода чувства,—мысли, напр., и душевныя движенія (*emotions*) возбуждаются не непосредственно какими-либо дѣйствіями на тѣлесные органы, но уже ощущеніями или прежними мыслями». (*Mill's Logic*. В. I, Ch. III, p. 51). Очень здравый взглядъ; жаль только, что Милль тутъ же не отдѣлилъ чувствованій отъ мыслей.

³⁾ *Antropologie*, § 67. То же почти у Бенекке: *Lehrbuch der Psych.* § 238. Waitz, *Lehrbuch der Psych.* S. 272. То же у Декарта: *Les passions de l'âme*, Art. 29.

⁴⁾ Herbart, *Lehrbuch der Psych.* § 95. См. также у Waitz'a. § 31, S. 298.

для эстетика, юриста, политика и педагога. Даже въ отношеніи *интеллектуальныхъ*, или *формальныхъ* чувствъ, каковы удивленіе, недоумѣніе, сомнѣніе и т. п., наиболѣе удавшихся гербартовской теоріи, Вайтцъ находится вынужденнымъ сказать, что «психологія не такъ далеко ушла, чтобы даже перечислить ихъ вполнѣ» ¹⁾. Декартъ свою книгу «О страстяхъ», подъ которыми онъ наиболѣе разумѣлъ чувствованія, начинаетъ жалобою на классическихъ писателей древности, что они ничего не сдѣлали для изученія столь интереснаго, важнаго и *не особенно труднаго* предмета, «такъ какъ всякій можетъ наблюдать чувствованія (*les passions*) въ самомъ себѣ» ²⁾. Но подъ конецъ своей книги самъ Декартъ, кажется, убѣдился, что это изученіе не такъ легко, какимъ оно показалось ему съ перваго взгляда. Замѣчательно, что Спиноза свое изложеніе теоріи чувствованій и желаній начинаетъ такою же жалобою на Декарта ³⁾. Лучшимъ же доказательствомъ трудности этого отдѣла психологіи служить то, что, несмотря на послѣдовательные труды многихъ психологовъ Англии и Германіи, отдѣлъ чувствованій и доселѣ остается гораздо темнѣе того, въ которомъ излагается процессъ сознанія. Послѣдній англійскій психологъ Бэнъ приходитъ также въ большое затрудненіе по поводу перечисленія чувствованій ⁴⁾ и вынужденъ даже предположить возможность чувствованій до того индивидуальныхъ, что «они никогда не могутъ сдѣлаться извѣстными всему человѣчеству...» ⁵⁾.

Г Л А В А II.

Физиологическая теорія чувствованій.

(стр. 5—10 полн. соч.).

Чувствованія, по мнѣнію Декарта, служатъ лишь для укрѣпленія въ душѣ представленій, а Кантъ видитъ въ чувствованіяхъ даже помѣху для свободы мышленія. Въ этомъ есть доля справедливости, но нельзя же въ человѣкѣ видѣть одну «думающую машину». Если мы думаемъ не для того только, чтобы любить или ненавидѣть, то, безъ сомнѣнія, не для того же любимъ и ненавидимъ, чтобы думать. Чувствованія составляютъ вполнѣ самостоятельную область душевной жизни, хотя и связанную съ мышленіемъ и волей. Гегель признавалъ, что безъ страсти даже не можетъ быть сдѣлано ничего великаго. Декартовское *физиологическое* объясненіе происхожденія чувствованій движеніемъ какихъ-то *газовъ*, находящихся въ мозгу,

¹⁾ Waitz. Lehrbuch der Psych. § 32, S. 302.

²⁾ Les passions de l'âme.

³⁾ Spinoza. Eth. P. III.

⁴⁾ The Emotion and the Will, p. 27.

⁵⁾ Ibid., p. 90.

такъ же неясно, какъ и объясненіе Бэна эмоціональными *токами*, Фехнера—психо-физическими *движеніями* и Фохта—мыслительными *функціями* мозга. Все это одни слова, подъ которыми скрывается незнаніе того, что дѣйствительно непостижимо по своей сущности и можетъ быть наблюдаемо только въ проявленіи. Въ гипотезахъ этихъ вѣрно одно, что чувствованія, дѣйствуя на нашъ тѣлесный организмъ, вызываютъ въ немъ особенное состояніе (сокращеніе или расширеніе мускуловъ, краску или блѣдность въ лицѣ, отдѣленіе слюнныхъ или потовыхъ железъ и т. п.), которое, отражаясь на душѣ, поддерживаетъ въ ней волненіе чувства. Но оно можетъ дѣйствовать и у человѣка безъ слезъ или съ парализованными нервами лица. Здѣсь опять существуетъ только связь, а не зависимость чувствованій по отношенію ихъ къ тѣлу. Самъ Бэнъ, склонный къ физиологическому объясненію, признаетъ, что «чувство и сознаніе отличаются отъ свойствъ матеріи и составляютъ послѣднее неразлагаемое проявленіе, основу великаго организма, называемаго душою». Чувствованія зависятъ отъ представленій, хотя одно и то же представленіе у различныхъ людей, и даже у одного и того же въ разное время и при разныхъ условіяхъ, можетъ вызывать различныя и даже противоположныя чувствованія и желанія. Физиологія ничего не можетъ объяснить въ этихъ душевныхъ процессахъ; составляющихъ чисто психологическую сферу.

Г Л А В А III.

Механическая или математическая теорія чувствованій (стр. 10—21).

Гербартовскую теорію чувствованій, которая онъ объясняетъ «борьбою представленій между собою», можно назвать *механическою*. Относительная сила представленій, стремящихся вытѣснить другъ друга, и производитъ въ насъ, по мнѣнію гербартианцевъ, различныя чувствованія. Состояніе души, говоритъ Вайтцъ, будетъ зависѣть вовсе не отъ *качественнаго* содержанія представленій, взаимно противодѣйствующихъ, но отъ степени ихъ силы. При равенствѣ этой силы представленія не сознаются и не вызываютъ чувствованій; при неравенствѣ остается сильнѣйшее, а слабѣйшее вытѣсняется. Различіе въ состояніяхъ души, происходящее отъ борьбы неравныхъ по своей силѣ представленій, и выражается въ чувствованіяхъ, которыя, слѣдовательно, безъ представленій невозможны. Сила чувствованія зависитъ отъ силы вытѣсняемаго представленія. *Качественное* содержаніе представленія при этомъ безразлично. Въ теоріи этой, при всей ея односторонности, очень много вѣрнаго, ибо чувствованія дѣйствительно зависятъ не отъ содержанія представленій, а отъ ихъ взаимнаго отношенія: такъ одинъ рубль денегъ, къ которому равнодушенъ богачъ, очень обрадуетъ бѣдняка при полученіи и огорчитъ при потерѣ, вслѣдствіе различія представленій о

богатствѣ. Но если даже чувствованія происходятъ отъ разнообразія въ силѣ давленія одного представленія на другое, то все же для того, чтобы чувствовать это различіе силъ, душѣ нужна особенная способность, которой теорія не признаетъ, и въ этомъ ея несостоятельность. Не сами представленія чувствуютъ свою силу, борьбу и побѣду, свое различіе отъ другихъ, а *душа*, обладающая самостоятельною чувствовательною способностью: иначе пришлось бы предположить столько же душъ, сколько представленій, изъ которыхъ каждое обладало бы двумя способностями: *сознавать* свое содержаніе и *чувствовать* его различіе отъ силы и напряженности другихъ, соприкасающихся съ нимъ, представленій. Черезъ это утратилось бы всякое единство нашего я, нашей личности, превратившейся въ простой механизмъ, зависящій отъ игры случайныхъ впечатлѣній. Кромѣ того, эта гербартовская теорія вовсе не объясняетъ специфическаго, качественнаго различія въ чувствованіяхъ, каковы, напримѣръ, горе и радость, которыя, кромѣ различія въ силѣ, различны и по своему характеру и тону. Механическая теорія не можетъ объяснить происхожденія даже такихъ *формальныхъ* чувствованій, какъ ожиданіе, удивленіе, скука, не говоря уже о *предметныхъ*, какъ горе, радость, гнѣвъ, страхъ и др., которыя она, вслѣдствіе своего безсилія, относитъ къ области физиологій, еще менѣе способной объяснить не относящіяся къ ней психическіе процессы. Бенекке держится той же механической теоріи, и, отвергая особую способность чувствованія, замѣняетъ ее своими *первичными силами*, которымъ и приписываетъ то, что у Гербарта приписывается самимъ представленіямъ. Но здѣсь различіе въ однихъ словахъ или названіяхъ, которыя нисколько не объясняютъ *сущности* явленій, необъяснимыхъ для психологовъ точно такъ же, какъ и для физиологовъ. Происхожденіе желаній столь же неудовлетворительно у представителей гербартовой школы.

Г Л А В А І V.

Философская теорія чувствованій (стр. 21—32).

Новѣйшіе философы, вышедшіе изъ гербартовской школы, напримѣръ, Шопенгауэръ, сознавая неудовлетворительность механической теоріи чувствованій, возвратились къ ученію Платона и Цицерона о *прирожденности* человѣческихъ стремленій, изъ которыхъ и истекаютъ чувствованія, которыя и Спиноза называлъ «сознательными стремленіями». Гегель пошелъ въ этомъ направленіи еще дальше, признавая и въ міровой жизни, и въ актахъ нашей души лишь развитіе абсолютной идеи. Душа, по его ученію, есть только *идея тѣла*. Гипотеза *врожденныхъ стремленій*, признаваемая этою философскою школою, есть единственная плодотворная попытка къ объясненію нашихъ чувствованій и желаній, равно какъ и всей

психической жизни; но главнымъ основаніемъ для изслѣдованія ихъ все-таки и прежде всего должны служить факты, какъ во всѣхъ опытныхъ наукахъ, а слѣдовательно и въ психологіи. Особенно выдѣляется въ этой философской школѣ Шопенгауэръ, который отдѣляетъ волю отъ познаванія и ставитъ ее на первый планъ, тогда какъ до него воля признавалась лишь выраженіемъ и результатомъ познаванія. Воля, по химическому выраженію этого философа, есть «радикалъ души», которая есть соединеніе воли и разума; само тѣло есть только объективированная воля. Такимъ образѣмъ, Шопенгауэръ первый изъ философѣвъ, занимавшихся почти исключительно познавательной способностью, выдвинулъ на первый планъ жизнь сердца, и въ этомъ, несмотря на всю односторонность этого философа, заключается его громадная заслуга для психологіи. Признавая волю источникомъ представленій, онъ не противорѣчитъ тѣмъ фактамъ, когда стремленіе или инстинктъ является ранѣе представленія, напримѣръ, у новорожденного младенца стремленіе къ пищѣ; онъ только преувеличиваетъ значеніе стремленія и противорѣчитъ тѣмъ фактамъ, когда безъ представленія не можетъ быть и стремленія, напримѣръ, къ истинѣ, добру, красотѣ въ отдѣльныхъ случаяхъ и проявленіяхъ этого стремленія. *Безсознательная воля* Шопенгауэра такъ же мало удовлетворяетъ психолога, какъ и *абсолютная идея* Гегеля и другихъ философѣвъ-идеалистовъ. Такія чисто-психологическія понятія, какъ *идея* и *воля*, вообще не слѣдуетъ переносить на вѣшнюю природу, такъ какъ они суть свойства нашей души. Истинный психологъ долженъ наблюдать лишь явленія и объяснять ихъ, не принимая на себя отвѣтственности за неполноту системы, происходящую отъ недостатка фактовъ. Въ противномъ случаѣ легко впасть въ ту же ошибку, въ которую впасть, напримѣръ, Фортлаге, принявъ въ своей психологической теоріи господствующую въ естественныхъ наукахъ гипотезу *о силѣ въ скрытомъ состояніи*, близко напоминающую бенековскую теорію *слѣдовъ*, переходящихъ изъ безсознательнаго состоянія въ область сознанія. Онъ признаетъ стремленіе за какое-то невѣсомое вещество или силу, подобную теплотѣ или электричеству, и сознаніе у него есть не иное что, какъ невѣсомая жидкость въ скрытомъ, задержанномъ состояніи. А такъ какъ онъ ту же теорію предлагаетъ и для физики, то выходитъ, что и скрытый въ водѣ теплородъ есть также сознаніе. Далѣе онъ развиваетъ, что нѣкоторые агенты этой силы не переходятъ съ одной массы на другую, а остаются въ колебаніи: тогда эти агенты представляютъ *стремленія*; если же они сообщаютъ свои импульсы, то являются *актами сознанія и пониманія*. Подобныя гипотезы въ ихъ дальнѣйшемъ развитіи только затемняютъ простую и ясную область психологіи, которая должна держаться лишь опытнаго метода. Гипотеза прирожденности стремленій можетъ быть принята лишь для болѣе удобной группировки душевныхъ явленій и ихъ объясненія въ отдѣльныхъ случаяхъ, но не какъ фактъ или общій законъ, которымъ можно было бы объяснить всю душевную жизнь человѣка.

ГЛАВА V.

Гипотеза стремлений.

Прежде всего взглянемъ на то, для означенія какого понятія мы употребляемъ слово *стремленіе*.

Замѣчая, что магнитная стрѣлка, какъ бы ее ни отклоняли, представленная себѣ самой, всегда однимъ концомъ своимъ обращается къ сѣверу, и не зная дѣйствительной причины такого явленія, мы говоримъ, что магнитная стрѣлка имѣетъ *стремленіе* обращаться однимъ концомъ своимъ къ сѣверу, а другимъ къ югу. Мы называемъ, слѣдовательно, стремленіемъ не самую дѣятельность стрѣлки, но *неизвѣстную намъ причину*, которая въ данномъ случаѣ заставляетъ магнитную стрѣлку двигаться, и притомъ двигаться такъ, а не иначе. Замѣтимъ при этомъ, что если бы мы увидали, что кто-нибудь подвинулъ одинъ конецъ стрѣлки къ сѣверу, то мы не назвали бы этого стремленіемъ. Слѣдовательно, мы называемъ стремленіемъ не только неизвѣстную намъ причину замѣчаемой нами дѣятельности, но и притомъ такую причину, которую мы предполагаемъ въ самомъ существѣ, обнаруживающемъ ту или другую дѣятельность, а не внѣ его.

Если замѣчаемую нами дѣятельность обнаруживаетъ существо живое, то въ этомъ случаѣ, вмѣсто слова *стремленіе*, мы часто употребляемъ другое слово: *инстинктъ*; но разумѣемъ подъ словомъ инстинктъ какъ разъ то же самое, что разумѣемъ и подъ словомъ стремленіе, т. е. разумѣемъ неизвѣстную намъ причину замѣчаемой нами дѣятельности живого существа, и притомъ причину, лежащую въ самомъ живомъ существѣ, а не внѣ его. И замѣчательно, что если намъ удастся открыть причину дѣятельности животнаго, лежащую или въ его организмѣ, или въ его жизненномъ опытѣ и предполагаемомъ разсудкѣ, то мы не называемъ уже этой причины инстинктомъ. Слѣдовательно, подъ именемъ инстинкта и животнаго стремленія мы разумѣемъ всегда и непремѣнно *неизвѣстную намъ причину дѣятельности, лежащую въ самомъ существѣ, обнаруживающемъ ту или другую дѣятельность*. Замѣчая, напр., что черепаха, только что вышедшая изъ яйца на песчаной морской отмели, тотчасъ же устремляется къ морю, мы указываемъ причину такого явленія въ инстинктѣ этого животнаго, именно потому, что не можемъ предположить, чтобы черепаха, находясь еще въ яйцѣ, могла что-нибудь узнать о морѣ и его положеніи, о томъ, что это именно тотъ элементъ, гдѣ ей назначено жить, и о томъ, наконецъ, что на берегу ей очень опасно, такъ какъ множество птицъ хотятъ поживиться ея мягкимъ тѣломъ. Не имѣя возможности предположить такихъ сложныхъ

опытныхъ знаній въ черепахѣ, только что вышедшей изъ яйца, мы указываемъ причину ея цѣлесообразнаго движенія къ морю во врожденномъ ей инстинктѣ, т. е., выражаясь проще, говоримъ, что *причина этого явленія намъ неизвѣстна*, но что причина эта, по нашей вѣрѣ въ причинность всѣхъ явленій ¹⁾, непременно должна быть, и притомъ въ самой черепахѣ, а не внѣ ея.

Это послѣднее качество стремленій и инстинктовъ, т. е. что они лежатъ въ самомъ дѣйствующемъ существѣ, подало Спинозѣ поводъ выводить самое стремленіе изъ сущности существа. И дѣйствительно, между нашимъ понятіемъ *сущности* и нашимъ понятіемъ *стремленія* нѣтъ большой разницы. Подъ именемъ сущности мы разумѣемъ спокойную причину или совокупность спокойныхъ причинъ характеристической дѣятельности того или другого существа. Подъ именемъ же стремленія мы разумѣемъ уже дѣйствующую причину дѣятельности. Такъ, напр., мы говоримъ: при нагрѣваніи такихъ-то двухъ тѣлъ, въ нихъ обнаруживается стремленіе къ химическому соединенію. Но и здѣсь мы опять же не знаемъ, не есть ли сама сущность та же дѣятельность, только скрытая отъ нашего наблюденія, слѣдовательно, и не можемъ логически отдѣлать понятіе *сущность* отъ понятія *стремленіе*. Еще Спиноза сказалъ, что тѣла отличаются одно отъ другого движеніемъ или покоемъ, быстротою или медленностью движенія, а не «сущностью» ²⁾. Эта мысль гениальнаго философа нашла себѣ обширное подтвержденіе въ современномъ естествознаніи, которое также стремится доказать, что разнообразіе явленій зависитъ отъ разнообразія въ движеніяхъ, и успѣло доказать это вполне, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи теплоты и движенія ³⁾.

Слѣдовательно, *стремленіемъ мы называемъ неизвѣстную намъ причину дѣятельности, обнаруживаемую тѣмъ или другимъ существомъ, и притомъ такую причину, которую мы предполагаемъ въ самой сущности даннаго существа*. Таково логическое происхожденіе идеи стремленія. Эта идея, слѣдовательно, есть *субъективная*, но вмѣстѣ съ тѣмъ *логически необходимая* идея, столь же необходимая, какъ идея причины.

Если мы перенесемъ наблюденіе стремленія въ психическую сферу и станемъ наблюдать его въ самихъ себѣ, то придемъ совершенно къ тождественнымъ результатамъ. И въ себѣ самихъ мы называемъ стремленіемъ неизвѣстную намъ причину, возбуждающую въ насъ тѣ или другія психическія или психо-физическія явленія. Такъ, напр., мы не назовемъ стремленіемъ или инстинктомъ той причины, которая заставляетъ насъ строить домъ, шить теплую одежду, запасать хлѣбъ на будущій годъ, — не назо-

¹⁾ Пед. Антр., т. I, гл. XXXIX.

²⁾ Spinoza. Eth. P. II Prop. 13. Lem. I.

³⁾ Psycho-Physik von T. Fechner. Leipz. 1860. Th. I. S. 29.

вемъ именно потому, что мы видимъ причину этихъ нашихъ дѣятельно-стей въ сознательной мысли о ихъ необходимости или о ихъ пользѣ для насъ. Если же мы называемъ инстинктомъ или животнымъ стремленіемъ причину, побуждающую только что родившееся дитя сосать пища въ сосцахъ матери и выполнять при этомъ очень сложный и нелегкій процессъ сосанія, то именно потому, что мы не можемъ предположить въ только что родившемся ребенкѣ ни сознательной мысли о потребности питанія, ни тѣхъ знаній изъ физики, которыя нужны для того, чтобы устроить пневматическую машину изо рта. На этомъ основаніи мы раздѣляемъ дѣйствія сознательныя отъ дѣйствій инстинктивныхъ.

Однакоже, если мы будемъ внимательно анализировать наши сознательныя дѣйствія, т. е. такія, причину которыхъ мы сознаемъ, то замѣтимъ, что въ основѣ каждаго такого дѣйствія, подъ цѣлымъ рядомъ сознательныхъ причинъ, лежитъ всегда причина несознаваемая: бессознательное стремленіе или инстинктъ. Такъ, напр., человекъ пашетъ поле и засѣваетъ его по сознательной причинѣ о необходимости пища и на будущій годъ. Необходимость пища онъ также узналъ изъ многочисленныхъ опытовъ голода; но никто, конечно, не скажетъ, чтобы человекъ испытывалъ голодъ вслѣдствіе сознанія необходимости пища для продолженія жизни. Слѣдовательно, и въ основѣ цѣлой цѣпи сознательныхъ причинъ, обуславливающихъ сложную дѣятельность земледѣльца, лежитъ причина бессознательная: инстинктивное стремленіе человека къ пищѣ. Наука, показывая намъ необходимость возобновленія тканей нашего тѣла для продолженія нашей жизненной дѣятельности, расширяетъ цѣпь сознательныхъ причинъ; но много ли и теперь есть людей, которые сознаютъ ясно, почему человеку нужно ѣсть и пить? А всѣ, тѣмъ не менѣе, хотятъ ѣсть и пить. Точно такъ же, многіе ли сознаютъ значеніе воздуха въ пищевомъ процессѣ? Но, между тѣмъ, ни къ чему, можетъ быть, человекъ не стремится такъ жадно, какъ къ воздуху, даже и не зная о его существованіи. Стремленіе къ пищѣ пробуждается въ младенцѣ прежде, чѣмъ онъ имѣетъ понятіе не только о необходимости пища, но даже вообще понятіе о пищѣ. Мы, конечно, не можемъ припомнить тогдашняго состоянія нашей души ¹⁾, и въ настоящее время побужденіе голода немедленно пробуждаетъ въ насъ представленіе о пищѣ; но первое стремленіе не могло выразиться иначе, какъ, по выраженію Локка, «въ чувствѣ недостатка». Точно такъ же мы садимъ резеду, потому что она хорошо пахнетъ; но почему намъ нравится запахъ резеды—это остается для насъ неизвѣстнымъ, и это неизвѣстное лежитъ въ основѣ цѣлаго ряда сознательныхъ

¹⁾ «Состоянія удовольствія и страданія, говоритъ Бэнъ, не такъ легко воспроизводятся, какъ образы внѣшняго міра». The Will, p. 432.

дѣйствій нашихъ. Даже эстетическія наши наслажденія, въ концѣ концовъ, сводятся къ бессознательнымъ стремленіямъ. Всѣ люди, болѣе или менѣе, имѣютъ эстетическое чувство, а между тѣмъ еще никто до сихъ поръ не опредѣлилъ, что такое красота въ музыкѣ, поэзіи, живописи. Мы можемъ изучать условія красоты, т. е. возводить ихъ въ сознаніе, но почему именно такое, а не другое соединеніе линій и красокъ, почему именно такое, а не другое сочетаніе звуковъ нравится намъ,—этого мы не знаемъ. Да если бы, наконецъ, наука и открыла намъ это, то все же мы должны были бы признать, что *чувствовали* красоту прежде, чѣмъ узнали причину этого чувства. То же самое должны мы признать и въ отношеніи причинъ нашей нравственной дѣятельности. Развѣ и теперь еще не спорятъ о причинѣ нравственныхъ стремленій человѣка, послѣ того какъ эти нравственныя стремленія проявляются человѣчествомъ въ продолженіе многихъ и многихъ тысячелѣтій? То же самое относится и къ стремленіямъ религіознымъ. Развѣ и теперь еще не появляются ежегодно теоріи происхожденія этихъ стремленій, создавшихъ тысячеобразныя религіозныя вѣрованія, идущія въ глубь древности далѣе всякихъ историческихъ изслѣдованій?

Слѣдовательно, не должны ли мы признать, что въ основѣ всякой нашей сознательной дѣятельности все же лежитъ *бессознательное стремленіе*? *Хочется, нравится, не хочется, не нравится*—для насъ послѣдняя причина всѣхъ нашихъ сознательныхъ дѣйствій. Возьмите какое хотите дѣйствіе, и какъ бы оно ни казалось вамъ проникнуто сознаніемъ, анализируйте его до послѣднихъ предѣловъ, и вы найдете въ основѣ его бессознательное стремленіе. Положимъ, на примѣръ, что, вникая въ условія гармоническаго сочетанія звуковъ, мы откроемъ, что эти сочетанія тѣмъ болѣе намъ нравятся, чѣмъ болѣе даютъ намъ дѣятельности въ сферѣ звуковъ и чѣмъ безпрепятственнѣе и въ то же время обширнѣе можетъ совершаться эта дѣятельность ¹⁾; но и тогда причина, почему душѣ нравится обширная и безпрепятственная дѣятельность, останется для насъ неизвѣстною, и мы опять же принуждены будемъ назвать эту неизвѣстную причину таинственнымъ именемъ *врожденнаго стремленія къ сознательной дѣятельности*, ибо эта причина лежитъ въ насъ самихъ, а не внѣ насъ.

Не трудно убѣдиться, что причина того, что намъ *хочется* и *нравится*, и что, слѣдовательно, составляетъ бессознательную основу нашей сознательной дѣятельности, лежитъ не въ предметѣ, возбуждающемъ въ насъ пріятныя ощущенія, а въ насъ самихъ. Мое желаніе ѣсть дѣлаетъ

¹⁾ См. Учебн. Физиологіи, объ органахъ чувствъ.

мнѣ хлѣбъ пріятнымъ, а не хлѣбъ пробуждаетъ во мнѣ чувство голода, хотя, конечно, видъ хлѣба очень часто можетъ отвлечь мое вниманіе отъ другихъ предметовъ и тѣмъ самымъ дать мнѣ возможность почувствовать то, уже существующее, состояніе моего организма, которое отразится въ душѣ чувствомъ голода. «Мы желаемъ вещи, говоритъ Спиноза, не потому, что она кажется намъ хорошею, но потому вещь кажется намъ хорошею, что мы ее желаемъ»¹⁾. Эту мысль слѣдовало бы уяснить такъ: мы *желаемъ* вещи не потому, что она кажется намъ хорошею, но она кажется намъ хорошею вслѣдствіе бессознательнаго къ ней *стремленія*, въ насъ существующаго. Не должно смѣшивать этихъ двухъ понятій: *желаніе* и *стремленіе*. Конечно, въ основѣ каждаго желанія лежитъ бессознательное стремленіе; но здѣсь къ нему присоединяется уже сознательное представленіе желаемаго, извлеченное изъ многочисленныхъ опытовъ удовлетворенія первоначально бессознательному стремленію.

Все раздѣленіе нами предметовъ на *полезные, бесполезные* и *вредные*, на *пріятные, непріятные* и *безразличныя* дѣлается нами на основаніи такихъ бессознательныхъ стремленій нашей природы, т. е. на основаніи такихъ возникающихъ въ насъ психическихъ состояній, причины которыхъ скрываются внѣ нашего сознанія.

Бессознательныя стремленія превращаются въ сознательныя желанія не иначе, какъ черезъ посредство чувствованій. Бессознательное стремленіе къ пищѣ, называемое голодомъ, дѣлаетъ намъ хлѣбъ *пріятнымъ*, и послѣ этого мы уже сознательно *желаемъ* и ищемъ хлѣба. Слѣдовательно, *чувствованіе удовольствія*, сопровождающаго удовлетвореніе бессознательнаго стремленія, превратило это *бессознательное стремленіе* въ *сознательное желаніе*. Бессознательно стремимся мы къ гармоніи звуковъ и, слыша гармоническіе звуки, получаемъ удовольствіе, а впослѣдствіи уже сознательно желаемъ этихъ звуковъ, ибо знаемъ, что они доставляютъ намъ удовольствіе. *Таковъ психическій актъ, во всей своей простотѣ и точности.* Стремленіе, чувствованіе и представленіе²⁾— вотъ три психическія явленія, которыя соединяются въ сложномъ актѣ желанія. Конечно, *первый членъ* этой цѣпи мы *только предполагаемъ*, но, тѣмъ не менѣе, предположеніе его для насъ логически неизбежно: мы *не можемъ* иначе объяснить появленіе въ насъ тѣхъ или

¹⁾ Spinoza. Eth. P. III. Prop. 9 и 39. Schol.

²⁾ Незнаніе сложности желанія и исторіи образованія желаній ведетъ къ самымъ уродливымъ и практически вреднымъ предположеніямъ. Таково, напр., мнѣніе о врожденности желаній преступленія, мнѣніе, раздѣляемое и знаменитымъ Кетле со многими другими (Sur l'homme, par Quetelet. Paris. 1833. T. II, p. 108).

другихъ *чувствованій*, какъ предположивъ тѣ или другія бессознательныя стремленія въ нашей природѣ; а появленію въ насъ сознательныхъ желаній мы также необходимо должны предпослать появленіе въ насъ *чувствованій*, условливающихъ всѣ наши желанія и нежеланія. Въ *желаніи* уже соединяется воспоминаніе испытанныхъ *чувствованій* и представленіе предмета, возбудившаго въ насъ эти *чувствованія*.

Г Л А В А VI.

Врожденные стремленія: стремленіе къ единичному существованію.

Путемъ анализа нашихъ *чувствованій* и желаній мы доходимъ до сознанія полной необходимости признать существованіе врожденныхъ *стремленій*, хотя сами эти стремленія находятся внѣ области сознанія, и мы узнаемъ о нихъ только въ нашихъ *чувствованіяхъ* и еще болѣе въ нашихъ желаніяхъ. Но мы не только узнаемъ о существованіи стремленій вообще, но должны опредѣлить ихъ, какъ стремленія къ чему-нибудь опредѣленному, ибо признаніе неопредѣленнаго стремленія, стремленія ко всему, или, что все равно, ни къ чему, въ родѣ шопенгауэровской воли, за которою слѣдуетъ идея, но которой она не предшествуетъ, противорѣчитъ самому понятію стремленія—уничтожаетъ это понятіе и рисуетъ воображенію какое-то существо, уже непонятное человѣку. Наука же, во всякомъ случаѣ, не должна выходить изъ области *человѣческаго пониманія*.

Само собою разумѣется, что опредѣленіе стремленій, врожденныхъ *человѣку*, и классификацію ихъ мы можемъ сдѣлать только на основаніи анализа тѣхъ *чувствованій* и въ особенности желаній, въ которыхъ стремленія обнаруживаются для сознанія, доходя всякій разъ въ нашемъ анализѣ до необходимости признанія того или другого врожденнаго стремленія, безъ котораго самое *чувствованіе* или желаніе было бы необъяснимо. Перечисляя самыя простыя и всѣмъ людямъ одинаково свойственныя желанія, и притомъ такія, слѣды которыхъ мы находимъ и у животныхъ (выдѣляя, слѣдовательно, желанія, свойственныя только *человѣку*), и соединяя эти животныя желанія въ отдѣльныя группы по принципу сходства, мы найдемъ нѣсколько обширныхъ стремленій, врожденныхъ, если не каждому одушевленному организму, то всѣмъ наиболѣе развитымъ изъ нихъ.

Къ такимъ врожденнымъ, бессознательнымъ стремленіямъ слѣдуетъ причислить, *во-первыхъ*, стремленіе къ *индивидуальному существованію*, куда относятся какъ *пищевое* стремленіе, такъ и всѣ инстинкты индивидуальнаго самосохраненія; *во-вторыхъ*, стремленіе къ *общественному и*

родовому существованію, куда относится и половой инстинктъ; въ-третьихъ, стремленіе къ сознательной дѣятельности, выражаемое прежде всего тоскою бездѣйствія. Первые два рода стремленій мы можемъ характеризовать названіемъ *растительныхъ*, ибо они выходятъ изъ потребностей растительнаго организма ¹⁾, третій же родъ свойственъ только существамъ, одареннымъ жизнью и потому стремящимся *жить*. Психологія, основанная на началахъ шопенгауэровской философіи, разыскивая стремленія, находитъ ихъ безчисленное множество. Такъ, Фортлаге находитъ стремленія высшія и низшія, нервныя, кровныя, стремленія репульсіи, стремленіе къ ассимиляціи и многое множество другихъ ²⁾. Но вмѣсто того, чтобы творить стремленія, мы считаемъ лучшимъ изучить проявленія тѣхъ, которыя всѣмъ извѣстны.

Стремленіе къ индивидуальному существованію.

Тѣло наше, какъ и всякій другой растительный организмъ, имѣетъ потребность *питанія* для развитія своихъ органовъ, которое и совершается не иначе, какъ черезъ уподобленіе тѣломъ элементовъ внѣшней для него природы. Процессъ питанія, какъ въ человѣкѣ, такъ и въ растеніи, совершается одинаково, видоизмѣняясь, но не измѣняясь существенно ³⁾. Но въ растеніи, по отсутствію души, процессъ этотъ совершается, не сопровождаясь сознаніемъ. Въ воодушевленномъ же существѣ душа ощущаетъ эти процессы, ощущаетъ сперва появленіе потребности питанія, а потомъ удовлетвореніе ея—ощущаетъ, такъ сказать, начало и конецъ процесса.

Нѣтъ сомнѣнія, что ощущеніе душою растительныхъ потребностей тѣла и тѣхъ или другихъ фазисовъ изъ процесса ихъ удовлетворенія совершается черезъ того же посредника, черезъ котораго, какъ мы видѣли это выше, тѣлесныя впечатлѣнія превращаются въ душевныя ощущенія, т. е. черезъ посредство нервнаго организма ⁴⁾. Это посредство необходимо слѣдуетъ предположить, и на него указываютъ многіе факты анатоміи и физиологіи, хотя еще наука далеко не раскрыла вполне, какія измѣненія происходятъ въ нервномъ организмѣ, подъ вліяніемъ которыхъ душа испытываетъ ощущеніе голода, жажды или потребности дыханія, относящейся также къ пищевому процессу.

Мы видѣли также выше, что въ животномъ организмѣ къ *растительнымъ* *пищевымъ* *потребностямъ* тѣла прибавляется еще одна, уславли-

¹⁾ См. Учебникъ Физиологіи.

²⁾ System der Psychologie von K. Fortlage. 1855. Erst. Th. §§ 33, 38 etc.

³⁾ Пед. Антр., т. I, гл. IV.

⁴⁾ Menschen- und Thier-Seele von Wundt. 1863. B. II, S. 24.

ваемая уже особенностью животнаго. Въ животномъ потребность пищи является ужь не только вслѣдствіе потребности развитія органовъ и размноженія, какъ въ растеніи, но и вслѣдствіе того, что ткани животнаго организма, безпрестанно потребляемая дѣятельностью жизни, требуютъ безпрестаннаго же обновленія, такъ что въ животномъ питательный процессъ по окончаніи роста слѣдовало бы назвать собственно *возобновительнымъ* ¹⁾.

Мы ощущаемъ голодъ и жажду точно такъ же, какъ ощущаемъ цвѣтъ, звукъ, свѣтъ, запахъ и т. п., т. е. ощущаемъ особенное состояніе нервнаго организма, и поэтому мы отнесли эти ощущенія къ особенному разряду *общихъ ощущеній* ²⁾; здѣсь же насъ занимаютъ не сами *ощущенія*, а *чувствованія*, которыми они сопровождаются: тѣ страданія, которыми, на примѣръ, сопровождается долго неудовлетворяемый голодъ, и то удовольствіе, которымъ сопровождается его удовлетвореніе. Почему долгое неудовлетвореніе голода мучительно, а удовлетвореніе его пріятно? На эти столь простые вопросы мы и должны отвѣчать такъ же просто — *не знаемъ*. Если бы магнитная стрѣлка была одарена душою, то ей, вѣроятно, казалось бы очень естественнымъ стремиться однимъ концомъ къ сѣверу, а другимъ къ югу; если бы она была одарена способностью чувствованія, то весьма вѣроятно, что ей также казалось бы очень естественнымъ ощущать удовольствіе, когда это стремленіе удовлетворяется, и неудовольствіе, когда удовлетвореніе ея стремленія встрѣчаетъ помѣху; но, тѣмъ не менѣе, это естественное было бы совершенно непонятнымъ.

Мы можемъ только *предположить*, что душа въ своемъ стремленіи къ *жизненной дѣятельности*, встрѣчая недостатокъ въ тѣлесныхъ силахъ, необходимыхъ для этой дѣятельности, испытываетъ страданія, не сознавая причины этихъ страданій. Это, во всякомъ случаѣ, спасительный голосъ природы, безъ котораго жизненная дѣятельность скоро истощила бы силы тѣла и сама должна была бы остановиться; для растеній не нужно этого голоса, такъ какъ у нихъ нѣтъ жизненной дѣятельности. Но эта тѣсная связь души и тѣла лежитъ *внѣ нашего сознанія*, и не оно въ непосредственной своей сферѣ, а только новѣйшая наука, весьма сложными опытами и наблюденіями, открываетъ, что ткани тѣла измѣняются подъ вліяніемъ жизненной дѣятельности. Не только животное, но и человѣкъ неминуемо погибъ бы, если бы могли продолжать жизненную дѣятельность до совершеннаго истощенія силъ, даже испытывая ощущенія голода, но не чувствуя побуждающей силы сопровождающихъ его страданій, или

¹⁾ См. Учебникъ Физиологіи.

²⁾ То же.

если бы, напимѣръ, не испытывали страданій при недостаткѣ воздуха, который такъ же необходимъ для творенія крови, какъ и пища.

Пищевое стремленіе, съ присоединеніемъ къ нему и процесса дыханія, обставлено множествомъ *рефлективныхъ процессовъ*, которые также могутъ совершаться безъ всякаго участія сознанія, таковы: отдѣленіе слюнныхъ железъ, глотаніе, движеніе желудка, біеніе сердца, дыханіе и др. Сложный актъ кормленія младенца грудью также есть сложный *рефлексъ* множества органовъ, приходящихъ въ движеніе при пробужденіи стремленія, для удовлетворенія котораго этотъ рефлексъ назначенъ.

Ощущеніе голода само по себѣ нельзя назвать страданіемъ; въ легкой степени аппетита оно можетъ быть даже пріятнымъ и возбуждающимъ чувствомъ, особенно, если въ виду хорошій обѣдъ; а напротивъ, отсутствіе аппетита есть тяжелое и непріятное чувство. Точно такъ же и удовлетвореніе аппетита, независимо отъ вкуса пищи, начинаетъ доставлять удовольствіе только тогда, когда аппетитъ возросъ до степени безпокойнаго ощущенія; такъ что мы можемъ принять, что душа испытываетъ страданія при ощущеніи голода собственно отъ того, что нормальное состояніе нервной системы, необходимое для совершенія жизненной дѣятельности, все болѣе и болѣе нарушается. Вѣрно или нѣтъ это предположеніе, однако же несомнѣнно то, что интенсивность чувства наслажденія питаніемъ (независимо отъ вкуса пищи) находится въ прямой зависимости отъ степени голода, который мы удовлетворяемъ: въ такомъ-то смыслѣ голодъ называется лучшимъ въ свѣтѣ поваромъ. Мы должны вынести нѣкоторое страданіе, чтобы получить наслажденіе, и чѣмъ интенсивнѣе было страданіе, тѣмъ интенсивнѣе и удовольствіе; удовлетворяя же всякій разъ только что зарождающемуся аппетиту, или даже предупреждая его появленіе, какъ это часто бываетъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ не наслаждаемся и удовлетвореніемъ голода, хотя можемъ еще наслаждаться вкусомъ пищи.

Различіе во вкусѣ пищи и наше различное отношеніе къ различнымъ вкусамъ, вѣроятно, имѣетъ свое основаніе также въ питательномъ процессѣ; но основаніе это еще не раскрыто химією и фізіологією. Кажется, должны быть *вкусы и запахи примитивные*, пріятные или непріятные вообще для человѣка; по крайней мѣрѣ на это намекаетъ производство словъ, общее, кажется, всѣмъ языкамъ, по которому понятіе сладкаго перенесено и на душевныя удовольствія, а понятіе горечи и на душевныя страданія. Но всемірная гастрономія, а, можетъ быть, отчасти и человѣческія идіосинкразіи, часто передающіяся наследственно, такъ измѣнили примитивные вкусы, что до нихъ теперъ и добратся трудно. Горькое часто нравится гастроному такъ же, какъ и кислое, и что считается противнымъ у одного народа, то составляетъ лакомство у другого. Здѣсь, кажется, присоединяется

еще удовольствіе чисто психической дѣятельности сознательнаго процесса, который, будучи обращенъ ко вкусовымъ ощущеніямъ, находитъ удовольствіе въ процессѣ распознаванія, сравненія и комбинаціи—своего рода вкусовой музыкѣ; большую роль, должно быть, играетъ здѣсь также тщеславіе, свойственное вообще знатокамъ во всѣхъ искусствахъ. Для насъ важно только то, что и въ отношеніи наслажденій вкуса и обонянія большая или меньшая интенсивность наслажденія покупается не иначе, какъ большею или меньшею интенсивностью лишеній: нѣтъ такого пріятнаго вкуса, который не пересталъ бы быть пріятнымъ при постоянномъ удовлетвореніи и неприправляемый чувствомъ удовлетворяемаго голода.

Но изъ самой переменчивости вкусовыхъ и обонятельныхъ удовольствій мы видимъ уже, что ихъ никакъ нельзя поставить на ряду съ удовольствіями удовлетворяемаго голода. Это — не существенныя требованія природы, а потому они пробуждаются и гложутъ отъ удовлетворенія и неудовлетворенія. Вѣроятно, что если бы дитя никогда не кормить сладкимъ, то оно не получило бы стремленія къ сладостямъ; но, вѣроятно, также и то, что сладкая пища, употребляемая постоянно, сначала потеряла бы для него всякую пріятность, а потомъ стала бы отвратительна. Но главное дѣло здѣсь не въ сладкомъ и не въ горькомъ, а въ томъ, чтобъ не обращать усиленной психической дѣятельности дѣтей въ такую узкую и неплодовитую сферу, какую представляютъ для сознанія вкусовыя ощущенія.

Непріятность чувства голода психически объясняется тѣмъ, что душа, въ своемъ стремленіи къ дѣятельности, встрѣчаетъ затрудненіе въ истощенномъ тѣлѣ. Если нервная система наша чѣмъ-нибудь сильно возбуждена, то мы долго не ощущаемъ самой настоятельной потребности пищи; но наконецъ потребность эта становится такъ интенсивна, что мы не можемъ уже думать, не замѣчая ея. Однакоже, когда голодъ достигаетъ высокой степени, то специфическія мученія его прекращаются, и появляется не остановка работы нервной системы, какъ слѣдовало бы ожидать, но ея усиленная дѣятельность, которая ускоряетъ смерть организма, быстро поглощая его послѣднія силы. Слѣдовательно, мы никакъ не можемъ сказать, какъ хотятъ того иные, чтобы на душевную работу шелъ только избытокъ органическихъ силъ тѣла: напротивъ, при недостаткѣ тѣхъ силъ, онѣ все идутъ на душевную дѣятельность, т. е. на ту дѣятельность нервовъ, которая, какъ мы видѣли, необходима при душевныхъ работахъ. Если бы было наоборотъ, то при недостаткѣ питанія прежде всего прекращалась бы душевная дѣятельность, а мы видимъ, напротивъ, что она усиливается, и мученія голода сопровождаются безумными мечтами, въ которыхъ, такъ сказать, сгораютъ послѣдніе атомы пищи ¹⁾.

¹⁾ Вскрытіе животныхъ, умершихъ голодною смертію, показало, что меньше

Возобновительный процесс въ животномъ, кромѣ чувства голода, сопровождается еще ощущеніемъ усталости и бодрости, а эти органическія ощущенія сопровождаются *чувствованіями*: страданіемъ, которое можетъ достигъ сильной интенсивности, какъ, на примѣръ, тогда, когда человѣку долго мѣшаютъ спать, и удовольствіемъ, которое всякій изъ насъ испытываетъ при бодромъ состояніи тѣла. Но это обиліе физическихъ силъ, если мы не даемъ ему исхода въ дѣятельности, само можетъ сдѣлаться причиною страданій.

Исходъ этому избытку безпрестанно накапливающихся физическихъ силъ природа, прежде всего, указываетъ въ *тѣлесныхъ движеніяхъ*. Стремленіе къ тѣлеснымъ движеніямъ обнаруживается уже въ зародышевомъ состояніи человѣка и животныхъ, и мы отчасти согласны съ Бэномъ ¹⁾, приписывающимъ причину этихъ движеній накопленію мозговой энергіи, но думаемъ, что въ иныхъ случаяхъ потребность движенія прямо объясняется накопленіемъ массы крови. Мы всѣ испытываемъ очень ясно потребность движенія въ членахъ, когда они долго остаются въ одномъ и томъ же положеніи, и при неудовлетвореніи этому стремленію чувство страданія можетъ достигъ высокой степени. Вотъ на эту-то потребность движеній указываетъ и Гербартъ ²⁾, замѣчая ее особенно въ дѣтяхъ и молодыхъ животныхъ или, прямѣе, въ молодыхъ животныхъ организмахъ, у которыхъ выработка физическихъ силъ идетъ очень быстро, тогда какъ трата ихъ собственно на душевные процессы еще не велика. Естественно, что вмѣстѣ съ ослабленіемъ процесса выработки физическихъ силъ и возрастаніемъ дѣятельности душевной, все болѣе и болѣе поглощающей эти силы, и самая потребность тѣлесныхъ движеній уменьшается.

Но это тѣлесное стремленіе къ движеніямъ, выходящее изъ избытка физическихъ силъ, слѣдуетъ строго отдѣлять отъ стремленія къ сознательной дѣятельности, которая можетъ продолжаться и тогда, когда физическихъ силъ не хватаетъ даже для правильныхъ, нормальныхъ отправленій растительнаго организма, такъ что сознательная дѣятельность, продолжая совершаться, совершается въ ущербъ тѣлесному организму, истребляя тѣ силы, которыя нужны для его питанія ³⁾.

Къ этимъ же пищевымъ стремленіямъ, возникающимъ изъ потребности растительнаго и возобновительнаго процесса, слѣдуетъ, конечно, отнести и

всею теряютъ своего вѣсу *нервы*. (Физиологическія письма Фогта, стр. 180). Но не значить ли это, что нервы питаются насчетъ другихъ элементовъ тѣла? Безъ питанія они не могли бы продолжать своей дѣятельности.

¹⁾ Bain, The Will.

²⁾ Lehrbuch der Psychol.

³⁾ См. Учебн. Физиологія, о нервахъ.

потребность влаги, или *жажду*, потребность воздуха, необходимаго въ кровото­вореніи, равно какъ и потребность опредѣленной температуры, кото­рая сказывается въ удовольствіи, ощущаемомъ нами при теплѣ и прохладѣ, и въ неудовольствіи, которое ощущаемъ мы при холодѣ или жарѣ. Мы стремимся къ теплу или прохладѣ не потому, что (какъ того хочетъ Бэнъ) испытали уже удовольствіе того и другого, но потому, что испытываемъ страданія, когда температура переходитъ опредѣленный предѣлъ.

Достаточно ли этихъ указаній природы для того, чтобы возобновитель­ный процессъ могъ безпрепятственно совершаться—этого мы не беремъ рѣшить. Гегель считаетъ стремленіе непогрѣшимымъ; но это онтологиче­ское предположеніе, которое нельзя оправдать фактами. Что называется непогрѣшимымъ въ отношеніи внѣшней для насъ природы,—этого мы не можемъ знать; что же касается до непогрѣшительности этого голоса при­роды въ отношеніи сохраненія и обезпеченія нашей жизни, то есть по­воды сомнѣваться въ такой непогрѣшимости. Дѣйствительно, у иныхъ животныхъ этотъ голосъ природы очень вѣренъ, но въ человѣкѣ мы замѣчаемъ иногда такія стремленія, удовлетвореніе которыхъ прямо вредно организму. Такъ дѣти слабогрудыя любятъ чрезмѣрно усиленные крики и движенія, которые для нихъ положительно вредны; такъ золотушныя любятъ все мучнистое, а также и все острое,—что тоже для нихъ вредно. Стремится ли при этомъ природа къ разрушенію собственнаго своего дѣла, или это есть уже извращеніе, вносимое въ организмъ болѣзнью — для разрѣшенія подобныхъ онтологическихъ вопросовъ мы не имѣемъ ника­кихъ данныхъ.

Пищевыя стремленія иногда обставлены у животныхъ поразительными инстинктами, которыхъ у человѣка замѣчается гораздо менѣе. Слѣдуетъ ли видѣть въ этомъ расчетъ созданія, имѣющій въ виду умственные способности человѣка, или, можетъ быть, самое пользованіе человѣка сво­ими умственными способностями мало-по-малу заглушило въ немъ при­родные инстинкты—этого мы также рѣшить не беремъ, по недостатку данныхъ. Замѣтимъ только, что обоняніе, а, можетъ быть, у низшихъ животныхъ и осязаніе, играетъ очень важную роль въ пищевыхъ инстинк­тахъ. Обоняніе, такъ близко граничащее со вкусомъ и осязаніемъ, что дѣятельность ихъ часто и различить невозможно ¹⁾, есть само по себѣ уже удовлетвореніе пищевого стремленія, но удовлетвореніе такое ничтож­ное, что оно можетъ служить только указаніемъ, что данная пища мо­жетъ утолить голодъ, уже мучащій животное. Обоняніемъ животное при­водится къ опытамъ удовлетворенія голода тою или другою пищею, а опытъ,

¹⁾ Пед. Антроп., т. I, гл. XII.

сопровождающійся пріятнымъ чувствомъ удовлетворенія. сдѣлавшись опредѣленнымъ представленіемъ, превращаетъ безсознательное *стремленіе* къ пищѣ въ опредѣленное *желаніе* той или другой пищи.

Въ область этого же стремленія къ индивидуальному существованію мы должны отнести и тѣ инстинкты *самосохраненія* или, вѣрнѣе, *самозащиты*, которыхъ много замѣчается у разныхъ животныхъ, но которые едва ли есть у человѣка. По крайней мѣрѣ, наблюдая надъ дѣтьми, мы замѣчаемъ, что средства самозащиты пріобрѣтаются у нихъ опытомъ: вслѣдствіе опытовъ узнаетъ ребенокъ, что огонь жжется и что упасть больно. Можетъ быть, при болѣе внимательномъ наблюденіи и можно бы замѣтить, что и у дитяти есть нѣкоторыя врожденные пріемы самозащиты; но это не имѣетъ для нашей цѣли никакого важнаго значенія.

Г Л А В А VII.

Инстинктивныя стремленія къ общественному и родовому существованію.

Какъ бы ни казалось намъ разумнымъ стремленіе къ общественности въ человѣкѣ, и сколько бы потомъ человѣкъ ни вносилъ въ это стремленіе яснаго разсчета тѣхъ пользъ, которыя извлекаетъ онъ изъ общественной жизни, но, взглянувъшись внимательно въ факты, мы должны признать, что въ основѣ этого стремленія къ обществу лежитъ природный инстинктъ, дѣйствующій въ человѣкѣ прежде, чѣмъ становятся въ немъ возможными эгоистическіе разсчеты. Это тѣмъ болѣе очевидно, что тотъ же инстинктъ общественности дѣйствуетъ и въ животныхъ, у которыхъ мы не можемъ предполагать такого обширнаго развитія разсудка, какое нужно было бы, чтобы повяты пользу общественной жизни.

Аристотель, кажется, первый назвалъ человѣка *животнымъ общественнымъ*, а за нимъ многіе писатели повторяли эту фразу. Не отвергая, конечно, стремленія къ общественности въ человѣкѣ, мы должны однако замѣтить, что это стремленіе вовсе не есть исключительная принадлежность человѣка. Не только человѣкъ, но и многія животныя живутъ обществами, а нѣкоторыя такими обществами, обширность и сложное устройство которыхъ невольно поражаютъ самого человѣка: таковы общества муравьевъ, пчелъ и другихъ насѣкомыхъ, нѣкоторыхъ породъ рыбъ, птицъ и, наконецъ, нѣкоторыхъ четвероногихъ животныхъ, и въ особенности изъ породы грызуновъ. Слѣдовательно, предполагая въ человѣкѣ инстинктивное стремленіе къ общественности, мы не можемъ не видѣть такого же стремленія и въ животныхъ.

Уже въ первой части нашей антропологии, разсматривая организмы, мы нашли два рода ихъ: организмы *единичные* и организмы *общественные* ¹⁾. Мы нашли также, что организмы общественные такія же самостоятельныя явленія природы, какъ и организмы единичные, и что происхожденіе какъ тѣхъ, такъ и другихъ одинаково неизвѣстно, и что организмы общественные тѣмъ отличаются отъ организмовъ единичныхъ, что тогда какъ въ послѣднихъ члены организма связаны матеріально, въ первыхъ, т. е. въ общественныхъ, они связаны между собою не матеріальною связью, но условіями жизни и развитія. Мы нашли, кромѣ того, что существованіе общественныхъ организмовъ можно уже замѣтить въ царствѣ растеній, въ тѣхъ *двудомныхъ* растеніяхъ, которыя, не будучи связаны между собою матеріально, тѣмъ не менѣе необходимы другъ для друга, такъ что родовое ихъ существованіе уславливается сосѣдствомъ двухъ экземпляровъ разнаго пола и тѣмъ, что вѣтеръ и насѣкомыя переносятъ плодотворную пыль съ *тычинокъ* одного экземпляра на *плодники* другого. Къ этому же разряду явленій мы причислили явленія семьи, рода, племенъ и расъ, — явленія, общія человѣку, животнымъ и растеніямъ.

Эта *потребность общественности*, существующая и въ растеніяхъ, и въ животныхъ, не чувствуется въ первыхъ, по отсутствію въ нихъ чувствующей души, и чувствуется во вторыхъ; точно такъ же, какъ потребность пищи и питья, существующая въ растеніяхъ, только въ животныхъ превращается въ голодъ и жажду, т. е. начинаетъ ощущаться. Слѣдовательно, мы признаемъ, что инстинктъ общественности есть только ощущеніе душою растительныхъ потребностей тѣла. Къ потребностямъ же растительнаго организма мы причислили не только существованіе и развитіе организмовъ единичныхъ, но и ихъ родовое и общественное существованіе, о чемъ заботится та же природа.

Обыкновенно стремленіе къ родовому существованію видятъ только въ *одномъ*, такъ называемомъ, половомъ побужденіи, но это несправедливо. Конечно, половое побужденіе и половые инстинкты самымъ очевиднымъ образомъ способствуютъ къ родовому продолженію существованія; но не одни они. Соединеніе животныхъ въ обширныя и стройныя общества никакъ нельзя приписать однимъ половымъ побужденіямъ, изъ которыхъ также никакъ нельзя вывести и заботъ родителей о своемъ потомствѣ. *Безполая* рабочая пчела можетъ служить лучшимъ доказательствомъ этого. Она уничтожаетъ трутня послѣ того, какъ оплодотвореніе матки совершилось, и заботится о червѣ, т. е. *потомствѣ*, *вовсе* не изъ половыхъ побужденій. То же самое замѣчаемъ мы у муравьевъ и многихъ другихъ насѣкомыхъ. Половые побужденія

¹⁾ Пед. Антроп., т. I, гл. I.

развиваются въ извѣстный періодъ возраста и проходятъ вмѣстѣ съ нимъ, тогда какъ инстинктъ общественности высказывается гораздо прежде появленія половыхъ побужденій и переживаетъ ихъ. Домашнія животныя ищутъ ласки и ласкаются сами даже къ животнымъ другой породы и къ человѣку гораздо прежде развитія половыхъ побужденій; напротивъ, съ развитіемъ этихъ побужденій многія животныя ищутъ уединенія. Птицы передъ полетомъ собираются въ стаи вовсе не изъ половыхъ побужденій; напротивъ: многія изъ нихъ разлетаются въ разныя стороны, когда начинаютъ строить гнѣзда. Эти и многіе другіе факты того же рода могутъ убѣдить всякаго, что инстинктъ общественности гораздо обширнѣе полового инстинкта, и что половой инстинктъ есть только одинъ изъ видовъ инстинкта общественности.

Вотъ чѣмъ объясняется ошибка тѣхъ писателей, которые, какъ напримѣръ Бэнъ ¹⁾, самую нѣжность отношеній между родителями и дѣтьми, а слѣдовательно и между родичами, объясняютъ половыми инстинктами, что совершенно отвергается фактами. Бэнъ, напримѣръ, выводитъ материнскую любовь изъ *нѣжныхъ чувствованій* (*tender emotions*) и объясняетъ ихъ нѣжностью кожи ребенка, его округленными формами, его свѣтлыми глазками, слѣдовательно, прямо выводитъ материнскую любовь къ дитяти изъ половыхъ инстинктовъ: какъ будто мать менѣе любитъ свое больное дитя, худое, покрытое золотухою, слѣпое и уродливое для всѣхъ, кромѣ матери? Правда, Бэнъ потомъ смягчаетъ эту мысль, говоря, что материнское чувство *возрастаетъ* вмѣстѣ съ накопленіемъ заботъ о дитяти, которое становится тѣмъ дороже для матери, чѣмъ болѣе заботъ она къ нему приложила. Эта послѣдняя мысль совершенно справедлива; но здѣсь дѣло не въ томъ, чтобы объяснить, какъ и почему *возрастаетъ* и развивается материнское чувство въ женщинѣ, но въ томъ, чтобы показать, какъ оно *зарождается* вообще въ живомъ существѣ. Прежде, чѣмъ мать станетъ заботиться о ребенкѣ, она уже чувствуетъ потребность этихъ заботъ, а въ томъ-то и дѣло, чтобы объяснить появленіе этой потребности.

Многія животныя заботятся о своихъ дѣтяхъ прежде ихъ появленія на свѣтъ, заботятся даже и тогда, когда никогда ихъ не увидятъ. Слѣдовательно, выводить материнское чувство изъ предмета этого чувства—невозможно. Оно выходитъ изъ состоянія самаго организма, точно такъ же, какъ чувство голода или жажды, и если мы не можемъ объяснить себѣ появленіе перваго, то нечего удивляться, что не можемъ объяснить себѣ и появленіе послѣдняго. Наше дѣло состоитъ только въ томъ, чтобы замѣтить фактъ, отдѣлать въ немъ постороннія примѣси и дать ему надлежащее мѣсто въ ряду другихъ подобныхъ же фактовъ. Такъ, разбирая явленіе инстинктивной материнской

¹⁾ Bain, The Emotion, p. 106.

любви въ женщинѣ, мы, руководствуясь одними фактами, а не предвзятыми теоріями, не смѣшаемъ ея, съ одной стороны, съ половыми инстинктами, а съ другой, уже съ чисто человѣческой любовью, не свойственной животнымъ.

Въ материнской любви есть только одно общее съ половыми инстинктами, а именно то, что какъ материнская любовь, такъ и половые инстинкты выходятъ изъ органической потребности общности, которая ощущается душою въ различныхъ формахъ: и въ формѣ стремленія различныхъ половъ другъ къ другу, и въ формѣ материнской любви, и въ формѣ стремленія къ товариществу, и въ формѣ сближенія существъ одного рода безъ различія пола, и въ формѣ потребности ласкъ. Что же касается до отличія инстинктивной материнской любви, общей всему живущему, отъ материнской любви женщины, то это различіе заключается въ томъ, что, тогда какъ инстинктивная любовь прекращается вмѣстѣ съ прекращеніемъ тѣхъ органическихъ состояній, изъ которыхъ она вышла, материнская, чисто человѣческая любовь не знаетъ себѣ предѣла. Самая ласковая собачка начинаетъ ворчать и огрызаться на своего любимаго хозяина въ ту же минуту, какъ у нея завелся дѣтенышъ. Она еще даже не видѣла его, а уже любитъ, ибо въ этомъ случаѣ гнѣвъ есть только выраженіе любви. Но какъ только окончится періодъ кормленія, собака уже не знаетъ своего дитяти. Здѣсь мы ясно видимъ возникновеніе материнской любви изъ органическихъ состояній, съ началомъ которыхъ привязанность начинается и съ окончаніемъ которыхъ она прекращается. Если бы привязанность эта была слѣдствіемъ заботъ матери о своемъ дѣтенышѣ, то тогда такое ея появленіе и прекращеніе были бы необъяснимы. У матери человѣка есть, безъ сомнѣнія, и эта инстинктивная привязанность; но въ ней есть и другая, чисто человѣческая основа, основа, чуждая животному міру.

Находя, что въ материнской любви, кромѣ стороны чисто человѣческой, объясняемой только душевными потребностями, есть еще и инстинктивная сторона, выходящая изъ органической потребности, мы нисколько не унижаемъ этой любви, а, напротивъ, придаемъ ей самое обширное, міровое значеніе. Голосъ тѣлесной природы есть также голосъ Творца ея, и слѣпой развѣ можетъ не видѣть, какъ громко говоритъ этотъ божественный голосъ въ природѣ женщины, какъ только она станетъ матерью. «Какъ часто можно видѣть, говоритъ Ридъ, что молодая женщина, въ самый веселый періодъ своей жизни, когда она, безъ всякихъ заботъ, проводила свои дни въ удовольствіяхъ, а ночи въ глубокомъ снѣ, вдругъ преобразуется въ заботливую, попечительную, безсонную кормилицу своего дорогаго дитяти, которая проводитъ свой день только въ томъ, что смотритъ на свое дитя и заботится о малѣйшихъ его потребностяхъ, а по ночамъ сама себя лишаетъ сна на цѣлые мѣсяцы, только для того, чтобы оно могло покоиться безопасно на ея рукахъ.

Забывая сама себя, она сосредоточиваетъ всѣ свои заботы на этомъ маленькомъ существѣ. Если бы мы не видѣли ежедневно такого внезапнаго прекращенія привычекъ, занятій и самаго направленія ума въ женщинѣ, то оно показалось бы намъ болѣе удивительнымъ, чѣмъ любая изъ метаморфозъ, рассказанныхъ Овидіемъ» ¹⁾. Но невозможно не видѣть, что эта удивительная метаморфоза совершается слишкомъ внезапно и быстро, чтобы объяснить ее *заботами* матери о ребенкѣ, и что именно происхожденіе самыхъ этихъ заботъ можетъ найти себѣ объясненіе только въ органическихъ перемѣнахъ, въ которыхъ громко заявляетъ свои требованія голосъ природы. Нельзя же объяснить этой внезапной перемѣны работами души, когда именно мы замѣчаемъ крутую перемѣну въ направленіи самыхъ этихъ работъ, нисколько не объясняемую работами предшествующими.

Вотъ причины, побудившія насъ, рядомъ съ пищевыми стремленіями, ощущаемыми душою, какъ состоянія нервного организма, поставить и стремленіе къ общественности, какъ таковое же отраженіе въ душѣ органическихъ состояній. Первое стремленіе, со всѣми своими формами: голодомъ, жаждою, потребностью дыханія, стремленіями къ опредѣленной температурѣ, къ свѣту, со своими инстинктами самосохраненія, очевидно назначено природою къ сохраненію и развитію *единичнаго* организма, какъ растительнаго, такъ и животнаго, съ тою только разницею, что въ растеніи эти стремленія не чувствуются, а въ животномъ душа ощущаетъ потребность удовлетворить ихъ. Второе стремленіе—*стремленіе къ общественности*, выходя изъ тѣхъ же органическихъ состояній, изъ которыхъ выходятъ всѣ инстинкты, очевидно назначено природою для сохраненія и развитія родового и общественнаго существованія организмовъ. Если половыя отношенія необходимы для продолженія рода организма, то и тѣ общественныя, которыя не обуславливаются половыми, необходимы для того же. Пчела не можетъ иначе жить, какъ въ роѣ; но какъ начался роѣ, это намъ одинаково неизвѣстно, какъ и то, какъ начался организмъ. Само собою разумѣется, что, говоря здѣсь о томъ, что эти стремленія *назначены* для продолженія единичнаго, общественнаго и родового существованія организмовъ, мы только свидѣтельствуемъ фактъ, нисколько не олицетворяя природы: т. е., другими словами, мы говоримъ *только*, что этими инстинктами дѣйствительно обезпечивается родовое и общественное существованіе организмовъ.

Удовлетворяя пищевымъ потребностямъ и потребностямъ общественности, животное ощущаетъ эти потребности не какъ потребности природы для него внѣшней, но какъ свои собственныя потребности, значенія которыхъ въ общемъ хозяйствѣ природы оно вовсе не понимаетъ. Животное

¹⁾ Read. Vol. II, p. 161.

ищетъ пищи не для того, чтобы продолжить свое существованіе, а потому, что ему хочется ѣсть; бабочка устраивать судьбу своего будущаго потомства, котораго она никогда не увидитъ, конечно, не для того, чтобы сохранить для энтомологіи извѣстный видъ бабочки, а потому, что чувствуетъ непреодолимую потребность поступать такъ, а не иначе. Человѣкъ, какъ животное, и настолько, насколько онъ животное, также подчиняется голосу природы, не сознавая мірового значенія этого голоса. Удовлетворяя своимъ пищевымъ и общественнымъ инстинктамъ, человѣкъ, какъ животное, просто удовлетворяетъ имъ только потому, что чувствуетъ потребность удовлетворить имъ въ ихъ разнообразной формѣ.

Отсюда уже видна вся несостоятельность передъ фактами тѣхъ теорій, которыя видятъ въ обществѣ только произвольное учрежденіе человѣка, устроенное по эгоистическимъ разсчетамъ разсудка, и которыя предполагаютъ въ основѣ общества или какой-то социальный контрактъ, какъ предполагаетъ Руссо, или какую-то предварительную войну всѣхъ противъ каждаго и каждаго противъ всѣхъ, какъ предполагаетъ Гоббесъ. Мы же видимъ, что если бы человѣкъ и не обладалъ тѣми духовными особенностями, которыя дѣлаютъ его человѣкомъ, то все же онъ жилъ бы, какъ и многія другія животныя, въ обществахъ и обществами. Какого рода были бы эти общества—мы не знаемъ: человѣческія особенности немедленно же начинаютъ видоизмѣнять природные инстинкты, и ни путешествія, ни исторія не представляютъ намъ человѣка въ такомъ видѣ, въ какомъ онъ долженъ бы быть, если бы руководствовался только своими животными инстинктами, не видоизмѣняя ихъ своими духовными, чисто человѣческими особенностями. Человѣкъ вездѣ является для насъ уже человѣкомъ, а не животнымъ; но это, тѣмъ не менѣе, не должно намъ мѣшать отличать въ человѣкѣ то, что общее ему съ животнымъ, отъ того, что составляетъ его человѣческую особенность. Какъ бы ни былъ видоизмѣненъ и развитъ животный инстинктъ особенностями человѣческой природы, но мы имѣемъ всегда возможность доискаться первичныхъ основъ этого инстинкта, или, другими словами, какъ бы ни казалось намъ разумно или разсудочно то или другое явленіе человѣческой жизни, мы должны всегда попробовать, не дойдемъ ли въ основаніи этого разумнаго явленія какого-нибудь неразумнаго инстинкта. Для такихъ анализовъ служатъ намъ превосходнымъ средствомъ факты изъ жизни животныхъ. Въ какомъ бы дикомъ состояніи мы ни брали человѣка, у насъ всегда можетъ оставаться подозрѣніе, что факты, представляемые его жизнью, уже не первичные факты, что въ нихъ уже много измѣнено человѣческою особенностью; но когда мы находимъ тѣ же самые факты въ жизни животныхъ, даже самыхъ низшихъ породъ, тогда у насъ не остается сомнѣнія, что эти общіе факты принадлежатъ и въ человѣкѣ его животной природѣ.

Но тогда какъ животное не сознаетъ мірового значенія тѣхъ инстинктовъ, которымъ оно удовлетворяетъ, человѣкъ мало-по-малу достигаетъ до этого сознанія и, удовлетворяя своимъ инстинктивнымъ стремленіямъ, болѣе или менѣе понимаетъ, какое значеніе въ жизни міра имѣютъ факты, вытекающіе изъ этого удовлетворенія. Человѣкъ, руководимый инстинктомъ, создаетъ общество; но потомъ, сознавая пользу общества для себя и его необходимость для всѣхъ людей, живущихъ и будущихъ, видоизмѣняетъ это общество сообразно своему пониманію, видоизмѣняетъ до того, что съ перваго раза кажется даже страннымъ приписать основу этой чисто-разсудочной работы слѣпому инстинкту; но, тѣмъ не менѣе, психологъ не долженъ останавливаться передъ этою странностью и долженъ анализомъ отличить, что въ сложныхъ общественныхъ явленіяхъ принадлежитъ самосознанію человѣка и что—его животному инстинкту.

Изъ инстинктивнаго стремленія къ общественности выходитъ множество явленій, пзъ которыхъ мы перечислимъ только самыя крупныя. Изъ него выходитъ: 1) половое стремленіе, которое, въ свою очередь, обставлено у многихъ животныхъ изумительнѣйшими инстинктами; 2) изъ стремленія къ общественности вытекаетъ и чувство родительской нѣжности, и побудительная причина всѣхъ тѣхъ заботъ родителей о дѣтяхъ и дальнѣйшемъ потомствѣ, которыя поражаютъ насъ особенно въ царствѣ насѣкомыхъ, гдѣ менѣе всего можно предполагать разсудочнаго развитія; 3) изъ стремленія же къ общественности вытекаютъ тѣ явленія товарищества или, лучше сказать, ассоціацій, которыя во множествѣ представляетъ намъ міръ животныхъ; 4) изъ этого же стремленія къ общественности вытекаетъ та потребность ласки, которую мы замѣчаемъ не только у человѣка, гдѣ она сильно развита, но и у многихъ животныхъ, и которыя иначе не могла быть объяснена.

Потребность ласки и любви не вытекаетъ изъ предмета любви, но есть органическая потребность человѣка, проявляющаяся и у многихъ животныхъ. Это едва ли не самое высшее проявленіе животной жизни, которое, какъ мы увидимъ дальше, принимаетъ въ человѣкѣ совершенно духовную форму. Но какъ бы ни казалась духовна потребность, чтобы насъ любили, она, тѣмъ не менѣе, въ глубочайшей основѣ своей, имѣетъ органическій инстинктъ. Это великій голосъ природы, говорящій всякому живому существу, что оно есть только часть міра, и что его бытіе и благоденствіе обуславливается цѣлымъ міромъ. Животное безотчетно повинуется этому голосу; безотчетно повинуется ему и человѣкъ. Но, изучая міръ, изучая собственную исторію свою, человѣкъ понимаетъ, наконецъ, все великое и глубокое значеніе этого голоса природы, сознаетъ себя дѣйствительно только органомъ міровой жизни и, освѣщая темный инстинктъ свѣтомъ идеи, ищетъ благоденствія не только другихъ людей, но цѣлаго міра. Конечно, мы можемъ раскрыть это преобра-

зованіе только тогда, когда будемъ излагать явленія самосознанія и слѣдить за тѣмъ, какъ человѣческая особенность преобразовываетъ въ человѣкѣ всѣ животныя инстинкты, какъ она превращаетъ въ разумную идею всѣ тѣ потребности растительныхъ организмовъ, которыя сказываются въ животномъ инстинктивными стремленіями удовлетворять своимъ пищевымъ и общественнымъ потребностямъ, самой потребности которыхъ оно не знаетъ, но настоятельность которыхъ оно *чувствуетъ*. Человѣкъ, какъ и животное, повинуется въ этомъ случаѣ только голосу природы; но тогда какъ для животныхъ этотъ голосъ только понудительные звуки, для человѣка, по мѣрѣ его развитія, голосъ этотъ превращается въ понятное слово, а вмѣстѣ съ тѣмъ и законъ необходимости превращается въ законъ разумный, выполняемый потому, что онъ разуменъ, а не потому только, что ему нельзя не повиноваться.

ГЛАВА VІІ.

Стремленіе къ сознательной дѣятельности.

Всѣ стремленія, перечисленные нами въ предшествующей главѣ, составляютъ въ сущности одно стремленіе—*стремленіе быть*, стремленіе къ *существованію* и расширенію этого существованія въ пространствѣ и времени, т. е. къ разрожденію и продолженію въ потомствѣ. Это, какъ мы уже видѣли, есть характеристическая черта *растительнаго организма*¹⁾, который общъ и растенію, и животному, ибо и животное прежде всего есть растеніе, растущее, развивающееся и размножающееся. Но тогда какъ въ растеніи эти органическія потребности не ощущаются, въ животномъ онѣ ощущаются, какъ органическія стремленія, хотя не въ формѣ стремленій, но въ чувствованіяхъ и желаніяхъ, происходящихъ изъ органическихъ стремленій растительной природы. Эти *органическія стремленія* прежде всего выражаются чувствомъ недостатка или страданія, потомъ чувствомъ удовлетворенія, удовольствія и, наконецъ, въ формѣ определенныхъ желаній, въ которыхъ уже есть представленіе желаемаго.

Наряду съ этимъ органическимъ стремленіемъ *быть*, принадлежащимъ бездушной природѣ, хотя и ощущаемымъ душою, мы замѣчаемъ другое стремленіе—стремленіе, идущее какъ бы въ разрѣзъ съ первымъ—*стремленіе жить*, общее всему *живущему*, т. е. всему чувствующему міру. Это стремленіе удовлетворяется на счетъ силъ, добытыхъ растительными процессами, такъ что силы, заготавливаемые растительными процес-

¹⁾ Педаг. Антр., т. I, гл. III.

сами, идутъ не на одинъ ростъ и размноженіе, но поглощаются частію животными процессами, или просто—процессами жизни, ибо жить значить не что иное, какъ чувствовать, мыслить и дѣйствовать. Живая душа въ этомъ своемъ отношеніи къ растительнымъ процессамъ организма представляется, по выраженію Гербарта, «паразитомъ, живущимъ на счетъ тѣла» ¹⁾).

Стремленіе растительнаго организма къ развитію единичнаго существованія, къ расширенію его въ пространствѣ и къ продолженію во времени сказывается въ душѣ *общими* ощущеніями голода, жажды, потребности отдыха и движенія и, наконецъ, въ формѣ общественныхъ и въ частности—половыхъ стремленій. Значеніе этого голоса растительной природы недоступно непосредственному сознанію человѣка, хотя человѣкъ и повинуется этому голосу: человѣкъ хочетъ ѣсть и пить вовсе не для того, чтобы продолжать свое существованіе, но потому, что ему хочется ѣсть и пить; онъ отдыхаетъ не потому, чтобы сознавалъ потребность отдыха для здороваго существованія тѣла, но потому, что ощущаетъ страданіе отъ ненормальнаго состоянія, въ которое впадаетъ нервный организмъ при чрезмѣрномъ истощеніи; точно такъ же ищетъ человѣкъ и половыхъ сближеній, нисколько не думая о продолженіи своего рода, и основываетъ первыя общества, нисколько не разсчитывая пользы общественной жизни, а только повинуюсь голосу своего растительнаго организма. Душа повинуется этому голосу не потому, чтобы *понимала* его смыслъ,—хотя и можетъ повясть его впоследствии,—но потому, что испытываетъ страданія, сопряженныя съ неповиновеніемъ ему. Мы видимъ даже, что душа развитая, сильная, полная уже *своихъ* собственныхъ, *душевныхъ* интересовъ, можетъ не повиноваться голосу растительной природы: можетъ заставить тѣло работать до совершеннаго истощенія силъ, можетъ совершенно подавить половыя стремленія, можетъ даже отказать тѣлу въ пищѣ и, увлекаемая какою-нибудь страстною идеею, довести истощеніе тѣла до голодной смерти. «Кто можетъ умереть, того нельзя ни къ чему принудить»—говорилъ римлянинъ, и это выраженіе справедливо не только въ отношеніи человѣка къ другимъ людямъ, но и въ отношеніяхъ человѣка къ самой природѣ. Человѣкъ можетъ противиться и ея могучему требованію бытія и разрушить ея разсчеты на силу ея тѣлесныхъ стремленій.

Стремленіе *жить* или стремленіе къ сознательной дѣятельности, т. е. стремленіе мыслить, чувствовать, дѣйствовать—свойственно, кажется, не одному человѣку. Мы видимъ, что и животное, по удовлетвореніи всѣхъ своихъ тѣлесныхъ потребностей, не остается спокойнымъ: оно доступно

¹⁾ Lehrb. der Psych. § 68.

скукъ, любить играть, рѣзвиться, пѣть, проявляетъ явные признаки любопытства, ищетъ ласки. Чѣмъ выше порода животнаго, тѣмъ проявленія потребности сознательной дѣятельности замѣтнѣе. Собака пренебрегаетъ даже удовлетвореніемъ тѣлесныхъ потребностей, потребностями пищи и отдыха, ради психическихъ наслажденій, или для избѣжанія психическихъ страданій. Потерявъ любимаго господина, собака видимо страдаетъ психически, отказывается отъ самаго лакомаго куска и иногда даже умираетъ отъ тоски и голода. Лошади способны къ такой же привязанности. Левъ въ Jardin des Plantes въ Парижѣ тосковалъ и отказывался отъ пищи, когда издохла маленькая собачка, съ которою онъ сидѣлъ въ одной клѣткѣ.

Если въ низшихъ породахъ животныхъ мы менѣе замѣчаемъ потребностей психической дѣятельности, то, можетъ быть, потому, что ихъ психическій міръ слишкомъ замкнутъ для насъ, а, можетъ быть, и потому, что имъ слишкомъ много сознательной работы даютъ уже одни стремленія, возникающія изъ растительныхъ процессовъ: бабочка всю свою недолгую жизнь употребляетъ на то, чтобы обезпечить выводъ и развитіе своего будущаго потомства, котораго она никогда не увидитъ, и обезопасить его отъ тѣхъ случайностей, которыхъ она и знать не можетъ. Даже у человѣка, какъ справедливо замѣчаетъ Бокль ¹⁾, мы видимъ прогрессивное возрастаніе чисто психическихъ интересовъ по мѣрѣ того, какъ удовлетвореніе его тѣлесныхъ потребностей становится для него легче и поглощаетъ менѣе его дѣятельность. Науки и искусства возникаютъ тогда, когда накопленіе капиталовъ и изобрѣтеніе орудій значительно уже облегчаютъ сознательный трудъ человѣка къ удовлетворенію потребностей его тѣлесной жизни. И въ индивидуальномъ человѣкѣ мы замѣчаемъ то же самое. Человѣкъ, который съ утра до вечера и всю жизнь свою бьется изъ-за куска насущнаго хлѣба, плохо развивается; но плохо развивается также и тотъ человѣкъ, чья психическая потребность дѣятельности найдеть себѣ обильное удовлетвореніе въ тѣлесныхъ наслажденіяхъ и, неразвита въ-время, привыкнетъ къ узкимъ предѣламъ этой сферы.

Явленіе это весьма понятно. Душа требуетъ сознательной дѣятельности безразлично, откуда бы ни шла ея задача. Если задачи этой дѣятельности даются тѣломъ и его естественными или искусственно-созданными потребностями, и даются въ такомъ обиліи, что душа едва успѣваетъ удовлетворять имъ, то психическое стремленіе удовлетворено,—хотя иногда самымъ жалкимъ образомъ, но удовлетворено.

Но едва ли есть страшнѣе наказаніе для человѣка, какъ, удовлетворивъ всѣмъ его физическимъ потребностямъ, въ то же время лишить его *по*

¹⁾ Исторія цивилизаціи въ Англіи. Перев. Бестужева (изд. 1864), стр. 31.

возможности всякой психической дѣятельности, полное лишеніе которой, къ счастью, невозможно. Едва ли можетъ быть наказаніе тяжелаго одиночнаго заключенія и безъ работы, въ американской тюрьмѣ, чистой, теплой, при столѣ вовсе не скудномъ. Волъ, поставленный въ такое положеніе, будетъ еще жирѣть, но человѣкъ вскорѣ приходитъ въ совершенное отчаяніе и впадаетъ въ безуміе, если не найдетъ въ самомъ себѣ источника душевной дѣятельности.

Еще болѣе мы оцѣнимъ, какое основное значеніе имѣетъ для души человѣка потребность психической дѣятельности, если взглянемъ на обыкновенные мотивы нашихъ дѣйствій.

Если человѣкъ не принадлежитъ къ одной изъ двухъ категорій людей, психическая дѣятельность которыхъ совершенно обезпечена обиліемъ матеріаловъ,—если каждое утро не спрашиваетъ у человѣка: «а что ты будешь ѣсть сегодня?», или если онъ не поглотитъ какую-нибудь *страстною* работою, для которой всѣхъ дней жизни кажется ему мало;—то однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ мотивовъ человѣческихъ поступковъ является отыскиваніе такъ называемыхъ развлеченій, или, другими словами, матеріаловъ для психической дѣятельности. Книги, употребляемыя какъ средство развлеченія и поглощающія такую огромную часть времени у каждаго образованнаго человѣка, карты, поглощающія почти столь же значительную часть времени у многихъ, вечеринки, прогулки, игрушки всякаго рода для малыхъ и взрослыхъ, вино, сонъ, наконецъ, какъ отчаянное средство отъ нечего дѣлать,—все это и многое множество другихъ *препровожденій времени* не имѣетъ въ сущности другого значенія, какъ удовлетвореніе врожденнаго человѣческой душѣ стремленія къ непрерывной дѣятельности. Страшная и жалкая фраза—*убить время*, которая такъ часто слышится, лучше всего характеризуетъ это *коренное* и *великое* стремленіе души. Человѣку такъ мало, кажется, отпущено времени, а между тѣмъ онъ ищетъ всевозможныхъ средствъ *убивать* его. Почему же человѣкъ такъ сердится на время, котораго у него въ запасѣ такъ немного? Не на время сердится человѣкъ, а только выражаетъ этой фразой муку души, ничѣмъ не занятой.

Кто наблюдалъ надъ дѣтьми, тотъ знаетъ, что дитя счастливо не тогда, когда его забавляютъ, хотя оно и хохочетъ,—но тогда, когда оно совершенно серьезно занимается увлекающимъ его дѣломъ. Руссо говоритъ, что дитя или смѣется, или плачетъ ¹⁾, и забываетъ самое нормальное состояніе дѣтской души. Къ кому дитя больше привяжется: къ тому ли, кто его смѣшитъ и лакомитъ, или къ тому, кто сумѣетъ давать ему увлекательную работу? Какую игрушку предпочитаетъ дитя: ту ли, которая тѣшитъ его

¹⁾ Emile, p. 250.

блескомъ, звономъ и яркими красками, или ту, которая даетъ посильную, но самостоятельную дѣятельность его душѣ? И замѣтите, что послѣ веселья дѣти непремѣнно скучаютъ, или что за сильнымъ смѣхомъ почти всегда слѣдуютъ слезы, тогда какъ самостоятельная дѣятельность оставляетъ душу въ нормальномъ, здоровомъ состояніи. Изъ этихъ наблюденій, дѣлаемыхъ всѣми педагогами, мы въ правѣ вывести, что въ душѣ дитяти сильнѣе всего высказывается стремленіе къ самостоятельной дѣятельности.

Если мы будемъ анализировать страстныя (аффективныя) состоянія человѣческой души, то найдемъ въ основѣ этихъ состояній опять же врожденное въ душѣ стремленіе къ дѣятельности.

Возьмемъ, на примѣръ, чувство глубокаго горя, испытываемое нами при потерѣ любимаго человѣка, и мы увидимъ, что и здѣсь одна изъ причинъ нашихъ страданій заключается въ пораженіи души въ ея стремленіи къ психической дѣятельности. Чѣмъ болѣе душа наша находила дѣятельности въ привязанности къ оплакиваемому человѣку, чѣмъ болѣе насоздавала она изъ разнообразныхъ отношеній къ нему различныхъ *сочетаній слѣдовъ*¹⁾, чѣмъ обширнѣе и вѣтвистѣе была сѣть этихъ сочетаній, тѣмъ тяжелѣе для насъ потеря. Почти во всемъ, что мы дѣлали, думали и чувствовали, почти во всѣхъ вереницахъ нашихъ представленій, проникнутыхъ чувствованіями и желаніями,—человѣкъ этотъ былъ необходимымъ звеномъ, красною нитью во всѣхъ безчисленныхъ работахъ нашей души. И вдругъ все это сложное зданіе, надъ постройкой котораго душа наша столько потрудилась, составлявшее, можетъ быть, все содержаніе нашей души, рухнуло и лежитъ въ развалинахъ! Не разъ мысль наша пробуетъ кинуться на привычную дорогу; но ей навстрѣчу грозныя слова: «его или ея уже нѣтъ, и сюда ходить болѣе не зачѣмъ». Человѣкъ пытается поднять какую-нибудь длинную, давно скованную вереницу представленій, и вся эта вереница разваливается на куски: изъ нея вырвано главное связующее звено; человѣкъ хочетъ предпринять что-нибудь новое и останавливается: нѣтъ уже того, кто входилъ въ каждое его желаніе и каждое предпріятіе. Словомъ, все обширное поле душевной дѣятельности превратилось въ однѣ развалины, въ обширное кладбище, и, порываясь ежеминутно къ этому кладбищу, человѣкъ ежеминутно поворачиваетъ назадъ съ чувствомъ душевнаго страданія.

Человѣку приходится теперь начать новую душевную постройку; но каждая новая душевная постройка, сколоченная на скорую руку, изъ обыденныхъ матеріаловъ, вначалѣ и слишкомъ тѣсна, и вмѣстѣ слишкомъ широка, словомъ — не уютна въ сравненіи съ тѣмъ обширнымъ и въ то же время хорошо знакомыхъ жилищемъ, гдѣ душѣ такъ легко и, въ то же время,

¹⁾ Человѣкъ какъ предм. воспит., т. I, гл. XXV.

такъ широко работалось. Но вотъ новый баракъ мало-по-малу отстраивается, прибавляется покой за покоемъ и этажъ за этажемъ. Съ каждымъ годомъ работа все расширяется и идетъ все веселѣе, человѣкъ все больше входитъ въ свою работу и все рѣже и рѣже вздыхаетъ о прежнемъ счастіи.

Вотъ почему люди праздные труднѣе переносятъ горе, чѣмъ люди, побуждаемые къ безустанному труду потребностями матеріальной жизни. Вотъ почему молодость горюетъ, повидимому, сильнѣе старости, но скорѣе ея излѣчивается отъ своего горя: молодость гораздо способнѣе, чѣмъ старость, связывать новыя сочетанія слѣдовъ, выплетать новыя ихъ сѣти и выстраивать новыя зданія; у старости же часто не хватаетъ матеріаловъ для новыхъ душевныхъ построекъ. Гоголь подмѣтилъ и ярко выразилъ эту черту старческаго горя въ своихъ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ». Образъ старушки такъ вплелся во всю сѣть, составлявшую содержаніе души Афанасія Ивановича, что какъ только судьба вырвала эта красную нить, то и все это содержаніе развалилось, хотя старикъ продолжалъ еще двигаться.

Много горестей переноситъ человѣческое сердце; но едва ли есть горе безвыходнѣе того, которое переноситъ пожилая женщина, потерявшая любимаго и уже взрослого сына. Всѣ душевныя движенія этой женщины, всѣ вереницы ея мыслей, желаній, надеждъ, предпріятій сплелись съ идеей объ этомъ утраченномъ человѣкѣ. Она начала жить имъ еще съ тѣхъ поръ, какъ почувствовала его жизнь подъ сердцемъ, и съ тѣхъ поръ каждую минуту и десятки лѣтъ вплетала его образъ во всякое душевное свое движеніе. Въ душѣ ея не осталось ни одного уголка, куда бы она не внесла этого дорогого, всеосвящающаго образа, и чѣмъ больше мысль о сынѣ вплеталась во всѣ самыя затаенныя тропы ея души, тѣмъ становился онъ ей дороже. На одной изъ картинъ въ Ватиканѣ Пресвятая Дѣва изображена старухою, лобзающею зіяющую рану на рукѣ своего Сына, только что снятаго со креста. Можетъ быть, слѣдуетъ обвинить художника, что онъ слишкомъ человѣчески представилъ избранный имъ сюжетъ; но взгляните въ лицо этой женщины, изображенное съ необыкновенною силою, и вы поймете сразу, что весь міръ,—и земля, и люди, всѣ жизненныя отношенія, вся праздничная и будничная обстановка жизни, всѣ желанія и надежды, все, что создавала душа этой женщины въ продолженіе долгой ея жизни,—изорвано, измято, уничтожено, и что теперь для нея весь міръ въ одной этой помертвѣлой рукѣ, лежащей у нея на колѣняхъ, и въ одной этой потемнѣлой, запекшейся язвѣ!

Но не одно горе показываетъ намъ въ своемъ основаніи прирожденное стремленіе души къ дѣятельности. То же самое замѣтимъ мы и во всѣхъ другихъ чувствованіяхъ, какъ это мы увидимъ ниже. Но и теперь мы не можемъ не привести нѣсколькихъ примѣровъ, которые показали бы

читателю, почему мы положили въ основу всѣхъ душевныхъ стремленій— стремленіе души къ дѣятельности.

Одно изъ самыхъ тяжелыхъ для человѣка чувствованій — это, безспорно, чувство страха, и вотъ почему также одно изъ величайшихъ наслажденій, какія только дано человѣку испытывать, есть освобожденіе изъ-подъ невыносимаго гнета подавляющаго страха. Но почему же такъ тяжелъ страхъ, и особенно страхъ бѣдствія, еще не вполне обозначившагося и размѣры котораго еще не опредѣлились? Наблюдайте надъ проявленіемъ этого чувствованія, и вы замѣтите, что оно тяжело именно потому, что ставить непреодолимую преграду для дальнѣйшей душевной дѣятельности. Страхъ бросаетъ тяжелые камни по всѣмъ тѣмъ путямъ, по которымъ привыкла ходить наша душа, а потому не даетъ ей возможности дѣйствовать свободно. Сильный страхъ, какъ тысяченогій полипъ, вплетается во всю нашу душевную работу и останавливаетъ ее, и замѣьте, что чѣмъ сильнѣе, обширнѣе и долговременнѣе угнеталъ насъ страхъ, тѣмъ большій восторгъ обнимаетъ насъ, когда мы преодолеваемъ страхъ и когда душа, въ которой потребность дѣятельности, сдержанная плотиною страха, накопилась, наконецъ прорываетъ эту плотину. Такъ горный потокъ, заваленный на время лавиною, долго копить свои силы; но когда, наконецъ, прорветъ снѣга, то несется и разливается съ силою, равною тому препятствію, которое онъ опрокинулъ.

Если мы приложимъ нашу мысль къ привязанностямъ и ненавистямъ разнаго рода, то скоро увидимъ, что и въ нихъ лежитъ въ основѣ врожденное стремленіе души къ дѣятельности.

Всего сильнѣе, конечно, бываютъ привязанности человѣка къ человѣку, именно потому, что ничто такъ не способно дать душѣ человѣка такую обширную дѣятельность, какую можетъ дать другой человѣкъ. Если же скряга привязывается къ золоту, то привязывается онъ, конечно, не къ металлу, но къ тѣмъ мыслямъ, чувствамъ, надеждамъ и мечтамъ, которыя вызываются въ немъ деньгами, какъ это ярко выставилъ Пушкинъ въ своемъ «Скупомъ рыцарѣ». Въ этомъ постоянномъ приколпленіи богатства уже давно открылась для скряги постоянная и притомъ прогрессивная психическая дѣятельность, и вотъ чѣмъ объясняются слова Ювенала: «Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit», т. е. любовь къ деньгамъ растетъ по мѣрѣ того, какъ растутъ самыя деньги.

Съ кѣмъ мы дружимся скорѣе всего?— Съ тѣмъ, чьи мысли, чувства, желанія открываютъ больше новыхъ сферъ нашей психической дѣятельности. Къ кому мы питаемъ наибольшую ненависть? Именно къ тому, кто повсюду является преградою къ прогрессивному движенію той же нашей психической дѣятельности, къ тому, чей образъ или мысль останавливаетъ

наши собственные мысли. Тиранизм мысли, которой мы, почему бы то ни было, не можем ни принять, ни забыть, ни опровергнуть, едва ли не всего сильнѣе возбуждаетъ нашу ненависть.

Большинство психологовъ не придаетъ стремленію къ сознательной дѣятельности того важнаго значенія, какое оно дѣйствительно имѣетъ въ нашей душевной жизни. Гербартъ, отвергая вообще врожденность стремленій, не могъ отрицать такого очевиднаго факта, какъ стремленіе къ сознательной дѣятельности, но отнесъ его къ жизненной силѣ, которую самъ же отвергъ. Бенекке относитъ стремленіе къ своимъ «первичнымъ силамъ», представляющимъ столь неудачную гипотезу. Стремленіе къ *счастію* есть уже дальнѣйшее производное стремленіе, которому предшествуетъ общее, коренное стремленіе къ дѣятельности, отъ которой обыкновенно и зависитъ счастіе. Кантъ, Локкъ и Лейбницъ сходятся въ томъ, что стремленіе къ дѣятельности выходитъ изъ стремленія освободиться отъ непріятнаго положенія или страданія.

Намъ кажется, что мысль Канта можетъ быть выражена яснѣе, если мы замѣнимъ его философскій языкъ языкомъ психологическимъ. Если *ничто* побуждаетъ насъ переходить отъ одной душевной дѣятельности къ другой и даже искать этой другой, еще не зная ея, то ясно, что это вѣчто не есть удовольствіе новой дѣятельности, которой мы еще не знаемъ, а чувство неудовлетворенія старою, которая начинаетъ намъ уже надоѣдать. Но почему же начинаетъ она надоѣдать намъ?—Именно потому, что она *стара*, т. е. потому, что она намъ извѣстна, или, наконецъ, другими словами, потому что она, какъ извѣстная, мало даетъ дѣятельности душѣ нашей; слѣдовательно, главною побудкою души къ жизненной дѣятельности является недостатокъ этой самой дѣятельности, т. е. стремленіе къ дѣятельности, живущее въ душѣ.

Такимъ образомъ, мы признаемъ два источника стремленій: одинъ *тѣлесный*, т. е. нашъ растительный организмъ со всѣми его органическими потребностями, и другой—*душевный*, т. е. душу съ ея неизсякаемымъ стремленіемъ къ сознательной дѣятельности. Оба эти стремленія вмѣстѣ составляютъ одно общее, всеобнимающее собою стремленіе: *быть* и *жить*. Для тѣла важно *быть*; для души же—*жить*. Существованіе безъ жизни не имѣетъ для души никакого значенія. Далѣе мы откроемъ еще третій источникъ стремленій въ тѣхъ особенностяхъ, которыя свойственны только душѣ человѣка и совокупность которыхъ мы называемъ *духомъ*; но, признавъ этотъ третій источникъ уже теперь, мы затруднили бы наше изслѣдованіе; а потому, предоставивъ себѣ впослѣдствіи разсмотрѣть *духовныя* стремленія человѣка, мы взглянемъ теперь на происхожденіе чувствованій изъ первыхъ двухъ источниковъ: стремленій, выходящихъ изъ

потребностей тѣла, и стремленія, вытекающаго изъ единственной потребности души.

Г Л А В А IX.

Происхожденіе чувствованій изъ органическихъ причинъ.

Какъ ни разнообразны стремленія, возникающія изъ потребности организма, но чувствованія, которыя, въ свою очередь, возникаютъ изъ удовлетворенія или неудовлетворенія этихъ стремленій, имѣютъ общій характеръ, если только отдѣлить специальность самихъ *ощущеній*. Такъ, на примѣръ, неудовлетворенность пищевого стремленія и стремленія къ тѣлеснымъ движеніямъ возбуждаютъ въ душѣ, независимо отъ разнообразія самихъ ощущеній, одинаковыя чувствованія, а именно: неудовлетвореніе этихъ потребностей, возрастая постепенно въ своей напряженности, выражается чувствомъ неудовлетворенности, безпокойства, такъ называемой физической тоски и, наконецъ, положительныхъ страданій, которыя, въ свою очередь, могутъ возрасть въ своей интенсивности до невыносимой степени. Точно такъ же удовлетвореніе тѣхъ же стремленій, независимо отъ специфическаго ощущенія, сопровождающаго это удовлетвореніе, отражается въ душѣ, смотря по степени напряженности самаго стремленія, чувствованіями удовлетворенности, спокойствія, довольства и, наконецъ, болѣе или менѣе напряженныхъ наслажденій. Всѣмъ этимъ чувствованіямъ, возникающимъ отъ удовлетворенія или неудовлетворенія органическихъ стремленій, какого бы они рода ни были, мы можемъ придать общее названіе, именно: *чувствованій удовольствія и неудовольствія*.

Мы отчасти видѣли уже выше, въ какомъ взаимномъ отношеніи являются въ душѣ чувствованія удовольствія и неудовольствія, возникающія отъ удовлетворенія или неудовлетворенія тѣлесныхъ потребностей. Удовольствіе, въ этомъ случаѣ, находится въ постоянной зависимости отъ неудовольствія. Безъ предварительнаго появленія неудовольствія, удовольствіе не могло бы появиться: если бы, на примѣръ, пищевая потребность челоѣка удовлетворялась немедленно по мѣрѣ ея проявленія, то челоѣкъ никогда не испыталъ бы удовольствія процесса питанія. Степень же силы удовольствія находится въ прямой зависимости отъ степени силы предшествующаго ему неудовольствія. Чѣмъ напряженнѣе голодъ, тѣмъ напряженнѣе наслажденіе при его удовлетвореніи.

Челоѣкъ только на печальную монету страданій можетъ покупать наслажденія. Всѣ попытки обмануть природу при этомъ торгѣ оказываются безуспѣшными. Челоѣкъ непрерывно пытается уменьшить страданія, воз-

никающія изъ неудовлетворенія тѣлесныхъ потребностей, и усилить степень наслажденія при ихъ удовлетвореніи; но чувство *пресыщенія* наказываетъ его за эти попытки обмана. Если же, не сознавая неизбѣжности закона природы, человѣкъ настойчиво идетъ по этому пути, то неумолимая природа выполняетъ надъ нимъ то превращеніе, которому подверглись сластолюбивые спутники Улисса во дворцѣ Цирцеи, или—онъ доходитъ до мрачной апатіи ко всему. Эту черту человѣческой природы выразилъ образно Сократъ, говоря, что Юпитеръ бросилъ на землю двухъ близнецовъ, наслажденіе и страданіе, такъ связавши ихъ спинами, что никто не можетъ развязать.

Гораздо менѣе было наблюдаемо то явленіе, что изъ состоянія тѣлеснаго организма, кромѣ этихъ *общихъ чувствованій* удовольствія или неудовольствія, могутъ порождаться чувствованія *спеціальныя*, каковы: гнѣвъ, страхъ, печаль, радость, влеченіе, отвращеніе. Какъ порождаются эти чувствованія въ душѣ изъ состояній тѣлеснаго организма — этого психологія не знаетъ; точно такъ же, какъ не знаетъ она и того, какимъ образомъ вибраціи глазного нерва возбуждаютъ въ душѣ ощущеніе свѣта и различныхъ красокъ. Физиологія, съ своей стороны, также не знаетъ, каковы тѣ состоянія нервнаго организма, которыми уславливается чувство голода или жажды, а равно и *органическое* появленіе чувствованій гнѣва или страха; но, тѣмъ не менѣе, факты такого органическаго появленія различныхъ чувствованій несомнѣнны.

Общая характеристическая черта всѣхъ чувствованій, возникающихъ въ душѣ изъ состояній организма, та, что всѣ они являются для души *безпричинными*. Душа *испытываетъ* эти чувствованія, но не находитъ въ себѣ самой причины ихъ. «Безпричинная радость», «безпричинная печаль», «безпричинный гнѣвъ», «безпричинный страхъ» говоримъ мы именно потому, что, испытывая эти чувствованія въ насъ самихъ, мы не можемъ отыскать причины имъ въ нашемъ сознаніи. Не находимъ же мы этой причины потому, что она не въ сознаніи, а въ ненормальныхъ состояніяхъ нашего тѣлеснаго организма, на что ясно указываетъ множество медицинскихъ наблюденій.

Ложное стремленіе наукъ къ уединенію было причиною, что психологи до сихъ поръ такъ мало обратили вниманія на эти органическія чувствованія, которыя, тѣмъ не менѣе, по *качеству* своему, ничѣмъ не отличаются отъ тѣхъ душевныхъ чувствованій, причину которыхъ мы можемъ отыскать въ нашемъ сознаніи. *Безпричинный* гнѣвъ, возникающій изъ органическаго разстройства, точно такой же гнѣвъ, какъ и тотъ, причину котораго мы ясно сознаемъ въ какомъ-нибудь разсердившемъ насъ событіи. Разница здѣсь не въ *качествѣ*, а въ *источникѣ*: одинъ гнѣвъ выходитъ изъ области, лежащей внѣ нашего сознанія, а другой—изъ причинъ, сознаваемыхъ нами;

но какъ тотъ, такъ и другой—оба одинаково принадлежать душѣ; ибо понятіе гнѣвающагося фосфора точно такъ же нелѣпо, какъ и фосфора видящаго или слышащаго ¹⁾). Чувствованія, какъ и ощущенія, принадлежатъ душѣ; но причины, ихъ вызывающія, могутъ лежать и въ тѣлѣ.

Изъ психологовъ особенное вниманіе на органическія чувствованія обратилъ Карусъ. «Какъ всѣ первобытныя чувствованія, говоритъ онъ, радость возникаетъ изъ двоякаго корня: иногда изъ noci безсознанія, а иногда изъ дня сознательной жизни представленій. Чѣмъ свѣжѣе здоровье, чѣмъ благопріятнѣе отношенія организма ко внѣшнему міру, чѣмъ быстрѣе и нормальнѣе дѣйствуютъ всѣ жизненныя функціи,—тѣмъ благопріятнѣе съ этой стороны настроеніе къ развитію чувства радости, и все это дѣйствуетъ тѣмъ могущественнѣе, чѣмъ менѣе еще развилась душа въ самостоятельный духъ. Отсюда такое разнообразіе радостнаго возбужденія въ различныхъ возрастахъ и различныхъ личностяхъ. Младенецъ, дитя, отрокъ (но уже менѣе) могутъ быть исполнены радости, сами не зная почему: черты лица ихъ освѣщаются этимъ чувствомъ, веселая улыбка играетъ у нихъ на устахъ, и всѣ вопросы о причинѣ ихъ радости были бы напрасны». «Точно такъ же и печаль, говоритъ Карусъ далѣе, выходитъ изъ двухъ различныхъ областей—сознательной и безсознательной. Печаль (причина которой лежитъ въ безсознательной области) есть частью замедленное біеніе сердца, блѣдность, происходящая отъ удаленія крови изъ волосныхъ сосудовъ кожи, замедленное дыханіе и прочее. Отъ особеннаго отраженія этихъ безсознательныхъ процессовъ въ самосознательномъ духѣ образуется, въ связи съ одновременнымъ представленіемъ несчастія, то, что мы называемъ печалью. Конечно, вліянія, которыя періодически возбуждаютъ печаль въ безсознательной сторонѣ, могутъ быть очень разнообразны. Уже однѣ переменны атмосферы имѣютъ весьма чувствительное вліяніе. Туманные дни, холодная сырость—производятъ печальное настроеніе. Одни климаты болѣе способствуютъ этому настроенію, другіе—менѣе. Прекращеніе печали такъ же можетъ выходить изъ сознательной области, какъ и безсознательной. Всякому извѣстно, сколько способствуетъ прекращенію печальнаго настроенія духа тѣлесное движеніе, и особенно движеніе на свѣжемъ воздухѣ при солнечномъ сіяніи. Не подлежитъ сомнѣнію, что характеры цѣлыхъ народностей уславливаются климатомъ» ²⁾). Карусъ пытается также дать и объясненіе этого явленія, но, конечно, даетъ только гипотетическое. «Пытаясь, говоритъ онъ, по возможности уяснить себѣ процессы, при которыхъ исчезаетъ печаль, мы должны себѣ припомнить, какъ вся жизнь представленій особеннымъ, таинствен-

¹⁾ Пед. Антр., ч. I, гл. XXXVIII.

²⁾ Die Anthropologie v. K. Schmidt. II Th. 1865 г. S. 302—304.

нымъ образомъ связана съ извѣстными (извѣстны ли онѣ?) неизмѣримыми перемѣнами въ иннервационномъ напряженіи мозга», т. е. другими словами и откровеннѣе — разгадка этого явленія скрывается въ непостижимой связи души и нервнаго организма.

Такимъ образомъ гербартовская теорія, по которой чувствованія возникаютъ единственно изъ борьбы представленій, противорѣчитъ такимъ фактамъ, когда чувствованія возникаютъ прямо изъ состоянія организма. Подтверженіемъ этого могутъ служить и такія уже болѣзненные (патологическія) явленія, когда человѣкъ въ тропическихъ странахъ, подъ вліяніемъ жгучихъ лучей солнца, дѣйствующихъ на его незащищенную голову, приходитъ въ изступленное состояніе; когда чувство его напрягается до аффекта, и онъ совершаетъ самыя безумныя дѣйствія (Карусъ). Къ этой же категоріи явленій относится водобоязнь, причиненная укушеніемъ бѣшенаго животнаго и проявляющаяся сначала *печалью, безпокойствомъ, болтливостью*, и наконецъ *страхомъ* и даже *ужасомъ* при видѣ всякой жидкости (Гриссольт). Здѣсь чувствованія происходятъ не отъ борьбы представленій, а отъ болѣзненнаго состоянія организма. Ипохондрія, также зависящая отъ разстройства физическаго организма и нерѣдко наследственная, обыкновенно сопровождается безпричиннымъ чувствомъ печали, недовѣрія, страха, доходящаго иногда до такой напряженности, что человѣкъ рѣшается покончить съ жизнью. Наследственность этой болѣзни именно указываетъ на органическое ея происхожденіе, хотя ее могутъ породить и психическія причины. Даже чувство *привязанности* можетъ рождаться отъ органическихъ причинъ; на примѣръ, собака, послѣ произведенія на свѣтъ щенятъ, огрызается на хозяина, къ которому ласкалась даже послѣ побоевъ; когда же оканчивается періодъ кормленія, привязанность собаки снова беретъ верхъ. У человѣка органическая привязанность есть только основа душевной, которая можетъ быть безконечна. Въ первомъ случаѣ это только *периодическое* состояніе организма, а во второмъ—безконечно растущая и расширяющаяся ассоціація представленій. Это двѣ совершенно разныя, хотя и сограничныя категоріи явленій. У безумныхъ не чувствованія возникаютъ изъ представленій, а, напротивъ, послѣднія подбираются въ такомъ составѣ и порядкѣ, въ какомъ они даютъ пищу угнетенному органическому чувству больного (Эскироль).

Ясно, что ни теорія *эгоизма*, ни теорія борьбы представленій не подтверждаются явленіями душевной нашей жизни. Чувствованія часто возникаютъ безъ всякихъ обусловливающихъ ихъ представленій точно такъ же, какъ ощущенія звука или свѣта иногда являются безъ всякаго внѣшняго возбужденія, а единственно отъ вибраціи слуховыхъ или зрительныхъ нервовъ (искры въ глазахъ, звонъ въ ушахъ). Въ подобныхъ случаяхъ душа не знаетъ о причинѣ своихъ ощущеній или чувствованій, а *просто испытываетъ ихъ*. Нервная система при этомъ является лишь *посредствующимъ* органомъ между душою и внѣшними факторами, причемъ всѣ элемен-

тарныя чувствованія могутъ быть двоякаго происхожденія: или органическаго, или психическаго.

ГЛАВА X.

Происхожденіе чувствованій изъ сознательныхъ представленій.

Если нужно было доказывать возможность происхожденія чувствованій изъ непосредственнаго вліянія на душу состояній тѣлеснаго организма, то едва ли нужно доказывать, какъ могутъ рождаться чувствованія изъ представленій. Страшный предметъ внушаетъ намъ страхъ, хотя бы мы предъ этимъ находились въ самомъ спокойномъ и радостномъ настроеніи; веселая мысль часто заставляетъ насъ улыбнуться при самомъ печальномъ настроеніи духа. Здѣсь ясно, что чувствованіе возникаетъ изъ представленій или, лучше сказать, изъ нашего отношенія къ представленію, потому что одно и то же представленіе въ одномъ лицѣ можетъ возбудить страхъ, въ другомъ гнѣвъ, въ третьемъ смѣхъ и т. д.

Для краткости станемъ называть всѣ чувствованія, возникающія изъ представленій—*душевными*, въ отличіе отъ тѣхъ, о которыхъ мы говорили въ прошедшей главѣ и которыя, такъ какъ они, невѣдомо для насъ самихъ, возникаютъ въ душѣ нашей изъ тѣхъ или другихъ состояній организма, назовемъ *органическими*. Мы не придаемъ особеннаго значенія самымъ этимъ терминамъ; но они покуда годятся намъ для нашей ближайшей цѣли.

По качеству, *органическія* чувствованія отъ *душевныхъ* не различаются. Гнѣвъ, возбужденный въ душѣ какою-нибудь органическою причиною, и потому органическій гнѣвъ, точно такой же гнѣвъ, какъ и тотъ, причину котораго мы ясно сознаемъ въ томъ или другомъ представленіи. Но *органическія* чувствованія отличаются отъ *душевныхъ* способомъ своего происхожденія: ибо тогда какъ первыя, *органическія*, предшествуютъ представленіямъ и подбираютъ ихъ соотвѣтственно своему спеціальному характеру, вторыя, т. е. *душевныя*, сами возникаютъ изъ сознаваемыхъ нами представленій и руководятся ими.

Однакоже человѣку недостаточно только сознавать представленіе, чтобы изъ него возникло въ душѣ то или другое чувствованіе: онъ долженъ еще *понимать* отношеніе этого представленія къ самому себѣ, къ своей личности. Человѣку недостаточно видѣть наведенное на него ружье, чтобы почувствовать страхъ: онъ долженъ еще *понимать*, какая опасность грозитъ ему въ этомъ случаѣ; если же онъ этого не понимаетъ, то и не почувствуетъ страха.

Но и одного этого пониманія недостаточно еще, чтобы то или другое представленіе вызвало въ душѣ человѣка то или другое чувствованіе. Если мы представимъ себѣ человѣка, который вовсе не *боится смерти*, то заряженное ружье, на него наведенное, не возбудитъ въ немъ никакого страха. Слѣдовательно, для того, чтобы почувствовать страхъ въ данномъ случаѣ, надобно еще бояться смерти, т. е., другими словами, надобно *носить* въ себѣ *стремленіе* къ жизни. Вотъ этого-то послѣдняго условія и не замѣтили Гербартъ и его послѣдователи, отвергавшіе всѣ врожденныя стремленія и выводившіе всѣ чувствованія только изъ взаимнаго отношенія представленій¹⁾. Мы же видимъ ясно, что въ какую бы борьбу мы ни ставили представленій, изъ нихъ не возникнетъ душевное чувствованіе, если мы не предположимъ въ человѣкѣ никакихъ врожденныхъ стремленій.

Самый спеціальный характеръ чувствованія зависитъ также не отъ представленія, возбуждающаго чувствованіе, но возникаетъ изъ отношеній этого представленія къ тому, кто представляетъ. Вотъ почему одно и то же представленіе можетъ возбуждать въ различныхъ людяхъ самыя противоположныя чувствованія. Такъ, напримѣръ, приходъ нежданнаго гостя, возбуждающій радость въ душѣ гостепріимнаго и щедраго человѣка, возбудитъ негодованіе и страхъ въ душѣ скряги. Слухи о приближающемся голодѣ, заставляющіе печалиться и такихъ людей, которымъ нечего бояться голода, могутъ наполнить душу сребролюбца самыя радостныя надежды. Даже въ одномъ и томъ же человѣкѣ одно и то же представленіе можетъ возбуждать различныя чувствованія въ разное время: что возбуждало страхъ въ дѣтствѣ, то можетъ насъ потомъ смѣшить, и даже то, что сердило насъ утромъ, можетъ развеселить насъ послѣ обѣда. Отчего же зависитъ такое разнообразіе чувствованій, возбуждаемыхъ однимъ и тѣмъ же представленіемъ? На это обыкновенно отвѣчаютъ: отъ различнаго *настроенія* души, и отвѣчаютъ совершенно справедливо.

Наблюдая надъ проявленіями различныхъ чувствованій у дѣтей, мы замѣчаемъ, что большею частію одинаковое представленіе дѣйствуетъ на дѣтей одинаково; но съ теченіемъ времени душа человѣка пріобрѣтаетъ свой особенный, ей только свойственный строй—и тогда уже одно и то же представленіе начинаетъ вызывать у разныхъ людей разныя чувствованія. Слѣдовательно, душевный строй есть, главнымъ образомъ, произведеніе жизни и вырабатывается жизненными опытами, которые для каждаго человѣка различны. Конечно, въ этой выработкѣ принимаетъ большое участіе и врожденный темпераментъ человѣка, но теперь насъ занимаетъ не этотъ вопросъ.

¹⁾ См. выше, ч. II, тл. IV.

Вначалѣ всѣ стремленія, и душевныя, и тѣлесныя, во всѣхъ людяхъ одни и тѣ же. Всякій человѣкъ хочетъ ѣсть, пить, ищетъ общества себѣ подобныхъ, ищетъ душевной и тѣлесной дѣятельности. Правда, онъ и потомъ ищетъ все того же; но въ способѣ удовлетворенія этихъ стремленій уже замѣчается большое разнообразіе. Возьмемъ для примѣра самое простое стремленіе—стремленіе къ пищѣ. Сначала это только *общее* стремленіе удовлетворить тѣлесной потребности питанія, и удовлетворить ее чѣмъ бы то ни было. Только что родившійся младенецъ не разбираетъ пищи. Но, вмѣстѣ съ удовлетвореніемъ, неопредѣленное *стремленіе* къ пищѣ начинаетъ вырабатываться въ опредѣленныя *желанія* той или другой пищи; такъ что потомъ одна и та же самая пища можетъ возбуждать въ одномъ удовольствіе, а въ другомъ отвращеніе.

То, что мы сказали въ отношеніи тѣлесныхъ стремленій, еще болѣе примѣнимо и къ тому единственному душевному стремленію, которое мы до сихъ поръ отыскали, а именно—къ стремленію души къ сознательной дѣятельности ¹⁾. Вначалѣ это только *общее* стремленіе, и душу удовлетворяетъ всякая сознательная дѣятельность, только пришла бы она душѣ по силамъ. Но современемъ человѣка естественно увлекаетъ та сфера дѣятельности, которую онъ самъ же предварительно разработалъ и въ которой потому душа его работаетъ и шире, и легче, и успѣшнѣе, чѣмъ во всѣхъ другихъ. Но такъ какъ эти сферы дѣятельности до безконечности разнообразны, такъ же разнообразны, какъ жизни людскія, то отсюда возникаетъ безконечное разнообразіе въ чувствованіяхъ, возбуждаемыхъ одними и тѣми же представленіями въ различныхъ людяхъ. Въ отношеніи стремленія человѣка къ сознательной дѣятельности разнообразіе человѣческихъ желаній и склонностей еще гораздо болѣе, чѣмъ въ отношеніи удовлетворенія потребностей тѣлесныхъ, которыя до нѣкоторой степени сохраняютъ свое сходство у всѣхъ людей.

Намъ еще не время говорить здѣсь о выработкѣ опредѣленныхъ желаній, склонностей и страстей изъ врожденныхъ стремленій, такъ какъ эти психическія явленія относятся къ области воли. Но, тѣмъ не менѣе, мы должны уже имѣть въ виду эту выработку, о которой мы и выше сказали нѣсколько словъ, чтобы понять, какимъ образомъ у людей изъ однихъ и тѣхъ же прирожденныхъ стремленій могутъ выработаться самыя разнообразныя настроенія души, чѣмъ условливается и различіе чувствованій, вызываемыхъ у разныхъ лицъ однимъ и тѣмъ же представленіемъ. Совокупность этихъ уже выработанныхъ жизнью желаній, склонностей и страстей и составляетъ то, что мы называемъ *строемъ* души.

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. VIII.

Сначала, въ своей сознательной жизни, человѣкъ одинаково относится ко всѣмъ возможнымъ представленіямъ, но это продолжается до первыхъ опытовъ жизни. Съ перваго же раза опыты эти показываютъ ему, что одни предметы удовлетворяютъ его стремленіямъ, другіе нѣтъ, одни удовлетворяютъ больше и лучше, другіе меньше и хуже, третьи совсѣмъ не удовлетворяютъ, четвертые мѣшаютъ этому удовлетворенію и т. д. Тогда уже безучастность человѣка къ представленіямъ прекращается, и одни изъ нихъ возбуждаютъ въ душѣ его радость, другія гнѣвъ, третьи страхъ, и т. д. Отсюда уже понятно, какъ можетъ разнообразиться строй души у разныхъ людей съ теченіемъ жизни.

Еще понятнѣе станетъ намъ это, если мы прослѣдимъ, хоть бѣгло, развитіе въ душѣ какой-нибудь страсти. Нѣтъ сомнѣнія, что человѣкъ не родится ни скупымъ, ни щедрымъ; но, смотря по тому, въ чемъ найдетъ онъ больше удовольствія и пищи для своей сознательной дѣятельности, въ сбереженіи ли денегъ, или въ тратѣ ихъ, можетъ образоваться въ немъ та или другая склонность. Самое же это различіе взгляда, какъ чрезвычайно мѣтко указалъ Броунъ, можетъ зависѣть даже отъ случайности, по видимому очень мелкой. Деньги только символъ или орудіе наслажденія. Рубль, оставаясь въ нашемъ карманѣ, представляетъ собой множество разнообразнѣйшихъ наслажденій; тотъ же самый рубль, истраченный нами, даетъ намъ одно наслажденіе, очень небольшое и часто очень скоро забываемое. Если мальчику, напримѣръ, случилось истратить свой первый грошъ, надъ которымъ онъ много мечталъ, на такое удовольствіе, которое быстро исчезло безъ слѣда, и если дитя вспомнить то счастливое состояніе своей души, которое онъ испытывалъ, обладая грошемъ, то душу его можетъ наполнить сожалѣніе объ истраченныхъ деньгахъ. Сожалѣніе же это, повторяясь часто, можетъ положить въ душѣ первыя основы скупости. Если же мальчикъ на свои первыя деньги купилъ прочную и занимательную вещь, которая даетъ ему много наслажденій, такъ что онъ позабудетъ о счастливыхъ минутахъ, когда онъ еще былъ обладателемъ своихъ денегъ, то направленіе его склонностей можетъ быть другое ¹⁾. Когда же та или другая склонность образуется, наконецъ, въ человѣкѣ, тогда и душа его станетъ своимъ особеннымъ, ей только свойственнымъ чувствомъ отвѣчать на представленія.

Строй души уславливается, конечно, слѣдами пережитыхъ ею представленій не безхарактерными слѣдами, о которыхъ мы говорили въ первой части нашей антропологии, но слѣдами, которые проникнуты тѣми чувствами, съ которыми представленія входили въ душу человѣка. Если бы

¹⁾ Brown. p. 461, 462.

въ человѣкѣ не было никакихъ опредѣленныхъ стремленій, то онъ относился бы безучастно ко всякаго рода представленіямъ и ко всякой комбинаціи ихъ, и въ душѣ сохранялись бы слѣды этихъ представленій, скопанные вереницами и сѣтями по законамъ памяти, но не имѣющіе никакого *чувственного* характера. Но какъ только мы предположимъ въ человѣкѣ врожденныя стремленія, такъ и предметы внѣшняго міра, представленія о которыхъ мало-по-малу наполняютъ его душу, получаютъ для него чувственное разнообразіе; а вмѣстѣ съ тѣмъ вереницы и сѣти слѣдовъ представленій, сохраняющіяся въ его памяти, должны быть проникнуты тѣми чувствованіями, съ которыми эти представленія воспринимались. Это относится не къ однимъ какимъ-нибудь слѣдамъ представленій, но ко всѣмъ безъ исключенія. Даже самое отвлеченное ученое мышленіе, по вѣрному замѣчанію великаго мыслителя и фізіолога Миллера, не свободно отъ этого оттѣнка страстности. Ученый, составившій какую-нибудь гипотезу въ тиши кабинета и не объявившій ея никому, тѣмъ не менѣе чувствуетъ неудовольствіе, когда эта гипотеза оказывается ошибочною ¹⁾.

Всякое новое представленіе, входящее въ душу ребенка, непременно имѣетъ свой особый чувственный характеръ, и въ памяти дитяти сохраняется не только слѣдъ самаго представленія, но и слѣдъ того чувства, съ которымъ оно было воспринято душою. Изъ этихъ *чувственныхъ* слѣдовъ возникаютъ проникнутые разнообразнѣйшими чувствованіями вереницы и сѣти, а всѣ онѣ вмѣстѣ составляютъ то, что мы называемъ *строемъ души*. Новое представленіе, входя въ душу человѣка, относится уже не прямо къ его природнымъ стремленіямъ, а къ тому строю души, который выработался изъ тѣхъ же природныхъ стремленій черезъ посредство жизненнаго опыта. И вотъ почему каждое новое представленіе, каждое новое звено, которое вплетаетъ человѣкъ въ сѣть своихъ представленій, вызываетъ въ каждой душѣ свой особый звукъ, свое особое душевное чувство, такъ что въ этомъ отношеніи Бэнъ былъ совершенно правъ, утверждая, что чувствованія въ различныхъ людяхъ могутъ достигать такой индивидуальности, что одинъ человѣкъ не можетъ вполне передать другому того, что самъ чувствуетъ ²⁾.

Теперь намъ уже будетъ понятно, почему Спиноза называлъ чувствованія отношеніемъ новыхъ представленій къ совокупности стремленій человѣка, составляющей его сущность ³⁾. Спиноза только не отдѣлялъ стремленій отъ желаній, наклонностей и страстей, какъ мы это слѣдали, замѣтивъ, между тѣмъ, что, какъ бы ни были сложны человѣческія стре-

¹⁾ Man. de Physiol. P. II, p. 512.

²⁾ Bain, p. 46.

³⁾ Spinoza, Eth. P. II. P. IV, prop. 5.

мленія и склонности, мы, анализируя ихъ, всегда найдемъ въ основѣ то же врожденное стремленіе, только разработанное опытами жизни въ ту или другую форму.

Это отношеніе новаго представленія къ ассоціациямъ слѣдовъ старыхъ, проникнутыхъ опредѣленными чувствованіями, отыскивается сознаниемъ въ разсудочномъ процессѣ. Встрѣчаясь съ новымъ представленіемъ, человѣкъ иногда долго и нерѣшительно примѣриваетъ его то къ тѣмъ, то къ другимъ вереницамъ прежнихъ представленій, и при этомъ душа всегда издаетъ различный звукъ. Такъ, смотря на новое явленіе, мы можемъ испытывать самыя разнообразныя чувствованія, что зависитъ отъ того, съ какой стороны мы на него взглянемъ. При этой примѣркѣ сознание, конечно, руководится своею способностью сравнивать и различать, но самая чувствительная оцѣнка представленія возникаетъ не изъ этого *логического* процесса, хотя и посредствомъ его. «Чувство логическаго признанія, говоритъ Гербартъ, совершенно отличается отъ эстетическаго (нравственнаго) предпочтенія или отверженія (*Vorziehen und Verwerfen*)» ¹⁾. Мы можемъ очень хорошо понимать разсудкомъ, что извѣстное явленіе составляетъ для насъ благо; но въ то же время это явленіе можетъ вызвать въ насъ чувство страха или отвращенія, смотря по чувственному характеру преобладающихъ въ насъ въ это время ассоціаций представленій. Такъ, больной, понимающій очень хорошо всю необходимость операціи, можетъ въ то же время бояться ея и смотрѣть съ отвращеніемъ и ужасомъ на ея орудія. Но пусть больной глубоко вдумается въ опасность своей болѣзни и необходимость операціи, взглянетъ такъ, чтобы душа его наполнилась на минуту этими думами и соотвѣтствующими имъ чувствованіями, и онъ посмотритъ на руку оператора совсѣмъ съ другимъ чувствомъ, хотя черезъ мгновеніе, можетъ быть, опять поддастся чувству страха.

Этотъ процессъ примѣриванія, результатомъ котораго являются различныя чувствованія, совершается иногда весьма медленно и замѣтно, а иногда такъ мгновенно, что мы готовы признать, что чувство родилось у насъ прежде соображенія, и что мы, напримѣръ, сначала *почувствовали* опасность, какъ это обыкновенно говорится, а потомъ уже *поняли* ее. Но это не болѣе, какъ ошибка, происходящая отъ быстроты нашихъ соображеній, и отъ того, что они совершаются въ насъ часто, не облекаясь въ форму словъ. Но если мы совершенно не понимаемъ опасности какого-нибудь явленія, то смотримъ на него очень спокойно и можемъ съ улыбкою на лицѣ выпить стаканъ отравы. Если же, наконецъ, не у людей, сколько намъ извѣстно, а у вѣкоторыхъ животныхъ замѣчается способ-

¹⁾ Herbart's Lehrb. der Psychol. § 85.

ность чувствовать опасность, не понимая ея, то чувствованія такого рода слѣдуетъ причислить къ *инстинктамъ*, т. е. къ чувствованіямъ *органическимъ*, а не душевнымъ. Это голосъ природы, которому безсознательно повинуются животное, какъ повинуются оно чувству голода и особенностямъ своихъ вкусовъ, указывающихъ ему на пищу для него вредную и полезную, или какъ повинуются, напримѣръ, человѣкъ, одержимый водобоязнью, невольному отвращенію ко всякой жидкости. У человѣка, по крайней мѣрѣ въ настоящемъ его состояніи, мы не замѣчаемъ такихъ спасительныхъ инстинктовъ.

Объяснивъ, какъ образуется различіе душевнаго строя у разныхъ людей, мы тѣмъ самымъ уже объяснили, какъ можетъ измѣняться душевный строй у одного и того же человѣка съ теченіемъ его жизни. Но это измѣненіе можетъ быть общее и частное. *Общее*, коренное измѣненіе происходитъ медленно и трудно, и чѣмъ старше становится человѣкъ, тѣмъ оно дѣлается труднѣе. *Частное* же измѣненіе можетъ зависѣть отъ множества причинъ, какъ органическихъ, такъ и душевныхъ. Такъ, частное временное настроеніе души быстро мѣняется подъ вліяніемъ болѣзненнаго и здороваго состоянія организма, подъ вліяніемъ погоды, часовъ дня и мимолетныхъ впечатлѣній. Но эти частныя перемѣны не нарушаютъ кореннаго строя души, и она, на время выведенная изъ своего уровня, опять стремится возвратиться къ нему.

Не только у единичныхъ личностей, но и у цѣлыхъ народовъ мы можемъ замѣтить разнообразіе въ душевномъ строѣ, а отсюда и разнообразіе чувствованій, вызываемое одними и тѣми же представленіями. Что разсердить и опечалить китайца, то можетъ разсмѣшить француза, и наоборотъ: отъ чего французъ придетъ въ бѣшенство, то можетъ очень слабо подѣйствовать на китайца. Душевный строй народа также мѣняется съ теченіемъ исторіи, и что пугало нашихъ предковъ, то смѣшитъ насъ теперь. Въ душевномъ строѣ народа, и особенно высшихъ слоевъ общества, безпрестанно замѣчаются также частныя измѣненія, не касающіяся кореннаго настроенія. Что лѣтъ пять тому назадъ встрѣчалось въ нашемъ обществѣ рукоплесканіями, то теперь можетъ быть встрѣчено насмѣшками. Угадывать это душевное настроеніе общества и руководить имъ— составляетъ главную задачу политики; но содѣйствовать образованію въ душѣ дитяти такого кореннаго строя, который достоинъ человѣка,—вотъ величайшая задача воспитанія и воспитателя.

Г Л А В А XI.

Практическое значеніе сердечныхъ чувствованій,

Наши поступки выходятъ изъ нашихъ желаній, а наши желанія изъ чувствованій, испытываемыхъ нами при удовлетвореніи или неудовлѣтвовреніи нашихъ стремленій. Отсюда уже вытекаетъ само собою все практическое значеніе нашихъ чувствованій. «Всякій предметъ, говоритъ Бэнъ, который намъ нравится, увлекаетъ, очаровываетъ душу, настоящій ли онъ, будущій или воображаемый, примитивный или возникающій изъ ассоціаціи, есть сила, побуждающая насъ къ дѣйствию» ¹⁾. Но въ другомъ мѣстѣ также справедливо замѣчаетъ тотъ же психологъ, что чувство, чтобы сдѣлаться постояннымъ мотивомъ нашихъ дѣвствій (или, по нашему, превратить стремленіе въ желаніе ²⁾), должно оставить свой слѣдъ въ памяти ³⁾. Вотъ эти-то слѣды чувствованій въ памяти и становятся мотивомъ сознательныхъ желаній. Несмотря однако на такую очевидность практическаго значенія чувствованій, въ обществѣ существуютъ въ этомъ отношеніи самыя шаткія понятія.

Въ обществѣ часто слышится фраза, что «ничто такъ не цѣнится въ человѣкѣ, какъ его чувство», а рядомъ слышится также и другая, совершенно противоположная, что «въ чувствахъ своихъ человѣкъ не воленъ». Но если человѣкъ не воленъ въ своихъ чувствованіяхъ, то ставить ему въ достоинство или въ укоръ эти самыя чувствованія такъ же рационально, какъ ставить ему въ достоинство или въ укоръ его физическія преимущества и недостатки. Однакоже оба эти ходячія мнѣнія, какъ они ни противорѣчатъ другъ другу, имѣютъ много справедливаго.

Мнѣніе, что чувствованія въ человѣкѣ всего дороже, совершенно справедливо въ томъ отношеніи, что ни въ чемъ такъ не высказывается истинный, неподдѣльный человѣкъ, какъ въ своихъ чувствованіяхъ: высказывается самъ для себя и для другихъ, насколько его чувствованія другимъ доступны. Ничто: ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражаютъ такъ ясно и вѣрно насъ самихъ и наши отношенія къ міру, какъ наши чувствованія: въ нихъ слышенъ характеръ не отдѣльной мысли, не отдѣльнаго рѣшенія, а всего содержанія души нашей и ея строя. Въ мысляхъ нашихъ мы можемъ сами себя обманывать, но чувствованія

¹⁾ The Will, p. 396.

²⁾ См. выше, ч. II, гл. V.

³⁾ The Will, p. 423.

наши скажутъ намъ, что мы такое; не то, чѣмъ бы мы хотѣли быть, но то, что мы такое на самомъ дѣлѣ.

Часто, напримѣръ, человѣку кажется, что онъ безкорыстенъ, доброжелателенъ въ отношеніи другихъ людей и искренно любитъ друзей своихъ; но пусть онъ внимательно прислушается къ тому, какимъ звукомъ отзовется его сердце на новость о неожиданномъ обогащеніи или возвышеніи его друга. Если сердце его издастъ звукъ веселый, то онъ можетъ заключить, что у него дѣйствительно доброе сердце и что онъ искренно любитъ своего друга; если же звукъ этотъ будетъ печаленъ, то пусть человѣкъ измѣнитъ мнѣніе о своемъ сердцѣ и о своемъ отношеніи къ друзьямъ. Мы можемъ въ мысляхъ считать себя большими героями; но только въ чувствахъ нашихъ, отзывающихся на опасности, мы можемъ узнать, дѣйствительно ли мы герои. Вотъ почему Бенеке весьма удачно сказалъ, что въ мысляхъ нашихъ выражается наше *теоретическое*, а въ чувствованіяхъ—наше *практическое* отношеніе къ міру. Впрочемъ, ту же самую мысль выразилъ еще прежде Кантъ въ своей «Антропологіи».

Исторія нашихъ чувствованій есть самая интимная исторія нашей души. Со всѣми сколько-нибудь значительными воспоминаніями у насъ неперемѣнно связаны какія-нибудь замѣтныя и ясно опредѣленныя чувствованія. Въ душу нашу ложатся слѣды не простыхъ, но проникнутыхъ чувствами представленій,—не простые абрисы сознанія, но раскрашенныя чувствами картины. Перетряхивая же цѣпь нашихъ воспоминаній, мы или слышимъ прежніе звуки, какіе раздавались тогда, когда она сплеталась, или они значительно уже измѣнились. Одни звенья этой цѣпи, звучавшія когда-то такъ сладостно или болѣзненно, издають теперь какой-то глухой, неопредѣленный, чуть слышный звукъ; другія не издають уже почти никакого, хотя мы ясно помнимъ, какъ сильно звучали они прежде. Третьи, наконецъ, къ нашему изумленію, совершенно перемѣнили свой тонъ и звучатъ, напримѣръ, печально, когда прежде звучали радостно. Это измѣненіе прежнихъ чувствованій есть самое вѣрное мѣрило нашихъ душевныхъ перемѣнъ: перемѣнъ въ самомъ строѣ нашей души, отъ чего измѣняется и резонансъ ея, когда по ней ударяютъ новыя впечатлѣнія.

Борьба между различными чувствованіями въ одной и той же душѣ есть явленіе, знакомое каждому. Возможность такой борьбы объясняется тѣмъ, что изъ различныхъ органическихъ стремленій и изъ одного и того же основного стремленія души вырабатывается въ жизни много различныхъ желаній, наклонностей и страстей, которыя не пришли еще въ единство между собою и могутъ существовать въ душѣ разомъ, противорѣча другъ другу. Новое представленіе, входя въ сознаніе, можетъ удовлетворять одному желанію и противорѣчить въ то же время другому и, слѣ-

довательно, вызывать въ нашей душѣ различныя чувствованія, смотря по тому, къ какому ряду звеньевъ прилаживаеъ нашъ разумъ новое звено. Вотъ почему и чувствованія наши, какъ и наши мысли, могутъ противорѣчить одно другому.

Какое же стремленіе одолеваетъ въ этой борьбѣ чувствованій? Это зависитъ отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, отъ самаго представленія, вызывающаго въ насъ то или другое чувствованіе, а во-вторыхъ, отъ сравнительной силы борющихся въ душѣ первичныхъ стремленій, тѣлесныхъ и душевныхъ, и выработанныхъ душою противоположныхъ желаній. Въ каждомъ представленіи есть много сторонъ, и если въ данномъ представленіи болѣе сторонъ, удовлетворяющихъ стремленію А, чѣмъ стремленію Б, которыя противорѣчатъ другъ другу, то новое представленіе, конечно, примкнетъ къ ряду слѣдовъ, вызванныхъ дѣятельностью стремленій А, если мы примемъ, конечно, что оба ряда слѣдовъ, проникнутыхъ различными стремленіями, равносильны. Здѣсь, слѣдовательно, борьба рѣшается самымъ характеромъ представленій. Но если сила стремительности въ двухъ рядахъ аффективныхъ (т. е. проникнутыхъ чувствами) представленій различна, то борьба будетъ рѣшена, конечно, въ пользу того ряда представленій, стремительность котораго сильнѣе. Такъ, если мы въ одно и то же время чувствуемъ усталость и голодъ, то побѣда останется на сторонѣ того стремленія, которое сильнѣе.

Изъ всего этого выходитъ само собою, что въ чувствованіяхъ нашихъ мы дѣйствительно не вольны, ибо въ чувствованіяхъ высказывается еще прошедшая исторія нашей души. Прежде, чѣмъ мы подумаемъ, хорошо или дурно наше чувствованіе, оно уже совершилось. Мы можемъ дать и не дать практическихъ послѣдствій чувствованію, отозвавшемуся въ нашей душѣ, но тѣмъ не менѣе оно уже было. Въ чувствахъ своихъ, слѣдовательно, мы не вольны; но такъ же ли мы невольны въ томъ душевномъ строѣ, которымъ опредѣляется характеръ чувствованій?

Философы и психологи, даже отвергающіе свободу воли въ человѣкѣ (напримѣръ: Спиноза, Бэнъ, Локкъ и др.), тѣмъ не менѣе, признаютъ (и мы не можемъ не видѣть въ этомъ противорѣчія), что человѣкъ можетъ воспитывать свои чувства, т. е. можетъ давать тотъ или другой строй своей душѣ. Спиноза прямо указываетъ на то, что страсть, подкрѣпляемая разумомъ, всегда сильнѣе страсти, имъ не подкрѣпляемой, и что потому мы можемъ въ борьбѣ страстей склонить побѣду на ту сторону, которой придаемъ въ помощь нашъ разумъ, и признаетъ, что отъ насъ зависитъ направить нашу мысль на такія представленія, которыя ослабляютъ или усиливаютъ данную страсть. Того же мнѣнія держатся Локкъ и Бэнъ ¹⁾.

¹⁾ Eth. P. IV, Prop. 10. Schol. См. также у Броуна: р. 427. Locke's The Cond. of the Und., р. 83.

Здѣсь еще не мѣсто анализировать противорѣчіе, скрывающееся въ психологическихъ воззрѣніяхъ этихъ писателей; но нѣтъ сомнѣнія, что если такое дѣйствіе разума и свободной воли на чувствованія возможно, то не непосредственно, а только чрезъ вліяніе на подборъ нашихъ представленій и черезъ нихъ на цѣлый строй души. Дѣйствуя такимъ образомъ, мы можемъ давать пищу однимъ наклонностямъ и усиливать ихъ на счетъ другихъ и, слѣдовательно, участвовать нашею волею въ настроеніи нашей души, отъ котораго, какъ мы видѣли, зависитъ и самый характеръ чувствованій. Всякій легко можетъ сдѣлать это наблюденіе надъ самимъ собою, когда одно и то же представленіе вызываетъ въ немъ различныя чувствованія, смотря по тому, на какую сторону представленія онъ обращаетъ преимущественное вниманіе: стоитъ только перемѣнить рядъ мыслей, чтобы почувствовать, на примѣръ, благодарность къ тому самому человѣку, на котораго мы, незадолго передъ тѣмъ, сердились; стоитъ только перемѣнить рядъ мыслей, чтобы почувствовать презрѣніе къ тому самому поступку, которому мы еще недавно удивлялись, и т. д. Никакимъ насиліемъ, конечно, нельзя перемѣнить любовь въ отвращеніе и отвращеніе въ любовь, но этого можно достигнуть терпѣливымъ подборомъ представленій. Не разъ терпѣливому наушнику удастся незамѣтнымъ подборомъ представленій перемѣнить въ другомъ человѣкѣ самое благосклонное расположеніе въ ненависть.

Сознаніе этой-то власти человѣка надъ своимъ душевнымъ строемъ, которымъ уславливается разнообразіе чувствованій, и въ то же время сознаніе его безсилія надъ отдѣльными, внезапно высказывающимися чувствованіями заставило Руссо, говоря о вмѣняемости преступленій, сказать о преступникахъ: «конечно, отъ нихъ болѣе не зависитъ не быть злыми и слабыми, но отъ нихъ зависѣло не сдѣлаться такими» ¹⁾. Софистическій оттѣнокъ есть въ этой мысли, но въ сущности своей она совершенно вѣрна психологически.

Если же мы примемъ во вниманіе, что чувствованіями нашими опредѣляются наши желанія ²⁾, а желаніями опредѣляются наши поступки, то изъ этого само собою уже выйдетъ необыкновенно важное практическое значеніе нашихъ чувствованій. Мы не скажемъ вмѣстѣ съ Броуномъ, что «вся исторія есть не что иное, какъ рассказъ о страстяхъ немногихъ руководителей человѣчества» ³⁾, потому что взглядъ на исторію, выработанный послѣ Броуна, уже не допускаетъ такого выраженія. Но, тѣмъ не менѣе, нельзя не признать, что безчисленные и безпрестанные уклоненія человѣчества съ прямого историческаго пути совершаются подъ вліяніемъ страстей.

¹⁾ Emile, p. 330.

²⁾ См. выше, ч. II, гл. VI.

³⁾ Brown, p. 339; и у Бэна: The Will, p. 396.

Что же касается до индивидуальной жизни, то всякій изъ насъ самъ по себѣ знаетъ, какъ часто мы подчиняемся внушеніямъ страсти и какъ часто самый разумокъ нашъ въ своихъ работахъ бываетъ подкупленъ страстью. И если, съ одной стороны, по выраженію Спинозы, страсть, подкрѣпляемая разумомъ, сильнѣе страсти, имъ неподкрѣпляемой, то и, съ другой стороны, можно быть гораздо болѣе увѣреннымъ, что разумное рѣшеніе перейдетъ въ исполненіе, когда оно подкрѣпляется сердечнымъ желаніемъ, чѣмъ тогда, когда оно ему противорѣчитъ. Только человѣкъ, у котораго *умъ* хорошъ и *сердце* хорошо, вполне хорошій и надежный человѣкъ.

Изъ сказаннаго уже само собою выходитъ, какъ важно для воспитателя знать исторію происхожденія и образованія человѣческихъ чувствованій, а изъ нихъ — желаній, наклонностей и страстей. «Порокъ уже образовавшійся, говоритъ Броунъ, находится почти внѣ нашей власти; только въ то время, когда онъ еще въ состояніи скрытаго стремленія, мы можемъ надѣяться преодолѣть его моральными мотивами. Но, чтобы отличить это стремленіе прежде, чѣмъ оно распространилось, и даже прежде, чѣмъ оно стало извѣстнымъ той самой душѣ, въ которой существуетъ, — обуздать страсть прежде, чѣмъ она стала свирѣпствовать, и приготовить заблаговременно добродѣтели позднѣйшихъ лѣтъ, для этого требуется такое знаніе душевной организаціи, которое можетъ быть пріобрѣтено только прилежнымъ изученіемъ природы, прогресса и послѣдовательныхъ преобразованій нашихъ чувствованій» ¹⁾.

На измѣненіе нашихъ чувствованій, какъ мы сказали, мы можемъ имѣть посредственное вліяніе, а именно — подборомъ представленій. Но, кромѣ этого посредственнаго вліянія, мы можемъ имѣть еще и прямое; но уже только не на измѣненіе чувствованій, а на *подавленіе* ихъ, на прекращеніе ихъ перехода въ органическія состоянія. Чтобы уяснить себѣ и это явленіе, мы должны взглянуть на взаимное отношеніе чувствованій *органическихъ и душевныхъ*.

Г Л А В А XII.

Взаимныя отношенія чувствованій органическихъ и душевныхъ.

Мы замѣтили уже выше, что между органическимъ чувствованіемъ гнѣва, страха, печали, радости и т. д. и душевными чувствованіями того же рода нѣтъ никакой разницы въ самомъ качествѣ чувствованій, а есть раз-

¹⁾ Brown, p. 17.

ница только въ способѣ ихъ происхожденія. Причину душевныхъ чувствованій мы сознаемъ, потому что она заключается въ отношеніи нашего же новаго представленія ко всему строю нашей души. Причины органическихъ чувствованій мы не сознаемъ, потому что она скрыта въ томъ или другомъ состояніи тѣлеснаго организма и дѣйствуетъ оттуда на душу черезъ посредство недоступной для сознанія связи души и нервнаго организма. Но, кромѣ сходства между органическими и душевными чувствованіями одного и того же рода, несомнѣнные факты обнаруживаютъ еще такую связь между ними, что душевныя чувствованія могутъ переходить въ органическія, а органическія—условливать появленіе душевныхъ того же рода.

Что органическія чувствованія имѣютъ важное вліяніе на нашу душевную сознательную дѣятельность—въ томъ, безъ сомнѣнія, каждый могъ убѣдиться въ самомъ себѣ. Вліяніе это, какъ мы уже видѣли выше ¹⁾, выражается въ подборѣ представленій, которымъ распоряжается то или другое чувствованіе, вызванное въ душѣ тѣмъ или другимъ состояніемъ тѣлеснаго организма. Человѣкъ, страдающій разлитіемъ желчи, невольно подбираетъ такія представленія, которыя удовлетворяютъ чувству гнѣва, безпрестанно возникающему въ немъ изъ органическихъ причинъ, точно такъ же, какъ чувство голода насильно заставляетъ человѣка думать о предметахъ, утоляющихъ голодъ.

Что мы можемъ болѣе и менѣе противиться такому вліянію органическихъ чувствованій на нашу сознательную дѣятельность—это также, безъ сомнѣнія, испыталъ всякій. Но какъ далеко идетъ такая возможность, это зависитъ, съ одной стороны, отъ силы и постоянства органической причины, возбуждающей то или другое безпричинное чувство въ нашей душѣ, а съ другой,—отъ силы нашей воли, располагающей душевными работами.

Если же всякое вліяніе воли на подборъ нашихъ представленій совершенно прекращается, какъ это бываетъ съ нами каждый разъ, когда мы засыпаемъ, то органическое чувствованіе, не встрѣчая уже себѣ сопротивленія въ нашей волѣ, даетъ намъ такой подборъ представленій, какой оно способно дать по своему специфическому характеру, чѣмъ и отличаются существенно наши сновидѣнія отъ нашихъ мечтаній.

Сновидѣніе собственно есть та же мечта, но только вполне управляемая организмомъ и возникающими изъ него чувствованіями. Если же иные ряды представленій и въ сновидѣніи отличаются разсудочностью, то это только потому, что эти ряды вызываются цѣльными изъ запаса памяти, а скованы они были по законамъ разсудка.

Правда, что и въ мечтахъ нашихъ, какъ это мы видѣли выше, при-

¹⁾ Пед. Антр., ч. I, гл. XVII и гл. XXVIII.

нимають участіє органическое чувствованіє, но это и дѣлаєть мечту нашу сновидѣніємъ наяву. Однакоже, какъ бы глубоко мы ни замечтались, мы, пока не заснемъ, чувствуемъ возможность вмѣшаться произволомъ въ нашу мечту и дать ей другое направленіє. Во снѣ же эта возможность для насъ прекращается.

Кромѣ того, во снѣ присоединяется еще новое обстоятельство. Воспринимающія чувства наши: зрѣніє, слухъ, осязаніє, перестаютъ дѣйствовать, и, такимъ образомъ, перерѣзываются координаты, опредѣляющія наше положеніє въ дѣйствительномъ мірѣ. Отъ этого происходитъ двѣ особенности, которыми отличаются сновидѣнія. *Во-первыхъ*, во снѣ мы теряемъ возможность сравнивать степень яркости нашихъ внутреннихъ представленій, неподдерживаемыхъ силою внѣшнихъ впечатлѣній, со степенью яркости тѣхъ представленій, которыя, входя въ наше сознаніє, продолжаютъ поддерживаться впечатлѣніями внѣшняго предмета. Какъ бы мы сильно ни воображали, на примѣръ, пламя пожара, но, открывъ глаза и взглянувъ на дѣйствительный пожаръ, или даже просто на стѣну, освѣщенную дневнымъ свѣтомъ, мы почувствуемъ, какъ блѣдно пламя нашего воображенія передъ дѣйствительнымъ пламенемъ. Во снѣ же мы теряемъ эту возможность сравненія, и созданія нашего воображенія кажутся намъ дѣйствительностью. *Во-вторыхъ*, прекращеніє дѣятельности нашихъ воспринимающихъ чувствъ вовсе лишаетъ насъ возможности отличать фантазію отъ дѣйствительнаго выполненія. Если наяву я вижу волка, то мнѣ можетъ прійти въ мысль, какъ бы онъ на меня не кинулся, но отъ этой мысли, конечно, волкъ на меня не кинется; но если та же самая мысль рождается у насъ въ сновидѣніи, то она тутъ же немедленно и выполняется; развѣ какая-нибудь другая мысль помѣшаетъ этому. Трезвыя условія дѣйствительности, связывающія необузданную мечту, во снѣ перестаютъ ее связывать, и она дѣлается сновидѣніємъ немедленно же, какъ только прекращеніє дѣятельности воспринимающихъ чувствъ изолируетъ человѣка отъ вліяній дѣйствительнаго міра.

Мы съ намѣреніємъ коснулись здѣсь вліянія органическихъ чувствованій на сновидѣнія, чтобы тѣмъ самымъ показать яснѣе, какимъ образомъ тѣ же чувствованія могутъ имѣть вліяніє на ходъ нашихъ представленій въ бодрственномъ состояніи. Подъ вліяніємъ такого органическаго чувства, мы можемъ, конечно, подбирать такія представленія, которыя удовлетворяютъ ему, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, стараюсь оправдать себя въ такомъ нашемъ отношеніи къ данному представленію, мы будемъ отыскивать причину гнѣва или страха, и такимъ образомъ превратимъ органическое чувствованіє въ душевное. Но какъ только прекратится дѣйствіє органической причины гнѣва, и какъ только сознательная жизнь души нашей

вступить во всѣ свои права, такъ мы и признаемъ всю ничтожность придуманныхъ нами причинъ, и нерѣдко удивляемся, какъ причина, которая (какъ мы думали) возбуждала нашъ гнѣвъ, превратилась вдругъ, будто какимъ-нибудь волшебствомъ, въ причину, возбуждающую смѣхъ.

Съ другой стороны, чувствованія *душевныя*, дѣйствуя долго или повторяясь часто, могутъ возбудить въ насъ *органическія* чувствованія того же рода. Такъ, человекъ, раздраженный чѣмъ-нибудь, продолжаетъ сердиться и тогда, когда давно уже пересталъ думать о событіи, вызвавшемъ его гнѣвъ. Радостное событіе, совершившееся утромъ, оставляетъ человека въ веселомъ расположеніи на цѣлый день, хотя бы онъ и не вспоминалъ о томъ, что его обрадовало поутру. Эти явленія, столь знакомыя каждому, нельзя объяснить иначе, какъ признавъ, что душевныя чувства наши совершаются въ насъ не безъ вліянія на нашъ нервный организмъ, а черезъ него и на органическія отправления всего тѣла. Если разлитіе желчи отражается въ душѣ гнѣвнымъ настроеніемъ, то, въ свою очередь, и постоянный или частый гнѣвъ, зависящій отъ ясно сознаваемыхъ душевныхъ причинъ, можетъ вызвать разлитіе желчи. Страданія легкихъ имѣютъ ясное вліяніе на душевное настроеніе человека; но и душевное настроеніе человека, въ свою очередь, можетъ и здоровыя легкія сдѣлать больными.

Возможность перехода душевныхъ чувствованій въ органическія подала поводъ къ тѣмъ шаткимъ наблюденіямъ, которыхъ въ особенности много мы встрѣчаемъ у Декарта. Онъ полагаетъ, на примѣръ, что чувство страха разстраиваетъ пищевареніе, а чувство гнѣва—нѣтъ, что чувство любви способствуетъ перевариванію мясной пищи и т. п. ¹⁾ Что это вліяніе есть, въ этомъ каждый болѣе или менѣе убѣждается опытомъ, и что это вліяніе должно быть, это указывается тѣмъ огромнымъ вліяніемъ, которое нервная система, прежде всего подвергающаяся, конечно, вліянію нашихъ душевныхъ чувствованій, имѣетъ на біеніе сердца, дыханіе, пищевареніе и вообще растительные процессы нашего организма. Но это важное вліяніе еще такъ мало разслѣдовано, что, какъ справедливо замѣчаетъ Бэнъ, едва ли можно вывести изъ такихъ наблюденій что-нибудь положительное ²⁾.

Вотъ на этотъ-то переходъ душевныхъ чувствованій въ органическія, которыя потомъ, въ свою очередь, дѣлаются источникомъ чувствованій того же рода, человекъ можетъ имѣть весьма сильное вліяніе. На эту возможность согласно указываютъ и Кантъ, и Бэнъ. Кантъ говоритъ, на примѣръ, что если разсердившагося человека попросить сѣсть, то уже этимъ самымъ гнѣвъ его уменьшится. Бэнъ думаетъ, что въ этомъ слу-

¹⁾ Descartes. Passions. Art. 97.

²⁾ The Emotion, p. 21.

чаѣ, подавляя разомъ и насильственно распространеніе въ организмъ даннаго чувства, мы дѣйствуемъ на нервную систему черезъ посредство мускуловъ ¹⁾. Германскій физиологъ Людвигъ думаетъ, что въ этомъ случаѣ мы дѣйствуемъ прямо на нервы. Рѣшеніе этого вопроса, конечно, принадлежитъ физиологii; для насъ же важно только то, что такое дѣйствіе возможно. Мы не можемъ противиться возникновенію въ насъ душевнаго чувства гнѣва; но можемъ прекратить его продолженіе, можемъ помѣшать перейти ему въ гнѣвъ органической и, если послѣдній уже возникъ, то можемъ помѣшать его дальнѣйшему распространенію въ организмъ.

По степени этой власти нашей мѣшать переходу душевныхъ чувствъ въ органическія мы можемъ судить о силѣ нашей воли, а не только о состояніи здоровья нашего тѣлеснаго организма, какъ это замѣчаетъ Бэнъ. Во всякомъ случаѣ, всякій человекъ въ этомъ отношеніи гораздо сильнѣе, чѣмъ онъ думаетъ, и если кто-нибудь, напримѣръ, извиняетъ себя очень легко своей, такъ называемою, вспыльчивостью, то пусть, однакоже, подумаетъ онъ, отчего такъ уменьшается эта вспыльчивость въ присутствіи лица, передъ которымъ опасно быть вспыльчивымъ.

Изъ всего сказаннаго уже видно, какъ можетъ человекъ имѣть вліяніе на воспитаніе своихъ чувствованій, давая пищу однимъ, задерживая органическое распространеніе другихъ и, такимъ образомъ, измѣняя самый строй нашей души. Но, конечно, все это можетъ дѣлаться не разомъ, и вотъ почему невольно вырывающееся у насъ чувство при какомъ-нибудь новомъ представленіи можетъ служить намъ вѣрнѣйшимъ показателемъ той ступени, которой мы достигли въ воспитаніи самихъ себя.

Г Л А В А XIII.

Воплощеніе чувствованій.

Воплощеніе чувствованій принадлежитъ къ тѣмъ явленіямъ, которыя, будучи близко знакомы каждому, тѣмъ не менѣе, въ сущности своей остаются совершенно непонятными. Кто не знаетъ, какое выраженіе принимаетъ наше лицо въ минуту гнѣва, страха, радости или печали; но кто же знаетъ, почему удовольствіе раздвигаетъ углы нашего рта, а гнѣвъ сдавлиываетъ мускулы лба; почему веселость выражается улыбкой, а горе вырывается воплями и выливается слезами; почему гнѣвъ, достигшій до степени бѣшенства, усиливаетъ выдѣленіе слюны, а страхъ прекращаетъ это выдѣленіе? ²⁾.

¹⁾ The Emotion, p. 15.

²⁾ «Столь разнообразныя выраженія чертъ лица въ различныхъ страстяхъ

Не придавая воплощенію чувствованій такого значенія, какое придаетъ ему Бэнъ, который часто самую причину чувствованія находитъ въ его воплощеніи, мы, тѣмъ не менѣе, должны признать, что Бэнъ болѣе, чѣмъ кто-либо другой, изучилъ этотъ отдѣлъ психологіи, т. е. воплощеніе чувствованій. Но, какъ всякій спеціалистъ, онъ придалъ слишкомъ много значенія спеціальному предмету своихъ занятій.

Формы воплощенія чувствованій очень разнообразны: невольное движеніе членовъ, судорожное сжиманіе мускуловъ лица или, наоборотъ, ихъ распушеніе (прекращеніе ихъ обыкновеннаго тоническаго состоянія), ускореніе или замедленіе біенія сердца, ускореніе или замедленіе дыханія, румянецъ, блѣдность и, наконецъ, тотъ особенный, зеленоватый оттѣнокъ, который замѣчается въ крайней степени ужаса, дрожь, особенное чувство при корняхъ волосъ, испарина, холодъ или жаръ кожи, обильное отдѣленіе железъ: слезныхъ, слюнныхъ и другихъ, прекращеніе такого отдѣленія, выражающееся, на примѣръ, особенною сухостью во рту при ужасѣ, появленіе горечи во вкусѣ и, наконецъ, самые разнообразные крики, вырывающіеся у насъ невольно при сильныхъ чувствованіяхъ—вотъ краткое и далеко не полное исчисленіе всѣхъ тѣхъ тѣлесныхъ формъ, которыми, независимо отъ насъ, а часто и невѣдомо для насъ, воплощаются наши душевныя чувствованія. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что каждое основное чувствованіе находитъ себѣ особое, характерное выраженіе въ тѣлѣ. Выраженія страданія и удовольствія, радости и печали, смѣлости и страха, нѣжности и гнѣва такъ рѣзко и типически отличаются одно отъ другою, что если бы люди не имѣли дара слова, то и тогда одинъ человѣкъ не лишенъ бы былъ возможности понимать, что дѣлается въ душѣ другою ¹⁾.

Никто, конечно, не сомнѣвается, что эти тѣлесныя выраженія чувствованій условлены самою природою, внѣ всякаго человѣческаго произвола и

— говоритъ Миллеръ—показываютъ, что всякое душевное состояніе приводитъ въ дѣйствіе или ослабляетъ различныя группы волоконъ личнаго нерва. Мотивы же этого соотношенія между мускулами лица и различными страстями совершенно неизвѣстны» (Man. de Phys. Т. II, р. 84). Вмѣсто «мотивовъ» не лучше ли было сказать *средства*?

¹⁾ «Въ страстяхъ *возбуждающихъ*, говоритъ Миллеръ, возникаетъ напряженность, а иногда даже и конвульсіи въ мускулахъ, управляемыхъ нервами дыханія и личнымъ. Не только измѣняются черты лица, но и движенія дыханія, отчего происходятъ стоны, вздохи, икота. Въ *страстяхъ унетающихъ*, (Миллеръ принимаетъ дѣленіе Спинозы), каковы: страхъ, ужасъ, тоска—всѣ мускулы распускаются, потому что уменьшается вліяніе спинного и головного мозга: ноги болѣе не поддерживаютъ тѣла, лицо опускается, глаза останавливаются неподвижно, голосъ перерывается». (Man. de Phys. Т. II, р. 83).

человѣческихъ расчетовъ, и что выраженіе горя слезами, а радости улыбкой не придумано людьми. Однакоже всякій изъ насъ замѣчаетъ, что хотя эти выраженія чувствъ даны намъ природою, но мы, тѣмъ не менѣе, можемъ имѣть на нихъ значительное произвольное вліяніе: можемъ сдерживать смѣхъ, *глотать слезы*, можемъ, ощущая страхъ въ душѣ, не допустить его выраженія въ тѣлѣ и, обуреваемые злобой или досадою, строить сладкую фізіономію. Хорошо выдержанный англичанинъ считаетъ достоинствомъ сохранять всегда невозмутимое выраженіе лица и съ отвращеніемъ смотритъ на дикаря, предающагося неумѣренному выраженію своихъ чувствованій. Человѣкъ не только въ себѣ, но даже въ животныхъ, ему подвластныхъ, замѣчательно измѣнилъ врожденное воплощеніе чувствъ. Лягавая собака, по замѣчанію Декарта, по природѣ своей, увидя птицу, кидается за нею, а услыша выстрѣлъ, бѣжитъ прочь; но человѣкъ приучилъ ее поступать совершенно наоборотъ: увидя птицу—останавливается, а услыша выстрѣлъ—кидается на птицу ¹⁾).

Человѣкъ можетъ по произволу не только задерживать воплощеніе чувствъ, но можетъ даже вызывать черты обыкновеннаго воплощенія того или другого чувства и тогда, когда это чувство не испытывается его душою. Такъ, актеръ рыдаетъ или смѣется, хотя въ душѣ его, можетъ быть, нѣтъ ни горя, ни веселости. Но если человѣкъ можетъ приобрѣтать привычку сдерживать выраженія чувства, то точно такъ же приобрѣтается имъ привычка и притворнаго его усиленія. Такъ, слезныя железы у иныхъ актеровъ дѣлаются подъ старость чрезвычайно слабы и начинаютъ неудержимо выдѣлять слезы при малѣйшемъ душевномъ волненіи.

Частое воплощеніе чувствованій не можетъ остаться безъ послѣдствій для самой фізіономіи человѣка. Однѣ и тѣ же черты, вызываемыя чувствомъ въ фізіономіи, повторяясь часто, оставляютъ на ней свой слѣдъ и, мало-по-малу, передѣлываютъ фізіономію человѣка сообразно чувствованіямъ, волнующимъ его жизнь. Круглое и гладкое, какъ яблочко, личико дитяти, похожее на чистые листы новаго альбома, все исписывается подъ старость глубоко врѣзывающимися выраженіями душевной жизни. Руссо совершенно справедливо замѣчаетъ, что даже и въ зрѣломъ возрастѣ, съ переменною страстей, лицо измѣняется ²⁾).

Воплощеніе чувствованій не должно смѣшиваться съ органическимъ ихъ распространеніемъ, хотя, можетъ быть, границы этихъ явленій гдѣ-нибудь и сходятся между собою. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что, подавляя или измѣняя воплощеніе нашихъ чувствованій сообразно нашимъ разсудочнымъ

¹⁾ Descartes. Les passions. Art. 50.

²⁾ Emile, p. 251.

цѣлямъ, мы, тѣмъ не менѣе, не подавляемъ самаго чувства. Иногда, наоборотъ, чувство, котораго, почему бы то ни было, мы не допустили до выраженія въ нашей фізіономіи, тѣмъ сильнѣе бушуетъ въ нашей душѣ и въ нашемъ нервномъ организмѣ. Для того, чтобы подавить чувство, мы должны возстать противъ него самого, а не противъ его воплощенія. Въ высшемъ обществѣ выраженіе чувствъ вообще гораздо сдержаннѣе, чѣмъ у простыхъ людей; но, тѣмъ не менѣе, страсти бушуютъ тамъ ничуть не слабѣе.

Власть человѣка надъ воплощеніемъ чувства иногда необъятно велика: мы и представить себѣ не можемъ, какъ, на примѣръ, Стенька Разинъ могъ молчать или смѣяться, когда московскіе палачи употребляли все свое искусство, чтобы вызвать у него крикъ боли. Но существуютъ, кажется, такія воплощенія чувствованій, которыхъ человѣкъ произвольно вызвать въ себѣ не можетъ. Такъ, въ крайней степени ужаса, глаза раскрываются до того неестественно широко, какъ едва ли можетъ человѣкъ раскрыть ихъ произвольно.

Просимъ читателя обратить вниманіе на то, что мы присоединяемъ къ явленіямъ воплощенія чувствованій и тѣ *крики*, которые издаетъ человѣкъ невольно подъ вліяніемъ того или другого сильнаго чувства. Крики эти, какъ средства выраженія чувствованій, какъ бы потонули теперь въ обширной массѣ средствъ, которыми обладаетъ говорящій человѣкъ. Но, тѣмъ не менѣе, и теперь можно замѣтить эти первичныя, звуковыя выраженія душевныхъ чувствованій. Не одинъ только человѣкъ, но и всѣ животныя, обладающія легкими, выражаютъ свои чувствованія также и криками, что совершенно объясняется анатомическимъ устройствомъ какъ дыхательныхъ и голосовыхъ органовъ, такъ и тѣхъ нервовъ и мускуловъ, посредствомъ которыхъ выражается воплощеніе чувствованій въ тѣлѣ.

Г Л А В А XIV.

Воплощеніе чувствованій, какъ органическая основа нервнаго сочувствія (91—97).

Въ воплощеніи чувствованій, на примѣръ: въ личной мимикѣ, въ движеніи членовъ, въ слезахъ, смѣхѣ, въ невольныхъ крикахъ, имѣютъ основаніе такія явленія, какъ нервное сочувствіе, нервная подражательность, нервное соревнованіе и, наконецъ, тѣлесная возможность дара слова. Извѣстно, что крики, стоны, смѣхъ, зѣвота, ужасъ и другія яркія выраженія лица заразительно дѣйствуютъ на зрителя. Сюда же относятся судороги падучей болѣзни и кликушество, которое не слѣдуетъ всегда считать однимъ притворствомъ. Эту заразительность чувствованій въ ихъ внѣшнемъ выраженіи лучше другихъ объяснилъ Спиноза, который полагаетъ, что одинаковыя пред-

ставленія вызываютъ и одинаковыя измѣненія въ нашемъ тѣлесномъ организмѣ или, точнѣе—въ нервной системѣ. Явленія эти надо отличать отъ душевныхъ, въ которыхъ участвуетъ уже сознание, тогда какъ нервное сочувствіе проявляется безсознательно и даже невольно, и уже затѣмъ можетъ перейти въ душевное чувство; на первой же своей ступени оно проявляется даже у дѣтей и животныхъ. Мнѣніе Бэна, будто такое сочувствіе пріобрѣтается опытомъ, невѣрно, ибо противорѣчитъ фактамъ изъ дѣтской жизни. Нервное сочувствіе вовсе не обуславливаетъ сочувствія духовнаго, особенно у людей слабохарактерныхъ, которые могутъ быть и сострадательны, и жестоки: напримѣръ, слабонервныя женщины, способныя мучить другихъ. Люди, работающіе одиноко для облегченія страданія другихъ, представляютъ примѣръ душевнаго сочувствія, которое выше и глубже нервнаго или органическаго; но и послѣднее можетъ достигнуть такого напряженія, что оканчивается смертію: напримѣръ у китайскихъ палачей послѣ слишкомъ продолжительной кровавой работы надъ массою преступниковъ. Въ нашемъ языкѣ эти два вида сочувствія—нервнаго и душевнаго—очень часто смѣшиваются; но Руссо ихъ различаетъ, когда, хотя и несправедливо, говоритъ, что «привычка видѣть страданія притупляетъ чувство состраданія», разумѣя здѣсь притупленіе именно нервной впечатлительности. Въ чемъ именно заключается этотъ процессъ въ нашихъ нервахъ—мы не знаемъ, хотя и сознаемъ сопровождающія его ощущенія и чувствованія. Замѣчательно, что ни въ нашемъ, ни въ другихъ языкахъ нѣтъ словъ, выражающихъ сочувствіе радости (сорадованіе) и страху, который при паническомъ его проявленіи выражается безсознательно. Энергическія *дѣйствія* другихъ также способны возбуждать наше сочувствіе и даже соревнованіе: здѣсь также надо различать чисто нервныя проявленія, напримѣръ при гимнастическихъ движеніяхъ, отъ душевныхъ или сознательныхъ, направленныхъ къ достиженію какой-либо разумной цѣли.

Г Л А В А XV.

Воплощеніе чувствованій и нервное сочувствіе, какъ органическія основы рѣчи (97—107).

Нервное сочувствіе, выражающееся въ крикѣ и мимикѣ, составляетъ языкъ животныхъ, языкъ чувствованій; даръ слова или языкъ мыслей есть принадлежность только человѣка, обладающаго въ то же время и мимическимъ языкомъ животныхъ. Такъ актеръ къ *языку мыслей* придаетъ и *языкъ чувства*, выражающійся въ соотвѣтствующихъ измѣненіяхъ лица и голоса и въ тѣлодвиженіяхъ, производя болѣе глубокое впечатлѣніе, нежели спокойный чтець, и самая пьеса становится намъ понятнѣе, хотя актеръ не прибавилъ къ ней ни одного слова. Пантомима понятна намъ безъ словъ. Та-

кимъ образомъ, мимическій языкъ есть по преимуществу языкъ чувства, а рѣчь—языкъ мысли, которые въ жизни постоянно соединяются и дополняютъ другъ друга. При этомъ возбуждается самая сложная дѣятельность нашей какъ мускульной, такъ и нервной системы, въ которой орудіями рѣчи являются нервы: тройничный, лицевой, блуждающій и подъязычный. Обладая этими органами, люди, лишенные дара слова, тѣмъ не менѣе могутъ въ известной степени передавать свои мысли и чувства другимъ, и передача эта бываетъ или произвольная (крикъ ужаса), или произвольная (приглашеніе къ какому-либо дѣйствию). Произвольный языкъ есть простой рефлексъ, въ который постепенно, чрезъ привычку, превращается и языкъ мысли—слово, которымъ Творецъ нашъ одарилъ только человѣка.

Г Л А В А XVI.

Отдѣленіе чувствованій отъ желаній и душевныхъ чувственныхъ состояній.

До сихъ поръ мы раздѣляли чувствованія единственно по способу ихъ происхожденія и, на основаніи этого принципа, отдѣляли *чувствованія органическія* или *безпричинныя*, причина которыхъ скрывается въ состояніяхъ организма, отъ *чувствованій душевныхъ*, причина которыхъ ясно сознается нами въ представленіяхъ, вызывающихъ тѣ или другія чувствованія. Къ этимъ двумъ видамъ мы могли бы присоединить еще чувствованія *духовныя*, т. е., по нашему опредѣленію *духа* ¹⁾, такія, которыя свойственны только одному человѣку; но, чтобы облегчить себѣ анализъ, мы всѣ эти чисто человѣческія психическія явленія относимъ къ третьей части нашей антропологии, хотя и не можемъ вездѣ строго выдержать этой системы. Но каждый изъ насъ сознаетъ, конечно, что чувствованія раздѣляются не только по внѣшнему принципу своего происхожденія, но и по *внутреннему* своему *качеству*. Кто же смѣшаетъ гнѣвъ съ любовью, страхъ съ радостью? Вотъ объ этомъ-то дѣленіи по качеству мы и хотимъ говорить теперь.

Можетъ быть ни въ чемъ такъ не выражается младенческое состояніе нашихъ психологическихъ понятій, какъ въ раздѣленіи чувствованій. Пусть два или три человѣка попробуютъ только перечислить испытываемыя ими чувствованія, и они увидятъ, что счетъ у каждаго будетъ свой особый. Сначала это дѣло, можетъ быть, покажется имъ легкимъ, какимъ казалось оно и Декарту; но потомъ они убѣдятся, что это дѣло очень не легкое, если и возможное. Откуда же происходитъ такое странное явленіе?

¹⁾ См. Педаг. Антроп. Ч. I, гл. XLV.

Развѣ любовь, гнѣвъ, радость и страхъ не одинаково знакомы китайцу, французу или жителю Патагоніи? Развѣ наши прадѣды не такъ же ненавидѣли и любили, какъ и мы? Если же эти психическія явленія совершались и продолжаютъ совершаться всегда и у всѣхъ одинаковымъ образомъ, то они выполняютъ всѣ требованія, чтобы сдѣлаться точными предметами научнаго изслѣдованія: откуда же происходитъ, что человекъ даже и не перечислилъ, а не только уже не размѣстилъ своихъ чувствованій въ какую-нибудь стройную систему, съ которой всѣ были бы согласны?

Странность этого явленія увеличивается, когда мы видимъ, что и тѣ люди, которые не только испытываютъ различнаго рода чувствованія, но и сдѣлали ихъ предметомъ своихъ специальныхъ и упорныхъ наблюденій, не достигли никакихъ положительныхъ результатовъ въ исчисленіи и классификаціи столь знакомыхъ каждому душевныхъ явленій. «Проведеніе полной системы чувствованій—говоритъ знатокъ психологической литературы, профессоръ Фолькманъ—остается и до сихъ поръ благочестивымъ желаніемъ, осуществленіе котораго едва ли подвинулось впередъ безчисленными попытками старыхъ психологій»¹⁾. Мы же прибавимъ, что и попытки новой психологіи, сдѣланныя для достиженія той же цѣли, дали такіе же, если еще не меньшіе результаты, какъ и попытки старой. Не можемъ же мы считать особымъ подвигомъ психологовъ гербартовской школы, что они вовсе уклоняются отъ перечисленія чувствованій и ихъ классификаціи? Различныя чувствованія, тѣмъ не менѣе, остаются различными психическими явленіями, различіе которыхъ каждый замѣчаетъ.

У cadaго самостоятельнаго психолога, если онъ только не набрасываетъ съ намѣреніемъ туманнаго покрывала на этотъ отдѣлъ психологіи, свой особый счетъ чувствованій и своя особая классификація. У Декарта основныхъ чувствованій шесть²⁾; у Спинозы—три, между которыми онъ помещаетъ и *желаніе*, какъ третій видъ чувствованій³⁾; Броунъ подраздѣляетъ *главныя* чувствованія, по принципу времени, на чувствованія, относящіяся къ настоящему, прошедшему и будущему, относить къ послѣднимъ *желанія* и насчитываетъ однихъ *главныхъ* желаній десять, не сообщая намъ, сколько же неглавныхъ, и какъ относятся главныя къ неглавнымъ⁴⁾. Новѣйшій англійскій психологъ Бэнъ насчитываетъ уже одиннадцать группъ душевныхъ чувствованій⁵⁾. Новѣйшій германскій психологъ Вундтъ совершенно избѣгаетъ перечисленія чувствованій и скорѣе занимается лексико-

1) Grundr. der Psych. von Volkman. S. 318.

2) Descartes. Les Passions. Art. 69.

3) Eth. p. III. App. Def. 1. 2. 3.

4) Brown. p. 340.

5) The Emotion, p. 59—61.

логіей *нѣкоторыхъ* названій этихъ психическихъ явленій, чѣмъ ихъ анализомъ ¹⁾. Невольно поражаешься этимъ явленіемъ и спрашиваешь себя: возможно ли, въ самомъ дѣлѣ, перечислить чувствованія? Не безконечное ли ихъ множество? Не свои ли особыя чувствованія у cadaго чловѣка? Не появляются ли они случайно, не повторяясь вновь? Но уже одно то, что люди понимаютъ чувствованія другъ друга, понимаютъ даже по одному описанію чувствованія людей давно отжившихъ и вѣрно отгадываютъ, какихъ послѣдствій должно ожидать отъ того или другого чувствованія, показываетъ, что это явленія не случайныя, но постоянныя, и что если могутъ быть, какъ догадывается Бэнъ, такія видоизмѣненія чувствованій, которыя не общи всѣмъ людямъ, то есть и такія *основныя*, которыя одинаково повторяются у всякаго чловѣка всѣхъ вѣковъ и всѣхъ національностей. Неужели же нѣтъ возможности доискаться, по крайней мѣрѣ, этихъ основныхъ чувствованій и перечислить ихъ?

Намъ кажется, что главная причина путаницы въ перечисленіи чувствованій заключается въ томъ, что, приступая къ этому перечисленію, не отдѣляютъ, *во-первыхъ*, чувствованій отъ желаній, а *во-вторыхъ*, чувствованій самихъ по себѣ—отъ ихъ соединеній съ тѣми представленіями, которыми они вызываются и которыхъ, конечно, безчисленное множество, и *въ-третьихъ*, не выдѣляютъ чувствованій, возникающихъ изъ чловѣческихъ особенностей. Попробуемъ же прежде всего избѣжать этихъ ошибокъ.

Отдѣленіе чувствованій отъ желаній. Желаніе есть, конечно, тоже чувствованіе, но, во-1-хъ, чувствованіе уже производное, а во-2-хъ, дающее само по себѣ цѣлую серію новыхъ явленій, относящихся къ области воли, куда и само оно должно быть причислено. Правда, что *желать* и *хотѣть*, какъ замѣчаетъ Ридъ ²⁾ (I wish and I desire),—не одно и то же; но однако легко замѣтить, что это лишь *двѣ степени* одного и того же явленія. Въ существѣ, въ которомъ нѣтъ свободной воли (а мы именно покуда занимаемся такимъ существомъ), *желаніе* немедленно переходитъ въ *волю*, какъ только будутъ устранены или подавлены всѣ противоборствующія ему въ самой душѣ желанія и нежеланія. Точно такъ же воля немедленно переходитъ въ поступокъ, какъ только будутъ удалены всѣ препятствія къ такому переходу, представляемые уже внѣшнимъ для души міромъ. Желаніе, слѣдовательно, есть уже начало воли въ процессѣ ея образованія еще въ самой душѣ. Вотъ почему въ отно-

¹⁾ Menschen- und Thier-Seele. II B. S. 25—27 и 35—37.

²⁾ Read, p. 122. То же у Аристотеля (Aristoteles. Nicomachische Ethik, Uebers. von Stahr. B. III, Cap. 2 § 6).

шеніи одного и того же предмета мы можемъ имѣть *различныя* желанія, но волю только *одну*. Какъ только желаніе наше возрастетъ до того, что подавить всѣ другія желанія, такъ оно и превратится въ волю.

Желаніе есть уже слѣдствіе соединенія того или другого чувствованія съ тѣмъ или другимъ опредѣленнымъ представленіемъ. *Стремиться* мы можемъ и къ тому, чего не знаемъ и чего себѣ не представляемъ: такъ, младенецъ стремится къ пищѣ, не зная, что такое пища. Но *желать* мы можемъ только того, что уже знаемъ и что уже себѣ представляемъ болѣе или менѣе ясно. Человѣкъ стремится къ пищѣ и тогда, когда не знаетъ, что такое пища; но, попробовавъ той или другой пищи и испытавъ *удовольствіе*, происходящее отъ удовлетворенія голода этою пищею, уже сознательно ея желаетъ. Слѣдовательно, сознание возникаетъ въ человѣкѣ изъ прирожденныхъ безсознательныхъ стремленій черезъ посредство соединенія представленія о предметѣ, удовлетворяющемъ или неудовлетворяющемъ данному стремленію, съ чувствованіемъ, возникающимъ при этомъ удовлетвореніи или неудовлетвореніи. На этомъ основаніи, желаніе должно быть выдѣлено изъ области чувствованій и отнесено къ области воли.

Отдѣленіе чувствованій отъ чувственныхъ состояній души, или отъ соединенія чувствованій съ представленіями. Хотя всякое *душевное* чувствованіе непремѣнно соединено съ какимъ-нибудь представленіемъ, но уже потому только, что одно и то же чувствованіе можетъ быть соединено съ разнообразнѣйшими представленіями, мы должны строго отдѣлять представленія отъ чувствованій, ими внушаемыхъ; иначе мы потеряемся въ безчисленности чувствованій, соотвѣтствующей безчисленности представленій, и въ безчисленномъ разнообразіи ихъ сочетаній. Кромѣ того, мы видѣли, что тѣ же самыя чувствованія могутъ не вызываться представленіями, а, наоборотъ, вызывать ихъ, возникая сами не изъ представленій, а изъ органическихъ, несознаваемыхъ нами причинъ. Правда, что и въ томъ, и въ другомъ случаѣ чувствованіе мгновенно соединяется съ представленіемъ, такъ что мы не можемъ наблюдать его въ его отдѣльности; но въ этомъ отношеніи оно раздѣляетъ судьбу тѣхъ химическихъ элементовъ, которые никогда не могутъ быть получены въ чистомъ видѣ, но всегда только въ соединеніи съ другими элементами. Однакоже это обстоятельство не мѣшаетъ химикъ принимать эти элементы за самостоятельные, именно потому, что они могутъ переходить изъ одного соединенія въ другое.

Чувствованія, сливаясь съ представленіями и съ самыми сложными сочетаніями представленій, составляютъ съ ними вмѣстѣ то, что мы назовемъ покуда хоть *чувственнымъ состояніемъ души*. Понятно, что хотя бы эти чувственные состоянія возникали изъ немногихъ элементар-

ныхъ чувствованій, но сами по себѣ они могутъ быть такъ же разнообразны, какъ могутъ быть разнообразны наши представленія и сочетанія этихъ представленій. Кроме того, въ одномъ и томъ же сочетаніи представленій можетъ открываться нами множество разнообразныхъ чувствованій, такъ что отъ этого будутъ возникать уже *смѣшанныя чувственные состоянія души*. Такъ, напримѣръ, въ отношеніи къ одному человѣку мы можемъ испытывать самыя разнообразныя чувствованія, и изъ смѣшенія такихъ чувствованій образуется особое индивидуальное, намъ только свойственное чувствованіе къ этому человѣку, которое мы затруднимся рассказать другимъ иначе, какъ рассказавъ всю исторію его образованія. Но развѣ это должно мѣшать психологу различать элементы этихъ сложныхъ продуктовъ душевной жизни? Этотъ переходъ чувствованій въ чувственные состоянія души такъ для насъ важенъ, что мы посвятимъ ему особую слѣдующую главу.

Отдѣленіе чувствованій душевныхъ отъ духовныхъ. Слово *душевный* отдѣляетъ для насъ изучаемыя нами чувствованія какъ отъ *органическихъ*, о которыхъ мы говорили выше, такъ и отъ *духовныхъ*, о которыхъ мы будемъ говорить въ концѣ нашей антропологии. Къ духовнымъ чувствованіямъ и къ духовнымъ чувственнымъ состояніямъ мы относимъ не только такія, какъ, напримѣръ, чувствованіе права, чувствованія эстетическія, но и тѣ сложныя психическія явленія, въ которыхъ особенности *душевные* перемѣшиваются съ особенностями *духовными*. Такъ, напримѣръ, чувствованіе *гнѣва* есть явленіе душевное, а чувствованіе *мести*, въ которомъ гнѣвъ является такимъ сильнымъ элементомъ, и которое потому психологи, большею частію, помѣщаютъ рядомъ съ чувствованіемъ гнѣва, есть уже явленіе духовное, такъ какъ въ немъ къ чувствованію гнѣва присоединяется чувствованіе права. Конечно, мы не можемъ выдержать во всей строгости такого дѣленія и, поясняя примѣромъ то или другое чувствованіе, будемъ приводить и такія психическія явленія, которыя свойственны только человѣку; но тутъ же всегда укажемъ на тѣ *общіе* душевные элементы, которые именно занимаютъ насъ въ этомъ отдѣлѣ.

ГЛАВА XVII.

Переходъ чувствованій въ чувственные состоянія души.

Представленія наши сохраняются въ нашей памяти въ формѣ слѣдовъ, какъ бы мы ни представляли себѣ эти слѣды: въ формѣ ли нервныхъ привычекъ, или въ формѣ идей, или, наконецъ, въ той *двойкой* формѣ,

которую мы признали, основываясь на фактахъ, ясно указывающихъ какъ на физическіе, такъ и на душевные элементы въ актахъ нашей памяти ¹⁾. Но въ какой же формѣ сохраняются въ насъ слѣды испытанныхъ нами чувствованій? Что мы сохраняемъ слѣды чувствованій,—въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. «Мы и желаемъ того или другого, какъ справедливо замѣчаетъ Бэнь, только потому, что *помнимъ* то или другое чувство, испытанное нами» ²⁾. Но должно строго отдѣлять *воспоминаніе* чувствованія отъ его *воспроизведенія*. Мы можемъ вспоминать, какъ то или другое представленіе возбуждало когда-то нашъ гнѣвъ, и вовсе не чувствовать прежняго гнѣва при этомъ воспоминаніи. Но, съ другой стороны, представленіе, разъ возбудившее нашъ гнѣвъ, можетъ снова возбуждать его, и даже такъ, что мы гнѣваемся уже при самомъ появленіи представленія, прежде даже, чѣмъ дадимъ себѣ отчетъ, почему мы гнѣваемся. Такъ, лицо человѣка, нанесшаго намъ глубокое оскорбленіе, возбуждаетъ въ насъ чувство гнѣва, прежде чѣмъ мы подумаемъ о нанесенномъ намъ оскорбленіи. Точно такъ же присутствіе любимаго человѣка возбуждаетъ въ насъ чувство любви, прежде чѣмъ мы подумаемъ о причинахъ и условіяхъ, изъ которыхъ родилось и въ которыхъ окрѣпло наше чувство. Вотъ почему мы должны признать, что слѣды чувствованій сохраняются въ насъ, какъ и слѣды представленій. Но какъ сохраняются?

Бэнь замѣчаетъ, что чувствованія, пережитыя нами, труднѣе и слабѣе воспроизводятся, чѣмъ представленія, занимавшія наше сознаніе ³⁾. Мы же полагаемъ, что чувствованія безъ представленія вовсе не могутъ быть воспроизводимы нами сознательно и по произволу, хотя иногда и возникаютъ изъ органическихъ причинъ, лежащихъ внѣ нашего сознанія. Мы рѣшительно не видимъ возможности воспроизвести произвольно то или другое чувство иначе, какъ вызвать его тѣмъ или другимъ представленіемъ, въ которомъ оно сохраняется. Не вдаваясь въ подробное изслѣдованіе этого вопроса, съ которымъ мы встрѣтимся ниже, мы примемъ покуда, что слѣды *душевныхъ* чувствованій, испытанныхъ нами, сохраняются какъ въ *нервныхъ*, такъ и въ *идеальныхъ* слѣдахъ представленій, которыми эти чувствованія были въ насъ вызваны, или, другими словами, что въ душѣ сохраняются не безцвѣтные абрисы представленій, а раскрашенные красками чувствованій, которыми эти представленія и сочетанія ихъ проникнуты. Такія представленія и сочетанія, ассоціаціи представленій, мы будемъ называть *представленіями чувствен-*

¹⁾ См. Пед. Антр. Ч. I, гл. XXII.

²⁾ Bain, The Emotion, p. 63.

³⁾ Ibid. p. 38.

ными или *аффективными образами*. Если же въ душѣ нашей сохраняются цѣлыя вереницы и сѣти представлений, проникнутыхъ однимъ или многими чувствованіями, то это мы назовемъ *чувственнымъ состояніемъ души*. Отъ большей же или меньшей сложности образовъ, проникнутыхъ чувствованіями, происходитъ много психическихъ явленій, очень интересныхъ и весьма важныхъ для психолога и педагога.

Одиное ощущение, или его слѣдъ, не можетъ возбудить въ насъ ни *радости*, ни *печали*, хотя можетъ возбудить *удовольствіе* или *неудовольствіе*. Одиное представленіе, не очень обширное, хотя и есть уже сочетаніе многихъ слѣдовъ многихъ ощущеній, но не доставитъ еще намъ настолько радости или печали, чтобы онъ заслуживали это названіе. Но чѣмъ сложнѣе становится сочетаніе представлений, проникнутыхъ чувствомъ удовольствія, тѣмъ явственнѣе и постояннѣе выражается въ насъ состояніе радости или печали. Отдѣльный цвѣтъ, отдѣльный запахъ или вкусъ можетъ быть намъ пріятенъ или непріятенъ, т. е. можетъ, въ своей отдѣльности, возбуждать въ душѣ чувствованіе удовольствія или неудовольствія, но не радость и не печаль. Для возбужденія въ насъ радости или печали необходима уже цѣлая ассоціація представлений, изъ которыхъ каждое возбуждаетъ въ душѣ нашей данное чувствованіе. Тогда только душа наша получаетъ возможность, переходя отъ одного аффективнаго представленія къ другому, также проникнутому чувствованіями, *продолжить* состояніе удовольствія и неудовольствія или, обнимая разомъ цѣлую ассоціацію аффективныхъ представлений или какую-нибудь значительную часть ея, *расширитъ* чувство удовольствія или неудовольствія до такой степени, что мы можемъ назвать уже это душевное состояніе печалью или радостью.

Чувствованіе, само по себѣ, можетъ быть только слабѣе или сильнѣе, *напряженнѣе* (интенсивнѣе). Степень напряженности отдѣльнаго чувствованія зависитъ отъ двухъ причинъ: *во-первыхъ*, отъ напряженности того стремленія, изъ удовлетворенія или неудовлетворенія котораго чувствованіе рождается, и *во-вторыхъ*, отъ предмета, служащаго удовлетвореніемъ, смотря по тому, въ какой степени онъ удовлетворяетъ стремленію или мѣшаетъ его удовлетворенію. По степени удовлетворенія стремленія, напряженность чувства упадаетъ, и возрастаетъ снова, вмѣстѣ съ усиленіемъ стремленія.

Понятно, что и напряженность *чувственного душевнаго состоянія* будетъ зависѣть отъ большей или меньшей напряженности тѣхъ чувствованій, которыми проникнуто то или другое сочетаніе представлений, условливающее чувственные состоянія нашей души; но *обширность* чувственного состоянія, а вслѣдствіе того его продолжительность и постоянство

зависятъ уже отъ обширности самихъ сочетаній, проникнутыхъ тѣми или другими чувствами. Одиночное или необширное представленіе не можетъ долго возбуждать то или другое чувство. Необходима цѣлая ассоціація представленій для того, чтобы душа, переходя отъ одного изъ нихъ къ другому, могла возобновлять чувство болѣе или менѣе продолжительно, смотря по обширности ассоціацій, его возбуждающихъ. Если какое-нибудь чувство въ насъ слишкомъ напряжено, то мы сами навязываемъ на него цѣлый рядъ ассоціацій, не идущихъ даже къ дѣлу, только чтобы удержать чувство и расширить его. Такъ, подъ вліяніемъ гнѣва, мы взводимъ иногда такія обвиненія на человѣка, возбудившаго въ насъ гнѣвъ, какія показались бы намъ забавными въ спокойную минуту. Душа наша, обвиняая разомъ цѣлую большую ассоціацію представленій, проникнутыхъ однимъ и тѣмъ же чувствомъ, расширяетъ самое чувство.

Въ самомъ чувствованіи мы можемъ только различать степень его напряженности, а въ *чувственномъ состояніи*, каковы, на примѣръ: радость, печаль, любовь, ненависть, мы, кромѣ степени напряженности, зависящей отъ напряженности самаго сочувствованія, проникающаго данную ассоціацію, должны различать степень *продолжительности* и *обширности* чувственного состоянія, которое уже зависитъ отъ обширности и разнообразія самихъ сочетаній, проникнутыхъ чувствомъ. Продолжительность чувственного состоянія находится въ обратно-пропорціональномъ отношеніи съ его обширностью. Только припоминая разомъ, какъ бы сводя въ одну сумму все оскорбленія, нанесенныя намъ нашимъ врагомъ, мы чувствуемъ всю глубину и обширность нашей ненависти къ нему.

Отсюда уже понятна причина того психическаго явленія, на которое обратилъ вниманіе и Бэнъ, хотя и не могъ объяснить его происхожденія, а именно, что тѣ чувства живутъ въ насъ прочнѣе, которыя могутъ соединиться съ идеями ¹⁾. Теперь для насъ понятно, почему мы долѣе можемъ наслаждаться прекраснымъ видомъ, чѣмъ прекраснымъ цвѣткомъ, и почему наслажденіе первымъ—гораздо обширнѣе и глубже наслажденія вторымъ. Вотъ почему также самыя сильныя, обширныя, постоянныя и прочныя страсти возникаютъ въ душѣ только къ такимъ предметамъ, которые могутъ дать душѣ нашей громадныя сочетанія представленій, каковы, на примѣръ: власть, деньги, природа, науки, искусства, человѣкъ, религія.

Всякому приходилось испытать и читать двѣ совершенно противоположныя истины: *отъ повторенія чувство слабѣетъ* и *отъ повторенія чувство усиливается*, или: чувство, долго не вызываемое, замираетъ;

¹⁾ The Emotion, p. 55.

чувство, часто вызываемое, притупляется. Это важное противорѣчіе мы встрѣчаемъ не только въ общественномъ мнѣніи, но и у психологовъ. Такъ, напримѣръ, Бэнъ говоритъ, что «повтореніе чувствованія имѣетъ оживляющее и убивающее вліяніе, смотря по обстоятельствамъ» ¹⁾, но не объясняетъ этихъ обстоятельствъ. Выше же тотъ же Бэнъ прямо утверждаетъ, что «чувствованіе, часто испытываемое, скорѣе служитъ мотивомъ для нашихъ дѣйствій, чѣмъ то, которое мы испытываемъ рѣдко» ²⁾; тогда какъ Бенеке, наоборотъ, прямо говоритъ, что «въ воспроизведеніи чувство уже слабѣетъ» ³⁾.

Это противорѣчіе и эта темнота въ объясненіи столь важнаго психическаго явленія зависитъ отъ того, что психологи не отдѣляютъ ясною чертою чувствованій отъ чувственныхъ состояній. Признавъ же это отдѣленіе, мы объяснимъ себѣ замѣчательное усиленіе и ослабленіе чувствованій отъ ихъ повторенія. Если мы испытываемъ данное чувствованіе въ связи съ однимъ и тѣмъ же представленіемъ, то съ каждымъ разомъ повторенія чувствованіе слабѣетъ, какъ и само представленіе ⁴⁾, если только, конечно, не возрождаются вновь и вновь тѣ стремленія, которыя даютъ начало чувствованію, какъ возрождаются у насъ всѣ стремленія, вытекающія изъ дѣйствительныхъ потребностей тѣла. Но если предметъ, возбуждающій чувствованіе, таковъ, что допускаетъ большое углубленіе въ себя, т. е., другими словами, если предметъ таковъ, что ощущенія, получаемыя отъ него душою, могутъ оставлять въ ней многочисленные и разнообразные слѣды, изъ которыхъ будутъ выплывать все большія и сложнѣйшія сочетанія, то чѣмъ болѣе мы будемъ углубляться въ такой предметъ, тѣмъ обширнѣе будетъ разрастаться наше чувство къ нему и тѣмъ оно будетъ продолжительнѣе и прочнѣе.

Слѣдуетъ при этомъ напомнить читателю, что самая прочность слѣдовъ представленій зависитъ много отъ органовъ, чрезъ которые получаютъ внѣшнія впечатлѣнія. Ощущенія, получаемыя нами чрезъ органы зрѣнія и слуха, оставляютъ въ нашей памяти гораздо прочнѣйшіе слѣды, чѣмъ ощущенія, получаемыя чрезъ органы вкуса, обонанія и даже осязанія. Мы почти совсѣмъ не можемъ припоминать ощущенія обонанія и вкуса и весьма слабо ощущенія осязанія, если они не соединены съ зрительными. Вотъ почему изъ ощущеній низшихъ чувствъ не можетъ выработаться такихъ прочныхъ и обширныхъ ассоціацій, какъ изъ ощущеній высшихъ; но зато ощущенія, даваемыя низшими чувствами,

¹⁾ The Emotion, p. 102.

²⁾ Ibid., p. 38.

³⁾ Lehrb. der Psych. v. Benecke, § 245.

⁴⁾ См. Педаг. Антр., ч. I, гл. XVI.

взятыя въ отдѣльности, замѣтно напряженнѣе и находятся въ связи съ такими стремленіями, которыя періодически возрождаются изъ потребностей нашего тѣла.

Предоставивъ себѣ развить эти мысли полнѣе при анализѣ отдѣльных видовъ чувствованій и чувственныхъ состояній, изъ нихъ возникающихъ, мы здѣсь укажемъ только читателю на все практическое значеніе, какое имѣетъ для воспитанія этотъ переходъ чувствованій въ чувственныя состоянія. Теперь для насъ будетъ понятно то явленіе, что если мы будемъ кормить дитя роскошнѣйшими блюдами (если бы это было нужно), но все одними и тѣми же, то мы не разовьемъ въ немъ такой страсти ко вкусовымъ ощущеніямъ, какъ тогда, если будемъ кормить его гораздо менѣе изысканнымъ, но разнообразнымъ столомъ, или, кормя его грубымъ столомъ, будемъ при этомъ часто лакомить его разнообразными лакомствами. Съ другой стороны, если мы будемъ вызывать въ ребенкѣ одни и тѣ же чувствованія одними и тѣми же представленіями, то мы мало-по-малу заглушимъ въ немъ самое то чувствованіе, которое, быть можетъ, хотѣли упрочить. Если же какое-нибудь чувствованіе будетъ вызываться разными представленіями и въ различныхъ комбинаціяхъ, составляющихъ содержаніе какого-нибудь одного глубокаго предмета, то данное чувствованіе будетъ возрастать, пока не найдетъ себѣ предѣловъ, въ предѣлахъ самаго предмета; если же этотъ предметъ по содержанію своему безконеченъ, по крайней мѣрѣ безконеченъ для человѣка, каковы: наука, искусство, религія, то и самое чувство будетъ расти безконечно.

Отдѣливъ душевныя чувственныя состоянія отъ элементарныхъ чувствованій, изъ которыхъ эти состоянія слагаются въ связи съ различными представленіями, мы выиграемъ много въ упрощеніи системы и приобрѣтемъ надежную точку опоры при анализѣ сложныхъ душевныхъ явленій. Не только общество, но даже психологи говорятъ, напр., о *чувствѣ ненависти*, какъ объ особомъ чувствѣ; но, анализируя это душевное состояніе, мы увидимъ, что въ немъ соединяется и чувство гнѣва, и чувство отвращенія, и множество желаній; что въ немъ можно даже замѣтить чувство удовольствія, какъ и чувство страданія, и все это въ самой сложной ассоціаціи разнообразнѣйшихъ представленій. Вотъ почему и самая ненависть бываетъ безконечно разнообразна: это уже не элементарное, однородное чувство, а сложный продуктъ душевной жизни.

То же самое слѣдуетъ сказать и о такъ называемомъ чувствѣ *любви*. Такого элементарнаго чувства нѣтъ, а есть только невольное влеченіе къ предмету, удовлетворяющему нашимъ стремленіямъ. Въ любви же, какъ и въ ненависти, могутъ быть соединены самыя разнообразныя чувства: и страданіе, и наслажденіе, и радость, и печаль, и страхъ, и смѣлость,

и даже гнѣвъ и ненависть. Кромѣ того, въ любви уже мы видимъ множество желаній и нежеланій. Это также уже сложный продуктъ душевной жизни, который у каждаго можетъ быть свой особенный, а потому и справедливо, что каждый любить по своему. То же самое слѣдуетъ сказать о такъ называемыхъ чувствованіяхъ: почтеніи, уваженіи, благодарности, лести, зависти, злобѣ и множествѣ другихъ.

Понятно теперь, что если бы всѣ эти необычайно сложные и неисчислимо разнообразные продукты душевной жизни принимать за элементарныя, однородныя чувствованія, то не было бы никакой возможности ни перечислить человѣческихъ чувствованій, ни систематизировать ихъ. Если же мы будемъ принимать за однородныя, элементарныя чувствованія только тѣ, которыя не имѣютъ въ себѣ никакой сложности и хотя связываются съ представленіями, но могутъ возникать и независимо отъ нихъ изъ органическихъ состояній тѣла, то это поможетъ намъ какъ перечислить чувствованія, такъ и анализировать потомъ сложныя чувственныя состоянія души.

Г Л А В А XVIII.

Выдѣленіе душевныхъ чувствованій и ихъ раздѣленіе.

Словомъ *душевный* мы отличаемъ разсматриваемыя нами чувствованія, во-первыхъ, отъ чувствованій *органическихъ*, во-вторыхъ, отъ чувствованій *духовныхъ*. Подъ именемъ *органическихъ* чувствованій мы разумѣемъ такія, которыя возникаютъ изъ различныхъ, какъ періодическихъ, такъ и патологическихъ состояній тѣлеснаго организма, и причинъ которыхъ, по тому самому, мы не сознаемъ. Къ чувствованіямъ *духовнымъ* мы причисляемъ всѣ тѣ, которыя свойственны только человѣку, какъ, напр., чувствованія эстетическія и нравственныя. Къ чувствованіямъ же *душевнымъ* мы относимъ всѣ тѣ, причина которыхъ заключается въ отношеніи нашихъ представленій къ нашимъ стремленіямъ, и которую, слѣдовательно, мы сознаемъ. Стремленія наши мы также можемъ раздѣлить на тѣлесныя, душевныя и духовныя. Къ *тѣлеснымъ* стремленіямъ мы отнесли всѣ тѣ, которыя возникаютъ изъ потребностей растительнаго процесса нашего тѣла. *Душевное* стремленіе мы замѣтили только одно — *стремленіе жить*, т. е., стремленіе къ сознательной дѣятельности, что для души одно и то же. О стремленіяхъ *духовныхъ*, т. е. свойственныхъ только человѣку, намъ предстоитъ говорить впослѣдствіи.

Возникновеніе *душевныхъ чувствованій* изъ отношенія представленій къ нашимъ стремленіямъ, какого бы рода эти стремленія ни были,

ясно само собою. Все, что удовлетворяет нашимъ стремленіямъ, составляетъ намъ *удовольствіе*; все, что противорѣчитъ имъ, — *неудовольствіе*; все, что мѣшаетъ удовлетворенію нашихъ стремленій и что мы пытаемся преодолѣть, внушаетъ намъ *гнѣвъ*; все, что мѣшаетъ нашимъ стремленіямъ, такъ что мы не рѣшаемся его преодолѣвать, внушаетъ намъ *страхъ*; все, что кажется намъ способнымъ удовлетворить наши стремленія, влечетъ насъ къ себѣ, внушаетъ намъ симпатію или *влеченіе*; все, что, наоборотъ, кажется намъ противнымъ нашему стремленію, внушаетъ намъ антипатію или *отвращеніе*. Такимъ образомъ, изъ разнообразія отношеній нашихъ стремленій къ нашимъ представленіямъ естественно порождаются въ насъ различныя душевныя чувствованія.

Мы сказали: къ нашимъ *врожденнымъ* стремленіямъ; но это выраженіе можетъ подать поводъ къ недоразумѣніямъ. Въ нашей душѣ могутъ возникать различныя чувствованія изъ отношенія представленій къ такимъ стремленіямъ, которыхъ мы никакъ не можемъ назвать врожденными. Такъ, напр., человекъ, преданный азартной игрѣ, можетъ испытывать гнѣвъ, если что-нибудь мѣшаетъ удовлетворенію его страсти; можно ли же сказать, что здѣсь чувствованіе возникаетъ изъ отношенія представленія къ *врожденному* стремленію? Но если мы разберемъ даже такое искусственное стремленіе, каково стремленіе къ азартной игрѣ, то увидимъ въ основѣ его, *во-первыхъ* — природное всякой душѣ стремленіе къ дѣятельности, а *во-вторыхъ*, — природное только человеку стремленіе къ совершенству. Если же изъ такихъ законныхъ стремленій выработалась такая уродливая страсть, то причину этого слѣдуетъ искать въ обстоятельствахъ жизни человека, въ его воспитаніи, въ его умственномъ и нравственномъ развитіи. Слѣдовательно, даже и въ отношеніи чувствованій, порождаемыхъ азартною игрою, мы можемъ сказать, что они возникаютъ изъ отношенія представленій къ *врожденнымъ* стремленіямъ человека, хотя эти врожденныя стремленія подъ вліяніемъ жизни приняла такое уродливое направленіе. Всѣ наши *желанія*, *наклонности* и *страсти*, какъ бы сложны они ни были и какъ бы искусственны ни казались, имѣютъ въ своемъ основаніи врожденное стремленіе. Но такъ какъ всякое желаніе образуется изъ стремленія посредствомъ жизненнаго опыта, а опыты эти безконечно разнообразны, то изъ одного и того же врожденнаго стремленія можетъ образоваться множество разнообразныхъ желаній, наклонностей и страстей. Одно и то же стремленіе къ пищѣ, смотря по разнообразію его удовлетворенія, можетъ выработаться во множество разнообразныхъ желаній той или другой пищи, смотря по тому, чѣмъ мы привыкли удовлетворять нашъ голодъ. Но еще гораздо плодотвѣе въ этомъ отношеніи душевное стремленіе къ сознательной дѣятель-

ности. Каждая душа вырабатываетъ для себя особую сферу дѣятельности и въ ней чувствуетъ себя легко, работаетъ широко и безъ препятствій, такъ что то, что можетъ одному казаться обширною сферою дѣятельности, будетъ казаться для другого тѣсною тюрьмою, и наоборотъ. Понятно, что въ этомъ отношеніи все зависитъ отъ жизненнаго опыта, опредѣлившаго нашу дѣятельность такъ или иначе.

Кромѣ перечисленныхъ выше чувствованій, *удовольствія* или *неудовольствія*, *гнѣва*, *страха*, *влеченія* и *отвращенія*, появленіе которыхъ въ процессѣ удовлетворенія нашимъ стремленіямъ ясно само собою, мы должны причислить къ элементарнымъ чувствованіямъ еще нѣсколько такихъ, помѣщеніе которыхъ въ число *элементарныхъ чувствованій*, прямо порождающихся изъ нашихъ врожденныхъ стремленій, потребуетъ оправданія и доказательства; таковы чувствованія: *скуки*, *стыда*, *самодовольства*, *смѣлости* и *доброты*. Но само собою разумѣется, что оправданіе причисленія этихъ чувствованій къ чувствованіямъ элементарнымъ можетъ возникнуть только изъ подробнаго ихъ анализа.

Всѣ исчисленныя нами чувствованія вызываются въ душѣ при процессѣ удовлетворенія ею ея врожденныхъ стремленій, откуда бы ни шли эти стремленія: изъ тѣла, души или духа. Но есть еще рядъ особыхъ чувствованій, служащихъ *средствами сознательнаго процесса*, спеціально удовлетворяющаго стремленію души къ сознательной дѣятельности. Таковы чувствованія: *сомнѣнія*, *удивленія*, *контраста* и др., о которыхъ въ подробности мы скажемъ тогда, когда до нихъ дойдетъ дѣло. Чтобы отличить эти чувствованія, въ которыхъ и посредствомъ которыхъ совершается самый процессъ сознательной дѣятельности, мы назовемъ ихъ *душевно-умственными* чувствованіями въ отличіе отъ тѣхъ, которыя порождаются изъ самаго процесса удовлетворенія стремленій, но существуютъ какъ бы внѣ сознательнаго процесса, и которыя мы назовемъ *душевно-сердечными*, по особенному, чисто физиологическому вліянію ихъ на сердце, нервная система котораго преимущественно подвергается вліянію душевныхъ волненій ¹⁾.

Итакъ, мы раздѣляемъ всѣ чувствованія на три рода: а) *органическія*, б) *душевные* и в) *духовныя*, изъ которыхъ разсматриваемъ здѣсь только душевные, такъ какъ наблюденіе надъ *органическими* можетъ быть только отрывочное, а наблюденіе надъ *духовными* предстоить намъ въ 3-й части нашей антропологии.

Душевные чувствованія мы опять раздѣляемъ на два рода: а) *душевно-сердечныя* и б) *душевно-умственныя*. Подъ именемъ *душевно-*

¹⁾ Wundt, Menschen- und Thier-Seele. В. II. S. 23.

сердечныхъ мы разумѣемъ такія, которыя порождаются изъ отношенія представленій къ нашимъ стремленіямъ; подъ именемъ вторыхъ, *душевно-умственныхыхъ*, мы разумѣемъ такія, которыя сопровождаютъ умственный процессъ прилаживанія новыхъ представленій къ вереницамъ и сѣтямъ прежнихъ. Новое представленіе, которое противорѣчитъ прежнимъ, *удивитъ насъ, но не испугаетъ и не разсердитъ* до тѣхъ поръ, пока мы не поймемъ его отношенія къ нашимъ стремленіямъ. *Душевно-умственныя* чувствованія прождаются *умственной* оцѣнкой; тогда какъ *сердечныя* порождаются оцѣнкою сердечною, т. е. нашими интересами или, еще проще, нашими врожденными стремленіями, въ какую бы сложную форму желаній, склонностей и страстей они ни выработались.

Мы займемся сначала чувствованіями *душевно-сердечными*, причисляя къ нимъ *пять* антагонистическихъ *паръ* сердечныхъ чувствованій, а именно: 1) *удовольствіе и неудовольствіе*; 2) *влеченіе и отвращеніе*; 3) *гнѣвъ и доброту*; 4) *страхъ и смѣлость* и 5) *стыдъ и самодовольство*.

Г Л А В А XIX.

Виды душевно-сердечныхъ чувствованій:

1) *удовольствіе и неудовольствіе*.

Нѣтъ чувствованій чаще повторяющихся, какъ чувствованія *удовольствія и неудовольствія*; но, несмотря на частое повтореніе, а можетъ быть именно по причинѣ его, чувствованія эти представляютъ наибольшую трудность для анализа. Не было ни одного психолога, ни одного философа и ни одного моралиста, который не употребилъ бы значительныхъ стараній къ изученію этихъ чувствованій... Въ этой главѣ мы займемся, если можно такъ выразиться, одною психическою исторіею этихъ противоположныхъ чувствованій, не переходя нигдѣ къ ихъ моральному значенію; другими словами, мы будемъ разсматривать здѣсь чувствованія удовольствія или неудовольствія только какъ виды *чувствованій*, а не какъ *мотивы для нашей дѣятельности*, что ожидаетъ насъ въ главахъ о волѣ.

Мы думаемъ, что трудность наблюденія надъ чувствованіями удовольствія или неудовольствія не мало увеличивается тѣмъ, что они имѣютъ способность соединяться со множествомъ другихъ душевныхъ явленій, а именно: со всѣми возможными *ощущеніями* и даже со всѣми возможными *чувствованіями*. Но не должна ли самая эта способность этихъ чувствованій соединяться со всѣми ощущеніями и чувствованіями навести насъ на мысль, что само по себѣ чувство удовольствія и неудовольствія является чѣмъ-то самостоятельнымъ, особеннымъ отъ тѣхъ чувствованій и

ощущеній, которыя имъ сопровождаются. Другими словами, не должно ли быть во всѣхъ *приятныхъ* ощущеніяхъ что-нибудь *общее*, чему придасть человѣкъ общее имя *удовольствія*, и во всѣхъ *неприятныхъ* также что-нибудь общее, что человѣкъ назвалъ общимъ именемъ *неудовольствія*? «Языкъ людей—говоритъ Гезіодъ, цитируемый Аристотелемъ,—никогда не ошибается вполнѣ», и мы думаемъ, что въ такой общности термина, прилагаемаго къ самымъ разнообразнымъ ощущеніямъ и чувствованіямъ, есть вѣрное основаніе: мѣткое психологическое наблюденіе, сдѣланное человекомъ.

Необходимость признанія самостоятельности анализируемыхъ нами чувствованій выкажется еще яснѣе, если мы припомнимъ, что одно и то же ощущеніе, нисколько не измѣняясь въ своемъ специфическомъ характерѣ, можетъ сегодня вызвать въ человѣкѣ чувство удовольствія, а завтра въ томъ же человѣкѣ—чувство неудовольствія, хотя человѣкъ сознаетъ, что самое ощущеніе не измѣнилось. Чувство аппетита или рождающагося голода можетъ вызвать въ человѣкѣ чувство удовольствія и чувство неудовольствія, смотря по тому, имѣетъ ли онъ въ виду хорошій обѣдъ или нѣтъ. Можно, конечно, сказать, что здѣсь мы испытываемъ разомъ чувство удовольствія и чувство неудовольствія¹⁾; но такое заключеніе будетъ явно несправедливымъ, ибо очевидно невозможно испытывать одной душѣ въ одно и то же время два такія противоположныя, уничтожающія другъ друга чувствованія, каковы удовольствіе и неудовольствіе. Можно не испытывать ни того, ни другого; но испытывать оба вмѣстѣ — невозможно. Здѣсь мы должны только признать, что чувства голода и жажды суть специфическія внутреннія или органическія *ощущенія* душою тѣхъ или другихъ состояній въ организмѣ, а самое чувство удовольствія или неудовольствія есть уже отзывъ души на эти ощущенія.

То же самое слѣдуетъ сказать и объ отношеніи *чувствованія* неудовольствія или страданія къ органическому *ощущенію боли*. Если мы отдѣляемъ зрительныя ощущенія отъ удовольствія и неудовольствія, которыми они могутъ сопровождаться и не сопровождаться, то на какомъ же основаніи не отдѣлимъ мы чувствованія неприятности боли отъ самаго ощущенія боли? Боль есть такое же специфическое ощущеніе даннаго состоянія тѣхъ или другихъ нервовъ, какъ и всякое другое. При перерѣзѣ глазного перва ощущается не боль, а свѣтъ; при пораженіи слуховыхъ нервовъ ощущается не боль, а звукъ²⁾; при пораженіи нервовъ, передающихъ боль, ощущается не звукъ, не свѣтъ,—а боль.

¹⁾ Philèbe ou du plaisir, p. 474.

²⁾ См. Учебникъ Физиологіи.

Боль, какъ извѣстно, происходитъ отъ самыхъ разнообразныхъ внѣшнихъ причинъ; но точно такъ же отъ разнообразныхъ внѣшнихъ причинъ могутъ происходить и свѣтъ, и звукъ, и ощущение запаха. Въ сущности же внутренняя причина боли должна быть одна и та же, а именно: насильственное сближеніе или насильственное разъединеніе частицъ нервовъ, переходящее предѣлы, положенные динамическими законами организма. Боль въ этомъ случаѣ есть спасительный указатель, что частицы организма приходятъ между собою въ такое соотношеніе, которое угрожаетъ жизни или здоровью организма; а страданіе, испытываемое при *ощущеніи* боли, есть спасительный голосъ природы, который, необъяснимо для насъ самихъ, говоритъ душѣ, что удовлетвореніе ея стремленія къ жизни находится въ опасности. Правда, мы не понимаемъ, откуда идетъ этотъ голосъ, а потому и называемъ его голосомъ фантастическаго существа или природы; но, тѣмъ не менѣе, мы можемъ измѣнить этотъ голосъ въ нашемъ сознаніи. Человѣкъ, на примѣръ, у котораго рука отнята параличемъ, очень обрадовался бы, почувствовавъ въ ней боль, и не съ неудовольствіемъ, а съ истиннымъ наслажденіемъ прислушивался бы къ этой боли. Больной, котораго увѣрили, что ощущение горчичника есть симптомъ возможности выздоровленія, съ истиннымъ наслажденіемъ испытываетъ боль, производимую горчичникомъ. Физиологъ или психологъ, изучающій самъ на себѣ характеристику различныхъ видовъ боли, можетъ съ неудовольствіемъ испытывать, что боль проходитъ. Конечно, на это могутъ замѣтить, что такія явленія возможны только въ низшихъ степеняхъ боли, а когда боль усиливается, то человѣкъ не можетъ уже не страдать. Это зависитъ отъ силы воли, отъ занимающей насъ идеи; но для насъ важна здѣсь самая возможность этого явленія, а не его степень. Преданіе же говоритъ, что фанатизмъ нерѣдко заставлялъ людей съ удовольствіемъ переносить такія ощущенія боли, которыя пугаютъ насъ своею громадною напряженностью.

Признаемъ же ощущеніе голода, жажды, температуры, ощущеніе потребности движеній, ощущеніе икоты, тошноты, равно какъ и разнообразныя ощущенія боли за такія же специфическія ощущенія, каковы ощущенія зрѣнія, вкуса, слуха и т. д. Между двумя этими родами ощущенія только та разница, что такъ называемыя *внѣшнія* ощущенія, по особенному своему свойству, передаютъ намъ познаніе о вещахъ, внѣ насъ лежащихъ, тогда какъ *ощущенія* внутреннія извѣщаютъ насъ о состояніяхъ нашего собственнаго организма. Чувствованіе же удовольствія или неудовольствія можетъ сопровождать или не сопровождать какъ тѣ, такъ и другія, и является показателемъ отношенія этихъ ощущеній къ стремленію, живущему въ человѣкѣ: къ стремленію *быть* во всѣхъ его видахъ, и къ стремле-

нiю *жить* сознательной жизнью ¹⁾). Это отношенiе мы можемъ понимать и можемъ только чувствовать: въ первомъ случаѣ у насъ возникаетъ *органическое* чувствоудовольствiя или неудовольствiя, причины котораго мы не сознаемъ непосредственно, а во второмъ—чувствованiе *душевное*. Но самое содержанiе чувстваудовольствiя, какъ при томъ, такъ и при другомъ его происхожденiи, будетъ одно и то же.

Мы увидимъ далѣе, что чувстваудовольствiя и неудовольствiя комбинируются съ другими чувстваудовольствiями, изъ которыхъ одни всегда сопровождаются неудовольствiемъ или удовольствiемъ, а другiе могутъ сопровождаться то удовольствiемъ, то неудовольствiемъ. Такъ, напримѣръ, чувство скуки всегда непрiятно; но точно такъ же всегда непрiятно и чувство стыда. Однакоже никто не смѣшаетъ чувство стыда съ чувствомъ скуки. Слѣдовательно, чувство неудовольствiя не должно быть смѣшиваемо ни съ чувствомъ стыда, ни съ чувствомъ скуки, хотя всегда ихъ сопровождаетъ. Тѣмъ болѣе нельзя смѣшать его съ чувствомъ *гнѣва*, которое мы иногда нарочно поддерживаемъ въ себѣ, такъ какъ оно намъ нравится,—или съ чувствомъ *любви*, которое можетъ то мучить насъ, то доставлять намъ удовольствiе. Признавъ самостоятельность чувства удовольствiя и неудовольствiя и его отдѣльность какъ отъ *другихъ чувстваудовольствiй*, такъ и отъ *ощущенiй*, мы можемъ теперь приступить къ ближайшему его изученiю...

Чувство удовольствiя или неудовольствiя совершенно обусловливается стремленiями человѣка, сознаетъ ли онъ эти стремленiя въ видѣ опредѣленныхъ желанiй, или бессознательно подчиняется имъ. Чувство неудовольствiя будетъ именно чувствоудовольствiе *человѣкомъ* того гнета, которымъ называются живущiя въ немъ стремленiя при ихъ неудовлетворенiи. Чувствоудовольствiя же есть не что иное, какъ ощущенiе уменьшенiя этого гнета или его совершеннаго прекращенiя, когда стремленiя удовлетворяются. Все же остальное въ удовольствiи или неудовольствiи будетъ специфическимъ ощущенiемъ или специфическимъ чувстваудовольствiемъ, которыя могутъ сопровождать чувство удовольствiя, но могутъ и не сопровождать его. Такъ, человѣкъ испытываетъ весьма ясное удовольствiе, когда боль прекращается, хотя это удовольствiе не сопровождается никакимъ опредѣленнымъ ощущенiемъ или чувстваудовольствiемъ. Въ этому же роду *чистыхъ* удовольствiй (чистыхъ въ психическомъ, а не въ моральномъ смыслѣ) принадлежитъ чувство отдыха, смѣняющее чувство усталости. Мы не испытываемъ при этомъ никакихъ особыхъ ощущенiй или чувстваудовольствiй, а наслаждаемся только исчезновенiемъ страданiя. Но чувство удовольствiя, тѣмъ не менѣе, такъ ясно при этомъ, что Кантъ не затруднился назвать отдыхъ однимъ изъ напряженнѣйшихъ и законнѣйшихъ наслажденiй...

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. VIII.

Степень напряженности удовольствія, какъ мы уже видѣли, зависитъ отъ силы самаго стремленія и степени неудовольствія, имъ возбуждаемаго. Въ этомъ отношеніи, какъ удовольствіе, такъ и неудовольствіе имѣютъ безчисленныя градаціи и могутъ доходить отъ едва замѣтнаго довольства или недовольства до невыносимыхъ страданій и захватывающихъ душу наслажденій.

Степень же постоянства и обширности удовольствія или неудовольствія зависитъ уже отъ обширности и прочности сочетаній тѣхъ представленій, которыми вызываются эти чувствованія. Вотъ отчего, а не отъ качественного различія въ самомъ чувствѣ удовольствія, драма Шекспира, разыгранная хорошо, доставляетъ намъ такое обширное наслажденіе, что его, повидимому, нельзя и сравнивать съ наслажденіемъ вкусною пищею, которое можетъ быть очень напряженно, но всегда останется узкимъ и быстро проходящимъ.

Какъ удовольствіе, такъ и неудовольствіе, соединившись съ представленіями, не проходятъ для души безслѣдно, но оставляютъ свой слѣдъ въ слѣдахъ тѣхъ самыхъ представленій, которыми были вызваны. Мы не будемъ разыскивать вмѣстѣ съ Бэномъ, что лучше вспоминается человѣкомъ—удовольствіе или страданіе¹⁾, такъ какъ мы думаемъ, что это одинаково для обоихъ чувствованій и зависитъ отъ ихъ интенсивности и свойства представленій, съ которыми они слились; но обратимъ вниманіе на то, что *припоминать* удовольствіе и *перечувствовать* его вновь, хотя и не съ первобытной силой, не одно и то же. Вспоминая, напримѣръ, хорошую картину, которую я видѣлъ, я могу ощущать удовольствіе болѣе или менѣе напряженное; но вспоминая протекшее удовольствіе, я испытываю даже неудовольствіе именно отъ того, что не испытываю уже болѣе минувшаго удовольствія. Такъ, воспоминанія молодости могутъ сопровождаться то удовольствіемъ, то неудовольствіемъ, смотря по тому, какъ воспоминающій относится къ нимъ: если онъ *прямо вспоминаетъ какое-нибудь счастливое событіе* своей молодости, то сердце его наполняется удовольствіемъ; если же онъ думаетъ, что это событіе миновалось и не воротится болѣе, то сердце его наполняется грустью. Присмотритесь и прислушайтесь, какъ старики рассказываютъ воспоминанія своей молодости, и вы замѣтите, какъ у нихъ улыбки смѣняются вздохами и вздохи улыбками.

Еще яснѣе подмѣчается то же явленіе при воспоминаніи протекшихъ страданій. Одно и то же воспоминаніе оскорбленія, полученнаго въ дѣтствѣ, можетъ наполнить душу человѣка пріятнымъ чувствомъ или горечью

¹⁾ The Emotion, p. 85.

и злобою смотря по тому, какъ человекъ отнесется къ своему воспоминанію. Если онъ взглянулъ на свое дѣтство, какъ на нѣчто давно минувшее, съ чѣмъ нѣтъ у него болѣе никакой связи, то воспоминаніе дѣтскихъ страданій вызоветъ у него пріятное чувство; если же, наоборотъ, воспоминающій видитъ въ припоминаемомъ ребенкѣ тождественную съ нимъ личность, — если, на примѣръ, онъ думаетъ о томъ, какое дурное вліяніе имѣло на всю его жизнь грубое обращеніе наставниковъ, или просто, наконецъ, силою воображенія переносится совершенно въ свою дѣтскую личность, то сердце его опять чувствуетъ жало оскорбленія, и чувствуетъ, можетъ быть, даже сильнѣе, чѣмъ чувствовало въ то время, когда оскорбленіе было нанесено. При сильномъ воображеніи можно даже произвольно дѣлать этотъ опытъ и, вспоминая, на примѣръ, протекшую опасность, то почувствовать мученіе страха, то удовольствіе, что эти мученія миновались. Эта способность произвольно вызывать чувство черезъ посредство воображенія даетъ игрѣ хорошихъ актеровъ оттънокъ глубокой истины, потрясающей публику.

Наблюдая далѣе надъ своими воспоминаніями, проникнутыми чувственнымъ характеромъ, мы можемъ замѣтить и другую весьма важную характеристическую черту отношеній между этими двумя антагонистами — удовольствіемъ и неудовольствіемъ. Соединенныя вмѣстѣ въ одномъ одновременномъ представленіи или сочетаніи представленій, они дѣйствуютъ другъ на друга какъ отрицательныя и положительныя величины, сведенныя въ одинъ итогъ. Поставленныя же рядомъ, но не слитыя въ одномъ представленіи, каждое изъ нихъ увеличиваетъ напряженность своего сосѣда всею силою своей противоположной напряженности. Пояснимъ примѣромъ оба случая.

«Какъ сила жара, говоритъ Бэнъ, можетъ быть измѣряема количествомъ растапливаемаго имъ снѣга, такъ и сила удовольствія, относительно своего дѣйствія на душу, можетъ быть измѣряема количествомъ тѣхъ страданій, которыя оно въ состояніи утишить» ¹⁾. Дѣйствительно, если какое-нибудь удовольствіе заставляетъ человекъ пренебрегать страданіями, то оно должно быть сильнѣе этихъ страданій. Но какъ тающій снѣгъ, превращаясь въ воду, поглощаетъ тепло изъ окружающей его атмосферы и охлаждаетъ ее, такъ элементъ страданій, если не можетъ преодолѣть элемента удовольствій, заключающагося въ одномъ и томъ же представленіи, то ослабляетъ его на всю силу этихъ страданій.

Совершенно обратное явленіе происходитъ тогда, если представленія, проникнутыя противоположными чувствованіями, или такія, что въ итогѣ

¹⁾ The Emotion, p. 38.

каждаго выходятъ противоположныя чувствованія, стоять рядомъ, не соединяясь: тогда пріятное представленіе усиливаетъ свою пріятность всею силою непріятности непріятнаго, и наоборотъ. Стоитъ вспомнить о своей бывшей бѣдности, чтобы гораздо сильнѣе почувствовать удовольствіе отъ своего настоящаго богатства, и наоборотъ: стоитъ вспомнить свое прожитое богатство, чтобы гораздо сильнѣе почувствовать свою настоящую бѣдность. Отъ этого же зависитъ то явленіе, что, сидя въ уютной комнатѣ, въ веселомъ кругу, у свѣтлаго камина, мы сильно увеличиваемъ свое удовольствіе, вспоминая или воображая вьюгу, холодъ, мракъ и уединеніе, царствующіе за стѣнами. Если человѣкъ подмѣчаетъ эту особенность во взаимномъ отношеніи чувствованій удовольствія и неудовольствія и пользуется ею, чтобы усилить напряженность своихъ наслажденій, то можетъ прійти къ самымъ уродливымъ страстямъ. Но такъ какъ эта способность самонаблюденія принадлежитъ только человѣку, то и эти страсти, возникающія черезъ посредство такого самонаблюденія, составляютъ только человѣческую принадлежность.

Такимъ образомъ, если мы одновременно представляемъ себѣ болѣе или менѣе обширную ассоціацію представленій, изъ которыхъ одни проникнуты непріятными чувствами, а другія пріятными, такъ однакожь, что въ суммѣ непріятныхъ будетъ менѣе, чѣмъ пріятныхъ, тогда *общее* впечатлѣніе всей ассоціаціи будетъ пріятное, но уменьшенное суммою всѣхъ непріятныхъ представленій. Если же представляемая ассоціація такъ обширна, какъ, на примѣръ, вся наша протекшая жизнь, и мы, не обнимая ея разомъ, перебираемъ въ ней одно представленіе за другимъ, то пріятность *теперь* ощущаемаго представленія выигрываетъ въ напряженности отъ сосѣдства съ *протекшимъ* непріятнымъ, и наоборотъ; подъ конецъ же всего процесса останется у насъ воспоминаніе сильной, живой душевной дѣятельности, которая всегда душѣ пріятна. Вотъ почему человѣкъ любитъ вспоминать свою протекающую жизнь, какъ бы грустно она ни прошла.

Замѣчательно, однако, что воспоминаніе какой-нибудь низости, сдѣланной нами, какого-нибудь нравственнаго проступка—всегда непріятно; но это явленіе не противорѣчитъ общему закону и доказываетъ только, что мы чувствуемъ солидарность съ нами всѣхъ нашихъ поступковъ во всю нашу жизнь, такъ что безнравственный поступокъ, совершенный нами въ дѣтствѣ, свидѣтельствуетъ намъ вообще о всемъ нашемъ характерѣ именно потому, что настоящій характеръ нашъ есть выводъ всей нашей жизни. Еще же замѣчательнѣе то явленіе, что если мы и сознаемъ, что измѣнились къ лучшему, и что безнравственный поступокъ, сдѣланный нами прежде, теперь уже для насъ невозможенъ, то и тогда мы не

перестаемъ совѣститься за него, если только усиленнымъ дѣйствіемъ нашего воображенія не разобьемъ нашу жизнь на части. Вотъ чувственное доказательство тождественности нашей души во всѣ моменты ея жизни.

Бываютъ, правда, и такія явленія, что человѣкъ съ какою-то радостью рассказываетъ свои прежніе проступки; но это уже происходитъ отъ того, что онъ не считаетъ эти проступки своими, а объясняетъ ихъ, на примѣръ, вліяніемъ окружающей среды и представляетъ себя несчастною жертвою этихъ вліяній. Если же, наконецъ, какъ это иногда бываетъ у закоренѣлыхъ злодѣевъ, человѣкъ просто хвастается своими злодѣйствами, то это именно потому, что онъ смотритъ на ихъ силу, на ихъ количественную, а не на ихъ качественную сторону. «Но нѣтъ человѣка, какъ справедливо замѣчаетъ Броунъ который, независимо отъ сладостныхъ плодовъ проступковъ, не пожелалъ бы имѣть чистой совѣсти. Это, быть можетъ, единственное *общее желаніе* всѣхъ людей» ¹⁾.

Практическое значеніе чувствованій удовольствія и неудовольствія громадно. Это именно тѣ средства, которыми природа заставляетъ насъ выполнять ея требованія. Если бы органическое ощущеніе голода не сопровождалось страданіями, то человѣкъ умеръ бы отъ голода вскорѣ послѣ рожденія. Если бы стремленіе къ родовому существованію не было обставлено такими сильными побудками страданій и наслажденій, то родовое существованіе животныхъ организмовъ не было бы ничѣмъ обеспечено. Если бы скука не сопровождалась мучительнымъ чувствомъ, то что бы заставило человѣка перейти къ свободной дѣятельности, невынужденной тѣлесными заботами? *Удовольствіемъ и страданіемъ* природа подталкиваетъ и заманиваетъ и человѣка, и животное къ выполненію тѣхъ стремленій, которыя вложены въ ихъ тѣло и душу.

Это, безспорно, огромное значеніе чувствованій страданія и удовольствія въ жизни живыхъ существъ побудило многихъ философовъ и психологовъ видѣть въ этихъ чувствованіяхъ разгадку всѣхъ поступковъ, всѣхъ желаній и даже всѣхъ прочихъ чувствованій человѣка. И эта мысль совершенно справедлива, если мы только дополнимъ ее тѣмъ соображеніемъ, что сами эти чувствованія удовольствія и неудовольствія выходятъ изъ врожденныхъ тѣлу и душѣ стремленій, и что, такимъ образомъ, первою причиною дѣятельности живыхъ существъ является само *стремленіе*. Мать не потому любитъ свое новорожденное дитя, что эта любовь доставляетъ ей удовольствіе; а потому любовь доставляетъ ей удовольствіе, что она любитъ ²⁾. Чувство же это, какъ мы видѣли, про-

¹⁾ Brown, p. 418.

²⁾ Ibid. p. 427.

буждается въ матери органическимъ состояніемъ, независимо отъ всякаго представленія о страданіяхъ или удовольствіяхъ. Любовь иногда страшно мучить насъ, но, тѣмъ не менѣе, остается въ душѣ нашей. Многіе съ удовольствіемъ вырвали бы изъ сердца чувство зависти, но продолжаютъ завидовать, несмотря на горечь этого чувства и на то отвращеніе, которое они сами къ нему питаютъ.

Особенная же односторонность этого сенсуалистическаго взгляда на удовольствіе и неудовольствіе оказывается въ приложеніи къ тому стремленію, которое мы называли стремленіемъ души къ сознательной дѣятельности. Къ сознательной дѣятельности въ ея чистотѣ человѣкъ побуждается *непріятностью* скуки, но при удовлетвореніи этому стремленію не чувствуетъ *удовольствія*. Человѣку, именно, свойственно увлекаться идеей того дѣла, которое онъ дѣлаетъ, безъ всякаго разчета на полученіе какихъ бы то ни было удовольствій, или во избѣжаніе какихъ бы то ни было страданій. Напротивъ, часто человѣкъ, для осуществленія своей идеи, пренебрегаетъ удовольствіями и страданіями, и когда работаетъ, то не чувствуетъ ни тѣхъ, ни другихъ. И только при такомъ отношеніи человѣка къ дѣлу для него возможно *творчество*, какъ это мы увидимъ ниже.

Г Л А В А XX.

Виды душевно-сердечныхъ чувствованій:

2) чувствованіе влеченія и отвращенія (131—137).

На чувствѣ *любви* зиждется множество явленій индивидуальной и общественной жизни, а потому оно всегда было предметомъ изслѣдованія философовъ и психологовъ. Аристотель объясняетъ его *желаніемъ* блага тому, кого любишь, но смѣшиваетъ это чувство съ желаніемъ, которое есть уже послѣдствіе любви. Декартъ для объясненія ея прибѣгаетъ къ своей теоріи «животныхъ газовъ», представляющихъ совершенно произвольную гипотезу; но, кромѣ этой органической любви, признаетъ еще любовь душевную, зависящую отъ сужденій. Спиноза опредѣляетъ любовь, какъ «чувство радости, сопровождаемое идеею ея внѣшней причины», но любовь не всегда сопровождается радостью, а иногда и горемъ, и всетаки не перестаетъ быть любовью, которая, слѣдовательно, не зависитъ отъ этихъ чувствъ. Локкъ выводитъ любовь изъ удовольствій, доставляемыхъ человѣку тѣмъ или другимъ предметомъ; но мы нерѣдко замѣчаемъ въ себѣ любовь къ предмету безъ всякихъ соотношеній между нами и этимъ предметомъ и безъ всякаго разчета на удовольствіе. Ридъ не признаетъ отдѣльности чувства любви, помѣщаетъ его въ разрядъ «добрыхъ чувствъ» вообще и примѣ-

няетъ его только къ лицамъ, а не къ вещамъ; но мы любимъ также и вещи, на примѣръ, произведенія природы и искусства, наконецъ Бога; намъ свойственны также сребролюбіе, сластолюбіе, властолюбіе и др. страсти, вытекающія изъ чувства любви. Онъ самъ признаетъ, что чувство любви часто сопровождается страданіями, слѣдовательно, оно не всегда только пріятно, и притомъ смѣшиваетъ это чувство съ стремленіями. У Гербарта чувство любви есть особый продуктъ взаимодействія представленій, а у Бенке — различныхъ отношеній между впечатлѣніями и «первичными силами», причемъ однородныя представленія или сливаются (дружба), или дополняютъ другъ друга (любовь). Но эти соотношенія представленій, которыя можно понять умомъ, еще не обуславливаютъ непременно чувства любви, которое можетъ зародиться и при разнородности представленій. Бэнъ смѣшиваетъ чувство любви съ чувственностью, перенося это даже на материнскую любовь, и въ опредѣленіи даже чувственной любви (ко всему тихому, мягкому, кроткому, нѣжному) имѣетъ въ виду только мужчину и забываетъ о женщинѣ. Гегель очень туманно опредѣляетъ любовь *общимъ* разумнымъ стремленіемъ, а слѣдовательно, вмѣстѣ со Спинозой, смѣшиваетъ чувство съ стремленіемъ или *влеченіемъ*, которое можно признать лишь зародышемъ любви, но еще не самою любовью. Гдѣ есть любовь, тамъ непременно есть влеченіе, какъ ея условіе. Изъ этого *чувства влеченія*, въ связи съ различными представленіями и сочетаніями, и образуются тѣ разнообразныя психическія состоянія, которыя мы и называемъ вообще любовью: любовь къ дѣтямъ, къ женщинѣ или мужчине, къ другу, къ природѣ, къ искусству, къ богатству и т. д.

Слѣдовательно, любовь, или *чувство влеченія*, есть специфическое чувство (*sui generis*), которое всякій изъ насъ испытываетъ, но которое такъ же невозможно опредѣлить, какъ нельзя опредѣлить и никакое душевное чувство, какъ нельзя опредѣлить и ни одного изъ нашихъ первичныхъ ощущеній. Опредѣлить его нельзя потому, что оно составляетъ простое, не разлагающееся душевное явленіе; но можно отдѣлить его отъ другихъ чувствованій и назначить ему то мѣсто, которое оно занимаетъ въ душевной жизни. Любовь, или въ первой своей формѣ — чувство влеченія, пробуждается въ душѣ всякій разъ, какъ мы встрѣчаемъ предметъ, соотвѣтствующій тому или другому врожденному намъ стремленію. Мы не будемъ разбирать вопроса, почему человекъ узнаетъ, что представляющійся ему предметъ соотвѣтствуетъ его стремленію. Этотъ вопросъ, какъ мы думаемъ, неразрѣшимъ. Если признать, что предметъ, входя въ область нашихъ ощущеній зрѣнія, слуха, обонянія или вкуса, уже начинаетъ удовлетворять существующему въ насъ стремленію и тѣмъ самымъ даетъ намъ знать о своемъ соотвѣтствіи стремленію, то тогда слѣдовало бы признать, что ощущеніе предмета, соотвѣтствующаго нашимъ стремленіямъ, уже ослабляетъ эти стремленія, удовлетворяя имъ. Факты же говорятъ

наоборотъ, что близость предмета, соотвѣтствующаго стремленію, возбуждаетъ самое стремленіе. Вотъ почему Эрдманнъ говоритъ, что опытъ есть мать желаній, а неопытность есть мать влеченій (*des Gelüstens*) ¹⁾, но не объясняетъ намъ этого дѣйствительнаго факта.

Во всякомъ случаѣ, мы не можемъ принять той мысли, что любовь или влеченіе есть только слѣдствіе опытовъ удовольствія или неудовольствія, такъ какъ самое удовольствіе или неудовольствіе есть уже слѣдствіе не однихъ качествъ предмета, возбуждающихъ въ насъ это чувство, но и качествъ врожденныхъ намъ стремленій, которыя именно и дѣлаютъ одни предметы намъ пріятными, а другіе—непріятными. Мы не потому только любимъ предметъ, что онъ доставляетъ намъ удовольствіе, но потому онъ и доставляетъ намъ удовольствіе, что мы его любимъ. Какимъ бы путемъ мы ни узнали, что предметъ соотвѣтствуетъ нашему стремленію—путемъ ли случайнаго опыта, или путемъ руководящаго насъ инстинкта,—но во всякомъ случаѣ насъ связываетъ съ предметомъ самое влеченіе къ нему, а не то удовольствіе, которое возбуждаетъ въ насъ этотъ предметъ.

Само по себѣ чувство влеченія къ предмету ни пріятно, ни непріятно: удовольствіе и неудовольствіе выходятъ уже изъ удовлетворенія или неудовлетворенія стремленій. Видъ предмета, къ которому я чувствую сильное влеченіе и который мнѣ недоступенъ, можетъ мучить меня. Что можетъ быть мучительнѣе, какъ видъ и запахъ любимаго блюда для человѣка голоднаго? Если же видъ этотъ заставляеть насъ то улыбаться, то досадовать, то радовать насъ, то мучить,—то это зависитъ не отъ самаго влеченія, а отъ другихъ чувствованій и представленій. Получая надежду овладѣть тѣмъ, что мнѣ нравится, я чувствую радость, и наоборотъ; но самое влеченіе, тѣмъ не менѣе, остается неизмѣннымъ, какія бы другія чувствованія и представленія его ни сопровождали.

Гегелисты весьма остроумно отдѣляютъ *влеченіе* отъ *склонности* тѣмъ, что въ первомъ человѣкъ увлекается предметомъ, находящимся въ области его настоящихъ ощущеній, а въ склонности увлекается уже и представленіемъ предмета, вышедшаго изъ области его ощущеній. Если же мы примемъ, что какъ чувство, называемое влеченіемъ, такъ и чувство, называемое склонностью, принадлежитъ одинаково къ области любви, обозначая только различныя ступени этого чувства, то поймемъ, почему развитіе чувствованій зависитъ уже отъ свойства представленій любимаго предмета, тогда какъ самая сила, напряженность чувства зависитъ, главнымъ образомъ, отъ напряженнаго стремленія, удовлетворяемаго предметомъ. Человѣкъ, страстно любящій искусство, можетъ тѣмъ не менѣе отдать самую

¹⁾ Erdmann. Psychol. Briefe. 1863. S. 253.

дорогую для него картину за кусокъ хлѣба, предложенный ему въ то время, когда его мучить страшный голодъ. Должны ли мы заключить изъ этого, что онъ любить хлѣбъ болѣе, чѣмъ картину, или что эти два чувства совершенно равны? Ни того, ни другого, если мы только умѣемъ отличать напряженность чувства отъ его глубины и обширности ¹⁾. Аристотель говоритъ, что любовь преимущественно укореняется черезъ зрѣніе, и въ этомъ отношеніи совершенно справедливъ, потому что слѣды зрительныхъ ощущеній, какъ мы это уже видѣли, сохраняются въ нашей памяти гораздо прочнѣе всѣхъ другихъ, а потому и могутъ составлять гораздо болѣе обширныя сочетанія, чѣмъ слѣды ощущеній низшихъ чувствъ. Вотъ почему влеченіе, вкоренившееся зрѣніемъ, гораздо легче переходитъ въ чувство склонности или любовь—въ настоящемъ значеніи этого слова. Обширныя и разнообразныя представленія любимаго предмета даютъ постоянство и продолжительность чувству влеченія, которое иначе сейчасъ же прекращается, какъ только стремленіе удовлетворено.

Иные предметы удовлетворяютъ только одному нашему стремленію; другіе же, по самой обширности своей, могутъ удовлетворять множеству стремленій: тѣлесныхъ, душевныхъ и духовныхъ. Блюдо, которое имѣетъ пріятный запахъ, не непріятно намъ и тогда, когда мы наѣлись его досыта; блюдо же, имѣющее отвратительный запахъ, мы приказываемъ убрать со стола, какъ только поѣли; такое же блюдо, которое и красиво, и вкусно, и хорошо пахнетъ, еще долѣе можетъ поддерживать въ насъ чувство влеченія къ себѣ. Если же предметъ такого рода, что удовлетворяетъ множеству самыхъ разнообразныхъ стремленій нашихъ: и тѣлесныхъ, и душевныхъ, и духовныхъ (эстетическихъ и нравственныхъ), то понятно само собою, что наша склонность къ нему можетъ вызвать въ душѣ постоянное, непрерывное и неизмѣримо-обширное чувство любви уже по тому самому, что даетъ душѣ нашей разнообразную и обширную дѣятельность, т. е. удовлетворяетъ душевному стремленію къ жизни, которое не уменьшается отъ удовлетворенія, а еще развивается.

Что касается до чувства *отвращенія*, то оно есть противоположное чувству влеченія... Чувство отвращенія еще загадочнѣе, чѣмъ чувство любви; но, тѣмъ не менѣе, въ первобытности его убѣждаютъ насъ многіе факты. Въ водобоязни получается неодолимое отвращеніе къ жидкостямъ; многія врожденныя идіосинкразіи также обличаютъ отдѣльность чувства отвращенія и доказываютъ, что отвращеніе, какъ и влеченіе, есть слѣдствіе не одного опыта. Какой опытъ могъ внушить больному отвращеніе къ водѣ, когда, напротивъ, она столько разъ доставляла ему удовольствіе?

¹⁾ См. выше, Ч. II, гл. XI.

Отвращеніе слѣдуетъ отличать отъ гнѣва. Мы даже не можемъ гнѣваться на того, кого презираемъ; а презрѣніе и есть именно то душевное состояніе, которое образуется, *главнымъ образомъ*, изъ сліянія чувства отвращенія съ представленіями. Ненависть, которую обыкновенно противопоставляютъ чувству любви, есть чувство сложное: въ образованіи его принимаютъ участіе и отвращеніе, и гнѣвъ, и страхъ, и чувство неудовольствія, а потому ненависть не слѣдуетъ прямо противопоставлять любви.

Отвращеніе къ предмету часто появляется тогда, когда онъ, удовлетворивъ нашему стремленію, не перестаетъ еще входить въ область нашихъ ощущеній и, такъ сказать, насильно удовлетворяетъ стремленію, котораго уже нѣтъ. Такъ мы можемъ получить положительное отвращеніе къ такому блюду, котораго наѣлись до тошноты, и замѣчательно, что это отвращеніе остается, когда тошнота проходитъ, такъ что мы не можемъ ѣсть этого блюда даже во время сильнаго аппетита. Это относится далеко не къ однимъ вкусовымъ ощущеніямъ, и если, на примѣръ, мы станемъ насильно занимать ребенка тѣмъ, что даже ему понравилось сначала, то можемъ возбудить въ немъ отвращеніе къ предмету. Этого не понимаютъ многіе педагоги, которые, чувствуя сильную любовь къ какому-нибудь предмету, толкуютъ о немъ дѣтямъ *до пресыщенія*. Такіе педагоги не соразмѣряютъ обширности, разнообразности и сложности тѣхъ комбинацій, которыя данный предметъ оставилъ въ ихъ душѣ, съ тѣми сравнительно бѣдными слѣдами, которые оставилъ онъ въ душѣ ребенка—или, другими словами, не соразмѣряютъ своего обширнаго интереса къ предмету съ малымъ интересомъ, возбужденнымъ въ ребенкѣ тѣмъ же предметомъ ¹⁾. Вотъ также одна изъ причинъ, почему воспитателями дѣтей должны быть педагоги, а не спеціальныя ученые: должны быть такіе воспитатели и наставники, для которыхъ самое душевное развитіе воспитанника является спеціальнымъ предметомъ, а не какая-нибудь отдѣльная наука. Профессора или учителя, *до страсти* любящіе свой предметъ, т. е. когда, по опредѣленію, которое Гегель далъ страсти, субъективность человѣка вся погружается въ особенное направленіе воли ²⁾, такіе профессора и учителя способны скорѣе внушить ребенку отвращеніе къ предмету, чѣмъ любовь.

¹⁾ Пед. Антр. Ч. I, гл. XX.

²⁾ Die Phyl. des Geistes v. Hegel. 2 Abth. § 474.

Г Л А В А XXI.

Виды душевно-сердечныхъ чувствованій:

3) гнѣвъ и доброта.

Гнѣвъ выдается какъ-то рельефнѣе любви, такъ какъ вообще онъ порывистѣе и самое воплощеніе его энергичнѣе; но, тѣмъ не менѣе, и въ отношеніи гнѣва мы встрѣчаемъ ту же шаткость въ наблюденіяхъ, какъ и въ отношеніи любви. Главный недостатокъ наблюденія здѣсь тотъ же самый: обыкновенно смѣшиваютъ простое элементарное чувство гнѣва съ чувственными состояніями души, въ образованіи которыхъ принимаютъ участіе разнообразныя чувства, самыя разнообразныя представленія и даже чисто человѣческія понятія, несвойственныя животнымъ, у которыхъ однакоже ясно обнаруживается тотъ же самый гнѣвъ, какой мы замѣчаемъ и въ себѣ.

Аристотель опредѣляетъ гнѣвъ, какъ «стремленіе къ тому, что кажется намъ возмездіемъ за что-нибудь, въ чемъ мы видимъ незаслуженное оскорбленіе со стороны лица, неимѣющаго на то права, и нанесенное намъ самимъ или кому-нибудь изъ близкихъ» ¹⁾, и прибавляетъ къ этому сложному опредѣленію гнѣва, что гнѣвъ сопровождается чувствомъ неудовольствія. Очевидно, Аристотель смѣшалъ *гнѣвъ* съ *мestью*,—такимъ сложнымъ чувственнымъ состояніемъ души, въ которомъ мы необходимо должны признать уже сознаніе своей личности и сознаніе своего права...

Впрочемъ, мы обязаны замѣтить, что Аристотель, излагая различныя условія, при которыхъ въ человѣкѣ возбуждается гнѣвъ, приходитъ очень часто къ элементарному чувству гнѣва, но удаляется отъ него по какой-то необъяснимой странности. Такъ, въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что мы «впадаемъ въ гнѣвъ всякій разъ, когда что-нибудь стоитъ на пути нашихъ желаній», и вотъ почему, продолжаетъ онъ, «люди въ состояніи страданія, бѣдности, сильныхъ тѣлесныхъ стремленій, голода и жажды, однимъ словомъ, во всѣхъ состояніяхъ, когда они чего-нибудь желаютъ, не получая удовлетворенія, склонны къ взрывамъ гнѣва, ибо во всѣхъ этихъ отдѣльныхъ случаяхъ *дорога гнѣва уже проложена преобладающею страстью*» ²⁾. Здѣсь ясно, что чувство гнѣва не есть еще чувство мести, а прямо какое-то выраженіе неудовольствованнаго стремленія, и выраженіе, относящееся именно ко всему, что мѣшаетъ удовлетворить нашему стремленію...

¹⁾ Rhetorica. В. II. Cap. 2, § 1.

²⁾ Arist. Ib. § 10.

Декартъ смѣшиваетъ гнѣвъ съ ненавистью, а ненависть противопоставляетъ любви ¹⁾). Мы же видѣли, что антагонистъ любви есть *отвращеніе*, а не гнѣвъ, и къ этой мысли отчасти пришелъ самъ Декартъ, но не воспользовался ею ²⁾). Онъ видѣлъ, что любви противопоставляется отвращеніе (*l'horreur*); но не видѣлъ, что ненависть (*la haine*) есть уже сложное чувственное состояніе души, въ образованіи котораго принимаютъ какъ отвращеніе, такъ и гнѣвъ (*la colère*)...

Спиноза въ этомъ отношеніи былъ наблюдательнѣе Декарта; онъ уже отмѣчаетъ, какъ особенныя чувства, ненависть, отвращеніе и гнѣвъ, смѣшанныя Декартомъ. Но такъ какъ и Спиноза все же не видитъ въ ненависти сложнаго душевнаго состоянія, а въ гнѣвѣ и отвращеніи—элементарныхъ чувствъ, то и не можетъ яснымъ образомъ раздѣлить этихъ трехъ душевныхъ явленій...

Локкъ называетъ гнѣвъ «разстройствомъ души, получившей оскорбленіе, сопровождаемымъ цѣлью мести» ³⁾, и этимъ показываетъ, какъ неглубокъ его анализъ чувствованій и чувственныхъ состояній. Гораздо болѣе глубокой анализъ гнѣва находимъ мы у Ридъ, хотя и ему также не удалось отличить первичное чувство гнѣва отъ ненависти, мести и отвращенія... Ридъ замѣчаетъ при этомъ, что только человѣкъ можетъ отличить оскорбленіе отъ всякой непріятности, нанесенной намъ. Первый родъ гнѣва Ридъ называетъ *животнымъ* гнѣвомъ и говоритъ, что онъ даже свойственъ мышамъ, которая начинаетъ кусаться, когда не можетъ убѣжать. Этотъ животный гнѣвъ Ридъ причисляетъ къ благодѣтельнымъ *инстинктамъ* природы. Но его затрудняетъ то явленіе, что какъ животныя, такъ даже и люди часто обращаютъ свой гнѣвъ на вещи бездушныя, которыя неспособны быть наказанными, и думаетъ, что это вовсе несвойственно людямъ; если же и замѣчается въ дѣтяхъ, то только потому, что они принимаютъ неодушевленные предметы за одушевленные, и что если то же самое дѣлаютъ иногда и взрослые люди, то только по привычкѣ, оставшейся съ дѣтства ⁴⁾. «Человѣкъ же, говоритъ далѣе Ридъ, можетъ выносить отъ другого человѣка сильныя страданія, вовсе несопровождая идея оскорбленія, а, напротивъ, самыми дружескими намѣреніями, какъ, напр., при операціяхъ. Всякій видитъ, что сердиться за такія страданія свойственно животному, не не человѣку» ⁵⁾. Однакоже операторы знаютъ,

¹⁾ Les Passions. Art. 79.

²⁾ Ib. Art. 85.

³⁾ Lock. Of human Underst. В. II, Chap. XX, § 12.

⁴⁾ Read, p. 569.

⁵⁾ Ib., p. 570.

какъ часто невольный гнѣвъ пробуждается при операціяхъ у самыхъ разумныхъ людей, и не самъ ли Ридъ указываетъ на примѣръ, приводимый Локкомъ, одного больного, который былъ излѣченъ отъ сумасшествія тяжелою и болѣзненною операціею? Этотъ человекъ понималъ все благодѣяніе, которое ему сдѣлали; но въ то же время не могъ видѣть своего благодѣтеля. «Въ этомъ случаѣ, говоритъ Ридъ, мы видимъ ясно дѣйствіе обоихъ принциповъ: животнаго и разумнаго». Мы же прибавимъ, что мы видимъ въ этомъ случаѣ именно то первичное чувство гнѣва, для проявленія котораго вовсе не нужно идеи оскорбленія и идеи права, и которое возникаетъ безъ всякой идеи и свойственно какъ человеку, такъ и животному.

Что касается до Бэна, то, не признавая гнѣва элементарнымъ чувствомъ, онъ хотѣлъ разложить его на другія, болѣе элементарныя ¹⁾; но эта попытка вполне не удалась ему. Онъ, напримѣръ, производитъ гнѣвъ изъ страданія, но тутъ же долженъ признать, что степень гнѣва вовсе не пропорціональна страданію, и что тогда какъ сильный ударъ утишаетъ чувство гнѣва, мелкія страданія могутъ довести гнѣвъ до бѣшенства ²⁾...

Изъ разбора вышеприведенныхъ мнѣній мы видимъ всю необходимость отличить элементарное чувство гнѣва, во-первыхъ, отъ такого же элементарнаго чувства—отвращенія, а во-вторыхъ, отъ ненависти и мести, какъ такихъ сложныхъ душевныхъ состояній, въ образованіи которыхъ не одинъ уже гнѣвъ принимаетъ участіе. Признавъ же гнѣвъ за элементарное чувство, мы уже не будемъ пытаться разлагать его, а принявъ за первичный психическій фактъ, извѣстный каждому, постараемся выставить только то общее условіе, при которомъ гнѣвъ обнаруживается.

Душа наша, встрѣчаясь съ препятствіями къ удовлетворенію своихъ стремленій, или врожденныхъ ей, или вызываемыхъ въ ней состояніями тѣлеснаго организма, стремится преодолѣть эти препятствія, и въ этомъ стремленіи своемъ собираетъ необходимыя для того силы—тѣлесныя или душевныя. Вотъ это то извлеченіе силъ для того, чтобы стать въ уровень съ препятствіемъ, и выражается тѣмъ характеристическимъ чувствомъ, которое мы называемъ гнѣвомъ. *Въ чувствѣ неудовольствія* душа ощущаетъ только болѣзненное вліяніе препятствія; *въ гнѣвѣ* же душа порывается удалить это препятствіе. Порывъ этотъ можетъ перейти въ дѣятельность, можетъ и не перейти, но самое ощущеніе душою этого порыва будетъ уже чувствомъ гнѣва. Вотъ почему гнѣвъ вообще проявляется какъ страсть, дѣйствующая порывисто: ослабѣвающая послѣ каждаго по-

¹⁾ The Emotion, p. 207.

²⁾ Ib., p. 163.

рыва и вновь возникающая, если прежній порывъ не достигъ удаленія препятствія. Поддавшись совершенно дѣйствию препятствія, мы испытываемъ только страданіе; но первая попытка сбросить препятствіе отзовется въ душѣ непременно чувствомъ гнѣва, которое будетъ выступать тѣмъ яснѣе, чѣмъ чаще и долѣе будутъ повторяться неудачныя попытки. Въ первомъ проявленіи своемъ гнѣвъ такъ незамѣтенъ, что мы почти готовы признать его за простое скопленіе энергіи; но чѣмъ дальше будетъ выступать это чувство, тѣмъ яснѣе выскажется въ немъ характеръ гнѣва.

Такое отношеніе чувства гнѣва къ процессу психической дѣятельности выражается съ особенною ясностью во многихъ явленіяхъ. У людей слабыхъ и раздражительныхъ всякая сколько-нибудь усиленная дѣятельность сопровождается совершенно яснымъ чувствомъ гнѣва именно потому, что уже и небольшія препятствія заставляютъ ихъ дѣлать значительныя усилія, чтобы скопить свои силы. Даже у людей, совершенно здоровыхъ, прервавъ ихъ сильную дѣятельность, мы ясно замѣтимъ чувство накопившагося гнѣва. Вотъ отчего зависитъ и то явленіе, что значительная обида, или просто сильный ударъ, или даже внезапный, энергическій перерывъ нашей дѣятельности какимъ-нибудь препятствіемъ неспособенъ такъ поднять чувство гнѣва, какъ мелкія препятствія. Ничѣмъ нельзя привести и человѣка, и животное въ такое бѣшенство, какъ мелкими помѣхами его душевной дѣятельности, безпрестанно слѣдующими одна за другою: отъ сильной боли животное стонетъ, выражая тѣмъ чувство страданія; отъ укушенія же комаровъ и мошекъ, причиняющихъ только зудъ—самую низшую степень боли—оно приходитъ въ ярость.

При разстройствѣ легкихъ (и даже вообще голосовыхъ органовъ), постоянное затрудненіе процесса дыханія, едва замѣтно мѣшающее рѣчи, дѣлаетъ длинную рѣчь больного человѣка гнѣвною: говоря, онъ сердится, потому что ему трудно говорить, и стоитъ только ему помолчать нѣсколько времени, чтобы гнѣвное чувство въ немъ уменьшилось. Въ мысляхъ и поступкахъ такихъ людей часто гораздо больше доброты, чѣмъ въ ихъ словахъ. Ощущеніе голода, т. е. недостатка физическихъ силъ для преодоленія препятствій, представляемыхъ психическою или физическою дѣятельностью, сопровождается очень яснымъ чувствомъ гнѣва. Чѣмъ болѣе истощенъ организмъ, тѣмъ труднѣе добываются изъ него силы, необходимыя даже и для психической дѣятельности.

Такой взглядъ на чувство гнѣва подтверждается также и характеристическими чертами его воплощенія. Усиленное кровообращеніе есть именно порывъ дать требуемыя силы тѣлу, а напряженность мускуловъ, вообще замѣчаемая въ гнѣвѣ, именно совершается подъ вліяніемъ этихъ неудачныхъ порывовъ души уничтожить или удалить препятствіе. Мускулы

какъ бы заряжаются нервною силою, которой, наконецъ, накапливается въ нихъ столько, что она уже сама собою переходитъ изъ формы теплоты или электричества въ форму движенія, и при этомъ вырывается у насъ *невольный* крикъ, невольное движеніе, сжатіе челюстей, мускуловъ лба, ударъ ногою о землю, ударъ сжатымъ кулакомъ по столу и т. п. Послѣ этихъ движеній гнѣвъ на мгновеніе ослабѣваетъ затѣмъ, чтобы потомъ, при новомъ порывѣ отъ накопленія силъ, опять усилиться.

Цѣль гнѣва,—если можно говорить о цѣли такого невольнаго чувства,—состоитъ въ томъ, чтобы удалить препятствія, представляющіяся въ психической дѣятельности. Вотъ почему отъ удаленія препятствій гнѣвъ *душевный* большею частію прекращается. Но почему же, спрашивается, не только животному, но даже и человѣку свойственно продолжать выраженіе своего гнѣва на такомъ предметѣ, который пересталъ уже быть препятствіемъ? Это зависитъ уже какъ отъ перехода *душевнаго* гнѣва въ органической, такъ и отъ того, что представленіе предмета, возбудившаго гнѣвъ, продолжаетъ еще дѣйствовать въ душѣ, какъ препятствіе къ ея нормальной дѣятельности. Вотъ почему животное продолжаетъ еще грызть палку, или кидается на камень, которые причинили ему боль; вотъ почему и раздражительный человѣкъ ломаетъ вдребезги вещь, хотя она и перестала мѣшать его дѣятельности. Кромѣ того, ни одно чувство не способно такъ переходить въ аффектъ, какъ гнѣвъ. Нервный человѣкъ, разсерженный чѣмъ-нибудь, долго продолжаетъ сердиться, хотя часто не можетъ даже вспомнить, что его разсердило. Въ такомъ состояніи человѣкъ уже во всемъ подыскиваетъ оправдательныя причины для своего *безпричиннаго* гнѣва.

Повторяясь часто и сильно, гнѣвъ, чувствуемый порывами, производитъ замѣтный упадокъ силъ, который объясняется именно силою самихъ порывовъ и энергіею движеній, имъ вызываемыхъ, а энергія эта иногда бываетъ такъ велика, что человѣкъ потомъ самъ удивляется собственнымъ своимъ силамъ, которыхъ и не подозрѣвалъ въ себѣ въ спокойномъ состояніи. Ударъ, нанесенный въ гнѣвъ, можетъ быть не только сильнѣе того, какимъ его хотѣлъ сдѣлать человѣкъ, но даже сильнѣе, чѣмъ онъ *могъ* его сдѣлать въ спокойномъ состояніи. Вотъ почему такъ опасно предаваться гнѣву съ дѣтьми: разсерженный человѣкъ и самъ не оцѣниваетъ тяжести своихъ ударовъ. Повторяясь часто, гнѣвъ очень удобно переходитъ въ постоянное органическое состояніе, какъ это замѣтилъ еще Аристотель¹⁾. Но если гнѣвъ стремится всегда индивидуализироваться, т. е. сосредоточиться на предметѣ, на который онъ можетъ излиться, то нельзя сказать, какъ

¹⁾ Rhetorica. В. II, Cap. 2, § 13.

говорить тотъ же Аристотель, что «гнѣвъ всегда направленъ на что-нибудь индивидуальное»¹⁾, ибо мы часто наблюдаемъ, какъ разгнѣванный человекъ, забывъ даже причину своего гнѣва, ищетъ, на чемъ бы его излить.

Изъ чувства гнѣва, въ соединеніи его съ представленіями и другими чувствованіями, происходитъ множество психическихъ чувственныхъ состояній: ненависть, негодованіе, месть, злоба, жестокость, тиранство и т. д. Этихъ состояній такое множество и такое разнообразіе, что не только невозможно ихъ описать, но даже и перечислить. Впоследствии мы сдѣлаемъ пробные анализы нѣкоторымъ изъ этихъ душевныхъ состояній.

Хотя изъ чувства гнѣва вырабатывается много такихъ душевныхъ состояній, которыя осуждаются нравственностью, но само по себѣ чувство гнѣва, равно какъ и чувство любви, ни дурны, ни хороши, и могутъ быть дурны или хороши, смотря по содержанію тѣхъ представленій, съ которыми они связаны. Ненависть ко злу такое же достоинство, какъ и любовь къ добру, и наоборотъ. Спаситель гнѣвался, изгоняя торгующихъ изъ храма; Господь въ Библии часто представляется гнѣвающимся...

Чувство *доброты* и *нѣжности* какъ разъ противоположно чувству гнѣва. Гнѣвъ рождается оттого, что душа вынуждена препятствіемъ скоплять свои физическія силы, которыхъ въ настоящую минуту у нея недостаетъ, чтобы стать въ уровень съ препятствіемъ и удовлетворить своимъ стремленіямъ; а чувство *доброты* возрождается отъ противоположныхъ причинъ: именно тогда, когда душа испытываетъ, что у нея болѣе силъ, чѣмъ стремительности въ ея стремленіи. Избытокъ силъ, сравнительно съ стремительностью стремленій, отражается въ душѣ чувствомъ доброты, нѣжности и ласковости, которое, точно такъ же, какъ и чувство гнѣва, стремится индивидуализироваться, сосредоточиться на какомъ-нибудь отдѣльномъ предметѣ и излиться на него.

Аристотель ясно отдѣляетъ чувство доброты отъ чувства любви и противопоставляетъ чувству доброты чувство гнѣва, показывая многочисленными примѣрами, что оба эти чувствованія начинаются отъ противоположныхъ причинъ, и что гнѣвъ, утихая, уже самъ собою смѣняется чувствомъ доброты²⁾. Въ этихъ указаніяхъ есть чрезвычайно мѣткія наблюденія, но есть и ошибки, зависящія, главнымъ образомъ, оттого, что, смѣшавъ вообще чувство гнѣва съ чисто человѣческимъ чувствомъ оскорбленія, Аристотель и въ чувствѣ доброты видитъ нѣчто противоположное чувству оскорбленія, а не гнѣва только. Оставивъ въ сторонѣ эти ошибочныя указанія, мы видимъ, что во всѣхъ остальныхъ проявленіяхъ доброты, указан-

1) Rhet., 30.

2) Ibid., В. II. Cap. 3, § 2.

ныхъ Аристотелемъ, одна и та же мысль, а именно: что чувство доброты начинается тогда, когда препятствіе, возбуждвшее силы въ процессѣ гнѣва, оказывается почему-либо несуществующимъ, или вообще тогда, когда въ человѣкѣ накопилось силъ больше, чѣмъ этого требуетъ удовлетвореніе возбуждающихъ его въ это время стремленій. Такъ, человѣка обезоруживаетъ смиреніе и раскаяніе того, кто возбудилъ его гнѣвъ, и особенно въ томъ случаѣ, если это смиреніе проявляется неожиданно, намѣсто ожидаемаго упрямства. По той же причинѣ человѣкъ не можетъ сердиться на малыхъ и безсильныхъ, если только безсиліе само по себѣ не является препятствіемъ къ удовлетворенію его стремленій. Отъ тѣхъ же причинъ человѣкъ особенно расположенъ къ чувству доброты послѣ спокойнаго сна и хорошаго обѣда, послѣ всякаго успѣха, когда одно дѣло окончено, а другое еще не начиналось, послѣ неожиданнаго удовлетворенія своего гнѣва, когда нѣтъ надобности тратить силъ, въ немъ скопленныхъ. Но, какъ очень тонко замѣчаетъ Аристотель, чувство доброты не ощущается тогда, когда возрастаетъ до крайности чувство наслажденія ¹⁾).

Та же зоркая наблюдательность, которая побудила Аристотеля признать особое чувство доброты, какъ антагониста гнѣву, побудила и другого великаго знатока человѣческихъ страстей, Руссо, сдѣлать слѣдующую замѣтку: «злость происходитъ отъ слабости: дитя зло (слѣдовало бы сказать — сердится) только потому, что оно слабо; сдѣлайте его сильнымъ, и оно будетъ добрымъ: тотъ, кто могъ бы сдѣлать все, — никогда не сдѣлалъ бы зла» ²⁾). Если мы замѣнимъ въ этихъ словахъ Руссо слово *злость* словомъ гнѣвъ, то мысль его явится прекраснымъ подтвержденіемъ нашей мысли; злоба же, какъ мы увидимъ дальше, есть уже продуктъ извращенной душевной дѣятельности, а не элементарное чувство. Вся эта замѣтка Руссо говоритъ только, что тотъ, кто чувствуетъ себя сильнымъ сдѣлать все, не можетъ испытывать гнѣва. Еще яснѣе выражается та же мысль Руссо, когда онъ, не находя, конечно, возможности сдѣлать человѣка все-сильнымъ, указываетъ возможность сдѣлать его добрѣе, уменьшивъ его потребности. «Тотъ, чья сила превосходитъ его потребности, — будь это насекомое, червякъ — есть существо сильное; тотъ же, чьи потребности превосходятъ силу, — будь это слонъ, левъ, будь это побѣдитель, герой, будь это полубогъ — есть существо слабое» ³⁾). Это положеніе является едва ли не главнѣйшимъ во всей воспитательной системѣ Руссо, и его можно выразить немногими словами: «вы не можете удовлетворить всѣхъ потребностей чело-

¹⁾ Rhet., § 12.

²⁾ Emile. Paris. 1866, p 44.

³⁾ Ib., p. 59.

вѣка; уменьшите же, по возможности, число этихъ потребностей, такъ, чтобы человѣкъ удовлетворялъ имъ безъ труда, и вы сдѣлаете его разомъ и счастливѣе, и добрѣе». Мы увидимъ далѣе всю односторонность этой мысли, и что Руссо, высказывая ее, забылъ, что не отъ человѣка зависятъ неумолкающее въ немъ требованіе сознательной дѣятельности, которое, при своемъ удовлетвореніи, расширяется все больше и больше. Но здѣсь для насъ важно только подкрѣпить свое мнѣніе и наблюдательностью Руссо. Въ его словахъ ясно выражается та наша мысль, что *чувство доброты появляется, когда силы наши превышаютъ требовательность стремлений*, хотя эта мысль и не формулирована Руссо въ психологическій законъ.

Чувство *доброты*, какъ и чувство гнѣва, можетъ быть вызвано или внѣшними для человѣка причинами, или причинами, лежащими въ его безсознательной природѣ. Очевидно, что въ первомъ случаѣ чувство доброты будетъ сосредоточено предметомъ, который его вызвалъ, а во второмъ будетъ искать сосредоточиться на какомъ-либо случайно подвернушемся предметѣ. Такъ, человѣкъ, избавившійся отъ большой опасности, кидается обнимать перваго встрѣчнаго; такъ, человѣкъ, получившій неожиданное удовлетвореніе своихъ сильныхъ и давно питаемыхъ желаній, изливаетъ переполняющее его чувство доброты на кого попало: не только на людей и животныхъ, но даже на бездушныя вещи.

Чувство *доброты* рѣзко отличается отъ чувства *любви*. Любовь побуждаетъ насъ часто быть жестокими въ отношеніи того, что мы любимъ, и приносить его благо въ жертву нашимъ наслажденіямъ; чувство же доброты заставляеть насъ быть добрыми не только въ отношеніи того, что мы любимъ, но въ отношеніи всего безразлично, и часто даже въ отношеніи того, что мы ненавидимъ или презираемъ. Есть люди, способные страстно любить и вообще не добрые и не нѣжные, и есть, наоборотъ, очень добрые и нѣжные люди, въ то же время совершенно неспособные къ страстной и продолжительной любви.

Чувство *доброты*, точно такъ же, какъ и чувство гнѣва или чувство любви, само по себѣ, ни хорошо, ни дурно въ нравственномъ отношеніи; но, осложнившись съ представленіями и другими чувствами, оно можетъ быть источникомъ какъ нравственныхъ, такъ и безнравственныхъ психическихъ явленій: оно можетъ вести къ щедрости, но также ведетъ и къ безтолковой расточительности; оно можетъ способствовать развитію человѣческихъ отношеній между людьми; но оно же ведетъ къ той поблажкѣ всему дурному, отъ которой общество столько же страдаетъ, если еще не болѣе, какъ и отъ развитія желчнаго направленія въ людяхъ. Вотъ почему, если воспитатель долженъ заботиться о томъ, чтобы

не сдѣлать душу *гнѣвною*, не воспитать такъ называемаго *желчнаго* человѣка, ищущаго вездѣ и во всемъ пищи своему гнѣву, то точно такъ же долженъ онъ заботиться и о томъ, чтобы не воспитать души *безтолково-доброю*, изливающей свою доброту на что попало и чаще на зло, чѣмъ на добро, потому что зло хитрѣе добра: умѣетъ подстерегать добрыя минуты человѣка и пользоваться ими. Словомъ, если воспитатель не долженъ развивать желчнаго настроенія въ воспитанникѣ, то онъ долженъ также позаботиться, чтобы не воспитать въ немъ той *пряничной* души, въ которой также нѣтъ никакого нравственнаго достоинства.

Г Л А В А XXII.

Виды душевно-сердечныхъ чувствованій:

4) страхъ и смѣлость.

Аристотель опредѣляетъ *страхъ*, какъ чувство, противоположное *надеждѣ* ¹⁾, хотя въ то же время указываетъ и на чувство *смѣлости*, какъ противоположное страху ²⁾. Декартъ вовсе выбрасываетъ чувство страха изъ своихъ шести элементарныхъ чувствованій на томъ онтологическомъ, но вовсе не логическомъ основаніи, что въ этомъ чувствѣ нѣтъ ничего «ни похвальнаго, ни полезнаго для человѣка» ³⁾, и помѣщаетъ его въ число «частныхъ страстей» (*les passions particulières*), т. е. такихъ, которыя не подходятъ подъ его теорію. Онъ, такъ же какъ и Аристотель, противопоставляетъ страхъ надеждѣ...

Спиноза почти повторяетъ опредѣленіе Декарта, только, сообразно своей теоріи чувствъ, хочетъ вывести какъ страхъ, такъ и надежду изъ идеи радости и печали: «Страхъ—говоритъ онъ—есть печаль нетвердая (сопровожаемая слабою увѣренностью) и происходящая отъ идеи какого-нибудь событія въ будущемъ или прошедшемъ, въ наступленіи котораго мы еще сомнѣваемся»; тогда какъ «надежда есть неуѣренная въ себѣ радость, происходящая отъ идеи будущаго или прошедшаго событія, въ наступленіи котораго мы еще сомнѣваемся». Отсюда Спиноза прямо выводитъ, что «страхъ не можетъ быть безъ надежды, а надежда безъ страха»...

Броунъ и Бэнъ также противопоставляютъ страхъ надеждѣ ⁴⁾. Но замѣчательно, что тогда какъ Декартъ вовсе выкидываетъ страхъ изъ числа

¹⁾ Rhetorica. B. II, Cap. V, § 14.

²⁾ Ib. § 16.

³⁾ Descartes. Les Passions. Art. 69.

⁴⁾ Brown, p. 433.

элементарныхъ чувствъ, Бэнъ именно только *страхъ* и *любовь* называетъ вполне неразлагаемыми чувствами ¹⁾). Такъ шатки мнѣнія психологовъ въ отношеніи самыхъ яркихъ чувствованій!..

Прежде всего замѣтимъ, что главная запутанность въ характеристикѣ страха происходитъ отъ того, что это элементарное, столь знакомое каждому чувство не выдѣлено, какъ слѣдуетъ, изъ тѣхъ интеллектуальныхъ комбинацій, въ которыя оно иногда входитъ, которыми оно иногда вызывается, но которыя, наоборотъ, и само иногда вызываетъ. Чувство страха—такое типическое и знакомое каждому чувство, что какъ только оно шевельнется въ душѣ, такъ каждый и признаетъ его за страхъ и не смѣшаетъ ни съ гнѣвомъ, ни съ печалью, изъ которыхъ выводить страхъ можетъ только насильственная теорія. Чувство страха, какъ мы уже видѣли выше, очень часто является прямо слѣдствіемъ неизвѣстныхъ намъ перемѣнъ въ нашемъ органическомъ состояніи ²⁾), слѣдовательно, появляется безъ всякихъ представленій, не вызывается ими, но само подыскиваетъ ихъ. Можно ли же сказать въ этомъ случаѣ, что причина страха заключается въ ожиданіи будущихъ страданій и несчастій? Иной больной боится всего и все ему внушаетъ страхъ; онъ ничего не ждетъ, но просто—всего боится. Даже и въ здоровомъ состояніи мы часто испытываемъ страхъ, прежде чѣмъ у насъ составитя какое-нибудь понятіе о причинѣ страха. Правда, это называется *испугомъ*; но испугъ есть только внезапный страхъ. Если мы приготовились къ звуку выстрѣла, то не испугаемся его, хотя и можемъ вздрогнуть отъ нервнаго потрясенія; слѣдовательно, здѣсь было нервное потрясеніе, но не было чувства страха. Но мы ясно ощущаемъ страхъ, если надъ нашимъ ухомъ крикнуть нечаянно: здѣсь уже и нервное потрясеніе и чувство страха. Такой страхъ, происходящій отъ того или другого состоянія организма, а не отъ какой-нибудь сознанный нами опасности, мы называемъ *инстинктивнымъ* или *органическимъ*, въ отличіе отъ *душевнаго*.

Первая ступень душевнаго страха имѣетъ много общаго съ удивленіемъ, однакоже существенно отъ него отличается. Въ удивленіи мы относимъ неожиданное для насъ явленіе только къ умственному нашему процессу; въ страхѣ же мы еще не знаемъ, какъ придется новое явленіе къ нашимъ жизненнымъ стремленіямъ, а отсюда возникаетъ то сердечное *безпокойство*, которое соотвѣтствуетъ умственному безпокойству или сомнѣнію. Вотъ почему Спиноза и смѣшалъ сомнѣніе и страхъ. На этой ступени мы можемъ назвать страхъ сердечнымъ безпокойствомъ или *сердечнымъ сомнѣніемъ*.

Если же нѣтъ уже болѣе сомнѣнія въ томъ, что новое явленіе представляетъ какое бы то ни было препятствіе для нашей жизненной дѣятель-

¹⁾ The Emotion, p. 202.

²⁾ См. выше, ч. II, гл. XI.

ности и, слѣдовательно, для удовлетворенія тѣхъ стремленій, которыми она обусловливается, тогда возникаетъ въ насъ или прямо порывъ преодолѣть препятствіе, сказывающійся въ душѣ чувствомъ гнѣва, или, если, почему бы то ни было, препятствія покажутся намъ превышающими наши силы, мы испытываемъ вторую степень страха. Такойъ страхъ еще борется со смѣлостью, или съ увѣренностью души въ достаточности ея силъ для преодоленія препятствій. Если эта увѣренность души основывается на собственныхъ ея силахъ или тѣхъ, которыя находятся въ ея распоряженіи, какъ, напримѣръ, силы физическія, то это называется *самоувѣренностью*; если же увѣренность, борющаяся со страхомъ, основывается на чемъ-нибудь, не находящемся во власти души, то это называется *надеждою*.

Еще одну ступень въ своемъ развитіи дѣлаетъ страхъ, когда мы уже не пытаемся ни преодолѣть предстоящихъ намъ опасностей, ни избѣжать ихъ, но еще сомнѣваемся, насколько онѣ могутъ остановить нашу жизненную дѣятельность и преградить путь къ удовлетворенію нашихъ жизненныхъ стремленій. При этомъ страхъ возрастаетъ до чувства невыносимой тоски. Но высшая степень страха будетъ та, когда мы уже сознаемъ неизбежность опасности и ея непредѣльность въ отношеніи всѣхъ нашихъ жизненныхъ стремленій, словомъ, когда она неизбежно грозитъ жизни нашей или тому, что дороже для насъ самой жизни. На этой высшей ступени страхъ называется уже *ужасомъ*.

Ужасъ въ крайней степени не можетъ оставаться долго въ душѣ: онъ или убиваетъ человѣка внезапно, или доводитъ его до помѣшательства, или повергаетъ въ безпамятство, или, наконецъ, смѣняется *отчаяніемъ*, хотя и вновь смѣняетъ его. Это два страшные тирана человеческого сердца, и они-то по большей части поселяются въ душѣ преступника по выслушаніи смертнаго приговора, если какое-нибудь высокое чувство не поддержитъ его. Но какая разница между *ужасомъ* и *отчаяніемъ*? По внѣшнему проявленію громадная: одинъ леденитъ кровь, другое волнуетъ ее; одинъ выражается оцѣпенѣніемъ тѣла и полнымъ безсиліемъ, другое—страшными порывами; одинъ отымаетъ голосъ, другое выражается воплями. Психической же разницы по теоріи, противопологающей страхъ надеждѣ, отыскать нельзя: и ужасъ, и отчаяніе будутъ одинаково высшей степенью безнадежности. Дѣло же рѣшается тѣмъ, какъ несчастный глядитъ на предстоящее ему несчастье: если онъ измѣряетъ его величину, то испытываетъ *отчаяніе*; если же онъ измѣряетъ его приближеніе, то имъ овладѣваетъ *ужасъ*. Въ обоихъ случаяхъ онъ страдаетъ, но отъ различныхъ причинъ; въ отчаяніи—отъ самаго несчастья; въ ужасѣ—отъ его неизбежности и его приближенія, передъ которыми силы слабѣютъ, какъ бы уходятъ внутрь души, и кровь стынетъ въ жилахъ. Въ этой крайней степени

страданіе и страхъ выдають свои особенности: первое есть болѣзненное чувство препятствія; второе—бѣгство силъ души передъ препятствіемъ.

Трудно рѣшить, какъ возникаетъ въ насъ въ первый разъ чувство страха: отчего силы нашей души, если можно такъ выразиться, вмѣсто того, чтобы рваться впередъ и стремиться къ преодолѣнію препятствія или просто страдать отъ него, вдругъ какъ бы побѣгутъ отъ него назадъ, оставляя тѣло безъ своей поддержки? Вѣроятно, что прежде всего человѣкъ знакомится съ органическимъ страхомъ или съ испугомъ, зависящимъ просто отъ быстрого и внезапнаго потрясенія нервовъ. «Неокрѣпшая нервная система дитяти, какъ справедливо замѣчаетъ Бэнъ, есть легкая добыча страха» ¹⁾. Но какъ испугъ—этотъ органическій страхъ—переходитъ въ страхъ душевный? Отчего рождается первое ощущеніе, что силъ не хватитъ для преодолѣнія препятствія? Отчего колеблется врожденная смѣлость души человѣческой? Можетъ быть, что чувство гнѣва, развивающееся въ душѣ при борьбѣ съ препятствіями, истощаетъ, наконецъ, силы тѣла въ мускульныхъ напряженіяхъ до того, что это физическое истощеніе уже само отзывается въ душѣ органическимъ чувствомъ страха, такъ какъ многія патологическія наблюденія показываютъ, что истощеніе силъ тѣла уменьшаетъ смѣлость человѣка. Съ тѣхъ же поръ, какъ человѣкъ почувствовалъ, что есть препятствія, которыхъ онъ преодолѣть и обойти не можетъ, онъ дѣлается доступенъ страху.

Имѣя въ виду *душевный*, а не *органическій* страхъ, мы не только не признаемъ дѣтей боязливыми по природѣ, но, напротивъ, замѣтимъ въ нихъ много смѣлости. Нѣкоторые, какъ напр. Ридъ и отчасти Руссо, думаютъ, что дѣти уже по природѣ боятся темноты; но мы скорѣе согласны съ Бэномъ, отвергающимъ эту боязнь. Темнота, скрывая отъ насъ окружающее, можетъ сильно способствовать развитію въ насъ всякаго рода страховъ, которые зависятъ уже отъ другихъ причинъ; но сама по себѣ темнота едва ли можетъ быть причиной страха. Вѣроятно случаи въ темнотѣ, какъ, напр., ушибы, причины которыхъ мы не знаемъ, повторяясь нѣсколько разъ, могутъ связаться въ насъ съ представленіемъ темноты, и въ такомъ случаѣ испугъ или страхъ органическій превратится въ страхъ душевный. Вообще, трудно рѣшить, есть ли въ природѣ предметы, внушающіе страхъ человѣку и животному даже и тогда, когда они видятъ эти предметы въ первый разъ. Кажется, что такіе предметы есть для животныхъ: голубь, никогда не видѣвшій змѣи, выказываетъ всѣ признаки сильнаго страха, когда она наведетъ на него глаза свои. Но есть ли такіе предметы для человѣка—мы не знаемъ. Кажется, мы можемъ принять за истину, что

¹⁾ The Emotion, p. 81.

человѣкъ не боится ничего, пока собственные опыты или рассказы другихъ не покажутъ ему, что у него не всегда станетъ силъ для преодоленія препятствій, и не познакомятъ его съ душевнымъ страхомъ, съ чувствомъ силы, отступающей отъ препятствій, вмѣсто того, чтобы кинуться на нихъ.

Бэнъ справедливо называетъ чувство страха самымъ несчастнымъ состояніемъ человѣка. Достигнувъ послѣдней степени ужаса, когда уже человѣкъ не сомнѣвается ни въ своемъ полномъ безсиліи, ни во всемогуществѣ опасности, предѣловъ которой не видитъ, страхъ останавливаетъ психическую жизнь, не прекращая ея. Вотъ почему древніе олицетворяли страхъ въ головѣ Медузы, взглядъ на которую превращалъ человѣка въ камень. Физическое дѣйствіе крайней степени страха или ужаса поразительно. У людей, пережившихъ такія минуты, часто волосы сдѣются въ нѣсколько часовъ, остается качаніе головы или дрожь членовъ на всю жизнь. Иногда послѣдствіемъ такого страха бываетъ помѣшательство, истерическіе припадки, падучая болѣзнь; но кто же можетъ объяснить намъ, какая связь между сдѣющимися въ одну ночь волосами и ужаснувшеюся душою?

Воплощеніе страха очень характеристично; а, между тѣмъ, въ описаніяхъ этого воплощенія, которое мы встрѣчаемъ у психологовъ и фізіологовъ, много запутанности и противорѣчій. Это, безъ сомнѣнія, происходитъ отъ того, что наблюдаютъ проявленіе страха въ различныхъ его степеняхъ. Вотъ почему, вѣроятно, мы встрѣчаемъ въ описаніи этого воплощенія то судорожное напряженіе мускуловъ, то, напротивъ, ихъ полное распушеніе. Когда человѣкъ пытается еще бороться съ опасностью или даже бѣжать отъ нея, то это еще не высшая степень страха, и проявляющаяся при этомъ напряженность мускуловъ едва ли можетъ быть приписана вліянію страха. Услышавъ же безгранично страшную для него новость, человѣкъ не можетъ двинуться съ мѣста, не испускаетъ ни одного крика, изъ рукъ его выпадаетъ и то, что онъ держалъ, нижняя челюсть опускается, мускулы дрожатъ, какъ быстро отпущенныя струны, дыханіе пріостанавливается, сердце замираетъ, слова не идутъ съ языка, слюна перестаетъ отдѣляться, ощущается ослабленіе въ желудкѣ, кровообращеніе замедляется, лицо блѣднѣетъ, зеленѣетъ, пріобрѣтаетъ особенный трупный оттѣнокъ, руки дрожатъ, колѣна подгибаются, всѣ физическія силы тѣла какъ будто скрываются изъ него!

Бэнъ объясняетъ этотъ поразительный упадокъ силъ при чувствѣ страха тѣмъ, что физическія силы будто бы истощены въ предшествующихъ бурныхъ движеніяхъ ¹⁾. Но это одна изъ самыхъ очевидныхъ натяжекъ, сдѣ-

¹⁾ The Emotion, p. 76.

ланных Бэномъ въ пользу его теоріи «эмоціональныхъ токовъ». Гдѣ же тѣ бурныя движенія, силой которыхъ можно было бы объяснить исчезновеніе всѣхъ физическихъ силъ въ ту самую минуту, какъ душу охватила ужасъ? Много, сильно и долго должны были бы двигаться мускулы, чтобы истратить столько силъ; но мы вовсе не видимъ этихъ предварительныхъ движеній. Но вотъ медикъ подошелъ къ больному, котораго ужасъ неизбежной смерти совершенно лишилъ силъ, и сказалъ ему твердое утѣшительное слово, и черезъ минуту же у больного голосъ возвращается, онъ чувствуетъ въ себѣ силы, встаетъ съ постели. Откуда же взялись эти силы, если онѣ были истощены въ бурныхъ движеніяхъ? Нѣтъ, дѣйствительная трата силъ, послѣ долгой работы, или даже послѣ бурныхъ порывовъ гнѣва, такъ скоро не вознаграждается изъ пищевого процесса. Не ясно ли, что исчезновеніе силъ въ страхѣ есть только кажущееся, что онѣ остаются въ организмѣ, но что душа на время страха перестаетъ обладать ими? Это-то и производитъ внезапное уничтоженіе того *тонического* состоянія мускуловъ, которое постоянно замѣчается во всякомъ живомъ организмѣ ¹⁾).

Если же въ періодъ страха мы замѣчаемъ и судорожное напряженіе въ нѣкоторыхъ мускулахъ, то это слѣдуетъ приписать двумъ причинамъ: или замирающимъ попыткамъ бороться съ опасностью, или просто тому физиологическому явленію, при которомъ распушеніе однихъ мускуловъ рефлективно вызываетъ судорожное сокращеніе другихъ; но, во всякомъ случаѣ, эти движенія далеко не такъ энергичны и продолжительны, чтобы ими можно было объяснить страшный и внезапный упадокъ силъ, обнаруживающійся при крайней степени ужаса и проходящій такъ же быстро, какъ проходитъ ужасъ. Не дѣйствительнымъ истощеніемъ физическихъ силъ, которыя могутъ возобновляться только медленно изъ пищевого процесса, слѣдуетъ объяснить этотъ упадокъ силъ, а прекращеніемъ того вліянія, которое душа оказываетъ постоянно на нервный организмъ, которое прекращается только со смертью и временно прерывается въ состояніи крайняго ужаса. Этимъ объясняется внезапное распушеніе мускуловъ, необычайное раскрытіе глазъ, дрожь, подобная той, которая замѣчается въ струнѣ, когда ее разомъ отпустить, перерывы дыханія, судорожныя схватки въ горлѣ, приостановка дѣятельности и ослабленіе желудка, такъ какъ всѣ эти органическія отправления находятся подъ постояннымъ воздѣйствіемъ нервной системы, а нервная система—подъ постояннымъ воздѣйствіемъ души, которое въ состояніи ужаса приостанавливается. Блеснетъ первый лучъ надежды освободиться отъ опасности, проглянетъ первый порывъ бороться съ нею—

¹⁾ Man. de Phys. par Müller. T. II, p. 74.

и мы замѣчаемъ въ себѣ необыкновенныя силы. Слѣдовательно, онѣ не были истощены, а только обладаніе ими было приостановлено.

Страхъ—такое отвратительное чувство, что неудивительно, если нѣкоторые психологи приписываютъ ему только дурное вліяніе. Однакоже, мы назовемъ чувство страха также и спасительнымъ, если примемъ во вниманіе, отъ сколькихъ опасностей предохраняетъ насъ это чувство и какъ умудрила людей боязнь опасности. Но въ то же время мы считаемъ ошибочнымъ мнѣніе Бэна, будто страхъ имѣетъ возбуждающее дѣйствіе на волю ¹⁾. Если животное, побуждаемое страхомъ, кидается бѣжать, то это не дѣйствіе страха, а дѣйствіе реакціи, возбуждаемой страхомъ—стремленіе уйти отъ опасности. Когда человѣкъ имѣетъ еще достаточно силъ, чтобы бѣжать, то это доказываетъ, что страхъ не достигъ въ немъ высшей степени. Пораженный же полнымъ ужасомъ, человѣкъ остается какъ бы прикованнымъ къ землѣ, не имѣетъ силъ ни бѣжать, ни защищаться, ни даже крикнуть. Кромѣ того, всякій изъ насъ, наблюдая надъ самимъ собою, можетъ убѣдиться, что во всякомъ предпріятіи страхъ замѣтно оказываетъ ослабляющее вліяніе на волю: страхъ заставляетъ человѣка быть осторожнымъ, но только смѣлость даетъ ему силу и энергію.

Бэнь думаетъ, что предметы, внушавшіе намъ страхъ, сильно врѣзаются въ нашу память; но мы знаемъ, что это свойство всѣхъ *аффективныхъ образовъ*, какимъ бы сердечнымъ чувствомъ они ни были проникнуты. Если же въ Англии, какъ говоритъ Бэнь, точно такъ же какъ и у насъ, мальчиковъ сѣкли на межѣ съ тою цѣлью, чтобы они тверже запоминали границы полей, то это безъ сомнѣнія, потому, что вообще легче и менѣе убыточно поколотить дитя, чѣмъ его обрадовать. При этомъ слѣдуетъ еще не упускать изъ виду, что если самъ пугающій образъ, какъ напр., видъ межи, на которой ожидаетъ мальчика наказаніе, укореняется въ памяти, то изъ этого никакъ нельзя выводить, что учитель, напримѣръ, можетъ криками и угрозами заставить ребенка твердо запомнить объясняемый урокъ. Дитя твердо запомнитъ только гнѣвное лицо учителя, его пугающіе жесты и слова, но не содержаніе урока, которое, напротивъ, поблѣднѣетъ при сосѣдствѣ съ такими яркими образами. Для того, чтобы какой-нибудь образъ глубоко залегъ въ памяти, надобно, чтобы чувство возбуждалось самымъ этимъ образомъ, или, по крайней мѣрѣ, чтобы запоминаемый образъ находился въ тѣсной связи съ тѣмъ, который проникнуть чувствомъ, и притомъ все равно, какого бы рода это чувство ни было: страхъ, любовь, гнѣвъ, стыдъ или удивленіе. Но какая же связь гнѣвнаго лица учителя съ латинскими вокабулами, или укоризнъ и угрозы, расто-

¹⁾ The Emotion, p. 78.

чаемыхъ законоучителемъ по тому поводу, что мальчикъ не заучилъ нагорной проповѣди, — съ самымъ смысломъ этой проповѣди? Если и есть связь, то развѣ связь противоположности; но надобно, чтобы дитя обратило вниманіе на эту противоположность, а едва ли это придется учителю по вкусу. Приписывать же страху, какъ это дѣлаетъ Бэнъ, какое бы то ни было, хотя и не всегда успѣшное, влияніе на возбужденіе памяти есть большая ошибка. Напротивъ, въ страхѣ мы забываемъ даже и то, что хорошо помнили, и слова науки, сопровождаемая угрозами, менѣе всего способны улечься въ памяти. Если же иной учитель заставляетъ дѣтей строгостью выучивать уроки, то это уже не дѣйствіе страха, а дѣйствіе реакціи, имъ вызываемой: дѣйствіе напряженія воли, порывающей освободиться отъ мученій страха. Вотъ почему грозный учитель различно дѣйствуетъ на дѣтей одного и того же класса, и если одни изъ нихъ дѣйствительно начинаютъ учиться лучше, зато другіе, слабые и нервные, совершенно перестаютъ учиться. Уча урокъ, они не могутъ сосредоточить своего вниманія на томъ, что учатъ: предъ ихъ глазами упрямо стоитъ грозный образъ учителя и сулимая имъ наказанія. Самъ по себѣ страхъ, независимо отъ реактивныхъ попытокъ отдѣлаться отъ него, положительно подавляетъ силу души; это поразительно замѣтно на дѣтяхъ, воспитателемъ которыхъ былъ только одинъ постоянный страхъ.

Педагогическое дѣйствіе страха очень сомнительно, и если можно имъ пользоваться, то очень осторожно, всегда имѣя въ виду, что смѣлость есть жизненная энергія души. Библейское же выраженіе: «*Страхъ Божій есть начало премудрости*», столь любимое воспитателями и наставниками, охотниками до дешеваго средства внушать страхъ, имѣетъ глубокий смыслъ, рѣдко понимаемый тѣми самими, кто часто употребляетъ это выраженіе. Они не подумаютъ о томъ, что здѣсь не говорится, что *всякій* страхъ есть начало премудрости, а только *страхъ Божій*. Если человѣкъ достигнетъ до той нравственной высоты, что боится одного только Бога, то значить онъ боится одной своей собственной совѣсти — и больше ничего въ мірѣ не боится. Осталась ли эта совѣсть въ своемъ естественномъ состояніи, раскрыта ли она ученіемъ Откровенія, во всякомъ случаѣ — она для человѣка голосъ Божій, и если человѣкъ, не внимая никакимъ угрозамъ и приманкамъ свѣта, начнетъ внимательно прислушиваться только къ этому голосу, то и откроетъ въ немъ *источникъ премудрости*, т. е. нравственности или высшей практической мудрости. Но какъ жалко злоупотребляютъ этимъ глубокимъ библейскимъ изреченіемъ различные любители *задать страху дѣтямъ!* Они прикрываютъ имъ свое неумѣнье сдерживать гнѣвъ, неумѣнье, которое должно бы вычеркнуть ихъ изъ списка воспитателей, и внушаютъ дѣтямъ не страхъ *Божій*, а

страхъ *учительскій*, изъ котораго рождаются ложь, притворство, хитрость, трусость, рабство, слабость, ничтожество души, а не премудрость.

Изъ того, что мы уже сказали, само собою понятно, что страхъ увеличивается неопредѣленностью опасности. Въ этомъ отношеніи Бэнъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что ничто такъ не унижаетъ и не портитъ человѣка, «какъ рабскій страхъ, именно оттого, что рабъ не знаетъ предѣловъ власти своего господина, который можетъ съ нимъ сдѣлать все; тогда какъ гражданинъ страны, управляемой законами, а не произволомъ, всегда знаетъ, что его ждетъ» ¹⁾. Но напрасно Бэнъ называетъ рабскій страхъ «особымъ видомъ страха». Всякій страхъ, теряя предѣлы, становится безпредѣльнымъ, а если «пушечная лихорадка проходитъ у солдатъ», то не отъ привычки, а по мѣрѣ того, какъ солдатъ замѣчаетъ, что не всякое ядро убиваетъ, и что можно простоять цѣлые часы подъ огнемъ и выйти изъ него невредимымъ. По мѣрѣ того, какъ предѣлы опасности опредѣляются, и страхъ уменьшается: «гляди страху прямо въ глаза, говоритъ русская пословица, и страхъ смигнетъ». Но къ свойству страха именно относится расширеніе предѣловъ опасности, какъ это выражается въ другой пословицѣ: «у страха глаза велики», намекающей, можетъ быть, и на особое расширеніе глазъ при чувствѣ страха. Какъ только началось ясное сознаніе предѣловъ страха, такъ и рождаются попытки избавиться отъ этого мучительнаго чувства, а попытки эти, окрѣпнувъ, могутъ вытѣснить изъ души страхъ, замѣнивъ его гнѣвомъ, какъ разъ соразмѣрнымъ силѣ вытѣсненнаго страха. Вотъ чѣмъ объясняется ярость человѣка противъ тирановъ, которыхъ онъ долго трепеталъ. У животныхъ также очень часто цѣпнящій ужасъ смѣняется бурною яростью. Но эта буря поднята не страхомъ, а борьбою со страхомъ, съ этимъ самымъ ненавистнымъ угнетателемъ нашей душевной дѣятельности.

Дѣйствіе страха именно потому и ужасно, что онъ, останавливая дѣятельность души, въ то же время приковываетъ ея вниманіе къ предмету страха. Въ эти минуты, по мѣткому выраженію народной психологіи, мы «ни живы, ни мертвы»: *мы не живемъ* потому, что дѣятельность нашей души остановлена, а дѣятельность есть жизнь нашей души; *мы еще не умерли* потому, что чувствуемъ во всей силѣ эту страшно-мучительную остановку жизни. Страхъ смерти, какъ справедливо замѣчаетъ Бэнъ, есть вѣнецъ страха; но въ этомъ мы также не видимъ никакого особеннаго вида страха. Собственно говоря, какъ замѣтилъ еще Декартъ, всякій страхъ—есть страхъ смерти, т. е. такая боязнь прекра-

¹⁾ The Emotion, p. 81.

щенія душевной дѣятельности, что дѣятельность души дѣйствительно приостанавливается; какъ только же мы начинаемъ бороться съ опасностью, такъ и страхъ начинаетъ проходить.

Такъ какъ причиною страха можетъ быть все, что угрожаетъ посредственно или непосредственно нашей жизни или жизни людей намъ близкихъ, а неопредѣленность опасности значительно увеличиваетъ страхъ, то и понятно, что образованіе, уменьшая число опасностей, угрожающихъ нашей жизни, уменьшаетъ число причинъ страха и, давая возможность измѣрить опасность и опредѣлить ея послѣдствія, уменьшаетъ напряженность страха въ виду этихъ опасностей. Въ этомъ мы вполне согласны и съ Бэномъ ¹⁾ и съ Боклемъ. Но мы думаемъ, что эти писатели слишкомъ уже преувеличиваютъ обезпеченіе современнаго человѣка въ отношеніи страха. Мы точно такъ же, какъ и предки наши, не знаемъ причины самыхъ опасныхъ для насъ явленій: ни чумы, ни тифа, ни холеры, ни появленія трихинъ, и если не приписываемъ ихъ вмѣшательству невѣдомыхъ силъ, то не потому, чтобы мы знали причину этихъ явленій. Смѣлѣ ли сталъ современный человѣкъ—это еще вопросъ. Князь Игорь, отправляющійся въ походъ, несмотря на страшныя знаменія, въ гибельное значеніе которыхъ онъ вѣритъ, преодолеваетъ еще одинъ лишній страхъ, котораго уже не нужно преодолевать современному полководцу. Макбетъ, вызывающій духовъ, въ которыхъ онъ вѣруетъ, и тѣнь Банко, которую онъ, конечно, не объясняетъ галлюцинаціей, только еще яснѣе выказываетъ свою неукротимую смѣлость, преодолевая предрасудки, которые для насъ теперь не существуютъ. Не познанія и не отсутствіе предрасудковъ внушаютъ скандинавскому герою слова, теперь почти непонятныя для насъ: «Руби меня прямо въ лицо»—говоритъ онъ своему товарищу, который не такого сорта человѣкъ, чтобы задуматься исполнить просьбу друга: «руби меня прямо въ лицо и посмотри, смигну ли я?» Не трудно видѣть въ такихъ явленіяхъ, что *смѣлость* независима отъ какого бы то ни было умственнаго развитія, и есть не плодъ ума, а чувство, прирожденное человѣку.

Чувство *смѣлости* Аристотель справедливо противопоставляетъ чувству *страха* ²⁾. Но это чувство такъ присуще человѣку, что мы замѣчаемъ его отдѣльное существованіе только тогда, когда оно, предварительно будучи подавлено страхомъ, начинаетъ вновь возникать. Всякій изъ насъ вѣроятно испытывалъ на себѣ это *воскрешающее* вліяніе возрождающейся смѣлости. Насколько чувство страха отнимаетъ у насъ силы—настолько смѣлость

¹⁾ The Emotion, p. 85.

²⁾ Rhetorik. B. II. Cap. V. § 6.

даетъ намъ ихъ, да и въ воплощеніи своемъ смѣлость выражается чертами, совершенно противоположными страху: мускулы напрягаются, не доходя еще до судорожнаго напряженія гнѣва; станъ выпрямляется, голова подымается, цвѣтъ лица дѣлается живымъ, не приобрѣтая еще краски или блѣдности гнѣва, глаза блестятъ, вся фізіономія принимаетъ какой-то смѣлый, рѣшительный характеръ, еще ни одной чертой своей не выражая гнѣва. Что-то торжественное, прекрасное и легкое, что такъ дивно идеализировалъ древній художникъ въ фигурѣ Аполлона Бельведерскаго, проглядываетъ въ каждой чертѣ, въ каждомъ движеніи человѣка, воодушевленнаго смѣлостью.

Самостоятельность чувства смѣлости, обыкновенно выбрасываемаго психологами изъ списка чувствованій, кромѣ спеціальности ощущенія, знакомаго каждому, и кромѣ особенности воплощенія, удостоверяется еще и возникновеніемъ этого чувства въ душѣ изъ причинъ органическихъ. Всѣ военачальники знаютъ, что сытый человѣкъ смѣлѣе голоднаго въ битвѣ, хотя въ то же время голодный сердитѣе сытаго. Въ этомъ общеизвѣстномъ фактѣ выражается разомъ и возникновеніе чувства смѣлости изъ органическихъ причинъ, и его отдѣльность отъ чувства гнѣва, съ которымъ его часто смѣшивали. Извѣстно также, какое вліяніе на возбужденіе смѣлости имѣютъ спиртные напитки. Особенная полнота половыхъ стремленій оказываетъ то же вліяніе, тогда какъ, наоборотъ, сильное истощеніе въ этомъ отношеніи дѣлаетъ человѣка трусомъ.

Мы вполне согласны съ Бэномъ, который называетъ смѣлость однимъ изъ величайшихъ качествъ души человѣческой, безъ котораго невозможны ни благородная дѣятельность, ни порядочный образъ мыслей, ни самостоятельность характера. Точно такъ же мы убѣждены въ томъ, что страхъ есть самый обильный источникъ пороковъ, чему лучшее доказательство мы видимъ въ тѣхъ деспотическихъ государствахъ, гдѣ опасность ничѣмъ неограниченнаго произвола одного человѣка виситъ, какъ Дамокловъ мечъ, надъ головой каждаго. Но мы утверждаемъ также, что только страхъ, своимъ реактивнымъ вліяніемъ, преобразуетъ врожденную человѣку инстинктивную смѣлость въ разумное мужество, и если человѣкъ научился преодолевать и предотвращать опасности или, по крайней мѣрѣ, избѣгать ихъ, то этимъ онъ обязанъ столько же чувству смѣлости, сколько и чувству страха. Люди, въ характерѣ которыхъ преобладаетъ инстинктивное чувство смѣлости, безопасны и непредусмотрительны, и не трудно понять, что если бы у человѣка и у животнаго вовсе не было чувства страха, то едва ли и самое существованіе ихъ было бы обезпечено: они были бы легкою добычею разныхъ опасностей, а опасности, которыхъ они избѣжали бы случайно, не врѣзывались бы въ ихъ памяти и ничему бы ихъ не научали. Безумная смѣлость, какъ и безумная трусость, одинаково

гибельны. Все дѣло, слѣдовательно, *въ умъ*, который могъ бы измѣрить опасность и приискать средство избавиться отъ нея, и *въ волю*, которая была бы довольно сильна, чтобы воспрепятствовать чувству страха перейти въ органическій аффектъ и, дѣйствуя изъ нервовъ на душу, помѣшать ей спокойно работать. Не тотъ *мужественъ*, кто лѣзетъ на опасность, не чувствуя страха; а тотъ, кто можетъ подавить самый сильный страхъ и думать объ опасности, не подчиняясь страху.

Природная смѣлость есть та глыба драгоцѣннаго мрамора, изъ которой страхъ вырабатываетъ величественную статую мужества. Но дѣло въ томъ, какъ совершается эта работа и что служитъ рѣзцомъ для выработки этой статуи?.. Страхъ, какъ и всякое другое сердечное чувство, способное перейти въ органическій аффектъ, можетъ усилить расположеніе къ легчайшему возникновенію того же органическаго чувства. На это явленіе, какъ мы видѣли выше, указалъ уже Аристотель въ отношеніи гнѣва. То же самое слѣдуетъ сказать и въ отношеніи страха, что энергически выражается русскою пословицею: «пуганая ворона куста боится». Кромѣ того, весьма объяснимо психологически, что человѣкъ, испытывающій землетрясеніе и видящій изверженіе лавы въ первый разъ, обратитъ сильное вниманіе на эти необыкновенныя для него явленія, не думая о ихъ послѣдствіяхъ, которые онъ представляетъ себѣ по слухамъ и изъ книгъ и, слѣдовательно, далеко не съ такою яркостью и не такъ рельефно, какъ тотъ, кто самъ видѣлъ эти послѣдствія, а можетъ быть и страдалъ отъ нихъ.

Не привычка *переносить* страхъ, но привычка *преодолывать* его увеличиваетъ смѣлость, какъ справедливо замѣчаетъ Бэнъ. Но въ чемъ же состоитъ самая эта привычка? Мы думаемъ, что слово *привычка* употреблено здѣсь Бэномъ неумѣстно. Привычки здѣсь собственно нѣтъ, а есть возрастающая въ человѣкѣ увѣренность въ возможности преодолѣть тѣ или другія препятствія, а увѣренность эта возникаетъ именно оттого, что человѣкъ преодолѣвалъ уже данную опасность нѣсколько разъ и нѣсколько разъ подавлялъ въ душѣ своей возникающее чувство страха. Смѣлость же сама по себѣ, какъ мы видѣли, есть не что иное, какъ прирожденное человѣку чувство увѣренности въ своихъ силахъ. Всякій новый опытъ, доказывающій намъ присутствіе этихъ силъ, въ сравненіи съ опасностями, увеличиваетъ эту увѣренность и увеличиваетъ, слѣдовательно, нашу смѣлость. Это увеличеніе смѣлости можетъ зависѣть отъ двухъ причинъ: или оттого, что мы увѣрились въ возможности преодолѣть ту или другую опасность или избѣжать ея, или оттого, что, подавляя часто чувство страха вообще, мы увѣрились вообще въ громадности нашихъ силъ. Въ первомъ случаѣ можетъ образоваться только частная храбрость, и человѣкъ, храбрый, на примѣръ, ан морѣ, можетъ оказаться трусомъ на сушѣ, а храбрый воинъ— трусли-

вымъ гражданиномъ. Во второмъ случаѣ вырастаетъ общая смѣлость, часто увлекающая человѣка въ безумныя предпріятія, но и часто уносящая его на такую дорожку, на которую еще никто не выходилъ прежде, только по недостатку безграничной смѣлости. «Смѣлость города беретъ», говоритъ русская пословица; но она же и «кандалы третъ», прибавляетъ другая ¹⁾.

Спиноза говоритъ, что «человѣкъ, воображающій, что онъ не можетъ сдѣлать извѣстнаго дѣла, не можетъ рѣшиться дѣйствовать, а потому и дѣйствительно не способенъ сдѣлать даннаго дѣла» ²⁾. Вотъ эта-то увѣренность или внушается врожденною человѣку смѣлостью, которая еще не испытала реакціи страха, или опытами дѣятельности. Дитя родится съ безграничною смѣлостью, и мы ясно замѣчаемъ, что чѣмъ менѣе дитя запугано, тѣмъ оно смѣлѣе, такъ что смѣлость выражается въ каждой чертѣ его лица и въ каждомъ его движеніи. При этомъ еще слѣдуетъ имѣть въ виду, въ какомъ состояніи находятся нервы ребенка, а также и то, каковы люди, его окружающіе; ибо страхъ, какъ и всякое другое сердечное чувство, заразителенъ, передаваясь отъ человѣка къ человѣку посредствомъ тѣлеснаго воплощенія и нервнаго сочувствія ³⁾. Воспитатель долженъ беречь эту прирожденную смѣлость, но не оставлять ее въ первобытномъ видѣ, въ которомъ она столько же можетъ надѣлать вреда, сколько и пользы. Онъ долженъ ставить ребенка въ такія положенія, чтобы онъ преодолѣвалъ свой страхъ, и уберегать отъ такихъ, въ которыхъ ребенокъ подчинялся бы всесильному страху; словомъ, воспитатель долженъ беречь драгоцѣнное чувство смѣлости, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, опытами преодоленія страха передѣлывать неразумную смѣлость въ разумное мужество.

Теперь, изучивъ появленіе страха и смѣлости, попытаемся опредѣлить взаимное отношеніе этихъ двухъ важныхъ чувствованій. Кажется, что мы должны ихъ признать такими же двумя прямыми антагонистами, какими признали чувство удовольствія и неудовольствія ⁴⁾, но только въ обратномъ отношеніи между собою. Чувство неудовольствія вытекаетъ непосредственно изъ неудовлетворенія нашихъ стремленій, и потому предшествуетъ чувству удовольствія; слѣдовательно, отрицательное чувствованіе здѣсь предшествуетъ положительному, тогда какъ, наоборотъ, мы должны предположить *смѣлость* (чувство положительное) предшествующею появленію страха (чувство отрицательное). Однакоже это противорѣчіе только кажущееся: мы не чувствуемъ смѣлости, хотя она и руководитъ нашими дѣйствіями, пока не почувствуемъ страха. Мы ощущаемъ смѣлость только

¹⁾ Пословицы Русскаго Народа. Собр. Даля, стр. 274.

²⁾ Eth., P. III. App. § 28. Expl.

³⁾ См. выше, ч. II, гл. XIV.

⁴⁾ См. выше, ч. II, гл. XIX.

уже какъ реакцію страха. *Смѣлость*, словомъ, есть врожденное состояніе души, которое высказывается въ ней особеннымъ чувствованіемъ только тогда, когда, нарушенное чѣмъ-нибудь, сопровождаемымъ чувствомъ страха, вновь вступаетъ въ свои права.

Мы думаемъ, что это состояніе смѣлости соотвѣтствуетъ тому типическому состоянію нервовъ и мускуловъ ¹⁾, въ которомъ они находятся во всякомъ живомъ организмѣ, пока онъ живъ, и временными нарушеніями котораго обнаруживается чувство страха, какъ мы это уже видѣли выше. Слѣдовательно, чувство смѣлости есть не болѣе, какъ ощущеніе душою своихъ собственныхъ силъ, а чувство страха есть подавленіе чувства смѣлости, происходящее иногда отъ органическихъ причинъ, а иногда отъ колебанія нашей прирожденной увѣренности въ нашихъ силахъ.

Г Л А В А XXIII.

Виды душевно-сердечныхъ чувствованій: 5) чувство стыда и чувство самодовольства.

Чувство *стыда* разслѣдовано едва ли не менѣе всѣхъ прочихъ элементарныхъ чувствъ, что, главнымъ образомъ, зависитъ отъ того, что его смѣшиваютъ то съ нѣсколькими сложными чувственными состояніями, а именно съ *раскаяніемъ*, *совѣстью* и, наконецъ, *застѣнчивостью*, въ которой иные, какъ напр. Бэнъ, видятъ низшую степень страха. Хотя стыдъ дѣйствительно часто соединяется со всѣми этими сложными видами чувственныхъ душевныхъ состояній, но существуетъ однако и отдѣльно отъ нихъ, какъ чувство вполне элементарное, для котораго природа назначила и особое воплощеніе въ организмѣ. Правильнѣе другихъ взглянули на это чувство все же Аристотель и Спиноза.

Оба эти мыслителя обращаютъ прежде всего вниманіе на то, что чувство стыда возможно только при условіи жизни человѣка въ обществѣ людей, и при томъ такихъ, мнѣніемъ которыхъ онъ болѣе или менѣе дорожитъ. «Стыдъ, говоритъ Аристотель, есть извѣстное непріятное чувство, относящееся къ такому злу, которое, по нашимъ понятіямъ, ведетъ къ дурной славѣ» ²⁾. Спиноза опредѣляетъ стыдъ почти такъ же: по его мнѣнію, «стыдъ есть чувство печали, сопровождаемое идеею какого-нибудь нашего дѣйствія, которое мы считаемъ предметомъ осужденія со стороны другихъ» ³⁾.

¹⁾ См. выше, стр. 322.

²⁾ Rhetorik. Cap. VI, § 1.

³⁾ Eth. P. III, S. 31.

Въ обоихъ этихъ мнѣнiяхъ для насъ важно только то, что чувство стыда признается такимъ чувствомъ, которое соотвѣтствуетъ стремленiю человѣка къ общежитiю и въ отдѣльности отъ этого стремленiя считается невозможнымъ. Аристотель прямо даже указываетъ на эту невозможность, говоря, что никто не стыдится младенцевъ и животныхъ ¹⁾, и что стыдъ, ощущаемый нами въ присутствii другихъ людей, какъ разъ соразмѣряется съ тѣмъ уваженiемъ, которое мы имѣемъ къ ихъ мнѣнiю. Извѣстно, напримеръ, какъ римляне и «римлянки мало стыдились своихъ рабовъ». Древнiе, уничтожая личность въ рабѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ теряли въ отношенiи къ нему почти всякое чувство стыда ²⁾.

Но какъ Аристотель, такъ и Спиноза, замѣтивъ вѣрно характеристическую черту стыда, не провели ее далѣе и не отличили *стыда* отъ *раскаянiя*, хотя различiе между ними очевидно. Раскаиваться мы можемъ и тогда, когда увѣрены, что никто не знаетъ о нашемъ проступкѣ и не имѣя въ виду мнѣнiя другихъ людей; стыдъ же при такомъ условii невозможенъ. Еще яснѣе выражается различiе между раскаянiемъ и стыдомъ въ той борьбѣ между этими двумя душевными состоянiями, которую мы нерѣдко можемъ замѣтить и въ себѣ, и въ другихъ. Весьма обыкновенно то явленiе, что чувство стыда побуждаетъ человѣка скрывать свой поступокъ, а чувство раскаянiя побуждаетъ открыть его. Есть проступки, которыхъ нельзя иначе исправить, какъ открывъ ихъ; и такiе-то именно очень часто не исправляются, подавляемые чувствомъ стыда. Въ этомъ случаѣ мы видимъ, что чувство стыда является столько же вреднымъ, сколько въ другихъ полезнымъ, и что, слѣдовательно, въ нравственномъ отношенiи это чувство, разсматриваемое независимо отъ тѣхъ представленiй, съ которыми оно соединяется, безразлично: ни хорошо, ни дурно, какъ и всѣ остальные элементарныя чувства.

О чувствѣ *раскаянiя* намъ придется еще говорить въ третьей части нашей антропологии, но и здѣсь уже, для избѣжанiя недоразумѣнiй, мы должны указать на отличiе чувства раскаянiя отъ чувства угрызенiя совѣсти. Мы раскаиваемся иногда и въ добромъ дѣлѣ, которое мы сдѣлали, но не можемъ чувствовать угрызенiя совѣсти за доброе дѣло. «Раскаянiе, говоритъ Спиноза, есть чувство печали, сопровождаемое идеею дѣйствiя, которое мы считаемъ совершеннымъ по свободному рѣшенiю нашей души» ³⁾. (Слѣдуетъ помнить, что Спиноза не признаетъ свободы воли).

¹⁾ Rhetorik. B. II. Cap. VI. § 23.

²⁾ Впрочемъ, полную потерю стыда у одного человѣка, въ отношенiи другого, если онъ признается только существомъ, понимающимъ поступки другихъ, мы признаемъ невозможною.

³⁾ Eth. § 27.

Такое опредѣленіе будетъ относиться одинаково и къ угрызению совѣсти, и къ раскаянію, которое можетъ быть и раскаяніемъ въ добромъ дѣлѣ.

Отличивъ чувство стыда отъ чувства раскаянія и чувства совѣсти, часто сопровождаемое стыдомъ, но не всегда сопровождающаго стыдъ, мы уже легко поймемъ, въ чемъ состоитъ ошибка тѣхъ мыслителей, которые, замѣчая, какъ различны предметы стыда у различныхъ людей и различныхъ народовъ, считаютъ самый стыдъ за какое-то искусственное произведеніе человѣческой жизни: не признаютъ его за самостоятельное, природное человѣку чувство, полагая, что чувство стыда образуется оттого, что человѣка стыдятъ тѣмъ, что признано постыднымъ въ томъ или другомъ кругу людей, а не потому, что человѣку врождено стыдиться. Это мнѣніе, повторяющееся очень часто, ссылается обыкновенно на тѣ несомнѣнныя явленія, что то же самое, чего стыдятся одни, нисколько не кажется постыднымъ для другихъ, и даже одни часто хвалятся тѣмъ, чего другіе стыдятся. Это явленіе дѣйствительно не подлежитъ сомнѣнію. Иной стыдится бездѣятельности, другой стыдится труда и хвалится тѣмъ, что онъ ничего не дѣлаетъ. Одинъ стыдится разврата, другой хвастается имъ; одинъ стыдится женственности въ характерѣ, другой самодовольно выставляетъ ее напоказъ. Это явленіе разнообразія и часто противоположности предметовъ стыда выразится еще яснѣе, когда мы будемъ изучать различіе и часто противоположность представленій, вызывающихъ это чувство у различныхъ народовъ, и особенно у народовъ, стоящихъ на различной степени образованія. Трудно себѣ представить, что можно, напримѣръ, стыдиться надѣтъ платье; а между тѣмъ есть именно дикари, которые, не стыдясь своей наготы, стыдятся платья, и есть другіе, которые почитаютъ за величайшій стыдъ открыть свое лицо и оставляютъ открытымъ все тѣло, или, считая за позоръ невиннѣйшія дѣйствія въ глазахъ европейца, считаютъ въ то же время невинными дѣйствіями такія, отъ которыхъ покраснѣетъ самый беззастѣнчивый европеецъ ¹⁾).

Все это справедливые факты, и причина такого разнообразія представленій, вызывающихъ чувство стыда у различныхъ людей, очень понятна. «Родители, говоритъ Спиноза, порицая какія-нибудь дѣйствія и выговаривая за нихъ дѣтямъ, и наоборотъ, хваля другія дѣйствія и совѣтуя ихъ, достигаютъ того, что первыя всегда сопровождаются печалью, а вторыя радостью. Обычаи и религіи не одинаковы у всѣхъ людей: то, что кажется священнымъ для однихъ, не имѣетъ никакого значенія для другихъ, а поступки,

¹⁾ Любопытные примѣры такихъ явленій см. *Antrop. der Naturvölker*, v. Waitz. Th. I. S. 357—360.

считаемыя похвальными у одного народа, считаются постыдными у другого; итакъ, всякій хвалится и раскаивается, смотря по воспитанію, которое онъ получилъ» ¹⁾).

Это совершенно вѣрно, но всѣ эти факты, доказывая, что люди стыдятся не одного и того же, доказываютъ въ то же время, что всѣ люди чего-нибудь да стыдятся: всякій же стыдится того, что признается постыднымъ въ кругу людей, мнѣніе которыхъ онъ уважаетъ. Слѣдовательно, предметы стыда даются человѣку исторіей и воспитаніемъ; но самое чувство стыда дано ему природою. Самый безсовѣстный негодяй, хвалящійся своими гнусными поступками, какъ подвигами, можетъ ощутить чувство стыда, если даже какой-нибудь изъ этихъ подвиговъ, которыми онъ хвастался, окажется выдумкой, или если онъ, похвалившисьъ выполнить какое-нибудь дѣло, не можетъ его выполнить. Такой человѣкъ можетъ даже покраснѣть, если въ немъ замѣтятъ какое-нибудь доброе проявленіе; но, тѣмъ не менѣе, чувство стыда у него осталось. Словомъ, отъ чувства стыда такъ же нельзя отдѣлаться, какъ нельзя отдѣлаться отъ чувства страха. Самыя понятія о предметѣ стыда могутъ быть страшно извращены, но стыдъ останется. И представленія, возбуждающія гнѣвъ и страхъ, также часто бываютъ различны и даже противоположны; но отъ этого гнѣвъ и страхъ не перестаютъ считаться чувствами, общими всѣмъ людямъ и даже животнымъ.

Если бы нужно было, кромѣ вышеприведенныхъ доказательствъ, привести еще новыя, что чувство стыда есть не искусственное, а прирожденное, то мы указали бы на характеристическое воплощеніе этого чувства. Если бы человѣкъ даже и выдумалъ стыдъ, то не могъ бы выдумать его воплощенія. Воплощеніе это обнаруживается не столько краскою, кидающеюся въ лицо, которое часто, по свойству кожи, теряетъ возможность краснѣть, сколько въ какомъ-то особенномъ, неуловимомъ физическомъ чувствѣ, которое, безъ сомнѣнія, испыталъ всякій. Это особенное чувство, чувство какой-то тревоги въ нервахъ, всего сильнѣе испытывается въ глазахъ, которые поэтому при чувствѣ стыда невольно потупляются у человѣка, еще несовершенно привыкшаго подавлять воплощеніе своихъ чувствованій. Аристотель въ главѣ «О стыдѣ» весьма кстати приводитъ греческую пословицу: «стыдъ живетъ въ глазахъ» и объясняетъ ее тѣмъ, что человѣкъ стыдится глазъ другихъ людей, т. е. стыдится того, что можетъ быть замѣчено другими людьми. Это объясненіе вѣрно, но не полно. Мы же думаемъ, что эта греческая пословица, точно такъ же, какъ и наши народныя выраженія, говорящія о «безстыдныхъ» или «безстыжихъ глазахъ», выходятъ, главнымъ образомъ, изъ мѣткой наблюдательности народа надъ тѣмъ чисто физическимъ ощу-

¹⁾ Eth. P. III. Appendix. Def. 27. Explic.

щеніемъ, которое испытываетъ человѣкъ въ глазахъ при чувствѣ стыда и которое заставляетъ человѣка, чувствующаго стыдъ, или потуплять глаза, или отводить ихъ въ сторону, или, наконецъ, усиленно мигать.

На этихъ основаніяхъ мы признаемъ чувство стыда врожденнымъ элементарнымъ чувствованіемъ человѣка, которое притомъ находится въ совершенной связи съ врожденнымъ же ему стремленіемъ общности ¹⁾. Природа не только дала человѣку стремленіе къ общности, не только поставили его въ зависимость отъ существъ, ему подобныхъ, и внушила ему стремленіе искать ихъ сочувствія, одобренія и ласки, но придала этому стремленію особое чувство стыда, проявляющееся всякій разъ, какъ это стремленіе не удовлетворяется, и, наконецъ, снабдила это чувство особымъ воплощеніемъ. Вотъ почему чувство стыда всегда *непріятно*, какъ непріятно намъ всякое неудовлетвореніе нашихъ врожденныхъ стремленій.

Чувство стыда относится ко всей области общественныхъ стремленій,— въ чемъ бы они ни выражались, а не къ одному виду этихъ стремленій: къ стремленіямъ половымъ. Чувство полового стыда есть только чувство, относящееся къ обнаруженію половыхъ стремленій, которыя, почему бы то ни было, человѣкъ считаетъ постыднымъ обнаруживать. Если же это мнѣніе почему-нибудь измѣняется, то и половой стыдъ исчезаетъ. Есть дикари, которые его вовсе не знаютъ; есть распущенныя натуры, которыя его совершенно потеряли, и, наконецъ, дитя, у котораго эти стремленія еще ничѣмъ не обнаружились, не имѣетъ полового стыда.

Очень узко и ошибочно мнѣніе тѣхъ писателей, которые, слѣпо вооружаясь противъ христіанства и не въ мѣру восхваляя классическую древность, приписываютъ аскетическимъ понятіямъ христіанства чрезмѣрное развитіе половой стыдливости, котораго, будто бы, она не достигала у древнихъ. Стоитъ заглянуть въ книгу Цицерона «Объ обязанностяхъ», чтобы увидѣть, что половая стыдливость была точно такъ же развита въ его время у римлянъ, какъ развита она у насъ, и что то же самое, что считается въ этомъ отношеніи постыднымъ у насъ, считалось постыднымъ и у римлянъ временъ Цицерона ²⁾.

Признавая совершенно справедливымъ то осужденіе, которое Цицеронъ произноситъ цинизму въ этомъ отношеніи, мы не можемъ однако не замѣтить, что доказательства, приводимыя Цицерономъ, не вѣрны и изви-

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. VII.

²⁾ Principio, corporis nostri magnam natura ipsa videtur habuisse rationem: quae formam nostram, reliquamque figuram, in qua esset species honesta, eam posuit in promptu; quae partes autem corporis, ad naturae necessitatem datae, aspectum essent deformem habiturae atque turpem, eas contexit atque abdidit...

няются лишь ограниченностью тогдашнихъ этнографическихъ свѣдѣній. Природа дала человѣку чувство стыда не для однихъ какихъ-нибудь предметовъ или отношеній, но для всего, что кажется человѣку постыднымъ. Какъ только же человѣкъ сталъ развивать свои духовныя, чисто человѣческія особенности, такъ и стали для него постыдными всѣ тѣ положенія, въ которыхъ эти духовныя его особенности совершенно подчинялись его животной природѣ...

Изъ всего, что сказано о чувствѣ стыда, видно, что мы въ правѣ называть его *чувствомъ общественности*, и легко убѣдиться, что оно играетъ очень важную роль во всѣхъ нашихъ общественныхъ отношеніяхъ. Если же кому покажется, что это чувство слишкомъ слабо и неустойчиво для такой важной роли, то пусть онъ обратитъ вниманіе на то, какое важное значеніе въ общественной жизни играютъ *насмѣшка* и *позоръ*. Дѣйствіе же *насмѣшки*, во всѣхъ ея видахъ, начиная отъ легкой колкости и оканчивая ядовитымъ, мертвящимъ сарказмомъ, и дѣйствіе *позора* основаны на способности человѣка стыдиться, которая, въ свою очередь, основана на его стремленіи къ общественности. Конечно, общественные нравы исправляются не одною насмѣшкою; но кто же не видитъ, какую важную роль играетъ насмѣшка въ ихъ исправленіи и ихъ порчѣ. Въ ихъ порчѣ говоримъ мы, потому что нерѣдко приходится людямъ бороться за правое дѣло противъ насмѣшки и чувство стыда. Насмѣшка столько же способна исправлять человѣка, сколько и портить; а для того, чтобы преодолѣть чувство стыда, требуется иногда не менѣе геройства, какъ и для того, чтобы преодолѣть чувство страха. Позоръ и производимое имъ мученіе стыда во всѣхъ законодательствахъ признавались всегда одной изъ самыхъ сильныхъ мѣръ наказанія и исправленія.

Чувству стыда Аристотель противопоставляетъ безстыдство ¹⁾; но безстыдство можно противополжить стыдливости, а не чувству стыда; чувству же стыда слѣдуетъ противополжить чувство *самодовольства*, придавъ, конечно, этому слову нѣсколько измѣненный техническій смыслъ. Мы чувствуемъ стыдъ всякій разъ, какъ наше инстинктивное стремленіе къ общественности, къ уваженію, любви и ласкамъ другихъ людей получаетъ сильный толчокъ въ укорѣ, презрѣніи или насмѣшкѣ, а равно и при такихъ поступкахъ нашихъ, за которыми, по нашему мнѣнію, должны слѣдовать укоръ, насмѣшка или презрѣніе. Мы испытываемъ чувство *самодовольства* всякій разъ, какъ это стремленіе къ общественности получаетъ какое-нибудь замѣтное удовлетвореніе, т. е. всякій разъ, когда насъ хвалятъ или когда насъ ласкаютъ. При особенно напряженномъ состояніи этого чувствованія, когда, напр., «сладкій медъ лести каплетъ въ наше сердце», мы ощу-

¹⁾ Aristoteles, Rhetorik. B. II, C. VI. § 27.

щаемъ, что чувство это, противоположное чувству стыда, имѣетъ также и свое особое воплощеніе въ какомъ-то сладкомъ щекоющемъ физическомъ ощущеніи, выражающемся на лицѣ особенною самодовольною улыбкою.

Чувство *самодовольства* слѣдуетъ отличать отъ чувства гордости, которое есть уже сложное психическое состояніе и продуктъ психической жизни, происшедшей черезъ сравненіе насъ съ подобными намъ людьми. Чувство же самодовольства есть чувство простое, возбуждаемое въ насъ всякимъ выраженіемъ намъ уваженія, любви или ласки, и которое черезъ сравненіе можетъ выработаться въ гордость, но существуетъ и безъ всякихъ сравненій. Чувство самодовольства слѣдуетъ также отличать отъ чувства спокойствія совѣсти, которое возможно въ человѣкѣ безъ всякаго участія другихъ людей, безъ чего чувство самодовольства немыслимо. Если же мы испытываемъ и въ одиночку чувство самодовольства, то только въ томъ случаѣ, если въ своемъ воображеніи въ то же время представляемъ себя въ отношеніи съ подобными намъ людьми и думаемъ, напр., какъ они будутъ поражены тѣмъ, что мы сдѣлали или придумали, и т. п. Въ этомъ случаѣ воображеніе даетъ намъ возможность ощущать будущее одобреніе людей, какъ бы настоящее.

Слѣдуетъ, кажется, признать, что оба разбираемые нами чувствованія, чувство стыда и чувство самодовольства, испытываются не только людьми, но и животными. По крайней мѣрѣ, мы ясно замѣчаемъ проявленіе этихъ чувствованій у животныхъ домашнихъ. Едва ли справедливо было бы думать, что они позаимствовались этими чувствами у насъ. Элементарное чувство передать невозможно, и если оно не было бы врожденно животнымъ, то мы не замѣтили бы его проявленія. Если же мы не замѣчаемъ разбираемыхъ нами чувствъ у животныхъ дикихъ, то безъ сомнѣнія потому, что ихъ психическій міръ слишкомъ для насъ замкнутъ, и что мы не имѣемъ случая такъ же наблюдать надъ ними, какъ наблюдаемъ надъ животными домашними.

Г Л А В А XXIV.

Виды душевныхъ чувствованій: умственно-сердечное чувство отсутствія дѣятельности.

Мы выше видѣли полную необходимость признать въ человѣкѣ стремленіе къ сознательной дѣятельности, какъ чистой дѣятельности, безъ отношенія къ тѣмъ цѣлямъ, которыя могутъ достигаться этой дѣятельностью, безъ отношенія къ тѣмъ задачамъ, которыя могутъ указываться этой дѣя-

тельности какъ физическими, такъ и духовными потребностями человѣка. Причина этой чистой дѣятельности—душевное стремленіе къ ней, выражающееся въ мучительномъ чувствѣ *скуки*, *тоски* и *апатіи*, если оно не удовлетворено, и въ успокоеніи этихъ побуждающихъ чувствованій, если человѣкъ находитъ себѣ дѣятельность. Цѣль же этой дѣятельности—только удовлетвореніе стремленія къ ней, если человѣкомъ не руководитъ другая кака-нибудь цѣль, выходящая изъ другихъ стремленій. Дѣятельность для развлеченія, дѣятельность отъ скуки—представляетъ форму *чистой* дѣятельности.

Мы видѣли также, что этой дѣятельностью для самой дѣятельности объясняется появленіе множества занятій человѣка, которыя всѣ носятъ общее названіе *развлеченій* и *препровожденій* времени ¹⁾; ибо время начинаетъ томить человѣка, когда онъ не занятъ; но, конечно, человѣка томить не время,—это отвлеченное понятіе человѣческаго же ума,—а томить его живущее въ немъ стремленіе къ дѣятельности, требующее пищи. Всякая дѣятельность только для нашего развлеченія или для убійства времени кажется намъ пустою и даже достойною презрѣнія, и этотъ взглядъ нашъ справедливъ: недостойно человѣка не найти никакихъ задачъ въ жизни и сдѣлать своею задачею убійство времени, или медленное самоубійство. Но психологъ—не моралистъ, и для него самая возможность такого явленія дѣятельности для удаленія скуки есть уже фактъ самъ по себѣ чрезвычайно важный. Положимъ, что, анализируя такъ называемыя развлеченія, психологъ найдетъ, что во всякомъ изъ нихъ, кромѣ стремленія убить время, болѣе или менѣе проглядываетъ и другая задача, выходящая изъ другихъ стремленій человѣка; но онъ уже сумѣетъ отличить, что въ этой дѣятельности принадлежитъ тому или другому стремленію, выходящему изъ физическихъ или духовныхъ потребностей человѣка, и что—чистому стремленію къ дѣятельности.

Теперь же насъ занимаетъ не самое стремленіе къ дѣятельности, но то специфическое (*suī generis*) чувствованіе, которымъ высказывается въ душѣ неудовлетвореніе этому стремленію. Это чувствованіе знакомо каждому, какъ и всякое другое, но точно такъ же и невыразимо. Оно имѣетъ различныя степени напряженности, а по этимъ степенямъ и имѣетъ различныя названія: *скуки*, *тоски* и *апатіи* или *сплина*. Чувство скуки, въ сравненіи съ яркими чувствованіями гнѣва или страха, можетъ показаться слишкомъ блѣднымъ, легкимъ и мало соответствующимъ важности того единственнаго *душевнаго* стремленія (въ отличіе отъ физическихъ и духовныхъ), которое мы нашли. Но такой взглядъ будетъ ошибоченъ.

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. X.

Чтобы понять все *постоянство* гнета этого чувства на человѣка, стоит только обозрѣть, какъ мы и сдѣлали выше, все то безчисленное множество людскихъ занятій, главная причина появленія которыхъ заключается въ желаніи избѣжать томительнаго чувства скуки, т. е. всё такъ называемыя *развлеченія* и *убійства времени*. Тогда мы убѣдимся, что ни одно чувствованіе не гнететъ такъ постоянно человѣка, какъ чувствованіе скуки: оно дѣйствуетъ на него въ каждый незанятый моментъ и условливаетъ множество его дѣятельностей. Для того же, чтобы оцѣнить всю силу *напряженности*, до которой можетъ достигать это чувство, мы должны принять во вниманіе, что такъ называемый *сплинъ* есть не что иное, какъ чувство скуки, доросшее въ своей напряженности до такой степени, что человѣкъ самъ на себя подымаетъ руку, только бы избавиться отъ гнета этого чувства. Мы поймемъ тогда, что если чувство скуки не кажется намъ столь сильнымъ, какъ, на примѣръ, чувство страха или гнѣва, но только потому, что оно безпрестанно заставляетъ насъ прибѣгать къ тому или другому развлеченію, и что этихъ развлеченій, къ счастью у человѣка достаточно, такъ что мы подавляемъ едва рождающееся чувство скуки, не давая ему дойти до степени замѣтныхъ страданій. Но если развлеченіе становится для человѣка невозможнымъ, тогда это же самое чувствованіе напрягается до такой степени, что дѣлаетъ самую жизнь невыносимою.

Не признавая врожденныхъ душѣ стремленій, гербартианцы вынуждены были объяснить скуку души самымъ натянутымъ образомъ. Такъ, Вайтцъ называетъ скуку утомленіемъ ¹⁾; но утомленіе обнаруживается въ насъ вовсе не скукой, а, напротивъ, стремленіемъ къ отдыху, перейдя къ которому мы испытываемъ очень сладкое чувство, а вовсе не томительное чувство скуки. Это странное заблужденіе объясняется отчасти тѣмъ, что Вайтцъ не умѣлъ отличить истинныхъ причинъ скуки отъ ея кажущихся причинъ. Скука дѣйствительно возникаетъ, повидному, отъ разнообразныхъ, даже противоположныхъ причинъ; но въ сущности причина ея всегда одна и та же—недостатокъ душевной дѣятельности. Такъ скука возникаетъ отъ однообразія впечатлѣній и отъ слишкомъ большого разнообразія ихъ; но въ обоихъ случаяхъ она возникаетъ отъ одного и того же.

Скука возникаетъ отъ однообразія именно потому, что однообразныя представленія и сочетанія представленій, повторяясь часто и долго, не даютъ душѣ достаточной дѣятельности; ибо она уже вполне овладѣла этимъ представленіями и ей ничего не остается болѣе съ ними дѣлать. Но точно такъ же нагоняетъ скуку противоположное явленіе: именно — слишкомъ быстрая смѣна разнообразныхъ представленій. Такъ, пробѣгая быстро большую кар-

¹⁾ Psych. v. Waitz. § 34, S. 35.

тинную галерею, мы ясно ощущаемъ скуку; а ѣзда по желѣзной дорогѣ нагоняетъ на насъ скуку именно быстротой смѣны ландшафтовъ. Явленія эти противоположны, но причина скуки при этихъ явленіяхъ одна и та же. Въ первомъ случаѣ, душа наша чувствуетъ недостатокъ дѣятельности отъ недостатка представленій; во второмъ — отъ слишкомъ большого обилія и столь быстрой перемѣны ихъ, что мы не успѣваемъ съ ними справиться, не успѣваемъ вводить ихъ въ ассоціаціи нашихъ уже готовыхъ представленій. Смотря на одну и ту же картину въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, мы получаемъ болѣе матеріала для душевной дѣятельности, чѣмъ пробѣгая длинную галерею картинъ; но если мы вполнѣ овладѣемъ этимъ матеріаломъ, то видъ одной и той же неизмѣняющейся картины также станетъ наводить на насъ скуку.

Все *неинтересное* для насъ возбуждаетъ въ насъ скуку именно потому, что для насъ *интересно* только то, что можетъ войти въ наши душевныя работы. Мы уже выше опредѣляли, что человѣкъ называетъ *интереснымъ* ¹⁾, а потому и не имѣемъ надобности возвращаться къ этому предмету. Повторимъ только, что вполнѣ интересно для насъ то, что даетъ сильную работу нашей душѣ. Замѣчательно, что самое стремленіе къ дѣятельности не остается неизмѣннымъ, но возрастаетъ по мѣрѣ расширенія дѣятельности и выработки душою все большихъ и сложнѣйшихъ сферъ для нея. Чѣмъ болѣе пріобрѣтаетъ душа матеріала для своихъ работъ, тѣмъ обширнѣе становится ея дѣятельность и тѣмъ требовательнѣе становится она въ отношеніи къ дѣятельности вообще. Дикарь, какъ замѣчаетъ Кантъ, не можетъ скучать такъ сильно, какъ развитой человѣкъ, а, смотря на развлеченія дикарей, образованный не понимаетъ, какъ можно находить развлеченіе въ такихъ однообразныхъ и узкихъ сферахъ. Впослѣдствіи мы оцѣнимъ все важное психическое значеніе *этой прогрессивности стремленія къ дѣятельности*; но теперь замѣтимъ только, что если какая-нибудь обширная сфера душевной дѣятельности, выработанная душою, вдругъ, почему бы то ни было, разрушается или замыкается для человѣка, тогда душѣ его кажется невыносимо тѣсно въ другихъ, болѣе узкихъ сферахъ, и гнетущее чувство *скуки* внезапно вырастаетъ въ давящее чувство *тоски*.

Тоска есть необходимый спутникъ всякой глубокой и обширной печали; но простое чувство тоски не слѣдуетъ смѣшивать со сложнымъ чувствомъ печали, хотя тоска всегда почти сопровождаетъ печаль. Мы уже видѣли выше, какъ пріостановка душевной дѣятельности, вызванная какою-нибудь важною для насъ потерей, производитъ психическое явленіе печали ²⁾; но въ *печали* не одна, а двѣ стороны: *тоска* и *горе*, ясно разли-

¹⁾ См. Пед. Антр., ч. I, гл. XIX.

²⁾ См. выше, ч. II, гл. X.

чаемая душою. Мы испытываемъ чувство горя (которое, само по себѣ, есть опять чувство сложное), когда думаемъ о нашей потерѣ, и испытываемъ чувство тоски, когда не думаемъ о ней. *Горе* имѣетъ въ себѣ что-то острое, язвительное для сердца: это жало страданій, главнаго элемента горя; *тоска* же — что-то тупое, давящее, сжимающее сердце. Мы оплакиваемъ нашу потерю, думая о томъ, чего мы лишились; мы тоскуемъ, не находя для души своей такой же обширной дѣятельности, какая вдругъ сдѣлалась для нея невозможною. Наблюдайте надъ человѣкомъ, только что пораженнымъ глубокимъ горемъ, и вы ясно отличите моменты, когда горе беретъ верхъ надъ тоскою и когда тоска — верхъ на горемъ. Первое выражается криками, рыданіями, сильными тѣлесными движеніями, всѣми признаками рѣзкой сердечной боли; вторая — какимъ-то упадкомъ силъ, мутнымъ взглядомъ, упорнымъ молчаніемъ. Мы видѣли также, какъ душа, испытавшая большую потерю, устраиваетъ для себя мало-по-малу новую обширную дѣятельность, и какъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, тоска исчезаетъ; но если, почему бы то ни было, постройка новой сферы для душевной дѣятельности оказывается невозможною, то душа впадаетъ въ *отчаяніе* — высшую степень горя, но не тоски.

Отчаяніе, т. е. отсутствіе *чаянія* или надежды, есть чувство острое именно потому, что это — чувство горя. Въ отчаяніи человѣкъ не видитъ для себя возможности другой психической дѣятельности, потому что передъ его глазами стоитъ воспоминаніе о томъ, чего онъ лишился. Онъ не можетъ оторваться отъ этого образа, и сердце его бьется о дорогое воспоминаніе, какъ морскія волны о каменистый берегъ: онѣ кидаются на него и отступаютъ, отступаютъ и опять кидаются. Въ *анатіи* мы видимъ уже другое явленіе. Здѣсь душа, не находя себѣ дѣятельности, томится, не жалѣя о дѣятельности потерянной. Здѣсь не судьба лишила человѣка дѣятельности, отъ воспоминанія которой онъ не можетъ оторвать своихъ взоровъ, но самъ человѣкъ, перепробовавъ многія дѣятельности, отказывается отъ дальнѣйшихъ пробъ. Вотъ почему и характеръ *анатіи* другой, чѣмъ характеръ *отчаянія*, хотя оба эти чувствованія могутъ побудить человѣка къ прекращенію своей собственной жизни.

Англійскій *сплинъ* есть не что иное, какъ *анатія*. Если же мы преимущественно у англичанъ замѣчаемъ частое появленіе примѣровъ *анатіи* или *сплина*, то это, безъ сомнѣнія, потому, что этотъ народъ отличается необыкновенною дѣятельностью. Медики замѣчаютъ, что *ишондрія*, *сплинъ* и *анатія*, эти явленія вполне родственныя, чаще всего начинаются у англійскихъ богачей, удалившихся отъ дѣлъ. Какой-нибудь купецъ трудится нѣсколько десятковъ лѣтъ, чтобы прибрѣсть состояніе,

которое дало бы ему возможность жить роскошно, на проценты своего капитала, гдѣ-нибудь въ цвѣтущемъ уголкѣ Англїи. Эта заманчивая картина заставляетъ его работать, не досыпать ночей, не доѣдать куска — и вотъ, наконецъ, заканчиваетъ онъ свои дѣла и переселяется въ свой давно приготовленный эдемъ. Но какъ обманывается онъ въ своихъ ожиданїяхъ! Тутъ-то и ожидали его тѣ мученїя, въ сравненїи съ которыми — ничто всѣ непрїятности, вынесенныя имъ въ жизни; мученїя до того сильныя, что этотъ богачъ, могущій купить всѣ удовольствїя міра, оказывается бѣднѣе бѣднѣйшаго изъ бѣдняковъ, запирается въ свой кабинетъ и позорнѣйшимъ образомъ прекращаетъ жизнь свою. И это случается именно съ тѣми людьми, которые были очень дѣятельны въ предшествующей жизни и притомъ сосредоточили всю свою дѣятельность въ одной какой-нибудь сферѣ: позабыли и любовь, и дружбу, и искусство, и науку за купеческими расчетами или политическими соображенїями.

Въ стремленїя къ дѣятельности существуетъ *великая антиномїя*, или противорѣчіе, которое, однакожъ, такъ или иначе примиряется въ жизни. Вотъ это-то именно противорѣчіе, не столько сознаваемое, сколько чувствуемое, вызвало у различныхъ мыслителей крайне противоположныя взгляды на дѣятельность и трудъ вообще. Древнїе считали, и весьма справедливо, самый трудъ наслажденїемъ (*labor est ipsa voluptas*). Но Локкъ, опровергая это выраженїе, такъ же справедливо говоритъ, что трудъ для труда противенъ нашей природѣ ¹⁾. Знаменитый мыслитель и математикъ Эйлеръ взглянулъ на трудъ съ одной стороны, когда сказалъ, что «истинное счастье состоитъ въ покоѣ и довольствѣ самимъ собою» ²⁾. Паскаль, столь же знаменитый мыслитель и математикъ, взглянулъ на тотъ же предметъ съ другой стороны, когда сказалъ: «мы думаемъ, что ищемъ покоя, а, напротивъ, ищемъ только волненїй». Руссо оказывается плохимъ наблюдателемъ, когда говоритъ, что «ребенокъ только плачетъ или смѣется» ³⁾, или когда думаетъ достигнуть счастья, уменьшивъ человѣческія желанїя ⁴⁾, забывая при этомъ, что уменьшить желанїя можно, но подавить въ душѣ стремленїе къ жизни невозможно. Гораздо болѣе глубокимъ наблюдателемъ дѣтской и вообще человѣческой природы оказывается Фребель, который замѣчаетъ, что «стремленїе къ дѣятельности является столько же двигателемъ при наслажденїяхъ, сколько и при

¹⁾ Of the Understanding, p. 58.

²⁾ Lettre LIV, p. 383.

³⁾ Emile, p. 250.

⁴⁾ Ib., p. 280.

работѣ» ¹⁾, и ищетъ средствъ не веселить дитя, а дать ему занятіе, которое бы его интересовало.—Мы могли бы наполнить нѣсколько страницъ такими противорѣчащими воззрѣніями на значеніе дѣятельности и труда. Но для насъ достаточно взглянуть на «Антропологию» Канта, чтобы видѣть, какъ высказалось въ ней это противорѣчіе во всей своей крайности. «Всякій трудъ тягостенъ и непріятенъ», говоритъ Кантъ въ одномъ мѣстѣ «Антропологии» ²⁾, а въ другихъ мѣстахъ нѣсколько разъ повторяетъ, что «самое счастье нашей жизни измѣряется тѣмъ дѣломъ, которое мы дѣлаемъ», что внѣ труда нѣтъ счастья и что единственное здоровое наслажденіе человѣка состоитъ въ отдыхѣ послѣ труда ³⁾. Если бы Кантъ вдумался въ это психологическое противорѣчіе, то кажется онъ долженъ былъ бы поставить его наряду со своими логическими антиноміями. Постараемся же выставить и разяснить, сколько возможно, эту великую психическую антиномію.

Душа стремится къ дѣятельности; но въ самомъ понятіи *дѣятельность* скрывается, повидимому, непримиримое противорѣчіе. Что мы называемъ дѣятельностью? Если мы скажемъ, что *дѣятельность есть преодолѣніе препятствій*, то этотъ афоризмъ, совершенно справедливый, можетъ показаться для читателя неяснымъ, а потому попытаемся разяснить его примѣрами. Какого человѣка мы называемъ дѣятельнымъ? Того именно, который преодолеваетъ тѣ или другія препятствія для достиженія той или другой цѣли. Если бы все совершалось по желанію человѣка въ то же мгновеніе, какъ желаніе рождается, безъ всякихъ усилій со стороны желающаго, то мы не назвали бы такого человѣка дѣятельнымъ, и совершенно справедливо. Мы говоримъ даже о дѣятельности паровоза (конечно, въ переносномъ смыслѣ) только потому, что паровозъ, движимый силою пара, преодолеваетъ препятствія, представляемая движенію тяжестью поѣзда или, другими словами, притяженіемъ земли. Не будь этихъ препятствій—и самой дѣятельности не было бы. Слѣдовательно, *существованіе препятствій есть необходимое условіе существованія дѣятельности,—такое условіе, безъ котораго сама дѣятельность невозможна.*

Перенесемъ же понятіе дѣятельности, какъ преодолеванія препятствій, на душу. Душа, какъ мы сказали, по самой природѣ своей стремится къ дѣятельности. Слѣдовательно, она стремится къ преодоленію препятствій. Безъ дѣятельности человѣкъ томится. Слѣдовательно, онъ томится и безъ препятствій, безъ которыхъ самая дѣятельность невозможна. Но можетъ ли

¹⁾ Die Arbeit und die neue Erziehung nach Froebel's Methode v. Bertho v. Marenholtz. Berlin. 1868. S. 265.

²⁾ Antrop. § 85.

³⁾ Ib. 62.

человѣкъ радоваться препятствіямъ и любить ихъ? Конечно—*нѣтъ*, потому что препятствіе останавливаетъ дѣятельность, къ которой человѣкъ стремится. Человѣкъ стремится преодолѣть препятствія и, слѣдовательно, естественно, что онъ радуется, когда это стремленіе удовлетворяется, и печалится, когда почему-либо это стремленіе не удовлетворяется. Естественно ли человѣку увлекаться всѣмъ тѣмъ, что удаляетъ препятствіе къ его дѣятельности? Конечно—*да*. Но самое удаление всѣхъ препятствій есть величайшая, абсолютная преграда дѣятельности, которая безъ препятствій абсолютно невозможна. Такимъ образомъ, человѣкъ въ своемъ стремленіи къ дѣятельности вступаетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою. Изъ такого противоположнаго отношенія души, съ одной стороны, къ дѣятельности, къ которой она стремится, а съ другой стороны—къ препятствіямъ, которыхъ она отвращается, но безъ которыхъ сама дѣятельность невозможна,—порождаются тѣ противорѣчащія воззрѣнія на дѣятельность и трудъ, которыя мы привели выше и которыя встрѣчаются часто не только у различныхъ людей, но и у одного и того же человѣка. Мы любимъ *трудъ*, но не любимъ *трудности* труда, не соображая, что трудъ безъ трудности невозможенъ; ибо трудность составляетъ всю сущность труда, независимо отъ тѣхъ цѣлей, которыя трудомъ достигаются. Ища труда и отвращаясь отъ трудности труда, человѣкъ ищетъ невозможнаго. Какъ же примиряется эта *психическая антиномія* въ жизни?

Сознавая всю важность вопроса о трудѣ для теоріи воспитанія, мы будемъ еще нѣсколько разъ возвращаться къ нему, тѣмъ болѣе, что ошибочное рѣшеніе этого вопроса, какъ мы увидимъ далѣе, ведетъ не только къ теоретическимъ, но даже къ громаднымъ практическимъ ошибкамъ и часто даетъ ложное направленіе всей теоріи воспитанія. Здѣсь же мы удовольствуемся тѣмъ, что укажемъ только на образцы жизненнаго примиренія выставленной нами психической антиноміи. Пусть такимъ образцомъ послужитъ намъ самъ Кантъ. Спрашивается, почему такой необыкновенно умный и энергическій человѣкъ, не выѣзжая ни разу изъ своего скучнѣйшаго Кенигсберга, занимался такъ упорно своими философскими изысканіями, отказавшись для нихъ отъ семьи, отказавшись отъ всѣхъ удовольствій свѣта и даже подавивъ въ себѣ самыя настойчивыя потребности человѣческой природы? Неужели все это онъ сдѣлалъ для того, чтобы избѣгать скуки? Конечно, нѣтъ, и должно быть его трудъ казался ему не легкимъ, когда онъ самъ часто называетъ всякій трудъ тяжелымъ. Трудился ли онъ для удовольствія славы?—Этого также не скажетъ никто, знакомый съ біографіею Канта. Слѣдовательно, онъ трудился, увлекаемый тѣми идеями, которыя изслѣдовалъ и развивалъ. Такимъ образомъ, въ жизни Канта примирялась, повидимому, непримиримая антино-

мія. Конечно, онъ, какъ и всякій другой человѣкъ, получалъ отъ своего труда и удовольствія, когда преодолевались какія-нибудь препятствія, и страданія, когда появлялись новыя. Но вниманіе его было обращено не на удовольствіе или страданіе, а все сосредоточено на самой идеѣ его труда. Удовольствія и страданія сопровождали его трудъ, какъ искры сопровождаютъ трудъ кузнеца. Эти красивыя искры загораются и тухнутъ; но не для того, чтобы ихъ вызвать, подымаетъ кузнецъ тяжелый молотъ и опускаетъ его на раскаленное желѣзо: серьезный человѣкъ трудится, дѣти же ловятъ самыя искры. Точно такое же полное примиреніе великой психической антиноміи мы видимъ въ жизни всѣхъ тѣхъ людей, которые, увлеченные какою-нибудь идеею, отдали этой идеѣ всю свою жизнь, не обращая вниманія на то, доставляла ли она имъ наслажденія или страданія.

Но если такое *полное* примиреніе нашего стремленія къ дѣятельности съ нашимъ отвращеніемъ отъ препятствій, безъ которыхъ сама дѣятельность невозможна, мы встрѣчаемъ у многихъ исключительныхъ личностей, которыхъ называютъ, по свойству занимающей ихъ идеи, а часто и по успѣху ихъ дѣла, или безумцами, или геніями, то *частное* примиреніе этой антиноміи мы встрѣчаемъ въ большинствѣ людей. Художникъ, усаживаясь за свою картину, конечно думаетъ и о деньгахъ, и о славѣ; но плохъ тотъ художникъ, который ни на минуту не увлечется самимъ трудомъ, самимъ процессомъ созданія картины: онъ не создастъ ничего великаго, ничего оригинальнаго. Сельскій хозяинъ, конечно, трудится изъ-за денегъ; но плохъ тотъ хозяинъ, который не увлекается вовсе самимъ хозяйствомъ. Такимъ образомъ, въ большинствѣ людей происходитъ частное, болѣе или менѣе полное, болѣе или менѣе продолжительное или отрывочное примиреніе души съ ея стремленіемъ къ труду и съ ея отвращеніемъ отъ его трудности.

Но нѣтъ сомнѣнія, что есть и такіе люди, которые не сумѣли найти для себя дѣятельности, которая увлекла бы ихъ своею идеею, и не получили задачи дѣятельности отъ судьбы, одинаково обрекающей на неустанный трудъ и тѣхъ, кто долженъ прокормить себя и семью своимъ личнымъ трудомъ, и тѣхъ, для кого отказаться отъ увлекающей ихъ идеи—значитъ отказаться отъ жизни. Люди же безъ такой задачи труда, чѣмъ не менѣе, чувствуютъ всю побуждающую силу врожденнаго души стремленія къ дѣятельности и *ищутъ труда безъ трудности*, словомъ—ищутъ удовольствій. Но на этомъ пути гоньбы за наслажденіями встрѣчается человѣкъ съ другимъ, столь же неизмѣннымъ, психическимъ закономъ, который одинаково тяготѣетъ надъ животными и надъ людьми, но отъ котораго одинъ только человѣкъ пытается ускользнуть. Всѣ наслажденія, какъ мы это

видѣли выше ¹⁾), покупаются страданіями. И вотъ человѣкъ хочетъ обмануть природу, хочетъ по возможности уменьшить страданіе и выторговать за него у природы возможно большее наслажденіе. Но природу нельзя обмануть такою фальшивою и легковѣсною монетою, и она платитъ за обманъ тяжелымъ чувствомъ *пресыщенія*, а потомъ—или невыносимымъ, доводящимъ до самоубійства, чувствомъ апатіи, отвращенія отъ всѣхъ наслажденій и отъ самой жизни, или, подобно классической чародѣйкѣ, выполняетъ надъ человѣкомъ то же самое превращеніе, какое выполнила Цирцея надъ спутниками Улисса. Изъ этихъ тисковъ природы человѣку вырваться нельзя.

Чувство скуки не имѣетъ себѣ антагониста въ другомъ чувствѣ: антагонистомъ его является самый процессъ труда, въ которомъ нѣтъ уже ни удовольствія, ни неудовольствія, а есть только самый трудъ, т. е. самосознательная дѣятельность. Удовольствія и страданія, равно какъ и другія чувствованія, страхъ, гнѣвъ и проч., могутъ сопровождать дѣятельность, входя въ ея перерывы или отмѣчая ея начало и окончаніе, но въ самой дѣятельности сознанія ихъ нѣтъ; а есть въ ней и другія чувствованія, которыя мы, въ отличіе отъ чувствъ, сопровождающихъ сознательную дѣятельность, назвали *душевно-умственными*.

Теперь для читателя ясно, почему мы не отнесли чувство скуки ни къ чувствамъ сердечнымъ, ни къ чувствамъ умственнымъ, а поставили его на границѣ между этими двумя родами душевныхъ чувствованій. Стремленіе къ душевной сознательной дѣятельности, со своею побудкою—чувствомъ скуки, является причиной, заставляющей человѣка искать душевной дѣятельности даже внѣ побужденія духовной и физической его природы. Но само чувство скуки въ эту дѣятельность не входитъ, хотя появляется, когда дѣятельность ослабѣваетъ, и прекращается, когда дѣятельность усиливается. Вся же сознательная дѣятельность, внѣ тѣхъ задачъ, которыя могутъ быть ей указаны физическими или духовными потребностями человѣка, совершается посредствомъ одного чувствованія, дѣятельность котораго мы изучили въ первой части нашей антропологии: посредствомъ *чувства различія и сходства*—этого единственнаго признака чистой дѣятельности сознанія.

Если бы сознательная дѣятельность души или, проще, дѣятельность сознанія совершалась безостановочно, то мы и не замѣчали бы въ ней никакого другого чувствованія, кромѣ *чувства различія и сходства*. Но такъ какъ эта дѣятельность, какъ мы увидимъ ниже, по самому свойству ея матеріаловъ, надъ которыми душа работаетъ, можетъ затрудняться или на время приостанавливаться, то и происходятъ различныя *душевно-умственные* чувствованія. Затруднительность сознательнаго процесса выра-

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. VI.

жается въ чувствѣ *умственного напряженія*; приостановка же его, съ цѣлью продолженія работы—въ *чувствѣ ожиданія*. Изъ ожиданія уже порождается *чувство неожиданности*, *чувство удивленія* и *чувство обмана*, если ожиданіе наше не сбылось. Изъ чувства же обмана порождается *чувство сомнѣнія*, если матеріалы, представляющіеся сознанію, такого рода, что, руководясь чувствомъ сходства и различія, человѣкъ относитъ эти матеріалы то къ одной вереницѣ своихъ представленій, то къ другой. Если же, наконецъ, матеріалы, представляющіеся сознанію, таковы, что сознаніе не находитъ возможности ни разорвать ихъ, ни соединить, то чувство этой возможности выражается въ особомъ чувствѣ *непримиримаго контраста*. Завершенный процессъ сознанія выражается въ чувствѣ *умственного успѣха*, которое говоритъ человѣку: *такъ!* хотя и можетъ очень обманывать его.

ГЛАВА XXV.

Душевно-умственные чувствованія. Виды ихъ:

1) чувство сходства и различія (186—192).

Чувство сходства или различія между отдѣльными ощущеніями и представленіями, или цѣлыми группами представленій, мы назвали *сознаніемъ*, которое, такимъ образомъ, слѣдуетъ также причислить къ разряду *душевно-умственныхъ чувствованій*, составляющихъ также первичное, т. е. такое же неразлагаемое душевное явленіе, какъ гнѣвъ, страхъ, ожиданіе и др. Актъ сознанія начинается только при сравненіи ощущеній и выводимыхъ изъ нихъ представленій. Такая способность сознать свои ощущенія, а равно и вызываемыя ими чувствованія (гнѣвъ, страхъ, любовь и т. д.) свойственна только человѣку, хотя самыя чувствованія гнѣва, страха, любви знакомы и животнымъ. Здѣсь сознаніе у человѣка переходитъ уже въ *само-сознаніе*, составляющее только видоизмѣненіе того же сознанія. Дѣятельность этого умственного чувствованія, которое можно назвать *чувствомъ сознанія*, относится какъ къ *сердечной* области, такъ и къ *умственной*: къ первой—по взаимодѣйствию и связи съ другими чувствами; ко второй—какъ коренное умственное чувство къ производнымъ, истекающимъ лишь при нарушеніи его нормальной дѣятельности. Связь чувства сознанія съ другими состоитъ въ томъ, что чѣмъ яснѣе мы сознаемъ волнующія насъ чувства, тѣмъ болѣе они тускнѣютъ, и наоборотъ: чѣмъ интенсивнѣе наши чувства, тѣмъ слабѣе сознаніе и тѣмъ возможнѣе промахи и ошибки ума и воли. Недаромъ всѣ философы считали чувство помѣхою для чистаго, яснаго мышленія, хотя безъ страстной *любви* къ умозрительнымъ занятіямъ они сами не могли бы предаваться философіи. Чувство сходства и различія даетъ громадный матеріалъ для умствен-

ной жизни, столь же громадный, какъ міръ, служащій предметомъ изученія, и притомъ самый постоянный и самый доступный матеріаль по сравненію съ другими видами умственной дѣятельности, напр. государственной, финансовой и под. Постоянство и быстрота умственного процесса много зависитъ отъ *врожденной силы* и отъ *сосредоточенности* души въ *этомъ* процессѣ, по отношенію къ которому всѣ другіе виды дѣятельности могутъ являться лишь отдыхомъ. Такимъ образомъ, работа сознанія можетъ быть источникомъ чистѣйшаго наслажденія и даже страсти, а потому сознаніе и должно быть признано кореннымъ умственнымъ чувствомъ.

ГЛАВА XXVI.

Виды душевно-умственныхъ чувствованій: 2) чувство умственного напряженія; 3) чувство ожиданія (192—200).

Когда количество матеріала, подлежащаго сознанію, превышаетъ силы души, тогда является *чувство умственного напряженія*, знакомое и ребенку, напр., при выводѣ перваго ариметическаго правила, и астроному или математику при разрѣшеніи какой-либо сложной проблемы. Здѣсь сила напряженія зависитъ не отъ самаго матеріала, а отъ степени предварительной обработки его сознаніемъ, т. е. отъ подготовленности работающаго. Вотъ почему, при затрудненіи понять извѣстную истину, надо вернуться назадъ и заняться предварительной выработкой и провѣркой тѣхъ понятій, которыя служатъ для нея основаніемъ, безъ чего никакое напряженіе, никакія умственные усилія не приведутъ къ результату. Образцомъ такой работы надъ матеріаломъ предварительныхъ понятій служатъ діалоги Платона. Чувство умственного напряженія воплощается въ остановкѣ глазъ, морщинахъ лба и т. под. мускульныхъ формахъ и одинаково свойственно какъ умнымъ, такъ и глупымъ людямъ.

Чувство ожиданія возникаетъ тогда, когда рядъ нашихъ представленій *упреждаетъ* рядъ соотвѣтствующихъ имъ внѣшнихъ явленій, впечатлѣнія отъ которыхъ какъ бы отстаютъ: вотъ человекъ готовится стрѣлять—и мы *ожидаемъ* выстрѣла. Это *внѣшняя* причина ожиданія; *внутренняя* же заключается въ стремленіи, движущемъ наши представленія съ большею быстротой, чѣмъ развивается рядъ соотвѣтственныхъ имъ явленій. Если ожиданіе слишкомъ продолжительно, то въ насъ можетъ развиваться чувство скуки, даже чувство досады или гнѣва. Кроме того, чувство ожиданія можетъ комбинироваться съ чувствомъ страха и съ чувствомъ любви. Страхъ даже постоянно соединяется съ ожиданіемъ. Чувство ожиданія можетъ быть пріятно или непріятно, смотря по тому, какъ мы относимся къ ожидаемому предмету. Иногда мы предвкушаемъ удовольствіе, а иногда, если ожидаемое удовольствіе слишкомъ отдаленно,

испытываемъ неудовольствіе, скуку и даже гнѣвъ по отношенію— уже не къ ожидаемому предмету, а къ самому чувству ожиданія. Если ожидаемое явленіе грозитъ намъ неудовольствіемъ, то всѣ эти моменты мы переживаемъ въ обратномъ порядкѣ. Дѣти живутъ по преимуществу ожиданіями, и притомъ свѣтлыми ожиданіями, такъ какъ жизненный опытъ дѣтей еще слишкомъ тѣсенъ и часто приноситъ съ собою одни разочарованія; вотъ почему не слѣдуетъ возбуждать въ дѣтской душѣ много ожиданій, особенно же несбыточныхъ. Чувство ожиданія чего-либо пріятнаго принято называть *надеждою*; противоположное чувство, часто смѣшиваемое со страхомъ, не имѣетъ особаго названія. Надежда борется не со страхомъ, какъ обыкновенно говорятъ, а съ надеждою же, т. е. увѣренностью съ неуверенностью. Страхъ совершенно особое, первичное чувство и соединяться съ ожиданіемъ лишь случайно. Надежда соединяется въ большей или меньшей степени съ *увѣренностью* или *вѣрою*, которая, какъ проникновеніе въ будущее, свойственна только человѣку. Ожиданіе не надо смѣшивать съ *любопытствомъ*, которое возбуждается именно неизвѣстностью ожидаемаго. При ожиданіи нѣтъ вопроса, при любопытствѣ же непременно возникаетъ *вопросъ*, требующій разрѣшенія; а потому любопытство надо относить къ области желаній или воли. Люди, смотря по характеру ихъ нервной организаціи, относятся къ ожиданію или съ *терпѣніемъ*, или *нетерпѣливо*. Нетерпѣливость обнаруживаютъ слишкомъ нервныя люди и дѣти, о нервности которыхъ именно можно судить по степени ихъ терпѣнія при ожиданіи. Особенная терпѣливость замѣчается у людей съ сильной волей, умѣющихъ переносить свою умственную дѣятельность на другой предметъ, и людей мало стремительныхъ и нетребовательныхъ. Терпѣливость свойственна и генію, и глупцу, съ тою разницею, что у перваго она *активна*, а у втораго *пассивна* и можемъ быть названа *выносливостью*; первый идетъ не спѣша къ ожидаемому результату, опрокидывая препятствія, а второю переходитъ къ *покорности*. Люди слабохарактерныя обыкновенно бываютъ нетерпѣливы, торопливы, и потому рѣдко достигаютъ цѣли. Покорность можетъ происходить или отъ сознанія собственной слабости (у женщинъ), или изъ довѣрія къ Провидѣнію. Вообще терпѣніе можетъ быть и достоинствомъ, и недостаткомъ, смотря по обуславливающимъ его психическимъ процессамъ.

ГЛАВА XXVII.

Виды умственныхъ чувствованій: 4) чувство неожиданности: а) чувство обмана и б) чувство удивленія (200—212)

Изъ несбывшагося ожиданія возникаетъ *чувство неожиданности*, которое, при осложненіи другими психическими явленіями,

можетъ перейти въ *чувство обмана*, или въ *чувство удивленія*, представляющія собою состоянія души. Чувство неожиданности является въ насъ тогда, когда, подѣ влияніемъ или внѣшнихъ впечатлѣній, или внутреннихъ нервно-органическихъ, въ наше сознание втѣсняется новое, непредвидѣнное представленіе, находящееся въ противорѣчій со всѣмъ ожидаемымъ и во всякомъ случаѣ лишенное связи съ нимъ. Само по себѣ, это чувство ни пріятно, ни непріятно, но можетъ быть и тѣмъ, и другимъ, смотря по нашему отношенію къ нему и по степени нашего развитія. Дѣти и малоразвитые люди любятъ чувство неожиданности, потому что оно даетъ работу ихъ скудной душевной жизни; но люди съ богатою внутреннею жизнью не любятъ неожиданностей, которыя прерываютъ стройное теченіе ихъ душевной работы. Люди односторонніе, фанатики и старики не любятъ неожиданностей, требующихъ иногда перестройки ихъ убѣжденій; разумному же человѣку все новое и неожиданное даетъ новую пищу уму, вызываетъ провѣрку знаній и убѣжденій. Отношеніе человѣка къ чувству неожиданности опредѣляетъ его характеръ: люди легкомысленные любятъ его до излишества, тогда какъ деспоты не терпятъ въ такой же степени, какъ и рабы, зависящіе отъ капризовъ своихъ повелителей; а потому и деспоты, и рабы одинаково несчастливы.

Болѣе сильное чувство неожиданности переходитъ въ *чувство обмана*, когда получаемое впечатлѣніе до противоположности несходно съ ожидаемымъ, что, напр., замѣчается при фокусахъ, которые обыкновенно такъ нравятся дѣтямъ. Чувство обмана становится непріятнымъ лишь тогда, когда оно нарушаетъ наши интересы, противорѣча самымъ дорогимъ для насъ ожиданіямъ. Если къ чувству неожиданности присоединяется *сознаніе трудности* примирить наблюдаемое явленіе съ ожидаемымъ, то возникаетъ *чувство удивленія*, и чѣмъ сильнѣе сжились мы съ вереницами представленій при ожиданіи знакомаго явленія, тѣмъ сильнѣе удивляемся новому, противорѣчающему явленію. Такъ удивляетъ дѣйствіе магнита людей, незнакомыхъ съ его свойствами. Здѣсь все зависитъ не отъ самаго явленія, а отъ нашего къ нему отношенія, отъ степени нашего знакомства съ относящеюся къ этому явленію группою представленій. Что поразитъ физика, химика, то не поразитъ дикаря, и наоборотъ. По Броуну, при абсолютномъ невѣжествѣ удивленіе даже невозможно, и дѣтей въ ихъ младенческомъ возрастѣ не удивило бы, если бы вещи стали самопроизвольно двигаться. При высшемъ напряженіи чувство удивленія переходитъ въ *изумленіе*, привычка же дѣйствуетъ на него ослабляющимъ образомъ. Слабая степень удивленія называется *недоумѣніемъ*, т. е. неумѣніемъ объяснить неожиданное явленіе, давъ ему подобающее мѣсто въ ряду нашихъ представленій. Изумленіе есть уже *аффектъ*, отражающійся въ нашемъ лицѣ и въ движеніяхъ и на время пріостанавливающій правильное теченіе нашихъ мыслей. Предметъ удивленія можетъ быть пріятенъ намъ, если сильно возбуждаетъ въ насъ умственную дѣятельность; въ противномъ случаѣ мы испытываемъ *разочарованіе*.

степень котораго зависитъ отъ степени удивленія. Если предметъ удивленія вовсе не поддается нашему объясненію, то онъ становится для насъ *чудомъ*, постоянно возбуждающимъ въ насъ душевную работу и чувство удивленія. Чувство удивленія свойственно всѣмъ людямъ, но оно рѣже проявляется у людей одностороннихъ, или у всестороннихъ, но поверхностныхъ, какъ, напр., у узкихъ специалистовъ или у свѣтскихъ болтуновъ. Страсть къ удивленію встрѣчается также у людей двухъ крайнихъ типовъ: или у людей сильной, пылкой души, или у людей пустыхъ и праздныхъ, ищущихъ только сильныхъ ощущеній. Глубокое и многостороннее образование не уменьшаетъ способности удивляться, а только дѣлаетъ ее болѣе разумною. «Кто глубоко вглядывается въ порядокъ природы, — говоритъ Кантъ, — тотъ всюду встрѣчаетъ мудрость, которой онъ не ожидалъ, и его душевное волненіе, возбужденное разумомъ, переходитъ въ какой-то священный ужасъ при видѣ бездны сверхъестественнаго, открывающейся подъ его ногами» (Antrop. § 77). По мнѣнію Карлейля, «мы, переставая думать о томъ, что насъ окружаетъ, перестаемъ и удивляться», а думать перестаемъ мы потому, что все обратилось для насъ въ преданіе, во фразу, въ слова». «Не смотря на всю нашу науку, — заключаетъ этотъ ученый, — міръ остается для насъ все тѣмъ же чудомъ, чѣмъ-то неисповѣдимымъ, волшебнымъ, полнымъ чудесъ для всякаго, кто о немъ думаетъ» (The Emotion, p. 71). Дѣйствительно, нуженъ былъ геній Ньютона для того, чтобы *удивиться* тому, что яблоко упало съ дерева на землю, и открыть законъ тяготѣнія. Человѣкъ любитъ не только самъ удивляться, но — и удивлять другихъ, что нерѣдко проявляется въ дѣтской лжи и вытекаетъ изъ чувства ложнаго самолюбія. По своему тѣлесному воплощенію (ослабленіе личныхъ мускуловъ), чувство удивленія сходно съ чувствомъ страха, съ которымъ оно родственно и въ психическомъ отношеніи: и въ томъ, и въ другомъ случаѣ происходитъ задержка въ правильномъ и ровномъ теченіи нашей душевной жизни.

ГЛАВА XXVIII.

Виды душевно-умственныхъ чувствованій: 5) чувство сомнѣнія и чувство увѣренности; 6) чувство [непримиимаго контраста; 7) чувство успѣха (212—224).

Чувство сомнѣнія, недоумѣнія, нерѣшительности возбуждается въ насъ, когда въ душѣ нашей уже успѣли образоваться противоположные ряды представленій, вызывающіе и противоположныя, и во всякомъ случаѣ несходныя съ предыдущими чувствованія. Это чувство колебанія отражается и въ нашемъ лицѣ. По степени интенсивности, чувство сомнѣнія можетъ быть различно, смотря по

степени важности и обширности нашихъ стремленій, и нерѣдко достигаетъ до мучительныхъ размѣровъ. Сомнѣніе нельзя считать, вмѣстѣ съ Фортлаге, первымъ моментомъ сознанія, такъ какъ сомнѣнію долженъ предшествовать опытъ и даже обманъ. Каждому опыту, а равно и сомнѣнію, по мнѣнію Декарта, должна предшествовать увѣренность, какъ мы это и замѣчаемъ на дѣтяхъ, которыя такъ легко вѣрятъ всему. Въ наукѣ также увѣренность предшествовала сомнѣнію, и всѣ языческія религіи возникали раньше наукъ, въ которыхъ сомнѣніе только даетъ первый толчокъ, а впередъ ведетъ увѣренность (Колумбъ, Коперникъ, Галилей). Одно сомнѣніе, безъ увѣренности, можетъ только парализовать энергію и дѣятельность человѣка въ наукѣ и въ жизни. Особенно опасны сомнѣнія для молодой души, еще не окрѣпшей въ нравственныхъ началахъ, не выработавшей въ себѣ силы воли и вѣры въ свое призваніе. Даже гениальные Декартъ и Спиноза не могли начать перестройку всего своего мышленія съ одного сомнѣнія и должны были отправиться отъ положительныхъ фактовъ, въ которыхъ они уже не сомнѣвались. Философское сомнѣніе особенно оказывается непримиримымъ съ практическою дѣятельностью, а слѣдовательно и съ воспитаніемъ. Философская разумность также весьма относительна, иначе между философскими ученіями не было бы ни разногласія, ни споровъ. Самыя совершенныя изъ философскихъ системъ были выработаны лишь пра концѣ жизни ихъ творцовъ, и человѣчество, въ его практической дѣятельности, не можетъ оставаться при одномъ сомнѣніи и анализѣ, а должно дѣйствовать, т. е. быть увѣреннымъ въ необходимости и разумности своихъ дѣйствій. Вотъ почему нравственныя влеченія и вѣру надо закладывать въ душу питомца раньше, чѣмъ въ душѣ его зародятся сомнѣнія—плодь обмана, самообольщенія и разочарованія, мучительнаго для души и безплоднаго для жизни. Воспитаніе нравственное должно предшествовать развитію разума, анализа и критики, чтобы не лишить характеръ всякой энергіи, не расшатать воли.

Чувство сомнѣнія относится къ чувству *увѣренности*, какъ чувство страха къ чувству смѣлости. Какъ страхъ, послѣ того какъ человѣкъ преодолѣлъ его, превращается въ разумное мужество, такъ опытомъ провѣренное и побѣжденное сомнѣніе переходитъ въ разумную увѣренность, въ отличіе отъ прирожденной и безсознательной смѣлости. Неувѣренность въ своихъ силахъ лишаетъ человѣка этихъ силъ, хотя бы онѣ были и присущи ему; увѣренность же удваиваетъ ихъ. При душевномъ безсиліи падаютъ и физическія силы, и наоборотъ, что указываетъ на преимущества души надъ тѣломъ. Вотъ почему вѣра и даже простая увѣренность даетъ разомъ силы больному. Безъ увѣренности человѣкъ *ничего* не можетъ сдѣлать въ жизни, а тѣмъ болѣе—ничего высокаго и прекраснаго.

Чувство *контраста* возникаетъ тогда, когда въ насъ борются два противоположныхъ ряда мыслей и не могутъ слиться, хотя и связаны однимъ чувствомъ. Иногда эти противоположности сливаются

въ одномъ общемъ понятіи, напр. полярная и экваторіальная природа въ одномъ общемъ представленіи земного шара; но иногда они вовсе не могутъ слиться, взаимно отталкивая другъ друга: тогда возникаетъ чувство *непримиримаго контраста*. На этомъ основаны все каламбуры, каррикатуры, комизмъ и юморъ въ искусствѣ. Противоположности въ подобныхъ положеніяхъ не могутъ быть мыслимы, ибо логически они не соединимы: они только чувствуются. При усиліи примирить антиноміи (противоположныя понятія), мы испытываемъ тяжелое *чувство* остановки нашего мыслительнаго процесса: это именно и есть чувство контраста, не примиримаго разумомъ. Такая непримиримость противорѣчій указываетъ также на единство нашей души, въ которой не могутъ уживаться вмѣстѣ два исключаютія другъ друга понятія, какъ добро и зло, духъ и матерія, истина и ложь и т. под. Иногда, для примиренія такихъ антиномій, мы прибѣгаемъ къ созданіямъ фантазіи, при которой разумъ уже умолкаетъ. Воплощеніе чувства непримиримаго контраста есть смѣхъ, но смѣхъ то горькій, то веселый, смотря по содержанію взаимно противорѣчащихъ явленій или представленій. Какъ щекотаніе возбуждаетъ судорогу въ мускулахъ, управляющихъ дыханіемъ, или смѣхъ, такъ и борьба представленій, не могущихъ сойтись, вызываетъ такое же фізіологическое состояніе, отражаясь изъ душевной сферы на тѣлесную. Когда человѣку удастся иногда примирить и объединить то, что ему прежде казалось непримиримымъ, тогда возникаетъ противоположное чувство—чувство *успѣха* или *относительной истины*, которая внослѣдствіи можетъ оказаться и заблужденіемъ. Вотъ почему даже мнимая, даже *горькая* истина для насъ отраднѣе, чѣмъ колебанія между противорѣчіями, и мы держимся съ упорствомъ даже за ложныя наши убѣжденія, если только они достались намъ съ трудомъ. Въ юности мы особенно поддаемся сладкому чувству кажущейся истины, но въ зрѣлыя годы снова и снова провѣряемъ ее и нерѣдко находимъ противорѣчія тамъ, гдѣ ихъ не признавали, и обратно. Потому же юноша всегда предпочтетъ смѣлую гипотезу, не подтверждаемую достаточнымъ количествомъ фактовъ, осторожному подбору этихъ фактовъ для провѣрки самой гипотезы.

Г Л А В А XXIX.

Общій обзоръ чувствованій, система ихъ и ихъ отношеніе къ сознанію.

Обзоръ и система чувствованій.

Окончивъ анализъ отдѣльныхъ элементарныхъ чувствованій, мы считаемъ теперь необходимымъ остановиться и какъ бы однимъ взглядомъ объять все пройденное. Сдѣлать это мы желаемъ съ двойкою цѣлью: во-

первыхъ, для того, чтобы закрѣпить въ памяти хотя главнѣйшіе, добытые нами, результаты, приводя ихъ въ возможную, легко обозрѣваемую систему; а *во-вторыхъ*, для того, чтобы разъяснить отношеніе между двумя пройденными уже нами отдѣлами психологіи: *сознаніемъ* и *чувствованіемъ*, и перейти къ третьему отдѣлу—къ явленіямъ *воли*.

Наше изложеніе чувствованій мы начали критикою различныхъ теорій возникновенія чувствованій: *теоріи физиологической*, выводящей всѣ чувствованія изъ тѣхъ или другихъ предполагаемыхъ органическихъ состояній; *теоріи механической*, выводящей чувствованія изъ механическаго взаимодействія представленій, и *теоріи философской*, выводящей чувствованія изъ гипотезы врожденныхъ человѣку *стремленій*. Признавъ двѣ первыя теоріи односторонними, хотя и вѣрными въ своей односторонности, мы пристали къ третьей, объясняющей появленіе и разнообразіе чувствованій изъ врожденныхъ человѣку стремленій, но въ то же время указали на *увлеченія* этой послѣдней теоріи и на необходимость, признавъ гипотезу стремленій, ограничиться ею и не строить на ней никакихъ дальнѣйшихъ гипотезъ.

Обратившись затѣмъ къ изученію стремленій, какъ источника появленія и разнообразія чувствованій, мы группировали всѣ стремленія, обнаруживаемыя человѣкомъ въ его чувствованіяхъ, желаніяхъ и поступкахъ, въ *три* вида: стремленія *тѣлесныя*, *душевныя* и *духовныя*. Отчисливъ къ стремленіямъ *духовнымъ* всѣ, обнаруживаемыя только человѣкомъ, какъ-то: эстетическія и нравственныя, и предположивъ заняться ими въ особой, послѣдней части «Антропологии», мы обратились къ изученію *двухъ первыхъ* видовъ стремленій: *тѣлесныхъ* и *душевныхъ*. Не трудно видѣть, что всѣ эти стремленія, и тѣлесныя, и душевныя, могутъ быть выражены однимъ общимъ признакомъ: въ нихъ во всѣхъ обнаруживается одно стремленіе—*стремленіе быть и жить*. Стремленіе къ *бытію* достигается самою физическою природою, внѣшнею для души, достигается въ *растительныхъ* процессахъ организма. Достиженіе это, сообразно двумъ необходимымъ условіямъ всякаго физическаго бытія, *пространству* и *времени*, выражается въ двухъ всеобнимающихъ потребностяхъ растительнаго процесса: въ потребности *бытія и распространенія въ пространство* и въ потребности *бытія и распространенія во времени*, т. е. въ потребленіи индивидуальнаго и потомственнаго существованія.

Эти двѣ великія потребности физической, растительной природы, сливающаяся собственно въ одну *потребность бытія въ пространство и времени*, существуютъ въ растеніяхъ точно такъ же, какъ и въ растительномъ организмѣ человѣка, но съ тою только разницею, что въ *первыхъ*, т. е. въ растеніяхъ, онѣ не ощущаются, а во *второмъ* ощу-

щаются душою черезъ посредство нервнаго организма, таинственно, но фактически связывающаго душу съ растительнымъ организмомъ тѣла и его процессами. Эти потребности растительной жизни связываются въ душѣ множествомъ стремленій, превращающихся въ ощущаемыя потребности: потребности пищи, питья, тѣлесныхъ движеній, отдыха и потребностей общественнаго существованія вообще, куда мы отнесли и стремленія половыя, доказавъ, что это только особый видъ цѣлаго рода общественныхъ стремленій, въ которыхъ выражаются потребности растительной природы, общія человѣку, животнымъ и растеніямъ.

Кромѣ этихъ *растительныхъ* потребностей, мы нашли въ животныхъ и, въ особенности, въ человѣкѣ новую, уже чисто *душевную* потребность: *потребность сознательной дѣятельности*, идущую какъ бы въ разрѣзъ съ *растительными*. Потребность эта высказывается всего сильнѣе и чаще тогда, когда растительныя физическія потребности тѣла всѣ уже удовлетворены, и когда душа продолжаетъ требовать дѣятельности уже для самой дѣятельности. Эта душевная потребность прямо противорѣчитъ растительнымъ потребностямъ, ибо потребляетъ непродолжительно для тѣла матеріалы, накопленные тѣломъ въ растительныхъ процессахъ, и силы, скрытыя въ этихъ матеріалахъ. Душа въ этомъ смыслѣ является какъ бы чужаеяднымъ растеніемъ въ отношеніи тѣла, поглощающимъ его силы. Смотрѣть въ этомъ случаѣ на душу, какъ на необходимое звено въ питаніи, поддержаніи и размноженіи животныхъ организмовъ, было бы противорѣчіемъ современной наукѣ, доказавшей, что питаніе, поддержаніе и размноженіе даже животныхъ движущихся организмовъ могло бы вполне совершаться одною системою рефлексовъ, не сопровождаемыхъ сознаніемъ, чувствомъ и желаніемъ, какъ совершаются они въ растеніяхъ безъ помощи рефлексовъ. Изъ этого факта само собою вытекаетъ великое нравственное указаніе, что *человѣкъ не для того живетъ, чтобы существовать, но для того существуетъ, чтобы жить*.

Обратившись затѣмъ къ перечисленію и анализу чувствованій, возникающихъ при процессѣ удовлетворенія стремленій, мы прежде всего установили самостоятельность этихъ душевныхъ явленій. Мы показали, что хотя чувствованія и наблюдаются нами не иначе, какъ въ сліяніи съ представленіями, но должны быть признаваемы отдѣльными отъ нихъ и самостоятельными психическими явленіями, такъ какъ они не только вызываются представленіями въ ихъ отношеніи къ нашимъ стремленіямъ, но и сами вызываютъ (подбираютъ) представленія, возникая изъ органическихъ состояній тѣла. Это двоякое возникновеніе чувствованій побудило насъ и самыя чувствованія, не по качеству ихъ, а по ихъ происхожденію, раздѣлить на *органическія* и *душевные*. Въ чувствованіяхъ *душевныхъ* мы

сознаемъ то или другое отношеніе представленія къ нашимъ стремленіямъ или, вѣрнѣе, нашимъ желаніямъ, т. е. стремленіямъ, уже сознаннымъ посредствомъ опытовъ ихъ удовлетворенія. Въ чувствованіяхъ *органическаго* происхожденія мы не сознаемъ отношенія тѣхъ или другихъ состояній нашего организма къ его потребностямъ бытія, но прямо испытываемъ это отношеніе въ различныхъ органическихъ чувствованіяхъ. Только уже наблюденіе открываетъ намъ, что питаніе, влага и воздухъ необходимы для существованія организма; но мы, конечно, гораздо прежде этихъ наблюденій, и независимо отъ нихъ, испытываемъ страданіе отъ недостатка пищи, влаги или воздуха.

Мы указали также на необходимость отдѣленія не только *внѣшнихъ ощущеній* (ощущеній зрѣнія, слуха, осязанія и т. д.) отъ *чувствованій*, которыми они сопровождаются, но и *внутреннихъ ощущеній* (каковы: ощущенія голода, жажды, щекота и т. п.), которыя могутъ сопровождаться *различными* душевными чувствованіями. Этого мы достигли, указавъ, какъ черезъ посредство сознанія то или другое *внутреннее* ощущеніе, боль или голодъ на примѣръ, могутъ изъ разряда ощущеній непріятныхъ, какими они всегда являются по природѣ своей для непосредственнаго *органическаго* чувствованія, поступить въ разрядъ пріятныхъ и желательныхъ душевныхъ чувствованій. Но если органическое чувствованіе черезъ посредство сознанія, т. е. черезъ посредство наблюденій и опытовъ, сдѣлавшись душевнымъ, можетъ измѣнить самый специфическій характеръ свой и изъ неудовольствія сдѣлаться удовольствіемъ, или обратно, по отношенію къ одному и тому же *внутреннему ощущенію* (голоду, жадѣ, боли и т. п.), что значитъ, что и эти органическія чувствованія не одно и то же съ вызывающими ихъ ощущеніями, какъ бы ни казались они нераздѣльными на первый взглядъ.

Отдѣливъ органическія чувствованія отъ душевныхъ, мы показали потомъ, какъ *душевные* чувствованія переходятъ въ *органическое* состояніе и какъ, наоборотъ, тѣ или другія состоянія организма условливаютъ появленіе тѣхъ или другихъ *душевныхъ* чувствованій. Затѣмъ мы перешли къ явленіямъ *воплощенія* чувствованій и, показавъ средства этого воплощенія, нашли въ немъ основу *органическаго сочувствія*, которое, въ свою очередь, даетъ начало множеству психо-физическихъ явленій.

Приступая къ исчисленію *элементарныхъ чувствованій*, мы прежде всего сочли необходимымъ отдѣлить эти болѣе неразлагаемыя психическія явленія отъ *чувственныхъ состояній* души, въ которыхъ одно чувствованіе или нѣсколько чувствованій разомъ соединяются съ тѣми или другими представленіями. Здѣсь же мы отдѣлили чувствованія *душевные* съ одной стороны отъ *духовныхъ*, свойственныхъ только человѣку и отмѣ-

ченыхъ его человѣческими особенностями, а съ другой—отъ *желаній*, относя послѣднія къ области явленій воли. Такое выдѣленіе элементарныхъ, неразлагаемыхъ болѣе чувствованій помогло намъ не потеряться въ ихъ безчисленномъ разнообразіи, и мы нашли слѣдующія элементарныя антагонистическія пары чувствованій: 1) *удовольствія* и *неудовольствія*, 2) *влеченія* и *отвращенія*, 3) *доброты* и *злѣва*, 4) *смѣлости* и *страха*, 5) *самодовольства* и *стыда* и, наконецъ, 6) *скуки* не имѣющей себѣ антагониста въ чувствахъ, такъ какъ антагонистомъ ея является уже не чувство, а дѣятельность души. Всѣми этими чувствованіями сказываются въ душѣ всѣ различныя фазы въ процессѣ удовлетворенія врожденныхъ человѣку стремленій. Но легко замѣтить, что, тогда какъ первыя четыре пары чувствованій относятся къ удовлетворенію всѣхъ стремленій, какъ тѣлесныхъ, такъ и душевныхъ, а потому и могутъ быть названы чувствованіями *общими*,—чувствованіе *самодовольства* и *стыда*, а равно и *чувство скуки* могутъ быть названы *спеціальными*; ибо *чувство самодовольства* и *стыда* относится спеціально къ *общественнымъ* стремленіямъ человѣка, а *чувство скуки* относится, также спеціально, къ душевному стремленію къ дѣятельности.

Кромѣ этихъ чувствованій, мы замѣтили еще нѣсколько другихъ, дѣйствіе которыхъ ограничивается сферой одной умственной дѣятельности, и которыя потому мы назвали *душевно-умственными*, въ отличіе отъ первыхъ, названныхъ нами *душевно-сердечными*. Всѣ эти душевно-умственныя чувствованія показываютъ только отношеніе новыхъ представленій къ интересамъ одного умственного процесса—процесса сознанія. *Двигателемъ* этого процесса является стремленіе души къ сознательной дѣятельности, *побудкою*—томительное чувство бездѣйствія, которое въ низшей его степени мы называемъ *скукою*, а *средствомъ*—сознаніе, или способность души изъ различія и сходства впечатлѣній создавать сознательныя ощущенія: свѣта—въ противоположность темнотѣ, тепла—въ противоположность холоду, и т. д. Хотя мы и помѣстили *чувство различія* и *сходства* въ число неразлагаемыхъ умственныхъ чувствованій, но собственно изъ него уже вытекаютъ другія умственныя чувствованія, само же оно является основною способностью сознанія и совершаетъ всѣ умственныя работы человѣка. Изъ стремленія къ душевной дѣятельности въ умственной сферѣ, которая дѣйствуетъ черезъ посредство чувства различія и сходства, возникаютъ: 1) *чувство умственного напряженія*, 2) *чувство ожиданія*, 2) *чувство неожиданности* съ производными отъ него чувствованіями: а) *чувствомъ удивленія* и б) *чувствомъ обмана*; 4) *чувство сомнѣнія* и *увѣренности*, 5) *чувство непримиримаго контраста* и 6) *чувство успѣха* сознательнаго процесса, или чувство

относительной истины. Изъ этого уже видно, что *умственные* чувствованія не могутъ быть поставлены наряду съ чувствами сердечными, такъ какъ умственные чувствованія суть уже прямыя произведенія одного сознавательнаго процесса, отмѣчающія въ душѣ различныя его фазы.

Если бы, прочитавъ нашу систему элементарныхъ чувствованій, спросили насъ, вполне ли мы увѣрены, *во-первыхъ*, въ томъ, что перечислили всѣ элементарныя чувствованія, а *во-вторыхъ*, въ томъ, что не помѣстили въ число чувствъ элементарныхъ такого чувствованія, которое, при болѣе внимательномъ анализѣ и повѣркѣ его различными пробами, можетъ оказаться не элементарнымъ, а сложнымъ, то мы не могли бы отвѣтить на этотъ вопросъ утвердительно. Мы сдѣлали все, что могли: но никакъ не думаемъ, что сдѣлали все, что можно сдѣлать въ этой области душевныхъ явленій, посвятивъ себя специально ея разработкѣ.

Отношеніе чувствованій къ сознанию.

Общимъ терминомъ для сознанія и чувствованій, кажется, можно выбрать слово *чувство*; ибо и сознаніе въ основѣ своей есть не болѣе, какъ спеціальное чувство сходства и различія. Но тогда какъ сознаніе показываетъ намъ предметы сознанія безъ отношенія ихъ къ интересамъ нашихъ стремленій, чувствованія именно обозначаютъ эти отношенія представленій къ нашимъ стремленіямъ. Вотъ почему дѣятельность сознанія, хотя и оно есть только одно изъ чувствъ, къ которымъ способна душа наша, должна быть всегда излагаема отдѣльно.

Дѣятельность сознанія не только требуетъ отдѣльнаго изложенія по своей безучастности въ отношеніи нашихъ стремленій, но и должна быть излагаема прежде изложенія всѣхъ другихъ душевныхъ явленій, потому что составляетъ единственную дверь, вводящую насъ въ эти явленія. Безъ способности различать и сравнивать мы могли бы испытывать гнѣвъ, не сознавая, что это гнѣвъ и не отличая его отъ страха или любви. Все что мы *знаемъ*, все, что мы можемъ выразить *словами*, выходитъ изъ нашей способности сравнивать и различать, а потому естественно, что и о чувствованіяхъ нашихъ мы можемъ говорить настолько, насколько они прошли черезъ нашу способность сравнивать и различать.

Сознаніе наше или наша способность различать и сравнивать, а потомъ группировать по сходству и различію то, что мы сравнили, обращенное на впечатлѣнія внѣшняго для души міра, даетъ намъ все безчисленное разнообразіе нашихъ свѣдѣній объ этомъ мірѣ. Та же самая способность сравнивать и различать, обращенная на самыя душевныя явленія, даетъ человѣку всѣ его психологическія познанія, которыя у каждаго гораздо обширнѣе, чѣмъ обыкновенно полагаютъ. Изъ этого уже само со-

бою выходить, что напрасно было бы пытаться *узнать* и передать въ словахъ *жизнь чувствованій внѣ сознанія*. Но что чувствованія *возможны* и внѣ сознанія, на это указываетъ намъ то явленіе, что мы находимъ ихъ въ нашей душѣ уже готовыми, находимъ прежде, чѣмъ различимъ ихъ отъ другихъ душевныхъ состояній. Мы сердимся, еще не замѣчая этого, и открываемъ въ душѣ нашей уже готовую любовь, употребляя иногда долгія усилія, чтобы отличить ее отъ другихъ чувствованій и дать ей имя. Если мы, *подобно животнымъ*, не имѣли бы возможности обращать наше сознаніе на наши психическіе акты,—состояніе, въ которое Сократъ, въ одномъ изъ Платоновыхъ діалоговъ, ставитъ своего противника,—то мы отъ этого не теряли бы способности гнѣваться, бояться и любить, а только не различали бы этихъ чувствъ одно отъ другого.

Трудно, конечно, сказать, что начинается прежде дѣйствовать въ человѣкѣ: сознаніе или чувствованія; но есть однако нѣсколько указаній, позволяющихъ предполагать, что дѣйствіе и даже развитіе чувствованій предшествуетъ дѣйствію и развитію сознанія. Извѣстный фізіологъ Миллеръ замѣчаетъ, что первое, въ чемъ обнаруживается жизнь зародыша,—это *произвольныя* движенія, начинающіяся прежде развитія оргиновъ воспринимающихъ чувствъ. Но если Миллеръ, назвавъ эти движенія *произвольными*, говоритъ въ то же время, что они не имѣютъ никакой цѣли, не выходятъ ни изъ какой идеи и ни изъ какого чувства, то это показываетъ только, что онъ употребилъ психическій терминъ *произвола*, не давъ себѣ яснаго отчета въ значеніи этого термина. Произвольное движеніе, какъ мы скоро увидимъ, прежде всего тѣмъ отличается отъ *непроизвольнаго*, что причиною его является то или другое душевное состояніе. Но такъ какъ дѣйствительно до образованія воспринимающихъ органовъ нельзя предположить опредѣленныхъ ощущеній, а тѣмъ менѣе какую-нибудь идею или цѣль, то естественноѣ всего думать, что первыя произвольныя движенія возникаютъ не изъ ощущеній, а изъ чувствованій, и всего вѣроятнѣе—изъ чувствованій страданія, причиняемыхъ голодомъ, давленіемъ, вообще болью или, наконецъ, органическою потребностью тѣлеснаго движенія, происходящею отъ накопленія силъ.

Наблюдая надъ развитіемъ дѣтей и даже цѣлыхъ народностей, мы замѣтимъ, что даже взглядъ на внѣшній міръ и усвоеніе представленій и понятій о немъ прежде всего обуславливается чувствованіями или отношеніями явленій къ стремленіямъ и, по преимуществу, тѣлеснымъ стремленіямъ человѣка. Объективное созерцаніе міра только уже мало-по-малу, по удовлетвореніи тѣлесныхъ потребностей и мѣстѣ съ большимъ и большимъ обнаруженіемъ чисто душевной потребности сознательной дѣятельности, вступаетъ въ свои права. Крики страданія или удовольствія, гнѣва или страха суть первыя обнаруживанія въ звукахъ душевной жизни человѣка. Когда же

сознаніе обратится на самую душевную дѣятельность, то эти самые крики превращаются въ *первыя слова*, которыя и ложатся въ основу языка. Дитя и дикарь замѣчаютъ предметы настолько, насколько они затрагиваютъ въ нихъ тѣ или другія чувствованія, и, безъ сомнѣнія, даютъ и названія предметамъ, сообразныя со звуковыми воплощеніями этихъ чувствованій. *Языкъ мысли* формируется уже мало-по-малу изъ *языка чувства*, и слѣды этихъ чувственныхъ пеленокъ языка остаются на немъ неизгладимо.

Такимъ образомъ, въ противоположность всѣмъ другимъ психологамъ, мы ставимъ въ центръ душевныхъ явленій—не сознаніе, какъ гербартианцы, и не волю, какъ Шопенгауеръ и его послѣдователи,—а *чувствованіе*, какъ первое проявленіе *стремленій* — этой гипотезы необходимою, но все же гипотезы, ибо въ ней идетъ дѣло о явленіяхъ, лежащихъ внѣ сознанія. Только уже впоследствии, при развитіи, съ одной стороны, области *сознанія*, а съ другой—области *воли*, *чувствованіе* становится необходимымъ *посредникомъ* между этими двумя областями душевныхъ явленій. Но *чувствованіе* не только—среднее, связующее звено между явленіями сознанія и явленіями воли, но вызываетъ и тѣ, и другія. Страданіе прежде всего побуждаетъ человѣка и вглядываться во внѣшній міръ, и прилагать къ нему свою волю съ цѣлью удовлетворить своимъ потребностямъ, заставляющимъ его страдать. Вотъ на какомъ основаніи мы ставимъ чувствованія въ средоточіе всѣхъ душевныхъ явленій. Изъ нихъ они всѣ исходятъ и къ нимъ всѣ возвращаются; въ нихъ первая причина человѣческой дѣятельности въ области сознанія и воли, въ нихъ же и окончательная цѣль этой дѣятельности. Это положеніе чувствованій въ системѣ душевныхъ явленій еще болѣе намъ уяснится, когда мы анализируемъ область явленій воли, къ чему мы теперь и приступаемъ.

Г Л А В А XXX.

Воля: Вступленіе. Различныя теоріи воли.

Въ первой части нашей антропологии мы изложили явленія *сознанія*; во второй, до сихъ поръ, мы занимались *чувствованіями*; теперь же намъ предстоитъ изложить третій видъ душевныхъ явленій, которымъ придаютъ общее названіе явленій *воли*. Такое дѣленіе психическихъ явленій на три области очень старо, и напрасно нѣкоторые приписываютъ его Канту, который только яснѣе другихъ формулировалъ это дѣленіе, и его послѣдователю Фриссу, доведшему это дѣленіе до крайности. Основы такого раздѣленія психическихъ явленій мы встрѣчаемъ у Спинозы и Декарта, у Аристотеля и Платона; но, что всего важнѣе, встрѣчаемъ въ общечес-

ловѣческой психологіи, какъ она выразилась въ языкѣ народномъ: вездѣ языкъ раздѣлилъ *умъ, сердце и волю*.

Не нужно большой наблюдательности, чтобы каждый могъ замѣтить въ себѣ эти *три* сферы душевной жизни, въ которыхъ душа, по существу своему, стремящемуся къ жизни, т. е. къ дѣятельности, работаетъ безъ усталости. Первая изъ этихъ сферъ даетъ человѣку *умственную* или *теоретическую жизнь*; вторая — жизнь чувства или, какъ обыкновенно говорятъ, даетъ *жизнь сердца*, а третья — жизнь дѣйствія, или *жизнь практическую*.

Само собою разумѣется, что ни одинъ человѣкъ не живетъ и не можетъ жить исключительно въ одной изъ этихъ сферъ, и что явленія всѣхъ трехъ перемѣшиваются не только въ жизни каждаго человѣка, но даже въ каждомъ полномъ и законченномъ душевномъ актѣ. Однакоже всякій, кто наблюдалъ надъ людскими характерами, замѣчалъ, вѣроятно, что въ одномъ характерѣ преобладаетъ дѣятельность ума, въ другомъ — дѣятельность сердца, въ третьемъ — дѣятельность практическая или дѣятельность воли. Это различіе такъ замѣтно, что, можетъ быть, именно его, а не *темпераменты*, слѣдовало признать основнымъ принципомъ разнообразія людскихъ характеровъ.

Обративъ вниманіе на самихъ себя, мы ясно замѣтимъ, что, при усиленной дѣятельности сознанія, при особенной напряженности умственного процесса, дѣятельность сердечныхъ чувствъ и дѣятельность воли замѣтно ослабѣваютъ, что, при особенно усиленной дѣятельности сердечныхъ чувствъ, ослабляется и умственная дѣятельность, и дѣятельность воли, и что, наконецъ, когда мы начнемъ дѣйствовать, тогда ослабляется въ насъ и умственный процессъ, и дѣятельность сердечная.

Разсматривая, наконецъ, какое угодно, взятое наудачу простое психическое явленіе, отмѣченное языкомъ человѣческимъ, мы не затруднимся отнести его къ одной изъ этихъ трехъ сферъ душевной жизни. Если же возникнетъ какое-либо затрудненіе, то оно укажетъ намъ только на сложность наблюдаемаго нами явленія, и когда мы разложимъ его на составные элементы, то не затруднимся отнести каждый изъ этихъ элементовъ къ той или другой, или третьей сферѣ. Этой одной причины достаточно уже, чтобы признать такое дѣленіе психическихъ явленій вполне научнымъ, несмотря на всѣ филиппики, поднятыя противъ него Гербартомъ и его послѣдователями.

Попытка Гербарта уничтожить подраздѣленіе душевныхъ способностей на три вида (умъ, чувство и волю), будто бы нарушающихъ единство и цѣльность души, только затруднило изученіе психическихъ явленій, которое, будучи располагаемо по тремъ общепринятымъ группамъ, нисколько не нарушаетъ, а скорѣе подтверждаетъ единство души, дѣйствующей въ трехъ главныхъ направле-

ніяхъ. Вообще, различныя дѣятельности предмета (тепло, свѣтъ и притяженіе у солнца) не должны вести къ раздѣленію самого предмета, а единство предмета не должно вести къ смѣшенію его дѣятельности или свойствъ. Мы дѣлимъ на три области не самую душу, а только душевныя явленія, извѣстную группу которыхъ называемъ *волею*.

Г Л А В А XXXI.

Физическая теорія тѣлесныхъ движеній (235—245).

Изъ движенія *матеріи*, которое бываетъ или *частичное* (скрытое), или *массивное* (открытое), Фехнеръ, вмѣстѣ съ другими физиками, выводитъ понятіе о *силѣ*. Хотя было бы правильнѣе вывести наоборотъ: движеніе изъ силы, какъ ея причины; однако гипотезу эту можно принять за вполне научную, такъ какъ она объясняетъ множество физическихъ и физиологическихъ фактовъ. Матерія и сила неразрывны и не могутъ быть уничтожены, а могутъ лишь мѣнять форму и проявленіе. Сила, выходя изъ скрытаго состоянія, обнаруживается въ движеніи—будетъ ли то движеніе паровоза, или челобѣка. Проявленія нашей воли, по предположенію Фехнера, разсуждающему лишь *аналогически*, также совершаются по этимъ законамъ преобразованія силы въ движеніе; но доказать это невозможно. Духовное усиліе, напр., при обдумываніи какой-либо серьезной мысли, часто соединяется у людей съ привычкою быстро ходить взадъ и впередъ, а это совершенно противорѣчитъ теоріи Фехнера, что физическая затрата силы препятствуетъ душевнымъ процессамъ, требующимъ новой затраты той же силы, или наоборотъ. Какъ только физическая работа не требуетъ особаго *вниманія*, она нимало не отнимаетъ силы отъ нашего мышленія, которое никакъ нельзя приравнивать къ другимъ чисто-матеріальнымъ процессамъ. Великая мысль, одушевляя насъ, даже придаетъ намъ силы для ея практическаго примѣненія съ особенною затратою движенія, а это было бы невозможно, если бы источникъ силы для духовной и физической работы былъ одинъ и тотъ же. Механизмъ и организмъ никогда не могутъ быть тождественны, и гипотеза Фехнера не примѣнима къ психическимъ явленіямъ еще болѣе, чѣмъ къ физиологическимъ. Въ его теоріи вѣрна лишь одна мысль, что всякая физическая работа, мускульная или нервная, непременно потребляетъ извѣстное количество живыхъ силъ, которыя должны быть восстановлены нашимъ организмомъ изъ общаго источника—крови. Что же касается силъ чисто духовныхъ, то самъ Фехнеръ признаетъ, что наша свободная воля можетъ по своему произволу видоизмѣнять затрату нашихъ силъ въ разныхъ физическихъ дѣйствіяхъ, а слѣдовательно—подчинять силу организма силѣ нашего духа, которая свободна. Фехнеровскій терминъ «психофизика» указываетъ только на связь этихъ совершенно разнородныхъ силъ, объединить которыя еще не удалось, да и не можетъ удасться, ни одному ученому.

Г Л А В А XXXII.

Физиологическое объяснение произвола движений
(245—252).

Всѣ движенія, совершающіяся въ нашемъ организмѣ, дѣлятся на три различныя группы: 1) *непроизвольныя и безсознательныя* (движенія желудка, кровообращеніе и др.); 2) *непроизвольныя, но сознательныя* и потому подлежащія нѣкоторому вліянію нашей воли (дыханіе, миганіе, зѣвота и др.) и 3) *произвольныя*, требующія отъ насъ извѣстнаго *усилія*, которымъ сопровождается каждая работа, какъ физическая, такъ и душевная. Это чувство усилія служитъ гранью между произвольными движеніями и непроизвольными или *рефлективными*. Бэнъ и Милль однако не придаютъ этому факту особеннаго значенія, полагая, что это чувство усилія, сопровождающее наши произвольныя движенія, есть только особое нервное ощущеніе въ мозгу. Но спрашивается, почему же этого ощущенія нѣтъ при движеніяхъ непроизвольныхъ или рефлективныхъ? Если бы это чувство усилія можно было объяснить простымъ нервнымъ *токомъ*, то оно проявлялось бы въ обоихъ случаяхъ. Такимъ образомъ, связь между сознаніемъ и чувствомъ усилія есть особый психологическій фактъ, необъяснимый никакими физиологическими гипотезами. Идя далѣе въ своей ложной теоріи, Бэнъ даже сознательныя дѣйствія человѣка объясняетъ лишь неизбѣжнымъ проявленіемъ той энергіи, источникомъ которой служитъ здоровый организмъ, такъ что, по этой теоріи, вся личная и социальная работа могла бы совершаться въ человѣчествѣ и помимо сознанія и безъ всякой цѣлесообразности: поля запахивались бы, если бы даже ничего не родили; желѣзные дороги строились бы, если бы даже по нимъ некому было ѣздить, и т. д. до абсурда. Фактъ усилія, сопровождающій произвольную дѣятельность человѣка, указываетъ именно на то, что она не «*роковой рефлексъ*» (по выраженію проф. Сѣченова), а результатъ сознательной работы души, необъяснимый для физиолога. При *наблюденіи* каждый человѣкъ, пожалуй, можетъ *показаться* машиною, но при *самонаблюденіи* онъ тотчасъ становится существомъ сознательнымъ, дѣйствующимъ произвольно и цѣлесообразно, а не роковымъ образомъ. Психологъ руководствуется прежде всего самонаблюденіемъ и потому долженъ признать, что душа является источникомъ *особой* силы, не физической, а *духовной*, хотя и состоитъ въ связи съ первою и взаимодействіи. Утвержденіе Бэна, что «трата силъ пропорціональна движенію», справедливо, но при этомъ надо имѣть въ виду, что трата эта можетъ быть вызвана нашимъ желаніемъ совершенно произвольно и доведена до такого *maximum'a*, когда организмъ дойдетъ до полнаго истощенія; а съ другой стороны, даже самый сильный человѣкъ можетъ произвольно отказаться отъ всякаго движенія и отъ всякой затраты силъ, хотя бы и во вредъ организму. Если бы душа и организмъ дѣйствовали, какъ машина, или какъ всякій другой растительный организмъ, то такое надры-

ваніе тѣла усиліями души, направленными къ работѣ или бездѣйствію, было бы невозможно, какъ невозможно, напр., электрической машинѣ надорвать себя собственными усиліями. При рефлекторныхъ движеніяхъ не можетъ быть такого избытка затрачиваемыхъ силъ, потому что движенія эти пассивны и совершаются безъ усилій съ нашей стороны. Причина нашихъ дѣйствій лежитъ не внѣ души, а въ самой душѣ; привычка же лишь уменьшаетъ затрату силъ и облегчаетъ самую работу.

Г Л А В А XXXIII.

Механическая теорія воли (252—263).

Механическая теорія воли, представителями которой являются Гербартъ, Бенеке и ихъ послѣдователи, занимается исключительно тѣми психическими явленіями, въ которыхъ выражается актъ воли. Гербартъ признаетъ произволь движеній чѣмъ-то пріобрѣтеннымъ, тогда какъ вначалѣ, напр., у дѣтей и животныхъ, всѣ движенія рефлективны: какъ только является извѣстное представленіе, за нимъ непремѣнно слѣдуетъ и движеніе. Однако на опытѣ мы и у животныхъ, и у младенцевъ замѣчаемъ и нерѣшительность, и поправки въ движеніяхъ, которыя въ началѣ жизни совершаются даже безъ всякаго участія представленій, еще не успѣвшихъ образоваться. Представленія необходимы лишь при произвольныхъ или сознательныхъ движеніяхъ. Препятствіе при движеніи усиливаетъ желаніе или совершенно погашаетъ его, возбуждая неудовольствіе. Чѣмъ ярче представленіе, тѣмъ сильнѣе и желаніе или отвращеніе и соотвѣтствующія имъ движенія. Объяснять появленіе желаній одною механическою борьбою представленій невозможно, такъ какъ сюда примѣшиваются еще воспоминанія объ испытанныхъ пріятныхъ или непріятныхъ чувствованіяхъ. Объясненіе чувства *любви* и вытекающихъ изъ нея стремленій и желаній одной *привычкой* у Гербарта тоже невѣрно, такъ какъ, по мнѣнію другихъ, привычка нерѣдко убиваетъ любовь, такъ что мы уже не цѣнимъ тѣхъ предметовъ, которыми обладаемъ и къ которымъ привыкли. Любовь зарождается и поддерживается всею суммою представленій, вращающихся около извѣстнаго предмета, составляющаго объектъ нашихъ желаній и стремленій, начиная отъ чувственныхъ и оканчивая эстетическими и вообще духовными. Здѣсь есть и элементъ привычки, но не къ самому предмету, а къ наполняющимъ душу представленіямъ о немъ въ видѣ воспоминаній и предположеній. То же можно сказать и о предметѣ нашей ненависти, связавшемъ нашу душу цѣлою сѣтью представленій. Вся односторонность гербартовской теоріи образованія желаній, склонностей и страстей заключается въ томъ, что онъ придаетъ значеніе одному *количеству* представленій, которыя увлекаютъ душу одною формальною, математическою своею стороною, независимо отъ своего специфическаго качественнаго содержанія. Душа наша стремится не только къ болѣе обширной, но и бо-

лѣе легкой дѣятельности, и обширная сѣть представленій, сосредоточенныхъ около одного главнаго предмета, можетъ вызывать не одну *любовь* къ нему, но также гнѣвъ, страхъ, ненависть и другія чувства, дающія то или другое направленіе волѣ. Количественная сторона охватившихъ душу представленій весьма важна и можетъ обуславливать страсть,—но это лишь одно изъ условій.

Если желаніе не встрѣчаетъ себѣ препятствій въ другихъ представленіяхъ, и если оно, въ данный моментъ, сильнѣе всѣхъ прочихъ стремленій, то оно становится преобладающимъ и, соединивъ всѣ силы души въ одномъ направленіи, выражается въ актѣ *воли*, въ побѣдѣ души надъ тѣломъ. При этомъ необходимо еще условіе, чтобы душа сознавала всѣ *средства* къ достиженію и не сознавала *препятствій*, т. е. непреодолимыхъ преградъ. Только долгій опытъ заставляеть насъ познавать и оцѣнивать эти препятствія, въ дѣтствѣ же и въ юности *желать* и *рѣшиться* значитъ одно и то же. Этимъ объясняется постепенное уменьшеніе безумныхъ попытокъ, сопровождающее нашу жизнь отъ колыбели до гроба.

Теорія Бенеке отличается отъ гербартовской только тѣмъ, что онъ, сознавъ невозможность вывести желаніе изъ одной механической борьбы представленій, призналъ существованіе въ душѣ особыхъ *стремленій*, какъ особыхъ душевныхъ элементовъ, которые сливаются съ *впечатлѣніями* и превращаются въ *слѣды*. Въ душѣ всегда имѣется стремленіе снова слиться съ отдѣлившимся отъ него впечатлѣніемъ, и тогда оно превращается въ *желаніе*, составляющее первый актъ воли, при участіи чувства, вызваннаго прежнимъ впечатлѣніемъ. Дѣйствительно, воспоминаніе разъ испытаннаго чувства есть необходимый элементъ всякаго желанія или отвращенія. При справедливости многихъ наблюденій и объясненій у Гербарта и у Бенеке, и нихъ нѣтъ *единой воли*, а лишь множество отдѣльныхъ желаній, изъ которыхъ одно, по законамъ механической борьбы, временно становится волей: это составляетъ главнѣйшій недостатокъ всей теоріи.

Г Л А В А XXXIV.

Философскія теоріи воли, какъ явленія объективнаго (263—271).

Философскія теоріи воли, въ отличіе отъ фізіологической и механической, которыя изучаютъ проявленія *субъективной* воли человека, идутъ далѣе этихъ предѣловъ и, по аналогіи съ субъективною волею, проектируютъ *объективную* волю, дѣйствующую какъ во всей природѣ, такъ и въ человѣкѣ. Теорія эта, происхожденіе которой совершенно понятно въ психологическомъ отношеніи, даетъ простое и ясное объясненіе множеству міровыхъ явленій, безъ нея непонятныхъ для человѣка. Какъ въ человѣкѣ воля является изъ идеи, такъ и въ природѣ все творится изъ идеи, воплощеніемъ которой является весь Божій міръ. Такъ произошли всѣ миѳологіи,

которыя, въ абстрактной формѣ, даютъ начало философской теоріи воли. И дѣйствительно, между буддизмомъ или брамаизмомъ и системами Спинозы, Шеллинга и Гегеля много родственнаго; разница лишь въ формѣ: въ первомъ случаѣ—поэтической, а во второмъ—абстрактной. Еврей Спиноза, какъ человѣкъ восточной расы, но обладавшій западною схоластическою ученостью, первый далъ начало этой теоріи воли, по которой весь міръ есть одна всеобъемлющая идея, какъ одинъ безпредѣльный разумъ, составляющій одно цѣлое съ волей.

Эта теорія воли, какъ *сознаннаго стремленія*, перешла и въ психологическую систему Гегеля. У него воля есть не что иное, какъ сознательное и постепенное воплощеніе абсолютной идеи въ дѣйствительности. Человѣкъ является лишь необходимымъ звеномъ, *субъективнымъ духомъ* въ творческомъ процессѣ абсолютнаго духа, такъ что въ человѣкѣ, по Гегелю, многія стремленія безсознательны, хотя и выражаютъ собою проявленіе высшаго разума или абсолютной идеи. Провѣрить эту, созданную лишь по аналогіи съ человѣкомъ, философскую систему невозможно по недостатку фактовъ, заимствованныхъ изъ безконечно сложной и разнообразной жизни природы. Какъ результатъ умозрѣнія, она имѣетъ цѣнность и законченность; но, при развитіи естествознанія, она не могла быть долговѣчна и должна была уступить мѣсто другимъ системамъ, какъ напр. Шеллинга и Шопенгауэра. Послѣдній, еще съ большею смѣлостью, выводитъ уже не волю изъ идеи, а наоборотъ—всѣ идеи изъ воли, которую дѣлаетъ общимъ творящимъ началомъ. Идеи у него суть только функціи мозга. Злоупотребленіе психологическими фактами и терминами у Шопенгауэра доходитъ до того, что онъ не замѣчаетъ, что сознаніе и чувствованіе у насъ всегда предшествуютъ желанію и проявленію воли. Воля у него не нуждается въ сознаніи; различіе между произвольнымъ и непроизвольнымъ несущественно, тогда какъ непроизвольное движеніе и есть именно то, въ которомъ не участвуетъ наша воля. Ученіе Бэна о волѣ очень сходно съ Шопенгауэровскимъ, а потому страдаетъ тѣми же недостатками, вытекающими изъ того же желанія дать философское объясненіе поражающей насъ цѣлесообразности во всѣхъ созданіяхъ природы, столь удачно представленной французскимъ зоологомъ Ламаркомъ, а затѣмъ Дарвиномъ. *Всетворящая воля* Шопенгауэра, дѣйствующая *безсознательно*, есть такое философское измышленіе, которое оказывается совершенно бесполезнымъ для психолога или педагога, такъ какъ оно вполне бездоказательно и полно внутреннихъ противорѣчій.

Г Л А В А XXXV.

Объективная воля по фактамъ естественныхъ наукъ:
ученіе Дарвина (271—284).

Разнообразіе животныхъ и растительныхъ организмовъ и ихъ приспособленность къ окружающимъ ихъ условіямъ жизни, по уче-

нію Дарвина, объясняется *подборомъ родителей*, который производитъ не только челоѣкъ изъ хозяйственныхъ расчетовъ, но и сама природа въ видахъ продолженія и улучшения извѣстнаго вида. Уклоненія въ типѣ организма, вызванныя жизненными условіями, постепенно передаются потомству и могутъ дать начало новому типу, болѣе или менѣе уклонившемуся отъ первообраза. Такое видоизмѣненіе и приспособленіе происходитъ не только въ органахъ, но и въ *инстинктахъ* животныхъ, содѣйствующихъ сохраненію жизни и продолженію рода. Въ этомъ и выражается въ каждомъ организмѣ его «борьба за существованіе», его *стремленіе къ бытію индивидуальному, общественному и потомственному*, замѣчаемое въ животныхъ; этимъ же объясняется и вымираніе тѣхъ видовъ организмовъ, которые не могли выдержать борьбы за свое существованіе съ неблагоприятными для нихъ жизненными условіями. Но какъ ни увлекательна эта теорія, она объясняетъ лишь постоянное измѣненіе, возникновеніе и вырожденіе существующихъ организмовъ, но не ихъ начало, какъ признаетъ и самъ Дарвинъ (О происхожденіи видовъ, перев. Рачинскаго, стр. 382).

Постепенныя, хотя и самыя незначительныя въ каждомъ данномъ случаѣ, уклоненія организмомъ отъ своего типа Дарвинъ называемъ *случаемъ*; но такъ какъ въ природѣ совершается все по какимъ-либо причинамъ, то великому ученому, вмѣсто ничего не объясняющаго слова «случай», слѣдовало бы признать простую *неизвѣстность* этихъ причинъ. Мы не замѣчаемъ этихъ причинъ точно такъ же, какъ не замѣчаемъ движенія часовой стрѣлки или растущей травы, такъ какъ движенія эти слишкомъ мелки; но конечный результатъ ихъ слишкомъ очевиденъ. Такимъ образомъ, Дарвинъ не объяснилъ той силы, которая видоизмѣняетъ организмы, равно какъ не объяснилъ и того *стремленія* къ жизни, которое является другимъ главнымъ двигателемъ всего жизненнаго процесса; появленія же первыхъ организмовъ онъ даже вовсе не касается, обнаруживая здѣсь честность истиннаго ученаго, который, къ сожалѣнію, допустилъ въ своей теоріи понятіе «случай», недопускаемое ни въ какой наукѣ. Подъ дарвиновскою «борьбой за существованіе» надо разумѣть не одну борьбу организма съ враждебными ему организмами, а также, и главнымъ образомъ, устраненіе всѣхъ вообще вредныхъ для жизни условій и подыскиваніе наиболѣе благопріятныхъ, т. е. приспособленіе къ существующимъ условіямъ для продолженія какъ индивидуальной жизни, такъ и своего рода, причемъ главнымъ двигателемъ является *стремленіе* или волевой процессъ животныхъ организмовъ, а также сознательное вліяніе на нихъ челоѣка. Ученіе Дарвина, освобожденное отъ тѣхъ лихорадочныхъ фантазій и скороспѣлыхъ выводовъ, которые столь свойственны людямъ неразвитымъ логически, можетъ быть весьма образовательнымъ средствомъ для дѣтства и юности, такъ какъ оно заключаетъ глубокій нравственный смыслъ. Оно показываетъ, что мы и понынѣ живемъ среди великаго творческаго процесса и постоянного совершенствованія, двигателемъ кото-

раго является невидимая, но всеми нами чувствуемая причина, предъ которою склоняется благовоно даже самый гордый умъ.

Г Л А В А XXXVI.

Психологическіе выводы изъ теоріи Дарвина (284—289).

Физиологическая и механическая теоріи принимаютъ волю, какъ явленіе индивидуальное, замѣчаемое человекомъ прежде всего въ самомъ себѣ, и потому какъ явленіе *субъективное*; философскія же теоріи, наоборотъ, берутъ волю какъ нѣчто *объективное*, дѣйствующее во всей природѣ, а слѣдовательно и въ человекѣ, какъ предметъ природы, и притомъ невѣдомо и неотразимо для него самого. Дарвинъ, уже на основаніи наблюденій, фактовъ и выводовъ естествознанія, далъ болѣе точное понятіе объ этой *объективной волѣ*, о которой Гегель и Шопенгауэръ только фантазировали. Онъ предвидитъ самыя плодотворныя послѣдствія этой системы и для психологіи, въ которой еще Локкъ и Гербертъ усматривали такую же постепенность въ приспособленіи человеческого ума къ условіямъ жизни, какую Дарвинъ открылъ въ растеніяхъ и животныхъ. Невѣдомая сила возбуждаетъ въ человекѣ стремленіе къ такому приспособленію, съ помощію котораго онъ уже во многомъ побѣждаетъ и время, и пространство, и стихіи, прежде казавшіяся непобѣдимыми. Со времени Дарвина, стремленіе признано не одними психологами, но и натуралистами, и распространено на всю органическую природу. Внѣшнія формы человеческого организма также измѣнились, напр., форма черепа, вслѣдствіе усиленной умственной работы и подбора родителей, такъ что лобъ и личной уголъ значительно увеличились у культурныхъ народовъ. Рѣзкое различіе между приспособленіемъ человека и приспособленіемъ другихъ организмовъ состоитъ въ томъ, что у послѣднихъ оно передается *наслѣдственно* въ видѣ новыхъ формъ и инстинктовъ, т. е. помимо сознанія. Такъ, ласточка будетъ вить свое гнѣздо такимъ же способомъ, какъ и ея предки, хотя бы она и не видала его; тогда какъ дитя европейскаго живописца, рано перенесенное, напр., въ Китай, не внесетъ въ свое рисованіе ни малѣйшихъ понятій о перспективѣ, а будетъ рисовать по китайски. Дитя величайшаго музыканта начнетъ свои упражненія съ дикихъ звуковъ. Потомкамъ самыхъ культурныхъ людей всегда приходится начинать свои приспособленія сызнова и руководствоваться примѣромъ, безъ котораго они могутъ остаться въ прежнемъ дикомъ состояніи, такъ какъ въ нихъ нѣтъ никакихъ наслѣдственныхъ приспособленій, а потому необходимы воспитаніе и обученіе примѣромъ и словомъ. Для человека *историческая преемственность* гораздо важнѣе той *органической наслѣдственности*, которая отчасти замѣчается въ привычкахъ и наклонностяхъ, но никогда не замѣнитъ необходимости въ сознательныхъ усиліяхъ воли.

Другое рѣзкое отличіе человѣка въ его приспособленіи состоитъ въ томъ что онъ всегда можетъ стать выше однихъ органическихъ стремленій къ жизни, тогда какъ животное, а тѣмъ болѣе растеніе—сдѣлать этого не могутъ. Воля человѣка можетъ побороть самый страхъ смерти и привести къ самопожертвованію ради высокой идеи—религіозной, научной, патріотической и др. Животныя повируются лишь голосу своей животной природы, возвыситься надъ которой они не въ силахъ. Третье и самое главное отличіе человѣка даже отъ высшихъ животныхъ обнаруживается въ его антагонизмѣ съ той разлитой во всей природѣ «борьбой за существованіе», въ которой все *сильное давитъ слабое*, и которая отвергается «религіей слабыхъ и угнетенныхъ». Если бы звѣрская борьба за существованіе была свойственна и человѣческой природѣ, то откровенная религія Христа никогда не была бы понятна человѣку и не одержала бы побѣды надъ всѣмъ образованнымъ міромъ, причемъ она вовсе не прибѣгала къ *борьбѣ* за свое существованіе въ дарвиновскомъ смыслѣ этого слова. Вообще гипотетическіе принципы, хотя и двигающіе науку, но безпрестанно мѣняющіеся, не должны быть вносимы въ мышленіе человѣка, какъ готовыя понятія или какъ основные факты, на которыхъ было бы возможно строить все міросозерцаніе и перестраивать жизнь. Практическій вредъ такихъ гипотезъ, принимаемыхъ за несомнѣнныя истины, болѣе всего обнаруживается тогда, когда онѣ вносятся въ область воспитанія, ошибки котораго бываетъ такъ трудно и часто даже невозможно исправить впоследствии.

Г Л А В А XXXVII.

Результаты критическаго обзора теорій воли.

Какъ ни кратокъ былъ нашъ обзоръ различныхъ теорій воли, но и онъ далъ уже намъ нѣсколько *положительныхъ* результатовъ: положительныхъ или потому, что они даютъ намъ какое-нибудь положительное знаніе, знаніе факта, или потому, что они разрушаютъ какое-нибудь призрачное знаніе, какое-нибудь созданіе фантазіи, только путающее наши психологическія понятія. Перечислимъ же коротко эти результаты.

Во-первыхъ, мы знаемъ, что воля, во всякомъ случаѣ, есть явленіе психическое, о которомъ мы узнаемъ только изъ самонаблюденія, а не изъ наблюденій, и что мы переносимъ результатъ нашего личнаго самонаблюденія на другихъ людей и на животныхъ только *по аналогіи*, сила которой тѣмъ болѣе слабѣетъ, чѣмъ далѣе отстоитъ отъ насъ то существо, которому мы приписываемъ волю. Переносъ же воли въ воодушевленную природу не имѣетъ себѣ уже никакого оправданія. Это чистая фикція, имѣющая свое мѣсто или въ мифологіи, или въ поэзіи, или въ фантастическихъ философскихъ системахъ, которая, наконецъ, можетъ имѣть свое полное оправданіе

въ вѣрованіяхъ, но которая никакимъ образомъ не можетъ составить положительнаго знанія и войти въ число фактовъ науки.

Во-вторыхъ, мы убѣдились, что понятіе о волѣ извлекается нашимъ сознаниемъ его обычнымъ путемъ, т. е. путемъ сравненія, только при направленіи сознанія на наши собственные психическіе акты, направленіи, которому Локкъ придалъ неудачное названіе *рефлекси* и за которымъ мы считаемъ лучшимъ сохранить терминъ *самосознанія* или *самонаблюденія*. Сравнивая одни наши движенія съ другими, произвольныя съ произвольными, мы замѣчаемъ рѣзкое различіе между ними, и это различіе выражаемъ словомъ *воля*: одни движенія мы называемъ произвольными, другія— произвольными. Вникая ближе въ этотъ фактъ, мы замѣчаемъ, что произвольныя движенія сопровождаются *чувствомъ усилія*, а произвольныя имъ не сопровождаются. Вглядываясь въ условія проявленія этого чувства усилія, мы замѣтили всю невозможность объяснить его какимъ-либо физиологическимъ путемъ. Наблюдая же надъ условіями возрастанія и ослабленія этого чувства, мы убѣдились, что оно принадлежитъ душѣ и проявляетъ собою степень трудности произвольнаго передвиженія физическихъ силъ въ организмѣ: произвольное и для тѣла насильственное извлеченіе изъ однихъ физиологическихъ процессовъ и обращеніе въ другіе.

Въ-третьихъ, мы нашли, что всякое движеніе представляетъ собою пропорціональную ему трату физическихъ силъ. Физическія силы вырабатываются единственно изъ силъ природныхъ, принимаемыхъ организмомъ въ процессъ питанія. Эти силы, находящіяся въ пищѣ и потомъ въ крови, и потомъ, наконецъ, въ тканяхъ тѣла, въ скрытомъ состояніи, или въ состояніи скрытыхъ движеній (*потенціальныхъ* силы, какъ называетъ ихъ Фехнеръ), переходятъ при тѣсныхъ движеніяхъ въ состояніе силъ открытыхъ, или въ открытыя движенія, уже замѣтныя для нашихъ чувствъ, именно въ формѣ движеній, а не въ формѣ тепла или электричества. Такое преобразование запасныхъ или скрытыхъ силъ въ открытыя движенія совершается или независимо отъ нашей души, или по ея воздѣйствію, и только въ этомъ послѣднемъ случаѣ сопровождается замѣтнымъ чувствомъ усилія.

Въ-четвертыхъ, мы убѣдились въ полной связи воли съ сознаниемъ, такой связи, что если въ сознаніи нашемъ образовалось желаніе, и если это желаніе преодолѣло всѣ другія желанія и нежеланія, то оно само собою становится актомъ воли. Мы не нашли необходимости средняго термина между желаніемъ и волею; но для того, чтобы желаніе выразилось въ актѣ воли, необходимо: 1) чтобы стремленіе, изъ котораго желаніе возникаетъ, одолѣло всѣ прочія стремленія и 2) чтобы представленіе, которое одно только и дѣлаетъ стремленіе опредѣленнымъ желаніемъ, одолѣло всѣ прочія представленія, удаливъ всѣ противоположныя, усилившись всѣми помо-

гающими. Какъ только этотъ процессъ въ выработкѣ желанія совершится вполнѣ, какъ только желаніе станетъ желаніемъ *всей* души, такъ *власть* души надъ тѣломъ и проявится въ актѣ воли. Тѣло повинуется душѣ, когда она *вся* хочетъ одного и того же. Вотъ почему мы выразились, что желаній въ душѣ можетъ быть много, а воля только одна, приписывая въ этомъ случаѣ названіе желанія и тѣмъ желаніямъ, которыя еще не вполнѣ сформировались. Для отличія же желаній, не вполнѣ сформировавшихся и еще не вполнѣ овладѣвшихъ всею душою, а борющихся съ другими желаніями и нежеланіями, мы предлагаемъ назвать желаніе, вполнѣ сформировавшееся и даже овладѣвшее душою, — *рѣшеніемъ*; но только съ тѣмъ условіемъ, чтобы всегда помнить, что рѣшенія суть тѣ же желанія, но только вполнѣ сформировавшіяся и овладѣвшія *всею* душою, и что въ рѣшеніяхъ не присоединяется никакого новаго самостоятельнаго элемента, который мы могли бы назвать волею или какъ-нибудь иначе. Рѣшеніе есть только окончаніе борьбы желаній побѣдою одного.

Въ-пятыхъ, мы убѣдились еще болѣе въ полной необходимости гипотезы стремленій, нашедшей себѣ подтвержденіе въ фактахъ, добытыхъ совсѣмъ инымъ путемъ—путемъ наблюденія въ системѣ естествознанія. Ученіе, формулированное и завершенное Дарвиномъ, помогло намъ выяснитъ себѣ всю необходимость гипотезы стремленій не только для психологіи, но и для естественныхъ наукъ.

Въ-шестыхъ, мы убѣдились, что то же самое стремленіе, которое естественныя науки вынуждены признать въ растительныхъ и животныхъ организамахъ, проявляется и для психолога въ томъ воздѣйствіи тѣлеснаго организма человѣка на его душу, которое выражается въ ней цѣлою массою желаній, объяснимыхъ только органическими стремленіями. Но стремленіе дѣлается желаніемъ тогда, когда посредствомъ какого-нибудь чувствованія, сопровождавшаго опытъ удовольворенія, оно связывается съ представленіемъ: безъ представленія желаемаго нѣтъ желанія (*ignoti nulla cupido*).

Въ-седьмыхъ, стремленіе, отыскиваемое во внѣшней для человѣка природѣ, стремленіе къ бытію и къ безграничному распространенію бытія въ пространствѣ и времени, существуетъ также и въ человѣческомъ организмѣ, какъ существуетъ оно въ растеніяхъ и животныхъ. Въ растеніяхъ это стремленіе не ощущается, хотя и замѣчается нами; въ животныхъ оно, *по всей вѣроятности*, ощущается такъ же, какъ и въ насъ, и выражается множествомъ разнообразныхъ желаній; но тогда какъ растенія и животныя *неудержимо* увлекаются этимъ стремленіемъ, въ человѣкѣ есть *какая-то, еще невѣдомая намъ точка опоры*, которая позволяетъ ему возстать противъ этого стремленія природы и не удовлетворить ему.

Въ-восьмыхъ, мы убѣдились, что весьма вредно для науки придавать

этому стремленію, живущему и въ организмѣ человѣка, и во всѣхъ организмахъ природы, названіе *воли*, а потому и предлагаемъ сохранить за нимъ названіе *органическаго стремленія*. Откуда идетъ это стремленіе и чѣмъ оно уславливается—опредѣлить это есть дѣло естественныхъ наукъ, ибо стремленіе, въ противоположность волѣ, узнается только наблюденіемъ. Сознаніе же, обращенное на акты души, находитъ между ними уже желанія; а не стремленія. Въ изученіи стремленій и ихъ условій естественныя науки много поработали и, вѣроятно, еще много будутъ работать. Мы же считаемъ за наилучшее для психолога, и въ особенности для педагога, не увлекаясь въ этомъ отношеніи гипотезами, необходимыми для специалистовъ, и возникающими изъ нихъ преждевременными надеждами, всегда останавливается только на фактахъ, уже вполне признанныхъ наукою.

Если мы соединимъ всѣ эти результаты съ тѣми, которые добыли прежде, то найдемъ, что, кромѣ этихъ стремленій, идущихъ изъ тѣлеснаго организма человѣка, мы должны признать въ немъ еще одно, уже необъяснимое растительными потребностями организма. Это стремленіе мы назвали стремленіемъ души къ сознательной дѣятельности, или *къ жизни* въ тѣсномъ и, по нашему мнѣнію, совершенно русскомъ смыслѣ этого слова. Русскій народный языкъ не признаетъ жизни за растеніями: для него растенія растутъ и одни только животныя живутъ. Принимая же слово жизнь въ смыслѣ чувства и дѣйствія или произвольнаго движенія, мы найдемъ, что стремленіе къ жизни идетъ въ разрѣзъ съ растительнымъ стремленіемъ къ росту, т. е. къ бытію индивидуальному и потомственному, или, еще яснѣе, къ распространенію бытія въ пространствѣ и времени. Въ процессахъ жизни у животнаго тратятся тѣ физическія силы, которыя всецѣло идутъ въ растеніяхъ на ростъ и размноженіе, и которыя въ животномъ только частію идутъ для того же назначенія, а частію потребляются въ процессахъ жизни. На этомъ основаніи мы говоримъ, что стремленіе къ жизни не можетъ быть выведено изъ растительныхъ стремленій, такъ какъ оно противрѣчитъ имъ и должно быть приписано нами душѣ, которая для своихъ душевныхъ процессовъ тратитъ силы, приобретаемыя и накапливаемыя растительными процессами тѣла.

Это раздѣленіе душевныхъ и тѣлесныхъ стремленій имѣетъ для психологіи чрезвычайную важность. Только имъ однимъ, какъ мы увидимъ далѣе, можетъ быть объяснено множество психическихъ явленій, и въ особенности всѣ тѣ извращенія, которыя вноситъ душа въ естественныя стремленія или потребности тѣла, и которыя были бы совершенно невозможны, если бы удовлетвореніе этихъ потребностей совершалось безъ вмѣшательства души и ея особенныхъ требованій, какъ совершается оно въ растеніяхъ. Кромѣ тѣлесныхъ или растительныхъ стремленій и кромѣ ду-

шевнаго стремленія къ жизни, мы замѣчаемъ еще въ человѣкѣ особенныя стремленія, человѣку только свойственныя, или, яснѣе, замѣчаемъ въ человѣкѣ такія явленія, которыхъ невозможно объяснить ни изъ растительныхъ стремленій тѣла, ни изъ душевнаго стремленія къ жизни, и которыя потому мы приписываемъ особеннымъ, человѣку только свойственнымъ стремленіямъ, или, по нашей терминологіи, стремленіямъ *духовнымъ*.

Отвергая всякое научное значеніе у понятія *объективной* воли, мы признаемъ только волю *субъективную*, ибо только въ этомъ видѣ и путемъ самонаблюденія мы узнаемъ о существованіи воли и можемъ фактически изучать ея различныя проявленія. Мы всецѣло приписываемъ волю душѣ, хотя признаемъ въ то же время, что мотивы, дающіе ей направленіе, могутъ проистекать и изъ тѣла, или, вѣрнѣе, изъ органическихъ стремленій тѣлеснаго организма, общихъ всему органическому міру.

Самонаблюденіе приводитъ человѣка къ различнымъ выраженіямъ различныхъ проявленій одного и того же психическаго акта воли. И въ этомъ отношеніи мы болѣе всего дорожимъ тѣмъ самонаблюденіемъ человѣчества надъ проявленіемъ воли, которое выразилось въ языкѣ человѣка. Мы считаемъ часто за болѣе вѣрное руководствоваться этою общечеловѣческой психологіею, чѣмъ теоріями того или другаго психолога, убѣдившись разъ въ односторонности этихъ теорій. Общечеловѣческая же психологія, выразившаяся въ языкѣ, придаетъ волѣ тройное значеніе.

Во-первыхъ, мы называемъ волею власть души надъ тѣломъ. На этомъ основаніи мы раздѣляемъ произвольныя движенія отъ непроизвольныхъ и говоримъ, что тѣло повинуется или не повинуется волѣ души и ея желаніямъ.

Во-вторыхъ, общечеловѣческая психологія называетъ волею то самое психическое чувство, которое даетъ намъ возможность отличать желанія въ области психическихъ явленій. Это *чувство хотѣнія*, если можно такъ выразиться, на всѣхъ извѣстныхъ намъ языкахъ безразлично называется *волею*. Правда, психологи находятъ различіе между словами: «я желаю» и «я хочу», но это различіе несущественное: оно, какъ мы видѣли, означаетъ только различную степень выработки желаній и не существуетъ для души младенца. Воля есть только вполнѣ выработавшееся желаніе, овладѣвшее всею душою, и только противоборствующія представленія, замедляющія такую выработку желаній, дѣлаютъ то, что у взрослого человѣка не всякое желаніе достигаетъ ступени воли. Въ русскомъ языкѣ два глагола *хотѣть* и *желать* означаютъ тоже только разные ступени одного и того же процесса, и если бы признать еще третій глаголъ—*волить*, то имѣли бы три прекрасныя выраженія для трехъ ступеней одного и того же процесса, взятаго въ началѣ, въ срединѣ и концѣ.

Къ этимъ *двумъ положительнымъ* понятіямъ о волѣ общечеловѣ-
ческая психологія присоединяетъ еще *третье—отрицательное*. Мы
говоримъ о *волѣ*, какъ о чемъ-то противоположномъ *неволѣ*. Въ этомъ
смыслѣ языкъ нашъ говоритъ, что человѣку дали волю, говоритъ о свое-
воли, о стѣсненіи воли и т. п. Это третье значеніе воли прибавляетъ
совершенно новое понятіе къ двумъ прежнимъ и на немъ отчасти осно-
вывается важное понятіе *вмѣняемости*.

Такимъ образомъ, мы рассмотримъ по порядку: 1) волю, какъ власть
души надъ тѣломъ, 2) волю, какъ желаніе въ процессъ его формировки,
и 3) волю, какъ противоположность неволѣ.

ГЛАВА XXXVIII.

Воля, какъ власть души надъ тѣломъ.

Власть души надъ тѣломъ есть *фактъ*, испытываемый каждымъ изъ
насъ, но котораго никто объяснить не можетъ. Особенно таинственнымъ
въ этомъ всѣмъ извѣстномъ и въ то же время непостижимомъ фактѣ ка-
жется то, что душа, существо не матеріальное, дѣйствуетъ на матерію,
на нервную систему. Это какъ-разъ настолько же непостижимо, какъ и
дѣйствіе вибрацій матеріи, т. е., въ этомъ случаѣ, той же нервной системы,
на душу. Но оба эти несомнѣнные факта настолько же непостижимы, какъ и
дѣйствіе одного матеріальнаго тѣла на другое матеріальное же, отдѣленное
пустымъ пространствомъ ¹⁾. Кантъ справедливо замѣчаетъ въ своей «Критикѣ
чистаго разума», что мы могли бы рационально задаваться вопросомъ о дѣй-
ствіи матеріи на душу и души на матерію, если бы знали, что такое матерія
и что такое душа въ существѣ своемъ. Но такъ какъ и то, и другое намъ оди-
наково неизвѣстно, такъ какъ и то, и другое *для науки* только *гипоте-
тические принципы двухъ различныхъ сферъ явленій*, созданные для
выраженія противоположности этихъ сферъ, то вопросъ о способѣ ихъ взаим-
наго воздѣйствія остается вопросомъ, не представляющимъ данныхъ не
только для своего разрѣшенія, но даже для своей правильной постановки.
Почему бы душѣ не дѣйствовать на матерію и матеріи на душу? Какія
свойства души или матеріи знаемъ мы, которыя не допускаютъ ихъ взаим-
наго воздѣйствія? Никакихъ. Но такъ какъ это воздѣйствіе совершается внѣ
области нашего сознанія, освѣщающаго уже только результаты этого воз-
дѣйствія (ощущенія и чувствованія, съ одной стороны, и произвольныя тѣло-

¹⁾ Пед. Антр., ч. I, гл. XXXVIII.

движенія, вслѣдствіе желаній, съ другой), то намъ остается только признать существующій фактъ и въ то же время признать невозможность его объясненія, а затѣмъ изучать послѣдствія этого факта. Мы такъ и поступимъ.

Власть души надъ тѣломъ очень велика: она можетъ доходить даже до такого истощенія силъ тѣла въ тѣхъ или другихъ произвольныхъ движеніяхъ, до такого извлеченія этихъ силъ изъ растительныхъ процессовъ организма, что самые эти процессы уже останавливаются, а затѣмъ слѣдуетъ или болѣзнь, или даже смерть. Эта же власть души надъ тѣломъ даетъ намъ возможность не только разрушительно, но и спасительно дѣйствовать на здоровье тѣлеснаго организма, откуда и происходитъ все врачебное значеніе гимнастики. Направляя *произвольно* процессъ выработки физическихъ силъ къ тѣмъ или другимъ мускуламъ, мы отвлекаемъ эти силы изъ другихъ частей организма и изъ другихъ процессовъ, и тѣмъ самымъ получаемъ возможность *произвольно* дѣйствовать на здоровье физическаго организма. Такъ, тѣлесныя упражненія имѣютъ замѣтное вліяніе на уменьшеніе раздраженія въ центральныхъ мозговыхъ органахъ, и едва ли есть лучшее средство успокоить раздраженный головной или спинной мозгъ, какъ занятіе умѣренными гимнастическими упражненіями. Но лечебное значеніе гимнастики не ограничивается только такимъ грубымъ, *огульнымъ* воздѣйствіемъ. Практика показываетъ, что гимнастика, специализируя такъ или иначе *произвольныя* движенія человѣка, излечиваетъ множество застарѣлыхъ болѣзней. Для психолога же въ этомъ леченіи гимнастикою замѣчательно то, что въ немъ человѣкъ *лечится положительно одною своею волею*, которая, во всякомъ случаѣ, есть ближайшая причина всѣхъ произвольныхъ движеній, употребляемыхъ гимнастикою, какъ врачебное средство. Принимая же въ расчетъ, на какое множество физическихъ процессовъ организма воля человѣка оказываетъ болѣе или менѣе сильное вліяніе, мы нисколько не сомнѣваемся, что *воля*, какъ могущественнѣйшее врачебное средство, будетъ болѣе и болѣе прилагаема къ медицинѣ. Чтобы убѣдиться, какъ велико можетъ быть вліяніе воли на физическіе процессы, стѣдуетъ припомнить, какія чудеса дѣйствія воли на тѣло показываютъ намъ индѣйскіе фанатики и фокусники. Конечно, въ этихъ случаяхъ могучимъ средствомъ человѣческой воли распоряжаются фанатизмъ и шарлатанство; но отъ этого самое средство остается не менѣе сильнымъ, и эта сила даетъ намъ полное право думать, что ею могутъ быть достигнуты важные результаты, если она будетъ направляема свѣтлымъ и серьезнымъ умомъ европейца.

Но, кромѣ того, что, направляя произвольно процессъ выработки физическихъ силъ въ тѣ или другія физическія движенія, мы отвлекаемъ эти силы изъ другихъ частей организма и изъ другихъ процессовъ, мы еще могущественно и произвольно содѣйствуемъ особенному развитію тѣхъ муску-

ловъ, къ которымъ устремляемъ по произволу преимущественную выработку физическихъ силъ изъ крови. Мы усиливаемъ питаніе мускуловъ и тѣмъ самымъ увеличиваемъ ихъ объемъ, а объемъ мускула, какъ мы видѣли, есть условіе количества силъ, могущихъ въ немъ развиваться ¹⁾). Въ этомъ явленіи, подтверждаемомъ каждою мускулистою рукою кузнеца или сильно развитою стопою танцовщика, мысль Ламарка, слишкомъ ступеванная Дарвиномъ, находитъ себѣ блестящее и очевидное подтвержденіе. Наслѣдственная же передача такого видоизмѣненія органовъ, производимаго произвольными усиліями человѣка, едва ли можетъ быть подвергнута сомнѣнію. Мускулистыя руки дѣтей рабочаго класса и нѣжная рука аристократа развѣ не показываютъ намъ, что слѣды произвольныхъ физическихъ усилій могутъ такъ же передаваться потомственно, какъ черты фізіономіи или даже мимика ²⁾).

Бэнъ находитъ, что тѣлесныя движенія сами по себѣ намъ пріятны; но это не совсѣмъ справедливо. Тѣлесныя движенія могутъ быть намъ пріятны и непріятны. Пріятны они намъ, когда въ нихъ мы открываемъ выходъ *избытку* силъ физическихъ, который самъ по себѣ приводитъ нервный организмъ въ ненормальное состояніе, отражающееся въ душѣ тяжелымъ чувствомъ. Давая же исходъ чрезмѣрному избытку силъ, мы облегчаемъ это тяжелое чувство, удовлетворяемъ тѣлесной потребности движенія, и *такое* движеніе, конечно, должно быть намъ пріятно. Само же по себѣ, чувство *усилія*, т. е. чувство извлеченія душою силъ изъ организма, всегда есть чувство непріятное, и напряженность этой непріятности тѣмъ сильнѣе, чѣмъ труднѣе извлекаются душою силы изъ организма, т. е. чѣмъ истощеннѣе организмъ сравнительно съ тѣмъ движеніемъ, къ которому душа его призываетъ.

Но очень часто непріятность чувства усилія можетъ нейтрализоваться такъ, что самое усиліе становится намъ пріятнымъ по тому значенію, которое мы придаемъ движенію. Сознвая, на примѣръ, пользу тѣлесныхъ движеній для организма, мы съ удовольствіемъ подвергаемся тяжести усилія, какъ съ удовольствіемъ чувствуемъ боль горчичника, піявокъ, ѣдкаго лѣкарства и т. п. Ощущеніе усилія остается *тяжелымъ*, но *непріятность* его исчезаетъ. Сознвая, что за тратою силъ слѣдуетъ утомленіе во всемъ тѣлѣ и хорошій аппетитъ, мы съ удовольствіемъ тратимъ силы, имѣя въ виду удовлетвореніе аппетита и сладость отдыха, т. е. возвращеніе силъ. Испытавъ на себѣ удовольствіе, которымъ сопровождается жадное поглощеніе силъ истощеннымъ, но истощеннымъ не до разстрой-

¹⁾ См. Учебн. Физіологіи.

²⁾ Пед. Антроп., ч. I, гл. XIV.

ства организмовъ, мы съ удовольствіемъ тратимъ силы, въ виду предстоящихъ наслажденій. Уже этихъ однѣхъ причинъ, кромѣ тѣхъ особенныхъ цѣлей, для которыхъ можемъ мы предпринимать тѣ или другія движенія, достаточно для того, чтобы сдѣлать намъ пріятнымъ само по себѣ всегда тяжелое чувство усилія, съ которымъ душа извлекаетъ силы изъ растительныхъ процессовъ для произведенія произвольныхъ движеній.

Здѣсь рождается самъ собою вопросъ: простирается ли власть души только на мускульную систему и связанные съ нею двигательные нервы, или она оказываетъ вліяніе и на нервы чувствъ? Бэнъ держится перваго мнѣнія, но это заставляетъ его впадать въ противорѣчіе съ самимъ собою. Если можно еще, хотя съ большою натяжкой, допустить, что мы посредствомъ какихъ-то неизвѣстныхъ мускуловъ, оказываемъ произвольное вліяніе на нашъ слуховой органъ, прислушиваясь *произвольно* къ однимъ звукамъ и не слушая другихъ, или что мы произвольно, не измѣняя положенія глаза, можемъ сосредоточить вниманіе на избранной чертѣ предмета, то какими же мускулами можемъ мы объяснить себѣ возможность *произвольнаго* вліянія на ходъ нашихъ представленій, а эта возможность, которую всякій замѣчаетъ въ самомъ себѣ, признается одинаково всѣми психологами и тѣмъ же самымъ Бэнномъ ¹⁾? Какими же мускулами можемъ мы объяснить возможность произвольнаго вліянія на задержку нашихъ чувствованій, или, по крайней мѣрѣ, на распространеніе и воплощеніе ихъ въ нервномъ организмѣ ²⁾. Такимъ образомъ, ясные факты вынуждаютъ насъ признать, что власть воли простирается на всю нервную систему, а не на одни *двигательные нервы*, если двигательными нервами признавать только тѣ, которые идутъ въ мускулы. Кажется, рачіонально было бы предположить, что всякая дѣятельность нервной системы, будетъ ли она выражаться въ тѣлесныхъ движеніяхъ, или въ тѣхъ необходимо предполагаемыхъ движеніяхъ нервныхъ молекулъ, которыми сопровождаются какъ умственные, такъ и чувственные процессы, что всѣ эти нервныя движенія происходятъ болѣе или менѣе подъ вліяніемъ души, область котораго фізіологія еще не обозначила. Сдѣлавъ такое предположеніе, мы поймемъ, откуда рождается то замѣтное чувство усилія, которое мы испытываемъ не только при произвольныхъ тѣлесныхъ движеніяхъ, но и при произвольныхъ умственныхъ или чувственныхъ актахъ,—когда, на примѣръ, мы стараемся вытѣснить изъ нашего сознанія какую-нибудь беспокоящую насъ мысль или приостановить распространеніе въ организмѣ какого-нибудь возникшаго въ душѣ нашей чувствованія. Наблюдая внимательнѣе надъ собою, мы убѣдимся,

¹⁾ Педаг. Антроп., ч. I, гл. XXIX.

²⁾ См. выше, ч. II, гл. XII.

что такое насильственное, т. е. *произвольное* подавление нами самими наших же мыслей и чувствованій, равно какъ и произвольное направле- ние нашего вниманія обходится намъ не даромъ, и мы испытываемъ по- ложительно физическое утомленіе, слѣдовательно трату физическихъ силъ на физическія движенія, вызванныя нашими умственными процессами, хотя они и не обнаруживаются видимыми сокращеніями мускуловъ.

Мы согласны съ тѣми психологами, которые, подобно Гербарту и Бе- неке, полагаютъ, что воля, какъ власть души надъ нервнымъ организмомъ, *развивается и формируется опытами*; но не согласны приписать опытамъ самое происхожденіе воли. Такое мнѣніе основано на той общей ло- гической ошибкѣ, которая заставляеть, на примѣръ, предполагать, что спо- собность зрѣнія или способность слуха есть произведеніе опыта, т. е. са- мой дѣятельности зрѣнія или слуха. Еще Аристотель замѣтилъ, что для того, чтобы какая-нибудь способность могла развиваться дѣятельностью, необходима уже самая эта способность въ зародышѣ. Для того, напри- мѣръ, чтобы вліяніе свѣта на организмъ животнаго могло развить въ немъ способность зрѣнія и сформировать зрительный органъ, какъ это предпо- лагаютъ нѣкоторые фізіологи и психологи, необходимо уже, чтобы орга- низмъ могъ испытать на себѣ вліяніе свѣта, и притомъ вліяніе свѣта не какъ тепла, а именно какъ вліяніе свѣта, т. е., другими словами, чтобы организмъ могъ уже имѣть способность зрѣнія. То же самое относится и къ власти души надъ тѣломъ. Чтобы опыты этой власти сдѣлались воз- можными, слѣдуетъ необходимо уже предположить самую власть. Напрасны были бы всѣ попытки наши овладѣть нервнымъ организмомъ, если бы онъ не поставленъ былъ въ особое отношеніе къ нашей душѣ, какъ напрасны были бы всѣ попытки одною волею—безъ посредства нервовъ и муску- ловъ—передвинуть съ мѣста на мѣсто предметъ, внѣ насъ лежащій...

Нѣтъ сомнѣнія, что власть души надъ тѣломъ расширяется опытами; но нѣтъ возможности не признать *врожденной* власти, которая, будучи приложена къ сложнымъ рефлексамъ, установленнымъ уже самою приро- дою организма, оказывается очень обширною. Если бы ребенокъ долженъ былъ опытами дойти до сложнаго акта сосанія груди, то онъ скорѣе вы- учился бы ходить, чѣмъ сосать грудь и глотать пищу. Вотъ почему мы мо- жемъ объяснить только крайнимъ увлеченіемъ Бэна, когда онъ говоритъ, что человекъ выучивается даже дышать. Гораздо естественнѣе признать, что такіе сложные рефлексы, каковы сосаніе, глотаніе или дыханіе, возбуж- даются сначала какими-нибудь физическими причинами, какъ, напри- мѣръ, прикосновеніемъ воздуха къ легкимъ, прикосновеніемъ груди или даже пальца къ губамъ, пищи къ глоткѣ и т. п. Въ этихъ актахъ сна- чала нѣтъ воли; но они могутъ повести къ первому проявленію воли въ

ребенкѣ. Чувствуя голодъ, а потомъ удовлетвореніе его, ребенокъ можетъ уже и самъ *попытаться* привести въ движеніе сложный рефлексъ питанія. Но какъ начинается эта попытка и какими средствами она осуществляется—это остается для насъ совершенно неизвѣстнымъ. Объ этомъ, пожалуй, можно много фантазировать, но прійти къ какому-нибудь положительному результату едва ли возможно.

Отказываясь объяснить таинственное рожденіе первыхъ попытокъ явленія власти души надъ тѣломъ, мы, тѣмъ не менѣе, видимъ ясно, какъ эта власть, данная душѣ, а не пріобрѣтенная ею, точно такъ же далная, какъ и способность чувствовать, формируется мало-по-малу именно чрезъ посредство опытовъ. Такъ, мы дѣйствительно замѣчаемъ, что ребенокъ мало-по-малу пріобрѣтаетъ способность направлять сначала движеніе глазъ за движеніемъ внѣшнихъ предметовъ, а потомъ движеніе рукъ къ предмету, движеніе пальцевъ, чтобы удержатъ предметъ, и т. д. Мы видимъ также, какъ мало-по-малу, посредствомъ опытовъ, устанавливается у ребенка связь между слуховыми и голосовыми органами, отчего появляется физическая возможность рѣчи. Вотъ отчего, при бездѣятельности слуховыхъ органовъ, самая рѣчь становится невозможною, хотя голосовые органы развиты, какъ слѣдуетъ. Глухо-нѣмой лишенъ возможности контроля надъ звуками, которые онъ издаетъ, и только это одно мѣшаетъ ему говорить. Въ училищахъ глухо-нѣмыхъ замѣняютъ, хотя не вполне, этотъ контроль слуха контролемъ зрѣнія и осязанія, заставляя глухо-нѣмого, осязая гортань и смотря въ зеркало, наблюдать движенія своего собственного рта и горла въ то время, когда онъ ощущаетъ усиленіе для произведенія тѣхъ или другихъ звуковъ, хотя и не слышитъ этихъ звуковъ.

Мы также вполне согласны съ Бэнномъ, когда онъ доказываетъ, что тѣ самыя дѣйствія, которымъ мы выучились медленнымъ путемъ сознанія и попытокъ, превращаются потомъ въ сложный рефлексъ, который выполняется уже быстро и безъ всякаго труда, только подъ вліяніемъ того же желанія, которое руководило нами, когда мы ему выучились¹⁾. Такъ, ребенокъ многочисленными, весьма замѣтными опытами выучивается подымать руку и протигивать ее къ предмету. При этихъ опытахъ участвуютъ и зрѣніе, и осязаніе, и память; но когда черезъ повтореніе движеніе это дѣлается привычнымъ рефлексомъ, то ребенку уже не нужно повторять всего длиннаго процесса ученія, а стоитъ только *захотѣть* протянуть руку къ цвѣтку, чтобы она протянулась и сорвала цвѣтокъ. Наблюдая надъ развитіемъ дѣтей, мы замѣтимъ, что вначалѣ они даже не умѣютъ выплюнуть горькаго или противнаго куска, попавшаго къ нимъ въ ротъ, такъ что мать или няня

¹⁾ The Will, p. 394.

должны ихъ учить и этому нехитрому дѣйствию, которое выполняется потомъ дитятею и взрослыми почти совершенно рефлексивно.

Согласованіе движеній различныхъ органовъ пріобрѣтается опытами; но опытами же пріобрѣтается и способность *разъединять* такія движенія, которыя связаны уже самою природою въ одинъ рефлексъ. Одно изъ затрудненій, представляющихся учителю игры на фортепіано, состоитъ въ томъ, чтобы разъединить совмѣстное и рефлексивное движеніе пальцевъ, установленное самою природою, и пріучить ученика мгновенно выполнять каждымъ пальцемъ *отдѣльно* то или другое движеніе. Кажется, не трудно вертѣть обѣ руки разомъ въ разныя стороны; но только немногіе фокусники и посредствомъ долгаго ряда упражненій достигаютъ выполненія этого фокуса. Индійскіе фокусники показываютъ намъ, что власть человѣка въ этомъ отношеніи далеко еще не исчерпана. Трудно рѣшить, почему иные люди могутъ двигать ушами или носомъ, тогда какъ другіе не могутъ. Бэнъ объясняетъ это *случайнымъ* направленіемъ нервнаго тока къ такимъ мускуламъ, къ которымъ онъ у другихъ не направляется; но *случай* объясняетъ все, т. е. въ сущности не объясняетъ ничего, и пора бы уже отвыкнуть безотчетно употреблять это слово, которое значитъ какъ-разъ то же, что и слово «не знаю», но многихъ обманываетъ, заставляя ихъ думать, что они сказали что-то, хотя въ сущности они ничего не сказали.

ГЛАВА XXXIX.

Воля, какъ желаніе: элементы желанія—реальные и формальные.

Желаніе, какъ мы часто упоминали, есть уже сложное душевное явленіе, образующееся въ человѣкѣ въ теченіе его жизни на основаніи опытовъ удовлетворенія врожденныхъ человѣку стремленій. Прежде всего замѣтимъ, что желаніе есть особое (*sui generis*) *чувство*, которое всякій испытываетъ, но опредѣлить которое, какъ и всякое другое элементарное чувство, никто не въ состояніи. Если мы скажемъ, что *чувство* желанія (не самое желаніе) есть чувство неудовлетвореннаго стремленія, соединеннаго съ представленіемъ его удовлетворенія, то этимъ мы перечислимъ только условія, при которыхъ желаніе появляется, но никакъ не выразимъ самаго чувства желанія. Стремленіе безъ представленія того, къ чему стремимся, можетъ заставить насъ страдать; но мы сами не будемъ знать причины нашихъ страданій: только при представленіи предмета, удовлетворяющаго мучащему насъ стремленію, оно превратится въ желаніе, которое въ самомъ себѣ имѣетъ уже мучительный элементъ стремленія. Слѣдовательно, для желанія необходимъ уже опытъ удовлетвореннаго стремленія.

Но во всякомъ желаніи, кромѣ этихъ *двухъ* элементовъ,—предполагаемаго стремленія и сознаваемаго представленія того, къ чему стремимся,—есть еще *третій* элементъ, а именно—*воспоминаніе* того чувствованія, которое мы испытали при томъ или другомъ опытѣ удовлетворенія нашихъ стремленій. Первые два элемента желанія намъ уже знакомы; о третьемъ мы упоминали только мимоходомъ, тогда какъ онъ очень важенъ. Признавая, что въ желаніи есть необходимо *воспоминаніе* разъ или нѣсколько разъ испытаннаго нами чувствованія, мы должны признать, что чувствованія, какъ и представленія, вышедшія изъ нашего сознанія, оставляютъ въ насъ *слѣды*, которые потомъ возрождаются при воспоминаніи. Сохраненіе въ насъ, безсознательно для насъ самихъ, этихъ слѣдовъ чувствованій, какъ и слѣдовъ представленій, одинаково таинственно и одинаково не подлежитъ сомнѣнію. Кто же изъ насъ не сознаетъ, что въ немъ сохраняются не только слѣды образовъ и звуковъ, но и слѣды чувствованій, имъ пережитыхъ? Какъ они сохраняются—мы этого не знаемъ; но, судя по тому, какъ они снова возникаютъ къ сознанію, мы должны заключить, что и сохраняются они различно.

Прежде всего замѣтимъ, что опыты удовлетворенія нашихъ стремленій, всегда сопровождаемые чувствованіями, оставляютъ свои слѣды въ видоизмѣненіи, въ спеціализаціи нашихъ стремленій. Удовлетворяя такъ или иначе нашимъ органическимъ или растительнымъ стремленіямъ, мы значительно видоизмѣняемъ и опредѣляемъ самыя эти стремленія. Такъ, привычка къ той или другой пищѣ дѣлаетъ для насъ иную пищу не только неприятною, но даже вредною, и, наоборотъ, можно привыкнуть къ такой пищѣ, которая для другихъ вредна. То же самое замѣчаемъ мы и въ отношеніи стремленій духовныхъ. Сначала въ насъ живетъ общее стремленіе къ красотѣ; но, смотря по способу удовлетворенія этого стремленія, само оно видоизмѣняется, спеціализируется, и человѣкъ, мало-по-малу, дѣлается воспріимчивымъ только къ красотѣ того или другого вида, и при томъ на той или другой ступени ея развитія. Отсюда различныя понятія о красотѣ у различныхъ народовъ, у одного и того же народа на различныхъ ступеняхъ его развитія, у различныхъ людей различныхъ классовъ общества, у одного и того же человѣка въ различные періоды его жизни.

Но ничто такъ не разнообразится въ людяхъ, какъ удовлетвореніе *душевнаго* стремленія къ дѣятельности. И это понятно: ибо тогда какъ содержаніе *тѣлесныхъ* и *духовныхъ* стремленій, хотя въ общихъ чертахъ, но уже дано намъ, содержаніе *душевнаго* стремленія къ дѣятельности создается самою жизнью и потому безконечно разнообразно, какъ самыя жизни людей. Мы увлекаемся къ той дѣятельности, къ которой предварительно работали уже болѣе средствъ, выплели болѣе связныхъ сѣтей представле-

ній, какого бы рода онѣ ни были. Но такъ какъ жизненные результаты въ этомъ отношеніи для каждаго человѣка различны, то такъ же различны и увлекающія ихъ сферы дѣятельности. Здѣсь, слѣдовательно, видоизмѣняется не самое стремленіе, а слѣды представленій; стремленіе остается одно и то же: стремленіе къ дѣятельности по возможности обширной и въ то же время по возможности легкой. Если же остается слѣдъ въ самомъ стремленіи, то именно только въ *размѣрѣ* той дѣятельности, которой она требуетъ. Человѣкъ мало развитой, мало жившій душевною жизнью, удовлетворяется такою узкою душевною дѣятельностью, которая для другого, развитого человѣка, привыкшаго къ широкой дѣятельности и, можетъ быть, въ той же самой сферѣ, покажется невыносимо неудовлетворительною.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что самыя стремленія наши, уже независимо отъ нашихъ чувствованій, видоизмѣняются или участвуются, опредѣляются, специализируются опытами нашей жизни. Обратившись же къ сохраненію слѣдовъ пережитыхъ нами чувствъ, мы найдемъ, что и это сохраненіе, судя по возникновенію слѣдовъ къ сознанию, бываетъ неодинаково.

Наблюдая надъ собой, мы замѣтимъ, что часто какое-нибудь слово, звукъ, картина производитъ въ насъ веселое или грустное, пріятное или непріятное впечатлѣніе; вызываетъ въ насъ чувство отвращенія, любви, гнѣва, страха, такъ что мы сами не можемъ дать себѣ отчета, почему это впечатлѣніе, безразличное само по себѣ, такъ, а не иначе на насъ подѣйствовало. Но, сдѣлавъ усиліе надъ нашею памятью, мы иногда открываемъ, что эти образы, звуки, картины, безразличныя сами по себѣ, связаны въ нашей памяти съ воспоминаніемъ какого-либо событія, переполненнаго именно тѣмъ чувствомъ, которое вызвано въ насъ отрывочнымъ представленіемъ. Здѣсь ясно, что слѣдъ чувства какъ-то слился съ самимъ слѣдомъ представленія и жилъ вмѣстѣ съ нимъ въ нашей нервной системѣ, безсознательно для насъ самихъ. Такое возникновеніе пережитаго чувства къ сознанию несправедливо было бы назвать только *воспоминаніемъ*, а скорѣе слѣдуетъ назвать *воспроизведеніемъ*, ибо при немъ мы опять переживаемъ прежнее чувство.

Собственно *воспоминаніемъ* чувства слѣдуетъ назвать тотъ актъ нашей души, когда мы, вспоминая какое-нибудь представленіе, вспоминаемъ и чувствованіе, когда-то его сопровождавшее, но уже не испытываемъ самого этого чувствованія. Это уже воспроизведеніе не самаго чувства, а того акта сознанія или, лучше сказать, *самосознанія*, которымъ мы отдѣлили это чувство отъ другихъ чувствъ. Естественнo, что если мы вспоминаемъ такимъ образомъ пріятное чувство, то въ насъ рождается *желаніе* его воспроизведенія, а если непріятное, то соотвѣтствующее этому *нежеланіе*. Разница между *воспоминаніемъ* и *воспроизведеніемъ* чувства и обозна-

чается именно нашимъ желаніемъ или нежеланіемъ. Бенеке, на иносказательномъ языкѣ своей психологіи, выразилъ это душевное явленіе довольно удачно, говоря, что, по мѣрѣ того, какъ *стремленіе* освобождается отъ *впечатлѣнія*, съ которымъ оно было связано болѣе или менѣе крѣпко, само стремленіе становится не неопредѣленнымъ стремленіемъ, готовымъ соединиться со всякимъ впечатлѣніемъ, но стремленіемъ уже опредѣленнымъ по тому впечатлѣнію, которое отъ него отдѣлилось,—становится *желаніемъ*¹⁾.

Собственно говоря, всякое *воспоминаніе* чувствованія сопровождается хотя легкимъ его *воспроизведеніемъ*. Но мы сознаемъ всю разницу между этимъ блѣднымъ воспроизведеніемъ и тѣмъ яркимъ чувствомъ, которое обхватывало нашу душу, когда дѣйствительность вліяла на нее непосредственно. И чѣмъ сильнѣе эта разница, тѣмъ томительнѣе наше желаніе возобновить наше прежнее чувство во всей его прежней яркости. Въ этомъ отношеніи также слѣдуетъ различать слѣды чувствованій, оставшіеся при удовлетвореніи душевнаго стремленія къ дѣятельности, отъ слѣдовъ чувствованій, оставшихся при удовлетвореніи стремленій тѣлесныхъ. Если, вспоминая наслажденіе хорошимъ обѣдомъ, мы желаемъ возобновить его, хотя еще и не чувствуемъ голода, то отъ этого не родится желаніе ѣсть, если тѣлесное стремленіе еще не успѣло возникнуть въ насъ, но рождается желаніе душевной дѣятельности, которую дало намъ это наслажденіе.

Слѣды пережитыхъ нами чувствованій сохраняются въ насъ, невѣдомо для насъ самихъ, цѣлыми обширными системами, соединенными съ такими же системами представленій. О способѣ этого сохраненія мы не можемъ сказать ничего фактически; но оно несомнѣнно. Въ каждомъ человѣкѣ живутъ такія системы слѣдовъ чувствованій, силы и обширности которыхъ онъ и не подозреваетъ, если случай не обнаружитъ ихъ. Такъ, мы можемъ сильно любить человѣка, съ которымъ постоянно живемъ, и не ощущать этой любви до тѣхъ поръ, пока какое-нибудь несчастье не покажетъ намъ всю глубину нашей привязанности. Человѣкъ можетъ прожить всю жизнь и не знать, какъ сильно любить онъ свое отечество, если случай, напр. долговременное удаленіе, не обнаружитъ для него самого всю силу этой любви. На этомъ основаніи нѣкоторые хотѣли отдѣлить страсти спокойныя отъ аффектовъ; но Гербартъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что всякая такая спокойная, спящая страсть можетъ превратиться въ сильнѣйшій аффектъ, совершенно возмущающій наше душевное спокойствіе.

Вообще сохраненіе въ насъ слѣдовъ пережитыхъ чувствованій—самая темная глава въ психологіи. Ясно только одно, что въ этомъ сохраненіи есть много общаго съ сохраненіемъ въ немъ слѣдовъ нашихъ представленій.

¹⁾ Benecke's Lehrb. der Psych. § 215.

Слѣды чувствованій также сохраняются внѣ нашего сознанія; въ нихъ также мы замѣчаемъ и душевный, и нервный элементы; въ воспроизведеніи ихъ также сходятся душевные элементы съ нервными; самая сила воспоминаемаго чувства зависитъ отъ силы представленія, съ которымъ оно связано. Если представленіе, наполнявшее когда-то счастьемъ всю нашу душу, ярко возникаетъ въ нашемъ сознаніи, то бывшее чувство снова какъ бы загорается въ насъ: быстро вспыхиваетъ, но и быстро меркнетъ, не поддерживаемое всею силою дѣйствительности, въ отношеніи которой наше представленіе есть только слабый, блѣдный образъ. Въ одномъ и томъ же душевномъ актѣ, какъ справедливо замѣчаетъ Бенеке, воспоминаніе и воспроизведеніе чувства часто смѣняются другъ друга. Но ясно, что такое воспоминаніе чувства есть только актъ *самосознанія*, отличившаго это чувство отъ другихъ и оцѣнившаго его значеніе въ отношеніи нашихъ стремленій.

Но если *такое* желаніе есть плодъ *самосознанія*, то слѣдуетъ признать, что оно можетъ быть только у человѣка, ибо только человѣкъ обладаетъ самосознаніемъ. Однакоже мы ясно наблюдаемъ желанія и у животныхъ. Какъ же объяснить ихъ? По всей вѣроятности, желаніе у животныхъ есть только пробужденіе стремленія, видоизмѣненнаго прежнимъ удовлетвореніемъ. Пробужденіе это или зависитъ отъ органическихъ причинъ, или вызывается видомъ предмета, разъ или нѣсколько разъ удовлетворившаго тому или другому стремленію. Съ этой точки зрѣнія Сократъ былъ совершенно правъ, приписывая желанія только людямъ; правы и гербартианцы, утверждающіе то же самое, но не объясняющіе различія между желаніемъ человѣка и соотвѣтствующимъ явленіемъ у животныхъ.

Разница между воспоминаніемъ и воспроизведеніемъ чувства или его повтореніемъ обозначается *желаніемъ* или *нежеланіемъ*. Мы желаемъ повторенія дѣйствительности, конечно; но въ сущности мы желаемъ повторенія чувства, вызваннаго въ насъ этою дѣйствительностью. Слѣдовательно, понятно, что мы желаемъ повторенія только тѣхъ впечатлѣній дѣйствительности, которыя были намъ пріятны, такъ или иначе удовлетворяя нашимъ стремленіямъ. Это совершенно ясно для всѣхъ чувствованій, возникающихъ изъ удовлетворенія тѣлесныхъ и духовныхъ стремленій; что же касается до душевнаго стремленія къ дѣятельности, то оно увлекаетъ насъ и къ воспроизведенію такихъ чувствованій, которыя, сами по себѣ, не могутъ доставлять намъ удовольствія. Ненависть, гнѣвъ, даже страхъ, горе и отвращеніе могутъ, соединившись съ представленіями, составить такія могучія сѣти сочетаній въ нашей душѣ, что будутъ перетягивать, увлекать ее къ себѣ, хотя для нея, конечно, не можетъ быть ничего пріятнаго ни въ чувствѣ страха, ни въ чувствѣ отвращенія. Мы можемъ весьма сильно желать видѣть предметъ, возбуждающій въ насъ

гнѣвъ или отвращеніе; но это не есть уже желаніе возобновленія пережитаго удовольствія, а порывъ душевной дѣятельности въ данномъ направленіи. Удовлетвореніе же стремленій души къ дѣятельности имѣетъ всегда въ результатѣ своемъ не чувство удовольствія, а самую дѣятельность ¹⁾).

Въ этомъ отношеніи мы считаемъ возможнымъ раздѣлить всѣ неисчислимыя желанія человѣка прежде всего на два рода: *желанія реальныя* и *желанія формальныя*. Къ *первымъ* относятся всѣ желанія, возникающія изъ нашихъ дѣйствительныхъ, прирожденныхъ намъ, тѣлесныхъ или духовныхъ стремленій; ко *вторымъ*—всѣ желанія, возникающія изъ общаго стремленія души къ дѣятельности, каково бы ни было ея содержаніе. Въ основѣ реальныхъ желаній нашихъ всегда лежитъ врожденное стремленіе, какъ бы мы ни опредѣлили и ни видоизмѣнили его опытами удовлетворенія. Какъ вначалѣ мы стремимся только *вообще* къ пищѣ, какова бы она ни была, а потомъ къ опредѣленной пищѣ, такъ что другая становится для насъ почти невозможною,—точно такъ же вначалѣ мы вообще стремимся къ красотѣ; но потомъ, вслѣдствіе опытовъ и чувствованій, которыми они сопровождаются, это общее стремленіе къ красотѣ до того специализируется, что мы теряемъ уже возможность понять иную красоту кромѣ той, которая долго возбуждала въ насъ чувство красоты. И тѣлесная, и духовная пища, своимъ специальнымъ содержаніемъ, специализируетъ наши и тѣлесныя, и духовныя стремленія. Нельзя сказать того же самаго о нашемъ душевномъ стремленіи къ дѣятельности: оно *равнодушно* къ своему содержанію и увлекается только легкостью и обширностью дѣятельности. Сильно развитое чувство ненависти, т. е. комбинированное съ обширными ассоціями представленій, точно такъ же привлекаетъ къ себѣ дѣятельность души, какъ и сильно развитое чувство любви. Мы не можемъ любить отвратительное; но, тѣмъ не менѣе, отвратительное можетъ увлекать къ себѣ нашу душу силою и разнообразіемъ тѣхъ ассоціій, съ которыми комбинировалось чувство отвращенія.

Особенно важное значеніе это наше дѣленіе желаній на *реальныя* и *формальныя* пріобрѣтаетъ при переносѣ формальныхъ желаній въ реальную область стремленій тѣлесныхъ.

Мы не можемъ желать удовлетворенія тѣлесныхъ стремленій, когда они уже удовлетворены; но можемъ досадовать на то, что удовлетвореніе этихъ уже удовлетворенныхъ стремленій не даетъ пріятной дѣятельности нашей душѣ, и тогда являются у насъ попытки возбудить эти стремленія, раздражить, *разворотить* ихъ, какъ прекрасно подмѣтилъ русскій языкъ въ своемъ характеристическомъ словѣ—*развратъ*. Въ удовлетво-

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XXIV.

реніи нашихъ органическихъ потребностей, по мѣрѣ ихъ органическаго, не зависящаго отъ насъ возрожденія, нѣтъ разврата, хотя и можетъ быть неумѣренность, унижающая человѣка. Развратъ же начинается, когда мы вносимъ нашу потребность душевной дѣятельности въ сферу тѣлесныхъ стремленій, требуемъ отъ тѣла пищи для неутолимаго стремленія къ душевной дѣятельности, и когда тѣло, уже удовлетворенное, отказывается въ ней, то мы дѣлаемъ попытки возбудить, разворотить въ немъ успокоенныя стремленія.

Эти попытки не остаются безплодными. Специализируя общія и простыя органическія стремленія, мы можемъ сильно разнообразить ихъ и въ этомъ разнообразіи удовлетворенія открывать все болѣшую и болѣшую сферу для душевной дѣятельности. Въ этомъ стремленіи человѣкъ изъ одного простого органическаго стремленія наплодилъ тысячи, которыя, обратившись въ привычки тѣла, мало-по-малу перестаютъ доставлять ему удовольствіе при удовлетвореніи, но мучатъ его при неудовлетвореніи. Животное имѣетъ тѣ же органическія потребности, какъ и человѣкъ, но относится къ нимъ гораздо нормальнѣе и не расплождаетъ ихъ. Это происходитъ отъ того, что хотя у животнаго и замѣчается стремленіе къ душевной дѣятельности, но въ самомъ этомъ стремленіи не замѣчается *стремленія къ прогрессивности*, ясно замѣчаемаго у человѣка. Возвращаясь къ своей прежней душевной дѣятельности, человѣкъ уже не удовлетворяется ею а хочетъ расширить ея предѣлы далѣе: животное же возвращается въ одномъ и томъ же кругу и не стремится его расширить. Вотъ отъ чего изъ простыхъ и немногочисленныхъ органическихъ потребностей, общихъ всему животному міру, человѣкъ насоздалъ цѣлый огромный и сложный міръ *потребностей* и, привыкая къ удовлетворенію ихъ съ дѣтства, часто потомъ стонетъ подъ ихъ тяжестью.

Отношеніе душевнаго стремленія къ дѣятельности—къ реальнымъ желаніямъ, возникающимъ изъ *духовныхъ* стремленій, нѣсколько другое. Наслаждаясь искусствами и наукою, мы усиливаемъ, какъ вѣрно замѣтилъ Кантъ ¹⁾, самую нашу способность наслаждаться. Но это усиленіе способности духовныхъ наслажденій невозможно тогда, когда мы *ищемъ только наслажденій* въ искусствѣ и наукѣ. Правда, что эти предметы, по безконечности своей, не могутъ быть исчерпаны, какъ исчерпываются наслажденія тѣлесныя; но зато, чтобы расширить наслажденіе ими,—а такое расширеніе составляетъ необходимое условіе *человѣческаго* наслажденія,—мы должны преодолѣвать тягость труда, къ чему не можетъ вызвать насъ одинъ диллетантизмъ, а только та идея, къ которой мы стремимся, вовсе не разбирая, сулитъ ли она намъ наслажденія или стра-

¹⁾ Kant's Anthropol. § 62.

данія. Стремленіе къ истинѣ, какъ бы ни горька была она, влечетъ истиннаго ученаго, и только при такомъ стремленіи самая способность наслаждаться истиною расширяется. Кромѣ того, стремленія тѣлесныя возрождаются періодически; стремленія же духовныя не знаютъ такой періодичности и могутъ расти, никогда не засыпая.

Перечисляя условія появленія въ насъ желаній, мы видимъ, что самое главное условіе есть все же стремленіе. Безъ стремленій—нѣтъ желаній; но если всѣ наши стремленія удовлетворены, то остается всегда одно, которое ничѣмъ нельзя удовлетворить,—стремленіе души къ дѣятельности. Оно-то именно и дѣлаетъ невыносимымъ состояніе человѣка, когда у него нѣтъ желаній, ибо наполняетъ душу однимъ страстнымъ желаніемъ жить, страстнымъ и мучительнымъ до того, что человѣкъ, не видящій возможности удовлетворить ему, рѣшается прекратить жизнь.

Г Л А В А XL.

Воля, какъ желаніе: выработка желаній въ убѣжденія и рѣшенія.

Въ предыдущей главѣ мы видѣли, какимъ образомъ изъ немногихъ врожденныхъ человѣку стремленій разрождается въ немъ неисчислимое множество желаній и нежеланій, которыя могутъ очень часто противорѣчить одно другому. Но такъ какъ желаніе дѣлается *волею* души или ея *рѣшимостью* только при томъ условіи, чтобы оно овладѣло всею душою, сдѣлалось *единнымъ* желаніемъ души въ данный моментъ времени, то псвятно само собою, что для того, чтобы перейти въ рѣшимость, желаніе должно выдержать борьбу съ противоположными ему желаніями и нежеланіями и одолѣть ихъ. Прослѣдимъ же эту выработку желанія въ форму рѣшимости, которая выражается уже властью души надъ тѣломъ и переходитъ въ выполненіе, если условія дѣйствительности, внѣшней для человѣка, не представляютъ тому преграды.

Почти всѣ психологи, начиная съ Аристотеля, отличаютъ желаніе отъ рѣшимости и говорятъ, что «я желаю» не значитъ «я хочу». Но это справедливо не для всѣхъ возрастовъ человѣка. Въ младенчествѣ, какъ мы замѣтили выше, желать и хотѣть значитъ одно и то же. Но чѣмъ старше становится человѣкъ, тѣмъ дальше у него рѣшеніе отъ желаніе. Это явленіе, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, объясняется малочисленностью, разорванностью и малосложностью тѣхъ сочетаній, которыя существуютъ въ душѣ дитяти, въ сравненіи съ многочисленными, связными и обширными сѣтями сочетаній, наполняющими душу взрослою. Желаніе, зародившееся

въ душѣ младенца, не находя въ ней сопротивленія въ другихъ представленіяхъ и связанныхъ съ ними желаніяхъ, мгновенно овладѣваетъ всею душою и потому непосредственно превращается въ актъ воли. Совершенно не то видимъ мы въ душѣ взрослого. Чтобы овладѣть этою душою (а только при этомъ условіи желаніе становится волею), желаніе должно преодолѣть множество противоборствующихъ представленій, и если не всѣ тѣ, которыя находятся въ душѣ, то по крайней мѣрѣ тѣ, съ которыми оно встрѣтится на пути своей выработки, и тогда только оно, можетъ быть на одно мгновеніе даже, станетъ *единственнымъ желаніемъ души*, т. е. волею или рѣшеніемъ. Пояснимъ это примѣрами.

Человѣкъ хочетъ взять вещь, которая ему нравится, т. е. которая такъ или иначе удовлетворяетъ существующему въ немъ стремленію. Если съ представленіемъ этой вещи не связано никакихъ другихъ противоборствующихъ представленій, то желаніе немедленно же перейдетъ въ актъ воли, т. е. станетъ выполняться, если не встрѣтитъ какихъ-нибудь препятствій уже не въ душѣ, гдѣ оно ихъ не нашло, но во внѣшнемъ для души мірѣ. Дитя хочетъ поднять слишкомъ тяжелую вещь и немедленно же дѣлаетъ усиліе. Но вещь не поддается этимъ усиліямъ. Вслѣдствіе многихъ такихъ неудачныхъ попытокъ, съ представленіемъ о вещи связывается уже другое представленіе—представленіе о ея тяжести. *Тогда только въ душѣ дитяти желаніе отдѣляется отъ рѣшенія*. Дитя все же будетъ желать поднять вещь, но уже не можетъ захотѣть этого, не можетъ рѣшиться поднять ее, потому что противоборствующее представленіе о тяжести вещи не позволитъ желанію перейти въ попытку исполненія. Чѣмъ далѣе живетъ дитя, тѣмъ болѣе накапливается въ душѣ его представленій, проникнутыхъ чувствованіями; чѣмъ сложнѣе становятся сочетанія этихъ чувственныхъ представленій, тѣмъ труднѣе родившемуся желанію пробиться сквозь всѣ эти чувственныя сочетанія, одолѣть одни, обойти другія и, овладѣвъ всею душою, превратиться въ *рѣшеніе*, за которымъ, какъ неминуемое послѣдствіе, слѣдуетъ актъ воли, т. е. попытка исполненія.

Представимъ еще другой примѣръ, болѣе сложный. Мальчикъ хочетъ взять вещь, которая ему нравится, т. е. которая обѣщаетъ удовлетвореніе тому или другому его стремленію. Но уже желанію этому трудно пробиться сквозь цѣлую массу накопившихся въ душѣ представленій. Положимъ, что вещь, которую дитя хочетъ взять, составляетъ чужую собственность. Съ представленіемъ о вещи возникаетъ и представленіе о чужой собственности. Это представленіе чрезвычайно сложно: это уже цѣлая громадная ассоціація представленій, и притомъ такая, которая въ каждой душѣ имѣетъ свою особую исторію. Одинъ познакомился съ понятіемъ о собственности, испыталъ на самомъ себѣ горькое чувство, когда

у него отняли вещь, доставлявшую ему удовольствіе; другой познакомился съ понятіемъ о собственности потому, что его наказали, когда онъ тронулъ чужую вещь; третьему внушили представленіе о собственности взрослые, говоря: «это твое, а это не твое»; «чужое трогать стыдно» и т. п. У каждаго, кромѣ того, въ представленіе о чужой собственности вписались слѣды множества разнообразнѣйшихъ опытовъ. Одному удавалось часто пользоваться чужою собственностью; другого всякій разъ, когда попадался, наказывали; третьему только грозили, но не наказывали; четвертаго бранили, но не отымали даже вещи; пятаго даже защищали, хотя онъ бралъ чужую вещь; шестого даже хвалили за ловкость и смѣлость, и т. д. Всѣ эти опыты, перемѣшиваясь между собою, оставляли свои слѣды въ душѣ человѣка, а изъ всѣхъ этихъ слѣдовъ выткалась чрезвычайно сложная сѣть чувственныхъ сочетаній, которую мы называемъ понятіемъ о чужой собственности. Возродившееся желаніе захватить чужую вещь пробѣгаетъ или по всей этой сѣти представленій, или только по одной части ея, такъ какъ другіе слѣды слишкомъ слабы и не возникли во-время въ сознаніи. Удастся желанію побѣдить эту сѣть представленій—и чужая вещь взята; не удастся—и желаніе осталось желаніемъ, не перейдя въ рѣшеніе.

Однакоже желаніе, побѣжденное такимъ образомъ, не всегда побѣждено окончательно. Положимъ, что чужая вещь имѣетъ много привлекательнаго для дитяти, и вотъ дитя, отказавшись взять ее, продолжаетъ о ней думать: ставитъ себя въ разныя отношенія къ привлекающей его вещи, измѣняетъ ее въ своемъ воображеніи такъ или иначе, представляетъ возможность взять ее украдкою и т. д., словомъ—выплетаетъ уже обширную ассоціацію представленій, связанныхъ однимъ желаніемъ—желаніемъ чужой вещи. Но эта обширность ассоціаціи сама по себѣ не рѣшитъ еще поступка, какъ то полагаетъ Гербартъ: она только установитъ постоянство желанія, но не его напряженность, которая условливается уже самою напряженностью стремленія, давшего начало желанію. Напряженность же стремленія опять зависитъ отъ разныхъ причинъ: или стремленіе сильно само по себѣ, какъ напримѣръ у лакомки, который давно не лакомился, или оно сильно потому, что другія слабы, потому что у мальчика, напримѣръ, нѣтъ дѣятельности и что въ душѣ его нѣтъ другихъ, болѣе сильныхъ интересовъ, которые могли бы увлечь къ себѣ его душу. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ данное стремленіе усиливается всею силою неудовлетвореннаго стремленія къ дѣятельности. Вотъ почему праздность дѣтей бываетъ причиною множества безнравственныхъ поступковъ. Если въ какомъ-нибудь заведеніи дѣти страдаютъ отъ скуки, то надобно непременно ожидать, что появятся и воришки, и лгуны, и испорченные сластолюбцы, и злые шалуны. «Увеличенный гнетъ противоположности, говоритъ Фолькманъ,

можетъ оказать на желаніе двоякое вліяніе: онъ можетъ потемнить представленіе, въ которомъ желаніе имѣетъ свое мѣсто (?), и можетъ поднять его до maximum'a напряженности. Первое случается, когда представленіе довольно изолировано; второе, когда оно уже сдѣлалось средоточіемъ цѣлой сѣти представленій, тогда какъ противоположное стоитъ одиночно. Отсюда правда въ извѣстномъ выраженіи Ларошфуко, что «удаленіе дѣйствуетъ на наши страсти, какъ буря на огонь: слабый тушитъ, сильный превращаетъ въ пламя» ¹⁾. Это описаніе совершенно справедливо, но только для однихъ желаній, возникающихъ изъ душевнаго стремленія къ дѣятельности. Тамъ дѣйствительно въ борьбѣ желаній дѣло рѣшается относительною обширностью ассоціацій; но въ желаніяхъ, возникающихъ изъ тѣлесныхъ стремленій, рѣшаетъ также и напряженность самаго стремленія. Какъ бы ни одиноко стояло желаніе ѣсть, но если голодъ силенъ, то это одиночное желаніе опрокинетъ громаднѣйшія ассоціаціи представленій.

Тѣмъ же путемъ совершается борьба желаній и въ душѣ взрослога человѣка, только борьба эта становится еще сложнѣе, по большей сложности чувственныхъ ассоціацій, наполняющихъ его душу. Но здѣсь рождается очень важный вопросъ. Мы сказали, что иногда вырабатывающееся желаніе пробѣгаетъ всю сѣть противоборствующихъ ему представленій и преодолеваетъ ихъ или преодолевается ими, а иногда борется только съ нѣкоторыми представленіями, уклоняясь отъ однихъ, вовсе не замѣчая другихъ, которыя могутъ возникнуть въ сознаніи уже послѣ того, какъ поступокъ совершенъ. Въ этомъ отношеніи и характеры людей различны, и ходъ желаній въ одной и той же душѣ бываетъ различенъ. Это различіе и выражается въ томъ, что мы называемъ большею или меньшею *обдуманностью* поступка.

Гербартъ весьма основательно приписываетъ обдуманность опыту. Удовлетворивъ какому-нибудь своему желанію необдуманно, человѣкъ очень скоро испытываетъ, что онъ поступилъ противъ другого своего желанія. Такъ, напримѣръ, удовлетворивъ минутному порыву гнѣва, мы оскорбили необдуманнымъ словомъ любимаго человѣка; но вслѣдъ затѣмъ очень скоро испытываемъ, что, удовлетворивъ одному нашему желанію, мы нарушили другое, гораздо болѣе обширное, связанное съ громадною сѣтью представленій, но мимо котораго какъ-то проскользнуло порывистое желаніе удовлетворить чувству гнѣва. «Такимъ образомъ, говоритъ Гербартъ, человѣкъ мало-помалу узнаетъ, какъ часто онъ можетъ быть невѣрнымъ самому себѣ» ²⁾, т. е., другими словами, человѣкъ опытами узнаетъ, что часто, удовлетворяя

¹⁾ Volkmann's Lehrb. der Psych. § 132.

²⁾ Lehrb. der Psych. von Herbart. § 229.

какому-нибудь желанію, которое въ данный моментъ кажется ему наибольшимъ, онъ въ то же время противодѣйствуетъ другому, которое въ немъ гораздо сильнѣе и обширнѣе. Опыты эти, часто повторяясь, оставляютъ въ душѣ болѣе или менѣе сильный и прочный слѣдъ, который можно высказать въ немногихъ словахъ, выражающихъ, что поспѣшное удовлетвореніе желанія, когда мы удовлетворяемъ ему прежде, чѣмъ оно помѣряется въ своихъ силахъ съ другими живущими въ насъ желаніями и нежеланіями, часто причиняетъ намъ страданіе, гораздо болѣе прочное и обширное, чѣмъ то удовольствіе, которое мы получили отъ удовлетворенія необдуманнаго желанія. Когда такое сложное чувственное представленіе свяжется съ обширными ассоціаціями слѣдовъ различныхъ опытовъ, своихъ и чужихъ, тогда оно является въ душѣ могущественною *препоною* для всякаго рода желаній, мимо которой не можетъ пройти ни одно изъ нихъ, не помѣрившись съ нею силами. Такое представленіе, все возникающее изъ опытовъ, и составляетъ *основу обдуманности* въ характерѣ человѣка и *осторожности* въ его поступкахъ. Если въ жизни человѣка было много такихъ удовлетворенныхъ желаній, въ удовлетвореніи которыхъ онъ потомъ глубоко раскалялся, то весь характеръ человѣка можетъ сдѣлаться крайне нерѣшительнымъ. Изъ этого уже видно, что обдуманность въ словахъ и поступкахъ есть плодъ опыта; но не трудно убѣдиться, что основой этого опыта является человѣку только принадлежащая способность самонаблюденія. Вотъ почему Аристотель обдуманностью отличаетъ поступки взрослыхъ людей отъ поступковъ животныхъ и дѣтей, хотя и не высказываетъ, что въ основѣ обдуманности лежитъ *самосознаніе* ¹⁾. Только наблюдая надъ самимъ собою, надъ протекшими и настоящими состояніями своей души, человѣкъ можетъ выработать въ себѣ сложное и обширное чувственное представленіе о необходимости дать время всякому возникшему желанію помѣраться своими силами со всѣми прочими желаніями и нежеланіями души.

Процессъ *обдумыванія* предшествуетъ образованію *убѣжденій* и *рѣшеній*. Формировка же убѣжденія предотвращаетъ возвращеніе назадъ и раскаянiе. «Убѣжденіе, говоритъ Гербартъ, достигаетъ этого тѣмъ, что допускаетъ каждому возможному ряду представленій и каждому желанію, могущему прійти въ столкновеніе съ другимъ, совершенно выступить въ сознаніи и настолько противодѣйствовать или содѣйствовать другимъ, насколько станетъ у него силы. Если при этомъ нѣчто будетъ позабыто, или что-нибудь не окажетъ своего дѣйствія въ убѣжденіи, насколько можетъ, то останется опасность, что послѣдуетъ другое расположеніе духа, при которомъ первое рѣшеніе окажется дурнымъ. Практическое убѣжденіе еще

¹⁾ Arist. Eth. B. III. Cap. 11, § 16.

усложняется связью средств и цѣлей. Оно (т. е. само убѣжденіе?) не только должно взвѣсить разнообразныя желанія, выбрать цѣль между многими цѣлями, но также пробѣжать ряды возможныхъ послѣдствій, которыя связаны съ цѣлями» ¹⁾).

Отбросивъ невозможное понятіе убѣжденій, думающихъ и самихъ себя взвѣшивающихъ, свойственное гербартовской теоріи, мы видимъ, что она представляетъ намъ очень вѣрную картину чрезвычайно сложнаго процесса обдумыванія, изъ котораго въ теоретическомъ мірѣ мысли выходитъ *убѣжденіе*, а въ практическомъ мірѣ дѣятельности—*рѣшеніе*. Но, принимая громадную сложность ассоціацій представленій, связанныхъ тѣми или другими желаніями, которыя составляютъ содержаніе души взрослаго человѣка, невольно рождается вопросъ: возможны ли для человѣка такія рѣшенія, которыя были бы математически вѣрными выводами изъ механическаго процесса взвѣшиванья *всѣхъ* представленій, составляющихъ содержаніе его души, на вѣсахъ всей совокупности ея стремленій или ея интересовъ, что все равно? Герbartъ считаетъ такую полную и законченную организацію души возможною только въ загробной жизни ²⁾. Здѣсь же считаетъ возможнымъ только большее или меньшее приближеніе къ ней.

Но и *относительная* полнота рѣшенія, выражающая въ себѣ если не все содержаніе души, то значительную часть его, была бы невозможна, если бы для этого требовалось, чтобы каждое нарождающееся въ насъ желаніе примѣрялось ко всѣмъ отдѣльнымъ представленіямъ по одиночкѣ, ибо ихъ неисчислимо множество. Но дѣло въ томъ, что въ каждой душѣ эти чувственныя представленія не остаются въ своей отдѣльности, но слагаются самою жизнью въ болѣе или менѣе обширныя чувственныя массы представленій, итоги которыхъ уже предварительно подведены въ опредѣленныхъ желаніяхъ, нежеланіяхъ, опредѣленныхъ убѣжденіяхъ и предубѣжденіяхъ и, наконецъ, въ опредѣленныхъ жизненныхъ правилахъ. Вслѣдствіе этого, возникшему новому желанію приходится мѣряться силами не съ отдѣльными чувственными представленіями, а съ цѣлыми массами ихъ, заранѣе сложившимися въ чувственныя понятія, убѣжденія, предубѣжденія, правила, и съ цѣлыми системами желаній и нежеланій. Однѣ изъ этихъ чувственныхъ системъ представленій поддерживаютъ новое желаніе всею своею силою, другія противоборствуютъ ему, третьи остаются къ нему безразличны. Понятно само собою, что чѣмъ болѣе систематизировались чувственныя представленія души, тѣмъ легче и успѣшнѣе можетъ совершаться процессъ обдумыванія, успѣшность котораго обозначается уменьшеніемъ возможности раскаиваться,

¹⁾ Lehrb. der Psych. von Herbart. §§ 114 и 116.

²⁾ Ibid., § 251.

которая однако всегда остается; ибо только такое рѣшеніе, которое было бы вѣрнымъ математическимъ выводомъ изъ *всего* содержанія души, уничтожило бы всякую возможность раскаянія.

Быстрота и совершенство процесса обдумыванія зависятъ, впрочемъ, не отъ одной степени организаціи души, но и отъ многихъ другихъ причинъ: отъ врожденной быстроты процесса мышленія; отъ силы воли, распоряжающейся этимъ процессомъ для данной цѣли; отъ настойчивости стремленія, изъ котораго рождается желаніе: сильнѣйшій голодъ, напримеръ, можетъ увлечь къ быстрому и необдуманному поступку и такого человѣка, который отличается крайней обдуманностью и осторожностью во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ.

«Дать процессу обдумыванія, говоритъ Бэнъ, какъ разъ настоящее время и ничего лишняго—есть одно изъ высочайшихъ совершенствъ соединеннаго дѣйствія ума и воли»¹⁾. При этомъ случаѣ Бэнъ замѣчаетъ, вслѣдъ за Франклиномъ, что при процессѣ взвѣшиванія различныхъ обстоятельствъ, обусловливающихъ подготавливающееся рѣшеніе, послѣднее соображеніе, какъ самое новое, имѣетъ по свѣжести большое вліяніе на насъ чѣмъ прежнія, отчего мы часто впадаемъ въ ошибки, а если уже хорошо проучены жизнью, то въ нерѣшительность, ибо опытъ убѣждаетъ насъ, что *послѣдняя мысль—не всегда лучшая*. «Очень трудно, говоритъ Бэнъ, при какомъ-нибудь сложномъ рѣшеніи удерживать въ умѣ настоящій вѣсъ всѣхъ противоположныхъ соображеній, такъ чтобы въ моментъ заключенія счета получить съ каждой стороны вѣрный итогъ»²⁾.

Великій геній разсудочныхъ расчетовъ, Веніаминъ Франклинъ, въ письмѣ своемъ къ Іосифу Престлею, подъ названіемъ «моральная алгебра», рекомендуетъ употреблять вообще при обдумываніи серьезныхъ рѣшеній тотъ же способъ, какой употребляется и при денежныхъ счетахъ. Онъ совѣтуетъ раздѣлить листъ бумаги пополамъ, и въ дни, впередъ назначенные для разсужденія, записывать всѣ убѣжденія *pro* на одну сторону, а убѣжденія *contra*—на другую. Потомъ, если съ обѣихъ сторонъ найдутся два противоположные и равносильные довода, то ихъ вычеркивать; если на одной сторонѣ два или три, въ суммѣ равносильные одному на другой сторонѣ, то ихъ также вычеркивать и т. д. Тогда въ итогѣ получится рѣшеніе. Къ этому благоразумному совѣту Бэнъ прибавляетъ еще очень дѣльное практическое замѣчаніе. «Если рѣшеніе очень для насъ важно и мы можемъ протянуть обдумываніе на мѣсяць или болѣе, то мы въ концѣ cadaго дня должны пересматривать записанные нами доводы, и тогда замѣтимъ, что

¹⁾ The Will, p. 461.

²⁾ Ibid., p. 462.

въ нѣкоторые дни на насъ болѣе дѣйствуютъ одни доводы, чѣмъ другіе, чѣмъ и уменьшимъ вѣроятность такого поступка, въ которомъ могли бы потомъ раскаяться» ¹⁾; ибо раскаяніе, какъ мы видѣли выше (раскаяніе, а не укоръ совѣсти) ²⁾, возникаетъ тогда, какъ нашъ поступокъ окажется несоотвѣтствующимъ нашимъ же собственнымъ желаніямъ, которыхъ мы не сообразили въ то время, когда совершали поступокъ. Такъ, скряга, давшій сгоряча денегъ нищему, можетъ потомъ сильно раскаяться въ своемъ поступкѣ; но, конечно, это уже не будетъ укоръ совѣсти.

Но Франклинъ и Бэнъ, впрочемъ, выпускаютъ изъ виду, что не только наши понятія, какъ мы это старались показать въ первой части «Антропологии», но вслѣдствіе того и наши *установившіяся* желанія, уже какъ итоги борьбы, прежде совершавшейся въ нашей душѣ, могутъ быть въ сущности дурно сведенные итоги, заключающіе въ себѣ существенныя ошибки. Такъ, напр., человѣкъ можетъ получить отвращеніе къ чему-нибудь, къ какому-нибудь дѣлу, предмету, наукѣ или человѣку, вслѣдствіе ложнаго понятія объ этихъ предметахъ, которое, въ свою очередь, было слѣдствіемъ ошибочныхъ наблюденій, опять условливаемыхъ разными причинами. Это чувство отвращенія и возбуждаемая имъ желанія и нежеланія будутъ входить уже во всякое новое рѣшеніе, какъ готовый итогъ. Такихъ ошибочныхъ итоговъ много у каждаго человѣка; но въ нѣкоторыхъ людяхъ ихъ уже такъ много, что положительно въ каждомъ ихъ рѣшеніи непременно будетъ ошибка, ошибка противъ ихъ же собственныхъ желаній. Есть нѣкоторыя немногія понятія, до того входящія во всякое почти рѣшеніе человѣка, какъ и во всякое его убѣжденіе, что если эти понятія выведены ошибочно, а вслѣдствіе того и проникнуты ложнымъ итогомъ желаній и нежеланій, то они путаютъ собою всю жизнь человѣка. Такія *генеральныя понятія*, по своей необыкновенной важности для всей практической и теоретической дѣятельности человѣка, должны обращать на себя все вниманіе воспитателя, ибо на нихъ-то основывается, главнымъ образомъ, направленіе всей человѣческой жизни. Къ сожалѣнію, эти понятія принимаются, большею частію, за такія извѣстныя, что о нихъ не стоитъ и разсуждать; а между тѣмъ, въ нихъ то и скрывается причина нашихъ главнѣйшихъ ошибокъ, какъ теоретическихъ, такъ и практическихъ.

Эти генеральныя понятія и желанія—итоги цѣлыхъ массъ представленій—носятъ одно и то же названіе у всѣхъ людей; но это вводитъ насъ только въ ошибку, что они тождественны. Напротивъ, если мы могли бы извлечь изъ каждой души всю массу представленій, составляющихъ само-

¹⁾ The Will. p. 462.

²⁾ См. выше, ч. II, гл. XXIV.

общеизвестное понятіе, *человѣкъ*, напрімѣръ, и могли анализировать эти массы, сложившіяся въ разныхъ душахъ, то съ изумленіемъ замѣтили бы, какъ они различны, и поняли бы тогда, откуда происходитъ все различіе въ отношеніяхъ людей къ другимъ людямъ. Для одного человѣкъ—врагъ, съ которымъ онъ всегда и вездѣ долженъ бороться; для другого—предметъ эксплуатаціи; для третьяго—пріятный собесѣдникъ; для четвертаго—предметъ презрѣнія; для пятаго—предметъ обожанія и т. д. въ безконечность и въ безконечныхъ видоизмѣненіяхъ. Отсюда видно, что если такое понятіе, связанное съ системой чувствъ, желаній, нежеланій, входитъ почти въ каждый процессъ обдумыванія человѣческаго поступка, то и въ результатѣ этого процесса, въ рѣшеніи, должны выразиться всѣ вѣрныя и ошибочныя особенности этого проникнутаго чувствами понятія, или, лучше сказать—этого итога громадной массы представленій, изъ которыхъ каждое несло свое особое чувствованіе и свои особыя желанія и нежеланія. Можно сказать съ увѣренностью, что если воспитатель дастъ своему воспитаннику истинный, не теоретическій только, но и практический, т. е. проникнутый чувствованіями и желаніями, взглядъ на человѣка, то положить незыблемую основу нравственнаго воспитанія. Отсюда же, какъ мы увидимъ дальше, и необыкновенная *психическая* важность христіанскаго воспитанія, если только оно совершается какъ слѣдуетъ: если идеаль человѣка, данный намъ Евангеліемъ, ложится въ душу дитяти и юноши не мертвыми, холодными чертами, а чертами, горящими чувствомъ и желаніемъ. Мы убѣждены, что если бы языческій философъ, отвергнувшій свою мифологію, но понимающій хорошо душу человѣка и ея потребности, встрѣтилъ Евангеліе, то онъ внесъ бы его въ воспитаніе самыхъ дорогихъ для него существъ.

Однѣ и тѣ же ошибки въ итогахъ обширныхъ массъ представленій, чувствъ и желаній могутъ быть общими цѣлому вѣку, цѣлому народу или цѣлому классу общества. Отъ этого зависитъ величайшая трудность, съ которою новая идея, выведенная изъ новыхъ, болѣе вѣрныхъ наблюденій, проникаетъ въ убѣжденія человѣчества и вносится потомъ, какъ новая или вновь исправленная функція, въ его рѣшенія и поступки. Для того, чтобы принять вновь сложенное умственное понятіе, слѣдуетъ анализировать и искоренить старое, уже вкоренившееся, для чего нужны и время, и трудъ. Но въ отношеніи *чувственныхъ* понятій—этого итога сложной массы представленій, чувствованій и желаній—одного умственнаго пересмотра мало; ибо старый итогъ сложился не только изъ холодныхъ умственныхъ концепцій, но изъ живыхъ чувствъ, желаній и нежеланій, которыя мало было *передумать*, но которыя надобно было *пережить*, чтобы они вошли въ общій итогъ. Вотъ почему новая идея, особенно имѣющая практическое зна-

ченіе, только медленнымъ и болѣзненнымъ процессомъ входитъ въ жизнь человѣчества. Не скоро она бываетъ понята въ своей точности; но еще медленнѣе входитъ она въ характеръ человѣка. Нужны тысячи опытовъ, которые оставили бы въ душѣ человѣка тысячи слѣдовъ чувствованій и желаній, чтобы это, вновь прouvренное, генеральное понятіе могло занять мѣсто стараго. Утописты, мечтающіе о быстрой реформѣ рода человѣческаго, не знаютъ исторіи человѣческой души; но эти самые утописты необходимы: только ихъ пламеннымъ рвеніемъ движется этотъ медленный процессъ, и новая идея, хотя медленно и трудно, но все же входитъ въ *характеръ* человѣка и человѣчества. Безъ этихъ утопистовъ міръ только бы скрипѣлъ на своихъ старыхъ заржавленныхъ основахъ и, сжываясь все болѣе и болѣе со своими закоренѣлыми предразсудками, уходилъ бы въ нихъ все глубже и глубже, какъ въ топкое болото.

Г Л А В А XII.

Воля, какъ желаніе: переходъ желаній въ наклонности и страсти.

Желаніе есть, очевидно, главный элементъ всякой наклонности и страсти. Но такъ какъ само желаніе есть сложное психическое явленіе, устанавливаемое уже опытами жизни, то наклонности и страсти, являясь цѣлыми системами желаній, должны быть и подавно признаны сложными душевными явленіями, образующимися уже въ теченіе жизни. Однакоже, если рѣдко говорятъ о *врожденныхъ* страстяхъ, то очень часто о *врожденныхъ наклонностяхъ* человѣка, и это мнѣніе не совершенно лишено справедливости.

Въ первой части «Антропологии» мы видѣли, что фактъ наслѣдственности замѣчается не только въ отношеніи видимыхъ особенностей тѣла, но также, и еще гораздо болѣе, тѣхъ особенностей, причинъ которыхъ мы не видимъ и не знаемъ, но которыя предполагаемъ въ неизвѣстныхъ намъ особенностяхъ организма и болѣе всего нервной системы ¹⁾. Явными фактами такой таинственной наслѣдственности являются многія наслѣдственные болѣзни и въ особенности нервныя, наприм. наслѣдственное помѣшательство, прорывающееся иногда черезъ одно и два поколѣнія въ третьемъ и т. п. Для каждаго ясно, что эти несчастныя наслѣдственные особенности были когда-то приобретенными, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, что мы должны признать наслѣдственность не только унаслѣдован-

¹⁾ Пед. Антроп. ч. I, гл. XIV.

ныхъ родителями, но и пріобрѣтенныхъ ими особенностей. Но, указывая на эти факты, мы тогда же замѣтили, что эту наследственность болѣзней и привычекъ, какъ унаслѣдованныхъ самими родителями, такъ и пріобрѣтенныхъ ими, слѣдуетъ приписать наследственности организма, такъ какъ наследственной передачи чисто душевныхъ пріобрѣтеній, наследственности знаній, идей, идеаловъ, духовныхъ стремленій, мы нигдѣ не замѣчаемъ. Все душевное и духовное пріобрѣтеніе человѣка передается путемъ сознательной *преемственности*, а не бессознательной *наследственности*.

Изъ сказаннаго вытекаетъ уже само собою, что насколько опыты удовлетворенія врожденныхъ тѣлесныхъ стремленій видоизмѣнили самыя эти стремленія ¹⁾ и отразились въ тѣлѣ, настолько и имѣютъ они вѣроятія перейти по наследству отъ родителей къ дѣтямъ. Такимъ путемъ передаются наследственно различныя идіосинкразіи, которыя, конечно, были когда-нибудь пріобрѣтенными; этимъ же путемъ, безъ сомнѣнія, могутъ передаваться наследственно и *нервные задатки*: наклонности къ крѣпкимъ напиткамъ, къ извѣстному тайному грѣху и всякаго рода азарту и т. п. Но нѣтъ сомнѣнія, что если бы человѣкъ, получившій такое несчастное наследство, былъ удаленъ въ младенчествѣ отъ дурного примѣра и не имѣлъ никогда случая попробовать спиртныхъ напитковъ или волненій азартной игры, то въ немъ не установилась бы ни та, ни другая наклонность или страсть, хотя нельзя ручаться, что унаслѣдованные имъ болѣзненные задатки не выразились бы въ какой-нибудь другой уродливости характера. Вотъ на какомъ основаніи мы совершенно отвергаемъ врожденность наклонностей, хотя не отвергаемъ возможности наследственной передачи задатковъ наклонностей. Самыя же наклонности и страсти такъ же не могутъ передаваться наследственно, какъ и желанія, опыты жизни и знанія. Великій умъ не переходитъ по наследству, какъ и обширная ученость или обширная опытность; хотя дитя можетъ получить въ наследство счастливую и сильную нервную организацію, могущественно содѣйствующую къ пріобрѣтенію знаній и образованію великаго ума; но такой счастливый наследникъ можетъ воспользоваться своимъ наследствомъ, а можетъ и вовсе не воспользоваться имъ, или промотать его на мелочи.

Изъ сказаннаго видно также, что наклонность, имѣющая для себя подготовку въ унаслѣдованной нервной системѣ, разовьется гораздо прочнѣе и быстрѣе, чѣмъ та, для которой нѣтъ такой подготовки. Но какъ та, такъ и другая могутъ образоваться только вслѣдствіе жизненныхъ опытовъ, какъ система слѣдовъ этихъ опытовъ, сохраняемыхъ и тѣлесною, и душевною, и духовною памятью человѣка. Но можетъ ли бороться человѣкъ съ такими

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XI.

врожденными задатками наклонностей; если окружающая сфера не исключает возможности соответствующих имъ опытовъ жизни? Можетъ ли человекъ подавить въ себѣ это унаслѣдованное зерно, если окружающая атмосфера заключаетъ въ себѣ пищу, необходимую для его развитія? Безъ сомнѣнія можетъ, можетъ настолько, насколько обладаетъ сознаниемъ и свободою. Наслѣдственное помѣшательство неотразимо, ибо человекъ теряетъ въ немъ и ясность сознанія, и свободу воли; но кто сознаетъ вредъ наклонности, въ немъ образовавшейся, какъ бы ни были сильны ея врожденные задатки, тотъ и можетъ бороться съ нею. Эту свѣтлую идею внесло въ мѣръ христіанство, разрушивъ наслѣдственность грѣха и преступленія, которая тяготѣла не надъ одними евреями, но была общимъ убѣжденіемъ и языческихъ народовъ, какъ это мы находимъ въ Китаѣ, Индіи, Египтѣ, Греціи и Римѣ. Въ какомъ бы отношеніи человекъ ни стоялъ къ догматамъ христіанской религіи, но если онъ усвоилъ плоды христіанской цивилизаціи, то уже не можетъ не отвергать наслѣдственныхъ преступленій, не можетъ не отвращаться съ ужасомъ отъ мысли казни потомковъ за преступленія родителей и отъ еврейскаго крика, призывающаго на головы дѣтей мщеніе за кровь, пролитую отцами. Даже воспитаніе самихъ евреевъ, если оно претендуетъ на современность и европеизмъ, должно быть построено на этой—*христіанской* идеѣ.

Собственно говоря, всякая наклонность образуется изъ врожденныхъ стремленій—унаслѣдовано ли человекомъ видоизмѣненіе этихъ стремленій, или нѣтъ,—но образуется уже опытами удовлетворенія и неудовлетворенія этихъ стремленій, оставляющими въ душѣ слѣды представленій удовлетворенія, слѣды чувствованій, его сопровождающихъ, словомъ, слѣды желаній. Образование наклонностей совершается не иначе, какъ черезъ посредство удовлетворенія желаній и представленій этого удовлетворенія, и притомъ такихъ представленій, которыя, не будучи совершенно тождественны между собою, способны, однакоже, по своему сродству, составить обширное сочетаніе представленій, цѣлую систему ихъ, проникнутую однимъ желаніемъ. Вотъ почему изъ совершенно тождественнаго удовлетворенія какого-нибудь тѣлеснаго стремленія, періодически возрождающагося, не можетъ образоваться наклонность и страсть, хотя можетъ образоваться сильная тѣлесная потребность именно такого, а не другого удовлетворенія. Когда же душа наша, за недостаткомъ дѣятельности духовной или даже физической, обращается за дѣятельностью къ ощущеніямъ, сопровождающимъ удовлетвореніе нашихъ тѣлесныхъ стремленій, тогда только начинается въ ней закладка будущей тѣлесной наклонности и страсти. Чѣмъ больше накапливается разнообразныхъ представленій удовлетворенія того или другого органическаго стремленія, тѣмъ обширнѣйшую ассоціацію составляютъ эти слѣды

въ душѣ и тѣмъ легче душа ими увлекается. Но такъ какъ одно повтореніе однихъ и тѣхъ же слѣдовъ не удовлетворяетъ *человѣческаго* стремленія къ дѣятельности, расширяющагося по мѣрѣ удовлетворенія, то человѣкъ пріискиваетъ всевозможныя средства, чтобы придать наибольшее разнообразіе удовлетворенію въ сущности одного и того же стремленія. Это явленіе можно прослѣдить не на одномъ стремленіи къ пищѣ. По мѣрѣ же разростанія ассоціацій представленій, возбуждающихъ сродныя желанія, выросшія изъ одного и того же природнаго корня, т. е. простого органическаго стремленія, душѣ становится все труднѣе и труднѣе работать что-нибудь иное, не уклоняясь въ ту сторону, гдѣ у нея уже столько наработано. Она начинаетъ *терять равновѣсіе* въ своей дѣятельности, а это и есть именно то состояніе души, которое мы называемъ *наклонностью*.

Если душа работаетъ не въ одномъ направленіи, а въ нѣсколькихъ различныхъ, тогда одна наклонность можетъ въ ней уравниваться другою, и это есть самое обыкновенное состояніе души *человѣческой*. Тогда и наклонности являются уже не наклонностями, а только разнообразными массами представленій, проникнутыхъ системами однородныхъ желаній. Слѣдовательно, наклонность, въ строгомъ смыслѣ слова, есть такая масса или большая ассоціація чувственныхъ представленій, которая перетягиваетъ всѣ прочія. При такомъ взглядѣ на образованіе и значеніе наклонности, является возможность положить нѣкоторую границу между *наклонностью* и *страстью*. Если какая-нибудь масса представленій, проникнутыхъ желаніемъ, перетягиваетъ всѣ прочія массы по одиночкѣ, то мы можемъ назвать это наклонностью; если же данная масса представленій, проникнутая системою однородныхъ желаній, перетягиваетъ всѣ остальные массы подобныхъ же представленій и по одиночкѣ, и сложенные вмѣстѣ, то мы можемъ назвать это страстью. Въ наклонности душа только начинаетъ терять равновѣсіе; въ страсти она уже потеряла его. Слѣдовательно, не сама по себѣ сила и обширность той или другой системы чувственныхъ представленій, возбуждающихъ въ насъ одно или множество однородныхъ желаній, но отношеніе этой системы къ другимъ системамъ чувственныхъ представленій, живущимъ въ насъ въ то же время, дѣлаетъ эту систему наклонностью или страстью.

Изъ предыдущаго понятно, что данная система чувственныхъ представленій можетъ также оказаться наклонностью не по собственной своей силѣ и обширности, но по слабости другихъ подобныхъ же чувственныхъ системъ представленій. Точно такъ же наклонность можетъ превратиться въ страсть не только потому, что она сама быстро растетъ, но и потому, что другія растутъ слабо и по слабости своей не только ей не противодействуютъ, но даже уступаютъ ей всѣ тѣ свои элементы, которые сколько-нибудь къ

ней подходят. Отсюда справедливость и той замѣтки, которую сдѣлалъ Спиноза, что склонность побѣждается только склонностью, а страсть — страстью. Отсюда объясняется и то явленіе, что въ слабой душѣ, т. е. въ такой, въ которой вообще чувственныя системы представленій слабы, и слабая склонность можетъ оказаться сильною, въ сущности все же оставаясь слабою. Сильна она потому, что нѣтъ ей противовѣса въ душѣ; но въ то же время она можетъ быть слаба, если ее сравнить съ силою подобной же чувственной системы въ другой душѣ, гдѣ, можетъ быть, та же самая страсть является только склонностью. Эта абсолютная слабость страсти можетъ зависѣть отъ слабости стремленій, изъ удовлетворенія которыхъ она выросла. И если по содержанію своему эти страсти дурны, то въ то же время онѣ являются и самыми презрѣнными страстями, ибо человѣкъ не находитъ оправданія даже въ силѣ увлекшихъ его стремленій.

Принимая въ расчетъ, что сами по себѣ ни тѣлесныя, ни духовныя стремленія не могутъ превратиться въ склонности и страсти, но что дѣлаетъ ихъ такими душа, ищущая въ ихъ удовлетвореніи пищи для своего стремленія къ дѣятельности, мы видимъ, что если воспитатель хочетъ, чтобы въ его воспитанникѣ не образовались *случайно* склонности и страсти, то онъ долженъ дать пищу его душевной дѣятельности. Вообще чувственныя системы представленій не могутъ не образовываться и не разрастаться въ душѣ: безъ этого душа не могла бы и жить; но пока между различными массаами однородныхъ желаній удерживается равновѣсіе, до тѣхъ поръ ни одну изъ этихъ массъ нельзя назвать склонностью. Изъ этого, однако, никакъ не слѣдуетъ, чтобы мы считали вообще вредными всякія склонности въ душѣ. Напротивъ, если склонности губятъ, то онѣ же и спасаютъ душу. Дѣло въ ихъ содержаніи, а не въ ихъ формѣ. Всѣ онѣ по формѣ своей однообразны, всѣ онѣ — болѣе или менѣе обширныя массы представленій, проникнутыхъ тѣми или другими однородными желаніями, и перевѣшивающія другія подобныя же массы представленій; но по содержанію своему склонности безконечно разнообразны, будучи произведеніями жизни человѣческой души, ея индивидуальныхъ опытовъ, представленій, чувствованій и желаній.

Воля человѣка можетъ подавлять склонности; но это ей тѣмъ труднѣе, чѣмъ сильнѣе то стремленіе, изъ котораго родилась система однородныхъ желаній, составившихъ склонность, и чѣмъ болѣе разрослась эта склонность. Но если прямо противодѣйствовать склонности трудно, потому что подавляемое стремленіе становится все сильнѣе и сильнѣе, то надобно различать, что сила склонности зависитъ не отъ одной, а отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, отъ силы самаго стремленія, изъ корня котораго развилась склонность; а во-вторыхъ, отъ обширности той сѣти представленій и желаній.

которую уже выплела душа на этой основѣ. Если *первая* причина, стремленіе, отъ неудовлетворенія становится напряженнѣе, то зато *вторая*, оставляемая въ забвеніи, ослабѣваетъ. Вотъ почему, желая противоборствовать наклонности или страсти, мы должны, съ одной стороны, удовлетворить тому стремленію, изъ котораго она выросла, а съ другой—направить дѣятельность нашей души на что-нибудь иное, и лучше всего въ ту область, гдѣ у насъ образовалась уже какая-нибудь наклонность, но которая еще слаба для того, чтобы, безъ содѣйствія нашей воли, противоборствовать той, которую мы хотимъ подавить.

Психологія, объяснивъ образованіе страстей, показываетъ ошибку тѣхъ философовъ и моралистовъ, которые, какъ напр. Декартъ и Кантъ, вообще вооружаются противъ страстей. Гораздо вѣрнѣе смотрѣлъ на страсти Аристотель, который видитъ уже достоинство человѣка не въ томъ, чтобы не имѣть страстей, а въ томъ, чтобы соблюдать равновѣсіе между ними. На этомъ равновѣсіи, на этой золотой серединѣ построена вся этика Аристотеля. Но и этотъ взглядъ не вполне справедливъ: страсти, уравнивающія одна другую, не будутъ страстями, а только системами чувственныхъ представленій, болѣе или менѣе сильными, смотря по силѣ стремленій, изъ которыхъ они образовались. Такое нравственное ученіе могло возникнуть только отъ нерѣшительности дать человѣку то или другое направленіе въ жизни, а сама эта нерѣшительность—отъ того колебанія въ признаніи *одного нравственнаго принципа*, которымъ отличается классическій міръ отъ христіанскаго. Если бы такой принципъ былъ найденъ, то страсть, проникнутая желаніемъ выполненія и развитія такого принципа, должна была бы быть признана страстью, долженствующею стать центромъ тяжести въ содержаніи души; но такого центра не нашелъ классическій міръ.

Системы представленій, служащія основою для наклонностей и страстей, могутъ находиться въ тройкомъ состояніи: или въ гипотетической формѣ слѣдовъ, вышедшихъ изъ сознанія, или въ видѣ представленій, находящихся въ какомъ-либо отношеніи къ стремленіямъ человѣка и потому возбуждающихъ въ немъ тѣ или другія чувства, или, наконецъ, въ видѣ чувственныхъ представленій, соединенныхъ съ воспоминаніемъ опытовъ удовлетворенія какихъ-нибудь стремленій и потому возбуждающихъ въ человѣкѣ то или другое желаніе или цѣлыя системы желаній.

О первой формѣ чувственныхъ системъ мы можемъ говорить только гадательно; но, тѣмъ не менѣе, факты вынуждаютъ насъ признать существованіе въ насъ такихъ слѣдовъ чувственныхъ представленій, хотя они и сохраняются гдѣ-то внѣ сознанія. Кто же изъ насъ не знаетъ, что въ насъ могутъ сохраняться наклонности и страсти такъ, что мы въ данное время и не знаемъ объ этомъ? Какъ онѣ сохраняются—этого мы факти-

чески не знаемъ; но что онѣ дѣйствительно сохраняются, и могутъ то появляться въ сознаниі, то выходить изъ него—это фактъ несомнѣнный, дѣйствительность котораго всякій можетъ провѣрить надъ самимъ собою.

Вторая форма системъ представленій, уже не какъ слѣдовъ, существующихъ внѣ сознанія, но какъ представленій, сознаваемыхъ и притомъ возбуждающихъ въ душѣ, по отношенію къ ея стремленіямъ, тѣ или другія чувствованія, была названа нами *чувственнымъ состояніемъ души*, и мы должны оставить это сложное названіе за неизмѣнимъ другого. Въ такомъ положеніи системы представленій, возбуждая въ насъ тѣ или другія чувствованія, не возбуждаютъ желаній, не возбуждаютъ именно потому, что желанія наши уже удовлетворены. Такими чувственными состояніями слѣдуетъ признать радость, печаль, привязанность, ненависть, страхъ, уваженіе, благоговѣніе, презрѣніе,—до тѣхъ поръ, пока эти чувственныя состоянія не возбуждаютъ въ душѣ нашей никакихъ желаній и нежеланій. Мы прямо испытываемъ чувства, простыя или сложныя, и цѣлыя системы чувствованій, возбуждаемыхъ такими системами представленій.

Но легко понять, что такое *чувственное состояніе* души, чѣмъ-нибудь нарушенное, можетъ вдругъ возбудить въ душѣ нашей цѣлыя массы желаній и явиться въ ней уже не чувственнымъ состояніемъ только, но склонностью или страстью. Привязанность наша къ человѣку, съ которымъ мы постоянно живемъ, не есть еще сама по себѣ страсть; но она можетъ оказаться сильнѣйшею страстью, когда судьба раздѣлитъ насъ съ этимъ человѣкомъ. Вотъ почему и нельзя положить рѣзкой границы между *чувственными состояніями* и *страстями*, да и самый языкъ не раздѣляетъ ихъ. Возьмемъ, на примѣръ, *честолюбіе*: въ минуту своего удовлетворенія—это чувственное состояніе, возникающее изъ того элементарнаго чувства, которое мы назвали самодовольствомъ, въ соединеніи съ особенными, человѣку только свойственными стремленіями, о которыхъ мы скажемъ ниже; въ минуту же своего неудовлетворенія то же честолюбіе является страстью. Испытывая радость, мы не испытываемъ при этомъ никакихъ желаній—мы только радуемся, а потому и не можемъ назвать радость страстью; но если что-нибудь лишитъ насъ этой радости, то мы можемъ *страстно пожелать* ея возвращенія, и тогда изъ чувственнаго состоянія радости можетъ образоваться какая-нибудь страсть, названіе которой опредѣлится самимъ содержаніемъ нашей бывшей радости. Печаль до тѣхъ поръ остается чувственнымъ состояніемъ, пока мы не выйдемъ изъ него, а потомъ въ насъ можетъ образоваться страстное отвращеніе, страстное желаніе удалить отъ себя все, что можетъ привести насъ въ чувственное состояніе печали.

Неясное пониманіе слова «*страсть*» ведетъ ко многимъ неясностямъ

и ошибкамъ въ психологіи. Такъ, Декартъ называетъ словомъ *страсть* (*passion*) и то, что мы называемъ *страстью*, и то, что мы называемъ *чувственнымъ состояніемъ*. У него и радость—страсть, и честолюбіе—страсть. Впослѣдствіи было принято слово «аффектъ», но значеніе этого слова не опредѣлилось и оно различно употребляется различными писателями, употребляется даже иногда въ совершенно противоположныхъ смыслахъ. На этомъ основаніи мы признали за лучшее не принимать чуждаго намъ слова *аффектъ*, а принять прямо слово *страсть* и хотя сложный, но довольно ясный терминъ *чувственнаго состоянія души*. Страстью мы будемъ называть всякое такое сложное душевное состояніе, въ которомъ главная преобладающая черта есть желаніе или нежеланіе; чувственнымъ же состояніемъ будемъ называть такое состояніе души, въ которомъ преобладаетъ чувствованіе.

Всѣ человѣческія страсти и всѣ чувственныя состоянія человѣческой души всегда имѣютъ въ себѣ нѣчто особенное, свойственное только человѣку, идущее изъ его человѣческихъ особенностей. Такъ, напр., *наслажденіе* можетъ испытывать и человѣкъ, и животное; но *радоваться* можетъ только человѣкъ, потому-что къ радости непременно примѣшивается наслажденіе будущимъ, взглядъ впередъ, и при томъ въ безконечную даль. Какъ только же мы увидимъ, хотя въ отдаленномъ будущемъ, конецъ нашей радости, такъ она и начнетъ туманиться. Вотъ почему анализъ чисто человѣческихъ страстей и чувственныхъ состояній можетъ быть данъ тогда только, когда мы изслѣдуемъ особенности человѣческой души.

Г Л А В А XLII.

Образованіе характера; состояніе вопроса: четыре темперамента.

Словомъ *характеръ* обозначаютъ обыкновенно всю сумму тѣхъ особенностей, которыми отличается дѣятельность одного человѣка отъ дѣятельности другого, безъ отношенія къ самому содержанію этой дѣятельности, которое можетъ быть глупо и умно, нравственно и безнравственно. Наблюдая внимательнѣе, что люди называютъ характеромъ, мы легко замѣтимъ, что они не вводятъ въ это понятіе того, что они же называютъ обыкновенно умственнымъ развитіемъ человѣка. Два лица, обладающія совершенно различнымъ умственнымъ развитіемъ и совершенно различнымъ запасомъ знаній какъ по количеству, такъ и по качеству, могутъ быть очень сходны по характеру. Съ другой стороны, люди, одинаково развитые и обладающіе одинаковыми запаями, могутъ быть совершенно различнаго характера. У

человѣка очень образованнаго можетъ быть характеръ весьма ничтожный, и у человѣка весьма необразованнаго — характеръ весьма сильный. Изъ этого мы видимъ, что понятіе характера слагается, главнымъ образомъ, изъ наблюденій надъ особенностями дѣятельности *чувства* и *воли*, независимо отъ умственнаго богатства или умственной бѣдности человѣка. Но, вводя чувство и желаніе въ понятіе *характера*, мы обыкновенно не вводимъ ихъ *содержанія*, а только *форму* ихъ проявленія. Злой и добрый человѣкъ, нравственный и безнравственный, могутъ имѣть одинаково слабый или сильный, постоянный или порывистый, хладнокровный или вспыльчивый, рѣшительный или нерѣшительный характеръ и т. д. Слѣдовательно, въ *понятіе характера* не входитъ ни умственное, ни нравственное состояніе человѣка: не входитъ самое *содержаніе* чувствованій и желаній, а только *форма* ихъ проявленія. Но такъ какъ дѣятельность чувства проявляется для наблюденій только въ дѣйствіяхъ человѣка, къ которымъ мы относимъ и самую рѣчь, то, слѣдовательно, мы должны прійти къ заключенію, что понятіе характера извлекается исключительно изъ наблюденій надъ особенностями человѣческой дѣятельности, и притомъ не надъ содержаніемъ этой дѣятельности, которая зависитъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, а также отъ ума и нравственности человѣка, но надъ ея формами. Вотъ почему мы относимъ изученіе образованія характера къ области *воли*. Въ характерѣ именно проявляется особенность дѣйствія воли въ различныхъ индивидахъ. Отъ этого выраженія: *сила характера* или *сила воли* часто употребляются какъ синонимы, хотя это употребленіе и не совершенно правильно, какъ мы это увидимъ ниже.

Не такимъ единствомъ отличается взглядъ людей на самое происхожденіе характера. Часто мы слышимъ, что говорятъ о врожденности характера, и точно такъ же часто слышимъ, что говорятъ объ испорченности характера, о томъ, что такой или другой характеръ въ человѣкѣ образовался вслѣдствіе обстоятельствъ жизни, вслѣдствіе воспитанія и т. п. Говоря о характерѣ, люди называютъ его дурнымъ и хорошимъ совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ говорятъ о хорошемъ или дурномъ здоровьѣ. Характеромъ человѣка объясняютъ его поступки; но самый характеръ ставятъ часто ему въ вину, хотя иногда нѣкоторыми чертами характера облегчаютъ вмѣняемость поступка. Воспитаніе, съ одной стороны, совѣтуетъ присматриваться и примѣняться къ характеру воспитанника, а съ другой—даетъ правила, какимъ образомъ воспитывать характеръ въ человѣкѣ. Изъ этого мы въ правѣ вывести, что *общечеловѣческая* психологія, которая, во всякомъ случаѣ, имѣетъ громадное значеніе, какъ сумма безчисленныхъ наблюденій людей надъ психологическими явленіями, видитъ въ характерѣ въ одно и то же время и нѣчто прирожденное человѣку, и нѣчто формирующееся въ немъ

въ теченіе его жизни,—и этотъ взглядъ совершенно справедливъ, ибо характеръ въ человѣкѣ складывается именно подъ вліяніемъ прирожденныхъ ему свойствъ, съ одной стороны, и подъ вліяніемъ жизни—съ другой.

Признавъ въ образованіи характера участіе двухъ дѣятелей: природы человѣка и условій жизни, мы должны были бы изслѣдовать, насколько каждый изъ этихъ факторовъ участвуетъ въ образованіи характера, и изъ этого уже вывести законы образованія человѣческаго характера вообще, которые, безъ сомнѣнія, должны же быть. «Человѣчество, говоритъ Милль, не имѣетъ общаго характера, но существуютъ общіе законы формаціи характера»¹⁾. Милль полагаетъ, что эти-то законы формаціи характера и должны составлять главный предметъ въ научныхъ изслѣдованіяхъ области человѣческой природы. Но откуда взято Миллемъ это твердое убѣжденіе, которое и мы вполнѣ раздѣляемъ, въ существованіи общихъ законовъ въ образованіи человѣческаго характера? Найдены ли уже эти законы, доказана ли ихъ непреложность фактами, сведены ли они въ научную систему? На эти вопросы и Милль вынужденъ былъ бы отвѣчать отрицательно. Но нельзя сказать, чтобы эти законы были до того неизвѣстны, что самое существованіе ихъ слѣдуетъ только предположить по общей вѣрѣ въ причинность всѣхъ явленій, руководящей человѣкомъ столько же въ отысканіи законовъ физической природы, сколько и въ отысканіи законовъ психическихъ явленій. Не удивимся ли мы знанію человѣческихъ характеровъ у великихъ писателей? И не одни эти великіе писатели знаютъ законы человѣческаго характера, но знаютъ ихъ и тѣ, которые удивляются вѣрной рисовкѣ характеровъ самыми этими писателями. Если бы мы не знали вовсе ничего о законахъ формаціи характеровъ, то не могли бы произносить и нашего сужденія о томъ, вѣрно ли Шекспиръ или Мольеръ рисуютъ характеры людей. Слѣдовательно, въ каждомъ изъ насъ мы должны признать существованіе обширной массы познаній законовъ образованія человѣческихъ характеровъ. Зная характеръ человѣка, мы часто предсказываемъ очень вѣрно, какъ подѣйствуетъ на него данное впечатлѣніе, какія чувства и желанія въ немъ вызоветъ и въ какихъ дѣйствіяхъ обнаружится это желаніе. Практическая педагогика довольно часто, если и не всегда, подаетъ очень вѣрные совѣты, какъ измѣнить ту или другую черту въ характерѣ воспитанника. Правда этихъ совѣтовъ обнаруживается практикой и они показываютъ также, что намъ не безызвѣстны многіе законы образованія человѣческаго характера. Практическая важность этихъ знаній не можетъ подлежать сомнѣнію. Мы уже указали на нее въ предисловіи къ первой части нашей «Антропологии». Спрашивается, отчего же эти знанія, столь важныя

¹⁾ Mill's. Logic. V: II, p. 444.

для практическаго человѣка вообще и для воспитателя въ особенности, не собраны, не приведены въ ясную и легко обозрѣваемую систему? Не потому ли, что мы ихъ знаемъ уже очень хорошо, такъ что не нуждаемся въ ихъ пересмотрѣ? Но безчисленные промахи практическихъ дѣятелей вообще и воспитателей въ особенности, зависящіе, главнымъ образомъ, отъ незнанія законовъ образованія человѣческаго характера, служатъ лучшимъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ. Но, можетъ быть, не потому ли не собрали мы нашихъ познаній о законахъ образованія характера, что это собраніе невозможно? Но почему же невозможно? Чтò человѣкъ знаетъ, то можетъ выразить словами; чтò можетъ выразить, то можетъ и провѣрить и привести въ систему: одни знанія признать несомнѣнными, другія—подвергнуть сомнѣнію, остановиться надъ противорѣчіями и т. д. Можно ли сомнѣваться въ практической пользѣ такого собранія, провѣрки и приведенія въ порядокъ наблюденій человѣка надъ образованіемъ человѣческихъ характеровъ? Почему же, спрашиваемъ мы снова, *этологія*, по выраженію, придуманному Миллемъ, или *характерологія*, въ полурусскомъ переводѣ, есть до сихъ поръ наука въ проектѣ, хотя, конечно, не одинъ Милль сознаетъ всю необыкновенную практическую важность такой науки и все ея значеніе для искусства воспитанія ¹⁾?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ намъ отчасти самъ же Милль. «Законы образованія характера, говоритъ онъ, суть законы производные, происходящіе изъ общихъ законовъ души, и должны быть получены, какъ выводы изъ этихъ общихъ законовъ. Для этого мы должны брать какой-нибудь данный рядъ обстоятельствъ и потомъ соображать, какое будетъ вліяніе этихъ обстоятельствъ, сообразно съ законами души, на образованіе характера» ²⁾. Основную науку, науку объ общихъ законахъ души, Милль называетъ *психологією*, въ отношеніи которой *этологія*, или изложеніе общихъ законовъ образованія характера подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ внѣшнихъ обстоятельствъ, будетъ уже наукою *выводною*, и при томъ такою же точною, какъ математика. «Психологія, по Миллю, есть, главнымъ образомъ, наука наблюденія и опыта; *этологія* же есть наука *дедуктивная*. Одна излагаетъ простые законы вообще, а другая чертитъ ихъ дѣйствіе въ сложныхъ комбинаціяхъ обстоятельствъ» ³⁾. Признавая во многомъ справедливость мысли Милля, мы уже изъ нея можемъ вывести простое объясненіе, почему *ха-*

¹⁾ Mill's Logic. V. II, p. 449. Милль прямо говоритъ, что *этологія* есть наука, которая соответствуетъ въ области искусствъ искусству воспитанія, принимая это послѣднее слово въ обширнѣйшемъ значеніи, т. е. какъ воспитаніе не только индивидуальнаго, но и коллективнаго, т. е. воспитаніе народнаго характера.

²⁾ Ibid, p. 449.

³⁾ Ibid, p. 450.

рактологія, несмотря на богатый матеріалъ для своего содержанія въ общечеловѣческихъ наблюденіяхъ и въ наблюденіяхъ такихъ зоркихъ людей, каковы: Гомеръ, Дантъ, Сервантесъ, Шекспиръ, и Гёте, и несмотря на всю неизмѣримую практическую важность, остается наукою въ проектѣ, да и самый проектъ этой науки только теперь возникаетъ съ особенною ясностью ¹⁾. Понятно, что дедуктивная или выводная наука можетъ появиться тогда только, когда та наука, изъ которой она выводится, является сама наукою уже болѣе или менѣе установившеюся. Но можемъ ли мы признать психологію такою наукою? Правда она уже давно объявляетъ себя наукою опыта, почерпнующею все свое содержаніе изъ наблюденій и опытовъ; но, разбирая опытную психологію Гербарта, Бенеке, Вайтца, Бэна и др., мы имѣли случай не разъ убѣдиться, что, къ сожалѣнію, психологія до сихъ поръ идетъ по стопамъ философскихъ умозрѣній, и что ея положеніе очень часто болѣе условливается философскимъ міросозерцаніемъ писателя, чѣмъ дѣйствительно наблюденіемъ и опытомъ. Психологія еще порывается только сорваться съ того буксира, на которомъ ведетъ ее до сихъ поръ метафизика: выражается ли эта метафизика схоластическими терминами германской философіи, или терминами, заимствованными изъ естествознанія, какъ у Бэна и Спенсера. Когда эти усилія увѣнчаются успѣхомъ, когда можно будетъ говорить о психологіи, какъ о дѣйствительной наукѣ опыта, вполне установившейся, тогда только можно будетъ приняться и за выводъ изъ нея этологическихъ законовъ.

Но не одна психологія виновата въ томъ, что важная наука образованія человѣческаго характера остается до сихъ поръ наукою въ проектѣ. Милль высказываетъ надежду, что фізіологія скоро подмѣтитъ тѣ особенности въ образованіи мозга и нервной системы, которыя выражаются во врожденныхъ чертахъ характера ²⁾. Но, желая вполне скорѣйшаго осуществленія этой надежды, мы не можемъ не признать ее нѣсколько сангвиническою, если пересмотримъ то ученіе о *темпераментахъ*, которое до сихъ поръ излагается въ фізіологіяхъ и антропологіяхъ. Это ученіе, унаслѣдованное новымъ временемъ еще отъ классической древности, до такой степени не приведено къ единству съ новыми фізіологическими знаніями, до

¹⁾ Замѣтимъ, между прочимъ, что этотъ проектъ пріобрѣлъ особенную ясность въ головѣ британскаго мыслителя. Это не случайное явленіе. Болѣе всѣхъ другихъ націй, британская нація занималась и продолжаетъ заниматься психологіей: только она одна давно уже поняла все практическое значеніе этой науки и одна вводитъ ее даже въ низшія школы. Нельзя не видѣть въ этомъ особой, практичности англичанъ, которая, въ свою очередь, конечно, строится на знаніи людскихъ характеровъ.

²⁾ Mill's Logic. V. II, p. 339.

такой степени шатко и не основано на положительных фактахъ, что мы даже затрудняемся внести его въ фактическую антропологию. Еще Галенъ раздѣлялъ характеры людскіе по четыремъ темпераментамъ: на *сангвиническіе*, *холерическіе*, *меланхолическіе* и *флегматическіе*. Но, какъ справедливо замѣчаетъ Бенеке, «это скорѣ простыя картины извѣстныхъ, въ жизни встрѣчающихся характеровъ, нежели точное генетическое разложеніе ихъ» ¹⁾. Но и въ жизни эти четыре вида характеровъ никогда не встрѣчаются въ отдѣльности, а всегда черты одного перемѣшаны съ чертами другого. Даже каждый въ самомъ себѣ, разбирая свои чувства, желанія и поступки, замѣтитъ въ однихъ черту меланхолическую, въ другихъ—сангвиническую и т. д., тѣмъ болѣе, если будетъ сличать свои различныя настроенія духа. Только способность отвлеченія, замѣчающая главныя, выступающія черты поступка и пропускающая болѣе мелкія, имъ противорѣчащія, ихъ ослабляющія, дала возможность набросать эти типы темпераментовъ. Для того же, чтобы анализировать эти черты и привести ихъ въ какую-нибудь систему, слѣдовало бы знать, чему приписать различіе этихъ чертъ характера, а этого-то мы и не знаемъ, несмотря на то, что нашихъ анатомическихъ и фізіологическихъ познаній нельзя и сравнивать съ познаніями классическаго міра.

«Ученіе, допускающее темпераменты, говоритъ Миллеръ, идетъ изъ глубочайшей древности. Оно превосходно и, можетъ быть, ничего уже нельзя болѣе сдѣлать для его усовершенствованія. Но основанія, на которыхъ его сдѣлали древніе, были такъ же ложны, какъ ихъ мнѣнія относительно основныхъ элементовъ человѣческаго тѣла. Темпераменты Галена: *сангвиническій*, *флегматическій*, *желчный* и *меланхолическій*, основывались на гипотезахъ древнихъ философовъ Греціи о четырехъ элементахъ: воздухъ, водѣ, огнѣ и землѣ, и качествахъ, имъ соотвѣтствующихъ: теплотѣ, холодѣ, сухости и влажности». Этимъ элементамъ соотвѣтствовали въ организмѣ четыре основныя жидкости, преобладаніемъ которыхъ объясняли различіе темпераментовъ. «Мы мало бы содѣйствовали уясненію предмета, продолжаетъ Миллеръ, если бы привели здѣсь различныя другія классификаціи темпераментовъ» ²⁾. Откуда же, спрашивается, взяли древніе такіе вѣрные типы человѣческихъ характеровъ, если выводили ихъ изъ такихъ ложныхъ основаній, каковы понятія о четырехъ стихіяхъ міра и о четырехъ основныхъ жидкостяхъ организма? Конечно, не изъ этихъ ложныхъ основаній, изъ которыхъ могли бы быть сдѣланы и выводы только ложныя же. Типы эти, слѣдовательно, взяты прямо изъ наблюденій человѣка

¹⁾ Lehrb. der Psych. von Benecke. § 345.

²⁾ Man. de Physiol. T. II, p. 546.

надъ самимъ собою и надъ различными людскими характерами, при чемъ господствующія черты въ томъ или другомъ характерѣ или поступкѣ возводимы были, по своему сродству, въ одинъ типъ. Руководителями же при этомъ созданіи типовъ было не только логическое отвлеченіе, но и поэтическое чувство. Тутъ было то же творчество, которое руководило Мольеромъ при созданіи характера Тартюфа, и Гоголемъ, когда онъ создавалъ своего городничаго. Процессъ этого творчества, при чемъ человѣкъ беретъ черты пошлости столько же изъ другихъ людей, сколько и изъ самого себя, прекрасно выраженъ самимъ Гоголемъ. Но напрасно бы вы искали Тартюфовъ, Гамлетовъ, Фальстафовъ, гоголевскихъ городничихъ и Хлестаковыхъ въ окружающихъ васъ людяхъ; поройтесь же внимательно въ самихъ себѣ—и вы отыщете ихъ всѣхъ: оттого-то они такъ глубоко и задѣваютъ нашу душу, оттого-то всѣ эти столь различные характеры и кажутся намъ такими истинными. Точно такъ же и по той же причинѣ типы темпераментовъ, созданные древними, поражаютъ своею истиною; но точно такъ же, какъ всѣ поэтическія созданія, будучи приложены къ дѣйствительности, немедленно же требуютъ безчисленныхъ исключеній. Чтобы добиться въ темпераментахъ фактической истины, слѣдовало бы открыть ихъ физическія причины, но это, несмотря на всѣ попытки, до сихъ поръ не удалось.

«Мы, конечно, пытались, говоритъ Миллеръ, установить ученіе о темпераментахъ на основныхъ формахъ органическихъ отравленій и органическихъ системъ, напр., на системѣ питанія, движенія, чувствительности, и приписать темпераменты преобладанію одной изъ этихъ системъ. Такимъ образомъ были получены темпераменты растительный, раздражительный и чувствительный. Но вывести душевныя особенности, характеризующія каждый темпераментъ, изъ преобладанія одной изъ органическихъ системъ, совершенно невозможно. Дѣйствительно, мускульная сила не дѣлаетъ еще человѣка желчнымъ; а характеръ флегматическій точно такъ же сопровождается хорошимъ, какъ и дурнымъ питаніемъ. Люди сырые и тучные не всегда флегматики, и часто встрѣчаются лица очень худощавыя и съ невозмутимою флегмою. Есть люди желчныя и сангвиническія какъ между толстыми, такъ и между худощавыми, какъ между сильными, такъ и между слабыми. Вообще всѣ попытки приписать каждому темпераменту особое органическое свойство оказались неудачными». «Особенную безурядицу въ ученіи о темпераментахъ ввело смѣшеніе съ ними патологическихъ болѣзненныхъ явленій. Вообразили себѣ, что флегматикъ непременно долженъ быть толстый, блѣдный и лимфатическій, что желчный долженъ имѣть расположеніе къ болѣзни печени и т. п.». «По моему мнѣнію, продолжаетъ Миллеръ,—темпераменты зависятъ болѣе или менѣе отъ расположенія къ чувствованіямъ или страстямъ, рождающимся изъ возбужденія или противодѣй-

ствія склонностямъ, т. е., что причина ихъ заключается въ различномъ расположеніи къ состояніямъ удовольствія, страданія и желанія» ¹⁾). Изъ этого довольно темнаго намека видно, что фізіологъ Миллеръ скорѣе готовъ перенести вопросъ о темпераментахъ на психологическую почву. Но что же можетъ сказать психологія о томъ, что врождено, о томъ, что предшествуетъ, слѣдовательно, дѣятельности сознанія, что уже условливаетъ характеръ этой дѣятельности, а не условливается имъ?

Послѣ Миллера, конечно, продолжались попытки приурочить темпераменты къ какимъ-нибудь фактамъ организма. Френологи пытались найти эти факты въ мозгу, въ различіи комбинацій его частей; другіе искали причины ихъ въ особенности устройства тканей, въ относительномъ количествѣ бѣлаго и сѣраго вещества въ мозгу, въ свойствѣ крови, но все это рѣшительно ни къ чему не повело—и взглядъ Миллера на темпераменты остается и до сихъ поръ самымъ логическимъ. Мы можемъ только удивляться, какъ нѣкоторые психологи и педагоги, знакомые съ этимъ трезвымъ и скромнымъ взглядомъ великаго ученаго и мыслителя, продолжаютъ говорить, напр., что у людей съ нервнымъ темпераментомъ долженъ быть маленькій носъ и круглый подбородокъ, у людей съ желчнымъ темпераментомъ—черные блестящіе глаза, курчавые волосы и т. п. ни на чемъ не основанныя нелѣпости ²⁾, или прилагать къ своимъ сочиненіямъ разрисованныя фігуры темпераментовъ, рисуя флегматика непременно человѣкомъ, страдающимъ водяной, а меланхолика—чахоткой ³⁾. Вотъ почему, признавъ неудачными всѣ попытки отыскать фізіологическія причины различія темпераментовъ, мы представимъ только характеристическія картины ихъ, слѣдуя при этомъ Миллеру.

Флегматическій темпераментъ Миллеръ называетъ *умѣреннымъ* въ противоположность всѣмъ остальнымъ. Чувствованія не овладѣваютъ флегматикомъ быстро и не легко разливаются въ немъ. (По нашей терминологіи, у флегматика душевныя чувствованія не легко переходятъ въ органическія). Мысли флегматика текутъ не съ меньшей быстротою, какъ и мысли другихъ людей, и умъ его можетъ достигнуть такого же развитія. Но ему не нужно дѣлать надъ собою большихъ усилій, ни физическихъ, ни нравственныхъ, чтобы сохранить свое хладнокровіе. Для него легче, чѣмъ для другихъ, удержаться отъ быстрого рѣшенія, чтобы обдумать его прежде. Отъ него нельзя ожидать такихъ рѣшеній, которыя выходятъ быстро изъ глубокихъ и живыхъ чувствованій; но отъ него можно ожидать всего,

¹⁾ Man. de Physiol. T. II, p. 547.

²⁾ Die Wissenschaft vom Menschen, von K. Schmidt. 1865. S. 201—202.

³⁾ См. рисунки, приложенные къ упомянутой книгѣ Шмидта

что можетъ быть достигнуто терпѣніемъ и настойчивостью. Онъ трудно раздражается, рѣдко жалуется, переноситъ свои страданія терпѣливо и мало возмущается страданіями другихъ. Онъ не скоръ на дружбу, но постояненъ въ ней. Когда чего-нибудь нужно достичь быстрою и развитіемъ большой силы въ малое время, то его легко обгоняютъ люди другихъ темпераментовъ; но зато онъ вѣрнѣе достигаетъ отдаленной цѣли. Онъ всегда знаетъ, чего хочетъ, и неохотно мѣшается въ чужія дѣла. Лѣность, апатія, беззаботность, скука, трудность пониманія—составляютъ уже болѣзненные явленія.

Къ неумѣреннымъ темпераментамъ Миллеръ причисляетъ темпераменты: *желчный, сангвиническій и меланхолическій*.

Желчный темпераментъ обнаруживаетъ замѣчательную силу въ дѣятельности, энергію и настойчивость, когда находится подъ вліяніемъ какой-нибудь страсти. Его страсти быстро воспламеняются отъ малѣйшаго препятствія, и его гордость, ревность, мстительность, честолюбіе—не знаютъ предѣловъ, когда его душа находится подъ угнетающимъ вліяніемъ страсти. Онъ размышляетъ мало и дѣйствуетъ быстро, не медля, какъ потому, что всегда считаетъ себя правымъ, такъ и потому, что такова его воля. Онъ трудно сознается въ своихъ ошибкахъ и увлекается страстью, пока она не приводитъ его къ собственной гибели или гибели другихъ.

У *сангвиника* основное стремленіе есть стремленіе къ наслажденію, соединенное съ легкою возбуждаемостью чувствованій и съ ихъ малою продолжительностью. Онъ увлекается всѣмъ, что ему пріятно, выказываетъ много симпатіи къ другимъ и скоръ на дружбу; но склонности его непостоянны и нельзя слишкомъ много на нихъ рассчитывать. Его легко разсердить, но онъ такъ же легко переходитъ къ раскаянію. Щедрый на обѣщанія, онъ тотчасъ ихъ забываетъ, если не выполняетъ въ то же время. Довѣрчивый и легковѣрный, онъ любитъ строить проекты, но скоро ихъ бросаетъ. Снисходительный къ недостаткамъ другихъ, онъ требуетъ такой же снисходительности и къ своимъ собственнымъ. Его легко успокоить; онъ откровененъ, ласковъ, доброжелателенъ, любитъ общество, неспособенъ къ эгоистическимъ расчетамъ.

У *меланхолика* господствующая склонность есть склонность къ печали. Онъ такъ же легко возбуждается, какъ и сангвиникъ, но чувства непріятныя проявляются въ немъ чаще и продолжаются долѣе, чѣмъ чувства удовольствія. Страданія другихъ легко вызываютъ его симпатію. Онъ боязливъ, нерѣшителенъ, недовѣрчивъ и легко поддается всему, что соотвѣтствуетъ его господствующимъ идеямъ. Бездѣлица его оскорбляетъ, ему все кажется, что имъ пренебрегаютъ. Препятствія, встрѣчаемыя имъ въ жизни, приводятъ его въ отчаяніе, лишаютъ энергіи и дѣлаютъ неспо-

собнымъ выйти изъ затрудненія. Его желанія носятъ грустный оттѣнокъ; его страданія кажутся ему невыносимыми и выше всякаго утѣшенія ¹⁾).

Присмотритесь же къ дѣйствительнымъ характерамъ, попадающимъ намъ на глаза, изучайте ихъ внимательно, подробно, безъ всякой предвзятой теоріи, и вы увидите, какъ много невѣрнаго въ этихъ пресловутыхъ картинахъ темпераментовъ. Возьмемъ, наприм., характеръ Руссо и подумаемъ, къ какому изъ *четырёхъ* темпераментовъ можно его причислить. Онъ увлекается удовольствіемъ, какъ сангвиникъ; бѣжитъ отъ общества, какъ меланхоликъ; раздражителенъ и мстителенъ, какъ желчнаго темперамента; скоръ на дружбу и ненадеженъ въ ней—опять же, какъ сангвиникъ; нетерпѣливъ, правда, во всемъ, но кромѣ того, что его дѣйствительно увлекаетъ. Трудно, кажется, назвать его флегматикомъ; а между тѣмъ онъ такъ медленно и терпѣливо выработываетъ свои сочиненія, что, по принятой теоріи темпераментовъ, это могъ бы сдѣлать только сильнѣйшій флегматикъ. Недовѣрчивый и подозрительный до смѣшного, онъ даже можетъ быть названъ ипохондрикомъ, не только меланхоликомъ; но посмотрите, сколько истинно дѣтской веселости и довѣрчивости обнаруживается въ немъ при случаѣ! Онъ склоненъ плакать надъ такими пустяками, надъ которыми другой смѣется; но его шутка весела и колка. Онъ снисходителенъ къ своимъ недостаткамъ, какъ истинный сангвиникъ, но не снисходителенъ къ недостаткамъ другихъ, какъ человѣкъ крайне желчнаго характера. Его привязанности измѣнчивы, и въ то же время мы видимъ, что до глубокой старости дожили въ немъ привязанности и ненависти дѣтства. И, кромѣ того, какъ не похожъ дитя Руссо, веселый, довѣрчивый, шаловливый, на мрачнаго старика, убѣжавшаго отъ людей на необитаемый островокъ швейцарскаго озера! Но не забудьте, что и женевцы также измѣнились и ставятъ монументъ Руссо на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ бросали каменьями въ бѣднаго философа. Здѣсь вы видите, что жизнь ума и сердца перемѣшала черты всѣхъ темпераментовъ въ самую пеструю, но вполне понятную картину.

Мы выбрали для примѣра характеръ Руссо именно потому, что его геніальная автобіографія открываетъ намъ всѣ изгибы этого вполне человеческого характера, со всѣми его достоинствами и недостатками. Но къ тому же самому результату въ отношеніи темпераментовъ придете вы, изучая характеръ перваго близкаго вамъ человѣка, и особенно изучая его не въ одинъ какой-нибудь моментъ, что дало бы вамъ самые ошибочные результаты, но наблюдая надъ тѣмъ, какъ онъ проявляется въ долгій періодъ времени, если не во всю жизнь. Безпрестанно вы встрѣтите людей,

¹⁾ Man. de Physiol. T. II, p. 548—549.

поражающихъ васъ перемѣнчивостью своихъ наклонностей и въ то же время настойчивостью какой-нибудь одной изъ нихъ, людей раздражительныхъ въ одномъ и очень флегматическихъ въ другомъ, легко прощающихъ одно и никогда не прощающихъ другое, эгоистовъ и въ то же время готовыхъ на самопожертвованіе, людей, которые любятъ общество и въ то же время его избѣгаютъ и т. д.; словомъ, вы встрѣтите въ каждомъ характерѣ противорѣчія знаменитымъ картинамъ темпераментовъ.

Воспитатель-критикъ еще болѣе обыкновеннаго наблюдателя человеческой природы практически убѣждается, что тѣ самыя черты характера, которыя приписываются, какъ врожденные, тому или другому темпераменту, бываютъ очень часто слѣдствіемъ воспитанія. Иначе воспитатель не говорилъ бы вамъ безпрестанно, что можно запугать дитя и сдѣлать его робкимъ, что можно сдѣлать дитя тупымъ, лѣнивымъ, злымъ, и что все это зависитъ отъ воспитательнаго вліянія семьи, школы и вообще жизни. Однакоже и воспитатель знаетъ, что есть *что-то такое*, врожденное человѣку и обнаруживающееся въ способѣ его мышленія, чувствованія и дѣятельности, что приносится каждымъ ребенкомъ, какъ нѣчто готовое, и что можетъ быть или усилено, или ослаблено вліяніями жизни и воспитанія, но не можетъ быть вполнѣ искоренено, и что, во всякомъ случаѣ, воспитаніе должно принять, какъ нѣчто готовое, уже принесенное ребенкомъ при самомъ рожденіи. Изъ этого мы можемъ вывести, наоборотъ, что въ знаменитыхъ картинахъ темпераментовъ есть своя доля правды, но что этой правды не легко доискаться...

Г Л А В А XIII.

Факторы въ образованіи характера: а) вліяніе врожденнаго темперамента.

О факторахъ въ образованіи характера вообще.

Въ предыдущей главѣ мы признали вліяніе врожденныхъ особенностей организмовъ на образованіе характера за фактъ несомнѣнный, но до того мало изслѣдованный, съ одной стороны фізіологією, а съ другой—психологією, что мы рѣшительно не можемъ ни опредѣлить границъ этого вліянія, ни указать на тѣ особенности организма, которымъ должны быть приписаны эти прирожденные особенности, выражающіяся въ особенностяхъ психической дѣятельности того или другого человѣка и необъяснимыхъ изъ психическихъ причинъ.

Столь же несомнѣнные факты, особенно извлекаемые изъ педагогической практики, приводятъ насъ къ тому убѣжденію, что воспитаніе и во-

обще жизнь, со всѣми своими вліяніями на человѣка, можетъ сильно измѣнить врожденныя особенности его психической дѣятельности. Кто же изъ людей, наблюдавшихъ надъ воспитаніемъ и развитіемъ человѣка, не имѣетъ твердаго убѣжденія, что семейное и школьное воспитаніе, а потомъ жизнь, не оказываютъ могущественнаго вліянія на характеръ человѣка? Не видимъ ли мы на цѣлыхъ поколѣніяхъ людей ясной печати той школы, гдѣ они учились? Развѣ мы не видимъ очень часто самые рѣзкіе образцы характеровъ, или сломанныхъ жизнью, или, наоборотъ, закаленныхъ ею? Признавая существованіе этого вліянія слишкомъ очевиднымъ, чтобы его нужно было доказывать, мы должны признать также, что и границы *жизненнаго* вліянія, разумѣя подъ нимъ всю совокупность вліяній всѣхъ впечатлѣній жизни, дѣйствующихъ на человѣка чрезъ посредство его сознанія, такъ же неопредѣленны, какъ и границы вліяній природныхъ особенностей. Но психологъ въ этомъ отношеніи поставленъ все же выгоднѣе фізіолога и во многихъ случаяхъ можетъ вѣрно указать и объяснить причину того или другого вліянія, если извѣстны, конечно, всѣ жизненные факты и выясненъ врожденный темпераментъ человѣка.

Но если существованіе двухъ первыхъ образователей (факторовъ) характера не подлежитъ сомнѣнію, хотя границы ихъ дѣйствія и не опредѣлены, то самое существованіе *третьяго* фактора, а именно *личной воли* *человѣка*, признаваемое одними, отвергается другими. Одни признаютъ, что, несмотря ни на какое вліяніе, идетъ ли оно изъ врожденныхъ особенностей человѣка, или изъ впечатлѣній жизни, точно такъ же отъ него не зависящихъ, какъ и врожденные особенности, человѣкъ можетъ свободно вырабатывать свой характеръ. Другіе, наоборотъ, утверждаютъ, что самое направленіе или, вѣрнѣе, содержаніе воли совершенно обуславливается двумя первыми факторами, и что, слѣдовательно, помимо ихъ, человѣкъ не можетъ внести никакого новаго элемента въ свой характеръ. Вопросъ этотъ, по самому содержанію своему, относится къ третьей части нашей «Антропологии», гдѣ намъ придется говорить о свободѣ воли, которая если и можетъ быть признана, то только какъ результатъ *самосознанія*, слѣдовательно, исключительною принадлежностью человѣка, его *духовною* особенностью. Здѣсь же мы займемся только двумя первыми факторами, которые дѣйствуютъ не только въ человѣкѣ, но и въ животныхъ.

Совершенная необработанность вопроса объ образованіи человѣческихъ характеровъ подъ вліяніемъ, съ одной стороны, врожденныхъ особенностей организма, а съ другой, подъ вліяніемъ жизни съ ея особенностями, объясняетъ, почему мы рѣшаемся здѣсь передать не результаты научныхъ изслѣдованій, а только результаты личныхъ наблюденій. Если читатель будетъ недоволенъ скудостью этихъ результатовъ, то пусть онъ припомнитъ,

что «характерологія» есть только наука въ проектѣ, и притомъ такая обширная наука, которая потребовала бы большого, спеціально ей посвященнаго сочиненія, а не двухъ-трехъ главъ, которыя мы можемъ посвятить здѣсь этому предмету, систематическимъ изученіемъ котораго, кромѣ того, мы никакъ не можемъ похвалиться. Онъ входилъ въ кругъ нашихъ занятій вмѣстѣ съ другими предметами психологіи и педагогики, тогда какъ, по обширности своей задачи, онъ могъ бы поглотить все силы многихъ людей.

а) Вліяніе врожденныхъ особенностей организма на образованіе характера.

Вліяніе врожденныхъ особенностей организма на образованіе характера можно бы, какъ намъ кажется, раздѣлить на: 1) общее вліяніе состоянія организма; 2) вліяніе особенностей пищевого процесса; 3) вліяніе устройства органовъ мозга; 4) вліяніе особенностей нервной ткани и 5) вліяніе патологическихъ состояній организма.

Общему здоровому или больному, сильному или слабому состоянію организма давно уже приписывается большое вліяніе на психическую жизнь, и латинская поговорка: «здоровая душа въ здоровомъ тѣлѣ» слишкомъ часто повторяется, особенно въ послѣднее время, чтобы кто-нибудь могъ не знать ея. Но если мы обратимъ вниманіе не на теоріи, для которыхъ эта поговорка служитъ любимымъ подтвержденіемъ, а на факты, то найдемъ, что справедливость знаменитаго изреченія можетъ быть подвергнута сильному сомнѣнію. Біографіи личностей, которыми гордится человечество, ясно доказываютъ, что далеко не все эти личности были здоровыми людьми, начиная съ Аристотеля, часто жалующагося на свое болѣзненное состояніе, и оканчивая Дарвиномъ, который спѣшитъ напечатать еще неготовую свою теорію, боясь, что здоровье помѣшаетъ ему развить и обставить ее какъ слѣдуетъ. Въ этихъ широкихъ предѣлахъ и принявъ за идеаль *душевнаго* здоровья человѣка великій умъ и великій характеръ (какой же другой идеаль можно избрать?), мы насчитаемъ не мало великихъ дѣятелей, представлявшихъ здоровую душу въ больномъ тѣлѣ. Но не имѣемъ ли мы передъ глазами всеѣмъ намъ знакомыхъ примѣровъ? Припомните Гоголя, Бѣлинскаго. Съ другой стороны, если можно указать на такихъ личностей, какъ Гёте, здоровыхъ и по тѣлу, и по душѣ, то можно также указать на безчисленное множество здоровѣйшихъ господъ съ самою ничтожною душевною дѣятельностью и съ самыми ничтожными ея результатами. И не только къ умственному богатству, но и къ характеру не можетъ быть приложена эта знаменитая поговорка. Не видимъ ли мы часто слабыхъ и больныхъ людей, выказывающихъ несомнѣнное геройство и твердость, и здоровыхъ и сильныхъ, обнаруживающихъ постыдную трусость и ничтожество характера? Всякій же

внимательный воспитатель, безъ сомнѣнія, убѣдится, что и въ школѣ дѣти слабыя, золотушныя, болѣзненныя — вовсе не являются непременно слабыми по уму и характеру, а чаще совершенно наоборотъ. Сообразивъ всѣ эти несомнѣнные факты, трудно себѣ объяснить, какъ классическое выраженіе: «здоровая душа въ здоровомъ тѣлѣ» можетъ еще до сихъ поръ повторяться людьми съ увѣренностью въ его полной справедливости.

Однакоже мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы общее здоровье или болѣзненное состояніе организма, или прирожденная сила или слабость его не оказывали *никакого* вліянія на душевную жизнь и ея результаты: умъ и характеръ. Этого вліянія *не можетъ не быть*. Если человѣкъ испытываетъ болѣзненныя ощущенія и недостаточность своихъ тѣлесныхъ силъ, то эти, уже *душевные*, опыты не могутъ не оставить слѣдовъ въ его душевныхъ работахъ и не могутъ не сказаться въ результатахъ этихъ работъ: умѣ и характерѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что дитя, часто испытывающее слабость своихъ тѣлесныхъ силъ, сравнительно съ силами товарищей, отразитъ эти опыты въ своей душевной жизни и ея результатахъ; но какъ отразитъ и что извлечетъ изъ этихъ опытовъ—это еще вопросъ. Очень можетъ быть, что дитя, удерживаемое слабостью своихъ силъ отъ тѣлесныхъ игръ и упражненій со своими сверстниками, сосредоточитъ свою психическую дѣятельность въ умственной сферѣ, почему и развитіе ея пойдетъ сравнительно быстрѣе. Можетъ быть и то, что слабое дитя, обижаемое своими сильными товарищами, вздумаетъ наверстать слабость своихъ силъ умомъ, и отсюда выработается хитрость. Можетъ выйти и такъ, что слабое дитя не откажется отъ соперничества въ тѣлесной силѣ со своими товарищами, и въ немъ разовьется чувство гнѣва, а потомъ и злости. Можетъ быть и наоборотъ, что дитя, непобуждаемое къ тѣлеснымъ упражненіямъ быстро накопляющимися силами дѣтства, будетъ смотрѣть на игру другихъ, какъ на развлеченіе, и отсюда выработается добрая черта въ характерѣ. Точно такъ же сильный и здоровый мальчикъ имѣетъ въ самомъ обиліи своихъ силъ условіе для развитія чувства доброты ¹⁾; но можетъ развиться въ немъ и чувство гордости и злости; смотря по обстоятельствамъ его дѣтства и какъ къ нимъ дитя относится. Сильный и здоровый мальчикъ очень можетъ умственно развиться тупо, именно потому, что обиліе тѣлесныхъ силъ повлечетъ его преимущественно къ тѣлесной дѣятельности, и она, а не дѣятельность умственная, будетъ удовлетворять врожденному душѣ стремленію въ жизни. Но развѣ можно вывести изъ этого, что обиліе тѣлесныхъ силъ есть непременно условіе слабаго развитія умственныхъ?

Изъ этого мы можемъ вывести только, что общее состояніе здоровья,

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XXI.

безъ сомнѣнія, оказываетъ вліяніе на психическую жизнь и ея результаты; но что это вліяніе можетъ быть безконечно разнообразно, смотря по внѣшнимъ обстоятельствамъ и по тому, какія первыя душевныя работы начнутъ залегать въ душѣ ребенка. Воспитатель, слѣдовательно, не долженъ упускать изъ виду здороваго или больного состоянія организма, какъ вліяющей причины, но долженъ въ каждомъ данномъ случаѣ изслѣдовать, каково было это вліяніе, впередъ уже зная, что это вліяніе можетъ дать результаты не только разнообразные, но даже прямо противоположныя. Прослѣдите, на примѣръ, какъ хромота вліяла на характеръ Байрона, и вы убѣдитесь, что тотъ же самый тѣлесный недостатокъ могъ дать въ другомъ человѣкѣ и при другой обстановкѣ жизни результаты совершенно противоположныя.

Различіе въ быстротѣ совершенія пищевого процесса и возобновленія тканей организма у различныхъ индивидовъ есть фактъ, наблюдаемый, сколько намъ извѣстно, и медиками. Наблюдая надъ дѣтьми и взрослыми, мы замѣтимъ, что даже при одинаково нормальномъ и здоровомъ состояніи организма, одинъ организмъ скорѣе, чѣмъ другой, выполняетъ весь пищевой процессъ, начинающійся приѣмомъ пищи и оканчивающійся превращеніемъ ея въ ткани и скрытыя (потенціальныя) силы тканей. Это замѣтно не столько въ относительной быстротѣ работы желудка, сколько въ болѣе или менѣе быстромъ вознагражденіи убыли крови изъ пищевого запаса и въ болѣе или менѣе быстромъ возобновленіи изъ крови всѣхъ тканей и скрытыхъ въ нихъ силъ. У одного кровотоеніе совершается замѣтно быстрѣе и замѣтно быстрѣе возобновляются растроченныя силы, чѣмъ у другого. Отъ того дѣти, а также и взрослые, такъ различно выносятъ однѣ и тѣ же болѣзни. Это различіе въ быстромъ возобновленіи тканей и скрытыхъ въ нихъ силъ изъ крови и окончательномъ изъ пищи не можетъ не сказаться и въ различной быстротѣ совершенія однихъ и тѣхъ же психофизическихъ процессовъ у различныхъ лицъ, которую легко замѣтитъ каждый внимательный воспитатель. Если, какъ мы это уже видѣли, необходимо предположить нѣкоторую дѣятельность нервной системы при всякой душевной дѣятельности, совершающейся въ области представленій, то понятно само собою, что быстрое или медленное возобновленіе нервной ткани и ея силъ изъ крови не можетъ остаться безъ вліянія на болѣе или менѣе быстрый ходъ представленій въ нашей душѣ, на процессъ ихъ потемнѣнія и возникновенія въ сознаніи, и на продолжительность ихъ яркости, а все это слишкомъ важныя условія психическаго процесса, чтобы не имѣть на него вліянія. Но весьма было бы ошибочно полагать, что вообще здоровыя и полныя дѣти быстрѣе возобновляютъ свои силы, чѣмъ худощавыя. Едва ли не чаще бываетъ наоборотъ. Иное дитя, худощавое и повидимому слабое, поражаетъ именно энергической тратой своихъ силъ и энергическимъ ихъ восстановле-

ніемъ, тогда какъ дитя румяное и полное, наоборотъ, не рѣдко поражаетъ вялостью и медленностью оборота силъ: ихъ траты и ихъ возстановленія. Это объясняется, конечно, тѣмъ важнымъ вліяніемъ, которое имѣетъ нервная система на растительные процессы тѣла. Въ этомъ отношеніи извѣстная примѣта, по которой нѣмецкіе хозяева оцѣнивали нанимаемыхъ слугъ, *не вовсе* лишена основанія; хотя, конечно, быстрая и жадная ѣда можетъ быть слѣдствіемъ обжорства, указывающаго вовсе не на энергическую трату силъ, а на дурную привычку желудка. Дитя очень легко сдѣлать обжорой, и лѣньность, а не энергія, будетъ слѣдствіемъ обжорства. Но можно также воспитаніемъ и ускорить оборотъ силъ, не переходя, конечно, врожденныхъ предѣловъ,

На различіе въ объемъ и устройствѣ мозга чаще всего старались указывать въ послѣднее время, какъ на причину врожденныхъ особенностей ума и характера. Но всѣ эти старанія не привели ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. Что касается до безотносительнаго объема головного мозга, то несомнѣнные факты показываютъ, что животныя, обладающія большимъ количествомъ мозга, могутъ быть замѣтно глупѣе животныхъ съ самымъ малымъ мозгомъ. Всѣ естествоиспытатели удивляются уму муравьевъ; извѣстный матеріалистъ Фохтъ называетъ ихъ даже маленькими мудрецами и готовъ приписать имъ даръ слова ¹⁾, а между тѣмъ вся нервная система муравья—одинъ микроскопическій узелокъ, который слишкомъ малъ даже въ отношеніи объема насѣкомаго. Кромѣ того, вскрытія показали, что люди, у которыхъ цѣлая половина мозга была поражена, не выказывали при жизни ни малѣйшаго пораженія ума. Указывая на этотъ фактъ, другой извѣстный матеріалистъ, Молешотъ, говоритъ, что люди, пораженные атрофіей половины мозга, быстрѣе здоровыхъ уставали; но развѣ это не есть общее послѣдствіе всякой болѣзни? Думали видѣть особое значеніе для умственной дѣятельности въ болѣшихъ или меньшихъ извилахъ большого мозга. Но, «къ несчастію»,—наивно восклицаетъ Бэнъ ²⁾—у овцы, одного изъ глупѣйшихъ животныхъ (какъ и у всѣхъ жвачныхъ), мозговые извивы гораздо богаче, чѣмъ у собаки, одного изъ умнѣйшихъ четвероногихъ. Молешотъ еще хочетъ придать особенное значеніе большому или меньшему закрытію малаго мозга большимъ ³⁾; но если даже и удалось бы провести этотъ фактъ въ сравнительной анатоміи мозга, то какая же связь между закрытіемъ мозжечка и силою умственныхъ способностей? Что же касается до френологическихъ фантазій, то можно

¹⁾ Физиолог. письма, 1864 г., стр. 458.

²⁾ The Senses and the Intellect, p. 12. Примѣч.

³⁾ Circulation de la vie, par Moleschott. T. II, p. 158.

только удивляться, какъ онѣ еще существуютъ до сихъ поръ, и еще болѣе можно удивляться, что иногда люди практическіе, какими должны быть медики и педагоги, отводятъ этимъ фантазіямъ почетное мѣсто въ своихъ педагогическихъ системахъ, какъ это сдѣлалъ извѣстный нѣмецкій педагогъ Карлъ Шмидтъ. Мы не отрицаемъ, что должно быть какое-нибудь соотвѣтствіе между устройствомъ мозгового органа и тою дѣятельностью, которую проявляетъ душа черезъ посредство этого органа и пользуясь имъ; но не видимъ, чтобы это соотвѣтствіе было найдено въ настоящее время.

Если въ этомъ отношеніи въ чемъ-нибудь нельзя сомнѣваться, такъ это только въ томъ, что особенно счастливое, сильное и тонкое развитіе тѣхъ или другихъ органовъ внѣшнихъ чувствъ, въ связи съ развитіемъ относящихся къ нимъ частей мозга, непременно должно оказывать важное вліяніе на психическую дѣятельность и иногда даже давать ей рѣшительное направленіе. Мы уже замѣчали выше по этому поводу, но и здѣсь считаемъ не лишнимъ повторить, что сильное и счастливое развитіе, напримѣръ, слухового органа можетъ увлечь душу человѣка преимущественно въ сферу звуковъ, точно такъ же, какъ сильное и счастливое развитіе зрительнаго органа можетъ увлечь душу другого преимущественно въ міръ красокъ и образовъ, а, можетъ быть, особенно тонкое и счастливое развитіе органа мускульнаго чувства—въ міръ математическихъ движеній, а потомъ въ міръ математическихъ соображеній. Эта догадка пріобрѣтаетъ для насъ теперь особенное значеніе, когда мы познакомились уже со стремленіемъ души къ безпрестанной и безпрестанно расширяющейся дѣятельности. Естественно, что душа преимущественно будетъ направлять свои работы въ ту сферу дѣятельности, особенное обиліе которой условливается особенно удачнымъ, тонкимъ и сильнымъ развитіемъ того или другого органа чувствъ. Естественно, что если преимущественное развитіе даннаго органа дастъ для души болѣе обильный, разнообразный и стройный матеріалъ, чѣмъ обусловятся первыя основныя ея работы, то она преимущественно и будетъ склоняться въ эту сферу дѣятельности, гдѣ одинаковая тягость работы дастъ болѣе успѣшные результаты, и гдѣ поэтому душевная работа будетъ совершаться въ одно и то же время и легче, и обширнѣе, и успѣшнѣе, и прогрессивнѣе. Вотъ, кажется, одно, что можно извлечь рациональнаго изъ всѣхъ попытокъ отыскать въ особенности устройства мозговыхъ органовъ условія, опредѣляющія особенность психической дѣятельности у различныхъ лицъ.

Различіе въ устройствѣ тканей мозга и всей нервной системы у различныхъ индивидовъ, конечно, есть только *предполагаемое* различіе, не подтверждаемое никакими извѣстными намъ микроскопическими наблюденіями; но наблюденія психологическія такъ сильно указываютъ имѣнно въ этомъ направленіи, что мы не можемъ отказаться отъ весьма вѣроят-

ныхъ догадокъ. Наблюдая надъ *врожденнымъ* различіемъ психической дѣятельности у различныхъ людей, невольно приходимъ къ мысли, что тѣ особенности въ этомъ отношеніи, на которыя отчасти такъ мѣтко указалъ Бенеке и которыхъ мы не можемъ иначе объяснить, какъ врожденностью, должны имѣть своею причиною какія-нибудь особенныя условія въ устройствѣ нервной ткани. Такъ, напр., всякій можетъ убѣдиться, что одно дитя гораздо легче приходитъ въ раздраженное нервное состояніе, чѣмъ другое, поставленное въ тѣ же условія жизни и воспитанія. Замѣтивъ же это, естественно прійти къ мысли, что это зависитъ уже отъ врожденнаго, а можетъ быть и отъ болѣзненнаго свойства нервной ткани. Въ этомъ отношеніи мы позволимъ себѣ, вслѣдъ за Бенеке, выставить нѣсколько свойствъ, которыхъ мы не можемъ объяснить психически, но которыя очень могутъ зависѣть отъ врожденныхъ или патологическихъ особенностей нервной ткани. Къ такимъ свойствамъ, кажется, слѣдовало бы причислить: 1) болѣе или менѣе сильную воспримчивость впечатлѣній; 2) большую или меньшую степень силы въ удержаніи слѣдовъ впечатлѣній и потомъ слѣдовъ ощущеній; 3) большую или меньшую степень распространяемости впечатлѣній, или ихъ ограниченіе какою-нибудь одною частью нервной системы, что зависитъ отъ степени раздражительности нервной системы, и 4) большую или меньшую степень подвижности молекулъ нервной системы. Разсмотримъ каждую изъ этихъ предполагаемыхъ нами врожденныхъ или патологическихъ особенностей нервной ткани.

Кто наблюдалъ надъ дѣтьми и особенно училъ ихъ по наглядной методѣ, тотъ, безъ сомнѣнія, замѣтилъ разную *степень впечатлительности* въ разныхъ дѣтяхъ. Одно дитя или вообще замѣтно впечатлительнѣе другого, или выказываетъ замѣтно большую впечатлительность въ сферѣ впечатлѣній *одного органа* чувствъ, сравнительно съ другимъ. Здѣсь, конечно, не все принадлежитъ врожденной особенности и многое условливается прежними душевными работами дитяти; но есть, кажется, и какая-то природная грань, которой уже перейти нельзя и которой нельзя и объяснить психически. Сильная и тонкая впечатлительность, общая или частная, конечно, есть важное условіе быстраго и успѣшнаго психическаго развитія. Впечатлѣнія доставляютъ весь матеріалъ для психической работы, а потому понятно, что чѣмъ больше будетъ этого матеріала, чѣмъ тоньше и вѣрнѣе будетъ онъ схваченъ уже самымъ органомъ чувствъ, тѣмъ болѣе условій для обширныхъ и успѣшныхъ психическихъ работъ.

Однакоже обширная и тонкая *впечатлительность* сама по себѣ, не поддерживаемая другими благопріятными условіями нервной системы, не есть еще ручательство за успѣшное психическое развитіе дитяти. Если быстро усваиваемыя впечатлѣнія быстро же и смѣняются другими, не оста-

вляя по себѣ прочныхъ слѣдовъ, то это можетъ даже помѣшать душевному развитію. Часто приходится желать, чтобы дитя было менѣе впечатлительно и чтобы меньшая впечатлительность дала ему возможность болѣе сосредоточиваться на внутренней душевной работѣ, на комбинаціи усваиваемыхъ впечатлѣній въ точныя представленія и представленій въ вѣрныя понятія: словомъ, дала душѣ возможность перерабатывать тотъ матеріалъ, которымъ она загромождается, не имѣя ни силы, ни времени справиться съ нимъ, какъ слѣдуетъ. Слишкомъ впечатлительное дитя часто развивается медленно именно по причинѣ этой слишкомъ большой впечатлительности. Для такого дитяти нужно сравнительно болѣе времени, чтобы душа его завязала довольно сильныя внутреннія работы, съ которыми она могла бы уже идти навстрѣчу новымъ впечатлѣніямъ, не поддаваясь имъ безразлично, не увлекаясь ими отъ одной работы къ другой, но выбирая въ ихъ безконечномъ разнообразіи тѣ, которыя ей нужны для ея уже самостоятельнаго дѣла. Часто говорятъ, что дитя вообще впечатлительнѣе взрослого; но это слишкомъ поверхностная замѣтка. Дитя больше подчиняется внѣшнимъ впечатлѣніямъ, чѣмъ взрослый—это вѣрно; но подчиняется оно имъ потому, что въ немъ слишкомъ мало душевнаго содержанія, такъ что всякое новое впечатлѣніе, сколько-нибудь сильное, перетягиваетъ его всего. Напротивъ, мы замѣчаемъ, что, работая настойчиво въ извѣстномъ направленіи, мы можемъ даже замѣтно расширить нашу впечатлительность, хотя, конечно, не можемъ перейти какого-то прирожденнаго предѣла. Сильная прирожденная впечатлительность, не находящая себѣ ограниченія въ другихъ прирожденныхъ свойствахъ нервной системы, часто долго мѣшаетъ человѣку противопоставить ей силу и обширность внутренней, самостоятельной работы, такъ что даже и въ зрѣломъ возрастѣ мы нерѣдко можемъ замѣтить вредное вліяніе этого прирожденнаго свойства, польза котораго слишкомъ очевидна, чтобы нужно было о ней распространяться.

Еще очевиднѣе большая или меньшая степень *крѣпости* или *памятливости* нервной системы. Конечно, болѣе или менѣе хорошая память не есть только прирожденное качество. Мы уже показали въ своемъ мѣстѣ, какъ развивается память у людей ¹⁾, и что душа своими работами развиваетъ память въ отношеніи усвоенія слѣдовъ тѣхъ ощущеній, которыя находятся въ связи съ этими работами. Но все же крѣпость первыхъ усвоеній, лежащихъ въ основу душевныхъ работъ, и потомъ крѣпость послѣдующихъ усвоеній, не находящихся въ связи съ начатыми работами, условливаются прирожденною степенью большей или меньшей памяти. Можно легко замѣтить, что одинъ ребенокъ усваиваетъ быстро и прочно;

¹⁾ Пед. Антр., ч. I, гл. XXV.

другой усваиваетъ такъ-же быстро, но скоро забываетъ; третій усваиваетъ медленно, но прочно; четвертый, наконецъ, самый несчастный, и медленно усваиваетъ, и быстро забываетъ. Это явленіе часто не находится въ связи съ умственнымъ развитіемъ, такъ какъ встрѣчаются положительные идіоты, которые въ то же время необыкновенно быстро усваиваютъ громадные ряды слѣдовъ ощущеній и прочно ихъ сохраняютъ, какъ тотъ приводимый Дробишемъ идіотъ, который, не понимая ни слова по-латыни, могъ отъ слова до слова повторить прочитанную имъ разъ медицинскую диссертацию на латинскомъ языкѣ. Память, безъ сомнѣнія, есть необходимое условіе всякаго душевнаго развитія. Не имѣя памяти, человѣкъ положительно не могъ бы ни на волосъ развиться: онъ всегда вращался бы въ одной и той же тѣсной сферѣ мгновенной душевной дѣятельности. Но сильная память не есть еще сама по себѣ ручательство возможности сильнаго душевнаго развитія, если ея не поддерживаютъ, съ одной стороны, столь же сильныя душевныя работы, а съ другой,—иныя свойства нервной системы, и именно особенная подвижность ея частицъ. Въ такомъ положеніи сильная память можетъ оказать даже вредное вліяніе, загромаждая человѣка безчисленнымъ числомъ твердо усвоенныхъ слѣдовъ, которые только мѣшаютъ его слабой душевной дѣятельности. Отсюда вредъ безтолковаго зубренія наизусть, которое погубило не одну молодую, еще слабую душу, заваливая ее никуда не годнымъ матеріаломъ, съ которымъ душа не можетъ еще справиться. Но вредное вліяніе сильной и прочной памяти не ограничивается только дѣтскимъ возрастомъ: часто, пересматривая труды какого-нибудь ученаго, приходится только жалѣть, что у него была такая сильная память при маломъ развитіи другихъ качествъ душевной дѣятельности. Изъ сказаннаго здѣсь, конечно, ни одинъ благоразумный человѣкъ не выведетъ, что сильная память вообще вредна. Напротивъ: она есть необходимое условіе геніальнаго ума; но она же часто бываетъ причиною и слабаго развитія умственныхъ способностей. Все дѣло здѣсь въ гармоніи различныхъ качествъ нервной системы и въ силѣ душевныхъ работъ. Нѣкоторые психологи въ особой слабости усвоенія хотятъ найти корень различія психической дѣятельности мужчинъ и женщинъ; но это *грубая* ошибка: кто училъ дѣвочекъ, тотъ знаетъ, что онѣ точно такъ-же часто, какъ и мальчики, отличаются быстрою и сильною памятью. Скорѣе уже можно упрекнуть дѣвочекъ въ томъ, что онѣ заучиваютъ слишкомъ твердо.

Наблюдая надъ дѣтьми и взрослыми, всякій легко замѣтитъ, что у одного лица нервная *раздражительность* сильнѣе, а у другого слабѣе. Эта очень замѣтная особенность можетъ зависѣть отъ патологическихъ причинъ, такъ какъ многія болѣзни оказываютъ прямое и очевидное вліяніе на усиленіе нервной раздражительности; но она можетъ быть и врожден-

ною и остается въ человѣкѣ, какъ бы ни усиливало ее и ни ослабляло вліяніе жизни и воспитанія. Конечно, воспитаніе и состояніе здоровья имѣютъ большое вліяніе, на примѣръ, на степень вспыльчивости человѣка; но есть здѣсь нѣчто прирожденное и весьма замѣтно передающееся по наслѣдству отъ родителей къ дѣтямъ. Едва ли рационально говорить здѣсь о вліяніи крови и ея относительнаго обилія; ибо люди полнокровные и даже склонные къ апоплексическому удару нерѣдко бываютъ очень хладнокровны въ психическомъ отношеніи, и, наоборотъ, люди, страдающіе замѣтнымъ малокровіемъ, очень часто бываютъ сильно вспыльчивыми и неудержимо предаются какъ гнѣву, такъ и другимъ страстнымъ движеніямъ. Если первыя двѣ предположенныя нами особенности нервной ткани оказываютъ сильное вліяніе на умственное развитіе, то бѣльшая или меньшая степень раздражительности нервовъ оказываетъ преимущественное вліяніе въ средѣ явленій чувствованія и воли, и потому принимаетъ особенно дѣятельное участіе въ образованіи того, что обыкновенно называютъ характеромъ человѣка. Вліяніе это выражается болѣе всего въ степени быстроты и неудержимости, съ которою какое-нибудь душевное чувствованіе: гнѣвъ, страхъ, радость и т. п. переходитъ въ чувствованіе органическое, и въ степени быстроты, съ которою это органическое чувствованіе разливается, такъ сказать, по всему нервному организму, вызывая въ немъ судорожныя, чисто нервныя явленія, которымъ поддается раздражительный человѣкъ, охваченный какимъ-нибудь душевнымъ чувствомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что многое въ этомъ отношеніи могутъ воля, воспитаніе и жизнь; но все же нельзя не признать, что всѣмъ этимъ условіямъ, находящимся, такъ сказать, въ рукахъ человѣка, приходится бороться съ чѣмъ-то врожденнымъ. Конечно, и у нераздражительнаго человѣка всякое сильное душевное потрясеніе отражается въ нервномъ организмѣ; но это отраженіе слабо, совершается медленно и, такъ сказать, ограничивается извѣстнымъ мѣстомъ, не распространяясь по всей нервной системѣ и не овладѣвая ею. Степенью силы душевнаго чувства, какую способна вынести нервная система, не впадая въ раздраженіе, Бенъ думаетъ измѣрять степень здоровья человѣка; но этотъ взглядъ слишкомъ узокъ. Мы ясно видимъ, что въ этомъ явленіи принимаютъ участіе многіе факторы: врожденная степень раздражительности нервной системы, воспитаніе, жизнь и воля человѣка. Но участія и сильнаго участія врожденной особенности отрицать невозможно. Иное дитя до того раздражительно, что эта раздражительность сама собою кидается въ глаза, когда мы сравнимъ его съ другимъ ребенкомъ, выросшимъ въ тѣхъ же условіяхъ. Эту прирожденность раздражительности, съ которою можно и слѣдуетъ бороться, но которая, тѣмъ не менѣе, само по себѣ сила, условливающая поступки дитяти, долженъ непремѣнно имѣть въ виду всякій внимательный воспита-

тель. Мы не усумнились бы назвать нервную раздражительность прямо вреднымъ качествомъ, если бы не замѣчали, какое иногда полезное вліяніе на умственную дѣятельность оказываетъ та же раздражительность нервовъ, удерживаемая волею чловѣка въ извѣстныхъ предѣлахъ.

Нервную раздражительность, кажется, слѣдовало бы отличать отъ *удобоподвижности частицъ нервной ткани*, хотя, конечно, оба эти качества могутъ сходиться въ иныхъ явленіяхъ. При нервной раздражительности мы замѣчаемъ какое-то *массивное* дѣйствіе нервовъ, обхватывающее душу общимъ органическимъ чувствомъ, тогда какъ при удобоподвижности нервныхъ частицъ душевное чувство какъ бы раздѣльно пробѣгаютъ молекулы нервной системы, точно задерживаясь ихъ упругостью. Чловѣкъ съ раздражительными нервами поддается общему и темному вліянію чувства чловѣкъ же, обладающій удобоподвижностью нервной системы, ощущаетъ всѣ малѣйшіе оттѣнки чувствованій. Вотъ почему эта удобоподвижность частицъ нервной системы есть, между прочимъ, необходимая принадлежность поэтовъ и вообще писателей, выражающихъ тончайшіе оттѣнки чловѣческихъ чувствованій.

И *раздражительность* нервной системы, и слишкомъ большая *подвижность* ея могутъ имѣть какъ дурное, такъ и хорошее вліяніе на поступки чловѣка. Онѣ-то даютъ возможность схватывать такіа тонкіа *сходства* между представленіями, которыя для другихъ неуловимы; но когда чловѣкъ поддается этимъ особенностямъ своей нервной системы, то онѣ же мѣшаютъ ему видѣть такое *различіе* между сближаемыми представленіями, которое кидается въ глаза всякому хладнокровному чловѣку. Отъ сколькихъ ошибокъ избавленъ былъ бы чловѣкъ, если бы, на примѣръ, въ гнѣвѣ на другого чловѣка не забывалъ хорошихъ сторонъ его, тогда какъ онъ съ такою наблюдательностью выискиваетъ всѣ дурныя!

Понятно само собою, что всѣ эти характеристическія черты нервной дѣятельности могутъ входить въ различныя комбинаціи между собою. Впечатлительность нервной системы можетъ соединяться съ различными степенями ея памяти, съ различными степенями раздражительности и т. п. Сильно раздражительная нервная система можетъ быть въ то-же время очень сильна или очень слаба въ отношеніи памяти. Въ первомъ случаѣ она даетъ удобство образованію продолжительныхъ, глубокихъ и сильныхъ страстей; во второмъ — образованію порывистаго характера, легко поддающагося органическому разлитію чувствъ, но такъ же легко и перемѣняющему эти чувства.

Что касается до *патологическихъ явленій*, то они слишкомъ ясны, чтобы о нихъ нужно было распространяться. Отсутствие зрѣнія или тупость слуха, конечно, не могутъ не оказывать вліянія на душевную дѣятельность.

Болѣзненное разстройство, сопровождаемое тѣмъ или другимъ органическимъ чувствомъ, конечно, отразится и на душевной дѣятельности, а если продолжается долго, то и на результатахъ этой дѣятельности—умъ и характеръ. Люди, наблюдавшіе надъ дѣтьми, знаютъ, какое замѣтное вліяніе, часто никогда вполне не изглаживающееся, оставляютъ въ нихъ продолжительныя и сильныя болѣзни. Наконецъ, тѣ патологическія состоянія мозга и нервной системы, которыя вносятъ совершенное замѣшательство въ дѣятельность души, и которыя потому весьма характеристически называются состояніемъ *помѣшательства*, нуждаются только въ томъ, чтобы указать на нихъ. Если мы прибавимъ къ этому встрѣчающіяся врожденныя расположенія къ одуряющимъ напиткамъ, къ азартной игрѣ, къ распутству и т. п., то мы перечислимъ всѣ извѣстныя намъ *патологическія* состоянія нервной системы, врожденныя и пріобрѣтенныя, которыя оказываютъ вліяніе на душевную жизнь человѣка.

Но какъ ни сильны вліянія особенностей тѣлеснаго организма на психическую жизнь и на результаты ея—умъ и характеръ, однакоже мы не должны забывать, что это только условія одной стороны, а именно тѣлесной природы человѣка, которыми онъ можетъ воспользоваться весьма разнообразно и въ хорошую, и въ дурную сторону, подъ вліяніемъ уже совершенно другихъ условій: подъ вліяніемъ жизни со всѣми тѣми впечатлѣніями, которыя она вноситъ въ душу человѣка. Если нервная система усиливаетъ *форму* душевныхъ работъ, то жизнь даетъ *матеріаль* этимъ работамъ, а свойства матеріала измѣняютъ очень часто и самую форму.

Г Л А В А XLIV.

Второй факторъ въ образованіи характера: б) вліяніе впечатлѣній жизни.

Если вліяніе врожденныхъ особенностей человѣка на установленіе его характера есть фактъ очевидный, то вліяніе впечатлѣній жизни на тотъ же характеръ едва ли еще не очевиднѣе. Всякій наблюдательный человѣкъ, а тѣмъ болѣе всякій наблюдательный воспитатель, безъ сомнѣнія, имѣлъ множество случаевъ убѣдиться въ томъ фактѣ, что, каковы-бы ни были врожденные задатки характера, воспитывающее вліяніе жизни во всей его обширности, въ которомъ вліяніе школы составляетъ только одну его часть, и то не самую значительную, сильно видоизмѣняетъ врожденные задатки характера, если не можетъ вовсе ихъ измѣнить.

Но для того, чтобы прослѣдить за вліяніями жизни на установленіе того или другого характера, мы должны не только отдѣлать понятіе харак-

тера отъ идеи умственнаго развитія и отъ идеи нравственности, что мы сдѣлали выше ¹⁾), но и провести рѣзкую черту между понятіями о *силѣ характера* и о *силѣ воли*, которыя часто употребляются, какъ синонимы. Характеръ, настойчивый въ своихъ страстяхъ, которымъ и самъ человѣкъ поддается совершенно, можетъ выказать въ своей настойчивости изумительную силу; но развѣ возможно назвать эту силу силою воли? Такая сосредоточенная, настойчивая страсть, напротивъ, часто лишаетъ человѣка всякой воли. Изъ этого мы уже видимъ, что подъ именемъ *силы характера* слѣдуетъ разумѣть его цѣлостность, его единство, сосредоточенность, болѣе или менѣе полную его организацію; а подъ *слабостью характера* слѣдуетъ разумѣть его разрозненность, разорванность, неполноту его организаціи, что можетъ быть совмѣстно съ очень большою силою воли. Конечно, сила воли, направленная на организацію характера, очень скоро можетъ достигъ блестящихъ результатовъ и передѣлать разрозненный характеръ въ сосредоточенный; но она можетъ этого и не сдѣлать и, направленная въ какую-нибудь одностороннюю дѣятельность, оставить вообще характеръ въ самомъ печальномъ безпорядкѣ.

Отдѣливъ силу воли отъ силы характера, мы найдемъ, что большая или меньшая степень силы характера есть прямое выраженіе большей или меньшей степени обилія, силы и степени организаціи человѣческихъ чувствованій и желаній. Въ этомъ отношеніи *сила и обширность ума* и *сила характера* представляются явленіями совершенно *аналогическими*, такъ какъ въ обоихъ этихъ явленіяхъ сила и обширность явленія зависятъ отъ большаго или меньшаго обилія и совершенства въ организаціи душевныхъ слѣдовъ. И если, какъ мы уже доказали въ первой части нашей «Антропологии», сильный и обширный умъ есть не что иное, какъ обширное и хорошо организованное собраніе знаній ²⁾, то точно такъ же и сильный характеръ есть не что иное, какъ обширное и хорошо организованное собраніе слѣдовъ чувствованій и возникающихъ изъ нихъ желаній.

Чѣмъ болѣе набирается въ душѣ слѣдовъ чувствованій и желаній, тѣмъ болѣе набирается въ ней матеріала для выработки характера. Но такъ какъ чувства и желанія вызываются въ человѣкѣ, съ одной стороны, живущими въ немъ тѣлесными, душевными и духовными стремленіями, а съ другой—разнообразнѣйшими удовлетвореніями этихъ стремленій впечатлѣніями жизни, то естественно, что матеріалы характера накапливаются въ человѣкѣ пропорціонально обилію впечатлѣній жизни, вызывающихъ въ немъ чувство желанія. Какъ для того, чтобы образовать обширный и силь-

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XLII.

²⁾ См. выше, ч. I, гл. XLIII.

ный умъ, должно много наблюдать и думать, т. е. жить умственно, точно такъ же для того, чтобы накопить обильный матеріалъ для сильнаго характера, нужно какъ можно болѣе чувствовать, желать и дѣйствовать, т. е. другими словами—жить практически. Теоретическая жизнь ума образуетъ умъ; но только практическая жизнь сердца и воли образуетъ характеръ. Эту простую и очевидную истину часто забываютъ родители, воспитатели и наставники, думающіе моральными наставленіями образовывать сердце и волю дитяти. Эти наставленія вносятъ только свою долю образованія въ развитіе ума, но могутъ быть *такъ* усвоены умомъ, что не окажутъ ни малѣйшаго вліянія на сердце и волю дитяти, въ которыхъ могутъ образоваться въ то же время задатки, крайне противоположные смыслу моральныхъ сентенцій. Чтобы въ дитяти образовался характеръ или, по крайней мѣрѣ, накопились для него обильные матеріалы, слѣдуетъ, чтобы дитя жило сердцемъ и дѣйствовало волею, а этому часто препятствуютъ старшіе своимъ вмѣшательствомъ въ воспитаніе дитяти: или запирая ребенка на цѣлый день въ школу, или мѣшая ему чувствовать и желать, словомъ, жить практически—тѣми же безпрестанными моральными сентенціями и всякаго рода стѣсненіями. Вотъ почему, между прочимъ, нашъ вѣкъ, вѣкъ *многоученья*, отличается обиліемъ ничтожныхъ характеровъ; и вотъ почему таже самые безхарактерные люди выходятъ изъ тѣхъ семействъ, гдѣ родители и воспитатели, не понимая свойствъ души человѣческой, безпрестанно вмѣшиваются въ жизнь ребенка и не даютъ ему свободно ни чувствовать, ни желать. Въ этомъ отношеніи недоучившаяся, но слишкомъ дѣятельная педагогика можетъ быть опаснѣе даже прежней бессмысленной строгости. Та предписывала иногда бессмысленныя правила, часто строго, а иногда и безчеловѣчно казнила за ихъ нарушеніе; но зато не очень-то вглядывалась въ жизнь дитяти, не копалась въ его душѣ, и дитя жило самостоятельно, хотя въ тѣхъ тѣсныхъ рамкахъ, которыя были ему поставлены, но все же жило. Вотъ почему, вынося тяжелый гнетъ бессмысленной средневѣковой школы, дѣти часто выносили изъ нея крѣпкій, установившійся характеръ. Правда, сотни гибли, десятки только спасались; но по силѣ характера эти десятки стоили сотенъ. Никто, конечно не заподозритъ насъ къ приверженности къ порядкамъ схоластической школы; но мы указываемъ только на фактъ, доказывающій, что современная школа и современное воспитаніе не должны впадать въ другую крайность и должны оставлять разумный просторъ самостоятельной жизни сердца и воли дѣтей, въ которой только и могутъ быть накоплены матеріалы будущаго характера.

Но одно *обиліе* слѣдовъ чувствованій и желаній, выполненныхъ или невыполненныхъ, не составитъ еще само по себѣ сильнаго характера; точно такъ же, какъ одно накопленіе знаній не составитъ еще само по себѣ силь-

наго ума ¹⁾. Какъ для силы ума нужна хорошая обработка матеріаловъ и хорошая ихъ организація, такъ и для сильнаго характера нужна хорошая организація слѣдовъ чувствованій и желаній. Говоря о борьбѣ желаній ²⁾ и потомъ о выработкѣ изъ нихъ страстей и наклонностей ³⁾, мы уже видѣли, что слѣды *чувственныхъ представлений*, какъ и слѣды *представлений умственныхъ*, организуются въ болѣе или менѣе обширныя сочетанія и въ болѣе или менѣе обширныя и стройныя массы или сѣти сочетаній, такъ что человѣкъ имѣетъ уже дѣло не съ отдѣльными слѣдами чувствованій и желаній, но съ *итогами* цѣлыхъ системъ чувствованій и желаній. Чѣмъ болѣе разрастаются эти массы чувственныхъ слѣдовъ, тѣмъ болѣе опредѣляется и тѣмъ сильнѣе высказывается характеръ человѣка. Если бы всѣ эти частныя итоги чувствованій и желаній были сведены въ одинъ общій, тогда характеръ человѣка получилъ бы полное *единство*; человѣкъ *весь* стремился бы къ одному и тому же, и въ характерѣ его не было бы болѣе шаткости и противорѣчій, которыя мы и называемъ *безхарактерностью*. Гербартъ считаетъ достиженіе такого единства невозможнымъ, по крайней мѣрѣ, въ здѣшнемъ мірѣ; но болѣе или меньшая степень этого достиженія опредѣляетъ болѣе или меньшую степень выработки характера.

Теперь уже для насъ ясно, что принятое нами выраженіе «*сила характера*», даже и въ отличіи отъ *силы воли*, не вполне соответствуетъ своему назначенію, и что понятіе, имъ выражаемое, распадается опять на два, изъ которыхъ за однимъ можно, пожалуй, оставить названіе *силы характера*, а другому должно присвоить названіе *единства характера*, такъ какъ эти два явленія хотя и условливаютъ другъ друга, но не всегда тождественны. Врожденная сила стремленій, особенно тѣлесныхъ, и обильная практическая жизнь чувства и воли могутъ выработать сильный характеръ, т. е. обширныя и сильныя массы чувственныхъ слѣдовъ; но, въ то же самое время, массы будутъ дѣйствовать каждая отдѣльно, и сильный характеръ представитъ собою отсутствіе единства. Это самыя опасныя и самыя несчастныя характеры. Въ данный моментъ они чувствуютъ, желаютъ и дѣйствуютъ сильно; но никакъ нельзя поручиться, что черезъ нѣсколько времени они не будутъ такъ же сильно чувствовать, желать и дѣйствовать въ совершенно противоположномъ направленіи. Такіе характеры очень часто образуются у людей, съ дѣтства окруженныхъ раболѣпствомъ и угодли-востью, которыя мѣшали болѣзненному дѣйствию опытовъ жизни, а потому

¹⁾ Пед. Антр. ч. I, гл. XLIV.

²⁾ См. выше, ч. II, гл. XL.

³⁾ См. выше, ч. II, гл. XLI.

и спасительному дѣйствию раскаянія; ибо одно только раскаяніе, какъ мы уже это видѣли ¹⁾, т. е. полное и чистосердечное недовольство своимъ прежнимъ образомъ дѣйствиі, могло бы привести къ единству такіе сильные, но разрозненные характеры, которые по всей справедливости можно назвать *дикими*. Въ умственной сферѣ такой дичи характеровъ соотвѣтствуетъ, какъ мы видѣли, обиліе фактовъ, дурно переработанныхъ и дурно связанныхъ, которыми затрудняется ходъ мышленія не въ одной ученой головѣ.

Обратное явленіе, т. е. общая слабость характера и при хорошей его организаціи, можетъ быть по разнымъ причинамъ. Оно можетъ быть отъ малой *памятливости* нервнаго организма, отъ недостатка въ немъ той *крѣпости*, о которой мы говорили выше. Такой человѣкъ переживаетъ много, но слѣды пережитаго остаются въ немъ слабо. Тоже можетъ быть отъ чрезмѣрной *раздражительности* нервнаго организма, причемъ возникающее чувство быстро обхватываетъ всю нервную систему человѣка и мѣшаетъ полному совершенію процесса обдумыванія, оставляя незамѣченнымъ множество противоборствующихъ представленій и желаній. Случается и такъ, что сильная умственная жизнь оставляетъ вообще мало времени и случая для практической жазни чувства и воли, отчего характеръ вообще слабо разовьется. такъ что массы чувственныхъ слѣдовъ будутъ вообще слабы и необширны; но въ то же самое время такой вообще слабой характеръ можетъ представлять большую степень единства.

Лучшимъ условіемъ для спѣшной и быстрой организаціи характера является такая среда, которая не была бы слишкомъ узка для дитяти, но за границами которой стояла бы крѣпкая, неподатливая жизнь, безцеремонно отталкивающая дитя, когда оно хочетъ переступить отмежеванный ему предѣлъ. Тогда характеръ дитяти, окрѣпнувъ и организовавшись внутри отведенной ему сферы, будетъ не безъ труда расширять ея предѣлы. Такая жизнь представитъ множество опытовъ удачи, неудачи, успѣха и неуспѣха, зависящихъ отъ самого дитяти, а это лучшія средства, чтобы сосредоточить чувственныя массы представленій въ одинъ сильный характеръ. Въ этомъ отношеніи воспитаніе крестьянскихъ дѣтей идетъ гораздо нормальнѣе, чѣмъ воспитаніе дѣтей богатаго класса.

Сильный и хорошо организованный характеръ не значитъ еще *нравственный* характеръ. Характеръ можетъ быть силенъ и весьма сосредоточенъ въ одномъ направленіи, такъ что человѣкъ хочетъ сильно и знаетъ, чего хочетъ, но самое это направленіе можетъ быть положительно дурнымъ. Таковы очень часто характеры у закоренѣлыхъ злодѣевъ; но таковы же они и у великихъ практическихъ благодѣтелей человѣчества. Такой могучій ха-

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XL.

рактерь—мечп обоудоострый, годный какъ для того, чтобы губить, такъ и для того, чтобы защищать. Такіе характеры образуются подъ *двумя* вліяніями: или подъ вліяніемъ сильно разросшейся одной страсти, или подъ вліяніемъ сильной и долгой внутренней борьбы, вызываемой дѣятельною практическою жизнью, часто крутыми положеніями вынуждавшею человѣка подводить итоги своимъ желаніямъ и нежеланіямъ: давать себѣ точный и чистосердечный отчетъ о томъ, чего онъ дѣйствительно хочетъ, какими желаніями онъ долженъ поступиться и какія желанія долженъ вынести, чтобы достичь того, чего онъ дѣйствительно и болѣе всего добивается. Въ первомъ случаѣ, могучій характеръ, образовавшійся подъ вліяніемъ какой-либо страсти, будетъ въ то же время безсознательный или малосознательный характеръ: весь сосредоточенный въ одной данной страсти, онъ не можетъ относиться къ этой страсти, какъ къ явленію объективному. Во второмъ случаѣ, мы получаемъ тоже могучій характеръ, но тѣмъ болѣе надежный, что человѣкъ, обладающій имъ, самъ его знаетъ.

Но если между образованіемъ ума и образованіемъ характера есть полная аналогія, если какъ тотъ, какъ и другой суть произведенія нервной организаци и жизни души, то, тѣмъ не менѣе, эти два явленія совершенно различны. Самое высокое развитіе ума, какъ мы уже замѣтили, можетъ саединяться съ самымъ ничтожнымъ и вполне разрозненнымъ характеромъ, и наоборотъ: самое посредственное развитіе ума не мѣшаетъ человѣку имѣть сильный и хорошо организованный характеръ. Очень часто случается, что характеръ человѣка остался слабымъ и неразвитымъ, и что элементы характера находятся въ полномъ безпорядкѣ именно потому, что человѣкъ этотъ жилъ преимущественно въ умственной сферѣ. Живя по преимуществу умомъ, онъ не только мало жилъ сердцемъ и волею, но мало и думалъ о томъ, какъ онъ жилъ ими. Онъ знаетъ многое обо всемъ, но о самомъ себѣ почти ничего. Результаты его сердечной жизни были немногочисленны и слабы, да и о тѣхъ ему некогда было хорошенько подумать. Правда, и ему случалось раскаиваться въ своихъ поступкахъ; но онъ тотчасъ же забывалъ свое раскаяніе, да и не придавалъ ему никогда большого значенія, такъ какъ главный интересъ его жизни былъ въ умственной сферѣ. Тамъ же у него выработался и сильный характеръ, но односторонній, узкій, удовлетворяющій только потребностямъ умственной жизни; тамъ онъ твердо помнитъ удачныя и неудачныя опыты; нравственную же жизнь свою онъ никогда не цѣнилъ высоко, не трудился надъ ея разработкою, и потому неудивительно, что характеръ его остался въ дикомъ и неразвившемся видѣ. Отсюда возможность тонко и широко развитаго ума съ дикимъ цинизмомъ въ поступкахъ и чувствахъ. Такое нравственное нерящество встрѣчается, къ сожалѣнію, очень часто у людей ученыхъ и даже необыкновенно умныхъ. Насъ

удивляетъ, что мы встрѣчаемъ болѣе смысла въ характерѣ простаго работника, чѣмъ въ характерѣ такого умнаго человѣка; но мы не удивлялись бы этому, если бы сознали, что этотъ работникъ гораздо болѣе трудился надъ выработкой своего характера, чѣмъ этотъ, иногда замѣчательный, мыслитель и ученый. Кто надъ чѣмъ потрудился, тотъ то и имѣетъ.

Это явленіе противорѣчія между развитіемъ ума и развитіемъ характера уяснится намъ еще болѣе, если мы припомнимъ, что сказано въ первой части нашей «Антропологии» объ ассоціаціяхъ представленій *по сердечному чувству* ¹⁾. Одни и тѣ же представленія могутъ входить въ различныя ассоціаціи. То же самое представленіе, которое въ *разсудочныхъ* ассоціаціяхъ играетъ одну роль, можетъ играть совершенно другую въ ассоціаціяхъ *по сердечному чувству*. Вотъ почему, какъ справедливо замѣтилъ еще Аристотель, хорошо разсуждать о добродѣтели—не значитъ еще быть добродѣтельнымъ; а быть справедливымъ въ мысляхъ—не значитъ еще быть справедливымъ на дѣлѣ. Ассоціаціи разсудочныя завязываются въ разсудочномъ же процесѣ; но ассоціаціи, связанныя однимъ сердечнымъ чувствомъ, однимъ желаніемъ и нежеланіемъ, завязываются только опытами чувства, желанія или нежеланія, т. е. опытами практической жизни—жизни сердца и воли. Сѣти чувственныхъ представленій, связанныя чувствованіями, желаніями или нежеланіями, могутъ быть совершенно непохожи на умственныя сѣти тѣхъ же самыхъ представленій въ одномъ и томъ же человѣкѣ, и такой человѣкъ представитъ намъ печальную и, къ сожалѣнію, очень обыкновенную картину полнаго разлада между умомъ и сердцемъ.

Воспитаніе, почти исключительно заботящееся объ образованіи ума, дѣлаетъ въ этомъ случаѣ большой промахъ, ибо человѣкъ болѣе человѣкъ въ томъ, какъ онъ чувствуетъ, чѣмъ въ томъ, какъ онъ думаетъ. Чувствованія, какъ мы видѣли, а не мысли, составляютъ средоточіе психической жизни, и въ ихъ-то образованіи долженъ видѣть воспитатель свою главную цѣль. Мы не будемъ здѣсь показывать, какъ достигается эта цѣль; но мы должны уже здѣсь выяснитъ себѣ все ея значеніе. «Отъ сердца исходятъ помышленія злыя», и въ сердце же слагаютъ они свои результаты.

Понятно само собою, какое громадное вліяніе должны имѣть свойства физическаго организма и въ особенности нервной системы, указанные нами выше, на эту формацію характеровъ опытами жизни. Большая или меньшая степень *впечатлительности, раздражительности, крѣпости и подвижности*, въ различныхъ комбинаціяхъ между собою, устанавливаютъ и неодинаковое отношеніе человѣка къ опытамъ жизни, такъ что жизнь, которая можетъ сломить одного, только закалитъ другого, и опыты, которые

¹⁾ Пед. Антр., ч. I, гл. XXIII.

для одного должны повториться сотни разъ, оставляя въ характерѣ другого прочный слѣдъ сразу. Съ темпераментомъ раздражительнымъ и флегматическимъ, прочно или слабо усваивающимъ, быстро или медленно возобновляющимъ истраченные силы, человѣкъ не одинаково относится къ опытамъ жизни, а потому и результаты ихъ не могутъ быть одинаковы.

Если подъ именемъ *случая* мы будемъ разумѣть не явленіе безъ причинъ, что немыслимо, а явленіе отъ человѣка независящее, то не должны ли мы признать, что характеръ человѣка есть дѣло случайностей: рожденія и случайностей жизни? Двѣ эти серіи случайностей, изъ которыхъ одна предшествуетъ сознательной жизни человѣка, а другая составляетъ также независящую отъ него сферу жизни, являются для насъ до сихъ поръ единственными факторами въ образованіи характера. Но неужели это такъ и на самомъ дѣлѣ? Неужели человѣкъ самъ не принимаетъ никакого участія въ образованіи собственнаго характера, изъ котораго потомъ, какъ математическіе выводы, вытекаютъ всѣ его желанія, рѣшенія и поступки? Къ такому безотрадному и унижительному выводу и должна прійти всякая психологія, отвергающая свободу воли въ человѣкѣ. Для *такой психологіи* вся жизнь человѣка есть средняя математическая линія, проводимая между двумя вліяніями: вліяніемъ врожденныхъ особенностей темперамента и вліяніемъ случайностей жизни. Если бы наше изученіе психическихъ явленій остановилось на той ступени, которой мы достигли теперь, то мы и должны были бы признать этотъ роковой фатализмъ въ образованіи каждаго человѣческаго характера, изъ котораго поступки вырастаютъ, какъ плоды на деревѣ. На такой ступени и дѣйствительно остановилась *опытная* германская психологія; на такой ступени остановилась бы и психологія Бэна, если бы, въ противорѣчіе самому себѣ и въ удовлетвореніе своему вѣрному національному чувству, Бэнъ не признавалъ власти человѣка надъ характеромъ въ отдѣльныхъ случаяхъ, въ то же время отвергая ее въ принципѣ. Но ученіе о свободѣ или несвободѣ воли, или вѣрнѣе о *свободѣ души*, должно найти себѣ мѣсто въ третьей части нашей «Антропологіи».

ГЛАВА XLV.

Воля, какъ противоположность неволѣ:
стремленіе къ свободѣ (360—369).

Психологическое понятіе *воли* не надо смѣшивать съ философскимъ понятіемъ *свободы*, которая въ дѣйствительности можетъ быть стѣсняема страстями, посторонними вліяніями, хотя воля остается неотъемлемою принадлежностію человѣка. Совершенной, *абсолютной* свободы въ жизни вообще не бываетъ и не можетъ

быть; такъ, когда мы говоримъ о свободѣ народа, о любви къ свободѣ, объ освобожденіи раба и т. под., то вовсе не разумѣемъ безграничной свободы дѣйствій; мы здѣсь разумѣемъ лишь возможность для народа или человѣка соображаться въ своихъ поступкахъ со своими желаніями. Понятіе *своеволя* и *произвола* имѣетъ свое спеціально нравственное и притомъ дурное значеніе. Между тѣмъ въ языкѣ вовсе нѣтъ слова для обозначенія понятія *воли*, какъ противоположности *неволи*. Это объясняется тѣмъ, что это понятіе скрывается въ самомъ словѣ *воля*, которая у каждаго бываетъ своя, а не чужая, и придаваемый этому слову эпитетъ «добрая» воля не можетъ имѣть научнаго значенія, такъ какъ эта добрая воля или добровольный поступокъ могутъ быть и очень злыми въ нравственномъ смыслѣ. Вотъ почему русскій народъ свою свободу очень мѣтко называлъ просто *волею*, какъ необходимою принадлежностью каждой человѣческой личности. Слова «свобода воли» представляютъ одно книжное измышленіе, ибо воля всегда свободна; когда же мы говоримъ о *свободѣ*, то разумѣемъ лишь отсутствіе излишнихъ стѣсненій въ области воли. Въ философскомъ смыслѣ можно скорѣе принять терминъ «свобода души», не впадая въ бессмысленный плеоназмъ.

Человѣку врождено стремленіе къ свободѣ, и Кантъ признаетъ это стремленіе сильнѣйшимъ въ душѣ человѣка. Оно въ извѣстной степени свойственно и животнымъ, хотя лишено разумности, какъ и у дѣтей. Стремленіе это не есть органическое, а душевное, какъ и сама воля. Оно обще съ стремленіемъ къ дѣятельности, которая, по природѣ своей, также должна быть свободна настолько же, насколько и разумна, т. е. согласна съ свободою и пользою другихъ. Чувство стремленія къ свободѣ является только при излишнихъ стѣсненіяхъ ея, и если бы человѣкъ не зналъ внѣшнихъ стѣсненій, онъ не зналъ бы и стремленія къ свободѣ и не цѣнилъ бы ея. Иногда, выполняя даже чужое желаніе, или испытывая страданіе при выполненіи собственнаго, человѣкъ способенъ испытывать наслажденіе, сознавая, что его воля въ обоихъ случаяхъ свободна. Такое психическое проявленіе называютъ *упрямствомъ*, доказывающимъ лишь неудержимое стремленіе въ свободѣ. Стѣсненіе воли внѣшними условіями и преградами называется *насиліемъ*, ибо стѣсненіе ея внутренними мотивами или разумомъ не лишаютъ ея свободы. Человѣкъ здѣсь остается вѣренъ самъ себѣ, своимъ убѣжденіямъ и стремленіямъ. Такъ чувства голода, жажды, усталости, боли и т. под. органическихъ ощущеній стѣсняють свободу человѣка и сопряжены со страданіемъ, отъ котораго человѣкъ спѣшитъ отдѣлаться. Стремленіе къ *сознательной* или *разумной дѣятельности* составляетъ стѣсненіе, идущее уже изъ самой души, отъ котораго человѣкъ не можетъ отдѣлаться: иначе онъ попадетъ на ложный путь упрямства, своеволя и произвола. Стремленіе къ произволу вмѣсто свободы не прирождено человѣку точно такъ же, какъ и стремленіе къ лакомству вмѣсто пищи: и то, и другое есть результатъ ложнаго воспитанія въ дѣтяхъ и распущенности воли у

взрослыхъ. Своеволие при дальнѣйшемъ развитіи можетъ перейти въ страсть, называемую *деспотизмомъ* или *тиранствомъ*. Она можетъ быть свойственна и народамъ: такова была парижская чернь во время великой революціи. Здѣсь проявляется уже извращеніе врожденнаго человѣку и народу стремленія къ свободѣ.

Если человѣка съ дѣтства приучать къ выполнению лишь чужой воли, и если ему никогда не придется сбрасывать ее (что, къ счастью, невозможно), то въ немъ не разовьется естественнаго стремленія къ свободѣ и къ самостоятельной дѣятельности. Изъ такого ребенка выйдетъ не человѣкъ, а машина, или вѣрнѣе—рабъ лѣнивый и лукавый. «Истинное паденіе раба, говоритъ Браунъ, начинается не тогда, когда онъ потерялъ свободу, а тогда, когда онъ потерялъ самую жажду свободы и начинаетъ смотрѣть на себя, какъ на одушевленное орудіе желаній другого» (Brown., p. 452). Между этими гибельными крайностями—безграничнымъ своеволіемъ и безграничнымъ рабствомъ, приводящимъ и деспота, и раба къ скотству,—лежитъ средній, истинный путь: путь вольной дѣятельности, требующей свободы настолько, насколько необходимо для личнаго и для общаго блага, для разумной дѣятельности. Своеволие всегда идетъ рядомъ съ деспотизмомъ, какъ это было при великой французской революціи. Принимаясь за свободную дѣятельность, человѣкъ долженъ самъ безпрестанно и *добровольно* стѣснять свои порывы къ безграничной свободѣ именно ради достиженія той излюбленной цѣли, ради которой предпринята имъ эта дѣятельность. Въ такомъ самоограниченіи и самообладаніи для человѣка нѣтъ ни насилія, ни оскорбленія; отказываясь отъ излишнихъ, вредящихъ его труду наслажденій, онъ испытываетъ еще высшее внутреннее наслажденіе въ ожиданіи скорѣйшаго достиженія своей завѣтной и разумной цѣли. Къ такому умѣнью пользоваться свободой и должно вести истинное воспитаніе.

Г Л А В А XLVI.

Стремленіе къ наслажденію и стремленіе къ счастью:
классическая теорія эвдемонизма (369—379).

Кромѣ врожденнаго *стремленія къ свободѣ* и производной *наклонности къ своеволію*, человѣку также свойственны *стремленіе къ счастью* и *склонность къ наслажденію*, между которыми существуетъ большая, но многими несознаваемая разница. Вопросъ о томъ, въ чемъ состоитъ истинное счастье, занималъ еще древнихъ, греческихъ и римскихъ философовъ. Сократъ уже отличалъ понятія *счастья* отъ понятія *наслажденія*, смѣшеніе которыхъ можетъ уничтожить самое различіе между нравственнымъ и безнравственнымъ; а потому онъ допускаетъ наслажденіе жизнью лишь въ соединеніи съ *мудростью*, безъ которой человѣкъ можетъ превратиться въ игрушку низкихъ страстей. Однако, полнаго рѣшенія этого вопроса мы не находимъ у

Сократа, какъ не находимъ его ни у Платона, ни у Аристотеля, который для истиннаго счастья ставитъ условіемъ *умѣренность* или золотую середину въ наслажденіяхъ, не поддающуюся точному опредѣленію. Чувство наслажденія не можетъ быть измѣрено одинаково для всѣхъ, ибо мѣра наслажденія у каждаго своя личная. Вслѣдствіе этого, и счастье, и добродѣтель у Аристотеля не разграничены отъ наслажденія, которое толпа склонна принимать за счастье. Вотъ почему изъ одной и той же платоновской философіи вышли двѣ противоположныя философскія школы—стоиковъ и эпикурейцевъ, разными путями стремившихся къ одной цѣли—счастью или *эвдемонизму*. Первые ставили выше всего мудрость и отрицали наслажденіе въ его житейскомъ смыслѣ; вторые главною цѣлью жизни признавали наслажденіе въ самомъ широкомъ смыслѣ, хотя самъ Эпикуръ и его истинные послѣдователи предпочитали душевныя наслажденія чувственнымъ. Но такъ какъ мѣриломъ счастья въ этой философской школѣ принимается одно наслажденіе, то всякое различіе между духовнымъ и физическимъ, нравственнымъ и безнравственнымъ должно такъ же пасть, какъ оно падаетъ у современныхъ матеріалистовъ, т. е. признающихъ въ человѣкѣ одну матерію. Если наслаждается не душа, а только мозгъ, то все равно, откуда бы это наслажденіе ни происходило: отъ высокой идеи, произведенія искусства, или вкуснаго блюда и возбуждающаго напитка. Эпикуръ сознавалъ, однако, необходимость разграничить эти двѣ области наслажденія, и потому не допускаетъ тѣхъ наслажденій, за которыми слѣдуетъ *страданіе*. Но самое наслажденіе въ жизни, по большей части, покупается цѣною страданія, освобожденіе отъ котораго мы уже считаемъ счастьемъ. Чтобы уменьшить количество страданій, какъ предшествующихъ наслажденію, такъ и послѣдующихъ за нимъ, напр., вслѣдствіе неумѣренности, Эпикуръ совѣтуетъ ограниченіе нашихъ потребностей, чѣмъ соприкасается съ ученіемъ стоиковъ, дошедшихъ въ проведеніи этого принципа до самаго суроваго аскетизма и даже до того цинизма (Диогенъ), до котораго отчасти дошелъ и Ж. Ж. Руссо, принявшій за идеалъ жизнь дикаря.

Сознавая шаткость своей теоріи счастья, древніе привязали свою мораль къ принципу общества и государства, въ которомъ каждый долженъ наслаждаться счастьемъ настолько, насколько оно не мѣшаетъ счастью другихъ, чрезъ что должна увеличиться и общая сумма человѣческаго счастья. Тѣмъ не менѣе, древніе полагали возможнымъ извѣстную часть народа—рабовъ—лишать первой принадлежности счастья—свободы, ради наслажденія другой, господствующей, части того же народа или государства.

Это умѣряющее начало общественности—счастье согражданъ—могло еще держаться въ классическомъ мірѣ, гдѣ личность человѣка вообще уступала государству; но оно уже рѣшительно не можетъ держаться въ мірѣ христіанскомъ, послѣ того, какъ христіанство саму личность человѣка, его душу сдѣлало цѣлью всей исторіи человѣчества. Послѣ этого великаго переворота нѣтъ уже сомнѣнія, что и всякое общество, и государство, и союзъ государствъ

существуютъ только ради личности человѣка и въ ней одной находятъ разумное оправданіе своего существованія. Христіанство не осталось безъ вліянія на рѣшаемый нами вопросъ и въ другомъ отношеніи. Оно поставило идеаломъ для человѣка такую Личность, которая живетъ, дѣйствуетъ, страдаетъ и умираетъ въ мученіяхъ, не имѣя цѣлью никакихъ личныхъ наслажденій, только увлекаемая любовью къ человѣку и человѣчеству. Но такая высота христіанскаго идеала была слишкомъ недоступна для громаднаго большинства. Вотъ почему и въ христіанскія ученія вкрался классическій принципъ *эвдемонизма*, но наслажденія были только перенесены изъ этой жизни въ будущую.

Однакоже дурно понялъ бы христіанство тотъ, кто принялъ бы главнымъ его двигателемъ ожиданіе будущихъ наслажденій. Стоитъ заглянуть въ жизнь христіанскихъ мучениковъ, чтобы убѣдиться, что это не такъ, и что главнымъ двигателемъ героевъ христіанства было вовсе не ожиданіе будущаго блаженства и страхъ будущихъ мученій, но любовь къ Учителю и любовь къ человѣку и человѣчеству. Психологія ясно доказываетъ намъ, что любить наслажденія и сильно стремиться къ нимъ можно только вслѣдствіе опытовъ наслажденія; что не тотъ человѣкъ болѣе любитъ наслажденія, кто мало наслаждался, а напротивъ—тотъ, кто наслаждался много. Герои же христіанства, по большей части, такъ мало наслаждались въ жизни, что нѣтъ никакой психической возможности, чтобы у нихъ образовалось сильное стремленіе къ наслажденію: они просто увлекались дѣятельностью, которой отдались всею душою, отдались потому, что полюбили ее въ лицѣ своего великаго Образца.

Г Л А В А XLVII.

Ученіе эвдемонизма въ новое время.

Новая философія, какъ только начала жить, такъ и наткнулась на вопросъ о счастіи и наслаженіи, т. е. на вопросъ объ основаніи морали. Одни примыкали ко взгляду стоиковъ, другіе—ко взгляду эпикурейцевъ, третьи искали новаго начала. Значительный шагъ въ этомъ отношеніи сдѣлалъ, какъ извѣстно, Кантъ, доказавъ невозможность теоретическаго примиренія стремленія къ добру и стремленія къ счастью или наслаженію, или, другими словами, показавъ невозможность *опытнаго* происхожденія идеи нравственности ¹⁾.

¹⁾ Kritik der prakt. Vernunft. S. 161 etc.

Кантъ выводилъ уже основаніе нравственности а priori изъ своего знаменитаго «категорическаго императива» или, другими словами, изъ той же врожденной идеи, которая *повелѣваетъ* человѣку поступать «такъ, чтобы правила его поступковъ могли быть общими правилами для всѣхъ людей». Человѣкъ, по философіи Канта, не только долженъ быть счастливъ, но долженъ быть и *достоинъ счастья*, и это достоинство быть счастливымъ составляетъ необходимую принадлежность его счастья ¹⁾. Не будучи въ состояніи вывести идеи нравственности а posteriori, человѣкъ строить нравственный міръ а priori и въ этомъ-то выражается свобода его воли. Эту послѣднюю сторону кантовскаго ученія особенно развилъ Фихте, этотъ философъ личной свободы: у него человѣкъ долженъ поступать нравственно уже потому, чтобы не подчиняться деспотическимъ требованіямъ природы, а быть свободнымъ...

Всѣми чувствуемая потребность провести рѣзкую границу между стремленіемъ къ счастью и стремленіемъ къ наслажденію до сихъ поръ не удовлетворена: до сихъ поръ этотъ важный вопросъ, столь основной для науки о нравственности и для теоріи воспитанія, остается въ полномъ туманѣ. Чтобы доказать это несчастное положеніе вопроса, мы приведемъ здѣсь слова знаменитѣйшаго современнаго мыслителя и самой логической головы современной Европы—слова Джона Стюарта Милля, которыми онъ заканчиваетъ свою «*Логикку*». Если этотъ вопросъ въ такой ясной головѣ представляется съ такими непримиримыми, противорѣчіями, то изъ этого уже можно заключить и то, какъ трудно его рѣшеніе, и то, въ какомъ жалкомъ состояніи онъ долженъ находиться въ другихъ, менѣе логическихъ головахъ.

«Общій принципъ, говоритъ Милль, съ которымъ должны согласоваться всѣ правила практической жизни, критеріумъ ихъ годности, есть годность ихъ для счастья человѣчества или, скорѣе, всѣхъ чувствующихъ существъ, такъ что, другими словами, *стремленіе къ счастью* есть основной принципъ науки цѣлей или телеологіи» ²⁾. Но, написавъ эти строки, Милль не могъ не подумать о тѣхъ слѣдствіяхъ, которыя необходимо вытекаютъ изъ такого критеріума всѣхъ цѣлей жизни и на которыя мы указали выше, при разборѣ эпикурейскихъ идей. И это, безъ сомнѣнія, заставило Милля прибавить слѣдующее положеніе, находящееся въ прямомъ противорѣчій съ принятой имъ теоріей эвдемонизма: «Стремленіе къ счастью, говоритъ Милль, есть оправданіе и должно быть повѣркою всѣхъ цѣлей; но оно не есть само единственная цѣль. Есть много добродѣтельныхъ дѣйствій и даже добродѣтельныхъ поведеній (хотя, какъ я думаю, эти случаи рѣже, чѣмъ предпо-

¹⁾ Kritik der reinen Vernunft. S. 575 etc.

²⁾ Mill's Logic. B. XII, § 7, p. 548.

лагаютъ), въ которыхъ счастье приносится въ жертву, такъ какъ отъ этихъ дѣйствій происходитъ болѣе страданій, чѣмъ удовольствій» ¹⁾...

Но Милль, какъ бы почувствовалъ, что сказалъ слишкомъ много для того, чтобы его эвдемоническая теорія жизни, какъ стремленія къ счастью, могла держаться, спѣшитъ сдѣлать оговорку. «Такое поведеніе (т. е. безкорыстное), говоритъ онъ, единственно оправдывается только тѣмъ, что можетъ быть доказано, что вообще болѣе счастья будетъ въ мірѣ, если будутъ воспитываться чувства, которыя побуждаютъ людей въ извѣстныхъ случаяхъ не заботиться о счастья». Итакъ — добродѣтель нуждается въ оправданіи, какъ говоритъ Шекспиръ! ²⁾. И такъ — чтобы быть счастливымъ, нужно въ извѣстныхъ случаяхъ не стремиться къ счастью! Стремленіе къ счастью, слѣдовательно, до того не главное въ человѣческой природѣ и до того ея не удовлетворяетъ, что, сдѣлавъ это стремленіе главнымъ принципомъ своей жизни, человѣкъ долженъ нарушать этотъ принципъ, чтобы быть счастливымъ: долженъ не признавать этого принципа, чтобы выполнить его! Въ словахъ Милля теорія эвдемонизма наноситъ себѣ смертельный ударъ и оканчиваетъ свою долгую жизнь самоубійствомъ. Но послѣдуемъ далѣе за Миллемъ, чтобы для насъ во всей ясности выразилось то противорѣчіе, къ которому пришелъ самый логическій умъ современной Европы, ступивъ на путь ложнаго ученія. Болѣе рѣзкаго паденія не можетъ имѣть ложная теорія.

«Я вполне допускаю, продолжаетъ Милль, что образованіе идеальнаго благородства воли и поведенія должно быть для индивидуальнаго человѣческаго существа цѣлью стремленій, которымъ должно уступить дорогу преслѣдованія своего собственнаго или чужого счастья; но я утверждаю, что самый вопросъ, въ чемъ состоитъ возвышенность характера, рѣшается по мѣрилу счастья. Идеальное благородство характера, или возможное приближеніе къ нему, потому должно быть главною цѣлью человѣка, что оно болѣе всего ведетъ къ тому, чтобы сдѣлать человѣческую жизнь счастливою: счастливою какъ (сравнительно) въ *низшемъ* смыслѣ, въ смыслѣ наслажденія и освобожденія отъ страданій, такъ и въ *вышемъ* смыслѣ, т. е. чтобы сдѣлать жизнь не такою, какова она вообще теперь, дѣтскою и ничтожною, — но такою, какой можетъ желать человѣкъ съ высоко развитыми способностями» ³⁾.

Изъ этихъ замѣчательныхъ словъ Милля мы видимъ, что оно признаетъ не одно счастье, а какія-то два — одно *низшее*, а другое *высшее*; ясно, что оно есть не болѣе какъ сумма пріятныхъ ощущеній, но другое

¹⁾ Mill's Logic, p. 549.

²⁾ Hamlet. Act, III, Scene VI.

³⁾ Mill's Logic, p. 549.

пренебрегаетъ пріятными ощущеніями и указываетъ какую-то высшую цѣль—развитіе способностей, идеальное благородство характера и окончательно возвышеніе жизни, теперь ничтожной, и наполненіе жизни, теперь пустой, которой не могутъ наполнить наслажденія и стремленія къ нимъ. Но что же служить здѣсь мѣриломъ *низшаго* и *высшаго*? И рационально ли поступилъ Милль, когда, назвавъ *высшимъ* стремленіемъ стремленіе къ идеальному благородству характера, заставилъ это *высшее* стремленіе служить *низшему*, отъ котораго оно отвращается и которому противорѣчить? Неужели же высшее счастье, идеальное благородство характера и развитіе способностей служить только для того, чтобы увеличить массу низшихъ наслажденій? Гораздо ближе къ истинѣ другое выраженіе Милля, когда онъ говоритъ, что стремленіе къ высшему счастью должно наполнить *пустую* жизнь. Здѣсь, какъ мы увидимъ ниже, Милль, какъ бы нечаянно, нападаетъ на вѣрный психическій фактъ.

Таково жалкое состояніе этого существеннѣйшаго изъ философскихъ вопросовъ. Не въ состояніи ли исторія этого вопроса отбить даже всякую охоту заниматься его рѣшеніемъ? И дѣйствительно, едва ли что-нибудь можно сказать новаго въ этой области, изслѣдованной вдоль и поперекъ лучшими умами человѣчества. Однако-же, мы думаемъ, слѣдуетъ подвергнуть этотъ вопросъ еще одному опыту, которому его до сихъ поръ не подвергали: слѣдуетъ перенести его изъ области нравственной философіи въ область опытной психологіи, другими словами, слѣдуетъ посмотрѣть, не какъ человѣкъ *долженъ* жить, но какъ онъ дѣйствительно живетъ, не какія цѣли *долженъ* имѣть человѣкъ, но какія онъ дѣйствительно имѣетъ, и показать, на основаніи несомнѣнныхъ психическихъ фактовъ, что, стремясь къ такой-то цѣли, человѣкъ достигаетъ такихъ-то результатовъ, а стремясь къ другой цѣли—такихъ. Роль психолога гораздо легче: онъ не моралистъ и не говоритъ человѣку: ты долженъ жить такъ или иначе, а только, на основаніи несомнѣнныхъ и всѣмъ извѣстныхъ психическихъ фактовъ, показываетъ, какіе результаты необходимо дастъ одна жизнь и какіе—другая. Всякій воленъ жить, какъ хочетъ, и дѣло фактической науки состоитъ вовсе не въ томъ, чтобы учить людей тому, что они должны дѣлать, а только въ томъ, чтобы группировкою несомнѣнныхъ фактовъ уяснить явленія, необходимо предшествующія каждому рѣшенію и каждому поступку, и явленія, за тѣмъ необходимо слѣдующія. *Мы только это и дѣлаемъ*, и теперь у насъ набралось уже достаточно наблюденій, чтобы рѣшить не то еще, *какова* должна быть цѣль человѣческой жизни, а только то, какое значеніе имѣетъ сама серьезная цѣль въ человѣческой жизни, какія явленія представляетъ жизнь, обладающая этою цѣлью, и какія явленія представляетъ другая жизнь, почему-либо лишенная такой цѣли. Это мы и сдѣ-

лаемъ, сколько возможно короче, въ слѣдующей главѣ, гдѣ только сведемъ результаты, добытые уже прежде нашими психическими анализами.

ГЛАВА XLVІІІ.

Стремленіе къ счастью: значеніе цѣли въ жизни.

Стремленіе къ наслажденію есть, конечно, общій терминъ, подъ которымъ мы должны разумѣть безчисленное множество всякаго рода *желаній*, между которыми общее то, что всѣ они стремятся къ повторенію какихъ-нибудь пріятныхъ, уже прежде испытанныхъ нами ощущеній. Человѣкъ не можетъ стремиться къ наслажденію, котораго не знаетъ и не представляетъ себѣ. Онъ стремится къ наслажденію послѣ того, какъ испыталъ его вслѣдствіе удовлетворенія какого-либо другого стремленія. Къ отысканію пищи человѣкъ побуждается не стремленіемъ къ наслажденію, но *мученіями* голода, и только уже потомъ, испытавъ сладость удовлетворенія голода вообще, или какою-либо пищею въ особенности, человѣкъ уже стремится къ пищѣ, побуждаемый и мученіями голода, и представленіями наслажденія.

Это различіе между *врожденными* стремленіями и *производными*, вслѣдствіе опытовъ установившимися стремленіями къ тѣмъ или другимъ наслажденіямъ, не относится только къ первому ихъ проявленію. И впоследствии времени человѣкъ легко можетъ раздѣлить въ самомъ себѣ врожденное стремленіе избѣгать мучительности врожденныхъ потребностей—отъ склонности къ наслажденіямъ, или въ частности—отъ того или другого желанія наслажденія. Такъ человѣкъ, сильно занятый какимъ-нибудь дѣломъ, съ досадою и неудовольствіемъ замѣчаетъ въ себѣ пробуждающуюся потребность пищи или потребность отдыха, тогда какъ сибаритъ встрѣчаетъ тѣ же ощущенія съ удовольствіемъ. Наоборотъ, человѣкъ, уже не чувствующій голода, можетъ еще стремиться къ наслажденію вкуснымъ блюдомъ, и это-то стремленіе заставляло римскаго обжору, наѣвшись, принимать рвотнаго, чтобы имѣть удовольствіе еще поѣсть. Такимъ образомъ, мы видимъ, что если стремленіе избѣгать мученій неудовлетворенія врожденныхъ потребностей и склонность къ опредѣленнымъ наслажденіямъ часто соединяются, то бываютъ случаи, когда они выказываютъ всю свою отдѣльность, и что, слѣдовательно, психологъ долженъ строго различать эти явленія души человѣческой.

Склонность къ наслажденіямъ нельзя и назвать *стремленіемъ*. Это уже желаніе, потому что оно происходитъ вслѣдствіе опытовъ чувствованія и непременно сопровождается представленіемъ, безъ котораго желаніе невозможно (*ignoti nulla cupido*—для невѣдущаго нѣтъ и желанія). Же-

ланіе какого бы то ни было спеціального наслажденія происходитъ уже вслѣдствіе того или другого врожденнаго стремленія. Оно-то и дѣлаетъ для насъ пріятнымъ свое удовлетвореніе, а испытавъ его разъ, мы уже начинаемъ желать его повторенія. Желаній, не возникшихъ изъ врожденныхъ стремленій, не существуетъ, и если какое-нибудь желаніе намъ кажется не естественнымъ, а совершенно искусственнымъ, то, присмотрѣвшись къ нему ближе, мы всегда найдемъ, что оно возникло изъ врожденнаго стремленія души къ дѣятельности.

При этомъ, однако, слѣдуетъ замѣтить, что большинство желаній въ человѣкѣ—не простыя желанія, возникшія изъ одного какого-либо стремленія, но желанія сложныя, возникшія изъ разныхъ стремленій, которыя соединились вмѣстѣ какимъ-нибудь однимъ обширнымъ представленіемъ, или обширною системою представленій, именно потому, что разные стороны этого представленія, или разные члены этой системы представленій, удовлетворяютъ нѣсколькимъ, различнымъ стремленіямъ человѣка. Такъ, напр., въ основѣ желанія почестей, которое носитъ названіе честолюбія, мы открываемъ и органическое стремленіе къ общественности, сопровождаемое чувствомъ стыда и самодовольной гордости, и стремленіе къ свободѣ, ищущее удаленія всякихъ стѣсненій нашей воли, и особенное, хотя ложно понятое, чисто уже человѣческое стремленіе къ самоусовершенствованію. Представленіе хорошаго обѣда удовлетворяетъ не только органическому пищевому стремленію и развившимся изъ него вкусовымъ ощущеніямъ, но и стремленію къ общественности, почему для хорошаго обѣда необходимъ хорошій кругъ друзей и пріятелей,—удовлетворяетъ и эстетическимъ стремленіямъ, вслѣдствіе чего человѣкъ подаетъ обѣдъ въ изящныхъ сосудахъ, украшаетъ каждое блюдо, убираетъ столъ цвѣтами, сопровождаетъ обѣдъ музыкой и т. д. Вотъ почему можно сказать, что ѣдятъ и люди, и животныя, но обѣдаютъ только люди. Отыскавъ же, что въ основѣ cadaго желанія непременно лежитъ врожденное стремленіе, мы можемъ и всѣ наши элементарныя желанія раздѣлить по роду стремленій, изъ которыхъ они возникли, на желанія *органическія*, *душевныя* и *духовныя*, однако всегда помня при этомъ, что въ одномъ и томъ же сложномъ человѣческомъ желаніи могутъ быть соединены всѣ эти три рода желаній элементарныхъ.

Не признавая врожденности стремленій къ наслажденію, потому что это уже желанія, образующіяся изъ опытовъ наслажденій, не должны ли мы однако признать врожденности *стремленія не страдать*? Но мы уже признали ее, признавъ самую врожденность стремленій и ихъ мучительное свойство, когда они не удовлетворяются. Если же было бы нужно особое названіе для общаго стремленія человѣка удовлетворять *всѣмъ* своимъ стре-

мленіямъ, то мы предлагали бы назвать это *стремленіемъ къ счастью*. Стремленіе къ счастью въ такомъ смыслѣ, конечно, будетъ врождено чело- вѣку; но это уже никакъ не будетъ стремленіе къ наслажденіямъ, ибо чело- вѣкъ, по врожденному стремленію къ счастью, можетъ стремиться къ удовлетворенію такихъ стремленій, удовлетвореніе которыхъ вовсе не до- ставляетъ ему наслажденій. Такъ, мы увлекаемся и такую дѣятельностью, которая для насъ вовсе не пріятна, которая даже можетъ насъ сильно мучить, но которая, тѣмъ не менѣе, увлекаетъ къ себѣ нашу душу именно тѣмъ, что ассоціаціи чувственныхъ представленій, обуславливающихъ ее, со- ставляетъ въ содержаніи нашей души такую обширную и вѣскую систему, что она, даже противъ воли нашей, перетягиваетъ къ себѣ сознательную дѣятельность нашей души. Такъ, система горестныхъ или гнѣвныхъ пред- ставленій вовсе не потому увлекаетъ къ себѣ нашу душу, что они могутъ доставить намъ удовольствіе, именно только потому, что душа наша, по природѣ своей требующая дѣятельности по возможности широкой и сильной, увлекается тѣми системами представленій, которыя представляютъ ей въ данное время наибольшую ступень такой дѣятельности,—увлекается неза- висимо отъ того, доставляетъ ли ей эта дѣятельность удовольствіе или страданіе, и въ *результатъ получаетъ не наслажденіе или стра- даніе, а дѣятельность*, которая можетъ сопровождаться какъ насла- жденіемъ, такъ и страданіемъ; но эти сопровождающія ее чувствованія являются только случайными, отъ которыхъ само стремленіе не зависитъ. Развѣ каждый изъ насъ не испытывалъ тяжелыхъ душевныхъ состояній, отъ которыхъ не можетъ оторваться именно потому, что они открываютъ для души сферу обширной и сильной дѣятельности, передъ которой тѣсны и слабы всѣ другія? «Человѣку, говоритъ Ридъ, стоило бы только не ду- мать о томъ, что его мучить, чтобы не мучиться; но это далеко не всегда можно сдѣлать». Мы же думаемъ, что кореннымъ явленіемъ въ этомъ отно- шеніи будетъ та невозможность не мучиться скукою и тоскою, которую испытываетъ конечно всякій, заключенный въ одиночную тюрьму. Кто бы не постарался отдѣлаться отъ этихъ страшныхъ мученій душевной бездѣя- тельности, если бы только могъ? *Но это уже для чело- вѣка совершенно невозможно*: точно такъ же невозможно, какъ невозможно для него отдѣ- латься отъ своей собственной души, ибо это требованіе дѣятельности со- ставляетъ сущность души. Замѣнить одну душевную дѣятельность другою чело- вѣкъ можетъ; но это для него тѣмъ труднѣе, чѣмъ болѣе долженъ онъ приложить силы воли къ той или другой душевной дѣятельности, для того, чтобы она могла уравниваться и вытѣснить ту, отъ которой онъ хочетъ отдѣлаться. Но отдѣлаться совершенно отъ стремленія къ дѣятель- ности для чело- вѣка невозможнѣе, чѣмъ отдѣлаться отъ стремленія къ пищѣ.

Мы видѣли уже, что всякое природное стремленіе человѣка, при неудовлетвореніи своемъ, заставляетъ его страдать, а при удовлетвореніи доставляетъ ему разнообразныя ощущенія, болѣе или менѣе пріятныя, смотря по напряженности самого стремленія и напряженности тѣхъ страданій, которыя возрастаютъ по мѣрѣ возрастанія неудовлетвореннаго стремленія. Мы видѣли также, какъ изъ опытовъ удовлетворенія врожденныхъ стремленій возникаетъ производное стремленіе, или, яснѣе, склонность къ наслажденіямъ. Теперь же мы должны обратить особенное вниманіе на то, что *стремленіе къ дѣятельности* составляетъ замѣчательное исключеніе изъ этой общей исторіи образованія желаній. Неудовлетворяемое, оно мучитъ человѣка, какъ и всѣ прочія стремленія при своемъ неудовлетвореніи; но удовлетворяемое—оно не даетъ человѣку удовольствія *Это замѣчательное, существенное стремленіе души, при своемъ удовлетвореніи, даетъ въ результатъ не какое-нибудь наслажденіе или пріятное чувство, а только сознательную психическую или психофизическую дѣятельность.* Конечно, дѣятельность, какъ при своемъ началѣ, такъ и при своемъ окончаніи, или, наконецъ, въ перерывахъ, можетъ сопровождаться пріятными или непріятными чувствами; но эти сопровождающія ее чувствованія будутъ для нея явленіями побочными, ослабѣвающими всякій разъ съ усиленіемъ дѣятельности, и выступающими яснѣе, когда дѣятельность ослабѣваетъ *Въ минуту же напряженной дѣятельности нѣтъ ни страданій, ни наслажденій, а есть только дѣятельность.*

Этотъ психическій фактъ очень легко можетъ быть наблюдаемъ каждымъ въ самомъ себѣ, а также и въ другихъ. Посмотрите на дитя, когда оно занято какою-нибудь сильно увлекающею его дѣятельностью,—и вы не увидите на лицѣ его ни выраженія удовольствія, ни выраженія страданія, а спокойное, серьезное и сосредоточенное выраженіе дѣятельности. То же самое замѣтите вы и на лицѣ художника, когда онъ вполне углубился въ свою работу, и на лицѣ простого работника, когда онъ вполне поглощенъ своимъ дѣломъ. Въ минуту перерыва дѣятельности, когда человѣкъ, наприм., остановившись на мгновеніе, любитъ тѣмъ, что онъ сдѣлалъ, или выказываетъ неудовольствіе, замѣтивъ, что онъ сдѣлалъ не то, что хотѣлъ, или выказываетъ гнѣвъ, видя новое, неожиданное препятствіе, которое предстоитъ ему преодолѣть,—и въ душѣ его, и на лицѣ мелькаютъ чувствованія удовольствія, страданія или гнѣва; но какъ только человѣкъ снова принялся за работу—выраженіе этихъ чувствъ исчезаетъ съ его лица, а самыя чувства изъ души: *онъ опять только трудится.* Вотъ это-то душевное состояніе и есть нормальное состояніе

человѣка и то высшее счастье, которое не зависитъ отъ наслажденій и не подчиняется стремленію къ нимъ.

Человѣкъ, конечно, часто принимается за трудъ для достиженія черезъ него какихъ-нибудь наслажденій, или для того, чтобы трудомъ избавиться отъ какихъ-нибудь страданій. Но, трудясь, онъ не чувствуетъ ни того, ни другого, такъ что трудъ *самъ по себѣ*, независимо отъ тѣхъ цѣлей, для которыхъ онъ можетъ быть предпринятъ, удовлетворяетъ только потребности души человѣческой, ея стремленію къ дѣятельности, не давая ей ни страданія, ни наслажденія. Дѣло же психолога различать явленія, а не смѣшивать ихъ. Къ самому труду, независимо отъ тѣхъ цѣлей, для которыхъ онъ можетъ быть предпринятъ, человѣкъ побуждается врожденнымъ стремленіемъ души, требующей дѣятельности; но *искать труда, какъ наслажденія*, человѣкъ не можетъ, потому что трудъ самъ по себѣ наслажденій не даетъ. Слѣдовательно, изъ удовлетворенія стремленія къ дѣятельности не можетъ возникнуть, какъ изъ удовлетворенія прочихъ стремленій, желаніе наслажденія. Но, тѣмъ не менѣе, и не давая наслажденій, трудъ, которому человѣкъ преданъ, имѣетъ въ самомъ себѣ и самъ по себѣ увлекающее свойство. Кому не случалось, предпринявъ какую-нибудь дѣятельность для достиженія тѣхъ или другихъ наслажденій, или для избѣжанія тѣхъ или другихъ лишеній, такъ потомъ увлечся самою дѣятельностью, что онъ забудетъ и о тѣхъ наслажденіяхъ, для достиженія которыхъ онъ предпринялъ тотъ или другой трудъ? И это не есть какое-нибудь частное, рѣдкое, исключительное явленіе, но свойство, общее всякой серьезной дѣятельности, котораго мы только потому не замѣчаемъ иногда, что оно высказывается отрывочно, моментально, перемѣшиваясь съ другими психическими явленіями, то ослабляясь, то усиливаясь; по мѣрѣ нашего увлеченія самимъ дѣломъ. Это не только не исключительное явленіе, но такое общее, безъ котораго никакая серьезная и плодотворная дѣятельность не бываетъ и не можетъ быть. Кто, дѣлая что-нибудь, *нисколько* не увлекается самимъ дѣломъ, помимо тѣхъ расчетовъ, для которыхъ онъ предпринялъ это дѣло, тотъ не сдѣлаетъ ничего путнаго, да и самое дѣло не удовлетворитъ его стремленію къ дѣятельности, не наполнитъ той душевной пустоты, о которой говоритъ Милль. Это явленіе, повторяясь безпрестанно при каждомъ частномъ трудѣ человѣка, высказывается съ необыкновенною яркостью и въ обширной сферѣ дѣятельности человѣчества. Возьмемъ, на примѣръ, науку. Безъ сомнѣнія, она доставила и продолжаетъ доставлять людямъ средства удаленія многихъ страданій и добычи многихъ наслажденій. Но если бы только эта польза отъ науки сдѣлалась цѣлью науки, то она не подвинулась бы ни на шагъ впередъ и перестала бы приносить пользу. Только человѣкъ, увлекающійся

наукою, можетъ дѣйствительно сдѣлать въ ней шагъ впередъ, а такой увлекающійся наукою человѣкъ увлекается самою дѣятельностью, которую даетъ ему наука, а не тою *пользою*, которую она можетъ доставить ему или другимъ, и не тѣмъ *удовольствіемъ*, котораго ищетъ въ наукѣ дилетантъ. Люди, ищущіе полезнаго или пріятнаго въ наукахъ, менѣе всего содѣйствовали развитію наукъ и менѣе всего извлекали изъ нихъ той пользы или того удовольствія, которыхъ они единственно искали. Дѣйствительный же ученый занимается наукою для науки и, такъ сказать, по дорогѣ открываетъ въ ней средства или удаленія страданій, или пріобрѣтенія новыхъ наслажденій, и, конечно, не для себя: они ему менѣе всего нужны, такъ какъ все его время занято тѣмъ, что исключаетъ страданія и наслажденія—занято серьезною сознательною дѣятельностью.

Мы видѣли, слѣдовательно, что Милль, говоря о какомъ-то высшемъ счастьѣ, которое должно наполнять *пустоту* человѣческой жизни, т. е. сдѣлаться ея содержаніемъ, попалъ на вѣрный психическій фактъ. Но Милль ошибается, думая, что это наполненіе пустоты человѣческой жизни, это отысканіе дѣйствительнаго ея содержанія есть нѣчто, ожидающее человѣка въ отдаленномъ будущемъ. Дѣйствительно, слѣдуетъ желать, чтобы это наполненіе усилилось для каждаго въ частности и для человѣчества вообще; но что самое явленіе и теперь не только существуетъ, но занимаетъ центральное мѣсто въ человѣческой жизни—это не подлежитъ сомнѣнію. Самъ Милль наполнялъ пустоту своей жизни, составляя свою «*Логику*»; каждый художникъ дѣлаетъ то же самое, серьезно работая надъ своей картиной; то же самое дѣлаетъ и скромный земледѣлецъ, полюбившій свое скромное дѣло; наконецъ, мало ли людей, которые болѣе или менѣе, хотя бы въ самой ничтожной степени, не наполняли пустоты своей жизни вольнымъ, излюбленнымъ трудомъ. Въ этомъ отношеніи мы не ждемъ никакихъ чудесъ отъ будущей исторіи, никакихъ коренныхъ реформъ: въ исторіи людей, какъ и въ исторіи природы, ничего не творится вновь, не происходитъ никакихъ внезапныхъ и коренныхъ реформъ, но идетъ вѣчная реформа элементовъ уже существующихъ, причемъ существенное и нормальное выступаетъ впередъ изъ несущественнаго и ненормальнаго. Серьезный и вольный, излюбленный трудъ, не стремящійся къ наслажденіямъ, болѣе или менѣе наполняетъ пустоту человѣческой жизни съ той самой минуты, когда человѣкъ появился на землѣ, и только слѣдуетъ желать, чтобы этотъ основной законъ человѣческой природы вошелъ въ общее сознаніе, и чтобы каждый созналъ, что трудъ самъ по себѣ, помимо тѣхъ наслажденій и страданій, къ которымъ онъ можетъ вести, такъ же необходимъ для душевнаго здоровья человѣка, какъ чистый воздухъ для его физическаго здоровья. Если бы Милль самъ вполне созналъ этотъ психическій законъ, то поставилъ бы вольный, из-

любленный трудъ, свойственный человѣку, а не счастье, высшимъ мѣриломъ достоинства всѣхъ практическихъ правилъ человѣческой жизни.

Этотъ *несомнѣнный фактъ* психической жизни человѣка съ особенною ясностью выражается въ томъ громадномъ значеніи, которое имѣетъ для человѣка *цѣль жизни*, независимо отъ содержанія этой цѣли и даже отъ ея достиженія; ибо *цѣль* или *задача* жизни есть только другая форма для выраженія того же понятія — *труда жизни*. Удовлетворите всѣмъ желаніямъ человѣка, но отымите у него *цѣль* въ жизни, и посмотрите, какимъ несчастнымъ и ничтожнымъ существомъ явится онъ. Слѣдовательно, не удовлетвореніе желаній есть то, что обыкновенно называютъ счастьемъ, а *цѣль въ жизни* является сердцевиною человѣческаго достоинства и человѣческаго счастья. И чѣмъ быстрее и полнѣе вы будете удовлетворять стремленію человѣка къ наслажденіямъ, отнявъ у него *цѣль въ жизни*, тѣмъ несчастнѣе и ничтожнѣе вы его сдѣлаете. Конечно, человѣкъ въ каждую отдѣльную минуту своей дѣятельности стремится къ *достиженію цѣли*, т. е. чтобы *уничтожить* ее, а не къ тому, чтобы *имѣть* ее, и никогда не стремится къ тому, чтобы отодвинуть ее далѣе, какъ этого ошибочно хочетъ Кантъ; но психологъ, относящійся къ душевнымъ явленіямъ, какъ объектамъ наблюденія, видитъ ясно, что для человѣка важнѣе *имѣть* цѣль жизни (задачу, трудъ жизни), *чѣмъ достигать* ее. Понятно само собою, что эта цѣль должна быть такова, чтобы могла быть цѣлью человѣка, чтобы достиженіе ея могло дать безпрестанную и постоянно расширяющуюся дѣятельность человѣку, — такую дѣятельность, которой требуетъ его душа, чтобы не искать наслажденій и пренебрегать страданіями. Свойства этой цѣли опредѣляются уже особенностями человѣческой души, и потому мы будемъ говорить о нихъ въ третьей части нашей «Антропологии»; но и теперь уже ясно, что эта цѣль для того, чтобы постоянно наполнять постоянно раскрывающуюся *пустоту* человѣческой души (ея стремленіе къ дѣятельности), должна быть такова, чтобы, достигаемая постоянно, она никогда не могла быть вполне достигнута, при чемъ человѣкъ остался бы безъ цѣли въ жизни. Глубокое *чувство* всей силы этого психическаго закона заставило Канта сказать, что если бы ему предлагали на выборъ истину или дорогу къ истинѣ, то онъ предпочелъ бы дорогу къ истинѣ самой истинѣ. Въ этомъ одностороннемъ выраженіи философа, предпочитающаго всему жизнь мысли, есть, кромѣ того, и другое заблужденіе: Кантъ, какъ и всякій другой человѣкъ, безъ сомнѣнія, не удержался бы и взялъ истину, а не дорогу къ истинѣ; но это невольно вырвавшееся восклицаніе превосходно выражаетъ дѣйствительное положеніе человѣка въ мірѣ, глубоко прочувствованное, хотя и не вполне сознанный Кантомъ. Для насъ же важно не то, что могло бы быть, а то, что дѣйствительно есть.

Теперь намъ слѣдуетъ припомнить то отношеніе, которое мы открыли между стремленіемъ къ дѣятельности и другими стремленіями, врожденными человѣку, и въ частности—стремленіями *органическими*, о которыхъ преимущественно и будемъ здѣсь говорить. Всякое органическое стремленіе, будучи удовлетворено, прекращается; но душевное стремленіе къ дѣятельности, или стремленіе души къ переменѣ своихъ состояній, не имѣетъ этого качества: оно никогда не удовлетворяется и, кромѣ того, требуетъ еще прогрессивности въ своемъ безпрестанномъ удовлетвореніи. Вотъ почему страсти и наклонности не могли бы образоваться изъ удовлетворенія однѣхъ органическихъ потребностей, если бы въ человѣкѣ не было душевнаго стремленія къ безпрестанной и прогрессивной душевной дѣятельности. Это-то стремленіе, если можно такъ выразиться, раздуваетъ въ пламя страстей тѣ искры наслажденій, которыя мелькаютъ при процессѣ удовлетворенія нашихъ органическихъ потребностей, и тухнутъ, когда этотъ процессъ оконченъ, а удовлетворенная потребность затихла. Мы видѣли, что всякое органическое, а также и духовное наслажденіе покупается какъ-разъ равноцѣннымъ ему страданіемъ, страданіемъ лишенія. Если человѣкъ привлекается наслажденіемъ, то онъ какъ-разъ настолько же отталкивается страданіемъ. Слѣдовательно, человѣкъ, при такомъ отношеніи къ наслажденіямъ, не стремился бы къ нимъ, и въ немъ не могла бы образоваться склонность къ наслажденіямъ. Человѣкъ не сталъ бы морить себя голодомъ для того только, чтобы испытать наслажденіе его удовлетворенія, и никто, какъ замѣчаетъ Броунъ, не захочетъ быть больнымъ, чтобы испытать удовольствіе выздоровленія. Слѣдовательно, если человѣкъ стремится къ этой непрерывной смѣнѣ страданій наслажденіями и наслажденій страданіями, то существенно потому, *что ему нужна самая эта смѣна*, т. е. переменна душевныхъ состояній или, другими словами, нужна непрерывная душевная дѣятельность.

Отсюда понятно, что если у человѣка нѣтъ *серьезной* цѣли въ жизни, т. е. цѣли не смѣющейся и не плачущей, а такой цѣли, которую онъ преслѣдуетъ не изъ-за удовольствій или страданій, а *изъ любви* къ тому дѣлу, которое дѣлаетъ, то онъ можетъ найти себѣ дѣятельность только въ смѣнѣ наслажденій и страданій, причемъ, конечно, онъ будетъ гнаться за наслажденіемъ, стараясь увернуться отъ страданія—и какъ-разъ настолько лишится наслажденія, насколько будетъ избѣгать страданія, т. е. попадетъ на *фальшивую* дорогу въ жизни: фальшивую не по какимъ-нибудь высшимъ философскимъ и нравственнымъ принципамъ, а именно потому, что *она ведетъ человека не туда, куда онъ самъ же хочетъ идти*. Вотъ почему фальшивость этого пути не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Эти-то уклоненія человѣка съ прямой дороги серьезной

цѣли и серьезнаго труда на фальшивый путь исканія наслажденій и избѣганія труда займутъ насъ въ слѣдующей главѣ.

Г Л А В А XLIV.

Уклоненія человѣческой воли вообще.

Въ предшествующей главѣ мы отличали *стремленіе къ счастью* отъ *склонности* къ тѣмъ или другимъ уже испытаннымъ *наслажденіямъ*. Стремленіе къ счастью есть дѣйствительно врожденное стремленіе не только человѣку, но и всякому живому существу; ибо это есть не что иное, какъ общее стремленіе удовлетворить всѣмъ своимъ частнымъ врожденнымъ стремленіямъ, по мѣрѣ ихъ появленія или возстановленія,—не болѣе какъ стремленіе вообще избѣжать тѣхъ страданій, которыя сопровождаютъ всякое неудовлетворенное стремленіе. Склонность же къ наслажденіямъ есть уже стремленіе *производное*, которое образуется вслѣдствіе опытовъ пріятныхъ ощущеній, сопровождающихъ удовлетвореніе всякаго *врожденнаго* стремленія. Но, образовавшись вслѣдствіе опытовъ пріятныхъ ощущеній, сопровождающихъ удовлетворенное стремленіе, склонность къ тѣмъ или другимъ наслажденіямъ можетъ потомъ установиться въ стремленіе самостоятельное, которое будетъ побуждать человѣка искать наслажденій и тогда, когда стремленія, изъ удовлетворенія которыхъ они возникаютъ, уже удовлетворены. Стремленіе къ счастью не только есть стремленіе врожденное, изъ котораго уже возникаетъ склонность къ наслажденіямъ, но и болѣе обширное, чѣмъ это изъ него возникающее стремленіе. Человѣкъ стремится удовлетворять не только тѣмъ своимъ стремленіямъ, удовлетвореніе которыхъ можетъ доставить ему наслажденіе, но и къ удовлетворенію такого стремленія, удовлетвореніе котораго непосредственно не сопровождается никакимъ наслажденіемъ, а именно—къ удовлетворенію самаго существеннаго стремленія души: ея стремленія къ дѣятельности.

Право на счастье составляетъ, конечно, самое неотъемлемое право человѣка; но только въ томъ случаѣ, если счастье не смѣшивается съ наслажденіемъ. Право же на наслажденіе находитъ себѣ оправданіе уже только въ высшемъ правѣ—правѣ на счастье. Наслажденія являются уже только сопровождающимъ явленіемъ, несущественнымъ, и не исчерпываютъ всего содержанія гораздо болѣе обширнаго понятія счастья. Человѣкъ можетъ быть счастливъ, не наслаждаясь, какъ счастливы всѣ тѣ люди, которые отдали всю жизнь увлекавшему ихъ дѣлу, доставившему имъ, быть можетъ, гораздо болѣе страданій, чѣмъ наслажденій. И наоборотъ, человѣкъ можетъ наслаждаться всю жизнь и не быть счастливымъ. Развѣ мы не видимъ,

что люди, безпрестанно ищущіе наслажденій и имѣющіе, кажется, для того всѣ средства, нерѣдко оканчиваютъ жизнь самоубійствомъ?

Если стремленіе къ счастью есть вполне законно и глубоко врожденное стремленіе человѣка и всякаго живого существа удовлетворять *всѣмъ* своимъ врожденнымъ стремленіямъ, то легко видѣть, что, при множествѣ и разнообразіи этихъ стремленій, должно непремѣнно и безпрестанно возникать столкновеніе между ними при ихъ удовлетвореніи. Удовлетворяя одному стремленію, человѣкъ въ то же время можетъ не только не удовлетворить другому, но помѣшать его удовлетворенію. Отсюда возникаетъ необходимость привести врожденные стремленія человѣка въ одну стройную систему, съ тѣмъ, чтобы оцѣнить ихъ относительную важность и избавить человѣка отъ раскаянія, которое неминуемо слѣдуетъ, если, удовлетворивъ стремленію низшему, подчиненному, онъ тѣмъ самымъ нарушитъ другое стремленіе, можетъ быть гораздо болѣе обширное и существенное ¹⁾ Поступая безсознательно, необдуманно, не давая себѣ отчета въ прошедшемъ, не заглядывая въ будущее, человѣкъ очень часто удовлетворяетъ стремленію, которое тѣснитъ его въ настоящую минуту, и этимъ удовлетвореніемъ нарушаетъ возможность удовлетворенія другихъ, болѣе обширныхъ стремленій, которыя тотчасъ же, по удовлетвореніи менѣе существеннаго, возвышаютъ свой голосъ и наполняютъ душу человѣка мученіями не только неудовлетвореннаго стремленія, но и раскаянія. Въ мелкихъ размѣрахъ это явленіе ежедневно повторяется въ душѣ человѣка; въ размѣрахъ болѣе обширныхъ оно наполняетъ всю человѣческую жизнь и рѣшаетъ участь этой жизни. Вотъ почему, какъ для каждаго человѣка въ частности, такъ и для всего человѣчества вообще, такъ необходимо прійти къ ясному сознанию своихъ врожденныхъ стремленій и ихъ относительнаго значенія для жизни.

Мы раздѣлили всѣ врожденные стремленія человѣка на три рода: *органическія*, *душевныя* и *духовныя*. Теперь намъ уже легко оцѣнить ихъ относительное значеніе для жизни. Но такъ какъ духовныя стремленія будутъ рассмотрѣны нами въ третьей части «Антропологии», то здѣсь мы можемъ установить только относительное значеніе стремленій органическихъ и душевнаго стремленія къ дѣятельности. Душа, во всякомъ случаѣ, есть принципъ жизни въ организмѣ, или, другими словами, самая жизнь его, понимая подъ словомъ жизнь дѣятельность чувства и воли. Все назначеніе органическихъ процессовъ въ живомъ организмѣ состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать возможной самую жизнь. Не очеловѣчивая природы и не придавая ей человѣческой идеи цѣли, мы указываемъ только на фактъ. Все стремленіе растительной природы ограничивается только *бытіемъ* организма, рас-

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XL.

пространеніемъ и размноженіемъ этого бытія въ пространствѣ, а также индивидуальнымъ и поколѣннымъ продолженіемъ его во времени. Къ такому выводу пришло современное естествознаніе въ идеяхъ своихъ лучшихъ представителей ¹⁾). Удовлетвореніе этого стремленія достигается въ растительномъ царствѣ безъ помощи жизни, безъ помощи чувства и произвольныхъ движеній, выражающихъ чувство. Того же самаго могла бы достигнуть природа одною системою бессознательныхъ роковыхъ рефлексовъ и въ организмахъ животныхъ, какъ это доказываютъ намъ тѣ же естествоиспытатели и тѣ изъ психологовъ, которые, отвергая произволь, считаютъ сознаніе и чувство только случайными, несущественными явленіями, безъ которыхъ органическая жизнь могла бы совершаться сама собою, только рефлектируя внѣшнія впечатлѣнія и отвѣчая на нихъ движеніями роковыми, бессознательными, несопровождаемыми чувствомъ ²⁾). Но такъ какъ мы въ самихъ себѣ, кромѣ рефлексовъ, находимъ еще чувство и волю, то, значить, это явленіе природы должно быть признано явленіемъ самостоятельнымъ, которое можетъ имѣть значеніе для органической жизни, но не необходимо для нея, такъ что органическая жизнь продолжалась бы безъ сознанія и воли. Такое самостоятельное значеніе жизни, т. е. души, есть прямой результатъ современнаго естествознанія.

Признавъ же самостоятельность душевныхъ явленій въ отношеніи бессознательной природы, мы должны необходимо признать абсолютность этой самостоятельности въ отношеніи насъ самихъ. *Для насъ* вся природа имѣетъ значеніе настолько, насколько она даетъ намъ возможность жить. Какое же значеніе для человѣка можетъ имѣть природа внѣ его собственной души? Какое бы значеніе имѣло для насъ существованіе организмовъ и ихъ развитіе, если бы мы не могли ни чувствовать, ни желать? Для человѣка имѣютъ значеніе только психическія явленія; а всѣ остальные—настолько, насколько они отражаются въ психическомъ мірѣ. Если мы предположимъ, что во вселенной нѣтъ существъ, что-либо чувствующихъ и желающихъ, то такой интересъ будетъ имѣть для насъ вся вселенная? Она не будетъ имѣть для насъ ни смысла, ни значенія.

Изъ этихъ простыхъ и для каждаго ясныхъ положеній вытекаетъ само собою, что для человѣка *бытіе* имѣетъ только относительное значеніе, какъ средство *жизни*; а слѣдовательно и всѣ стремленія, условливающія бытіе, являются только средствами для жизни, т. е. для удовлетворенія того душевнаго стремленія, которое мы назвали стремленіемъ къ дѣятельности и которое точно такъ же можемъ назвать стремленіемъ къ жизни. Отсюда абсо-

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XXXVI.

²⁾ См. выше, ч. II, гл. XXXII.

лютная для человѣка истина того простаго закона, что человѣкъ въ частности и человѣчество вообще не для того живутъ, чтобы существовать, а для того существуютъ, чтобы жить. Вотъ почему человѣкъ очень часто, потерявъ возможность жить, прекращаетъ свое существованіе. Каждый самоубійца, постыдно поднимающій на себя руку, фактически доказываетъ намъ, какъ тяжело существовать человѣку, который потерялъ, или думаетъ, что потерялъ возможность жить.

Теперь уже ясно, что органическія стремленія должны имѣть для насъ значеніе только по отношенію къ коренному стремленію души—къ ея стремленію къ жизни, т. е. къ дѣятельности сознательной и свободной. Для животнаго это отношеніе можетъ быть иное, потому что, будучи лишено самосознанія, оно не можетъ установить этого отношенія. Животное живетъ, какъ хочетъ природа; человѣкъ понимаетъ стремленія природы и можетъ противопоставить ея стремленіямъ свою собственную волю. Человѣкъ не только чувствуетъ въ себѣ стремленія природы къ бытію, но и понимаетъ, къ чему она стремится, и всѣ ея стремленія имѣютъ для него значеніе настолько, насколько даетъ ему возможность удовлетворить *своему* стремленію—стремленію, вытекающему изъ него самого, т. е. изъ его души, стремленію къ жизни, или, точнѣе, стремленію къ дѣятельности сознательной и свободной.

Такимъ образомъ, самая простая здравая логика заставляетъ насъ подчинить стремленія къ бытію стремленію къ жизни, а потому всѣ органическія стремленія—душевному стремленію къ дѣятельности сознательной и свободной—стремленію къ свободному, излюбленному труду. Всѣ наслажденія (за исключеніемъ духовныхъ) сопровождаютъ удовлетвореніе только органическихъ стремленій, а отсюда уже вытекаетъ сама собою необходимость подчинить производное стремленіе къ наслаженію коренному, существенному стремленію души: стремленію ея къ дѣятельности сознательной и свободной. Такимъ образомъ, въ обширной системѣ стремленій къ счастью логически устанавливается порядокъ: всякое стремленіе удовлетворяютъ своимъ стремленіямъ законно; но если мы хотимъ счастья, то должны удовлетворять низшимъ стремленіямъ настолько, насколько это сообразно со стремленіемъ центральнымъ, составляющимъ корень души человѣческой.

Всякая человѣческая свободная и сознательная дѣятельность, конечно, предполагаетъ *цѣль*. Достиженіе цѣли составляетъ, повидимому, самое существенное для человѣка; но это только обманчивая видимость. Сама по себѣ цѣль, какъ это уже мы видѣли, еще необходимѣе для человѣка, чѣмъ ея достиженіе. Если вы хотите сдѣлать человѣка вполнѣ и глубоко несчастнымъ, то отнимите у него цѣль въ жизни и удовлетворяйте мгновенно всѣмъ его желаніямъ. Нужно ли еще доказывать существованіе этого замѣча-

тельного психическаго факта? Въмѣсто всякаго доказательства, мы сошлемся на собственное сознаніе всѣхъ тѣхъ, кому случалось внезапно потерять цѣль въ жизни или почувствовать, что у него нѣтъ цѣли, что всѣ цѣли жизни, которыя казались ему такими, мелки, ничтожны и не стоятъ быть цѣлями жизни. Если такое душевное состояніе продолжается, то можно серьезно опасаться за человѣка. Цѣли жизни могутъ быть мелки, ничтожны; но если человѣкъ не замѣчаетъ ихъ ничтожности, не переросъ ихъ значенія, то онѣ для него—серьезныя цѣли: онъ преслѣдуетъ ихъ и живетъ. Но отымите у него эти цѣли, и если онъ потеряетъ надежду отыскать другія, то будетъ *влачить свое существованіе*, а не жить, или подыметъ на себя руку. Этого рѣзкаго факта, знакомаго каждой человѣческой душѣ, достаточно, чтобы убѣдиться, что цѣль жизни составляетъ самое зерно ея, помимо того, достигается ли эта цѣль, или нѣтъ.

Но отчего же такъ важна цѣль въ жизни человѣка? Именно оттого, что она вызываетъ душу на дѣятельность, на дѣятельность сознательную и свободную, вызываетъ душу на трудъ. Такимъ образомъ, и съ этой точки зрѣнія мы приходимъ къ тому же убѣжденію, что сознательный и свободный трудъ одинъ способенъ составить счастье человѣка, а наслажденія являются лишь сопровождающимъ явленіемъ. *Но трудъ потому и трудъ, что онъ труденъ* ¹⁾, *а потому и дорога къ счастью трудна*. Эта дорога, кромѣ того, какъ и всякая прямая дорога, *одна*; а потому человѣкъ безпрестанно съ нея сбивается, и сбивается уже не на одинъ какой-нибудь путь, а на тысячи путей ложныхъ, ложныхъ потому, что они не ведутъ человѣка къ той цѣли, которой онъ хотѣлъ достигнуть: не ведутъ его къ счастью. Указать одну прямую, истинную дорогу можно; но перечислить всѣ ложные пути, по которымъ бродятъ люди, то увлекаясь ими временно, то сбиваясь на нихъ окончательно,—нѣтъ никакой возможности. Этихъ ложныхъ путей, отклоняющихъ человѣка отъ прямой дороги то на время, то навсегда, столько же, сколько человѣческихъ жизней, и еще болѣе, ибо каждый человѣкъ въ теченіе своей жизни перепробуетъ не одинъ такой фальшивый путь. Вотъ почему напрасно кто-нибудь бы старался перечислить всѣ ложныя увлеченія человѣка отъ прямого пути; но есть возможность, по главнымъ существеннымъ признакамъ этихъ отклоненій, раздѣлить ихъ на *два отдѣла*.

Иногда человѣкъ хитритъ съ трудомъ и старается обойти его трудность: отсюда возникаетъ *одинъ родъ* ложныхъ увлеченій и ложныхъ наклонностей. Иногда же человѣкъ ставитъ себѣ ложную цѣль въ жизни, такую цѣль, которая по своимъ качествамъ не способна быть цѣлью *человѣческой* жизни: отсюда возникаетъ *второй родъ* человѣческихъ укло-

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XXIV.

ней съ прямого пути, ложныхъ человѣческихъ наклонностей и страстей. Разсмотримъ оба эти рода уклоненій воли съ прямого пути.

Перваго рода уклоненія возникаютъ, какъ мы уже сказали, оттого, что человѣкъ хочетъ удовлетворить своему врожденному стремленію къ труду, избѣжавъ трудности труда, что, конечно, невозможно; ибо трудъ безъ трудностей уже не трудъ и не удовлетворитъ стремленій души къ труду. Отсюда возникаетъ стремленіе къ *привычкѣ*, къ *подражанію*, къ *перемѣнѣ впечатлѣній* и *мѣстъ* и, наконецъ, *стремленіе къ лѣни*, когда человѣкъ уже прямо отступаетъ отъ труда. Всѣ эти производныя, фальшивыя стремленія, которымъ можно дать общее названіе *слабостей воли*, имѣютъ такое важное значеніе для воспитательной дѣятельности и такъ много сами отъ нея зависятъ, что мы разберемъ ихъ подробнѣе въ слѣдующей главѣ, такъ какъ у насъ есть уже всѣ необходимыя предварительныя свѣдѣнія, чтобы анализировать ихъ.

Но мы никакъ не можемъ сказать того же самаго о тѣхъ наклонностяхъ и страстяхъ, о тѣхъ уклоненіяхъ человѣка съ прямого пути, которыя возникаютъ не оттого, что человѣкъ ложными средствами хочетъ достигнуть истинной цѣли, но оттого, что самая цѣль, выбранная имъ—ложна, т. е. не можетъ быть цѣлью человѣческой жизни. Для того, чтобы разобрать эти уклоненія воли, которымъ, въ отличіе отъ уклоненій перваго рода, мы дадимъ названіе *заблужденій* воли, мы должны были бы прежде анализировать тѣ особенныя свойства, которыми отличается человѣческое стремленіе къ дѣятельности: тогда только мы могли бы оцѣнить, насколько та или другая цѣль въ жизни можетъ вызвать душу человѣка на дѣятельность, соотвѣтствующую ея особеннымъ требованіямъ, чисто уже человѣческимъ. Это же мы можемъ сдѣлать только тогда, когда будемъ говорить объ особенностяхъ человѣческой души. Здѣсь же сдѣлаемъ только легкій намекъ на эти аномальныя явленія, чтобы дать хотя какое-нибудь понятіе о томъ, что мы разумѣемъ подъ именемъ *заблужденій* человѣческой воли, въ отличіе отъ ея *слабостей*.

Предположимъ себѣ, что человѣкъ стремится къ власти, для осуществленія какой-нибудь своей задушевной идеи. Власть нужна ему не по тому наслажденію, которое она доставляетъ, а только какъ средство для выполненія его любимой идеи. Въ этомъ случаѣ человѣкъ будетъ идти по прямой дорогѣ, хотя достиженіе той или другой власти и будетъ доставлять ему наслажденіе, будетъ доставлять именно потому, что человѣкъ при этомъ удовлетворитъ своему органическому стремленію къ общественности или, другими словами, доставитъ себѣ наслажденіе самодовольства ¹⁾. Но если

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XXII.

человѣкъ, попробовавъ разъ наслажденій, доставляемыхъ удовлетвореніемъ этого органическаго стремленія къ общественности, попробовавъ наслажденій почета, сопровождающаго власть, будетъ стремиться къ власти изъ желанія наслаждаться ею, хотя бы у него и не было никакой идеи, для которой ему нужна была бы эта власть, единственно изъ-за тѣхъ пріятныхъ ощущеній, которыя она доставляетъ—то это будетъ уже заблужденіе воли. Конечно, и такое фальшивое стремленіе доставитъ человѣку трудъ и удовлетворитъ стремленію его души къ дѣятельности; но вмѣстѣ съ тѣмъ оно, какъ мы увидимъ далѣе, непременно нарушитъ всю гармонію человѣческихъ стремленій, а главное—сдѣлаетъ человѣка какъ-разъ противоположнымъ тому, чѣмъ онъ желалъ быть. Властолюбіе, вытекающее изъ идеи, люди уважаютъ, хотя часто и возстаютъ противъ него; но властолюбіе, вытекающее изъ стремленія наслаждаться почетомъ и всѣми атрибутами власти, люди презираютъ. Такимъ образомъ, человѣкъ, идущій по этому пути, испытываетъ наслажденія самодовольства только потому, что самъ заблуждается, или потому, что вводитъ въ заблужденіе другихъ людей. Если люди поняли бы, для чего такой человѣкъ добивается власти, то стали бы глубоко презирать его въ душѣ и издѣваться надъ нимъ, хотя, можетъ быть, и гнули бы передъ нимъ шею, если онъ уже дѣйствительно обладаетъ властью. Если бы самъ такой властолюбецъ понялъ, какія чувства возбуждаетъ онъ въ душѣ гнущихся передъ нимъ людей, то его стремленіе удовлетворить своему самодовольству было бы совершенно неудовлетворено; напротивъ: онъ испыталъ бы какъ разъ противоположное чувство, т. е. мучительное чувство стыда ¹⁾. Слѣдовательно, все счастье подобнаго властолюбца основано на заблужденіи другихъ людей или его собственномъ. Кромѣ того, по свойственной одному человѣку прогрессивности въ своемъ стремленіи къ дѣятельности, такой властолюбецъ, думая удовлетворить своему стремленію, въ сущности не удовлетворилъ бы ему, потому что оно росло бы безпрестанно. Власть, удовлетворявшая его сегодня, не удовлетворяла бы его завтра, и онъ тѣмъ мучительнѣе чувствовалъ бы это неудовлетвореніе, чѣмъ болѣе привыкъ бы сосредоточивать свои наслажденія въ наслажденіяхъ властью. И единственное счастье, которое онъ получилъ бы при всемъ этомъ процессѣ, происходило бы все же отъ труда, предпринимаемаго имъ вновь и вновь для достиженія всякой новой ступени власти, а вовсе не отъ самой власти. Сократъ, какъ мы видѣли уже, пришелъ къ тому выводу, что наслажденіе само по себѣ не можетъ быть цѣлью человѣческой жизни и не можетъ составить ея счастья, и что для того, чтобы быть счастливымъ, человѣкъ долженъ перемѣшивать наслажденія съ мудростью,

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XXIII.

и притомъ отдавать всегда предпочтеніе мудрости. Но если бы Сократъ или, вѣрнѣе, Платонъ оставался на почвѣ психологическихъ наблюденій и про-велъ бы ихъ нѣсколько далѣе, то онъ увидѣлъ бы, что и къ самой му-дрости человѣкъ можетъ относиться двояко: можетъ быть мудрымъ, не наслаждаясь своею мудростью, и можетъ наслаждаться ею. Въ первомъ случаѣ, онъ будетъ стоять на прямой дорогѣ, потому что будетъ весь увлеченъ своею душевною дѣятельностью и не будетъ при этомъ испы-тывать никакихъ наслажденій, а во второмъ—попадетъ на ложный путь и не будетъ мудръ въ ту минуту, когда будетъ наслаждаться своею му-дростью. Кромѣ того, по односторонности, свойственной уже всему классп-ческому міру, а также и германскимъ философскимъ системамъ, построен-ныхъ на системахъ классическаго міра, Платонъ слишкомъ обобщаетъ значеніе философской мудрости для человѣка. Но однакоже занятіе фило-софіею составляетъ истинную дѣятельность для человѣка!

Г Л А В А I.

Слабость воли и склонности, изъ нея происходящія.

Показавъ, что нормальная дорога душевной дѣятельности состоитъ въ сознательномъ и свободномъ трудѣ, мы указали въ предшествующей главѣ и на два рода уклоненій отъ этого нормальнаго пути. Уклоненія перваго рода мы назвали *слабостями* воли именно потому, что эти уклоненія происходятъ отъ слабости воли; уклоненія второго рода мы назвали *заблужденіями* воли, такъ какъ они происходятъ уже отъ ложнаго вы-бора цѣли, которая, тѣмъ не менѣе, можетъ быть преслѣдуема иногда съ поразительною силою воли. Для анализа *слабостей* воли мы имѣемъ и теперь уже всѣ необходимыя данныя; но анализъ *заблужденій* воли требуетъ предварительнаго разсмотрѣнія цѣлей человѣческой жизни, что находится въ тѣснѣйшей связи съ особенностями человѣческой души. Истинною цѣлью должна быть признана та цѣль, которая наиболѣе со-отвѣтствуетъ душѣ человѣка, а потому мы можемъ отыскивать эту цѣль лишь тогда, когда изучимъ его душевныя особенности.

Всѣ слабости воли происходятъ, въ объективномъ смыслѣ, изъ одного источника: изъ той антиноміи въ самомъ понятіи дѣятельности, на кото-рую мы указали выше ¹⁾. Всякая дѣятельность состоитъ въ преодолѣніи препятствій. Человѣкъ, по природѣ своей, стремится къ дѣятельности и отвращается отъ препятствій. Къ преодолѣнію препятствій могутъ его по-

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XXIV.

буждать только два мотива: или сильное желаніе (сильная воля въ смыслѣ желанія) достичь той или другой цѣли, или та тоска, которая начинается въ душѣ при отсутствіи дѣятельности. Отсюда понятно, что если у человѣка нѣтъ какихъ-нибудь сильныхъ опредѣленныхъ желаній, то, побуждаемый тоскою бездѣйствія, онъ старается чѣмъ бы то ни было, *но по возможности съ меньшимъ трудомъ*, утолить этотъ голодъ души. Такимъ образомъ возникаетъ въ человѣкѣ стремленіе къ *легчайшей* дѣятельности, которое или выражается непосредственно такъ называемою *лѣнностью*, или принимаетъ различныя формы: стремленія къ привычкѣ, къ подражанію, къ развлеченіямъ и новизнамъ.

Склонность къ лѣни.

Лѣнь такъ рано проявляется въ человѣкѣ, что педагоги, которымъ чаще другихъ приходится бороться съ этимъ психическимъ явленіемъ, сложили даже извѣстную поговорку, что «лѣньность родилась прежде человѣка», или, другими словами, что человѣкъ уже вноситъ съ собою въ сознательную жизнь стремленіе къ лѣни, какъ прирожденную склонность. Мнѣніе это о прирожденности лѣни раздѣляютъ нѣкоторые психологи и философы, хотя въ то же время признаютъ и прирожденность стремленій къ дѣятельности. Такъ Кантъ, въ одномъ мѣстѣ своей антропологіи, говоритъ о прирожденности лѣни, а въ другомъ—о прирожденномъ стремленіи къ дѣятельности. Впрочемъ, надо замѣтить, что Кантъ и примиряетъ это кажущееся противорѣчіе, признавая за душою стремленіе переходить изъ одного состоянія въ другое и, въ то же время, называя это стремленіе «тяжелымъ»¹⁾. Однако же это примиреніе Канта требуетъ разъясненія, и мы, послѣ изложенія явленій воли, имѣемъ всѣ данныя, чтобы глубже вникнуть въ это кажущееся противорѣчіе, анализируя самыя общеизвѣстныя явленія.

Прежде всего замѣтимъ, что самый лѣнливый человѣкъ не ко всему лѣнивъ: онъ не лѣнится мечтать, слушать, вообще испытывать такія пріятныя ощущенія, которыя не стоятъ ему ни малѣйшаго труда. Напротивъ, лѣньность именно и обнаруживается въ человѣкѣ стремленіемъ предаваться пріятнымъ или даже безразличнымъ для него ощущеніямъ, но не стоящимъ ему никакихъ усилій. Слѣдовательно, лѣньность можно опредѣлить, какъ *отвращеніе человека отъ усилій*. Но, конечно, человѣкъ не имѣлъ-бы причины отвращаться отъ усилій, если бы они сопровождались пріятнымъ чувствомъ, и если бъ усиліе, само по себѣ, безъ отношенія къ той цѣли, которая можетъ имъ достигаться, не было бы всегда тягостно для человѣка, какъ мы это видѣли выше²⁾. Что такое это усиліе само по

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. VIII.

²⁾ См. выше, ч. II, гл. XXXIV.

себѣ—мы не знаемъ; но каждому изъ насъ очень хорошо знакомо то неприятное чувство усилія, которымъ сопровождается всякое наше *произвольное* дѣйствіе и которое выступаетъ тѣмъ яснѣе, чѣмъ затруднительнѣе для насъ это дѣйствіе. Затруднительность же дѣйствія увеличивается по степени трудности извлеченія тѣхъ силъ, которыя мы должны взять изъ запаса физическихъ силъ тѣла и обратить на тотъ или другой произвольный актъ. Изъ этого уже мы видимъ, что лѣнность возникаетъ въ сферѣ отношеній души къ тѣлу и есть явленіе *психо-физическое*, для объясненія котораго мы должны припомнить тѣ противоположныя качества, которыя обыкновенно приписываются душѣ и тѣлу, и о которыхъ мы уже упоминали выше ¹⁾.

Существенное качество матеріи есть *инерція*, а инерція есть такое свойство всякаго тѣла, по которому оно стремится оставаться всегда въ одномъ и томъ же состояніи, будетъ ли то покой или движеніе. На этомъ *законѣ инерціи*, какъ извѣстно, строится вся механика, принимающая, что тѣло, находящееся въ покой, не можетъ само собою перейти въ движеніе, а двинутое разъ въ одномъ направленіи—не можетъ само-собою ни остановиться, ни переменить направленія. «Эта настойчивость пребыванія въ своихъ состояніяхъ, какъ говоритъ Ридъ въ своихъ письмахъ къ Джемсу Грегори, есть такой существенный признакъ инерціи, что мы не можемъ приложить этого слова къ тому, въ чемъ замѣтимъ отсутствіе этой настойчивости» ²⁾. Инерція собственно и есть именно эта настойчивость всякаго тѣла пребывать въ томъ состояніи, въ которомъ оно находится.

Совершенно противоположное свойство открываемъ мы въ душѣ: она, наоборотъ, всегда стремится выйти изъ того состоянія, въ которомъ находится, не потому, чтобы ее влекло новое состояніе, котораго она еще не знаетъ, но потому, что ей тяжело пребывать въ одномъ и томъ же состояніи. Это стремленіе души выходить изъ того состоянія, въ которомъ она находится,—стремленіе, неудовлетворенность котораго обнаруживается чувствами скуки и тоски, а удовлетвореніе—только дѣятельностью, и составляютъ то, что мы назвали стремленіемъ души къ безпрестанной дѣятельности. Въ этомъ отношеніи инертная матерія, стремящаяся всегда пребывать въ томъ состояніи, въ которомъ она находится, и непрерывно дѣятельная душа, непрерывно стремящаяся выйти изъ своего настоящаго состоянія, составляютъ двѣ совершенныя противоположности. Но, чтобы, принявъ это положеніе, не сдѣлать изъ него ошибочныхъ выводовъ, слѣдуетъ строго отличать понятіе *инерціи* отъ понятія *неподвижности*, и понятіе *дѣятельности*—отъ понятія *движенія*. Мы называемъ тѣло

¹⁾ Пед. Антр., ч. I, гл. XXXVIII.

²⁾ Reid's Work, V. I, p. 85.

инертнымъ не только потому, что оно не можетъ само собою перейти изъ состоянія покоя въ состояніе движенія, но и потому, что, будучи двинуто, оно не можетъ само собою перейти изъ состоянія движенія въ состояніе покоя. Инерція настолько не есть неподвижность, что она сама является необходимымъ условіемъ всякаго движенія: только инертное тѣло можетъ быть двинуто и можетъ быть остановлено въ своемъ движеніи; только инертное тѣло повинуется законамъ механики, основаннымъ на инерціи. И наоборотъ: понятіе дѣятельности прямо противоположно понятію инерціи и выводимому изъ него понятію движенія. Это есть уже чисто психическое понятіе, только переносимое часто и на внѣшній для человѣка матеріальный міръ. Это уже не движеніе, а причина движеній: та перемѣна состояній, которою движенія или вызываются, или останавливаются. Во внѣшнемъ для насъ мірѣ мы такой причины не знаемъ, хотя предполагаемъ ее то въ томъ, то въ другомъ; внутри же себя мы такую причину испытываемъ и называемъ ее волею, или вообще душою. Наблюденіе заставляетъ насъ признать за матеріей инерцію, матеріаль движениій; а самонаблюденіе заставляетъ насъ признать за душою начало дѣятельности—стремленіе безпрестанно выходить изъ своихъ состояній.

Чувство *усилія* именно и показывается при этой встрѣчѣ дѣятельной души съ инертной матеріей, инертной какъ въ своемъ покоѣ, такъ и въ своихъ движеніяхъ. Почему это *преодоленіе* инерціи матеріи само по себѣ, неприкрытое другими сопровождающими его явленіями, всегда *непріятно* душѣ ¹⁾—этого мы не знаемъ; но таковъ фактъ, который всякій изъ насъ испытываетъ въ самомъ себѣ. И чѣмъ сильнѣе сопротивленіе матеріи, или въ своемъ движеніи, или въ своемъ покоѣ, тѣмъ *тяжелѣе* для души преодолѣть это сопротивленіе. Но такъ какъ, въ то же самое время, душа побуждается присущимъ ей стремленіемъ измѣнять свои состоянія, то для нея всегда пріятенъ такой исходъ, когда она, не преодолѣвая инерціи матеріи и предаваясь теченію ея движеній, вызванныхъ какими-нибудь другими причинами, можетъ измѣнять свои состоянія. Слѣдуя разнообразнымъ движеніямъ матеріи, не стоящимъ душѣ никакого усилія, душа открываетъ для себя возможность разомъ удовлетворить и своему стремленію къ перемѣнѣ своихъ состояній, и своему отвращенію отъ преодоленія инерціи матеріи. Въ этой возможности совершенно *пассивной* (вещной) дѣятельности коренится начало лѣни и всѣхъ ея видоизмѣненій.

Открывъ для себя возможность въ такой *пассивной* дѣятельности удовлетворять, безъ всякаго труда для себя, своему стремленію къ перемѣнѣ своихъ состояній, душа человѣка удовольствовалась бы ею, если бы душѣ не было прирождено стремленіе къ прогрессу въ этой дѣятель-

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XXXVIII.

ности: если бы душа человѣка, какъ душа животныхъ, могла вращаться спокойно въ кругу одной и той-же дѣятельности. Но самое однообразіе движеній инертной матеріи болѣе или менѣе скоро надоѣдаетъ душѣ; повторяясь, движенія эти все болѣе и болѣе не удовлетворяютъ стремленію души выходить изъ знакомыхъ ей состояній. Вотъ почему *абсолютная лѣнь* совершенно невозможна для человѣка. Онъ не можетъ довольствоваться одними и тѣми же періодически возрождающимися ощущеніями, доставляемыми ему тѣломъ но *ищетъ* возможности увеличить число и разнообразіе этихъ ощущеній—всячески распложаетъ и разнообразить простыя потребности тѣла. Однакоже онъ *долженъ* уже искать и, слѣдовательно, быть дѣятельнымъ: преодолѣвать непріятное чувство усилія. Вотъ почему человѣкъ такъ радъ, если кто-нибудь другой, а не онъ самъ, позаботится о томъ, чтобы разнообразить пассивную дѣятельность его души. Но, къ счастью, и это для человѣка не вполне возможно. Это пассивное, зависимое состояніе души отъ впечатлѣній, которыми она не располагаетъ, но которымъ она только поддается, противорѣчитъ ея врожденному стремленію къ свободѣ ¹⁾ и есть все же однообразное состояніе несвободы: какъ только душа сознаетъ это однообразіе своего состоянія и свою собственную несвободу, такъ и старается изъ него выйти. Однакоже, по многимъ причинамъ, одинъ человѣкъ можетъ болѣе и долѣе, чѣмъ другой, уклоняться отъ преодоленія тягости усилія и можетъ долѣе растягивать періоды своей пассивной душевной дѣятельности. Причины эти очень разнообразны, и едва-ли мы можемъ изложить ихъ все. Однѣ изъ этихъ причинъ можно назвать болѣе *физическими*, другія—*психо-физическими*, а третьи—*психическими*.

Физическія причины лѣни скрываются, безъ сомнѣнія, въ самомъ организмѣ, въ силѣ совершенія его процессовъ и ихъ направленія въ ту или другую сторону. Чѣмъ сильнѣе направлены процессы тѣла, наприм., къ росту и развитію организма, тѣмъ труднѣе для души извлекать оттуда силы изъ запаса силъ физическихъ и направлять ихъ на избранныя ею душевныя работы, или на произвольныя движенія. Вотъ почему дѣти тучныя и сильно растущія очень часто оказываются лѣнивыми. Вотъ почему также всякій воспитатель, безъ сомнѣнія, замѣчалъ, что иногда прилежное дитя вдругъ становится лѣнивымъ, и что это именно случается въ то время, когда, по неизвѣстной для фізіологіи причинѣ, развитіе тѣла, вначалѣ замедлившееся вдругъ идетъ опять быстрѣе. Въ эти періоды дѣтства, которые у нѣмцевъ носятъ даже особое названіе, дитя не только выказываетъ лѣньность, которой прежде въ немъ не замѣчалось, но и склонность къ шалостямъ, что одно другому не противорѣчитъ, ибо шалости эти происходятъ не отъ стремленія

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XLVI.

души къ дѣятельности, но отъ избытка вырабатываемыхъ силъ, которыя, уже по самому требованію природы, должны идти на развитіе мускуловъ, для чего необходимо ихъ движеніе. Это, если можно такъ выразиться, шалости рефлексивныя, которыхъ требуетъ организмъ и которымъ всего лучше удовлетворяетъ правильная гимнастика. Замѣтивъ, что у дитяти начался такой періодъ физическаго развитія, не должно бросать занятій съ нимъ; но должно при своихъ требованіяхъ всегда принимать въ расчетъ и особенное, временное требованіе физической природы. Такое сильное и обширное совершеніе и направленіе органическихъ процессовъ не ограничивается часто однимъ періодомъ дѣтства, но продолжается и долѣе, остается иногда и на всю жизнь. Между людьми тучными болѣе встрѣчается людей, расположенныхъ къ лѣни, чѣмъ между худощавыми. Въ малообразованныхъ классахъ народа, гдѣ душа не создала себѣ обширной сферы дѣятельности, ожирѣніе человѣка идетъ почти всегда вмѣстѣ съ развитіемъ лѣности, такъ что за жирѣть и сдѣлаться лѣнливомъ значить у крестьянъ и у купцовъ почти одно и то же. Въ этихъ случаяхъ разбогатѣвшій крестьянинъ быстро толстѣетъ именно потому, что дѣятельность здороваго тѣла вдругъ прекратилась съ прекращеніемъ потребности работать, а силы, продолжающія обильно вырабатываться, за неимѣніемъ траты на умственную жизнь, идутъ на развитіе тѣла; а потомъ человѣку уже становится трудно извлекать эти силы изъ разросшихся органическихъ процессовъ, и онъ становится лѣнливымъ.

Но если особенно сильное развитіе организма ведетъ за собою лѣнь, то и особенная слабость его можетъ повести къ тому же, если душа не завязала предварительно своихъ сильныхъ работъ. Дитя слабое, для здоровья котораго необходимы всѣ физическія силы, вырабатываемыя изъ пищи, можетъ также оказаться лѣнливымъ именно по своей физической слабости. Для такого дитяти труднѣе, чѣмъ для здороваго, отнимать у физическихъ процессовъ часть силъ для своихъ душевныхъ работъ. Тамъ обширность и сила органическихъ процессовъ, а здѣсь недостатокъ силъ для необходимыхъ процессовъ жизни вызываютъ одно и то же явленіе. Конечно, въ послѣднемъ случаѣ воспитатель еще болѣе, чѣмъ въ первомъ, долженъ съ большою осторожностью требовать душевной дѣятельности отъ ребенка, и даже долженъ иногда совершенно прекращать эти требованія. Но при этомъ слѣдуетъ всегда опасаться, что ребенокъ, и поправившись, окажется уже привыкшимъ къ лѣни. Продолжительныя болѣзни часто имѣютъ своимъ результатомъ лѣность и капризы въ ребенкѣ. Вотъ почему съ больнымъ дитятею воспитатель долженъ быть очень остороженъ, чтобы не передать ни въ ту, ни въ другую сторону: не повредить ни физическому, ни душевному здоровью дитяти.

По тѣмъ же самымъ физическимъ причинамъ человѣкъ испытываетъ

временное расположеніе къ лѣни всякій разъ послѣ сытнаго обѣда: во время переварки пищи человѣку становится труднѣе отвлекать органическія силы изъ этого физико-химическаго процесса. Вотъ почему сытный обѣдъ влечетъ человѣка къ неподвижности и сну. По окончаніи же переварки пищи, когда физическія силы уже готовы, дѣятельность становится для человѣка легкою. Отсюда понятно, почему чрезмѣрно обильное кормленіе дѣтей влечетъ за собою наклонность къ лѣни, а если слишкомъ растянутый желудокъ требуетъ потомъ и постоянно большаго количества пищи, то человѣкъ становится лѣнивымъ на всю жизнь. По этой-то причинѣ наше домашнее воспитаніе у достаточныхъ классовъ, помѣщиковъ и купцовъ, часто создавало положительныхъ лѣнтяевъ. Страшно подумать, что съѣдало въ день иное помѣщичье или купеческое дитя! Оно жевало и переваривало эту жвачку почти цѣлый день. Отсюда понятно, почему лѣнность была весьма замѣтною и отличительною чертою нашего зажиточнаго класса. Но нигдѣ, можетъ быть, ѣда съ утра до вечера, такъ рельефно выставленная Гоголемъ, не шла въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, какъ въ Малороссіи. Не отсюда ли и еще сильнѣйшій оттѣнокъ лѣни у малороссовъ? Но въ этомъ отношеніи, конечно, имѣлъ вліяніе и болѣе теплый климатъ: особенно продолжительное и жаркое степное лѣто. Во время жара всякое произвольное движеніе для человѣка тяжелѣе, чѣмъ въ холодъ.

Къ *психо-физическимъ* причинамъ лѣни слѣдуетъ отнести особенное обиліе и разнообразіе слѣдовъ пріятныхъ тѣлесныхъ ощущеній всякаго рода. Если въ дѣтствѣ человѣка ему доставляли въ обиліи разнообразныя тѣлесныя наслажденія, то самое разнообразіе слѣдовъ этихъ наслажденій уже даетъ ему возможность удовлетворять въ *нихъ* своей потребности душевной дѣятельности. Бенеке придаетъ особенную важность этому источнику лѣни и приписываетъ ему даже болѣе вліянія на порчу человѣка, чѣмъ можно приписать ¹⁾. Но, конечно, если первыя ассоціаціи представленій человѣка будутъ взяты, главнымъ образомъ, изъ міра чувственныхъ наслажденій, то онѣ могутъ сильно условить всю дальнѣйшую дѣятельность его души. Къ такимъ чувственнымъ наслажденіямъ Бенеке совершенно вѣрно относитъ не одно лакомство, но вообще всякую тѣлесную нѣгу и даже шалости, какъ удовлетвореніе тѣлесной потребности движеній. Если дитя слишкомъ сильно погрузится въ сферу тѣлесной жизни, если въ душѣ его завяжутся обширныя и сильныя ассоціаціи, содержаніе которыхъ взято изъ этой сферы, то тогда трудно пробудить въ немъ жажду жизни духовной. Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что обжорство происходитъ не столько отъ обилія лакомствъ, сколько отъ рѣзкихъ пе-

¹⁾ Erziehung- und Unterricht's-Lehre.

ремѣнь въ отношеніи пици. Обжоры воспитываются скорѣе всего въ тѣхъ заведеніяхъ, гдѣ голодомъ заставляютъ дѣтей постоянно думать о пищѣ, тогда какъ дома родители пичкаютъ тѣхъ же дѣтей чѣмъ попало. Семинаріи наши много грѣшили въ этомъ отношеніи.

Психическія причины лѣни должны уже заключаться въ самыхъ опытахъ дѣятельности, въ томъ или другомъ исходѣ этихъ опытовъ. Дитя отъ природы не имѣетъ душевной лѣни, что легко мы замѣтимъ, наблюдая, какъ оно любитъ не только дѣятельность вообще, что могло бы быть еще объяснено обиліемъ выработки физическихъ силъ, но какъ оно любитъ самостоятельность дѣятельности. Оно хочетъ все дѣлать *само*, и это стремленіе должно беречь въ немъ, какъ самое драгоценное, жертвуя для него и приличіями, для которыхъ нерѣдко матери и няни подавляютъ первое проявленіе самостоятельной душевной дѣятельности, не зная, конечно, какой вредъ приносятъ онѣ ребенку. Если дитя останавливать или наказывать за всѣ его порывы къ самостоятельной дѣятельности, то это значитъ прибавлять къ ней еще новую, внѣшнюю трудность, кромѣ той, которую представляетъ уже самъ физическій организмъ; почему и понятно, что дитя можетъ, наконецъ, отступить передъ этою слишкомъ большою для него трудностью. Эта же внѣшняя причина душевной лѣни дѣйствуетъ и тогда, если наставникъ требуетъ отъ дитяти непосильныхъ трудовъ. Неудача попытокъ удовлетворить этому требованію, слишкомъ тяжелое и непріятное чувство, сопровождающее эти попытки, могутъ запугать дитя, и оно станетъ смотрѣть лѣниво уже на всякій трудъ. Вотъ почему чрезмѣрно требовательное ученье, хотя бы оно даже давало въ началѣ блестящіе результаты, скажется потомъ отвращеніемъ къ труду и склонностью къ лѣни.

Та же склонность къ лѣни развивается и отъ совершенно противоположной причины, а именно, если дитя непрерывно занимаютъ, забавляютъ и развлекаютъ, такъ что почти одна *пассивная* дѣятельность наполняетъ жизнь его души и удовлетворяетъ ея требованіямъ дѣятельности. При этомъ, правда, воспитывается жажда дѣятельности, и дитя скучаетъ, если его ничто не развлекаетъ; но не развивается смѣлость и увѣренность, необходимыя для того, чтобы преодолевать трудности самостоятельной душевной дѣятельности. Въ этомъ отношеніи грѣшитъ и великосвѣтская жизнь дѣтей, и черезъ-чуръ заботливая, но не совсѣмъ разумная педагогика, подсовывающая дѣтямъ дѣятельность и не дающая имъ возможности самимъ отыскать ее. По этой причинѣ такъ называемые дѣтскіе сады Фребеля, какъ бы ни рациональны были принятыя въ нихъ занятія и игры дѣтей, могутъ подѣйствовать вредно на ребенка, если онъ проводитъ въ нихъ большую часть своего дня. Какъ ни умно то занятіе или та игра, которымъ выучаютъ дитя въ дѣтскомъ саду, но они уже потому дурны,

что дитя не само имъ выучилось, и чѣмъ навязчивѣе дѣтскій садъ въ этомъ отношеніи, тѣмъ онъ вреднѣе. Это не значитъ, что мы вообще вооружаемся противъ дѣтскихъ садовъ и противъ идей Фребеля; но значитъ только, что, при настоящемъ состояніи всего этого дѣла, мы рѣшительно не можемъ сказать, приносятъ ли дѣтскіе сады въ настоящее время больше вреда или пользы, и во всякомъ случаѣ думаемъ, что время пребыванія дѣтей въ садахъ должно быть значительно сокращено. Нельзя вести на поводкѣ волю ребенка, а надо дать ей просторъ самой расти и усиливаться. Если же дѣтей посылаютъ въ садъ потому, что ихъ некуда дѣвать, то слѣдуетъ въ самыхъ садахъ давать дѣтямъ какъ можно болѣе свободнаго времени, въ которое предоставлять имъ дѣлать, что имъ угодно. Даже шумное общество дѣтей, если ребенокъ находится въ немъ съ утра до вечера, должно дѣйствовать вредно. Уединеніе по временамъ такъ же необходимо ребенку, какъ и взрослому. Совершенно уединенныя и самостоятельныя попытки той или другой дѣтской дѣятельности, не вызываемой подражаніемъ другимъ дѣтямъ или наставникамъ, совершенно необходимы и чрезвычайно плодотворны, какъ бы ни казалась для взрослого мелка эта дѣятельность. Нѣтъ сомнѣнія, что дѣти болѣе всего учатся, подражая; но ошибочно было бы думать, что изъ подражанія сама собою вырастетъ самостоятельная дѣятельность. Подражаніе даетъ много матеріала для самостоятельной дѣятельности; но если бы не было самостоятельной дѣятельности, независимой отъ подражанія, то нечему было бы и подражать. Самостоятельная дѣятельность не появляется потомъ, съ возрастомъ; но зерно ея коренится въ свободной волѣ человѣка, рождающейся вмѣстѣ съ душою, и этому зерну должно дать и время, и сферу для развитія. Вотъ почему воспитатель по временамъ долженъ отступать отъ ребенка и совершенно предоставлять его самому себѣ. Зерно самостоятельности скрывается глубже въ душѣ дитяти, чѣмъ можетъ проникнуть туда воспитаніе, и самыя попытки туда проникнуть могутъ только помѣшать развитію зерна. Воспитаніе можетъ много, но не все.

Склонность къ привычкѣ.

Стремленіе къ привычкѣ есть только особенная форма стремленія къ легчайшей дѣятельности, что объясняется самымъ свойствомъ привычки. Направленіе физическихъ силъ на ту или другую работу, задаваемую душою, дѣлается для человѣка тѣмъ легче, чѣмъ чаще эта работа повторяется. Физиологической причины этого явленія, какъ и вообще физиологической причины привычки, мы не знаемъ; но, тѣмъ не менѣе, само явленіе есть фактъ, не подлежащій сомнѣнію. Душа, давая направленіе физическимъ силамъ на ту или другую избранную ею работу, приучаетъ организмъ мало-по-малу все легче и легче выдѣлять и направлять свои силы для этой новой для него

функціи, уже не природной, а созданной душою, такъ что въ послѣдствіи времени физическія силы уже почти сами собою выделяются для отправленія той или другой психо-физической работы. вмѣстѣ съ тѣмъ усиліе, которое долженъ былъ употреблять человѣкъ для вызова физическихъ силъ на ту или другую произвольную работу души, становится все слабѣе и преодолевается душою все легче и незамѣтнѣе. Отсюда выходитъ не только привычка, но и объясняется склонность человека къ привычкѣ.

Мы видѣли уже въ первой части все громадное значеніе привычки въ жизни человѣка и въ его такъ называемомъ развитіи ¹⁾. Здѣсь же достаточно сказать, что если бы привычка не облегчала усилій души въ передвиженіи и направленіи физическихъ силъ тѣла, и если бы всегда и при всякомъ повтореніи дѣйствія человѣкъ долженъ былъ, какъ и въ первый разъ, преодолевать тѣ же трудности усилій, то всякіе, даже сколько-нибудь сложные, произвольные психо-физическіе процессы, какъ, напр., процессъ ходьбы, рѣчи и т. п., были бы невозможны. Человѣкъ именно потому и выучивается этимъ сложнымъ, произвольнымъ актамъ, что его нервный организмъ обладаетъ способностью привычки. Приводя въ исполненіе какой-нибудь сложный выученный психо-физическій актъ, душа, такъ сказать, толкну пускаетъ въ ходъ сложную машину, уже выстроенную прежде многочисленными привычками. Наше сравненіе привычекъ съ машиною не случайно. Въ экономіи человеческого организма привычка играетъ какъ разъ ту же роль, какую машина играетъ въ хозяйствѣ. Ни привычка, ни машина сами собою не придутъ въ дѣйствіе. Но онѣ сохраняютъ, экономизируютъ человеческую силу. Та же самая степень усилія, которая нужна человѣку, чтобы пустить въ ходъ паровозъ и управлять его движеніями, была бы недостаточна, чтобы перенести за версту пяти пудовый камень; та же степень усилія, которая нужна теперь человѣку, чтобы произнести длинную рѣчь, недостаточна была бы для того, чтобы произнести два-три слова, если бы человѣкъ долженъ былъ повторять съ одинаковой трудностью всѣ тѣ усилія, которыя онъ дѣлалъ для произношенія первыхъ звуковъ. Какъ безсиленъ былъ бы человѣкъ въ экономическомъ мірѣ, не имѣя другихъ орудій, кромѣ рукъ своихъ, такъ былъ бы онъ безсиленъ и въ психо-физическомъ мірѣ, если бы не обладалъ способностью привычки. Какъ машины даютъ человѣку возможность, при одинаковомъ количествѣ употребленныхъ имъ усилій, достигать громадныхъ результатовъ, такъ привычка даетъ человѣку возможность необозримо обширной психо-физической дѣятельности при одномъ и томъ же количествѣ душевныхъ усилій. Пуская въ ходъ громадно-сложную машину рѣчи, человѣкъ уже не заботится о движеніи каждой ея пружины и cadaго колеса, а это даетъ ему возможность сосредоточить свое усиліе уже на смыслѣ, напра-

¹⁾ Педаг. Антроп., ч. I, гл. XII.

влени и цѣли рѣчи. Дитя, начинающее учиться читать, какъ бы ни были велики его усилія, не можетъ схватить смысла сколько-нибудь длинной рѣчи именно потому, что силы его поглощаются и разбиваются мелкими трудностями произнесения каждой буквы и каждого слова. Человѣкъ, читавшій много и на разныхъ языкахъ, часто не замѣчаетъ даже, на какомъ языкѣ онъ читаетъ, и если онъ углубленъ въ содержаніе книги, то не сразу дастъ отвѣтъ, на какомъ языкѣ она написана. Въ обоихъ случаяхъ степенъ усилія одинакова, но результатовъ нельзя сравнивать.

Признавъ, что человѣкъ стремится въ одно и то же время къ психической дѣятельности по возможности легкой и по возможности обширной, мы поймемъ уже, почему онъ невольно склоняется къ дѣйствіямъ привычнымъ. Но если человѣкъ ищетъ въ привычкѣ не ступени для расширенія своей психо-физической дѣятельности, а уклоненія отъ трудностей труда, то ложность этого направленія обнаруживается сама собою. Дѣйствіе повторяющееся становится дѣйствительно все легче и легче, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, все менѣе и менѣе занимаетъ душу. Жизнь, вращающаяся въ привычкахъ, дѣлается рутинною, и дѣятельность душевная суживается все болѣе и болѣе. Въ этомъ отношеніи привычка напоминаетъ опять экономическій капиталъ, который можно употребить какъ для расширенія дѣятельности, такъ и для того, чтобы жить процентами съ него. Но эта блаженная жизнь капиталиста вовсе оказывается не блаженною: именно потому, что душа человѣка попадаетъ въ положеніе, совершенно противное ея природѣ, если она должна не расширять свою дѣятельность, а постепенно сужать ее; привычное же дѣйствіе чѣмъ чаще повторяется, тѣмъ менѣе даетъ пищи душѣ. Это значеніе привычки въ экономіи человѣческой жизни долженъ имѣть всегда въ виду воспитатель. Онъ долженъ ясно сознавать, что на привычкахъ основывается возможность постепеннаго расширенія дѣятельности человѣка, но что самое это постепенное расширеніе дѣятельности есть цѣль, соотвѣтствующая природѣ души человѣческой, а привычки являются только средствомъ къ постоянному достиженію этой цѣли. Вотъ почему, давая человѣку массу привычекъ, воспитатель долженъ заботиться, чтобы самъ человѣкъ не погрязъ въ этой массѣ, и чтобы, переставъ употреблять машину, для чего она назначена, самъ не сдѣлался машиною. Современное воспитаніе дѣлаетъ въ этомъ отношеніи много большихъ и малыхъ промаховъ, и часто, пріучая человѣка довольствоваться дѣйствіями привычными, мало-по-малу пріучаетъ его къ душевной лѣни.

Склонность къ подражанію.

Подражаніе, какъ и привычка, основывается на необъяснимомъ физиологическомъ явленіи невольной нервной подражательности, о которой мы

упоминали выше ¹⁾). Сильныя движенія и сильныя выраженія чувствованій *невольно* вызываютъ подражаніе въ тѣхъ, кто ихъ видитъ. Нѣкоторыя породы животныхъ и дѣти поражаютъ своею подражательностью, въ которой однако не все невольно. Слабонервные люди, въ особенности женщины, не могутъ видѣть и слышать энергичнаго выраженія чувствованій, чтобы не отражать ихъ, какъ въ зеркалѣ, на своемъ лицѣ и въ своихъ движеніяхъ. У людей съ сильными нервами подражательность не выражается такъ рѣзко; но все же и у нихъ можно замѣтить слѣды ея въ длинный періодъ. Мы невольно усваиваемъ манеры людей, съ которыми живемъ, и они также усваиваютъ наши, сами того не сознавая. Замѣчаютъ, что почерки мужа и жены мало-по-малу дѣлаются сходными. Но здѣсь намъ слѣдуетъ говорить не о самой нервной подражательности, а о той *склонности*, которую выказываетъ человѣкъ къ дѣятельности подражательной. Склонность эта вытекаетъ изъ того же душевнаго источника, какъ и склонность къ привычкѣ, а именно изъ стремленія души къ *легчайшей* дѣятельности: подражая, человѣкъ находитъ возможность удовлетворять своему душевному стремленію къ дѣятельности, не трудясь самъ отыскивать или изобрѣтать эти средства. Этимъ легко объясняется сильная подражательность дѣтей: дитя, по малому развитію своего ума и вообще бѣдному содержанію своей души, имѣетъ мало возможности самостоятельно открыть сферу для своей душевной дѣятельности. Вотъ почему оно такъ охотно схватывается за дѣятельность подражательную. Вотъ почему также и въ зрѣломъ возрастѣ подражательность въ особенности сильна у тѣхъ людей, душевное содержаніе которыхъ такъ бѣдно, что не можетъ удовлетворить ихъ собственной душевной потребности къ дѣятельности. Отсюда проистекаетъ свирѣпство модъ въ классахъ, лишенныхъ необходимости трудиться и не сумѣвшихъ отыскать себѣ самостоятельнаго труда.

Подражаніе легко переходитъ въ самостоятельную дѣятельность, и этимъ способомъ передается и увеличивается запасъ человѣческихъ свѣдѣній и приспособленій къ условіямъ жизни. Но есть характеры, которые всю жизнь свою только обезьянничаютъ, находя въ подражаніи легкое удовлетвореніе душевнаго стремленія къ дѣятельности. Чѣмъ же сильнѣе душа, тѣмъ скорѣе надоѣдаетъ ей дѣятельность рутинная, привычная и дѣятельность подражательная, тѣмъ ранѣе и яснѣе выказывается въ ней стремленіе къ оригинальности, т. е. къ такому душевному труду, который вполнѣ принадлежалъ бы душѣ и удовлетворялъ ея сильной потребности дѣятельности. *Оригинальность* не слѣдуетъ смѣшивать съ *оригинальничаньемъ*. Оригинальность есть естественный плодъ сильной души, содержаніе которой

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XIV.

сложилось самостоятельными душевными работами, и потому оно высказывается само собою, такъ что человѣкъ оригиналенъ, вовсе не желая быть оригинальнымъ. Оригинальничанье же, наоборотъ, есть плодъ пустѣйшаго тщеславія. Подражаніе можетъ быть инстинктивное, или симпатическое, и сознательное, когда человѣкъ подражаетъ съ большимъ или меньшимъ сознаниемъ достоинства того, кому онъ подражаетъ, или, наконецъ, изъ любви къ тому, кому подражаетъ. Чѣмъ болѣе осмысленно подражаніе, тѣмъ ближе оно къ переходу въ самостоятельную дѣятельность; изъ одного же подражанія самостоятельной дѣятельности не выйдетъ, и хорошее значеніе подражанія состоитъ лишь въ томъ, что оно даетъ матеріалъ для самостоятельной дѣятельности.

Въ склонности души къ привычкѣ и подражанію воспитаніе находитъ сильнѣйшее средство для воздѣйствія на воспитанника: вся сила примѣра основывается на нихъ. Но близоруко то воспитаніе, которое ограничивается только этими средствами, не содѣйствуя, а, можетъ быть, и мѣшая образованію самостоятельной дѣятельности, хотя бы, напр., тѣмъ, что поглощаетъ все время дитяти на дѣйствія подражательныя или привычныя, не оставляя ему ни времени, ни сферы для самостоятельной жизни.

Склонность къ развлеченіямъ.

Склонность къ развлеченіямъ есть собственно стремленіе души къ *пассивной* дѣятельности, — къ дѣятельности, не сопровождаемой трудностію труда. Это стремленіе болѣе или менѣе свойственно каждому человѣку; но тогда какъ у однихъ оно играетъ весьма незначительную роль, у другихъ оно составляетъ самую выдающуюся черту характера и опредѣляетъ все направленіе ихъ жизни. Чѣмъ сильнѣе внутренняя самостоятельная работа въ душѣ человѣка, тѣмъ менѣе онъ ищетъ развлеченій. Если же человѣка съ дѣтства все забавляли и развлекали; если этими забавами и развлечениями удаляли изъ души его томительное чувство скуки, а не самъ онъ побуждалъ его самостоятельнымъ, излюбленнымъ трудомъ; если, вслѣдствіе этой или какой-либо другой причины, въ душѣ его не завелось обширной, свободной и любимой работы, то онъ находитъ единственное средство удовлетворить своему душевному стремленію къ дѣятельности перемѣною впечатлѣній, которыя, равно какъ и ихъ разнообразіе, зависятъ не отъ самой души, а отъ внѣшняго для нея міра. Отсюда жадная склонность къ новостямъ, какъ сплетнямъ, къ развлечениямъ всякаго рода, къ перемѣнамъ мѣстъ и т. п., словомъ, къ перемѣнѣ впечатлѣній.

Любопытство свойственно душѣ человѣка: это невольное стремленіе ея къ той сферѣ, гдѣ она думаетъ найти для себя дѣятельность. Но любопытство можетъ выработаться въ *любопытность*, но можетъ и остаться

только любопытствомъ. «Любопытный отыскиваетъ рѣдкости, говоритъ Декартъ, только затѣмъ, чтобы имъ удивляться; любознательный же—затѣмъ, чтобы узнать ихъ и перестать удивляться»¹⁾. Но при этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что сама *любопытность* начинается *любопытствомъ*. Сначала человекъ только любопытенъ; но когда въ душѣ его завяжется самостоятельная работа, а вслѣдствіе того и самостоятельные интересы, то онъ перестаетъ уже быть любопытнымъ ко всему безразлично, но только къ тому, что можетъ быть въ какой-либо связи съ его душевными интересами. Если же человекъ и въ зрѣломъ возрастѣ остается жадно любопытнымъ ко всему безразлично, то это вѣрный признакъ душевной пустоты. Дѣти вообще любопытны, хотя и въ разной степени, что зависитъ уже отъ причинъ, изложенныхъ выше, и это, конечно, драгоценное качество ихъ души. Но воспитатель долженъ, съ одной стороны, воспользоваться любопытствомъ дѣтей, чтобы передѣлать его въ любознательность, а съ другой—не дать развиться пустому любопытству и спасной склонности—пассивною переменною впечатлѣній избѣгать необходимости самостоятельной душевной дѣятельности. Удовлетворять, *какъ слѣдуетъ*, любопытству дѣтей—одна изъ труднѣйшихъ и важнѣйшихъ задачъ воспитанія.

Склонность къ развлеченіямъ всякаго рода вообще—только видоизмѣненная форма того же безцѣльнаго и безразличнаго любопытства, обратившагося въ склонность или даже въ страсть. Когда потребность душевной дѣятельности съ дѣтства развита у человека только дѣятельностью пассивною, то понятно, что онъ жадно ищетъ этой пассивной дѣятельности въ переменнѣ впечатлѣній, въ отысканіи все новыхъ и новыхъ. Но такъ какъ эти новыя впечатлѣнія собственно ни на что не нужны такой душѣ, не имѣющей собственныхъ серьезныхъ интересовъ, такъ какъ она не можетъ привязать этихъ новыхъ впечатлѣній къ своей собственной работѣ, то она и стремится или поскорѣе переменить ихъ, или искусственно раздуть ихъ силу. Этимъ послѣднимъ стремленіемъ объясняется страсть, замѣчаемая у людей, ничѣмъ серьезно не занятыхъ, раздуть значеніе каждаго новаго явленія, превозносить до небесъ новый посредственный талантъ, о которомъ завтра же забудутъ, выискивать скандалы всякаго рода и раздуть ихъ значеніе, или даже и придумывать. Пустившись по этой дорогѣ, человекъ доходитъ до невѣроятныхъ сплетенъ, какъ дамы того города, гдѣ дебютировалъ Чичиковъ. Если эта страсть замѣчается въ цѣломъ обществѣ, то это вѣрный признакъ, что это общество пустое, скужающее, неимѣющее серьезной дѣятельности. Характеръ любимыхъ общественныхъ развлеченій и степень склонности къ нимъ общества могутъ

¹⁾ Descartes. Les passions, § 78.

служить лучшей руководною нитью для того, чтобы раскрыть душевное состояніе общества. Печально состояніе и тѣхъ людей, и тѣхъ обществъ, которые живутъ только пассивною дѣятельностью развлеченій и отъ нихъ однихъ ждуть наполненія своей душевной пустоты!

Склонность къ переменамъ мѣста имѣетъ тотъ же источникъ и тотъ же исходъ. У человѣка съ завязавшеюся душевною работою—это есть стремленіе расширить сферу своей душевной дѣятельности; въ человѣкѣ же безъ такой душевной работы—это только стремленіе выйти изъ одного мѣста, въ которомъ ему тяжело, и попробовать, не будетъ ли лучше въ другомъ. Но и въ другомъ оказывается та же тягость. Такой человѣкъ, хоть изѣзди онъ весь міръ, будетъ повсюду носить за собою свою мучительную душевную тоску, и этотъ дѣйствительный, а уже не мечтательный *hoggo vasui* будетъ гнать его изъ края въ край. Въ толпахъ путешественниковъ, скитающихся за границами своихъ отечествъ, безпрестанно попадаются такіа личности. Онѣ или отыскиваютъ диковинку за диковинкой, чтобы сдѣлать значительную мину передъ каждой (преимущественно англичане), или переѣзжаютъ съ мѣста на мѣсто, кажется, затѣмъ только, чтобы проклинать ихъ одно за другимъ (преимущественно русскіе). Люди эти бѣгаютъ отъ тоски, не замѣчая того, что возятъ ее съ собою въ пустотѣ души своей и въ своихъ полныхъ бумажникахъ. Для этихъ богатыхъ бѣдняковъ было бы великимъ счастьемъ, если бы они заѣхали, наконецъ, въ такую страну, гдѣ не было бы комфортабельныхъ отелей и ничего нельзя было бы достать за деньги, а все слѣдовало бы добыть личнымъ трудомъ: тогда бы только разстались они съ своею мучительною спутницею.

Кажущееся стремленіе къ лѣни.

Отъ дѣйствительнаго стремленія къ лѣни слѣдуетъ отличать кажущееся стремленіе къ ней. Человѣкъ очень можетъ выказать замѣчательную лѣнь къ какой-нибудь дѣятельности именно потому, что душа его поглощена уже другою дѣятельностью, сфера которой, сравнительно съ тою, которую теперь ей предлагаютъ, гораздо обширнѣе. Такъ, развитое дитя именно потому, что оно уже хорошо развито и что у него завязались сильныя душевныя работы, можетъ оказаться лѣнивымъ къ скучнымъ и узкимъ начаткамъ какой-нибудь новой для него науки. Этимъ объясняется, почему многіе гениальные люди и великіе писатели были лѣнтяями въ гимназіяхъ и университетахъ; но, конечно, это только кажущаяся лѣнь.

Стремленіе къ лѣни не должно также смѣшивать съ законнымъ стремленіемъ къ отдыху. Кантъ, перебравъ всѣ наслажденія и отвергнувъ ихъ всѣ, какъ заключающія въ себѣ противорѣчіе, останавливается на наслажденіи отдыха и называетъ его «высочайшимъ физическимъ благомъ че-

ловѣка» ¹⁾). Однакоже, благомъ назвать отдыхъ нельзя: благо въ самомъ трудѣ, а отдыхъ только законное, нормальное наслажденіе, вытекающее изъ этого блага. Отдыхъ дѣйствительно есть *физическое* наслажденіе, потому что душа уставать не можетъ; устаетъ же нервная система, насколько она принимаетъ участіе въ психической дѣятельности,—устаетъ потому, что силы ея истощаются, и она требуетъ ихъ возобновленія. Это истощеніе силъ нервной системы отражается въ душѣ чувствомъ усталости, такъ какъ душа употребляетъ все болѣе или болѣе усилій, чтобы извлекать запасныя силы изъ тѣла уже истощеннаго и направлять ихъ въ ту или другую область нервной дѣятельности. Нормальное возобновленіе нервныхъ силъ изъ пищевого запаса совершается, какъ мы это видѣли, только при остановкѣ дѣятельности тѣхъ нервовъ, силы которыхъ требуютъ возобновленія ²⁾). Вотъ почему, какъ бы ни были велики усилія души, время неизбѣжнаго отдыха, наконецъ, наступаетъ. Однакоже можетъ случиться и такъ, что слишкомъ раздраженные нервы сами начинаютъ поглощать силы изъ пищевого запаса, и тогда начинается невольная нервная дѣятельность, сопровождаемая соотвѣтствующими ей психическими явленіями. Понятно, что такая дѣятельность можетъ уже продолжаться до совершеннаго истощенія тѣла. О вредѣ такой рефлексивной невольной дѣятельности, вызываемой не душою, а мѣстнымъ раздраженіемъ нервной системы, мы уже говорили выше ³⁾).

Мы говорили также о томъ, что частное возобновленіе нервныхъ силъ можетъ совершаться и одною переменною дѣятельности. Это и есть самая обыкновенная форма отдыха. Переменная физическаго труда на психическій и психическаго на физическій есть самая нормальная переменна; но, къ сожалѣнію, общественныя условія современной жизни слишкомъ удалили человѣка отъ этого нормальнаго и здороваго возобновленія силъ. На долю однихъ остается одинъ физическій трудъ; на долю другихъ—одинъ психическій. Такое же исключительное занятіе тѣмъ или другимъ трудомъ хотя и возможно, но противно природѣ человѣка и, безъ сомнѣнія, оказываетъ свое дурное вліяніе какъ на его физическое, такъ и на его нравственное здоровье. Привычка, впрочемъ, можетъ сдѣлать многое въ этомъ отношеніи.

Но, какъ бы ни мѣнялъ человѣкъ свой трудъ, какъ бы ни разнообразилъ его, все же подъ конецъ появляется потребность полнаго отдыха, или сна. Значеніе сна въ экономіи человѣческихъ силъ далеко еще не объяснено физиологіею. Психическое же самонаблюденіе показываетъ только, что физическая потребность сна испытывается душою въ то время, когда

¹⁾ Kant's Anthropol. § 86.

²⁾ Пед. Антроп. ч. I, гл. V.

³⁾ См. о нервной системѣ въ Учебн. Физиологіи.

она чувствует затрудненіе управлять психо-физическими работами, давать произвольное направленіе мыслямъ, словамъ, тѣлеснымъ движеніямъ. Психически начало сна обнаруживается именно этимъ прекращеніемъ власти души надъ психо-физическими работами. Сначала это прекращеніе происходитъ перерывами, что мы называемъ дремотой. Душа то какъ бы схватываетъ кормило управленія, то какъ бы роняетъ его: въ головѣ мелькаютъ мысли чисто рефлексивныя, которыхъ человѣкъ не зналъ и не ждалъ; въ ряды словъ, произвольно составленныхъ, являются бессмысленныя слова, какъ бы подсунутыя рефлексами; въ движеніяхъ ясно выражается та же перерывчатость дѣйствія воли. Это невольно наводитъ на мысль, что сонъ, хотя короткій, неизбеженъ потому, что во время его возобновляются тѣ неизвѣстныя намъ центральныя органы нервной системы, посредствомъ которыхъ душа наша обнаруживаетъ свою волю въ организмѣ. Работа чувства и сознанія, какъ одного изъ чувствъ, еще возможна, и она дѣйствительно продолжается въ нашихъ грезахъ, но проявленія другой способности души, проявленія воли уже не возможны потому, что ткани того передаточнаго органа, черезъ который проявляется дѣйствіе воли на организмъ, уже окончательно истощены. Чувство и сознаніе, какъ одно изъ чувствъ, имѣютъ для себя много органовъ, и тогда какъ одни изъ нихъ устаютъ и прекращаютъ работу, другіе могутъ еще продолжать ее—и дѣйствительно продолжаютъ ее и въ грезахъ, и въ разсѣянности, и въ мечтахъ, столь близкихъ къ нашимъ грезамъ; но центральный мозговой органъ воли долженъ быть одинъ, такъ какъ и воля можетъ быть только одна ¹⁾. Вотъ почему, при истощеніи этого органа, сонъ наступаетъ неизбежно, ибо всѣ усилія души вызвать произвольное движеніе въ нервахъ оказываются безсильными. Вотъ почему произвольная дѣятельность, какъ умственная, такъ и тѣлесная, не могутъ идти далѣе положеннаго предѣла и требуютъ хотя мгновеннаго перерыва, мгновеннаго сна; но дѣятельность рефлексивная, сопровождаемая сознаніемъ, можетъ идти безъ перерыва чрезвычайно долго, не оставляя человѣка даже и во снѣ. Отсюда грезы, отсюда продолжительная бессонница, при которой человѣкъ не управляетъ болѣе ни своими мыслями, ни своими движеніями, а между тѣмъ не спитъ. Границу между сномъ и бодрствованіемъ именно потому и трудно положить, что грезы уже обнаруживаютъ бодрственное состояніе, продолженіе невольной дѣятельности сознанія; дѣятельность же эта можетъ быть болѣе или менѣе обширна. Отсюда возможность такого полусоннаго состоянія, что человѣкъ не можетъ опредѣлить, спитъ онъ или нѣтъ.

Но если дѣятельность есть такая существенная потребность души, то

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XI.

откуда же происходит то сладостное чувство, которое мы испытываемъ, отдаваясь частному отдыху, переминая дѣятельность или предаваясь дѣятельности невольной, какую представляетъ большая часть развлеченій, или отдаваясь, наконецъ, полному отдыху, т. е. сну? Эта сладость происходитъ прямо отъ уменьшенія тягости, которую все болѣе и болѣе испытывала душа въ произвольномъ передвиженіи органическихъ силъ и въ произвольной переработкѣ ихъ изъ силъ запасныхъ въ силы живыя: изъ формы скрытыхъ химическихъ въ форму открытыхъ механическихъ ¹⁾. Чисто душевное же наслажденіе опредѣляется здѣсь перспективой будущей дѣятельности, для которой необходимо это возобновленіе физическихъ силъ. Усталому человѣку сладко засыпать; но скажите ему, что онъ не проснется болѣе, и сладкое чувство обратится мгновенно въ самое ѣдкое. Кому не случилось, отдаваясь сладостному чувству засыпанія послѣ долгихъ трудовъ, наслаждаясь какимъ-то погруженіемъ въ море безсознательной природы, гдѣ идетъ вѣчно и безпрестанно обновленіе ея силъ, вдругъ вздрагивать и просыпаться? Это случается тогда, когда человѣкъ въ эту минуту подумаетъ о собственномъ своемъ положеніи: такъ несвойственно душѣ отдаваться въ лоно безсознательной природы!

Отдыхъ, безъ сомнѣнія, есть самое законное и самое нормальное наслажденіе человѣка. Однакоже, если человѣкъ, подмѣтивъ сладость отдыха, начнетъ гнаться именно за этою сладостью, то изъ этой гоньбы за наслажденіемъ отдыха, точно такъ же, какъ изъ гоньбы за всякимъ другимъ наслажденіемъ, можетъ образоваться извращеніе нашей природы, а именно—стремленіе къ лѣности. Отдыхъ—еще не покой; самый же покой лежитъ только въ трудѣ. Вотъ почему люди, работающіе всю жизнь для того, чтобы потомъ наслаждаться отдыхомъ, сильно ошибаются въ расчетѣ. Спросите у нихъ, когда они были счастливѣе: тогда ли, когда трудились, чтобы имѣть возможность наслаждаться отдыхомъ, или тогда, когда наконецъ стали наслаждаться имъ.

Г Л А В А ІІ.

З а к л ю ч е н і е.

Припомнивъ въ самыхъ общихъ чертахъ длинный путь, пройденный нами, мы найдемъ, что взглядъ нашъ на душевную дѣятельность значительно упростился и опредѣлился, хотя, конечно, вопросъ—*что такое душа?*—остался попрежнему неразрѣшеннымъ, и самое понятіе о душѣ

¹⁾ См. выше, ч. II, гл. XXXI.

попрежнему же осталось только равносильнымъ понятію матеріи, какъ его прямая и необходимая противоположность. Поверхностное сужденіе легко приводитъ или къ идеалистическому, или къ матеріалистическому взгляду на человѣка; но внимательное, безпристрастное наблюденіе самихъ психическихъ явленій вездѣ указываетъ на двойственность нашей природы, на два взаимодействующія начала.

Кромѣ того, мы можемъ уже теперь сказать съ увѣренностью, что не сознаніе составляетъ сущность души, а врожденное ей стремленіе къ дѣятельности, къ жизни, для котораго и самое сознаніе служитъ только однимъ изъ средствъ. Конечно, мы *знаемъ* только то, что доступно сознанію, ибо знаніе есть плодъ сравненія и различенія, т. е. дѣятельности сознанія. Но эта дѣятельность сознанія, обогативъ насъ познаніями какъ о дѣятельностяхъ нашей души, такъ и о явленіяхъ внѣшней для насъ физической природы, привела насъ къ необходимой гипотезѣ стремленій, которыя предшествуютъ самой дѣятельности сознанія.

Мы нашли, что душа прежде всего есть существо, стремящееся *жить*, тогда какъ организмъ есть только существо, стремящееся *быть*. Это органическое стремленіе къ бытію отражается въ душѣ множествомъ врожденныхъ намъ органическихъ стремленій, но не составляетъ сущности души и не абсолютно обязательно для души *человѣческой*, которая можетъ отвергнуть и подавить эти органическія стремленія, если они противорѣчатъ ея собственному стремленію къ жизни.

Тройственное дѣленіе психическихъ явленій можетъ быть для насъ теперь сокращено въ двойственное; а именно, вмѣсто *сознанія, чувствованія и воли*, мы можемъ признать только *чувство и волю*. Сознаніе есть теперь для насъ только одно изъ чувствъ, а именно—душевно-умственное чувство различія и сходства, посредствомъ котораго совершается весь умственный процессъ.

Мы нашли очевидное указаніе, что душа наша существуетъ и внѣ процесса сознанія,—существуетъ прежде, чѣмъ этотъ процессъ въ ней начинается, и въ тѣ промежутки времени, когда этотъ процессъ въ ней на время прекращается. Мы нашли, что сознаніе часто находитъ въ душѣ уже готовыя явленія, формировка которыхъ совершилась внѣ его; что оно ослабѣваетъ именно тогда, когда дѣйствуютъ другія чувства, или когда дѣйствуетъ воля. Но, тѣмъ не менѣе, сознаніе и теперь остается для насъ единственнымъ окномъ, черезъ которое мы можемъ заглянуть въ душевный міръ. Мы знаемъ только то, что различаемъ и сравниваемъ; но нѣтъ сомнѣнія, что само различаемое и сравниваемое существуетъ прежде того, чѣмъ мы его стали сравнивать и различать. Если бы душа человѣка, подобно душѣ животныхъ, могла обращать свое вниманіе только на явленія

внѣшняго міра, а не на собственную свою дѣятельность, то отъ этого мы не перестали бы страдать и наслаждаться, любить и ненавидѣть, бояться или сердиться; но только не различали бы всѣхъ этихъ различныхъ состояній нашей души и, слѣдовательно, ничего бы о нихъ не знали. Только сознание, направленное на внутренніе факты нашей жизни, даетъ намъ знаніе этихъ фактовъ, точно такъ же, какъ, направленное на факты внѣшняго для насъ міра—оно даетъ намъ всю систему нашихъ знаній объ этомъ мірѣ. Эти два ряда душевныхъ фактовъ безпрестанно соединяются между собою, и символомъ этого соединенія, какъ мы увидимъ далѣе, служитъ слово, или *рѣчь* человѣческая, которая прежде всего выражаетъ для насъ не внѣшній міръ, а чувствованія, возбуждаемыя въ насъ вліяніями внѣшняго міра. Если бы мы не могли сравнивать и различать нашихъ чувствованій, то не имѣли бы и дара слова, не имѣли бы и свободной воли, потому что бессознательно подчинялись бы этимъ чувствованіямъ, выражая ихъ въ нашихъ дѣйствіяхъ, какъ это дѣлается у животныхъ.

Душа, со своимъ кореннымъ стремленіемъ къ жизни, является уже не безразличною въ отношеніи вліяній на нее внѣшняго міра, какимъ является сознание, взятое въ отдѣльности. Для сознания все равно, что ни сознавать; для души же это не все равно. Все, что удовлетворяетъ ея стремленію къ жизни, дѣйствуетъ на нее иначе, чѣмъ то, что противорѣчитъ этому стремленію, мѣшаетъ ему, задерживаетъ его; и это-то отношеніе души къ міру мы должны признать первичными психическими актами, появляющимися еще тогда, когда душа ихъ не сознаетъ, т. е. не различаетъ отъ другихъ актовъ. Мы должны признать эти внѣсознательныя душевныя явленія не потому, чтобы знали о нихъ что-нибудь опредѣленное, но только потому, что сознание наше находитъ ихъ уже готовыми. Изъ этого уже видны возможныя границы психологіи: она можетъ признать *материаль* сознанія существующимъ прежде *акта* сознанія; но на этомъ признаніи она должна и остановиться. Всякая дальнѣйшая постройка была бы постройкою на гипотезѣ и, слѣдовательно, противорѣчила бы основному требованію науки, которая въ своихъ работахъ вездѣ начинается съ фактовъ и оканчиваетъ гипотезою, хотя въ догматическомъ изложеніи вынуждена часто начинать съ гипотезы.

Признавъ чувствованіе обнаруживаніемъ свойствъ души, мы должны признать и явленія воли такимъ же первоначальнымъ обнаруживаніемъ нашихъ душевныхъ свойствъ. Воля оказалась для насъ первичнымъ, неразлагаемымъ болѣе актомъ души, въ которомъ душа оказываетъ свою таинственную власть надъ тѣлеснымъ организмомъ. Объяснить этой власти мы не могли, но указали до очевидности ясно необходимость ея признанія. *Дѣятельная* душа оказалась въ многочисленныхъ анализахъ прямымъ антагонистомъ *инертной* матеріи, *самостоятельною* причиною

движеній, т. е. такую причину, дальнѣйшей причины которой мы не знаемъ. Въ систему міровыхъ движеній инертной матеріи, *ближайшую* причину которыхъ отыскиваютъ въ движеніяхъ солнечной массы, но дальнѣйшая причина которыхъ также неизвѣстна, входитъ душа, какъ особая самостоятельная причина движенія,—или останавливающая, или измѣняющая въ сферѣ своей дѣятельности міровыя движенія, сообщаемыя организму или какъ физическому тѣлу, или въ пищевомъ процессѣ.

Душа, со своимъ стремленіемъ—безпрестанно выходитъ изъ своего настоящаго положенія—оказалась для насъ прямымъ антагонистомъ матеріи, безпрестанно стремящейся пребывать въ своемъ настоящемъ положеніи, будетъ ли то состояніе покоя, или состояніе движенія. Какъ объяснить этотъ фактъ? Какъ примирить этотъ дуализмъ, котораго не хочетъ признавать человѣческій разумъ, стремящійся всегда къ единству? Этого мы не знаемъ и, отказываясь отъ всякихъ *мечтаній* монизма, останавливаемся на *фактѣ* дуализма, потому что положительная наука не имѣетъ ни правъ, ни обязанностей идти далѣе факта. Фактъ показываетъ намъ душу, какъ особый принципъ движеній въ сферѣ движеній міровыхъ, и для того, чтобы идти далѣе этого факта, мы не имѣемъ никакихъ данныхъ.

Со своимъ свойствомъ самостоятельной дѣятельности, противоположнымъ инерціи матеріи, душа сама не можетъ подчиняться движеніямъ, которыя могутъ быть объясняемы только съ помощью инерціи матеріи. Безъ инерціи, этого основного закона механики, мы не можемъ понять возможности движеній; а потому напрасны были бы всѣ попытки объяснить душевныя явленія механическими движеніями. Фактъ показываетъ намъ только, что душа мѣняетъ свои состоянія; но онъ не обнаруживаетъ въ ней никакихъ движеній, а, напротивъ, даетъ замѣтить нѣчто прямо противоположное движенію, и это понятно: какъ бы мы ни воображали себѣ неизвѣстную намъ первую причину міровыхъ движеній, но если это *первая* причина, то сама она не можетъ подчиняться движенію—иначе она не будетъ первою причиною. Какъ бы мы ни воображали себѣ первую причину движеній внѣшняго для насъ міра, но въ самихъ себѣ мы чувствуемъ присутствіе такой же первой причины и проявляемъ это чувство въ каждомъ нашемъ произвольномъ движеніи, на которое только рѣшаемся. Идти далѣе этого факта значитъ—фантазировать. Фантазіи эти могутъ увлечь насъ и въ идеализмъ, и въ матеріализмъ; но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ онѣ увлекутъ насъ въ міръ фантастическихъ построекъ, въ которомъ долго пребывали психологія и философія, и изъ котораго онѣ теперь только стремятся выйти.

Мы не можемъ назвать подробнымъ того анализа душевныхъ стремленій, чувствованій, желаній и склонностей, который мы сдѣлали; мы не

можемъ даже назвать его точнымъ и тщательнымъ, какимъ бы онъ долженъ быть, если бы каждому изъ анализируемыхъ нами явленій мы посвятили болѣе времени и труда. Поле, которое мы должны были обозрѣвать, было слишкомъ велико; а потому понятно, что мы многое обозрѣли только поверхностно. Но уже и изъ того, что мы узнали, для насъ довольно ясно высказалась *норма* душевной жизни.

Признавъ за основное и коренное стремленіе души ея стремленіе къ дѣятельности, безпрестанно расширяющейся, мы видѣли также, каковы должны быть работы души, чтобы это коренное стремленіе ея удовлетворялось, не уступая удовлетворенію стремленій частныхъ, существующихъ только при коренномъ и для него. Съ этимъ вмѣстѣ для насъ опредѣлилось понятіе *счастья* въ отличіе отъ понятія *наслажденія*. Мы нашли, что понятіе счастья вовсе не тождественно съ понятіемъ наслажденія, и что счастье для существа, стремящагося къ непрерывной и непрерывно расширяющейся дѣятельности, есть сама эта дѣятельность, непрерывная и непрерывно расширяющаяся. Страданія же и наслажденія оказываются при этомъ только побочными явленіями, усиливающимися тогда, когда дѣятельность ослабѣваетъ, и ослабѣвающими тогда, когда дѣятельность усиливается.

Большинство людей уклоняется болѣе или менѣе отъ этой прямой дороги счастья; весьма немногіе идутъ по ней прямо, а еще менѣе тѣхъ, кто сознаетъ прямизну этого пути. Вотъ почему мы нисколько не удивимся, если для многихъ такое опредѣленіе счастья покажется и невѣрнымъ, и тяжелымъ, и слишкомъ суровымъ. Такимъ критикамъ нашего мнѣнія мы можемъ подать только одинъ совѣтъ: пусть они глубже вдумаются въ то, что они сами называютъ для самихъ себя счастьемъ; пусть какъ можно живѣе, и съ перомъ въ рукахъ, вообразятъ они себя полными обладателями того счастья, къ которому стремятся—и мы нисколько не сомнѣваемся въ томъ, что они найдутъ, что въ концѣ концовъ они называютъ счастьемъ тоже не что иное, какъ душевную дѣятельность, безпрестанно расширяющуюся и расширенію которой они не видятъ предѣловъ. Чтобы помочь такому анализу, мы даемъ въ концѣ нашей книги, въ видѣ *приложенія*, нѣсколько примѣровъ различнаго рода пониманія счастья; но, безъ сомнѣнія, эти примѣры не исчерпываютъ всѣхъ разнообразнѣйшихъ представленій счастья; ибо у каждого человѣка свое представленіе о счастье именно потому, что у каждого своя жизнь и своя жизненная дѣятельность, а самая эта дѣятельность и есть счастье.

Изъ внимательныхъ психическихъ анализовъ мы вывели, что трудъ свободный, излюбленный, задушевный есть единственное доступное человѣку счастье, и что только на этомъ пути душа остается въ своемъ нормальномъ положеніи не извращаясь и не увлекаясь частностями. Насла-

жденіе и страданіе—цвѣты и тернія жизни, но не сама жизнь; жизнь же есть процессъ дѣятельности прогрессивной, свободной и вытекающей изъ самой души — дѣло, выполненіе котораго значить для насъ болѣе самой жизни, такъ что въ этомъ отношеніи психологія блистательно подтверждаетъ глубокія евангельскія слова, что, ища сберечь жизнь, мы ее губимъ, а тратя жизнь для дѣла, мы находимъ самую жизнь.

Глубоко мудръ совѣтъ Канта юношѣ: «люби трудъ и избѣгай удовольствій, не для того, чтобы отказаться отъ нихъ, но для того, чтобы сколько возможно имѣть ихъ всегда только въ перспективѣ»¹⁾. Эти слова вырвались какъ бы нечаянно изъ души человѣка, долго жившаго, упорно и зорко наблюдавшаго, какъ онъ жилъ самъ и какъ жили его окружающіе. Но Кантъ не имѣлъ передъ собою той обработки психическихъ фактовъ, которая даетъ намъ теперь возможность такъ видоизмѣнить тотъ же самый совѣтъ: «поймите неизбѣжный психическій законъ труда и жизни и, если хотите жить сообразно съ законами души, если не хотите страдать отъ ихъ нарушенія, то имѣйте серьезную цѣль въ жизни, которой бы вы могли достигать свободнымъ трудомъ; если же вы удачно выберете трудъ и вложите въ него всю свою душу, то счастье само васъ отыщетъ». Изъ того же глубокаго чувства соотношенія между трудомъ, жизнью и счастьемъ вырвались и тѣ задушевныя слова Канта, когда этотъ упорный мыслитель, стоя уже у предѣла своей долгой и дѣятельной жизни, говоритъ: «Чѣмъ болѣе мы думали, чѣмъ болѣе дѣйствовали, тѣмъ болѣе жили. Самое же вѣрное средство утишать всѣ бѣдствія заключается въ мысли, которой можно ожидать отъ всякаго благоразумнаго человѣка—въ мысли, что жизнь вообще, относительно сопровождающихъ ее удовольствій, зависящихъ отъ обстоятельствъ, не имѣетъ никакой цѣны, и что вся стоимость жизни измѣряется тѣмъ употребленіемъ, которое мы изъ нея дѣлаемъ, и тѣмъ дѣломъ, которое мы себѣ предлагаемъ»²⁾.

Но неужели трудъ, вѣчный трудъ—есть высшая и послѣдняя задача жизни? Когда же человѣкъ *успокоится*, наконецъ, отъ этого вѣчнаго труда? Отчего же душа человѣческая жаждетъ *покоя*? Но въ самомъ ли дѣлѣ она его жаждетъ? То, что называется покоемъ для инертной матеріи, оказывается вовсе не покоемъ для души человѣческой, которая именно при отсутствіи дѣятельности лишается покоя. Это смѣшеніе понятія *покоя физическаго* и *покоя душевнаго* вводило часто въ заблужденіе даже замѣчательныхъ мыслителей. Такъ, блаженный Августинъ, говоря, что въ языческомъ Римѣ были, между прочимъ, и храмы богини *дѣятельности*, бо-

¹⁾ Kant's Autrop. § 59.

²⁾ Ibid. § 60.

гини возбужденія, лѣни, рѣшимости, замѣчаетъ, что храмъ *богу покоя* былъ за воротами Рима. «Не потому ли, говоритъ Августинъ, римляне поставили этотъ храмъ за воротами города, что были врагами покоя, или не потому ли, что поклонники этого стада боговъ не могутъ наслаждаться тѣмъ покоемъ, къ которому призываетъ насъ истинный Врачъ, говоря: «научитесь отъ Мене, яко кротокъ есть и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ» (Еванг. отъ Матѳея, XI, 20) ¹⁾. Ноне трудно убѣдиться, что покой, къ которому Христосъ призывалъ своихъ послѣдователей, вовсе не значитъ бездѣятельность. Прийти къ Христу и научиться отъ Него—не значило ли принять на себя дѣятельность самую энергическую, дѣятельность и душевную, и тѣлесную, пренебрегающую не только наслажденіями, но и величайшими страданіями, не только удовольствіями жизни, но и самою жизнью? Слѣдовательно, это *какой-то безгранично дѣятельный покой*—*невозможность въ мірѣ физическомъ и величайшая истина въ мірѣ психическомъ*, возможность которой мы всѣ понимаемъ и потребность которой всѣ мы чувствуемъ. Научиться покою у Христа—не значитъ ли научиться тому, какъ спокойна душа, вся отдавшаяся своему дѣлу, до того отдавшаяся, что она уже не замѣчаетъ наслажденій, не возмущается страданіями и, не думая о личномъ своемъ отношеніи къ дѣлу, не ощущаетъ и никакой гордости имъ, когда вся душа одна кротость, смиреніе и самое дѣло, когда вся она—одно могучее *творческое* слово: «да будетъ!»

Идея счастья, какъ мира, и идея покоя, какъ дѣятельности, къ которой увлекается душа любовью, высказалась въ первый разъ въ христіанствѣ, и высказалась притомъ болѣе на практикѣ, чѣмъ въ теоріи, въ которой, напротивъ, она часто искажалась. Мы беремъ здѣсь эту христіанскую идею, конечно, только въ ея формѣ, независимо отъ того спеціальнаго догматическаго содержанія, которое было вложено въ нее христіанскимъ ученіемъ; но, тѣмъ не менѣе, мы не можемъ не назвать этой чисто психологической идеи, выведенной изъ глубокаго пониманія души человѣческой и ея законовъ, не можемъ не назвать христіанскою; иначе мы были бы пристрастны и несправедливы. Такого глубокаго пониманія души и ея коренного свойства мы не встрѣчаемъ нигдѣ: ни въ философско-религіозныхъ системахъ Востока, ни въ философскихъ системахъ классическаго, до-христіанскаго Запада. Какое же право имѣемъ мы не назвать эту идею христіанскою? Для магометанина счастье представляется непрерывною цѣпью наслажденій; для поклонника Браммы—однимъ какимъ-нибудь наслажденіемъ, тянущимся милліоны и милліоны лѣтъ; для послѣдователя Будды—совершеннымъ бездѣйствіемъ, полнѣйшимъ физическимъ покоемъ въ лонѣ Будды; для

¹⁾ La Cité de Dieu, de Saint Augustin (par Saisset), Ch. IV, p. 16.

классическаго философа—или цѣлью умѣренныхъ, умно разсчитанныхъ наслажденій всякаго рода, или самонаслаженіемъ мудреца своею мудростью.

Это упоминаніе различныхъ религіозныхъ системъ въ такой *фактической* наукѣ, какою мы признаемъ психологію, можетъ дать поводъ къ недоразумѣнію, которое мы хотимъ предупредить, такъ какъ въ третьемъ томѣ намъ еще чаще придется встрѣчаться съ религіозными міросозерцаніями. Нужно ли доказывать, что всякая фактическая наука,—а другой науки мы не знаемъ,—стоитъ внѣ всякой религіи, ибо опирается на факты, а не на вѣрованія, на извѣстности, а не на вѣроятности, на опредѣленныхъ знаніяхъ, а не на неопредѣленныхъ чувствованіяхъ? Нужно ли доказывать, что наука, которая бы опиралась, какъ на доказательства, уже не требующія доказательствъ, на слова Корана или законовъ Ману, точно такъ же невозможна, какъ и такая наука, которая указывала бы свой *ultimus argumentum* въ Аристотелѣ или Платонѣ? Но изъ этого никакъ не выходитъ, чтобы науки психологическія, науки, имѣющія своимъ предметомъ жизнь души человѣческой, къ которымъ мы причисляемъ и всю обширную систему историческихъ наукъ, могли какъ бы не знать о существованіи религіозныхъ системъ. Можетъ ли исторія быть сколько-нибудь исторіей, не излагающей исторіи религій? Она въ такомъ случаѣ опустила бы громадную и самую важную нить событій и добровольно отказалась бы отъ объясненія происхожденія безчисленныхъ фактовъ жизни человѣчества.

Психологія, въ собственномъ смыслѣ этого слова, находится еще болѣе, чѣмъ исторія, въ тѣсномъ отношеніи къ религіознымъ системамъ. Она *не можетъ* не видѣть въ нихъ не только выраженій души человѣческой, но даже такихъ выраженій, въ которыхъ необходимо должна скрываться какая-нибудь психологическая истина, потому что иначе самое распространеніе той или другой религіозной системы было бы фактомъ необъяснимымъ. Если шаманство, фетишизмъ, брамаизмъ, буддизмъ, магометанизмъ находили себѣ миллионы поклонниковъ, то безъ сомнѣнія потому, что удовлетворяли той или другой потребности души человѣка. Вотъ почему мы думаемъ, что тотъ оказалъ бы величайшую услугу наукѣ, кто изучилъ бы всѣ извѣстныя религіозныя системы спеціально съ психологическою цѣлью, чтобы узнать, какою душевною потребностью можетъ быть объяснено распространеніе каждой изъ нихъ. Тогда бы для насъ уяснились и самыя потребности души человѣка, которыя, безъ сомнѣнія, въ сущности своей, несмотря на всѣ видоизмѣненія, всегда и вездѣ однѣ и тѣ же. Мы удивляемся суетвѣріямъ шаманства; но, можетъ быть, изучивъ ихъ ближе, мы нашли бы, что корень ихъ не чуждъ и нашей душѣ.

Кромѣ этого отношенія психологіи къ религіознымъ системамъ, есть еще и другое. Всѣ религіозныя системы не только возникали изъ потребно-

стей души человеческой, но и были, въ свою очередь, своеобразными курсами психологіи; въ нихъ-то формировался болѣе всего взглядъ человѣка на міръ душевныхъ явленій, такъ что безъ помощи религіозныхъ системъ мы не можемъ объяснить себѣ общечеловѣческой психологіи, ея истинъ и ея заблужденій. Выходя изъ психическихъ потребностей, религія, въ свою очередь, распространяла то или другое психологическое воззрѣніе, и распространяла, конечно, обширнѣе и удачнѣе, чѣмъ можетъ распространяться какая бы то ни было кабинетная психологическая теорія. Великія психологическія истины, скрывающіяся въ Евангеліи, распространялись вмѣстѣ съ евангельскимъ ученіемъ, и этимъ только *фактическая наука* можетъ объяснить то умягчающее, гуманизирующее вліяніе евангельскаго ученія, которое оно вносило съ собою повсюду. Какая книга въ мірѣ представляетъ болѣе глубокую психологію, болѣе вѣрное знаніе людей, и какая книга въ мірѣ болѣе читалась, слушалась, обдумывалась? Если же евангельская психологія, болѣе или менѣе глубоко понятая, сдѣлалась общимъ достояніемъ всего христіанскаго міра, т. е. всего образованнаго европейскаго міра, то какимъ же образомъ психологъ можетъ не знать этой психологіи, можетъ обойти ее, ограничивъ свои познанія теоріями Гербарта, Бенеке или какого-нибудь другого кабинетнаго ученаго?

Идея счастья, какъ покоя, и идея покоя, какъ излюбленной свободной дѣятельности, принадлежитъ, по нашему мнѣнію, къ самымъ глубокимъ и вліятельнымъ идеямъ христіанской психологіи. Но эта идея такъ обширна и такъ противорѣчитъ ежеминутнымъ увлеченіямъ человѣка другими побочными и подчиненными стремленіями и его мимолетными отношеніями къ мимолетнымъ явленіямъ жизни, что неудивительно, если идея эта постоянно обходилась, съ одной стороны, теологами, а съ другой—философами. Теологи, по большей части, рисуютъ счастье то въ той, то въ другой формѣ духовныхъ наслажденій, но во всякомъ случаѣ въ формѣ, противорѣчащей коренному требованію души, требованію свободной и самостоятельной дѣятельности. Философы же указываютъ счастье то въ мудрости, то въ умѣренности, то въ достоинствѣ, то въ свободѣ, то въ собраніи наслажденій всякаго рода. Высказываясь въ практической жизни христіанской Европы, въ жизни ея народовъ, и съ особенною яркостью въ жизни лучшихъ представителей ея цивилизаціи, эта идея какъ-то не сознавалась психологическими теоріями, и не сознавалась именно потому, что эти теоріи подводятъ факты подъ систему, а не выводятъ системы изъ фактовъ.

Однакоже, принявъ, что свободная, излюбленная дѣятельность одна способна удовлетворить требованію души человеческой и дать ей тотъ міръ, котораго она такъ жадно ищетъ, мы не знаемъ еще самаго содержанія этой дѣятельности. Анализируя психическія явленія, мы нашли въ основѣ ихъ

стремленія; а анализируя самое проявленіе стремленій и ихъ взаимное отношеніе мы нашли самое коренное изъ нихъ, вокругъ котораго группируются всѣ остальные. Но, чтобы узнать *какова* та дѣятельность, къ которой стремится душа *человѣческая*, мы, конечно, должны изучить прежде особенности этой души, чѣмъ мы и займемся въ третьемъ томѣ нашей «Антропологии».

К О Н Е Ц Ъ.

П Р И Л О Ж Е Н І Е.

Т Р У Д Ъ

ВЪ ЕГО ПСИХИЧЕСКОМЪ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМЪ ЗНАЧЕНІИ ¹⁾).

Политико-экономическое значеніе труда вполнѣ уяснено наукою, и труду давно уже отведено почетное мѣсто между природою и капиталомъ. Къ этому значенію труда, кидающемуся въ глаза повсюду, куда только ни поглядишь, мы не можемъ ничего прибавить. Намъ кажется только, что и въ экономическомъ отношеніи трудъ долженъ быть поставленъ во главѣ двухъ другихъ содѣятелей человѣческаго богатства—природы и капитала, а не рядомъ съ ними; ибо безъ труда природныя богатства и обиліе капиталовъ оказываютъ гибельное вліяніе не только на нравственное и умственное развитіе людей, но даже и на ихъ матеріальное благосостояніе.

Природное богатство острововъ Индѣйскаго архипелага оставило человека нагимъ, дикимъ и безсильнымъ, драгоценности обѣихъ Индій, несмотря на все богатство природныхъ качествъ испанца, убили могучіе зародыши испанской цивилизаціи; голландскіе же рыбаки, загнанные на пустынную отмель, отняли себѣ землю у морскихъ волнъ и положили начало европейскимъ капиталамъ.

Въ настоящее время мы видимъ еще болѣе поразительный примѣръ значенія труда въ жизни народовъ. Сравните Сѣверные и Южные штаты Сѣверной Америки за сто лѣтъ тому назадъ и въ настоящее время. Природа, капиталы, образованность населенія—все было на сторонѣ Южныхъ штатовъ еще незадолго до войны за независимость; одинъ упорный, можно даже

¹⁾ Статья эта была помѣщена мною въ «Журналъ Мин. Народн. Просв.» 1860 г., въ № 7. Я позволю себѣ перепечатать часть ея здѣсь, потому что въ ней собрано довольно много примѣровъ тѣхъ жизненныхъ явленій, которыя укоренили во мнѣ главную руководящую идею моего теперешняго труда. Въ «Антропологіи» изложены психическія причины тѣхъ явленій, которыя въ этой статьѣ только описаны.

сказать, страстный трудъ англійскихъ изгнанниковъ составлялъ преимущество сѣверныхъ колоній. Привозъ негровъ освободилъ жителя Южныхъ штатовъ и отъ послѣдней необходимости *личнаго* труда—и какіе результаты! Въ крошечномъ Родъ-Айландѣ сумма образованія вдвое болѣе, чѣмъ во всѣхъ невольничьихъ штатахъ, взятыхъ вмѣстѣ! Самое существованіе южнаго плантатора основано на нарушеніи коренного закона христіанства, и всякій новый шагъ цивилизаціи неудержимо приближаетъ его къ гибели. Онъ долженъ сдѣлаться защитникомъ торга людьми, безнравственности, дикости, невѣжества, бѣдности и одолѣть въ этой *нечеловѣческой* борьбѣ—или приняться вновь строить свою жизнь ¹⁾). Какое страшное, отвратительное положеніе! Вотъ къ чему привели жителей Южныхъ штатовъ ихъ богатая природа, большіе ненажитые личнымъ трудомъ капиталы и полуобразованность, пренебрегшая трудомъ.

Но ясно, что въ этихъ примѣрахъ отсутствіе личнаго труда дѣйствовало не тѣмъ, что уменьшало количество производимыхъ цѣнностей: открой Испанія рудники Калифорніи и Австраліи,—это только уронило бы ее еще глубже. Американскіе плантаторы еще богаты, и защитники невольничества еще очень сильны ²⁾; но образованіе, нравственность, та жизненная энергія, которая горитъ въ грубомъ жилищѣ западнаго фермера, покинула уже навсегда роскошныя плантаціи Южныхъ штатовъ, воздѣлываемыя руками негровъ. Еще недавно рыцарскіе нравы жителей Виргиніи обращали на себя вниманіе путешественниковъ; теперь они исчезли и замѣнились замѣчательною грубостью: соотечественникъ Вашингтона, вмѣсто слова, подымаетъ палку въ сенатѣ, хватается за подкупъ или ножъ тамъ, гдѣ нельзя доказать своего права. Къ такимъ дикимъ, варварскимъ поступкамъ приводитъ южнаго плантатора необходимость доказать право торговать людьми ³⁾).

Но еще болѣе рѣзкій примѣръ того, что свободный трудъ нуженъ человѣку самъ по себѣ, для развитія и поддержанія въ немъ чувства чело­вѣческаго достоинства, представляетъ намъ римская исторія.

Припомните характеръ римскаго гражданина въ тотъ періодъ, когда онъ изъ-за сохи переходилъ къ занятіямъ консула и диктатора, и сравните его съ характеромъ римскаго обжоры временъ Домиціана, когда цѣлый міръ

¹⁾ Статья эта писана до начала послѣдней борьбы между Южными и Сѣверными штатами. Мы тогда и не предполагали, чтобы эта *нечеловѣческая* борьба, не имѣвшая себѣ примѣра какъ по своей громадности, такъ и по своей ожесточенности, была такъ близка; но мы были убѣждены, что она будетъ.

²⁾ Сила защитниковъ невольничества, обнаружившаяся въ послѣдней войнѣ, превзошла даже всякія ожиданія.

³⁾ Этотъ намекъ относится къ одному событію въ Вашингтонскомъ сенатѣ; къ чему же прибѣгали южные плантаторы во время послѣдней войны—это, вѣроятно, извѣстно всѣмъ.

присылалъ въ вѣчный городъ изысканнѣйшія произведенія самыхъ отдаленныхъ странъ, и когда всякое занятіе считалось предосудительнымъ не только для римскаго вельможи, но и для оборванца римской черни; когда тысячи рабовъ не только избавляли римлянина отъ необходимости что-нибудь дѣлать, но даже что-нибудь думать, а толпы германскихъ наемниковъ снимали съ него обязанности самому защищать свое отечество. Нечего говорить уже о нравственномъ достоинствѣ римлянъ въ этомъ періодѣ: картины, набросанныя Тацитомъ, кажутся невѣроятными. Рабы, избавивъ римлянина отъ необходимости трудиться, сдѣлали его самого такимъ добровольнымъ рабомъ, какихъ ни послѣ, ни прежде не представляла исторія. Но этого мало: въ который изъ этихъ періодовъ былъ счастливѣе римлянинъ? Тогда ли, когда онъ самъ пахалъ землю, а жена его ткала ему одежду, или когда онъ въ одинъ обѣдъ пожиралъ головные доходы азіатскихъ царствъ, когда онъ безъ помощи другихъ даже не ѣлъ, не ходилъ и не думалъ? Изумительное, непостижимое для насъ равнодушіе къ жизни проглядываетъ, подобно какому-нибудь адскому страшилищу, въ безчисленныхъ картинахъ самоубійства, изображаемыхъ Тацитомъ. Вся жизнь Рима послѣднихъ вѣковъ представляется одною мрачною оргіей, въ которой столько же несчастія и душевныхъ неизлѣчимыхъ страданій, сколько разврата, рабства, ненажитаго личнымъ трудомъ богатства и роскоши, не приносящей счастья. Можно выставить даже такую мысль: насколько Римъ былъ богаче, настолько онъ былъ развратнѣе и несчастнѣе.

Но не показываетъ ли намъ и современное положеніе общества, что увеличеніе массы богатства не ведетъ еще за собою увеличенія массы счастья? Не видимъ ли мы, напротивъ, на каждомъ шагу, что вліяніе богатства прямо дѣйствуетъ разрушительно не только на нравственность, но даже и на счастье общества, *если общество своимъ нравственнымъ и умственнымъ развитіемъ не приготовлено еще выдержать натиска приливающего богатства?*

Дурную услугу оказалъ бы государству тотъ, кто нашелъ бы средство отпускать ему ежедневно всю ту сумму денегъ, какая необходима его гражданамъ, отпускать для покупки за границею всего, что нужно для самой роскошной жизни.

Если-бы люди открыли философскій камень, то бѣда была бы еще не велика: золото перестало бы быть монетою. Но если-бы они нашли сказочный мѣшокъ, изъ котораго выскакиваетъ все, что душа пожелаетъ, или изобрѣли машину, вполне замѣняющую всякій трудъ человѣка, то самое развитіе человѣчества остановилось бы: развратъ и дикость завладѣли бы обществомъ.

Переходя отъ государствъ къ отдѣльнымъ сословіямъ, слѣдя за возникновеніемъ и паденіемъ ихъ, мы видимъ то же самое: какъ только необходимость труда—будетъ ли то наука, торговля, государственная служба, военная или гражданская — покидаетъ какое-нибудь сословіе, такъ оно и начинаетъ быстро терять силу, нравственность, а, наконецъ, и самое вліяніе; начинаетъ быстро вырождаться и уступаетъ свое мѣсто другому, въ среду котораго переходитъ вмѣстѣ съ трудомъ и энергія, и нравственность, и счастье.

Примѣры частной жизни представляютъ намъ то же самое: кто жилъ и наблюдалъ достаточно, чтобы имѣть возможность припомнить нѣсколько благосостояній, созданныхъ и разрушенныхъ на его памяти, тотъ, вѣроятно, не разъ задумывался надъ однимъ страннымъ, періодически-повторяющимся явленіемъ. Отецъ, человѣкъ, проложившій самъ себѣ дорогу, трудится, бьется изъ всѣхъ силъ, чтобы избавить своихъ дѣтей отъ необходимости трудиться, и, наконецъ, оставляетъ имъ обезпеченное состояніе. Что же приноситъ это состояніе дѣтямъ? Оно весьма часто не только бываетъ причиною безнравственности въ дѣтяхъ, не только губитъ ихъ умственные способности и физическія силы, но даже дѣлаетъ ихъ положительно несчастными: такъ что, если сравнить жизнь отца, тяжкимъ, упорнымъ трудомъ нажившаго состояніе, и жизнь дѣтей, проживающихъ его безъ всякаго труда, то мы увидимъ, что отецъ былъ несравненно счастливѣе дѣтей. А между тѣмъ бѣднякъ трудился цѣлую жизнь, чтобы дѣтямъ его не нужно было трудиться, бился цѣлую жизнь, чтобы разрушить ихъ нравственность, сократить ихъ существованіе и сдѣлать для нихъ счастье невозможнымъ! О дѣльномъ воспитаніи онъ не заботился: къ чему оно?—были бы деньги! Пусть-де воспитывается тотъ, у кого ихъ нѣтъ. И не подумалъ онъ, что трудъ, а за нимъ счастье сами сыщутъ бѣдняка; а богачъ долженъ еще умѣть отыскать ихъ.

Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ мы видимъ, что трудъ, исходя отъ человѣка на природу, дѣйствуетъ обратно на человѣка не однимъ удовлетвореніемъ его потребностей и расширеніемъ ихъ круга, но собственною своею, внутреннею, ему одному присущею силою, независимо отъ тѣхъ матеріальныхъ цѣнностей, которыя онъ доставляетъ ¹⁾. *Матеріальные плоды трудовъ составляютъ человѣческое достояніе; но только внутренняя, духовная, животворная сила труда служитъ источникомъ человѣческаго достоинства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и нравственности, и счастья.* Это животворное вліяніе имѣетъ личный трудъ только на того, кто трудится. Матеріальные плоды трудовъ можно отнять, наслѣдо-

¹⁾ Эта внутренняя психическая сила труда объяснена нами въ «Антропологіи».

взять, купить; но внутренней, духовной, животворящей силы труда нельзя ни отнять, ни наследовать, ни купить за все золото Калифорніи: она остается у того, кто трудится. Недостатокъ-то этой незримой цѣнности, производимой трудомъ, а не недостатокъ бархата, шелку, хлѣба, машинъ, вина погубилъ Римъ, Испанію, Южные штаты С. Америки, вырождаетъ сословія, лишаетъ нравственности и счастья многія тысячи людей.

Такое значеніе труда коренится въ его психической основѣ; но прежде чѣмъ выразить психологическій законъ труда, мы должны еще сказать, что разумѣемъ подъ словомъ трудъ, потому что значеніе этого слова извратилось услужливыми толкованіями свѣта, облакающаго этимъ серьезнымъ, честнымъ и почетнымъ именемъ иногда вовсе не свѣтлыя, не серьезные, не честныя и не почетныя дѣйствія.

Трудъ, какъ мы его понимаемъ, есть такая свободная и согласная съ христіанскою нравственностью дѣятельность человека, на которую онъ рѣшается, по безусловной необходимости ея, для достиженія той или другой истинно-человѣческой цѣли въ жизни¹⁾.

«Всякое опредѣленіе опасно», говорили римляне, и мы не признаемъ нашего неуклюжаго опредѣленія неуязвимымъ; но намъ хотѣлось отличить въ немъ разумный трудъ взрослого человѣка, съ одной стороны, отъ работы животныхъ и работы негровъ изъ-подъ палки; а съ другой—отъ забавъ малыхъ и взрослыхъ дѣтей. Машина и животное работаютъ; работаетъ и негръ, боящійся только плети надсмотрщика и не ожидающій для себя никакой пользы изъ своей работы: несвободный трудъ не только не возвышаетъ нравственно человѣка, но низводитъ его на степень животнаго. Трудъ только и можетъ быть свободнымъ, если человѣкъ самъ принимается за него по сознанію его необходимости; трудъ же вынужденный на пользу другому разрушаетъ человѣческую личность того, кто трудится или, вѣрнѣе сказать, работаетъ. Не трудится и капиталистъ, придумывающій только, какъ бы прожить доходъ съ своего капитала. Купецъ, надувающій покупателя, чиновникъ, набивающій карманъ чужими деньгами, шуллеръ, въ потѣ лица поддѣлывающій карты,—плутуютъ. Богачъ, сбивающійся съ ногъ, чтобы задать балъ на удивленіе, пересѣсть своего пріятеля, стащить соблазняющую его бирюльку—играетъ, но не трудится, и его дѣятельность, какъ бы она тяжела для него ни была, нельзя назвать трудомъ, точно такъ же, какъ и игру дѣтей въ куклы, въ бирюльки, въ солдатки. Скряга, работающій изо всѣхъ силъ, чтобы набить свой сундукъ блестящими кружочками—безумствуетъ, но также не трудится. Есть и такіе господа,

¹⁾ Понятно само собою, что мы въ отдѣльной статьѣ не могли выразить самой психической основы этого явленія.

которые, не имѣя уже рѣшительно никакого дѣла въ жизни, придумываютъ себѣ занятіе ради душевнаго и тѣлеснаго моціона: точать, играютъ въ билліардъ или просто бѣгають по улицамъ, чтобы поглотить пышный завтракъ и возвратить аппетитъ къ обѣду; но такой трудъ имѣетъ то же значеніе, какое имѣло рвотное за столомъ римскаго обжоры: возбуждая обманчивую охоту къ новымъ наслажденіямъ, оно помогаетъ разстраивать душевный и тѣлесный организмъ человѣка. Трудъ— не игра и не забава; онъ всегда серьезень и тяжелъ; только полное сознаніе необходимости достичь той или другой цѣли въ жизни можетъ заставить человѣка взять на себя ту тяжесть, которая составляетъ необходимую принадлежность всякаго истиннаго труда.

Трудъ истинный и непремѣнно свободный, потому что другого труда нѣтъ и быть не можетъ, имѣетъ такое значеніе для жизни человѣка, что безъ него она теряетъ всю свою цѣну и все свое достоинство. Онъ составляетъ необходимое условіе не только для развитія человѣка, но даже и для поддержки въ немъ той степени достоинства, которой онъ уже достигъ. *Безъ личнаго труда человекъ не можетъ идти впередъ, не можетъ оставаться на одномъ мѣстѣ, но долженъ идти назадъ.* Тѣло, сердце и умъ человѣка требуютъ труда, и это требованіе такъ настоятельно, что если, почему бы то ни было, у человѣка не окажется своего личнаго труда въ жизни, тогда онъ теряетъ настоящую дорогу и передъ нимъ открываются двѣ другія, обѣ одинаково гибельныя: дорога неутолимаго недовольства жизнью, мрачной апатіи и бездонной скуки, или дорога добровольнаго, незамѣтнаго самоуничтоженія, по которой человѣкъ быстро спускается до дѣтскихъ прихотей или скотскихъ наслажденій. На той и на другой дорогѣ смерть овладѣваетъ человѣкомъ заживо, потому что трудъ, личный, свободный трудъ—и есть жизнь.

Что физическій трудъ необходимъ для развитія и поддержанія въ тѣлѣ человѣка физическихъ силъ, здоровья и физическихъ способностей, этого доказывать нѣтъ надобности. Но необходимость умственнаго труда для развитія силъ и здороваго, нормальнаго состоянія человѣческаго тѣла не всеми сознается ясно. Многіе, напротивъ, думаютъ, что умственный трудъ вредно дѣйствуетъ на организмъ,—что совершенно несправедливо. Конечно, чрезмерный умственный трудъ вреденъ; но и чрезмерный физическій трудъ также разрушительно дѣйствуетъ на организмъ. Однакоже можно доказать множествомъ примѣровъ, что бездѣйствіе душевныхъ способностей и при физическомъ трудѣ оказываетъ вредное вліяніе на тѣло человѣка. Это неоднократно было замѣчено на тѣхъ фабрикахъ, на которыхъ работники являются дополненіями машины, такъ что занятіе ихъ не требуетъ почти никакого усилія мысли. Да это и не можетъ быть иначе, потому что тѣлесный организмъ человѣка приспособленъ не только для тѣлесной, но и для ду-

ховной жизни. Всякій же умственный трудъ, наоборотъ, приводя въ дѣйствіе нервную систему, дѣйствуетъ благотворно на обращеніе крови и на пищевареніе. Люди, привыкшіе къ трудовой кабинетной жизни, чувствуютъ возбужденіе аппетита скорѣе послѣ умѣреннаго умственнаго труда, чѣмъ послѣ прогулки. Конечно умственный трудъ не можетъ развить мускуловъ, но дѣятельность и особенная живость нервной системы замѣняетъ этотъ недостатокъ ¹⁾. И если умственная дѣятельность не избавляетъ совершенно отъ необходимости движенія, то значительно уменьшаетъ эту необходимость. Человѣкъ безъ умственныхъ занятій гораздо сильнѣе чувствуетъ вредъ сидячей жизни. Это въ особенности замѣтно на тѣхъ ремесленникахъ, ремесла которыхъ, не требуя значительныхъ физическихъ усилій, требуютъ сидячей жизни и весьма мало умственной дѣятельности. Смотри на блѣдныя, восковыя лица портныхъ, невольно желаешь всеобщаго введенія швейной машины.

Сильное развитіе нервной системы умственнымъ трудомъ даетъ необыкновенную живучесть тѣлу человѣка. Между учеными въ особенности встрѣчается много людей, доживающихъ до глубокой старости, и люди, привыкшіе къ умственнымъ трудамъ, выносятъ перемѣну климатовъ, дурной воздухъ, недостатокъ пищи, отсутствіе движенія не хуже, а часто и лучше людей, у которыхъ сильно развиты мускулы, но слабо и вяло дѣйствуютъ нервы. Причины этого надобно искать въ томъ важномъ значеніи, которое имѣетъ нервная система въ жизни остальныхъ системъ человеческого организма, и въ томъ участіи, которое принимаетъ она во всѣхъ его отправленіяхъ.

Конечно, всего полезнѣе было бы для здоровья человѣка, если бы физической и умственный трудъ соединялись въ его дѣятельности; но полное равновѣсіе между ними едва ли необходимо. Человѣческая природа такъ гибка, что способна къ величайшему разнообразію образа жизни. Самый сильный перевѣсъ труда умственнаго надъ физическимъ, и обратно, скоро переходитъ въ привычку и не вредитъ организму человѣка; только совершенныя крайности въ этомъ отношеніи являются губельными.

Но если для тѣла необходимъ личный трудъ, то для души онъ еще необходимѣе.

Кто не испыталъ живительнаго, освѣжающаго вліянія труда на чувства? Кто не испыталъ, какъ послѣ тяжелаго труда, долго поглощавшаго всѣ силы человѣка, и небо кажется свѣтлѣе, и солнце ярче, и люди добрѣе? Какъ ночные призраки отъ свѣжаго утренняго луча, бѣгутъ отъ свѣтлаго и спокойнаго лица труда—тоска, скука, капризы, прихоти, всѣ эти бичи людей

¹⁾ Это объясняется тѣмъ важнымъ и еще не вполне раскрытымъ вліяніемъ, которое оказываетъ дѣятельность нервной системы на процессъ питанія и вообще на растительные процессы организма. Объ этомъ вліяніи мы говорили въ своемъ мѣстѣ.

праздныхъ и романическихъ героевъ, страдающихъ обыкновенно высокими страданіями людей, которымъ нечего дѣлать. Читая какой-нибудь велико-свѣтскій романъ, гдѣ бѣдная героиня, эфирное и совершенно праздное существо, томится неизъяснимой тоской, намъ всякій разъ кажется, что эта тоска исчезла бы сама собою, если бы героиня вынуждена была потрудиться. Романисты въ особенности любятъ такія праздня существа именно потому, что здѣсь-то и вырастаетъ весь тотъ бурьянъ страстей, прихотей, капризовъ, неизъяснимыхъ страданій, зъ которомъ такъ привольно блуждать туманному воображенію, не выносящему свѣта дѣйствительности.

Но человѣкъ скоро забываетъ, что труду былъ онъ обязанъ минута-ми высокихъ наслажденій, и неохотно покидаетъ ихъ для новаго труда. Онъ какъ будто не знаетъ неизмѣннаго психическаго закона, что наслажденія, если они не сопровождаются трудомъ, не только быстро теряютъ свою цѣну, но такъ же быстро опустошаютъ сердце человѣка и отнимаютъ у него одно за другимъ всѣ его лучшія достоинства. Трудъ непріятенъ намъ, какъ узда, накинутая на наше сердце, стремящееся къ вѣчному, невозмутимому счастью; но безъ этой узды сердце, предоставленное необузданности своихъ стремленій, сбивается съ дороги и, если оно порывисто и возвышенно, быстро достигаетъ бездонной пропасти ничѣмъ неутолимой скуки и мрачной апатіи,—если же оно мелко, то будетъ погружаться день за день, тихо и незамѣтно, въ тину мелкихъ, недостойныхъ человѣка хлопотъ и животныхъ инстинктовъ.

Этотъ неизмѣнный законъ труда каждый легко можетъ испытать на самомъ себѣ въ той потребности мѣнять наслажденіе, которая сказывается весьма скоро послѣ того, какъ трудъ покидаетъ человѣка. Потребность этой мѣны доказываетъ уже, что человѣкъ не способенъ *только* наслаждаться. Но это палліативное средство—удерживать въ сердцѣ наслажденіе—само быстро теряетъ свою силу. Чѣмъ больше человѣкъ мѣняетъ наслажденія, тѣмъ кратковременнѣе каждое изъ нихъ приноситъ ему удовольствіе. Мѣна неудержимо дѣлается все быстрѣе и, наконецъ, превращается въ какой-то вихрь, быстро опустошающій сердце. Если же человѣкъ по природѣ своей способенъ предаваться какому-нибудь *одному* наслажденію, то это наслажденіе дѣлаетъ его рабомъ своимъ и, мало-по-малу, низводитъ на крайнюю ступень человѣческаго униженія. Напрасно человѣкъ старается ввести нѣкоторый порядокъ и мѣру въ свои наслажденія: несмотря на этотъ порядокъ, они быстро теряютъ свою цѣну и настойчиво требуютъ перемѣны, или одно изъ нихъ требуетъ усиленія и, не останавливаясь на одной ступени, увлекаетъ за собой человѣка въ бездну душевной и тѣлесной гибели. Такъ, на примѣръ, дѣйствуетъ привычка къ вину, къ опиуму, къ разврату, къ пустой свѣтской жизни, къ картамъ и проч. Человѣкъ неудержимо увлекается

этимъ вихремъ, пока онъ не выброситъ изъ сердца его послѣдней чело-
вѣческой идеи и послѣдняго челоѣческаго чувства.

Этотъ психическій законъ, по которому наслажденія должны уравно-
вѣшиваться трудомъ. прилагается къ наслажденіямъ всякаго рода, какъ бы
они возвышенны и благородны ни были. Возьмемъ, на примѣръ, наслажде-
ніе искусствомъ: полнота и постоянство этого благороднаго наслажденія
покупается также трудомъ. только художникъ, посвятившій всю жизнь
свою художественному труду, можетъ вполнѣ, постоянно и безопасно на-
слаждаться произведеніями искусства. Но если онъ броситъ трудъ, если
перестанетъ изучать законы художественнаго творчества, а станетъ только
любоваться, то наслажденіе быстро начнетъ утрачивать для него свою
силу и, наконецъ, совершенно исчезнетъ. Дѣлаясь развлеченіемъ отъ
скуки, наслажденіе искусствами быстро перестаетъ быть наслажденіемъ,
а скоро потомъ перестаетъ быть и развлеченіемъ. Страстные собиратели
картинъ и статуй начинаютъ, можетъ быть, наслажденіемъ, но оканчи-
ваютъ пустѣйшимъ тщеславіемъ, и дорогая картина, которая могла бы
сдѣлаться неисчерпаемымъ источникомъ наслажденія и изученія для ху-
дожника, дѣлается часто вредною для души богача, который ее купилъ.
Поэзія, музыка, живопись, ваяніе могутъ быть или отдохновеніемъ послѣ
труда, или должны находиться въ живой связи съ трудомъ челоѣка;
когда же они дѣлаются предметомъ праздної прихоти, тогда не только
теряютъ всю свою развивающую силу, но дѣйствуютъ отрицательно на
нравственное и умственное совершенство.

Но пойдѣмъ еще выше, до самой высокой ступени челоѣческихъ на-
слажденій. Удовлетвореніе благороднѣйшихъ стремленій челоѣческаго
сердца, подвиги великодушія, патріотизма, любви къ челоѣчеству совер-
шаются не для наслажденій и дарятъ челоѣка только мгновеннымъ сча-
стіемъ, которое блеснетъ, какъ искра, и исчезнетъ. Если же челоѣкъ за-
хочетъ взять болѣе обильную дань и съ своего благороднаго подвига, оста-
новить эту чарующую искру, то она не только немедленно начнетъ тус-
кнѣть, но, потухнувъ, наполнитъ сердце его смрадомъ тщеславія и самымъ
пошлымъ самодовольствіемъ. Если же, вопреки этому, челоѣкъ все будетъ
усиливаться остановить потухающее наслажденіе, то выйдетъ еще хуже:
онъ можетъ остановиться на постоянномъ созерцаніи своихъ мнимыхъ
или даже и истинныхъ добродѣтелей и сдѣлаться самымъ несноснымъ,
самымъ бесполезнымъ существомъ и безвозвратно погибнуть нравственно.

Но возьмемъ самое спокойное, самое продолжительное изъ наслажде-
ній,—наслажденіе семейнымъ счастьемъ, и мы также увидимъ, что безъ
труда и оно невозможно.

Вотъ два молодыхъ существа, которымъ судьба дала все, кромѣ необхо-

димости трудиться и возможности сыскать трудъ жизни. Оба они хороши собою, богаты, молоды, добры и умны; оба страстно любятъ другъ друга и страстно желаютъ принадлежать другъ другу. Наконецъ, желаніе ихъ исполняется. Они *плаваютъ* въ блаженствѣ; но долго ли продолжается плаваніе? Увы, очень недолго! Скоро притупляется чувство удовлетворенной страсти, и въ промежутки наслажденій незамѣтно начинается закрадываться скука.

Жена создана Богомъ помощницей мужу; но въ чемъ же она будетъ помогать ему, если онъ и самъ ничего не дѣлаетъ? Такимъ образомъ, главное назначеніе жены не можетъ быть выполнено, а вмѣстѣ съ тѣмъ мало-по-малу исчезаетъ и самое значеніе брака. Чувство любви притупляется: какъ ни тормозятъ его супруги, оно продолжаетъ откликаться все слабѣе и слабѣе и, наконецъ, совсѣмъ умолкаетъ; а сердце все не перестаетъ требовать счастья, наслажденій, каждую минуту и во всю долгую жизнь человѣка. Тогда оба супруга начинаютъ по сторонамъ, искать наслажденій внѣ домашней жизни, и вихрь свѣта быстро уноситъ ихъ въ разныя стороны. Появляются дѣти, но за дѣтьми есть кому присмотрѣть и безъ матери: есть для этого бонны, гувернантки и гувернеры. А отцу что дѣлать съ дѣтьми? Поласкать, когда придутъ, прогнать, когда надоѣдятъ—вотъ и все. Сердце же между тѣмъ все не перестаетъ требовать жизни и счастья, каждую минуту, долгіе дни, мѣсяцы и годы! Оба супруга, не находя счастья другъ въ другѣ, ищутъ его по сторонамъ: она—на балахъ, въ нарядахъ, въ романахъ, поджигающихъ искать счастья, въ кокетствѣ, въ отысканіи новаго чувства, новой любви; онъ—въ клубкахъ, въ пирушкахъ, въ картахъ, рысакахъ, въ танцовщицахъ; еще одинъ шагъ, и святость брака разрушена; тотъ розовый вѣнокъ, котораго они такъ добивались, разорванъ, брошенъ, затоптанъ въ грязь и позабытъ навсегда. Такова судьба всѣхъ браковъ по страсти у людей, которымъ нечего дѣлать. Взгляните черезъ пять-шесть лѣтъ на такихъ супруговъ, и вы даже не подумаете, что сильное чувство любви когда-то соединяло ихъ: ни признака какого-нибудь чувства! Въ простой крестьянской семьѣ, гдѣ мужъ выбиралъ въ женѣ только работницу, а она искала въ немъ кормильца и хозяина, вы найдете часто гораздо болѣе и чувства, и истинной супружеской привязанности. Они трудятся вмѣстѣ: ровно, дружно, какъ двѣ дышловыя лошади, поднимаютъ они тяжелую борозду ихъ жизненнаго пути, и всѣ ссоры и расчеты быстро исчезаютъ передъ ежедневно-возникающею необходимостью обоюднаго труда. Ихъ соединяетъ трудъ, и онъ-то свято поддерживаетъ слабую искру взаимнаго сочувствія и проводитъ ее безопасно черезъ всѣ ссоры и даже пороки и преступленія, которыя могутъ быть сдѣланы супругами другъ противъ друга—проводитъ отъ алтаря до гро-

бовой доски: такъ полно глубокаго смысла то выраженіе Библіи, гдѣ Господь назначаетъ жену помощницею мужу; такъ оправдывается оно ежедневно передъ нашими глазами, и мы, если не хотимъ быть слѣпыми, то убѣдимся, что безъ труда, дѣльнаго, серьезнаго труда, семейное счастье есть не что иное, какъ романическая химера. Читая въ какомъ-нибудь романѣ, какъ два ничего не дѣлающія существа сгораютъ взаимною страстью и какъ потомъ эта страсть увѣнчивается бракомъ, такъ и хочется спросить, что же было потомъ? Шутка Теккерея, въ который онъ дорисовываетъ картину Вальтеръ-Скотта и знакомитъ насъ съ семейною жизнью Айвенго и Роуэны, внушена писателю глубокимъ знаніемъ сердца и острою наблюдательностью того, что на каждомъ шагѣ встрѣчается въ жизни.

Но этого мало: если мужъ трудится, чтобы добыть средства къ жизни, а жена только пользуется плодами его трудовъ, не раздѣляя самаго труда, то и тогда семейное счастье невозможно. Женщина, какъ кумиръ, вѣчно отдыхающая отъ лѣни на ложѣ изъ розъ, самое нелѣпое созданіе романистовъ. Такое понятіе о женщинѣ, весьма распространенное въ модномъ свѣтѣ, оскорбительно и для женщины, и для мужчины.

Перебирая такимъ образомъ все пріятныя ощущенія, которыя только дано испытывать человѣку на землѣ, мы видимъ много наслажденій и нигдѣ не находимъ счастья, потому что именемъ счастья человѣкъ упорно называетъ идеальничѣе невозмутимаго и безконечнаго блаженства, которое бы не унижало, но возвышало его человѣческое достоинство¹⁾. Такого счастья нѣтъ на землѣ. Наслажденія, какъ бы ихъ много ни было собрано въ одну жизнь, еще не счастье. Это только мишурная пыль съ крыльевъ того неуловимаго призрака, за которымъ упорно гонятся люди. Трудъ есть единственно-доступное человѣку на землѣ и единственно-достойное его счастье. Наслажденія порхаютъ вокругъ свѣточа труда, какъ золотые мотыльки, привлекаемые свѣтомъ, и чѣмъ ярче горитъ трудъ, тѣмъ больше ихъ толпится; но потушите его, и эти золотые мотыльки превратятся въ хищныхъ птицъ, которыя мигомъ расхватаютъ все сокровища сердца и оставятъ его на жертву пустотѣ и отчаянію.

Что же это такое, спроситъ читатель: къ чему ведетъ эта рѣчь? Не проповѣдь ли это на азбучную истину, что *праздность есть мать всехъ пороковъ*? Но развѣ эта азбучная истина, которую въ первый разъ высказалъ какой-нибудь греческій мудрецъ, глубоко вдумавшійся въ жизнь человѣка, не превратилась для насъ въ пустую непонятную фразу? Изъ чего же видно, что эта азбучная фраза, надѣвшая намъ на пропи-

¹⁾ Въ главѣ о стремленіи къ счастью и стремленіи къ наслажденію мы подробно объяснили, что разумѣемъ подъ тѣмъ и другимъ понятіемъ, а потому и надѣмся, что будемъ поняты правильно.

сяхъ, понята нами, какъ глубокая и вѣчная, къ каждому изъ насъ приложимая истина? Не показываемъ ли мы во всѣхъ нашихъ желаніяхъ, что эта истина не проникла до нашего сердца, что мы не вѣримъ тому, что она истина?

Много ли можно встрѣтить между нами такихъ людей, которые не смотрѣли бы на богатство, какъ на завидную привилегію ничего не дѣлать, а на трудъ какъ на тяжелую и даже унижительную принадлежность бѣдности? Кто не желаетъ обезпечить возможность праздности для себя, или, по крайней мѣрѣ, для дѣтей своихъ? Самое образованіе дѣтей не ставятъ ли большинство ниже ихъ независимаго состоянія? Мало ли такихъ людей, которые смотрятъ на образованіе только какъ на средство добывать деньги, и многіе ли видятъ въ немъ средство отыскать трудъ—не забаву, не украшеніе, а дѣльный трудъ?

Самое воспитаніе, если оно желаетъ счастья человѣку, должно воспитывать его *не для счастья*, а приготавливать къ труду жизни. Чѣмъ богаче человѣкъ, тѣмъ образованіе его должно быть выше, потому что тѣмъ труднѣе для него отыскать трудъ, который самъ напрашивается къ бѣдняку, таща за спиною счастье въ нищенской котомкѣ. Воспитаніе должно развить въ человѣкѣ привычку и любовь къ труду; оно должно дать ему возможность отыскать для себя трудъ въ жизни. Но таково ли воспитаніе въ настоящее время?

Много ли найдется матерей, которыя бы не заботились устроить праздную жизнь для дочерей своихъ? Мало ли есть такихъ, которыя готовы купить для своихъ любимыхъ дочерей право праздности, продавъ ихъ молодость, красоту и горячее сердце человѣку, о которомъ знаютъ, что онъ не можетъ внушить никакой любви?

«Есть недугъ, его же видѣхъ подъ солнцемъ», говоритъ Экклезіастъ: «богатство, хранимо отъ стяжателя, во злобу ему». Немного надобно наблюдательности, чтобы убѣдиться, что этотъ недугъ существуетъ и подъ солнцемъ XIX столѣтія. Противъ этого-то недуга, какъ въ частномъ воспитаніи, такъ и въ воспитаніи цѣлаго народа, должно бороться. Чѣмъ болѣе богатства ожидаютъ человѣка, тѣмъ болѣе онъ долженъ приготовиться нравственнымъ и умственнымъ развитіемъ къ тому, чтобы выдержать свое богатство.

Взгляните на крестьянина въ сѣрыхъ лохмотьяхъ, грязной рукой отирающаго потъ съ своего утомленнаго лица: давно уже носитъ онъ подъ дождемъ тяжелую соху и съ самаго ранняго утра топчетъ своими лаптями измокшее поле; онъ промокъ до костей; горячій потъ на лицѣ его смѣшивается съ холодными каплями осенняго дождя; руки его падаютъ отъ усталости; онъ черенъ, угрюмъ, лицо его изрыто морщинами, которыя скорѣе похожи на борозды, проводимыя по полю его тяжелой сохой, чѣмъ на легкія чер-

точки времени; весь онъ запачканъ грязью и облитъ потомъ. Но всмотритесь въ его фізіономію, въ его усталые, задумчивые глаза, и вы найдете въ нихъ выраженіе человѣческаго достоинства, котораго напрасно стали бы искать на бѣломъ, гладкомъ, румяномъ, какъ крымское яблоко, и лоснящемся, какъ атласъ, лицѣ сидѣльца въ енотовой шубѣ, похаживающаго около своей лавки. Отъ нечего дѣлать этотъ сочный господинъ заигрываетъ съ своимъ такимъ же разбухшимъ сосѣдомъ... Морда толстаго кота, выглядывающая въ окно той же лавки, глядитъ разумнѣе!

Но какъ ни бѣденъ крестьянинъ, одною сохою выбивающій себѣ насущный кусокъ хлѣба; какъ ни тяжелъ трудъ его и какъ ни скудно вознагражденіе, но когда, послѣ долгаго рабочаго дня, онъ возвращается домой, то трудъ, какъ закатывающееся солнышко трудового лѣтняго дня, облекаетъ пурпуромъ и золотомъ самыя скудные, самыя грубые предметы, встрѣчающіе его дома. Немногосложна и духовная жизнь крестьянина; но она все же есть, и въ ней много истинно-человѣческаго достоинства: онъ любитъ семью, въ воскресный день радостно затепливаетъ свѣчу передъ образомъ, и, встрѣчая нищаго, ломаетъ пополамъ свою краюху хлѣба, или вытаскиваетъ изъ-за голенища свой грязный кошелекъ, гдѣ лежатъ три мѣдныя копѣйки, добытыя тяжелымъ трудомъ.

Но вамъ кажется, что бѣднякъ стѣдуетъ лучшей участи? Бросьте же ему горсть золота, которая бы разомъ избавила его отъ необходимости свободнаго труда, и полюбуйтесь превращеніемъ.

Видите ли вы этого расплывшагося негодяя? Его сальное и бессмысленное лицо; маленькіе заплывшіе глаза, исполненные хитрости, наглости и, вмѣстѣ съ тѣмъ, низкаго раболѣпства передъ вашей высокою особой, напоминаютъ вамъ и вашего приказчика, и цѣловальника въ красной рубахѣ, и знакомаго вамъ содержателя постоялаго двора, и разбухшаго купца-милліонера, котораго вы помните еще за прилавкомъ питейнаго дома, а, можетъ быть, и кого-нибудь изъ вашихъ друзей. Это тотъ же самый крестьянинъ: онъ похитрѣлъ и въ то же время поглупѣлъ, сдѣлался жаденъ и жестокъ, обираетъ и обкрадываетъ народъ и отъ всей души презираетъ своего бывшаго собрата. Онъ сильно сколачиваетъ копѣйку, хотя уже много серебряныхъ рублей лежитъ въ его окованномъ сундукѣ, на которомъ онъ примостилъ себѣ перину и дрыхнетъ въ ожиданіи кондрашки. Онъ весь предался тому сорочьему инстинкту, который медицина должна была бы причислить къ самому неизлѣчимуому роду сумасшествія. Прощай человѣкъ! остался толстый мѣшокъ, наполненный жиромъ и имѣющій одно свойство—всасывать деньги.

Кто наблюдалъ надъ жизнью простаго народа, тотъ знаетъ, какъ неизбеженъ такой законъ превращенія, и какъ быстро звѣрство одолеваетъ крестья-

янина, избавленнаго отъ необходимости личнаго физическаго труда и незнакомаго съ трудами умственной жизни. Могучая природа его тѣла, взлѣпанная на русской печи и русскомъ морозѣ, продолжаетъ вырабатывать все новыя и новыя силы, которыя, за неимѣніемъ расхода на трудъ, обращаются въ жиръ, потопляющій и глаза его, и сердце, и мозгъ.

Можетъ быть и другого рода превращеніе, которое, по нашему мнѣнію, ничѣмъ не лучше перваго: внезапно разбогатѣвшій крестьянинъ, если его ватура поширѣ и сердце поблагороднѣе, можетъ вовсе бросить трудъ и, что называется, закутить. Быстро исчезнетъ съ него тогда человѣческій обликъ: обрюзгая, посинѣвшая фізіономія, губы красныя, какъ огонь, и мутныя глаза выразятъ въ тѣлесныхъ формахъ неутолимую тоску его души.

Эти два превращенія, которыя въ такихъ рѣзкихъ формахъ высказываются въ простомъ быту, идутъ и выше—гораздо выше! Формы мѣняются, но смыслъ остается тотъ же.

Если духовныя силы, вызывающія свободную дѣятельность человѣка на новый болѣе серьезный, болѣе духовный трудъ, не растутъ вмѣстѣ съ матеріальными средствами удовлетворять своимъ нуждамъ и прихотямъ, то не только нравственное достоинство человѣка, но и счастье его понижаются по мѣрѣ увеличенія его богатства,—будетъ ли онъ прибавлять капиталы къ капиталамъ, или растрчивать ихъ на наслажденія; будутъ ли этими наслажденіями простая сивуха или шампанское, орловскій рысакъ или балетная знаменитость. Богатство растетъ безвредно для человѣка тогда только, когда вмѣстѣ съ богатствомъ растутъ и духовныя потребности человѣка, когда и матеріальная, и духовная сфера разомъ и дружно расширяются передъ нимъ. Большая разница въ томъ, понадобится ли разбогатѣвшему крестьянину книга, рояль, картина, или тонкое сукно и тонкое вино; захочетъ ли онъ дать хорошее воспитаніе своимъ дѣтямъ, или заведетъ себѣ любовницу; будетъ ли побуждать его къ новому труду желаніе расширить сферу своей общественной дѣятельности, или желаніе затащить еще тысячу въ свой сундукъ. Вотъ почему, по крайней мѣрѣ, наравнѣ съ заботами политической экономіи добывать бархатъ, тончайшія сукна и золотыя кисеи, должны идти заботы объ умственномъ и нравственномъ развитіи народа, о его христіанскомъ образованіи,—иначе всѣ эти кисеи и бархаты не увеличатъ массы счастья, а напротивъ—уменьшатъ ее. Но для чего же вся эта промышленная сумятица, если не для счастья? Не для того же, конечно, чтобы доставить политико-эконому и статистику удовольствіе считать число фабрикъ и тюки товаровъ. Роскошь, которая въ послѣднее время такъ быстро начала распространяться между всѣми сословіями, и которой такъ радуются иныя статистики, политико-экономы и фабриканты, также быстро можетъ съѣдать нравственность и счастье людей.

Роскошь развиваетъ фабрики, фабрики развиваютъ роскошь; капиталистъ сколачиваетъ новые капиталы; не капиталистъ бѣется изъ всѣхъ силъ и лѣзетъ въ долги, чтобы не отстать въ роскоши отъ капиталиста; человѣкъ вертится на своемъ бархатномъ креслѣ, придумывая какъ бы добыть бархатныя драпри; потребность большихъ и большихъ капиталовъ для всякаго самостоятельнаго производства увеличивается; число самостоятельныхъ производствъ уменьшается; одна громадная фабрика поглощаетъ тысячи маленькихъ и превращаетъ самостоятельныхъ хозяевъ въ поденщиковъ; одинъ дурѣетъ отъ жиру, другой дичаетъ отъ нищеты; одного губить богатство, другого крайняя бѣдность превращаетъ въ машину; тотъ и другой приближаются къ состоянію животному; а новыя потребности, создаваемые ежеминутно промышленностью, увеличиваютъ число недовольныхъ жизнью. Такимъ путемъ идетъ экономическое развитіе общества, *не опирающееся на духовномъ и нравственномъ развитіи его содержанія и формы.*

Такъ начерталъ Господь законъ свободнаго труда и во внѣшней природѣ, и въ самомъ человѣкѣ: въ его тѣлѣ, сердцѣ и умѣ. Высылая человека на трудъ, Творецъ сдѣлалъ трудъ необходимымъ условіемъ физическаго, нравственнаго и умственнаго развитія, и самое счастье и достоинство человека поставилъ въ неизбѣжную зависимость отъ личнаго труда.
